
В.В. РОЗАНОВ

ПОЛНОЕ
СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ

В. Розанов

2

Институт научной информации по общественным наукам
Российской академии наук
Российский государственный архив литературы и искусства



В. В. РОЗАНОВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В 35 томах

Серия

«Литература и искусство»

В 7 томах



Санкт-Петербург
2015

В. В. РОЗАНОВ

Том второй
О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ

Литературные очерки

Тайна



Санкт-Петербург
2015

УДК 821.161.1-4
ББК 84.3(2Рос=Рус)1
Р64

*Издание осуществляется при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
Проект 08-04-00025а*

Редакционная коллегия:

*А. Н. Николюкин (главный редактор)
Т. М. Горяева, А. П. Дмитриев, И. А. Едошина, Ю. С. Пивоваров,
А. Ю. Розанов, Л. В. Скворцов, В. А. Фатеев, С. Р. Федякин*

Ответственный секретарь

К. А. Жулькова

Составитель и научный редактор тома

А. Н. Николюкин

ISBN 978-5-94668-147-6

ISBN 978-5-94668-149-0 (т. 2)



© ИНИОН РАН, 2015
© РГАЛИ, 2015
© А. Н. Николюкин, составление, 2015
© Издательство «Росток», 2015

Содержание ¹

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

Сборник статей

<Предисловие>	8	657
И старое и новое	9	607 658
1. Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»?	9	607 658
2. В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»?	18	608 659
3. Европейская культура и наше к ней отношение	27	609 660
4. Два исхода	33	612 662
5. Может ли быть мозаична историческая культура?	42	613 662
6. Еще о мозаичности и эклектизме в истории	48	614 663
Литературная личность Н. Н. Страхова	56	615 663
Три момента в развитии русской критики	80	619 667
Поздние фазы славянофильства	92	623 668
1. Н. Я. Данилевский	92	623 668
2. К. Н. Леонтьев	98	623 670
Катков «как государственный человек»	107	624 672
Литературно-общественный «кризис»	113	624 673
О Достоевском (Отрывок из биографии, приложенной к собранию сочинений Ф. М. Достоевского, изд. «Нивы»)	122	626 674
«Вечно печальная дуэль»	132	634 676
50 лет влияния (Юбилей В. Г. Белинского — 26 мая 1898 г.)	145	635 679
С Юга	153	637 681
1. Около болящих	153	637 681
2. В Кисловодском парке	158	638 682
3. «Горе от ума»	163	639 683
4. Военно-Грузинская дорога	171	640 685
О писателях и писательстве. Заметки и наброски	178	640 686
Памяти усопших	191	641 688
1. О. И. Каблиц (Юзов)	191	641 688
2. Ю. Н. Говоруха-Отрок († 27 июля 1896 г.)	194	642 689
3. Н. Н. Страхов († 24 января 1896 г.)	199	644 690
4. Ф. Э. Шперк	223	647 692
5. Я. П. Полонский († 18 октября 1898 г.)	228	650 693
<i>Приложение</i>		
Заметки о Польше	232	693

ТАЙНА

Из записной книжки писателя * 239 651 694

¹ В первом столбце указаны страницы текста, во втором — варианты, в третьем — комментарии.

* При жизни В. В. Розанова не печаталось; обнаружено в архиве.

ВАРИАНТЫ
Литературные очерки
 Сборник статей

И старое и новое	607
1. Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»?	607
2. В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»?	608
3. Европейская культура и наше к ней отношение	609
4. Два исхода	612
5. Может ли быть мозаична историческая культура?	613
6. Еще о мозаичности и эклектизме в истории	614
Литературная личность Н. Н. Стрехова	615
Три момента в развитии русской критики	619
Поздние фазы славянофильства	623
1. Н. Я. Данилевский	623
2. К. Н. Леонтьев	623
Катков как «государственный человек»	624
Литературно-общественный «кризис»	624
О Достоевском	626
«Вечно печальная дуэль»	634
50 лет влияния (Юбилей В. Г. Белинского – 26 мая 1898 г.)	635
С Юга	637
1. Около болящих	637
2. В Кисловодском парке	638
3. «Горе от ума»	639
4. Военно-Грузинская дорога	640
О писателях и писательстве. Заметки и наброски	640
Памяти усопших	641
1. О. И. Каблиц (Юзов)	641
2. Ю. Н. Говоруха-Отрок	642
3. Н. Н. Страхов	644
4. Ф. Э. Шперк	647
5. Я. П. Полонский	650

ТАЙНА

Из записной книжки писателя	651
Комментарии	656
Список сокращений	733
Указатель имен и названий	736
Список исполнителей текстологической работы	783



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

Сборник статей



Tempora mutantur et nos mutamur in illis*. Я не могу сказать, чтобы все мысли, содержащиеся в этом сборнике, остались родными мне в той степени, как были в момент их написания; и особенно, чтобы между собою они сохраняли ту самую перспективу зависимости и отношений, яркого и бледного — в какой стояли тогда. Духовный их организм (связность) молекулярно перестраивался и, может быть, даже анатомически уже не тот. Но каждая кость все еще кость, и мускул — мускул: сборник сохраняет еще цену «образцов» мысли, «примеров» того, как мысль наша может относиться или пытается относиться к великим темам, из сплетения которых образуется духовная жизнь общества. Чем далее, однако, к концу — тем эти «кости» и «мускулы» живее во мне: и как коралловый риф живет лишь в вершинах, однако — на основе «умерших предков», так при чтении этих статей читатель будет переходить от умершего к полуумершему и к совершенно живому.

Все здесь напечатанное было помещено между 1890—1898 гг. в «Московских Ведомостях», «Вопросах Философии и Психологии», «Новом Времени», «Биржевых Ведомостях», «Русском Обзрении», литературном приложении к «Торгово-Промышленной газете» и в других изданиях.

В. Р.

* Времена меняются, и мы меняемся с ними (*лат.*).

И СТАРОЕ И НОВОЕ

1. Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»?

I

Факт, что дети, возвращенные «людьми шестидесятых годов», отказываются от наследства своих отцов, от солидарности с ними и идут искать каких-то новых путей жизни, другой «правды», нежели та, к которой их приучали так долго и так, по-видимому, успешно, — есть факт одинаково для всех поразительный, вносящий много боли в нашу внутреннюю жизнь и, без сомнения, одною силою своею, своим значением имеющий определить характер по крайней мере ближайшего будущего. Между вопросами, занимающими теперь общество, многие более неотложны, более нетерпеливо ждут и нуждаются в разрешении; но нет между ними ни одного столь общего и столь нуждающегося в цельном освещении его причин и смысла. 10

Прежде всего о внутренней боли, которая чувствуется в этом вторичном разладе между отцами и детьми. Нужно вспомнить то одушевление, ту полную веру людей шестидесятых и семидесятых годов в себя, в свои принципы, в свое близкое и вековечное торжество, чтобы понять всю горечь их разочарования при виде того, как, не говоря уже о дальних поколениях, их же собственные дети, возвращенные в наилучшем ознакомлении с этими принципами, совершенно отворачиваются от них — и с ними от самих людей, седины и труд которых они были бы готовы почитать, если бы только не эти принципы. И далее, чтобы понять жгучесть этой боли и чувство ужасного стыда в ней содержащегося, нужно вспомнить, как проводили люди шестидесятых годов своих отцов — эту светлую пляску людей сороковых и пятидесятых годов, первых славянофилов и столь же благородных и идеальных первых западников. О, это было время, которое дважды не переживается обществом, и хотя оно теперь только прах истории, но и до сих пор бьется сердце, как за живых людей, за этих отшедших в вечность стариков, при чтении журналов того времени. Поистине «дети», провозжавшие тогда в землю отцов своих, как будто себя самих уже считали бессмертными. Среди многих искусственных идей того времени, искусственных понятий о человеке и об обществе, как будто заглохла и эта вечная мысль о смертном часе, который настает для всего живого. 30

И грозный час пришел...

В то время как люди еще боролись бессильной иронией своих слов, история уже готовила для них злую иронию фактов. Не успели смеющиеся уста сомкнуться, как лица смеющихся исказились ужасом одинокой смерти. *Все это можно было предвидеть, всего этого можно было избежать еще тридцать лет назад. Не следовало забывать историю, не следовало забывать текучесть своего момента времени.*

II

Эта боль положения не может не вызывать сетований. Но какая разница между тем, как сходили с исторической сцены люди сороковых — пятидесятых годов, и тем, как сходят теперь с этой же сцены их дети! Несколько слабохарактерные, всегда изящные и задумчивые; несколько неправые, как и всякое поколение, пред вечными обязанностями человека на земле, люди сороковых — пятидесятых годов прежде всего устремили свое внимание именно на эти последние. Уже по внешним условиям они не могли стать людьми дела, но, кажется, и по внутренним склонностям они были мало к нему способны и расположены. Это были прежде всего люди рефлексии, люди углубленного, развитого чувства. Повинуясь только своему влечению, не сознавая своего исторического положения, они создали целый мир глубоко человеческих понятий и чувств. Как и всегда в течение вот уже двух веков, они обращались беспрестанно к Европе, которая стала для них вторым отечеством, часто более дорогим и духовно близким, чем своя родина; но по благородным задаткам своей души они избирали в Европе одно лучшее. И это лучшее они принесли к себе, в свою серую родину, холодную и угрюмую. Семя, посеянное ими здесь, возросло богатою нивою, которую мы и до сих пор жнем, почти не чувствуя еще ее истощения. Круг *применения* идей, правда, очень расширился, как и количество фактического содержания, которое от начала оне могли бы вместить в себе; самые же идеи почти не увеличились. В этом состояла их историческая задача: в общество, в верхних слоях своих еще грубое, в средних и образованных наивное, они внесли серьезное размышление и углубленность чувства. Но практического применения этих идей ими не было сделано — это была вторая и более легкая задача, предстоявшая их детям.

Последние с упрека отцам своим в этом недостатке и открыли свою деятельность. Привычка на всем тотчас сосредоточиваться, забывая остальное, и на этот раз не оставила готовое сойти в могилу поколение. Они забыли то, что сделали, и помнили только о том, чего не сделали. Сама история, непреодолимым движением фактов, привела их перед концом к этой мысли, самой необходимой для всякого, кто готовится оставить жизнь. Грустные и растерянные, со встревоженной совестью, один за другим сходили эти люди с исторического поприща, оставляя трепещущему жизнью поколению детей своих завет труда, которого сами они не выполнили. И дети их приступили к труду; о, конечно, и из них многие остались верны памяти отцов, и задача, на которую молча указывала история, — *с развитою душой приступить к обновлению жизни* — была ими выполнена. Лучшее, что было сделано в царствование Александра II (не по прочности, но по мотиву), было сделано людьми этого душевного настроения. Они учились, они размыш-

ляли и чувствовали, как и люди сороковых и пятидесятих годов; из них многие и теперь живы, и как светоч блистают для нас в сферах науки, литературы и, может быть, политической деятельности (о последней не знаю). Их было очень немного, хотя они сделали главное, остающееся в истории. Совсем иным путем пошла главная масса. На дела их, на писания в течение двадцати лет можно здесь набросить покров: мы все их знаем; не знаю, желательно ли составление очень *подробной* истории этих писаний и дел, и часто думается, — раз это время уж минуло, — что лучше было бы никогда не поднимать над ними покрова. Пусть мы, все видевшие, все читавшие и знавшие, живем еще с тревожными, с мучительными и раздраженными воспоминаниями, но не к чему передавать эти воспомина- 10 ния и дальним поколениям. Желчи и горечи достаточно даст каждому из них и свое время. Одного не следует забывать при этом, чтобы хорошо понимать источник разницы между двумя рядом стоящими поколениями нашего общества. Говоря о людях сороковых и пятидесятих годов, мы заметили, что главное в их деятельности было обусловлено *избирательными инстинктами*, которые они принесли с собою в Европу. В этих же инстинктах и теперь состояло все дело. Европа шестидесятых и семидесятых годов, как и всегда, представляла из себя не- 20 обозримую сокровищницу, увитую седым мохом и зеленеющими побегам, где всякий мог находить для себя все, что было ему нужно. Гениальное и пошлое, целебное и заразительное — все было в этом организме, самом могучем и полном, какой создавался когда-либо в истории. Европа уже все передумала, все пережила, *все переделала на все манеры*, — и у ней одинаково можно научиться и тому, как просветлять жизнь высшим светом, и тому, как отравлять свою душу неизгладимой отравой. Все дело, продолжаем, было в инстинктах избирания. Руководясь ими, люди шестидесятых и семидесятых годов принесли из бесценной со- 30 кровищницы Запада новые семена на свою родину — и ниву, уже засеянную их отцами, занимая их след, засеяли новым принесенным семенем. Нива снова возросла, жатва созрела и была срезана, но... когда должен был начаться вечерний пир, пищи не оказалось. Люди, приведенные на этот пир с *молодыми, свежими инстинктами*, непреодолимо отвращаются от приготовленных яств. И старики, которые так много трудились на ниве в знойные и в холодные дни, руки которых устали и более неспособны к труду, видят, что свою жатву, надежду стольких лет, им остается только унести с собой в могилу. Все это страшно горько, страшно трудно, надо всем этим нельзя смеяться, и дурно делает тот, кто это делает. *Но изменить факта нельзя — и не следует.*

III

«Групповой возраст этого поколения, отказывающегося от наследства отцов своих и от солидарности с ними, должен быть от 20—30 лет или несколько более. Молодежь, принадлежащая к нему, должна была родиться между 1858—1868 гг., кончить гимназию между 1878—1886 гг., а университет между 1880 и последу- 40 ющими годами. Время, в которое эта молодежь слагалась умственно и вырабатывала себе жизненную программу, совпало как раз с наиболее печальным временем нашей общественной жизни. Тут были и 1 марта 1881 года, и все его дальнейшие острые последствия. Общество заметалось, спуталось; оно и прежде было слабо сознанием, а тут мысль его и совсем очутилась под спудом. Аксаков

думал, что умственный промежуток, который открылся теперь перед обществом, и есть именно наиболее благоприятный момент для того, чтобы общественное сознание встало в том направлении, которое он считал единственно способным обновить все наше общественно-государственное существование. Рядом с этим так называемые западники считали необходимым продолжение реформ в более широком виде и с более расширенною деятельностью интеллигенции. Но явилось и еще движение, направленное именно против интеллигенции. Это было одно из самых злополучных и несчастных самоотречений, продолжающееся и до сих пор. Интеллигенция была сделана козлом отпущения за все и кем же? Такою же самою интеллигенцией, как она. Та самая масса молодых сил, которая было устремилась за знанием, которую выдвинула Россия как необходимую для нее умственную силу — эта самая интеллигенция повернулась против той, которая так долго вела ее, почти во всем уже успела и стояла, по-видимому, перед минутой окончательного торжества своего» *.

Так пишет один из самых деятельных писателей 60-х годов, лишь недавно сошедший в могилу, почти накануне ее. Да, все это было так, и годы указаны с изумительною точностью. Видно, что человек, писавший это, зорко следил за окружающею жизнью; но ход ее, но смысл и источник нового поворота для него, как человека, видевшего все лишь под одним углом, был неясен, непонятен, просто неизвестен. Он умер, проклиная новое движение, недоумевая о том, что делается. Так всегда бывает в истории, что люди, несущиеся на одной волне ее, видят только эту волну и, когда она падает, — думают, что все погибло и что история останавливается. Но это не так. Действительно, 70-е годы гимназии и 80-е университета — все впечатления этих лет и впечатление от 1 марта... Припомним же, каковы были эти впечатления; что нас в то время поразило, когда мы, стоя на пороге между гимназией и университетом, переживали эту страшную катастрофу. Нас поразила эта сухость сердца, этот взгляд на человека и отношение к нему. О, забудем, что то был Государь, и Бог с ней, с этой все политикой и политикой... Но разве это не был человек, как и мы, с таким же ощущением простой физической боли, с таким же страхом смерти, с такими же светлыми надеждами, когда был молод, и разочарованиями, когда стал стар? Этот злобный смех на такие страдания, *при которых нам всем было бы трудно*, это равнодушие и вся политика перетрусившей печати, это холодное безучастие «интеллигентного» общества, когда одному человеку так больно, весь этот цинизм какой-то не то развращенной, не то от рождения не пробуждавшейся души — нам был невыносим и отвратителен. Это было главное и самое сильное впечатление, необыкновенно яркое и которое не мешало задумываться, потому что оно было одиноко. Все та же и та же боль умирающего человека, и равнодушное молчание вокруг. Мы тогда учились и все гитали, все видели, тем более что никто нас в отдельности не замечал и ничего от нас не скрывали. «Но это было фактом политики, и никакой личной ненависти при этом не было», — говорили нам. Но тогда «цель оправдывает средства»? Тогда зачем же это негодование на костры инквизиции, также жегшей людей не для удовольствия, но для водворения на земле единства веры, то есть для их устроения, для их спасения за гробом, то есть «для наибольшего счастья

* «Вестник Европы» 1891 года, май, стр. 246—247.

наибольшего числа людей» *, разумея счастье по условиям своего времени, своего воспитания, своих умственных способностей, — как иначе и не могут разуместь счастье люди и никогда не будут его разуместь. Этот недостаток универсальности в приложении принципов — было второе, что нас поразило тогда. «Мера одна для нас, которую мы требуем, а для других будет та мера, которую мы приложим к ним», — это всегдашнее требование эгоизма и несправедливости продолжало действовать и в тот момент, о котором нас хотели уверить, что он открывает собою эру изгнания из истории всякого насилия, эгоизма и несправедливости. Ясно, что не было никакой «эры»; было обыкновенное политическое волнение, с взволнованными страстями, с придуманными теориями — момент в излучистом течении истории, но вовсе не ее увенчание. Понять частный факт истории как всеобщий, принять будни за Светлый Праздник — этого мы не могли и не хотели, по простой невозможности не видеть, когда зрение дано, или не слышать, когда есть ухо. Но, повторяю, это впечатление было лишь последнее и самое яркое, необыкновенно важное в своем долгом одиночестве, не мешавшем думать. Детальные же, подготовительные впечатления — они шли издали, начались уже давно.

В 70-х и в начале 80-х годов мы все учились несколько иначе, чем учатся теперь. Мы все были теоретиками и мечтателями с ранней школьной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, как в тумане, и мы все смотрели, из разных захолустных уголков России, в ту неопределенную даль, где для нас и было только одно — сияние милого, обвеянного мечтами, нас ожидавшего университета. Собственно, только эта поэзия ожидания и согревала нас в те ранние года, и ничем учитель не мог так привязать к себе и заинтересовать в классе, как рассказав что-нибудь о годах своего университетского учения — какие бывают профессора, что они читают, *какой они имеют вид*, наконец. Мы уже во многом были серьезны, но если в чем были детьми, со всей поэзией детства, со всею нескрываемою и нас несмушавшею наивностью, так именно в этом ожидании, в этих усилиях представить людей, занятых только наукой, т. е. изысканием истины, и совершенно непохожих на всех окружавших нас, которые нам наскучили, которых мы часто не любили и не уважали. Помню эти долгие, уединенные прогулки по нагорному берегу Волги, с определением по положению солнца того направления, где был университетский город и куда вот уже скоро умчит поезд и... тогда начнется совсем, совсем другое. И ничего другого не было... Все было обманом старых литературных воспоминаний и немногих, избранных впечатлений наших школьных учителей. Университет — *universitas omnium litterarum* **, вся эта «филология» наша была неправильна. Никак нельзя было представить, из каких требований ума вытекло это распределение наук, и в особенности как можно было преподавать науку, совершенно сбиваясь в ее определениях. Было чтение разных вещей о разных предметах, хрестоматия или сборник практически-полезных сведений, но не было науки в смысле теории, своими широкими рамами покрывающей естественные потребности естественно же развивающегося ума. Даже и идеи о возможности и необходимости такого теоретизма нигде не было.

* Формула цели человеческой жизни в утилитарной теории, которая в 60–70-х годах была общераспространенною.

** совокупность всех наук (*лат.*).

Самые предметы наук как-то странно никого не интересовали; интересовали книжки, написанные об этих предметах, репутация широкой в них начитанности. В идее — огромное множество островов, ни к чему не примыкающих; в действительности — просто рассказы об островах, которые давно скрылись под поверхностью воды. А мы ждали материка. О, как удовлетворил бы нас Фома Аквинский, хотя между нами многие пришли сюда атеистами; или Бодэн, Гоббес, Жозеф де Местр, хотя мы вовсе не были «легитимисты». Но мы ждали *складности*; и кто бы нам ее ни дал — мы бы за ним пошли.

IV

¹⁰ Только немногие старые профессора и спасли в нас идеализм к науке. Это были последние эпигоны людей 40-х годов, каких мы видели, которых мы никогда не забудем. «По-моему, где профессор — там и университет», — сказал один из них, вышедший тогда почему-то в отставку (Буслаев). — Да, конечно, а не большое кирпичное здание, выстроив которое в Томске и повесив на него вывеску, еще без профессоров, без студентов, все почему-то называли: «Сибирский университет». Странные понятия об университете — о святилище наук, где они преподаются и которое изготавливается печниками на кирпичных заводах. Все извратилось и померкло в наше тусклое, искаженное время. В *«университете» университету еще нужно зародиться*; завестись чудакам-профессорам и всей студенческой братии слюбиться, сжиться, порастить мхом, кого-нибудь похоронить и справить тризну — и тогда это будет университет. Удостоиться стать им через почетный труд, через доблестную жизнь, *через историю* — можно; выстроиться университету нельзя.

³⁰ Тогда в журналах все писали о «кружке молодых профессоров» в нашем университете; о стариках никто не писал и не говорил — только они сами издавали один ученый труд за другим, и до этого никому не было, по-видимому, дела. Работали в пустыне. Молодые же профессора, за исключением двух-трех, все были какие-то розовые или упитанные и чрезвычайно уморительные в своих усилиях показаться «страшными». Наивны они были очень; об одном рассказывали ⁴⁰ в университете, что он все укладывал в чемодан белье, говоря, что его скоро «вышлют», — конечно, выслать его было решительно не за что, и он до сих пор строчит свою бесталанную макулатуру во многих наших «передовых» изданиях. Этот профессор, охотнее возившийся с чемоданом, чем с книгами, понимая, что это не может не отражаться на лекциях, достаточно темно и достаточно ясно намекал на некоторую бедность развития при всей эрудиции у его старшего коллеги по факультету, который издавал тогда свои капитальные работы по финансовому праву. Эпиграфы к сочинениям обыкновенно брались тоже из какого-нибудь «страшного» философа. «Не плакать, не смеяться — но понимать. Spinosа» — ⁴⁰ помню, стояло на брошюре из веленовой бумаги у одного профессора, хотя из трех указанных проявлений человеческой природы известно было всем, что он любил только второе. Все это было наивно, все было порой невыносимо; большее русло студентов, как и всякой большей массы, становилось все более и более тем, чего от них ожидали. — «Я не хочу пить за студентов», — сказал один старый, ныне покойный профессор, когда 12 января ему предложили поднять бокал «за молодежь». Об этом рассказывали потом, и я не забуду, с каким уважением

начали смотреть на него после этого случая очень многие из студентов. Раскол уже тогда и там начинался. Как теперь помню этого безукоризненного ученого в одном диспуте по палеонтологии: красавец доцент, очень речистый, на возражение невзрачного маленького старичка, ему официально оппонировавшего, сказал скромно и торжественно: «Но, позвольте, значит, вы незнакомы с последними замечаниями знаменитого венского ученого N. N.». Старик смутился и, кажется, ничего не мог возразить. Что же, на седьмом десятке лет, быть может больной, он и вправду не успел еще, может статься, разрезать последних книжек ученых изданий и, кажется, жалел об этом, считал это стыдным для себя. «Да позвольте», — вдруг поднялся рядом со стариком сидевший профессор и сразу все 10
покрыл своею гигантской фигурой и голосом: — «Мой уважаемый учитель» (и он обратился к смутившемуся старику, о котором я тут только узнал, что это был знаменитый ученый, сам объехавший всю Россию, еще когда доцентик не появлялся на свет), «мой уважаемый учитель говорит вовсе не то, и вы только путаете дело своими ссылками...» — смял растерявшегося магистранта с его венскими профессорами и в крупных, резких штрихах показал, в чем суть дела и что этой сути даже не заметил опрятно одетый диспутант, все только разрезавший новые книжки и в глаза не выдавший ни одного геологического разреза и никаких окаменелостей. Старшие профессора, обросшие седою щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сторблены под тяжестью трудов и лет; но в своих 20
потрепанных вицмундирчиках они были удивительно как внутренне изящны, всегда просты, — это чувствовалось, — возвышены умом и сердцем. Совсем не то было в кружке «молодых профессоров».

V

Но печать этого не чувствовала, это старались от нас скрыть, как будто не мы записывали в аудиториях лекции и сидели на диспутах. Замечательно, что в последние годы старики, если не обязывала служба, перестали посещать диспуты — не любопытно было. Не очень любопытно стало даже и для нас. Я помню один диспут, вдруг ярко вскрывший перед нами смысл текущего момента университетской науки: предметом диссертации служили отрывки речи какого-то греческого оратора, не политического, а судебного. Впрочем, содержания отрывков магистрант не касался. В разных *Venezianum B*, *Parisiensis A* были разночтения, и среди них попадались очевидные ошибки. Они могли быть просто ошибками переписчика. Начинаящий ученый задавался вопросом, не были ли оне ошибками не зрительными, а слуховыми: общий оригинал мог читаться одним писцом, а остальные записывали за ним и, не расслышав слова, могли ошибаться в его начертании. Никогда не забуду, как перед диспутом магистрант в пространной речи объяснял об употребленном им при исследовании «индуктивном методе». Начался диспут; оказалось, что, хорошо выдержав метод, магистрант не выдержал хорошо корректуры и, где нужно было сослаться на *Venezianum B*, он сослался на *Venezianum A* и т. д. Произошла путаница, и единственная возможная цель диссертации не была достигнута. Несколько почетных гостей дремало на диспуте; студентов было мало за специальностью предмета. Зажгли уже огни, когда кончился диспут. Мы все вышли из аудитории с чувством стыда. «Кое-что о ничем» — так можно было бы озаглавить ученый труд по его внутреннему значению, и, одна- 40

ко, имя ученого, положение профессора было приобретено. Мне почему-то вспомнился при этом случай, как однажды молодой человек, готовившийся показывать перед публикой, как из одной курицы вдруг делается десять и яблоки невидимо перелетают из его рукава в карманы зрителей, предварительно, хотя по возвышению, объяснял нам, смеясь: «Конечно, господа, теперь наукою доказано, что в природе не существует чудес, и все, что вы увидите, основано просто на законах физики и оптики». И я вспоминал об «индуктивном методе», и уважении к нему начинающего филолога, и весь тот диспут в большой словесной аудитории. Не то же, конечно, но в этом роде. Все стало как-то очень обыкновенно, слишком просто; все стало ассимилироваться, терять очертания и внешние разграничения.

Помню, как однажды, по окончании лекции, сойдя на крыльцо, служившее курильной двух смежных факультетов, я увидел знакомого мне студента в чрезвычайном волнении. Это был один из серьезнейших молодых людей, каких мне удавалось знать в то время, и чрезвычайно нравственный. Будучи очень беден, он содержал (еще с гимназических годов) при себе старуху мать, которую перевез с собою и в университетский город. Несмотря на трудность положения, он никогда не обращался за стипендией и перебивался уроками. Поздоровавшись, я спросил его, что с ним? Он рассказал мне, как, толкуя на лекции какой-то старинный памятник, молодой профессор с особенною любовью стал останавливаться на неприличных выражениях в нем (в старину, по простоте, не пропускаемых) и все повторял одно название, посмеиваясь и посматривая весело на аудиторию. Об этом профессоре я уже ранее и от многих слышал как об ужасающей бездарности, и он, очевидно, решил использовать неприличные слова, чтобы несколько оживить свои чтения. «Это нахальство, — рассказывал мне товарищ, — и, главное, видимая уверенность в нашем сочувствии ему до того меня возмутили, что, когда он вышел из аудитории, я, затворив дверь, предложил тотчас пойти всем курсом к ректору и попросить, чтобы от нас убрали этого профессора (чтоб он больше не читал лекций), соглашаясь взять на себя выражение ходатайства» (что, конечно, было очень рискованно). Но студенты заколебались и, по идейной инерции, решили бросить все это, тем более что еще неизвестно, кого дадут взамен его, а не дадут, то и т. д.

В другой раз, на том же факультете, очень многолюдном и очень шумном, с лестницы спускался молоденький профессор и за ним толпы шумно разговаривающих студентов. Совсем в углу, на повороте лестницы, я увидел товарища своего по гимназии, Б., с лицом, залитым краской, и как-то ужасно смущенным. Думая, что что-нибудь произошло на лекции, я обратился к нескольким студентам с вопросом, но они, махнув рукой и продолжая разговаривать, прошли мимо. Увидав Б., я обратился к нему, и он, все запинаясь, не сразу начал: «Чорт знает что такое! Этот NN, — он указал на пухленькую фигурку совсем юного лектора, — все пыжится изобразить из себя какого-то красного. Сегодня — лекция была о республике Платона — когда уже давно дали звонок, он вдруг вскакивает и, подняв руку, своим тоненьким пискливым голоском кричит: «Господа! Государство, в котором *ultima ratio* * есть штык и нагайка, такое государство, господа, гибнет» — и бегом почти выбежал из аудитории. Мне стало до того стыдно —

* последний довод (*лат.*).

и не знаю чего: ведь не я сказал, и, кажется, чорт бы с ним, но лучше бы провалиться, чем видеть его в эту минуту». Все дело в том, что к кому идет. Все эти Бруты и Гармонии с обликом молодой купчихи были нам эстетически противны. Впрочем, на нашем факультете, по его крайне мирному характеру, подобных выходов не было, и он, вместе с физико-математическим, был самым серьезным в университете.

VI

Итак, что касается до идеализма в науке, то мы видели только закат его — последние прощальные лучи, которые бросала нашему времени уходящая в могилу старость. Эти лучи один за другим тухли, и наступала сырая холодная темь, 10
сквозь которую можно было рассмотреть только какие-то скверно-вызывающие улыбки и куда-то зовущие объятия. Мы их оттолкнули: этого цинизма к науке в ее святилище мы не могли вынести. И потом за пределами университета был все тот же цинизм умственный. Строгой, печальной в своих выводах науки мы не находили и в текущих книгах. Нужно было обращаться к кожаным переплетам, к очень старым журналам, чтобы наконец хоть где-нибудь найти серьезную заинтересованность предметами, которые и нас интересовали, и серьезную речь о них. Приходилось следить и за текущими научными спорами *. Истине засыпались 20
глаза песком, ее пронизательного взгляда больше не выносили. Присмотревшись в университете, мы были уже несколько опытны в различении всего этого и хотя обычно молчали, но впечатления в нас оставались. Так далее и далее расходились мы со временем, которое нас вскормило и воспитывало.

Один из видных публицистов старого лагеря горько сетует на нас. Он говорит о «пренебрежительном, высокомерном, вообще отрицательном отношении *детей* к лучшим заветам отцов». Наш отказ от «наследия 60-х годов» он называет «ничем не оправдываемым» (статья г. Н. Михайловского: «Литература и Жизнь»; Русская Мысль, 1891 г., июля, стр. 144). Положа руку на сердце, может ли он сказать, что мы могли быть другими, вынеся с ранних годов все эти впечатления? И сам он, ясно, как мы, сознавая унижение науки ее служителями, не попытался ли бы вырвать у них по земле волокущееся знамя и понести его хоть как-нибудь 30
самому? Не встал ли бы он, *оставаясь таким же и только родясь в наше время* (то есть не будучи сам инициатором многих идей, естественно не могущим отнестись к ним «со стороны»), в ряды самых горячих борцов с поколением отживающим, в котором стоит теперь? Все мы, поколение за поколением, в самих себе не имеем значения: наше значение обуславливается лишь тем, как относимся мы к вечным идеалам, подле нас стоящим, которые с отдельными поколениями не исчезают. Сохраняет поколение верность им — и значение его не пропадает; изменяет оно 40
этим идеалам — и его значение тотчас меркнет. В сфере умственной любить одну истину — это не есть ли идеал? В сфере нравственной — относиться ко всем равно, ни в каком человеке не переставать видеть человека — не есть ли для нас долг? И если мы видели, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отвратиться от поколения, которое все это сделало?

* Напр., спор о дарвинизме, долго тянувшийся в последние годы.

2. В чем главный недостаток «наследства 60—70-х годов»?

I

В одном рассказе мне пришлось, почти еще в детстве, прочесть, как в один незнакомый город вошли два путешественника. Побродив по улицам, они заметили, как толпы народа направляются все в одну сторону. Так как путешественники не имели никакой определенной цели, то, увлекаемые любопытством, и они пошли вслед за народом. Пройдя несколько улиц, искривленных и тесных, они увидели, наконец, площадь и на ней очень высокое и обширное здание, куда входил народ. С волнами его и путешественники вошли под своды этого здания. Из них один, очень деловитый, тотчас начал осматривать здание и, незаметно подвигаясь, чтобы не нарушить непонятной ему тишины, приближался ко всему, что поражало его сохранившеюся позолотою или казалось ему ценным камнем. Здание было удивительно велико, но вместе и очень старо, с потемневшею по стенам живописью и кое-где обвалившимися уже камнями. Он мысленно измерил высоту его стен и сообразил, сколько приблизительно строительного материала пошло на эти стены. Подивился и общему искусству в его постройке, потому что у себя на родине он не видел таких больших зданий, но все недоумевал, зачем столько труда и денежных средств было употреблено на него, потому что очевидно здание было неудобно, как-то неуютно, и трудно было представить себе человека с такими потребностями и вкусом, которому оно понравилось бы. Все запомнив, все сосчитав и решительно не находя, что ему еще делать, он вышел из здания, только мельком взглянув на своего товарища, стоявшего в задумчивости и, очевидно, еще не расположенного выходить. Между тем другой путешественник, чем долее стоял, тем в большее впадал очарование. Ничего подобного не видал он у себя на родине, и созерцание общего, прежде чем рассмотреть что-нибудь подробно, охватывало его все сильнее и сильнее, так что он все боялся потерять точку, на которой он стоял, и не решался пошевеливаться, чтобы к чему-нибудь подойти. Он не понимал, почему его влекли эти причудливые изгибы линий в сводах, но ощущал, что какие-то всегда жившие в нем чувства, прежде не пробуждавшиеся, неудержимо поднимаются теперь, и он, всегда бывший, как и все люди, точно становится другим человеком. Он был неизмеримо серьезнее и несравненно чище теперь, нежели когда-нибудь. Вокруг него стояли толпы народа, все так же тихо и только по временам совершая какое-то движение. Вдруг слух его поразила тихая музыка, и очарование еще возросло. Музыка доходила до самой глубины его сердца, и он, грубый и легкомысленный, впервые понял, к каким нежным ощущениям был способен. По мере того как храм перед ним раскрывался, он перерождался (по лицам окружающих он догадался теперь, что это в самом деле было нечто вроде тех убогих молелен, куда по временам собирались бедняки его города). Прислушиваясь к музыке и все более очаровываясь, он заметил, что к нему доносятся какие-то голоса и даже что музыка сопровождает какое-то пение. Заинтересованный, он решил наконец оставить свое место и продвинуться дальше сквозь тесно стоящие толпы народа. Голоса стали внятнее, и он уже мог разобрать их смысл. Все, что он пережил раньше в своей душе, чего он не мог преодолеть в себе, поддаваясь вихрю темных и мучительных ощущение-

ний, — он чувствовал, что все это в какой-то великой душе было преодолено, прояснено, и этот свет все победившей души выражался в смысле слышанных им слов. На все в душе своей он нашел в них ответ, какого не предполагал и который успокаивал. Вся его жизнь осветилась новым светом, и он понял, как много мрака было в этой жизни. Все более и более удивляясь, он понял, что, однако, не все слова относились к человеческому сердцу только. Много было совершенно неясных слов, говоривших о предметах вовсе ему не известных, и по тону пения можно было заметить, что эти слова были главные. Сколько он ни напрягал ума, чтобы понять их, это было выше его сил, и это тем более волновало и мучило его, что было ясно, как за разгадкой этих слов объяснится для него и все остальное. 10
Между тем времени прошло уже много, необъятные массы народа вдруг зашевелились и, незаметно для него самого, вынесли его вон из-под темных сводов ставшего для него навсегда дорогим, непонятного здания. На одной из улиц он встретил своего скучающего товарища, который с изумлением спросил его, неужели он до сих пор пробыв в этой стареющей развалине, и что-то заговорил про материал, из которого она построена. Но другой путешественник ничего не слышал из его слов: он все думал о главных, непонятных ему словах и решил посвятить свою жизнь их разгадке.

Этот рассказ, помню, чрезвычайно поразил меня (в каком-то переводном французско-русском сборнике 20-х годов), и с тех пор всякий раз, как мне приходится мысленно оценивать различные исторические эпохи или присматриваться к своему времени, я всегда и все оцениваю в свете этого рассказа. Мы все приносим с собою, рождаясь, различное; мир открывается нам в меру того, что мы с собой приносим в этот мир. Поэтому, когда в данное время все идеи суживаются, горизонт становится тесен и люди как будто погружаются в какой-то глубокий колодезь, я думаю, что это только на время и со следующим поколением все станет видно иначе, чем теперь. Во всем дурном или ограниченном виновны всегда люди, а не природа, которая и безгранична, и всегда остается хороша. 20

II

Никак нельзя сказать, чтобы путешественник, первым вышедший из храма, 30
видел в нем что-нибудь не так; или не то, что там было. Его глаз не делал никакой ошибки, и так же все его соображения, которые следовали за осмотром той или другой части, были правильны, неторопливы, соответствовали действительности. Но только *не всей они действительности соответствовали*: была неполнота в его наблюдениях, и только отчасти зависело от него, что он поторопился выйти. Главная причина заключалась в том, что он как-то вовсе не обратил внимания на общую скомпановку частей и, рассмотрев порознь каждую из этих частей, был уверен, что видел уже и целое, конечно из них состоявшее. От него ускользнуло самое главное: эта общая бегучесть всех линий здания, пересекавшихся так, что у всякого, смотрящего на них, невольно пробуждались какие-то 40
особенные чувства, не имевшие ничего общего с линиями, как геометрическими протяжениями. И в храме, им так подробно, детально изученном, он ничего не понял. Он не понял того замысла, который был некогда в него вложен, всеми ощущался непреодолимо и заставлял эти необозримые толпы народа, оставляя самые нужные дела свои, приходиться под его своды и, на минуту ощутив в себе

могучую мысль, возвращаться с новыми и освеженными силами к своему труду, заботам и страданиям.

В поколении, которое сетует теперь, что оно оставляется, была эта же главная ошибка. Оно было хлопотливо, зорко, ежеминутно деятельно. Но в том, к чему оно прилагало свою деятельность, оно ничего не поняло. И вместо того чтобы своим неустанным трудом залечить наконец все раны, покрыть тысячелетние страдания — оно разбередило эти раны, увеличило эти страдания. Послышался, наконец, крик, почувствовалась ненависть — и люди, которые думали, что они станут для человечества как боги, стали только грудой черепков, с презрением отталкиваемых. В жизни, в природе человека, в окружающем его міроздании это поколение поняло только одни подробности и вовсе упустило то главное, что их связует, формирует в разбегающиеся группы и оживляет собой. Неполнота знания, при его верности; отсутствие в этом знании самых глубоких и значительных частей — это было самое важное, чего сходящее с исторической сцены поколение не заметило в себе. И уже из этого, как вторичное, вытекла грубость всех чувств и отношений, в которой так часто и справедливо его упрекают. Все искажающая, все живое мучающая деятельность его была естественным завершением этого поверхностного внимания ко всему живому.

III

20 В человеке, со стороны должного, они поняли только его потребности; в жизни увидели только игру слепых отношений, которые не могут не улучшиться, если к их направлению будет приложено сознание; в целом міре заметили только протяжения, которые можно измерить, исчислить и, сообразив подробности, — понять остальное в нем, как их простую сумму. Во всем, к чему они обращались, они надеялись и хотели найти только соответствия другим сторонам своей природы. Те сухие, бледные формы человеческого существования, которые впервые были замечены и описаны Аристотелем, потом дополнены Бэконом, — эти формы, в самом существе человеческом задевающие лишь часть, — они думали, охватывают и части, и целое всего міроздания. Общих, разбегающихся и пересекающихся линий, которые бы открыли им главный смысл этого міроздания, они не заметили, все только *анализируя* его; напротив, себя самих и то, из чего слагается их жизнь, они не поняли и не узнали до конца, все только *синтетически* слагая и перелагая жизнь человеческую по грубым потребностям человека. Эта неумелость отнестись мыслью к предмету и была главным источником неполноты их знания. И в самом деле, категория мышления, правильно развивающихся понятий, есть едва ли единственная, по которой создана природа. В какие логические формы может быть уловлено чувство радости, которое мы порою испытываем?

И, однако, эти акты нашей душевной жизни суть такая же действительность, как и то, что мы видим или осязаем: они суть части природы, которую мы хотели бы постигнуть только своим умом. И в самой природе этой, которую мы надеемся охватить только научными формулами (то есть подвести всю под категорию мысли), — разве мы можем утверждать, что в ней нет ничего подобного этим актам, если именно ее продолжительное созерцание и смущает, и тревожит, и неизъяснимо волнует нас? Эти чувства, пробуждающиеся в нас в ответ на впечатления природы, чему в ней отвечают, когда мыслимое в ней только мыслится,

опасное — угрожает, или, наконец, благотворное — приносит пользу? Не ясно ли, что если всякому ощущению есть соответственное ощущаемое, как следствию есть сообразная причина, то и те особенные, не укладывающиеся ни в какую форму мысли и волнения, которые всегда и всюду испытывали люди при созерцании мироздания и которые они выразили в своей поэзии, в своих религиях, *имеют также в самой природе нечто отвечающее себе*, хотя бы это отвечающее было так же мало уловимо для определения или даже просто выразимо в ясном слове, как, например, то, что выражено в мелодии, мало может быть передано в рассказе или изложено в рассуждении. Мы здесь коснулись одного соответствия, а между тем природа вся состоит из них, и ничто другое, как эти соответствия, не проливает такого света на ее цельность. Опуская их из виду, занимаясь лишь изучением причин и их действий, целая школа мыслителей, и за ними наше старшее теперь поколение, лишили себя одного из самых могущественных средств проникновения в природу и даже простого знания множества ее подробностей. И в самом деле, из этих последних каждая есть только *часть* иного, и, как таковая, она полна бывает отражений в себе и этого иного, и других частей его. Нередко ни части эти, ни целое, в которое они входят, не бывают доступны прямому наблюдению, и между тем знание их важно и необходимо. Всматриваясь же, с чем могла бы быть в соответствии наблюдаемая нами часть, мы приблизительно, а иногда и точно, можем открыть и узнать и недостающее целое, и его остальные части.

Все сказанное яснее и убедительнее станет, если мы возьмем какой-нибудь пример. Так пусть перед нами находится какой-нибудь обрывок кривой линии. Всматриваясь в него, мы можем заметить, что кривизна его или правильно изменяется, или остается всюду одинаковой. В последнем случае мы умозаключаем, что он составляет дугу круга с определенным радиусом и определенным же центром. По обрывку, уцелевшему пред нами, всматриваясь в его кривизну, мы без труда находим и этот центр, и этот радиус и, наконец, отыскиваем полный круг: хотя все это более не наблюдается нами. Но это все *отражается* в искривлении той маленькой линии, которая одна теперь перед нами и которую мы поняли как *часть*. Таким образом, связность природы и ее цельность ни через что не может быть видима так удобно, как через это изучение в ней соответствий; только последние образуют собой *истинные*; хотя и не ощущаемые *границы всякой вещи и явления*, далеко простирающиеся их осязаемые, грубые границы, одни доступные грубому прямому наблюдению. Через эти именно, одной *мысли* открывающиеся, границы и происходит взаимодействие вещей, которые иначе в своих грубых формах лежали бы всегда неподвижно друг возле друга, толкаясь или давя одна другую и более неспособные ничего произвести. Два факта — химического сродства вещей и всемирного притяжения — именно здесь и находят себе хотя какое-нибудь объяснение. «Причина действует только там, где она есть», — повторяли схоластическую и, по-видимому, очень точную формулу при открытии Ньютоном его закона и не могли понять, каким образом одно тело, здесь находящееся, может действовать на другое тело, от него удаленное; причем границами предмета или явления, составляющего причину, считали его физические, внешние очертания. Но где границы обрывка линии, пред нами лежащей? Ясно, что, сверх тех точек, которые в ней еще не стертые, еще не успели исчезнуть, от нее идут другие, неощутимые ряды точек, которые, взяв карандаш и присматриваясь к сохранив-

шемся обрывку, мы безо всякого затруднения восстанавливаем около него — и линия в действительности оканчивается только там, где оканчивается круг, к которому она принадлежит. Подобным образом и во всемирном тяготении проявляется связанность всей вселенной, и взаимное действие в ней отдаленных друг от друга тел происходит потому, что они, как части в великом целом, все ощущают друг друга через те невидимые, неосязаемые границы свои, которые далеко претупают их геометрические очертания и могут быть открыты только уму. Так в обрывке дуги, пред нами лежащей, если бы мы стали медленно разгибать ее, — медленно же удалялся бы от нее центр круга, к которому она принадлежит, и при ее окончательном выпрямлении отошел бы на бесконечность. А между тем, физически мы не коснулись бы этого центра и, заставляя отходить его, — вовсе бы его не видели.

Когда были открыты физические элементы, то, изучая их сродство, ученые думали вначале, что они влекутся друг к другу, потому что они одинаковы и их семейства схожи. Однако при детальном изучении каждого элемента порознь, они с удивлением заметили, что свойства влекущихся взаимно элементов скорее характеризуются отношением противоположности. Между тем в этом именно и лежит источник самого сродства. Нельзя представить себе, что природа составила из элементов, как самостоятельных, в себе самих замкнутых тел, которые от начала лежали друг возле друга, потом стали взаимодействовать и через это образовали все тела. Элементы суть продукты насильственного расторжения тел, и эти последние вовсе не позднее их: они — их *первее* в том смысле, что, ранее, чем элементы появились изолированно, были уже тела, в которые они входили. И оттого с такою силою, иногда взрывом, элементы соединяются. Взрыв есть показатель того чрезвычайного усилия, которое теперь повторяется и было употреблено раньше, чтобы разделить влекущиеся вновь друг к другу элементы. Из них есть многие, которые, несмотря на все усилия анализа, долгие десятилетия оставались скрытыми для человека, то есть они не отщеплялись от тел и, только благодаря чрезвычайному напряжению, при помощи особых и в высшей степени искусственных средств, наконец были удалены из своего всегдашнего гнездилища и предстали пред человеком изолированно. Таким образом, химическое сродство есть то же, что частное сродство, и вытекает из всегдашнего взаимодействия в целом (теле) его частей (элементов). Отсюда разнородность всего влекущегося. Уже в простейшем примере, который мы взяли для объяснения этого явления, — в обрывке геометрической линии, эта линия связуется, восстанавливает около себя части не себе подобные, но от себя отличные: радиус, то есть совершенно прямую линию, и центр, то есть точку, находящуюся вне дуги окружности.

И, наконец, если бы кто-нибудь, продолжая сомневаться в сказанном, все-таки утверждал, что целое непременно составляется из своих частей, а не потому на них разлагается, тот мог бы быть поколеблен в своем мнении сосредоточением своего внимания на своем собственном теле: в той первоначальной, одиночной клеточке, из которой развился весь его организм, какая часть его тела была заложена? Не ясно ли, что эта клеточка не была ни костью, ни мускульным волокном, ни частью нервной ткани, ни вообще каким-нибудь элементом его тела, а именно им целым, которое потом разложилось на элементы? Хотя, повторяем, клетка была только одна и на всем протяжении однородна, она ни из чего не составлялась, но прямо отделилась от родительского организма. Итак, в этом при-

мере мы с очевидностью наблюдаем, что целое может быть первее своих элементов, хотя несомненно состоит из них; подобным же образом, можно думать, от начала мироздания, при всяких высоких температурах, были только более и более разреженные пары воды, но вовсе не было отдельно друг возле друга лежавших элементов, которые, соединившись, образовали из себя воду.

В фигуре геометрической, как чистом протяжении, мы наблюдаем между частями только геометрическую связность; в телах физических эта связность есть и должна быть физической; последняя и выражается в *действии*. Дуга круга лишь указывает в своей кривизне на положение центра и длину радиуса; но восстановить их, по строгим указаниям дуги, можем лишь мы. Это потому, что протяженность есть лишь сфера физической возможности, есть условие, при котором все предметы и явления только *могут* существовать; но действительность начинается лишь там, где протяженность наполняется протяжимым, т. е. веществом. Там, где оно уже появляется, не нужна рука постороннего существа, чтобы указываемое осуществить, намеченные точки наполнить каким-нибудь оттеняющим их веществом. Здесь указание заменяется осуществлением, намечивание — действительным восстановлением около себя целого. Когда химический элемент с силою притягивает к себе недостающие ему (до целого тела) другие элементы, располагает их около себя и получается цельное тело — пред глазами наблюдателя происходит то же явление, как если б из середины дуги, пред ним лежащей, вытянулась линия и, остановившись на известном расстоянии от этой дуги, из точки своей остановки, повторилась по всем направлениям бесчисленное число раз, с каждым разом прибавляя свою оконечностью новую точку к прежней дуге, пока она не сомкнулась бы в полный круг. Природа в наблюдаемых формах своих подобна множеству таких обрывков геометрических линий, которые, по-видимому, изолированы, но в действительности все сцеплены между собой и взаимодействуют чрез не наблюдаемые, только мыслимые добавления себя до целого. Здесь и лежит источник физических сил. Их разнородность, их численность зависит от того, что разнородны и многочисленны самые соответствия, в которых находятся между собой части вселенной. Но что все они вытекают из одного какого-то источника, имеют в своем основании какую-то одну особенность в сложении всей природы, — это видно из того, как все-таки много одинакового в проявлениях самых разнородных сил.

IV

Человек, как часть природы, не составляет в этом отношении исключения; но, вместо бедных и однообразных соответствий, которые связывают каждый физический предмет с окружающей средой, соответствия человеческой природы со всем миром и многочисленны, и разнородны. Как организм, как ряд сгруппированных веществ, он соотносится со всеми физическими стихиями природы. Но, сверх этого грубого соотношения, мы находим в нем другое, неизмеримо более глубокое: в его душу как бы вложены завитки всего мироздания и, повинувшись их естественному расположению, он влечется так своим умом и своим чувством ко всему же мирозданию — воссоздает его в поэзии, понимает чрез науки и философию, стремится разгадать его сокровенную сущность в своих религиях. Нет ничего в природе, не исключая самых тонких и неуловимых ее изгибов, что, так

или иначе, не находило бы доступа в человека: и это значит, что в нем самом уже есть предчувствие, предугадывание всего, что лежит в природе. По справедливости, отношение его к ней не только сходно, но и во всей строгости повторяет собою отношение к многолетнему ветхому дереву плода, который наконец вызрел на нем и упал на землю: в скрытой возможности, в законах и силах своего роста, этот плод заключает все, что есть и в дереве, — все элементы его, и все законы и силы, и подобную же жизнь. Мир духовного творчества, вырастающий из человека, есть только последствие этого отношения его к природе.

10 Понять это особенное существо, и притом будучи им самим, так плоско и бедно, как понят был человек людьми нашего старшего поколения, — это есть одно из самых удивительных явлений истории. Как будто люди эти никогда не задумывались ни над мыслью своею, ни над движениями своего сердца, ни, наконец, над своим рождением и ожидавшею их смертью. Это были дети, которые, найдя в поле яблоко, поняли только то, что его можно съесть; какие-то трудолюбивые муравьи, которые, со всех сторон таща к себе былинки и все, что облетало с природы и было еще прекрасно, знали только одно, что из всего этого можно построить их муравейник. Страшная бедность мысли, отсутствие какой бы то ни было вдумчивости — вот что сильнее всего поражает нас в этом поколении, одним из самых жалких и скудно одаренных в истории. Не беспричинна была и ка-
20 кая-то странная недолговечность его, и это отсутствие хотя бы одного гениального дарования на всем его протяжении, и какое-то органическое отвращение, которое выказывало к нему богато одаренное поколение 40—50-х годов*. С непоколебимостью детей, съедающих яблоко, с твердостью муравья, который, не развлекаясь никакою мыслью, дырявит живое зерно, чтобы положить его в свою кучу, и эти люди перерывали все естественные отношения в сложившейся по глубоким законам жизни, чтобы воздвигнуть среди этой жизни свою кучу-жилище. Так как в богатой, многообразной и могучей действительности, выросшей из истории, не было и тени подобия их бедной и искусственной постройки, то естественно им казалось, что они «строятся в пустыне»**. Как к песку пустыни, который лепится с глиной в кирпичи и кладется то в основание, то в вершину здания, — они относились к живым людям. И себя не жалели они при этой постройке, лепились, надрывались и падали, как муравьи; не жалели также и других людей, вовсе не знавших, что у них делается. Отсюда — вся боль, которую вызвала эта деятельность. Повторяем, не грубость чувства, но ошибка узкого ума есть главное, что причинило все пережитые нами недавно несчастья. Напрасно окружающие люди говорили, что они вовсе не тем живут, что приписывают им «строители», напрасно о том же говорила им вся история — они слышали все это, но ничего в этом не поняли. Им все казалось, что они лучше всех других узнали человеческую природу, хотя в действительности они только беднее всех
30 ее поняли. Они взяли minimum человеческих потребностей и по этому minimum'у, с ним сообразуясь, стали возводить здание, которое для них самих было бы тес-

* Тургенев, который, даже и в последние годы, не всегда мог скрыть это чувство (см. его переписку); Достоевский — во всех своих произведениях; Л. Толстой в отношении к сожалемой им, но лишь в ее уродстве, фигуре Николая Левина; наконец, Гончаров в лице Марка Волохова. Только само это поколение как прежде, так и теперь всегда восхищалось собой.

** Выражение г. Н. Михайловского, поддерживаемое и «Вестником Европы» (см. 1891 г., май, статья «Писатель 60-х годов»).

но и узко (если б им пришлось в нем пожить подольше) и куда они хотели бы навеки заключить все человечество. Эта мечта лишенной воображения мысли стала их инстинктом, нормой их деятельности и мышления. Все, что выходило за ее узкие пределы или что ей противоречило, они считали как бы за призрак Майи, который нужно разорвать, уничтожить, дабы прозреть чрез него в действительность. Народы, тысячелетия, их борьба и страдания — все это было для них менее ощутимо и убедительно, нежели то чувство страшной боли, которое поднималось в их бедном уме всякий раз, как только пытались пошевелить в нем как-нибудь не так овладевшую им идею. Здесь, в этой душевной скудости, и заключалось главное зло, которое могло перестать искажать историю лишь тогда, когда ее вечно растущий ствол покроется новым налетом листьев. 10

V

И эта смена зеленого убора снова совершается. Напрасны жалобы и сетования опадающих листьев: им не повернуть солнца на зиму. На себе самих, на своей судьбе, хотя бы в последние минуты своего трепетания, они могли бы понять сколько-нибудь ту природу, в которой выросли и на которую никогда не хотели раскрыть глаз.

Мы снова обратимся к сравнению, которым начали эту статью. В храме, в который вошли два путешественника-друга, было для них обоих открыто одно и то же; но увидели в нем они различное, и на этом увиденном и понятом они разошлись навеки. Кто из них был более прав? Тот, кто посмотрел полнее. Ведь и второй путешественник, так долго простоявший в задумчивости среди храма, видел в нем все, что видел и первый, — и высоту стен, и материал, из которого они выстроены, и его приблизительную стоимость; но это было не все, что он увидел здесь. По причинам, за которые ему нужно было благодарить природу-мать, его глазу дана была восприимчивость к гармонии красок и линий, а его слуху — восприимчивость к сочетаниям звуков. Не только шум и не простые переливы зеленого и синего цветов различил он, стоя здесь, но понял выразительную музыку и исполненную смысла живопись и архитектонику частей. Что было делать ему, если его бедному другу не дано было различить всего этого: он не мог выйти вслед за ним. И между тем, когда они снова встретились на улице, ему было чрезвычайно трудно что-нибудь объяснить этому другу. Здесь сказалось простое несоответствие задатков, которые от начала были вложены в их души. Если б он указал ему на сводчатые линии колонн, замыкавшихся в купол, его друг ответил бы, что эти колонны действительно сводчатые и что наверху купол; но что было дальше объяснять ему и как объяснять? Чувство, выраженное линиями здания или красками картины, прошедшее когда-то через душу мастера и вновь пробуждающееся потом во всяком, кто *умеет* смотреть на его создание, — вот чего невозможно передать другому. 20 30

Кстати, в этом явлении, столь непонятном одному и понятном другому, удивительным образом отражается общий смысл двух мировоззрений, из которых одно теперь становится на место другого. Мы уже сказали, что грубость мысли, способной лишь к поверхностным наблюдениям и заключениям, была главным недостатком людей 60—70-х годов и что последствием этого недостатка была неверность их воззрений как на окружающую природу, так и на самого человека. 40

В частности, что касается последнего, он считался этим поколением простым продолжением физической природы, наиболее сложную комбинацией ее элементов и сил. Его дух, его идеи и верования, его стремления в истории — все это считалось только производным от его физических данных *на основании того, что с изменением этих данных всегда наступало изменение психической деятельности*. Но вот пред нами нарисованный образ, и всякий раз, когда мы на него смотрим, в нас пробуждается чувство неопределенной грусти. Это чувство, нам передающееся от картины и уже в ней заключенное, есть по отношению к краскам, которыми она нарисована, то же, что душа в человеке по отношению к телу, в организации которого она выражена. Это — слабая, мерцающая тень, которая в своем отражении верно показывает взаимные границы двух связанных существ, на которые взглянуть прямо нам никогда не суждено. И в самом деле, не изменяется ли чувство, выраженное в нарисованном образе, всякий раз, как только изменяется в нем какое-нибудь расположение красок? Вот кто-нибудь берет кисть и подходит к нему: по мере того как кисть снимает что-нибудь в краске или сдвигает прежде разделенные линии — непонятным образом чувство, прежде проникавшее картину, начинает померкать и померкать, оно становится менее отчетливо, труднее воспринимается смотрящим и, когда перемещение красок делается значительным, — пропадает окончательно. Мы имеем перед собой краски — те же, какие и были, — но иначе размещенные, из которых совершенно исчезло то, что прежде светилось сквозь них и так привлекало и волновало каждого. Теперь они могут быть размещены как угодно, никакой принудительной необходимости в их расположении нет: это — только безжизненное вещество, свободно движущееся туда и сюда. Но прежде они были связаны в своем расположении. Что их связывало? Чувство, прошедшее некогда по душе неизвестного мастера, которое он захотел выразить, и для этого собрал и расположил краски ему известным, определенным способом. Именно это чувство — *акт живой теловегетической души* — необъяснимо завязалось в вещества, которые, по-видимому, только известным образом поглощают и отражают лучи спектра. Есть ли этот психический акт только следствие, вытекающее из размещения красок? Нет, он по времени предшествовал этому размещению, и никогда бы не произошло последнего, если бы не было нужды закрепить этот акт. Куда же исчезает он, когда картина погибла? В гибели ее, в стирании красок мы видим обратное геометрическое передвижение веществ, некогда сдвинутых для восприятия психического акта, который предшествовал этому движению. Там, мы знаем, этим сдвижением не был создан психический акт, — и он не мог исчезнуть здесь — в обратном перемещении красок, он просто стал неощутим, не выражен более. Но в душе, одно движение которой он составил когда-то, он запомнен и продолжает быть. Здесь, в этом явлении, каждая черта которого нам известна и понятна, мы с очевидностью наблюдаем, как самая тесная обусловленность двух существ совершенно соединима с их полной разнородностью, и также видим, как появление и исчезновение пред нами одного существа в зависимости от изменения другого есть только обнаружение и скрытие того, что в действительности было прежде этого обнаружения и всегда после него останется. Простая ошибка в умозаключении была причиной, что мир поэзии, религии и нравственности остался непонятым и навсегда закрытым для поколения, которое должно бы сетовать на себя только, а между тем сетует на других.

3. Европейская культура и наше к ней отношение

I

В июньской и июльской книжках «Вестника Европы» за 1891 г. рубрика «Из общественной хроники», всегда наиболее живо отражающая текущие интересы журнала, посвящена обсуждению и осуждению разных замечаний, высказанных в последнее время нашими публицистами относительно западноевропейской цивилизации.

«Запад гниет, запад разлагается» — такова была, говорит почтенный журнал, пятьдесят лет назад одна из любимых формул только что зарождавшегося славянофильства. *Теперь славянофильство как организованное целое более не существует. Его основатели давно сошли со сцены; исчезли и непосредственные их преемники*, поддерживавшие так или иначе первоначальные традиции школы; *остались только кое-какие обрывки некогда стройного учения, повторяемые другими людьми, в другом тоне и с другою целью.* Уцелела в этом смысле и формула, приведенная нами выше. По-прежнему чувствуется в ней *высокомерное отношение к «гужим» и «гужому»*, по-прежнему слышится *благодарность судьбе, сделавшей нас иными — лугшими*, более сильными и свежими, чем наши «ближние» (июнь, 1891 год, стр. 882).

В этом отрывке, как в крошечном лоскутке огромного покрывала, которым вот уже несколько десятилетий писатели враждебного лагеря сияются задернуть от общественного внимания славянофильскую теорию, ясно можно видеть истинную причину постоянной безуспешности подобных усилий: в сфере мысли можно бороться только мыслью, но ничего нельзя сделать словами, как бы много их не было набрано. И в самом деле, в приведенной тираде все слова стоят как-то врозь, едва цепляясь друг за друга грамматически и совершенно не удерживаясь в какой бы то ни было логической связи: какое отношение между смертью основателей славянофильства и их непосредственных преемников и самую теорией, ими завещанной? Кто и когда «организовал» славянофильство и что вообще могут означать слова «организованное славянофильство»? Но написавшему все эти непонятные выражения кажется, что в них есть какая-то убедительность, и в неприятном учении он уже видит «обрывки».

В том и заключается сила славянофильства, что, будучи идеей немногих избранных умов и имея против себя всю огромную массу образованного общества, оно всегда критически относилось к своему содержанию, постоянно пополняло его и очищало. Отсюда такая органичность в развитии этого учения, постоянный преемственный рост, какого и тени мы не находим в учении «западников», и до сих пор все повторяющих общие места, встречавшиеся уже у Белинского и его современников*. На какой труд, подобный, например, «России и Европе» покойного Н. Я. Данилевского, *по сложности, по системе развиваемой мысли*, могут указать «западники» в своем лагере? Где у них эта страстность и чистота убежденности, какие есть у Константина Аксакова? Эта прелесть и сила речи, которою, — независимо от всякого содержания, мы любуемся невольно в «Национальной

* Вообще в развитии «западнического» учения нет ни преемственности, ни роста, и это выражается в простом факте, что *история* его не написана и не может быть написана. Напротив, история славянофильской теории существует.

политике» и других многочисленных статьях К. Леонтьева? Поистине, силою и разнообразием дарований, богатством и сложностью мысли, высоким уважением к Европе и страстной любовью к своей родине славянофилы так ярко выделяются на тусклом фоне нашего общества, что, как бы ни было многочисленно последнее, раньше или позже ему придется только преклониться перед этими избранными натурами, которые оно из себя выделило. В этом ряду мыслителей, художников и поэтов, соединенных между собою единством воззрений и симпатий, мы находим такую твердость убеждения и силу преданности, о которую всегда разобьется всякий праздный смех, к какому уже с самого раннего времени стали прибегать их противники. Высказанное впервые И. Киреевским, развитое и углубленное Хомяковым, возведенное в систему Н. Я. Данилевским, учение это продолжает развиваться и до сих пор. В замечательных трудах К. Леонтьева мы видим последнюю трансформацию этого учения, и если бы западническая критика не ограничивалась повторением общих мест, *если б она действительно имела силы бороться* — она давно подвергла бы систематическому обсуждению идеи, высказанные последним в книге «Восток, Россия и Славянство» или в брошюре «Национальная политика как орудие всемирной революции». Мысль, кажется, заслуживает того, чтобы к ней отнеслись с мыслью. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами убедил меня, что я заблуждаюсь», — сказал этот писатель в одном из своих трудов; и неужели это сознание своего бессилия отказаться от того, что, быть может, составляет мучение жизни и, однако, истинно, — не в состоянии пробудить в окружающих людях интереса к этим особенным и печальным мыслям очевидно сильного ума и честного сердца?

Но если таково отношение к живой мысли в недрах самой литературы, то не утрачивает ли эта литература всякое право на какое-нибудь особенное уважение общества, руководить которым, однако, берется? «Спор выясняет истину», — повторяется в печати постоянно, и этим она высказывает требование для себя свободы и влияния. Но вот истина высказана: она ярка и значительна; но только потому, что она вместе и неприятна, она завлакивается от общества молчанием и погибает под тяжестью голосов, сегодня интересующихся одним, завтра другим — без которых, быть может, эта важная истина была бы услышана обществом и обдумана. В частности, «Вестник Европы», который вот уже четверть века держит среди нашего общества знамя западноевропейской культуры, если бы он хоть сколько-нибудь понимал обязанности, вытекающие из положения, занятого им в литературе, — давно и первый заговорил бы он об этих идеях, столь глубоко и тревожно осуждающих судьбы проповедуемой им культуры. Не может же орган печати, если только он действительно серьезен, упустить повод обстоятельно высказать свои взгляды, когда сильный соперник вызывает его на сильный отпор? Но вот, по предмету, где он должен бы высказываться, он ограничивается остроумием и, вместо этого, на десятках страниц излагает книги, которые могли бы быть изложены во всяком другом журнале, теперь, или после, или даже никогда — все равно. Покойный Шелгунов или г. Скабичевский, может быть, добрые люди и очень усердные писатели; но к идейному содержанию нашего общества, насколько оно уже высказано, и гораздо лучше, другими людьми, они не прибавили ничего. Итак, их можно оставлять, как высказывающих, быть может, верные мысли, в покое; но что же в их мнениях излагать?

II

Мы заметили выше об органичности, которой отличается развитие славянофильской теории. И действительно, все ее отдельные элементы являлись сначала в форме догадок, предчувствий, необоснованных воззрений и требований, и только потом, путем нового движения мысли, все это слалось в твердые члены связанной системы. Можно сказать, что славянофильство не изобретено, не придумано, но философски открыто: до такой степени оно соответствует текущей действительности и истории — так оно оригинально, настолько преобладают в нем начала научного объяснения над догматическим требованием. Частный случай, о котором мы заговорили, как нельзя лучше подтверждает общую истину. Недоверие к западному прогрессу, слова о «гниении» Запада действительно уже много десятилетий не сходят с уст славянофилов. Но одно указание на недостаток в Европе некоторых свежих и здоровых чувств, какие сохранились у нашего народа, или даже указание на резкую ложность и несправедливость многих распространенных там понятий и учреждений, конечно, не было бы еще подтверждением столь общей мысли, что западная культура, в ее *целом*, падает или что прогресс *вообще* есть зло. Истинный взгляд на все подобные указания должен быть тот, что они выражали бессильное желание чем-нибудь подтвердить смутное и, однако, очень сильное предвидение, чувство. Это были вопли Кассандры, совершенно лишенной каких-нибудь средств убедить тех, кто над нею смеялся. Но вот прошли десятилетия, и вопли оправдываются, а из смеявшихся еще смеется только тот, кто уже совершенно ничего не понимает и ничего не способен видеть.

В лагере прежних славянофилов, если бы услышан был человек, говорящий, что две-три проигранные битвы, которые заставили бы нас навсегда отречься от западных славян, были бы очень дешевой ценой, какой мы могли бы купить это драгоценное для нас отречение, — в лагере ранних славянофилов этот человек, вероятно, был бы сочтен величайшим врагом Славянства и противником всей славянофильской партии; и, однако, так велико богатство внутренних задатков этой теории, что именно К. Леонтьев является одним из самых глубоких исполнителей славянофильской идеи. Политическая сторона этой идеи, над которою так много работал И. С. Аксаков, о которой шумели в свое время д-р Ригер и множество других, — все это осело, как пыль, пред истинно великою задачей: *продлить культурное существование геловегества грез отсежение славянского мира от очевидно разлагающейся культуры Западной Европы*. Если у человечества в его целом, у культуры, у цивилизации, у истории просвещения был когда-нибудь друг, борющийся за все это, не жалея своего имени, своих сил, произнося в минуты отчаяния самые безумные о них слова, способные покрыть произнесшего только позором, то это — мало известный, пройденный у нас молчанием писатель, труды которого мы только что упомянули. Он нашел объективные признаки *всякого* разложения и *всякого* развития и, приложив их к западноевропейскому социальному строю, — по ним определил его несомненное падение. Отринув показание субъективного чувства, которое у каждого человека изменяется сообразно темпераменту, воспитанию и окружающей среде, он чрез это одно поднялся над всеми партиями и стал на высоте наблюдателя-мыслителя. С этой высоты он открыл, что как в природе, так и в истории человечества *процессы развития имеют одно течение*: восхождение от первоначальной простоты, слитности — к много-

образию форм, в одно и то же время отдельных и связанных прочно единством общего типа; далее, непродолжительное стояние на высшей точке этого многообразия форм и, наконец, падение вниз, вторичное и более быстрое нисхождение к прежней слитности, однообразию всех частей. Племя, в котором возникает государственная организация, появляются сословия, расцветает религиозный культ, военные подвиги, наконец поэзия и философия, — вот пример восходящего развития; минеральная масса, слагающаяся в определенные грани, не переступаемые ни для одной частицы вещества, замкнутая в строгой геометрической форме, — вот еще восходящее развитие; наконец, сюда же относится последовательное образование из туманного звездного пятна центрального светила и системы планет, распадении каждой из них на атмосферу, воду и сушу и выделение последней над водой в форме материков. Всюду, куда бы ни обратили мы взгляд, будут ли то космические массы, наша земля и населяющие ее организмы, наконец человеческий дух и его история, — везде восхождение жизни, повышение развития сопровождается *распадением прежде слитной массы на своеобразные и обособленные части*. И, напротив, все в природе, разлагаясь, проходит чрез процесс вторичного смешения частей и упрощения всего своего сложения: в гниющем трупе границы органов смешиваются, жидкости разливаются по всему телу, все становится однородною массой, которая, разложившись на свои элементы, сливается, наконец, с окружающею физическою природою; также утрачивает свои грани и твердые углы расплывающийся кристалл, который готов исчезнуть в растворяющей его жидкости; и в солнечной системе, если бы каким-нибудь образом ослабли законы, принудительно удерживающие каждую планету в своей орбите, вскоре бы наступили хаос и смешение, и простая груда однообразных развалин заменила бы сложный, цветущий разнообразием мир. Наконец, государство, умерев, оставляет на своем месте неустроенную этнографическую массу, столь же простую, лишенную внутренней морфологии, как и та, которая предшествовала его возникновению. Итак, сложность внутреннего содержания есть показатель внешней крепости и общего жизненного напряжения во всем, что существует; напротив, возвращение к простоте, начинающееся смешение элементов есть симптом умирания.

Возможно ли сомневаться, что все это действительно так? И неужели раздражение страстей в борющихся теперь партиях так велико, что в самом деле наступило время, предвиденное одним политиком, когда аксиомы геометрии будут оспариваться, раз это потребует для собственной победы и для того, чтобы не сдать правому, но ненавидимому противнику?

III

С конца прошлого века события истории развиваются так быстро, что в самом деле трудно не растеряться, следя за ними. Европа конца XIX века не имеет ничего общего с тою, в которой готова была разыгаться французская революция. К. Леонтьев первый указал истинную и самую *общую* точку зрения на эту революцию с той бесстрастной высоты, где уже нельзя различить отдельных голосов и партийных интересов, где течение истории представляется лишь как ряд восходящих и нисходящих биологических процессов; он усмотрел впервые тот окончательный результат, к которому со времени этой революции направляются все

дела Европы: уравнивание классов и слияние этих государств в компактную массу европейского человечества — с ослаблением и потом уничтожением какой-либо организации внутри. Личность и человечество, как некогда атом и вселенная, остаются единственными целями исторического процесса, который уже открылся. С достижением их человечество будет так же дезорганизовано, так же стихийно и первобытно, как и тогда, когда история только еще готовилась зародиться, — с тою разницею, однако, что тогда оно носило в себе задатки для такового зарождения, теперь же будет пусто от них. И в самом деле, как горизонтальное (по сословиям), так и вертикальное (по провинциям) расслоение наций уже повсюду исчезло в Европе, и личность движется в ней свободно, соотносясь только с государством, к которому она принадлежит. Права гражданина, равные для всякого и везде, суть единственные еще остающиеся связи в государстве, где все индивидуальное, особенное, своеобразное, блекнет и исчезает, не терпимое более никем. Эта нетерпимость, это всеобщее отвращение к *особенному* в правах, в обязанностях, даже просто в характере, есть только показатель неудержимого уклона истории, по которому текут желания всех людей, по-видимому личного происхождения. Одно государство, повторяющееся в типе всех остальных, и одна личность, воспроизведенная в миллионах подобных, — это есть историческая задача времени, успешно осуществляемая партиями, повсюду наиболее могущественными. У К. Леонтьева опущено одно наблюдение, которым он также мог бы подтвердить свою мысль: границы государств уже не имеют теперь той твердости — они не так резко разделяют политические тела, как прежде. Той абсолютной автономности каждого государства от системы всех остальных, той особенной неприкосновенности границ, в силу которой они некогда были непереступаемы для чужой воли, — всего этого уже нет более. Политические границы, как и административные (между провинциями), — вовсе уже не грани расчлененной народной жизни, а скорее простое ландкартное деление. Их обозначает пунктир на бумаге, но не народное чувство и даже не народные интересы. Громадное множество международных обществ, международные же конвенции, всемирные рабочие союзы, наконец, рельсовые пути и согласованные тарифы — все это похоже на стальную паутину, которая крепнет с каждым днем и все более и более соединяет прежде разнородные нации в одну слитную массу, части которой скоро будут неразличимы. В самом характере главной власти, которою резче всего обозначается автономность государств и народов, произошла сильная и, к удивлению, незамечаемая перемена: король — это не полководец больше, не герой и не святыня своего народа, олицетворяющий в своей воле, в своих дарах и даже в капризах *полную* личность своего народа с его умом и страстями. Это — только главный администратор в стране, который платится, как и все другие, когда действует неумело. Об его личности, об его пороках или добродетелях не слагаются более легенды, и все это даже мало интересно: интересно содержание деловых бумаг, которые текут от него в большем обилии, нежели от кого-нибудь другого в государстве. Таким образом, и здесь даже сказывается общий процесс истории: все обезличивается, все принижается и смешивается — «все умирает», говорит К. Леонтьев. И что же можем мы возразить против всего этого? Но если так, то все наше отношение к *прогрессу* меняется, и отношение к западной культуре делается невольным исполненным опасений. Пусть она величественна, пусть она исполнена мудрости: это не имеет ничего общего с разложением, которому подлежит и вся-

кое величие, и все мудрое. Колоссальный организм, загнивая, дает только более удушливые миазмы, и все живое должно, избегая смерти через заражение, сторониться от него. Повторяем: только прочитав многочисленные статьи К. Леонтьева, освещающие с разных сторон, на разных частных предметах, все одну и ту же истину — *одну и главную в наше время*, — впервые начинаешь понимать грозный смысл всех мелких, не тревожащих никого, микроскопических явлений действительности: там вскроется пузырек, там ослабеет ткань, и, кажется, колосс всемирной культуры еще неподвижен, а между тем с ним совершается самое важное, что когда-либо совершалось. Когда он дрожал, в прежние века, под напором турок или арабов — это было склонение молодого организма под напором ветра, дувшего со стороны; теперь вихри ему не страшны, да и как-то странно они совсем замолкли. Только удушливый зной стоит кругом; и будем ли мы бросать камни в того, кто первый, потянув в себя воздух, сказал нам, почему в самом деле атмосфера так удушлива?

IV

«Вестник Европы» ничего этого не понимает: ему все мерещатся дворянские захваты, и, на страже европейской цивилизации, он считает долгом для себя их оспаривать; он борется, он напрягает силы, он недаром «журнал политики». Он не знает, что со своею бедною «политикою» он только маленький гноящийся пузырек, вскочивший на точке соприкосновения здорового организма с больным. Но, кто это поймет, конечно, не будет его оспаривать: наивность, как и все другое, должна же в чем-нибудь выражаться. Нигде, ни в исторических, ни в политических созерцаниях своих маститый журнал не возвысился над плохими учебниками, где объясняется, что «за временами преуспеваний» следуют «времена упадка» и энергическое движение вперед вызывает потом «реакцию». Приложить эти заученные параграфы к живой и текучей жизни — вот все, что он может.

Но истинною русскою мыслью в ее новых явлениях руководит впервые столь яркое и столь несомненное сознание *положения своего народа в истории*. Нет при этом никакой враждебности к Европе: есть простое сознание того особенного фазиса, через который проходит ее жизнь. Это сознание есть результат того, что оставлено прежнее скользкое к ней отношение, это жалкое восхищение ее техническими выдумками, ее «усовершенствованиями» и всем внешним блеском, богатством и могуществом. Не этим живет человек, и не этим движутся, крепнут и сохраняются в истории народы. Не этим жила и Европа, когда она возростала. Ее текущему фазису, какому-нибудь полу столетию, противопоставляются пятнадцатые веки ее же истории. Странные минуты, в самом деле, переживает она: столько создать, столько накопить, так долго и страстно любить это накопленное и, на исходе пятнадцатого века своего существования, — вдруг забыть цену всего и начать разбивать столь бережно сохраненное. Что же: будет ли проявлением любви и уважения, если и мы, вслед за ослепнувшим безумцем, будем раздирать на части его сокровища, поджигать его ветхий дом и плясать скверный танец на развалинах прошлого счастья и величия? Так мог бы поступить раб, но не друг. И истинное уважение наше к Европе выразится именно в том, что — унося ее не оцененные сокровища к себе, на них воспитываясь и развиваясь, чтобы стать со временем хоть сколько-нибудь достойным преемником ее в истории, —

мы совершенно и окончательно отвернемся от того, что она сделала за последнее время и еще готовится сделать, и, сколько будет в наших силах, смягчим те удары, которые она порывает, по-видимому, наносить самой себе. В прекрасных воспоминаниях покойного Буслаева рассказывается один интересный случай: гр. Строганов, с семьей которого он путешествовал, недовольный его совершенным неведением текущих политических событий, дал ему однажды, для ознакомления с ними, прочесть номер «Аугсбургской Газеты». Но, несмотря на все усилия, юный энтузиаст Европы ничего не мог понять в нем — все события и лица, о которых говорилось в газете, были ему вовсе не известны и, главное, совершенно неинтересны. И, между тем, он изучал в это же время Тасса и Данта на острове Иския и даже одного итальянца познакомил с «Декамероном». Что же: приехав на родину, он менее в ней послужил Европе и менее любил ее, нежели, например, г. Евг. Утин или г. Арсеньев, которые уж верно умеют читать газеты? Этим примером и этим сравнением мы все сказали.

4. Два исхода

I

Для поколения 80-х и 90-х годов, так непреодолимо разошедшегося со своими «отцами», открываются два пути: или, поняв, как недостаточно просвещение предыдущего поколения, стремиться заменить его просвещением более глубоким и развитым; или, напротив, приняв его за ряд непоколебимых выводов рассудка и, все-таки чувствуя, как выводы эти противоречат всем остальным сторонам человеческой природы, неясным и, однако же, вечным и глубоким, — довериться этим последним и насильственно ограничить свой разум. Этот второй исход, не формулированный и все-таки ясный, невольно чувствуется в том движении, которое примыкает к последним произведениям нашего знаменитого художника, а теперь проповедника новых начал жизни, гр. Л. Н. Толстого*.

Есть что-то похожее на секту в том кружке людей, который рассеян теперь повсюду в России и главным интересом для которого служит проведение в личную свою жизнь идей великого романиста. Много было высказано в последние годы по поводу этих идей; но высказанное было, по преимуществу, или критикой их и опровержением, или, напротив, горячею их защитой. Но среди споров, в разгаре борьбы ни разу не было указано на историческое положение всей этой ветви

* Первым и очень ярким выражением этого движения нужно считать появление критического этюда покойного Громеки «Последние произведения графа Л. Н. Толстого». Основная идея этого этюда состоит именно в доказательстве *недостаточности рассудочного мировоззрения*, но не в смысле его логической слабости, а по *противоречию другим основным сторонам теловегетической природы*. Как это ни странно покажется, но до появления этого разбора смысл «Анны Карениной» для огромных масс читающего общества был не очень ясен, даже просто — *незначителен*; в последнем силилась и успела убедить многих тогдашняя критика — не яркая, но обильная. Этюд г. Громеки имел огромный успех, им зачитывались в свое время, особенно в подрастающем поколении, и после него именно открылись повсюду толки о смысле, правильности и применимости идей графа Л. Н. Толстого.

нашего общественного развития, и также забыта была его исходная точка. Уже почти двадцать лет тому назад впервые разнеслись в обществе неясные слухи о какой-то «исповеди» знаменитого романиста, где он рассказывает историю своих внутренних тревог и исканий и излагает воззрения на человеческую жизнь, которыми заключились эти искания. Вскоре появился, хотя и ненапечатанный, текст самой исповеди, который с жадным любопытством читался всеми. Однако, помимо любопытства, во многих возбудилось тогда и радостное чувство: человек признанной духовной силы вращался в сфере интересов и вопросов, в которых вращались по разным углам уже очень многие в то время, никогда не решаясь, однако, поднять свою голову и высказать вслух то, что их давно и мучительно занимало. То был знаменитый вопрос о цели человеческой жизни. Даже в печати, в то время бывшей в совершенном неведении о том, что именно происходит в подрастающем поколении, чувствовалась инстинктивно грядущая важность этого вопроса, и я помню хоть неумелые, но оживленные толки в ней, поднимавшиеся всякий раз, когда появлялась какая-нибудь книга, посвященная, например, теории или истории утилитаризма.

Собственно у поколения 60—70-х годов было решение этого вопроса, воспринятое извне и по своему смыслу узкое, которое в литературе того времени по обыкновению горячо пропагандировалось, но вовсе не развивалось и вообще не изменялось. Это был ответ, утверждавший, что другой цели, кроме устройства своего счастья, человек на земле не имеет. Из тесных кружков ученых, из библиотек и с университетских диспутов учение это давно спустилось в широкие массы общества, где, при слабости всех других понятий жизни, оно без труда распространялось. Его ясность и простота, его, наконец, аксиоматичность для всякого, кто лишен каких-нибудь мистических воззрений на природу человека и его судьбу, — все это делало учение утилитаризма легко усвоимым и очень твердо держащимся. В нем был только один недостаток: оно было слишком трезво, слишком ясно, и в нем не находилось никакого ответа и удовлетворения многим темным и глубоким сторонам человеческой природы, многим тревогам ее совести. Пока в жизни все было ясно и просто, пока она катилась легко, — для всех было очевидно, что это ученье прекрасно объясняет собою действительность и совершенно достаточно для человека. Но как только в его совести происходило что-нибудь, как только чувствовалось затруднение в исторических путях — столь же очевидным становилось для всякого, что учение это и не покрывает действительности, и вовсе недостаточно для человека. В радостной и самонадеянной атмосфере 60—70-х годов эта идея нашла себе легкое распространение; но в подрастающем поколении, по очень темным причинам, уже в то время начало бродить нравственное смущение и встревоженность. Оно усвоило от «отцов» своих эту идею, но дало ей впервые внутреннее развитие и подвергло ее анализу. Дело в том, что и в западноевропейских теориях идея эта как-то все аргументировалась только или опровергалась, но не изучалась во всех подробностях своего состава. Без сомнения, это происходило оттого, что она скорее была общим воззрением на жизнь, была более нравственно-политическим учением, нежели формулой жизни, и ее не считали нужным и возможным определять с тою особенною точностью, которая одна допускает раскрытие внутреннего содержания какой-нибудь идеи и ее анализ. Как только дано было этой идее подобное определение, так тотчас обнаружались все ее истинные свойства. Прежде всего, так как под

«счастьем» нельзя было разуметь ничего иного, кроме «удовлетворенности», то было ясно, что идея эта вовсе не содержит в себе указания на какие-либо определенные предметы достижения, на реальные цели деятельности, но только освящает равно всякие, какие возникнут в истории. Простая желаемость этих целей, то есть уже сознанный способность их удовлетворить человека (или какой-нибудь ряд его влечений), есть достаточная для них санкция в круге понятий утилитарной теории. Далее, так как подобною целью, очевидно, могло быть только счастье *наибольшее*, то есть сильнее всего желаемое, например, по продолжительности даваемого удовлетворения, то очевидно, что всем, чего в данное время человек менее желал, он мог, ради достижения лучшего, пренебречь или все это забыть. Здесь, в этом выводе, возрождалось знаменитое и всеми оставленное учение об оправдании средств целью: «средства» — это, очевидно, меньшее благо, которым человек вправе пожертвовать для признанного им за большее благо. Заметим, что, не прибегая к понятиям, выходящим из круга утилитарной формулы, нельзя найти *для жelaемости* того или иного вида счастья других признаков, кроме количественных, то есть продолжительности и напряженности даваемого удовлетворения. В средние века обыкновенно именно продолжительность была предпочитаема (ради загробной жизни жертвовалась земная; ради продолжительного покоя в будущем предпринимались истребительные войны против сектантов); в новое и более нетерпеливое время, ради минутного наслаждения, часто приносится в жертву счастье целой жизни. И то и другое, впрочем, завися от свободного выбора человека, безразлично с утилитарной точки зрения. Наконец, так как человек живет не изолированно, но обществом, и именно в массовой среде он принимает все свои решения, — то не личное свое, но счастье *наибольшего гисла людей* должен он полагать целью своей личной деятельности. Сюда же примыкает вся правовая, политическая сторона формулы, придающая впервые ей некоторую конкретность: именно, на вопрос «кем же *определяется* это счастье?» — невозможно, оставаясь в кругу утилитарных понятий, ответить иначе, как — «большинством удовлетворяемых», наибольшим количеством тех, которые ожидают и нуждаются в счастье. Идея *suffrage universel* *, впервые установленная Руссо и теперь овладевающая сознанием всей Европы, уже *implicite* ** содержится в этой ветви утилитарной доктрины. С тем вместе, эту ветвь отрицается и подавляется весь мир индивидуальных порывов, идей и чувств. Гений гасится, как только он не вдвигается в узкую трубу, по которой текут всеобщие желания. Таков был очевидный состав этого учения. Если б оно принято было когда-нибудь человечеством как высший критерий добра и зла, добру глубоко и навсегда пришлось бы преклониться пред злом, потому что, очевидно, сознание высшего добра никогда не было уделом масс, а личность должна была бы подавить в себе это сознание по требованию или простому желанию «темного» большинства. Утилитаризм есть могила индивидуального развития и с ним всякого цвета истории — всего, чем из века в век она светит нарождающимся поколениям ***. Нравственный смысл борьбы и гибели единичной личности среди непо-

* всеобщее избирательное право (*фр.*).

** подразумевается (*фр.*).

*** Скажут: раз сохранение личности полезно для масс, то, по самому принципу пользы, она и должна быть сохранена в истории. Да, но под условием, по принципу же пользы, что это бу-

нимающих ее грубых масс навсегда угас бы, потому что эти массы без борьбы, без сомнений давили бы личность. Таким образом, для счастья самого человечества ему было бы лучше навсегда забыть о том, что оно может, а тем более должно жить только для своего счастья. Здесь, в этом окончательном выводе, сказывается как бы внутренняя преломляемость этой идеи: свою вершиной, своим последним утверждением она подсекает свое же основание. Все это хоть и не было нигде высказано, но было очень твердо сознано многими в то время, когда гр. Л. Н. Толстой впервые взволновал общество тем же вопросом. Разница была только в том, что он или вовсе не упоминал, или упоминал небрежно об утилитарной доктрине, которая, между тем, владела еще общим тогда сознанием. Как бы то ни было, но и он, очевидно, понял, что без разрешения этого основного вопроса жизни (об ее цели) происходит как бы *задержка* разрешения всех других ее, очевидно, зависимых и обусловленных вопросов. *Незнание* — было его ответом на этот вопрос; отсюда — весь характер иррациональности, который приняло его дальнейшее развитие: это отрицание государства, это неведение религиозных начал жизни, эта враждебность против искусства и против науки. Все это содержалось уже, как вторичное, в том жизненном узле, подойдя к которому он — молча отошел.

II

10 А между тем, тайна состояла только в том, чтобы, подойдя к лежащему яблоку, не съесть его, но зарыть в землю и посмотреть, что из этого выйдет. Никем не была в то время понята искусственность самого вопроса о цели человеческой жизни. В ту пору излишнего теоретизма мысли как-то привыкли смотреть на человека со стороны и, смотря так, невольно *придумывали* для него цель. Эта придуманность сказывается во всех нравственно-философских теориях, и оттого-то оне никогда не могли стать могучим стимулом исторического развития, но всегда оставались только занятием слишком уединившихся в своем мышлении немногих людей. Цель может быть избрана, может быть придумана, но лишь для того, что само придумано и существует искусственно. Напротив, что ранее наше-

30 дет признано именно массами и что свое признание *они удержат во всякое время*. Пока отношения между массой и личностью находятся в пределах простого противоречия, разногласия, еще не раздраженного спора, естественно ожидать, что личность будет пощажена и масса не нарушит своего, в общем виде выраженного, желания сохранять личность. Но кто же не знает, что в самые жгучие, решительные моменты истории — именно в те, за которыми следует благодетельный поворот ее, масса относится к личности с неистощимой ненавистью, с готовностью всем пожертвовать и видеть только кровь человека, так высоко поднявшего над нею, над ее эгоистическими желаниями и узкими мыслями свою голову? И в такие минуты, в страшные минуты для личности, что удержит массы от того, чтобы «на один этот случай», только для этого ненавистного человека, взять обратно свою решимость? Когда это решение взято, на что 40 обопрется личность, что поднимет она над собой для защиты? какое свое право? «Хорошо, после твоей смерти я последую твоим *лучшим* идеям, но пока я тебя съем», — скажет этот новый и чудовищный, тысячеголовый Левиафан. У личности же пред этою чудовищною пастью, пред этими камнями, на нее поднятыми, *внутри собственного сердца* останется лишь одна правда — правда своей обязанности умереть.

го идейного к нему отношения уже лежало в природе, то мы можем только познавать и, что касается до целей, — открыть его *назначение*. Таков и человек. Таким образом, неразличение понятий «цель» и «назначение» и смешение областей, где применимо открытие и где изобретение, — было причиной множества и теоретических, и практических заблуждений как того времени, так и следующего. Достаточно было понять это, чтоб однажды и навсегда перестать пытаться изменить человека и его жизнь сообразно с понятиями «наилучшего», какие мы могли бы для него придумать; и, напротив, тотчас, как уяснилось истинное значение человека, единственно правильным к нему отношением становилось — любопытное всматривание в его природу.

В этой природе ясно различимы были две стороны: одна недейтельная, не изменяющаяся во времени — это сторона физическая. Очевидно, в ней не могло скрываться его назначение, потому что последнее есть то, что *осуществляется, настает со временем*. И в организации человека, где все уже дано и ничего не ожидается, очевидно, нет никакого отношения к его назначению на земле. Напротив, другая сторона его природы была постоянно деятельна, и в этой деятельности она изменялась, возрастала. Ясно, что если человек мог иметь какое-нибудь назначение, то оно скрывалось именно в этой части его существа. Это была — сфера его духа. И в самом деле, в противоположность физической стороне, где все — уже реальность, и притом находящаяся вне влияния человека, — в области духовной жизни все есть только *возможность*, которая через усилия человека *становится действительностью*. Как организм человек рождается уже со всею полнотою частей своих и отправлений, к которым в течение жизни своей он ничего не прибавляет; и ничего не прибавлено к ним в течение жизни исторической. Напротив, как духовное существо человек рождается только с задатками всего, что осуществит со временем. В нем нет еще идей, но только способность их образовать; нет глубоких чувств, но только способность их пережить; нет каких-либо желаний, но только способность осуществить всякие желания. Итак, с этой стороны — он весь в возможности и, очевидно, *жизнь его не имеет другого назначения, как чтобы возможное в нем стало действительным*. Зло или добро составляет глубочайшее основание человеческой природы. В каком отношении он находится к окружающему мирозданию и его источнику, наконец, как он должен смотреть на свою историю — все это есть уже вторичное, что мы можем знать о человеке. Главное и первое наше знание о нем есть знание как о некоторой системе скрытых возможностей, раскрытие, обнаружение которых может дать ответ и на все остальные вопросы.

III

Отсюда ясен становится и смысл индивидуальной жизни, и значение истории. Если бы человек как в физической, так и в духовной стороне своей являлся полною реальностью, он, конечно, мог бы по произволу избирать для себя всякие цели, чем угодно наполнять свою жизнь. Но этой свободы выбора у него нет, и нет также свободы оставаться бездейтельным или досуга заниматься чем-нибудь посторонним и несущественным. Жизнь его ограничена во времени, и этого времени едва достаточно для того, чтобы выполнить все, что принудительно указано ему в сложении его духовной природы. Понять эту природу, ее ограничен-

ность или особые дары, и все принесенное с собой в мир отдать этому миру — это слишком достаточно, чтобы наполнить личное существование серьезною работою, исключаящей какие-либо помыслы о развлечении. Наконец, раскрыть в тысячелетиях всю глубину и все богатство человеческой души, как она дана не в индивидуальном выражении, но во всеобщем, — это есть долг и право всего человечества; долг, которого мы можем не понимать, не разуместь еще его смысла, но которого не знать мы не можем, потому что он действителен. И не можем, поэтому, его не исполнить. Таким образом, нам не известно только *конкретное выражение*, которое будет иметь то окончательное, чем завершится человечество и что осветит смысл его существования на земле; непредставима форма его и также очень многие, но лишь второстепенные подробности. Общий же вид этого окончательного вполне определим * чрез изучение тех направлений, неудержимых и естественных, которые уж есть, даны в каждом из задатков, образующих своей системой духовную природу человека.

Уже выше было сказано, что все слишком ясное и трезвое не покрывает человеческой природы, как она дана, и не удовлетворяет ее иначе, как только на время. Действительно, чем внимательнее будем мы всматриваться в ее сложение и, особенно, как уже выразилось это сложение в истории (то есть наиболее полно), тем более будем мы удивлены какою-то странною ее неисчерпаемостью и беспросветною глубиною. Разум со своими выкладками составляет лишь часть человеческого существа, и вне его влияния и объяснения остается еще неизмеримая область иных сфер духовного творчества, *но задатки для всех них уже даны в человеке*, и все они, не скажем — истинны: это слишком узко — все они *действительны* и как-то освящены в человеке, потому что предустановлены в нем. Вся природа есть нечто предустановленное, потому что вся она — только задаток, только возможность осуществляемой действительности. Разум, как один из этих задатков, как простая способность образовать идеи, не только не выше остального чего-нибудь в человеческой природе, но, напротив, он и оправдание свое имеет только в том, что *также предустановлен*, как и все прочие задатки — стоит не ниже их. Реальность есть нечто высшее, нежели разумность и истина; потому что сама истина имеет лишь настолько значение, насколько она не мнима, не призрачна, насколько она подходит под признаки реального. Вот почему повелительного, деятельно принуждающего — мало в разуме; его деятельность вся — в созерцании, в уразумении. Но созерцаемое происходит и должно происходить нормируемое своими особыми законами, скрытыми в остальных задатках человеческой природы, ничего общего с сознанием не имеющих. Невозможность придуманной поэзии и, до известной степени, объясненной — есть частный случай этой общей истины. Среди этих задатков есть также и нравственные, и рели-

* По отношению к одной системе человеческой природы — именно умственной — определение окончательной формы, которою завершится ее деятельность, сделано мною в книге «О понимании; опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания». М., 1886. При всех ошибках, какие могли быть допущены в отдельных частях этого определения, остается незатронутым, однако, самый принцип — общая *определимость* окончательных форм человеческого творчества, как из неправильности в возведении здания, могущего служить для человека, не следует его общая невозводимость.

гиозные. Конечно, они не проявляются без возбуждения, как и разум не начинает мыслить, пока не дан предмет для мысли. В том и состоит сущность всякого задатка, что он не иначе получает развитие, становится полным существом, как когда присоединяется к нему что-либо внешнее, или в качестве возбуждения, или в качестве материала, подобно тому как материал земли должен присоединиться к семени, чтоб оно стало деревом. Но как никакая земля без семени не образовала бы из себя дерева, так и никакие возбуждения извне человеческой природы не вызвали бы ее к образованию религиозных созерцаний и нравственных идей, если бы эти последние не имели уже в ней для себя задатка. Поэтому, как справедливо, что человек уже рождается разумным существом (хотя он становится разумным только после), так справедливо и то, что он уже рождается нравственным и религиозным — хотя все это приходит также потом. По той причине, по которой ни одному задатку мы не можем дать предпочтения перед другим, — по этой же причине мы и религию или нравственность не можем подчинить деятельному влиянию чего-нибудь, например разума: *они одинаково реальны*. Наконец, так как всякий задаток есть задаток к *чему-нибудь*, и это что-нибудь уже реально в нем настолько, насколько в семени реально дерево со всеми своими формами, с законами и силами своего роста: то, подобно тому как мыслящему разуму есть соответствующий ему мыслимый мир, — и нравственному чувству есть отвечающий ему долг, и религиозному созерцанию — созерцаемое им Божество. Все это столь же действительно и не менее ясно, как то, что не могло бы быть мысли, если б ей нечему было отвечать, если б вовсе не было никаких предметов, могущих мыслиться. И, как в мышлении единственный вопрос состоит в том, чтобы мыслить *правильно*; так и в религии и в нравственности нет никакого вопроса о самых предметах их, но только о том, как отнестись к ним правильно.

Отсюда смысл всех нравственных и религиозных тревог: в разуме мы ощущаем живую боль всякий раз, как он затруднен в уразумении чего-нибудь, когда он сбивается, ищет и еще не находит, и, напротив, живое удовлетворение чувствуем всякий раз, когда он входит в норму по отношению к предметам своим. Так же точно и по той же причине мы испытываем нравственное мучение всякий раз, когда не исполнен долг, или религиозную тревогу, когда потеряли или не нашли еще верного отношения к Богу. Во всех этих случаях страдание есть лишь симптом некоторого извращения, которому, по нашей вине или невольно, подвергается в нас один из задатков души. Здесь, пожалуй, теория обязанностей человека совпадает с утилитаризмом; но только из последнего удалено все произвольное и нет более неопределенности желаемого. Действительно: ясная удовлетворенность есть цель человеческой жизни, — но удовлетворенность эта, *нужно знать*, наступает для человека лишь тогда, когда он не одной стороною своей природы не отклонился от исполнения долга, в эту природу заложенного; когда он возрастает по законам души своей, не нарушая этих законов ни под каким влиянием. Удовлетворенность есть здесь следствие — сопровождающий симптом того, что истинные цели достигаются; оно есть боковое нечто, но не впереди лежащее — луч света, который сопровождает человека, пока он идет по определенной тропинке.

IV

Нужно удивляться, как гр. Л. Н. Толстой не понял этого в человеческой природе. И особенно странно это будет для всякого, кто, вчитываясь в художественные произведения его, наблюдал, как всюду, рисуя жизнь человеческую, он оттеняет принудительность всех движений человеческого сердца, его страстей или антипатий и вытекающих отсюда действий. Неопределенности, хаотичности, безбрежного произвола он мудро не нашел в жизни и не изобразил. Все движется у него свободно и, однако, по определенным путям, от которых не уклонится *. Красота жизни, по этим путям движущейся и развивающейся, только по-видимому свободной, но уже данной, заложенной в характерах всех выведенных лиц **, — это и составляет неисчерпаемый художественный и философский интерес его произведений. И вот так мудро и так глубоко поняв жизнь, он непостижимым образом на самый источник ее — человека, в момент таких страшных для себя тревог и решений, вдруг посмотрел как ребенок. Все непонятно в этом, и, однако, все это так. Сам изливший такое богатство идей, сам невольный и, быть может, иногда бессознательно бравший перо и писавший чудные страницы своих произведений, Бог знает откуда и, однако, нетерпеливо выливавшийся, — этот человек мог подумать и сказать, что другие люди, миллионы подобных ему существ, могут по произволу заставлять себя или точать сапоги, или заниматься философией; что человек есть самодвижущаяся кукла, которая может определить себе: «пойду до этого» или еще: «никогда не сверну направо». Удивительное зрелище пророка, истинного пророка, который подумал бы, что вдохновенные речи говорит чрез него не Бог, но обманщик-жрец, за ним сидящий.

Как только произошла эта ошибка в главном — еще в те старые тревожные дни, которые пережил в своей совести наш знаменитый писатель, — так тотчас все смешалось в хаос в его идеях и требованиях. Все стало ошибочно и, однако, уж непреодолимо — раз отклонились в сторону, при разрешении центрального вопроса, его высокое сердце и благородный ум. Неизбежно стало отрицание всего, что, за отсутствием связи с какою-либо высшею целью, потеряло опору в себе. Все, чторосло на человеке в истории, — представилось ему, —росло фатально и не нужно, без какого-либо определенного смысла и без прочного основания. Все это не выросло из человека, но придумано им как забава для своего пустого ума или для заглохшего сердца. Только без цели все это давит людей, и они

* Например, доканчивая последние страницы второго тома «Анны Карениной», из особенного тона ведущегося диалога, очень тонкого, лишь слегка взволнованного и возбужденного, вдруг ярко и совершенно впервые начинаешь ощущать едва мерцающую вдаль еще и уже неизбежную гибель Анны, — почти с ее подробностями, то есть не в ее частной обстановке, но с теми именно чувствами, с которыми она умерла, и по тем самым побуждениям. Весь третий том романа есть чудно раскрываемая картина медленной агонии человека, усиливающегося и не могущего избежать самоубийства.

** И даже в самом рождении: сюда относится в «Войне и мире» удивительный разговор между княжной Марией Болконской, уже ставшей женой и матерью, и Наташей, также вышедшей замуж за Пьера Безухова, о судьбе Сони, воспитывавшейся в доме Ростовых и очень нравившейся Николаю Ростову, который и ей нравился, *но мужем ее не стал*, — то есть о том, почему это произошло.

должны сбросить эту историческую тяжесть, чтобы стать перед природой так же легко, как стояли тысячелетия тому назад. Раскутаться вновь от суеверий ума своего, от ошибок чувства; перестать собираться для чего-то в громадные скопища царств и, возвратив себе простоту сердца и кротость ума, — возделывать землю, пока она не сделается могилой. В этом поколение за поколением состоит труд людей, и на земле они не имеют для себя другой задачи. Случайно попали они на эту землю, быть может, случайно и сойдут с нее, и как в существовании их нет радости, так не будет печали в их гибели.

V

Эти мысли, которые так еще волнуют нас, но в которых уже стали бы задышаться наши дети, эти печальные мысли, столь серьезно высказанные, ошибочны в корне своем. Оне все текут из одного источника — из признания, высказанного еще в «Исповеди»: что человек не знает цели своей жизни. За этим незнанием было бы, конечно, безумием для него к чему-нибудь стремиться, чего-нибудь искать, и, насколько искал он в прошлом и что уже нашел — его история, его цивилизация, — все это призрачно, бессодержательно, потому что лишено высшего оправдания, каковое могло бы получить только в сознании своей цели. Но эта цель *есть* — она дана в самом строении нашей духовной природы. Она безусловна, и мы не можем даже обсуждать ее, потому что у нас нет для этого никакого орудия. Самый разум наш, самая мысль, критике которой мы готовы были бы подвергнуть эту цель, — бессильна к этому, потому что она также входит в состав этой цели и, как часть, не может обсуждать целого, которому принадлежит. Мы должны принять свою цель как данное, как священное и нам непонятное. Религиозен весь человек, и вся жизнь его, и также — его цивилизация и история: хотя, конечно, болеть все это и искажаться — может, но, искажаясь, тем самым все это уже указывает на вечную норму, от которой отступает. Здесь — в нашей обязанности понять эту норму — и заключается второй выход для нашего общества. Не подавление природы своей до *minimum*'а, не это насильственное сжатие своей головы и задержание биений своего сердца составляет долг наш на земле — это уродство, это, наконец, преступление: но, напротив, раскрытие своей природы в истории по предустановленным для нее законам и путям. Ни пути эти, ни норма цивилизации, ни, наконец, природа человека, с этой точки зрения своей предустановленности, никогда не сознавались человеком. Он был похож на бедное существо, которое, бродя туда и сюда и не зная, куда преклонить голову, забыло о богатом чертоге, который принадлежит ему, для него освящен и создан. Он, правда, уже давно стал язычником и делает все бесстыдное, что можно делать, только зная, что его никто не увидит и что после него ничего не останется. Много злобы в этом, но еще больше грусти. Удивительно: на склоне второго тысячелетия жизни явиться таким жалким, таким несчастным, так позорно униженным и, наконец, дурным.

И все это — только сон; все — заблуждение тысячелетие грезившей мысли, которая, после светлых мечтаний, на минуту увидела темные призраки. Не в призраках, не в том, что мы *придумываем*, — истина; но в том, что мы созерцаем, что дано *прежде* нашей мысли. Прежде этой мысли дана природа — и поняли ли мы ее? Одновременно с этою мыслью дан нам дух, в котором она зародилась, — и что

мы в нем увидели? Увидели ли, оценили ли мы все значение этих неуловимых нитей, по которым точно тянется душа наша ко всей природе, стремится все понять в ней, ко всему привязаться, все запомнить и хоть в памяти своей унести в могилу; поистине, ничего мы еще не поняли ни в себе самих, ни в своей жизни; и темно для нас мироздание, на которое мы смотрели, но его не понимали. Как кажется, истинный смысл и значение текущих блужданий заключается именно в том, что они подводят человека к этому сознанию своего религиозного значения. Он в самом деле не язычник; это пустое — что он может делать что хочет и что с ним можно делать, что захочется. Есть грани для него, и есть другие, которые над ним. Они все забыты, все переступлены — и вот отчего эти неопределенные тревоги совести, которыми мучится современное человечество. В вечных поисках за успехом, в вечном придумывании, чем бы себя осчастливить, человек заблудился, наконец, до того далеко, что никакого счастья ему не нужно, и в страхе рука его не хочет поднять то, что наконец найдено и может быть взято. В этом чувстве отвращения к своей жизни, *как проходила она*, вдруг и неожиданно сказалась вечная и благородная его природа. Он припоминает себя — где он и что? и зачем сюда пришел? Все еще не ясно для него, но для всех, кто умеет прислушиваться к темным движениям сердца, к начинающимся уклонам истории, — ясно, что он силится припомнить вечный источник себя, своей жизни и с собою — целой природы. Можно, конечно, ошибаться — но, кажется, мы стоим в истории накануне великих начинаний.

5. Может ли быть мозаична историческая культура?

I

Я заметил, что главный недостаток людей шестидесятых годов заключался в слабой вдумчивости, в отсутствии какой-либо сложности, какого-либо узора в их мышлении. В ответ на это замечание г. Н. К. Михайловский упрекнул меня, что, развивая свои положения, я не подтверждаю их примерами. Но вот в другой своей статье он дает мне случай сделать требуемую поправку, а самый предмет этой статьи так важен, слова, в которых он обсуждается, столь многозначительны, что более удобного случая для подобной поправки я не мог бы и ожидать.

Есть в самом деле сложные и трудные темы, обсуждая которые в продолжительных спорах и все еще путаясь в потемках, спорящие неожиданно, случайно, произносят такое слово, в смысле которого разом открывается и смысл всей темы: только относительно его согласиться, принять или отвергнуть этот смысл — и спор решен. Г. Михайловскому именно случилось высказать такое слово. Обсуждая старый и вечно тревожный вопрос о нашем отношении к Западу, он говорит:

Задача наша не в том, чтобы вырастить непременно самобытную цивилизацию из собственных национальных недр, но и не в том, чтобы перенести на себя западную цивилизацию целиком со всеми раздирающими ее противоречиями: *надо брать хорошее отовсюду, откуда можно*, а свое оно будет или чужое — это уже вопрос не принципа, а практического удобства. *По-видимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговари-*

вать не о зем. Но очень часто бывает, что простые и понятные вещи с большим трудом завоевывают себе место в природе и в умах человеческих*.

Несколько тысячелетий люди думали, и каждый человек мог проверить собственными глазами это убеждение, что солнце ежедневно поднимается из-за горизонта и ежедневно же западает за него, описывая величественный круг над неподвижно покоящеюся землей. Это было не только «просто, ясно и понятно» — это было видимо, как виден вот этот лес, пред которым я стою. Но велик был подвиг Коперника, когда, усомнившись в этой ясной, видимой действительности, он предположил ей совершенно обратное; велико было движение в нем мысли, и от этого движения ведет свое начало истинное ведение человека о себе и о мире. 10

По общности предмета, по важности его для всего человечества мы, конечно, не решимся сравнивать идеи славянофилов с сомнением Коперника; но по исходной точке, по отношению к действительному и кажущемуся их мысль, их требования в самом деле имеют много аналогичного с его мыслью. Они также имели мужество только усомниться в некоторых «очевидных» истинах; это подняло против них смех и злобу, и, к их великому горю, они не имели под руками ни измерительных приборов, ни математического счисления, чтобы заставить стихнуть эту злобу и этот смех. По самому предмету своему, каковым была история, они могли действовать лишь путем гораздо менее точного и ясного рассуждения; но как можно было заставить всех войти в этот трудный и сложный круг мысли? 20

«Надо брать хорошее отовсюду, откуда можно» — эта мысль, по-видимому, элементарно справедлива. На ней, именно, основывался весь ход нашей истории от Петра Великого, который «брал хорошее отовсюду», без каких-либо сомнений: и на ней же держится все учение западников, не понимающих, почему и впрямь мы не должны бы брать хорошее везде, где можно.

Но вот и сомнение. Архитекторы нашего времени, так долго готовящиеся к своему делу, прежде, нежели приступают к нему, тщательно изучают историю зодчества во всех странах и у всех народов. Стиль китайских пагод и греческих ордеров, наконец, византийский, романский и готический — им равно и хорошо известны. По-видимому, они должны бы, при этом богатстве выбора, при точности и разнообразии сведений своих, создавать лучшее, изящнейшее, нежели что создано было когда-либо в сфере зодчества. Мы верим, что г. Михайловский чистосердечен и правдив: пусть же он подумает, почему эти архитекторы, несмотря на все усилия, не могут создать чего-нибудь хоть приблизительно равного по мощи, по красоте, по вечности тем памятникам, подражать которым и комбинировать которые они свободны? 30

Здесь и лежит центр спора между славянофилами и западниками. Западники не могут понять, почему нельзя брать «хорошее отовсюду»; славянофилы — хорошо понимая априорную ясность этой мысли — при взгляде, при вдумчивости в процесс таинственного роста народов сказали: «Нет, они не растут эклектически; они не набираются, смотря по сторонам, наилучшего со всех сторон; все, что было и есть в истории великого, священного, истинно живого, развивается из своих недр; каждое дерево растет только из своего семени». 40

* «Русская Мысль»: Литература и жизнь, 1893, июнь.

Мы упомянули об эклектизме, и это понятие с новой стороны может уяснить занимающую нас тему: не известно ли г. Михайловскому, что на развалинах философских систем, столь нетерпимых одна к другой, столь исключительных обычно, появляются *эклектики*, которые, изучая все предшествующие системы, избирают из них наиболее совершенные и, согласуя их между собою, соединяя в трудах своих наилучшее из каждой системы, создают новые учения? Но долговечны ли они, но значущи ли? О, г. Михайловский не «эклектик»: он не допустит рядом с известным утверждением лежать другому, из чужого огорода. Он понимает, что такое «целость»; а если он понимает это в воззрениях, то не может не понять и в истории, а с тем вместе — и не принять всей славянофильской точки зрения.

II

Вся разница между славянофилами и западниками заключается в том, что взгляд первых на историю есть органический, а вторые смотрят на нее как на простое механическое делание. В ряде собственных рассуждений * г. Михайловский сам устанавливает некоторые существенные положения органического воззрения: он говорит, что в жизни народной, как и в развитии каждого живого существа, нужно различать *степень* развития от его *типа*; и то, что по степени может быть выше другого, по типу *в то же самое время* может быть неизмеримо его ниже. Так, поясняет он, всякое взрослое животное богатством, силой и разнообразием своих проявлений превосходит новорожденное дитя человека; кажется, что оно превосходит его и обилием душевной жизни. Но все это превосходство относится лишь к позднейшей степени его развития; возьмем *тип* развития, то есть дитя человеческое со всею суммой лежащих в нем *задатков*, и мы увидим, как всякое животное бедно сравнительно с ним.

Признаюсь, прочитав несколько лет тому назад это рассуждение, я удивился, как мало, в сущности, остается между этим воззрением и самыми заветными надеждами славянофилов. Поистине, только разные «любви» и «ненависти», имеющие предметом частности нашей действительности, мешают слиться двум самым значащим течениям нашей истории.

«По типу, — говорит г. Михайловский, — несмотря на очевидную элементарность степени, данное развивающееся существо может быть выше другого, стоящего уже на высшей ступени развития, но развития более грубого и несовершенного типа». Неужели не согласится он, что *антагонизм*, что *потребность победы* есть истинный стимул всего западного исторического движения, что именно он составляет *тип*, по которому эта история движется? Неужели напоминать патрициев и плебеев, оптиматов и пролетариев, Италию и пожираемые ею провинции, чтобы согласиться в этом относительно Рима? Неужели говорить о государстве и церкви, феодальном строе и королевской власти, католицизме и реформации, монархии и революции, капитализме и нищенстве, чтобы согласиться в этом относительно христианской Европы? Ведь здесь *вся* история, без какого-либо остатка, — и в каждой части этой, во всяком биении своего пульса, Европа внутренне боролась, с жадной или умереть, или победить. В неизъяснимой красоте этой

* В «Сборнике статей» о графе Л. Толстом.

борьбы, в величии результатов ее — кто будет сомневаться? Скажем более: кто возьмет на себя мужество осудить эту борьбу, если она так ясно была заложена в самом семени, из которого выросло чудное, двухтысячелетнее дерево европейской цивилизации?

Но кто же будет иметь силы отвергнуть, что антагонизм, что борьба, с высшей человеческой точки зрения, для сердца нашего, есть низшее, чем примирение? Что, как бы прекрасны ни были борющиеся в напряжении своих сил, — в тот миг, когда они подадут друг другу руку, они будут лучше и прекраснее? В конце концов борьба есть лишь состояние, то есть нечто временное; она полна неудовлетворительности и, следовательно, стремления из нее выйти. Этот выход, это завершение должно же быть для человека и его истории, как оно есть для всего развивающегося, которое непременно *во что-нибудь* развивается. Для антагонизма — хотя бы он длился тысячелетие — этот исход, эта венчающая глава, по самому смыслу его, по тяготению, — есть примирение: не насильственное, не то умиротворение, когда противника уже нет, когда он стерт с лица земли; но когда он признан в своей особой правоте и сам признал правоту другого, с которым боролся.

Сказать, что началом мира проникнута была русская история, — никто не решится; и человек, в утробе своей матери проходя различные фазы, бывает в некоторых из них похож на то или другое животное. Но в том, куда он выходит из этих фаз, к чему стремится, *в типе своего развития* — он есть человек. Так точно лишь в незначительной мере в фактах, но гораздо более в стремлении, в заветных своих чаяниях, в том, что *полагается окончательным*, — народ русский проникнут началом именно гармонии, именно примирения.

III

Но это относится уже к точному смыслу той культуры, которая во всяком случае — вся в ожидании еще; спор же славянофилов ведется главным образом не о нем, но только о необходимости для каждого исторического народа соблюдать цельность в своем возрастании, а следовательно, и внутреннее воздержание от заимствований, даже когда они идут от народов, достигших гораздо высшей *степени* развития, но по иному его *типу*. Только в этом одном состоит весь спор, и не может, не отрекаясь от своих же размышлений, не затирая ради раздражения сердца плодов своей же умственной работы, отвергнуть г. Михайловский коренную правоту их учения.

Но эта правота, как мы заметили вначале, требует для обнаружения своего некоторого напряжения мысли, временного сомнения в так называемых «элементарных и очевидных истинах». В нежелании громадного большинства людей сколько-нибудь напрягать свою мысль и лежит вся причина нераспространенности учения славянофилов: учение западников, все покоясь на повторении общих мест, гораздо понятнее, усвоимее, доступнее самому элементарному уму. В этом причина их успеха, но только в настоящем; в будущем же, как только усложнится наша общественная мысль, их несостоятельность станет очевидна.

Очевидно станет для всякого, что при стремлении к некоторым абсолютным целям, общим для всего человечества, — к добру, к свободе, к истине, — каждый народ старается достигнуть их своим особым путем, в своеобразных формах и сво-

еобразными способами. Достигнуть свободы можно и *принудив* дать ее, и *выж-
дав*, когда крепостящий сам поймет, что она выше рабства. Убедить в своих мнени-
ях другого можно и запугивая его мысль, действуя на ее робость. Так поступает
сатира, но поистине, чего бы ни достигла она — лучше было бы, если б ее никог-
да не появлялось, потому что той же цели можно достигнуть, ободряя противни-
ка, заставляя его высказаться до конца и до конца же высказывая ему свои убеж-
дения, — это имеет еще и ту добрую сторону, что всегда открывает возможность
и самому несколько поправиться. Наконец, если перейти к материальным «нуж-
дам большинства населения» — какими бы страданиями они ни сопровожда-
лись, как бы ни было много несправедливости в недостаточной поспешности их
удовлетворить, — все-таки было бы лучше, если б они были удовлетворены так
же, как удовлетворен, через два века страдания, не менее тяготивший народ во-
прос о расколе. Есть церковь единоверческая, и, Бог даст, будет *одна* церковь,
в которую войдет, как *одной веры*, всякий человек, который теперь еще отличает-
ся именем «единоверца».

Ни для римского пролетариата, ни для протеста в недрах католичества, ни
для нищенства нашего века, конечно, не было и не будет найдено, *на особой по-
зве их требований*, какого-либо «единоверия». И они, громадные массы людей
и с ними лучшие надежды истории, погибли — потому только, что боролись, что
не умели страдать и выносить. Тот факт, что всякое *неперенесенное* страдание
ничем и не разрешалось, и никакого для себя исхода не получало, — есть самый
удивительный факт в истории, и, мне думается, он вместе с тем и самый поучи-
тельный факт для всякого народа, у которого главное — еще в будущем.

IV

Но мы опять уклонились в сторону — к тому, что может составить отличи-
тельную черту нашей истории. Не в этом дело, но в том, что, какова бы ни была
эта черта, она должна быть строго выдерживаема в развитии. Мы снова возвра-
щаемся к мысли г. Михайловского об эклектизме в истории и, сопоставляя ее
с гораздо лучшею (потому что более сложною) его мыслью о типе развития,
спрашиваем: неужели этот тип не будет нарушен, если развивающийся организм
будет ради улучшения своего в данную преходящую фазу брать отовсюду кусоч-
ки живой ткани от других организмов и заменять ими части собственного суще-
ства? Не ясно ли, что он изранит только себя, что он умрет гораздо ранее, чем до-
стигнет зрелости в том особом типе развития, по которому течет и уже не может
не течь его жизнь?

Понятна ли теперь та мучительность, которую внушает собою эта теория эк-
лектизма всякому, кто имеет понятие о началах органического развития? Прави-
ла, удобные для того, чтобы, руководясь ими, составить мозаику, прилагаются
к неизмеримо более сложному, трудному и таинственному живому росту. Эти
правила, соблазняющие своею простотой, уже два века прилагаются к нашему
народу, и после всех страданий, всех неудач, всей горечи, какая чувствуется от
этого в жизни, находятся настолько «элементарные» умы, что все еще не могут
переступить за свои «простые и ясные мысли».

К числу этих «элементарных» принадлежали и люди 60-х годов. Повторим
то, что уже говорили раньше: ни в неустанной деятельности, ни в настойчивости,

ни в готовности жертвовать собою у них не было недостатка. Но *как* жертвовать, но *за что* бороться, но *зем* следует созидать — этого они не понимали. Общие для всех людей идеалы, которых, как света солнечного, не видеть нельзя — и они видели; но безумец или неосмысленный ребенок был бы тот, кто, видя солнце, полез бы к нему, надеясь схватить его руками, и преступник был бы тот, кто, чтобы построить для этого лестницу, начал бы рубить дерево, согреваемое, освещаемое этим солнцем, с ним взаимодействующее и только до него не достающее.

Эта доля преступности лежит и на той особой группе людей, к которой собственно прилагается имя «людей 60-х годов», но они были лишь самые яркие в своей эпохе — неосмысленна же была вся она. Г. Михайловский говорит, и не однажды, о светлом, радостном духе, с которым начиналась эта эпоха. Действительно, только один момент в нашей истории аналогичен с нею по настроению, по ожиданиям, по какому-то единящему духу, проникавшему все сердце от верха до низу: это первые годы царения Грозного. Но в покаянной речи мудрого царя пред народом, когда с лобного места он говорил о своих винах, и о чужих преступлениях, и о невыносимых долее страданиях «сирот своих», простого народа, — как много было смысла и достоинства, если сравнить ее с нашею «обличительною литературой», конечно правую, но так мелко злобною, так напоминающею те собачьи головы, с которыми позднее ездили опричники, «выметая сор из отечества». И далее, в земском, в столбовом соборах, в вопросных пунктах и в речах на них, как много опять было ума и обдуманности, сравнительно с разными (кто помнит имя их?) комиссиями 60-х годов. Конечно, все это было в значительной мере элементарно, но ведь это же было три с половиной века назад. И если бы тот порыв обновления, при взрыве которого жили 60-е года, вызвал и сам обновление в том же духе, как оно совершилось при юном и удивительно мудром царе, но с соответствующею поздней фазе развития сложностью и массивностью замыслов, — были ли бы мы там же, где теперь? То ли бы говорили? О том ли сожалели? Этот частный пример показывает, что значит «при общих целях» стремиться к ним по особому для каждого народа типу развития. В тысячелетней истории народ наш привык всякое дело делать благословясь, с оглядкой, а не спросонья, не с неумытыми руками, не бросаясь растерянно во все стороны. И не «праздником праздник» вышел, как говорит мой противник; нет, это неправда: вышла в действительности сутолока, и кровь, и треск по всем швам раздираемого здания.

Как дерево, возрастая, осуществляет в величине своей, в форме, в цветорасположении, даже в наружном цвете коры те именно особенности, которые таились уже в семени, глухо лежавшем в земле и давшем ему жизнь; как композитор в каждой последующей части своего произведения только богаче, только многообразнее и глубже выражает мотив, элементарно заложенный уже в первых звуках симфонии, — так точно, ни в чем не отступающая от этих общих законов органического созидания, и каждый народ, век за веком возводя свою историю, должен строго наблюдать, чтобы ни одна часть в ней не была в дисгармонии с остальными, чтобы в их смысле, в духе, во внешних чертах развивался все один мотив, все тот же вековечный смысл, выразить который пред лицом остального человечества он, очевидно, призван Волею, вызвавшею его к бытию. Бытовая форма его, как и учреждения, его церковь с тысячелетними преданиями и образ правления — все, что бы ни взяли мы в его функциях, внешних и внутренних, должно

не разбежаться от центра, разрывая его существо, но быть обращено своим строем, своим вниманием к этому центру, к его смыслу, — и тогда только будет он «целое», а не набор случайно и непрочно соединенных частей.

10 Было ли понято это в 60-е годы? Результатом ли такого органического созидания является новейшая Россия, получившая свой теперешний вид тридцать лет назад? Византийская церковь, французские суды, германское воспитание, английское местное самоуправление и только русская самодержавная власть — могло ли и может ли все это существовать одно возле другого, без некоторого тонкого антагонизма, хотя бы выраженного, до времени, в индифферентизме каждой части к остальным? Не носит ли здесь всякая часть свой особый принцип, привнесенный ею с целого организма, из которого она взята, и не будет ли усиливаться она распространить его на целый же организм, ставший для нее новою родиной? Не отразится ли это неуловимо на внутренней устойчивости, на прочности всякого индивидуального существования, семейного быта, личного мирозерцания? В течение тридцати лет не видели ли мы обильного роста плодов именно в этом направлении, с которым упорно и бессильно боролись, вовсе не догадываясь устранить порождавшее его условие?

6. Еще о мозаичности и эклектизме в истории

I

20 В сентябрьской книжке «Русской Мысли» за 1892 г. г. Н. Михайловский дал ответ на мою предыдущую статью, озаглавленную «Может ли быть мозаична историческая культура?».

К сожалению, колеблющийся и неясный тон его статьи не дает возможности сделать сколько-нибудь определенное заключение о том, как он решает в своем уме поставленный мною вопрос. Такие оговорки, как то, что «эклектизма в учении, выросшем в шестидесятых годах на развалинах славянофильства и западничества, нет; но и предполагаемый г. Розановым эклектизм не есть, все-таки, западничество» (стр. 156), — побуждают думать, что самый принцип эклектизма он осуждает в основании, считает его действительно неспособным что-либо прочно и хорошо создать в истории. Мелькают в статье его и другие характерные оговорки: «в период нашего возрождения (в шестидесятые годы) кое-что действительно очень сложное казалось нам очень простым» (стр. 153); «известной доли истины в славянофильстве я не отрицал и не отрицаю» (стр. 154); «приветствуя судебную реформу, этот «мозаично вбитый в нашу жизнь клин», Аксаков изменил славянофильской точке зрения, хотя, конечно, никогда не сознался бы в этом» (стр. 158—159) и т. п. Но все эти характерные, многоговорящие строки затерты в пространных страницах, кружащихся около предмета спора, но этот спор не разрешающих. И я решаюсь думать, что, сверх дурной манеры писания, в этих ни на что не отвечающих и ни к какой цели не ведущих страницах есть и некоторая доля желания затемнить или спутать спор.

40 Только следующее рассуждение (из всех 18 страниц, где разбирается мой фельетон) имеет прямое отношение к моим мыслям о мозаичности и эклектизме в истории:

«Эклектики а priori полагали, что во всякой философской системе заключается доля истины; во-вторых, они не выставляли достаточно ясного собственного критерия, с помощью которого надлежит отличать истину от заблуждения, и думали, что результат этот может быть достигнут простым сопоставлением различных систем. Эти две черты характеризуют эклектизм в отличие от самостоятельных и целостных философских систем. Все люди друг у друга учатся, все заимствуют свои идеи и знания из самых разнообразных источников, но не все же эклектики. Всякий мыслитель, принимаясь за новую философскую систематизацию идей и вещей, изучает системы своих предшественников и берет из них то, что считает истиной, отвергая то, что ему кажется заблуждением*. Так поступает всякий, и иначе поступать никто не может, как бы ни был велик и оригинален его собственный вклад в сокровищницу мысли. Но творец целостной и самостоятельной системы отнюдь не убежден, что в философских построениях всех его предшественников содержится истина, лишь осложненная или затуманенная заблуждением. Если бы даже таковым и оказался результат его изучения (чего быть не может), то это именно будет результат, а не исходная точка, а priori установленная. Далее, самостоятельный мыслитель не предоставляет дело отличия истины от заблуждения процессу сопоставления различных систем, а выдвигает определенный критерий истины. Так стоит дело относительно «воззрений», так же стоит оно и по отношению к «истории». Кто предлагает своему отечеству «брать хорошее отовсюду, откуда можно», то есть у себя ли дома или из-за границы, тот лишь в таком случае окажется политическим эклектиком, если: 1) не после, а до исследования решит, что хорошее есть везде, во всех политических формах или, вообще, формах общежития, и 2) не установит определенного принципа, на основании которого следует различать хорошее и дурное. О первом условии нечего и говорить. Что же касается второго, то литература шестидесятых — семидесятых годов имела совершенно ясный критерий политического добра и зла; а именно принцип интересов только что освобожденного народа» (стр. 155).

В этих важных словах, трижды повторяющих одну и ту же мысль, и содержится все серьезное, что есть в статье моего противника. Однако сравним их со следующим прежним твердым его уверением:

«Задача наша не в том, чтобы вырастить непременно самобытную цивилизацию из собственных национальных недр, но и не в том, чтобы перенести к себе западную цивилизацию целиком, со всеми раздирающими ее противоречиями: надо брать хорошее отовсюду, откуда можно, а свое оно будет или чужое — это уже вопрос не принципа, а практического удобства. По-видимому, это столь просто, ясно и понятно, что и разговаривать не о нем» (Русская Мысль, 1892 г., июнь).

* Это совсем не так: ядро оригинальных философских систем всегда выросло из отрицания предшествующего властвующего учения и лишь побочные их опоры, незначительные и нехарактерные части брались из прежних систем. Так, механическая философия Декарта выросла из противодействия телеологическому мировоззрению древности и средних веков, и в этом ядре своем она есть явление совершенно новое в истории; то же можно сказать об индуктивной философии Бэкона в отношении к силлогистической логике Аристотеля или об учении Канта в отношении к Юму, скептицизм которого он преодолел. Идеализм Фихте, Шеллинга и Гегеля есть переступание разума за границы, определенные для него Кантом, в вечно непознаваемый, по мнению этого философа, мир «вещей в себе».

Из этого сравнения мы видим ясное отступление г. Михайловского от прежнего своего категорического утверждения. О безбрежной неопределенности выбора более и речи нет; высказывается ясное согласие, что должен быть некоторый определенный принцип, который сообщил бы единство выбираемому, придав бы целостность тому, что исторически возводится. Мозаика и эклектизм в принципе отвергаются.

Однако действительно ли они исчезнут, когда у той или у другой из борющихся партий будет этот избирательный принцип? Ведь партия — только коллективное лицо в истории, одно из множества лиц, которые все имеют право на свой принцип. Вот прошло четверть века — минута в исторической жизни народа нашего: тех людей, о которых говорит мой противник, уже нет, или они договаривают свои последние слова, а у нового поколения есть свои надежды и сомнения, своя вера, не похожая на прежнюю, — и что же: оно, как и предыдущее поколение, но в ином стиле будет возводить здание родной истории, с тем чтобы ту же свободу и неопределенность выбора оставить детям своим, внукам и т. д.? Где же, в таком случае, единство и цельность, а с ними и осмысленность у того великого лица, которое мы зовем историческим народом и ради которого хотим, чтобы были осмысленны и цельны все партии, все люди, все живое в его недрах, но, почему-то, не он сам?

20

II

Ясно, что на индивидууме только или на политической партии мы не можем остановиться в этом требовании единого, цельного принципа. Славянофильская теория и состоит вся в том, что распространяет это требование на целый народ. Или, точнее, она утверждает, что подобный принцип есть у каждого народа, что он скрыт в особенностях его духовной организации, в его преимущественном внимании к некоторым предметам и в преимущественных же к ним способностях. Нет повторяющихся великих миссий в истории, нет двух сколько-нибудь значащих народов, черты духовного образа которых сливались бы в одно лицо и труд которых был бы простым продолжением один другого. Нет двух Афин; есть только один Рим, нет аналогий папству; и даже нет их в таких уже незначительных культурных мирах, какие представляют собою в отдельности Испания, Франция, Германия или Англия. И только от этого жизнь всего человечества представляется нам как организованное целое, в котором каждая линия имеет свой особый уклон, выполняет свое особое назначение, а вовсе не сливается с другими линиями, не повторяет их в себе.

Внутри каждого из этих образующих историю течений нет, в свою очередь, совпадения интересов, тождества страстей, единства предметов, к которым склонено внимание. Напротив, все это различно, и отсюда борьба проникает каждый порознь элемент исторического организма человечества; но *борьба в формах, в типе того особого течения, где она совершается*. Была борьба за право в Риме, но это вовсе не то, что борьба религиозных сект в Иерусалиме; и так же мало та и другая напоминают собою борьбу рабочих масс с капиталистическим строем, которая разыгрывается или готова разыграться в Европе. Явления жизни, как и формы быта, одинаково принимают своеобразную печать у каждого исторического народа; и она налагается именно тем незаметным склонением, какое есть

в каждой из тех линий порознь, о которых мы выше сказали, что они в своей совокупности образуют живой и осмысленный лик человечества *.

Все это приводит нас к идее целесообразности в истории; там, где нет повторяемости явлений и форм, есть внутренняя причина, устремляющая каждую часть к своему особому назначению. Мы рассматриваем при этом историю как простое явление природы, как один процесс из мириада других процессов, которые все распадаются на два великих типа — определенные и неопределенные.

Во-первых будущее — то, что настанет со временем, — тесно определено в прошлом, точнее, в том незаметном ростке, из которого оно развивается. Таково растение, вырастающее из семени, в котором уже предустановлены законы его жизни и смерти, предопределены все его формы, все отличительные его особенности.

Во-вторых — процессах неопределенных — прошедшее несет в себе определение только для первого момента будущего: напротив, его дальнейшие моменты определяются уже иными, побочными и внешними причинами. Чем станет этот камень, который я бросил, — это не определено ни в силе, ни в направлении, с которыми я его бросил: быть может, он пролежит до скончания века на своем месте; быть может, он будет перенесен на другое место — этого никто не знает, это теперь нигде не определено; быть может, он будет поднят и обработается в красивую вещь; быть может, размоется водой и станет горстью песка.

Нельзя не видеть резкого различия в этих двух типах процессов: в первых и законы, и силы развития заключены внутри развивающегося, и они ненарушимы, или, если нарушаются, происходит разрушение самого развивающегося существа; во вторых и законы и силы — вне изменяющегося предмета, и он вечен, неуничтожим, потому что представляет собою лишь косную материю, в которой нечему исчезнуть, которая лишь превращается, но, превращаясь, изменяет лишь вид свой, но не теряет ни одного из своих существенных определений (вес и состав).

Напротив, это определенное растение, умирая, теряет все свои существенные определения; горсть земли, которую оно стало, уже сохраняет только самые общие незначущие определения, какие были в растении (вес и пр.) и по которым мы никогда не узнали бы его, не отличили бы в ряду всех других предметов природы.

III

Принадлежит ли человеческая история к типу неопределенных процессов или определенных, имеет ли она аналогию себе в случайно брошенном камне или в развивающемся растении — это и есть вопрос, разделяющий славянофилов и западников.

* Говорим это в ответ на странное утверждение г. Михайловского, будто бы славянофильство усматривает в истории только два различия: «Восток» и «Запад», не замечая противоречий, которые, например, раздирают «Запад». Но эти противоречия все суть *одного* типа, и славянофильство остается верно себе, утверждая, что перенесение которого-нибудь из них в нашу жизнь есть то же, что замена какой-нибудь своей черты быта западною или заимствование какого-нибудь учреждения.

Последние утверждают, что никакой народ не несет в себе каких-либо строгих определений; что эти определения налагаются на него внешними и побочными обстоятельствами; что эти обстоятельства могут быть предметом выбора — и от нас, от нашей свободной воли зависит, чем нам стать. Они смотрят на народ свой, как горшечник смотрит на массу глины, из которой по образцам, пред ним лежащим, или по мысли своей он лепит фигуру.

Напротив, славянофилы утверждают, что уже от самого начала всякий народ есть живой росток, а не безжизненная масса; что он несет в себе очень тесные определения своей будущей судьбы и что очень резкое их нарушение, не сделав его лучшим, только может его разрушить.

Этот вопрос есть дело чистого знания, есть дело наблюдения над природой и размышление о ней.

Мой противник утверждает, что теперь нет более ни славянофильства, ни западничества, что реформы прошлого царствования упразднили их теории. Удивляюсь этому и не понимаю, каким образом мысль какая-нибудь может утратить свое значение иначе, как оказавшись ложною. Нет, славянофильство не умерло; оно все возрастает, все развивается; из литературной партии оно стало политической, но и этого недостаточно; обнимая мыслью свою историю, оно есть философское мировоззрение с очень определенными политическими требованиями, но еще с гораздо более важными взглядами на самую природу вещей.

Мой противник очень слеп к этой природе: он заключает ее в «бесконечные общие скобки» и, не различая сам ничего внутри их, хочет, чтобы и другие в них не видели никаких различий*. Он негодует на меня, как решился я, говоря об исторических путях народов, упомянуть о высшей Воле, которой они повинуются, следуя этим путям. Кое-что в его гневных строках есть такого, чему я не мог не порадоваться: это уже не безбрежное хаотическое отрицание, какое слышалось в шестидесятые годы относительно всего религиозного. Но и противник мой — мой противник потому именно, что он — уже не сухие и тощие 60—70 года, не эти мистические Фараоновы коровы, пожравшие тучных волов прошлого: если не раздражением сердца своего, которым он всецело еще живет в 60—70 годах, то мыслью своею он то здесь, то там переступает за «простые и ясные мысли», какими довольствовались то время.

Итак, он ошибся, думая, что я лишь повторил, как эхо, чужой звук, сославшись на высшую Волю, направляющую пути истории. Внутри общей скобки, куда он хотел бы заключить природу и людей, я различаю ясно сферы свободы и необходимости, общих законов и частных случаев. *Res divinae* и *res humanae*** я не сливаю, как слепец, в одну «природу». Там, где оканчивается область механических перемен или где нет свободы для индивидуума, — я не вижу более ни слепой природы, ни игры человеческих страстей; и так как здесь еще не кончается для меня все, то за гранью механизма и произвола для меня ясно открываются *res divinae*.

* Вот слова его: «Устраним кощунственную ссылку на волю, вызвавшую народы к бытию. Без этой воли, как сказано, ни один волос не упадет с головы человека; это — бесконечная общая скобка, в которой совершается все, а потому нельзя на нее ссылаться в том или другом частном случае» («Литература и Жизнь», стр. 165).

** Дела божественные и дела человеческие (*лат.*).

Я думаю, есть разница в вызревании плода, этом таинственном сосредоточении сил и форм дерева в семени, которое оно готово уронить, и в падении с того же дерева листа, который оборван ветром. Так точно и в сфере истории: я вижу разницу в том, почему издается сегодня закон и завтра заменяется другим и почему то, что двадцать лет назад многим нравилось, что они любили и чттили, и я, и бесчисленное множество людей, теперь живущих, мы ненавидим это и презираем.

Сверх знаний, помимо способностей, есть темные и гораздо более важные стороны в душе каждого, которые также живут, к одному влекутся, от другого отвращаются и, в сущности, определяют наше отношение ко всему; определяют нас, но нами не определены. Есть эти стороны у индивидуумов, есть они у целых поколений — им общие, их соединяющие; будем ли отрицать мы, что они есть и у народов?

И если даже индивидуум не знает их ясно и только слепо повинуетс я им, хотя они действуют в нем одном и он мог бы отчетливо ощутить их, — то не гораздо ли менее сознают их целые народы, которым остается, следовательно, только повиноваться им? И они повинуются; но когда из этого безотчетного повиновения, из этого следования по путям, в которых дальше первого шага они ничего не видят, получается, однако, столь осмысленное целое как история, — мы должны думать, что где-то была определена и эта осмысленность.

Ведь и здание, строителя которого мы не видели, может, однако, своими чертами, своею прочностью и размерами дать нам некоторое о нем понятие. Но мой противник хотел бы видеть здесь только грудy кирпича; «я не видел», «мне не рассказано», повторяет он, и не приходит на ум его, что ему остается еще подумать.

IV

Подвергая осмеянию идею о предустановленных путях истории, над которой, очевидно, он никогда долго не задумывался, мой противник считает достаточным привести несколько каламбуров. Ему кажется убедительным, если он напомним мнение о французах фон-Визина: «Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за величайшее несчастье» (стр. 166), и остановится в недоумении, как же выдерживать им в своей истории эту черту? Увы, это только *bien mots** старого доброго сатирика, и, я склонен думать, такими же *bons mots* были и его две знаменитые комедии. Не этим решаются вопросы истории, и о чем можно было весело шутить в XVIII веке, об этом можно задуматься более серьезно на исходе XIX.

Ведь я говорю о *действительном содержании* истории, а не об отражении ее частностей в сознании людей — в литературе, в поэзии, будет ли то ода или сатира. Не было народов, которые, выступая на историческое поприще, несли бы в себе отрицательные только задатки или несли бы их как главное содержание. Среди недостатков, слабостей, между чертами смешными или порочными, каждый нес в себе утвердительное ядро, *им* именно жил, *на нем* основывал свое право на существование. Нет народов-отверженцев, только профанирующих исто-

* острота (*фр.*).

рию; они все — любимы в ней, избраны, но одни к большему, другие к меньшему, в меру необходимости большего или малого для каждого времени.

Г. Михайловский думает, что меньшее должно быть пренебрежено ради большего: в словах, которые, вероятно, кажутся ему патетическими, он отстаивает существование «вселенской истины», ради которой народы меньшие должны оставить свою особенную, ими любимую правду. Он видит в утверждениях моих «бледный образ смерти славянофильства» (стр. 168) и казнит меня «моим же судом» (стр. 168), как индифферентиста к «вселенской истине», чем никогда не были ранние славянофилы.

10 Он и не подозревает, к какому трудному вопросу подошел, как невозможно решить этот вопрос до конца ни в одну, ни в другую сторону. Без сомнения, абсолютные истины существуют, и, без сомнения, они должны бы быть наиболее дороги для каждого человека, и все он должен бы оставить ради них. Но по причинам, о которых нам ничего не дано знать, это приближение к абсолютным истинам невозможно для людей здесь, на земле, — не по слабости сил их, но потому, что это прикосновение к ним равнялось бы для них смерти. Жизнь, как движение, предполагает разнообразие в движущемся, — и там, где движущее есть истина, она предполагает собою обладание только степенями ее, но не ею во всей полноте, не в бескачественном ее совершенстве. И мы наблюдаем в истории, как не только подобное обладание, но и всякое страстное порывание к нему вызывало великие катаклизмы.

Вероятно, с этим именно связана преданность человека всему особенному, каждой частной форме жизни, какая дана ему, и с нею связаны ограниченные, но живые и действительные радости. Можно быть уверенным, что человек сам отойдет от этих частных, раз пред ним явится истина в ее абсолютных чертах; но не без предвидения, до исполнения «времен и сроков», человеку внушено любить свое малое, и не ошибается он, думая, что в этой любви к малому сказываются лучшие черты его, к каким он, пока, способен.

30 Мы невольно вспоминаем при этом легенду о Дон-Жуане: в ней удивительным образом показано, как влечение к безусловной красоте, к совершенному идеалу, порождает отвращение ко всему действительному, живому. Если бы действительное, живое, более не чувствовало, мы, конечно, подобное влечение могли бы только одобрить. Но печальная истина состоит в том, что оно еще чувствует, что в нем еще нет идеала и что оставить его на одно презрение — это слишком трудно для человека даже при очень ярком сознании идеала.

V

Итак, пусть противник мой не драпируется в идеалы и лучше подумает о соблюдении маленькой правды, при которой нам легче будет выполнить свое простое дело. Мы возвращаемся к вопросу, который остается все-таки неразрешенным: может ли, исторически возрастая, какой-нибудь народ возрастать не цельною единою жизнью? Может ли, осуждая свою действительность, заменять отдельные ее части частями иных живых организмов, соблюдением одного только условия, чтоб они были наилучшие? То новое, что получится через соединение этих разнородных частей, будет ли само так хорошо, как можно было бы ожидать, судя по этим частям?

Мы ожидаем на это ответа; но, в нетерпении своем, невольно припоминаем странный миф греков о Химере. В своей безбрежной фантазии этот народ, нам чудится, предупредил наши споры: он вообразил в самом деле, что было когда-то живое существо, у которого грудь льва и зад дракона были соединены туловищем козы. С тех пор народы, удивляясь невозможности этого соединения, сделали название этого чудовища нарицательным для всего неосуществимого. Но, кажется, греки в раннем своем воображении были ближе к истине: они верили, что Химера действительно существовала, что она обитала во Фригии и была убита Беллерофонтом. Поздние века оправдали их предположение, и только странно, что в этом приняли такое участие вечные носители тоскующих идеалов. 10

«Небесное Жуан все ищет на земле» — и, ненавидя действительность, усиливаясь отступить от нее, ее части берет в невозможных сочетаниях и создает из них новую действительность, для которой не нужно нового имени.

1891—92 гг.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ Н. Н. СТРАХОВА

- Н. Страхов.* Философские очерки. СПб. 1895 г.
- « — Мир как целое. Изд. 2-е. СПб. 1892 г.
- « — Об основных понятиях психологии и физиологии. Изд. 2-е. СПб. 1894 г.
- « — О вечных истинах (мой спор о спиритизме). СПб. 1887 г.
- « — Из истории литературного нигилизма (1861—1865 гг.). СПб. 1890 г.
- « — Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб. 1888 г.
- 10 — « — Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом. Изд. 3-е. СПб. 1895 г.
- « — Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка первая. Изд. 2-е (Герцен. — Миль. — Парижская коммуна. — Ренан. — Историки без принципов. — Штраус. — Поминки по И. С. Аксакове). СПб. 1887 г.
- « — Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка вторая. Изд. 2-е (Ход нашей литературы, начиная от Ломоносова. — Роковой вопрос. — Наша культура и всемирное единство. — Дарвин. — Полное опровержение дарвинизма). СПб. 1890 г.
- 20 — « — Борьба с Западом в нашей литературе. Книжка третья (Итоги современного знания. — Ренан. — Тэн. — Ход и характер современного естествознания. — Спор об «России и Европе» Н. Я. Данилевского. — Разбор книг. — Белинский). СПб. 1896 г.
- « — Воспоминания и отрывки (Афон. — Италия. — Крым. — Л. Н. Толстой. — Справедливость, милосердие и святость. — Последний из идеалистов. — Стихотворения). СПб. 1892 г.
- « — Бедность нашей литературы. Критический и исторический очерк. СПб. 1867 г.
- « — О методе естественных наук и значении их в общем образовании. СПб. 1865 г.

30

I

Чрезвычайная вдумчивость составляет, кажется, главную особенность в умственных дарованиях г. Страхова, и она же сообщает главную прелесть его сочинениям. Их можно снова и снова перечитывать и все-таки находить еще новые мысли в них, которые или остались незамеченными при первом чтении, или впе-

чатление от которых закрылось впечатлением от других, более важных мыслей. Эта особенность его таланта становится всего более ярка, когда переносишься мыслью от него к его другу, Н. Я. Данилевскому. Связанные тесною и многолетней дружбою и единством убеждений, они были люди в сущности противоположного умственного склада. Н. Я. Данилевский разработал две громадные идеи, из которых одна положительная по содержанию, другая — отрицательная. Мы разумеем его теорию культурно-исторических типов, развитую в книге «Россия и Европа», и критику дарвинизма, изложенную в двух томах неоконченного сочинения, которое носит название этой теории. По своему универсальному значению обе эти идеи высоко возвышаются над умственной производительностью 10
нашего общества, и, конечно, чем далее ряды сменяющихся поколений будут отходить от нашего времени, тем яснее проступят перед ними величественные черты умственного здания, которое он пытался воздвигнуть. Но, подходя ближе к этому зданию, мы замечаем, что многое в нем выполнено просто и грубо, хотя в общем — всегда верно. Истинность и совершенство целого при грубости в обработке частей есть общая черта научно-литературных произведений Данилевского. Он всегда видел только главную идею, для которой работал; эта идея поглощала его мысли, и он менее внимательно смотрел на самый процесс выполнения. Оттого, раз прочитав его труды и согласившись с ним в главном, не имеешь охоты 20
возвращаться к ним снова, зная, что не найдешь в них уже ничего нового. И, однако, самые идеи его уже входят в систему ваших убеждений, оне не могут ни исказиться, ни забыться.

Совершенно противоположны по своему характеру труды г. Страхова. Его занимает слишком много мыслей, чтобы мы могли выделить которые-нибудь из них и, забыв остальное, сохранить только их. И, что в особенности важно, эти мысли отличаются чрезвычайною сложностью и тонкостью, оне трудно усвоимы — и это несмотря на совершенную прозрачность языка. Оне трудны не потому, что трудно выражены, но — сами по себе, именно как мысли *. Все слишком 30
ясное и простое, все умственно-грубое не особенно занимает его, и если во 2-м томе «Борьбы с Западом» так много места отведено им теории Дарвина, то это, конечно, лишь из желания выяснить достоинства труда Данилевского и этим почтить память своего умершего друга. В действительности же теория эта, слишком простая и грубая, не могла надолго приковать к себе внимание критика, раз ее истинное достоинство стало для него ясно. С неудержимою силою его мысль влечется к темным и неясным сторонам в жизни природы, во всемирной истории и в вопросах общественных; он ходит около этих областей, тщательно взвешивает все, что о них думали выдающиеся умы разных времен и народов; и вывести из этой темной глубины хоть что-нибудь к свету ясного сознания — вот что составляет его постоянную и тревожную заботу. Отсюда вытекает необыкновенная оригинальность его мысли: вы никогда не увидите у него повторений того, что 40
уже известно вам из других книг; отсюда же — отрывочность этих мыслей, их редкая законченность и вместе — обилие их. Первое происходит оттого, что он никогда не хочет говорить более, нежели сколько знает; второе — оттого, что, чем труднее занимающий его вопрос, тем менее он в силах оставить его и все

* Сюда относится много удивительных и лучших страниц в «Общих понятиях психологии и физиологии».

с новых и новых сторон пытается его разрешить. Вот почему он не создал ни одного большого систематического труда: «заметка», «очерк» или, как дважды озаглавивает он свои статьи, «попытка правильной постановки вопроса» — вот самая обыкновенная и действительно самая удобная форма для выражения его мыслей. Они напоминают собою ажурную работу необыкновенной тонкости и изящества, каждый уголок которой занимает вас, в которой вы открываете все новые и новые узоры, хотя издали она представляется однородною. Его труды — это не величественный храм, который издали привлекает путника, но удивительная и разнообразная орнаментация, которую он неожиданно замечает, войдя в него, и прихотливые изгибы которой уходят в неопределенную даль. Ничего крупного и резкого не запоминается в ней, но, долго всматриваясь в ее мелкие черты, начинаешь чувствовать пренебрежение и даже неприязнь ко всему умственно-грубому, что, отвернувшись, находишь снова в обыденной жизни и что раньше не казалось грубым. Она не столько входит какую-нибудь определенную мыслью в состав ваших убеждений, сколько изоощряет вашу мысль и воспитывает ее, и, хотя бы предметом ее стали другие вопросы, на всем, что создается ею, ляжет уже своеобразная печать.

Мы сказали об однородности впечатления, которое остается от чтения всех трудов г. Страхова. Это зависит от единства настроения, с которым писались они, и от цельности мысли, отсутствия разорванности в ней, несмотря на разнообразие предметов, которым они посвящены. Множество мыслей, переплетаясь и, по-видимому, перерывая друг друга, в действительности связываются в одну непрерывную ткань. Вы чувствуете, что, о чем бы ни писал он, — будет ли то научный вопрос, явление литературы, политическое увлечение — он постоянно думает о чем-то одном: в отношении к этому одному, не называя его, он высказывает все свои мысли, чего бы ни касались оне прямым, точным значением своих слов.

Это сообщает его разнообразным критическим, публицистическим и научным статьям глубокую, хотя не резко выраженную сосредоточенность. Следя за направлением, в котором она возрастает, мы открываем две идеи, которые, не будучи центром всех его мыслей, стоят наиболее близко к нему; самого же центра он никогда почти не касается словом; *о гем он постоянно думает, он не говорит совсем*. Вы только чувствуете этот центр, открываете его из общего течения его мысли и из общего настроения, под которым он писал все свои труды.

Два ближайшие к центру сосредоточия, о которых заговорили мы, — это, во-первых, идея рационального естествознания и, во-вторых, идея органических категорий как особых понятий, исходя из которых можно было бы, наконец, пролить объясняющий свет на никогда не разгаданную область жизни и смерти. Первая идея установлена в самом почти раннем и наиболее цельном, закругленном труде его: «Мир как целое; черты из науки о природе»; вопрос о вторых уже поставлен им в первом не специальном его труде: «О методе естественных наук и значении их в общем образовании», и к нему же вернулся он снова и с величайшею энергиею в позднем и лучшем труде своем: «Об основных понятиях психологии и физиологии». Нужно прочитать обе эти книги, чтобы понять всю глубину мысли, которая заложена в них, чтобы дать себе ясно отчет во всей гениальности догадок, которые здесь высказаны, но, к сожалению, не развиты*. Об идее рациио-

* См. об этом предисловие в книге «Мир как целое и пр.», стр. IX.

нального естествознания написано им немного, и, однако же, она совершенно ясна из этого небольшого; напротив, об органических категориях написано им гораздо более, и между тем сущность их, точное значение и формальное определение гораздо менее ясны. Очевидно, он встретился здесь с гораздо более трудным вопросом, который не столько разрешил, сколько твердо выставил и резко указал на него как на такой, без предварительного решения которого все труды натуралистов осуждены вечно оставаться только собиранием бессмысленных фактов, а не созиданием науки в истинном и строгом значении этого слова.

Неверность надежды достигнуть когда-нибудь полного проведения первой теории по всей области естествознания и ясности в разрешении второго вопроса 10 была, вероятно, не единственной причиною того, что г. Страхов не посвятил этим двум задачам всей своей жизни, как хотел сделать это вначале *. Мы сказали уже, что идеи эти, стоя ближе всего к центру его интересов, однако, все-таки не составляют этого центра и он, предавшись им, не мог закрыть глаза на то, что вечно и неумолкаемо тревожило его мысль. Он сошел с пути чистого естествознания и, весь руководимый одною мыслью, обратился к разнообразным сферам истории, литературы, политики, как будто повсюду и в них продолжая искать чего-то, чего не нашел в естествознании за несовершенно ясным решением двух главных вопросов, занимавших его там. В явлениях литературы его более 20 всего интересуют произведения, в которых среди мимолетного и бегущего уловлены вечные черты человеческого существа и вечные основы, по которым движется жизнь народов. Отсюда — восторг, который он почувствовал при появлении «Войны и мира» гр. Л. Н. Толстого, и лучшая оценка им этого произведения, какая была сделана до сих пор в нашей литературе; отсюда — его колеблющееся отношение и, наконец, неприязнь к Тургеневу, который ради интереса к текущему и временному в человеке пренебрегал этим вечным в нем. Отсюда же вытекает его глубокий интерес к отрицательным и разрушительным явлениям в истории Западной Европы — к французской революции, к падению философии, к особенному характеру, который приняло там естествознание. Он с любопытством 30 всматривается во все эти явления, старается уяснить смысл их возникновения и точные причины, которые сделали его возможным. Но эта научная сторона в его взглядах на текущую историю есть только предварительная ступень к тому, что всего более занимает его: он пылливо всматривается в лица людей, которые идут впереди этого исторического движения, и ищет в них выражения тревоги и смущения. Он как будто спрашивает: «Как вы будете жить, заглушив в себе вечные потребности человеческой души? Что вы поставите на место их и, чего бы ни достигли вы в жизни, что почувствуете вы в самих себе?». Симптомы этой внутренней тревоги с пронизательностью человека, слишком много пережившего в себе, он отыскивает в великих представителях современной западной литературы — в Ренане, Штраусе, Д. С. Милле, у нас — в Герцене. Отсюда — ряд удивительных 40 его статей об этих писателях. Можно сказать, что их духовная физиономия, внутренний и скрытый центр их деятельности, так хорошо известной и так мало понятой, впервые раскрылись в своем истинном значении в этих статьях. Объективное значение трудов этих писателей, их содержание и то новое, что оно пыта-

* См. в особенности объяснение кристаллических форм в минералах и теорию внешних чувств человека в книге «Мир как целое».

ется внести в науку, — все это, как второстепенное и имеющее пройти, оставлено в стороне г. Страховым. Он рассматривает эти труды не в их значении для читателей, но в их отношении к самим писателям, как показателей их внутреннего настроения. Именно оно служит предметом его постоянного размышления как момент в развитии человеческой души, как исполненная захватывающего интереса страница из судеб человеческой совести в истории.

Здесь мы подходим к тому, что уже не *около* центра постоянных размышлений нашего автора, но составляет *самый* центр в нем, в его деятельности и многолетних исканиях. Искусный в определении скрытого нерва других, он ни разу не вскрыл перед читателями своего собственного, высказав о том, что его постоянно, в сущности, занимало, лишь немного отрывочных слов, сказанных по поводу чего-нибудь постороннего и только произнесенных с чрезвычайно вдумчивостью. Есть известие, что самый религиозный народ в истории — еврейский — никогда не произносил имени своего Бога и не писал его всеми буквами, так что древний звук этого имени наконец утерялся и в поздние и менее религиозные времена стал предметом разысканий, но уже тщетных. Нечто подобное мы наблюдаем и во многих писателях. Как будто какой-то страх удерживает их говорить о том, о чем одном они хотели бы говорить, и они только подводят читателя к этому главному, но, подведя, — сами ничего о нем не произносят. Боязнь сказать что-нибудь не так, ошибиться хоть в одном слове о предмете столь важном, все-таки есть не единственное, что закрывает им уста. Тут есть действительно нечто целомудренное, есть резкое сознание нежелание выносить словом из своей души то, что составляет самую сущность этой души и потому должно быть навеки схоронено в человеке, должно быть цельным и нерастерянным возвращением им туда, откуда оно пришло.

От этого, вероятно, происходит, что о некоторых важнейших сторонах человеческого существа и человеческой жизни оставлено так мало истинно ценных слов во всемирной литературе и так много посредственного и ненужного. О них говорили люди, которые даже не понимали, о чем, собственно, они говорят, и часто молчали те, которые могли сказать нечто действительно значительное. Но, хотя изредка и почти всегда не прямо, эти слова иногда произносились, и они все запомнены человечеством, как самые дорогие для него. В образах поэзии, в идеях философии и гораздо реже в прямом учении во всемирной истории было создано хоть и немного, но зато такое, что и сообщает ей все значение, в чем и лежит ее главнейший смысл.

Религиозное составляет область самую важную из тех, которых изредка действительно достойным образом умел касаться человек. Все великие умы в истории явно или скрыто тяготели к этой области, и даже по степени, в которой они испытывали это тяготение, можно судить об их сравнительной силе. Но говорить о ней что-нибудь они не могли, и это было причиною, почему они избрали для себя иные сферы деятельности — искусство, науку или философию, реже — политику; однако на всем этом уже отразилось то главное тяготение, которому они были подчинены. Они любили и хотели только религиозного, но, не осмеливаясь любить его прямо, любили его сквозь науку, философию, поэзию. И в то время как, более чувствуя, нежели зная истинный смысл этого тяготения, они о нем молчали, — все остальные, от которых не могло укрыться это странное тяготение, пытаясь определить его причину, начали произносить о нем — то поло-

жительно, то отрицательно — бесчисленные пустые слова. Так образовалась необозримая, у всех народов, литература о предметах религии, где все они уже давно объяснены, классифицированы и рассказаны. Но, как само собою ясно, эта литература в действительности не столько касается религиозного, сколько появилась потому, что религиозное действительно существует в человечестве.

В статье «Место христианства в истории» * мы уже имели случай высказать, что для народов арийского племени, вследствие особенностей их психического склада, религиозное доступно с особенным трудом: они чувствуют его почти всегда не прямо, редко без искажения и большею частью через посредство других народов. Сфера знания, политической деятельности, объективного воспроизведения природы и жизни в искусстве есть настоящая сфера их деятельности, и она то составляет неумолкаемый шум истории, который тысячелетия стелется по земле, изредка поднимается над нею, большею же частью низко к ней склоняется. Подобно тому как для народа неарийского племени странно и чуждо было бы заинтересоваться внешними очертаниями окружающих предметов и он с удивлением, как на нечто непонятное, посмотрел бы на попытку найти их геометрическое определение, так точно для арийца странно и чуждо исключительно религиозное настроение и обращение мыслью к тому, что служит его вечным источником. И только встречая у некоторых народов постоянным и всеобщим это настроение, он невольно задумывается над ним и, даже усвоив, перелагает, согласно с своею психическою природою, в форму идей о религиозном и знания о нем. Но и тогда, при всех средствах воспитания извне, даже делая знание религиозного предметом своих постоянных занятий, ариец редко достигает того, чтобы и все внутреннее его существо обратилось к религиозному, чтобы оно перестало наконец быть для него чем-то внешним и лишь занимательным или практически нужным.

Изредка появлялись, однако, среди этих народов люди, в которых ограниченность их племенной природы как бы поддавалась, и они самостоятельно и изнутри себя начинали ощущать религиозное. Но, поддавшись отчасти, эта природа в главном все-таки сохранялась, и вот почему, не будучи в силах обратиться к религиозному и живо чувствуя недостаточность только внешнего обращения к нему других людей, они искали его в природе — то изучая ее явления, но как будто с мыслью не о ней, — то изображая ее красоту, но как будто чувствуя при этом красоту чего-то иного.

К ряду людей этого типа, очень немногих и очень редких, принадлежит и разбираемый нами писатель: религиозное составляет ни разу не названный центр постоянного тяготения его мысли. Оттого и предметы, над которыми он вдумчиво останавливается, так разнообразны, что ни один из них не занимает его сам по себе, но лишь в отношении к иному, о чем говорить прямо он не хочет и не может; оттого и люди, к мысли которых он прислушивается, так до странности несхожи: это и Кювье, недавний творец трех точных наук, и старик Платон с его полузабытыми «идеями», и наш мистик Лабзин, цитату из которого не поместил бы в своей статье ни один ищущий популярности, но нисколько не ищущий истины современный журналист. Он проследил каждый изгиб мысли в Герцене и в Ренане, а потом захотел поехать на Афон, чтобы и там посмотреть, как чувствуют

* Сборник В. Розанова «Религия и культура». Изд. 2. СПб. 1901 г., стр. 1—22.

себя и что думают несколько странных анахоретов: тот же ли встревоженный у них взгляд и то же ли смущение, которое он подметил в так хорошо знакомой ему Европе? Впечатление, им вынесенное оттуда, было иное, но он уже так отвык говорить собственно о том, что его занимает, чего он ищет в людях и в жизни, что он и здесь о главном умолчал и только с удовольствием рассказывает о своей поездке в этот своеобразный уголок Европы, столь на нее непохожий.

10 Всех людей подобного типа можно назвать скорее ищущими, нежели уже нашедшими, и вот почему так много в европейской литературе произведений религиозного характера, написанных под конец жизни людьми, которые о своем интересе к религии прежде ничего не говорили и только отрицательно относились к тому, что обычно грубо писалось о ней их современниками. Они не хотели говорить, пока не нашли, и, не дойдя до конца, — не могли удержаться, чтобы не высказать хотя в несовершенной форме того, чего не успели для себя выяснить, но к чему тяготела всегда их мысль. Это тяготение, однако, скрыто определяет сферы знания, литературы или искусства, которым была посвящена и вся остальная их жизнь. Оно же определило и круг интересов разбираемого нами писателя.

Граница между материальным и духовным — тот узел, где мы видим, как терзаются они, но не видим, как они связываются, — составляет главный предмет 20 внимания г. Страхова. «Человек — вот узел мироздания, его величайшая загадка и, если бы ее удалось объяснить, — совершенная разгадка этого мироздания», — говорит он не один раз в своих трудах *. Законы внешней, механически устроенной природы, как и законы чистой психической деятельности, хотя и занимают его, но менее, нежели та неясная область, где каким-то непостижимым образом они переплетаются и взаимно переходят друг в друга. Оттого физиология — его любимая наука, и в ней эмбриологические процессы — предмет его усиленного внимания; и, рядом с этим, предметом неустанного же внимания служат для него глубокие и скрытые движения человеческого сердца в истории, его вечные потребности, без удовлетворения которых человек не может жить и которые отразились в литературных и философских произведениях — все равно Лабзина или 30 Платона. С величайшей отчетливостью он видит то, что с противоположных концов, как исключительно материальное и как чисто психическое, подходит к этому узлу и, точно бледнея, теряет ясность своих очертаний и наконец становится неуловимым, когда входит в него. После долгих мыслей, он наконец решается отвергнуть представление, к которому мы все так привыкли: организм, говорит он, вовсе не есть предмет или существо; это есть процесс, последний в природе, через который выделяется из нее духовное: создание его, — этого духовного; вызвало все особенности организации как необходимые свои условия **. Мы видим, что в этих простых и кратких словах содержится новая точка зрения 40 на две великие области, органического и психического, связь которых представляется столь неуловимою. Мы ожидали бы, что вслед за установлением этой точки зрения он начнет искать ее оправдания на всех частностях организации; но он только определяет задачу физиологии словами: показать, почему для появления духовного та или иная и, в конце концов, каждая черта организации есть условие

* См. об этом в особенности «Мир как целое».

** См. там же.

необходимое, — и затем переходит к иным областям знания, всюду и там останавливаясь лишь на общих точках зрения и не проникая в глубину частного. Этот единичный пример лучше всего может объяснить, каким образом он не сделался ученым натуралистом. Слишком большая субъективность, отсутствие способности заинтересоваться подробностями так же сильно, как и целым, помешало ему разработать до конца какую-нибудь мысль, и вот почему он повсюду не обосновывает теории, но только роняет семена, из которых могли бы вырасти прекрасные теории, только вкидывает различные вопросы или ограничения в разработку науки другими или резко порицает их, когда они уклоняются от своих задач. 10

Подобное резкое порицание ему случилось высказать, когда в недавнюю пору увлечения спиритизмом наши ученые перемешали все области и стали отвергать, ради утверждения духовного, ненарушимость законов внешней механической природы. Подобное грубое заблуждение не могло не вызвать протеста со стороны человека, уже десятилетия стоявшего над вопросом об этом же духовном и ясно видевшего, где лежит узел его разрешения. С необыкновенною силой он утвердил непреложность и вечность законов материальной, физической природы; и не только ему самому, но и каждому постороннему читателю, без сомнения, больно и трудно было видеть, как самые ясные его слова о том, где нужно искать духовное, как будто пропускались мимо и явился удивительный вопрос среди небрежных его противников: «Да уж не скрытый ли он материалист?». 20

II

Человек, так напряженно живущий мыслью, не мог не стать рационалистом, и хотя г. Страхов нигде этого не высказывает, однако для всякого его внимательного читателя не может не стать ясным глубокий *теоретизм* всего его душевного склада. У него нет трактатов по логике или метафизике, все его писания удивительно просты, и, однако, за простотою этою невольно чувствуется присутствие громадной теоретической работы, которая совершилась в духе писателя и только последние результаты которой мы видим в его утверждениях и отрицаниях, всегда просто выраженных и в то же время глубокомысленных до трудности усвоения. 30

Главный и, может быть, лучший сборник своих статей г. Страхов озаглавил: «Борьба с Западом», и это невольно должно удивлять каждого, кто хорошо освоился с его умственным миром. Автор, так озаглавливающий свои статьи, не впал ли в недоумение относительно самого себя? Так точно разграничивая все области знания и не терпя смешения их с другими, верно ли определил он свое собственное положение между двумя великими духовными областями — ветхой и мудрой, которую он нашел на Западе, и юной еще, неразвитой и часто нелепой, которую он находит вокруг себя и которую иногда так страстно ненавидит? Правда, к России и к ее будущему обращены все его надежды и желания, но он не публицист, он прежде всего мыслитель, и какими же мыслями живет он? Разве не ясно для всякого, что духовный мир Европы, глубокие идеи ее философии, чудные и сложные здания ее наук — это то самое, во что врос он своею душою, что живет в нем такую могущественною и яркою жизнью, как, быть может, в немно-

гих и европейцах. Встречая в различных местах его книг слова, в которых он отделяется от западников и становится на сторону славянофилов, недоумевающему читателю невольно хочется спросить его: «Разве в Вас есть это соединение простоты и ясности созерцания, которое присуще нашему народу и отразилось в простоте и ясности его великих поэтов, каковы Пушкин и автор «Семейной хроники»? Разве с жизнью *нашего* народа связаны Ваши самые глубокие интересы? Знаток и любитель поэзии, зачитывались ли Вы когда-нибудь нашими былинами, заслушивались ли народной песнею, следили ли с интересом за прихотливым вымыслом народной сказки? Разве Вы знаете хорошо русскую историю? Ценитель поэзии «преданий русского семейства» в «Капитанской дочке» и в «Войне и мире», разве Вы искали ее когда-нибудь в русских мемуарах? И, напротив, разве Вы с большим интересом говорите даже о Пушкине, чем о Ренане и Штраусе? Разве Вы писали о всех переменах прошлого царствования столько, сколько о дарвинизме? Разве самая идея культурно-исторических типов занимала Вас сильнее, нежели идеи Клода Бернара об общей физиологии? Если когда-нибудь появлялся писатель столь мало местный и так слабо связанный с текущею действительностью, то это именно Вы. Вековые вопросы всего человечества, искание «вечных истин», как озаглавили Вы один сборник своих статей, — вот Ваша постоянная тревога, главный смысл Вашей жизни, и неужели, столько поняв, Вы не поняли смысла всей Вашей деятельности?».

Повторяем, сомнение это невольно, и может пройти много лет прежде, чем для читателя прольется на него хоть какой-нибудь объясняющий свет. Повсюду, полемизируя с западниками, он поправляет их понимание главнейших идей, которыми живет Европа, и нередко поправляет в знании ее литературы и философии. Однажды, делая подобную поправку, он замечает: «Для того чтобы хорошо понимать Европу, конечно, менее всего нужно быть западником». В словах этих как будто слышится признание, что именно глубокое вникание в духовную жизнь Европы, долгое и постоянное вращение в сфере ее идей и интересов произвело в конце концов и его собственное отчуждение от нее. В «Воспоминаниях о поездке на Афон» есть несколько любопытных строк, бросающих свет на характер этого отчуждения, быть может более желаемого, чем уже достигнутого. «Имея два месяца свободных, — рассказывает он, — мне *хотелось присоединиться душою к какой-нибудь людской жизни, идущей не по тем нагалам, по которым мы живем...* Но где же искать другой жизни? Европейские нравы и обычаи уже распространились по всему земному шару; везде власть и движение, рост и сила принадлежат Европе, а всякая другая жизнь лишена развития и будущности. Сотни миллионов людей, *еще не уподобившихся европейцам*, составляют лишь служебное, рабочее, податное население, которое уже не может мечтать о своеобразной культуре, о каком-либо усаждении в ходе истории человеческой». Он думал сперва о поездке в Египет, но мысль, что и там он найдет ту же Европу, какую можно видеть и в Петербурге, те же пароходы, гостиницы и итальянскую оперу, остановила его. Он был в затруднении, куда поехать: «Не то же ли самое и везде, что в Египте? *Везде остались только обломки и дребезги былой жизни*, везде туземное население на заднем плане, *лишенное средоточия и самобытного движения*, а на первом плане живет и движется Европа». Ему пришло наконец на мысль поехать на Балканский полуостров; и что же? Не в родные славянские страны потянуло его и не в чужую Грецию, где он мог бы еще увидеть памятники так ценимой им, так

понимаемой античной жизни. Он останавливается на стране, которая должна бы быть ненавистна и отвратительна для всякого русского и каждого славянофила: он вспоминает, что «у нас под боком есть страна, представляющая *высокую* занимательность новизны и оригинальности. *Сама страшная Азия, последняя могущая форма восточной жизни, еще царит в Константинополе*; на самом Европейском материке еще сохраняется грозное некогда владычество турок». Целью его поездки сделался Константинополь, а по близости соседства он посетил и Афон.

Во всяком случае, как странен тон всех приведенных слов и как странно самое желание поехать посмотреть базары и мечети Турции, чтобы хоть там забыться от впечатлений Европы, от которой некуда теперь уйти. Как не похоже это на все, что обычно говорят наши путешественники. Г. Страхов сам, впрочем, не скрывает этого различия: «Куда ехать? Зачем ехать? — спрашивает он самого себя несколькими страницами выше. — Спасать свою душу одинаково надобно и возможно на всяком месте, *и от души своей никуда спастись невозможно*. Да и вообще, не везде ли вокруг нас люди, а перед нами земля и небо, все стихии природы и жизни человеческой? *И счастлив, конегтно, тот, кто прямо живет этими окружающими его стихиями, кого не тянет вдаль, кто погөрпает свою душевную пищу из близкой и родной погвы*. Для таких людей путешествие не может иметь глубокого интереса; оно всегда будет для них только забавою, только охотою».

Лишь на два месяца оставляя город, где Европа свила одно из своих гнезд, он бросает взгляд назад и произносит о людях своего времени и своего положения несколько слов, которые поражают своею верностью и проникнуты какою-то грустью: «Мы, русские, легко вникаем в чужую жизнь, легко отдаемся чужим понятиям, и нельзя не сознаться, что, большею частью, мы этим портим свою душевную деятельность. Если бы мы были посерьезнее, то нас должно бы ужасать то *отсутствие крепких связей со всякою жизнью, и со своею и с гужою*, которое у нас так часто встречается. Все мы понимаем, всем умеем интересоваться, и ничем серьезно не заняты, и ни к чему не питаем глубокого, кровного участия, кроме разве своих мелких личных выгод и прихотей. *Вследствие долгого умственного блуждания по разным эпохам истории и народам земного шара, русский образованный геловек гасто по душевному складу бывает похож на отжившего старика, невольню пришедшего к той степени отвлеженного понимания, на которой все вещи равны и нет уже ничего ни нового, ни важного, а все сливается в однообразном потоке вегности*».

Как напоминают эти слова другие жалобы, которые он подслушал у Герцена, — на холодный мир абстракций, который окружает наконец душу человека, слишком сильно живущего теоретическою мыслью. И весь тон приведенных строк, и сам странный замысел посетить Турцию и Афон — не пробуждает ли все это в уме далекое воспоминание об одном писателе же, о великом и странном поэте, который оставил, и навсегда, свою родину и поехал в те же страны, с тою же мыслью прильнуть к новой, еще не испытанной и первобытной жизни; и там погиб, сражаясь за свободу восставшего народа? Но о чем поэту мечтается, что он хочет сделать и делает, то мыслителю всегда хочется только видеть.

Не будем, однако, вдаваться в аналогии и сближения, которые могли бы повести нас слишком далеко. И без них не может не стать ясен особенный смысл вражды против западничества, который мы встречаем у г. Страхова, но находим также и у других славянофилов. Есть в европейской цивилизации одна черта, ко-

тору очень трудно объяснить, трудно понять, но которой невозможно не почувствовать всякому, кто внимательно к ней присматривался. «Страна святых чудес» — она неудержимо влечет нас к себе, и все, что находим мы в ней, мы не можем не одобрить, не в силах бываем отрицать. Сколько душевной красоты разлито в ее истории — в этих крестовых походах, в ее свободных коммунах, в величественном здании средневекового католицизма и в том полном одушевления восстании против него, которое мы называем Реформацией! Где найдем мы этот трепет жизни, какой наблюдаем в Возрождении, где увидим ясновидцев-художников, как Рафаэль и Мурильо, и окутанные вечным полумраком чудные кафедралы, стены которых возводились благочестивым населением целых городов? И какую мысль все это облито — мыслью еще более, нежели красотой! Станем ли говорить мы, что все это только внешность? Не будем ни обманываться, ни обманывать: именно обилие духа неудержимо влечет нас к этой цивилизации, глубокая вера, скрытая в ее истории, чрезвычайное чистосердечие в отношении к тому, что она делала в каждый момент этой истории, к чему стремилась, чего хотела. Разве эти художники, которые постом и ночью молитвою готовились к своему труду, не были глубокие люди? Разве перепуганные и обрадованные спутники Колумба, запевшие «Тебе Бога хвалим» на цветущем берегу новой земли, не были верующие? Оставим ложное и злое в своем отношении к Европе — оно недостойно нас, недостойно того смысла, уразуметь который мы хотим, подходя к ней.

Этот глубокий, странный и необъяснимый смысл заключается в том, что, чем глубже входим мы в духовный мир Европы и чем теснее сливаемся с ним, тем сильнее поднимается в нас чувство странной неудовлетворенности, необыкновенной душевной усталости; и — что особенно замечательно — эта неудовлетворенность и усталость испытывается и самими европейцами — именно теми из них, которые являются глубочайшими и последними выразителями ее начал, движущих ею идей. По-видимому, усвоение правильных мыслей ее философии и строгих истин ее наук должно бы удовлетворить разум, который и не ищет ничего, кроме истины, и не стремится к иному, кроме как к правильности в своем мышлении; чувство должно бы испытывать тем большее наслаждение, чем совершеннее мир красоты, который перед ним раскрывается; воля должна бы быть удовлетворена стройностью всех учреждений, через посредство которых она действует на народные массы. И это удовлетворение всех способностей человеческой души действительно испытывается: оно-то и вовлекает все народы в своеобразный и чудный мир европейской цивилизации и делает неотразимыми удары, наносимые ею прочим культурам, от которых всех теперь остаются почти только «обломки», — она же одна неудержимо и могущественно разрастается по земле. Но так должно бы быть до конца, потому что окончательное совершенство мысли, последняя красота искусств, полнота всех учреждений еще более должны бы удовлетворять требованиям человеческой души, нежели все это в несовершенной степени, только на пути к идеалу. И вот именно здесь-то, где еще один шаг — и окончательное, вечное торжество европейской цивилизации было бы несомненно, обнаруживается то странное явление, о котором мы заговорили, и неожиданно раскрывает двусмысленный характер этой цивилизации, заставляющий некоторые народы пугливо сторониться от нее.

Мы утверждаем только факт, без каких-либо объяснений к нему. Нужно читать великие произведения европейских поэтов, нужно всматриваться в создания искусств, чтобы почувствовать всеобщность и постоянство этого факта. Что может быть выше, нежели «Фауст»? А сколько невысказанной грусти залегло в это чудное создание, в это соединение высочайшей красоты и самой глубокой мудрости. Нужно читать воодушевленные страницы Байрона, Шатобриана, Руссо, Ламенэ и множества других писателей, чтобы увидеть повсюду, что, чем глубже проникали они к тем скрытым силам, которыми движется европейская история, тем более покидал их дух светлой радости. И то, что наблюдаем мы в частности, разве не очевидно для всякого и в целом? Разве когда-нибудь достигало развитие наук такой высоты, как в XIX в.? Не в этом ли столетии жили самые великие поэты? В какое время еще в европейской цивилизации было столько могущества; в ее движениях — столько силы и правильности; когда она давала народам столько покоя; так заботливо охраняла каждого; столько предоставляла всем наслаждений, и умственных, и эстетических? А удовлетворены ли эти народы? Кто, кроме дурных, подходит к этим наслаждениям? Не ищут ли лучшие скорее какого-то страдания и не странен ли этот факт? Кто не смутится от него и не задумается над смыслом европейской цивилизации и истории?

Мы все понимаем только в частности, смысл же целого от нас скрыт. Проследить, откуда именно произошло это странное явление, что наилучшим образом посаженное дерево приносит столь горький плод, — мы не в силах. Одно несомненно для нас — что в европейской цивилизации есть какое-то странное искривление; что, будучи столь правильной *в частях*, она заключает что-то ложное *в своем целом*, — и то, над чем трудилось столько поколений и с такими надеждами, вовсе не достигает цели, ради которой над ним трудились.

Очевидно, какое-то тонкое и глубокое зло, которое мы не в состоянии различить, анализировать и понять, вошло в целый строй европейской цивилизации; и для того, чтобы наука достигла когда-нибудь возможности оценить его, по-видимому, ей нужны гораздо более глубокие сведения о природе человеческой души и о строе исторического развития, нежели какими она обладает теперь. Мы же можем пока только чувствовать, что совершилось что-то похожее на древнюю историю о том, как некогда голодный сын старого отца променял свое первенство и связанные с ним обетования на чечевичную похлебку. Что-то невознаградиво дорогое, без чего невозможно жить, европейское человечество утратило, созидавая свою цивилизацию, и томится, войдя в ее чудные формы.

Здесь именно и лежит разгадка наших особенных отношений к Западной Европе и причина возникновения двух великих партий, которые в мнении целого столетия разделяют нашу литературу и наше общество на два враждующих лагеря. Не раз проводилась мысль, что значение этих партий уже минуло теперь, что никто более не может в настоящее время оставаться ни чистым западником, ни исключительным славянофилом. Напротив, мы думаем, что спор этот не кончен, и даже утверждаем, что значение его далеко переступает тесные границы национального и имеет всемирно-историческую важность. В подобном же отношении к западноевропейской цивилизации, в каком стоит и наш народ, стоит и длинный ряд других народов, но только у нас возник вопрос: следует ли, оставив пути самостоятельного развития, вступить на путь европейской цивилизации или удержаться от этого? Другие же народы вступают или готовятся вступить на этот

путь, не задавшись вопросом, который так смущает нас. Ясно, что то или иное решение, которое *мы* вынесем для него, будет иметь значение и для всех других народов.

Различие в отношении к частному и к целому составляет узел всех этих вопросов — всего, что мы решали и не умели решить, и всего, что нам предстоит разрешить, с трудом гораздо большим, нежели мы когда-нибудь думали об этом. Когда — два века назад — совершался перелом в нашей истории, великий государь, ведший за собою наш народ, видел перед собою также только частное и к частному же относилось каждое его деяние, всякий его замысел и каждый поступок. Частное же в европейской цивилизации невозможно не одобрить и нельзя удержаться от того, чтобы его не принять. Отсюда — твердость деятельности Петра, отсутствие каких-либо сомнений в ее благотворности, при величайшей любви к своему народу, при жертве будущности его — себя, себе близких и целого поколения этого народа. Не могло быть сомнения о том, нужно ли, оставив прежний строй войска, завести регулярное, — когда первое били, а второе било; нельзя было оставаться при прежнем судостроении и при неопытных матросах и не ввести перемен, сводившихся к тому, чтобы люди не тонули более в море и суда не разбивались. И во всем другом, также, вопрос сводился к ясной и простой дилемме: нужно ли данное дело совершать по-прежнему дурно или как-нибудь иначе и хорошо? И следует ли нам, как и прежде, всегда ожидать неуспеха или стремиться, надеяться и, наконец, достигнуть успеха? Деятельность имеет всегда предмет своим конкретное, единичное, она не может коснуться общего иначе как через это конкретное, улучшать которое составляет задачу всякого практического деятеля. Европейская же цивилизация содержит в себе *неопределенное множество улу́гшенных форм всего частного*, и притом во всех направлениях, и каждый раз, когда мы думаем об улучшении, наш взор всегда и невольно обращается к ней. Здесь и лежит ее неотразимость, и здесь же тайная причина того, почему с вопросом об отношении к ней всегда связывается вопрос об отношении к прогрессу как просто *улу́гшению*, в абстрактном значении этого слова. Прошло два века со времен Петра Великого — и целая группа людей с утонченным умом и благородными характерами фанатично борется против его дела, видит в нем гибель дорогой России; и всякий раз, однако, когда им предстоит не говорить и мыслить, но *делать*, они делают то самое и так именно, что и как делал и он. Разве, желая издать «Семейную хронику» своего отца, И. С. Аксаков не заботился о том, чтобы печатание книги было наиболее скоро, дешево и красиво? Когда заболел он сам, разве он не послал за медиком, наилучше изучившим природу и свойства болезней и способы бороться с ними по наилучшим книгам и у наиболее опытных учителей? И далее, когда уже существуют в стране движение и торговля и прорыты дороги, облегчающие все это, разве может быть какое-нибудь сомнение в том, что ездить по ним скорее — лучше, чем медленно, что устать при этом тяжело и было бы лучше не устать, что платить дорого — трудно, а дешево — легко? Но точно так же и министр, ведению которого поручено образование подрастающих поколений целого народа, разве не должен тревожно заботиться о том, чтобы обучение происходило по наилучшим книгам и с помощью наилучших методов; чтобы сведения, выносимые детьми из школы, были обильно и твердо усвоены? Разве не должна была смущать другого министра несправедливость в судах, запутанность и противоречия в законах, нево-

образимая медленность каждого процесса — и все они не должны были поступать так же, как поступал Петр Великий в своих заботах об армии, флоте и администрации? И таким образом все мы, от государя и до последнего бедняка, руководимые целью делать каждое дело наилучшим образом, все более и более втягиваемся в форму европейской цивилизации, где уже все и во всех направлениях улучшено в наибольшей степени.

Абстрактность улучшенных форм и составляет могущество европейской цивилизации, универсальность ее характера и всемирность ее стремлений; ею одерживает она все победы, даже и не стремясь к ним, невольно; против нее бессильны бороться другие культуры, или тая и претворяясь в формы этой цивилизации, или разбиваясь при встрече с нею. Народы, некогда столь же слабые, столь же грубые и темные, так же гибнувшие в борьбе с природою и между собою, как и другие, не захотели переносить своих страданий, как терпеливо переносили их те. Более ярко, чем все другие, чувствовали они несправедливость — и не захотели мириться с нею; вдумывались в причины бедствий, которые наносила им природа, — и стали бороться с ними. Шаг за шагом, в течение полутора тысячелетий они переходили от улучшения к улучшению, все более преодолевая препятствия, все чаще научаясь достигать успеха. В неустанной борьбе силы их укрепились и ум их изощрился, все шире становилась их деятельность; желая прежде избежать только невыносимых страданий, они стали, наконец, думать о том, чтобы не переносить более и легких. От борьбы против частного, что губило их, от стремления к единичным целям они стали переходить к целям и заботам более общим. Изощрившаяся мысль послужила могучим средством для всего этого. Ничем не пренебрегали они, ни у кого не стыдились учиться; но ко всему прилагали свой труд и свою мысль — и все претворялось, как пища, в растущее тело их. Над чем не думали никогда люди — они задумались; чего не хотели они ни разу — эти народы захотели; и поняли они почти все, что доступно для человека, и достигли почти всего, чего он мог пожелать. Создались государства и удивительные учреждения в них; возникли стройные здания наук и чудный мир философии. И теперь, после стольких веков исторического труда, силы этой цивилизации так напряжены и так полны, что, кажется, что бы ни поставила она для себя целью, она успеет ее достигнуть, и никогда не устанет она в этом, потому что именно достижение составляет высшее ее наслаждение.

Вот почему прогресс, как улучшение, составляет сущность европейского развития, и европейскую цивилизацию можно определить как полноту улучшенных форм человеческого существования. Однако, кроме частного, эта цивилизация есть и нечто общее; и сверх того, что в ней все части улучшены, есть некоторый смысл в целом, составленном из этих частей. В высшей степени замечательно, что Европа сама не знает этого смысла; но не менее замечательно, что к нему именно — к этому общему — относится все недовольство, все смущение и порою ненависть и отвращение, которое она внушает собою. Отсюда вытекает неопределенность этого смущения, кажущаяся беспредметность этой ненависти, которая всегда представляется несправедливо-придирчивою, когда, пытаясь говорить для всех понятным языком, она обращается против чего-нибудь частного. Всегда может быть предложен вопрос: почему вы не боретесь против этого или того зла в формах политической борьбы, которая для вас открыта, или путем ученых трактатов, издавать которые вам никто не мешает? Отсюда же — тот за-

мечательный факт, что не политические и общественные деятели, видящие наибольшее количество еще не исправленных зол, выказывают недовольство европейскою цивилизацией, но поэты и философы. Первые всегда обращены к частному и не чувствуют общего; и, как ни много зла предстоит им улучшить — зная, как в европейской истории ничто из частного никогда не было непреодолимо, — они любят эту историю и созданную ею цивилизацию: на нее одну надеются; готовы простить все и примириться со всем, кроме как с восстанием против нее или даже простым ее осуждением. Напротив, мыслители и поэты, которые наиболее слабо чувствуют частное, но зато наиболее глубоко связаны с общим и (как все признают это) наиболее чутки и проницательны изо всех людей, — непреодолимо и безотчетно отвращаются от того, что так ценят и любят практики.

К этому же общему относится и отрицание, которое высказывают славянофилы, и общее же осуждают они и в реформе Петра. Два века спустя после его преобразований все частное, что сделал он, исчезло: оно или заменено другим, или уничтожено, или изменено до неузнаваемости. Ни один из фактов, им созданных, не существует более вполне; но существует общий смысл этих фактов, о котором он вовсе не думал, и мы живем в цикле истории, им начатом, — движемся в направлении, им данном. Только к этому общему смыслу, который один остался и один значущ, мы можем относить свои суждения, — как он, в свое время, только к частному мог относить свою деятельность. Дилемма, которая была для него так проста, для нас сделалась необыкновенно сложною и трудною. Он улучшал армию, создавал флот, искоренял злоупотребления в администрации; мы же, ничего не говоря об этом, думаем о разрыве в нашей истории, утверждаем невозможность нормального роста для дерева, раз оно переломлено, — мы страшимся за все наше существо и спрашиваем: «Что же останется от нас, кроме языка и его форм, когда, все стремясь стать лучше, мы шаг за шагом будем входить в улучшенные формы европейской цивилизации и наконец войдем в них без остатка? Не станем ли мы только этнографическою массою и неужели словарь своеобразных слов да своеобразная грамматика, которую мы сами не сумели даже обдумать, есть все, что мы оставим после себя в истории? Неужели для этого появлялся народ наш и самобытно рос уже восемь веков? Мы стали лучше во всех отношениях, в каждой подробности, но какою ценою купили мы это? Мы стали пустым остовом, принявшим чужое содержание после того, как его собственное выброшено за ненужностью, стали одеждою, в которой движется, живет и развивается иное существо, которое сумеет и сохранить ее до времени, но, конечно, и бросить, когда она износится, и заменить другою одеждою».

Вот одна половина славянофильского отрицания, вытекающего из общего взгляда на нашу историю и будущность нашего народа.

Его вторая половина обращена к самой европейской цивилизации и состоит в отрицании ее, основанном на знании в ней *общего*. Эта цивилизация не может быть нормальною для всего человечества; она не нормальна даже для европейской части его, если заканчивается страданием. Пусть все частное в ней совершенно: есть глубокая расстроенность в ее целом, если вместо того, чтобы испытывать гармонию, радость и успокоение — естественную награду столь продолжительного труда, труд человеческий испытывает в ней неудовлетворенность. Происходит ли это от того, что столь совершенные части в ней несовершенно соединены и эта дисгармония отражается расстроенностью духа; или другое что закралось

в европейскую цивилизацию? — этого решить невозможно. Но если несомненно, что стремиться к страданию как венцу своего бытия было бы ложно, то так же несомненно, что человечество должно удержаться от того, чтобы вступать всецело в формы европейской цивилизации.

Ясно, что подобное отрицание не могло быть результатом безотчетного отворачивания слепых национальных инстинктов против стремящейся вытеснить их иной культуры. И действительно: оно всегда сосредоточивалось в тесном круге немногих людей, утонченных по своему образованию, в высокой степени склонных к обобщению, наконец, свободных по своему положению от каких-нибудь частных забот или единичных и временных интересов. Они не были людьми, отрицающими то, что они мало понимали: напротив, они отрицали именно потому, что слишком глубоко поняли известное другим только своею поверхностною стороною и лишь в частностях. Скажем более: они были люди, до конца выполнившие мысль Петра I и именно из полноты этого выполнения вынесшие ее отрицание. Тогда как все остальные еще только движутся в пределах этой мысли, только идут выполнять ее, главною же, коренною частью своего существа продолжают оставаться людьми дореформенными, — деятельность и благожелательность, как и в самом Петре I, остается для тех людей главною их чертою. Таким образом, если мы глубже всмотримся в психический склад славянофилов и западников, мы найдем в нем обратное тому, что они видимо утверждают. Западники являются таковыми лишь в своих стремлениях — и именно потому, что по своему духовному содержанию и его складу они остаются часто еще нетронутыми русскими; славянофилы так страстно тянутся прикоснуться к родному, так глубоко понимают его и так высоко ценят — именно потому, что так безвозвратно, быть может, уже порвали жизненную связь с ним, так поверили некогда универсальности европейской цивилизации и со всею силой своих дарований не только в нее погрузились, но и страстно коснулись тех глубоких ее основ, которые открываются только высоким душам, но прикосновение к которым никогда не бывает безнаказанным. Кто станет отрицать, что во многих наших западниках, оставшихся таковыми до конца, более жил ясный и спокойный дух нашего народа; и кто не заметит, напротив, некоторой сумрачности в складе чувства и глубокого теоретизма в складе ума у всех наших славянофилов? Истории, самой конкретной из наук, они никогда не изучали ради ее самой и обращались к ней лишь за пособием для оправдания своих теорий: они не любили факта, как такового; даже из всех русских историков совпал с ними во взгляде на нее, равно как в своих симпатиях и антипатиях, единственный, который обрабатывает ее, и с таким успехом, теоретически*; напротив, самый слабый из наших историков по силе обобщения и наиболее привязанный к конкретному** был чистый западник.

Едва ли не здесь следует искать разгадки постоянной безуспешности славянофильского учения; их мудрость не привлекала к себе, их горячее слово не убеждало; холод и почти враждебность всегда окружали их. Они сами склонны были приписывать это глупости окружающих, и высокомерное отношение их к людям и фактам своего времени общеизвестно. Но кажется, что причины здесь лежат

* В. О. Ключевский. См. предисловие к его «Боярской думе древней Руси», напечатанное предварительно в «Русской Мысли», а также известный разбор типа Онегина.

** Разумею Костомарова.

гораздо глубже. Оне скрываются в дисгармонии их психического склада с психическим складом нашего общества, или слабо тронутого, или еще не тронутого европейскою цивилизацией.

Понять, в чем именно разошлись две великие партии нашего общества, — значит понять глубокую правоту каждой из них; невозможность для одной из них поступать иначе и для другой — иначе мыслить. Понять особенности в психическом их складе — значит понять множество литературных явлений. Мы обращаемся снова к одному из них, которое так надолго оставили для этих общих рассуждений.

10

III

«Неудовлетворенность тем, что обыкновенно называется познанием, есть чувство очень обыкновенное, — писал г. Страхов в 1887 г., по поводу своей полемики с Бутлеровым, который обнаружил это чувство и высказал его в прекрасных и глубоких словах. — Не только питаюсь естественно-научными познаниями, но *поглощая и всякие другие*, мы можем оставаться совершенно голодными. Но возможно ли составить общую и точную формулу этого недовольства? Когда я окончил свою книгу «Мир как целое», в которой с увлечением развивал главные и общие учения о природе, мною овладело это чувство неудовлетворенности, и я позволяю себе привести здесь то место, где я пытался тогда дать себе отчет в своих чувствах» *. Мы повторим его также, потому что оно может служить ключом объяснения ко всей литературной деятельности г. Страхова. Высказанное и повторенное на расстоянии двадцати пяти лет, оно обнимает почти всю его деятельность.

«Если мы чувствуем недовольство этим взглядом (т. е. тем, который изложен в книге), если он в нас что-то затрогивает и чему-то противоречит, то нет никакого сомнения, что источник такого разногласия заключается не в уме, а в каких-нибудь других требованиях души человеческой. Человек постоянно почему-то *враждует против рационализма* (курсив автора), и эта вражда упорно ведется всеми, спиритуалистами и материалистами, верующими и скептиками, философами и натуралистами».

«Отдать себе отчет в этой вражде есть величайшая задача мысли» **.

Вот слова, могущие внушить самое глубокое удивление. Обращаясь к предисловию книги «Мир как целое», мы узнаем из него, что основой для мыслей автора, развитых в этой книге, послужили: во-первых, данные естественных наук и, во-вторых, философия Гегеля, именно его диалектика. Ланге в «Истории материализма» замечает, что одна специальная работа в каком-нибудь отделе естествознания более знакомит того, кто произвел ее, с общим духом и методом всего круга наук о природе, нежели самая обширная начитанность в этих науках, сделанная с целью ознакомиться с их содержанием в последних выводах. Это

* «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)», стр. XXIX.

** «Мир как целое». Стр. IX.

ему столь общую идею, как идея реационального естествознания. Склонности ума совлекли его с пути чистого естествознания, или, точнее, он вошел в более широкий и гибкий мир философии, чтобы с точек зрения, в ней открывающихся, посмотреть на те данные, которые в круге наук о природе скорее излагаются только, нежели объясняются.

Интерес к факту, однако, уже настолько окреп в нем, что во всем ряде последующих философских трудов его мы не находим и тени развития чистых понятий, с каким обычно встречаемся в философских книгах, но видим только философский анализ, приложенный к явлениям внешней природы или внутренней жизни человека. Философия Декарта и философия Гегеля наиболее, как кажется, послужили к выработке его мирозерцания, и обе не столько содержанием своим, сколько методом. В первой он нашел принципы, и до сих пор развиваемые физическими науками это — принципы механического объяснения природы; во второй он нашел разработку категорий, т. е. понятий, несводимых одно на другое и, однако, выводимых друг из друга, под которые подводятся, как под общее, все единичные явления природы и все разнообразные ее области.

Таким образом, под рационализмом, неудовлетворенность которым почувствовал г. Стрхов, разумеется не какая-нибудь односторонность научного исследования, но дух знания во всей широте его, в его целом; и в этом духе, которым он так глубоко и, по-видимому, так доверчиво проникся вначале, ничто не было рождено тем народом, к которому он принадлежал: он возник и вырос в Западной Европе как одна из лучших и самых совершенных форм ее развития. В различных местах многочисленных книг г. Стрхова можно видеть, до какой степени высоко в авторе понятие о науках, как удивляется он твердости их начал и выдержанности их методов. И вот, однако, против этих именно наук — предмета его главного удивления, очевидно не в частностях их, но в целом, поднимается у него чувство общей неудовлетворенности.

Высказанное более нежели четверть века назад, это чувство определило его отношение к западноевропейской цивилизации и к той, которой смысл еще неизвестен, но которая может, при благоприятных условиях, развиваться в среде нашего народа. Отсюда — горячая его полемика (против г. Вл. Соловьёва) в защиту книги Данилевского «Россия и Европа», где развита теория культурно-исторических типов как ряда своеобразных цивилизаций, развивающихся в историческом процессе человечества; он же первый, в журналистике*, и приветствовал и объяснил главный смысл этой книги. Отсюда участливое его внимание к судьбам славянофильской партии, высказавшееся, например, в статье «Поминки по И. С. Аксакове», одной из лучших в сборнике «Борьба с Западом». Отсюда — всегда исполненные уважения слова его о русском народе и его истории. Но когда читаешь их, всегда и невольно приходят на ум его «Воспоминания о Ф. М. Достоевском», который был его близким другом и товарищем по журнальной деятельности (см. первое посмертное изд. сочинений Достоевского, 1882 г., т. I). Слишком глубокий теоретизм душевного склада потому, быть может, и вызывает неудовлетворенность, что всякого, кто имел несчастье дойти до него, он отделяет глубокою и уже никогда не переступаемою чертой от всего живого и единичного. Те связи, которые соединяют каждого с окружающею средою, как

* В «Заре» за 1871 г., март.

будто прерываются, и глубокое внутреннее одиночество, способность ко всякому предмету или явлению, к лицу, народу или истории становиться лишь в отношении наблюдателя и мыслителя — есть невольное последствие этого проступка против собственной души, есть неизбежная кара за нарушение гармонии в ее развитии. Мы склонны думать, что эта отчужденность теоретического ума была присуща и разбираемому нами писателю, и всякий раз, когда он привязывался к чему-нибудь, он, собственно, оценивал дорогие ему качества и влекся более к ним, нежели к их живому носителю. Это не может не причинять глубокого внутреннего страдания, и отсюда-то, думается нам, вытекла та особенность, что

10 неудовлетворенность рационализмом высказалась у г. Страхова как «враждебность» к нему, а не как простое сознание его недостаточности только. Не менее знаменательно и то, что, попытавшись истолковать точный смысл этой враждебности, он заговорил об исполнении *долга* как о том, что может более всего другого успокоить встревоженный дух человека *: Понятие долга, выросшее на холодной почве Рима, абстракций его права и тоски его стоицизма, есть лишь сомнительная замена истинных чувств, которыми жива всякая жизнь. «Должное» указывается умом и выполняется, когда более не подсказывается сердцем, и жизнь уже не творится; не играет, но только поддерживается.

Мы входим здесь в темную, всегда скрытую область соотношения отдельных

20 сторон психической жизни. Духовный мир человека есть уже от начала нечто в высшей степени сложное, но одновременно с этим и нечто глубоко гармоничное, цельное. Сохранить эту цельность, не расстроить этой гармонии душевных сил есть важнейшая задача всякого личного существования, но она, к несчастью, обыкновенно сознается человеком тогда уже, когда расстроена непоправимо. Грусть, доходящая до помешательства у Гамлета и вызывающая в Фаусте жажду, возвратившись к юности, вторично и иначе пережить свою жизнь, вытекает из того именно, что в них обоих основная гармония души была нарушена, что у одного над волею, а у другого над чувством так воспреобладала мысль. Но уроки особенно глубокие для человека всегда выслушиваются им небрежно или не

30 понимают; их, правда, трудно и выполнить. Во всяком случае, духовное развитие, которое старается дать нам государство и общество, к которому мы стремимся сами, всегда почти состоит в том, даже начинается с того, чтобы нарушить цельность и гармоничность внутренней жизни. Мы силимся стать виртуозами, не замечая, что становимся только калеками.

Трудно сохраняемая в личном существовании, эта гармония душевных способностей еще неизмеримо труднее сохраняется в истории, и мы склонны думать, что глубокая расстроенность европейской цивилизации объясняется чрезмерным нарушением в ней равновесия духовных элементов — подавленностью одних из них, исключительным развитием других, наконец, несогласованностью

40 их всех между собою. Сюда следует, быть может, присоединить ложность и самого типа, по которому развиты по крайней мере некоторые из этих элементов. Со всем этим в высшей степени соединена необыкновенная изощренность, высокое совершенство частей и чрезвычайное могущество, видимое обилие жизни — все то, о чем мы единственно и можем утверждать, что оно несомненно присуще европейской цивилизации. Но не будем слишком входить в рассмотрение этих

* «Мир как целое», стр. X.

трудных вопросов; и сказанного достаточно, чтобы понять отчетливо, какими путями разбираемый нами писатель пришел ко всем своим отрицаниям и утверждениям.

Перенесенное страдание, как и испытанное счастье, всегда является источником заветного и непреклонного в наших убеждениях; оно же открывает для нас и внутреннюю, тайную жизнь чужой души, углубив и усложнив жизнь собственной. В незаметном уклоне мыслей, в особом тоне речи мы открываем присутствие черт, которых не можем не сознавать и в себе, и по ним заключаем безошибочно об общности причин, которые их вызвали. Эту пронизательность суждения, основанную на богатстве собственной внутренней жизни, мы находим и у г. Страхова. Неудовлетворенность — и безотчетная — одною из самых общих и великих форм европейской цивилизации дала ему возможность безошибочно определить подобное же недовольство ею и в других умах, которое сказалось так же враждебно, повело к таким же, как и у него, страстным отрицаниям. Рационализация природы в философии и науке; безграничное стремление, избегая всякого страдания, улучшать каждую частность жизни и надежда через это достигнуть ее полного совершенства; вера в могущество своей природы и отвержение необходимости для себя какой-нибудь помощи в религии — все это может считаться главными и самыми общими чертами европейского общества второй половины XIX века. В целом ряде западных писателей г. Страхов открывает, как вера в рационализм, столь же горячая, какую он исповедывал некогда, привела к недовольству и отрицанию других сторон европейской цивилизации, то подавляемому еще, как у Штрауса, то колеблющемуся, как у Д. С. Миля, то исполненному какого-то недоумения, как у Фейербаха, то открытому и резкому, как у Ренана и отчасти у Герцена.

Но если для западноевропейских писателей за отрицанием своей цивилизации остается только сумрак и отчаяние, то для писателя иного народа, еще не вошедшего окончательно в формы этой цивилизации, остается надежда на возможность иной культуры. К этой надежде примыкает, из нее исходит вся критическая деятельность г. Страхова.

Одно из самых удивительных заблуждений первых представителей славянофильской партии составляло мнение, что пережитое в два последние столетия нашим обществом может быть как-то забыто и мы снова можем вернуться к простоте своего быта до реформы Петра, чтобы затем продолжать свою историю так, как будто в ней не было перерыва. Здесь забывалось, что если все можем мы изменить, все заимствованное — снять с себя, то не можем возвратиться к простоте прежнего созерцания, не можем истребить в себе понятий и чувств, усвоенных и сложившихся в два последние века. А в них, очевидно, и заключается все дело — формы же быта и все прочее внешнее являются лишь необходимою их оболочкою, которая не может не соответствовать своему содержанию. Таким образом, возможность иной культуры в нашей истории обуславливается возможностью для нас, сохраняя уже возникшую сложность своего созерцания, перейти в нем с типа западноевропейского к типу иному, который соответствовал бы тому, какой в неразвитой форме продолжает и до сих пор существовать в нашем простом народе. Эта возможность действительно открывается в нашей литературе, исторические заслуги которой теперь нельзя даже и оценить.

В произведениях ряда поэтов и художников, начиная от Пушкина, после которого колебания и склонения в сторону западноевропейских типов духовной красоты человека, мы замечаем возвращение к самостоятельности и создание типов и характеров, в безусловной нравственной красоте которых мы не можем сомневаться, перед которыми преклоняются, как только узнают их, и западные писатели и которые, вместе с тем, совершенно гармонируют с душевным складом, до сих пор живущим в нашем простом народе. Эта особенность нашей литературы впервые была замечена Ап. Григорьевым — критиком, который ни при жизни, ни после смерти не был оценен по достоинству. Он открыл новую точку зрения на нашу литературу, и так как она есть истинная, то трудно допустить мысль, чтобы она не стала когда-нибудь общепринятою. С чуткостью, которая после всего сказанного должна быть ясна, г. Страхов понял верность этого воззрения, оценил всю его значительность для нашего духовного развития и со всею страстностью примкнул к воззрениям Ап. Григорьева. Он собрал его статьи, рассеянные в малораспространенных журналах, и, приведя их в систематический порядок, издал, со своим предисловием, биографией и указателем *. В долгие годы последующей собственной литературной деятельности он испытал сам, как трудно добиться в читающем обществе внимания, как всякая оригинальность и самостоятельность проводимых воззрений сопровождаются враждебностью или отчужденностью остальной журналистики, в своей совокупности представляющей непреодолимую силу, способную как дать распространение самым пустым мыслям, так и задавить идею, самую высокую и плодотворную.

Энергия деятельности, когда она неутомима и сопровождается талантом, может, однако, преодолеть и эту косную силу. В ряде собственных превосходных статей по поводу «Войны и мира» г. Страхов изложил предварительную точку зрения Ап. Григорьева и тем гораздо более, нежели изданием его сочинений, способствовал ознакомлению с ней широких слоев читающего общества. Затем эту же точку зрения он приложил и к произведению Л. Толстого. Их глубокое соответствие, как теории и факта, не могло не поразить всякого. В отношении ко всему предыдущему развитию нашей литературы великая эпопея гр. Толстого являлась светлым и высоким торжеством той стороны ее, которая впервые сказала у Пушкина, была совершенно не понята его современниками и последующими критиками и оценена впервые Ап. Григорьевым.

Но и для самого г. Страхова появление «Войны и мира», можно думать, было важным моментом во внутреннем развитии. То, чего он смутно искал, чего ожидал с сомнением, появилось в образах удивительной красоты и твердости, перед которыми невольно склонилось читающее общество, еще не понимая всего их значения. Ни для кого значение это не могло быть так ясно, как для него. В четырех томах громадного литературного произведения он нашел две строчки, мимоходом брошенные автором, в которых была сгруппирована вся мысль романа, быть может не так отчетливая и для самого знаменитого художника. Эти строки он избрал эпиграфом для своего разбора: «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды» — в этих коротких словах содержится указание иного и высшего типа для всемирной истории, по которому она еще никогда не двигалась и которая хранится как нравственный идеал бессознательно в недрах народа нашего;

* Сочинения Аполлона Григорьева, т. I. СПб., 1876.

по нему, конечно, ступая и вкривь и вкось, развивался и быт наш до реформы Петра. Этот тип может быть удержан при всей сложности развития, при всякой высоте умственных созерцаний или обширности замыслов и стремлений. Нельзя не согласиться, что он есть норма для человеческого духа и мерило достоинства для человеческой деятельности. Придерживаясь его, первый никогда не почувствует неудовлетворенности и тревоги, а вторая успеет достигнуть всяких целей. Если мы всмотримся в двухтысячелетнюю историю Западной Европы, мы увидим, что все великое, в ней совершившееся, совершилось по иным типам, нежели этот. Могущество внешнего авторитета в одни моменты ее развития, свобода личной совести в другие, гражданское равенство в третьи, далее, спиритуализм или материализм воззрений, чувств и отношений — вот окончательные цели, которые преследовались западными народами и породили великие циклы их развития: католицизм и реформацию, систему централизованных государств и революцию, рыцарство и промышленность, аскетизм монастырей и шум энциклопедистов. Идеал всегда бывает несложен, он называется двумя-тремя словами, но его осуществление на всех ступенях жизни, проникновение им всех форм развития, всех моментов личного существования и общественных отношений наполняют собою века народной жизни, поглощают труд бесчисленных поколений. Западная Европа в течение всего последнего столетия движется в пределах мысли, которую мы можем читать в двух словах, вырезанных на французских пушках, хранимых в Московском Кремле, — «liberté, égalité» *: сюда примыкают ряд монархий и республик, законодательства и журналистика, индустрия и пролетариат. И так, слова эти кратки, но смысл их долог. Не трудно понять, как забвения великого идеала, хранимого в нашем народе, пренебрежение которою-нибудь из его черт порождает наше бессилие достигнуть хоть каких-нибудь из своих целей, и не нужно быть особенно проницательным, чтобы предвидеть, до какой степени легко и радостно мы достигли бы их всех, если бы в стремлении своем действительно были всегда просты, совершенно не заботились ни о чем, кроме добра. Но к добру мы примешали лживость, к правде — ожесточение, извратились сами и извратили свою жизнь и несем ее как бремя, ненавистное для себя и для других.

К разбору «Войны и мира» прилагает, как к своему центру, и вся остальная критическая деятельность разбираемого нами писателя. В ней особенно следует отметить превосходные «Заметки о Пушкине и других поэтах». В противоположность основным славянофилам, которые гениального, но извращенного Гоголя признавали самым великим деятелем в нашей литературе, потому что он отрицанием своим совпал с их отрицанием, — ветвь этой партии, к которой принадлежал и г. Страхов, выдвинула Пушкина. Ясность и спокойствие этого поэта, равно как широта его симпатий, более соответствовала положительному характеру идеалов этой ветви славянофильства, главными представителями которой были, кроме разбираемого нами критика, Ап. Григорьев и Ф. М. Достоевский (к их же кругу принадлежал и Н. Я. Данилевский). Пушкин сделался центром их симпатий и толкований. В его знаменитом стихотворении «Возрождение» они видели высказанную судьбу каждой сколько-нибудь даровитой русской души: долгое скитальчество за идеалами, страстное и не окончательное преклонение перед бо-

* «свобода, равенство» (*фр.*).

гами чужих народов, утомление всеми ими и возвращение к идеалам своего родного народа.

Это можно почти толковать так, что уже при первом выступлении на историческое поприще каждый народ, как и всякий вчера рожденный человек, в своих скрытых духовных дарах носит определение своей судьбы. В течение долгого времени он смутно и безотчетно идет правильным путем, руководимый этими раскрывающимися дарами, но не сознавая их. Но настает время, когда он сходит с этих путей, и временные желания, придуманные цели становятся его руководителями. Он называет это время периодом пробуждения в себе сознания, пробуждения своей личности в истории. Однако он скоро познает, как недостаточны его силы для поддержания его на этих путях, как слаб его ум для выбора наилучших из них. Измученный и не достигнув ничего, он снова возвращается тогда на великие пути, по которым шел раньше. Но все переменяется теперь: не тот уже и он, и иначе понимает он путь, который уже совершил и который ему предстоит еще окончить. Он догадывается, наконец, что было сознание, великое и глубокое, которое и вывело его на историческую сцену и долго вело по ней; не мыслью своею, но деяниями, повиновением он совпадал и прежде с этим сознанием. Утомленный, он и теперь хочет только повиноваться ему и повинуетя; но он вместе с тем совпадает теперь с ним своею мыслью. Этот последний период и есть период действительного сознания, которое можно назвать мудростью.

* * *

Мы поставили для себя задачу — указать главные линии в строе мышления избранного писателя и объяснить их происхождение; при этом, естественно, мы опустили все частное, что содержится в его трудах. Сделаем теперь общую характеристику его значения.

Прекрасная и уже обширная в поэтическом и художественном отношении, наша литература не дает еще достаточной пищи для *ума собственно, для размышления*. Любя своих великих писателей и постоянно перечитывая их, мы можем воспитаться нравственно: научиться с достоинством проходить свою жизнь, быть внимательными ко всякому страданию и воздерживаться от всякого зла. Круг отношений к ближнему, к своему народу, разные житейские отношения — все это истолковано в образах нашей литературы с удивительным разнообразием, с глубоким знанием человеческого сердца.

Но если проходить свой жизненный путь правильно есть самая сложная и трудная задача всякого человека, то за нею остается еще и другая. Часть жизни своей всякий человек проводит наедине, и здесь он невольно обращается своею мыслью не к временному и текущему, что окружает его, но к вечному и постоянному. Он хочет сколько-нибудь уразуметь тот мир, в котором мгновение назад появился и через мгновение же исчезнет; хочет унести с собою что-нибудь вечное. Это желание делается источником размышления.

Чего-либо соответствующего ему недостает в нашей литературе, и мы склонны думать, что в ближайшем будущем ее главною заботою станет восполнение этого недостатка. Нужно понять эту великую задачу во всей ее строгости, нужно отнестись к ней с тою же простотою и серьезностью, с какою относится к ней

каждый в глубине своей души, наедине с собою. Для литературы это задача неизмеримо трудная. Заинтересоваться единственно предметом своим и относиться к читателю так же правдиво, как к самому себе, — это может быть доступно только высоким душам.

Им и будет принадлежать умственное воспитание нашего общества, руководство его мыслью. Не раз, вчитываясь в многочисленные труды разобранного нами писателя, мы старались дать себе отчет, почему именно он так не похож на всех других, что сообщает ему такое своеобразие? Целного мировоззрения он не дает, никакой яркой идеи не высказал и не утвердил, даже ни на один вопрос не ответил ясно и отчетливо, окончательно. Но со всем этим, странным образом, соединяется и чувство какой-то совершенной удовлетворенности. Стараясь дать себе отчет о нем, невольно останавливаешься на отношении автора к предметам своего размышления и к своему читателю.

Заинтересованность первыми — до забвения личного в себе и, в силу этого, забвения личного и в читателе — есть постоянная и отличительная его черта. Это и порождает в размышляющем читателе чувство совершенного удовлетворения: никакой дисгармонии между своею душою и книгою он не испытывает; все временное, все личное, что отделяет его от других людей и минутно соединяет с ними, так же как и тогда, когда он остается наедине с собою, уходит куда-то в безграничную даль и пропадает. Мысли, в действительности усваиваемые им извне, как будто вырастают в его собственной душе и развиваются в ней.

Это и составляет притягательную силу разбираемого автора. Он не столько разрешает наши вопросы, сколько научает нас серьезно искать их разрешения; не так наполняет ум, как приготовляет его к принятию истинно достойного содержания. Длинный ряд книг, им написанных, касающийся самых разнообразных вопросов внешней природы и внутренней жизни человека, истории и политики, философии и религии, служит прекрасным началом выполнения нашей литературою той задачи *умственного развития общества*, разрешения которой мы ожидаем от нее после того, как она столь прекрасно выполнила задачу его художественного и отчасти нравственного воспитания.

1890 г.

ТРИ МОМЕНТА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

I

Как и художественная литература, наша критика успела уже пережить в своем развитии несколько фазисов. Смена этих последних обуславливалась изменением в целях, которые она поставляла перед собою.

Отделить в литературных произведениях прекрасное от посредственного и выяснить эстетическое достоинство первого, это составляет цель и смысл раннего периода нашей критики. Деятельность Белинского, многолетняя и плодотворная, была высшим выражением этого стремления; и так как в литературе наиболее существенным всегда останется именно прекрасное, — то, каковы бы ни были дальнейшие судьбы нашей критики, как бы ни углубилась она в своем содержании, эта деятельность никогда не будет затемнена и отстранена, но всегда и только — дополнена. Он сделал то, что необходимо было раньше всего сделать в отношении к литературе, и в то же время — это было самое существенное, важное. Знать, что именно следует ценить в ней и чем пренебрегать, — это значило для общества начать ею воспитываться и для писателей — стать относительно других литератур в положение оценивающего зрителя, а не слепого подражателя. С величайшею чуткостью к красоте, какую обладал Белинский, с чуткостью к ней именно в единичном, индивидуальном, быть может нераздельна некоторая слабость в теоретических обобщениях — и это было причиной, почему до конца жизни он не установил никакого общего мерил для прекрасного, никакого постоянного критерия для отделения в литературных произведениях хорошего от дурного. Он был похож на тех людей, самых нужных и самых лучших, которых мы иногда наблюдаем в окружающей нас жизни: с изумительным совершенством и безошибочностью они различают хорошее и дурное, сами воздерживаются от последнего и удерживают от него других и, однако, совершенно не знают, почему именно одно всегда бывает дурно и другое всегда хорошо; тогда как рядом с ними мы видим бледных теоретиков, которые истощили силы своего ума над отысканием всеобщих оснований для хорошего и дурного и теряются в бес-³⁰ сильных колебаниях при встрече с самым простым фактом в жизни своей или себе близких. Однако, как бы ни предпочитали мы безошибочное понимание частного знанию всеобщего, мы не должны отвергать и важности последнего, и тот, кто своею теоретическою мыслью сумел бы выяснить всеобщее мерило хороше-

го и дурного в сфере поэтических и художественных произведений, без сомнения, сделал бы нечто не только в высшей степени трудное, но и высокодостойное и необходимое*.

II

Связать литературу с жизнью, заставив первую служить последней и понимая последнюю через явления первой, — это составило смысл и задачу второго периода нашей критики, высшим выразителем которого явился Добролюбов. Прекрасное в литературе было отодвинуто на второй план, как и наслаждение только им было признано мало достойным. Как на самое существенное указывалось в ней на то, что она может глубже и вернее, нежели что-либо другое, отражать в себе жизнь, и притом не только с внешней стороны, которую одну мы наблюдаем в действительности, но и с внутренней, более глубокой, которая часто ускользает от нас. Художник или поэт есть как бы бессознательный мудрец, который в выводимых им образах или передаваемых фактах концентрирует рассеянные черты жизни, иногда схватывает глубочайшую их сущность и даже угадывает их причины. Поэтому, изучая литературу, мы изучаем самую жизнь, а с тем вместе и научаемся, как относиться к последней. Но не всякое литературное произведение выполняет все эти задачи одинаково совершенно: несмотря на совершенство, например, в изображении и обобщении, оно может неверно определять

* Очень скоро после смерти Белинского точка зрения, им установленная, была заменена в критике другими основаниями, и мы можем указать за очень много лет лишь одно крупное произведение, где эстетическая оценка вновь заняла первенствующее место перед всякими другими способами понимать поэзию и искусство: это ряд в высшей степени значительных статей покойного К. Н. Леонтьева — «Анализ, стиль и веяние; по поводу романов гр. Л. Н. Толстого», — лучший критический этюд за много последних лет. Но и в самой статье этой есть нечто, очень трудно уловимое и не поддающееся передаче, что дает чувствовать, не только *погему* — это мы знали и раньше, — но и *как надолго* умерла эта точка зрения. Без сомнения, для очень длинного фазиса нашей истории, конца которого сейчас и предвидеть нельзя, спокойные времена, времена неторопливого созидания и чуткой, наслаждающейся своим предметом критики — прошли безвозвратно; и не скоро новый критик, весь погруженный в чудеса речи, и образов, и картин, и забывая за ними остальное, произнесет, вслед за автором «Анализа и стиля», этот старый державинский стих:

Таков, Фелица, — я развратен

— в эстетике. Есть в самом деле времена и задачи несовместимые с эстетикой; есть категории добра и зла, несовместимые с другими категориями, и мы, несмотря на механические усилия свои, не можем вовсе их соединить, когда они органически несходны. Статья Леонтьева потому исторически замечательна, что эта красота, на которой она вся сосредоточена, есть исключительно внешняя *красивость*. Ни у Белинского, ни у кого другого из наших критиков эстетическая точка зрения еще не была так совершенно очищена от всяких сторонних примесей; и ни у кого же, как у Леонтьева, в силу этой чистоты своей, она не чувствуется столь недостаточной для удовлетворения цельного нашего существа, требований цельной жизни, чему в конце концов должна уметь удовлетворять литература.

смысл изображаемого или, еще чаще, может погрешать в указании его причин. Задача критики и состоит в том, чтобы внести поправки ко всему этому. Она есть строгий и обстоятельный комментарий к литературе, который вносит в нее недостающее, исправляет неправильно сказанное, осуждает и отбрасывает ложное, и все это — на основании сравнения ее содержания с живою текущею действительностью, как ее понимает критик.

10 Невозможно было придать литературе более жизненное значение, пробудить к ней более глубокий интерес, так слить ее с душой исторически развивающегося общества, чем как это сделал подобный взгляд на ее сущность и на задачи критики. Именно под его влиянием литература приобрела в нашей жизни такое колоссальное значение. Не знать ее, не любить ее, не интересоваться ею — это значило с того времени стать отщепенцем своего общества и народа, ненужным отброском родной истории, узким и невежественным эгоистом, которому никто не нужен и который сам никому не нужен. Писатель стал главным, центральным лицом в нашем обществе и истории, к мысли которого все прислушиваются. И все это совершилось без слов, даже без видимых, осязаемых влияний, просто через изменение взгляда на литературу, через новое отношение к ней, в которое стала критика, и за ней — общество.

20 Великое значение исторически развивающейся жизни заключается в том, что она, в своем ровном и могущественном течении, удерживает в себе все истинное и доброе, что в нее вносится индивидуальной волею, дает рост ему и силу и сама от него возрастает; ложное же и дурное почти все и без усилий оставляет в стороне. Деятельность Добролюбова, как ни кратка она была по времени, вошла органическим звеном в духовное развитие нашего общества, и трогательные слова, написанные им в предвидении близкой смерти, в виду ранней и незаслуженной могилы:

Но зато родному краю,
Верно, буду я известен —

30 осуществились так, как только он сам мог пожелать для себя, даже более — как мог он пожелать для самых дорогих своих надежд. Целый ряд поколений, как-то быстро выступивших и быстро же сошедших со сцены, неотразимо подчинился его влиянию, усвоил тот особый душевный склад, тот оттенок чувства и направление мысли, которое жило в этом еще так молодом и уже так странно могущественном человеке. И кто из нас теперь живущих и уже свободных от этого влияния людей, обратясь к лучшим годам своей юности, не вспомнит, как за томом сочинений Добролюбова забывались и университетские лекции, и вся мудрость, ветхая и великая, которая могла быть усвоена из разных старых и новых книг. К нему примыкали все наши надежды, вся любовь и всякая ненависть.

40 В этом состоит, но этим и ограничивается положительная сторона его деятельности. Весь исполненный желаний, он на желания же и хотел влиять, и так как он делал это через критику, то есть через литературу, то косвенно и невольно подчинил ей желания общества. Отсюда и вытекает характер переворота, который произвел он; и с этим же характером неотделимо связана и отрицательная сторона его деятельности: именно ложность почти всех литературных оценок, которые он сделал. Натура всего менее рефлексивная и пассивная, он совершен-

но неспособен был, отрешившись от себя, подчиниться на время произведению, которое ему нужно было понять, войти в мир образов и идей его творца. Совершенное непонимание художественного отношения к жизни было его отличительной чертой — естественное последствие исключительности его духовного склада.

Два течения в нашей литературе ведут отсюда свое начало: упадок критики и обращение почти всей литературы в тенденциозную — с одной стороны; отделение от этого течения и совершенно свободное, вне всякой зависимости от критики, развитие нескольких самобытных дарований — с другой. Это произошло таким образом: не будучи способен понять что-либо разнородное с собою, Добролюбов подчинил своему влиянию все третьестепенные дарования, которые 10
впали в смысл его критики, и он, в свою очередь, совпал своею критикой с их смыслом (Марко-Вовчок, Некрасов — большею частью своих произведений, Щедрин — почти всеми и многие другие). Напротив, все действительно великие дарования последнего цикла нашей литературы (Достоевский, Тургенев, Островский, Гончаров, Л. Толстой), видя, как критика говорит что-то хотя и по поводу их, однако как бы к ним совсем не относящееся, отделились от нее, перестали принимать ее указания в какое-либо соображение. Ряд последующих критиков, видя только внешние черты влияния Добролюбова и не понимая, как тесно они 20
были связаны с его особым душевным складом, — хотя и не имели в себе ничего подобного, однако хотели во всем следовать ему: произошло явление в высшей степени слабое и незначашее, как не имеющее под собою никакого другого основания, кроме подражательности. Тон силы и влияния, замысел руководить обществом и направлять течение жизни — все это сохранено было ими; но в формах этого тона, в пределах этого замысла произносились ими бессильные, незначашие слова: они были похожи на певцов, широко раскрывающих рот, из которого выходят едва слышные звуки. Однако нет человека настолько слабого, чтобы не нашлось еще другого слабейшего, который захотел бы подчиниться ему. Если прежде третьестепенные дарования подчинялись критике, то теперь 30
люди безо всяких дарований стали выступать на литературное поприще, в надежде единственно своим подчинением критике снискать для себя читателей и даже некоторое влияние. Это породило необозримую литературу беллетристических произведений и стихотворческих работ. В толстых журналах, которым и теперь еще принадлежало главное значение в нашей литературе, обыкновенно в одном отделе появлялись эти романы, повести и стихи, а в другом отделе, «идейном», они же разбирались, кое в чем ограничивались, но в общем одобрялись — явление, по своей беззастенчивости совершенно невозможное ни в период критики Белинского, ни во время Добролюбова. И в то время как этими произведениями критика пространно занималась, она высокомерно обходила молчаливым или произносила краткие и небрежные слова о произведениях другого, 40
отделившегося литературного течения. Вскоре, однако, незначительность делаемого дела все яснее начала чувствоваться самими критиками: их раздражение от этого возрастало, они тоскливо смотрели на настоящее и безнадежно на будущее. Единственно радостное было у них в воспоминаниях, когда то же самое дело и как будто так же делалось с успехом, влиянием и силою. Сознание отсутствия в себе какого-либо исторического значения, видимо, тяготило их: они постоянно говорили, что их направление все-таки сослужило великую службу обществу, но

они никогда не говорили о себе в отдельности, а всегда и исключительно — о себе в связи с Добролюбовым. В общем, они были злы и дурны, как все несчастные люди. Мало-помалу это направление стало иссякать количественно: все меньше становилось критик, все короче они становились, и мы теперь видим, наконец, как, некогда столь цветущая, у нас эта ветвь литературы почти прекращается. Она существует лишь как традиционно обязательный отдел во всяком периодическом издании. Чего-либо ведущего, направляющего, какой-либо внутренней силы в ней не осталось и следа.

Одно явление, чрезвычайно яркое и одиночное, вспыхнуло и закончило все значащее в этом течении критики. Мы разумею разбор романа «Анны Карениной» в критическом этюде М. С. Громеки «Последние произведения гр. Л. Н. Толстого» (М., 1884 г.). По прекрасному языку, глубокому чувству, в нем разлитому, и своеобразию приемов — это есть классическое произведение не только критики нашей, но и нашей литературы вообще. Мы не можем лучше определить его значение, как сказав, что оно имеет смысл и силу вовсе не только как комментарий к разбираемому им роману: независимо от этого, оно и само по себе есть одно из глубоких и прекрасных проявлений того нравственного перелома, который с восьмидесятых годов начался в нашем обществе. Несмотря на противоположность проникающего его смысла смыслу критики Добролюбова, мы относим его, однако, к течению, которое было начато ею: это потому, что и в нем волевой элемент преобладает над рефлексивным и оно, подобно критике Добролюбова, разбирая литературное произведение, собственно разбирает в нем нарождающееся явление жизни, страстно отстаивая его против других, еще могущественных, хотя и стареющих ее течений.

Мы сказали, что с возникновением критики Добролюбова произошло раздвоение нашей литературы: все слабое и количественно обильное подчинилось ей; напротив, все сильное отделилось и пошло самостоятельным путем. Собственно, только этот второй поток и образует собою новый фазис в развитии нашей литературы. Немногие и очень сильные дарования, которые составляют его, все запечатлены глубокою индивидуальностью: каждое из них шло самостоятельным путем, вне всякого влияния остальных; их индивидуализму способствовало, может быть, и то, что они развивались вне какой бы то ни было зависимости от своей оценки в обществе или в критике. Последняя смотрела на них почти враждебно, и если перечитать все критические отзывы, явившиеся, например, по поводу «Обрыва», и все разборы какого-нибудь современного ему и уже давно забытого литературного произведения, то можно видеть, насколько второе одобрялось более или по крайней мере менее порицалось, нежели роман Гончарова. Причина враждебности заключалась здесь в том, что, не будь этих дарований, текущая критика могла бы еще колебаться в сознании своей ненужности: слабостью *всей* литературы она могла бы оправдывать *свою* слабость; незначительностью предметов, которые обсуждала, могла бы объяснить незначительность своего содержания. Но когда в литературе существовали художественные дарования и она не умела связать о них нескольких значащих слов; когда общество зачитывалось их произведениями, несмотря на злобное отношение к ним критики, а одобряемых ею романов и повестей никто не читал — критике невозможно было не почувствовать всей бесплодности своего существования.

III

Третье течение нашей критики возникло одновременно со вторым. Его начинателем и полным выразителем был Ап. Григорьев; тонким, настойчивым и успешным истолкователем является в наше время г. Страхов.

Научность составляет отличительную черту этого течения. Если в первом своем периоде наша критика выясняла эстетическое достоинство литературных произведений, во втором — их жизненное значение, то в этом она задалась целью *объяснять, истолковывать* их. Это достигалось, во-первых, раскрытием существенных и своеобразных черт в каждом литературном произведении и, во-вторых, определением его исторического положения, то есть органической связи с предыдущим и отношения к последующему. 10

Обилие мысли и богатство собственных, уже пережитых, настроений дало возможность А. Григорьеву понять и своеобразие каждого литературного произведения, и внутреннюю, духовную связь многих из них между собою. К сожалению, при редкой даровитости в истинном, глубоком значении этого слова, он не обладал даровитостью внешнею — теми внешними качествами блестящего изложения, остроумия или игривой шутки, которые так привлекают к себе читателей. Несерьезность широких масс нашего читающего общества и господствующих течений нашей литературы ярко сказалась в том, что ни первое, ни вторая не сумели рассмотреть мысли, которая заключена была не в блестящих формах. 20
Перевес Добролюбова и даже его преемников над Ап. Григорьевым был собственно перевесом литературного стиля над мыслью. А между тем, вчитываясь в сочинения Ап. Григорьева (т. 1, 1876 г.), испытывалось невольное, как, в конце концов, мысль *совершеннее* всего остального в человеке, как отходят перед нею и бледнеют и художественный восторг, и исполненная сжатой страсти речь. Как ни много писалось о Пушкине, как ни умел ценить его Белинский, каким высоким пафосом ни запечатлены его статьи о нем, всеобъясняющая мысль Ап. Григорьева покрывает все это — и вместе с прекрасным и великим образом нашего поэта, впервые понятым, в читателе неотделимо вырастает и чувство самого глубокого удивления к его критику. Понятие о народности в поэзии, которое так часто произносится и почти не сопровождается объяснениями, считаясь слишком простым, впервые раскрывает здесь свой сложный смысл; и впервые же становится понятно, как много нужно было сил, чтобы стать народным поэтом, и к каким это привело результатам. Сведение всего вопроса на психическую почву, как это сделал Ап. Григорьев, было приемом глубоко философским. Рассматривая ряд народностей, в своей совокупности создавших европейскую цивилизацию, как выразителей особых *психических типов*, он видит и в европейской литературе ряд отражений этих типов; отсюда — местные особенности в ней, например постоянное сходство английской и французской литературы или еще общее — всех германских литератур со всеми романскими, при родственности отдельных национальных литератур в пределах каждого из этих двух великих семейств, на которые распадается население Западной Европы. Но отдельные народности в Европе не живут изолированно: они связаны между собою единством цивилизации и с нею — единством целей своих в одно время, успехом в достижении их или неуспехом — в другое. Ряд переживаемых надежд и разочарований, общих для всей Европы в одно и то же время и несходных друг с другом в различные времена, 40

порождает смену *исторических настроений*, которые также все отражаются в литературе: например, настроение средневековое, под которым написана была «Божественная комедия», и настроение Возрождения, под которым написан был «Декамерон». Совокупность национальных типов, различных по этнографической среде, и психических настроений, различных по историческим эпохам, переплетаясь взаимно, — и составляют всю сеть, всю гармонию отдельных тонов, которые, сливаясь в одно стройное, многовековое созвучие, образуют собою европейскую литературу. Изучать эту последнюю — значит расчленять эту гармонию на отдельные тоны и следить за звуком каждого из них, то заглушаемым, то заглушающим; понимать ее смысл — значит находить в себе и пробуждать к жизни душевное настроение, звучащее во всяком тоне.

Отсюда не трудно понять и отношение к западноевропейской литературе литературы каждой иной народности, которая долгое время развивалась изолированно и потом примкнула к общему потоку европейской цивилизации.

Усвоение форм литературного творчества есть для нее первый шаг к сближению и подчинению, но шаг еще незначительный, подчинение чисто внешнее, и при нем она может сохранять глубокую внутреннюю самобытность, может оставаться вполне национальной. Такова была вся русская литература XVIII века, исполненная надежд *своего* народа, тревог *своего* времени, повсюду под заимствованными формами отражая особый склад *его* ума и чувства. В комедиях Фонвизина, в одах Державина, в сатирах Новикова, в Феофане Прокоповиче или в Кантемире, несмотря на их чуждое, внешнее убранство, мы слышим тон и звук, которые совершенно национальны, вытекают прямо из духа и жизни своего времени и народа. Херасков писал свою «Россияду», как Петр Великий замыслил Академию наук, как его современник, неизвестный автор «Записной книжки любопытных замечаний» *, путешествуя по Европе, при виде всего замечательного, на что ему показывали, брался прежде всего за аршин, чтоб его измерять. Предметами внимания их были создания чужой жизни и истории; но и они, внимавшие, и самое внимание их не заключали в себе ничего привнесенного, были продуктом своей земли и своей истории.

Карамзин был первый русский европеец, уже не по предметам своего внимания, но по самому вниманию, по всему душевному строю — и в этом лежит тайна его обаяния для современников и его значения в нашей истории. В нем первом европейская цивилизация коснулась уже не форм нашего быта, поэтического творчества и мышления, но тронула внутреннее содержание наше, коснулась самой души. Глубокая ли впечатлительность его, подвижность всей натуры или ранние впечатления детства, проведенного с чужеземными музами, были причиной этого — решить трудно: но уже в первых его произведениях вполне чувствуется вся его будущность, весь переворот, который ему суждено было совершить в нашем духовном развитии. Стоит сравнить его примечания к своему переводу поэмы Галлера «О происхождении зла» (Москва, 1786 г.) с примечаниями Кантемира к его переводу Фонтенелевых «Разговоров о множестве миров», чтоб оценить всю глубину пропасти, которая их разделяет. В «Письмах русского путешественника» впервые склонилась, плакала, любила и понимала русская душа

* Писана в 1697—98 гг., изд. в С.-Петербурге в 1788 г. Это один из самых любопытных памятников нашей литературы, и ее историк не ошибся бы, если бы с подробного его анализа начал изложение ее хода за два последние века.

чудный мир Западной Европы, тогда как раньше, в течение века, она смотрела на него тусклыми, лишь отражающими предмет, но не отвечающими ему глазами.

С этого времени, и до нашего почти, знойным наслаждением для русской души стало переживать в себе настроения Европы, вбирать в себя капли духовной жизни, выделяемые цветком, который зрел полтора тысячелетия. Настроение, созданное в нашей литературе Карамзиным, было первою такою каплей, и мы не удивляемся, читая, как его современники ходили на Лизин пруд помечтать и, быть может, поплакать. За первою каплей последовали другие, и ощущение их становилось все жгучее, влечение к ним — неотразимое. Что значило удивление наивного современника Петра пред «птицею стратикомил» или пред «капищем всех болванов» (Пантеон Агриппы) и все осязаемое, видимое, что поражало его зрение, в сравнении с тем неуловимым, неосязаемым миром идей и чувств, который открылся Карамзину и людям его времени? Раньше мы похожи были на людей, которые, увидев инструмент неизвестного происхождения и назначения, с любопытством осматривали его огромные трубы и их прихотливые изгибы, но, подивившись всему довольно, затем спокойно возвращались к своим делам и ежедневным заботам; теперь же мы услышали самые звуки, чудные мелодии полились в наш слух, шевельнулось, как никогда, наше сердце, и, возвратившись домой, уже неохотно и машинально принимались мы за свои дела, душа же наша полна была и на родине чужих звуков. Тоскуя по ним, сознавая невозможность без них жить, мы, наконец, решились положить свою душу в том, чтоб и у себя слышать и извлекать те же обворожившие нас звуки. Мы возненавидели родные песни — простые, грубые песни; мы снесли и изломали свои волынки и гусли, чтобы построить из их материала хотя подобие того, что слышали раз и забыть чего никогда не могли. И наши усилия увенчались успехом. Быстро формировался наш язык; целый ряд тружеников жил и умер для одной идеи; и если не они, то их дети услышали наконец мелодии — те самые, которые грезилась их отцам, но уже в звуках родного языка. Разве не дух германских народов живет в поэзии Жуковского; разве в балладах его не слышатся средние века? Разве не светлая и спокойная древность дышит в стихах Батюшкова? То, что казалось невозможным, было сделано: что было неуловимо — было уловлено. Как, какую ценою совершилось это?

Шаг за шагом, далее и далее вступала русская душа в сеть тех духовных типов и тех исторических настроений, о которых мы сказали выше. Можно удивляться, как, в самом деле, глубоко переживала она их и как одинаково была способна к самым противоположным. За миром поэзии — миром чувства, открылся мир мысли — наук и философии; мы вступили и в него, и тайны Гегелевой диалектики, казалось, влекли нас еще более, чем пафос Шиллера или очарования Байрона. Читая произведения нашей литературы, невозможно почти понять, каким образом возникли они, не имея под собой никакой в сущности действительности: как факты жизни нашей, дела катились одною стороною, тогда как душа бродила по иным и фантастическим мирам, как будто вовсе ничего не зная об этих фактах и делах. «Ундина» Жуковского, мелкие стихотворения Лермонтова, подражания древним Пушкина, его же «Пир во время чумы» — как мы можем подумать, чтобы там, на родине всех этих душевных настроений, последние вылились когда-нибудь более совершенно, еще искреннее, с сильнейшею любовью, чем в этих произведениях далекой и чуждой, покрытой снежным покровом страны?

И все-таки о дереве, приносившем столь прекрасные плоды, можно было сожалеть, что оно не успело дать *своих*. Никто не знал ни вкуса их, ни других достоинств, и мысль о том, что погублено что-то еще нежившее, быть может, тяготила многих.

Здесь и лежит объяснение Пушкина. Уже Белинский заметил, что он как бы *совместил* в себе по тону, по настроению всех своих предшественников, а позднее Н. Н. Страхов отметил, что у него *в формах* нет никаких нововведений *. Таким образом, для всякого, кто стал бы рассматривать его лишь поверхностно, и притом не пересмотрел всех его произведений, и особенно самых поздних, невольно могло бы представиться отсутствие в нем оригинальности, самобытности и, следовательно, какого-либо величия в историческом положении. Так это и понимается многими даже до настоящего времени.

Не вступая в борьбу с усвоенными формами поэтического творчества, он в пределах их пережил все душевные настроения, исторически сложившиеся в Западной Европе и только частью отраженные в нашей прежней поэзии **, — и каждый раз переживая которое-нибудь из них, верил в него как в окончательное и совершенное (откуда глубина и страстность его разнообразной поэзии). Однако, в противоположность его ожиданиям, ни одно из них не насытило его окончательно, и, когда душа его утомилась всеми ими, он возвратился к народному. Это возвращение выразилось у него в известном стихотворении «Возрождение», где он говорит о своей «измученной душе», в которой пробуждаются чудные видения

Первоначальных чистых дней.

Его последние произведения: вторая половина «Евгения Онегина», «Капитанская дочка», «Повести Белкина» — это все, что так смутило его современников, и между ними самого Белинского, которые, ожидая от него все большей душевной сложности, все дальнейшего углубления в таинственный мир европейских идеалов, были возмущены его возвращением *к простому и доброму*, что живет как высший идеал душевной красоты в нашем народе. Типы иной красоты, которыми он поклонился некогда и, как и другие русские поэты, облил их слезами своей любви, в конце концов были побеждены типом духовной красоты, сложившимся в нашей жизни, выросшим из нашей действительности. Отсюда же, от этого последнего фазиса в деятельности Пушкина, ведет свое начало и трезвое простое отношение к действительности, которое с тех пор стало господствующим в нашей литературе. Сергей Аксаков в «Семейной хронике» непосредственно примыкает к «Капитанской дочке»; к ним обоим примыкает Л. Н. Толстой с семейною хроникой Ростовых и Болконских — «Войной и миром»; как эпизоды, как разорванные нити этих хроник могут быть рассматриваемы и лучшие образцы нашего семейного романа — «Обрыв», «Дворянское гнездо», отчасти «Обломов». Повести Тургенева представляют еще дальнейшую суженность и индивидуализацию этого течения нашей жизни: на ее общем бытовом фоне выде-

* «Заметки о Пушкине и других поэтах». СПб. 1888. стр. 37—41.

** См. речь о Пушкине Достоевского, например замечания о стихотворении «Однажды странствуя среди долины дикой» и т. д.

ляются люди с особенным выражением лица и необычною судьбой («Рудин», тип Базарова). Полный разрыв с этою бытовою основой и уклонение в сторону гениального и уродливого как в изображаемом, так и в самом изображении представляет собою Ф. М. Достоевский.

Теперь если мы подумаем, что ни один из наших поэтов и художников, начиная от Жуковского и кончая Л. Толстым, не был носителем более нежели одного духовного настроения; и далее, если примем во внимание, что даже такой человек, как Лермонтов, до конца дней своих не мог высвободиться из-под очарования поэзией Байрона, жил настроением его музыки, то необъятная мощь пушкинского гения станет для нас ясна. С другой стороны, если мы признаем, что в сфере литературы мы и до сих пор движемся в пределах направления, им данного, только разрабатываем это направление и этой разработке не видно еще конца, — мы поймем его историческое положение. Он привнес всю свою деятельность, ее характером и судьбой, новое слово в нашу историю, подобного которому по значительности ни разу не произносилось.

В истолковании и доказательстве этой истины, далеко не признанной еще, далеко не признанной и теперь, состояла великая заслуга критической деятельности Ап. Григорьева.

Доходят известия, что, когда с университетской кафедры приходится касаться нашей новой литературы (XIX века), во всех объяснениях своих ученые невольно становятся на точки зрения, утвержденные Ап. Григорьевым (так поступал, например, покойный Ор. Ф. Миллер). Наука, как объяснение, ничего другого и не может сделать: истолкование нашей новой литературы было сделано им только как оценка ее — Белинским, как возведение ее на степень самого глубокого и важного жизненного дела — Добролюбовым.

По этим трем господствующим целям мы можем дать определяющие названия и самим фазисам нашей критики: первый из них был *эстетический*, второй — *этический*, третий — *научный*.

IV

Всякий раз, когда критика наша, выразив уже все, что могла, в пределах одного фазиса, переходила к другому, представители этого последнего относились враждебно к идеям и стремлениям предыдущего. Так, известно отношение школы Добролюбова к эстетическим теориям и оценкам и школы Ап. Григорьева (например, г. Н. Страхова) к школе Добролюбова. Враждебность эта была естественна, как стремление нового явления утвердить себя среди старых, сознать внутри себя и сделать очевидным для других правоту свою, ту правду, во имя которой оно появилось и хотело жить.

Но должна ли эта враждебность быть чем-нибудь постоянным? Мы могли бы сказать «да», если бы в котором-нибудь из фазисов недоставало этой правды, его особенной своеобразной правды, но она есть, и в ней заключается его право на жизнь, на всеобщее и постоянное признание, но только в границах его своеобразного и исключительного утверждения. За этими границами начинается в каждом фазисе недостающее, которое и было восполнено другим фазисом. Правый в утверждениях, каждый фазис был не прав в своих отрицаниях. И в самом деле:

что значит восставать против эстетиков, как не утверждать в конце концов, что писать плохо лучше, чем хорошо, что рубленая проза лучше поэзии, что вялые и деланные повести и рассказы все-таки могут быть хороши даже как повести и рассказы? И с другой стороны, восставать против школы Добролюбова — не значило ли бы говорить, что произведение, исполненное глубокого смысла и жизненной правды, ниже, чем оно же, лишенное всего этого? Отымите из «Анны Карениной» ту «рассудочную тенденцию», о которой говорит Громека, — ту глубокую и особенную идею, которая звучит в каждом ее слове и во всех ее удивительных образах, — и, хотя бы вся живость этого романа осталась, мы сами
 10 разбили бы эту живопись, изорвали бы все эти сцены и описания, если б нам оставили только их, взамен того чудного целого, которым мы теперь наслаждаемся. Наконец, всему этому чем может мешать научное рассмотрение литературы? Или что из указанного может мешать ему?

Таким образом, все фазисы нашей критики были частями, которым естественно было возрасти до целого. Закончено ли оно? Это значит: теми отношениями, в которые последовательно становилась наша критика к предмету своему — литературе, исчерпаны ли уже все возможные и должные отношения к ней?

Мы уже имели случай заметить, что писатели последних десятилетий запечатлены одною чертою — глубокою индивидуальностью, отсутствием обоюдного влияния друг на друга. В прежних периодах нашей литературы мы этого не замечаем, или, по крайней мере, черта эта была в них менее выражена: Жуковский
 20 впадает по временам в тон Дмитриева; Пушкин впадает в тоны Жуковского, Батюшкова, Языкова и др.; все они родственны, взаимно симпатизируют друг другу, переливаются один в другого. Совершенно обратное мы видели в 50—70-е годы: духовный взор писателей этого времени как будто обращен был внутрь себя, они не чувствовали друг друга, даже не читали друг друга; они создавали, прислушиваясь к движениям только своего сердца и своей мысли. Далее, если мы обратим внимание на то, как именно изучала научно-историческая критика наших
 30 писателей, то увидим, что она преимущественно брала их в связь друг с другом, то есть каждого в отдельности писателя рассматривала как бы обращенным к другим писателям: к тем, которые находились позади его, и к тем, которым суждено было выступить позднее. Нити в духовной жизни, за которыми она особенно и с любовью следила, были все *исходящие*: она отмечала, как, выйдя из субъективного духа поэта, эти нити распространялись по всем направлениям и сплетались с мирозерцанием или с настроением чувства в других поэтах. Ее направление, таким образом, было объективное; по крайней мере, по преимуществу.

Глубокий индивидуализм всех новых писателей невольно вызывает мысль
 40 о недостаточности этого отношения, о возможности и необходимости иного — противоположного. И в самом деле, хотя всякий писатель, как и всякий человек, есть, конечно, преемник и предшественник — обращен и к прошедшему, и к будущему, но и в первое и во второе он врос лишь вершинами своего духовного развития, но не корнями его. Как на всякую душу, правильно и на дух поэта смотреть как на нечто глубокое, своеобразное, замкнутое в себе: «из иных миров» он приносит с собою в жизнь нечто особенное, исключительное; оно растет в нем и развивается, лишь питаясь, как материалом, всем предыдущим и так же питая

последующее, в свою очередь становясь материалом. Но за усвояемым и процессом усвоения скрывается усвояющее: оно-то и есть самое главное, существенное.

Возможно рассматривать литературу как ряд подобных средоточий, как ряд прежде всего индивидуальных миров. С этой точки зрения предметом нашего особенного внимания должны стать в творчестве писателя все *входящие* нити. Уловив эти нити в его созданиях, мы должны идти, руководимые ими, в дух самого писателя и вскрывать его содержание, его строй. Там они соединяются, и узел их образует то, чем, очевидно, жил он, что принес с собою на землю, что его и мучительно, и радостно тревожило и, оторвав от частной жизни, бросило на широкую арену истории. 10

Рассматривать с этой точки зрения писателей представляет глубокий интерес. Быть может, кроме того, это и единственно правильный взгляд на них. Мы до того привыкли к безличному процессу истории, что всякого человека рассматриваем только как средство для чего-то, ступень к чему-то. Это, наконец, утомляет; это, наконец, недостойно. Человек вовсе не хочет быть только средством, он не вечный учитель в словах своих, не вьючное животное, которое несет какие-то вклады в «великую сокровищницу человечества», с благодарностью от современников и в назидание потомства. Он просто свободный человек, со своею скорбью и со всеми радостями, с особенными мыслями, которые его занимают вовсе не потому, что ими можно пополнить «сокровищницу». Разве недостаточ- 20
но измучен человек, чтоб еще растягивать его по всем направлениям, приравнивая к одному, дотягивая до другого, обрубая на третьем. Оставьте его одного, с собою: он вовсе не материал для теории, он живая личность, «богоподобный человек». Умейте подходить к нему с любовью и интересом, и он раскроет пред вами такие тайны души *своей*, о которых вы и не догадываетесь.

1892 г.

ПОЗДНИЕ ФАЗЫ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

1. Н. Я. Данилевский

«Россия и Европа». Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому. Изд. 5-е. СПб., 1895.

Труд, не имевший при жизни автора никакого почти успеха, вышел ныне уже пятым изданием. Не будет излишне смелым, если мы скажем, что книга эта становится настольною для всех высоких кругов русского образованного общества; еще не вся учившаяся Россия ее знает; но, кажется, можно предположить, что ее знает вся Россия размышляющая, колеблющаяся, ищущая истины среди моря мыслей, частью туземно вырастающих, частью навеянных к нам с Запада.

Конечно, всякий, кто причисляет себя к сторонникам славянофильской мысли, может только радоваться при виде этого широкого успеха, какой выпал на долю хотя одной книги, выражающей им чтимую доктрину. Но он не скроет от себя и должен сделать усилие, чтобы разъяснить обществу, что в этой столь читаемой книге выражена еще не вся доктрина и даже не самая ее ценная часть.

I

Теория культурно-исторических типов, предложенная Н. Я. Данилевским, вовсе не есть завершение славянофильской теории, не есть ее высшая фаза, как это утверждают почти все ее критики и последователи. Гораздо правильнее ее можно определить как скорлупу, которая замкнула в себя нежное и хрупкое содержание, выработанное первыми славянофилами и после никем не поправленное, никем не разрешенное. В их трудах, так мало систематических, что их можно принять за черновые наброски, случайно попавшие в печать, дано все то *положительно*, что и до сих пор мы находим в славянофильстве. К сожалению, труды эти совершенно не распространены, и мы боимся, не в силу ли предубеждения, что в книге Данилевского дано их завершение, ознакомившись с которым нет нужды знать предварительные и незрелые фазы доктрины.

И. Киреевский, А. Хомяков и Кон. Аксаков, между тридцатыми и пятидесятыми годами истекающего века, заложили это драгоценное, неразрушенное и, мы убеждены, неразрушимое ядро славянофильской доктрины. Первый в трудах

своих: «Деятнадцатый век», «Ответ А. С. Хомякову», «О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России», «О необходимости и возможности новых начал для философии», «Отрывки» * — проводит самые общие разграничивающие черты между культурным сложением западноевропейского мира и мира восточнославянского, в частности русского. Было бы неуместно в краткой заметке перечислять эти черты; остановимся на какой-нибудь одной, чтобы указать, до какой степени его мысли многозначительны и как они верны.

«Скажи мне, как ты оцениваешь истину, и я расскажу все, что ты в себе содержишь», — мог бы каждый из нас предложить вопрос ближнему, партии, народу, наконец, целой группе народов. Этим вопросом по отношению ко всей группе романо-германских племен задался Киреевский. «Истина есть *то, что* «доказано», — отвечает их философия, мир точных наук, догматика ** их церкви, наконец, их право, их политическое сложение. Когда сеть силлогизмов нигде не прерывается, когда они исходят из наблюдения и проверены опытом — от Бэкона и до Уэвелля, от Кальвина и до Фейербаха, — ученый, пастор, ремесленник равно не усомнятся, что истина охвачена тут, внутри этих силлогизмов, опытов, этой реторты человеческого познания.

И вот мы читаем историю нового права Блюнчли: около 600 страниц, и не более 3—5 страниц на мыслителя. Какое их множество, какие великие, светлые имена... И какая грусть, какое сомнение охватывает, когда страницы бегут перед нами и с каждой новой мы входим в сеть нового мышления, так неуловимо подкупающую, так правильную, против которой мы так бессильны спорить. О, кажется, легче было бы покорить все народы, всем им дать один закон, — нежели это множество умов, бескорыстно ищущих истины, привести к признанию истины одной, к согласию в одном мнении. Но что это, вот уже почти невероятное: «Я в тебе ничего не признаю и не уважаю, ни собственника, ни бедняка, ни человека — я тебя *потребляю*. Я нахожу, что соль придает моей пище вкус, и потому солю ее; в рыбе я вижу питательный материал и потому ем ее; в тебе я открываю способность скрашивать мою жизнь и потому выбираю тебя в товарищи. Или, на соли я изучаю кристаллизацию, на рыбе — животных, на тебе — людей и т. д. Ты для меня именно то, что ты есть — мой предмет, как *мой* предмет — моя *собственность*» ***.

Это — не из потаенного письма, не из потерянной записной книжки маньяка; нет, скромный ученый в 1845 году опубликовал этот взгляд на отношение человека к человеку, на нравственную нашу природу в книге «Der Einzige und sein Eigenthum» ****, и книга не канула в Лету: «Ее достаточно прочитать, чтобы тотчас почувствовать себя очищенным от греха, обеспеченным от заблуждения и свободным от всякого ига; чтобы стать свободным человеком, каким был автор,

* Все его сочинения изданы, к сожалению, очень небрежно, А. И. Кошелевым в 1868 г. и с тех пор не повторялись изданием.

** Например, изменение Символа веры покоится на силлогизме: во Св. Троице Отец и Сын равны; но Дух Св., по Символу, исходит от Отца; следовательно, Он исходит и от равного Ему Сына.

*** Макс Штирнер ум. 1855 г. в Берлине; книга его вторично была издана в 1882 г.

**** «Единственный и его собственность» (нем.).

быть может единственный в нашем веке», — восхищается через 47 лет не соотечественник, не друг, но недруг-чужестранец*.

И вот, если *это* — истина (вспомним еще философию Ницше), если как некоторое знание высказаны эти слова и как знание же приняты они бесчисленными читателями, значит, самое *мерило* ложного и истинного потеряно, самая риторика изготовления наук и философии имеет в себе какой-то изъян. Здесь, в этой риторике силлогизмов, могут возникнуть великие, светлые истины; но раз мы признаем их за таковые не *по одному* тому, что оне из нее именно вышли, значит, есть *другое* какое-то средство различать добро и зло, измерять истинное, спра-
10 ведливое.

«Правилен ли строй душевный мыслящего существа? Его силы, его способности гармонированы ли?» — вот вопрос, который мы должны предложить себе ранее, чем станем оценивать извивы мыслей, быть может болезненно направленных, как у несчастного Ницше, у восторженного Руссо и целого ряда мыслителей, столь страстных, столь бурных и вместе так странных, что они заставили наконец задуматься над собою и поставить вопрос о родственности гения и безумия. Вопрос, который, конечно, не мог бы возникнуть при взгляде на Ньютона, Линнея, Аристотеля.

Киреевский еще не предвидел торжества многих странных учений в наше время; никто в его время не предвидел возможности школы Ломброзо. Но он — первый в Европе — сказал слова, выслушав которые мы не только понимаем эти чудовищные учения, развившиеся на наших глазах, но и видим исход из них, имеем правильную на них точку зрения. И эта точка зрения потому особенно прочна, что не принадлежит индивидуально Киреевскому, не есть плод его личных размышлений: он лишь подметил метод оценки истинного и ложного в народе нашем и еще ранее — в нашей истории, в нашей древней письменности. Всюду он усмотрел, что сплетению понятий дается лишь второе место, последующее значение, главное же внимание обращено на *целостный* дух размышляющего, его *правильное* состояние. Два указания из литературы новой яснее вскро-
20 ют перед нами мысль его; во «Власти тьмы» гр. Л. Н. Толстого мы очень мало доверяем рассудительным речам матери преступника, его самого, всем тем, которые, несмотря на связность своей мысли, ходят, мы видим, «во власти тьмы». Напротив, богобоязненный отец преступника (Аким) с своим знаменитым «тае-тае», хотя не может членораздельно передать ни одной мысли, для нас светел, мы его слушаем, ему доверяем. Он, темный не только в книжном научении, но и косноязычный, почти немой, для нас разумен, есть носитель истины... *как* добытой? По *правилам* какой логики? Для Бэкона, для Аристотеля, для автора «*Novum Organon renovatum*»** — он есть только жалкий нищий, которому можно лишь бросить кусок хлеба. Добролюбов «В темном царстве», выясняя характер Катерины, как на особенно ценную в ней черту указывает на то, что она не рассудочно дошла до протеста против «темных сил», ее окружающих, но самую натуру, правдою сердца своего почувствовала ложь и зло этих сил. Названные писатели не имеют ничего общего в себе; и только общая народная кровь, текущая в их жилах, заставила их одинаково смотреть на истину как на продукт во-
30 все не мозговой деятельности, не рассудочного сплетения понятий.

* Теодор Рандаль, в «Journal des Débats», 1892 г.

** «Новый Органон обновленный» (лат.).

II

Мы приподымаем лишь незаметный краешек в учении высоких и светлых умов, положивших основание славянофильства. Хомяков в трудах своих: «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоренса», 1853 г., «то же — по поводу послания парижского архиепископа», 1855 г., «то же — по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры», 1858 г., в «Письмах к Пальмеру» и, наконец, в «Опыте катехизического изложения учения о церкви» * — выяснил впервые особенности восточного церковного сложения сравнительно с двумя западными. Сущность церкви — это любовь, это — согласие; и, следовательно, естественная 10
внешняя ее форма — *соборность*. Она сохранена на Востоке — и притом с столь великою опасливостью за ненарушимость принципа, что после отделения от себя западных церквей восточные никогда не осмелились, несмотря на крайнюю иногда в том нужду, собраться вновь на Вселенский собор; ибо вселенность предполагает в себе полноту членов, а между тем западные члены церкви не примирены с восточными. Не хочет она, не сознает возможным «собраться» непримиренно; вот уже тысячелетие жизни в изолированности она принимает как временное зло, которому исполнятся же «времена» и «сроки», и тогда церковь Христова, с членами исцеленными и овцами нерастерянными, соберется вновь «собороваться». 20
Этому принципу — мы хотим сказать, любви и согласию — в печальную эпоху исторических смут на Востоке изменила церковь римская; вместо того чтобы пожалеть, чтобы сострадать Востоку в минуты тяжкие, она его презрела, и хоть в поводах к чувству этому, быть может, была и права, не была права в самом чувстве, и между тем им замутилась навсегда. Мы не можем даже в самых кратких чертах указать все глубокомысленное и прекрасное течение хомяковских воззрений, но он объясняет, как протестантство было лишь продолжением этого же отношения к церкви, но только уже против Рима направленное, внутри церкви западной совершившееся. Грех, не прощенный Востоку Римом, был взыскан с Рима Лютером, Цвингли, Кальвином, и гораздо позднее, уже на наших почти 30
глазах, эти отпадения все продолжают: протестантизм кажется слишком обильным верою для «свободных мыслителей»; является тюбингенская школа богословов, сбрасывающая с себя христианство как неправильно понятый миф, является материализм, сбрасывающий с себя всякую религию, наконец, все духовное.

III

Кон. Аксаков в ряде статей, из которых особенно замечателен критический разбор «Истории России» Соловьёва, появившийся по выходе VII тома этого обширного труда, — дает объединение структуры русской истории. Впервые он указал, как недостаточно сводить историю России к истории правительства в России, внешним образом и насильственно преобразующего косный народ. Начало 40
государственное — это лишь формальная сторона в истории, ограничивающая, сдерживающая, охраняющая, — между тем и единственно эта сторона рисуется

* См. сочинения А. С. Хомякова, том II, изд. под ред. Ю. Самарина.

и у Карамзина, и у Соловьёва. Воинский сан и канцелярский приказ, князь — собиратель дани, великий князь московский, дающий перевес интересам государственным над *родовыми* отношениями, наконец, император как просветитель, преобразователь, — вот постоянная тема всех предыдущих историков, разрабатывая которую они едва имели досуг бросить какой-то боковой, урванный у главной темы взгляд на стоящий в глубине сцены безмолвный, бездеятельный, безвольный народ; и невольно у читателя является вопрос, зачем, для выражения какой мысли стоит этот народ.

Начало *общинное* столь же постоянно и так же повсюду проникает русскую историю, как *родовое* — западноевропейскую; вот главное открытие, которое делает К. Аксаков в замечательной статье своей: «О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности». Это общинное начало выразилось в *вече* строе Древней Руси; актом собравшегося в Новгороде веча было самое призвание князей, начало государственности: народ не безмолвствует, не стоит, не занимает только место на громадной территории Восточной Европы, но действует, мыслит, творит, как живая нравственная сила. И по призвании князей, вече сохраняется во всех городах, т. е. община продолжает жить под всеми теми внешними передвижениями, которые одни, по-видимому, наполняют историю, производят в ней шум оружия, перипетии княжеских отношений. Позднее, с объединением княжеств под Москвою, общинная жизнь городов сливается и находит для себя выражение в земских соборах: это — *земля*, призываемая на совет свободно избранным, поставленным ею над собою *государством*. Первый царь созывает первый земский собор. Ему принадлежит землю не оспариваемое, но с любовью утверждаемое право деятельности, закона, силы; земле принадлежит царем не оспариваемое, но бережно выслушиваемое право мнения, суждения по совести, область духа. Государь поступает, как ему Бог указывает; земля не поперечит его *делам*; она присоединяет к ним лишь свою *думу*, свободно выраженную, которой последовать или не последовать свободен царь. Высшее начало соборности, согласия, любви отражается в этих отношениях.

Выражаясь в истории, это начало выражается повсюду и в быте русском: достаточно упомянуть *мир*, поземельную *общину* нашу, достаточно вспомнить понятность, излюбленность *артельного* начала людом русским, чтобы признать справедливость этого.

Таковы в самых кратких чертах объяснения К. Аксакова. Около этих трех основоположников славянофильской идеи группируются меньшие и позднейшие: Петр Киреевский, Юр. Самарин, И. С. Аксаков, поэт Тютчев; чуть-чуть в стороне от них стоящий, мало понятый, мало оцененный у нас Н. П. Гиляров-Платонов. Роль всех их в славянофильстве была гораздо меньшая: они не разветвили, не усложнили, не углубили этого учения, они его *оподробили*, применили ко множеству частных случаев, к явлениям вновь нарождающимся, к явлениям старым, незамеченным.

IV

Н. Я. Данилевский набросил обертывающий покров на все эти учения; около этой нежной, хрупкой, жизненной сердцевины образовал внешнюю скорлупу — и только. Отсюда отчужденность от него носителей прежнего славянофильства

(например, И. С. Аксакова); будет правильнее сказать — выразителей его существенной, жизненной, плодотворной стороны. — Он в самом деле не указал, не объяснил ни одной особенности нашего исторического сложения, собственно к *славянофильству* он ничего не прибавил, его роль была другая, менее значительная, более грубая. В двух словах — это будет понятно.

Существуют *типы* органического сложения; не виды, не роды, не классы, различающиеся органами, но типы, в которых различие гораздо глубже и касается самого *плана*, по которому созданы или произошли организмы. Человек, птица, ящерица, рыба, как они ни разнообразны с виду, одинаково, в сущности, устроены: они имеют ряд органов, симметрично расположенных по правую и левую сторону некоторой идеальной линии, проходящей от передней оконечности организма к задней. Но вот перед вами морская звезда; в ее формах, лучисто идущих от центра, вы не узнаете самого плана, по которому создано тело всех названных выше существ, — для построения этого животного нужен был *второй* план, нужно было *новое* усилие творческой созидательной мысли, между тем как при созидании ящерицы или рыбы новое усилие делала только материя, одевая собою тот же план, по которому устроен и человек. Так же, рассматривая содержимое двустворчатой раковины и припоминая строения вам ранее известных животных, вы произносите невольно: «Это — что-то совершенно другое, это — еще *тип* органических созданий», не выражая этим ничего иного, кроме своего изумления, непонимания, растерянности перед необычным и неожиданным, что вам раскрылось в природе.

И в истории всемирной, если мы всмотримся в нее внимательно, мы увидим нечто аналогичное: есть *группы* народов — не в частях своей жизни, не в некоторых формах деятельности отличающиеся одна от другой, не чем-либо прибавленным, убавленным, переименованным, как переименованы некоторые функции и органы у млекопитающего и рыбы, — есть народы, есть культуры всемирно-исторические, как бы осуществляющие в своем ходе, в строении *иной план*, чем другие. На ту же нужду они отвечают различно, при встрече с одним предметом испытывают разнородное: Филоктет от боли раны кричит; Иов — тревожится, не согрешил ли он? Аппий Клавдий, похитив Виргинию и обвиненный, разбивает себе голову в темнице; Давид, похитив Вирсавию и обвиненный, слагает псалом покаяния и скорби. Неудивительно ли: в целой Библии нет ни одного силлогизма, хотя увещание, объяснение, убеждение — обычные случаи, когда мы употребляем «следовательно», — рассеяны в ней едва ли не с первой страницы до последней. Тот же мир вокруг этих людей, но не те же они; гамма их внутренних струн разнородна — иное в них сцепление понятий, иной порядок чувств, содержание понятий. Они лишь внешним образом соотносятся друг с другом — торгуют, воюют, странствуют по лицу земли, но на этой земле осуществляют различное, переживают несходное и вообще мало понимают друг друга или понимают с большим усилием. Таков араб и римлянин, иудей и грек — один с шумливым форумом, великим Капитолием, Афродитой Книдской, другой — с скрижалями завета, без отечества, без границ, со скорбью и сокрушением, которым заразил мир; таков, уже на исходе судеб исторических, славянин, коль он соприкасается с романцем, швабом, англичанином, — многое *от них* усвоивший, перенявший и все-таки не усвоивший *их*, не чувствующий, не понимающий внутренней необходимости их форм созидания; еще менее ими усвоенный в интимном содержании души своей,

в складке характера, в неуловимом оттенке смеха, иронии, в молитвах печали, безотчетного разрушения, порывистого творчества. Все это суть люди разных типов психического сложения, и отсюда неодинаково сложение их быта — внутренний план их истории.

То, что Киреевский, Хомяков, К. Аксаков наблюдали как факт, чему они удивлялись, чему не доверяли другие, — есть явление, которому Данилевский дал имя, указал аналогии в природе, нашел место во всемирной истории. Он не открыл новой черты в этом явлении; в пук наблюдений, сделанных первыми славянофилами, не вложил ничего от себя; собственно для славянофильства как учения об особенностях русского народа и истории он ничего не сделал. Его роль была формально-классификаторская; он сказал: «Группа этих особенностей есть особый культурно-исторический тип, один из нескольких, на которые распадается всемирная история и которые в ней не преемственно продолжают друг друга, но, чередуясь или существуя бок о бок, созидают разнородное».

Читатели, теперь столь многочисленные, «России и Европы» легко поймут из этой книги, *погему*, на основании каких общих законов истории они не схожи с германцем, французом, римлянином, греком; но *в зем* именно не схожи, *зем* их родина отличается от тех стран в историческом, бытовом, культурном отношении — этого они не узнают отсюда, это могут они узнать только из трудов Киреевского, Хомякова, К. Аксакова, других меньших первоначальных славянофилов. «*Кто я?*» — «вокруг меня *не то же*, что я»: вот краткие выражения, вот формулы сердцевинной и краевой фаз одной и той же доктрины — ее жизненной плодотворной части и внешней, жесткой, только разграничивающей стороны.

2. К. Н. Леонтьев

К. Леонтьев. «Восток, Россия и славянство», т. 2. Москва, 1885 — 1886 гт.

Кн. С. Трубецкой. «Разочарованный славянофил»; его же: «Противоречия нашей культуры» («Вестник Европы», 1894 г.).

П. Миллюков. «Разложение славянофильства» («Вопросы философии и психологии», 1893 г., май).

Ген. Киреев. «Наши противники и наши союзники» («Протоколы славянского благотворительного общества», 1894 г.).

Л. Тихомиров. «Русские идеалы и К. Н. Леонтьев» («Русское Обозрение», 1894 г., октябрь).

И. Фудель. «Культурный идеал К. Н. Леонтьева» («Русское Обозрение», 1895 г., январь).

Славянофильство не есть только истина выражаемая, но и некоторое нравственное требование; это — не только доктрина, но и некоторый принцип жизни, закон и норма наших суждений и практических требований — вот из какой незамеченной стороны в нем вытекла упорная борьба, завязавшаяся над гробом последнего выдающегося славянофила. Мы разумеем умершего в 1892 году Кон. Ник. Леонтьева. Почти неизвестный при жизни, он тотчас после смерти вызвал обширную и страстную о себе литературу, почти равняющуюся его соб-

ственным «*opera politica*» * и гораздо обильнейшую, нежели какая была посвящена которому бы то ни было из славянофилов. Славянофил ли он? Но неужели же западник? Западники отталкивают его с отвращением, славянофилы страшатся принять его в свои ряды — положение единственное, оригинальное, указывающее уже самую необычайностью своею на крупный, самобытный ум; на великую силу, место которой в литературе и истории нашей не определено.

I

Отдельно замкнутые, своеобразные миры исторического созидания, как Китай, как семитизм, как античный мир, романо-германскую Европу и, наконец, славянство, Данилевский назвал культурно-историческими типами. Ничего в его идее не изменяя, К. Леонтьев назвал тот же факт, ту же группу исторических явлений культурно-историческим стилем. Идеи и названия заимствованы первым из биологических наук; второй особенностями даров своих, своими влечениями побужден был к перемене имени при сохранении того же понятия: мир художественных законов и идей он распространил на историю. Роль его в истории славянофильства еще эже, еще менее жизненна и оригинальна, чем роль Данилевского; и она также исключительно формальна. Мы увидим ниже, что это не значит вовсе, чтобы она была маловажна.

«Восток, Россия и славянство» — так озаглавил он сборник статей своих, указав в самом заглавии этом градацию предметов своего преимущественного внимания, культа, любви. Славяне отходят у него на совершенно задний план; главная мысль — о новой культуре, не европейской, не буржуазно-утилитарной; Россия есть великая надежда в помышлениях об этой культуре, но и она — лишь относительный момент; главный центр внимания — Восток как носитель иных, совершенно новых, совершенно не похожих на европейские, культурных начал. Турок и татарин, афонский монах и наш старообрядец — все это в ряде влекущих его образов имеет свое положение; болгарин, серб, галичанин, выучившийся у нас, в Париже, в Берлине, не занимают в его исторических перспективах никакого положения, в его симпатиях — никакого места. Судя по его писаниям, их страстности, их отчаянию, их удивительной беззастенчивости, он был первый и единственный не чайтель только (как все славянофилы), но до известной степени уже и носитель новой культуры; единственный гражданин мечтаемого отечества — Колумб, вышедший уже на Новую Землю, а не плывущий только к ней; и на этой Новой Земле он так же мало стеснялся старого, покинутого, полуумершего (как он думал) мира, как не стеснялся бы своей Испании, ее веры и ее предрассудков Колумб, если бы он не думал более никогда возвращаться в нее.

Исходная точка его исторических и политических взглядов заключается в идее трех фаз, через которые проходит всякое развитие, как едва видимой былинки, растущей в поле, так и человека, народов, наконец, тел небесных: первоначальной простоты; последующей цветущей сложности; вторичного упрости- тельного смешения. Зерно и колос и опять зерно; этнографическая масса и из нее выделяющиеся классы, положения, иерархия властей; и снова, при упадании их, простота вторично-дикого населения (Греция и Италия перед началом средних

* «политические сочинения» (лат.).

веков). Туманное, бесформенное пятно, из которого развиваются солнца, около них образуются планеты, на них выделяются материки и одеваются растительной и животной жизнью, и далее — остывший мир, опять безжизненный, обледенелый, голый, упрощенный, — вот великие и всеобщие факты мировой эволюции. Нет в живом и мертвом ничего, что не было бы подчинено закону этих трех фаз, и если мы спросим себя, что же в них есть главное, то мы увидим, что это — начало грани, предела, обособления. По-видимому, внешнее, оно есть в то же время внутренний принцип каждой вещи и показатель ее жизненного напряжения, силы, способности к бытию; и насколько мы любим природу, хотим сохранения в ней жизни, мы эту ограниченность, обособленность и разделение всех в природе вещей должны любить. Отсюда критерий добра и зла, благого и губительного для целой природы и для истории, — критерий, не имеющий ничего общего с установившимися точками зрения в прежней политике и морали; яркость, цветистость, красота (что все есть проявление грани), не в себе самой ценная, но как залог прочности и долголетия, — есть мерило, с которым, без боязни ошибиться, мы можем подойти к каждому предмету в истории, ко всякому явлению жизни политической, общественной, художественной. Этим мерилом, формальным и потому безошибочным*, К. Леонтьев оценивает и жизненные силы западной цивилизации. Акт бурный и мощный в ней, который мы зовем «великою революциею» и с нее начинаем свою историю, историю идей своих и стремлений, есть только момент вступления Европы в последнюю фазу всякого развития — вторичного упрощительного смещения. Мы так любим свободу, так усиливаемся к ней, но она — только высвобождение индивидуума, этого социального атома, из-под законов, связывавших его в некогда живом и сильном организме, теперь разрушающемся. Все в этом организме теряет свою обособленность; все смешивается, уподобляется одно другому, сливается в однородную массу, все уравнивается**, — потому что все умирает. Гибельности процесса этого мы не чувствуем, потому что мы именно его выразители; и порыв наших желаний, убеждения нашего ума не индивидуально нам принадлежат, но нам даны нашим временем, его смыслом, его тенденцией всеобщей, непобедимой — умереть. Ни красноречие церкви, ни сила предрассудков, ни усилия политиков — этого биологического процесса не могут удержать: Европа, еще так цветистая и своеобразная в каждом уголке своем 1½ века назад, слита в однообразие всюду той же буржуазии, везде одинаковой администрации, одних почти законов, одного быта. Великое древнее здание истории теряет свой стиль: башни обваливаются, выступы стираются, линии разграничивающие перестают быть отчетливы; громады камня, странное, едва оформленное пятно остается на месте святого и прекрасного храма, который мы так любили, так многому в нем научились; и теперь... любим ли, ненавидим ли его, кто разделит в нас, как разделим мы сами в себе эти чувства?

Почти не нужно объяснять роль России ввиду этого великого наклона европейской цивилизации: не нужно говорить об ее политике, внешней или внутренней. И все желаемое для нее, и оценка в ней всякой действительности — уже ясны отсюда.

* Т. е. чуждым субъективных примесей.

** Так называемый «эгалитарный процесс» — по терминологии Леонтьева.

II

Мы заметили, что роль Данилевского и Леонтьева собственно в славянофильстве носит черты внешности и формализма, но, взамен этого, они имеют другое, и более существенное, значение. Можно сказать, в лице их славянофильство впервые выходит за пределы национальной значительности и получает смысл универсальный. Учение первых славянофилов, Киреевского, Хомякова, К. Аксакова, — это наше домашнее дело, наше сознание о себе, и оно не имеет общечеловеческого интереса; но теория культурных типов и теория грани, предела, как показателя жизненного напряжения в целой природе, — это уже философия истории, это — высокая публицистика, которая бьется, тоскует, страдает на рубеже двух цивилизаций, в сущности с любовью к той и другой, но более, чем с любовью к ним, — с любовью к жизни, к человеку, с отвращением и страхом перед разложением, смертью... Мы без смущения назовем имена Маккиавели, Монтескьё, Ж. Бодена, Эд. Борка, Прудона, между которыми должны быть поставлены имена этих писателей. Они зовут столь же новое; отрицают столь же обширное; и, в сущности, отрицают и зовут еще обширнейшее и более новое, чем те великие умы, и также опираясь на обширную философию.

Гораздо более загадочным и сложным, чем Данилевский, представляется К. Леонтьев, не в составе доктрин своих, которые ясны и просты, но в себе самом, в своей натуре, в смысле лица своего. Длинный ряд статей, появившихся о нем в последние годы, этот взрыв негодования, недоумения, ревностной защиты, какую мы наблюдаем над его гробом, — поразительны; едва ли есть кто-нибудь, кто в глубине души без остатка, без молчаливой оговорки был бы удовлетворен им, и едва ли есть кто, кто, высказав в отношении его все порицания, в тайне души своей не задержал бы, не скрыл некоторого удивления к нему, некоторого с ним согласия. Мы говорим, конечно, о проницательных.

Три элемента образуют существо его духа, обуславливают его суждения, формируют его мировоззрение: натурализм, эстетика и религиозность. Медик по образованию, политик и писатель в зрелые годы, он умер тайным пострижником Афонской горы, покорив в себе религиозному началу другие. Покорив как? Покорив насколько? — вот загадка, в которой скрывается ключ к его объяснению. Если, не довольствуясь внешним смыслом им написанного, мы станем прислушиваться к тонам его речи, всматриваться в степень оживления, с какою он говорит о тех и иных предметах, мы тотчас заметим, что три указанные элемента не были в нем соединены гармонично; мы хотим сказать — не были соединены в той зависимости, какая вытекает из их природы, требуется их законом. Чувство эстетическое в нем безотчетно, неупорядочено; оно веет из каждого оборота его речи, из всякой оценки, им произносимой, из всякого требования, порицания, надежды, горечи, какую ему приходится высказывать. Чувствуется, что здесь — натура пишущего, которой некуда спрятаться, с которою он не может совладать, когда даже и хотел бы, когда нужно бы*; и, в глубине души своей, он с нею не

* См. замечательное частное письмо его (почти — статья по объему) к о. Иос. Фуделю, опубликованное последним в январской книжке «Русского Обозрения» за 1895 г. Письмо это имеет решающее значение в оценке внутренней жизни Леонтьева, хотя обо всем, что там ясно раскрывается, можно было догадываться и ранее.

захочет даже совладать, — как вода струящаяся, живая, никогда не захочет остановиться и, даже ударяя бурно в берег и отбегая назад, через минуту обегает его и стремится в направлении того же склона (случаи, где он сопоставляет изящное с моральным и религиозным: см. «Письма к И. Фуделю»). Это чувство — его жизнь, скудель его печалей, родник всех радостей; и начало грани, предела или, что то же, формы и понято им так глубоко и универсально, потому что оно есть прежде всего начало красоты, эстетическая сторона целого мироздания. Если, далее, мы обратимся к тому, что называли натурализмом в нем, то увидим, что его анализ истории и политики холоден и свободен, как размышление медика у постели больного, где он хочет знать, и — ничего более *. Его приговоры — беспощадны **; его указания, советы — бесстыдны часто ***, и это в такой мере, что на некоторое время даже отталкивают от него читателя, пока позднее он не покоряется невольно силе ума его и правде языка. Но вот мы подходим к религии... какая связанность языка, скудость воображения, вялость письма и мышления! Где поразившие нас искры гения, пафос великого публициста, столь жгучий, ласкающий, манящий, когда он говорит о предметах земных, о красоте земных форм, смущениях политики, опасных изгибах исторических течений ****; здесь он не вникает более, не задумывается, не ищет. В речи, которая не умеет более играть, потеряла жизнь свою, он приводит соответствующие делу канонизированные слова — и только; что-то формально-внешнее, извне требующее, непонятно господствующее — для него религия. Правда, в жизни он покори́л себя ей — и мы опять спрашиваем себя: как? Где умиление, где радость, где порыв доверчивый и простой к предмету веры? Он отдает ей требуемое, он ей послушен, но не деятельно, как в сферах красоты и мысли, а пассивно; он не тоскует ***** здесь, не негодует — как там, когда видит гибель прекрасного в жизни или темноту людей к положению земных вещей; он даже не очень страшится здесь, вопреки собственным уверованиям; он говорит:

«...И поэзия земной жизни (NB: прежде всего припоминается), и условия загробного спасения одинаково требуют не сплошной какой-то любви, которая и невозможна, и не постоянной злобы... а, говоря объективно, некоей как бы гармонической, ввиду высших целей, борьбы вражды с любовью. Чтобы самаряни-

* «Наука будущая и желаемая должна быть проникнута великим презрением к своей пользе» (холодна, безучастна; ни льстить человеку, ни радовать или утешать его). Сам Леонтьев, безусловно, выполнил это требование. Приведенные слова находятся в «Письме к И. Фуделю».

** Как, напр., о славянах вообще, и даже — о русских, о России [«мы прожили много, сотворили духом мало»; «у нас все оригинальное и значительное принадлежит Византии и ничего — собственно нашей, славянской крови»] («Византизм и Славянство» — центральная для воззрений Леонтьева статья в 1-м томе «Востока, России и славянства»).

*** «Вот каков русский народ-„богоносец“, когда над ним не свистит государственный бич» (из «Анализа, стиля и веяний в романах гр. Л. Н. Толстого»).

**** См. «Национальная политика, как орудие всемирной революции»; сравни язык этой брошюры с языком богословствующей части «Наших новых христиан» и с языком книги: «От. Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни».

***** См. «Отец Климент Зедергольм» и «Наши новые христиане».

ну было кого пожалеть и кому перевязать раны, необходимы же были разбойники...»*.

И, распространяя *антиномию* эту на всю историю, на целую жизнь, он развивает, что жестокое и несправедливое так же необходимо на земле, как кроткое и доброе, равно неизбежно, в сущности — не осуждаемо. Так, может быть так, — наш излишне мудрый друг, но... принадлежит ли судить об этом человеку? И Спаситель о самарянине, который так размышлял бы над изувеченным прохожим, рассказал ли бы умилительную притчу, которой мы внимаем в церкви, принимаем ее без анализа; и в церкви же, уже монахом, слушал ее Леонтьев и применял, *истолковывал ее* в этом странном приложении к истории. На всем протяжении его трудов, во всех бесчисленных предметах, каких он касался, нельзя найти ни одной строчки, ни одного факта, ни одного случая, где смешное, уродливое, некрасивое, что нас заставляет отвернуться от себя, что носит на себе «знак раба» не юридический только, снискало бы одобрение его прочими своими достоинствами (как полезное, истинное или этическое). И, напротив, гибким адвокатом прекрасного, прекрасного даже в смешении со злом, как в приведенном примере самарянина и разбойников, он является на самых одушевленных своих страницах. Мытарь презираемый, мытарь действительно смешной и жалкий, мытарь не в вековечной притче, но где-нибудь возле себя, тут за углом — вот что ему навсегда осталось непонятно, чего он не захотел бы никогда простить ему самому и даже, кажется, против него хотел бы бороться с Богом...»**.

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...
Не поймет и не оценит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной

— этот необходимый член символа славянофильства выпал из последнего его исповедания.

III

Из этих установленных нами перспектив далекого и близкого его душе открывается совершенно новый взгляд на его сумрачные теории. Еще раз повторяем: состав этих теорий — ясен, ясны все его отрицания и утверждения в их связи; он сам, его скорбь и уныние — вот что загадочно, что смущает неволью того, кто захотел бы без остатка осветить его лицо для себя. Он все говорил, в долголетней и разнообразной своей деятельности, о народах Запада и Востока, их вероятной или неизбежной судьбе; но не было ли постоянно в его рассуждениях опущено

* «Наши новые христиане — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой». Москва, 1892, стр. 19.

** См. «Культурный идеал К. Н. Леонтьева» И. Фуделя и в нем слова Леонтьева — об Алкивиаде. По христианскому воззрению, самые добродетели древних греков были только «красивыми пороками»; напротив, с точки зрения Леонтьева, — самые пороки древних были немножко «добродетелями».

что-то, о чем, однако, ему, как именно монаху, следовало бы подумать ранее и впереди всего, и мы ожидали бы, что он об этом подумал. Церковь и особые обетования, ей данные, — вот что совершенно забыто им, что в его страхах, сомнениях и ими обусловленном негодовании не занимает никакого положения*. Он ее не вспомнил вовсе и вот отчего остался неутешен. Его понимание истории, его предвидение судеб человеческих — только натуралистическое. Выше мы привели исходный пункт его размышлений — теорию трех фаз, чрез которые проходит развитие всего живого и даже мертвого: но какое они имеют отношение к церкви? Разве и она им натуралистически подлежит? И в них — гибели?

10 Будто ей не дана вечность и самая природа ее не супранатуральная? Разве эту вечность мы уже не предвкусили в удивительных периодических возрождениях, какие пережиты были христианским обществом после атеистического Renaissance, после культа разума в XVIII веке, и, наконец, какое мы переживаем теперь, после отрицаний от 40-х до 80-х годов нашего века, отрицаний столь твердых и, казалось, окончательных? Великий эстетик и политик, он видел в истории волнующиеся массы народов, их любил, ими восхищался, но, только эстетик и политик, он не заметил вовсе святого центра их общего движения, который незримо ведет, охраняет, поддерживает идущих. Он только различил бредущие толпы, натуралистические стада «человеческих голов», и все замеченное им

20 здесь, — точно, верно, научно; но есть и остался ему неизвестен в темном киоте святой образ, который и избрал эти толпы, и ведет их к раскрытому и ожидающему шествия храму: и все то, что он так любил в истории, эти блестящие свеч, волнующиеся хоругви, курящийся к нему дым, — существует вовсе не силою красоты в них, но долгом служения своего и своего предстояния маленькой черной иконке:

Удрученный ношей крестной,
 Всю тебя, земля родная,
 В рабском виде Царь Небесный
 Исходил, благословляя.

30 * Вот, для примера, несколько ясных мест. «...Терпите! Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим станет хуже. Такое состояние, такие колебания горести и боли — вот единственно возможная на земле гармония! И больше — ничего не ждите! Помните и то, что всему бывает конец; даже скалы гранитные выветриваются, подмываются; даже исполинские тела небесные гибнут. Если же человечество есть явление живое и органическое, то тем более ему должен настать конец. А если будет конец, то какая нужда нам заботиться о благе будущих, далеких, вовсе даже не понятных нам поколений!.. Как можем мы надеяться на всеобщую нравственную или практическую правду, когда самая теоретическая истина или разгадка земной жизни — до сих пор скрыта от нас за непроницаемою завесою?» («Наши новые христиане», стр. 23—24). Или еще: «...благотворительное братство, доводящее людей до субъективного

40 постоянного удовольствия, — не согласуется ни с психологией, ни с социологией, ни с историческим опытом» (ib., стр. 34). В одном и в другом случае мысль о Промысле просто не приходит ему на ум; и тела церкви как бы не существует вовсе на земле; ни христианства, ни Христа, ни, на пр., этого глагола Его — «Я живу — и вы будете жить» (Иоанна, гл. 14, ст. 19). Он как бы «схватывается» за церковное тело — на минуту, когда оно ему нужно было; и с прекращением нужды — даже не помнит, край одеяния чьего держал в руках.

Отсюда, из этого странного, почти языческого забвения, вытекает третья особенность нас занимающего писателя: чрезмерное преобладание в нем отрицания над утверждением, отвращающего чувства над любовью *, надеждою, порывом. Эстетическое начало есть по существу своему пассивное: оно вызывает нас на созерцание, оно удерживает, отвращает нас от всего, что ему противоречит; но бросить нас на подвиг, жертву — вот чего оно никогда не может. Люди не соберутся в крестовые походы, они не начнут революции, не прольют крови... из-за Афродиты земной. И ее одну знал и любил истинно К. Леонтьев. Афродита Небесная, начало этическое в человечестве — вот что движет, одушевляет, покоряет человека полно; за что, наконец, он проливал и никогда не устанет проливать кровь. Леонтьев не имел в будущем надежд; но это оттого, что, заботясь о людях, страшась за них, он, в сущности, не видел в них единственного, за что их можно было бы уважать, — и не уважал. Слепой к родникам этических движений, как бы с атрофированным вкусом к ним **, он не ощущал вкуса и к человеку — иного, чем какой мог ощутить к его одежде, к красоте его движений, к подобному... *** Странная пассивность всех отношений к действительности — что зовут его «реакционерством» — была уже естественным плодом этого. Любить сохранившиеся остатки красоты в жизни, собрать ее осколки и как-нибудь их цементировать — это было все, к чему он умел призывать людей, что выходило из алфавита ему известных понятий и слов. И ум сильный, взгляд твердый говорили ему, что все это — не надолго, что жизнь не может стоять; и, между тем, он не мог рвануться вперед, не умел назвать, не видел, не понимал того, силою чего в истории человек порывался и порывается.

IV

И это тем удивительнее, что его взгляд был обращен на Восток. Мы сказали — он был человек новый, единственный гражданин некоторого мечтаемого отечества; это — в том смысле, что он сбросил без остатка ветхую одежду западных предрассудков, верований, привычек, надежд, понятий. Но, сбросив их, он не облекся новым достаточным; выразительность линий, яркость и пестрота красок — вот что в его воображении вырисовывалось в будущей ожидаемой ци-

* Говорим только об его писаниях, идеях, строе мирозерцания. Письма (частные) его к г. Губастову, печатавшиеся около двух лет в «Русском Обозрении» (1896—1897 гг.) свидетельствуют, наоборот, о необыкновенной теплоте, отзывчивости его души как частного человека, как семьянина, хозяина и члена общества. В добром и кротком он почти доходил (вопреки своим жестокосердным теориям) до смешного, как, напр., с долгом своим «кавасу Яни», состоявшим из нескольких десятков рублей, и который, бедствуя сам и уже по истечении почти десятков лет со времени займа, он до смешного пытается уплатить, даже не зная, жив этот турецкий или нет. И множество подобных же деталей рисуют его душу трогательными и нежными чертами.

** См. замечательный отрывок из его письма к И. Фуделю в статье последнего: «Культурный идеал К. Н. Леонтьева».

*** См. его «Наши новые христиане — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой»; также любопытное его письмо-послание к Фету (Шеншину) по поводу юбилея последнего, напечатанное в «Гражданине».

визации: великолепный портал, уходящие в небеса шпицы, но не священник, не таинства, не символы, не страх на земле и ожидания за гробом. «Это — ночь, которую мы не отвергаем», — мог бы сказать он только о всем подобном. И он знал, он предчувствовал, он видел, что хотя бы удобств «утилитарно-эгалитарного прогресса» люди не бросят из-за жадно манившей его красоты линий.

10 Между тем, это ли на Востоке? Та история, над которой он столько размышлял и все-таки понимал ее только внешним образом, — даже внешними массовыми движениями своими могла бы указать ему на скрытые в ней этические и религиозные начала. Все движется опять к Иерусалиму — таков смысл веков, смысл этой волны истории, которая, гребнем своим отойдя от Палестины, Сирии, обошла по всему побережью Средиземного моря, остановилась в Испании, сияла во Франции, передвинулась в Германию и Скандинавию и, ясно понижаясь в западной и средней Европе, вздымает, тревожит сонные воды на широких равнинах нашей родины, уже почти соприкасающейся краем своим с теми ветхими странами, откуда началось движение. Смысл этого движения кто разгадает? Кто разгадает будущее? Однако ясно, что не для созерцания каких-то красот мы туда подходим, и ясно также, что не для смерти.

20 Он во всем ошибся; он ошибся — мы повторяем без всякой боли о его памяти. «Я праздновал бы великий праздник радости, если бы кто-нибудь несомненными доводами убедил меня, что я заблуждаюсь» — так в одном из своих трудов высказался этот замечательный человек о составе своих доктрин. Благородный и истинно великий, он нес свои идеи как тягость, как болезнь; и очень печальная судьба, что ложность этой болезни, призрачность этой тягости становится ясна так поздно, что уже не может прозвучать для него облегчающею вестью. Так, благородная душа, — ты ошиблась; и ты не сошла бы так уныло в могилу, если бы жила истиною, а не этим заблуждением. Разве уже нет утешения в том, что истина — всегда радостна, что все печальное *eo ipso* * есть и заблуждение? Разве это не залог, что Бог и жизнь — одно, и как вечен Он — не умрет она.

1895 г.

* тем самым (лат.).

КАТКОВ «КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Не имамаы зде пребывающего града, но грядущего взыскуем.

Послание к вѣр., 13, ст. 14.

Под этим заглавием, которое мы повторяем в заглавии своей статьи, г. Грингмут поместил статью в юбилейном сборнике «Памяти М. Н. Каткова. 1887 — 20 июля — 1897 г.». — Нам хочется взять покойного публициста не в эмпирических данных, в которых выразилась его деятельность, не в колебаниях, какие были у него, не в слабостях, на которые указывали; нам хочется взять его в силе, в идеале — там, где он никогда не колебался и окружен похвалою, и, подойдя к этому идеалу, к этому как бы прототипу эмпирического Каткова, показать его недостаточность и ограниченность, его, наконец, минутность. ¹⁰

По истечении десяти лет подробности деятельности стусшевываются, и тем выпуклее обрисовываются ее общие контуры; выникает и остается то идеальное, что руководило этим и тем, а в конце концов и всеми частными понятиями, словами, практическими решениями человека. Г. Грингмут очень удачно и исторически правильно освещает это идеальное в Каткове через сопоставление с идеальным же в двух больших наших партиях, славянофилах и западниках: он говорит — и мы только смягчим угловатости его речи, объясняемые полемическим чувством; итак — он говорит и формулирует: ²⁰

«Программа славянофилов требовала такого изменения в строе жизни * для искусственного воссоздания древней Московской ** Руси в ее стародавней простоте и невозвратимой патриархальности, что в Петербурге относились к этой программе с величайшим недоверием, смешивая славянофилов в одну кучу неблагонамеренных людей вместе с нашими либералами-западниками, которые

* «Требовала такой коренной ломки государственных учреждений», — говорит г. Грингмут; наши смягчения не простираются дальше этих жестких и узких определений, не касаясь нигде мысли автора.

** А Киевской? Вообще все изложение г. Грингмута не очень точно, и поэтому наши смягчения возвращают только его речь к действительности, к действительной программе партий. В самом деле, сказать или подумать, что филантроп Новиков (западник) и молившийся в Оптинской пустыни Ив. Киреевский (славянофил) имели «программоку» сломать правительство, — значит очень мало понять «дыхание жизни» нашей умственной истории. ³⁰

тоже требовали изменения России *, но уже с совершенно другою целью. Правда, правительство имело некоторое основание относиться подозрительно к этим реформаторам двух совершенно различных категорий, ибо если славянофилы и слышать не хотели о западнических реформах либералов и в особенности о их парламентских затеях, то либералы, наоборот, очень сочувствовали программе славянофилов ** в той части ее, где она включала в себя требование перемен, так как они по принципу стоят за всякий вид перемен ***, в надежде чем-нибудь при них поживиться и вообще нарушить прочность государственных и народных традиций. В особенности же они всегда сочувствовали славянофильским требованиям воссоздания «земского собора», так как отлично понимали, что этот «собор» можно будет превратить в самый банальный западный парламент, столь ненавистный самим славянофилам, вполне основательно видящим в нем верх вреднейшего абсурда для России.

Как бы то ни было, но славянофилы и либералы, расходясь между собою в своих основных началах и конечных целях, тем не менее сходились в одном: в необходимости перемен в современной России в целях возвращения ее или к типу допетровской Руси, или к типу западноконституционного государства, начиная с ограниченной монархии и кончая республиканскими Соединенными Штатами. Удовлетворить как тех, так и других правительство могло лишь политической опаснейших экспериментов и попыток, имевших целью либо возвратиться в безвозвратно исчезнувшее прошлое, либо рвануться вперед в погоне за совершенно чуждыми России и по существу своему негодными учреждениями Запада. Как в том, так и в другом случае правительству предлагалось сделать прыжок в мрачную неизвестность.

Правительство отказывалось от подобных головоломных salto mortale **** и предпочитало довольствоваться синицей в руках в виде *настоящего* (курсивы здесь и ниже везде автора) положения России, не гоняясь за журавлем в небе в виде ее допетровского *прошедшего* и западнического *будущего*.

И вот является Катков и впервые провозглашает, что Россия *и в настоящем* своем положении совершенно здорова, что она не нуждается ни в славянофильских, ни в либеральных переустройствах, чтобы идти по пути православия, самодержавия и народности; что для этого нужно только *верить в себя, верить в свои силы* и, искренно уповая на Бога, беззаветно повинуюсь Царю и крепко опираясь на русский народ, бодро смотреть в глаза своим внешним и внутренним врагам. В этом именно и заключается великая государственная заслуга Каткова: он уверовал и заставил своих последователей уверовать в *настоящую, реальную* Россию, тогда как славянофилы и либералы соглашались верить только в несуществующую в действительности, а лишь предносившуюся их воображению совершенно утопическую Россию. Туманные противоречивые понятия, проявившиеся то у одного, то у другого славянофила, представляли какую-то хаотическую массу, в которой трудно было разобраться. С огненною яркостью, точностью и определенностью засияло на этом туманном фоне государственное мирозерцание

* «Требовали и коренной ломки России, и полного ее переустройства».

** «Сочувствовали коренной ломке, предлагавшейся славянофилами».

*** «По принципу стоят за всякую ломку всего существующего».

**** смертельный прыжок (*ит.*).

Каткова, вылившееся в его светлом, логическом, точном уме в стройное, гармоническое несокрушимое целое» («Памяти М. Н. Каткова», стр. 55 и след.) *.

Оставим славянофилов и западников; даже в смягченной нами формулировке их взглядов, какую сделал г. Грингмут, нам не захотелось бы слить своего лица, по крайней мере сейчас слить, под впечатлением формулы — ни с которою из этих партий. Оставим их: и вот, однако же, общее у них — алкание; и вот общее же у Каткова, неизменное на протяжении всей его деятельности, — сытость: сытость души эмпирическим содержанием действительности. «В этом заключается великая государственная заслуга Каткова», — говорит г. Грингмут. О нет, ответим мы: в этом его малость; в этом, и только в этом лежит губительная для его памяти сторона его деятельности, тут — червь, точащий его пирамиду, и, наконец, мы решаемся даже это сказать: тут, в этом практицизме его, лежит именно мечтательность его ума, неопытность сердца, незнание действительности. Тут он иллюзионист, создатель самых коротких и близко гибнущих видений. Но чтобы показать это, нам нужно сделать, чтобы читатель на минуту, только на минуту забыл, что он читает «ежедневную» и «политическую» газету, и, доверясь — только на секунду — пошел бы за нами в некоторый в своем роде туман «видений», где мы ему покажем истину.

Итак, забудем «Каткова» и его «десятилетнюю память». Перед нами панорама истории; панорама уже неоспоримого величия, где мы можем научиться, что создает его, т. е. создает истинное, народами признанное, народами оплакиваемое и воспоминаемое величие. Удивительно: история вся разворачивается в два, собственно, ряда людей — истинных зиждителей всего ее узора: юродивых и полководцев. Вы поражены, вы спрашиваете: где же законодатели, дипломаты, политики? Где, наконец, князья, цари? Сословия, народ? Они *идут, но не ведут*. Кромвель и в дальнем расстоянии от него — Джон Нокс, страстный проповедник, которого однажды прихожане церкви, выведя из храма, стали топтать ногами, после чего, очнувшись, он убежал в свое дупло, — да, в настоящее дупло дерева, которое служило ему домом. Что за фантазмагория!.. Но она — действительность, т. е. она на два века определила собою действительность. Разве не был вполне юродивым Лойола: вообразить, — начитавшись рыцарских романов, что он будет сражаться за даму, имени которой даже не знал; а получив рану в ногу и став хромым — вообразить, что так как даме теперь он не угоден, то будет служить с такой же верностью церкви. Да, когда он повесил щит и латы в маленькой часовенке Божией Матери и молился ей... он смешивал, конечно, эту Божию Матерь с тою таинственной безымянной «*donna*», которой первоначально хотел служить; и потом *всю* жизнь — *sanctam ecclesiam*, святую церковь, смешивал, не ясно отделял от Божией Матери. Какой туман мечты, какая безбрежность воображения! — И даже Помбаль и Шуазель, самые ловкие министры самых неверующих королей, едва-едва имели силы «проткнуть» этот фантастический туман; да и то надолго ли? Выгнанные, иезуиты вернулись снова: «По милости Божией, революция, против нас собственно поднятая, нам же в пользу и послужила», — формулировали они между 1815 и 1830 годами.

* Так же, т. е. с этими же чертами эмпиризма, характеризует Каткова и Н. Любимов в книге своей «М. Н. Катков. По личным воспоминаниям».

Очень мало известно, что такое была г-жа Крюднер после 1815 года: знают только все, и теперь это документально доказано, что мысль Священного союза ей принадлежит, что эта мысль в ней, и ни в ком еще, зародилась как чаяние, как предположение. В юности танцовка и очень чувственная женщина, она странно кончила: именно, она стала бродить по беднейшим германским деревням, посещать на фабриках рабочих и, проводя там недели и месяцы, возвращалась на минуты в великосветское общество, к которому, собственно, принадлежала, и тогда с упреками говорила всем, что они должны пойти к этим бедным, замученным нищетою людям и помочь им. Юродивая, и еще женщина: когда она приехала в Петербург, император Александр I, уже заключивший Священный союз, не хотел более принять и видеть фантазерку. Идея Священного союза была промежуточной ступенью лестницы, по которой от танцев и лучших еще удовольствий она восходила к странному бродяжничеству; но вот факт, что от 1815 до 1848 г., т. е. включая деятельность Меттерниха и Гизо, дипломатия Европы — да, эта хитрая и «умная» дипломатия, — во всем опиралась и всегда принимала к расчетам странный бред странной женщины — ткала по нему «цветочки».

Когда Густав Адольф и Тилли, «всегда непобедимый Тилли», а потом за ним и Валленштейн напрягали в борьбе силы и сопрягали в борьбу силы почти всей Европы, — за какой странный туман мысли они боролись: можно ли или нельзя оправдаться одной верою. Именно мучась этим вопросом, во время торжественнейшей у католиков процессии «несения сердца Господня», с Лютером сделалось дурно, и, здоровый монах, он упал в обморок при мысли, что несет тело Господне, когда обременен «непрощеным» и какими-то «непрощаемыми» — кстати, верно, у него бывшими — «грехами». Фантастика, как и колебания блаженного, в самом деле «блаженного», Августина между антиками и евангелием, чувственностью и аскетизмом. Его «Град Божий», «Civitas Dei», есть что-то вроде Священного же союза, но только прочнее воздвигнувшееся и всемирнее раскинувшееся; за целость этого-то «Civitas Dei», против сомнения Лютера и встали Тилли и Валленштейн. Там и здесь равно туман воображения; как равно — если мы не хотим ограничиться христианством, так как им не ограничивается история, — и у Магомета: «более всего в жизни любил я прекрасных женщин и ароматы — но истинное наслаждение находил только в молитве»; вехи бытия, категории желаемого, которые в обратном порядке могла бы указать у себя Крюднер: «очень любила я молиться; еще более — танцевать, но истинное наслаждение находила только в мужчине»; зато же ею созданное и продержалось 30 лет, тогда как им созданное — пережило тысячелетие. «Юродивые», т. е. уродливые, и еще с печатью какого-то космического неприличия на себе — истинные «хромцы» духа. Это легенды передают о Тамерлане, что когда он родился, то, сверх всякого другого безобразия, оказался еще и «хромцом»; Иаков тоже стал «хромать», пророборовшись целую ночь с Богом, «до утра». И все они ясно, эти юродивые, где-то и как-то «поборолись с Богом» и чувствуют Его: таинственное теистическое дуновение, при всей яркой и не укрытой от человечества «хромоте» их, собственно у них одних и замечается.

В XVIII веке у одного Руссо мы видим его, к удивлению, к негодованию «салонов» и «философов». Никогда, ни однажды, ни ради каких успехов, он не покинул идей «Савойского викария» — он, «Confessions» * которого так напоминают

* «Исповедь» (фр.).

в одном определенном направлении «хромоты» «Confessions» Августина. Да — это вот еще юродивый; он вечно «пел» о чем-то; не видел и даже не знал (не предугадывал) революцию, но позвал ее: «Без Руссо не было бы революции», — формулировал Наполеон I, а он и умел формулировать, а главное — пережил, и даже в сердце своем пережил все ее перипетии. Странные песни, вполне мистическая песнь: как удивителен язык Руссо; кто научил его ему? До него, даже при нем и даже после него именно так никто не умел, не мог и — мы решаемся это сказать — не смел бы заговорить. Что-то манящее, какой-то зов: верно, что-то очень похожее на то, что между четырех глаз произошло и навсегда осталось тайною между Александром I, недоверчивым, скептическим, боящимся смешного, и между действительно смешною женщиной — Крюднер. «Ветхий деньми» туман, происхождения которого мы не знаем: он оседает, выходя из каких-то глубин, на человеке, и — вчера растленный, завтра юродивый — сегодня, вот на краткие минуты «аудиенции», он является в нимбе таинственного сияния, которое остается памятно и на всю жизнь influentially даже в том, кто назавтра не захочет принять, допустить до себя этого человека. — Что-то святое делается в истории, — мы не умеем лучше назвать: ибо в этом слове совмещены необходимые предикаты неразгадываемого, мощного, очаровывающего, что мы находим всегда в этих секундах: «Какие-то голоса я слышала». — «Чьи голоса, юродивая?» — «Мне кажется — святой Екатерины, но может быть, и святой Елизаветы» — вот краткий диалог в основе истории Жанны д'Арк, в действительность коей мы ни за что бы не поверили, если бы она не была документально засвидетельствована. Теперь — опрокинем все эти панорамы; перед нами — день этого месяца и года, «ежедневная» и «политическая» газета, и частный вопрос, нас занимающий.

«Катков» и его «десятилетняя» память; Катков «как великий государственный человек». Нет — малый. Почему? Он — среди идущих, а не тех, которые ведут. Его сущность, как она правдиво формулирована г. Грингмутом, и заключается не только в отсутствии, но до известной степени в коренном отрицании — в отрицании на века, в отрицании для всего народа этих «зовущих голосов», этих таинственных «зовов», на которые, оборачивая во все стороны голову, мы не понимаем, откуда они несутся, но почему-то, все дела бросая, спешим их выполнить. Как это прекрасно выразил наш поэт, очевидно, в себе эту глубокую тайну почувствовав:

...Из пламя и света
 Рожденное слово...

 И где я ни буду,
 Услышав его я,
 Узнаю повсюду;
 Не кончив молитвы,
 На звук тот отвечу
 И брошусь из битвы
 Ему я навстречу.

Мы выше назвали Каткова «мечтателем»: это — потому, что им не принята в расчет коренная действительность истории, самый главный ее нерв, хотя в то

же время и наиболее тонкий, менее всего грубо нащупываемый; и потому же еще мы называли его «неопытным сердцем»: он не знал человеческого сердца в древнейших, исконнейших его основаниях — тех основаниях, которые бросили военную Францию за 17-летнюю девушкой, кинули Карно и даже позднее Бонапарта распространять «исповедание савойского викария» и, наконец, циничную и растреленную, какова она была при Борджиях, римскую церковь повлекли вслед странного паладина, еще менее рассудительного, чем герой Ла-Манча. Все это, вся эта грамота психики и реальной действительности осталась непонятною Каткову. Конечно, подобных движений мы у себя не знали; все было у нас меньше, бледнее; и суженность русской истории, сравнительно с европейскою, заключается в том, что «ветхий деньми» туман «юродства» и истинной «хромоты духа» и чуть-чуть брезжил у нас в почти-политических, т. е. узких и сухих, слишком «умных» для настоящей значительности, партиях славянофилов и западников. Но и это ему не понравилось: даже бледную зарю «взыскуемого града» — как еще говорит и, говоря, конечно, освящает, Апостол — он хотел бы согнать с серенького неба нашей истории. Оне еще «ищут», эти партии; оне «алчут» — когда он так «сыт». В самом деле, какая беда и «мука» для уравновешенности от этого! И вот «великий государственный человек», взяв в руки «государственную клюку», хотел бы вымести всю эту «мистику»; или, как говорит Федор Павлович Карамазов своей жене «кликуше»: «Я из тебя эту мистику-то выбью», не подозревая, что «малейший в царстве сем» непреодолимо сильнее его и, как гиппопотам Иова, без труда и даже равнодушно мнет «выгребающие клюки», подобные для него «мягкому тростнику». Вот, мы, «искренно уповая», как и г. Грингмут, «на Бога», окончили анализ «идеала» и определили «великое» как малое, поставив на место его кой-что «малое», но что и для Бога, а главное — для самих людей, есть истинно «великое», оплакиваемое и возлюбленное.

1897 г.

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ «КРИЗИС»

В одном уголке нашего литературного мира происходит чрезвычайное волнение. Радикально-экономическое его течение, которое всегда звалось «народническим» и гордилось этим именем, видело в имени этом знамя и программу, выделило из себя ветвь, которая если и не называет себя, то ее можно назвать антинароднической, потому что, употребляя постоянно это имя, она не упоминает его иначе, как в иронических кавычках и в окружении насмешек. Нет более г. Глеба Успенского, не появляется на страницах журналов г. Златовратский; мы не можем услышать их веского и авторитетного слова о новом расколе в партии, которой они когда-то руководили и в значительной части ее создали. Где их «устой»? Где «власть земли»? Все это их собственными учениками, юнейшими детьми еще не дряхлых отцов, объявляется «романтизмом», ребячеством, противонаукою. Да, все это было ими подумано и высказано без науки, против науки; и вот почему все это оказалось так непрочно. Но какой науки? И кто, наконец, ее адепты?

Науки Карла Маркса, изложенной в его классическом исследовании «Капитал»; науки, адепты которой со страниц своих журналов с чрезвычайной горячностью призывают на Россию «капиталистический строй». Но что делает их неуязвимыми, что их ставит вне всяких подозрений, что подрывает всякую почву у их противников — это то, что они призывают капиталистический строй, как необходимое предварение имеющей настать после него эры труда. Таким образом, они являются также «народниками»: «народное» есть их конечный идеал, но... через тысячу лет — это есть некоторый «рай», которого, однако, можно и нужно достичь, проползая предварительно в муках капиталистического «ада» и «чистилица».

Все хорошо сосчитано здесь, но только излишне далеко рассчитано. В сентябрьской книжке «Вестника Европы» за 1897 г. г. Слонимский, в статье, которую нельзя не назвать любопытною и здравомысленною («Карл Маркс в русской литературе»), дает следующую иллюстрацию нашего книжного теоретизма, который решительно не только не считается с фактами, но и не замечает их даже и тогда, когда они окружают его, когда он на них смотрит и, наконец, о них именно рассуждает: «Не поразительны ли эти тревожные в литературе толки о том, явится ли к нам капитализм или нет, когда на деле он живет и распоряжается среди нас с давних времен? Мы постоянно употребляем продукты капиталисти-

ческого производства; мы окружены ими в домашнем быту и видим огромные массы их в лавках и магазинах; мы одеты с ног до головы в фабричные изделия, пользуемся заводскою посудой, пишем фабричным пером на фабричной бумаге, ездим в экипажах, вышедших из капиталистических мастерских, и путешествуем на железных дорогах и пароходах, наглядно свидетельствующих о капитализме, наши книги и статьи печатаются в капиталистических типографиях, и в этих книгах и статьях мы встречаем глубокомысленные рассуждения о вероятных шансах появления у нас капитализма. Сколько теоретического ослепления, сколько предвзятой веры в каждое слово Маркса нужно для того, чтобы не замечать всей окружающей нас действительности и упорно предаваться бесцельной софистике, представляя себе общеизвестные вещи наыворот» (стр. 303 и 304).

Вот довольно правдоподобное изображение наших юных волнений. Расчеты неомарксистов на тысячу лет также вытекают из этого теоретизма, который перестает видеть, слышать и обонять. Построения Карла Маркса овладели мыслью наших теоретиков; они их гипнотизировали, как глаза очковой змеи гипнотизируют маленькую птичку, и она, вместо того чтобы лететь от чудовища, бессильно падает ему в пасть. Птичка, конечно, могла бы улететь прочь, как только она перестала бы смотреть на чудовище; и мы думаем — муки капиталистического строя, которых, кстати, никто не отвергает, не только обходимы, но они и без всякого труда могут быть обойдены, как только мы выйдем из-под гипноза экономических идей и примем в расчет всю полноту бытия человеческого, оглянемся ясно на ясную лежащую окрест нас природу и вообще станем думать, прислушиваться и понимать не часть действительности, а полную действительность.

Неомарксисты говорят о России; но вот, возьмем два факта, один — постоянный и географический и другой — исторический и минутный, но который можно с такою же легкостью, как Карл Маркс сделал это с экономической идеею, раздвинуть в обширную историческую панораму.

Россия с наиболее протяженной своей стороны примыкает к Ледовитому океану; «государство Российское», со всей градацией его уездов, губерний, волостей, станов, не столько переходит, сколько теряется, и теряется неуловимо, неизвестно с каких точек начиная, — в тундрах, болотах, тайге, где все эти градации администрации становятся более или менее призрачны и мнимы, означены на карте и вовсе не означаются и ничем не выражены в действительности. Г. Слонимский в приведенной выдержке замечает, что капиталистический строй уже вошел к нам; в других местах своей статьи он говорит, что главная и собственно единственная черта этого строя — «отделение продукта производства от производителя-работника, который за работу получает часть ее стоимости», — уже читается в некоторых статьях «Русской Правды». Ясно, что испуганные марксисты не об этом частичном явлении говорят: они исполнены далеких надежд и близкого страха перед всеохватывающими капиталистическими отношениями, перед всеобъемлемостью и повсеместностью капиталистического строя, в формах которого станет биться и в них «очищаться» вся полнота народного бытия. И вот мы указываем географический пояс, притом неопределенного растяжения, куда и за который никогда не проникнет настоящая государственность и еще менее проникает интенсивная, капиталистическая производительность, с ее подробностями: разделением труда, машинностью производства, крупным капиталом и всего лишенным, во всем «обокраденным» — по довольно справедливому подозрению социалис-

тов — работником. Вот граница капитализма, лежащая в условиях «лычного края», страны «моршки», «ягеля» и «олена». Оттуда, как из неумирающего эмбриона, в самый капиталистический строй, если бы он раскинулся южнее, будут или, по крайней мере, могут всегда вторгаться отношения, а наконец, и идеи антикапиталистические. Ломоносов, как и Зосима и Савватий, как замученный митрополит Филипп, — все были из этих стран; и между XX и XXIV столетиями отсюда же могут прийти люди равной и еще большей силы, с тою же непобедимой мыслью, всеувлекающим примером, подымающим сердца словом, и самое главное: люди, несколько не зараженные капитализмом в условиях быта вскормившей их земли. Мы говорим о специально нашей стране, о которой специально 10 говорят и наши неомарксисты; но, если мы оглянемся на географию иных стран, мы увидим, что целый обширнейший круг их, пройдя решительно всяческие фазисы исторического существования, никогда не знал одного — капиталистического. Пример — Византия. От пелазгов и до прихода турок, прожив $2\frac{1}{2}$ тысячи лет, она ни на одну минуту не сделалась капиталистическою; и тот вопрос о пролетариате, который так тяготил Рим, никогда не тяготил ни Афины, ни Спарту, ни Константинополь... В Риме рабочий вопрос был, в Византии — нет; и, очевидно, есть, сверх экономических, еще какие-то условия существования, доминирующие над экономическими и то дающие им простор, то их задерживающие. Но 20 здесь мы перейдем к маленькому историческому явлению, на которое хотели указать сверх общего и постоянного географического факта.

Это — не так давно закопавшиеся у нас на юге раскольники-сектанты. О них было распрошено; все обстоятельства ужасной их смерти вскрыты; и как юристы, так и богословы, наконец, даже психиатры растерялись перед фактом. Но во всяком случае — вот психическая атмосфера, которая может быть раздвинута по произволу далеко, которая объемлет очень значительные части нашего населения уже и теперь и куда, если бы вы ввели идеи Карла Маркса, вы увидели бы, что оне ни с чем тут не сливаются и с ними ничто здесь не сливается. Это как бы 30 масло и вода, которые не умеют слипнуться и никогда, решительно никогда, ничего общего не создадут из себя. Вот факт, которого никто не захочет оспорить; что же это за атмосфера? Принадлежит ли она специальностям догматического учения сектантов? Эта несливаемость ее с экономическими ужасами, как и вождениями, входит ли в их вероучение? Нет и нет. Мы имеем интенсивную, т. е. напряженную до крайности, *религиозную* культуру, как бы ни низкопробно было ее содержание, ее «вероучение»; мы имеем дух и настроение, аналогичные с тем, какой овладел Византией во время великих богословских споров; и вот, там и здесь интенсивная *экономическая* культура равно невозможна: она не просачивается сюда, просто она не находит места для себя, ей не открыты поры, через 40 которые, проникнув в организм, она разрушила бы его, как проникает через поры по существу уже мертвого внутри социального организма и тогда начинает его уродовать, являясь в нем доминирующим механическим законом.

Иногда хочется, через ближайшую тысячу лет «чистилища», заглянуть в следующую тысячу лет, которую, как «рай», нам обещают неомарксисты. Это — эра «труда», и «только» труда, как формулируют строго и нетерпеливо они. Итак, миллиарды четвертей картофеля, «своими руками» выкопанного, съедены; но в то время как оне перевариваются в желудке, о чем же будут говорить или думать обладатели этих желудков? Т. е. с «искрой», увлечением, «румянцем» на

щеках говорить? Со «счастьем» думать? Как только кто-либо так заговорил бы или подумал, тем самым он и отменил бы закон экономизма как высший, подпал бы иной норме бытия и, в сущности, глубочайшим образом потряс бы весь «райский» строй. Всякая живая тема — это уже новая жизнь, струйка иной жизни, просочившаяся в экономический строй, и, как «ртуть», пущенная «по воде», она прорвала бы плотину желудочно-ручного благополучия. А вне этой мысли? Без таких «тем»? — действительно только усталые и действительно сытые только... Неужели люди были бы счастливее теперь в тундрах около вертящегося шамана, чем в Аравии бедуины, чем спутники Чингис-хана, века вспоминавшие «минутку» своих походов и побед? И так, никакого плюса перед прежним и настоящим тут не содержится, — и совершенно непонятно, марксисты вовсе не могут объяснить, почему именно мы должны втягиваться в эру не отвергаемых и ими мук, чтобы вступить... в то же и даже меньшее, чем то, что мы имеем теперь?

В августовской книжке марксистского «Нового Слова» за 1897 г. высказан следующий взгляд на значение или, точнее, на незначительность всяких идей в истории; заметим, что статья полемическая, и отсюда проистекает форма вопроса в рассуждениях автора: «Почему это представляется всем, будто высшее образование обладает какой-то специфической способностью претворять культуру?.. Да и наконец, что такое вся интеллигенция, как не простое и послушное орудие в руках крупных денежных магнатов?» (отд. II, стр. 144). Капитализм как начало, господствующее над идеями; люди науки и вообще мысли как простые рабы денежных людей — мысль эта пронизывает все страницы действительно «нового» в нашей литературе «слова»; к этой же подчиненной роли около капитала сводится и государство, это же рабство уготовывается и рабочему: в статье г. Туган-Барановского «Народники крепостной эпохи» разбирается, и насмешливо, попытка в царствование императора Николая I улучшить положение рабочих на фабриках: именно — установить, чтобы они не оставались ночью и не спали около машин на фабрике. «Тем дело и кончилось, — говорит автор, — Мейендорф был так осторожен, что не более фабрикантов, и то по возможности, т. е. насколько сами захотели, исполнили Высочайшую волю» (отд. I, стр. 85). Конечно, все это молодой теоретизм, юные сорадования «науке», но ведь и от них можно потребовать оглянуться, каково же в самом деле, при ночлеге около станка, рабочему приниматься за работу без всякого предварительного свободного движения поутру, хотя бы пока он перебегает через двор? Ведь если «ad majorem gloriam Dei»*, то и то не было позволительно, то ad majorem gloriam Marksi**... Да и какой же это «божок» и сколько ребячества во всей этой вчера выросшей «науке»?

Неомарксисты не заметили, что лишь некоторые узкоопределенные циклы идей действительно поддаются и подчиняются капиталистическому настроению ли, владычеству ли: именно, все логические идеи — в тесном смысле «наука»; и вовсе не поддаются ему идеи жизненные, которых логического происхождения мы не можем ни проследить, ни доказать. Шотландская философия, т. е. очень идеалистическая, в лице Адама Смита послужила капитализму; ему послужили, т. е. послужили вообще торжеству и расширению экономических идей, гегельян-

* «к вящей славе Божией» (лат.).

** к вящей славе Маркса (лат.).

цы Лассаль и Маркс; даже, как это ни печально, наши «народники» родили из себя гг. Бельтова, Струве, Туган-Барановского, и это показывает только, как мало жизненности и много бедной книжности было в нашем «народничестве». Но вот, однако же, южные сектанты... Вы скажете — это «невежество», которое капитализм преобразует через «школу», — и тогда я спрошу вас об итальянском Ренессансе: не Рафаэль и Микель Анджело послужили купечеству Медичисов, но, именно и напротив, «купечество» Козимо и Лоренцо Медичи было ковром, который стлался под ноги и в ногах этих выразителей эстетического взгляда на мир, т. е. опять жизненной, а не логической идеи. Вы скажете — это минута, порыв и их переборет время, — и тогда я укажу вам на еврейство: искони торговое, оно внутри себя, т. е. где оно трансцендентно-религиозно, не сложилось даже и до сих пор капиталистически. Еврейство поставило банк и капитал около европейской, т. е. для него внешней, цивилизации и, очевидно, могло поставить потому и тогда, когда эта цивилизация стала иссякать в трансцендентных своих основаниях. Вот факты — крайне разнообразные, но которые говорят об одном. Карфагеняне изобрели вексель; финикияне — алфавит и всемирную для того времени торговлю; и снова оба эти народа с интенсивной, религиозной культурой, какова бы и в чем бы она ни состояла по содержанию, не сложились капиталистически. Но вам хочется «ума», и я укажу на пифагорейцев: в союзе этих философов, но которые самую философию понимали жизненно и ей подчинили быт и политику, мы так же мало можем представить восторжествовавшими надо всем капиталистические отношения, как и у наших бедных закопавшихся в землю сектантов. Экономизм как доминирующая норма есть действительно смерть: он действительно просачивается внутрь только уже опустошенного от всяких мистических струек организма. «Экономический» строй, семья как содружество работника и работницы, государство как содружество экономических же групп и все «экономическое» в тенденции и основаниях: «наука», печать, публицистика, — это ничего более, как минерализовавшееся общество, которое имеет форму и перестало дышать, потеряло «дыхание жизни» — употреблю библейский термин.

Таким образом, — вот вторая граница, кроме географической, в том, что бытие человеческое не исчерпывается логической стороной и что та — другая и темная в нем сторона, ни природы, ни происхождения которой мы не знаем, но которой присутствие ясно в себе чувствуем, — выходит из норм экономизма и всегда и безусловно его подчиняет себе. Какие трудности преодолели Ромео и Юлия, чтобы умереть где-то в темном подземелье; я знал в Вязьме приказчика, который, получив отказ в руке любимой девушки, — пошел и в тот же вечер удавился. Вот трансцендентная идея уже в каждом из нас, и, слава Богу, от времен Монтекки и Капулетти она жива и даже не ослабла до этих дней. Но мы хотим вернуться опять к нашей действительности: неомарксисты говорят о России — и в ее именно условиях, сверх географической преграды, есть еще одна, которая, по-видимому, всегда будет мешать торжеству у нас интенсивной, экономической, т. е. капиталистической, культуры.

Это — странная и неустраиваемая, кажется, русская неуклюжесть. Остановимся на подробностях. Не удивительно ли, что в огромном уже теперь множестве всюду разбросанных аптек мы не встречаем, даже как исключение, русских природных мальчиков, не встречаем их вовсе? — необходимость педантической чистоты и крайней аккуратности при измерениях и взвешиваниях исключила из этого

прекрасного ремесла русскую кровь. Все нужно здесь «по капле», а русский может только «плеснуть». Не менее замечательно, что и в часовом ремесле, где также требуется мелкое и тщательное разглядыванье, — не попадаете русских. Удивлялись, отчего в Петербурге речное пароходство в руках финляндцев, и замечали — «верно, вода не русская стихия». Но вот на Волге и Ладоге это русская стихия. Но на Неве — суета, и опять «подробности», т. е. так много мелькающих и мелких судов, что, конечно, русский лоцман на пароходике-лодке или сломается сам, или сломает. И чувство ответственности, страх «сломать» или «сломаться», а главное — отвращение к суете и неспособность быть каждую минуту начеку гонит его от лоцманства, из аптеки и от часовщика. Напротив, кровельщик или маляр, висящий на головокружительной высоте, — всегда русский и никогда еврей или немец; это — риск, но и уединение, спокойствие, где работающий может «затянуть песню». Русский — немножко «созерцатель». И он только в той работе хорош, где можно задуматься, точнее, — затуманиться легким покровом мысли о чем-то вовсе не связанном с работой: так поет и полудумает он за сапогом, который шьет, около бревна, которое обтесывает, и, наконец, в корзиночке около четвертого или пятого этажа. Все ремесла собственно интенсивные и все интенсивные способы работы — просто у него не в крови. А о народе в его историческом росте мы можем повторить то же, что говорим о ребенке, взрослом и, наконец, старике: «Каков в колыбельку — таков и в могилку» *. Обильно и долго я наблюдал детей за учением; способ работы учебной, у нас принятый, — быстрое чередование уроков с требованием внимания к каждой минуте, — истощает, энервирует и, наконец, просто не исполняется всеми даровитыми русскими детьми — именно теми, которые при разговоре, за чтением, на письме, т. е. во всех формах неинтенсивного выражения своих способностей, брызжут умом, сообразительностью, наблюдательностью; и напротив, эти формы работы — ясно не национальные — охотно и легко у нас переносятся, но только малоспособными людьми.

Но перейдем к капиталу и капитализму: мы увидим, что и способы их копить у нас глубоко отличны от западных. Русский капитализм — это или Плюшкин-Корзинкин (умерший лет 15 назад в Москве, почти в чулане, миллионер), т. е. психоз, или это — случайная удача; но во всяком случае — это не есть неопределенно расплывшееся в обществе явление; не есть общий поток, тянущий в себя массы людей, неопределенное их множество. Напротив, массы, множество — у нас бедны и неуклюжи в обогащении, даже когда очень его желают. Фирма «Домби и Сын» не вырисовывается на фоне нашего быта и истории: наследственных богатств, из рода в род «приумножающихся», у нас нет или очень мало. Наш богач — удивительное явление: он «стрижет купоны», и опять мы наблюдаем здесь любовь к покою, не суете, как у лоцмана и кровельщика; он не «работает на капитале», как и ученик избегает учиться «по урокам». Люди, как Губонин, т. е. вечно деятельное богатство, у нас — феномен; а мы говорим о толпе, о господствующем типе, ибо история всегда течет из основных, а не исключительных народных черт. Богач угрюм у нас, необщителен; почти можно подозревать, что он несет

* Историки замечают, что галлы, описанные Цезарем во всех подробностях характера, сохраняются и в теперешних французах.

богатство как «грех»; это — привязанность, болезненная, несчастная, с которой он не умеет справиться, но и не спешит весело с нею на улицу, не общится ею с другими, не союзнится на ней: и вот отчего богатые люди у нас не сливаются в ассоциации, как это было бы непременно, если бы инстинкт богатства у нас был веселящим, радующим, природным. Удивительно, как много богачей у нас становятся тайными, а иногда и явными алкоголиками. Казалось бы, что за удовольствие в вине, когда возможно чувство Скупого рыцаря —

Какой волшебный блеск!..

Но вот, вместо этого сладострастия имуществом — гораздо беднейшее и прямо нищенское упивание вином, из-за которого так и слышится прекрасный Некрасовский стих: 10

Бес благородный скуки тайной.

Если мы припомним своеобразную поэзию тяжелых колоколов, пудовых свеч и всякого храмового «благолепия», которым упиваются наши купцы, мы догадаемся, что эта строка Некрасова не обошла и их, и допустим, что и источник алкоголизма у них не всегда бывает только распущенность. Но в общем все эти черты как мало обрисовывают тип, который был бы достаточен и силен охватить и подчинить себе весь строй жизни. «Капиталистический строй»... Г. Слонимский правильно заметил, что он уже начался с «Русской Правды», и, всегда существуя, всегда необходимый как частное и подчиненное явление, он у нас и в будущем останется *одним из жизненных течений*, то ширящимся, то суживающимся, но никогда, решительно никогда — *единственным*, все поглотившим (гипотеза наших марксистов). 20

Есть виды опасности, порождаемые опасением; ложный крик «пожар» может в партере театра породить несчастья, для которых нет реального основания, но ложное опасение становится их реальной причиной. Неомарксисты своим преувеличенным и ложным страхом производят или имеют тенденцию произвести такого рода бедствия. Они зовут меры, которым еще не время и для которых никогда, может быть, не настало бы время; они отвлекают внимание, как от «археологии», от другого, что может быть полно жизни или может при внимании возродиться к лучшей жизни. Ведь все-таки не разобрано и не объяснено, почему община, исчезавшая в Германии при Таците, т. е. в своем роде при «Русской Правде», — у нас удержалась до «Судебных уставов» Александра II, т. е. 1000 лет? Мне случалось об этом упоминать в литературе, и еще раз я настаиваю, что эта разница в длительности существования не объяснена и есть главный факт, должна бы стать главной темой размышления наших экономистов. Община — это, конечно, экстенсивная земельная культура, но на множестве подробностей мы уже показали, что интенсивности и вообще во всем не ищет русская кровь. Как будто можно с каким-нибудь видом правдоподобия сказать, что в наших университетах профессора занимаются со студентами «интенсивно»? 30

Мы все учились понемногу,
Чему-нибудь и как-нибудь..

И, в сущности, мы учимся в университете, учились у таких светил, как покойные Буслаев и Тихонравов, совершенно по тому же методу, так же «экстенсивно», как наши Петры и Иваны пашут в Новгородской губернии землю; и как они ее делят и ею владеют «міром», — мы точно так же «міром» готовились к экзаменам и на самых экзаменах покрывали «грехи» друг друга. Вот пример неуклюжей, пожалуй, вредной, но как-то милой и, очевидно, вечной «общины» в духе, в духовных занятиях, и у людей, казалось бы потерявших всякую связь с народом и с землей. Да, работа «міром» лежит искони в духе русского народа, создавшего даже пословицу: «На людях и смерть красна». Кроме общины — в сфере владения землей, у нас есть артель — в сфере коллективной созидательной работы; есть и то, что можно было бы назвать моментальными артелями, — не в целях длительной работы, но минутного усилия, натиска, подвига рук и иногда ума — это так называемая «помочь». Ни у одного народа начало общности и помощи не развито так, как у нашего; ни у одного не сохранилось оно так долго. Германец-земледелец, ставящий свою ферму среди своих владений, отдаленно и отчужденно от окружающих, уже этим самым безмолвно выражает, до какой степени мало он нуждается в «помочи» и как мало готов с «помощью» побежать к соседу. Не то в наших деревнях — в этой линии домиков, тесно жмущихся друг к другу, почти лезущих друг на друга и только-только не говорящих: «если и гореть — то вместе». Самым расположением своим, самым видом деревня говорит о народе-«міре».

Из живого зерна — из качеств народной души выросли и формы нашего быта и труда. «Соборне» молясь, православные «соборне» трудятся; «соборне» строят деревню, подряд; «соборне» поднимают колокол, держась «міром» за канат; «соборне» косят, владеют землей; и наконец, «соборне» же высыпают на работу, помолясь на кресты родного села, роясь, как пчелы, в шумливую и веселую артель, а не угрюмо, не скупно, не тупо, как идет немец. «Соборне» — это свет нашей жизни, веселость нашего сердца, залог великих наших успехов в міре и в грядущих веках.

Но эта прекрасная сторона нашей жизни может, и преждевременно, насильственно, может быть спугнута ложными криками и заверениями неомарксистов, особенно если они найдут для себя авторитетных слушателей. Нужно заметить, что экономизм, экономические учения вообще сыграли одну очень скверную и мало замеченную роль: они вызвали, создали экономизм как факт; они призвали его, даже когда пытались бороться с ним (социализм). Человек достаточно и хорошо защищен от него мистическими задатками своей природы; но эти задатки в высшей степени были ослаблены у одного, другого и, наконец, у многих, у всего общества чувством перепуганности, которое распространяли экономисты, и их уверениями, которые не могли не подействовать на «малых сих», что экономизм есть или завтра должен стать высшею нормой, управляющею жизнью всех. Экономисты гипнозом своих ошибок оттянули внимание общества от предметов, идей, тем, где лежала его естественная защита; они отняли у него «дыхание жизни», и наступившая минерализация уже естественно стала оформливаться в господство экономических отношений, «капиталистический строй». Вот процесс, которого единственно мы должны бояться, т. е. не фиксировать свой взгляд на одной точке, с предположением: «тут очковая змея» — она в самом деле тогда вырисуеться и пожрет нас, т. е. мы пожрем друг друга скудостью своего духа.

Карл Маркс и вообще школа немецкого социализма не была во всем прогрессом сравнительно со школой старого, «археологического» социализма. В лице Фурье и Сен-Симона социализм был великодушием; он не претендовал быть «наукою», но был порывом, который умел родить порывы. Между тем самое существо предполагаемого будущего процесса содержит в себе, именно в заключительной его фазе, даже по Марксу — требование порыва, и без него все учение становится нескончаемым и бесплодным номинализмом. Трудно представить себе, как «катедэр-социалисты» в такой-то день месяца и года выбегут наконец на улицу и «передадут» «орудия производства» «самим производителям». Я хочу сказать, что энтузиазм составляет не только психику, но и логику социализма,¹⁰ именно центральный момент этой логики — и он умер в Марксе. Любопытны в этом отношении воспоминания о нем Лафарга, переведенные в «Новом Слове». Маркс — буржуа; это — ученый; но он темой избрал социально-экономический строй общества, как другие избирают и как при другом стечении обстоятельств он сам избрал бы движения Марса или кольца Сатурна. Каковы бы ни были результаты его исследований — важно, что это суть мысли, порождающие мысли же, книга, порождающая книги же; и вообще, как после Лапласа мы имеем обширную небесную механику и прославляем имя ее первого творца, — мы имеем все основания прославлять Маркса, ожидать увеличения марксистской литературы, — и ничего еще, ничего более. В лице Маркса, и общее — в лице немецкого теоретического социализма, некоторый вид минерализации постигнул самый социализм. Это немножко жаль; потому что истинную сторону в социализме составляет не эта якобы «наука», какую он стал, но именно великодушие: для него реальные основания были и остаются.

1897 г.

О ДОСТОЕВСКОМ

(Отрывок из биографии, приложенной к собранию сочинений
Ф. М. Достоевского, изд. «Нивы»)

I

Теперь, когда с нумерами «Нивы» полное собрание Достоевского будет разнесено по самым далеким и укромным уголкам России, действие его на умственное и нравственное развитие нашего общества получит, наконец, те размеры, к каким оно способно по внутренним своим качествам, без всяких внешних задерживающих обстоятельств. Толпа слушателей, какую только может пожелать себе мыслитель или художник, невидимо, неошутимо собрана: что скажет *он* ей — в этом и ни в чем другом теперь весь вопрос. Невольно является смущение при мысли: что же в немногих строках, в краткие минуты, какие мне уделены на то, чтобы сказать этой толпе об этом писателе, *следует* сказать?

Что нужно ей от писателя? Зачем, отрываясь от насущных дел, забот, иногда обязанностей, читатель берет книгу и уединяется с нею — уединяется в себя, но зачем-то в сообществе с человеком, давно умершим или далеким, которого он не знает и, однако, в эти минуты уединения предпочитает всем, кого знает? Какой смысл в книге, в чтении? Наслаждение ли? Но в непосредственных созерцаниях, в реальных ощущениях действительности оно может быть всегда ярче. Красота ли? Но разве для нее уединяется человек? Он уединяется, чтобы, на минуту оторвавшись от частных дел, от подробностей своей жизни, своих тревог, обнять их в целом, понять эту жизнь в ее общем значении. Что скажет, что может сказать он *обо мне* самом и обо всем, что так тяготит меня и смущает в жизни, — вот вопрос, который определяет выбор нами того, кого мы зовем с собою в уединение, или книги, какую избираем. «Помоги мне разобраться в моей жизни, освети, научи» — вот самая серьезная мысль, с какою может читатель обратиться к писателю; думаем даже, что это есть единственная серьезная мысль, на которой может истинно скрепиться их общение. Вне этого, вне отношения писателя к нашим индивидуальным тревогам, заботам, опасениям, празден смысл самого чтения, незначуще появление книги, мишурно все, что в необъятных размерах мы называем литературою и чем любимся или гордимся как народ, но можем гордиться и любоваться с правом тогда лишь, когда она удовлетворяет только что определенной нужде.

В индивидуальном — основание истории, ее главный центр, ее смысл, ее значительность: ведь, человек, в противоположность животному, всегда *лицо*, ни с кем не сливаемое, никого не повторяющее собою; он — никогда не «род»; родовое — в нем несущественно, а существенно особенное, чего ни в ком нет, что впервые пришло с ним на землю и уйдет с нее, когда он сам отойдет от нее в «миры иные». Не от этого ли и попытки дать философию истории в смысле законов исторического развития всегда были напрасны: ведь, эти законы, если они и есть, обнимают самое незначачщее в истории; в противоположность природе, где, обнимая родовое, общее, — они обнимают существенное. В Цезаре, в Петре, в тебе, читатель, и во мне, который пишет эти строки, разве главное — то, в чем мы не отличаемся от всех других людей? Как главное в планетах — конечно, не их разное расстояние от солнца, а фигура эллипсиса и законы, повинуюсь которым они по этой фигуре все одинаково движутся. Здесь — тайна безуспешности науки и философии понять человека, его жизнь, его историю; тайна безуспешности их истинно в ней наставить, просветить; и, к удивлению, проблески истинного знания о себе, какое человек почерпает в областях, ничего общего с его умствованиями не имеющих, — в религии и в высоком искусстве. Они не знают законов и не ищут их; но, не находя их, не находят только несущественного; они обращены к сердцу человека, всегда говорят его лицу — главному, что есть в нем; и, зная это сердце, проникая в самые его сокровенные движения, говорят этому лицу с глубочайшим знанием, какого только может он допытываться о себе самом. Вот где понятная нам, уразумеваемая в истории сторона значительности религии; вот где тайна, почему так прилепляется человек к высокому искусству — первое любит его в истории, с последним им расстается, обращается к нему в тревожные и светлые минуты своей жизни.

Как, однако, художник достигает этой силы научения и в чем, вообще, значение гения в истории? Не в другом чем, как в обширности духовного опыта, которым он превосходит других людей, зная то, что порознь рассеяно в тысячах их, что иногда скрывается в самых темных, невысказывающихся характерах; знает, наконец, и многое такое, что никогда еще не было пережито человеком, и только им, в необъятно богатой его внутренней жизни, было уже испытано, измерено и оценено. Можно сказать, что в то время, как другие люди по преимуществу только *существуют*, гений — по преимуществу *живет*: т. е. он никогда не остается все тем же, разные душевные состояния слагаются в нем и разлагаются, миры созданий проходят через его сердце — и все это без сколько-нибудь прочного, уловимого отношения к действительности. Посмотрите на великих художников, поэтов: разве жизнь их особенно богата событиями, разве поле их наблюдения так особенно превосходит наше? И, однако, какое необъятное множество лиц, положений, движений сердца, просветлений человека и падений его совести отражено в их произведениях? Как узко поле их фактической жизни сравнительно с полем какой-то другой жизни, где все это они видели уже, все поняли и, поняв, по одной черте сходства определяют характер и судьбу реальных явлений их окружающей действительности. Высокий поэт или художник есть всегда вместе и провидец; и это потому, что он уже *видел* многое, что для остальных людей остается на степени возможного, что для них только будущий вероятный факт. От этого, посмотрите, как много встревоженного в лице их, когда так мало причин для этих тревог в действительности; какой перевес в задумчивости над дру-

гими людьми, когда предметов для нее у них вовсе не более, чем у остальных людей; и еще более удивительный, столь же общий факт: какая растерянность среди практической жизни, рассеянное невнимание к ней. К чему же, на что, не отрываясь, устремлено это внимание?.. Но если все, что мы сказали, действительно так, то как не искать нам в самом деле научения у того, кто столь превосходит нас опытом и, следовательно, плодом его — мудростью?

Какая же мудрость заключается в произведениях, лежащих теперь перед читателем? В чем духовный опыт творца их? На что главным образом было устремлено его внимание?

10

II

Три момента мы можем различить в душевном развитии каждого человека, пожалуй, всякого народа и целого человечества. Не все они переживаются каждым, развитие может быть не окончено у индивидуума ли, у народа или даже у целой их группы, слагающей совокупную жизнь обширный цикл истории. Но всегда, когда это развитие полно, оно протекает три фазиса: непосредственной первоначальной ясности, падения, возрождения. Есть целые эпохи истории, которые выражают собою только один который-нибудь из этих моментов; так, жизнь некоторых людей, которым мы удивляемся, которых понять не можем, является утверждением и развитием подобного же единичного момента. В обоих случаях, однако, это суть только части цельного процесса, однородность которых объясняется из совершенной их противоположности с другими смежными частями. Все, что, рождаясь, достигает естественного конца и вместе одарено высшим сознанием, не может избежать ни одного из этих моментов.

Если, однако, мы рассмотрим в их соотношение, то увидим, что в наблюдаемой действительности средний момент чрезмерно преобладает над остальными двумя. В истории падение, преступление, грех — это центральное явление *, в нем бьются бессильно индивидуумы, народы; о нем учит и с ним борется религия; тенью своею оно задевает, наконец, и высокое искусство. И, между тем, смысл этого момента только относительный: преступное, греховное — это преступное против чего-то, что ранее ему предшествовало и было лучше его; это падение, от которого нужно подняться к чему-то, вновь возродиться. Этим значением своим, обращенным к прошедшему и будущему, он указывает на другие два момен-

* Мы говорим «центральное» по тем усилиям, по той степени внимания к себе, какой требует грех, преступление, вызывая на борьбу с собою религию, законодательство, поэзию. Но не следует забывать, однако, что в них содержится отступление от нормы, и в жизни норма естественно преобладает над своим исключением, *не возбуждая к себе, тем не менее, нашего внимания*, не вызывая ужаса, удивления, сожаления, — и потому как бы затеняется в своей значительности пороком. Какой-нибудь всемирно известный пример, взятый хотя бы из поэзии, лучше всего пояснит нашу мысль: Гретхен (в «Фаусте») раз только согрешила, долгие годы она была беспорочна — и долгие годы были забыты ее окружающими, неприпомнены: *ими* по-
40 мнится, и *нам* внушает горечь, вызывает на размышления день только ее падения. В судьбе ее — он центральный, не будучи центральным по времени, преобладающим по положению в ряду других фактов ее жизни.

та, которых, однако, только просвет, только краевое сияние мы наблюдаем в текущей действительности и истории; и вот почему их яркое выражение, полное осуществление человек переносит за границы им проходимого на земле бытия — к своему доземному существованию и послезагробному. Мысль о бессмертии своей души, так трудная, так непостижимая, не только постигается человеком, но и становится неотделимой от его сознания, как только он глубоко погружается в смысл греха, и еще более, когда он погружается в него не мыслью одною своею, но всею природою — когда он глубоко греховен, преступен. Нет человека, кто бы он ни был, как бы ни был он полон отрицания, сомнения, который, преступив какой-нибудь коренной закон своего существа, в меру того, как преступил, — не почувствовал бы тотчас, как напрасны были все его верования, что с землею для него кончается все; нет народов, которые на исходе своего исторического труда, и труда серьезного, не были бы проникнуты этим же убеждением. Только в светлые, юные моменты жизни своей народы ли или отдельные люди равно бывают далеки от этих идей: рождаясь и умирая в том краевом сиянии, о котором мы упомянули, они думают, что им, этою смесью относительной темноты и относительного света, исчерпывается все возможное бытие. Как бы то ни было, но в законе, что именно среди глубочайшего мрака человеком постигается главная истина его бытия, содержится условие перехода его к утверждению этой истины в своем сознании и жизни; сущность греха такова, что она предполагает возрождение: 10 20

Чем ночь темней — тем звезды ярче,
Чем глубже скорь — тем ближе Бог.

В этих двух стихах — смысл всей истории и история развития тысяч душ.

Проникновение в закон этот, и не только умом своим, но сердцем, совестью, — составляет особую, ни с кем не разделенную сферу духовного опыта Достоевского. Можно сказать, что в то время как другие великие художники, его современники (Гончаров, Тургенев, Островский, гр. Л. Толстой), заняты были воспроизведением первого момента — это было великолепное рисование общества и народа в его исторически сложившемся быте, в его непосредственной ясности, — все его произведения посвящены изображению момента второго и указанию из него выхода. В этом последнем указании — объяснение особого характера его романов, повестей, все зовущих куда-то или грозящих, хотя, по видимому, они только изображают, рисуют. Он *кончил* «Дневником писателя» — субъективнейшею формой беседы ли с собою или, как в данном случае, обращения к окружающим; страницами этого дневника, в сущности, были и все его романы, повести, с однообразным колоритом, на всех их лежащим, одним языком, которым говорят все лица. Это относится к форме его творчества; напротив, если мы обратимся к главному в нем, к содержанию, мы и самый «Дневник», и все остальные произведения поймем как обширный и разнообразный комментарий к самому совершенному его произведению — «Преступление и наказание». В романе этом нам дано изображение всех тех условий, которые, захватывая душу человеческую, влекут ее к преступлению; видим самое преступление; и тотчас, как совершено оно, с душою преступника мы вступаем в незнакомую нам ранее атмосферу ужаса и мрака, в которой нам почти так же трудно дышать, как и ему. 30 40

Общий дух романа, неуловимый, неопределимый, еще гораздо замечательнее всех отдельных поразительных его эпизодов: как — это тайна автора, — но он действительно подносит нам и дает ощутить преступность всеми внутренними фибрами нашего существа; сами мы, ведь, не совершили ничего и, однако, окончив чтение, точно выходим на воздух из какой-то тесной могилы, где были заключены с живым лицом, в ней похоронившим себя, и с ним вместе дышали отравленным воздухом мертвых костей и разлезавшихся внутренностей. Колорит этого романа и уже затем эпизоды его, весь он в своей неразрывной цельности — есть новое и удивительное явление во всемирной литературе, есть одно из глубочайших слов, подуманных человеком о себе. Возрождение — здесь только издали показано нам; «его история должна бы составить новый роман...» — никогда не написанный, мы и в других произведениях Достоевского имеем все только этот же колорит; дышим все тою же атмосферой душевного ужаса и мрака; среди него играют лучи ослепительного света, также ниоткуда еще нам не известной душевной чистоты и светлости. Вот все, что мы у него находим; но, ведь, это и *все*, чем в глубочайшей сущности исчерпывается человек и его земное странствие. Прочее — за гробом, прочее — в ожидании, в надежде; да и могли ли бы мы, в этой брэнной оболочке своей, в этих земных условиях, надолго вынести этот ослепительный свет? Умереть, узнав о себе окончательную истину, это так естественно, почти необходимо; для чего бы еще жить, мястись душою, изменяться, когда самого условия для этого, неведения, — нет более?

Зов к этому свету, к этому выходу — вот что составляет второй момент в деятельности покойного писателя, то, что так поверхностно, так не глубоко, приравнивая к *своему*, звали его «публицистикой»; о, конечно, это было обращение, но уже почти не к читателю, а к *ближнему* своему, которого он предостерегал, которому грозил, от которого требовал. Да, это был, если уж нельзя отвязаться от неприятного слова, всемирно-исторический публицист, интересы которого были вне своего дня, зов которого был обращен к векам и народам, взор — устремлен в вечность. Нет, это ошибка сказать, что он был «публицист 60—70-х годов»; к этим ли годам относится «Легенда о Великом Инквизиторе», к ним ли — изображение будущего атеистического состояния людей (разговор Версилова со своим сыном в «Подростке») или «Сон смешного человека»? Конечно, не более к ним, чем и к цельной всемирной истории, возвести к глубочайшему смыслу которой свой преходящий момент — вот что составляло его задачу и что сказать о нем — значит действительно определить его значение. Печать эпохи его, встревоженной, мятущейся, лежит и на его взволнованных трудах; к счастью, однако, он уберется от обычных путей своего времени даже еще в ученические годы — и в своем мощном воображении, гениальном уме и сердце, на тех уединенных путях, которыми проходил жизнь, несколько переиначив действительность, возвел ее к вечному смыслу и значительности. 60—70-е годы почти уже умерли в своем *тогном* и *ограниченном* смысле; не так уже смотрим мы на дела их и речи, многое растеряли из них и не особенно дорожим оставшимся; еще всплеск исторической волны, и все будет залито там; но какое время, какие новые заботы, более высокие созерцания зальют бессмертные страницы «Преступления и наказания», «Братьев Карамазовых», где все, что *было* в то время, что на минуту условно и ограничено *мелькнуло* в ту эпоху, — в гениальном уме их творца возшло на вечное *есть*, стало для всех времен неумирающей *их* тревогой?

Все остальные черты в творчестве Достоевского, нередко выставляемые как главные, составляют только детальную разработку этой основной темы. Неутолимое страдание, нищета, разврат — что так широко разлито на его страницах — это только гноище, на котором по закону необходимости вырастает преступное; искаженные характеры, то возвышающиеся до гениальности, то ниспадающие до слабоумия, — это отражение того же преступного в человеческих генерациях, наконец, это борьба с ним человека и бессилие его победить. Среди хаоса беспорядочных сцен, забавно-нелепых разговоров (быть может, умышленно нагроможденных автором) — чудные диалоги и монологи, содержащие высочайшее созерцание судеб человека на земле: здесь и бред, и ропот, и высокое умиление его страдающей души. Все в общем образует картину, одновременно и изумительно верную действительности и удаленную от нее в какую-то бесконечную абстракцию, где черты высокого художества перемешиваются с чертами морали, политики, философии, наконец, религии, везде с жаждою, скорее потребностью не столько передать, сколько сотворить или по крайней мере переиначить. Удивительно: в эпоху совершенно безрелигиозную, в эпоху существенным образом разлагающуюся, хаотически смешивающуюся — создается ряд произведений, образующих в целом что-то напоминающее религиозную эпопею, однако со всеми чертами кощунства и хаоса своего времени. Все подробности здесь — *наше*; это — *мы*, в своей плоти и крови, бесконечном грехе и искажении говорим в его произведениях; и, однако, во все эти подробности вложен не наш смысл, или по крайней мере смысл, которого мы в себе не знали. Точно кто-то, взяв наши хулящие Бога языки и ничего не изменяя в них, сложил их так, так сочетал тысячи разнородных их звуков, что уже не хулу мы слышим в окончательном и общем созвучии, но хвалу Богу; и, ей удивляясь, ее дичась, — к ней влечемся.

III

Мирозерцание народное, как общая *поэма*, на которой может единственно правильно возрастать всякое индивидуальное развитие; Россия, исторически возникшая — как фундамент и ряд звеньев, на который налагая дальнейшие звенья мы только и можем правильно трудиться — вот вкратце формула тех взглядов, которые проводил Достоевский в своей публицистической деятельности и на которых он сошелся с рядом писателей, образующих единственную у нас школу оригинальной мысли (И. Киреевский, Хомяков, Константин и Иван Аксаковы, Ю. Самарин, Ап. Григорьев, Н. Данилевский, К. Леонтьев, Н. Страхов и др.): эта так называемая школа *славянофилов* — название очень узкое и едва ли точно выражающее смысл школы. Правильнее было бы назвать ее школою протеста психического склада русского народа против всего, что создано психическим складом романо-германских народов, — протеста, сперва выразившегося в смутном, безотчетном отчуждении, а потом и в полной сознания критике и отвержении этих созданий и тех начал, из которых они вышли. Начала противоположные, и частью высшие, были указаны ими в народе нашем: начало гармонии, *согласия* частей, взамен антагонизма их, какой мы видим на Западе в борьбе сословий, положений, классов, в противоположении церкви государству; начало *доверия* как естественное выражение этого согласия, которое при его отсутствии,

заменилось подозрительным подсматриванием друг за другом, системой договоров, гарантий, хартий, — конституционализмом Запада, его парламентаризмом; начало *цельности* в отношении ко всякой действительности, даже к самой истине, которую народ наш различает и ищет не обособленным рассудком (рационализм, философия), но и нравственную сторону свою, полностью своего существа; наконец, в церкви — начало *соборности*, венчающая все собою любовь, слиянность с ближним — что так противоположно римскому католицизму, с его внешним механизмом папства, подавляющим собою, но не организующим в себе жизнь духа, — и не похоже также на протестантизм, который, отвергнув это давящее извне единство, не поняв начала внутреннего согласия, кинулся в разрозненность, думая в ней сохранить свободу и сохраняя только произвол. Все эти начала, следы которых еще сохраняются в нашем простом народе, в его «мирском» владении землей, в его склонности к артельной форме труда, в преданности его верховной власти, безусловно свободной в своих решениях, но и зато прислушивающейся без страха к свободному же выражению боли, страдания, к голосу «земли» (народа), — начала эти обещали бы в полном своем развитии жизнь более высокую, гармоничную, примиренную, нежели в какой томится Европа, вовсе не догадывающаяся о причинах этого томления, о ложности самых принципов, на которых построена ее цивилизация. Славянофильская школа, долгое время гонимая официально и пренебрегаемая нашим темным обществом, только в последнее время получила если не в жизни (все еще текущей по инерции в прежнем направлении), то в сознании лучшей части образованных кругов России свое признание и торжество. И ничто не способствовало этому в такой мере, как распространение Достоевского; его творения, всюду читаемые, его речь на Пушкинском празднике — это такие памятные слова, которые не могли не врезаться в мысль каждого; и с ними — новые начала сознания, внесенные славянофилами, стали печатью в душевном складе каждого, только более или менее мешающеюся с другими, но никогда и ни в ком не исчезающею. «Правда народная» получила в лице Достоевского такого по силе и настойчивости выразителя, какого не имела никогда ранее. Он был ее Аароном, и речь его потому именно звучала так твердо, что он чувствовал за собою несметные народные толпы, которые, не будь они немые, заговорили бы то именно и так именно, что и как говорил он.

IV

Биографические черты, чрезвычайно значащие для объяснения душевного склада самого Достоевского, мы находим в четырех его произведениях — в «Игроке», в «Униженных и оскорбленных» (и его прототипе — «Белых ночах»), «Идиоте» и в «Записках из подполья». Можно сказать, что повсюду в письмах, в воспоминаниях, в самом художественном творчестве он является с чертами которого-нибудь из главных выведенных здесь лиц: как *теоретик* — это человек угрюмого подполья, гениальный диалектик, недоверчивый и презирающий людей, и в то же время ненавидящий действительность; как журналист, как человек своего времени, отчасти как член общества — это задушевный, простой, измученный своим сердцем и нуждою друг Наташи («Униж. и оскорбл.»); в своем дурачестве, пренебрежении к жизни, к будущему, в своей вульгарной стороне — это

«игрок». В «идиоте» отражено его сердце в идеальном успокоении, вместе и отчужденное от людей на какую-то бесконечную высоту, и совершенно слитое с их нуждами, страданиями; этот странный образ есть до известной степени то, что каждый поэт зовет своею «музою». «Преступление и наказание» — самое законченное в своей форме и глубокое по содержанию произведение Достоевского, в котором он выразил свой взгляд на природу человека, его назначение и законы, которым он подчинен как личность. Но «Идиот» — это было его любимое создание; кажется, — самое свободное, наименее связанное с волнениями текущей действительности. Странный колорит лежит на этом романе; все фантастично здесь, и, вместе, как будто это фантастическое — звездный, мерцающий свет, падающий на серую нашу действительность из далекого, далекого будущего. Колорит этого романа, но уже с чертами более ясными и поразительными в своем смысле, повторяется в двух только произведениях: «Сон смешного человека» (в «Дневнике писателя»), и в разговоре Версилова с «подростком» (см. «Подросток»), и, отчасти, в знаменитой Пушкинской речи. Аскетизмом, чистотой и высшим духом примирения и со страданием человека, и с его бедностью духовною веет от всех этих произведений, глубоко однородных и представляющих как бы антитезу мучительно-беспокойным созданиям вроде «Записок из подполья», «Pro и Contra» и «Легенды о Великом Инквизиторе»; это — рафаэлевские черты, это — его успокоение, которое мелькает нам сквозь бури Микель-Анджело.

В течение всей жизни, с ранних лет, Достоевский хранил в себе какой-то особенный культ Пушкина; нет сомнения, что в натуре своей, тревожной, мятущейся, тоскливой, он не только не имел ничего родственного с спокойным и ясным Пушкиным, но и был как бы противоположением ему, сближаясь с Гоголем и, еще далее, быть может, с Лермонтовым; с тем различием, однако, что он вечно жаждал успокоения, как те, тревожась, искали новых тревог. Пушкин был для него этим успокоением; он любил его, как хранителя своего, как лучшего сберегателя от смущающих идей, позывов — всего, что он хотел бы согнать в темь небытия и никогда не мог. Этим оберегателем, он чувствовал, Пушкин может стать и для каждого; может стать им, наконец, для народов, и особенно в моменты великих внутренних тревог, в которые, по-видимому, все они более и более входят. С дивною гармонией его поэзии не могут бороться хаотические начала человеческой души; они улегаются от нее, противоречия смолкают, сомнения и темные помыслы отходят далее; его муза — как арфа Давида: она и невыносима для нашего слуха, но, если бы мы могли ее вынести, принять в свое сердце, в ее звуках нашли бы успокоение для своей души. Вот невысказанные и, быть может, не сознанные основы великой любви творца «Легенды об Инквизиторе», «Pro и Contra» к творцу «Онегина», «Капитанской дочки»; создателя образов Свидригайлова, Карамазовых — к создателю Татьяны, летописца Пимена.

Во всем этом есть, однако, некоторая ошибка, скорее иллюзия, и она сказалась в знаменитой Пушкинской речи: этот экстаз, этот призыв к всемирному братству, этот вопрос об единичной человеческой душе, на замученности которой посмеет ли человечество устроить свое окончательное счастье, — разве это пушкинское? Разве это *его* покой? Разве это покой какой-нибудь? Пушкинское осталось в безграничной дали, отделенное от слов этих беспросветным хаосом, из которого, однако, душа великого художника имела силы подняться к новому свету. Но тот ли это свет? Первоначальный ли, естественный, эпически ясный?

Это — просветление, возрождение; это уже свет другой и по происхождению, и по природе, и по его влиянию на человеческую душу. Известен взрыв особенных чувств, который вызвала речь Достоевского; здесь были слезы, кажется мучительные слезы. И Пушкин читал свои произведения — там был восторг, но кто же «едва имея силы добраться до эстрады, упал без чувств»... Мы хотим сказать, что не в слушающих только, но и в сердце, из которого лились эти проникновенные слова, была уже совершенно другая психическая атмосфера, нежели какою жили и дышали люди Пушкинской эпохи; то время умерло, и навсегда; худшее или лучшее, но навсегда же наступило другое время.

10

V

«Карамазовщина» — это название все более и более становится столь же нарицательным и употребительным, как ранее его возникшее название «обломовщина»; в последнем думали видеть определение русского характера; но вот оказывается, что он определяется и в «кармазовщине». Не правильнее ли будет думать, что «обломовщина» — это состояние человека в его первоначальной непосредственной ясности: это он — детски чистый, эпически спокойный, — в момент, когда выходит из лона бессознательной истории, чтобы перейти в ее бури, в хаос ее мучительных и уродливых усилий ко всякому новому рождению; «кармазовщина» — это именно уродливость и муки, когда законы повседневной жизни сняты с человека, новых он еще не нашел, но, в жажде найти их, испытывает движения во все стороны, чтобы из самого страдания своего в момент нарушения известных и священных заветов — найти, наконец, эти последние и подчиниться им. Главы «Братьев Карамазовых», «*Pro и Contra*» и «*Великий Инквизитор*» — центральные не только по отношению к роману, в котором они содержатся, но и по отношению ко всему длинному ряду произведений Достоевского, который можно рассматривать как предварительные, неясные и неполные вариации мучительной темы, вылившейся неожиданно почти, почти без связи с самим романом, в этих главах, по времени написания — почти предсмертных. Гений писателя поднимается здесь на высоту, на которую еще не восходил до него никто в искусстве: в чудной сцене, где представляются, в узком подземелье, вновь сведенными Христос и человек, — Бог принимает исповедь от твари своей за все тысячелетия ее страданий, смрада, греха и могучих и напрасных усилий превозмочь это. Было бы затруднительно в целой всемирной литературе найти какие-нибудь аналогии этой сцене; чтобы отыскать их, нужно обратиться к памятникам письменности совсем другого рода. Это опять пред нами Иов, но, сообразно новым тысячелетиям страданий и опыта, речь его становится сложнее, мысль проникновеннее, да и он сам говорит уже не о своих страданиях, не о странной причудливости своей только судьбы, но за все человечество, за века его необъяснимых судеб. Событие тесное, частный эпизод в земле Уц, с похищенными стадами, потерянными детьми, как будто раздвинулось в необозримую панораму всемирной истории, сохранив, однако, свой смысл и имея для себя тех же виновников. Только положение этих виновников взаимно переместилось, — и это есть, кажется, самая важная черта, какую новые века внесли в смысл сетований, столь древних: дерзкий вопрос уже не находит себе ответа, спрашиваю-

щий — до конца спрашивает, и, наконец, мы не различаем, *кто* же именно спрашивает? Граница между человеком и искушающим Бога дьяволом исчезает, их образы сливаются, смысл их слов становится тождествен, и весь эпизод получает невыразимо тягостный смысл. Нет более праведного Иова, и не будет для него утешения; есть Иов другой, без утешения, без веры, который так же покрыт проказой, на том же сидит гноище, но уже без какого-либо смысла своего страдания только ощущающий его боль и ропот которого переходит в темный хаос слов. Вера ли это? Безверие ли? Какой окончательный смысл сцены? Его договорит история — мы же знаем только, что никогда не являлось более точного, более правильного выражения того, до чего Высшим Промыслом доведена эта история¹⁰ к нашему многозначительному и тревожному моменту.

1893 г.

«ВЕЧНО ПЕЧАЛЬНАЯ ДУЭЛЬ»

Этим названием г. Мартынов, сын Н. Мартынова, имевшего прискорбную судьбу убить Лермонтова на дуэли, определяет («Русское Обозрение», 1898 г., январь) ее характер и значение. В статье, передающей неизвестные до сих пор подробности дуэли, он слагает часть тяготеющего над его отцом упрека на секундантов, кн. Васильчикова и Глебова, не сделавших никакого усилия к примирению друзей-недрузгов. Есть что-то темное и действительно тягостное для памяти всех окружающих людей в этой дуэли. Как объясняет и доказывает письмом Глебова Мартынов-сын, отец его вовсе не умел стрелять из пистолета и на дуэли ¹⁰ «стрелял третий раз в жизни; второй — когда у него разорвало пистолет, и на дуэли — в третий» (стр. 321). Пусть так; пусть смерть поэта была нечаянностью для стрелявшего: все же остается бесспорным, что Мартынов, если бы не хотел убить поэта, мог преднамеренно настолько взять в сторону, чтобы не задеть противника. У него не было «уменья стрелять»; но, к прискорбию, та доля уменья наводит дуло, какая была, совпала с желанием правильно его навести и оказалась достаточною.

Далее, секунданты. Оказывается из передачи Мартынова-сына, что вызов на дуэль последовал около Петрова дня, т. е. 29 июня, а не 13 июля, как до сих пор принималось в биографиях Лермонтова на основании показаний живых участников дуэли, и между днем вызова и самою дуэлью прошло две недели, а не «трехдневная отсрочка, в течение которой сокрушились все наши усилия», как писал действительно темно и неясно, очевидно что-то замаскировывая, кн. Васильчиков. Глебов тотчас после дуэли писал Мартынову: «Покажи на следствии, что мы тебя уговаривали с начала до конца, что ты не соглашался, говоря, что ты Лермонтова предупреждал, чтобы он не шутил на твой счет, и особенно настаивай» на таких-то его словах (стр. 321). Мартынов согласился это сделать, но писал обоим секундантам: «Вину всю я приму на себя и покажу на суде о всех ваших усилиях примирить меня с Лермонтовым, но требую, чтобы после окончания дела вы возстановили всю истину для очищения моего имени и опубликовали ³⁰ дело, как оно действительно было» (стр. 320). В течение всей долгой жизни участников дуэли действительно было удивительно их упорное молчание. Мартынов все время молчал, не проронив ни слова, как бы чем-то связанный, и теперь становится очевидно, что он был обязан «чувством чести», ожидая, но молча и терпеливо, что подробности, несколько оправдывающие его, будут опубликованы секундантами. С другой стороны, становится понятна и психика странного

объяснения кн. Васильчикова, столь скупого в фактической стороне, но так усиленно настаивающего на «несносном характере» Лермонтова, на «невозможности для Мартынова не вызвать Лермонтова, не быть против Лермонтова естественно раздраженным». Тут есть нечто убаюкивающее, обеляющее Мартынова, но именно только морально, без дачи фактического матерьяла, которого Мартынов ждал тоже от «друзей-недругов», но именно фактического-то они и не хотели дать, им было больно дать. Теперь оказывается, что Лермонтов не только задел Мартынова на вечере у Верзилиных, но что несколько ранее он распечатал и похитил письмо-дневник сестры Мартынова, данное ему для передачи брату; он это сделал, любя девушку и, кажется, имея на нее более серьезные намерения: это о ней были написаны знаменитые его стихи: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою» и т. д. В силу этого, в двухнедельный промежуток между вызовом и дуэлью, Лермонтов, нисколько о дуэли не думавший серьезно, сказал как-то князю Васильчикову: «Нет, я сознаю себя настолько виновным перед Мартыновым, что чувствую — рука моя на него не подымется» (стр. 324). «Передай мне об этих словах Васильчиков или кто-либо другой, я Лермонтову протянул бы руку примирения и нашей дуэли, конечно, не было бы», — заметил как-то отец сыну. О том, что Лермонтов «прежде сказал секунданту, что стрелять не будет», упоминает из передачи секунданта Глебова и Эмилия Шан-Гирей, рожденная Верзилина, которая послужила «яблоком раздора» между друзьями и на балу у матери которой произошла их стычка («Воспоминание о дуэли и смерти Лермонтова» — «Русский Архив» 1889 года). Таким образом, факт совершенной мирности души Лермонтова и нечаянности для него исхода дуэли теперь может считаться твердо установленным из двух показаний. Из объяснений Мартынова-сына видно, что некоторая светская щекотливость нудила секундантов желать, чтобы дуэль не была «пустою»: именно, за год перед этим бывшая дуэль Лермонтова с Барантом, сперва на пистолетах и затем на шпагах, кончилась простой царапиной, и это произвело впечатление смешного как в петербургских великосветских, так и в кавказских военных кружках, и тень этой смешливости пала и на секундантов прошлогодних; секунданты нового года не хотели этой смешливости для себя и естественно желали, чтобы дуэль была несколько серьезнее. Здесь, в этом незаметном на первый взгляд обстоятельстве, в сущности, и лежит вся тяжесть дела. «Случай» удачного выстрела совпал с «серьезным» отношением к дуэли секундантов: но все вышло гораздо «серьезнее», чем ожидал кто-нибудь из участников; вышло тягостно и страшно — «вечно печальная» дуэль.

Не в русском духе, однако, ставить укор над памятью умерших. Итак, оставим дравшихся и свидетелей и разоведем только мысль о «вечной печали» самой дуэли. Но сперва одно слово в защиту личности поэта, на которую особенно темную тень «несносности» наложил кн. Васильчиков. Да, это участь гения, прежде всего для него самого тягостная — быть несколько неуравновешенным; и эта нервность духа часто переходит в желчность, придирчивость. Во всем зависевший от Ив. Ив. Шувалова и даже им облагодетельствованный — Ломоносов с ним ссорится; Гоголь написал «другу» Погодину письмо, читая которое тот плакал от оскорбления, как мальчик. Поэт есть роза и несет около себя неизбежные шипы; мы настаиваем, что острейшие из этих шипов вонзены в собственное его существо. Вспомним Руссо, который так мучил, так мучился. Но роза благоухает; она благоухает не для одного своего времени; и есть некоторая обязанность у поль-

зующихся благоуханием сообразовать свое поведение с ее шипами. Поэт и всякий вообще духовный гений — есть дар великих, часто вековых зиждательных усилий в таинственном росте поколений; его краткая жизнь, зримо огорчающая и часто незримо горькая, есть все-таки редкое и трудно создающееся в истории миро, которое окружающая современность не должна расплескать до времени. «Après quoi Martynow croit de son devoir de se mettre, en position» *: эта шутка на балу у Верзилиных, около 29 июня 1841 года, — как она легка, бегуча, воздушна перед тягостною утратою, которую мы из-за нее понесли. «Вечно печальная» дуэль.

- 10 Лермонтов мог бы присутствовать на открытии памятника Пушкину в Москве, рядом с седоволосым Тургеневым, плечом к плечу — с Достоевским, Островским. Какое предположение! Т. е. мы чувствуем, что, будь это так, ни Тургенев, ни особенно Достоевский не удержали бы своего характера, и их литературная деятельность вытянулась бы в совершенно другую линию, по другому плану. В Лермонтове срезана была самая кронка нашей литературы, общее — духовной жизни, а не был сломлен хотя бы и огромный, но только побочный сук. «Вечно печальная» дуэль; мы решаемся твердо это сказать, что в поэте таились эмбрионы таких созданий, которые совершенно в иную и теперь неразгадываемую форму вылили бы все наше последующее развитие. Кронка была срезана, и дерево
- 20 пошло в суки. Критика наша, как известно, выводит всю последующую литературу из Пушкина или Гоголя; «серьезная» критика, или, точнее, серьезничающая, вообще как-то стесняется признать особенное, огромное, и именно умственно-огромное значение в «27-летнем» Лермонтове, авторе ломаного:

И скучно, и грустно...

- или ходульно-преувеличенного «Демона», как и множества фальшивых страниц и сцен «Героя нашего времени». — Он «не дозрел до простоты», вот глубокое словечко Гоголя, прикидывая которое к Лермонтову — мы обыкновенно отказываемся признать в нем значительность. Нужно заметить, что критика в этом взгляде только последует нашим большим писателям: С. Т. Аксаков, в простран-
- 30 ных литературных воспоминаниях, едва два два-три упоминает имя Лермонтова; Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» — также проходит лишь упоминанием Лермонтова и несравненно больше говорит об Языкове; Л. Толстой в начале «Казаков», не называя имени Лермонтова, явно смеется над его изображениями Кавказа; Достоевский в первых выпусках «Дневника писателя» и еще кой-где в художественных созданиях выказывает несомненную нелюбовь к Лермонтову, между прочим за его «жестокость». — «Не дозрел до простоты» — как и отсутствие ласки, «простосердечной» любви к «ближнему» — затенило в Лермонтове все качества и ото всех скрыло его значение. Все выводили себя или друг друга из ясного, уравновешенного Пушкина или из «незримых
- 40 слез» Гоголя, его «натурализма». Но это — не так.

Связь с Пушкиным последующей литературы вообще проблематична. В Пушкине есть одна, мало замеченная черта: по структуре своего духа он обращен к прошлому, а не к будущему. Великая гармония его сердца и какая-то опытность

* «После чего Мартынов считает своим долгом встать в позицию» (фр.).

ума, ясная уже в очень ранних созданиях, вытекает из того, что он существенно заканчивает в себе огромное умственное и вообще духовное движение от Петра и до себя. Белинский не без причины отметил в колорите его и содержании элементы Батюшкова, Карамзина, даже Державина («Клеветникам России»), Жуковского; и даже есть у него кой-что из Крылова («Летопись села Горохина», «Сцены из рыцарских времен» — в конце). Страхов в прекрасных «Заметках о Пушкине», анализом фактуры его стиха, доказывает, что у него вовсе не было «новых форм», и относит это к его «скромности», «смирению», нежеланию быть оригинальным в форме. Не было у него новых «ритмических биений» — внесем мы поправку к Страхову, но и сейчас же закончим наблюдения этих критиков: Пушкин не имел вообще лично и оригинально возникшего в нем нового; но все, ранее его бывшее, — в нем поднялось до непревосходимой красоты выражения, до совершенной глубины и, вместе, прозрачности и тихости сознания. Это — штиль вечера, которым закончился долгий и прекрасный исторический день. Отсюда его покой, отсутствие мучительно-тревожного в нем, дивное его целомудрие, даже и в «Графе Нулине», «Руслане и Людмиле»; «власть заклинать демонические стихии природы человеческой» — как определил Апол. Григорьев, или, точнее, как показалось и не могло не показаться этому критику. Заклинать «стихии»: о, нет! Которую же из «мучительных» стихий имел он «власть» заклясть у Гоголя? у Лермонтова? у Достоевского? А они все перед ним преклонились и так готовы были бы что-нибудь из «мучительного» и «тревожного» в себе «заклясть» через него. «Хотели» бы, но не могли; и совершенно очевидно, что, дав «сюжеты» «Мертвых душ» и «Ревизора» Гоголю, — Пушкин на самый характер его творчества, дивную и властительную его «мертвенность» и «умерщвление» живого — не имел ни капли, ни малейшего влияния. Гоголь, да и остальные два, именно в «стихийности» своей неизмеримо властительнее Пушкина; и так «готовые» бы поддаться перед Пушкиным, подчиниться ему — не уступили ему ни пяди из личного и оригинального в себе, из того существенно «нового», что было в них и что в них единственно значительно. Итак, с версией происхождения нашей литературы «от Пушкина» — надо покончить. Далее, если мы возьмем Гоголя, как второго предполагаемого «родоначальника» последующего развития, — то, конечно, напр., «Бедных людей» мы можем вывести из «поправленной» его «Шинели»*; но ведь не в «Бедных людях» особенное, новое, характерное у Достоевского; и что же из его «карамазовщины» мы могли бы отнести к Гоголю? К которым гоголевским фигурам могли бы приурочить длинные размышления Раскольниковца, порывы Свидригайлова, судьбу Сони Мармеладовой и всю «бесовщину», включительно до «Легенды об инквизиторе», от которой этот писатель хотел освободить русское общество и не умел освободиться сам. Останемся на Толстом. Ни у Гоголя, ни у Пушкина нет никаких зачатков размышлений раненного на Аустерлицком поле князя Болконского, истинно «стихийной» игры и сплетения страстей у Анны Карениной; ни тревог автора в «Смерти Ивана Ильича» и «Крейцеровой сонате», т. е. ничего именно типического и оригинального у Толстого. Напротив, оба эти писателя, и еще третий — сам Гоголь, имеют родственное себе в Лермонтове, и, собственно, искаженно и частью грязно,

* Взгляд Ап. Григорьева, Страхова и Ив. С. Аксакова: «Достоевский развился из „Шинели“ гоголевской, но привнес в нее поправку милосердия».

«пойдя в сук», они раскрыли собою лежавшие в нем эмбрионы. Это очень трудно доказать, потому что Лермонтов только начал выражаться, и показать это можно только уловляя —

В дымных тучках пурпур розы,

т. е. бегучие тени и полутени роднящих настроений:

Но я без страха жду довременный конец;
Давно пора мне мир увидеть новый...

— это тревога Лермонтова, почти постоянное его чувство, вызвавшее чрезвычайно много новых «ритмов» в его поэзии. «Есть миры иные», — тревожно сказал Достоевский, устами старца Зосимы, в «Братьях Карамазовых»; «есть мир иной» — разве не говорит это нам, не предостерегает нас об этом в «Смерти Ивана Ильича» Толстой? Вот родство, уже внутреннее и гораздо более тесное, чем «сюжет» «Мертвых душ», переданный Пушкиным Гоголю, но который Пушкин, без сомнения, выполнил бы совершенно противоположно Гоголю, с небесною улыбкою своею, какую он дал увидеть нам в «Онегине», «Капитанской дочке», «Дубровском», и решительно без всяких «незримых слез», вулканических рыданий под корою ледяного смеха. В указанной, пусть мимолетной пока, черте есть связь не «сюжета», но содержания души, «умоначертания», связь сердца, умственных догадок, тревожащих сомнений.

20

И вижу я себя ребенком; и кругом
Родные все места: высокий барский дом,
И сад с разрушенной теплицей.
Зеленой сетью трав подернут спящий пруд,
А за прудом село дымится — и встают
Вдали туманы над полями...

(«1-е января»)

Разве это не тема «Детства и отрочества» Толстого? Не та же тоска, очарование, тревога?

30

В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
Глядит вечерний луч; и желтые листья...

«Не хочу я уезжать за границу, — говорит одно характерное лицо в „Преступлении и наказании“, — не то чтобы что-нибудь, а вот — Неаполитанский залив, косые вечерние лучи заходящего солнца, и как-то грустно станет». Эти характерные «косые лучи» солнца еще повторяются в «Подростке», «Бесах» и личной биографии в самых интимных и патетических местах, так что искусившийся в чтении Достоевского, встретив их — уже знает, что сейчас последует что-нибудь важное и, так сказать, автобиографическое у него; как, упомянув о них, заволновался и Лермонтов:

Глядит вечерний луч...
 И странная тоска теснит уж грудь мою.
 Я думаю о ней, я плачу и люблю —
 Люблю мечты моей создание,
 С глазами полными лазурного огня,
 С улыбкой розовой...

Конечно, это не так громоздко, уловимо и доказательно, как «сюжет», «данный» и «взятый», но это — общность в ощущении природы, в волнении, вызываемом какою-нибудь ее частностью; что-то близкое, так сказать, в самой походке, в органическом сложении двух людей, так далеко разошедшихся в манерах и очерке лица. 10

...И желтые листья

Шумят...

«— Видели вы лист? С дерева лист?

— Видел.

— Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий, с жилками и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.

— Это что же, аллегория? 20

— Н-нет... Зачем? Я не аллегорю, я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо.

— Все?

— Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив, — только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется — все хорошо. Я вдруг открыл...

— Уж не вы ли и лампадку зажигаете?

— Да, это я зажег» («Бесы», т. VIII, стр. 215, 216, изд. 1882 г.).

Кто знает всю внешнюю хаотичность созданий Достоевского и внутреннюю психическую последовательность текущих у него настроений, тот без труда догадается, что этот «среди зимы» представляемый «изумрудно-зеленый» лист — и сейчас же «все хороши», «зажег лампаду» есть собственно мотив предсмертного лермонтовского: 30

Засох и увял он от холода, зноя и горя
 И в степь укатился...
 У Черного моря чинара стоит молодая;
 С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская,
 На ветвях зеленых качаются райские птицы...

 И странник прижался у корня...

40

Связка ощущений космического декабря, «зимы», и «изумрудной зелени», т. е. космического же «апреля», — здесь и там, в сущности, одна: «лист желтый,

немного зеленого, с краев подгнил», т. е. смерть и жизнь в каком-то их касании. И вот у Лермонтова:

...Я плачу и люблю —
Люблю мечты моей создание...

И у Достоевского:

«— Вы зажгли лампаду?
— Я зажег».

10 Я знаю, что тысячи людей и все «серьезные» критики скажут, что это — «пустяки», что тут «ничего еще значительного нет»; я отвечу только, что это — настроение, вырастающее до «я плачу» у одного, до «все хороши», «зажег лампаду» — у другого, под сочетанием странных и нам непонятных почти, но, совершенно очевидно, одних и тех же представлений, оригинально, т. е. без внешнего заимствования «сюжета», у обоих них возникающих. Именно родственное в «походке», при крайнем разнообразии «лиц». Но будем следить дальше, ловить родящие черточки:

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я...

20 — разве это не Гоголь, с его «бегством» из России в Рим? Не Толстой — с угрюмым отшельничеством в Ясной Поляне? И не Достоевский, с его душевным затворничеством, откуда он высылал миру листки «Дневника писателя»?

Смотрите — вот пример для вас:
Он горд был, не ужился с нами...

30 Это — упрек в «гордыне» Гоголю, выраженный Белинским и повторенный Тургеневым; Достоевскому этот же упрек был повторен после Пушкинской речи проф. Градовским; и его слышит сейчас «сопротивляющийся» всяким увещаниям, не «миролюбивый» Толстой. Т. е. духовный образ всех трех обнимается формулою стихотворения, в котором «27-летний» юноша выразил какую-то нужду души своей, какое-то ласкающее его душу представление. Замечательно, что ни одна строка пушкинского «Пророка» (заимствованного) не может быть отнесена, не льнет к трем этим писателям.

Дам тебе я на дорогу
Образок святой;
Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой

— не это разве, как мать трепетно любимому сыну, совал Достоевский растерянному, нигилистическому и, в сущности, только забывчивому и юному русскому обществу; припомним «Бесов» и как в заключительной главе этого романа Степан Трофимыч читает с книгоношею-девушкой Евангелие и преображается, «воскресает».

Ты его, моляся Богу,
Ставь перед собой

— вот тема всего Достоевского в религиозной части его движения. Мы делаем только намеки, указываем тонкие нити, но уже в самом настроении, которые связывают с Лермонтовым главных последующих писателей наших. Но если бы кто-нибудь потребовал крупных указаний, мы ответили бы, что характернейшие фигуры, напр., Достоевского и Толстого — Раскольников и Свидригайлов в их двойственности, и вместе странной «близости», кн. Андрей Болконский, Анна Каренина — все эти люди богатой рефлексии и сильных страстей все-таки кой-что имеют себе родственного в Печорине ли, в Арбенине, но более всего — лично в самом Лермонтове; но ничего, решительно ничего родственного они не имеют в «простых» героях «Капитанской дочки», как и в благоуханной, но также простой, нисколько не «стихийной» душе Пушкина. Власть эти стихии «заклинать» именно и была у Лермонтова: 10

Когда волнуется желтеющая нива,
И свежий лес шумит при звуке ветерка...
Когда росой обрызганный душистой,
Мне ландыш серебристый...
Приветливо кивает головой...
Тогда смиряется души моей тревога, 20
Тогда расходятся морщины на челе
И в небесах я вижу Бога.

Он знал тайну выхода из природы — в Бога, из «стихий» к небу; т. е. этот «27-летний» юноша имел ключ той «гармонии», о которой вечно и смутно говорил Достоевский, обещая еще в эпилоге «Преступления и наказания» указать ее, но так никогда и не указав, не разъяснив, явно — не найдя для нее слов и образов. Ибо «когда волнуется желтеющая нива» есть собственно заключительный аккорд к страшному, истинно «стихийному», предсмертному сну Свидригайлова, когда ему мерещились: «цветы, цветы, везде стояли цветы... гроб, 14-летняя девочка-самоубийца», но около гроба «ни зажженных свечей, ни образа не было». 30
Наше сопоставление не представится странным, если мы возьмем из Лермонтова еще промежуточную, связывающую картинку.

...шторы

Опущены: с трудом лишь может глаз
Следить ковра восточные узоры;
Приятный трепет вдруг объемлет вас,
И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам дышит воздух сонный.
Вот ручка, вот плечо, и возле них,
На кисее подушек кружевных, 40
Рисуется молодой, но строгий профиль...
И на него взирает Мефистофель.

В сущности — это и есть сюжет сна Свидригайлова; в то же время вечный сюжет Лермонтова:

Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана.

Или:

Слушай, дядя — дар бесценный!
Что другие все дары

.....
Труп казачки молодой

.....
И старик во блеске власти
Встал могучий, как гроза.

(«Дары Тереха»)

Сочетание, как мы выразились, космического октября и апреля с заключительным —

Мучительный, ужасный крик

(«Демон»)

— что в полную картину, в широкий образ раздвинул Достоевский; и кто присматривался к его собственному творчеству, мог в нем заметить, что тема сочетания октября с апрелем есть и его постоянная тема (Свидригайлов — в «Преступлении и наказании», Ник. Ставрогин — в «Бесах», мимолетные сценки в «Униженных и оскорбленных», идея «карамазовщины»), но уже без выхода:

...смирятся души моей тревога...
...я вижу Бога.

Волнение: «я плачу и люблю», «я — зажег лампаду», при воспоминании среди «зимы» об «изумительно-зеленом листке», полнее объясняется из этих сопоставлений и картин.

Вернемся к Пушкину: он, конечно, богаче, роскошнее, многодумнее и разнообразнее Лермонтова, точнее, — лермонтовских «27 лет»; он в общем и милее нам, но не откажемся же признаться; он нам милее по свойству нашей лени, апатии, недвижимости; все мы любим осень, «камелек», теплую фуфайку и валеные сапоги. Пушкин был «эхо»; он дал нам «отзвуки» всемирной красоты в их замирающих аккордах, и от него их без труда получая, мы образовываемся*, мы благодарим его:

* Замечательно определение Пушкина Островским, при открытии в Москве памятника: «Через него всякий становится умнее, кто способен поумнеть».

Ревет ли зверь...
 Поет ли дева...
 На всякий звук
 Свой отклик
 Родишь ты вдруг...

Как это понятие «музы», определение поэзии глубоко противоположно музе Гоголя; до чего противоположно — Толстому; то же — Достоевскому, у коих всех —

одной лишь думы власть,
 Одна, но пламенная страсть.

10

(«Мицери»)

И это есть характерно не пушкинский, но характерно лермонтовский стих. Мы видим, что родство здесь открывается уже более, чем в отдельных настроениях: но, так сказать, в самом характере зарождения души, которая лишь одна и варьируется у трех главных наших писателей, но начиная четвертым — Лермонтовым. Это все суть типично-«стихийные» души, души «пробуждающейся» весны, мутной, местами грязной, но везде могущественной. Тургенев, Гончаров, Островский и как последняя ниспавшая капля «тургеневского» в литературе — г. П. Боборыкин — вот раздробившееся и окончательно замершее «эхо» Пушкина. Россия вся пошла в «весну», в сосредоточенность:

20

...одной лишь думы власть,
 Одну, но пламенную страсть, —

и вот почему, казалось бы, «ужасно консервативный» Достоевский, довольно «консервативный» Толстой, как ранее тоже консервативный Гоголь, стали «хорегами» и «мистагогами» нашего общества. «Эхо» замерло, «весна» выросла в «лето», довольно знойное: но она стала расти сюда именно от Лермонтова. Он умер в годы, когда Гоголь написал только «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород», Достоевский — «Бедных людей» и «Неточку Незванову», Толстой — «Детство и отрочество» и кой-что о Севастополе и Кавказе: т. е. «вечно печальною дуэлью» от нас унесена собственно вся литературная деятельность Лермонтова, кроме первых и еще неверных шагов. Пушкин, в своей деятельности, — *весь* очерчен; он мог сотворить лучшие создания, чем какие дал, но в том же духе; вероятно, что-нибудь из тем

30

Отцы пустынники и жены непорочны —

возведенное в перл обширных и сложных, стихотворных или прозаических эпопей. Но он — угадываем в будущем; напротив, Лермонтов — даже неугадываем, как по «Бедным людям» нельзя было бы открыть творца «Карамазовых» и «Преступления и наказания», в «Детстве и отрочестве» — творца «Анны Карениной» и «Смерти Ивана Ильича», в «Миргороде» — автора «Мертвых душ». Но вот, даже и не раскрывшись, даже непредугадываемый — общим инстинктом читате-

40

лей Лермонтов поставлен сейчас за Пушкиным и почти впереди Гоголя. Дело в том, что по мощи гения он несравненно превосходит Пушкина, не говоря о последующих; он весь рассыпается в скульптуры; скульптурность, изобразительность его созданий не имеет равного себе, и, может быть, не в одной нашей литературе:

Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б
Сердце твое, равнодушное к прелестям мира: как часто
Дряхлые старцы, любуясь на белые плечи, волнистые кудри,
На темные очи ее — молодели; юноши страстным
Взором ее провожали, когда, напевая простую
Песню, амфору держа над головой, осторожно тропинкой
К Тибру спускалась она за водою иль в пляске,
Перед домашним порогом, подруг побеждала искусством,
Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая.

10

Это что-то фидиасовское в словах, по полноте очерка, по обилию движения; и, между тем, это только недоконченный отрывок, даже без заглавия, 1841 года. Около него как бледна «Аннунциата» (из «Рима») Гоголя! Подобным же образом «резал на стали» только Гоголь и только в самых зрелых, уже поздних своих созданиях; но он «резал», принижая, спуская действительность в «грязнотцу».

20 Параллелизм (и, следовательно, родственность) между Гоголем и Лермонтовым удивителен: это — зенит и надир, высшая и низшая точки «круга небесного». Среди решительно всех созданий Лермонтова нет ни одного «с пятнышком»; у Гоголя почти вся словесность есть сплошной «лишай», «кора проказы», покрывающая человека. Именно — надир, но до глубины и окончательно вырисовавшийся, когда «зенитная» точка едва была намечена. Далее, в созданиях Лермонтова есть какая-то прототипичность (опять параллель Гоголю): он воссоздавал какие-то вечные типы отношений, универсальные образы; печать случайного и минутного в высшей степени исключена из его поэзии. «Три пальмы» его, его «Спор» — запомнены и незабвенны, как решительно ни одно из стихотворений Пушкина;
30 они незабываемы, как незабываемы, только обратные по рисунку, фигуры «Мертвых душ», «Ревизора». Вечные типы человека, природы, отношений, положений, но — в противоположность Гоголю — «зенитные», над нами поставленные:

Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит.

Таких многозначительно-простых и вечно понятных строк, выражающих вечно повторяющееся в человеке настроение, не написал Пушкин.

40

Дальше: вечно чуждый тени,
Моет желтый Нил
Раскаленные ступени
Царственных могил.

В четырех строчках это не образ, но скорее — идея страны. Названы точки, становясь на которые созерцаешь целое. И какая воздушность видения:

И снился мне сияющий огнями
 Вечерний пир в родимой стороне:
 Меж юных жен, увенчанных цветами

 И снилась ей долина Дагестана...

Это какая-то послесмертная телепатия; связь снов, когда люди не видят друг друга и когда один даже уснул «вечным сном». Удивительная красота очерка, и совершенная оригинальность, новизна в замысле. 10

Пушкин не знал этой тайны существенно новых слов, новых движений сердца и отсюда «новых ритмов». Мы упомянули о смерти. Вот еще точка расхождения с Пушкиным (и родственности — Толстому, Достоевскому, Гоголю). Идея «смерти» как «небытия» вовсе у него отсутствует. Слова Гамлета:

Умереть — уснуть...

в нем были живым, веруемым ощущением. Смерть только открывает для него «новый мир», с ласками и очарованиями почти здешнего:

Я б хотел забыться и заснуть...
 Но не тем холодным сном могилы...
 Я б желал навеки так заснуть,
 Чтоб в груди дрожали жизни силы,
 Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь;
 Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
 Про любовь мне сладкий голос пел,
 Надо мной чтоб, вечно зеленея,
 Темный дуб склонялся и шумел.

20

У Пушкина есть аналогичная тема, но какая разница:

И пусть у гробового входа
 Младая будет жизнь играть,
 И равнодушная природа
 Красою вечною сиять.

30

Природа у него существенно минеральна; у Лермонтова она существенно жизненна. У Пушкина «около могилы» играет иная, чужая жизнь; сам он не живет более, слившись как атом, как «персть» с «равнодушной природой»; и «равнодушие» самой природы вытекает из того именно, что в ней эта «персть», эта «красная глина», преобладает над «дыханием Божиим». Осеннее чувство — ощущение и концепция осени, почти зимы; у Лермонтова — концепция и живое ощущение весны, «дрожание сил», взламывающих вешний лед, бегущих веселыми, шумными ручейками. Тут мы опять входим в идеи «гармонии», «я вижу Бога»,

«я — зажег лампаду», — которые присущи всем и роднят всех этих «мистагогов» русской литературы. «Вечная жизнь» их, «веруемая» жизнь, и есть жизнь «изумрудно-зеленого листа», «клейких весенних листочков», как записал Достоевский в «Карамазовых»: они уловили «миры иные» и «Бога» в самом этом пульсе жизненного биения, выказывающем в лоне природы новые и новые «листки». Отсюда их пантеизм, живой и жизненный, немного животный (у Толстого, Достоевского — у одного в «карамазовщине»; у другого — в «загорелых солдатских спинах», «толстой шее, на которую с чувством собственности смотрела Китти»), в противоположность скептическому стиху Пушкина:

10

Устами праздными вращаем имя Бога

— замирающее «эхо» которого сказалось в известном безверии Тургенева, в легкомыслии г. Боборыкина. Лермонтов недаром кончил «Пророком», и притом оригинально нового построения, без «заимствования сюжета». Струя «весеннего» пророчества уже потекла у нас в литературе, и это — очень далеких устремлений струя.

Но его собственные пророческие, истинно пророческие видения были прерваны фатально-неумелым выстрелом Мартынова. Как часто, внимательно расчленив по годам им написанное, мы с болью видели, что, отняв только написанное за шесть месяцев рокового 1841 года, мы уже не имели бы Лермонтова в том объеме и значительности, как имеем его теперь. До того быстро, бурно, именно «вешним способом» шло, подымаясь и подымаясь, его творчество. В этом последнем году им написано: «Есть речи — значенье», «Люблю отчизну я, но странною любовью», «Последнее новоселье», «Из-под таинственной, холодной полумаски», «Это случилось в последние годы», «Не смейся над моей пророческой тоскою», «Сказка для детей», «Спор», «В полдневный жар», «Ночевала тучка», «Дубовый листок», «Выхожу один я», «Морская царевна», «Пророк». Если бы еще полгода, полтора года; если бы хоть небольшой еще пук таких стихов... «Вечно печальная» дуэль!

1898 г.

50 ЛЕТ ВЛИЯНИЯ

(Юбилей В. Г. Белинского — 26 мая 1898 г.)

26 мая 1848 года «вешние воды» Петербурга прорвали и унесли последние частицы сил, которыми цеплялся за землю Белинский. Ни к кому так не идут, как к нему, последние страницы «Рудина»:

«...И масла в лампаде нет, и сама лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль. Смерть, брат, должна примирить...

— Ты, я уверен, однако, сегодня же, сейчас же готов опять приняться за новую работу.

— Нет, я устал теперь. С меня довольно.

10

Они обнялись в последний раз. Рудин вышел, а Лежнев сел к столу писать к жене письмо. Между тем на дворе поднялся ветер и завыл зловещим завыванием, тяжело и злобно ударяясь в звенящие стекла. Наступила долгая осенняя ночь. Хорошо тому, кто в такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок. И да поможет Господь всем бесприютным скитальцам».

Белинский есть основатель практического идеализма в нашем обществе. Были люди столь же чистые, как он, душою, но прошедшие незаметно, в тиши, трудившиеся около маленького дела, в стороне от больших дорог истории; другие были люди несравненно обширнейшего, чем у него, образования (славянофилы, Тютчев) или глубокомыслия (Достоевский, Толстой); есть фигуры, необыкновенно красиво сложившиеся (Карамзин, Тургенев) и, так сказать, стоящие неувядаемым перистилем в портиках истории. Но чье еще имя назовем, кто пробежал бы по этому портику таким живым дыханием, неугомным ветерком; чей звучный голос так долго, заметно и иногда властительно звучал под его сводами и волновал чистейшим волнением чистейшие сердца? «Удивляюсь я: в какой бы глухой городок я ни заезжал, везде я находил, что среди играющих в карты клубских завсегдатаев, сплетен, всяческого сора есть группа не принимающих никакого в этом участия светлых голов: они все — восторженные почитатели Белинского». Эта запись Ив. Аксакова, ездившего в пятидесятых годах изучать малороссийские ярмарки и отметившего влияние скорее неприязненного ему писателя, могла бы стать лучшей надписью на могиле Белинского.

20

30

Основатель практического, жизненного, житейского идеализма. Удивительно, как все соединилось в Белинском для полноты этой миссии. Он вышел в жизнь

с тощеньким «чемоданчиком», да и тот где-то на перепутьях «отрезали». Он был один, совершенно один: только светлая голова, только руки; кровь — если позволительная гипербола — температуры 100°, и пульс 200 ударов в минуту. Характерно, и очень важно, и почти нужно было в провиденциальных целях, что ему не дали доучиться в университете и он «выбыл» чуть ли не «по неспособности». Совершенно один, и никакой материальной, вещественной, формальной поддержки, хотя бы даже в виде пустынного диплома. Только человек, только его душа; «веяние» «ветра Божия...». Очень неприятно было читать его переписку с невестой, года два назад напечатанную, где он требовал от нее, чтобы она приехала к нему в Петербург: «Обвенчаемся тихо и пешком пойдем домой». Неприятная черта здесь была в каком-то непонимании его, что у девушки или у ее родных есть свои привычки, предрассудки, требования, которые любящий человек мог и, конечно, должен был уважить. Да, «должен» — здесь, на земле, в формальных границах, в которых все мы живем. Но тайна Белинского и сущность его души, его миссии и была совершенная несвязность ни с какими формами быта, практики: в чистейшем веянии, и не «по» земле, а «над» землею. И это отношение к невесте, так мучительно не хотевшей огорчить своих родных, поражает нас в Белинском жестокостью и грубостью только при первом чтении писем; позднее, взвешивая их и относя к цельности его исторической фигуры, невольно говоришь: «так все и должно было случиться, как случилось»; «конечно, Белинский не мог и даже не должен был сидеть на свадебном ужине». Никакого «быта», никаких «нравов».

С отрезанным «чемоданчиком», он жил где-то еще «на антресолях». Когда разыгралась история с чаадаевским письмом, в напечатании которого Белинский принимал самое деятельное участие, — упоминается, что он «в это время жил у Надеждина, в мезонине».

О чем, бишь, «Нечто»?.. Обо всем...

— эта характеристика литературного «*emploi*»*, которую делает Репетилов, в своей неопределенной зыбкости и, так сказать, неуловимости, очень точно выражает, если ее переложить на материальные знаки, неуловимость и зыбкость внешнего положения Белинского. Нет в нашей литературе еще человека, который, лежа на гребне исторической волны, и так долго, так видно лежа, — годы, десятки лет взмахивал бы только своими тощими руками, без малейшего «своего» под ним суденышка. Не только он был один, но он всегда был бесприютен; он уже вел за собою огромную толпу — ибо Грановский, Герцен, В. Боткин, собственно, все лишь дополняют и разнообразно продолжают образ Белинского, без специфического и нового, оригинального в себе значения; но, как видно по письмам его о Краевском и Некрасове, внешним образом он все еще оставался среди них каким-то неустроенным *studiosus*'ом** — с влиянием, простирающимся на всю Россию, и без уверенности, не ожидает ли его дочерей безысходная нужда. (См. его письма, исполненные страха за семью, перед смертью). Все это сплело ему терновый венец — при жизни; но на расстоянии времени все это

* «профессия» (*фр.*).

** Учащийся, студент (*лат.*).

как-то увеличивает блеск его имени и опять нужно было для полноты его исторической миссии. «Дух веет идеже хочет». Нужно было, чтобы «горение» Белинского до конца осталось только «из себя» горением, чисто «человеческим», «духовным», почти без примеси извне подбрасываемых «дров».

Что же сделал этот одинокий и неприютный человек, не имевший «места» в обществе, «нуль» в государстве, «пасынок» университета, «пловец в море житейском»? Все идеальное, что есть в этом обществе, есть в университете, частью даже в государстве, — он безмерно возлюбил. «Шелуха» практического бытия своего народа, «отброс» его текущих дней — он возвеличил, поднял, призвал всех вкушать от всего, что есть «съедобного» в зерне, его так мало заметившем и приютившем. Деятельность Белинского не исчерпывается одной литературой в ограниченных и сухих ее рамках: в 12 томах солдатенковского издания его «Сочинений» есть, собственно, полный очерк нужного и ценного в жизни, «искры», «огоньки», брошенные во все углы человеческого обихода. Он именно все «светлое» возлюбил и ко всему ему, в полном очерке, возбудил надолго светлые и именно практические усилия. Нельзя не отметить именно «практического» его влияния. «Смакователи» эстетики в 40-х годах и позднее вовсе не имеют своим родоначальником Белинского, в фазе его поклонения Гегелю и Гёте; они все относятся генетически к более пассивным натурам его времени — В. Боткину, Грановскому, Кудрявцеву, — к тем, которые «говорили», и не к нему, который «кричал на крыше»*. От него пошло именно идеальное в практике, как и он сам был человек, который сейчас же бы променял слово на всякое открывшееся возможное дело; от него пошли те незаметные «чиновнички», «учителя», «семинаристы» по глухим провинциям, о которых упомянул в письме своем Аксаков. Он, если позволительно так выразиться, зажег идеализм в «рабских» слоях нашего общества и надолго сделал невозможным обратное впадение этих слоев в «вино» и всяческую житейскую «грубость». Зажег свет в глыбе земли, и никогда или долго эта глыба не делается у нас опять бесформенною, бессмысленною «землею». Т. е. он и его сочинения внесли ласку в отношения учителя к ученикам; добросовестное делание своего дела судьейским секретарем; из семинариста сделали приветливого и вдумчивого в свою паству священника; везде они разошлись по России лаской, мягкостью, честностью; немножко — мечтою, но на той прекрасной ее границе, где она нисколько не мешает делу и только согревает его, облегчает его, улучшает его. Вот что как огромный и прочный факт дал России Белинский.

Это есть главное, и около него все остальное, т. е. частное, предметное содержание его критических работ, уже образует второстепенность.

В последние десятилетия прошла в нашей литературе тенденция поставить впереди его других критиков и также — осудить его за последний период его дея-

* Нельзя не обратить внимания на то, что, уже став «литературным авторитетом», Белинский не выпустил из-под пера своего ни одной «отчеканенной» строчки; т. е. что цели литературной «чеканки» и, следовательно, какого бы то ни было литературного *emplois*, «положения», и даже литературно-исторической «по себе» памяти, — не входили никакою долею в круг его забот и внимания. Из его частных писем, — за опубликование которых общество особенно должно быть благодарно г. Пышину, — многие выше по форме его статей, и, во всяком случае, они все сливаются с «Полным собранием его сочинений» без границы, между ними проходящей.

тельности, когда он «изменил прекрасному». Ну, эта «измена»-то и текла из «прекрасного вообще» в его душе, что отогнало в сторону «прекрасное» в узком и стесненно-ограниченном «слове». Прекрасно «думать прекрасное» и еще прекраснее его «совершать»: против этого какой же «книжник» что-нибудь скажет. Но обратимся к его предполагаемым заместителям. Справедливо, что Добролюбов был утонченнее (нервознее) и потому сильнее Белинского; женственнее * — и потому страстнее, владычественнее его; но его деятельность, превосходная по растрчиваемым силам, была уже и одностороннее деятельности Белинского, — пусть в избранном русле и глубже; и она была гораздо более груба и материальна по целям, движению, объектам усилий. Тот дух еще мягкого, человеческого, рочующего протеста, которым под самый конец не столько заострилась, сколько стала тревожиться деятельность Белинского, — этому духу, окунув его в холодную воду своего стиля, Добролюбов сообщил закал стали. Слово вдруг стало резаться, когда с ним прежде играли, и очень многие хотели бы вечно играть. Далее, Ап. Григорьев был, конечно, осторожнее и дальновиднее Белинского в суждениях; также его преемник в критике — Н. Н. Страхов. Но ведь тут много значит эпоха, накопившийся опыт фактов и психического развития. Когда появлялись «Рудин», «Отцы и дети», «Театр» Островского, «Война и мир», «Преступление и наказание» — то с этими произведениями вся Россия зрела, и также созревали критики; в кудрявую юную шевелюру общества падал первый седой волос. Белинский только не понимал (напр., «народного» и «простонародного») того, чего вовсе не было в его время; а Ап. Григорьев или Страхов поняли и охватили то, чего было с избытком в их время. Следует добавить к этому, что славные и ставшие знаменитыми воззрения этих критиков — напр., на «смирный» и «хищный» тип человека — лишь немного времени спустя после их смерти кажутся ужасно преждевременными: «Л. Толстой в „Войне и мире“, этой прекрасной хронике русского семейства, продолжил далее типы „Капитанской дочки“; он указал на простое и доброе и уничижил хищное» (слова и вообще точка зрения Страхова). Но ведь он «простым и добрым» разворачивает всю нашу цивилизацию, «закусив удила»: и когда же приходило в голову Пушкину сделать такое употребление из мирных обитателей Белогорской крепости? Нет, тут не то, и даже вовсе не то, что предполагали и предвидели оба эти критика. Т. е. вовсе не тот смысл имеет русская литература: не вечного пейзажа, «смирномудрого» «перебеления бумаг» и почтительного «отдыха на могиле своих предков». Но мы отвлеклись...

Белинский все любил издала, и потому все, облитое им любовью, облитое особенно страстно. Гончаров в обширной статье, посвященной его памяти, прекрасно и точно указывает, что он был очень образован, имея необходимость прочесть такое множество и столь разнообразных книг; но, при его глубокой деликатности, «неоконченный курс» сказался вечным предположением о каких-то таин-

⁴⁰ * Черта, на которой мы упорно настаиваем. Есть ряд писателей — напр., у нас Карамзин, Лермонтов, во Франции Руссо — с ярко выраженным женственным сложением в душе; такие писатели все оставили глубокий след после себя, что-то заражающее; и в их лице какие-то как будто «кормилицы» прошли в истории, с напоющим «молоком». Еще примеры: Ломоносов, Пушкин — типично мужские души, удивительно слабой заразительности; из двух наших народных поэтов — Кольцов явно мужской консистенции, Никитин — женственной. Стихотворение «Вырыта заступом яма глубокая» — типичный женский «надмогильный плач».

ственных глубинах науки и философии, коими обладают его друзья, «окончившие» — Герцен, Бакунин, Кудрявцев, Тургенев. Он вечно расспрашивает и вечно учится. Характер вечной попытки научиться, «просветиться», носят и его статьи, и именно этим «учащимся» своим тоном, тоном безмерно пытливого и недоверчивого к себе ученика, — они и производят такое заражающее действие; от этого течет их воспитательное значение. Далее, в обществе и государстве он был «отброс», «studiosus»: само собою разумеется, что он не мог проникнуться тем специфическим неуважением к «людям нашего круга», которым пылает Л. Толстой; ни тем специфическим неуважением к «племянникам министра», переписку коих живописует всю жизнь вращавшийся среди министров кн. Мещерский. В прекрасные — истинно прекрасные — «антресоли» ничего отсюда, из этой «кухни» государственно-социального строительства, не доносилось; и «смотря на небо», обоняя «свежий воздух» 5-го этажа, Белинский сохранил почти до самого конца беспримесно-книжный теоретический идеализм. Отсюда некоторые трогательнейшие его письма, напр., к одному другу-юноше на Кавказ, с длинными и сложными увещаниями никогда не роптать на начальников и вообще принимать же в расчет, что при огромной исторической работе «иногда» государство и не может не ошибаться или даже и не «подавить» человека. Отсюда его «Бородинская годовщина», так возмутившая особенностями своего тона его друзей, «служивших».

От этого та доля отрицательности, какая есть у Белинского, не сложилась ни в какие узкие и определенные отрицания; разделение между «светом» и «тьмою», какое есть у него и должно быть у всякого писателя, легло чрезвычайно правильно чертою между «просвещением» и «грубостью». Он от «Литературных мечтаний» и до последних годовых обзоров текущей литературы остался неумолчным борцом за свет вообще «идеи» против грубости косной «глины», «красной земли», где еще не веет «дух Божий». Его миссия и значение совокупности его трудов есть «обще»-просветительное и высоко-«просветительное», без частных устремлений или с устремлениями менявшимися и, следовательно, в изменчивости своей, сохранявшими лишь общий характер порыва к свету. Он не уважал «Горе от ума» за его публицистический характер, и он преклонился перед Гоголем за то, что тот «обличил Россию»; он написал «Бородинскую годовщину», и он же написал известное «Письмо к Гоголю» по поводу «Выбранных мест из переписки с друзьями», которое можно назвать порнографией России; он преклонился перед «равнодушием к действительности» Гёте и прославил Пьера Леру за страстную (в идеях и требованиях) переработку действительности. Очевидно, эти противоположности срывают значение друг у друга; не в них — важное у Белинского; важно и вечно, что в каждую минуту бытия своего он горел к лучшему и что лучшее это было для него «умственный», «духовный», «образовательный» свет против косного лежания, против великой оцепенелости его родины.

Тут мы опять вспоминаем, в сущности, очень важный эпизод его с невестою. Граница, за которую не простирается значение Белинского, лежит в книге. Весь «умственный», «духовный», «образованный» свет, за который он боролся, — шел из книги, без всякой примеси к нему «самосветящихся земляных частиц». Их впервые подняли позднейшие и гораздо более могущественные, чем он и все его окружение, писатели — Л. Толстой особенно рельефно и понятно и еще утон-

ченнее и глубже — Достоевский («святая» карамазовщина); менее понятно и доказуемо Гоголь, Лермонтов. Из какой «книги» идет свет Платона Каратаева (в «Войне и мире»), Сони Мармеладовой — в «Преступлении и наказании»; это вещее восклицание Гоголя: «Скорбью ангела некогда загорится русская литература» — и почти непонятные его словечки, но, собственно, вдруг становящиеся понятными при взгляде на Достоевского, Толстого: «У — Русь! Чего ты хочешь от меня? Какая непостижимая между нами таится связь?.. Что глядишь ты так, и все, что ни есть в тебе — обратило на меня полные ожидания очи?.. И, еще полный недоумения, неподвижно стою я, а уже главу осенило грозное облако, тяжелое грядущими дождями... Какая сверкающая, чудная, незнакомая даль... Русь!» Какое, казалось бы, дикое восклицание: что общего с Чичиковым? Но как оно понятно около смерти «Смерти Ивана Ильича» и множества-множества строк, даже страниц у Достоевского:

«Постигнуть я притом не могу, Алеша, как иной высший даже сердцем человек, и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с таким павшим идеалом в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Чорт знает что такое, даже, вот что... Ужасно, что это одновременное совмещение не только страшная, но и таинственная вещь; тут — дьявол с Богом борется, а поле борьбы — сердца людей. Широкий человек, слишком широкий, я бы сузил». Почти можно продолжать Гоголем: «Что пророчит сей необъятный простор; и грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силою отразясь в глубине моей; неестественною властью осветились очи... у, Русь». Тоны странно сливаются, и в строки одного писателя можно вплетать строки другого, не разрушив единства лица писавшего.

Эти писатели, как мы выразились, — «светоносно-земляные», начали, собственно, совершенно новую эру в нашем развитии, и деятельность Белинского, весь «книжный» ум его и его окружения (люди «40-х годов» и теоретики 60-х) просто перестали «быть» для всякого, кто умеет вчитаться и вдуматься в этот существенно новый и гораздо более могущественный свет. Но ведь и вообще эти писатели уже выводят нас за рубрику всего «Петровского цикла», «Петербургского теоретического существования» и ведут в очень неясные, но существенно новые «миры».

Умственное наследие Белинского уже подернулось археологической ветхостью; как несколько принужденно мы читаем теперь и его современников — В. Боткина, Герцена, Грановского. Все это

...пленной мысли раздраженье

не волнует нас и сохраняет лишь исторический интерес. Белинский, дав небо-
зримое множество литературных разборов, сохраняет более классное значение,
т. е. для класса, для «учащегося» вообще, и в жизни каждого из нас он захваты-
вает влиянием отрочество, юность и вообще годы нашего ученического «стран-
ствования». Соответственно этому и в обществе ему принадлежат, т. е. ему еще
подчиняются, умственно-средние и низшие слои. Но от этой стареющей и почти
старой ноши, которую он несет с собою, должен быть строго отделяем сам несущий.
Белинский есть не только «писатель»: он есть «лицо», и как «лицо» он так

же светит сейчас, как и в вешнюю пору сороковых годов. Ничего не умерло в чертах его нравственного образа, и в них он несет столько значения, что стал вечно нужным существом, «двенадцатым» гостем среди всяких «пирующих» или «трудящихся и обремененных». Всякое дурное дело имеет, сверх упрека от живых-честных, еще и упрек от мертвого, Белинского; и всякое доброе дело, сверх похвалы от живых добрых людей, имеет похвалу и от него. Он — соучастник нашей жизни как нравственное лицо; он вечно жив между нами и даже более: в нем все те же «100° температуры», «200 ударов пульса в минуту», — и он нас спрашивает: «Живы ли вы?».

* * *

10

Была, кажется, попытка поставить ему памятник; мы не «за» «медную хвалу», слишком холодную. Кстати — русские типично не скульпторы, и у нас вовсе нет живых, жизненных, «говорящих» памятников, т. е., можно думать, этот способ посмертного воздаяния не «рвется» из русской души, не выражает ее любящих припоминаний. Кажется, характер русского «подвига» не вяжется, не связывается в один узел с «бронзой» «стоящей», — и некоторым у нас драгоценнейшим людям, напр. Киреевскому, да и тому же именно Белинскому, просто нельзя, не приходит на ум «воздвигнуть» памятник, соорудить «мавзолей»... Иная гамма у нас «чтимого», «припоминаемого» подвига. Теперь «памятник» есть или, точнее, стал у нас символом признания за человеком «всероссийского» значения: что «отечество» вот признает и «увековечивает»... Время его постановки обыкновенно совпадает с совершенным выходом человека, напр., писателя, из «живой» памяти, из волнений сердца; и, собственно, это есть символ того, что, при умолкнувших страстях, «уста» уже «шепчут имя», не различая его точного значения и содержания; и слишком понятно в этом случае, что его начинают тогда шептать «уста всей России». Поэтому «преткновенение», которое встретила мысль постановки Белинскому памятника, есть символ, что около него еще бьются сердца, волнуются страсти; что он более жив, чем мы определили выше. Тут, без сомнения, аберрация, и как положительные, так и отрицательные движения около «проекта памятника» идут, можно предполагать, в «училищных» слоях нашего населения. 20

За XIX век фигура Белинского, в своем смирении, бесформенности, одухотворении, есть, конечно, одна из самых видных; и с его 50-летним живым влиянием не может быть поставлено в ряд влияние, напр., Карамзина, который, как только умер, сейчас же стал «монументом», нечитаемым. Но, повторяем, мы не за «медную хвалу» — и также не за переименование улиц, что стало входить у нас в употребление, — в «Пушкинскую», «Глинкинскую» и проч. «Улица» имеет свой быт, нравы, мудрость и поэзию: это народное достояние, с тем «крестным именем», в какое окрестил ее безыменный «поп»-народ. «Память» каждого человека нужно индивидуализировать, т. е. особенно, заново, по-новому чтить каждого входящего «углом» в храмину духовной или вообще житейской истории. Белинский так нуждался при жизни; умирая — так страшился за будущность детей; всю жизнь он работал на просвещение — «нес крест просвещения» в духовно-косной стране; просвещение тех времен, признав его «неспособным к продолжению кур- 40

са учения», — сделало такой промах непонимания против «вверенного его заботам» ученика. Вот черты, которые уже слагают особенности его «памятника». Почему бы не сделать из потомства Белинского некоторых постоянных пенсионеров так обязанного ему образования; т. е. что каждый мальчик и девочка, указующие его имя в составе своих предков, имеют от элементарного и до высшего раскрытыми перед собою (бесплатно) двери всех учебных заведений; а при возможной нужде — имеют и готовый в них «кошт». Это так просто и так отвечало бы особенностям его заслуг.

1898 г.

С ЮГА

1. Около болящих

Пятигорск. Эссентуки. Железноводск, с их щелочными и серными ваннами, с зрелищем искалеченных людей, перевязанных ран, приводят невольно на память слова Апокалипсиса: «и вот будет некогда — падет звезда на источники вод: и станут они горьки».

«— Равви, если ты Сын Божий, скажи: кто согрешил, этот слепой или его родители?

— Не он и не родители его, но — чтобы прославился Сын Человеческий.

— И сделав брение на ладони, помазал глаза болящему. И слепой прозрел». 10

Без веры — нельзя жить; без веры в чудо не прожил бы человек; без Бога — он не прожил бы. Разве эта группа вод не есть чудо природы? «Согрешил я» — и, припадая к матери-земле, к этим серным ключам, бегущим из Горячей горы (в Пятигорске), — исцеляюсь. Какая связь, какое соотношение? Что за дело сере до характерной болезни, которую она исцеляет, что за дело этой характерной болезни — до серы? Но оне сцепляются в узел какого-то соотношения. Чудо, Бог, вера — все тут.

И все-таки для верующего сколько сомнений в Промысле!

«Не он и не его родители согрешили, но — чтобы прославился Сын Человеческий». 20

Так; хотелось бы уповать; хотелось бы веровать. Но вот передо мною конкретнейший факт, где и «не он, и не родители не согрешили», а настанет ли «прославление»?..

Есть у Кольцова стих:

О, Боже, — могила и вере страшна.

Странно, я стал впадать в какие-то не колебания, не сомнения, но недоумения религиозные. Есть такие конкретности бытия, перед коими как-то бессилён весь богословский номинализм. Я сказал не так: есть конкретности, около которых сердце обливается кровью, а все утешения становятся, как говорит Гамлет, «слова, слова, слова»... Что Бог есть — об этом-то я знаю, об этом говорят серные ванны; говорят о каком-то мистическом узле в мире, где все связуемо и который 30

«всяческая и во всем». Что есть, наконец, религия — об этом опять говорят вздох сердца, вздымания грудной клетки в ночной тиши. Но далее, но подробнее?

...Боже, — могила и вере страшна.

Странно, я полюбил здесь докторов — этих материалистов, этих скептиков. Правда, именно здесь я встретил в них много человечности. «Пусть эта благодать — не из алтаря, а все же благодать», — подумал я здесь не однажды. В докторам мне нравилась всегда ясность их профессии; учитель, писатель, оратор, трибун — если он тонок и умен — сколько имеет причин сомневаться, так сказать, в самых фундаментах своей деятельности. Но входит доктор в семью: сколько тревожных глаз устремлено на него, — и вдруг почти это «талифа куми» — «и девица вста». Нет, когда-нибудь медицина станет священной наукой. В 60-е годы она пережила грубейшие афоризмы: «Мысль течет из мозга, как урина из почек» (Фохт). Что же, один дурак осени не делает! От Гиппократы, от Галена до Пастёра, до Шарко — это тысячелетия внимания, тысячелетия забот, тысячелетия скорби около человека, за человека! Нет, когда-нибудь потомки Фохта потребуют себе мантии, и человечество даст им мантии!

Среди поразительнейших зрелищ бессилия медицины здесь я стал и захотел верить в безграничный ее прогресс. Сказать ли всю правду: я поверил в искания «философского камня» и «жизненного элексира». Ведь он так нужен, а что нужно — то будет. Притом эти серные ванны, эти таинственные Эссенуки... Почему дугу, хорду, «отрезок» не продолжить мысленно, т. е. почему оне в самом деле не продолжают, где-нибудь под землей и над землей, в полный круг? Если есть какое-нибудь лекарство, то существует всякое; если вообще есть, возможно и случается излечение, то, значит, есть всякое излечение. Я не могу себе представить, чтобы что-нибудь, начинаясь, не кончилось. Это был бы абсурд мира и разума. Начинается: кой-кто и кой от чего, под влиянием каких-нибудь лекарств — оправился; значит, должно кончиться, и некогда всех примет в себя святая Силомаская купель. «Талифа куми» — «девица вста».

Болезнь есть начало смерти — и смерть существует; но и исцеление есть начало жизни, и, значит, жизнь существует не как миг, не как 10%, но как 100%, как вечность. Всякая дуга имеет для себя полный круг — это-то и есть идея «жизненного элексира», философского камня. Хина, дерево Южной Америки, действует на лихорадку; маленькая трава *digitalis** волшебным образом влияет на сердце. Вот начало жизненного элексира и песчинка, отколовшаяся от «Философского камня». Непременно все ужасы человеческого страдания имеют для себя ненайденную травку, не открытый *digitalis*. Рак растет, и нет «травки», которая бы ему легла «поперек дорожки», но я не без причины заговорил о мантиях для докторов: если что-нибудь найдено, все будет найдено. Нет дуги — без круга...

Полнота уже теперь действующих медикаментов суть градусы круга, их всех — 360, найдено только 311, может быть, даже только 111. Один Пастёр как-то бездны нового знания и новых средств открыл. А солнце — утилизированы ли его силы? Посмотрите, как расцвечен хребет кошки, спинка мотылька, а нижняя их сторона сера, бесцветна, безвидна. Солнце — творит; оно имеет в себе ни-

* наперстянка (лат.).

когда не дававшийся медикам секрет жизненного синтеза, органического созидания. Известно, что медики и вообще «наука» многие органические вещества «разложила», но ни одного (кроме немногих и в сущности обманчивых исключений) не сумела и до сих пор не умеет «сложить». Солнце есть именно животнослагающая сила, и не неправдоподобно, что в нем есть огромный запас лечащих сил, но только «сундучок еще не открыт» — нет какой-то и, может быть, пустой догадки о том, как раскрыть и овладеть его сокровищами. Это что-нибудь степени света, комбинации лучей, что-нибудь за «ультрафиолетовыми лучами». Я только одно испытывал, и все это знают, что в комнате при температуре в 18 градусов является тошнота и головокружение, но солнечный жар даже до 22, даже до 27 градусов выносится легко. Природа теплоты солнечной, так сказать, — не термическая только, но жизненно-термическая. Ищите — в солнце...¹⁰

Но, Боже, — могила и вере страшна.

Я стал верить в солнце, любить людей, я поверил в нескончаемость науки. Но, странно, специфически религиозная вера во мне стала, остановилась в каком-то недоумении. Главное — очень трудно жить; очень трудные страдания; есть и «не согрешившие, и отец их не согрешил»...

Боже, — могила и вере страшна...

Вы видите человека «согрешившего» и который выходит из серных ванн, как бы из Силоамской купели; но вы видите другого человека, которого весь «грех»²⁰ заключался только в любви — вы видите «милостивого самарянина», который наклонился над «пораненным», «перевязал ему язвы» — и вот гниет в этих же язвах! За что, за чей же грех, «свой» или «родителей»? И кто же над ним «сделает брение»?

Пусть это единичный случай, т. е. редкие *, но они же есть, их не исключишь из природы, а не исключив — как начертаешь для себя ее образ, ее именно мистический лик? Великое бессилие ума, великое сиротство человечества...

У Иова было семь сыновей, но, когда умерли они, — он имел еще четырнадцать. Он утешен; но — сыновья? Вопрос остается без ответа. «Смерть, где твое жало?» — сказал пророк, повторил апостол. Но оно — во мне, «аз умираю». Религия учит меня мужественно умереть; тому же учили стоики и также говоря «о бессмертии души», «о погружении в Бога». Разве же религия сливается с стоицизмом? Без плюса, без живейшего и реальнейшего перед этой человеческой и бессильной философией?

И между тем — сердце вздымается в тиши ночи; есть молитва, и, значит, есть религия. Я не о ней говорю; я говорю о «словах, словах, словах», которые построены на тончайшем благородстве сердца человеческого, которое и скорбь —

* «Редкие» ли? Без исключения все дети, в беспорочный возраст 8—11 месяцев «проводятся через огонь» зубного страдания, не переносимого иногда даже до смерти («родимчик»). «Кто согрешил?» — Но «все» болят, и многим «нет исцеления», «не бысть славы»... Тут, т. е. если принять во внимание, что даже «волос не падает с головы без воли», — срезываются, в сущности, все катехизические вопросы и ответы.⁴⁰

не ропщет, и безнадежное — еще утешается; сирота — и сиротливо, переворачиваясь с одного болящего бока на другой болящий же, что-то шепчет и в тиши ночи обращает глаза к образу, к зажженной лампаде...

«— Вы ропщете?..»

— Нет, Бог не велел роптать...».

И приходит некоторый день, он умирает. Я вспоминаю мотив «Травиаты»: он всемирно известен. Можно ли представить себе, что творец этого мотива — бедный силами человек — обладай он уже найденным «философским камнем», не бросился бы к постели умирающей и в миг, когда возможна для нее жизнь, воссияла для нее правда, не продлил бы эту жизнь на год, на пять лет, на бесконечность.

Бедные мы люди, что мы понимаем в религии? Если человек так благ, что бросился бы, что продлил бы, что раздвинул бы в бесконечность восторг последнего утешения, то...

То «философский камень» не найден, и смерть «не» побеждена, как утверждают «слова, слова, слова». Она владычественна не только здесь и сейчас, но владычественна как какая-то правда, как какой-то абсолют же наравне с абсолютном жизни. Но тогда существенно неправильны наши унитарные религиозные представления: мир удваивается, поляризуется:

20

Се, жених грядет в полунощи...

Вытекают два лица: полунощное, полуденное; несущее смерть, несущее жизнь — не как силы только, но как две абсолютные правды. Значит, не только есть страдание и нас постигает смерть: есть, значит, правда смерти и страдания, т. е. красота умирания, красота болезни. Тургенев в «Живых мощах», пожалуй, уловил эту правду.

Младенца ль милого ласкаю,
Уже я думаю... —

надписал Пушкин в каком-то безмерном любовании; но другой поэт, правда меньших сил, опять с бесконечным любованием остановился на старости:

30

Лысый, с белой бородою,
Дедушка сидит.
Чашка с хлебом и водою
Перед ним стоит..
.....
Где ты черпал эту силу,
Бедный...

и т. д. Человек постигает красоту одного, красоту другого. Но потому это, что он сам есть синтез и одной красоты, и другой красоты: он *родился* — вот первая красота в нем; но он еще *умрет* — и это также есть в нем. Святое рождение, святое *успение*; и если они слиты в человеке, тем паче они могут быть слиты в Боге. Тогда полярность мира снова сливается в экваториальное единство, остается

40

одно Лицо Божие, без противо-«грядущего» Ему «полунощного жениха». Но то ли это Лицо, «победившее смерть», которое мы исповедуем? Нет и нет — смерть от Него же, и даже она есть Его дыхание, как есть Его же дыхание — жизнь и рождение. Правда, ведь и сказано в Апокалипсисе: «Аз есмь Альфа и Омега, первый и последний». Но тогда причём идея «смерти» как «наказания» «за грех»? Смерть есть дыхание живого синтетического лица — она есть правда, она есть святость, по крайней мере в том смысле, что божественна, как и жизнь; тогда и ее дробь — болезни — святы же. Но тогда мы получаем мистический узел вселенной в сплетении горгон и света; и тогда опять, значит, неверны, совершенно неверны все построения наших «слов, слов и слов». Мы исполняем религиозного страха; страх получает место в мире — как закон, и притом не греха вовсе, но и чистейшей святости. Трепет пронизывает человека — не потому, что «он погрешил или его родители», но потому, что самое Лицо, к которому он шепчет молитвы ночью, есть неисповедимое Лицо, равно исполненное ужасов и света, бурь и «тихого ветра». Но это — совсем не то, чему нас научили в школе...

Бедный я человек: и сирота в фактах, и убог мыслью.

Тут, пожалуй, есть и граница для «жизненного эликсира»; и медикам, вместо мантии, как бы не облечься в эпитрахили и камилавки; но опять — тут все ново, и существенно нова должна стать молитва: робка, исполнена ужаса, смятения и самых трепетных надежд.

«Первый и последний, Альфа и Омега». Правда, Христос и совместил Голгофу и Вифлеем. Он был «рожден» и потом еще «умер». Но это вовсе не по тем мотивам и не по тем основаниям, о коих учат «слова», но для раскрытия человеку одинаковой истины, небесности и Вифлеема, и Голгофы. Все-таки — бедный я человек. А я-то хотел и надеялся бессмертия! Тогда понятно, пожалуй, каким образом даже в музыке, например, смерть, как в арии Травиаты, исполнена, правда, надрывающих душу мотивов, исторгающих из глаз слезы и — однако именно прекрасных, именно возвышенных. Прекрасно жить, прекрасно умереть. Но тут... но, значит, стоики не были уже так только «философы» — у них была настоящая и истинная религия, зачаток какой-то религии; и, с другой стороны, страшная Бовани индусов, под колеса коей бросаются изуверы, — тоже несет какую-то правду, какое-то предчувствие правды. Тогда объясняются не только «Живые мощи» Тургенева, т. е. что пришла же фантазия человеку такое и так написать *, но и наши закопавшиеся в землю раскольники тоже получают какой-то смысл.

* Важен инстинкт написания, возведение страдания в культ, к святости («мощи»), к религии. Нельзя не обратить внимания, что все главные и множество мелких сочинений Тургенева — вся амплитуда его писательской деятельности носит отдаленно как бы предчувствие, как бы страх тяжкой, продолжительной и мучительной его кончины. Земная любовь — вечно расстраивается; из земных дел ничего не выходит («Дым», «Новь»); самый опозитизированный тип — Лиза Калитина, с бессмертным ее выражением о жизни как предуготовлении в смерть. По этому мало замеченному в нем характеру он есть типично христианский и именно русско-христианский писатель. Все типично «рождающие» произведения Достоевского, «во славу рождения» («карамазовщина»), носят совсем обратное направление и составляют как бы предчувствие его замечательно светлой, бесстрадальной, краткотечной смерти. Умер — как отрезал.

2. В Кисловодском парке

Русскому публицисту, верно, успокоение только в могиле. Самые мирные сцены навевают ему мятежные мысли, и самая ласкающая природа не разгонит ответственных облаков. С зачатками язв он родился; с раскрытыми язвами — сойдет в землю.

Черненькие и белые головки детей, оригинально перепутывающиеся в Кисловодском парке, навели меня на мысли о современной национальной перепутанности; и странно, их игры завели в лабиринт далеких политических соображений. Дети — всякие и везде прекрасны; они везде — слиты. Вот два черных армяненка, года по четыре каждому, ведут трехлетнюю блондинку. Сколько бережливости, чтобы, переступая через дождевую канавку, она не запнулась. С другой стороны, около армянских детей — везде русские няни, здорового и доброго московского типа. Я совершенно не видел около армян-детей армянок-нянек. Верно, как в древности Спарта для всей Греции давала лучших кормилиц, — русский благодущный тип, на оценку всяческих народностей, дает лучшего пестуна для первых бессознательных и полусознательных лет человека. И вот, глядя на мирную смешанность детей всяких родов и племен, я вспомнил: «Сих есть царство небесное» — и задумался о неустроенных земных царствах.

Есть «обрусение» и «обрусение»... Политика того «обрусения», программу которого впервые формулировали «Московские Ведомости», в сущности есть политика национального обезличения, денационализации племен, а не универсального национального синтеза. Оглянемся назад. Русь в Киевский период своей истории совершила великие культурные и религиозные завоевания, почти не имея, по крайней мере не формулировав, «программы завоевания»; московские великие «сидельцы», от Калиты до «тишайшего» Алексея Михайловича, совершили не меньшие завоевания политические, и также без заметного национального обострения. Но Польша, которая всегда была полна национальной и религиозной обостренностью, так и раскололась, и пала, не успев стесать и притупить режущих друг друга внутренних ножей. Успехи Москвы и Киева, национальные и религиозные, были так медлительны, постепенны и «беспрограммны», что историки ищут и почти не находят документов о ступенях, по которым совершилось (в этом направлении) восхождение русской силы. «Бедна русская история», «никаких ярких событий нет»: но вот, посмотрите, на конце этой великой тысячелетней тишины факт самого огромного, самого колоссального, истинно тысячелетнего значения — не государство, но почти мир стран и народов, между тремя океанами и почти достигающий четвертого, первая мировая мощь; не сегодня-завтра — центр всемирных к ней тяготений, центр разыгрывающихся всемирных событий.

Для этого мира стран и народов, который именуется «Россиєю», — не бедна ли мыслью, не узка ли значением, не опасна ли и этою бедностью и теснотою духа программа «Москов. Ведомостей», как она была формулирована покойным Катковым и поддерживается без изменения до сих пор? Я осторожно спрашиваю; я готов отречься от сомнений, если мне будет сказано твердое и доказательное «да». Филологические ошибки бывают часто источником ошибок политических. Мы говорим «обрусение»; но «обрусьте», т. е. сливать с собою до неразлучности, умели Киев и Москва, и решительно этого не умеет Петербург.

Помилуйте, чухна в Парголово, т. е. дачном месте петербуржцев, и 200 лет спустя после «перенесения столицы» к нему в соседство сохраняет тип финна (лицо, язык, быт), не приняв ни единой в себя ниточки из «русского лица». Ведь это все равно, как если бы на Воробьевых горах или в Останкине, около Москвы, уцелел до Грозного тюркский тип. Мало того: Парголово отвоевало и отвоевывает по сей час частицы Петербурга: кто в нем не встречал чистокровно русских извозчиков, бойко и, главное, весело, радушно перекидывающихся с чухнами на их диалекте. Вы с удивлением спрашиваете о метаморфозе и узнаете, что это — детище Воспитательного петербургского дома, выросшее в чухонской избе и не порывающее, не хотящее порвать с нею связи. «Заместо отца и матери были».

Фактов нельзя и не нужно от себя скрывать; и факт — в том, что не Петербург от чухны отрывает детей, а скорей — чухна от Петербурга. Но распространите наблюдение, и вы увидите, что Петербург — вероятно, по безличности своей — вообще не имеет в себе ассимилирующих, сливающихся, уподобляющих сил. Он может покорить; он совершает глоток; но проглоченное становится в его желудке «долотом», от коего «болит нутро» России. И эту боль от непереваренных проглоченных кусков мы называем нашими «окраинными вопросами». «Обрусить»... когда бы мы были сильны к этому! Но это филологическая ошибка; бедные русским сознанием, русским чувством, «безличные» в себе, мы только пытаемся снять лицо индивидуальности с других и это зовем «обрусительную политику».

В ней — как и решительно во всех программах покойного Каткова (удивительно неизобретательный был ум) — мы, в сущности, ужасно неоригинальны. Программа этой политики есть программа покойной Речи Посполитой, которая удалась в Литве и не удалась в Малороссии; программа, которая сейчас уадается Пруссии и не удалась в XVIII—XIX веках Австрии. Во всяком случае, это не программа Киевской Руси, Московской Руси; даже это не программа миро-владычного Рима. Рим овладел миром (между прочим, — и в языке овладел), никогда не вмешиваясь в язык и нравы Транс-Альпийской и Цис-Альпийской Галлии, — везде проводя дороги, устраиваясь с соседями на началах договора и вбирая этих соседей-«союзников» («sociés») в себя, незаметно, постепенно, силою именно пищеварения своего, но не механизмом глотка. Как ни удивительна параллель, она верна: Киев, Москва и Рим росли по одному закону; Петербург, Варшава, Вена, Берлин — по другому, гораздо более узкому и, мы думаем, менее удачливому, более рискованному.

Все начали наблюдать, что внутреннее ядро России гибнет, худает, а окраины — воскресают; и это со времени и под вероятным влиянием именно «окраинной политики». Вглядимся в механизм и средства «обрусения», и мы кой-что поймем в этом явлении. Мы на окраины высылаем орлов, ввиду «трудных и тонких там политических задач», а у себя внутри довольствуемся «генералами поплоче». Имена Воронцова, Барятинского, Ермолова, Гурко, Кауфмана, Черняева — суть имена общей русской славы: это — люди всероссийского таланта и значения, которые посланы были приложить вечно деятельный ум и несокрушимую энергию на окраины. Между тем, в Калуге, Рязани, Костроме, где «никаких политических задач нет», мы оставили только, так сказать, «гарнизонную» администратцию, инвалидов ума и воли. Ведь это так было, этого никто не оспорит; и посмотрите на результат этой тончайше задуманной политики. Человек везде

есть человек, т. е. первое и главное, «царь вещей»; дадите вы человека городу или местности — и вы дадите ему все; наделите тот же город всяческими учреждениями и отнимите у него человека — и вы дадите ему слова без исполнения, обманчивую и даже лгушую надежду. Уж лучше бы отчаяние. Даровитый человек, данный окраине, и сделал то, что он везде бы сделал, куда вы его ни поставьте: он «вверенный ему край» привел в цветущее состояние; худой человек, т. е. бездарный, бесцветный, опять сделал то, что он везде бы сделал; он «захудил», сделал «дрянцом» «вверенный край». Ведь и до сих пор это же на глазах у всех: 10 деятельнейший и даровитейший попечитель учебного округа — на Кавказе; выдающиеся по дарованиям попечители были в Привислинском крае. Что же они сделали? Вы думаете, т. е., по-видимому, казалось всем, что они «обрушивали» армян, грузин, латышей? Конечно, ничего подобного: они делали единственно то, что единственно может сделать даровитый человек с специально отведенною ему сферой: привели ее в цветущее состояние; т. е. они увеличили число школ, дали им лучший контингент учителей, смягчили везде недостатки «уставов» и, при данных условиях, дали ученикам возможно наилучшее обучение. Они создали, конечно, нисколько не думая, ряд духовных «возрождений»; в то время как около Москвы, Казани, Харькова, Киева — дедины русской земли — все зарастало понемногу бурьяном: в данном случае, напр., ученики не учились, школы — закрывались (в Брянске, Касимове, Ефремове, Белёве). Примените сказанное о школе к пяти-шести еще ведомствам, и вы получите картину почти неисцелимой, трудно исцелимой раны: покривленность набок центральной России и гордо приподнятые кверху головы окраин.

Так идет кругооборот политики, совершенно не по тому руслу, как думали несколько недалёковидные «Моск. Вед.» 60-х и 70-х годов. Но оставим сумрачные тенета политики и дадим места несколько — мечте. Играющие на Кавказе дети не создали, но оживили во мне одну давнишнюю политическую мечту, которую почему бы и не обсудить читателю, пусть мимолетно и как мимолетное впечатление. 30 Всюду мы видим, за XIX век, политических «воскресающих Лазарей»; три дня был в гробу и уже «смердел», но пробил час, и, повитый пеленами по рукам и ногам, он появляется из входа могильной пещеры одними приветствуемый, другими прокливаемый. Латыши, финны, поляки, армяне, русины, чехи, раньше греки, сербы и болгары — все стали или сейчас стоят на пороге какого-то бытия ли, небытия ли, никто пока не знает; но они мучительно все не хотят идти обратно в гроб и требуют себе места среди живых, которого живые им не хотят или смущаются дать. Вот положение; оно — факт; различим в этом факте истинное, различим в нем ложное; различим возможное и должное.

Есть существование политическое, есть существование нравственное, которое, разветвляясь, имеет вид быта, характера, языка, веры («обличье»). Польша 40 существовала политически, и политически она сама разрушилась. Лишь политический щебень ее взяли себе соседи, и взяли просто как неудобную в соседстве руину: один — попользовался стропилами, другой — забрал кирпич, третий — воспользовался бревнами. Но все это взято было именно по внутренней несвязности, как только этнографический материал, без сил и средств самостроения, самосуществования (политического). Вот русская половина польской истины, за коею начинается, однако, истина краковяков, мазуров, познанцев. Никогда и ни в каком договоре не было написано, подписано и скреплено, что эти Стаси и Зои

должны стать Лизами и Иванами: здесь начинается истина быта, языка, веры («обличье»), которые никогда и ни в каком договоре не уступались, не разрушились среди политического разрушения и отстаивая которые поляки чувствуют, что они отстаивают «свое», некоторый остаток, некоторое «есть» в себе, свое «право». Я не из любителей поляков; их характер — мне совершенно чужд, даже антипатичен; просто — я не умею нравственно понять их, как, верно, они никогда нравственно меня не поняли бы. Во мне говорит только логика, ясное чтение того, что написано в договорах, и совершенно отчетливое осознание, что не можем же мы вписывать в договоры чего там нет: что тут начинается плагиат, подделка документов, но не правдивая история и не здравая политика. 10

Я упомянул о Польше; это — конечно, наиболее трудный уголок нашего политического бытия, всего больше режущее «долото» в нашем желудке. Но их несколько, и это уже создает трудность, которая может перейти в опасность. Без всяких подсказываний эти окраины соединяются или завтра же соединятся сочувствием; представители трех-четырех «возрождений», разбросанные внутри России, внутри России служащие и работающие и соединенные общим чувством по крайней мере индифферентизма к России, — уже образуют в ней великий минус. Около «плохеньких генералов», оставленных у нас «дома» «для обихода», этот минус возрастает до огромного значения и силы. Доля коренного русского «захудания» должна быть отнесена, как к причине, к этой политике «русских — на окраину», «окраинцев — внутрь», которую — опять неоригинально, но по примеру Виктора Эммануила — мы практикуем у себя. Уничтожить эту общую трудность и возможную опасность следует и можно ясным разграничением тонко переплетенных здесь истины и лжи. 20

Все ложно в политической стороне имеющихся у нас пяти-шести окраинных «возрождений»; и совершенно истинно все в этих «возрождениях» бытовое, своеобычное, своенравное, своеверное. И не только истинно: все должно быть для нас радостно. Вспомним Шевченку: он «плоть от плоти нашей», — и чем и как поправить ту огромную, ту неисцелимую политическую язву, какую мы нанесли себе, причинив некоторые биографические неудобства этому русскому из русских, на коего вздумали посмотреть воистину австрийским взглядом? Это — язва, потому что это пятно на светлой русской душе. Ведь мы же повторяем и ставляем детей учить в школе слова Невского, двинувшегося на шведов: «Не в силе Бог, а в правде». Так разве сейчас, в 1898 году, это не такая же истина, как и в XIII веке? Россия не на день должна быть крепка, а на века и даже — подавай Бог на тысячелетия. Сейчас можно успеть силою и вероломством; но века жить, но тысячелетия стоять можно только правдою. Шевченку за его милые думы на хохлацком говоре следовало наградить, дать ренту, освободить от крепостной зависимости. И в венке света, сияющего над Россией, вплелся бы еще луч, вплелся бы к пущей ее именно политической крепости. Но то, что мы говорим, стоит 40 вне всяких политических целей. Оно так хорошо, что как-то не хочется вплетать сюда политику. «Само приложится». Лучшие политические победы — именно не программные.

Сущность национальных у нас «возрождений», имея истину в моральной своей стороне, ложна в политической. Весьма правдоподобно, что родник «политиканщины» у нас на окраинах лежит опять в неумелости нашего «обрусенья». Мы наступаем на нравы, на язык, иногда и хоть чуть-чуть — на веру: нам отвечают

«политикой». Мы узурпируем, на что не вправе; и у нас узурпируют то, на что, в свою очередь, нет у них права. Дело все в том, что мы пытаемся «обезличить», думая, что это-то и значит «обрусить». Взглянем опять на одну частность обрушающегося механизма: из наших школ выходит на 100 учеников 99 «общечеловеков», «Ни Господу — свечка, ни чорту — кочерга», и один «с русскою душою», с верой отцов, с центральным тяготением к Москве, Калуге, Рязани. Итак, мы не умеем в русском сохранить русского; и вот через тот же механизм, без малейшего варианта в его устройстве, мы хотим из варшавянина, из эриванца сделать... москвича? туляка? Конечно, — нет и нет: мы делаем тоже «общечеловека», «ни — свечку, ни чорту — кочергу». В Соединенных Штатах этот «общечеловек» занимался бы промышленностью и торговлей: там $\frac{10}{10}$ человека ушло на это, и нет в строго определенном смысле ни истории, ни религии (национальной), ни политики, как нет и самостоятельно и оригинально развивающейся литературы, философии и науки. Но на европейской почве всякий «общечеловек» становится немножко литератором (на практике или в душе); немножко проповедником и немножко политиком. Всякий человек, о коем мы думали, что его «обрусили», проведя через Ходобая и глаголы на «ци», — в силу указанных литературных, проповеднических и политических инстинктов становится деятелем местного национального «возрождения»: оно дает ему тему, оформливает его речь и мысль.

20 Ведь ни одно, решительно ни одно из пяти-шести наших «возрождений» не идет из населения, от сел и деревень: это — городское явление и даже частнее — школьное, литературно-ученое.

У нас более половины населения — не великороссы. Россия есть именно не государство, но мир стран, народов, языков, религий. Задачи ее существования и истории — не Варшавы, не Вены, не Берлина: и сапоги, в которых прошли эти чиновнические державства свои короткие пути, изнасятся, да уже и изнасились, едва мы ступили в них несколько шагов. Россия — другая, и все в ней и у нее — другое. И вот, в пределах уже существующей у нас национальной переплетенности мне хочется не развить, но дать один только намек на возможность иной политики, мысль коей, очень давняя, как-то конкретно шевельнулась у меня при зрелище играющих детей в Кисловодском парке.

30 Дети не только щадят «национальную исключительность»: они ее культивируют, ее требуют, ее хотят. Вот странное до дикости отношение, при котором вдруг эта исключительность теряет «нож в себе», тупеет, стесывается; вы около нее вращаетесь и не только не обливаетесь кровью, но испытываете какое-то ласкающее, бархатистое впечатление. Все, что по закону ненависти и на почве обезличения не только не удалось до сих пор, но и, очевидно, никогда не удастся, — все это по закону любви и на почве культуры нравственно-народного лица разрешается само собою. Я говорю, что дети-армяне с великой бережливостью

40 ведут русскую девочку; а русская няня на вопрос о способностях армянского двухлетка отвечает: «Преспособный!». И вот обеих наций и нет в одно и то же время, и есть она — т. е. она есть, только не режутся острыми краями. Края стесаны; остались закругленные сердцевинки, которым не больно лежать друг около друга. Право же, можно наблюдать и не ошибаться: сколько здесь, на Кавказе, я видал туземного привета в ответ на мину же привета, с которой обращаются к человеку, и совершенно очевидно не деланного, не притворного. Просто человек лучше,

чем кажется; и он политически лучше, как только на минуту сам перестаешь быть «с политикой».

Русское ядро на всех краях обложилось небольшими, но своеобразными странами ли, культурами ли, но во всяком случае своеобразным в языке, нравах, вере. Могут оне стать тучами на горизонте, а могут стать и светлыми зарницами. Почему не стать России на вселенскую почву, не помечтать, как некогда она мечтала в Москве, о «третьем Риме» в себе, т. е. о третьей во времени, а сейчас первой и единственной правде? Удивительно узки петербургские идеалы перед идеалами московских «сидней». Мы шумим, бегаем; те, по-видимому, дремали, но в их дремоте расцветали какие великолепные сны! Они, эти маленькие и бес-¹⁰ сильные народцы, «возрождаются» — Лазари перед выходом из пещер; что же, растеряться ли нам перед этим зрелищем «по австрийскому» подобию или, по примеру Христа, не повторить ли сомневающимся Марфам: «Не скорби, сестра; брат твой не умер, он только спит»? — И неужели, неужели умерло благородство в человеческих сердцах (тогда для чего и «политика»?), и неужели воскресающие у нас Лазари не дадут нам еще героев, как Багратион, Барклай, как черноморский Лазарев? И какое множество множеств еще имен, на коих практически совершилось прекраснейшее из возможных «слияний центра с окраинами»!

Я знаю, что мысли мои вызовут много протестов; что же, ведь я даю не программу, а почти мечту. «Не раскололась бы Россия», — говорят ее фактические²⁰ недалекие раскалыватели; я же к политическому цементу прибавлю и моральный: «Послужиши всем — да и тебе послужи».

3. «Горе от ума»

Представления в сезонном Кисловодском театре открылись комедией «Горе от ума». Имя Грибоедова связано по трагической кончине с Кавказом, и, может быть, поэтому его комедия открывает собою театр. Первые июльские дни здесь был холод и дождь: на Бермамуде, в 40 верстах от курорта, выпал глубокий снег и испортил неделю, полторы недели для всей окрестности. От нечего делать я пошел в театр; играли, однако, необыкновенно дурно; оставалось, почти зажимая³⁰ глаза на игру, следить за текстом знаменитого литературного произведения и еще раз невольно переоценивать его.

Бессмертность комедии «Горе от ума» основана на множестве необыкновенно удачно обдуманых мыслей, удачно подумавшихся и удачно сказавшихся. Нет ни одного еще произведения в русской литературе, строки коего до такой степени запомнились бы и так часто повторялись бы в обиходной речи, т. е. ни в одном произведении нет столько формул непревосходимой краткости, ясности и точности для характеристики многообразных житейских положений, отношений или для выражения иронии, негодования, или, наконец, для обрисовки глупости, грубости, низости. Комедия каждому нужна, потому что она каждому дает неистощимый почти запас прекрасных мыслей и слов в обиходе действительности; дает слово бессловесному и ум ограниченному, при самой легкой степе-⁴⁰ ни литературного образования и вкуса. Достаточно не смешать себя со Скалозубом или понять низость Молчалина, чтобы иметь возможность в тысяче случаев показаться Чацким или родственным Чацкому. И все это — без подделки и уси-

лия, само собою; так велико и естественно во всяком очарование необыкновенным литературным произведением. Можно сказать: с появлением этой комедии, которая еще в рукописи, как известно, разошлась и выучилась всею читающею Россией, Россия и весело и свободно вошла в некоторый лучший, чистейший эмпирей понятий и вкусов, заговорила новым языком и на новые темы о новых предметах. «Грамотное», «обучающее» значение этой комедии — необыкновенно; ни одну школу Россия не проходила так охотно; ни одна школа не наводила на своих питомцев столько политуры и глянца; ни одна не была так непререкаема, так трудна для оспаривания. В чудной этой комедии как бы уже дан отпор на всякую попытку ее критики: неувядаемая острота, в ней именно написанная, соскальзывает с губ всякого вашего слушателя, перед которым вы вздумали бы отрицать или оспаривать истину нескольких тысяч афоризмов, из которых она составлена. Нет произведения — и быть может, не в одной нашей литературе — более счастливого и сыгравшего более счастливую роль.

Чувство счастья вообще разлито в пьесе; если от отдельных афоризмов, ее составляющих, мы перейдем к ее тону — мы почувствуем, что это есть существенно победный, побеждающий тон. Маленькая неудача в кратком романе Чацкого есть только необходимейшее условие его нравственной над слушателями или читателями победы; ореол страдальчества необходим герою, и в данном случае он дан главному лицу в той легкой дымке почти только неудовольствия, которое разрешается заключительным криком:

Карету мне, карету...

Самое страдание его — быть объявленным сумасшедшим от глупцов, сумасшедшим за явное превосходство ума, — конечно, есть тот вид страдания, который показался бы лакомою участью почти каждому из смертных. Можно сказать,

Карету мне, карету

— и есть олимпийский венок, который автор надел на голову первому бегуну великого умственного ристалища. Позади его, уехавшего в венке

30

искать,

Где оскорбленному есть чувству уголок,

40

остаются совершенно глупые, «побитые» «чемпионом» лица Фамусова, Софьи и Молчалина. Говоря о победном тоне комедии, мы, однако, разумеем не речи Чацкого: мы разумеем самый замысел комедии и то чувство, которое принадлежит не лицам произведения, но самому автору. Грибоедов не пережил ни одной из тех глубоких практических коллизий, которые пришлось пережить Пушкину, Лермонтову, Достоевскому, Толстому, Гоголю: ни — коллизии расхождения между равно близкими родными (Лермонтов), ни — исполненного какого-то недомыслия положения среди общества и в «рангах» государства (Пушкин), ни — расхождения между страданием и любовью к тому, от кого или от чего страдание (Достоевский), ни — расхождения между своим громадным умом и не пройден-

ною или плохо пройденною, отвергаемую школою (Толстой); не говоря о более тайных и более глубоких нравственных мучениях. Поэтому критика, с которою выступил Грибоедов и которая, как известно, составляет содержание «Горе от ума», существенным образом есть критика счастливого, радующегося человека.

Грибоедов имел радость в своей молодости, в здоровье, в прекрасной и любящей жене, в счастливо слагавшейся службе, в сознании высокого и прекрасного своего таланта. Он так был беззастенчиво счастлив, т. е. ему даже не приходила на ум возможность или необходимость скрыть это, что он просто и спокойно, несколько наивно выразил это в самом заглавии пьесы. Как счастлив был бы кто-нибудь, если б ему выпало на каком-нибудь — пусть очень «умном» — своем произведении прямо надписать: «произведение умного человека», как это почти надписал Грибоедов, слив, очевидно, лицо свое — с Чацким и объявив, что этот последний несет «горе», даже до страдания, —

...карету мне, карету —

не по иной какой причине, как от чрезвычайного излишества у него «ума». Этим объясняется осторожное замечание Пушкина, выраженное сейчас после чтения комедии: «Грибоедов, конечно, умен, но не умен — Чацкий», и то вообще, что тысячи его критиков чувствовали себя вынужденными высказаться прежде всего об «уме» комедии, как бы сказать «да» или робкое «нет» в ответ на ярко выставленное «да» в заголовке, в тоне, в манере счастливого произведения.

Этих критиков было гораздо более, чем их вообще видно. Произведение так знаменито, что молча или вслух почти каждый русский писатель переживал пору мысленной его критики. Там, в самом конце комедии, есть слова одной из московских старух о приобретенной ею «арапке»:

да как черна, да как страшна...

— знающий комедию найдет без труда эту строку. В «Войне и мире», которая имеет темою обзор и критику именно критикуемой и Грибоедовым эпохи, есть фраза, среди размышлений о Москве и глубочайших родниках нашей победы над Наполеоном: «Вот именно такая-то (имя и отчество), которая, забирая своих арапов, дур и шутих, выезжала из Москвы с смутным сознанием, что она — Бонапарту не слуга, — тысячи таких лиц и так чувствовавших и создали необходимость для Наполеона понять, что с занятием пустой столицы война не кончилась, что борьба и вообще не имеет ни определенного предмета, ни определенных границ; и понудили его, тоже в каком-то недоумении, выйти злобно и не понимая, что и для чего он делает, из Москвы — назад». Так многодумно, после годов внимательнейшего изучения документов и размышлений, решил о той же самой эпохе и даже о тех самых лицах, о коих с Фамусовым мы можем повторить:

ба! знакомые все лица...

— решил более поздний и не так счастливо себя чувствовавший писатель. Резюмируя причину того, что ему пришлось спасовать в «любви» перед Молчалиным, Чацкий заключает монолог словами, что-де — впрочем,

...чтоб иметь детей
Кому ума не доставало...

— и именно этим двустижием, почти сводя свою статью к его критике, Достоевский начинает в «Дневнике писателя» знаменитую свою статью: «Земля и дети», которую, если рассмотреть внимательно, можно считать программой ко всей его литературной деятельности. Статья содержит рассмотрение положения Западной Европы — положения начинающегося там «вырождения» — и сводит родники этого вырождения к разрыву человека «с землею», к разрыву его «с детьми».

Кому ума не доставало...

¹⁰ — «а вот недостает же», — восклицает Достоевский и с величайшею глубиной и страстью настаивает на этом, казалось бы, элементарнейшем и в действительности очень глубоком и трудном «умении». «Земля и дети» — в самом деле в формуле этой содержится самая удачная критика «ума» комедии, к которому мы и переходим.

Это есть «ум» какой-то обстановочный; ум, насколько он употребителен и нужен для обстановки нашего бытия, но не для самого бытия. Все великое «горе» Чацкого и автора есть в сущности самый счастливый вид горя: ибо оно происходит единственно от расхождения во вкусе и требовании — меблировать ли дом в стиле «рококо», Louis XVI или Empire. Все содержание комедии вращается около фасонов; и даже отсюда, от этого предмета критики, исходит фасонность самой критики, ее резкие углы, тонкие и изящные словесные завитки, которые собственно и произвели великую общую ее запоминаемость, как и составили условие ее счастливой победы. Дальше «фасона» критика не простирается; дальше требования — сменить один вид «стиля» другим, новейшим, автор не задается. От него нельзя провести соединительной линии к Лаврецкому, но очень можно — к Паншину, так удачно начавшему ухаживанье за «соломенной вдовой» первого; огрубите Чацкого, несколько сузьте его ум, и, ни в чем не меняя его существенного колорита, вы получите тип так удачно нарисованного Тургеневым петербургского чиновника «из молодых и réformé *». В «Войне и мире» Алпатыч едет в Смоленск, штурмуемый и почти взятый французами, и, озираясь на хлебные поля, почти не замечает, где и среди какой «страждущей» обстановки он; Толстым посвящено несколько страниц на его (почти) «бормотанье» об урожае и прочем. Гениальные страницы, но их гениальность нельзя почувствовать, мысленно не придвинув их к «Горю от ума». Вот — противоположность, вот — расхождение; здесь опять «земля» — та «земля», которая победила Наполеона, прожила 1000 лет, сменив на себе много фасонов, и которую как величайшую ценность собирался «пахать» Лаврецкий. Сущность «ума» комедии Грибоедова заключается не только в безвнимательности к этой «земле», но и просто в непостижении о ней ничего, кроме того, что о нее «ушибся Молчалин», и тут уж, конечно, острота:

Контузился — затылком или в спину?

* улучшенный (фр.).

Комедия движется на паркетe, ее беспримерно изящный словесный стиб есть именно словесная кадриль, с чудным волшебством проходимая по навощенному полу и которая оборвется, не нужна, не возможна, как только вы уберете это условие паркета под нею. То есть «ум» комедии чрезвычайно условный — местный и частный; ум, о коем никак нельзя сказать, что в нем

— дистанция огромного размера,

как это невольно хочется сказать об «уме» «Войны и мира», т. е. ее автора, Достоевского, Тургенева, и даже об «уме» и «сметке» простого мужика Алпатыча. В «Горе от ума» выразился вкус, и, так сказать, вкус исключительно мебельного, фасонно-делательного характера, своей минуты и своего места. Мужик Алпатыч живет полною жизнью; это — полный человек, полная фигура человека: напротив, в «Горе от ума» есть только чемпионы кажущегося «ума», бегущие до поставленной автором меты, причем почти все не добегают и за это осмеиваются автором, и успешно, даже раньше срока, достигает этой меты один. Таким образом, самое построение комедии чрезвычайно бедно, безжизненно и до некоторой степени, имея в виду именно любопытство зрителя или читателя, не «умно». Менуэт или польский, который отплясывают (и на сцене довольно красиво) москвичи, вопреки укорам Чацкого, есть единственное в ней жизненное и, так сказать, физиологическое действие.

Вообще недостаток физиологии, жизнеоборота, «круговращения сил мирских» — поразителен в пьесе. Она не основана ни на какой страсти, ни на одной привязанности. Страсть Чацкого — исключительно головная, страсть к произнесению речей и, так сказать, к тысячному надписанию на фронто́не бытия своего: «горе (мне) от ума»; но, например, его страсти к Софье мы должны поверить на слово, ибо в чем же и как она выразилась, кроме совершенно холодных ужимок во время ее обморока и гляденья в дверь, когда она выходит из гостиной? Вообще отсутствие темперамента, горячности сердца — у Чацкого или автора — поразительно: и тут проходит граница их обоих «ума». Подобного восклицания:

А ты, с которой был срисован
Татьяны милый идеал...
О, много, много рок отъял!

30

— подобного этому внезапно воскликнувшемуся у Пушкина восклицанию нет в комедии ни одного. И вообще замечательно, что в ней нет совершенно ни одного слова и никакого штриха трогательного, милого или наивного; так что параллель с Паншиным и то, что сам автор так рано и молодо дослужился до

...степеней известных,

невольно приходит на ум и, бесспорно, свидетельствует об исключительно деловых, служебных качествах его «ума», без примеси даже чуточки поэзии, «песенки» или «сказочки» в складе его способностей. «Горе от ума» есть самое непоэтическое произведение в нашей литературе и какое вообще можно себе представить.

40

Есть или были попытки сблизить Грибоедова с декабристами, и, напр., монолог Чацкого о «французике из Бордо», где он говорит о «прекрасной нашей до Петра одежде», в самом деле соприкасается с мыслью и тоном «Исторических дум» Рылеева (см. изд. 1825 г.). Тут даже можно предполагать заимствование, т. е. Грибоедовым от Рылеева. Но опять есть глубокая между декабристами и Грибоедовым разница — в темпераменте. Известно, что очень много было в обществе 1825 года людей, которые, будучи чуть-чуть не захвачены при аресте декабристов — так близко стояли они к ним, — в действительности стали «разбирателями их дела». Грибоедова вполне можно представить в их кругу; что это были люди света и добра, т. е. что, говоря так о Грибоедове, — мы не говорим о нем ничего дурного, в этом свидетелями служат имена Блудова или, напр., Никитенко; тут проходит тонкое разграничение — именно в темпераменте. В самом конце «Войны и мира» — в расхождении характеров Пьера Безухова и Николая Ростова, из коих очевидно, один ринется «к памятнику Петра I», «около сената», а второй, «упрямо и не рассуждая», станет «на сторону Аракчеева», — глубоко выражена правда обоих движений: субъективная правда группировки и «около Зимнего дворца», и «около монумента Петру». Ростов как нравственный образ не ниже Безухова; Россия не стояла бы так твердо 1000 лет и не готовилась бы стоять еще 1000 лет, и еще «паче тверже», если бы на стороне ее исторических устоев, ее фактической действительности не стояли люди безупречного сердца и великого умственного идеализма. В превосходной обрисовке Ник. Ростова — студента, улана, дворянина, мужа некрасивой и бесценно прекрасной Marie Болконской, — показана эта историческая и бытовая наша правда; до этих глубин постижения Грибоедов никогда не додумывался (ошибочный тип Скалозуба), но и до безрассудных, т. е. гениальных в безрассудстве своем, фантазий Пьера — он не дорос. Ведь тот был сын екатерининского вельможи, который

...жил при дворе,
Да при каком дворе...

— и просто у автора «Горя от ума» не было крови, не было того шампанского в нервах, которое бросило бы его «к сенату», к «монументу Петра» 14 декабря. Он резонировал бы, присматривался бы, — да ведь он и в самом деле присматривался и резонировал — «рисовал узоры пером» для будущей комедии, не поспешив ни туда, ни сюда.

В «Миллионе терзаний» Гончаров отметил неверность понимания Грибоедовым типа и характера Софьи: в самом деле, ее привязанность к Молчалину, молчащему идиоту, когда к ней привязан говорящий гений Чацкий, принадлежит положительно к бессмысленным чертам комедии, и замечательно, что она поставлена в центре, образует завязку и развязку пьесы. Гончаров тонко говорит, что Софья — в условиях времени своего и своего места — представляет новое, ценное и любопытное лицо: она вглядывается в обстановку, ее окружающую, всматривается в людей, она выбирает, а не повинует. В самом деле, если вспомнить каменную Елен Безухову в «Войне и мире» — Софья скромное и прекрасное явление своего времени, которое, перебирая действительность, тянется к какому-то внутреннему в человеке свету; и, расширив и углубив ее образ, мы исторически можем дотянуться до Лизы Калитиной (в «Дворянском гнезде») или Веры

(в «Обрыве») и вообще подобных положительных в нашей жизни и литературе типов. Но любящий тянет за собой и любимого: Грибоедов был слишком счастлив, и притом самоуверенно-счастлив, чтобы — живи он на четверть века позднее — в скромном, например, и застенчивом Басистове, молча и благоговейно поклонявшемся Рудину, ему не показался тоже Молчалин; и он мог бы, зная любовь того к словесным наукам, предложить ему снять копию, «для образца слога», с знаменитой своей комедии. Произошло бы великое *qui pro quo* * между кажушимся и действительным умом.

Один Молчалин — мне не свой,
И то затем, что — деловой,

10

— и его любит скромная, застенчивая, затаенная в себе Софья. Вот две фундаментальные в типе черты, около которых все остальное — риторика и клевета. Так, о Сперанском, скромном преподавателе Владимирской семинарии, передавали тоже в 10-х и 20-х годах в Петербурге, что, будто бы, когда за ним приехала карета «взять его в Большой дом», то по незнанию и «молчалинской скромности» он вскочил на ее запятки. Чувство смеха над Сперанским в петербургском обществе сливается с чувством смеха Грибоедова над Молчалиным, сливается до подробностей анекдота. Молчалин — даже стыдно его защищать, до того в данном пункте силен Грибоедов, мощен талант его ошибки, принимая во внимание два прорвавшиеся у автора штриха, — есть тип начинающего невидного работника в государственном укладе, на месте тех екатерининских, коим

20

на куртаге случилось оступиться.

Их ко двору не звали, во двор они не рвались, но скоро овладели всем государственным механизмом. Что-нибудь из семинаристов, упорное и тихое; третьестепенный Сперанский или третьестепенный из его помощников. Кстати, соединяющая черта: знаменитый государственный секретарь был сантиментален; он был женат на немке — случай сочетания не частый у нас — и, рано потеряв жену, никогда не полюбил во второй раз, храня какой-то культ единственной в своей жизни любви. Ведь то была пора, т. е. Сперанского и Молчалина, когда и сочиняли, и пели —

30

стонет сизый голубочек,

— и как-то умели это соединить с воловьей государственной работой. Мы можем представить, что эту песню пел во Владимирской семинарии Сперанский; и, с другой стороны, мы можем дорисовать, что непонятно привязавший к себе Софью секретарь Фамусова, случись ему быть секретарем у государственного человека, мог бы написать доклад, и «слогу» и содержанию которого захотел бы подражать Грибоедов. Мы прикидываем все это примерно; говорим, что в пьесе есть какое-то недоумение в понимании своей эпохи, как на это можем указать, ссылаясь на невольную критику ее в «Войне и мире», — недоумение в понима-

* недоумение (лат.).

40

нии самых типов комедии, как на это указал Гончаров, и мы только несколько продолжаем и развиваем мысль последнего.

Исторически «Горе от ума» продолжает «Недоросль» Фонвизина; только здесь «недорослем» названо и показано все русское общество, как оно сложилось к двадцатым годам этого столетия, как оно массою осело, а не выделилось порознь высокими даровитыми лицами (критикующие декабристы; Никитенко, Блудов). В Грибоедове сказался все тот же

птенец гнезда Петрова,

10 — какими были, от Кантемира и до него, многие, если не все, сатирики русской литературы. С Пушкина, но в особенности с 50-х годов и посейчас, вся русская литература пошла существенно по другому руслу: пробудилось уважение именно к быту, так-таки и «не доросшему» до поставленных литераторами лет, — к быту, каков он есть, — к обществу в его историческом сложении. Все героическое, в особенности все героически-говорящее, — принизилось; все общее, безличное, казавшееся «молчалинским» или «недоросшим», было приподнято к свету — «и так и этак» начало «разглядываться на свет». Ряд прозорливцев действительно удивительного «ума» начал всматриваться в эту компактную, безличную массу: и Тургенев нарисовал Чертопханова из лица, которому почему бы не показаться «недорослем»; Увара Ивановича (в «Накануне») — из лица, которого на
20 первый бы взгляд можно счесть Скотининым; и, может быть, «Гамлета Щигровского уезда», ведь действительно забитого, действительно смешного — из лица, которое опять-таки Грибоедову показалось бы необыкновенно жалким и неосмысленным. Все показалось иначе, как только иной взгляд посмотрел на действительность. Мы упомянули об обучающем, грамотном значении комедии; но это значение, даже в самый миг ее появления, не было просвещающим, развивающим. Сущность развития и просвещения заключается во внимании, в сомнении о себе, в пристальности к другому. «Горе от ума» бедно вниманием.

Трагический конец в Персии ее автора составляет как бы эпилог комедии — первое и единственное настоящее горе, которое испытал Грибоедов. Как ни
30 грешно судить его в этот миг, но невозможно же не указать, что в самом деле он совершенно забыл, куда и зачем, с какими точными полномочиями приехал, и продолжал мыслить и действовать в Тегеране, как бы в Петербурге. Именно, он стал растаскивать у «долгополых» персияшек их жен — пункт именно той «земли», о «камень» которой он и в самой комедии «преткнулся ногою». Нам, с христианской точки зрения, трудно понять, что и как тут мыслят персияне: но мы знаем и Грибоедов мог знать их историю, что за подобные посягновения там всегда брат убивал брата. Хитрый Ахитовель, чтобы порвать связь возмутившегося Авессалома с отцом, дал тайный совет первому: «Войди к женам отца твоего». Правда, в Тегеране то были похищенные у грузин девушки, но на Востоке, опять
40 со времен Давида и Вирсавии, жен вообще как-то воруют, «умыкают»: обычай, который нам не может показаться особенно ужасным, если мы сопоставим и отменим его частым у нас обыкновением «кидать», «оставлять» девушек, «бросать» и жен. Во всяком случае, тут есть особое и уже двухтысячелетнее «умоначертание». Чего, по Ахитовелеву рассуждению, не мог вынести псалмопевец и должен был возжаждать крови сына, — естественно, не могли простить «чрезвычайному послу и полномочному министру» дикие Тегеране: город загоготал, пошло «кру-

гообращение» страстей — все то, чему дано так мало места в «Горе от ума». Долгопалые ринулись на здание посольства, чтобы сделать «секим башка» человеку таких высоких талантов и ума. Все было дико и ужасно в ужасный день — в этот азиатско-европейский день, где униженный, уже давно униженный Восток яростно бушевал над горстью закинутых судьбою к нему людей. Говорят, труп убитого едва был узан бесконечно любящей его женой. На прекрасном монументе его, в Тифлисе, вырезаны прекрасные слова, за которыми нам слышится «сказка» прекрасной и истинной любви. Сейчас мы не помним буквально этих слов: их знает всякий приблизительно и может перечесть буквально в каждой из бесчисленных биографий писателя. Многозначительным в этой надписи нам представляется то, что ее трогательные слова проговорила над писателем именно та «земля», та «Ева», та суть бытия и жизни — некоторая глухота к чему составила ошибку его жизни и комедии. 10

4. Военно-Грузинская дорога

Главная прелесть Кавказа — не в горах; горы, пока вы не втянулись в дефиле Военно-Грузинской дороги, собственно не представляют ничего поразительного. Эти огромные горбы, стоящие на совершенно плоской равнине, возбуждают более умственного любопытства, нежели зрительного любования; не понимаешь, как и почему они произошли, но совершенно равнодушно переводишь глаз с них на окружающую равнину. К тому же они очень малы (для впечатления) по одной особенной причине: когда вы едете в горную страну, в ваших ожиданиях вырисовываются именно горы; «горы» и «горы» — и ничего еще более, т. е. они закрывают собою все, подчиняют себе все, подавляют себе все. Вы приезжаете: и вдруг с неприятным разочарованием видите, что эти горы — лишь бугорки на необъятно раскинувшейся равнине, лишь точки, пики под синевою неба. Вы не приняли во внимание, что ведь небо не будет закрыто, не закроется и степь: а брошенные на их масштаб, естественно, самые высокие вершины представляются точками, горбами, выпуклостями. Какое разочарование, как мало и бедно! — думал я, подъезжая к станции «Минеральные воды» и позднее уезжая с этой станции к югу, во Владикавказ. Вот — Машук, Железная гора, Змеиная; вот, наконец, Бештау, упоминаемая в географии как одна из вершин Кавказского хребта. Я ее всю вижу, охватываю от края до края глазом; где же тут бесконечность, неотделимая от понятия красоты, и именно удивляющей или поражающей красоты? Какое нищество! 20

Повторяю, все это изменяется, когда вы втягиваетесь в горы и начинаете с них смотреть вниз. Но я упомяну о том, что уже ранее поражает вас необыкновенною красотою и сразу делает для вас Кавказ волшебно-прекрасным, с чем никогда бы не расстался: это — горные речки. По приезде в Кисловодск я несколько ночей не спал и не хотел спать: прямо под окнами гостиницы, т. е. под окнами моей комнаты, пробегала речка; ее вечный шум — это какая-то вечная жизнь. Единственная музыка, которую не хочешь остановить, потому что знаешь, что она никому не причиняет усталости. В говоре струй ее есть варианты; именно жизнь и движение — в однообразии; вечное, но без монотонности, как, в сущности, монотонен всякий вид, всякое зрительное остановившееся впечатление. Этот шум 40

сообщает вам самим необыкновенное воодушевление; вы входите в комнату и, вместо того чтобы лечь и заснуть, — рассмеиваетесь и приказываете подать самовар. Я не буду один: у меня есть диалог, в котором другой будет говорить, и я буду тоже говорить — без, слов, без усилия, одним умом. И когда в этих дремлющих речах вы припоминаете, что ручей этот — прашур Ноя и его Ковчега, что он не умолкнет, когда умолкнет не только ваша грудь, но и все ваши родичи, быть может, вся империя, в которой вы живете, — вы в дреме речей как бы сливаетесь с вечностью. Маленький ручеек становится предметом необыкновенного вашего почтения: это — дитя по величине, дед — по возрасту. Если бы, как у Поликрата, у меня был дорогой перстень или много перстней, — один из них я бросил бы в дар говорящим волнам.

Такой ручеек-речка все время бежит или прямо под ногами лошадей, или где-то в стороне, когда вы совершаете небольшую горную прогулку. Здесь варианты речей возрастают: ручей ревет, пугает лошадей, когда они едва цепляются копытами за кремнистый его берег; но вот он становится глуше, тише: это — деликатный рокот, который вас убаюкивает. Вы едете, положим, в «Замок коварства» (гора, очень напоминающая очертаниями руины замка) — и как будто не одни: с вами, за вами, то впереди вас бежит неугомонная и вечная речка. Вы повернули за гору — вот она; или повернулись — и она осталась, отстала. Она обгоняет, вы ли обгоняете: во всяком случае — вы не одни, вы вместе с кем-то, друг около друга — с вечно живым существом. Наши спокойные реки Севера, и притом реки, а не ручьи-речки, не могут дать об этом никакого представления; на Волге или на Свияге (Симбирской губернии, маленькая речка) — вы чувствуете, что не с вами речка, а — вы с речкой: она есть постоянное условие, вы — временное; вы пришли и ушли — и она как-то пассивно подставила вам свое лоно; претерпела вас или претерпевает: тут нет обоюдности; нет личного; нет игры, шалости и милой поэзии.

Отдельно стоящие горные пики если имеют какую-нибудь красоту, то не очертаниями своими, но этою же вечною жизнью, какую им сообщают облачки. Каждый пик, если он высок и когда день не знойно сух, имеет около себя облачко; оно — переваливается через него, как-то ползет по боку, достигает вершины и, переваливаясь на ту сторону, опять начинает сползать. Есть, без сомнения, притяжение, специально горное притяжение, которое овладевает и держит около себя прозрачно-легкую дымку этих мириад воздушных пузырьков, составляющих собою облака. Вы видите совершенно отчетливо, как, подходя к горе, туча спускается, начинает лизать ее туманами и, наконец, ложится на нее грудью: грудь ее ниже, чем бока, чем перед, зад, которые, едва переступив гору, снова загибаются кверху. Если полдень — облако переползет; если к вечеру — оно свивается в клубок и заночевывает на пике. Кстати: кавказская белая или серая папаха (низкая и широкая мохнатая шапка) в неотделимой связи с кринолино-образной буркою есть копия этого постоянного и характерного для Кавказа вида горы и облачка. В первый раз, когда в дождливое неприятное утро я увидел несколько туземных верховых фигур в этом традиционном костюме, тут же обернувшись на Лысую гору, я воскликнул: «Это одно и то же». Один очерк, один тип, один художественный мазок у природы и ее подражателя — человека.

На переезде от станции Минеральных вод до Владикавказа я впервые убедился, что окружающие Пятигорск горы в самом деле высоки. Оне не скрываются за

горизонт, не уходят под землю: оне исчезают, перестают быть видны лишь за толщею воздуха. Поезд мчится к югу; вы оглядываетесь и при особенно счастли-
вом падении солнечных лучей вдруг схватываете весь полный (до основания) очерк двугорбого Бештау; на фоне голубого неба он вырезывается кромочкою
чуть-чуть более темного, но неба же. Не было бы сомнения, что это — далекое
облачко или просто отлив неба, если бы не давно знакомое вам очертание. Вы
смотрите внимательнее, и небо расчленяется перед вами на громадные куски как
бы вставленной в него мозаики; мозаики небесной же, одноцветной с общим фо-
ном и только чуть-чуть потемнее. Это — горы. Наконец, оне сливаются совершен-
но с горизонтом, перестают вовсе быть видимыми: воздух одолел и поглотил, за-
тушевал мозаику. Вы обертываете на запад, где уже давно видите зазубрины
облаков: привычным теперь взглядом вы отгадываете, что это главный Кавказ-
ский хребет, все время остающийся вправо от бегущего поезда.

Из Владикавказа он виден сейчас же за Терекком. Я вышел на мост, за которым
начинается знаменитая дорога. Вид гор здесь совершенно иной, нежели около
минеральной группы. Если, набрав полный рот дыма (табачного) и плотно при-
жав губы к рукаву сюртука, вы пустите его в сукно, то затем вы будете минуту
или две видеть довольно красивое зрелище как бы дымящегося сукна — сукна,
из каждой поры которого лезет дым и не отлетает, а тут же стелется. Отношение
облаков к горам чрезвычайно правильно выражается этим отношением дыма к
сукну: они лезут как будто из гор, или — лазают по горам. Над вами, над горо-
дом, по сю сторону деревянного небольшого моста — голубое небо; но по ту сто-
рону шумливой и грязной речки начинается что-то зубчатое: огромные, по гори-
зонту в бесконечность раздавшиеся зазубрины, увитые, повитые, насыщенные
мглой этого темного дыма. Другой мир; там — все новое: темная, таинственная
неизведанность, покрытая пологом, — таково впечатление горной цепи из Вла-
дикавказа. Еще особенность: до сих пор, да и вообще везде, всегда — вы видите
небо, т. е., пожалуй, небо вас видит. Это сообщает чувство ясности, открытости,
пожалуй, — честности вам: «Я — не вор», «мы — не воруем», да и «нельзя воро-
вать» под всевидящим, все освещающим оком солнца. Закутанность горного
Кавказа именно срезывает это впечатление ясности и отчетливости в отношении
к верху (небу); мы — под пологом, т. е. завтра я въеду прямо дышлом экипажа
в это облако; там — тайна, и все возможно, между прочим, и даже особенно —
преступление. Впечатление, что вы вступаете в мир случайного и преступного,
укутанного, кутающегося от солнца, глубокою и резкою чертою отделенного от
подсолнечных, поднебесных стран, — не оставляет вас все время, когда вы смот-
рите на эти характерно подоблачные, даже внутрь облачные места. Что горец
вечно вооружен, что он всегда при шашке и кинжале, что он любит коня своего
и, так сказать, цепляется за его сильные ноги, как за невесту, — это, мне думает-
ся, не только обстоятельство времени, условие когда-то дикого быта: это — усло-
вие и, так сказать, психика самой природы.

Но вот это «завтра» настало; в первый раз я услышал резкий крик рожка кон-
дуктора; семь часов утра, и громадный экипаж, под которым чудо что мост дер-
жится, въезжает на Терский мост; кондуктор кричит в рожок (дудит), чтобы все
экипажи, возы, арбы убирались в сторону с дороги. Едет — «казна», едет —
«Российская империя», и обыватели в страхе, пятясь на своих волах, должны от-
давать шапку. Еще бы: ведь «казна» и дорожку пробила

...через те скалы,
Где носились лишь туманы
Да цари-орлы.

Ну, пристало ли, ну, не дико ли среди красот Военно-Грузинской дороги думать о чиновниках, чиновничестве? Вот подите же! — неотстанно думал, и впервые, грешный человек, именно на этой чудной дороге я подумал с уважением о чиновнике.

«Тебе дан был окрик остановиться: куда ты лезешь?..» — это какие-то зеленые лацканы несносно грубо кричат оправдывающемуся и испуганному кондуктору. Терек, около Ларса, на повороте, совсем подмыл скалу. Все пассажиры вышли, и за ними проследовал с одной кладью экипаж. Сверху (с дороги) ничего не было заметно, и кондуктор смело ехал на толпу копошившихся рабочих-осетин, что-то отламывавших ломami и кирками в каменной стене.

Какая дисциплина! «Кондуктор ничего не видел». Ему не нужно видеть: он должен повиноваться тому, кто видит. Вот суть государства. Но это — только черточка, секунднй эпизод на громадной дороге. Уже назавтра, проезжая чудным спуском по ту сторону хребта, в пять часов утра я видел всюду осетин и другую туземную рухлядь, аккуратно сметавших пыль в правильно расположенные кучки, совершенно как у нас, на Невском, где всякое невежество лошади аккуратно подбирается человеком с метелкой и ящиком. Пять часов утра: как хочется спать! Но никто не спит, и, хоть не едет никакой ревизии, — каждый стоит с метелкой, заступом, киркой, ломом и исполняет маленькое и необходимое свое дело: полнота этих исполненных дел и создает два дня покоя, роскоши, художества там, где некогда проходило две недели муки, опасности, риска и, наконец, прямо, местами и днями, невозможности. Около Гудаура, ниже нашего экипажа, лежали на совершенно плоских местах длинные полосы снега, прикрытые пленкой летящей с дороги пыли; и окрест взлизы гор, морщины гор всюду сияют яркой, ослепительной, девственной белизной. Холодно, приятно холодно, без стужи; 22 июля, и широта Милана или даже Флоренции; мы едем на высоте вечного снега, через непроходимейший в Европе горный хребет — с удобством, комфортом, поэзией, как бы из Москвы в Петровский парк к вечернему чаю.

Какие же гиганты это сделали? консулы? проконсулы? Это сделали смиреннейшие люди, «Максимы Максимычи» и отчасти «Акакии Акакиевичи», из коих каждый до корня волос боялся огорчить своего начальника, с подобострастием смотрел ему в глаза, бросался «по мановению» выполнить каждое «предназначение» и цеплялся, изо всех сил цеплялся за (так осмеянное) «20-е число». Нет — это сила; пусть не красота, не страусовое перо в шляпе, не Поза или Гамлет, и ни про кого из них нельзя повторить стих Офелии:

40 Моего вы знали ль друга?
Он был brave молодец;
В белых перьях, статный воин,
Первый Дании боец...

Но эта ужасная проза жизни, которую мы называем чиновничеством, необходима для выполнения ужаснейшей же и совершенно неизбежной прозы, чтобы у каждого обывателя был своевременно вытерт нос. Обыватель мечтает, он пи-

шет стихи, философствует. Было бы не только неудобно, но и совершенно невозможно жить, если бы этим рассеянным Гамлетам и маркизам Поза некто смиренный и непритязательный от времени до времени не вытирал нос и вообще около них, для них, вокруг них не устраивал некоторого комфорта элементарного бытия. Смирненную, невидную, серую роль, без монументов и стихов, и берет на себя государство в том некрасивом чиновническом сложении, какое более и более в нем начинает преобладать. Оно не великолепно; на нем нет тог, все болтаются, на ком «Станислав», на ком «Анна», и, главное, — трепет, трепет: не

страх, что будет там? —

т. е. за гробом, перед чем смущался Гамлет, но что будет «там» — в «директорском кабинете», куда зовут, и еще не ясно, за каким делом зовут. Чиновничество есть сфера совершенного забвения «инога мира» — Бога, религии; это есть не только проза, но и величайшая плоскость души человеческой, сведение ее от вершины и до глубины к смиреннейшей заботе и смиреннейшим созерцаниям: сделано ли это «вверенное мне дело» и «как отнесутся их п-во». Да, и эта плоскость душевная необходима на земле, как между Азией и Европой — Военно-Грузинская дорога.

Я давно прислушиваюсь к странному переименованию, которое наш народ постоянно дает «государству», — «казна». Нет иных у него политических терминов, и, очевидно, нет иных политических представлений. «Казна выдаст», «казна поможет», «казенная дорога», «казенное заведение». «Матушка-казна» — так и хочется закончить терминологию. Здесь выражено понятие о необъятной и несколько безличной, незрячей мощи: «матушка-казна» — это такая же материя, глыба в людских делах, по отношению к человеку, что «мать-сыра земля» по отношению к живому миру, к травкам и мотылькам, ее обитающим. Глыба, иде же «духа» «не бе», но без которой и вне которой духу как-то не для чего было бы витать, не над чем витать, пожалуй, — не из чего вылететь. «Казне» нельзя противиться; «казну» нельзя отрицать; «казну» надо почитать, как батюшку с матушкой; опасно почитать и совестливо. «Казна» кружев не плетет, а растит лен, из коего все кружева. Она темна «душою»; за «душою» она идет к попу, как и каждый из нас, — не очень понимая, что он говорит и почему говорит; доверяясь на слово и покоряясь авторитету. Вот граница государства; вот его сущность: темное, неразумное, но в высокой степени почтенное. И оно совершенно гармонирует с поэзией ли, с философией ли, как только не впутывается в их область. Она дает Военно-Грузинскую дорогу — вы можете изучать ледники Казбека или писать «Героя нашего времени». Геолог, не остановившийся перед шлагбаумом и не уплативший 3 рубля шоссейного сбора, — есть виновный, есть наказуемый для «незрячей казны», — и Гумбольдт, если б ему случилось быть этим оштрафованным геологом, должен почтительно просидеть свой день на гауптвахте. Я беру пример и указываю, что в грубообщей сфере своей государство всегда право, всегда свято, — и его гауптвахта столь же непререкаема для обывателя, как для самого государства должны быть непререкаемы, не касаемы, обожаемы красоты «Героя нашего времени» или выводы «Космоса». Два мира; две совершенно различные области; и между ними, т. е. между кратким и приказывающим чиновничеством и между сложным и эластичным обывателем, возможна, при понимании, не только гармония, но и любовь.

Дарьяльское ущелье мне не показалось самой красивой частью Военно-Грузинской дороги: вид гор — дик и прекрасен, но Терек, тут же под ногами грязно плещущийся, мешает впечатлению. Нет пространства, простора, воздушных перспектив — вниз; вы не висите в воздухе — необходимое условие горной красоты. Правда, я ехал в совершенно тихую погоду — и нужно знать Кавказ, чтобы понимать, что после дождей, в бурную осень, тот же скучно бегущий Терек может превратиться в нечто неопишное. Я помню почти перепуг жильцов нашей гостиницы в Кисловодске: все бросились к окнам, кто на двор, — в каком-то страхе, что вот-вот гостиницу или часть стены ее снесет. Посмотрев в окно, я не узнал Ольховки, маленькой и мелкой речки, почти ручья: прошел дождь, краткий и не очень заметный, — ручей поднялся на несколько аршин, он превратился в реку, сжатую в берегах; с гор принесло стволы ли, камня ли, но только перед самой гостиницей образовался моментально порог, и с невыразимой силой, неопишмой яростью река ударялась в него, всплескивалась кверху и точно кусала сверху препятствие, которого не могла прорвать сбоку. Через 6—8 часов она бежала совершенно тихо, как игривая барышня после романтической бури. Но буря эта есть истинная буря, пугающая; и если такова была Ольховка в Кисловодске после 1—2 часов обычного на юге ливня, то можно представить себе Терек в октябре, в бурную ночь. Конечно, он должен пугать путника. Я же смотрел на него, в тихий июльский день, с недоумением и презрением: никакой силы движения, а главное — так близко, тут же, и эта невыразимая загрязненность воды. Точно огромная прачка где-то из огромного корыта сливает ненужную воду по ложине — и она шумит перед вами отвратительно лужей. Истинную красоту в этом роде я увидел позже. Пока были прекрасны изломы гор: нет сомнения, что они все произошли от бокового давления. Как будто гигантской рукой наложены были каменные доски — и вот несколько вертикальных ударов сломали их, как через колено лучину, и в то же время гигантское боковое сжатие выпятило углы изломов кверху, книзу. Справа, где лепится шоссе, вы и видите этот переломанный, цветной, каменный тес. Мощь силы, сломавшей горы, и составляет их красоту: мощь перелома, мощь сжатия. Неба видно только полоса над ущельем; все — тесно, душно. И вот здесь вы впервые познаете красоту горной страны. В то же время, по ту сторону Терека, над ущельем выбегают, иногда на огромной высоте, какие-то острые, трехгранные груди гор: точно — птичья грудь, и самая вершина, как вытянутая голова птицы, висит над рекой. Это — изящно, мощно, воздушно.

«Вот отсюда можно видеть Казбек», — обернулся с козел кондуктор.

Это был молоденький армянин — сперва принятый мною, по худобе в теле и вооружению, за горца или грузина. Первый раз я наблюдал армянина не за прилавком. Он был жив, смышлен, чрезвычайно деликатен и, видимо, не желал, чтобы мы пропустили какой-нибудь замечательный вид на дороге.

Экипаж сделал несколько шагов, справа открылась ложина, — и вот на темно-голубом фоне неба, имея ковер трав под собою, вдруг вырезалась сахарная головка Казбека. Более прекрасного, более изумляющего зрелища природы я не видел. Пыль, жар. Лето на небе, лето на земле. И между этим летом и летом, разрезая их, — зима. Чудная феерическая зима: снег широким конусом спадает прямо в зелень лугов и лесов; сверху — опять ни тумана, ни ниточки: снега выпятились прямо в купу летних лучей, под зной солнца, и их сахарная белизна так ослепительно очерчена, вычерчена по небосклону. До них верст 11—16, но, как

и всегда, в горах — расстояние скрадано, и Казбек прямо перед вами, вот сейчас за лошиной, куда бы, кажется, добежал, если б лошади подождали. Конус совершенно правилен, и его преимущество перед видом со станции Казбек, где он видится под несколько иным углом, — в том, что здесь снега не разрываются и не портятся черными пятнами, т. е. вертикальными падениями скал, где снег не держится. Снежная голова, трехгранная, т. е. равного протяжения в основании, как и с боков, — и полог неба, постель лугов. Незабываемо, единственно, трудно выразимо. Есть проза — и вдруг она прервана волшебным стихотворением: такое стихотворение природы и испытывает, прочитывает человек в данной точке.

«Сегодня первый раз за лето виден отсюда. Все был закрыт облаками».

Действительно, день стоял знойно-сухой.

Удивительная сторона Военно-Грузинской дороги заключается в совершенном отсутствии чувства подъема: вы совершенно не понимаете, зачем на этой станции подпрягли двух лошадей, там — четырех. Подъемов нигде нет больших, чем в Москве на некоторых улицах, и даже можно наверное сказать, что подъем (в Москве) от угла Сретенки — в направлении к Николаевскому вокзалу — круче, чем какой-либо кусок Военно-Грузинской дороги. Прибавьте к этому, что экипаж нигде не качнется и не накренится на сторону, как решительно на каждой из наших уездных дорог, — и вы поймете, что только увеличивающийся холодок или холодок спадающий показывает вам, где вы находитесь. Вот прошел Гудаур; вы проехали мимо нескольких туннелей, через которые экипажи следуют зимою, во время снежных засыпей, и проехали одним летним туннелем, под непрерывно грозящими паденьем камнями. «Крестовый перевал»; «вот тут — отдыхал Ермолов». Почти плоскость; лишних лошадей куда-то убрали; и начинается — на мое ощущение — самая красивая часть дороги.

Это — спуск в Азию: змеиная нить шоссе перед станцією Млеты. Вы на вершине Кавказа, т. е. сейчас перед вами вдруг открывается воздушная перспектива вниз — та именно главная красота гор, которой недоставало ранее при вечных поворотах Терской долины. И внизу, на головокругительной высоте, на дне страшной продольной пропасти, бежит пенная лента Арагвы. Арагва — чиста, в отличие от большинства горных рек, без сомнения, по причине кремнистого русла. Быстрое движение экипажа; что-то веселое, какое-то счастье, но которое растягивается на часы; бездна воздуха; стремнины сзади, все возрастающие по мере того, как бегут минуты, — а главное, главное: стремнина вниз, сейчас же о бок с колесами экипажа, на тысячи футов. Все это сообщает езде характер воздушного движения, как бы вы чертите по каменной стене и соскальзываете почти по спирали книзу. Ничего сурового; да и не нужно сурового; вы так радостно приветствуете Азию: новая часть света, наконец — не Европа. Уже завтра, на утре, я увидел верблюда, бегущего по дороге, — так, an und für sich, «в себе и для себя» бегущего. Боже, я выпустил бы на свободу всех запряженных верблюдов, по крайней мере всех из Зоологического сада: так этот один был хорош. Кондуктор ослабил впечатление, сказав, что это стационарный, сбежавший верблюд; но он бежал легко, как-то выгибая ноги, то вытягивая, то сокращая шею, — и эти странные горбы! Встречные арбы тянулись уже буйволами: сжатая голова, прижатые к ней рога — книзу, а не вбок изогнутые. Все — новое: «новый свет», по крайней мере для природного костромича и вечного северянина.

1898 г.

О ПИСАТЕЛЯХ И ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Заметки и наброски

В № 35 «Нивы» за 1898 г. приложен снимок с бюста гр. Л. Толстого, выполненного И. Я. Гинцбургом, и тут же в маленькой статье объяснено, что 28 августа этого года автору «Войны и мира» минуло 70 лет. Бюст замечательно хорош; скульптура тем совершеннее и выше живописи, что схватывает и выражает идею предмета (или вещи), а не ее состояния; не штрихи в ней или сбегаящие и набегающие тени. Живописец берет вещь в ее целостности; имея серию красок, а главное — такой тонкости переливов, и имея такое послушное орудие в руках, как кисть, — он рисует не только лицо, но и пылинку, которая села на это лицо и о которой он не знает, принадлежит ли она лицу или внешней природе. Скульптор беден средствами, это монотонный мрамор или монотонная бронза; самое орудие его, резец, не так послушен: нужно усилие, чтобы выдавить черту. Ваятель сосредоточивается, напрягается; уловив одно и главное — он разливает это на все подробности предмета, и мы получаем его мысль, как бы окаменевшую в веках и для веков.

Много есть прекрасных лиц в русской литературе, увитых и повитых задумчивостью. Лица Тютчева, Тургенева, Островского не только выразительны и полны мыслью, но они как бы договаривают вам недоговоренное в «полном собрании сочинений». Самая, напр., поза Тютчева, со сложенными на груди руками, как бы сообщает ему вид уставшего и задумавшегося после разговора человека; в Тургеневе, за писателем, вы так и чувствуете помещика, любителя пострелять куликов или вечером у камина, после охоты — что-нибудь рассказать. Быт, манера, воспитание, привычка — все это, как-то одухотворившись, бросило свою черту на лицо, и последнее получило ту сложность и глубину, которую вы никак не покроете кратким и оголенным, в сущности, одичалым термином: «интеллигентный». Тургенев — «интеллигентный человек», у Тютчева — «интеллигентное» лицо: какая профанация! «Интеллигентность» это, правда, не что «духовное»; но это — бедно-духовное; это — бедность именно в самом духовном, какое-то умственное мещанство, начинающаяся «барковщина» в поэзии. Но мы отвлеклись. При взгляде на бюст Гинцбурга невольно подумаешь: именно такого прекрасного лица еще не рождала русская литература. Коренное русское лицо, доведенное до апогея выразительности и силы; наша родная деревня, вдруг возросшая до широты и мер Рима. Конечно, — как прообраз, как штрих, коему через немного лет сбежать в могилу, укрыться стыдливо под землю, как преждевременному

еще явлению; но если когда-нибудь настанет время (если только оно настанет), что русский голос заговорит миру, — то по этим прекрасным чертам мы можем приблизительно догадываться, какое будет, как сложится, как выразится это грядущее и русское, и одновременно уже мировое лицо. И в самом деле: в нем есть все черты исторической многозначительности и устойчивости; и вместе это — буднично-сегодняшнее лицо, какое я могу встретить, выйдя на улицу. Это «наш Иван», «наш Петр» — мужики, с которыми мы ежедневно говорим; но, поставленное между лицами Сократа, Лютера, Микель-Анджело, оно бы не нарушило единства и общности падающего от них впечатления; совсем напротив. Тогда как, например, лицо Тургенева или Островского — нарушило бы; это — слишком частные и дробные лица, не отстоявшиеся в тишь и величие истории.

Такое лицо надо «заслужить», его можно только «выработать». Вообще, кто любит человека, не может не любить лица человеческого, «лицо» у себя под старость мы «выслуживаем», как солдаты — «георгия». В лице — вся правда жизни; замечательно, что нельзя «сделать» у себя лицо, и, если вы очень будете усиливаться перед зеркалом, «простодушное» человечество все-таки определит вас «подлецом». Лицо есть правда жизненного труда именно в скрытой, а не явной его части: это как бы навигаторская карта, но по которой уже совершилось мореплавание, а не предстоит. Сумма мотивов, замыслов; не одного осуществленного, но и брошенного в корзину. У Толстого — истинно прекрасное лицо, мудрое, возвышенное; и по нему русское общество может гадать и довериться, что он знал заблуждение, но непорочное, так сказать, в мотиве своем, в замысле. Это лицо чистого и благожелательного человека, и «да будет благословенно имя Господне» за все и о всем, что он совершил.

Мы упомянули о мотивах. Высокопечальны все-таки для православного и русского уклонения его последних лет, но тут жестокость негодования нашего должна притупиться о незнание именно всей полноты его мотивов. Левин (в «Ан. Кар.») женится — и как тревожна его исповедь; какой диалог (по поучительности) между священником и философом; какое обаятельное лицо священника и сколько седины в его простом недоумении-вопросе кающемуся:

— «Без веры в Бога, как вы будете воспитывать детей?».

В последующих главах романа приведены отрывки из чина венчания; Долли и Левин — слушают и умиляются. У Толстого была кроткая полоса в отношении к церкви, он брел — некоторое время, и, очевидно, издавна (см. его «Юность» и там тоже радостное исповедание кн. Нехлюдова) до очень поздних лет — как безмолвная овца в церковном научении; но что-то случилось, чего мы не знаем; ведь мы не знаем начатых и неконченных его работ, не слушали его бесед с людьми, не сливались с его зорким и пытливым глазом, когда он наблюдал то и это. Удивительно много может значить лицо человека в образовании наших убеждений; можно стать не только истовым православным, но и фанатичным, даже до пролития крови, увидав (и подсмотрев) свет душевный в приходском священнике. Я собственно верую именно только этому священнику и в этого священника; но мне так хорошо в этой вере, около его светлой и живой души, что я говорю: «И умру со всем тем и за все то, что есть в этом священнике и за что стоит этот священник». Эта, казалось бы, странная вера — есть, в сущности, очень живая и глубокая: мы доходим до Бога через человека; за человеком, понутив голову свою, во всей знаменитости своей бредем — за смирением и красотой челове-

ской. «Вместе» идем к Богу — так выходит; и, может быть, сущность церкви основывается не на догматической солидарности, но на этом как бы чтении лика Божия, отраженного в лице человеческом, «в брате моем», «чистейшем, нежели я». Толстой мог быть так несчастен, что около себя, или как и где-нибудь, он усмотрел неблагообразие человеческое, именно «пастырское» — что-нибудь притворное или непоправимо-равнодушное: и догматическая солидарность с церковью рухнула, не найдя почвы в солидарности человеческой. Да ведь и в самом деле церковь — не *summa regulorum* *, а море лиц и совестей; он был оттолкнут от лица и потерял связь с церковью. Повторяем, это не так мелко, не так глупо, и, обернувшись на историю своих убеждений, твердейшие из нас, быть может, найдут, что это есть собственно история человеческих привязанностей, привязанностей к человеку, к лицам и уже за ними — к концепциям философским и религиозным. Да и хорошо это: иначе человеку пришлось бы ведь только читать «догматы» и «критику», и истории — превратиться в «кабинет для чтения». Очень скучно.

Мы мотивов Толстого не знаем; во всяком случае к исторической России, даже к «православной» России автор «Войны и мира» пережил такую нежнейшую детски чистую и упорную (в 60-е годы!) привязанность, до зарождения какой в себе миллионы из нас не доросли. Он любил ее серою любовью солдата, «казака» на Кавказе, обыкновенного русского крепостного мужика. Ведь от старости Дрона до двух братьев, офицера и прапорщика, которые спрашивают друг у друга о «родительских» деньгах (т. е. у меньшего старший — не потерял ли, не растерял ли, не растратил ли он денег, в «Севастоп. рассказах») перед тем как назавтра умереть за отечество, — все это было понятно Толстому, т. е. все это прошло страданием и любовью через его сердце. Вот почему за «нигилизм» (теперешних дней) очень трудно судить Толстого: не знаем мы всего, не о всем догадываемся, даже просто многого не видели, «не побывав в его коже». Мы можем негодовать — это наше право, как православных, как русских; мы можем говорить самые резкие вещи по его адресу, но с осторожной памятью: «может быть, все это — ужасная ошибка». Во всяком случае, в укладе русского бытия, как оно есть сейчас, мы — дробь, частица, с частичным же и дробным пониманием, а он более нас всех приближается к целому и целостному же постижению вещей. Притом он так много дал России, что, видя даже положительно злое или безумное, что стал бы творить этот «старый Лир», мы можем — из деликатности, из благодарности, даже просто из осторожности — только произнести с Иовом: «Да будет благословенно имя Господне; Ты — дал, Ты и взял», т. е. в дарах Толстого есть столько печати Божией, печати «даров Духа святого» — что, приравняв благое от них, мы можем и должны перенести около этого благого и вредное.

В поздних своих писаниях он впал в бедные и скудные опыты новых построек. Нельзя не отметить, что тогда как в «Войне и мире», в «Анне Карениной», в «Севастопольских рассказах» он — может быть, незаметно для себя — являлся религиознейшим писателем, заставив всех самым способом изображения почувствовать в жизни что-то трансцендентно-неясное, высокое, могущественное и праведное, — его катехизические опыты последних лет — это сгущенное богословие — бедны собственно религиозным элементом, сухо рациональны, этичны и иногда даже просто дизитичны, т. е. сводят религию к правилам опрятного и жа-

* *сумма правил (лат.).*

лостливого поведения. Где же тут Бог — как в битвах при Аустерлице и Бородине? Судьба — как в неравенстве доль Наташи и Сони («Война и мир»)? Вмешательство иного мира в наши действия — как сны-предчувствия Вронского и Анны? или Немезида, которая тяготеет над Карениной? И в самом авторе — где преклонение перед неисповедимым? Все сужено: и вместо мира, таинственного и пугающего, мира огромного — мы вступаем в келью-кабинет крайне понятного устройства, где нам показывают узоры новых умственных комбинаций, опять крайне понятных, т. е. существенно не религиозных.

Еще хуже, нежели «догматическая» сторона его книжек, их моральная сторона: это вечное «воскресение» — купца ли на «Никите», «Никиты» ли — под купцом, и вероятное «воскресение» Нехлюдова в начавшемся в «Ниве» «Воскресении». Столько «воскресших», а все так плохо в сей «юдоли скорби и греха», и плохо, по-видимому, на душе и у самого автора. Не живые это воскресения; не простые воскресения. Автор, не замечая сам того, пишет примеры на поэтическую тему: холодные, педагогические, почти немецкого сложения (не от этого ли такая *понятность* и популярность Толстого на Западе?) — после которых у читателя руки сложились бы крестом на груди и глаза поднялись к небу. Не поднимаются. И «мир любодейный и жестоковыйный» сильнее и как-то *правдивее* этих ему укоров и его подталкиваний. Да, в «грехе» и «смраде» мир силен и как-то *прав*. In ge * и «грех» и «покаяние» сплетаются у него в могучее кровавое вервие, до которого куда же всем этим типографическим увещаниям... И вот мы невольно вспоминаем кровавогрешную и *действенную* Библию: какое отсутствие пиэтизма! Как дерзок ответ Каина Богу, но Бог победил. Какие преступления, что за чудовищность в них; но книга победила, изумительным светом она прорезала и рассеяла человеческую ложь и *лживость*, почти главного и могущественнейшего человеческого врага, и человечество воскликнуло: «Вот — святая книга!», «Вот — святая правда о нас и Боге». Пиэтизм — начало лжи в самой вере; это — ложь, проникающая в самое запретное для нее место: в молитву. Человек молится — и чуть-чуть лжет; колена натрудились, да уж и голова ничего не думает, но человек все еще не встает с колен: отчасти «для примера», но тоже и «по собственному долгу». Этот кончик уже холодной молитвы, думается, все портит перед Богом; а на земле суммации таких кончиков породили необозримое зло лицемерствования в самом нежном и субъективном, в самом необходимом для человека — в сплетении его с Богом.

Еще слабее собственно моральная, морализующая сторона его маленьких новых книжек. Это — Шекспир, вдруг поселившийся в имени Коробочки и начавший продолжать ее хлопотливое устройство. Он ходит, как Коробочка; он говорит, как Коробочка. Коробочка так благочестива. «Приживальщик» в «Кошмаре Ивана Федоровича» («Бр. Карамазовы») говорит юному нигилисту, несколько скучающему собою и как бы в *pendant* ** к его скуке: «Вековечная мечта моя — это воплотиться в семипудовую купчиху и начать свечки ставить. Всю бы надзвездную жизнь и там почести, чины (ибо ведь и у нас есть *чины*) отдал за это», — поясняет единственно реальный в целой всемирной литературе бес. Гений тяготит. Гений — бремя. Земная оболочка трещит и лопається, и бедный человек, ко-

* На деле (*лат.*).

** под стать (*фр.*).

тому случится быть Шекспиром или Толстым, хватается за голову, сжимает сердце, бежит к Коробочке — под ее покров «простоты», «смирения», «посредственности». Коробочка, никогда не воображавшая для себя такой исторической миссии, завертывает сальный фартук, который она не успела переменить после посещения Чичикова, и кутает в него пылающую голову. «Вот теперь мне хорошо», — говорит Толстой. «Я — смирился». Из-под фартука доносится: «Смирись и вы», «Упростись и вы». Просты. Смирны. Холодны. Мы — *растущие, достигающие*, в нас и без того *мало сил* и... до Коробочки ли поэтому нам? Мы ищем *гигантства* Толстого, как он — нашей *малости*.

10

«Мрак и ночь, печаль и скорбь — во мне и окрест меня; никаких путей, все концы потеряны.

Будем любить друг друга, это одно остается нам, бедным...

Все-таки это какой-нибудь свет, или по крайней мере это — замена истинного света. Это еще согревает или может согреть нас на срок недолгой, нам и понятной и непонятной жизни. За ее чертой — молчанье».

Таков смысл «Хозяина и работника» Толстого; да и его ли только? Не смысл ли это всей его деятельности еще от «Анны Карениной»? Не эта ли нота звучит в «Чем люди живы» — положительно; во «Власти тьмы», «Плодах просвещения», «Смерти Ивана Ильича», «Крейцеровой сонате» — отрицательно? «Чем люди живы — чем они не живы»: в эти две формулы укладывается смысл и его художественного творчества за последние годы, и его публицистики и философии.

Великий ум, объятый еще более великой тьмой; эта тьма — тьма нашей жизни: в ней мы виновны — *я, он, десятый, сотый*... Поистине, каждое обвинение, какое мы хотели бы бросить в Толстого, падает обратно на наши головы. Ведь это мы — безверны, лукавы, холодны.... он так же безверен, но уже не лукав, не холоден, не двоедушен, как мы. Оттаивающий полутруп, полуживой человек, могущий проснуться и в тот мир, и в этот, — вот имя нашего общества, определение исторического нашего момента...

«Будем любить друг друга»... Да, но при свете этой любви будем искать истины вечной, откуда течет самая любовь.

Имя кн. Мещерского и его орган «Гражданин» окружены в нашей литературе зоной непреодолимого предубеждения. Полемика, которая против него велась в течение четверти века всеми почти органами печати, не исключая и консервативных, к составу которых он принадлежит, всегда велась в презрительно-насмешливом тоне и никогда в тоне уважительном и страстном. Писатели, в конце концов, великие ловцы сердец человеческих. Они могут, если какая-нибудь причина объединит их, непоправимо погубить репутацию человека, ни на что определенное не указывая, ничего определенного не доказывая, ни в чем определенном даже не обвиняя: погубить просто способом шутить, манерой отношения, манерой уклонения от всякой полемики. Они окружают избранную жертву поясом пренебрежения или нерасположенности, через который никакой робкий,

а иногда даже и очень мужественный человек не решится переступить. Что такое сделал Булгарин? Сжег ли он новый храм Дианы Ефесской, как древний Герострат? Нет, но он сделал хуже, или, точнее, с ним сделалось худшее: Белинский, постоянно называя его, никогда не называл иначе как «сам Фаддей Венедиктович Булгарин», и Пушкин в одной эпиграмме поместил стих:

иль на Булгарина наступишь, —

т. е. наступишь на *согинения* Булгарина, которые, среди прочего сора, валяются на полу книжных лавок, если зайдешь, напр., к Смирдину. И ничего больше, ничего еще, т. е. *определенного, доказанного*, ставшего *общеизвестным*. И вот, таково значение этих кратких, но как-то *удавшихся* в истории слов, что хотя вы ничего фактического о Булгарине не знаете, хотя вы знаете даже из писем Грибоедова, автора «Горя от ума», что Булгарин был ему почему-то интимным другом и он, посылая ему рукопись знаменитой своей комедии, писал: «Сохрани мое *Горе*», — тем не менее всякий раз, как вы слышите имя «Булгарин», вы неудержимо поправляете «Греч и Булгарин», согласно транскрипции Белинского, и отплевываетесь с тем самым неистовством, с каким решительно все наше общество плевало на два эти имени три четверти века.

Вох рупли?.. * Суд истории?.. или вековечное:

Ах, Боже мой! Что станет говорить
Княгиня Марья Алексевна?..

В подобное же положение не столько стал, сколько допустил себя поставить кн. Мещерский. Его имя есть одно из самых известных в России; но его журнал-газета не только мало распространен и, в точном содержании своем, мало известна, но даже и вовсе не известна, за исключением редких «любителей». Даже более: среди самых этих «любителей» нет собственно никакой любви к нему, энтузиазма, так что ни в каком смысле и ни в каком случае к нему нельзя приложить изречения о «горчином зерне», которое растет и когда-нибудь дорастет до огромного ветвистого дерева. Если вы наблюдательны, то вы заметите или, может быть, уже неоднократно замечали, что в том редчайшем случае, когда ваш добрый знакомый, при случайной встрече, раньше, чем заметить вас, был погружен во внимательное чтение газеты кн. Мещерского, — он, увидя, что вы к нему подходите, или торопливо кладет номер в карман, стараясь скрыть его заглавие, или, если это заглавие вами уже прочитано, — бросает газету под ноги с пренебрежительною гримасою.

Пачка номеров «Гражданина» случайно попала мне в руки; случайно я переступил *зону* окружающего его предубеждения. И до того сильное волнение овладело мною, и все изложенные мысли бурно хлынули в голову, когда я увидел — просто как писатель, — увидел и почувствовал, до чего ярко дарование никем и никогда не читаемого публициста, как значительна похороненная заживо в нем сила, сколько тонкости и остроты в его *языке* и *мысли* и, главное, какая удивительная и привлекательная конкретность в первом и второй. Впервые я испытал

* Глас народа (*лат.*).

нечто вроде отвращения к философии в литературе, видя, как точное наблюдение и яркая изобразительность, в сущности, предваряют работу отвлеченного мышления и, до известной степени, делают ее вовсе не нужною.

В конце концов, мне иногда думается, не бывает «дыма» без всякого под ним «огня»; и Булгарин не потому только погребен, отпет и, так сказать, имеет фатальный «осиновый кол» в своей могиле, что он был «Фаддей Венедиктович Булгарин» и что на него «наступил» Пушкин, но и, кроме того, еще почему-нибудь, чего мы подлинно не знаем теперь. Печать, как бы при помощи увеличительных зеркал, только донельзя, до невероятия, до неправдоподобия увеличивает реальный, существующей «дым» или «дымок»; она раскрашивает его во все цвета спектра; но, по простым законам физики и также психологии, какой бы величины и какого бы цвета этот дым ни был, но он в самом деле *есть* и под ним в самом деле *есть* «огонь» или «огонек». Да простят мне все осужденные, все, над кем сплетен печатью этот терновый венец, если в частичном признании их вины мною выказана все-таки некоторая жестокость. Никто до такой степени не был бы готов сорвать последнее с них обвинение, как пишуший эти строки, если бы подобное усилие могло бы им принести какое-нибудь действительное облегчение или действительную пользу.

Что кн. Мещерский есть самый консервативный из существующих и существовавших у нас писателей — это составляет ясную и меньшую часть его *criminitis* *. Он «требуе розги», но ведь он никого же не сечет; и в литературе, где — как, по крайней мере, в западной, — некоторые недвусмысленно требуют *крови*, слишком простительно такое пожелание, особенно если принять во внимание, до какой степени легко («не секи!») противоположное желание. Он есть «аристократ»; и опять — он не есть организатор аристократии, и печально-комическая сторона его сословных тенденций заключается в том, что именно защищаемое им сословие стоит стеною против «Гражданина», решительно не хочет ни читать его, ни выписывать, ни слышать об его тенденциях, — чем уже одним с величайшею наглядностью показывает, до чего, в самом деле, не прав князь-публицист, до чего в нашей аристократии отсутствует гордое и замкнутое, даже просто своекорыстное «я». Очень ли она добродетельна, или ее просто совсем нет, — я говорю о родовой нашей аристократии, — во всяком случае, страстная и гордая программа кн. Мещерского есть историко-политический «пуф», без дыма и даже самого легонького «огонька» под ним. Он, говорят, влиял на практическую политику, на проводимые меры; но кто же из публицистов этого не хочет? И если меры были дурны, все-таки дурное лежит на ответственности практических лиц и нисколько не на ответственности публициста, который хотел и вправе был хотеть того, чего хотел.

Повторяем, не здесь лежит тяжесть его литературно-общественного *criminitis*, и, если бы она здесь лежала, полемика против него имела бы тот уважительный и страстный характер, ту мучительно долгую, мучительную до молчания ненависть, какую имела вражда, напр., к имени Каткова, с ним полемика, о нем молчание. Есть что-то еще, сверх его политической программы, совершенно неясное и между тем, очевидно, главное, о чем думая, мы заметили выше, что самое пе-

* преступления (*лат.*).

чальное в судьбе этих, в своем роде, *morituri* * истории, заключается в том, что их губят не указывая, не доказывая и даже ясно ничего не называя, но по какому-то молчаливому и почему-то всех объединяющему согласию. Прислушиваясь к насмешкам, ничего почти в них не понимая, — по крайней мере не имея знания, чтобы их отвергнуть, ни чтобы принять их, — я в уме своем невольно сравнивал судьбу нашего консервативного публициста с судьбой знаменитого — но только радикального — агитатора Парнелля. Он *был*; но что-то случилось, о чем-то заговорили, — и вот его *нет* более. Почему нет? даже *кто* именно заговорили? — никто этого ясно не знал, никто настойчиво об этом не спрашивал. Все интересовались течением событий *после* Парнелля, *через* Парнелля прокатившихся; никто не остановился около тех замутившихся волн, куда он вошел — и это все видели; но уже никто не видел, чтобы он вышел.

Слабый, как и все, и я не читаю «Гражданина», по крайней мере, не выписываю. Просто — я не люблю смерти; не люблю того места реки или озера, где, по остроумному, хоть и жестокому выраженью простонародья, кто-то «истортил воду» (утопился). Почему? как «истортил»? — быть может, это был глубоко несчастный и глубоко прекрасный человек — я не знаю; и прохожу мимо, вхожу в зелень парка или шум улицы, где есть движение, есть жизнь, которая и вас самих ставит как-то далеко от мысли о смерти, которой, однако, вы, несомненно, обречены.

Спящий в гробе — мирно спи.
Жизнью пользуйся живущий...

— это в своем роде столь же вечный стих, как и насмешливый стих Грибоедова, объясняющий судьбу многих несвоевременно погибших. Удивительно: пока человек живет, и если он подлинно живет, он не может возбудить в себе сочувствия к умершему иначе, как несколько теоретического, надуманного, воображаемого.

Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове. Николая Барсукова, С.-Петербург. 1898 г.

Если есть вид литературы, который всегда безгрешен и иногда свят, — то это палеография. Что такое палеография? — Собираение старых писем, никому (лично) не нужных — все равно XII или XIX века; за тысячу лет назад или за 50 лет назад. Вы умерли; казалось — вы никому не нужны. И вот, когда вы забыты всем миром и, так сказать, испытываете пустыню небытия, около вашей могилы начинается копать какая-то любящая рука — разбирает надпись на могильной плите, поправляет землю и иногда воткнет цветок: вы вдруг среди ледяного небытия согреваетесь человеческою теплотою, и для вас начинается еще вторая, удивительно интимная и милая жизнь. Грустно, что операции этой подвергаются только писатели; следовало бы каждому человеку иметь для себя подобного копуна.

* смертники (*лат.*).

Что-то египетское, какая-то вечность; какая-то бесполезная любовь, для коей несть «ни болезни, ни воздыхания»...

Вот почему всякую книжку г. Ник. Барсукова мы берем с волнением. Эта всюду увядшая любовь, в ее ненужных, не утилитарных целях, светится из каждой строки этого замечательного писателя, этого египтянина, вечно охорашивающего чей-нибудь прах. Непременно вы найдете археологию, палеографию; редко он от себя и сейчас что-нибудь рассказывает: он благоговейно молчит и подает вам лоскуток бумаги, какую-нибудь записочку, письмо, дневник с полинявшими чернилами, где о великом или любимом человеке вы читаете несколько строк. Все это он собрал, сохранил о людях, из коих

Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал

— и не представляя вовсе систематической биографии (самый скверный и лживый род литературы), этот клочок бумаги дает вам вдруг почувствовать еще живую и теплую руку умершего давно человека.

В 1862 г. автор написал записочку Костомарову, своему профессору, и получил обратно такую же, с простым назначением адреса и дня знакомства. Конечно, обе записки сохранены — и мы их читаем в почтительных выражениях еще незнакомых людей. В этом же 1862 году Костомаров задумал посетить Новгород, и с ним вызвался поехать А. Н. Майков. Студента Барсукова они тоже взяли с собою, предложив ему, шутя, быть «летописцем» их пути. И вот в миниатюре мы в самом деле имеем крошечного Нестора, записывающего маленькую одиссею. Все миниатюрно, как маленькие арапчики в знаменитом марше Черномора, в «Руслане и Людмиле». Но как же все живо, как тепло! Речи, конечно, без государственной значительности, но Бог с ними — с большими речами о больших делах; мы у себя дома, в халате, и в халатах же ходят около нас парнасец-поэт и так волновавшийся историк. Один забыл высокий тон лиры, другой — хлопотливые свои лекции, и оба вдруг погрузились в мир прошлого, в тысячелетнюю старину, да в седые сосновые леса, которыми заросла она. Осматривают монастыри, разговаривают с жителями; пытаются оживить в них память, но уже никто ничего не помнит. Около знаменитых мест приведены припоминания из летописей. Вот они проезжают «Званку» Державина; вот осматривают портреты Фотия и богатства, оставленные его другом, графинею Орловой; и сейчас около этого — какое-нибудь памятное изречение Грозного, какая-нибудь его шутка, издевательство, в связи с заштатною церковью, около которой путешественники рассматривают могилы. Все незначительно по теме, но истинно живо и прекрасно по содержанию; и образованный читатель проведет с истинным удовольствием 2—3 часа за чтением маленькой этой книжки.

* * *

Некто, друг и недруг (бывают такие связи), настаивал перед мною, чтобы я прочел второй том сочинений Хомякова, «как бы открывающий уму нашему шестую часть света» духовного, как бы дающий ему еще новый орган ощущения, «через который вся действительность представляется в ином и новом виде».

И я его прочел.

Раза два приходилось мне испытывать это чувство как бы открытия «новой части света» — из книги. Первый раз — это было уже очень давно — я узнал это ощущение на студенческой скамье. На одном из курсов профессора филологического факультета, как бы сговорившись, избрали предметом для чтения VI песнь Илиады, речь περί τοῦ στεθάνου* — Демосфена и текст «De Republica»** Цицерона. И беспечность юности, и несколько странный способ понимать задачи толкования самими профессорами, и, наконец, всегдашнее избегание толпы людской, даже когда она состоит из товарищей, делали то, что целый кружок студентов, близко между собою связанных, почти не посещал лекций. И вот, когда настало время экзаменов, не более как в полторы недели, пришлось все, что следовало бы делать в течение года, — сделать в эти немногие дни. Труд был велик; минута впереди — опасна. Но столько духовного света соединено в этих трех памятниках классического мира, что вот уже много лет прошло, а все еще некоторые образы Демосфена и несравненные строки прощания Гектора с Андромахой — о которых никакого понятия не дает перевод — у меня остаются в душе. И вот — последний экзамен кончен. Придя, изнеможенный, домой — я залег спать; но от нервного ли возбуждения, от чего ли не спалось. Я велел подать самовар и в ожидании его взял лениво с пыльной полки книгу в старом кожаном переплете, давным-давно для любопытства (посмотрю как-нибудь, нельзя же не познакомиться) взятую у товарища и до сих пор, как драгоценность, хранимую мною. Это была Библия времен Александра I, мельчайшим, славянским шрифтом напечатанная. Я был хотя и филолог и знал отличия литовских флексий от славянских, но читать по-славянски почти не умел. И, задрвав ноги кверху, ткнув книгу книзу в угол кушетки, — открыл и стал не столько читать, сколько «нукать» себя по странице. Говорю — почти не понимал. И вот в один вечер я почти выучился читать: по крайней мере к ночи глаза уже бежали по странице. Меня поразила совершенная новизна духа. И что-то до такой степени нужное, сейчас и всегда нужное, именно и специально мне, но, вероятно, и всякому человеку... Не умею выразить; сейчас — т. е. 20 лет спустя — я уже не умею формулировать 10
20
30
раздельно чувства, расчленив свои впечатления.

Другим «вкушением нового» были для меня сочинения К. Леонтьева и именно его горький и трудно одолимый пессимизм. Странно, что мы долго не читаем книг, которые сыграют в нашей жизни существенную роль, когда в то же время они валяются под боком. Я заказал себе купить Леонтьева в Москве; но когда мне привезли два тома отвратительно-сероватого издания, почему-то уже обрезанного («читай, читай скорее: даже разрезать не надо»), и я тоже «ткнулся носом» туда-сюда, в какой-то сброд передовых статей — я скучливо сунул их обратно на полку. И опять какой-то вечер, какая-то инфлюэнца, когда ничего серьезного делать нельзя было, — и я взял еще раз томы, за которые заплачено было 6 рублей, и нужно же было в них вычитать хоть на 6 копеек. Я попал на «Византизм и славянство». Попал... и заразился; как теперь многие (слышно) заражаются Ницше; как вообще существует в истории, в истории культуры, эта духовная зараза и заражаемость. 40

* о венце (греч.).

** «О государстве» (лат.).

Целый цикл моего развития был подавлен этим истинно благородным, истинно великим умом; умом — *горькой правды*, не умею лучше выразить. Но это — безнадежная философия, без выходов, без просвета. Много лет спустя я понял, где ошибка Леонтьева. Он вовсе не был христианином. Даже не был иудеем. Это — заскорюзлая старая баба XVII века, во всеоружии ума, остроумия, науки XIX века, в блистании эллинизма. Тот свет правды, древнейшей правды, первой правды, который поразил меня в Библии, — ему вовсе чужд. Но здесь долго и трудно было бы объяснять. Впечатление было огромное...

Я читал Хомякова с мыслью: «Вот — третья Америка». Увы. Просто я ничего не чувствовал. Перелистываю за страницей страницу, с ожиданием: «Ну, где же Америка?» Не могу здесь ни критиковать, ни разбираться, но констатирую простой факт абсолютной холодности. Все — прекрасно, все — шоколад, вкусно, но *не хлеб, но не вода жаждущему!* Именно получается впечатление ненужности. И я остался холоден, как Пальмер, которого ведь *ни в зем* он не убедил (Пальмер, колебавшийся англиканец, перешел после переписки с Хомяковым в католицизм).

* * *

Кто не помнит пушкинского стиха:

Жрецы ль у вас метлу берут?

Стих был осмеян; пронеслись десятилетия — и он жив.

20 Почему-то сочинения знаменитых публицистов не требуются, не ищутся, т. е. не составляют живой и нужной пищи живого общества.

Сочинения И. С. Аксакова изданы — и лежат неподвижно в магазинах, в то время как «Семейная хроника» его отца спрашивается сегодня, как спрашивалась и на другой год ее появления; статьи М. Н. Каткова, собранные в «полное собрание», так и не нашли себе покупателей, несмотря на все усилия его учеников распространить его имя; у многих ли, часто ли вы видите полное собрание сочинений Ю. Ф. Самарина, когда в каждой небольшой библиотеке вы находите стихотворения Алексея Толстого?

Жрецы ль у вас метлу берут?

30 Общество не любит и не хочет публицистики. Оно хочет, чтобы литература оставалась поэзией, чтобы она оставалась мудростью; в худшем случае — чтобы она оставалась настроением, без вмешательства в частности и подробности текущих дел, не обращаясь в «метлу», метущую ежедневный сор. Публицистику оно допускает, но как третьестепенное явление в литературе; и, составляя себе небольшую коллекцию любимых писателей, решительно исключает из нее публицистов, как бы ни было знаменито их имя, даже как ни велика была бы их историческая заслуга. Т. е. общество оправдывает пушкинский стих и как бы говорит писателям: оставьте мне «метлу», не хуже вас я сумею вымести сор из своей избы; останьтесь «жрецами», останьтесь ими по крайней мере настолько, на-

40 сколько хотите, чтобы хранилась о вас память.

И еще вспоминается стих Пушкина:

..буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые я лирой пробуждал...

Публицистика, в последнем анализе, и есть желчь, есть гнев; и вот еще причина, почему общество не помнит публицистики, не включает ее в элизий памяти своей. «Довлеет дневи злоба его» — довольно «злобы» сегодняшнего «дня», чтобы еще от прежних дней хранить ее и, с каждым днем накапливая, иметь перед собою, в виде «литературы», наконец, целые горы ее. Публицисты прошлого забываются — и слава Богу: довольно публицистов этого волнующегося дня, и они довольно отравляют нам аппетит к обеду. Нельзя, в самом деле, из-за литературы лишать себя утреннего свежего дыхания, спокойного разговора по вечерней заре и, наконец, — право же, это не преступление — вкусного обеда среди семьи. Общество хочет немножко жить, кроме того, что оно читает: нельзя жить в отравленном воздухе, в воздухе вечного гнева и раздражения, — и вот почему от-носительно всех публицистов века минувшего и нынешнего:

Sit vobis terra levis*.

Но ведь есть же запомнившиеся публицисты, напр. Руссо? Руссо?.. Нет — это был момент психической жизни европейского общества; он не мел «метлою», или, точнее, он смел своей метлою целое общество, целую фазу его развития, но потому что в исторически развивающемся обществе он явился как перелом сознания, как кризис характера и настроения. Руссо — это минута жизни в европейской цивилизации; ее момент — а не лицо только, не человек, не писатель; и вот единственная причина, почему в нем запомнились *писатель, человек и лицо*. Но как основательно забыты Гольбах, Ла-Метри; даже как забыт Вольтер: возможно ли представить теперь человека, с волнением читающего который-нибудь из 95 томов «Oeuvres complètes» ** его?

Sit iis terra levis***

* * *

Благочестивый составитель нашей первой Летописи записал, что, когда св. Андрей Первозванный пришел на север Черного моря и водрузил в пределах нынешней России крест — конечно, осьмиконечный, — он нашел уже здесь любимиый народный обычай: баню. Именно летописец записал, что нещые человеки, натопив до невозможности огромную кирпичную печь и наплескав туда воды, входят в облака горячего пара и долго и больно хлещут себя веником. С тех пор «много воды утекло», но баня стоит; князья воинствовали, Москва их смирила; Москва померкла, — но баня все стоит; вся Россия преобразована, но баня не преобразована. Баню очень старались «выкурить»: Лжедмитрий игнорировал ее; «отечественные» писатели смеялись над нею, указывали на заграни-

* Пусть будет пухом вам земля (лат.).

** «Полное собрание сочинений» (фр.).

*** Пусть будет пухом им земля (лат.).

цу, что «вот за границей...». Но баня устояла; мало того — она пошла сама за границу, потребовала экспертизы докторов и теперь, заручившись всеми патентами, менее чем когда-нибудь, думает уступить натиску цивилизации.

Баня глубоко народна; я хочу сказать — русского народа нельзя представить себе без бани, как и в бане собственно нельзя представить никого, кроме русского человека, т. е. в надлежащем виде и с надлежащим колоритом действий. Если вы хотите кого-нибудь сделать себе приятелем и колеблетесь, то спросите его, любит ли он баню: если *да* — можете смело протянуть ему руку и позвать его в семью вашу. Это — человек *comme il faut* *.

Обычай бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция. Во-первых, баня архаичнее, т. е., с точки зрения самих англичан, — почтеннее: она более, нежели конституция, историческое *comme il faut*; во-вторых, она демократичнее, т. е. более отвечает духу новых и особенно ожидаемых времен. Идея равенства удивительно в ней выдержана. Наконец, английская конституция для самых первых мыслителей Европы имеет спорные в себе стороны; бани никаких таких сторон не имеют. Но самое главное: в то время как конституция доставляет удовлетворение нескольким сотням тысяч и много-много нескольким миллионам англичан, т. е. включая сюда всех избирателей, — баня доставляет наслаждение положительно каждому русскому, всей сплошной массе населения. Наконец, она повторяется через каждые две недели, тогда как наслаждение парламентских выборов, проходящее живительной «баней» по народу, получается несравненно реже. Мы уже не говорим о том, что выборы — суэта, грязь, нечистота, во всяком случае тревога и беспокойство для всех участвующих; баня для всех же — чистота и успокоение.

Баня имеет свои таинства: это — «легкий пар». Кто не парится, тот, собственно, не бывает в бане, т. е. не бывает в ней активно, а лишь презренно «моется», как это может сделать всякий у себя в кухне, как это сумеет всякий чужестранец.

«С легким паром», — эту фразу неизменно произносит каждый входящий в баню, ни к кому не обращаясь и всех приветствуя. Баня уже самую мысль своею располагает к благожелательству — и это есть одна из самых тонких ее черт. Она проста и безобидна; она есть чистота на первой и самой необходимой ее ступени — физической; она — поток общения и какого-то прекрасного мира; она, наконец, представляет собою периодическое возбуждение, поднятие сил, необходимое всякому, кто серьезно трудится.

* приличный; букв.: как должно быть (*фр.*).

ПАМЯТИ УСОПШИХ

1. О. И. Каблиц (Юзов)

4 октября 1893 г. умер *Осип Иванович Каблиц*, более известный под псевдонимом *И. Юзова*, автор книг: «Русские диссиденты», «Староверы и духовные христиане» (СПб., 1881 г.) и «Основы народничества» (второе издание в 1893 году). Покойный занимал в нашей литературе очень определенное и крупное положение: он явился основателем и главою целой партии общественного и литературного движения, отделившегося от радикального лагеря по своим стремлениям, еще слитого с ним по созерцанию и, как в том, так и в этом, частью слитого и частью разделенного со славянофильством. *Народничество* — любимый термин покойного — было символом любовного и внимательного отношения к народу, прислушивания не к одной только нужде его (радикальное направление), но и к его думам, чувствам, всему нравственному и умственному строю, без какого-либо признания за собою права насильственно изменять его, но и без чувства обязанности быть с ним безусловно слитым — что часто не может быть сделано искренно.

Достаточно было хотя несколько знать покойного или раскрыть и прочесть несколько страниц из его книги, чтобы почувствовать в собеседнике или авторе прежде и ярче всего золотое сердце. Признаемся, выслушивая иногда его умные и сложные соображения или ссылки на авторитеты, еще недавно так значущие и теперь так поблекшие (как Спенсер и др.), мы никогда не могли быть так внимательны к ним, как этого желал бы покойный: сквозь все эти рассуждения и ссылки мы видели нечто гораздо более светлое и прочное, чем оне, — *совесть*, которая никогда и ни с кем его не допустила бы до насилия. Отсутствие притеснения, в какой бы форме оно ни совершалось, от кого бы ни исходило, ради каких бы целей ни начиналось, было краеугольным камнем всего его мирозерцания, всякой беседы, каждой страницы его писаний; и, с тем вместе, он вовсе не был либералом. И в самом деле, либерализм в наше время есть только синоним безразличия, умственного и нравственного бессилия; кто уже не может чему-нибудь поверить, не имеет силы твердо высказать и защитить какое-нибудь положение, кто не любит более, не исповедует, не ищет нового, не помнит старого — тот все еще достаточен, чтобы быть либералом. Он «свободен» — от чего? От всего, что делает человека сильным и достойным, нужным в истории; от этого либерализм в наше время так часто сливается с узким, замкнутым в себя эгоиз-

мом — и едва ли не с ним одним сливается прочно, «без разрыва и перегиба», как сказал бы геометр. Невозможно представить себе ничего более противоположного этому, как то, что представлял собою покойный: сухощавый, с порывистыми движениями, он казался вечно возбужденным, горел сочувствием или негодованием и, кажется, не было утверждения, которое бы он спокойно принял; не было отрицания, которое бы он равнодушно подтвердил. Личное начало, живой, индивидуальный ум, все различающий, из всего выбирающий, всегда неугомный, — ярко светились в нем.

10 Смотря на него, выслушивая его, сколько раз приходилось думать: вот типичный выразитель выздоравливающего нашего общества, которое еще недавно так трудно и тяжело болело. Но воспреобладавшие течения своей души он сумел сообщить и очень широким слоям своих читателей, и это принадлежит его таланту и трудолюбию и составляет крупную его заслугу пред обществом и историей.

Осип Иванович Каблиц родился 30 июня 1848 года, в селе Требетове, Поневежского уезда, Ковенской губернии, и был сыном отставного поручика; крещен был «по опасности» в 1850 г. в римско-католическую веру, но десяти лет, в 1858 г., перешел в евангелическо-лютеранскую. Образование получил в Киевской второй гимназии и в Киевском университете, откуда, не окончив курса, принужден был выйти, по горячности и пылкости своего характера. Затем, он 20 принимал участие в разных кружках 70-х годов и, одно время, задумав изучить, сравнительно с русским, быт американского рабочего, без всяких средств и преодолевая все затруднения, пробрался в Соединенные Штаты. Как это и бывает нередко с нашими, отведавшими «заграницы», время ознакомления с нею было для него временем возврата к родному: как он сам сообщал мне однажды, только там он понял, до какой степени внешней свободы еще недостаточно, чтобы человек не был притеснен, унижен, оскорблен в своем достоинстве, как и мягкость нравственного народного характера сберегает человека от всего этого более, чем влияние учреждений. Никогда не забуду, с какою отрадой я слушал, зная в нем лютеранина и человека «свободных идей», когда о народе нашем он говорил как 30 о самом светлом, терпимом к другому, нетребовательном для себя, среди которого, поэтому, живется легче, чем среди всякого, какого бы то ни было, другого. Между прочим, мы говорили об общине, которой он был горячим сторонником; я ему указывал, что эта форма владения и труда находится в гармонии с духом нашего Православия и не может быть понята без связи с ним в своей особенной устойчивости у нас только *. Но здесь начинались между нами разногласия...

* Мы хотим сказать, что есть некоторая связь, гармония между формами труда и владения у всякого народа и его культурными чертами в иных ничего общего с трудом и владением не имеющих сторонах; что в том общем узле, который мы называем «духом народным», коренится не только его антипатия к известным формам управления, к тому или иному церковному строю, но и к тому или иному способу производить работу, относиться к собственности. 40 В частности, общинное или мирское владение землею, как и артельное начало в труде, находятся в незамечаемой обыкновенно гармонии с православием — этим строим церкви *соборным*, то есть в иной и высшей сфере также *общинным, религиозно-«мирским»* («*мир*» мы берем здесь в смысле «целого», будет ли то церковь, государство, село, толпа людей). Можно думать, что это соборное начало из церкви проникло и в дух народа нашего, отразившись в нем как стремление к внутреннему согласию частей, к устранению какого-либо антагонизма в них, их

Вернувшись из Америки, он был некоторое время наборщиком в одной из петербургских типографий, и этому, быть может, следует приписать слабость его зрения, на которую он иногда жаловался; позднее он определился на государственную службу, начал писать в разных периодических изданиях, сперва под псевдонимом Юзова и позднее под собственным именем И. Каблицы. Отдельные статьи мало-помалу закруглялись, заканчивались в развитии своего содержания; так выросли сборники, целые книги, которые мы назвали выше. По мере того как его умственное развитие подвигалось вперед, он отделялся от одного течения нашей жизни и приближался к другому, всегда оставаясь, впрочем, самостоятельным. Но все это мы отметили уже выше и не считаем нужным повторять. 10
Можно сказать, каждый шаг его движения в литературе оспаривался, подвергался насмешке или осуждению: его не приветствовали те, к кому он шел; злобно провожали те, от кого он отходил; он был одинок и, однако, остался верен правде, которую так прекрасно, так упорно искал всю жизнь.

сильнейшему единству, скреплению; община, естественно и ранее возникающая, попав под этот особый душевный склад, нашла в нем укрепление, защиту, благоприятный момент для дальнейшего развития; как ранее же и естественно возникнув, она в формах церковного строя и — еще глубже — в складе народного духа нашла на Западе отрицательное условие, в силу которого и погибла. И в самом деле, слишком понятно, что германскому индивидуализму, в сфере труда, гораздо более отвечает одиночно стоящая ферма, не стесняемая личной инициатива, 20
что все и установилось у этих народов; как позднее, под влиянием тех же стремлений, они работали и церковь, где каждый молится у себя и по-своему, мало думая о слиянии, о единстве с другими. Напротив, патронат — обширное личное землевладение с миром подчиненных себе других владений — в высшей степени отвечает складке романского духа, который и в развитии церковных форм пришел к созданию строгого и насильственного единства, соединению *под собою*, но не в себе многих; что крупное землевладение развито более всего в Англии — это не противоречит сказанному: и там возникло оно в католическую пору, и даже под особенными благословениями римской церкви (норманское завоевание). Таким образом, *ферма, патронат, община* суть нормы землевладения в разных европейских странах, соответствующих трем 30
разным видам церковного строя у них и восходящие как к первому источнику своему к особенностям их психического сложения. В будущем каждой из этих норм, вероятно, предстоит очищаться от всяких элементов другой, возводиться к совершенству и строгости своего типа; однако это развитие может не иначе получить себе место, как в гармонической связи с развитием по тому же типу и остальных сторон жизни. В частности, у нас судьбы общины неотделимо связаны с судьбою церкви; с нею она будет укрепляться, не иначе как с нею и ослабеет или падет. Разница в народном и нашем воззрении на общину заключается в том, что мы ждем от нее плодов в будущем, народ же видит в ней удовлетворение теперь; мы ищем только материальных выгод, народ же просто выражает в ней свой нравственный строй. Любопытно, что наиболее прочная и развитая община встречается у староверов наших, т. е. у людей, у которых, 40
кроме церковной, и нет почти другой жизни, которые пренебрегли мирским, здешним, ради верности духовному, как они его понимают. «Мир» как форма труда и жизни неотделим от отречения от мира, от некоторого пренебрежения к нему, в смысле светского, выгодного, земного; ибо что каждый нечто из своего теряет в нем — это ясно для всякого мужика, как и для экономиста, для крупного собственника; только разница в том, что последние не мирятся с этой потерей, будучи на ней одной сосредоточены, первый же мирится ради единства, слиянности себя с «миром», для «души».

Насколько мы можем судить, в его идеях не было чего-либо нового и оригинального; там или здесь его мысли можно было найти ранее; но он сам, но его нравственный образ, столь жизненный, свежий, незапятнанный, вот что останавливало невольно внимание в эпоху столь тусклую, столь бледную нравственной энергией, как наша. Повторяем, невозможно было провести несколько времени в его обществе, чтобы не почувствовать к нему совершенно особого уважения. И в самом деле, подумаем даже об этих внешних фактах, но столь много говорящих о внутреннем содержании: чего искал он, проходя по проселочным дорогам целые губернии, ночуя в деревнях (под видом странника), всюду присматриваясь к жизни темных, забытых людьми и не забытых только Богом, селений? Чего нужно было ему за океаном? Себе ли искал он чего? И так, если всю душу свою он положил для ближнего, как дорог он должен быть этому ближнему, как близок был к нему Бог.

Будучи всегда очень скромнен и неискателен, покойный довольствовался скромным занятием в одном из наших департаментов, далеко не отвечавшим его умственным силам и обширной ознакомленности со всеми почти практически важными вопросами нашей государственной жизни. Товарищи относились к нему с высоким уважением и горячею любовью; для многих из них беседа с ним доставляла и нужное утешение, и помощь, — всякий находил у него чего искал, если искал доброго. Мир и покой душе твоей, неутомимый труженик, дорогой товарищ, «в селениях праведных, иде же несть болезнь, печаль и воздыхание, но жизнь бесконечная»... как, может быть, ты не ожидал; но Божия правда — не человеческий суд, и сквозь несвязный, поверхностный лепет твоего языка, который один мог быть понятен людям, Бог видел чистые движения твоего сердца, смысл и источник которых для тебя был темен, для них — незнаком и один во всяком человеке истинно ценен.

1893 г.

2. Ю. Н. Говоруха-Отрок

(† 27 июля 1896 г.)

30 Тесен в литературе нашей круг людей, остающихся еще верными заветам, смыслу и духу земли русской. Против широко раскинувшихся рядов противников эта кучка гонимых, эта партия литературных гёзов, едва имеет несколько разрозненных имен. Грустна судьба их. Без личного счастья, без какого-либо привета, в нужде и часто унижении, задыхаясь среди безжалостной клеветы, они отстаивают предметы своего культа с очень слабою надеждой на их сохранение и только с верой, что эти предметы суть лучшее, драгоценнейшее из всего действительного. Угрюмо проходит их жизнь; они почти не перекидываются словом друг с другом, едва имеют возможность не терять из виду один другого. И когда 40 выбывает товарищ — едва имеют время оглянуться на него и сказать торопливо: *вегная память.*

Так свежа еще утрата незабвенного Н. Н. Страхова — и вот потерян Юрий Николаевич Говоруха-Отрок. Да, нет в нашей партии ликования, огней; противники могут веселиться — все угрюмо и печально у нас.

Они не были связаны дружбой — за недосугом; лишь проезжая через Москву, Страхов пользовался несколькими днями остановки и почти постоянно проводил их у Говорухи-Отрока. Он высоко ценил ум покойного и его образование. Когда однажды пишущему эти строки случилось говорить о печальном состоянии текущей литературы, он с живостью указал на Юрия Николаевича и назвал его критическую деятельность «светлым явлением нашей литературы за последние годы». Он находил в нем существеннейшую черту критика. «Любовь к литературе в ее *собственных* задачах и оценку каждого порознь литературного произведения с точки зрения *правильности* способов, в нем употребленных для осуществления такой задачи». «Всегда он умеет схватить, — продолжал еще маститый критик, — главную мысль обсуждаемой статьи и подвергает ее суду основательному и точному». Особенно он ценил разбор, им сделанный, литературной деятельности Тургенева; менее удачным ему представлялся критический очерк произведений Вл. Короленко, и он тогда же писал ему о своем неудовлетворительном впечатлении; он не имел уже случая прочесть истинно превосходное раскрытие, им сделанное, музыки Некрасова (в весенних номерах «Московских Ведомостей» за 1896 год). Однако заветные его темы остались невыполненными; необходимость писать еженедельно, крайнее утомление сил к месяцам летнего отдыха — все это год за годом отодвигало выполнение долго лежачего им плана: написать полный и обширный разбор «Гамлета», любимейшего его произведения в европейской литературе*.

Как ни странно будет сказать, этот приземистый, черноволосый, типично *русский* человек — был сам Гамлет; точнее, та трансформация этого вековечного и универсального типа, которая для русской действительности была отненена и обрисована такими верными и тонкими штрихами Тургеневым. Говоруха-Отрок обильно пережил глубочайшие сомнения; он был благороднейшая и *тонкая* натура, тонкая именно в ощущениях истинного и ложного в человеке, достойного в нем или только грубой подделки под достойное. Печальная полузадумчивость никогда почти не оставляла его; и вы чувствовали, как бы ни мало времени пробыли с ним, что между предметом текущего разговора и главным устремлением его мысли есть непереступаемая черта; что есть эта черта между предметами всех его видимых забот и центром его души; что литература, писание, не только не есть для него ремесло, но и не есть даже самое священное; что он охотно отдался бы погружению в себя, простому *тегению* своих мыслей — о предметах ли, вопросах ли, но во всяком случае о чем-то, что для него несравненно ценнее самой литературы и что он задевает в ней не иначе, как побочно, но так, что вы чувствуете, что при этом побочна для него именно литература. Он был реалист в том благородном смысле, что словесное искусство освещалось для него некоторым высшим светом, идущим от реального; и он был мистик, потому что это реальное хотя и могло бы быть названо «жизнью», но однако не имело ничего общего с «делами и днями», бегущими в ней, с частностями, хлопотами, — что это была скорее *мысль жизни, нежели ее фактическое содержание. Все освещалось в по-*

* Редакция «Московских Ведомостей», вероятно, выполнила бы невысказанное желание многих любителей литературы, если бы дала сборник лучших его критик. В последнем случае, думается, едва ли есть нужда сохранять его некрасивый и бесцветный псевдоним-отгество (Николаев).

ле его зрения глубоким, неясным, несколько матовым светом; в этом свете он созерцал и любил жизнь, любил ее, как носительницу этого света, — т. е. *не самостоятельно*; литературу любил он только как третье. И вот отчего самый взгляд его на литературу был глубок и чист, никогда не был тревожен, вот отчего он никогда не стал публицистом в критике, имея все внешние и технические средства к этому.

Отсюда же некоторая небрежность в нем, как бы невнимательность к писаниям своим, в которых далеко не выразилось богатство его сил и тонкость натуры; случайность избираемых тем; не избегание поводов, вызывающих на слово, но его вовсе не требующих, и, однако же, ко всем этим поводам не нервное, не нетерпеливое отношение — как бы чуждое полного напряжения сил. При всякой теме он не терял сокровища своих размышлений; и ни в одной не высказал его прямо. Это как бы равенство для него *всяких* тем, отсутствие вот в *эту* минуту потребности об *этом* именно сказать — ослабляло его силы как пишущего, сообщало некоторую идейную вялость порознь взятым его трудам. Есть именно *рассеянность* в его писаниях — та рассеянность, которая бывает у говорящего, когда он не занят очень лицом, которому говорит, и вопросом, который предложен ему этим лицом. С тем вместе, предметом, фиксировавшим его внимание, едва ли была мысль, *теоретический* вопрос — и здесь разграничивающая черта между ним и Страховым: Страхов также редко был *возбужден* в своих писаниях, но он ровным и спокойным языком высказал целый обширный организм мысли, и побуждением к писанию для него было именно, член за членом, высвободить из себя этот организм — пожалуй, в каком угодно порядке, но *весь*. Рассеянность Говорухи-Отрока была, скорее всего, рассеянность чувства; он был фиксирован на некоторой мысли сердца, не развивающейся, не нудящей братья за перо. Скорее он отрывался от нее, чтобы взяться за перо и начать говорить о предметах не слишком интересных, но среди которых нет-нет и вдруг мелькнет нечто, что поддается освещению этого постоянного чувства, что можно осмыслить им или сознать в нем.

По мелькающим там и здесь словам, по оживленности, которая вдруг овладевает тут или в ином месте его речью, можно даже конкретнее отгадать это чувство: это — некоторое ощущение вечности, в противоположность временному. Если бы усопшего спросить, который из атрибутов Божиих, обычно исчисляемых, ему представляется особенно понятным и необходимым, — он, наверно, не назвал бы ни разума, ни благодати, ни святости и особенно могущества: он, наверно, назвал бы *вегность* и, может быть, назвал бы еще *милосердие*. Вот два угла, под которыми он особенно хотел созерцать мир; точнее, без которых мир ему не был бы нужен. Нельзя забыть здесь *второго* фельетона из двух, посвященных им Антону Рубинштейну (кажется, по поводу выхода его книжки о музыке и музыкантах); нельзя не припомнить глубокой любви, с которой он остановился и потом еще все возвращался, к прекрасному и трогательному рассказу Вл. Короленко «В дурном обществе»; да и множество других подробностей в его описаниях. Эту-то вечность он особенно любил, на ней фиксировал свой взгляд; этого-то милосердия он особенно хотел, без него не понимал жизни, отвергал людей: отсюда, как уже последующее, его невнимание почти к политическим тревогам своих дней, его гуманизм, демократизм его ощущений и симпатий.

И наконец, отсюда его *индивидуализм* — эта еще гамлетовская черта. Он вовсе не имел «общественных» чувств; кажется, в юности он принял участие в некото-

ром массовом движении; кажется, для интересов и успеха этого движения он пожертвовал, где-то на юге России, родовым именем своим (он был дворянин), — но это ясно лежало вне основных черт его характера. В его писаниях общество, его судьбы, тревога о его будущем не занимают никакого места; вероятно, смена царствования в 1894 году и возможная перемена «политики» не вызвала никакого в нем вопроса, ни недоумения, ни страха. Он был весь погружен в то единственное, что в истории, в народе можно было созерцать под углом вечности, — в человека. Черта человеческого характера, выведенная в том или ином литературном произведении, черта характера, не скрытая в себе писателем, — его занимала более, чем всякий новый закон или предполагаемая важная мера. Вопрос о гибели парохода «Русалка», т. е. технический и административный, не мог бы его занять; иное дело, если б у погибшего на «Русалке» моряка нашлась записная карманная книжка, — он с интересом раскрыл бы ее. Человек, его лицо, его сердце, и никогда «человечество» 60-х годов, — его занимали. И в этом он представляет собою заметное и ценное звено перехода тех лет в нечто новое и противоположное. Счастливо и благодатно сухие тревоги политики оставили его; счастливо и благодатно взор его упал на то вечное, в потоке чего эти тревоги проходят, как дни и ночи землевращения в течении околосолнечном.

Он нет-нет и все возвращался к «Гамлету»; помню, он любил цитировать из него части этого монолога:

Окончить жизнь — уснуть,
 Не более. И знать, что этот сон
 Окончит грусть и тысячи ударов —
 Удел живых... Такой конец достоин
 Желаний жарких! Умереть... уснуть...
 Но если сон виденья посетят?
 Что за мечты на смертный сон слетят,
 Когда стряхнем мы суету земную?
 Вот что дальнейший заграждает путь!
 Вот отчего беда так долговечна!
 Кто снес бы бич и посмеянье века,
 Бессилье прав, тиранов притеснение,
 Обиды гордого, забытую любовь,
 Презренных душ презрение к заслугам,
 Когда бы мог нас подарить покоем
 Один удар? Кто нес бы бремя жизни?
 Кто гнул бы под тяжестью трудов?
 Да, только страх чего-то после смерти:
 Страна безвестная, откуда путник
 Не возвращался к нам — смущает волю:
 И мы скорей снесем земное горе,
 Чем убежим к безвестности за гробом.

Вот удивительное сплетение земного с небесным; вот взгляд сюда, на землю, брошенный под углом *не раскрытых*, но *ощущаемых* небесных тайн.

Пишущий строки эти видел покойного не более 3–4 раз, и также при случайном проезде через Москву. Помнятся обширные две комнаты, с неуклюжими книжными полками, закрывавшими большую часть стен: бездна книг, и из них особенно выделялись громадные фолианты отцов Церкви, в кожаных переплетах, с белыми серебряными надписями на корешках и красным обрезаем; Тургенев, кажется, был его любимец и стоял в прекрасном шагреновом переплете. За исключением богатства полок, все было пустынно в комнатах; помню скудный обед, неизменную рюмку водки перед щами, которая при оживленном разговоре удваивалась, даже утраивалась; деревянные ложки, всегда мне напоминавшие детство и археологию; была какая-то прекрасная, умная запустелость, нечто печальное и задумчивое в квартире и хозяине: «Старый бурш, старый 40-летний studiosus, — думалось, глядя на него, — сколько ты бурь пережил, от шумных сходок 70-х годов и до этих отцов Церкви?». Он весь ушел в себя; помню его восклицание: «Да, я ничего не любил читать позднее XVII века — нахожу, что чем позже, тем люди начинают скучнее, *вялее* писать: живость и правда только в старых книгах». Однажды, идя по улице, я, смеясь, сказал ему: «Что, если представить апостола Павла вставшим среди живых, и вот он входит, со своим словом... в Литературно-художественный кружок, в Петербурге...». Говоруха-Отрок расхохотался: «Конечно, конечно, ничего не вышло бы; не произвел бы решительно никакого впечатления». Человек *здесь* умер; в значительной степени в новой цивилизации человек *умер*. Вот источник того, что звали или могли бы в покойном назвать «консерватизмом». Некоторая глубокая мизантропия лежала в основе этого — т. е. то странное, в высоких лишь душах соединимое, чувство почти обоготворения человека в идеях, в представлениях, в некоторых *запомненных* образах и — глубокого негодования к нему же, насколько он мечется в глаза: плод недостаточного углубления в отцов Церкви, недостаточного укрепления в богопознании, которое отмывает от человека эту желчь идеализма и дает силу ему, меньше любить «всяческая во всем». До этого возросли *избранные* — отец Амвросий-Оптинский, Феофан Тамбовский-затворник, Иоанн Кронштадтский, Климент Зедергольм — счастливы, труженики, обрадованные за правильный труд.

Прекрасно и благородно вполне было слияние усопшего с Православием — этим «путем и жизнью», «иде же несть ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная». Православие есть вечная религия, в противоположность временным — католицизму и протестантству: вечная, ибо она не раздражает, как те, но удовлетворяет душу человеческую и все меры ее искания, все степени ее тоски. Религия совершенной простоты и совершенной мудрости. Покойный теоретическим умом не был, конечно, в достаточной мере погружен в ее научение; и так же он иногда трудился, писал, не справляясь с отцами Церкви. Но, думается, как и многие уже теперь, он делал все это как бы *условно* — т. е. при молчаливом соглашении отмести все в своих мнениях и осудить все в своих поступках, чему одобрения не произнесла бы Церковь. Этот духовный строй, напоминающий канун иноческого пострига, когда все еще отдается сегодня миру с тем, чтобы завтра от этого всего отказаться, т. е. уже *сегодня* с некоторою *условностью*, — есть строй лучших, нежнейших душ нашего времени, так чуждых специфического самоощущения 60-х годов: личной автономии, самонадеянности, гордости.

В жизни покойного был случай, очевидно повлиявший на его слияние с Церковью во всех ее частностях и подробностях, со всею ее *полнотой*; нижеследую-

шие строки, наверное, будут в печати прочтены лицом, рассказывавшим мне его, — итак, доверие может быть дано этим строкам. В юности Юрием Ник. был пережит роман — с печальным исходом: любовь *ее* не была разделена *им*, и она умерла, с глубокою верой в Бога, но насильственно. В любви есть столько *самоопределения*, ее пробуждение и угасание так мало зависят от нашей воли, что лишь никогда не любивший мог бы осудить покойного за то, что возбужденное им чувство он оставил неразделенным. Но — и здесь сказывается поворот духа от самонадеянных 40—60-х годов к совсем новому настроению — то, что прошло бы у человека прежней структуры как горделивое воспоминание (тип Печорина, кое-где, в слабых чертах, повторенный и у Тургенева), в памяти Юрия Николаевича легло как воспоминание мучительное, может быть, — как незабываемый укор; во всяком случае — как тревога, жалость. Эта часть факта была передана покойным рассказывавшему мне лицу независимо от следующей: всем знавшим покойного известно было, что какое-то женское имя, но не имя матери или сестры им подается постоянно в Церковь к поминанью «за упокой». «Одна женщина, — рассказывал Говоруха-Отрок, — нередко виделась мне во сне, всегда печальная и одетая в черное; раз моя дальняя родственница отправилась на богомолье, и я, дав ей записочку, попросил ее отслужить панихиду об этой покойнице у мощей местного угодника. Прошло не меньше двух недель, и снова она привиделась мне во сне, но, к удивлению, одетая в белое, только с черною каймой на платье, и без печали в лице. Прошло еще несколько времени, и снова я встречаю свою родственницу: с первых же слов она стала извиняться передо мною, говоря, что по болезни не попала тогда же в монастырь и только через две недели могла исполнить мою просьбу. Изумленный, я стал расспрашивать подробнее о числе и дне недели, и она назвала день, когда мне приснился удививший меня сон». Кто следил за статьями покойного, может припомнить, что в них не раз и не два упоминалось «о мощах св. угодников, к которым спешит народ русский и несет туда свои скорби», о воспитательном значении для народа монастырей и паломничеств. В свете приведенного рассказа это становится ясно: покойный писал об *испытанном*.

1896 г.

З. Н. Н. Страхов († 24 января 1896 г.)

I

Покойный Страхов всю жизнь ожидал этих *залогов* — залогов действительности того, о чем философы и поэты смутно гадают, а Церковь твердо молится на земле. Логически и психически он был подготовлен к ним; но не было залогов, и он умер с верой менее ясною, чем Говоруха-Отрок.

Помню, ранее напечатания статьи своей «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого», я передавал ему доказательства бессмертия души, там развитые. Он слушал меня нетерпеливо и, когда я кончил, сказал: «Душа бессмертна не от того, как вы говорите, что она есть один из принципов бытия и что принци-»

пы неразрушаемы, но потому, что это твердо обещано нам св. Писанием». Я был изумлен (потому что подозревал в нем скептика) и сказал — что, уже не помню. «Да, да, обещано и Ветхим заветом, и Евангелием, — он привел 1–2 текста на память, — и этого совершенно достаточно». Он относился с величайшим неудовольствием, когда богословы (профессора духовных академий), между прочим в «Вере и Разуме», пускались в физические, астрономические и физиологические исследования, чтобы подтвердить тот или иной свой тезис. «Они не уважают, — говорил он, — своего предмета; им не кажется достойным заниматься религиею, и вот они берутся за чуждые им области физических и естественных наук». Он не любил смешения областей знания; но область религиозную он признавал не только этически, но и трансцендентно. Уже идя за его гробом, я разговорился о религиозных мнениях покойного с г-жою Алексеевой, переводившею на немецкий язык его книгу «Мир как целое». «Что покойный (сказала она мне) твердо был убежден в бессмертии души — это я знаю из следующего. Однажды я спросила его, не знает ли он книги, где я могла бы прочесть об Элевзинских таинствах. Он дал мне из своей библиотеки; я заинтересовалась ею и, помню, в разговоре, передавая — в составе таинств о вкушении посвященными ячменных зерен в связи с идеями о бессмертии души, сказала: „Это, без сомнения, было у них аллегорически, как и в причастии мы аллегорически принимаем тело и кровь Христову“». «Как вы говорите: «аллегорически», — воскликнул он, — нет: это — есть, это в самом деле», — без пояснений, что „в самом деле“; но по связи разговора было ясно, что он высказал полноту веры в таинство причащения, как оно исповедывается Церковью. В одном из писем ко мне, из-за границы, он, передавая содержание проповеди православного священника, между прочим, писал: «Всем, кажется, она понравилась, а мне было досадно, потому что он говорил ересь. Он говорил о двух заповедях Евангельских — любви к ближнему и любви к Богу — и указывал, что первая особенно важна. Но ведь это не так: в Евангелии сказано, что именно к Богу любовь есть первая заповедь, а любовь к человеку — вторая, и, конечно, это правильно». Я упомянул о его нелюбви к богословам, пускающимся в физику; но вот не однажды он с восхищением заговаривал со мной об Иоанне Кронштадтском и всегда прибавлял при этом: «И не удивительно ли, что такой человек явился на самом крайнем пункте нашего соприкосновения с Европой — даже не в Петербурге, а в Кронштадте» (кажется, он связывал эту радость свою со славянофильскими своими чаяниями). — Однажды, года 3 назад, произнеся это, он прибавил: «Но вот чего вы, Вас. Вас., не знаете: Иоанн Кронштадтский вовсе не единственное у нас лицо: есть несколько таких же; то есть они делают совершенно то же, что он, — и только не пользуются этою славою, не имеют такой известности». Я боялся разрушить это твердое слово, услышать ограничения, поправки и поэтому не спросил имен и местностей. Да и зачем это? Зачем заглядывать в имена, местности, годы? Не этот ли скептицизм, это рвение Фомы во все «вложить палец», подсек и яркость веры у Страхова и лишил его, без сомнения, величайшего счастья, за которое он отдал бы и свою неоцененную библиотеку, и множество своих знаний... Его отношение к религии, как я уже сказал, было полно, но не ярко, не напряженно; форма веры была целостна, не разрушена, но была бледность в ней, как бледны бывают полные черты в слабо проступившем негативе. Взамен этого, было нечто другое в этом чувстве, и на весах Божиих не сосчитано, есть ли это меньшее: постоянное *памятование*

религии. В какую бы минуту вы ни спугнули мысль его, но эта спугнутая мысль отбегала именно от религии, чтобы обратиться — конечно, на минуту и не с настоящим интересом — к предметам конкретным, к вопросам знания, философии, к бегущим интересам политики. Невозможно представить себе, чтобы покойный просто *присутствовал* * там, допустив себя *видеть, слышать* шутивное отношение к религии; но вот вы заговаривали *положительно* — и какое-то бессилие сказывалось в нем. Он именно отрицал отрицания и ненавидел их, презирал; но его невозможно было ввести в утверждения: он поднимал палец и требовал указать «рану», куда бы мог вложить его и ощущать. Раз, в обычную у него «Среду», среди довольно большого общества писателей, гр. А. А. Голенищев-Кутузов передавал содержание им прочтенной — кажется, в рукописи — брошюры, где были собраны медицинские удостоверения об исцелениях в Лурде: «Опущенная в источник девушка, страдавшая костоедой ноги, по вынутии из воды оказалась исцеленною...». Страхов вспыхнул: «Как исцеленною? Что же именно сделалось у нее с раной?». Добрый и прекрасный поэт растерялся: при чтении рукописи он не обратил на это внимания или в самой рукописи не было ничего. Страхов продолжал: «Пишут Бог знает что и как: она исцелела, было страдание кости; что же, восстановилась ли целость кости? или рана зарубцевалась? Может быть, она только снаружи затянулась кожей или нога только перестала чувствовать боль: я не могу верить тому, чего не знаю, и вы не можете мне даже описать факта». Он равным образом прямо негодовал на неясность сообщений проф. Доробца об исцелении от сиккоза: «Пишет *стоял* (в храме Спасителя) и *ничего особенного не чувствовал*, ну, а не особенное? Ведь *что-нибудь* он чувствовал же, думал о чем-нибудь?». Но в самой ревности негодования я замечал именно психическую и логическую готовность Страхова принять чудо: никогда над рассказом я у него не видел ни улыбки, ни шуток, ни даже простого невнимания: именно всегда какой-то порыв, мысль чутко слушающая и палец, уже готовый вложить-ся в «рану»; но не было раны, не открывались точные, научные формы знаменения, не было латинского названия исцеленного мускула, и он, не отвергая, переставал слушать. Был ли прав он? Был ли он не прав? — трудно судить. Нельзя, не следует, не должно ожидать, чтобы исцеленный в том светлом сиянии души, благодарной к Богу, какое переживает, требовал скорее перо, бумаги, вынимал циферблат часов и точно записывал факт; так, но и прав неверующий, не зная, *зему* в точных формах он должен верить. Однако исцеленный и не приглашает никого верить: он выражает просто сияние души своей; и в людях так много благородства, так много интимного понимания друг друга, что, взглянув на это сияние, и без слов они ощущают его причину и верят, почти удерживая, гоня доказательство. Тут если и есть доказательство, то психологическое: доказательство именно в благородстве, в относительной чистоте души человеческой: сам Страхов раз зло смеялся над Писемским, когда он в ряд «русских лгунов», наконец, увлекшись, поместил и шекспировского Ромео: но если люди всегда и только лгут, лгут одинаково в словах, в интонациях голоса, в том, что мы назвали «сиянием

* Однажды, в одну из «Сред», один из гостей неуважительно отозвался о Пушкине и, не замечая впечатлений или надеясь, что он «гость», впал в дальнейшую иронию. Сперва возражавший, Страхов через несколько минут предложил ему просто *замолгать* — что и было исполнено.

души», — почему, наконец, не лгал и Ромео перед Джульеттой, говоря о любви? Но есть красота, пробуждающая истинную любовь; есть истинные сердца, чувствующие любовь; есть правда в людях, от того только есть и поэзия; и, наконец, есть чудеса, есть религия.

Кстати, чудо Страхов определял как «нарушение какого-нибудь физического закона», временную и местную отмену его действия; я запомнил это определение и, забыв слово «закон», сказал однажды кому-то при нем: «Чудо есть нарушение которой-нибудь из логических и физических аксиом»; Страхов с живостью подтвердил: «Вот-вот».

- 10 Здесь я должен сказать, что Страхов вовсе не отвергал, что *весь мир* есть некоторым образом чудо, а не чудесное есть редкое в нем исключение. Раздраженный его требованиями «раны», в которую можно было бы вложить «персты», я встал однажды и, пройдясь по комнате, сказал: «Вот — чудо (то есть что я *иду*), ибо это вопреки всем аксиомам механики: 1) что движущее — вне движимого; 2) что движимое пассивно по отношению к двигателю; 3) что оно не останавливается до встречи с препятствием или иначе как от сопротивления среды и пр.». Он в высшей степени принял это; продолжая, я сказал ему: «Итак, весь живой мир есть чудо и также — вселенная, объяснить происхождение которой мы механически не умеем; даже самое притяжение тел (ньютоновское) — разве это механика? То есть разве это не факты, нарушающие принципы механики, местно и временно исключаящие ее законы? Но вот, из этих чудесных фактов следствие уже течет механически: и раз *гудно* тела стягиваются, а центробежная сила планет равна и противоположна по направлению этой стягивающей силе — планеты естественно, *механически* удерживаются в своих орбитах». Эта точка зрения была в высшей степени ему понятна; но она была слишком обща, и перейти от нее к Богородице, мощам св. угодников, чудесам исцеления не было возможности. Это давало основу для спиритуалистического только созерцания мира, но не для церковного; Страхов же, я видел, хотел церковного чуда; да, конечно, оно только и нужно. Спиритуализм — это пустыня; Церковь — это отчий дом. Оба суть не-
- 30 которое «место»; но одного нам не нужно, мы в нем погибаем; во-втором же — «жизнь бесконечная».

- То *постоянное памятование религии*, о котором я сказал, что оно было у Страхова, было именно памятование, *склоненное ухом к церковному*. Нельзя сказать, что он не допустил бы в своем присутствии кощунства над «спиритуализмом»: механические и вообще совершенно материалистические воззрения он оспаривал в длинных беседах, без тени какого-либо негодования к оспариваемому. Он именно не допускал кощунства там, где в спиритуалистическом начинало чувствоваться *лицо*: он этого лица не видел, не различал; не называл его имени; но вот вы подходили, чтобы его оскорбить, как пустоту некоторую, как мертвый
- 40 идол людского воображения, — и он с гневом и презрением вас отталкивал. Его «перст» был не вложен; он не дотянулся до осязаемой раны; но, значит, было же твердое у него чувство, что левее или правее, ближе или дальше в этой темноте, ему предстоящей, есть живая «рана», есть *тело*, присутствует *лицо*. Можно сказать, он ненавидел гораздо сильнее, чем всякие материалистические воззрения, так называемые «влечения» к религии, исходившие из эстетических или этических иллюзий: был целый ряд «религиозных» писателей (и поэтов), которых он прямо не выносил за этот мотив их религиозности; т. е. не читал их, не видел, от-

вергал; не хотел, чтобы вы их знали. Помню, едва я переехал в Петербург, из ближайшего соседства к Татеvu, он стал меня внимательно расспрашивать о тамошнем труженике, известном Рачинском; почти боязливо он спросил меня: «Не есть ли его отношение к религии *эстетическое* только? Не любит ли он только *красоту* в ней, любит ли он ее как *истину*? В нем столько *вкуса* — не говорю уже о писаниях, — но в выборе предметов интереса, предметов чтения, занятия (с учениками) ...». Разумеется, я не мог ответить на такой вопрос, касавшийся интимных тайн души, но указал, что отношение к религии Рачинского так строго, почти сурово, что ни у него, ни даже в его присутствии у другого нельзя было бы спрашивать о подобном, т. е. спрашивать как бы с сомнением, с собственным скепсисом. 10

При этом тусклом созерцании Божества, Его неясном ощущении, он сделал все, чем мог восполнить недостающее: выправил строго свою жизнь по стезям Его заповедей, не писанных, но запечатленных в разуме человеческом. Вполне можно назвать религиозною всю жизнь Страхова; сосредоточенная мысль была положена им в основу ее; в целом весь его прижизненный труд можно назвать «служением». Печать особливости, глубокого в себе уединения, глубокого и *постоянного* внутреннего служения чему-то, некоторому Богу, никогда не называемому, скрытому от взглядов людей, чувствовалась в нем тотчас после первых слов беседы, при входе в его комнаты, при взгляде на их убранство: «келья», «монастырь» и во всяком случае место, где даже нельзя вспомнить веселья, шума, как и ничего бесстыдного, — таково было впечатление, которым оне встречали вас и вас провожали. Замечательно, что беседа его всегда *очищала* и *просветляла*, как и всегда *успокаивала*; я не помню за три года частых собеседований, чтобы вопрос когда-нибудь коснулся фривольного, чтобы шутка была бесстыдна, даже нескромна, равно — чтобы в разговоре сказалась зависть, недоброжелательство, излишество в презрении. И все это при отсутствии какой-либо напряженности, преднамеренности, при полной несвязанности речей. Просто низкое или гадкое *естественно* не вилось около него; *здесь* — этому не было места; корысти, угодничества здесь нельзя было бы высказать, оно ни к чему бы не прилипло, ни на чем бы не зацепилось и, как ненужное, вылетело бы в дверь вон. Есть собеседования, знакомства, связи, которые понижают, будят дурное в вас, дают ему рост; не создают в вас *нового* дурного, но манят распусться то, что всегда в вас было и вы в себе это осуждали. При общении со Страховым это дурное как бы *отсыхало*; не находя себе пищи — оно позабывалось. И, нет сомнения, долгое и постоянное общение с ним могло бы поправить порочного человека или человека, *склонного* к пороку; как с другим общение иногда губит его. 20

Здесь я должен сказать об его отношении к гр. Л. Толстому, которое часто неправильно понималось. Он его деятельность рассматривал в исторической перспективе, т. е. как *бы издали* и в *целом*, вовсе он не сливался с его «учением», даже просто — он отвергал его или почти отвергал; во всяком случае, не придавал ему значения. Но *смысл* его учения, но *направление*, в котором пошел Толстой, — его восхищало, вызывало в нем величайший восторг, прямо энтузиазм. Вот — *путь* (т. е. для писателей), как бы говорил он: путь к исканию правды, путь — к Богу; не эти тропинки, по которым бредет Толстой, но это направление, в котором он двинулся (да едва ли, не *так* себя понимает и сам Толстой? См. его *послесловие* к «Крейцеровой сонате»). Как-то при нем заговорили о «непротивлении злу». 40

«Да, это очень неясная, очень спорная вещь в его учении», — проговорил Страхов; видно было, что он даже не давал себе труда вдумываться в нее; «когда приехал из Киева (едва ли не г. Витте), его спрашивают: ну, *что там нового?* Он ответил: *да что?* Разве то, что все нигилисты подделались толстовцами; он сказал это небрежно: очевидно, он не следил за фактом, факт бил в глаза — и разве этот результат не поразителен, не благотворен? Сухой, черствый, жестокосердый нигилизм перевести к мягкости, серьезности, религиозности Толстого». Еще раз он сказал мне: «Никто и не останавливается на учении Толстого; его посещают, беседуют с ним, размышляют; и потом вы видите — едут в Оптину пустынь; множество примеров». Другой раз, после одного рассказанного у него эпизода, он проговорил с задумчивостью и грустью: «Да, это печальная для Льва Николаевича сторона дела, что его писания всецело овладевают как-то слабыми головами». Вообще *детали* в учении Толстого его не занимали; его доктрина в составе своих *зленов* для него почти не существовала; но Толстой как человек и писатель, как мыслитель — был для него велик и прекрасен; он не находил слов, чтобы выразить к нему почтительность и любовь. Как-то однажды Страхов очень спорил об одном писателе, уже умершем, — очень порицал его: «Он (этот писатель) точно лишен был обоняния *гистого* и *негистого*; в нем вовсе нет ощущения этих вещей; с великим талантом, чудесным языком он говорит о прекраснейших вещах и вот 10 начинает говорить о величайших мерзостях без всякого чувства, что это уже другое... (он на минуту остановился и поднял глаза на собеседников): вот Толстой — в нем удивительно это чувство чистоты; какое бы у него сочинение вы ни взяли, вы увидите, что чистое и нечистое никогда не смешивается в его глазах, что он постоянно видит сам и дает вам чувствовать разграничивающую их черту». Я передаю не очень точно и поэтому очень слабо мысль Страхова; но он сказал это таким особенным тоном, что нельзя было не почувствовать, что *здесь* именно центр его привязанности к Толстому; что после долгого питания, долгого всматривания он увидел в нем человека, к груди которого можно прилечь и не замараться, не обжечься, не «погубить душу». Он почувствовал к нему *доверие*, и, конечно, 30 это выше терминов «гениальность» и всякой литературной гари и нечистоты, какую — едва ли *густвая* этого писателя глубоко — люди окружают его имя.

«Вот, Господи, сколько было сил — я подошел к Тебе: возьми же и донеси меня силой Твоею через остаток пути, где ноги мои не нащупывают почвы и руки тщетно протягиваются в темноту» — так, в последнем синтезе, можно определить Страхова, эту правдивейшую и смиреннейшую душу, смиренную в очень богатых (кто мог его *понимать*) *дарах*. Его жизнь и его нравственный образ вполне удивительны; я уже не хочу говорить, что они особенно удивительны в нашем веке. Долго будет это всеми отвергаться, но когда-нибудь будет признано: что в нем, в совершенно простых чертах, среди нас жил феномен, придавший 40 лучшее и благороднейшее выражение всему лику нашего времени. Как незаметен, по-видимому, он, не ярко, бесшумен: Страхов умер — что же случилось? О чем писать? О чем даже сожалеть?.. Да, его могила закрылась: чистейшее сердце не *блюдет* нас; осторожнейшая мысль уже не *следит* за нами; рука добрая, дрожащая, рука бесконечно благородная, рука, никогда не нуждавшаяся в благодарности, даже в простом рукопожатии, — уже не поддержит нас в падении. Страхов умер — о чем *писать*? Да, но *плакать* можно и, быть может, следует: литература в нем потеряла пестуна своего; наша незрелая, младенческая мысль

потеряла в нем драгоценнейшую няню, как-то естественно выросшую, само собою поднявшуюся с почвы среди цветов, деревьев, «пшеницы и плевел» нашей словесности. Это Бог во благовремении ее послал, послал в самую тревожную, опасную минуту нашего роста... Личная, индивидуальная жизнь Страхова была глубока и сложна; мы не имеем почти следов этой жизни в его словах; мы имеем в них только *плод*, только *вывод* глубокой мудрости и великой старости*.

II

Необходимо, для характеристики покойного, указать его отношение к идеям веры и свободы. При жизни, когда он отказывался печатно об этом со мною полемизировать, я говорил, что это нужно для *дела*, для сохранения важных черт его *лигности*, и, по крайней мере, по его смерти нужно будет указать на это. Трудно сказать, на какой стороне здесь истина. Иногда думается, что весь источник спора заключается в избрании точек зрения, *откуда* смотришь на религию, моментов *в ней самой*, в которых *ее* рассматриваешь. Страхов смотрел на религию исключительно подчиненно: истина дана и ее нужно принять — принятие может быть только *свободно*, он вовсе не смотрел на религию из ее центра, *из зерна* растущей и *покоряющей* себе истины, силы, значения. Религия *in werden*** — это не приходило ему на ум, религия *in sein**** — это одно он знал; и вот отчего активные, деятельные, даже разрушительные, иногда грозные манифестации религиозных чувств в истории были чужды и непонятны ему, были глубоко враждебны и антипатичны в самой идее; понятна была только мирная культура усвоения. С каким-то недоумением, тоской, наконец, с негодованием и истинным неуважением он выслушивал мысль о возможном насилии в сфере религиозных чувств; нельзя передать той красоты духовной, того ума и благородства, с которым он указывал, что никогда и ни для какого случая Спаситель не разрешал насилия, что весь дух Евангелия есть дух убеждения и никогда принуждения. По-видимому, тут было недоразумение: принудить *верить*, *слиться* со мною в вере — никого нельзя; усвоение веры, как акт чисто субъективный, внутренний, сердечный, — *eo ipso* может совершиться только усилиями верующего, т. е. только свободно. Но верующие не только не могут, но и не должны выносить присутствия отрицаний своей веры около себя: итак, не принуждение к вере, но акт сбрасывания с себя, физический и территориальный; всякого легкомыслия в вере и ее искажения — есть то, правоту и необходимость чего я всегда чувствовал. Это я говорил ему, т. е. в форме отрицательной, не как принцип *intrae compelle*****, но — *extrare compelle******. «Как сбрасывать? Да если я *не могу* верить,

* Однажды, в шутовском разговоре, он сказал: «Я люблю *три* вещи: логику, хороший слог и добродетель»; рассмеявшись и попрекая его за такой порядок любимых предметов, я сказал: «А вот, я расскажу это в вашем некрологе». Он с живостью обернулся ко мне и сказал: «Когда я умру — скажите обо мне: *он был трезвый среди пьяных*». Ясно, что *так* определял он себя мысленно среди современников.

** в становлении (*нем.*).

*** в бытии (*нем.*).

**** убедить прийти (*лат.*).

***** убедить уйти (*лат.*).

чистосердечно, искренно...». В смущении я ничего не говорил... «Так рожном меня?» — и он сделал жест. — «Для чего вам жить среди верующих, уезжайте в Германию», — сказал я. Все наши разговоры об этом текли как-то быстро и неявно; была какая-то несговариваемость, что-то непостижимое в идеях каждого для другого. Не держали ли мы факты различные в уме: он упоминал о духоборцах на Кавказе, куда-то сосланных около этого времени; о толстовце, у которого отняли («взяли в опеку») сына; я же держал в памяти (из «Дневника писателя» Достоевского) факт, когда жена, ежедневно избиваемая, чуть не поленом, самодовольным мужем, просила защиты у «мира», и «мир» ответил («промямлил», — пишет Достоевский) уклончиво-индифферентно: «Живите согласнее»; она удавилась через несколько дней, кажется, на глазах 5-летней дочери; и еще держал я в памяти бездну любви истерзанной, оплеванной. «Вы не только темно и запутанно, скверным синтаксисом написали эти статьи: это — ваше дело; но вы совершили ими дурной поступок в литературе, — и это уже мое дело». И опять тут была нить, которая убеждала меня в истине моих мыслей. «Это — мое дело, — говорит он о дурной мысли; эта дурная мысль есть худой поступок, коего бы он в себе не допустил и, будь редактором, не допустил бы его на страницах своего журнала; но, Боже, чего же я хочу иного, как чтобы жизнь, история так же хорошо редактировалась, чтобы одна страница в ней не говорила одного и другая — противоположного». Не без боли я смотрел на выражение его лица, так убеждающего, с которым так хотелось бы согласиться, — и нельзя было; однажды, забывшись, он просто стал кричать на меня, чего с ним никогда не было, и потом, спохватившись, проговорил: «Ну, Бог с вами, — пейте чай». Мне же казалось, что в этой так непостижимой для него мысли скрыт истинный λόγος * истории; тайна управления ею. «Евангелие кротко»... Но, Боже, род «лукавый и прелюбодейный» не обратил ли самую его кротость в риторику для себя и прикрыл ею жестокосердие? Евангелие разрушают, и, едва вы подняли руку, чтобы защитить его, — вас спрашивают: «Разве это по Евангелию? Спаситель повелел Петру — *вложи мез в ножны...*». И повсюду, во всех ее линиях, жизнь наша облеклась в христианскую терминологию, при исчезновении духа христианства, и, двигаясь по мотивам, ничего общего с христианством не имеющим, — в неправде своей, в жестокосердечности пытается опереть себя на Евангелие, по крайней мере защитить свое бытие им, — и обыкновенно успеваеет в этом. «Хладающая любовь», которою грозил Спаситель «последним дням», — ее дни настали, и вот она произносит термины: «любовь», «милосердие», «прощение», ничего этого *около сердца* не имея. Вот откуда жажда «опаляющей святыни» актов насильственных в пределах самой веры: из жажды нарушить всемирно наставшую условность языка, пробудить людей к реализму и истине; ибо это закон природы человеческой, что, когда телу очень жестоко, уста теряют искусство лгать. Не от этого ли все бедные, нуждающиеся, все, кому *трудна* жизнь, все истинно гонимые и мучимые в истории были просты и правдивы; жили грубым реализмом, в котором спасение; не от этого ли проповедь Спасителя понесена была к ним, и они ее слышали, когда фарисеи и книжные люди, жившие в *условной лжи* «закона», т. е. в законе истинном, но прикрытом условною их ложью, остались к словам Спасителя глухи? Настала некоторая всемирная глухота к истине и в наши дни; и нет средств преодо-

* разум (*грек.*).

леть ее иначе, как *жгущей* истиной — истиной, которая *кусала* бы ухо и *рвала* человека к вниманию...

Вот почему, — конечно, в идее только, — статью «Свобода и вера» я решил нарушить этот всеобщий риторический мир: мир, который ложен; мир, под прикрытием которого живет всякая неправда; мир, который не от Христа, но в котором создается царство противу Него. В этой и последующих статьях, «так дурно синтаксически написанных», дан полный очерк мотивов к нарушению мира; именно в интонациях, с которыми и связана запутанность, лежит потенциально взрыв чувств — тех именно, какие могут и должны взломать лед всеобщей условности.

Но, повторяю, так много красоты в отвержении этих идей, все-таки по существу жестоких; так много красоты в Евангелии *всепрощения*, и всякое отражение ее на каждом человеческом лице так прекрасно, что, не убеждаемый несколько доводами, смотря лишь на прекрасное лицо Страхова, я поддавался и предпочитал молчать, видя его гнев. «Никогда, никогда Православная Церковь этому не учила: в ваших мыслях есть существенно католический характер...». Это была наиболее смущавшая меня сторона дела; но не «католический характер», следовало бы сказать, а «характер последовательности, который есть также и в католичестве». Вся наша (русская) история — особенно в эти два века, и чем далее, тем хуже, — носит характер хаотичности; все в ней «обильно», «широко» — и все «не устроено»; мы как бы живем афоризмами, не пытаясь связать их в систему и даже не замечая, что все наши афоризмы противоречат друг другу; так что *мы* собственно, наше духовное *я*, — неопределимы, неуловимы для мысли и вот почему не развиваемся. «Существенно католический?» — нет, но *нравственно-последовательный и так во внешних* чертах, без изменения внутреннего *я*, пожалуй, и католический. Так же мощно, прекрасно, так же вековечно, как католицизм, — и даже по внутренним задаткам несравненно вековечнее — поднимется Православие, доселе захудалое, — жемчужина, тонущая в навозе нашей действительности. Никогда *внутри* себя оно не станет нетерпимо: кротость, милосердие, чистый Евангельский дух — все то, что удивительным образом в нем единственно на земле сохранено (это признавал и даже указывал мне Страхов), — тем прочнее сохранится в нем, чем тверже, *нетерпимее* оно отвергнет все внешние на себя посягательства — католичества ли, протестантства ли или еще более опасные посягательства нового ложного «просвещения».

Некоторая духовная гордость, гордость обладания истиной, — это все, эта вся тень упрека, какая могла бы быть высказана новым пожеланием, с какими обратился к Церкви, — сколько смел это сделать; и ничего более, ничего еще, ибо смиренно я не коснулся ее содержания, ни слова об ее учении не высказал, поставив только «рожен» около ее внешних притворов. Как великая самоутверждающаяся истина, она отрицает все свои отрицания; она удаляет их за горизонт своего видения: это, пожалуй, нетерпимость — и *католическая* черта; но более — черта *последовательности*, которой в свое время следовал и католицизм и ею устроился. Это — вечная логика; и нельзя же Православию отказаться от употребления силлогизма потому только, что он был открыт «языческим философом». Но внутри этой черты, по *сю* сторону крепко запертых дверей — что мешает Православию сохранить весь свет и радость и теплоту своего научения, своих молитв? Зачем ему сумрак католицизма, тоскливость протестантских сект?

Это — не от Бога, потому только уже, что это — не радость. Снова и снова повторяем: только в Сирии, только в Греции, только в Балканских землях и на широких равнинах России сохранена еще тайна молитвы; это — сокровище, уже всюду утерянное. Нет более *умелых* молитв нигде: храм потух повсюду в западных, протестантских и католических странах; там есть догматы, богословие, церковная археология; есть залы музыкальных собраний, морализированье с церковных кафедр, и нет ничего подобного живому, горящему молитвой, храму Православного Востока. Дать его залить новой цивилизации (как он уже заливается в «лаических» землях южных славян), из почтения большого перед формулами французского просвещения, чем перед заветами Евангелия; не помешать «свободно» оспорить эти молитвы, поглумиться над ними (разве уже Щедрин со своими «же за ны» и «же можаху» не простирал на это дерзости?), — совершить это наш век, наше время, наше поколение, может быть, хотели бы... Но ведь этого многоголового Louis XV с его *après nous le déluge* * — не выраешь потом из могилы; и пусть можно будет развеять его кости: это уже не поправит преступления. Итак, лучше преступлению не совершиться, т. е. его не допустить, хотя бы по нужде, *насильственно*.

И почему, почему в «жестком для тела» не допустить некоторый коррелятив греха? Наша природа уже испорчена — признаем это смиренно и свой грех обречем жертве. Действительно: слабость веры, блуждания ума, самый атеизм уже стал как бы природой некоторых людей; но для чего в этой природе человеку гордо замыкаться? Не лучше ли, уединившись от нее умственно и все-таки не будучи в силах ее сбросить с себя, — отдать ее, как нечто чужое, постороннее себе, на суд и присуждение. Здесь все-таки есть некоторый просвет к свободе, некоторая дверь убегания от зла, его отрицание. Я не верю, я совершенно не могу поверить, и вот — я отрицаю себя, становлюсь индифферентен к своему я и соучаствую сам всему, что с ним производят. Изгиб духовный, имеющий точку опоры для себя в таинстве покаяния... Это даже для неверующего, как бы совершенно обреченного, лишеного всяких духовных сил, есть средство не выйти из стада Христово...

И много еще аналогичных доводов я развивал перед Страховым; более сбивчиво, чем здесь. Он настаивал, что это выходит из пределов литературы: «Литература есть существенно сфера духовного воздействия, и по этому самому о матерьяльном воздействии, о физическом принуждении она не может даже поднимать вопроса: это всегда для нее чуждо, всегда ей враждебно в силу самой природы ее». В другой раз он говорил: «Вы можете это проводить где-нибудь в комиссии, но не на страницах журналов; усиливайтесь изменить законодательство — это ваше дело, никто этого права у вас не отнимает. Но, оставаясь писателем, т. е. владея сами только духовными средствами и подчиняясь лишь духовным же воздействиям, — заговаривать о насилии вы не вправе, не отрекаясь от себя, не изменяя своему призванию, избранной вами сфере труда». Как бы в ответ на это, предупреждая самый вопрос, в статье «Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической?» — я развил образ исторической жизни, понимаемой как состязание кафедр, где люди произносят друг перед другом речи, нагромождая горы слов. «Но кто же нагнет действие? —

* после нас хоть потоп (*фр.*).

спросил я там и ответил: *Тот — кто, имея более веры, тем все говорящие, первый над ними произведет насилие, создаст факт; и в ответ вызовет насилие же, но-
вый факт*»... Вообще, нечто *несговоримое* было между мною и Страховым; у него была линия законченных соображений, куда мои доводы не проникали, не могли быть вставлены; мне же казалось все так аксиоматично в линии моих мыслей, что хотя я его слушал и с болью смотрел на его лицо, — но вместе как бы и не слышал, но только любовался просветами — противоположной своей — веры, которая в нем сказывалась. Еще он говорил, помню: «Вы славянофилы или, по крайней мере, поднялись с почвы славянофильской; вы приносите, поэтому, неизмеримый вред школе, ибо ваши мнения могут быть поставлены ей на счет: между тем славянофильство всегда было терпимо, никогда оно силы не пропове-
дывало». Но он не замечал, что это была школа существенным образом словесная; школа замечательных теорий, из которых никак не *умел* родиться факт. Жизнь именно есть вереница фактов и ео ipso понуждений; понуждали Апостолы, понуждали святые; понуждал Спаситель «выйти торгующих из храма»; понуждали соборы мiр, и на самых соборах Отцы Церкви понуждали отступить иересиархов. Слово есть бич духовный так же, как и питающая манна; бич телесный поднимается, когда безумие или порок не внимает никакому слову. Зачем *это* или *то* возводить в правило вечное? Не дан ли человеку разум и совесть, чтобы различать, когда и что нужно? Нужен и меч в истории, нужно и слово; пре-
краснее слово, но необходим бывает и меч. Не будем бояться меча, будем бояться в себе лицемерия при спрятанном мече; будем бояться глухоты сердца при гремящих «словесах любви». Будем правдивы, будем грубы, будем просты...

III

Прекрасна вполне была кончина Страхова, — прекрасна по обилию в нем терпения и светлого духа. В Великом посту 1895 г., на третьей или четвертой неделе, садясь однажды у меня за обед, он остановился на минуту и спросил: «Вы замечаете — я худею?» Он был широк в кости, и поэтому особой худобы в нем не было заметно, кроме обычной старческой у нетучных людей. Впрочем, как будто некоторая худоба в лице была все-таки. Он в это время лечился, то переставая, то возобновляя, — от чего-то за ухом, или в ухе, или около уха, и носил, но только иногда, черную узкую повязку вокруг всей головы, придававшую ему старческий вид; но *болеи* не было, и, как он, так и никто не обращал внимания на это ничему не мешавшее недомогание. Видя его в 1889 году, я уже тогда видал его — при выходе из дома — с этою характерною повязкой. — «Маленькая есть язвочка на языке — и не проходит, — сказал он мне в этот же пост, вероятно, на вопрос о здоровье, — и опухают околушные железы. Рюльман (лечивший его доктор) говорит — вставьте зубы, а то мы напрасно с вами возимся; а мне не хочется». Он год назад ездил летом на воды в Эмс и вернулся бодрым и веселым: повязочки не было. «Катаральное состояние слизистых оболочек носа и горла», — пояснял он тогда и, кажется, этому, или почти этому приписывал теперешние какие-то неопределенные болячки. Очень скучал он одним — бессилием писать. «Стыдно жить, ничего не работая», — писал он мне как-то. Он не знал лучшей функции, какую выполнял: *присутствие* светлого и доброго, на коего работающие могли бы оглядываться в своем труде. Уже весной, как-то зайдя к нему и не застав его

дома, я машинально прошел, дожидаясь огня, в его спальню-кабинет: листки узкой белой бумаги, целою пачечкой, лежали исписанными на письменном столе — обыкновенном ломберном раскрытом столе, который ему служил вместо письменного. На нем стояла (кабинетная) карточка гр. Л. Н. Толстого, снятая в блузе, с засунутыми за пояс руками, и лежало 5—6 книг; в 3-х шагах от стола, наискось, стояла кровать, с бедным шерстяным одеялом, над изголовьем висела большая гравюра Божией Матери Рафаэля — *della Sedia*; у ног — гравюра со знаменитыми надгробными изваяниями аллегорических «Дня и Ночи» — Микель Анджелло. Далее, от потолка до полу, у всех трех стен стояли полки с книгами: тут особенно была замечательна полка с классиками-математиками и натуралистами. В первых и в улучшенных позднейших изданиях стояли Ньютон и его ближайшие предшественники и продолжатели. С благоговением, бывало, я рассматривал *editio princeps* *, на сероватой бумаге, в малую четверку листа «*Philosophiae naturalis principia mathematica*» **. Далее, стояли тут Линней и другие основатели живой органологии. На другом столе, близ окон, обращенные корешками кверху, лежали новые книги, по естественным же наукам; здесь, в его спальне, жил новый мир: не было *humaniora* ***. Он объяснил мне, придя, относительно листочков, что работает над статьей «О естественной системе, или Идее естественной системы» ****; он стал спрашивать о заглавии, и, правда, все были как-то неудобны в словесном или логическом отношении, удобные же не выражали мысль статьи. «С восторгом читаю Декандоля, — он развел руками, и что-то бессильное выразилось в его фигуре, как всегда при восхищении, — вот книга, вот как нужно писать. Какое обилие мысли, что за точность выводов»... Он не досказал, но ясно было, до какой степени слабы (в его глазах и почти наверное — в действительности) были новейшие пустописания сравнительно с полузабытым этим классиком. Но он любил и новые превосходные сочинения: как-то однажды я застал его за чтением только что появившейся французской книги об *общественных* (или *колониально живущих*?) животных, как кораллы и другие: «Вот, переучиваться приходится на седьмом десятке лет», — сказал он мне на вопрос о книге.

Вообще ничего *стариковского*, или враждебного к *новому*, в его умственных симпатиях и вкусах не было. Он, напр., терпеть не мог волюминозные издания XVIII века классических писателей: «Отвратительнейшая редакция — весь текст переверан», и он или продавал букинистам, или дарил приятелю классика в пер-

* первое издание (*лат.*).

** «Математические начала натуральной философии» (*лат.*).

*** человечность (*лат.*).

**** Рукопись статьи этой находится или у наследника Страхова, или у г. Б. В. Никольского, автора обширных посмертных статей о покойном. *Ее необходимо издать*, ибо ее место в *организме работ Страхова* очень важно, и нет никакой важности, что она выполнена лишь наполовину или на четверть. В Страхове как *писателе* нет *пустых* страниц, и каждое его предложение, включая в себе определенную мысль, есть уже приобретение для ума размышляющего. Кстати, последние 5—6 лет он очень занят был, в мыслях своих и, быть может, на бумаге, темой статьи — «О мере, числе и времени». Редакция журнала «Вопросы философии и психологии», уже так много сделавшая для поддержания у нас философских изучений, оказала бы историческую услугу русской образованности, если бы *теперь*, пока еще *не поздно*, приняла меры к разысканию и напечатанию философских начатков усопшего — планов, обрывков и т. п.

гаменте, когда появлялось лучшее издание в Берлине. Так, в трудах, проходили его дни, и первый раз в Троицын день этого года я узнал истину о его болезни...

Сев в кресло — он пришел ко мне за час до обеда, — он оживленно заговорил: «А меня, Вас. Вас., собирались резать... — Да! да!.. Рюльман говорит: никакого толку из нашего лечения не будет, пока вы зубов не поправите; вставьте зубы, и болячка сама собой пройдет; иначе язык постоянно раздражается острыми остатками корешков. Ах, думаю, напасть, — ну, что делать; это было в пятницу, в субботу отправляюсь к зубному врачу, говорю: нужно мне вставить зубы. Он посмотрел: нужно вам будет сделать челюсть. И стал снимать мерку, форму десен; я ему говорю — мне больно. Он снял — массу или шаблон измерительный — и посмотрел внимательнее зубы. — «Я вам не могу вставлять зубов: у вас тут ранки, и вам нужно отправиться к хирургу и залечить их предварительно». В понедельник у нас заседание комитета (Ученого комитета Министерства Народного Просвещения, в котором он служил); во вторник отправляюсь к Склифасовскому; рекомендую ему: но он меня помнит, оказывается, по Одесской гимназии, где он учился, когда я был там учителем. Обласкал меня, как только может ученик обласкать старого, случайно встреченного учителя. Я рассказываю ему, в чем дело, и заключение зубного врача. Он усадил меня и стал исследовать. «Вам нужно подготовиться к мысли, что нужно сделать операцию; я вам ее сделаю, и это вам ничего не будет стоить»... До того хорош, и деликатен, внимателен. — Что такое, думаю; нужно еще с кем-нибудь посоветоваться. Есть у меня в Медико-хирургической Академии хороший и давнишний знакомый, профессор патологической анатомии — Ник. Алекс. Батуев: иду к нему, рассказываю все и прошу совета, как поступить. Он тоже посмотрел и говорит: «Отправляйтесь к Мультиановскому — оператор при Николаевском военном госпитале и светило в хирургическом петербургском мире, — и что он вам скажет, то и нужно будет сделать». Пропускаю среду и иду на другой день к Мультиановскому: «Мы операцию успеем сделать, если необходимо, но я вам дам полосканье, и вы аккуратно его употребляйте, а через два дня я у вас буду»...

Третье присутствовавшее при этом лицо говорило потом, что с первых слов рассказа я смотрел на него с ужасом: в самом деле, с первых же слов зубного врача я понял, что это был рак... От старых и опытных людей мне приходилось слышать, что у умирающих Бог как бы отнимает разум, наводит затемнение на них, вследствие которого они не видят то, что ясно как день для остальных. Язвочка на языке, не поддающаяся лечению; оказывается — такие же и в деснах, около зубов, уже не вызываемые раздражением о них; худоба, замеченная самим ранее; и — «мысль подготовиться к операции». Бедный и милый друг — «приготовиться к смерти», следовало бы сказать... «Что же вы не сказали об этом нам в среду, когда мы были у вас?» И вот, никогда, никогда я не забуду его ответа, прошедшего до глубины души и в котором вдруг обнажилась и просияла его прекрасная, смиренная и добрая душа: «Зачем же бы я стал огорчать моих друзей?» Невозможно забыть тона, каким это было сказано: истинно праведная душа, которой заноза в пальце ближнего больнее, чем отсечение своей руки; осторожно, бесшумно, никого даже не заставив встать, он хотел уйти из мира, к своему Богу, оставив людей так же беседующими, не замечающими его отсутствия, как бы он на минуту только вышел, и вот они ждут, но он уже не вернется... В среду он не был

ни смущен, ни расстроен; не был говорлив, но и не был задумчив; так же тихо шутил и подавал обычный свой чай.

Скоро — через день или два — передано мне было известие, что болезнь — действительно *рак*, чрезвычайно уже запущенный, и операция будет произведена г. Мультановским, в Николаевском госпитале, где больному отводится свободная (за выводом собственных больных в летние бараки) комната в офицерском отделении. Сказан был и день операции, кажется — суббота. Во всяком случае, именно накануне вечером я пошел провести с ним вечер. «А, отлично, отлично, — встретил он меня, не вставая с кресел и не выпуская из рук какую-то книгу, — будем пить чай»; и, сделав торопливо распоряжение: «До чего, до чего вы были не правы, нападая на Гоголя: я перечитываю вот, по просьбе Майкова — его просил Маркс сделать выбор статей для популярного дешевого издания, — и изумляюсь; изумляюсь этой неистощимой силе творчества, этой верности взгляда, этому чудному языку. Вы говорите — „Мертвые души“: да помилуйте, они до сих пор живые, оглянитесь только, только *умейте* смотреть...». Он назвал знаменитого нашего политика-дипломата, уже умершего. «...Это был, — он развел руками, — в огромнейших размерах, в грандиозных, массивных чертах, но — *только* Хлестаков; Хлестаков — и ничего более, с теми индивидуальными черточками, какие уже умел подметить в этом типе Гоголь...». И мы весело заговорили, заговорили как никогда оживленно; речь как-то коснулась Толстого, и, поспешно встав и выйдя в другую комнату, он вынес том его последнего дорогого издания, где, открыв «Декабристов», — прочел мне из них некоторые отрывки. Я и раньше читал этот неоконченный отрывок, в каком-то литературном «Сборнике», где он впервые появился, но ничего особенного в нем тогда не заметил. В превосходном выразительном чтении Страхова я вдруг увидел в нем бездну для себя нового — бездну значительного, и, что меня заняло, — значительного для самого Толстого. Я слушал чтение с восхищением к художественному мастерству рассказа и с живейшим любопытством относительно написавшего рассказ; но я также чувствовал с горестью, что, в силу дурного чтения, в силу *неумения* читать, мы знаем, поняли и оценили только малую долю тех сокровищ ума и дивного художества, какие таятся в наших классиках; мне показалось, что от этого мы гораздо менее развиты и образованы, чем могли бы, чем уже имеем средств... И, переносясь далее мыслью, я думал с досадой о школе, где ничему, чему следует, не выучивают; думал с презрением о «литературных вечерах», где не читают просто и задушевно, а *ломаются* перед публикой литераторы... А чтение все продолжалось.

Часы летели, и около 12 я хотел подняться. Во все время, как мы говорили, я не забывал об операции. Но таково жестокосердие человеческого, что, когда ему не было больно завтрашнего дня, и мне не было его больно. Я не очень смеялся, но был истинно увлечен беседой, и увлекающим был *он*: мысли, возбужденные чтением, как-то текли по своему закону, когда тут же, где-то в стороне, но не уходя, стояла мысль об операции. Уже было за полночь. «Ну, хорошо, Николай Николаевич, но что же Мультановский и как ваше полоскание?..» — «Мультановский был сегодня утром и сказал, что нужно сделать операцию...» Не переменяя тона и как бы *его* продолжая — «Ну, что же, Николай Николаевич, — сказал я, — нужно это сделать, уже как *он* сказал...» — «О, да, да! Я нисколько, нисколько...» Он затруднился словом: «Да куда вы спешите; конки уже перестали ходить, и вам

все равно придется взять извощика». Я сидел у него еще часа полтора и, спокойный, ушел от спокойного, с каким-то далеко стоящим ужасом в душе...

Перед операцией, на другой день, он сидел — это было уже в больнице, куда его взяли утром, — за чаем и начал письмо к гр. Л. Н. Толстому, без сомнения, с известием о болезни. Вообще чрезвычайно была любовь его к этому человеку; к Данилевскому Николаю Яковлевичу он был привязан, как к типично собравшему в себе светлые народные черты: ясный ум и твердый, открытый характер; к Аполлону Григорьеву — как к инициатору правильных приемов в любимейшем его деле, критике; к Толстому привязанность его была более глубокая и мистическая: он любил его, как олицетворение лучших и глубочайших стремлений души человеческой, как особый нерв в огромном теле человечества, в коем мы, остальные, составляем менее понимающие и значащие части; он любил его именно в его неясности, неоконченности... Любил в нем темную бездну, dna которой никто не видел, из глубин которой еще поднимется множество сокровищ; и, нет сомнения, лучшего друга Толстой никогда не терял. — Письмо не было еще окончено, когда вошли доктора и сказали, что все уже готово в операционном зале. «Я сейчас, сейчас...» — сказал он, отодвигая письмо, и, запахивая больничный халат, пошел... Операция — под хлороформом — длилась почти два часа; за дверями ожидало его несколько друзей и знакомых, из последних один мне передал эти подробности. Дверь отворилась, и, смертельно бледного и недвижимо-го, его пронесли на носилках. Не выдержал и горько заплакал среди присутствующих любимейший из друзей покойного, Иван Павлович З., директор одной из петербургских прогимназий, старый-престарый... Отрезана была половина языка, и вырезаны были ранки в деснах и железы около ушей, под нижнюю челюстью. Это давало 6—8 месяцев жизни и, главное, — кончину без тех ужасных мучений, какими осложняется рак полости рта в случае, если операция отсутствовала.

Я увидел его только на четвертый день, занятый все это время у себя больным; со страхом, полуживого я ожидал его встретить и, робко отворив дверь, подходил к постели с неясным силуэтом лежащего на ней человека... Розовый, свежий, вполне прекрасный, с веселым выражением глаз — он пожал мне руку и, указав на рот, дал знак, что не может говорить: «Запрещено говорить до снятия швов», — пояснила мне сестра милосердия, дальняя его родственница, за ним ухаживавшая, Наталья Ивановна, — да будет благословенно ее имя. Лицом и рукой он сделал ей какой-то знак. «Велит вам рассказывать, как производили операцию», — пояснила она и повела рассказ, при живом его внимании в оставках, когда она должна была поправиться или вспомнить подробности. Хлороформ не все время действовал, был перерыв, он очнулся и закричал: «Не давите мне ноги»; а на ногах сидел солдат-служитель; крови было потеряно мало, вследствие искусства оператора; долго продолжалась операция, вследствие обилия кровеносных сосудов в языке, требовавших перевязки.

И потом я его часто посещал, иногда вечером — надолго, иногда утром, на краткий час перед службой. Мы пили бесконечный чай и бесконечно «говорили». Где тетрадошка, где он писал — карандашом, подкладывая дощечку, употреблявшуюся им при корректурах, — свои вопросы и на которой отвечал? Так хотелось мне сберечь ее на память, и я просил, но, верно, он отдал другому, более близкому человеку. В первое же посещение он написал мне: «Мультановский

сказал: в вас нет теперь никакой болезни, — только швы снять»; и еще: «он сказал — отличнейшее сердце и отличнейшие нервы». Его постоянно посещали, и тут сказалось, как много и многие любили этого доброго человека; почти постоянно приходили письма, между прочим, от Толстого и его семьи, где он был так любим. Ни тени уныния я в нем не видел; ни тени сожаления о происшедшем, о потере языка, о том, что вот он — в больнице, что в такие годы ему пришлось перенести такой труд... Не успел я сесть или едва задумывался, как он уже писал: «Да рассказывайте же...» Я решительно не знал, о чем рассказывать: так все было обыкновенно, кроме *его* самого, его *ближайшей* смерти. Но он этим не интересовался; он интересовался суею, миром, людьми, литературой. Около него, на столе, лежало 4—5 последних книжек журналов; он отметил в библиографическом указателе г. Колубовского (в «Вопросах философии и психологии») несколько строк под рубрикой «Н. Н. Страхов» и написал мне: «Кажется, эта статья моя была содержательна — и только (то есть так мало строк в указателе), — ну, что это». В нем была прекрасная черта открытости, и он не скрывал, не *затаивал*, как огорчает его молчание или радуется похвала. Занятый, позднее несколько, статьей о Толстом и желая проверить свое впечатление, я спросил его о Василии Андреевиче (в «Хозяине и работнике»), что он думает об этом типе, кажется ли он ему дурным, достойным осуждения; живо взяв тетрадку, он написал мне: «Отличнейший человек — *горячий*» — и подчеркнул «горячий». В самом деле — это *главная* черта «хозяина», т. е. по всей *основе* своего характера он прекрасный человек, только несколько запутавшийся «в делах»; Толстой это *погулял* художественно, создавая тип, а рефлексивно, осудив его, *ошибся*. До операции, я помню, Страхов был ужасно возмущен статьей о «Хозяине и работнике» в «Вестнике Европы»: рецензент находил паскудство в изображенной там жизни и объяснял ее отсутствием школ в окрестностях. Паскуден был и работник, пьяница и грубиян («жену бил» или собирался бить), а в хозяине, «эксплуататоре и кулаке», критик уже и подобия человеческого не находил. Страхов был очень взволнован. «Да успокойтесь — это все от природы глупые пишут», — сказал я; он с недоумением на меня посмотрел. «Критик чувствует в себе, что все, чему он обязан, — это школе: природа ему ничего не дала; и вот естественно у него возникает идея, что если нет школы — *eo ipso* окружающая жизнь паскудна, и именно от ее отсутствия». Но статья, в высшей степени оскорбительная, неблагородная какая-то, низкая по своему тону, глубоко втайне возмутила и меня, и никогда я не написал бы Толстому несколько грубых упреков за «хозяина», если бы предварительно бедному, умершему на работнике, Василию Андреичу не надавал заушений бессердечный, тупой, глубоко неразвитой и необразованный рецензент академического и великосветского журнала.

Но светлые дни прошли; на лето, почти тотчас по выходе из больницы, Страхов поехал сперва в Ясную Поляну; потом к семье Данилевского, в Мшатку, на южном берегу Крыма; и на обратном пути поехал и погостил в Белгороде, своей родине, и в Киеве — у родных. Никогда и никому он не называл своей болезни, но едва ли он не знал ее существо: так похоже было на прощанье это посещение всех ему дорогих по воспоминанию и по живой дружбе мест. Замечательно: придя к нему на дом, в начале лета, еще до отъезда — я его не нашел веселым. Был один огромный недостаток в его квартире: недостаток ясного, *белого*, дневного света; войдя, я почувствовал, что это — огромный гроб, полный книжных сокро-

вищ. Впечатление усиливалось еще отсутствием комнатных цветов, всякой зелени и вообще всего живого: хоть бы он канарейку завел. «Гроб, гроб ошибочно прожившего человека, гроб не понявшего смысл жизни человека: где твоя ученость? Для чего она? Куда ты унесешь ее? О тебе и поплакать некому и некому тебе пожать руку на прощанье». Вроде этого я говорил ему и раньше; он, смеясь, бывало, отвечал: «О жене беспокоиться нужно — книги не так притязательны и не требуют хлопот». Теоретический интерес сильно перевешивал в нем практический, действие живых эмоций. Взамен он очень любил людей, любил толпу и в ней имел друзей; любил воспоминания и любил надежды — науки, политики, истории. *Настоящее*, ослабнув в напряжении своем, в яркости света, — как бы разлилось на *прошедшее* и *будущее*, он не жил сосредоточенною *теперь* жизнью, и более ярко горела перед ним жизнь минувшая, как и готовая настать. Богу известно, которое из этого лучше: мне же всегда казалось грустною, а следовательно, и ошибочною жизнь таких людей. Осенью, когда он приехал, ко времени открытия заседаний Ученого комитета, он выглядел очень хорошо и заметно, несомненно, пополнил; состояние здоровья было отличное. Я потом узнал, что ему сказано было, для лета, время от времени показывать себя врачу; но не было случая, да и никакого повода к этому. Одна перемена в нем, однако, была: он всегда и прежде был тих, бесшумен, но он стал теперь *неуловимо* отчужден от всего; никакой видимой, заметной перемены не было, но он более слушал, чем спрашивал, не настаивал на ответе: ответ, да и все окружающее ему стало менее нужно. Только чудная его доброта не прошла. В эти последние месяцы жизни он познакомился с одним молодым человеком, который, поссорившись (из-за женитьбы) с семьей родителей и начав литературную работу, обрывался в ней, и вот, голодный, обратился к Страхову, прося помощи в приискании верных занятий. Страхов немедленно же отправился к г. Бычкову, директору Публичной Библиотеки, и к Л. Н. Майкову; и там и здесь было обещано, но нужно было ждать; молодой человек изредка стал ходить к Страхову, но, кажется, видел его не более трех или четырех раз. Последний раз он приходил к нему в воскресенье, 21 января, всего за три дня до смерти. Задыхаясь, едва сидя, Страхов — как только он показался в дверях — воскликнул: «Что же вы не идете к Бычкову?». Нужно было представиться тому и со своей стороны попросить — на что, по крайней степени застенчивости, не решался юноша; дело же определения его на службу от этого затягивалось. И еще мне известны случаи, когда Страхов начинал «ходить» даже по почти ему незнакомым людям «с положением», чтобы помочь в нужде человеку, дать ему заработок...

Он не торопился показаться Мультиановскому, по приезде осенью в Петербург, и, видимо, отдалаял встречу с медицинским миром; *труд* перенесенной операции сказался в этом. Освидетельствованный наконец, он услышал, что нужно еще кое-что сделать, «швы внутренние несколько разошлись», и «нужно кое-что обчистить» — во всяком случае нужно быть готовым еще к легкой, поправляющей операции. Он, видимо, этого не хотел; и нежеланию своему нашел пособляющее объяснение. «Ведь они не терапевты», — говорил он мне; я не понимал. «Они не лечат, — объяснял он раздраженно, — и не умеют, и не хотят лечить — они хирурги». Так тянулись неопределенные дни. Под нижнею челюстью, в верхке от уха, на месте произведенной операции, была небольшая опухоль; как бы лежал продолговатый мешочек, слабо набитый крупой, без всякой, впрочем,

боли и даже простой неловкости; тут-то и были «внутренние швы», которые нужно было «поправить». Невозможно было представить себе, чтобы тут содержалось что-нибудь значительное: царапина на лице более была бы заметна и более бы саднела; и мысль об операции, как игру хирургов, он естественно гнал. Нескоро еще он увидел Мультиановского, безмерно занятого и иногда больного; и, когда увидал, — тот сказал ему, что выпот может еще всосаться, так что нет крайней необходимости в операции: раковые узлы уже ушли так глубоко, что их нельзя было сыскать ножом. Иногда он чувствовал — но только самые легкие — боли под мышками, и вообще в шее и верхней грудной клетке прощупывались болящие при надавливании точки, не беспокоившие в остальное время.

10 Опились смутные дни, в которые не прерывались ни его занятия для Ученого комитета (разборы представляемых к одобрению учебников), ни посещения ближних своих друзей; однако, видимо, силы его падали, и худоба возрастала. Как-то в половине января 1896 года он должен был у меня обедать; утром приходит открытое письмо: «Ни сегодня, ни завтра не могу я у вас быть — в хлопотах; после расскажу». Я пропустил день; следующий была среда: Страхов был расстроен и встревожен, задыхался. «У меня сердцебиение открылось, — сказал он на вопрос, — „доктор“ — на этот раз „терапевт“ — сказал, что это от желудка: желудок переполнен и не очищается — давит на грудно-брюшную перегородку

20 и стесняет сердце; прописал слабительное, назначил диету и велел дня 3—4 посидеть дома». — «Разве radix rhei — а он его обычно принимал, кубиками, во время еды, уже много лет — не помогает?» — «Нет, нужно более энергичное; неприятно, что лежать нельзя: ляжешь — сердцебиение усиливается; устаешь ужасно». Он был худ, и, видимо, «среда» утомляла его. Мы разошлись раньше, чтобы «дать больному покой»... На лестнице, при спуске с его 5-го этажа, мы остановились и переговорили; кто-то, видевший доктора, сообщил, что разветвления рака дошли до легкого и сердца: отсюда — одышка и сердцебиение, которые будут теперь все возрастать. — «Как только узелки проникли в околосердечную сумку — сердце потеряло свой ритм», — объяснил мне, уже после смерти, Н. А. Батуев;

30 и в самом деле, оно билось теперь то так, то этак, без всякого порядка, — что Страхов и называл «сердцебиением», отмечая, однако, его странные особенности. В следующие за тем дни я посещал его каждый день; в воскресенье — то самое, когда он так заботливо торопил молодого человека к Бычкову, — зашел ко мне Кусков *, старинный и неизменный друг покойного, еще от юношеских дней, и пригласил вместе пройти к нему. — «Я не хочу один идти к нему — разговор его утомляет: мы будем говорить при нем, но не с ним». Мы пришли к нему часов около 7—8 вечера. «Устал ужасно — ни часу сна; сердце, однако, лучше... гораздо лучше, — протянул он, — но вот сил нет: это от бессонницы». Тревоги, к сейчас относящейся, не было в нем, как в среду; но выглядел он гораздо хуже: точно

40 уходил куда-то, проваливался во что-то. Трудно было быть у него и с ним, видеть его, просто разговаривать при нем. «Читали?» — спросил он, пододвигая книгу и показывая раскрытую страницу; это было — в январской книжке «Русского

* Платон Александрович — автор простого и глубокомысленного рассуждения «Наши идеалы» (Русское Обозрение, 1893, февраль) и сборника стихов, между которыми есть прекрасные; переводчик сонетов Шекспира и его «Ромео и Юлии». К суждениям его всегда чутко прислушивался Страхов.

Вестника» или «Русского Обозрения» — стихотворение гр. Голенищева-Кутузова, что-то о природе, но я хорошо не помнил. Он укоризненно покачал головой: «Я *зетыре* раза перечитал», и он сделал движение головой, как всегда, когда не хотел говорить и нужно было выразить удивление или удовольствие. Стихотворение, правда, было хорошо, и, главное, оно как-то шло, было *нужно* и *внятно* умирающему. Страхов любил задумчивые и чистые оттенки музыки этого поэта, которого очень любил и как человека. В гостях у него еще сидела дама, видимо им уважаемая. Мы говорили втроем, стараясь предупредить его вмешательство, но разговор был преднамерен и напряжен, тяжел. Что-то заговорили о службе и наградах — это был *январь*.

— «Верно, вот Николай Николаевич и не знает, какие есть у него ордена», — сказал кто-то; я вспомнил невольно и рассказал, как в ночь на 1 января 1889 года ему принесли звезду: после звонка и минутного разговора в передней входит его старая Матрена и подает продолговатый ящичек. Он раскрывает и вдруг заволновался: «Ах, да зачем же это? Бог знает что такое; кто их просил? Что же, нужно теперь будет ехать и благодарить?». Я взял ящичек — там лежала звезда и лента. До того мне странным представилось его крикливое почти волнение (в провинции «звезду» всегда «спрыскивают» шампанским), что я недоумевал тогда и никогда потом этого не мог понять. И теперь, передавая — в затрудненном разговоре — гостям эту сцену, верно, я выразил то же недоумение. «Да ведь за нее нужно было заплатить почти 200 руб., а мое жалованье 87 рублей с копейками, — что же вы не понимаете?» — воскликнул он, тоже недоумевая. Тут только — это было за три дня до смерти — я узнал, до чего был беден этот человек, имевший библиотеку, несомненно стоившую несколько тысяч, даже десятков тысяч рублей, езжавший за границу и убедивший меня издать «Легенду об Инквизиторе», взяв на себя расходы. Он всегда был безупречно чисто одет, но более зоркий взгляд других замечал, что все это было ужасно ветхо, хотя и хорошо бережено; как-то, месяца за два, его спросили, как он справляется с бельем (т. е. будучи бессемейным): «Все поношено, — но уже не хочется заводить, думаю, авось обойдется»; я напомнил об этом, после похорон, студенту Вальневу*, жившему с Данилевскими во второй половине его квартиры; он улыбнулся: «да, действительно — все так оказалось изношенным и разваливалось в руках, что едва отыскалась перемена, в которую можно было одеть его» (после смерти).

В понедельник, после службы, я снова был у него: разница со вчерашним днем была поразительная. Куда-то девались прежние черты Страхова, и то, что оставалось в лице, лишь *напоминало* его. Он сидел в спальне, на кресле; теперь уже минута напряжения его истошала: «Не смотри на меня — это меня утомляет»; голос его был глухой, слова не вняты в буквах; он опирался локтями — одним о стол, другим о ручку кресла; шея с трудом поддерживала голову; уже неделю он сидел. Нужно было сказать утешение, и не было никакого. Развлекать?.. Что-то гнало отсюда, гнало всякого, как ненужного. Скоро пришел доктор, и я вышел. «Еще денька три, может быть, четыре, вам будет трудно, даже труднее будет минутами: но потом мы справимся...» — «Еще три дня», — сказал он с страданием, когда мы остались вдвоем. На лестнице я нагнал доктора — помнится, Пав-

* Собственно, окончившему курс филологу; ему принадлежит прекрасное выражение о Страхове (устно мне сказанное): «Он был для меня вторым университетом».

лова: «Долго ли еще жить ему? ведь он постепенно задыхается; и откуда такая слабость?» Слабость была от сильных возбуждающих средств, которые восставляли ритм сердца, но поглощали последние жизненные силы организма: как только сокращались дозы — силы были лучше, и в то же время сердце начинало мучительно биться. Другого соотношения не было, — кроме еще призыва скорой смерти. И тут доктор сказал памятные слова: «Самому больному предложите на выбор — сейчас умереть безболезненно или жить еще несколько, долго, с таким же и даже с большим страданием; и всякий выберет жить — всякий человек». Верно, есть своеобразная мудрость у медиков. Но развязка была ближе, чем он предполагал, — не через полторы недели. Во вторник уже Страхова не было: была груды дышащего тела, и билось сознание. Он все, однако, помнил — малейшие детали: сужу по невнятным ответам на мои растерянно неуместные слова. Жизнь его и весь труд, весь круг известных ему людей, с их ошибками, — не потеряли отчетливости в его духовном зрении. Только от всех от них, не теряя мысли, он сам уходил куда-то и почти уже ушел... Как отличительна, *нова* была его теперешняя слабость, сравнительно с тою, в какой его, в обмороке, пронесли из операционной комнаты: там была *жизнь* в теле, при безмолвии и потерянном сознании, — здесь, при ярком освещающем сознании и речи, уже почти отсутствовала жизнь... Есть, в самом деле, различие между телесной душой, мускульной жизненностью, одухотворенностью органов, и между нашим воџс* — как это заметил уже Аристотель. Первая есть как бы мысль кого-то *об* нас и нам не принадлежит, от нас отходит: тогда органы развязываются, тело гибнет; второй есть собственно наше *я*, во всем ответственное, и в гаснущем теле, когда его жизнь уже только «мигает», — оно полно, как и всегда.

Вечером, в этот же вторник, к нему пришел Кусков и встретился с торопливо пришедшею девушкой — родственницей, которая ухаживала за ним в госпитале. Она служила в одной из общин Красного Креста и, позванная еще накануне Страховым, была задержана дежурством на целые почти сутки. На этот раз решили его уложить: точно застывшая на нем одежда, столько дней не снимаемая, наконец облегчила его. Долго за полночь сидел и читал над ним почти 40-летний его друг и незаметно был выпущен в дверь сиделкой. Незаметно же, где-то между полуночным часом и утренним, отошел и Страхов... Все поздно было, что хотели около него сделать, и опоздало все для его собственного, выраженного кивком головы желания.

На другой день, в среду 24-го, вернувшись после панихиды по Достоевском к нему, я нашел странную свободу в квартире: никого не было и двери были открыты; машинально я прошел в спальню — и там не было никого. На столе лежал какой-то огромный пакет, казенный, и машинально же я заглянул в него: там были рукописи и едва ли не книги. «Да где Николай Николаевич?» — громко спросил я. Вошла — очевидно, впрочем, не на зов — Наталья Ивановна и, не здороваясь, странно и угрюмо посмотрела на меня. «Где Страхов?..».

— «Как где? — еще сердитее она ответила, — умер». И она указала на комнаты Данилевских. Там, на сдвинутых столах, под коленкором, лежало дорогое тело; читали псалтирь; около него стоял какой-то господин: я едва узнал — это был, однако, несомненно, Ал. Ив. Георгиевский, председатель Ученого комитета.

* ум (*зреч.*).

Он ничего не знал о трудном положении Николая Николаевича; он привез ему, кажется, жалованье и тот огромный пакет с рукописями, требовавшими разбора и одобрения. Мы немного поговорили об усопшем и разошлись. Началось обычное течение вечерних и утренних панихид...

IV

Так умирал и умер этот человек — лучший, какого я когда-либо знал. Много можно было бы указать, чего недоставало ему, что в нем отсутствовало, с чем он не был рожден (именно — страстных и порывистых, творческих эмоций); но то, что в нем было, — им было упорядочено до высших форм совершенства, доведено до высшей степени культуры, просвещения, блага. Это был землевладелец, 10
распахавший свое поле с заботливостью и умом, какого только мог потребовать от него Пославший его в мир. Вот почему эпитет *безупрежности* не только может быть дан ему в целом, но он навертывается на язык и при рассмотрении каждого шага его жизненного пути, каждого им совершенного дела. Именно эту постоянную вдумчивость в то, что им делается, детскою чистотой души, которая едва останавливалась на границе * наивности, огромным умом, истинною мудростью сердца в распознавании светлого и темного, нужного и бесполезного, серьезного и пустого — он выделялся на фоне людской толпы, он с нею никогда не смешивался. Без страстных, порывистых движений в себе, никогда не составляя центра какого-нибудь шума, движения, он был, тем не менее, неизмеримо богат 20
индивидуальностью, и богатство *индивидуальности* же лежит на его трудах. Но это была та индивидуальность, к которой нужно присматриваться, уметь ей *внимать*, ее *ловить*; чудно идут к нему эти стихи Баратынского, обращенные к своей музе:

Приманивать изысканным убором,
Ни рою глаз, блестящим разговором,
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражен бывает мельком свет
Ее лица *не общим* выраженьем, —
Ее речей спокойной простотой...

30

Гений духовный почившего критика был родствен с чертами музыки прекрасного поэта. Мы назвали выше его няней и пестуном младенческой нашей мысли; можно еще сказать, что он был Баратынским нашей философии. Есть какое-то несравненное изящество и благородство в чертах их обоих, в трудах их; и мы охотно отворачиваемся от более звонких, но неустроенных струн, чтобы сосредоточиться на этих — где нас ничто не оскорбляет, не мучит, не раздражает и не смущает; где, наконец, нас ничто не *обманывает*.

* Помнится мне одно восклицание, старика (ни фамилии, ни имени не знаю), на каком-то обеде, когда в тесном, отделившемся кружке лиц кто-то упомянул о дружелюбии и постоянном расположении Страхова к высокопоставленному человеку, не знаменитому своею честностью: «Да у Николая Николаевича и *органа нет*, которым *обоняется* нечестное!». Выражение это — очень характерное и очень верное. 40

Его труды есть истинный thesaurus умственно и нравственно *должного*. Все они, хоть это прямо и незаметно, обращены к юности: не академии, не кафедре он говорил, хотя был и академик, и часто оспаривал кафедру — но именно к *развертывающимся, раскрывающимся* силам ума и дарам души; в нем юность потеряла наставника и руководителя, какого, может быть, еще ей никогда не будет дано. Едва ли не входило в жизненные планы покойного именно создание в себе идеальных черт наставника; не отсюда ли развитие, какое он дал в себе критическим способностям, воспитание в себе вкусов, такая осмотрительность в политике, как бы заглядывающая в будущность, и все возведение здания жизни своей, куда не замешалось ничто нечистое, что могло бы когда-нибудь оскорбить вкус или поколебать совесть? Входя в ряд томиков, им оставленных, — характерен самый формат их, печать, разделение на главы, все рассчитанное на *неутомление* внимания, — вы как бы входите в прохладную северную рощу, без колоссов южной растительности, колючих и перепутанных, но где вы отдыхаете и можете научиться. С великою предусмотрительностью в ней собраны образцы всех форм растительного мира, и каждый экземпляр обдуманно поставлен: нет шага в ней, какой бы вы ни сделали, нет взгляда, куда бы вы его ни бросили, — которые бы не просвещали вас, не образовывали. Все, как я упомянул, рассчитано здесь на неутомление: между тем нет писателя, который с таким удовольствием бы да перечитывался во второй и третий раз; и именно потому, что во всякую точку здесь вкраплена мысль, — при третьем чтении вы открываете столько же свежего для себя и любопытного, как и при первом, когда масса деталей его мысли от вас ускользнула.

Но не побежит, или еще долго не побежит юность в эти образовательные сады, для нее возвращенные; и гораздо скорее войдет туда и научится опытная старость. Мы, русские, не имеем *оригинальной и живой*, не имеем *самостоятельной* юности; мы имеем только истощенную юность. Пряность продолжительной лестницы дала свой плод; уже ничто горькое не переносится ею, ничто трудное; и нет сил в ее мускулах для свободного и героического движения. Робкою толпой она жметя еще и еще к новой подачке самолюбию своему. Но если вот человек «вся сладкая земли» для нее оставил, и как при жизни призревал порознь разбросанных в ней овец, так призрел высоким умом своим и общие ее духовные нужды и заботы: что в том? — она не откроет паломничества на его могилу; она даже не вспомнит, где эта могила; она не поймет ничего. И «хладною» толпой — как вчера, так завтра и еще долгие годы — побредет к своим повседневным утешителям. Так, юный и дряхлый супруг, оставляя целомудренную жену, бредет иногда и ищет в навозе... я едва не сказал — Кареева и Михайловского. Он бредет и ищет красавицу с прыщами и в нарывах.

V

40 Волна суетности, волна жизни уже играла около гроба умершего. Нужно было хоронить, и хорошо, и не было денег или, точнее, — нельзя было их получить. Бедный не расписался «20-го» в требовательной ведомости, и жалованья нельзя было выдать; в свою очередь, «пособие» должно было пройти через контроль, и раньше трех дней его нельзя было получить; а труп разлагается иногда на

второй. Решили, что имя покойного в литературе может быть достаточным для уверения в монастыре, что деньги *будут* уплачены. Бездна литераторов толпилась в комнатах; и был с цепью судебный пристав, явившийся описывать имущество; не забуду, как он спрашивал постоянно: «Скажите, тут нет Суворина?». Очевидно, грозный владыка «Нового Времени» подавлял воображение бедного судебного чиновника. Какой-то литератор все хотел перевести «среды» к себе и собирал обычных гостей покойного, спрашивая: «Так вы согласны?». Все были согласны. Но вот наступило третье утро; все хотели нести «голову» покойного, но она была одна, а рук гораздо больше. Бесконечно далек был путь на кладбище. Но кладбище было прекрасно — далекий, уединенный женский монастырь. И на самом кладбище его могила была далека и уединенна. Как всегда чудно сплетается в жизни прекрасное и смешное, сплелось оно и здесь: бедный Иван Павлыч — тот Иван Павлыч, который зарыдал, когда Страхова вынесли из операционной комнаты, карабкаясь на холм мерзлого песку, имел нерассудительность быть впереди важного сановника и почти писателя, также шедшего «бросить горсть праха на дорожную могилу»; литератор, перетащивший к себе «среды», быстро схватил его за горб шубы и вовремя оттащил в сторону. Но, хоть и позже, свою горсть он также верно бросил. Когда комья перестали стучать по крышке гроба, полотна были отхвачены назад и все несколько успокоилось, — незаметно, не выдвигаясь и даже как бы не обращаясь к живым, заговорил об усопшем стариннейший, кажется, из присутствующих друг его свою речь. По манере произнесения — она не была вовсе речью, но как бы размышлением про себя, случайно выговорившимся вслух. И для понимающего, поэтому, она была истинно прекрасна, не нарушая вовсе могильного покоя и смертного величия. Он говорил:

Самый очевидный способ, которым жизнь заставляет существа, одаренные свободною волей, идти к целям ее, заключается в том наслаждении, которое ощущается при исполнении ее велений. Судя по тому наслаждению, с которым соединено всякое творчество, надо думать, что творчество и составляет главную работу нашей жизни. Но *«не может Сын творити о себе нигого же, аще не еже видит Отца творяща»* (Иоанн, V, 19).

Может быть, оттого так и велик восторг творчества, что в минуты его человек видит Бога, и, чем яснее мысль его сознает ею видимое, тем необъятнее получается от этого наслаждение. Вся жизнь нашего друга, которого мы теперь хороним, была почти непрерывным рядом таких наслаждений. Он совершенно ясно выразил, в чем состояло упоение его философствующей мысли, в эпитафье, который он поставил на заглавном листе одной из своих книг («О вечных истинах»): «Philosophari nihil aliud est, quam Deum amare, — философствовать не иное что есть, как любить Бога». И с этою любовью ему было так хорошо среди 10 000 томов его библиотеки, что его друзья никогда не находили его там в пригнетенном состоянии: он всегда был ясен духом и всем доволен.

В последней выпущенной им книжке, третьей книжке «Борьбы с Западом», он говорит в предисловии: «В какой-то старой немецкой книге я видел, что на заглавной странице третьей части после заглавия было напечатано: *третья, последняя и лучшая часть*. Очень мне хотелось бы иметь право сделать такую же надпись на этой третьей книжке „Борьбы“: написать, что это последняя и лучшая из трех. Что она *последняя* — в этом, кажется, мне нельзя сомневаться, чувствуя, как убывают у меня силы и расположение писать. Что она *лучшая* — этому мне хотелось бы верить; писатель, ведь, должен стараться

идти вперед по мере того, как проводит годы и десятки лет в чтении и размышлении. Но одного старания здесь мало, и об успехах своих стараний мне следует ожидать и просить суда читателей».

Душа его, исполнившая ту волю жизни — чтобы *ничего не погубить из того, что ей дано жизнью* (Иоанн, VI, 39), была освобождена от самого ужасного из всех страхов, от страха смерти. Он о смерти до последней минуты не говорил. Она взяла его в такое время, когда он сам сознавал уже, что у него проходит расположение писать, значит, — когда он сознавал сам, что все было им сделано, и когда мог сказать: «Ныне отпускаеши».

Он исполнил свой долг и умер спокойно, вполне удовлетворенный.

10 Нам остается пожелать самим себе подобной кончины.

Так говорил Платон Александрович Кусков, проводя и свои любимые идеи, которые можно было бы назвать виталистическим пантеизмом, — крепыш, поднявшийся с почвы земли русской и образовавший самостоятельно очень высокие созерцания.

Едва произнесены были речи — были сказаны еще две, — как уже кружки литераторов зашумели сборами на литературные чтения «памяти покойного», почти с назначением тем и распределением очередей чтения. Могила была засыпана; и когда она очистилась, на нее робко поднялся молоденький человечек — никому не знакомый, — также, очевидно, хотевший сказать что-то. Он долго придумывал; все стояли поодаль. «Прости, дорогой... не осталось после тебя у нас еще такого писателя, только Лев Николаевич Толстой и Владимир Сергеевич Соловьёв». Он постоял еще с полминуты, но ничего больше не придумывалось, и он сошел. Бедный, он не был посвящен в подробности подразделений литературы нашей, понимал ее слишком «вообще». Бурным рокотом прошло неудовольствие среди обдумывавших «память» писателей, когда на «глубоко православной» могиле было упомянуто имя проблематичного христианина и особенно имя ненавистного полемиста с усопшим, тоже «схизматика» и почти язычника. Человечек не заметил этого, к счастью; и, по крайней мере, наверное он никого не хотел оскорбить. Было очень холодно, и все извошки уже разобраны; сели в вагон конки — и туда же робко вошел последний оратор. Худой, истощенный, почти несомненно из актеров без места (по характерно выбритым щекам), в холодном пальто и летней шляпе, он имел нос самого неприятного цвета. Робко выглядывал он, как мышка из клетки, на нас, очевидно знакомцев усопшего, и следовательно «писателей». Так он чужд был нам. Конка остановилась перед каким-то переулком, на окраине еще города. Встав и приподняв шляпу, он неуверенно посмотрел на всех в вагоне, очевидно прощаясь и, может быть, извиняясь за невольное сообщество. Мы посмотрели на него. Он вышел и побрел по переулку, очевидно, до места первого возможного «поминовения» покойного...

40 Между тем, он не был так абсолютно неправ. Великое солнце где-то в полуденных странах передвинулось через равноденственную линию; и в высоких широтах, еще заносимых вьюгами и снегом, осязаемо зашевелились обмершие растения — ток соков пошел вверх, корни выпустили новые мочки, между тем как стужа сильнее, чем в декабре. Неуловимы и таинственны пути и средства роста; различим только его источник. Те имена, которые назвал говоривший, что вызвало ропот негодования, и сам усопший, — они имеют истинное и глубокое род-

ство между собой, более значительное, чем разделявшая их рознь. Первые и ранее всех в нашей обмершей, студеной стране, они поклонились истинному Богу; в обществе, не хотевшем слышать святого Его имени, — они произнесли это имя громко. Чувство *теизма*, самое глубокое, самое живое чувство, — не есть только риторика их языка, средство политики; с первых трудов и до последних, в значительных, как и самонаименьших, оно сказывается уже, *есть*, — как *есть* лето в обратном движении растительных соков. Бог идет посетить нас; *эти* первые увидели лучи Его; что в том, что, измученные, испуганные, они заговорили невнятно, розно, косноязычно: важное — в их *сердце*, в *жажде* говорить; важное не в словах их и даже не в них самих, но в том именно, что Бог идет.

10

Что это не пусто и незначительно — можно видеть из того, что каждый из них отдал бы, и уже осязаемо отдал, то, чего обыкновенно люди *ни за что и никогда* не отдают. Как почти ненужную мишуру — один отбросил всемирную свою славу, *мотивы* этой славы; другой — переходил из кружка в кружок людей, из лагеря в лагерь и почти из Церкви в Церковь, взглядываясь всюду в лица, на которых он мог распознать мятущее его чувство; третий каким-то далеким тяготением заставляет его чувствовать в каждой строке своей и разошелся с временем своим, с веком и поколением, которые ничего не знали об этом чувстве. Все трое — потеряли вдруг родину, потеряли — время, потеряли — людей. Не святое ли, не великое ли грядет, ради чего люди развязывают кровнейшие узлы бытия своего; не живое ли это, если питает их более, нежели как может напитать человека эпоха, люди, вся окружающая цивилизация?.. Не есть ли это небесная и истинная родина человека, ради которой он так легко оставляет земную?

20

1896 г.

4. Ф. Э. Шперк

7 октября 1897 г., в два часа ночи, скончался в Императорской санатории «Халила», в Финляндии, Федор Эдуардович Шперк, молодой писатель, литературная деятельность которого едва началась и прервалась неожиданно. Ему принадлежит ряд брошюр-трактатов философского содержания «Система Спинозы» (СПб., 1894 г.), «Философия индивидуальности» (СПб., 1895 г.), «О страхе смерти и принципе жизни» (СПб., 1895 г.), «Мысль и рефлексия» (СПб., 1895 г.), «Книга о духе моем» (СПб., 1896 г.), «Диалектика бытия» (СПб., 1897 г.), но влияние и значительность он приобрел не этими серьезными, но трудно изложенными брошюрами-трактатами, а длинным рядом очень коротеньких, но очень содержательных критических заметок, которые под псевдонимами «Ор» и «Апокриф» он печатал в «Новом Времени». И мышление, и жизнь, и, наконец, роковая развязка жизни этого человека — почти юноши еще — исполнены серьезности, красоты и глубокой печали. Куда он ни являлся — как писатель или как человек, — он всюду вносил особую атмосферу своей индивидуальности, где вы не находили ничего заимствованного, перенятого со стороны и откуда всякий не-

30

40

душевной настроенности, отсутствие «общих мест» в его понятиях и взглядах становились поразительными и невольно возбуждали вопрос: откуда и какими особенными путями развития он приобрел все это так рано? Можно надеяться, что появится сборник его критических статей, и тогда читатели увидят, до какой степени его взгляды на Пушкина, Лермонтова, Майкова и на множество текущих литературных и научных явлений — точны, верны и захватывают самое существо писателя или художественного произведения. Он был библиограф по форме, по краткости своих заметок — но критик, и истинный критик, по их содержательности и глубине. Небольшой томик его взглядов войдет как ценное и обильное питание в кругооборот нашей духовной, в частности — умственной, жизни. Однако кто знал его, находил разгадку этого раннего глубокомыслия в подробностях его воспитания и судьбы. Как исключен был шаблон из его мышления, так и в течение его краткой и бурной жизни шаблон нигде не замешался. Он очень рано развился, и развился вне правил, любя читать и читая без выбора, но по инстинкту, по серьезному складу ума — искал всегда читать серьезное. Так, кончив курс лютеранского училища в Петербурге (он был лютеранин), он вступил в университет с зрелым умом и с зрелыми требованиями — по требованию родителей, избрав юридический факультет. Невозможно было сделать выбора менее удачного: формальные науки этого факультета всего менее отвечали тем проблемкам мистицизма, которые он принес с собою на университетскую скамью, и тем эстетическим вкусам, какими он жил, по его сознанию, едва ли не с 11—12 лет. Но причина оставления им университета (из которого он вышел, вступил обратно, по просьбе родных и после трудных хлопот, и все-таки, опять не кончив, вышел из него) заключалась не в этом только: «в свою живую душу я не мог вбирать мертвого содержания читаемых там лекций» — так однажды он формулировал, в частной беседе, мотив своего выхода. Что же это было за «мертвое содержание»? Конечно, не материал науки, который нов и поэтому уже всегда интересен, — но, так сказать, схематизм профессорского мышления, который обволакивал этот материал и пытался осветить его, в действительности загрязняя и опошляя. Это была схема шаблонов, «общих мест», «ходячих взглядов». Именно три года университетских лекций, как он объяснял, сделались источником его жгучей нерасположенности ко всему «либеральному» — к «либеральному» не как к доброму или злему, истинному или ложному, но как к «общественному», «общепонятному», в чем нечего искать, где нет предмета для разгадки, для пытливости, где ничто не держит вашу душу, не занимает внимания вашего, не питает вас. Бесспорно, позднее и с большей опытностью он уравнился бы в своих взглядах, но ко времени выхода из университета он привязался ко всему бытовому, народному, что было не из книги и не смотрело в книгу. Отсюда склонение его к славянофильству; необыкновенно высокая оценка, которую он придал русскому народу, высокое и также поражавшее тонкостью понимание православия (месяца за полтора до смерти он принял православие). Была в нем одна черта, напоминавшая Фауста, — тип, который, однако, усиленно не любил он: это переход от теоретизма к практицизму, сперва умственный только, но закончившийся и реальными исканиями. Всегда среди книг, всегда в мыслях о книгах, он, однако, в них искал только жизненного, любя в них протест против книги, — ценил в них любовь и внимание к непосредственному, простому, реальному. Он не любил и Фауста, как воплощение книги, как, до известной степени, гения кни-

ги, — не замечая, может быть, как не замечают и тысячи людей, что, конечно, горечь в себе и собою составляет сущность «фаустовского»: Фауст без самоотрицания, Фауст, не отвергающий себя, — есть уже Вагнер. Во всяком случае, бросив университет, и притом с процессом «отрясения праха от ног», он очутился на свободе, но и среди всеобщего отчуждения, ставшего кругом него стеной, среди молчаливого «не нужно», которое он встретил в попытках работать, писать (к несчастью, он очень долго не мог найти для себя формы, которую позднее превосходно развил), так как первоначально он гордо отказывался от мысли «служить» и, следовательно, по правдоподобному подозрению, «подслуживаться». У него были наследственные три тысячи (он был сын доктора Шперка, покойного директора института экспериментальной медицины), которые не дали ему пасть сейчас же, задушенным нуждой, как это случилось бы в подобном положении непременно со всяким; но год за годом шел, деньги таяли, и нигде никакого просвета, ничего обещающего. Я помню его в эти годы смятенной борьбы — почти мальчика, у которого, однако, мог научиться муж и старец, все еще в студенческом, совершенно заношенном мундире, всегда с пытливым взглядом, вечно с гадающим умом, жемчугом на устах, и рассказывающего, как еще и снова ему не удалось там-то пристроиться. Это были годы медленного наступающего отчаяния. Трудность увеличивалась тем, что он беззаветно привязался к одной девушке и соответственно высоким и строгим своим взглядам на брак, как и на чистоту вообще плотской жизни, тотчас же стал мужем и затем год за годом — отцом одного, двух и, наконец, трех детей. Ничего нельзя было сделать с своеобразием и причудливостью его языка (литературного), который не умел найти себе — не говорю «шаблона» — но просто понятной, допустимой в литературе формы. Одни и те же мысли, которые вас очаровывали в устной беседе, — будучи положены им на бумагу, становились не только мертвым, но и непонятным набором слов, не распутываемым составом предложений; и, между тем, в других писателях он был высоким и тонким ценителем именно формы, манер и оттенков литературного письма. Мне, в силу указанного недостатка, он казался потеряннным для литературы, или, точнее, — казался не найденным, не открытым и не открываемым для нее, при всем богатстве своих мыслей. Встреча с двумя людьми, многоопытными в форме, поправила этот вывих его природы; сперва покойный Н. Н. Страхов, привязавшийся к Шперку, как только узнал его, сделал попытки как-то и чему-то научить его; но, за скоро наступившею его смертью, главный труд и заботы в этом отношении принял на себя г. Буренин, к которому, бесплодно сотрудничая до тех пор в «Гражданине», «Школьном Обозрении», «Новом Слове» и др., он однажды отнес какую-то критическую статью. Это было, как мне известно, важнейшим моментом его внешней судьбы, моментом вызревания к выражению: ибо *зему* выразиться — это давно и обильно в нем созрело. Как и всякого, к кому он приближался, он привязал к себе старого и опытного критика и заставил его захотеть работать над созданием у него формы. Чисто редакционные методы выправки и указаний как-то дали ему, наконец, понять ли что-то, научиться ли чему-то: я никогда этого не мог постигнуть; но, неумоимо внимательный и сам в работе над собою, при таких-то недостававших ему указаниях, Шперк вдруг и поразительно стал приобретать форму, более и более отчетливую, а наконец даже выразительную и сильную. Был спасен человек, и был найден, приобретен, открыт многообильный ум для литературы: отсюда чрезвы-

чайная привязанность его к двум названным писателям, пестунам его языка, — привязанность, которой многие удивлялись и, не зная первого и главного ее источника, не доверяли ей. Теперь оставалось для него сделать еще один шаг — найти форму, найти способ не для афористического, но для длительного, сложного, богатого песнями и полупеснями выражения своих мыслей: ему нужен был колорит живых, т. е. непременно разнообразных, цветов, взамен краткого, пусть даже сильно падающего, слова — и огромный писатель — ибо огромность в содержании была уже обеспечена — обогатил бы нашу литературу. Но когда, играя и уже почти счастливый, он поднимался вверх и вверх — смерть подкралась и ско-
10 сила его.

В характере, всей манере и, наконец, судьбе этого не раскрывшегося еще для жизни юноши было много особенного и исключительного. Понятие «жалостливого», «трагического» вполне применимо к его смерти. Пишущему эти строки приходилось встречать людей иногда знаменитых, иногда очень привлекательных и, однако, никто из них не возбуждал к себе столько умственного любопытства и тайного сочувствия. Если обдумать, вся жизнь его и, наконец, преждевременная смерть исполнена героического — в лучшем, серьезном, не мишурном значении этого слова: она вся была порывом к свободе и борьбой за умственную, общедуховную независимость. «Как печально мне, что во мне ужасно много ненависти», — сказал он мне однажды в Халиле, т. е. уже больной, умирающий. Со стороны он был лучше виден, и этим именем он называл те бурные, гневливые чувства, с которыми поднялся на все, что задерживало, или ему казалось, что задерживает этот его порыв к свободе. Невозможно передавать здесь подробности его убеждений и также жизненных обстоятельств, но мне известно было, что эти бурливые в нем чувства все поднялись для защиты простого и естественного, с тем вместе лучшего, правдивейшего в жизни. Но все это сообщало лишь объективный интерес его личности и судьбе, тогда как главное в нем было субъективная сторона. Больной и тяготясь посещениями даже старых друзей, Страхов — ранее не расположенный к нему за некоторые писания — после двух-трех свиданий
30 уже искал новых. «Был Шперк, просидел три часа — и не утомил меня», — помню я его замечание, кажется, даже не без удивления сказанное. Особенность беседы с ним заключалась в том, что она служила как бы продолжением, только дальнейшим движением субъективной вашей жизни, что не чувствовалось вовсе никакой внешней преграды, которая задерживала бы непониманием или неправильным отношением вашу мысль, как и обратно вы чувствовали себя не защищенным, не закрытым от его мысли или слова. Едва завязывался разговор, как материальные и всегда задерживающие условия бытия нашего — материальные не в вещественном только смысле, но и в духовном, как выгода, фальшь, притворство, всякая деланность, — куда-то пропадали, и открывалось чисто умственное
40 или нравственное общение. Иногда, и особенно во враждебные минуты, мне представлялось это высшею достигаемой формой вкрадчивости, т. е. вкрадчивостью, естественно текущую из природы вещей: ибо, не будучи преднамеренною, она все равно открывала вашу душу постороннему человеку — чужой человек как бы имел ключ даже от того, что вы не хотели бы никому показать, и без того, чтобы вы передали ему этот ключ. В немногие светлые для него минуты, и может быть оставшиеся незамеченными для других, я видел его в степенях такой душевной прозрачности, которая — я не ставлю необдуманно этого слова — про-

буждала мысль, или воспоминание, или, наконец, понятие о святости: это были минуты абсолютного пробужденного в вас доверия, может быть, абсолютного уважения к человеку — когда между вами и странным юношей, с заросшими волосами и в неопрятной одежде, не было никакой границы, вы чувствовали себя в нем и его в себе. Я передаю это и записываю, потому что большая странность этого всегда меня поражала, и еще никогда и ни с кем этого отношения я не знал. «Хитрый византиец, — иногда смеясь и недоверчиво формулировал я себе, — так-то вот в Византии, читаем мы в истории, и овладевали какие-то безвестно-темные люди государями».

Как неустанная деятельность, исключение всякой лени были в его характере, так неутомленность и неутомимость были в его уме: он вечно чего-то искал умом, вас спрашивал или отвечал на верно угаданную вашу мысль. Он был всегда и ко всему окружающему насторожен; никакой рассеянности, как и ничего наивного, в суждениях у него не было. И, вместе, сам он беззаветно привязывался ко всему наивному: эта смесь огромного ума, вечно все судящего, с порывом даже до героизма, до готовности страдать, — к простому и беззащитному, кажется, и была причиной его обаятельности, огромного пробуждаемого им доверия. Никакою мишурой или кажущейся «знаменитостью» его нельзя было обмануть: он зорко ее выглядывал, злобно кидался на нее, — и в то же время вы видели (или позднее узнавали), что он влекся и привязывался до неотступного любования к чему-нибудь самому малозначительному с виду — ни в чем не ошибающимся взглядом и аналитическим умом он открывал внутреннее золото. То, что внешние объективные оценки не существовали для него; то, что за свою субъективную оценку он готов был к борьбе; и, наконец, что в самой борьбе он был так силен — это-то и привязывало к нему, а вдали пробуждало и большие обещания. Его вступление в литературу обещало прекрасную борьбу против того, что мы назвали «общими местами» — против «общих мест» в понятиях, в отношениях, в оценках. Но все обещанное им — нам не суждено было получить.

Было определено в санатории, что первые зачатки чахотки уже положены были у него года три назад; сырая несносная квартира в зиму 1896—1897 года и простуда около Пасхи 1897 года перевели обыкновенную и неопасную форму этой болезни в скоротечную; все встrepенулось около него для помощи, но уже помощь была не нужна. Нетерпеливый, боящийся физической боли, — с невероятным терпением он провел пять месяцев, не отделяясь от одра; нежно любящая жена, кинув троих детей в полверсте от санатории на попечение крестьянки-няни, поселилась, с особого разрешения начальства, в самой санатории, около умирающего. Годы испытания и отчуждения, какие перенес он, сделали его пугливым к людям, недоверчивым к жизни; по крайней мере, я наблюдал, как, лежа в номере или выносимый на воздух, он требовал или искал, чтобы жена не отходила от него. Много было исключительного и трогательного в перипетиях кратковременной и бурно развившейся привязанности их; и, как сравнивал я его с Фаустом, и было действительное здесь, серьезно выраженное сходство, — так приходилось сравнивать и в краткотечном романе с Ромео и Джульеттой: и снова в простых, почти грубых чертах здесь прошло не только сходство, но и повторение жалостливой истории, так ярко нарисованной Шекспиром. Жизнь в миниатюрных и будничных чертах не беднее, в сущности, и вовсе не хуже самого высокого искусства. Как и всегда у умирающих, у него не было сознания приближаю-

щейся кончины: смерть подходит к человеку не с лица, хватает его не за голову, но как-то странно и страшно точно ущемляет сзади — и он никогда ее не видит, как бы ясна она ни была. Полон был он надежд, и сам угасал, а оне не гасли. «Ну, вот, милочка, выздоровлю — напишу большой фельетон и куплю тебе кофту», — как-то сказал он раз жене, тронутый неустанностью и подробностью ее ухаживания. Все знали сущность драмы, кроме главного в ней актера; и отчаяние всей людной собравшейся около него семьи было тем глубже, чем безмолвнее. Последние недели были особенно трудны, когда туберкулы стали проникать в чувствительнейшие внутренние полости; напрасно впрыскивали большие дозы морфия.

10 Метаясь, странно чем он был озабочен: «Пожалуйста, любите меня: если я чем-нибудь когда-нибудь обидел кого, простите мне ради великих моих теперь страданий». Так самая малая нравственная боль, как возможной непримиренности с собою, — преодолевала сильнейшую физическую. Дня за два до смерти он вторично захотел причаститься; переход в православие, давно им решенный, сперва откладывался в надежде торжественно совершить его по выздоровлении; но «выздоровление» тянулось, оттягивалось, и он не захотел медлить. — Взволнованный, сидя в кровати, с пылающею от лихорадки кожей, которая одна обтягивала его остов, сказал он, ожидая священника, памятные слова: «Протестантизм тем беден, что не содержит в себе тайны; он преднамеренно отталкивает от себя

20 мистическое, тогда как в мистическом лежит сущность религии, без него вовсе нет религии». Как это оригинально: в тысяче критических воззрений на протестантизм именно эта точка зрения отсутствует, и, между тем, ясно, что в ней лежит центр дела. И здесь, как всегда он делал и в литературе, — он взял главу гордости, сторону горделивого возвеличения, и показал в простых словах ее пустоту. Действительно, апостольская «простота» культа, как и «рациональность» построения внутри, отвечают прекрасным чертам нашей скромности и строгим требованиям науки; но мы имеем здесь дело не с наукой, как и не с художественною стороною наших вкусов: перед нами религия, т. е. не наше и не от нас и где все — тайна, исходит из тайны и оканчивается тайной. И задачи построения, как и все

30 средства внешнего выражения, здесь должны быть иные.

1897 г.

5. Я. П. Полонский († 18 октября 1898 г.)

Смерть каждого очень значительного человека пробуждает вопрос, что мы потеряли в нем? — и побуждает искать точнейшего определения его личности. Едва весть о смерти Полонского облетела Петербург, как прежде всего и ярче всего около его имени заволновалась *любовь*: не сожалели руководителя общества, камень его устоев, обширный ум, — сожалели *красоту* общества, и именно его нравственную красоту.

40

Блажен незлобивый поэт...

— с этим впечатлением невольно многие оставляли поэта последние годы или встречали его. В личности Полонского, как и в его поэзии, было совершенное от-

сутствие раздражения, саднящего гнева, длительного негодования — того негодования, которое убивало бы или даже причиняло боль, хотя негодование, гнев — все это, наряду с противоположными чувствами, волновало его как человека и пробегает в его поэзии. Но эти отрицательные чувства никогда не были им относимы к лицу человека, к поступку человека, а всегда — к положению вещей, к течению идей, к чему-нибудь общему, а не частному. И это — не в силу его отвлеченности, но в силу того, что он был слишком замкнут в поэтическом мире, а поэзия хотя и мыслит «образами»; но всегда образами чрезвычайно общего значения и волнуется чувствами чрезвычайно общего колорита. Дряг улицы, подробностей минуты он не отгонял от себя, не считал их унижительными для поэтического своего уединения; но, поэт — и на этот раз истинный поэт, — он не мог и не умел внимать перипетиям этих дряг. Он отдавался восторгу или горести о загрязненном человеке, без интереса к имени и лицу или с очень слабым интересом к нему. О рассеянности Полонского ходили почти анекдоты, т. е. о невнимании его к подробностям, к непосредственному впечатлению текущей минуты, о постоянном погружении его в вечные образы и общие же, вечные впечатления, идущие от панорамы истории и природы. Очень живым и конкретным для него был не случай, происходящий перед глазами, случайное сцепление в субъекте этого случая образов, фигур, положений: тогда он хватал перо и записывал как бы видение. Получалось живейшее и конкретнейшее стихотворение, однако срисовывающее не факт, а момент внутренней жизни поэта — расположение или изобретение его души.

Но что же мы потеряли с ним? В Майкове мы потеряли часть нашего образования, и каждый порознь терял в нем учителя более его образованного и умного, но которому он внимал несколько холодно. Параллель между Полонским и Майковым напрашивается на ум вследствие их чрезвычайной противоположности: Майков любил и умел писать стихотворения в «антологическом роде»; всю его поэзию можно сравнить с красивой древней колоннадой; но вот около одной из колонн стоит и задумалась девушка, в живой красоте своей, в теплом дыхании, — это и есть Полонский. Его поэзия не имеет величавых тем, как «Три смерти», «Два мира»; не движется по рубрикам: «Из гностиков», «Из древних», «На родине», почти с географической и хронологической правильностью и полнотой. Ничего подобного: все — бегуче, все — случайно, но все неизмеримо нам ближе и интимнее... И пусть менее просвещает нас исторически и географически, но на сей день и в сем месте необыкновенно нас согревает.

Итак, не часть образования мы теряли в нем, но часть нашей души как бы оторвалась с ним в горнее; кусочка нашего сердца нет более у нас — в смысле ли воспоминания, дорогого и потерянного, или надежды, ласкавшей и обманувшей. Мы заметили о теплоте и живости его; сдвинем теснее определение: он был, может быть, самый интимный поэт вообще за наш век, а следовательно, и за все время существования нашей литературы. Этим только можно объяснить, почему, не будучи простонародным, он проник (кажется, один) в простонародье; есть у него такие песенки, что каждому хочется ее запеть, при «подходящем» случае, и песенка запеваётся — художником, поэтом, чиновником, простолюдином; а запеваясь как нужное что-то, — запоминается. И это — сейчас; а можно верить — без понуждения, без педагогического подсказывания, он, хоть небольшой частичкой своих произведений, войдет в живой песенный кругооборот народа.

Это объясняется громадным его поэтическим даром. Нет мощи у него; нет остроты: он никогда вас не ослепит и редко «захватит», увлечет до самозабвения.

Есть нечто более ценное и вечное в нем. Он не специальными поэтическим дара, но полною натурою своею и общим складом поэтических способностей есть поэт в древнем смысле, одновременно классическом и всемирном: пение было сущностью его души, и пение — в гармонии с действительностью. В природе есть вообще певческое начало — поет лес, поет майское утро, своеобразно поет хмурый осенний день: вот это-то стихийно-певческое было в высокой степени присуще Полонскому — и он спел бы, лишь не записав, все свои песни и на необитаемом острове, как там пропевают положенные ему мелодии сосновый бор. Но, конечно, высший в природе певец есть и останется человек; его мелодии суть часто (по сложности) поющие миры. У Полонского есть такой поющий мир: это — несравненная его сказка «Кузнечик-музыкант».

Удивительное в этой поэме-шалости, что в ней творец подымается до бессознательности именно поющей природы, ее чистоты, ее спокойствия, но осложняет ее узором человеческого вымысла и сознательных человеческих мотивов (побуждений, мыслей аллегорических). Сказка эта по непосредственности и красоте, быть может, есть лучшее по части поэзии за полвека в России — и вообще может выдержать сравнение с первоклассными произведениями человеческого духа; ее ни в каком случае не мог бы постыдиться Гёте. Между прочим, в ней есть универсальная понимаемость: самый образованный человек забудется за ее несравненную красотой, и почти с тем же ощущением побежит по ее строкам несколько не понимающий ее аллегии простолюдин, или почти простолюдин (случалось наблюдать): скульптурность и живопись вымысла, как равно неподражаемая прелесть стиха, увлечет его.

Почти современник Пушкина, интимный друг Тургенева — Полонский последние годы как бы жил среди теней этих сошедших в преисподнюю песнопевцев. Можно думать, что их, умерших, он ощущал живее и интимнее, чем — впрочем, несколько ему не холодную действительность; в манере его слов было что-то прорывающееся: как бы на секунду вырываясь из почившего сообщества, он произносил свой глагол — вот этим гостям в своем кабинете или за чайным столом. Было чрезвычайно привлекательно его слушать, и многие слова хотелось записать. Чувство почти непрерывного удивления было, по крайней мере у пишущего эти строки, при этих вырывающихся речениях 78-летнего старца, который был чрезвычайно ветх, физически — совершенно изнеможен. Не забуду, с какими подробностями, как умело и прорицательно он вдруг — по какому-то случайному поводу — заговорил, как следовало бы организовать простонародную школу: была прекрасная критика и прекрасный план у человека, по-видимому никогда не думавшего о народном образовании. У него были, именно, панорамы в душе; из нравственно чистой, из бесспорно умной души они выходили в общем правильными, без предварительных исканий. В другой раз зашла речь о (филантропической) самопомощи в России; конечно, ее нет или мало, но все поверхностно волновались минутной темой говора. Вдруг из-за повязок, пледа и костыля услышалось раздраженное, прямо негодующее: «До чего я ненавижу Россию» (или: «Ничего я так не ненавижу, как Россию»). Невозможно представить степень изумления при этих словах от поэта, любовь коего к России всем была известна; и кто-то заметил об этом, об этой странности услышать это от

Полонского. «Ну, конечно, я отдал бы за нее жизнь» (или: «Пролил бы за нее кровь, не задумавшись»). Все знают «odi et amo» * — и это надоело; но вторая часть слов Полонского не вытекала с необходимостью из первой, и он не ждал ни вопроса, ни поправок и уже задремывал в плеле; замечание разбудило орла — и какой клекот послышался: хоть бы в «Слово о полку Игореве»! И опять задремал. Оба восклицания, которые нужно было выслушать, чтобы оценить их силу, — в своем нажиме и красоте выразили настоящие и кровные состояния его души. С такими детьми России бы вечно жить, т. е. начало смерти не коснулось бы ее, если бы всегда она могла надеяться иметь таких детей.

1898 г. ¹⁰

* «Ненавизу и люблю» (лат.).

Приложение

ЗАМЕТКИ О ПОЛЬШЕ

1. Об историческом воспитании Польши

Князь Адам Чарторыйский, в записках своих, изданных в Париже (сперва в 1865, потом с дополнениями в 1887 г.), между множеством замечательных характеристик, оставил следующую известную графа Браницкого, устроителя Тарговицкой конфедерации:

«...Этот человек уронил себя тем, что содействовал гибели своего отечества. Придворный, запятнанный предосудительными поступками, тщеславный, без всяких принципов, жадный к богатству, он был поляк в душе и предпочел бы удовлетворять своим страстям и честолюбию в Польше (Чарторыйский встретил его при русском дворе), а не в другом месте. Он гордился Польшей, которую сам погубил, и сокрушался об ее унижении. Он ненавидел русских, которых близко узнал, и покоряясь их силе, мстил им презрением и беспощадным осмеянием их недостатков. В то же время он был чрезвычайно сердечен к близким ему людям, с которыми безнаказанно мог откровенничать. Его живое, своеобразное, чисто польское, остроумие, его тонкая наблюдательность делали его разговор занимательным и веселым. Рассказывая анекдоты и оживляя их народными прибаутками, он имел дар по-своему их передавать, причем всячески избегал малейшего намека на злополучную Тарговицкую конфедерацию. Он очень любил воспоминать доброе старое время, и при этих воспоминаниях прежнего величия разом принимал вид магната. Впрочем, это величие мгновенно у него исчезало в кругу придворных, в присутствии которых он превращался в ничтожество... Он мог быть полезен нам (Чарторыйский, еще юноша, приехал с братом в Петербург просить Императрицу о возвращении конфискованных родовых имений отца) только своими советами, смысл которых заключался в словах: „терпение и покорность“... По прибытии нашем в Царское Село, мы посетили его и ожидали у него времени, назначенного нам для представления (Императрице)... Он дал

нам должное наставление. На наш вопрос, следует ли нам целовать руку Императрицы, он отвечал: „Целуйте все, что она прикажет, лишь бы только она возвратила ваше имение“. Он показал нам, как надо становиться на колени».

В этой тонкой и сложной характеристике, хотя она относится к отдельному человеку, удивительно соединены и все собирательные, типичные черты польского общества времен политического падения. В крови этого общества, «стародворянской» крови, исчезли все элементы твердости: есть золото, много серебра, вообще благородных частей, — но совершенно иссякло животворящее и укрепляющее железо. Можно поэтому без преувеличения сказать, что если бы Польша, в начавшемся падении, была предоставлена себе самой, своему дальнейшему внутреннему, духовному и социальному разложению, — она исчезла бы с лица мира Божия гораздо глубже и страшнее, чем мы это наблюдаем теперь.

Представление, что три соседние державы «разделили» Польшу, что оне расчленили *живой* организм и поглотили его части — совершенно ошибочно. Это представление есть представление нашего времени, когда мы видим Польшу с ее цветущими городами, с блестящею литературою, с здоровым трудящимся населением, после ста лет возрождающих усилий России, ее укрепляющей дисциплины, ее порядка, гражданственности. К концу XVIII века, ранее разделов, Польша перестала существовать морально, хотя и продолжала существовать политически. Она потеряла внутри себя не какой-нибудь, но всякий закон жизни: король в ней мог не более, чем последний шляхтич; не могли ничего сенат и сейм. «У вас есть сабли, защищайтесь сами», — ответил за 100 лет до раздела король Владислав IV казакам-посланцам, искавшим в Варшаве закона и справедливости.

Два практические умения — *повиноваться* и *повелевать* — были совершенно утрачены поляками того времени; две психические способности — *заботиться* о ком-нибудь и кого-нибудь *бояться* — были ими совершенно потеряны. Решительно никто и ничего не мог в тогдашней Польше *по закону*, потом что всякий и все мог в ней *по силе*. Она стала диким, запущенным лесом, в то же время кичась и имея основания кичиться всеми блестками культуры. Она была образована, утончена. Она была эгоистична в том страшном внутреннем смысле, что над *я* каждого человека, каждой группы людей не было решительно никакой сдерживающей нормы; и, с другой стороны, это *я* решительно не имело никакого морального тяготения к другим *я*. В стране развились мириады центробежных сил; каждое *я*, всякая семья, деревня, город была такою силой. И вовсе не было сил центростремительных.

Нужно читать, в тех же воспоминаниях Чарторыйского, с какой тоской и страхом приехав в Петербург, он проезжал по Литейной улице, где в одном доме содержались в заключении отдельно от других Потоцкий, Закржевский, Мостовский и Сокольниковский: «Наши сердца (он ездил с братом) сильно бились, когда мы смотрели в окна, в надежде увидеть, хоть вскользь, людей, страдавших в жестоком и несправедливом заключении», — пишет он и прибавляет: «Было опасно и трудно справляться об их положении».

Это совершенно новые чувства: кн. Ад. Чарторыйский, сам того не замечая, является совершенно новым человеком в своей истории; и все то новое что мы в нем находим — эта *стойкость* чувства, эта *непоколебимость* в своих принципах, эта громада сдерживающей внутренней *дисциплины* — суть продукты нового положения, в каком он находится. Он постоянно *боится*, и он умеет уже *распоря-*

жаться; он унижен — и уже научился *сострадать*. В нем уже масса центростремительных сил.

Для Польши наступила эпоха перевоспитания, продолжающаяся вот уже век. Все говорят, и часто говорят, о промышленном и торговом процветании Привислинских губерний в XIX веке; никто не хочет заметить, что самый поляк стал лучше, что выправился его дух, окрепла кровь, и пробудились в нем чувства, которых он давно не знал. Нужно читать историю местных польских сеймиков конца XVIII века, чтобы ужаснуться, до чего поляк того времени представлял собою нравственную руину: никаких скрепляющих, единящих чувств; нет общей идеи отечества, нет идеи истории своей; он ничего не понимает, кроме сегодняшнего дня; никого, кроме себя, не любит; никого не боится, кроме более сильного соседа, который его завтра безнаказанно может разорить, опозорить и даже, при случае, убить. Оздоровление расы после политического падения тотчас сказалося в литературе: великий гений польский, Мицкевич — есть гений не свободной Речи Посполитой, но благоустроенных северо-западных губерний России. Вспомним также и Лелевеля. На всех путях жизни, во всех сферах творчества польская раса пустила свежие, сочные, неожиданные ростки. Это совершенно новый народ: ничего подобного не умело рождаться на берегах Вислы, в лесах Литвы, степях Украины уже в течение 3—4 веков перед «разделом».

Воспитываются, истинно образуются люди не через одну школу: лучшею школой всегда останется *жизнь*, лучшею воспитательною системой — необходимость в ней *трудиться*, *бороться* с бедствиями, выносить страдания, когда они неизбежны. Эта школа не могла быть приобретена во *внутренних* условиях польского бытия, не могла внутренне там создаваться: она могла стать только *извне*, обок с гибнущей народностью — как угроза, которая *исполнится*, как сила, которая сумеет принудить, как наказание, которого *не избежешь*.

Мы видели, в лице гр. Браницкого, первого ученика этой школы, в самый момент его поступления в выправку; взглянем же и на первого учителя, по тем же воспоминаниям Чарторыйского. Он оставил нам портрет Екатерины II в тот миг, как склоненный на колено он целовал ей руку; он смотрел на нее со смертельной ненавистью, как на погубительницу своего отечества: он не понял, что перед ним — его учительница. Но, взглянув на его фигуру, исполненную страха и вместе готовую к состраданию, взглянув на фигуру его, стойкую потом в одной мысли на протяжении пятидесяти лет, мы догадываемся об истине, мы восклицаем невольно: «Поляки, узнаете ли вы себя, и кто вас сделал этим?».

«Императрица была еще в церкви, когда всех, собравшихся для представления ей, пригласили в залу. Нас представили сначала обер-гофмаршалу, графу Шувалову, любимцу Императрицы Елизаветы, всемогущему при ней и известному по своей переписке с Даламбером, Дидро и Вольтером... Нас поставили рядом с другими возле двери, из которой должна была выйти Императрица. По окончании обедни стали выходить из церкви попарно камер-юнкеры, камергеры и важнейшие сановники; за ними шла Императрица, окруженная князьями, княжнами и придворными дамами. Мы не успели ее разглядеть, потому что нужно было опуститься на одно колено и поцеловать ее руку в то время, как произносили наши имена и фамилии. Вслед за тем, вместе с толпою придворных и дам, все представлявшиеся окружили Императрицу, и она стала обходить нас, обращаясь к каждому со словом приветия... В ее движениях не было ничего резкого, все в ней

отличалось достоинством и величием, но это был поток, все за собой увлекавший. Ее морщинистое, но чрезвычайно выразительное лицо дышало надменностью и повелительностью. С ее губ не сходила улыбка, но ее приближенные знали, что под видимым спокойствием в ней таились неукротимые страсти и непреклонная воля».

Вот какие элементы нужны в *воспитывающем* для задач *этого* воспитания.

2. О польском католицизме

Польская народность *наркотизирована* католицизмом — вот ее величайшее бедствие и вместе опасность, отъединившая ее от восточного и южного славянского мира. Я упомянул об ее внешнем воспитании, начавшемся с падения: о выработке характера, трудолюбия, сострадания, умении повиноваться, и, в связи с этим — повелевать. 10

Но эти качества бытовые и политические, а между тем Польша нуждается еще в нравственном оздоровлении. Все, что могло бы вернуть ее к покою, умиротворению, к светлой веселости сердца, к твердости и ясности мышления — черты, характерные в славянском племени, — все это спасло бы ее в себе самой и вместе спасло бы для славянского мира. Все, что ослабляло бы в ней католицизм, — оздоравливало бы и сберегало ее как народность, как язык, как дух, как гений.

Привязанность к католицизму вовсе не так глубока и страстна в поляках, как это принято думать; эта привязанность им несколько навязана, искусственно 20 привита в истории. Движение в сторону реформации было очень сильно в Польше *до падения*, но *после падения* у поляков начинается какое-то болезненное возбуждение в сторону католицизма, ненормальная к нему *прилипчивость*, *упивание* специфически католическим миром идей и чувств. Чем убилась Польша, к тому она и льнет; она судорожно, в какой-то конвульсии зажала в руке и не может выпустить чашу, из которой до дна выпила отравляющий напиток и погибла.

Католицизм, весь развивавшийся на почве борьбы — с падающим Римом, новыми варварскими племенами, императорскою властью, независимостью народов, реформацией, просвещением, — заключает в себе бездну питающих, поддерживающих, возбуждающих к борьбе эмоций. Это есть истинный наркотизация 30 страдания — с одной стороны; гневливости, насилия — с другой. Все падающее, поэтому, как и все только что победившее — жадно вбирает его в себя, сливаясь с ним главным нервом своего бытия, или им утешаясь, или им возбуждаясь к мстительному гонению. Как, наоборот, для всего уравновешенного, эпически покойного — католицизм чужд и даже как-то странен, отталкивающ.

Эта общая соотносительность веры и исторического положения для Польши усиливается еще тем, что она видит в католичестве единственное оставшееся ей отечество — обломок истории, который у нее не смеют отнять, черту индивидуальности своей среди православного славянского мира. Она хватается за него, как за драгоценный и неразрушимый остаток своего разбитого я. Мы не говорим уже о воспоминаниях, о поэзии, быте, семейных традициях, которые связаны 40 с костелом и ксендзом, привязаны к далекому и тем более влекущему, величественному престолу в Риме. Характерно, между прочим, что две ultra-католи-

ческие страны не прилегают к Риму, но находятся на точках крайнего от него удаления: это — Испания и Польша; тут, очевидно, в сильной степени замешано воображение.

Борьба с этим миром чувств, предлежащая нам в истории, конечно, не трудна и не опасна, по чрезвычайному перевесу в нас силы; но она обещает быть бесплодною: она обещает быть победой, никогда не увенчиваемою, не завершеною, не оконченною в силу вечной жизни и продолжающегося сопротивления побежденного.

Что мы здесь сделали?

- 10 Мы русифицируем народность при помощи «государственного» языка и школы; и пытаемся самый костел отъединить от этой обреченной стираемой народности (русский язык в дополнительном богослужении). Не спорим, что, для 1¹/₂ — 2 века без перерыва, без ослабления, эта мера может сломить упорство польской народности; самниты были враждебны Риму еще больше, чем Польша нам, они были несравненно этнографически крепче поляков, были могучим племенем, — и, однако, в эпоху римской империи не было уже никакого воспоминания о Самниуме, равно как об Этрурии. Даже камни стачиваются падающими с непрерывающимся постоянством и в одном направлении каплями: и тем более стачиваются люди, *всякие* люди... Уже теперь можно, хоть изредка, встретить людей,
- 20 деды или бабки коих были поляками и католиками, и которые стали типично русскими, *страстно* русскими. Нужно заметить, что народность русская проще, правдивее и сильнее польской. Живя среди русских, еще *недавний* поляк, даже *теперь* поляк, однако начинает наблюдать, ценить, и, наконец, молчаливо восхищаться этими новыми для него чертами. У князя Адама Чарторыйского, этого ultra-поляка, вырвалось такое признание: «Мало-по-малу я и брат убедился (по приезде в Петербург), что эти русские, которых мы инстинктивно ненавидели и признавали, без различия, злыми и кровожадными, от которых мы отстранялись и самая встреча с которыми возбуждала отвращение, — такие же люди, как и мы... и что можно иногда питать к ним дружбу и признательность». Озлобленный изгнанник Лелевель, когда его посетил в Брюсселе Погодин и на вопрос: что ему надо? — ответил: «Я профессор Московского университета, имевший случай спорить с вами о местопребывании Рюрика», хотел что-то возразить, но слова прервались, и он, вскочив, бросился горячо обнимать его (Барсуков; «Жизнь Погодина», VII, 52), — обнимать единого от земли, бывшей причиной всех его несчастий, личных и отечественных. Мне случалось встречать поляков, бывших в повстании, *после* университета (Московского), сидевших в крепости: они вспоминали, неизменно называя по имени и отчеству, известного Нахимова, бывшего инспектором студентов в 40-х годах: посмеивались его выходкам и, очевидно, через 40 лет еще продолжали *любить* его.
- 40 Море русского благодушия, кротости, терпения захлестывает, вбирает в себя всякое сопротивление. Как бы общими идеями русское имя ни было ненавистно полякам, но великодушие, незлобивость этого Ивана, того Петра — наконец трогает, образуется тайная симпатия, наружно скрываемая от других, даже в *себе* отрицаемая. Несомненно, однако, что проживший долго среди русских поляк, вернувшийся на Вислу, уже несколько отчужден от местного, чисто польского населения; уже встречает радушно тамбовца, случайно туда попавшего: связь главная, связь высокочеловеческая.

Но если это так, если поляк не лишен общечеловеческих черт, и силою их влечается и понимает прекрасное в русской душе, нужно открыть ему источник этой особой нашей красоты — Православие. Нужно продолжить подвиг Кирилла и Мефодия. Нам вовсе не нужно католичества на русском языке; нисколько не опасаясь его (как некоторые), мы отказываемся понимать: что им будет достигнуто, кроме пустой внешности, — усвоение поляками нескольких новых слов русского лексикона, при увеличившемся раздражении сердца? Но вот глубокая, но вот внутренняя стихия слияния: православное богослужение на языках польском и литовском, для воссоединенных уже с нами. Здесь мы не угнетали бы племени, не гнали бы языка; не звали бы даже к вере: мы только предложили бы 10
взглянуть и *вникнуть*. Во все не *spiritus gentis polonicae* * опасен, враждебен нам; но *spiritus Ecclesiae Romanae* **, в него внедренный. Против этого узла гневливых, враждующих чувств, — как высшую человечность, мы должны поставить, с верою и любовью, покой и мир, и радость и всеобъемлемость Апостольского православия. «Вот *зем* мы победили вас; вот чем вы *всегда* будете побеждены; вот с чем слившись, вы не погибнете как племя, как язык, как гений, но подымитесь к высшим произрастаниям, наполнившись более здоровыми соками», — сказали бы мы им, сказала бы им вся наша история и, наконец, вся окружающая очевидность.

Замечено всеми, замечено было особенно в эпоху последнего повстания, что 20
даже у духовенства польского национальная сторона дела всегда заслоняла собою *романо-церковную*; что они не задумывались быть преступниками против религии, когда нужно было быть героями народности. Когда станет ясно для них, что сохранение народности польской не только связано с Римом (как до сих пор), но что, напротив, Рим стоит препятствием к сохранению этой народности, — сердце их поколеблется; нельзя сомневаться, по всей их истории, на чем остановится их выбор. Школа, язык — путь будут русские всюду, где есть латинское католичество; но там, где уже привилось Православие — не только эта православная литургия пусть будет на польском и жмудском языке, но на этих же языках пусть остается и школа, низшая, средняя, даже высшая, и, наконец, суд 30
и управление — с совершенным, однако, исключением от этих национальных благ католиков. Дабы не было здесь предположения о *временности* этой меры, пусть будет закреплена она торжественными обещаниями, писанными актами; пусть Польша и Литва в *православных* своих частях, и насколько они будут хранить Православие, получат своеобразную *национальную* конституцию, гарантию для свободы языка, быта, школы.

Мицкевич им все-таки ближе, чем Иннокентий III; «пан Тадеуш» — роднее, чем все буллы и энциклики, от Григория VII до Льва XIII, так ослабшие ко времени, и на самом Западе. Повторяем, приверженность поляков к католичеству есть временный нервоз, протекающий под влиянием *крушения национальности*. Как 40
только увидят они, что *в себе самой взятой* этой национальности ничто не угрожает, — они успокоятся, они не так станут липнуть к католичеству. Тем более, что поляки есть раса глубоко *местная*; они вовсе чужды универсальных, *специ-*

* Дух польского народа (*лат.*).

** Дух римской церкви (*лат.*).

фигески римских идей; мало к ним способны, совершенно ими не влекутся; это — раса прежде всего *быта, обытая*: «сегодня как вчера — завтра, как сегодня»; раса — характернейшее и прекраснейшее из созданий которой есть *танец*. В высокой степени правдоподобно, что самый католицизм *искусственно* был привит к их крови; что эту кровь он модифицировал сообразно с собой, но модифицировал не прочно; что есть, напротив, тайная соотносительность у этой крови именно с Православием.



ТАЙНА

Из записной книжки писателя



И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. — И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистою блудодейства ее; и на челе ее написано имя: Тайна, Вавилон великий, мать блудниц и мерзостям земным.

Апокалипсис, XVII, 4—5 10

Скопец и каженник в сонм Господень да не входят.

Второзаконие

.. для меня

Так это ясно, как простая гамма.

Пушкин

I

Два мимолетные воспоминания чуть-чуть задержат наши рассуждения. Это было лет 8 назад, в Липецке; при ваннах, в женской половине, услуживала де-
вушка, и когда сезон кончался, среди обширного общества, соединенного общим
столом в Центральной гостинице, возникла подписка — добавить летнюю ей
плату от администрации вод частным денежным вспомоществованием... Мой
рубль или три рубля легли в общую шапку, и в совсем интимном кружке, знако-
мом мне издавна по старожильству, решено было пойти к недалекому белому
зданию вод и сообщить приятную весть полу-прислужнице, полу-барышне. Не
знаю, всегда ли, т. е. всякий ли сезон, так было; но она была очень обрадована
и на радостях пошла обратно проводить нас до гостиницы. Все, совершив дело,
уже полурассыпались и повели свои речи; не занятый никем, я предложил ру-
ку полу-барышне; должно быть, брошенные три рубля — может быть, однако,
рубль — меня радовали, и я оживленно болтал, не думая о *тем* и *как*...

Луна ли выглянула, или упал свет фонаря, я не помню. Я увидел лицо моей
спутницы, раньше издали и мельком выдав только ее фигуру, всегда хлопотли-
вую. Оно было слегка тронута оспой; не очень, так что можно было, особенно
при моем невнимании к лицам, смешать с сильными веснушками, но чем-то
было тронута. И, кажется, был несколько вздернут нос... Я понял, почему она
должна была стать не полу-барышней, не полною женщиной, но полу-прислуж-
ницей...

Мы также весело говорили; луна ли скрылась, не было ли больше фонарей, но
я не видел уже ее лица. Все, что знал я в литературе, во всемирной истории, как
бы вдруг вспыхнуло и стало на страже моего ума, окружив его; или, точнее, вы-
званное умом, как бы закружилось перед ним, испытываемое и допрашиваемое. Из

всех фигур ярче выделилась «ветхая деньми» — Фауста, и ироническая мысль: что если бы на лице Гретхен были веснушки, при той самой невинности и духовной красоте, какую мы в ней знаем, также ли бы Фауст осыпал ее красотой своей любви, минутой счастья, позднейшего страдания и все-таки в общем некоторую жизнью и, следовательно, смыслом, поэзией?..

Нет, она упала бы на землю, как засохший, ненужный цветок; как «пустоцвет» на огурцах, о котором в детстве, я помню, мне объясняла мать, когда я спрашивал, почему из некоторых желтеньких цветочков, в противоположность остальным, не выходят зеленые капельные огурчики. Идея «пустоцвета» в истории, не с этих конечно пор, но почему-то и когда-то закралась в меня и всегда сжимала не столько ум мой, сколько сердце; идея о всем неудавшемся, из чего ничего не вышло; оставленном и как бы пройденном мимо, как бы обойденном каким-то лучем бытия...

Я уже знал — т. е. спросил ранее, — что девушке было около 29 лет; оживленно она продолжала говорить, очевидно возбужденная рублями; и также весело мы шли рука об руку, — но я мало слушал ее речи о расчетах на зиму и предположениях, что и на следующее лето администрация вод, быть может, не обойдет или не забудет позвать ее же...

И как на свет летят сумеречные бабочки, к уму моему, уже насторожившемуся в одну сторону, отовсюду летели тончайшие штрихи все одного явления, и складывались в бороздку какой-то никогда не утихающей боли. — Это было совсем давно, я ехал по Московско-Курской дороге, и поезд подходил, кажется, к Туле. Я дремал на скамье 3-го класса, когда оживленный разговор нескольких дам не столько привлек мое внимание, сколько помешал мне спать. Это были учительницы, — и как я ехал в Москву развлечься на Рождественские каникулы, так, вероятно, для того же оне ехали в большой губернский город. Разговор был занимателен, и приподнявшись над спинкой скамьи, я смотрел на них и уже живо вошел в смысл речей. Одна, энергичная смуглянка, весело говорила, что она не знает неудач в занятиях с детьми: даже подготовлявшиеся у нее во второй и третий класс гимназии мальчики все выдерживали экзамен. Это внушило мне такую степень увлечения, что я, пользуясь свободой вагона и неприязательностью третьего класса, что-то спросил у нее; не ответив, она полуотвернулась. По свисткам и особому стуку колес почувствовалось, что город уже близок, и оживленно все зашевелились, подтягиваясь и придвигая вещи; с тем вместе — и группа учительниц, из которых совсем молоденькая, зевая, спросила бронетку:

— Вы куда же?

— Да куда же, в гостиницу...

Никогда я не забуду черстой и сухой, новой нотки, которая послышалась в ответе. Я понял, что удачи экзаменов были только малой удачей на фоне великой неудачи... Гостиница и номер, а не теплые человеческие руки, которые сожмут ее существо, полунужное и во всяком случае заменимое, — это и было одно существенно и чувство этого вдруг прорвалось в печальном и резком ответе. И мне почудилось, что великий всенародный праздник оставляет ее вне полосы своего света; торжество церкви — ее не захватывает; она лепится к этому; держится за край общего корабля бытия, пока руки не устанут и, разжав пальцы, она пойдет в темную глубь небытия, не жалеемая и в общем даже не замеченная, не опрошенная...

Именно *она* именно кому-нибудь — не нужна; она существует лишь общими сторонами бытия, как учительница напр., и отвечает общим же нуждам, напр. в обучении. Но за этим общим начинается индивидуальное, *ее* лицо: и вот, в ответ этому индивидуальному в самой жизни ничего не начинается, с ним не гармонирует никакое лицо... Странно: в мировой будто бы «гармонии» — вопрос, на который нет ответа, звук — но без эха; диалог — по смыслу и даже по зачинанию своему — который обрывается монологом, не встретив «реплики»...

Мне иногда казалось — как слышащему голос в поле — что я должен сказать что-то в ответ этим монологам природы, никем не услышанным: уже по обязанности украдкой их подслушавшего и, может быть, по особой природе этого услышавшего уха. — Я приведу еще факт, очень вульгарный, но оставивший во мне неизгладимое впечатление, может быть по знакомству моему со всеми его подробностями. Я знал простую женщину; не буду скрывать — она была прислуга. Но и прислуга также человек. В конце концов, она была прогнана за грубость: удивительно, она не переносила никакого порицания, не говоря — брани, и успокоивалась только ответив равнозначущим словом. Со страхом, с волнением, но ответив тем же: тогда она считала себя отмщенной и оскорбление смытым. Решительно, как феодалов, ее можно было только судить, и только судом «перов». С утра, едва брежет свет, она бывало уже за работой, отчетливой, быстрой, осмотрительной, и, кажется, это — чтобы предупредить всякий вопрос и всякое указание на недоделанное, что неприятно ее оскорбило бы, всегда оскорбляло. Мы все считали ее девушкой; высокая, сухая, некрасивая — нам казалось, она и не может никому понравиться. К ней приходили, раз месяца в три, гости, и среди них «двоюродный брат», в такой мере безобразный, что на вопрос, «не жених ли это ей?» (а она говорила, что жених есть), — вспыхнув, оскорбленно она замечала, что разве могла бы она полюбить такое чудище, или такого мозгляка. В доме у нас была еще девушка лет 13; и в первое же время поступления к нам новой прислуги, мы заметили, что последняя за чем-то, очень поздно, часу в первом-втором прокрадывается в спальню этой девушки. Наконец, ее посещения были разоблачены, т. е. прослежены: при тусклом свете лампадки у образов, она садилась перед туалетным зеркалом девушки, и так просиживала получасы, может быть часы, не отрываясь смотря на свое некрасивое лицо, и, может быть, сухощавую, некрасивую же фигуру. Когда это было рассказано девочке, она с улыбкой, но и с сочувствием передала, что та ей открывала сундук свой и показывала накопленные, за время службы и в разных местах, платья, сорочки и, может быть, безделушки — «приданое». Так шло время, пока мы не переехали на дачу... Был холодный, дождливый день; т. е. один из дней дождливого и холодного времени, когда войдя в комнату и взволнованным голосом она объявила, что немедленно должна отправиться верст за 12 в деревню (где, мы знали, жил ее семейный брат, мужик). У нас в доме были большие и отпуск прислуги означал — оставаться без обеда и самим ставить самовар; а потому ей немедленно было отказано. Немедленно же она спросила расчета. На вопрос, да что с ней — она показала в каручках письмо, где значилось, что второй ее ребенок внезапно заболел горлом — и тут открылась ее тайна. Упав в ноги хозяйке, она созналась, что «мозгляк» и в самом деле ее жених, что жениться пока ему нельзя, но он непременно женится и даже, кажется, скоро, ранее же она не говорила этого, потому что очень уж он некрасив и ей было стыдно... Денег ни у нее, ни у нас в доме не было несколько

и она поспешила пешком. На другой день к вечеру она вернулась, иззябшая и мокрая, но радостная: фельдшер ли помог или малютке так стало лучше, но опасности не было. Разнесло мостки на каком-то раздувшемся ручье — и она прошла его бродом: от этого низ платья собственно и замочился очень. Я упомянул, что ее прогнали за грубость, — потому только, что ее постоянно хотели прогнать за дерзости; но, кажется, настоящею причиною было то, что она неожиданно потребовала возвышения платы, уже и так тахіт'альной; на удивление о неслыханности новой цены, она сказала печально, что ей вот-вот родить (она носила так незаметно, что мы ничего не замечали), теперь из 11 рублей — 10 идет брату за двух малюток, ей остается рубль в месяц на «горячее», но с рождением ей нужно будет 15 р., и она их должна достать каким бы то ни было способом. Это, в связи с все возростающей ее нервозностью и дерзостью, кажется, и было общей причиною, что ее отпустили. Во всяком случае, за несколько недель до отпуска, хозяйка дома не без смущения передала мне, что, узнав из ее рассказов, будто все дело останавливается из-за 40 или 50 рублей, которые нужны жениху для уплаты ли долга, выправки ли бумаг, и он их откладывает, но не может скопить, — она выдала ей эту сумму из столовых: «Бог с тобой — устраивайся, а потом отработай». С неизъяснимым восторгом она покрыла ее руки поцелуями и слезами, и кинулась из дома. Прошли недолгие часы, и она вернулась задумчивая; ничего нельзя было ясного от нее добиться, но она угрюмо отдала деньги назад и стала молча к плите... Мирно ли или не мирно, спустя немного времени, она уходила, но я слышал ее раздраженный крик, уже на дворе: «Я детей своих сама кормлю»...

По-видимому, это была ее единственная гордость — единственная зацепка оправдания даже самого бытия ее, которое ей представлялось постыдным и оборванным со всех концов. Нельзя объяснить ее психологию иначе, как глубоким недоумением. Она не только была умна, но как-то горда умом; безусловно чиста в копейке, при всяких отчетах. Что-то душевно-развитое даже было в ней; прозрение в чужие характеры и положения. Глубокое и постоянное горе, в связи с психологическим недоумением, сделали ее прозорливой относительно людей, поступков, поведений. Никакой лести; никогда и никакой наглости; совершенное целомудрие: т. е. грех сгубленный, прорвавшийся в одну сторону, бережно хранимую и даже лелеемую, но грех отнюдь не расширяющийся и вовсе не расшатывающий характера — твердого, отчетливого. Только в гордости ее было что-то исступленно-безумное, и, кажется, это в связи с тем, что она не хотела более никакого увеличения оскорбления, ни в виде попрека, ни даже напоминания. Однажды нервно, или по неосторожности, она плеснула мне лишнее на руки при умывании: «какая же ты дура, куда ты льешь»; но она уже бежала вслед за мной, именно не шла, а бежала нервно, и пока я вытирал лицо, я услышал квалификацию себя, повторяющую слово, неосторожно у меня вырвавшееся, — после чего, как рыцарь обтирая шпагу, она считала себя успокоенною. В том и сём можно было в ней заметить почти еще детскую чистоту; всегда можно было, и всякому, найти великодушие. И трудно понять, почему ее привязанность к детям непременно ниже привязанности Корнелии Римской... В этических сторонах — это было полное существование. И, как ненужное существо, за всемірной трапезой Господней она не нашла своего «куверта».

II

По преданности ли моей всегда созерцанию самых общих схем космического развития, по чему ли другому, но конкретное всякий раз, когда встречалось глазу, когда встречало глаз незанятым — врезывалось в душу мою с необычайной яркостью бытия своего и смысла. Мне думается: нет ничего конкретнее младенца. Дело в том, что всякий другой человек, мудрый или просто взрослый, так сказать, рассекся в бытии своем, через нужды, интересы, воспоминания, по безднам мира; ребенок же весь *тут* и весь *теперь*. Это яркость и полнота бытия — уже потерянная во взрослом. Взрослый — это, может быть, обширная картина, но полустертая; в младенце же кисть художника еще сочтена незасохшими красками. 10 Поэтому, кто любит человека, я думаю, не может смотреть на младенца по крайней мере без внутренних слез: до того это прекрасно, до того это многоценно, до того представляет полноту бытия и, так сказать, полноту Божией мысли, перелившейся через край; т. е. через край того малого сосуда, вот этого копошащегося в углу, с завернутой назад рубашечкой, существа — которое мы называем младенцем и от него спешим к большим делам, едва бросив усталый или рассеянный взгляд...

Сколько раз, поставив на стол его фигурку и окидывая ее в целом, мысленно я говорил: вот из него выйдет, со временем... И какое я положение ни называл из существующих, даже самых блестящих — оно мне представлялось умалением 20 этого младенца, а самое имя положения, название профессии, чина, даже рода таланта и деятельности — уничтожительным рядом с улыбкой и глазами ребенка. Человек умалется во времени; он суживается — определяясь и даже начиная именоваться. И до известной степени история всемирная, история больших дел, которыми мы заняты, есть история малых дел, судеб умаленного человека: «Петрушка» перед огромной и совершенной оперой, которой дивных звуков и красок мы не можем наслушаться. Я говорю об играх и всем сиянии младенца. Мы не отмечаем, т. е. не обращаем внимания, что жизнь его есть непрерывное искусство, и притом в высшей и труднейшей его форме: самого факта, действия, а не слова только, не звука, не краски. Именно, ему все нравится и он неудержимо 30 и постоянно всему подражает: а подражание, $\mu\iota\mu\eta\sigma\iota\varsigma$, уже по Аристотелю есть родник и существо искусства. И это искусство есть только отраженная сторона первой и самой чистой любви к миру: младенцу мир нравится во всех своих частях, и он уступает бытие свое ему, т. е. застывает себя, как пустой шкаф, неустанными подражаниями всяким вещам этого мира, как художник застывает свою мастерскую отлично сделанными статуями, или картинами, или симфониями. Это слияние чистой любви с неудержимой эстетикой заставляет нас смотреть на дивного художника, от 1½ до 5 лет, как на что-то, чему единственно мы завидуем без злобы и чего слияния с собою, умаления до себя мы ни за что бы не хотели. Т. е. художник этот возвышает и очищает нас, делает бескорыстным: снова 40 черта, общая у него с обыкновенными художественными произведениями, как их уже оценил в действии на человека ($\chi\acute{\alpha}\theta\alpha\rho\iota\varsigma$) Аристотель.

В «Одиссее» слепец-Гомер передает, как этот герой, опустившись в Преисподнюю, чтобы увидеть, кажется, тень Тирезия, встретил и многих товарищей своих по битвам, о смерти которых, за долгим странствованием, он ничего не знал. Помнится, он встретил там тень Ахиллеса, присужденную к чрезвычайно трудной

и унижительной работе, вовсе не соответствовавшей подвигам, какие он совершил на земле. Одиссей был удивлен, и, кажется, возроптал на неправосудие богов. Тогда герой ответил ему памятные слова: я предпочел бы не эту, но еще униженнейшую и труднейшую работу, и всякое рабство, — но с тем, чтобы оно было не здесь, среди полутеней Аида, но на земле и под ее действительным солнцем. Смысл ответа, т. е. истина, почувствованная уже Гомером, заключалась в этом: что все, что нас удивляет как положительное страдание, перед чем мы испуганно отступаем и готовы даже отступить в темь небытия, — для того, кто в самом деле узнал эту темь, есть яркое и благое сияние; что бедствия, лишь сравниваемые друг с другом — представляются чем-то отрицательным, изъяном, недостатком; но перед небытием — они все вырастают в положительное, в полноту и счастье.

Отступим шаг назад от играющего младенца, и мы найдем это проклятие небытия, от которого содрогнулся герой, — но на безгрешном. Отсюда эти слова Библии, которые нам не покажутся более таинственными в факте занесения на страницы святой книги:

И вышел Лот из Сигора (после истребления Содомы и Гоморры) и стал жить в горе, и с ним две дочери его. И сказала старшая младшей:

«Отец наш стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по обычаю всей земли; итак, напоим отца нашего вином, и преспим с ним, и восставим от отца нашего племя».

И напоили отца своего вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим; а он не знал, когда она легла и когда встала. На другой день старшая сказала младшей:

«Вот, я спала вчера с отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с ним, и восставим от отца нашего племя».

И напоили отца своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и он не знал, когда она легла и когда встала.

И сделались обе дочери Лотовы беременными от отца своего; и родила старшая сына и нарекла ему имя: *Моав* (говоря: он *от отца моего*). Он отец моавитян доньне. И младшая также родила сына и нарекла ему имя *Бен-Амми* (говоря: он *сын рода моего*). Он отец аммонитян доньне (*Бытие*, 19).

Как сомнамбула по опасной и узкой доске, куда не ступит ни один зрячий, проходит над головокружительной пропастью и, что-то ей одной понятное и нужное сделав, возвращается обратно в постель и в ней спокойно засыпает; так обе сестры, с тою же отчетливой твердостью и в таком же нравственно-сомнамбулическом сне, не оглядываясь вниз и по сторонам, прошли к таинственной впереди точке и совершили там что-то, сила и значение чего им обеим, но только им, понятна, радостно успокоились. Она совещаются, и есть страх в их шопоте; но это — скорее страх неудачи; почти — страх смерти или смертной опасности, которой убегая, она решаются вступить на неисследимые тропинки; чувственность вовсе отсутствует: нет повторений в страшном путешествии. Но когда чудесный младенец заиграл перед одною, она сказала во всеуслышание, в услышание даже потомства: «Это от отца моего»; и другая, лаская своего младенца, повторила: «Он сын рода моего»; обе как бы показывая и гордясь, чего им стоили «племена, доньне называемые». Замечательно, в нашу эру и у арийских народов сцена эта, не без любви, выбиралась предметом живописной передачи: но с забвением и даже с пренебрежением к плоду, который брали сестры, и лишь с растленным любопытством к их тягостно-беспамятным странствованиям. Что здесь, в арийской

крови, взят смертно-греховный момент, без жизненного его ощущения, можно читать в следующих совершенно аналогичных стихах Овидия:

Отвсюду, Мирра,
Ищут вельможи руки твоей, юношей сонм благородный
Жаждет объятий твоих... Чувствует Мирра свой стыд:
«Чем увлекаюсь я? Что замышляю? Так восклицает:
«Боги, рассудок, и ты, о святость дочернего долга!
...«Но разве законы природы
Страсть осуждают сию? Не по ним ли, без тяжких различий,
Любят животные все? И конь, и вол круторогий 10
Ищут подруг меж птенцами своими, родству не внимая.
Резвые козы любят козлят своих; вольные птицы
Двигутся тою же страстью по тем же уставам природы.
О, как счастливы они свободою той. Человек лишь
Создал тиранства закон: завистливый, он отвергает
То, что природа дает. Но есть, говорят, поколенья *,
В коих мать сына, отец свою дочь приемлют на ложе
Брака; и связи родства любовью сугубой крепятся.
О, для чего же, несчастная, я не родилась в стране той!
Место рожденья — вот Мирры вина... 20
...Любовь же нещадная просит,
Жаждет взоров его, его ласк, его звуков волшебных,
Сладких, живых поцелуев... о большем помыслить не смея!
Или ты смеешь желать еще боле, преступная дева?
Хочешь, поправ и чин и святость дочернего долга
Быть соперницей матери в отчих объятьях Канира?
Зваться сестрою детей своих, матерью собственных братьев?
...А с ночью грядущей
Снова ложе отца осквернилось дочерней любовью...
После же многих ночей... 30

(Перевод Д. Казанского, в «Северных Цветах» за 1832 год).

Здесь любопытно наблюдать, во всех деталях рассказа, полную противоположность библейскому. Мы опустили еще одну: Мирра *не* рождает (см. в оригинале последние стихи); но и сверх этого: зерно жизни выпало из факта, и к его смертно-греховной оболочке — смертно-патологическое тяготение:

Мирра, сама признавая
Истину слов тех (*кормилицы, которая ее усовецивает*) желает
иль смерти иль отчего ложа.

Преступление жадно повторяется. И, в полной противоположности с целомудренным сомнамбулизмом дочерей Лота, глаза широко открыты на преступление и ясно глядят на его детали, глядят внимательно и умно на сближения животных, на новые и неслыханные отношения, в которые преступница готовится 40

* В наше время «говорят»: «но *будут* поколенья...».

стать к матери, братьям, сестрам. Все это — при кокетливо-арийской оглядке на обязанности:

Боги, рассудок, и ты, о святость дочернего долга...

с заключительно-успокоительным аккордом:

Место рожденья — вот Мирры вина.

Нельзя здесь не припомнить, что и эпизод с Сусанною, рассказанный у Даниила, дал сюжет для живописцев новой эры не тем целомудреннейшим мигом своим, когда, ведомая на падение, жена Иоакима воскликнула:

Боже вечный! Ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его!

10 Ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня, и вот, я умираю, не сделавши ничего, что эти люди злостно выдумали на меня, —

ни тем, еще более прекрасным мигом, когда, в безмерном сострадании и обнятый Богом, Даниил — еще отрок — остановил ведущих криком:

Чист я от крови ее... Безумцы вы, сыны Израиля, что осудили дочь Израиля, не исследовав вину ее, —

но сквозь все хоры монахов и аскетические упражнения, новый мир взглянул на весь рассказ под углом того одного момента, который так подействовал на бесстыдных старцев города, и о котором пророк упоминает по необходимости, только ради понятности передаваемого факта.

20 От этого избираемого угла зрения — в Библии, при всей обнаженности фактов, нет ни одной, в сущности, не целомудренной ситуации, но переходя в арийское изложение или изображение, эти же факты, как ни прикрываются «одеждами кожаными» — проникаются мутно-земным чувством и действуют на мутно-земную сторону в человеке. Вот еще, при опадающей шелухе греха, зерно жизни:

И взял Иуда жену Иру, первенцу своему; имя ей Фамарь. Он не угоден был перед очами Господа, и умертвил его Господь.

И сказал Иуда второму сыну своему: войди к жене брата твоего, женись на ней как деверь; и восстанови семя брату твоему.

30 Онан же знал, что семя будет не ему; и потому, когда входил к жене брата своего, изливал семя на землю, чтобы не дать его брату своему. Зло было перед очами Господа то, что он делал; и Он умертвил и его.

И сказал Иуда Фамари, невестке своей: живи вдовою в доме отца твоего, пока подрастет Шела, сын мой. Ибо в уме своем он сказал: не умер бы и он подобно братьям своим. Фамарь пошла и стала жить в доме отца своего.

Прошло много времени, и умерла жена Иудина. Утешившись, он пошел в Фамну, к стригущим скот его; сам и Хира, друг его, Одолломитянин. И уведомили Фамарь, говоря: вот, свекор твой идет в Фамну стричь скот свой.

40 И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и закутавшись села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну. Ибо видела, что Шела вырос и она не дана ему в жену.

Увидел ее Иуда и почел ее за блудницу: потому что лицо ее было закрыто и он не узнал ее. Он повернул к ней и сказал: войду я к тебе. Ибо не знал, что это — невестка его. Она

сказала: «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?». Он сказал: «Я пришло тебе козленка из стада моего».

В залог платы она попросила у него печать, перевязь и трость.

И дал он; и вошел к ней, — и она зачала от него. И вставши пошла, сняла с себя покрывало свое и оделась в одежду вдовства своего.

Когда Иуда послал через Хира, своего друга, условленную плату, — тот не нашел «блудницы». Спросили в городе, и все ответили, что у них нет никакой блудящей женщины.

Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде: «Фамарь, невестка твоя, впала в блуд; и вот, она беременна от блуда». Иуда сказал: выведите ее, и пусть она будет сожжена. 10

Но когда повели ее, она послала сказать свекру своему: «Я беременна от того, чьи эти вещи». И сказала: «Узнавай теперь, чья это печать, и перевязь, и трость». Иуда узнал и сказал: «Она правее меня, потому что я не дал ее Шеле, сыну моему» (*Бытие*, 38).

В отличие от стихийно-неудержимого, с закрытыми глазами, движения дочерей Лота, здесь движение юридически рассчитано и сопровождается почти смехом, почти шуткою (слова ведомой на казнь), так как для «тяжущейся» несомненен «выигрыш процесса». Снова — нет чувства греха; снова — почти гордость перед народом: она не тайно показывает вещи свекру, но посылает спросить у него, «чьи это вещи», и притом когда уже вели ее на казнь, т. е. остановив народ; и опять — полное отсутствие чувственности, т. е. нет никакого тяготения к смертно-гнетущей арийцев оболочке жизненного зерна. 20

Наконец, вот это зерно в его чистом виде:

Господь узрел, что Лия (старшая дочь Лавана, обманно данная Иакову в жену) была нелюбима, и отверз утробу ее; а Рахиль была неплодна.

Лия зачала и родила Иакову сына, и нарекла ему имя: Рувим, потому что сказала она: Господь призрел на мое бедствие; ибо теперь будет любить меня муж мой.

И зачала Лия опять и родила Иакову второго сына, и сказала: Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего. И нарекла ему имя Симеон.

И зачала еще и родила сына, и сказала: теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сынов. От сего наречено ему имя: Левий. 30

И еще зачала и родила сына, и сказала: теперь-то я восхваляю Господа. Посему нарекла ему имя: Иуда. И перестала рождать.

И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей, и сказала Иакову: «Дай мне детей, а если не так, я умираю». Иаков разгневался на Рахиль и сказал ей: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?».

Она сказала: вот служанка моя Валла; войди к ней; пусть она родит на колена мои, чтобы и я имела детей от нее. И дала она Валлу, служанку свою, в жену ему; и вошел к ней Иаков. Валла зачала и родила Иакову сына.

И сказала Рахиль: Судил мне Бог, и услышал голос мой, и дал мне сына. Посему нарекла ему имя Дан. 40

И еще зачала и родила Валла, служанка Рахили, другого сына Иакову. И сказала Рахиль: борьбою сильною боролась я с сестрою своею и превозмогла. И нарекла ему имя: Нафталим.

Лия увидела что перестала рождать, и взяла служанку свою Зелпу, и дала ее Иакову в жену. И Зелпа зачала и родила Иакову сына. И сказала Лия: прибавилось. И нарекла ему имя: Гад. И еще зачала Зелпа, служанка Лии, и родила другого сына Иакову. И сказала Лия: к благу моему, ибо блаженною будут называть меня женщины. И нарекла ему имя: Асир.

Рувим пошел во время жатвы пшеницы, и нашел мандрагоровые яблоки в поле, и принес их Лии, матери своей. И Рахиль сказала Лии: дай мне мандрагоров сына твоего.

Но Лия сказала ей: неужели мало тебе — завладеть мужем моим, что ты домогаешься и мандрагоров сына моего? Рахиль сказала: так пусть он ляжет с тобою в эту ночь, за мандрагоры сына твоего. — Иаков пришел с поля вечером, и Лия вышла ему навстречу и сказала: войди ко мне, ибо я купила тебя за мандрагоры сына моего. — И лег с нею он в ту ночь.

И услышал Бог Лию, и она зачала и родила Иакову пятого сына. И сказала Лия: Бог дал возмездие мне за то, что я отдала служанку мою мужу моему. И нарекла ему имя: Иссахар.

И еще зачала Лия и родила Иакову шестого сына. И сказала Лия: Бог дал мне прекрасный дар; теперь будет жить у меня муж мой, ибо я родила ему шесть сынов. И нарекла ему имя: Завулон.

Потом родила дочь и нарекла ей имя: Дина.

И вспомнил Бог о Рахили, и услышал ее Бог, и отверз утробу ее. Она зачала и родила сына, и сказала: снял Бог позор мой. И нарекла ему имя: Иосиф, сказавши: Господь даст мне и другого сына (*Бытие, 30*).

Мы преднамеренно привели эту несколько продолжительную выдержку не прерывая, не вынимая из нее кусочка; ибо в ней тема наших размышлений выражена полнее, чем где-либо и когда-либо во всемирной истории; к тому же, она здесь обставлена конкретными подробностями, не оставляющими сомнения в содержании факта, в обволакивающих его чувствах. Нежным и изящным, но слабым дуновением эта мощь творческого порыва, эта буря рождения доносится к нам и в следующей древнегреческой песне девушки:

30

Милая матушка,
Прясть не могу я,
Мне не сидится,
Ноя, тоскуя,
Сердце томится
Здесь, взаперти!
Ниточки рвутся,
Руки трясутся...
Милая матушка
Дай мне уйти...

40 И, наконец, неуклюже, но вполне прекрасно, потому что полно и правдиво, выражено это в следующей отметке Котошихина, беглого дьяка старо-Московского государства:

Сестры же царские, или и дочери, царевны, имея свои особые же покои разные, и живущие яко пустынницы, мало зряху людей, и их люди; но всегда в молитве и в посте пребываху и лица свои слезами омываху, понеже удовольствие имея царственное, не имей-

бо себе удовольствия такова, как от Всемогущаго Бога вдано человеком совокуплятися и плод творити («О России в царствование Алексея Михайловича»; глава: «О рождении царских детей»); Котошихин далее объясняет положение всех русских царевен тем, что за принцев иностранных оне не могли выходить как за иноверцев; а за своих вельмож — потому, что они все в грамотах царю пишутся «холопами»).

И, наконец, как последний аккорд этих всемирных созвучий, мы приведем, из наших уже дней, слова вдовствующей ныне Императрицы, помещенные в ответной телеграмме на имя полтавского (помнится) дворянства, принесшего поздравление царствовавшей тогда чете с помолвкою ее старшей дочери, Ксении Александровны: в заключительных словах телеграммы, и радостным тоном, упомянуто о предстоящем «счастьи» царевны, казалось бы уже осыпанной всеми дарами счастья, и к которым что нового мог бы прибавить этот обыкновенный человеческий дар? Но нет, ни один из необычайных даров: ни титул, ни положение, ни богатство несметное — в строгом смысле и даже скороговоркой, т. е. обмолвившись, никто не назовет «счастьем», а — «удачей», «завидным жребием»; и тихий и всеобъемлющий термин «счастье» применяется только к этому невидному, смиренному дару природы... какой? — Это нам предлежит исследовать.

III

Боль до-временного небытия, она так же тягостна, как и боль после-временного небытия, по крайней мере для его субъективного носителя, и для того, кто ему соучаствует. Мы снова должны припомнить жалобы Ахиллеса, которые так понимал Гомер; «временным», т. е. измеряемым по времени, солнечными восхождениями и захождениями, мы называем вообще это наземное, дневное, полное существование: ибо, как учит и новая философия и что так вероятно — время есть только форма нашего созерцания вещей, т. е. вещей на-земных и под углом наземного же на них взгляда. Для истин геометрии нет времени; его нет для всего, что не течет, что вышло из кругооборота возникновений и погибаний.

Представим теперь вновь фигурку худенького младенца, который, забившись в угол комнаты, где хлопчет его мать, строит свой мир из каких-то черепков и побрякушек, к нему случайно попавших. Мир *нагатый*, — мы говорим о великом крошечном художнике; и вот он оборван: траектория жизненного полета, поднявшись по какой-то сильно изогнутой кривой, быстро и неудержимо подходит к концу. Мать бессильно мечется; и то безгрешное существо, которое пять недель назад наполняло песком и водою игрушечное ведро, — лежит на ее руках холодным, безгласным, не внимающим трупиком. Какое горе; какой ужас, если мы вникнем в полноту значения факта; как не напрасно льются ее слезы и дом наполняется воем; какое ниспадение жизни всех близких, — как бы в погоню за улетеvшею жизнью, с попыткой удержать ее: все немножко умирают вслед за крошечным умершим совершенно существом. Мы хотим сказать, что биение жизни, *tonus* жизненного пульса — у всех несколько ослабеvает, и нужны заботы, время, обстоятельства, чтобы поднять его до прежней свежести, до прежней упругости ударов.

Отступим шаг назад — в матернее лоно, прислушаемся к нему: и мы пойдем странный крик Рахили.

Мы опираемся на простые медицинские определения, чтобы вывести положения, которых медицина не предвидела. Девушка, как только начинает менструировать, становится уже полу-матерью: ибо существо и все сопровождающие симптомы менструации есть те же, как и обычное течение и существо так называемого выкидыша, не удавшегося, прерванного плодоношения. Так определяет медицина, и мы только расширяем внимание к факту, принимаем к соображению всю полноту обстоятельств, какие окружают наблюдаемый и истолковываемый медиками процесс. Лоно — уже девушки — становится постоянною могилою, как только оно не становится действительно рождающим. Отсюда глубокая перемена в ее характере, наступающая с первой менструации: необъяснимое беспокойство, ничем не рассеиваемая — кроме надежды на зачатие — скорбь; слезы, которые кажутся беспричинными, потому что их основание слишком глубоко; отчаяние и гнев; изредка наступающая, но наступающая все-таки иногда dementia *, которая — это замечательно — признается в медицине непоправимою. Если мы примем во внимание, что девушка менструирует через каждые три недели, мы без труда догадаемся, что скорбь оплакивания сливается у нее почти в сплошное чувство, без перерывов или с перерывами очень краткими. Она не говорит это так отчетливо, как мы здесь, и большею частью вовсе ничего не говорит: но в глухих и внутренних ее слезах есть все оттенки обыкновенной скорби матери о потерянном дитяти.

Отсюда, может быть, для поддержания в скорбях, особенности женщины, указанные в *Бытии*. Ей имя — Ева, «жизнь», т. е. по преимуществу даже перед Адамом, «взятым от земли»; стихии вовсе не участвуют в ее создании: даже как матерьял — взято «ребро» Адама, т. е. уже живое и одухотворенное Богом, притом наилучшее и благословенное Им, вещество; наконец, собственно ею завершено творение: она есть окончательное в нем звено, после которого ничто еще не создается. Самый характер их бытия до падения отличен: Адам все время остается пассивен, деятельное начало исходит от жены его, и, как мы увидим сейчас — не от того, что она слабейшая. Как отличен их ответ Богу, взыскиющему первую вину: «Жена, которую ты мне дал — она дала мне от древа и я ел»: тут есть клевета и лукавство; отделение, разобщение от жены, и попытка на нее или обратно на Бога возложить вину. Не забудем, что Ева собственно не слышала запрещения Божия, она о нем знала только от мужа; «змей обольстил меня и я ела» — в этом ответе нет новой вины, бездн нового греха, разверзшихся в ответе Адама. Это — признание нового факта, исполненное какого-то недоумения и без всякой лукавой попытки защитить себя **. Наконец, в наказании и обетовании, данном сейчас же им, вся глубина содержания и благость обетов лежит в словах, обращенных к Еве; Адаму же высказано почти только внешнее, физическое наказание.

Внутренно в лоне своем вечно рождающая и погребаящая, женщина эту постоянную функцией приближена к глубинам бытия, которых мужчина не касает-

* Сумасшествие, безумие (*лат.*).

** Если бы было позволительно в первом мыслительном движении первой человеческой пары предугадывать психологию народов, имевших произойти от них, мы указали бы, что в запутанном и сложном ответе Адама дан очень заметный абрис арийской психологии, напротив в простом и правдивом, оголенном ответе Евы удивительно сказался тот дух, который стал позднее отличительным в племенах семитических.

ся своею деятельностью, обильной, но более поверхностною. Все существо ее, в зависимости от этого, более интимно и трогательно; более проникновенно и нежно; она первая внимала словам Божиим — это на протяжении всей истории; она первая плакальщица — это около всех горестей. Замечательно, что обычай едва ли не всех народов ей предоставил обмывать всякого почившего, хотя этой обязанности естественнее было бы, по целомудрию, разделить между двумя полами. Как-то чувствуется, что в великом и исключительном человек — всякий — должен припадать к женщине, Еве, «жизни»; что в ней скрыта особенная и исключительная, — лучшая глубина, нежели какую обладает «господин» ее и «владыка», устроитель истории. Самая покорность ее — во всех последующих судьбах мира, от грехопадения — более мистична, чем вечное своеволие мужчины; самое отречение ее от своего имени, от имени своего рода (при замужестве) и послушание мужу своему есть какая-то печать и тайный отблеск послушания, каким был обязан Богу первый человек. Ибо это послушание по любви, и вовсе не из страха, как все формы покорности, создавшиеся в истории. В общем ее природа, более напоминающая, даже в физическом отношении, природу ребенка, безгрешнее мужской природы; и, в то же время, она ее терпеливее, т. е. в каком-то отношении как будто мужественнее. Ни существом законов физических, которые не есть грань для Бога, ни существом самого рождения, без мужа равно невозможного для женщины, как и без нее для мужа, нисколько не было предопределено, чтобы мир был искуплен и глава Змия «стерта» через семя именно «жены». И следовательно есть на женщине особенное и исключительное благоволение, что Искупивший нас от греха воплотился тем именно способом и через то именно лицо, как это мы знаем.

Как в менструировании выражено, что между 12—17 годами девушка теряет девство, становится полуматерью, так в анатомической особенности ее устройства выражено, что однако полный разрыв девства и действительное материнство окружено для нее необыкновенно точным пределом, *πέρας**. А где разграничение — там и внимание; где *πέρας* — там совершенство. Это еще по древнегреческим понятиям, которые сохраняют свою истину и для нашего времени. Необходимость в смысле нужного, понудительного, должного; и необходимость в смысле исключения *ἄλειρον*** , бесформенно-хаотического, — одинаково наложены на функцию рождения у женщины. В одном, как и в другом, выражено, как бы в грозящем жесте, — до чего начало *libidinis*, страстного пожелания, должно быть сдержано, т. е. собрано и сосредоточено, ни в каком случае не растериваемо до времени или безразлично во всякие времена. Но оно же отвергнуто, как это точно выражено *после* грехопадения в законе, *без осуждения высказанном*: «к мужу твоему — влечение твое» (*Бытие*, гл. 3, ст. 16), и *до* грехопадения в *прямой заповеди*: «мужчину и женщину — сотворил их; и благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь» (*Бытие*, гл. 1, ст. 27—28). Грех начинается, как мы заключаем отсюда, с *ἄλειρον*: с ослабления внимания к себе, с растраты довременной или безвременной того, что должно быть сочною и полною каплей в момент, когда Бог ее потребует.

* Предел (*грег.*).

** Беспредельный (*грег.*).

IV

Всегда казалось мне, что открытия ума человеческого происходят не как-нибудь и случайно, но тогда именно, когда для них наступают «времена и сроки», т. е. когда они должны выполнить какую-нибудь чрезвычайную и важную функцию в жизни человечества, войти недостающею и многозначительною чертою в план его исторического домостроительства. Так мне думается и открытие партеногенезиса, сравнительно недавнее, по-видимому ненужное и лишь удивляющее, произошло не без нужды некоторых особенных прозрений, которым наступило время.

- 10 Оно раскрывает, хоть и не прямым своим смыслом, а скорее некоторыми боковыми частностями, значение рождения и также основание слов, которые мы только что привели: «к мужу — влечение твое», равно как и восклицания, с каким встретил первый человек жену: «Вот — это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа своего». Мысль этого восклицания понятна только в еврейском тексте, где «иша», жена, есть собственно название мужа, «ишь», с измененным только окончанием. Адам встречает ее как бы опознанною, как ответ на вопрос, в который сложилась природа его. В *Бытии* не оговорено, но есть древнее еврейское предание, дополняющее текст его если и не истинно, то характерно: что крепкий сон, нашедший на первого человека перед созданием ему жены, явился последствием чувственного его возбуждения, и самое создание жены произошло для того, чтобы предохранить его от греховного удовлетворения этого чувства. В этом предании есть та ошибочная черта, что создание Евы в нем представляется актом не предвиденного ранее творчества, между тем как из 26-го стиха первой главы *Бытия* видно, что множественность, а следовательно и рождаемость человека входили в самую мысль его природы, в самый творческий план, по которому он создан: «Сотворим человека по образу и подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами, птицами и скотами».

- 30 Во всяком случае, не только в этих определенных словах *Бытия* мы читаем, но и испытываем в жизни, что есть внутреннее и ранее опыта наступающее познание женою мужа, как и обратно мужем жены. Т. е. ранее действительного касания есть тайное; и действительное вступает в формы этого тайного как бы предмет, входящий и накрывающий тень свою. «К мужу — влечение твое»: как бы какие-то таинственные узелки ее существа доверменно вкраплены в мужа; «Это — кость от костей моих, плоть от плоти моей» — указывает, что странным образом жена как бы рождается от мужа. Оба друг перед другом они стоят, дивно меняясь образами, без силы само-бытия; каждый как будто дивится и любит себя на себя — в другом, на какие-то драгоценнейшие части себя — однако от себя отделенные, и к которым он протягивает руки, и другой интимно это понимает
- 40 и с таинственно-лукавою улыбкой в порыве экстаза в самом деле отдает их.

Явление партеногенезиса, удаляя смешанность coitus'a, дает нам понять настоящим образом природу одного пола; через это — природу и другого пола, и мысль их сочетания.

Желтое яйцо, без оплодотворения созревающее, дает неизменно мужскую особь, никогда не повторяет материнский пол. Т. е., так как яйцо есть как бы капля, эфирно сгущающаяся и опадающая с матери, и не несет в себе ничего, чего

нет в матери, то мы наблюдаем через партеногенезис, что материнский, т. е. всякий женский организм, в каких-то глубинах или в каком-то смысле своем имеет собственно мужскую консистенцию, и имя «девы», которое мы к нему относим, не простирается далее видимых форм и теряет свою истину, как только мы пытаемся продвинуть его дальше. Акт самого оплодотворения, т. е. между двумя полами, бесспорно сливает противоположные или по крайней мере различные начала. И как природа женского яйца есть мужская, так этим уже подразумеваемо раскрывается, что, напротив, мужское семя имеет беспримесную женскую консистенцию, — т. е. снова, как капля, оно отделилось и стекло с *женской* особи, которая однако внешним образом выражена в мужских чертах и с мужскими органами. Есть, таким образом, странная неправда в отчетливо выраженной природе мужчины и женщины; есть, в сокровенной глубине под нею, таинственная подмененность их существ; подлог, вытекший из взаимно перепутавшихся подписей под вексель-бланками, в силу чего каждый из них действителен, но или не на ту сумму или не у того лица, чья подпись под ним значится. Если мы примем во внимание, что детям передаются не только физические черты отцовского напр. организма, но и способности, таланты или слабоумие, пороки и вообще характер (иногда по крайней мере передаются с поразительной полнотой), то мы должны заключить, что под оболочкою мужских органов собственно скрыта консистенция не органов только (их — бесспорно) женских, но и женственное их одушевление, ψυχή γυναικεία *; и обратно, в женщине есть не только тайна мужской организации, но и мужской души. Перепутанность бытия так глубока в одном и другом, что они в точности — «иш'ъ» и «иш'а»: и мы теряем правду в языке, почва для утверждений, пытаемся ли назвать вот это неделимое «женщиною» или, до смешного ошибаясь, пытаемся поправиться и говорим: «Это мужчина».

Отсюда, кроме странных явлений гермафродитизма — случай, когда обе природы усиливаются извне выразиться — объясняется и тот чаще наблюдаемый факт, что в случае полной кастрации (у женщин — в новейших операциях) из мужчины неудержимо начинает вырастать женщина, и, наоборот, из женщины — мужчина. Кажется (мы говорим о кастрации) теперь бы перервано всякое отношение к противоположному полу, перерезано всякое к нему тяготение. И это — действительно так, оно *в самом деле* перерезано. Но вот, когда индивидум уединен в своем поле, когда мальчик есть таковой «an und für sich» **, без всякого отношения к женщине, — неудержимо его фигура и весь внешний облик начинает формироваться женственно. Конечно, теперь только его внешность есть продукт жизнетворения его внутреннего я, без всяких отклоняющих действий другого пола. И странно, весь *тип* тела его приобретает женский склад. Обратно, у кастрированной женщины появляются волосы на подбородке и усы, голос приобретает мужской тембр, походка и манеры — заметно грубеют. Можно догадываться, что если бы был дан достаточный срок, напр. если бы жизнь человека тянулась, как у некоторых растений, несколько веков, — трансформация внешних органов коснулась бы у кастрированных и самой анатомии genital'ий.

Не менее, чем это исключительное и крайнее уродство, намекают на объясняемую особенность в устройстве человека явления его гения, т. е. явления край-

* Женская душа (*грег.*).

** Сам по себе (*нем.*).

ней нормальности и высшего развития. Нельзя не быть пораженным, наблюдая ход всемирной цивилизации, что те странные «посланцы неба», к коим мы прилагаем имя «гения», им удивляемся и их не понимаем, носят и в характере своем, даже чуть-чуть во внешнем облике, но главное в характере своих созданий какую-то женственность; и собственно, тайна их обаяния и неодолимой силы течет именно из этих женственных черт, женственного аромата, колорита, тембра, — мы не умеем найти точного имени для неуловимых оттенков языка и мышления, которые их отличают и в которых сосредоточено их женственное. Ни одной грубой черты, всегда какая-то тайная ласка; ничего по-видимому насильственного, и всегда глубочайшее насилие в позднюю пору, когда приходят сроки их практического влияния на жизнь. «Emile» * Руссо — разве это не типично женственное создание по стилю, по манере доказательств, и характеру пафоса? И весь Руссо — разве не полу-женщина? Особенно если его поставить рядом с Вольтером, которому он и представлялся так смешон, почти физиологически смешон, но коего значение сравнительно с его было так ничтожно. Как мужественны д'Аламбер, Дидро, Гольбах, Монтескье, и хоть они были гораздо более даровиты, чем Шатобриан, именно по тому одному, что они не принадлежали, как он, к женственному типу, их заражающая сила не имела и доли того распространения и победного хода, как «Martyrs» и «Génie du christianisme» **. В женственном гении всегда есть что-то зиждущее, рождающее; как ни удивительно, эти умы со странною логикою и несомненными фантазиями суть однако единственно положительные умы, которые нудят людей не останавливаться на словах, но создавать факты, и, в конце концов, они творят культуру, цивилизацию. Но чтобы дать читателю не только почувствовать, но и самому вывести это странное разграничение, мы приведем здесь попарно имена писателей и вообще замечательных людей: Сократ <зачеркнуто: Демокрит> и Платон, Virgilius и Плавт, <зачеркнуто: Вальтер-Скотт и Байрон, (еще зачеркнуто написанное карандашом: и Шелли)> Диккенс и Теккерей, или из наших: Ломоносов и Карамзин; Батюшков <зачеркнуто: Крылов> и Жуковский; <зачеркнуто: Аксаков (автор «Семейн. хрон.») (над ним зачеркнуто написанное карандашом: Гоголь) и Лермонтов (над ним карандашом: Кольцов и Никитин)> Грибоедов и Островский <зачеркнуто: Гоголь>; <зачеркнуто: С. М. Соловьев и Грановский> и далее из нигилизированных: Чернышевский <зачеркнуто: Зайцев> и Добролюбов; кто усомнится, что этот ряд: <зачеркнуто: Демокрит, Вальтер-Скотт, Диккенс, Крылов> Сократ, Плавт, Ломоносов, Батюшков, Грибоедов — существенно *мужественный*? Что в то же время они и не зиждательные? И напр. Карамзин, хотя он был, казалось бы, вдвойне муж, и как «Карамзин» и как «историограф», однако не может быть причислен к ряду только что поименованных «мужей», а с тем вместе заразительность его влияния была так огромна? Но вот из историков, конечно, С. М. Соловьев был мужского типа, Грановский и Кудрявцев — оба женственны; Лермонтов и Лев Толстой — женственны же; Пушкин — мужествен, и его влияние, незаразительность этого влияния, удивительна и необъяснима, если принять во внимание его красоту и силу. Какого-то таинственного сосца ему недоставало; того сосца, который был у Добролюбова; и к нему не припадали, у него не искали пить неутоленные, жаж-

* «Эмил» (фр.).

** «Мученики» и «Гений христианства» (фр.).

душие, но, обходя, бежали к другим, гораздо более слабым, неправильным, но у коих они обоняли таинственное молоко.

У писателей сказанное разграничение так ярко, и, будучи запечатлено в слове, всегда и всяким может быть проверено и до известной степени доказуемо. Трудно уловимо оно становится, но все-таки есть, у великих людей практической сферы. Но и из полководцев, например, наш Суворов и древний Аннибал в самых шутках, капризах, способах хитрости и вообще в тактике победы имеют нечто женственное, в особенности если мы их оттеним, поставив рядом с Мальборо, Камиллом, Кориоланом, <зачеркнуто: Густавом-Адольфом> из наших — с Румянцевым или Паскевичем. И в то же время эти вожди мужского типа все были 10
гораздо менее значительны. В них не было ничего странно-необъяснимого, что есть всегда у дара женственного типа, чему бы он ни посвящал себя; и даже есть тогда, когда его размеры не чрезвычайны (из приведенных писателей — у Карамзина, Добролюбова). К этому странному в характере, в уме, из чего вытекает и странное в самой жизни мы и относим, дивясь, имя «феномена».

Но гений есть во всяком случае мера необычайного развития; даже когда он соединен с умеренными силами — эти силы имеют необычайное в своем напряжении. — И вот, как там в случаях кастрации, отнятия, лишения, так здесь в фактах 20
чрезвычайного обилия мы наблюдаем одинаково мужскую природу с таинственно просвечивающим через нее женским содержанием. Может быть, поэтому великие скульпторы, желая выразить предел красоты человеческой, если выражали ее через мужской образ, то отбрасывали типично мужские особенности (бороду и вообще волосы на лице); а если через женский образ — то сообщали ему мужественное выражение, почти мужское нечто (Аполлон Бельведерский, Афродита Милосская).

V

Жизнь от самого ее зачатия, еще в лоне матери, есть поэтому неуловимо нежные сопряжения двух начал, из которых сложен индивидуум, — их борьба, но о которой можно сказать, что в ней побежденная часть с любовью подпадает поражению, хотя, в то же время, она, по закону своему, ищет победы. Отсюда — ясно 30
различимый ритм психической жизни, явления сна и бодрствования: это — возбужденность и утомление, как фазы всякого соит'ального отношения; отсюда же порывы, игра способностей и всякое вообще индивидуальное горение, сияние. Обычные представления о разделенности ψυχή и σῶμα *, и о ψυχή как некоторой substantia, должны быть, кажется, оставлены. Нет их в этой разделенности; душа и тело — скорее способности отношения переплетенных в индивидууме мужского и женского начал: но где в этом индивидуальном организме только тело, при отсутствующей душе, или одна душа, при отсутствующем теле, — напрасно было бы пытаться указать. Тело одухотворено в каждой точке своей и всяком миге бытия; и душа во всяком проявлении наблюдается отелесненной. Но вот где бесспорное, где нет предположений и только строгий вывод: что в чем бы ни заключалась 40
природа того, что мы зовем «душою», и природа другого, что мы зовем

* Душа и тело (грек.).

«телом», — их пол всегда *обратен*. И следовательно, всякий раз, зарождается ли в «душе» желание и ему «повинуется» тело, или в «теле» родится ощущение и «передается» «душе», — все где мы наблюдаем их обоюдное трение, т. е. вообще всякий миг существования человека, уже потому только, что это есть непременно трение — если мужского *σῶματος*, то около *ψυχῆς* женской консистенции, и если женственного *σῶματος*, то около мужской *ψυχῆς* — есть собственно вечный и таинственный вид их *coit'*ального сопряжения, подробностей которого мы не видим и оне для нас не представимы, но существо которого для нас бесспорно. Отсюда — рост организма; рост души его — во всяком движении тела; и развитие

10 тела через всякое движение души. Организм субъективно — вечно оплодотворяется; он в каждый последующий миг собственно рождается из предыдущего мига, который был непременно *coitus'*ом, но более зрелых уже и полнее рожденных частей, чем год или день назад. Отсюда странность, наблюдаемая в жизни также исключительно даровитых людей: если бы акт *coitus'*а был только *σῶμα-τ'*ическим, если бы он выражал только стадию созревания одного *σῶμα*, — казалось бы, почему у гениального ребенка ему пробуждаться ранее, чем у всякого другого? Но мы наблюдаем — у Байрона, Лермонтова, Данте и, бесспорно, у всех преждевременно душою развившихся людей — в отроческих, почти детских годах понимание и чувство противоположного пола. Их тело носит еще все при-

20 знаки ребяческого: но функция, очевидно не телесная только, показывает раннюю зарю свою на фоне богато развитой, однако душевной только, жизни. Ясно, что жизнь эта — горячечные мечты, порывы поэтического творчества, капризы, пороки — уже таинственно и субъективно включала в себя *coitus*, если достигнув известной высоты, при слабом, не развившемся теле, она обнаруживается в бледном *coit'*альном напряжении: в смешной и детской «любви», однако никогда к мальчику же, «другу», но непременно к такому же ребенку-девочке и изредка к взрослой женщине, с которой нет никакого душевного общения («Маленький герой» — у Достоевского). Акт *внешнего coitus'*а есть который-то в ряде мириад

30 *внутренних*, но *аналогичных* актов; есть темп напряжения струны, которая начинает звучать при таком-то числе своих колебаний, но которая до этого числа колебаний восходила последовательно; прибавляя к единице единицу, и тогда мы ее звуков не ощущали и не понимали даже, что в этих колебаниях зарождается именно звук, теперь наконец слышимый. — Факт, что в городских сословиях, что в поздние фазы цивилизации, т. е. в обоих случаях когда темп психической жизни убыстрен, — половое созревание наступает раньше и в частности раньше наступает напр. менструация, говорит о том же и то же, что и ранняя зрелость гениев*.

От этого существа жизни — радость жить; ощущение новизны в ней, по-видимому при всем старом, чувство свежести, когда по-видимому все должно бы быть

40 * Точным, хотя очень внешним доказательством развиваемой здесь мысли может служить то, что *post coitum parentium* <после полового акта родителей (*лат.*)> в продукте его, т. е. зачатом существе, нет ничего кроме мужского и женского начал, только что соединившихся; т. е. начал, единственный способ отношения которых есть *coitus*, уже теперь новый, повторяющий родительский. Содержимое материнского яйца, кроме зародышевого диска, есть, как известно, только питающая среда; и только питающую средою становится для человека, после рождения, *мир*, — великое космическое яйцо, в котором он погребается.

устало и притуплено в нас. Сладки быения в нас бытия; но это потому, что они в самом деле сладки. И никакие невзгоды, которые механически так давно бы должны были подавить нас, обратить в бегство, не могут пересилить в нас ненасытимости еще и еще жить. Семя жизни, в нас бьющееся, преодолевает горы бедствий, прободает твердины несчастий, пробивается сквозь слезы и раны и детской улыбкой сретает мир, как бы вечно для него sprysnutyj утреннею росой; но это потому, что нет ничего механического, даже нет собственно физиологического в каждом миге такого прободания и борьбы: что лишь извне угнетаемое, это семя во внутренней стороне каждого усилия есть сладчайшая тайна жизни, есть симбиоз двух любящих существ, в нектаре которого растворяется всякая внешняя горечь. Здесь — начало самоутверждения жизни. 10

VI

И есть ее само-отвращение, именно индивидуальное же, внутреннее. Человек все еще не рожден: есть в нем душа, но она не выражена в *своих* телесных терминах; есть тело, и оно *зуждо* собственно этой, в нем бьющейся душе. Здесь источник обращения человека к внешнему, — и глубочайшего нерва этого обращения: внешней любви. Богатство, могущество — все это сламывается и разбивается человеком; все это оставляется им, как и «отец и мать» (*Бытие, 2*), для «жены»; для Евы, т. е. «жизни»; как и обратно у нее — «тяготение к мужу» (*Бытие, 3*):

...Сын кесаря Константина Великого был оклеветан мачихою, которая полюбила папыньку грешною любовью, — но, не встретив взаимности, отмстила ему, как Федра Ипполиту. Позднее оказалось, что супруга императора находилась в преступной связи с одним из рабов, состоявших при императорской конюшне, — и ее задушили в раскаленной бане... (Из «Истории Юлиана Богоотступника»). 20

Мы объяснили выше, что есть некоторая неправда в существе человека: при мужских терминах — женственная консистенция, и в терминах женских — мужская консистенция. Два разнородных и специфических инструмента, но каждый играет мелодию не свою, а другого инструмента. Некоторый размен мелодий и инструментов есть неперменное их усилие восстановить свою правду, возвратить себе действительность, стать лучшим, наконец. Это усилие было бы всегда реально, если б инструменты были всегда живыми и сознающими существами; и оно реально в человеке — инструменте живом и в самом деле так перепутавшемся, как мы предположили это возможным в мертвых. 30

Акт менструации, — собственно зачаточная стадия не удавшегося партеногенезиса, — уже полукрывает девушку мужу; и он полукрывает ее в будущее как мать. Акт *coitus*'а и существо мужа уже полуизвестно ей; собственно мужское начало уже разлито в ней, но не тем способом и не в той форме, как нужно, — а обратно: в форме души. Этою душою она и ищет отвечающей себе оболочки, мужских терминов выражения; как обратно, — женственное строение ее тела ищет себе отвечающей женской души. Чувство само-отвращения, чувство всецелой полноты слияния с мужем — ясны отсюда; ясна неудержимость его искания (Наль и Дамайнти). Несколько ранее, чем наступает названный наружный процесс, девушка переменяется внутренне: она не удовлетворяется более своей обо- 40

лочкой, и как бы отсыхая от своего тела — сжимается в нем душою и ожидает другого, в обмен на которое, бросит это, ей не нужное. Чувство кокетства не содержит собственно никакого *самолюбования*, для *себя-любования*: это — внимательное, пытлиное изучение чуждой оболочки, но до времени обладаемой, с усилием отгадать, отвечает ли, ответит ли она предполагаемому вкусу того, кому принадлежит истинно и кто за ней придет некогда. Теперь она вся настораживается к этому — «имеющему придти»; плоскость общения ее с матерью, отцом, сестрами, братьями — прерывается. Их беседы — ее не занимают; их жизнь — она в ней не соучаствует; странно, но она становится черства, почти жестока к их страданиям. Но вот мелькает образ иной оболочки и иной души, чем у нее (иначе свернутых): и хоть это не «тот» еще, она с любопытством прислушивается к его смеху, длительным взглядом провожает его; припоминает. Все в нем — пусть это пока «чужак» — привлекательно и трогательно (Навзикая и Одиссей); странно; его ушиб болеет в ней мучительнее и вызывает более торопливые движения, чем настоящая рана матери. Он промелькнул, однако, и не остановился, оставив лишь воспоминание любопытства; промелькнуло и еще много; но вот один сосредоточился. Это однако не «тот». «Того» она знает, никогда не видев, не слышав его голоса; и что это не обман, что она вправду знает, за то ручается, как безошибочно она отличает всякого, кто не «тот». Странно: нет ничего почти отличающего «того», который «имеет придти», от «этого», который уже пришел; ни мать, ни отец, ни братья, ни сестры не понимают ее сопротивления. Но она готова лучше умереть, лучше — заключиться в монастырь, нежели пустить на ложе, не этому приуроченное, чужака; и готовность умереть так ясна в ней, что никто не решается настаивать. Но вот, появляется «тот»: не удивительно ли, для всякой девушки есть один, но непременно есть, уготованный (т. е. всякая девушка непременно «любила»); есть несколько еще, близких к нему, т. е. сходных; и прочие — чужды, а при значительности приближения становятся и враждебны. Замечательны оттенки этой враждебности. Девушка не *себя* вовсе защищает от посягновений; за себя только — она напр. не убила бы; или не убила бы с чувством внутренней правоты. Убив человека в запальчивости, случайно, за вину, врага, — мы одинаково чувствуем упрек совести; но вот не враг, но любящий, и не случайно, но сознательно повергнутый у брачного ложа: хрупкое и нежное создание глядит на него с ненавистью, и, кажется, готова бы еще вторично умертвить его. Никакого упрека себе, ни теперь, ни после; ни тени горечи, грустных воспоминаний. Напротив, странное чувство торжества и победы; странное чувство гордости: так «на часах» поставленный, не у своего имущества, убивает татя и не раскаивается. И мир обоих не наказывает.

VII

«Уготованный» изучает ее, и ею изучается, с особенностями, которые вновь проливают свет на глубокое таинство любви. Светлый нимб сияет уже около обоих. Мы говорим об истинной, обыкновенно первой любви, за которой следуют «вывихи» и «суррогаты», с «ингредиентами», которые мешают распознать что-либо. Замечательно, что любовь вовсе не слагается, не построяется; она рождается — в целостном составе образующих черт своих, которые лишь ярче обо-

значаются, глубже вырезаются потом, но вовсе не возжигают. Нимб вспыхивает, почти не разгораясь. Прислушайтесь к речам их, общению: здесь исключен обман; всмотритесь в готовности: жертва друг за друга, даже жизнью — не утратила бы никоторого. Т. е. они становятся безгрешнее; и, собственно, в отношении друг к другу — они безгрешны совершенно на эту пору первой и счастливой любви. Все присущие человеку слабости: зависть, сокрытие в себе недостатков, гордыня, превозношение над ближним — странным образом не имеют более над ними власти. То есть нимб сияния, о котором мы сказали, — он есть действительно; и он состоит в освобождении, с этой одной стороны, обращенной к «уготованному», и на эту пору окончательного «приуготовления» — именно в безгрешности. Нет человека, столь уродливого; столь, наконец, ограниченного, чтобы — если он истинно любит и в то же время любим — он не был вполне прекрасен и достоин (Диккенс, в «Давиде Копперфильде», см. любовь одного почти слабоумного юноши). Он более не таится, т. е. перед возлюбленною, в уродстве и ограниченности; и она, единственно в мире она — его не осуждает, но сожалеет в нем. Конечно — это святость. И мы слишком понимаем, что каждый право на эти святые дни жизни своей оберегает жестоко, даже — как в приведенном случае без любви отданной в замужество девушки — до убийства, дерзкого, кто, посягнув не вовремя и не на «уготованную», разрушил бы навсегда для нее возможность и надежду этих дней. Однако, это — убийство именно не за себя, но на страже ложа, другому уготованного; и мы не должны вносить сюда никакой поправки.

Плотское волнение, т. е. в каждом порознь любящем, совершенно исключено: любовь проходит исключительно в эфирных, *не обща*'ических частях человеческого существа. Что это так, можно видеть из случаев, где любовь посещает человека уже испорченного, с разрушенным целомудрием: и у него всякая мысль о соитус'е теперь производит раздражение, не льнет к нему, не вяжется с странным волнением, которое владеет им. Так — в каждом любящем, мы сказали, если его рассматривать изолированно, отграничивая в нем существо происходящего волнения, и не проводя от него линии к точкам волнующим. Взглянем, однако, теперь на них: это — никогда душа возлюбленного, и всегда его вид, εἶδος. Мы сказали, что любовь не складывается, не построяется: и, между тем, душа любимого существа открывается, и именно последовательно, в беседах, событиях, случайностях жизни. Но нет ко всему этому участия и даже просто внимания у любящего. Он здесь и в этом не испытует, не проверяет, не взвешивает, — если только он истинно любит. Правда, он отвечает на вопрос: но слова ответа звучат бессмысленно-верно, не рассчитанно-точно; он весь прикован к манере, с которою его слушает возлюбленная, к наклону головы ее, выражению лба; к способу рукопожатия, каким она ему отвечает. Ее вид, εἶδος — вот к чему он привязан; его вид, εἶδος — вот к чему она прикована. Как это прекрасно выражено в следующей древнегреческой песне:

О, как боги в высоте небесной
Счастлив тот, кто *образ* твой прелестный
Непрестанно видит пред собой;
Сладкий *звук* речей твоих впивает,
И в *улыбке губ* твоих читает —
Что глубоко он любим тобой.

Лишь в уме тот образ пронесется
 Предо мной — как сердце вдруг забьется,
 На моих устах замрут слова,
 И язык мой станет нем как камень,
 Пробежит по членам бурный пламень,
 Вся в огне, кружится голова...

Шум в ушах, туман застелет зренью,
 И, в тревожном трепете волненья,
 На ногах не в силах я стоять;
 Я холодным потом обливаюсь,
 Гасну... таю... не могу дышать!

10

Распаденье души и тела, как бы всыхание души, ищущей истинного и другого себе тела и отчуждающейся от собственного, в силу чего наступает немота членов, неуклюжесть движений, общая слабость — точно переданы в последних стихах, и хорошо известны каждому. Мы уже сказали, что любовь — с обеих сторон — есть попытка вторично и истинно родиться; искание душою каждого отвечающей и нежной себе оболочки. От этого — угадывание, узнавание, как весь собственно процесс, к которому сводится любовь. Что-то есть скользящее в том внимании, с которым любящие следят, неустанно следят, один за другим: они собственно присматриваются к фигуре, к поступи, прислушиваются к тембру голоса, после того как черты лица стали уже известны, чтобы спросить с тревогою: «Мое ли это?». Со счастьем ответить: «Да, это — мое!». Как это хорошо и точно выражено в следующей песни Анакреона:

20

Мне бы в зеркало хотелось
 Превратиться, — для того,
 Чтобы ты, мой друг, смотрелась
 Каждый день и час в него.

Я б желал ручьем быть чистым,
 Чтоб у ног твоих журчать;
 Благовонием душистым —
 Чтоб твой воздух напоять;

30

Платьем быть — чтоб одевалась
 Ты в меня — желал бы я;
 Туфлей — чтоб меня касалась
 Ножка милая твоя;

Или лентою твоею,
 Чтобы стан твой обвивать;
 Иль твою нагую шею
 В виде перла украшать.

40

Природа любви как исключительно касания — глубочайшим образом здесь высказалась. Ничего — о душе; никакого к ней внимания. Речи любящих носят странно рассеянный характер; собственно, оне прекрасны по чистоте своей, отсутствию обмана, греха; но это речи — удивительно напоминающие детскую

игру, с ребяческой забывчивостью о предмете разговора, с забывчивостью о том, что было сказано и что оказывается нужным повторять, потому что сказанное вовсе не было слышано. Скорей в речи нравится музыка голоса; она и в самом деле есть, пробуждается у любящих; речь интересует, но как предлог к движению — и снова оно нравится; это — зов; иногда — это сопротивление, т. е. манера и след. главное. Это — орудие вызвать улыбку; пробудить задумчивость, вызвать на лицо выражение испуга — все нужное. Ибо всякий способ телесного сгиба, еще и еще его вариация — это все познаваемое и отгадываемое. Душа любящего сияет уже уготованным вступлением в это тело. И так понятно, что она не ищет ничего за ним, не опрашивает, не допрашивает, и речи их, не оканчиваемые, не начинаемые, кажутся «глупыми», как «могут быть только у влюбленных», т. е. удивительными, странными, бессодержательными, что им рассмеялся бы каждый, кто их подслушал. И это — накануне великого решения, из которого нет возврата.

Открывая, узнавая, находя, любящий невольно обнажает, любимая обнажается, и все еще с сохранением целомудрия. Случайно спавшая шаль и открывшееся плечо более нужного говорит ему, чем если бы он спрашивал ее о всех системах мира. «Так это — в самом деле твое, ты узнаешь?» безмолвно спрашивает она; и негой взгляда он удостоверяет, что нет ошибки в ее чувстве. Уже «падение» началось, и все еще природа его волнения — та же, как и тогда, когда он впервые пожал ее руку. Т. е., относясь к точкам ее фигуры, она не носит у него ничего обидного. Он пожал ее руку, безотчетно, неудержимо, несколько недель назад: но вот грубым тиском, наглой усмешкой, или, напротив, видом пораженной невинности она ответила не так, и не то, что и как он ожидал. Он обознался. Это не «она» вовсе. Никаких обнажений ему не нужно, хотя существо их, для чувственности, осталось бы то же; он убегает, и с смехом, грубым смехом вспоминает «приключение»; и никогда не вернется, чтобы еще повторить рукопожатие, развить его, продолжить.

VIII

Отсюда, из природы любви, как мы ее раскрываем, странное и непостижимое чувство обладания, на которое претендует каждый по отношению к другому; и чему — еще страннее — противоположная сторона робко не смеет противиться; ощущение ревности; самое понятие «измены», вовсе не постижимое без этих подробностей; и все мучительные горения, порою страшные эксцессы, какими сопровождается иногда течение любви. Друг изменяет другу, — и они только расходятся; изменяет гражданин отечеству, — и только отходит от него; изменяет человек вере, — и все еще вера не посягает на него, не всегда посягала. Но вот — у всех народов, во все времена — супруга изменяет мужу или вообще отвечает на его любовь слабо, не с тою полнотою правды и серьезности, как прежде, и он умерщвляет ее. Если мы вспомним приведенный раньше пример, как она с чувством внутренней правоты убивает на пороге своего ложа посягнувшего, мы будем поражены ее сознанием теперь бесправия удержать занесенную над собою руку. Тысячи фактов убийства из ревности известно; и неизвестно почти, где бы они переходили в процесс борьбы: жертва падает не защищаясь (Дездемона).

И что особенного совершилось? Как мало, если даже измена произошла! В анатомическом, в физиологическом смысле — что особенное, непоправимое, не заглаживаемое или даже просто осязаемое для любящего? Не ясно ли, что за бедными и узкими анатомическими и физиологическими функциями здесь лежат мистические бездны; и все так ясно их чувствуют, что ужасаясь и трепеща перед бездыханным телом погибшей, проникаясь невыразимой к ней жалостью, никто, однако, не чувствует отвращения или негодования и к убийце. Он около нее так близок, что нет тут места третьему; нет места судье, иначе как на небесах. И, наконец, все знают, что тот, кого могли бы и никто не хочет судить, есть собственно столько же жертва, как и убитая им; что он также полу-зарезанный здесь человек; и большая и лучшая какая-то его часть будет заколочена с прекрасным трупом под одну крышку. Народы, законодательства сторонятся перед фактом, отходят в сторону; что поразительно и исполнено мистического ужаса: отходят даже отец и мать убитой, без ропота почти, или только с ропотом слез; и весь мир самым строением инстинкта как бы вторит древне-библейскому: «будут [два] одна плоть».

IX

Чувство любви — это утренняя заря, которая чуть брезжит в 12—13 лет, горит в 14—17; и где-то около этого возраста из нее вырезывается диск солнца, после чего она гаснет («брак — могила любви», плоско, но точно говорят французы), или по крайней мере костенеет, теряет подвижность и игру свою. Мы снова должны вспомнить о чистом нимбе сияния около любящих; это — относительная безгрешность, т. е. по линии любви, откуда странным образом исчезает обман, гордыня, «дух уныния, любоначалия», не оставляющий человека на всех, кроме этого одного, путях. Нимб гаснет, но в его фоне — безгрешный младенец, около которого и для которого (отчасти) суета, «уныние, любоначалие» и вся гарь человеческого бытия. — И камни, однако, не знают греха: в этом ли смысле, т. е. не совершенной вины, мы называем безгрешным играющего младенца? Конечно, в ином каком-то: темно в источниках, но как правдиво в существе распространенное представление, что умирая младенец становится ангелом! Однако, он никакого подвига не совершил, и только оставил землю. Т. е. он не пассивно безгрешен, не в смысле только отсутствия греха; но активно, как жизнь безгрешная, как положительное сияние: то, что мы называем, встречая у взрослого, святостью. Вот, собственно, источник того очищающего действия, которое он на нас производит; той ненасытимости общения с ним, какую мы испытываем. Нимб сияния погас около взрослых; им — грех и смерть, в темном фоне позади играющего младенца; «одежды кожаные». Нимб этот, однако, не в абсолютном смысле погас, но только перенесся от них к порожденному существу и мы ясно читаем на нем его имя, его точное теперь название*.

* Поэтому живописцы не погрешили бы против правды, но явились бы глубочайшими ее провидцами, если бы вообще они приняли за обычай, рисуя детей, окружать их хотя некоторым светом, или по крайней мере разреженной, уменьшенной темнотой фона, на котором выделяется детская фигура.

Вопрос — о темном, точнее — вовсе неизвестном кольце, которое узкой полоской разрезывает эти два нимба, и в природу коего аналитическим взглядом не проникал ни один смертный, почему-то не любопытствовал проникнуть. Мы читаем в *Библии*:

...И был вечер и было утро — день четвертый.

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу (*nota b.*) живую; и птицы да полетят над землею, по тверди небесной.

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их (*n. b.*), и всякую птицу пернатую по роду (*n. b.*) ее. И увидел Бог, что хорошо [*все*]. 10

И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.

И был вечер и было утро: день пятый.

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду (*nb.*) ее, сказав, и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.

И создал Бог зверей земных по роду (*nb.*) их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что хорошо [*все*].

Удивительные слова: «по роду»; мы как бы читаем рубрики из «*Regne Animal*» * Кювье, с его вечно предсозданными типами животного царства. «По роду» — даже скот, «одомашненные и прирученные животные», которые по изучениям наших дней в первозданной природе своей уже имеют черты предрасположения к прирученности, почему на них и остановилось внимание и выбор человека. Мы продолжаем *без перерыва*, после предыдущего: 20

И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [*и; в-тексте союза нет*] по подобию нашему; и да владычествуют они [*множ. число — в тексте*] над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.

И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею; и владычествуйте над рыбами морскими и над зверями, и над птицами небесными; и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 30

И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, — вам будет в пищу [*это*]... (Бытие, I).

Здесь, и также выше в словах «по роду», все повторяемых и повторяемых, удивительно особенное внимание, которое почilo на слове «семя», «плод». «Трава» — и непременно «сеющая семя»; плод древесный — и даже о нем: «сеющий семя». Природа благословляется, отмечается, даже называется — не в момент бытия своего, не в текущих представителях, но в самом этом потоке и даже именно как поток. Творец-«Элогим» обилен; он говорит; уже как «Иегова», т. е. с тем именем, с каким наложил проклятие на Змию и предрек Еве рождение от нее Спасителя мира («Семя, которое сотрет главу Змию»): 40

* «Мир животных» (*фр.*).

Земля, на которой ты [Иаков] лежишь, Я дам ее тебе и потомству твоему.

И будет потомство твое как песок земной; и распространится к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоём все племена земные.

И вот — Я с тобою (*Бытие*, 28, ст. 14).

«Вечный», «всеблагодный», «всеведущий» — определяли Александрийские эклектики, сливавшие чистого Сима с мутным Иафетом, с неоплатониками — Моисея, «видевшего лицо Господне». Но это — плод усилий мышления о неизмыслимом, речь — о неизреченном. Мы же в смирении ума и не отступая от текста, читая благословения уподобили бы Благословляющего чаще с пересыпающимся через край зерном, которое — т. е. только это осыпающееся через край зерно, а не полнота ее содержания — насыщает однако алкание всего мира, каждой в нем травки, «осыпающей семя», жажду. Благ Господь, Он говорит:

Встань, поди в Месопотамию, в дом Вафуила, отца матери твоей [nota b.] и возьми себе жену оттуда, из дочерей Лавана, брата матери твоей [n. b.];

Бог же всемогущий да благословит тебя, да расплодит тебя и да размножит тебя, и да будет от тебя множество народов;

И да даст тебе благословение Авраама, тебе и потомству твоему с тобою, чтобы тебе наследовать землю странствования твоего (*Бытие*, 28, ст. 2—3).

Удивительно. Назван собственно географический термин, мета пути, но в него вставлено упоминание семени: и как только самое имя его произнесено, слова вспыхивают, благословения — рвутся, и до такой степени засыпают географический термин, что нам нужно вторично перечитать текст, чтобы понять, о чем собственно тут говорится. Нет кратких и определенно-сухих: «дядя», но «отец матери твоей», «брат твоей матери». Точно мысли гладко пройти еще раз всю нить уже совершенных, осуществившихся рождений и за данным некогда им благословением безмолвно повторить его теперь вновь.

Есть ли что трудное для Господа: в назначенный срок я буду у тебя, в следующем году, и будет у Сарры сын (*Бытие*, 18, ст. 14).

Немного вернувшись назад, мы читаем; во второй главе *Бытия*, где расчленено создание человека:

И создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его движение жизни, и стал человек душою живою (ст. 7).

«Дыхание жизни», «душа живая»... Когда мы читаем, позднее и ниже, это внимание, эти благословения, эту сладость слов о девяностолетней:

И будет у Сарры сын...

— мысль, что в этом бурно благословляемом семени и лежит «дыхание жизни», «душа живая» — не оставляет нас.

И еще сказал ей Ангел Господень: вот ты беременна и родишь сына, и наречешь ему имя — Измаил; ибо услышал Господь страдание твое.

Он будет между людьми как дикий осел: руки его на всех и руки всех на него; жить будет он перед лицом всех братьев своих (*Бытие*, XVI, ст. 11—12).

Удивительно: судьба арабов, даже включая Ислам, их завоевания, разлив их по северной Африке и юго-западной Европе, все это здесь предугазано. Битва при де-ла-Фронтера и печальная судьба короля Родриго; Карл, как «молот», карающий их при Пуатье, все эти события нашей европейской истории — только страницы, иллюстрирующие краткий и выразительный образ: «руки его на всех и руки всех на него» удивительной книги, начертанной так задолго до времени, когда забрежжил исторический свет в Европе и даже в Аравии.

И нарекла Агарь Господа, Который говорил к ней, [сим] именем: Ты Бог видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня (ib., ст. 19).

Как имя Твое, спросил Моисей у говорящего из пылающей купины; и услышал:

Аз есмь сый (Исход, III, ст. 14).

«Сый» — т. е. несущийся в потоке вечности; самый поток этого несения; в несущемся все, что выявляется: «Бог ваших отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова», поясняется сейчас же; тот Бог, Которого «видела вслед» Агарь, Которому рассмеялась 90-летняя Сара; Бог, говорящий:

В назначенный срок приду, когда будет у Сары сын...

«Сый» — но в рождении по преимуществу; по преимуществу «Сый» около рождения; с льющимся на него благословением и даже, как видно из всех приведенных текстов, от «травы, сеющей семя» до слов к подслушивающей у дверей Сары — с жадностью рождения. Как будто всякий раз рождая человек неисследимо этим благословляет Бога, вступает в какой-то неисследимый союз с Ним, почти приносит Ему жертву; и Бог взамен благословляет Ему рождаемое, это крошечное бессильное существо, бьющееся во втором нимбе, о котором мы выше сказали.

X

Если аналитически мы рассмотрим все роды, genera et species *, любви, — мы без труда заметим, что они все суть ослабленные степени или видоизмененные формы одной, на которой в предыдущих главах мы подробно остановились:

И воскликнул Ахимаас и сказал царю: мир. И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя!

И сказал царь: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Ахимаас: я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего; но я не знаю, что там было.

И сказал царь: отойди, стань здесь. Он отошел и стал.

Вот пришел и Хусий, вслед за ним. И сказал Хусий царю: добрая весть господину моему царю! Господь явил тебе ныне правду во избавлении от руки всех восставших против тебя.

* Роды и виды (лат.).

И сказал царь Хусию: благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусий: да будет с врагом господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока!

И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так: сын мой Авессалом! Сын мой, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой (*Царств, 2 кн., гл. 18, ст. 28 – 33*).

Здесь вполне удивительно, как вестники, Иоав и весь народ не догадываются о смысле «благой вести», с которою спешат к царю: в мысли всех отец отделен от царя и, конечно, царь торжествует над отцом; торжествует в трудной победе над врагом и возмутителем царства; дерзким сыном, который так глубоко забылся, что, овладев Иерусалимом прежде всего, по хитрому совету, вошел в женскую половину отца, чтобы насладиться его женами и наложницами, «открыть наготу его». И вот, прорезывая отношения политические, народные, мистическая связь родившего с новорожденным сказывается рыданиями:

Авессалом, сын мой! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя...

Замечательно: он называет его все время «отроком» т. е. мальчиком, совершенно не помня, не помня даже до принесения страшной вести, что это уже мужественный и смелый народный вождь, могучее дерево, едва не заглушившее и не похоронившее его самого под собою. Если бы кто-нибудь предположил, что здесь сила связи основывается именно на том, что сын этот — взрослее дерево, взрослее около отца, и кроме связи по рождению здесь есть связь по привычке и по долголетнему общению, физическому и даже духовному, то вот слова отца о сыне новорожденном и впервые увиденном:

Я клянусь
Светилами всей тверди лучезарной,
Которая сияла надо мной
Так ярко в ту счастливую минуту,
Когда он зачат был — клянусь убить
Того, кто первый подойти решится
К наследнику прямому Аарона!
Ни Энцелад, с толпой детей Тифона,
Ни бог войны, ни бешеный Алкид
Из рук отца ребенка не исторгнут!

Подробности восклицаний этих объясняются тем, что они обращены к убийцам ребенка, т. е. к покушающимся на убийство; отец, хотя и «Аарон» — не еврей, однако, а мавр или, по вероятному смещению Шекспиром племен и их названий: негр, «арап»:

Иль нужно вам доказывать, убийцы,
Башки пустые, глиняные щеки,
Раскошенные вывески шинков*,
Что черный цвет есть лучший в мире цвет?

* Это, однако, были царевичи.

Замечательно; грубый воин, он едва ли любовался в себе, или любовался часто, чтобы теперь припомнить, красотой черной кожи. Но при взгляде на крошечного черного уродца, с глянцевитой кожей, кровь вспыхнула и уста заговорили, продолжая:

Что океан не смоем черной краски
С прелестных ног прелестных лебедей,
Хоть каждый день их моет непрестанно?
Скажите от меня Императрице,
Что я уж пожил — дорожу своим.

Императрица — аналогия Мирре, жаждавшей coitus'a вне отношения к детям, — прислала с кормилицей новорожденного от мавра младенца, доказывая ему верность свою, ради которой она жертвует ребенком, равно могущим погубить ее в глазах супруга, но, конечно и ранее всего — отца:

Деметрий

Так госпоже ты изменить намерен?

Аарон

Она — статья особая, а он
Сил Аарона юных отраженье:
Он в мире мне всего, всего дороже —
И я спасу его от всех на свете,
Пусть Рим трубит об этом, что угодно!

20

Деметрий

И пусть позор покроем нашу мать?

Хором

И языки несчастную клеймят?

Кормилица

На казнь ведут, по воле Сатурнилы?

Хором

Стыжусь подумать о таком позоре!

Аарон

Ну, хороша и ваша красота!
Коварный цвет, изменчивым румянцем
Он все движенья сердца выдает.
А этот плут — совсем иная глина!
Взгляните на него, как он приветно
Дарит отца прелестною улыбкой,
Как будто говорит: «Старик — я твой».

30

(Шекспир «Тит Андроник»)

Любовь, выраженная в двух этих отрывках, библейском и новом, ближе всего напоминает ту любовь, из которой младенец выпадает как ее естественный плод. 40

И, все-таки, это уже ее ослабленная степень. В родительской любви нет динамического элемента: это существенным образом статическое, устойчивое, постоянное чувство, без пробегающих в нем искр, без вариаций ежесекундно меняющихся:

Тс! Тс! Ромео, здесь ты? О, зачем
 Не ловчий я, чтобы могла всегда
 Я сокола бесценного прикликать!
 Неволи голос слаб; иначе я
 Заставила бы эхо встрепенуться
 В его пещере. Легкий воздух стал бы
 На все лады твердить Ромео имя.

10

И т. д. Это — музыка души человеческой, которая не сохраняет одного тона и двух к ряду стоящих минут. Отсюда необъяснимое волнение, «бессонница» любящих: они не засыпают иначе как легким, забывчивым сном, как не мог бы забыть и композитор в момент, как чудные знаки звуков, бесслышно внимаемых ухом, он смятенно бросает на линейки нотной бумаги. Совершенно неизвестно случаев, чтобы отец или мать, потеряв ребенка, гибли и сами, не в силах будучи перенести потерю; и слишком часты и известны случаи, где любящий или любящая не переживает, т. е. не может пережить смерть или даже потерю только для себя (измена) любимого человека. Ясно, что любовь здесь глубже, мистичнее; любовь родительская уже гораздо проще, ослабленнее. И мы вовсе не можем представить себе ни мать, ни родителя, которые беспокойно перевертываясь на постели и счастливо улыбаясь грёзили бы образом ребенка своего, будь это Авессалом или носи он другое имя. Связь здесь — однако гораздо продолжительнейшая — гораздо отдаленнее, нежели связь между собою тех, которые готовятся к рождению (Ромео и Юлия); она не исполнена вовсе той неги, тех бездн готовности к жертве, того глубочайшего проникания в любимый предмет, этого неустанного к нему внимания, неотводных глаз, на нем лежащих, какие в природе мы наблюдаем единственно в этом чистом и бегрешном сиянии, о котором знаем, что уже необъяснимо в нем зарождается и сияет как обещание, как надежда — младенец, на котором со временем почиет вторая форма любви.

30

Нет законов о любви родителей к детям, ни священных, ни гражданских. Чувство так сильно, что не нуждается в подпорах, ни в направлении. И уже есть закон о любви детей к родителям:

Чти отца и мать твою, — чтобы продлились дни твои на земле.

Конечно, любовь к детям также священна для человека: но она не помещена в заповедях. И если помещена, если так высоко, выше закона «не убий» помещено заповедание детям не столько даже, чтобы любили они, сколько «почитали» только, «заботились» о родителях, хранили к ним внешнее уважение, — то значит почувствовалась и действительно есть огромная какая-то разница между тяготением человека к нисходящему от него (потомство) и к тому, от кого он нисходит (предки, родители).

40

И в самом деле, мы входим здесь в круг косвенной, отраженной, как бы лунной любви, взамен солнечной и прямой, какую исследовали до сих пор. Любовь детей к родителям бессемянна, и вот отчего она уже холодна. Супруги друг друга,

и обои они каждого своего ребенка, как бы носят в своих genitalia: отсюда — предчувствия, этот мир довременных гаданий и поэзии, мир ожиданий, которые и в самом деле так часто оправдываются, напр. у девушки, иногда до точности, до «цвета волос» провидящей того, кто ей «уготован»; и в меньшей степени, но также есть это предчувствие у родителей, напр. в отношении неодинаковой судьбы детей своих. Но у детей нет никакого предчувствия о родителях; никакого о них гадания, как и вообще никаких грез. Ни в каком смысле, даже переносном и отдаленном, намекающем (как сделано нами выше) нельзя сказать, чтобы и дети носили родителей в своих genitalia. Даже после рождения и до собственной могилы у родителей в отношении к детям есть отношение coitus'a, по крайней мере как след, как вылежанное место, остающееся и сохраняющее форму предмета, который долго на нем лежал; и нет, никакой тени и ни в каком смысле нет этого отношения у детей к родителям. Брак, т. е. вторичный, и вообще все брачное у родителей не только поэтому чуждо, но и как-то антипатично детям: не столько в нем самом по себе, сколько в касании к нему детей есть какой-то nefas*; но взгляните у родителей: лучшая надежда впереди, трепетное ожидание есть именно брак детей. Не успех в жизни, не победа; не богатство, даже не здоровье, но именно брак: об нем, и только об этом у родителей в отношении детей еще бывают какие-нибудь грезы. Скупой и жесткий наш крестьянин разоряется, уходит в долги, когда «женит сына». Отсюда странная, т. е. полная проникновений, искренности, и хоть чрезмерно ослабленная, но все еще солнечная любовь — к невестке, зятю, вспыхивающая, а не строящаяся у родителей, уже стареющих или совершенно старых. Станным образом в этой форме любви смешаны чисто родительские чувства, т. е. отношение как бы к рожденному, с супружескими, т. е. отношением к готовности родить. Это — закат coit'ального тяготения, когда его солнце уже скрылось и играет вечерняя заря. Можно сказать без преувеличения, что невестка, зять искристее любимы родителями, нежели даже собственными детьми эти родители. Только до наступления зрелости, или когда уже наступила старость, т. е. когда вообще нет coit'ального в них напряжения, дети прочно и горячо связаны с родителями. Но как пробудилось в них семя и начинает искать себе солнечных отношений, без борьбы и тревог эти последние, еще in statu nascendi**, заглушают остатки привычек, благодарности, воспоминаний, долгого обоюдного общения, что входит в состав их любви не столько даже к родителям, сколько к «родительскому праву». Замечательно, нет выражений как общеупотребительных и привычных «сыновний кров», «дочерний дом» или даже «невесткин угол»: там, около этих лиц, все смыто, затенено, не видно около лица самого человека, все исчезает вблизи смеющихся губ невесты — для жениха, близ озабоченного лба замужней дочери, женатого сына — для родителей. Нега любви устремлена прямо на человека, и потому, что она искрится, жива, не ледяниста. Но образ родителей, самый их физический εἶδος так мало нужен детям, так скучен им и ничего, почти ничего не нашептывает, что в грезах и воспоминаниях, когда они случаются, как-то сливается и смешивается с εἶδος сада, где они играли, двора, где бегала «жучка», няни, которая за ними ухаживала и вообще входит в понятие «крова», но мало или очень мало отделяет от его фона. «От-

* грех (лат.).

** в состоянии зарождения (лат.).

рок Авессалом» — так называл Давид сына, вступившего на супружеское ложе отца, как бы грезя и продолжая в грезах видеть его играющим мальчиком. И...

...и увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и вышел рассказал двум братьям своим (*Бытие*, 9, ст. 22).

В высшей степени замечательно, что отец над сыном или над возлюбленную свою любящий никогда и ни в каком положении другого не могут надсмеяться. Т. е. любовь эта не только имеет особенности, которые мы выше оттенили, но по серьезному ее колориту, по этой странной враждебности смеху, есть в ней религиозная примесь. Ведь из всех мест земли, как бы ни были и другие в разных отношениях высоко почитаемы, никому не придет на мысль рассмеяться только в храме; и в Библии, а вероятно, и во всех религиозных памятниках, мы не читаем нигде иронии, при таком, однако, обилии гнева, негодования. Замечательно, что негодовать на детей родители могут; и негодование на возлюбленную, как уже выше мы отметили, может напрячься до степени, которая удовлетворится только кровью. Но никогда улыбки — над убитою даже; никогда остроумия над наказанным сыном, проклинаемою дочерью. И никогда иронии над человеком у Бога.

Любовь родовая и родственная есть много лет держащееся чувство, коего центр составляет минута когда-то происшедшего рождения. Ее дальнейшая ослабленная степень есть любовь к народу своему, тяготение человека к своему племени, жалость племени к каждому «Ивану не помнящему родства» в составе своем. Это уже крайние трансформации лунного света, вновь разбивающиеся и разбивающиеся около новых и новых-поверхностей отражения. Уже солнца не видно; *coitus* — не исследим; но его луч играет в одинаковости этого Петра и того Семена, в скорости, с какою они понимают друг друга, где-нибудь толкаясь около кабака и никак не попадая в его дверь. Множество смеха выходит из этого «толкания»; множество усилий его направить. Поэзия песен и мудрость пословиц течет отсюда. Кабак обростает обычаями, привычками; *vita nascitur moribus**. Между душ не совершенно еще исчезла теплота, и по линии этой теплоты, сливаются, липнут эти души в комки, в массу. Способность ассоциироваться; правительствование, войска растут отсюда. Рой роится; все полно жужжания и сладкого аромата меда. Вновь завязывается там и здесь родство; и разламывается, становясь чрезмерным по распространению и обилию членов. Сочные нити всех соединяют еще; нити эти, в последнем анализе, все преобразованная и преобразованная солнечная любовь, та именно, которую горела Джульетта к Ромео, с какою плакал об Авессаломе Давид.

Coit'альный характер всей этой теплоты и сладости ясен из того, что всюду где готово окончиться собственно родственное тяготение, по типу детской привязанности, там зарождается тяготение супружеское. Мы уже заметили выше, и это очень важно, что юноша или девушка, едва вступая в возраст 17–14 лет, теряют всякую почти связь с своею семьей, скучая ею, раздражаясь на нее, почти испытывая к ней что-то враждебное. Еще недавно играющие дети под «родительским кровом», они уже стоят на его пороге, с чрезвычайной неохотой ступая шаг назад, по сю его сторону, и с готовностью бежать, спешить вдаль. Нить вос-

* Жизнь рождается из обычаев (*лат.*).

ходящего рождения почти засохла, но посмотрите, как пробудилась нить нисходящего рождения. Вот в общество, толпу вошла 14-летняя девушка; какое странное доверие к незнакомым по-видимому и — почему бы не подумать, не предположить — враждебным лицам. Глаза всех на ней и ее глаза на всех; она бегут по лицам, фигурам, следят таинственно и безошибочно между каждого. Всех видит она, всех как-то особенно чувствует, как не чувствует никого дома, братьев, сестер, отца, мать. Еще не заговорил никто с нею; но вот заговорили, и посмотрите, есть разнообразие в интонации, с какою она отвечает каждому. «Дома», в этом скучном для нее «дома» все лица уже сбиваются, смешиваются для нее, и то отцу отвечает она грубо как брату, то с сестрой играет, как с ребенком, или, напротив, сердится на нее как на подругу; темп отношений потерял, струны повисли и запутываются. Там, вне «дома», струны напряжены и весь чудно настроенный инструмент готов зазвучать, а для внимательного уха он уже и звучит, заглушено, сдержанно. Таинственное соит'альное сопряжение уже началось, и это ему повинуясь она заговаривает с пожилыми женщинами как возможная невестка, покорно и предупредительно, с однолетками — как вероятная сестра-подруга, и с пышущим лицом, невыразимой стыдливостью, путая слова, отвечает юноше, который к ней подходит и заговаривает. Он только спросил ее о вчера проведенном дне, а ей кажется, что в мире случилось что-то необыкновенное; этот вопрос — он для нее памятнее и многозначительнее, чем месяц поучений, которые ей читает отец, но она из них ничего не слышала. Без сопротивления, без боли, с ощущением сладостной новизны молочный зуб ее детства, и вместе девства, сбрасывается, потому что из-под него вырос настоящий, крепкий зуб — супружества, сладкого рождения детей.

Вот любовь *in natura rerum* *, как она вселена в человека, в противоположность любви *in verbo* **, которую он заполняет пустоты, оставляемые первою. Мера готовностей к жертве за другого все суживается по мере того, как в восходящем или нисходящем смысле угасает в человеке соит'альное тяготение; мера проникания в сердце другого, понимания его — также падает. Уже никто о чужаке не повторит с Давидом:

О, если бы мне умереть за тебя, Авессалом, сын мой,
ни с Джульетой о мимо прошедшем незнакомом человеке:

Зачем
Не ловчий я, чтобы могла всегда
Я сокола бесценного прикликать.

Отношения между людьми становятся призрачны, ледянисты, теряют прямо-ту; они сводятся к отношениям учтивости — в мере, какая не вызвала бы осуждения за грубость. Здесь уже незначительный повод рождает раздражение; негодования не так много, обильна ирония; нет уважения к человеку; шутка, комедия, мим рождаются. Это не храм более, а обширная площадь, где нет невидимого Бога, который определил себя новому человеку:

«Бог любовь есть» — «Θεός ὁ ἔρωσ ἔστιν».

* в природе вещей (лат.).

** на словах (лат.).

Пояс темного греха, который вторгся всюду и настолько, откуда и насколько вышла любовь. Как труден был грех между Авессаломом и Давидом; как труден он между Офелией и Гамлетом. Сколько нужно посторонних усилий, какое нужно стечение исключительных обстоятельств, чтобы зародить здесь недоверие, породить злобу между этими, и вообще загрязнить, испортить, разрушить сияющий нимб любви (случай с Фамарью и Аммоном, вмешательство Яго — между Дездемоной и Отелло). Но тут, на площади, всемирном рынке «грех при дверях стоит» и рвется в каждую хижину. Цинический смех за минуту сменяется кровью через минуту, с равнодушно отираемым ножом, при единственной заботе, куда бы его забросить или к кому бы подбросить, т. е. безвинно и непоправимо погубить «мимо идущего человека». Все люди — «мимо идущие» друг для друга, вне соит'ального склонения, они несутся как горсть аэролитов по параллельным линиям, «которые, сколько бы мы их ни продолжали, нигде и никогда не соединятся», а соединившись — разобьют несущиеся по ним существа. Мир смерти, всеобщая πόλεμος *, bellum omnium contra omnes **, против которого Гоббс потребует всепожирающего «Левиофана» государственности, для которого Сенека напишет морализующие трактаты и Каракалла даст знаменитый человеколюбием эдикт. Мир — можно бы определить — Сенеки и Каракаллы, в противоположность миру Офелии и Авессалома; мир juris civilis ***, сменивший мир псалмов:

10 ... грех предо мною есть выну...

и —

... constans et perpetua voluntas suum cuique tribuere ****.

XI

Рассмотрим таинственную фигуру человека, о которой читаем:

И сотвори Бог человека, по образу Божию сотвори его: мужа и жену сотвори их. И благослови их Бог, глаголя: раститесь... (*Бытие*, 1)

И несколько выше, как бы открывая план творения, с двойным упоминанием об отношении к Богу человеческого εἶδος:

30 И рече Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию; и да обладает... (*Бытие*, 1).

Мы говорим — «об отношении его εἶδος», потому что лишь во второй главе и ниже выделено содержание этого εἶδος.

И созда Бог человека, персть взял от земли, и вдуну в лице его дыхание жизни: и бысть человек в душу живу... (*Бытие*, 2)

«Дыхание жизни», вдохнул в «лице его»... Мы читаем значительно ниже, в благословении Иакова сынам его:

* война (*грек.*).

** Война всех против всех (*лат.*).

*** гражданское право (*лат.*).

40 **** постоянная и неизменная воля каждому воздавать свое (*лат.*).

Не оскудеет князь от Иуды, и вождь от чресл его, доидеже приидут отложенные ему: и той чаяние языков * (*Бытие*, 49).

Что́ это за таинственные «чресла», именем которых пестреет Библия, и около этого имени слова ее вспыхивают, священный огонь пророчеств и благословений поднимается? Почти как поднимается он, когда упоминается о Саре:

В следующем году, в этот срок буду у тебя — когда родится у Сары сын.

Удивительно: на протяжении целой Библии нет почти упоминания «лица»; нет описания Давида, Соломона иначе как в терминах, относимых к возрасту, величине и вообще к фигуре, но не к «лицу» в тесном и определенном значении, какое мы соединяем с ним. Названия некоторых частей лица, как напр. «усы», также «ресницы», «брови» — отсутствует вовсе; и другие части названы именами, которые указывая не описывают, и даже не указывают ничего индивидуального: «чело», «ланины», «уста» почти как мы сказали бы «нога», «ребро», «легкие». Что́ есть для нас «лицо» как сосредоточение человека, как собранная мысль его — тускло, малозначительно, не упоминается почти в Библии; и всякий раз, когда в словах ее мы читаем собирание мысли о человеке, сосредоточение внимания к нему, мы находим эти таинственные рождающие «чресла». Не правда ли, как это грозно, как непостижимо: вот Моисей, только что выслушав Господа из купины горящей, выслушав впервые новое и вечное Его имя, и высланный на миссию спасения народа своего, спешит, — но что-то позабыв: 10 20

Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его.

Тогда Сепфора (*жена Моисея*), взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросивши к ногам его, сказала: ты жених крови у меня.

И отошел от него [*Господь*]. Тогда сказала она: жених крови — по обрезанию (*Исход*, 4).

Как это удивительно; как непостижимо сочетание слов, главное — в словах Сепфоры; и неуловима вся мысль. Что́ это за таинственное обрезание:

И поставлю завет Мой между Мною и между тобою, и между семенем твоим в роды их; завет вечный в том, что Я буду Богом тебе и семени твоему по тебе.

И дам тебе и семени твоему по тебе землю, по которой странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. 30

Ты же соблюди Завет Мой, ты и семя твое по тебе в роды их.

Сей есть завет Мой, который вы должны соблюдать между Мною и вами, и между семенем твоим по тебе в роды их: да обрежется от вас всяк мужеск пол.

И обрежете плоть крайнюю вашу; и сие будет знамением завета между Мною и вами.

Осьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола, рожденный в доме и купленный за серебро у какого-нибудь иноплеменника, который не от твоего семени.

* Буквальное: «скипетр не отойдет от Иуды, и законотолкавник — от чресл его, пока придет Примиритель (= Мессия) и Ему покорность народов. Он привязывает к виноградной лозе осленка своего, и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Моет в воде одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». В Ветхом Завете это первое ясное предсказание рождения Спасителя, из колена и по плоти — Иудина. 40

Непрененно да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным.

Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей в осьмой день: погубится душа его из рода своего, ибо завет Мой он раззорил (*Бытие*, 17)

То, что мерцает как неясная мысль из таинственности этих слов, — далекая аналогия первому Завету:

И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть; а от древа познания добра и зла — не ешь от него; ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.

10 И еще:

И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло; и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно (*Бытие*, 3).

— не восстановление этого завета; но некоторое восстановление павшего человека через новый завет — это ясно брежжет в словах. И ясно место его запечатления, чело завета. Мы говорим, т. е. читаем и потом говорим, размышляем: «Бог обратился к Аврааму...»; к какому Аврааму? Что́ разуме́ть под «Авраамом»? К Аврааму в чем выраженному? В том ли, в чем выражается каждый из нас, внимает ли он, говорит ли? К этим глазам спрашивающим или повелевающим, к сморщенному дуною лбу, недоумевающей улыбке, насторожившемуся слуху? Об этом — молчание. Нет *этого* в человеке завета. Слово завета несется, входит в слух, — не иначе как слово вносится на телеграфную проволоку, но несется ею к другому, к которому относится. Завет весь относится к «чреслам»; около них человек — подробность; обрезающая рука, глаз следящий за обрезанием, ухо выслушавшее, ум понявший, т. е. собственно и покорившийся, но ни о чем не спрашивающий и которому не дано никакого объяснения. Аарон около Моисея, скажем мы объединяя свою мысль. Казалось не только для Египта, но и для Израиля, что говорит Аарон, поступает Аарон, изводит евреев из рабства Аарон, наказывает Египет Аарон. Как это многозначительно, многозначительно для 20 30 всей Библии, для всей судьбы евреев, особенная черта Моисея, та, которая его так смутила перед горящею купиной, когда он услышал о посланничестве:

Молю Ти, Господи: недобороречив есмь прежде вчерашнего и третьего дня, ниже откележи начал глаголати рабу Твоему: худогласен и косноязычен аз есмь (*Исход*, 4, ст. 10).

Какая черта смирения, смирения стихий, способностей изъявления, выражения: все принадлежит внутреннему в человеке, что́ на глас Божий ответит почти не устами даже, а каким-то немым движением: «Вот я» *... Слово, которое еще раз прошепчется, но уже в начале новой истории: «Се раба Твоя, буди мне по глаголу Твоему».

* Полнее: «Господь увидел, что он идет смотреть (*горящую купину*), и воззвал к нему Бог 40 из среды куста и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: Вот я, Господи! И сказал Бог...» И т. д. (*Исход*, 3, ст. 4).

Но мы отвлеклись к аналогиям. Мы снова спрашиваем, к кому говорит Бог, заключая завет? И кого называет он «Авраам»? Что было для Него «Авраам», «отец множества народов»?

И не будешь ты больше называться Авраомом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов; и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя.

Кто этот «ты», к которому сейчас за приведенными словами и начинается завет, который мы выше привели? Не ясно ли, что этот «ты» вовсе не есть лицо в нашем значении, не Аарон пусторечивый, — но иное «худогласное и косноязычное» чело, на которое и будет положена печать завета, с которым, собственно, завет и заключается через «Аарона», второе в нас и малозначительное чело. 10

Вот тайна Ветхого завета и главная мысль Библии, безгласно, но очевидно выраженная во всех ее бегущих и волнующихся страницах. «Человек» там — не то, что мы представляем, говоря «человек»; иначе расположены на нем тени и полутени; до известной степени — иначе он скроен, т. е. в идее, оставаясь, конечно, тем же в действительности. «Лице его...», «дыхание жизни». Но нет, конечно, никакого «дыхания жизни» в лице, которое мы у себя знаем; и есть оно, и даже только оно есть, в том лице, на которое была положена печать второго и обновляющего завета. «Персь от земли», «в нее вдохнул» — это и есть «худогласные уста», куда обратным дыханием была вдохнута жизнь, она же польется потом «в роды и роды», «умножаясь как песок морской», и Библия будет следовать, питать, записывать необозримые генерации темпов этого дыхания, всякий раз останавливаясь, если в одном или другом из них произошло что-нибудь особенное, что следовало отметить и запомнить, чтобы потом принять во внимание. Мы читаем: 20

И вот, во время ее (*Фамари*) родов показала рука одного (*из близнецов, коими она была беременна*); и взяла повивальная бабка и повязала ему на руку красную нить, сказавши: Этот вышел первый.

Но он возвратил руку свою; и вот, вышел брат его. И она сказала: Как ты расторг себе преграду? И наречено ему имя: Фарес. 30

Потом вышел брат его с красною нитью на руке. И наречено ему имя: Зара (*Бытие*, 38, ст. 28—30).

Библия ждет рождения; она есть вечное ожидание рождения; рождение — это есть именно по существу своему ожидание, надежда; и потом — предвидение, предугадывание. Отсюда ее устремленный колорит; бегство от данной минуты к прислушиванию около следующей. Мессианизм не столько слов, не имени только определенного, но всего душевного строя, по направлению его внимания; и пророчество, как ветвь этого мессианского устройства духа, как ожидание, переходящее от нетерпения в крик требования, в видение будущего как бы уже сбывающегося: «Ныне очи мои видели...» — о том, что еще настанет или о том, что возбуждает негодование — вот общий тип пророчества: 40

Рыдайте, о злосчастный день!

Ибо близок день, так! близок день Господа, день мрачный; година народов наступает!

И пойдет меч на Египет, и ужас распространится в Ефиопии, когда в Египте будут падать пораженные, когда возьмут богатство его, и основания его будут разрушены (*Иезекиль*, 30, ст. 2—4).

Или, напротив, с трогательною нежностью:

Я буду пасти овец Моих и я буду покоить их, говорит Господь Бог.

Потерявшуюся отыщу и угнетенную возвращу, и пораненную перевяжу и больную укреплю, и разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде (*Иезекиль*, 34, ст. 15–16).

У Ев. Луки, когда мы читаем о Захарии, онемевшем на все время, пока жена его, Елизавета, не разрешилась от бремени, и которому возвратился дар речи после наречения новорожденному имени, мы имеем полный очерк пророчества так сказать законченного по исполнению, ясного в источнике, типичного в колорите:

И Захария, отец его, исполнился Святого Духа, и пророчествовал, говоря: Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему; И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего, Как возвестил устами бывших от века святых пророков Своих, Что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас; Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой, Клятва, которою клялся Он Аврааму, отцу нашему дать нам Небоязненно, по избавлении от руки врагов наших, Служить Ему в святости и правде пред Ним, во все дни жизни нашей.

И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предъидешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, Дашь уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их, По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира (*Луки*, 1, ст. 67–79).

Причем пророчества не непременно сбывались, как напр.:

Говори и скажи: так говорит Господь Бог: вот Я на тебя, фараон, царь Египетский, большой крокодил, который, лежа среди рек * своих, говорит: «Моя река и я создал ее для себя».

Но я вложу крюк в челюсти твои и к чешуе твоей прилеплю рыб из рек твоих, и вытащу тебя из рек твоих со всею рыбою рек твоих, прилипшею к чешуе твоей; И брошу тебя в пустыне

И делается земля Египетская пустынею и степью; и узнают, что Я — Господь. Так как он говорит: «Моя река и я создал ее»;

То вот, Я — на реки твои, и сделаю землю Египетскую пустынею... (*Иезекиль*, 29, ст. 3–5 и 9–10).

Это есть чисто арийский, умственно-теоретический взгляд на пророчества, что они суть предварения факта, и только его предварения, почти притом с точностью, как астрономы арийские предсказывают затмения луны или солнца. В мысли семитизма этого вовсе не было, и невозможно представить пророка, ко-

* Разумеется, очевидно, *дельта* Нила, в составе многочисленных и длинных рукавов своих, напоминающих реки; ибо нет в Египте еще рек, кроме Нила.

его народ захотел бы и смог бы уличать, что вот «еще не сбылось», а он оправдывался бы, что «отчасти сбылось» или «сбудется». Это — наш взгляд; наши оправдания; наши обвинения. Дух пророчества есть тембр души и, можно сказать, что весь народ ветхоеврейский был народом пророческим *, отчего история его и стала или по крайней мере названа «священной». Дух — динамический по преимуществу; по преимуществу — устремленный; алкающий, надеющийся, слушающий около. Дух этих слов, этого особенного внимания:

...имя твое — Иаков; отныне ты не будешь называться Иаковом, но будет имя твое — Израиль. И сказал еще: Я — Бог Всемогущий; плодись и умножайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут от чресл твоих (*Бытие*, 35, ст. 10—11).

Замечательно это самое переименование имени; или, точнее, при сохранении одного имени еще наречение и другого. Если мы припомним слова к Моисею Бога:

Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем *Бог Всемогущий*; а с именем Моим *Господь* (Иегова = *Азь есмь Сый*) — не открылся им (*Исход*, 6, ст. 3), —

мы поймем, что, переименовывая Авраама в «*Авраама*» и Иакова в «*Израиля*», Бог всякий раз делал какое-то откровение человеку о нем самом и собственно не давал, но *открывал* его второе имя: «Не Иаков только, но еще Израиль», «Иаков есть, но и кроме его есть Израиль — в тебе», вот полная мысль текста, как мы можем догадываться.

XII

Если бы в морге мы отыскивали тело потерянного очень близкого человека, и войдя — увидели бы, что нет трупов, в нем сохранившихся, а только разнятые их части, мы безнадежно бы из него вышли, увидев, что это — *одни* части, и только пристальнее, с усиленною пристальностью стали бы рассматривать, если бы то были другие части. Мы, напр., стали бы осматривать кисти рук, ступни ног, насколько не останавливаясь на лопатке, боке, голени, лучевой части руки. Бывали в истории случаи, они запомнились, что труп вождя, царя или друга открывался на поле сражения по ступне ноги. Кисть руки, ступня... оконечности, значительно

* Или, что то же, каждый еврей при известной настроенности начинает пророчествовать, и иногда пророчествовали целые толпы, как видно из следующего напр. места:

И донесли Саулу, говоря: вождь Давид в Навафе, в Раме.

И послал Саул слуг взять Давида, — и увидели они сонм пророков пророчествующих и Самуила, начальствующего над ними; и Дух Божий сошел на слуг Саула и они стали пророчествовать.

Донесли Саулу об этом, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать.

Саул пошел сам в Раму, и дошел до большого начальника, что в Сафе, и спросил, говоря: где Самуил и Давид? И сказали: вот, в Навафе, в Раме.

И пошел он туда в Наваф в Раме, и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наваф в Раме.

И снял и он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот и всю ту ночь лежал неодетый (*Царств* 1, 19, ст. 19—24).

удаленные от туловища, и вот они индивидуализируются, когда к этому не имеет силы бедро, предплечье. Последние слишком подчинены туловищу, подавлены его силою и если, конечно, не обезформлены, то *обезлижены*... Кисть, ступня... конечно, это ужасно еще безлично, но уже некоторый намек есть, по которому муж узнает жену, мать — сына, сестра — брата. Эмбрион лица, его — *загало*, но брошенное, скомканное, и может быть, потому, что не нужное, точнее — достаточное для всех целей земного существования человека в той недоконченной форме, как оно выражено. В сложении кисти, которую мы чаще видим, чем ступню, и лучше поэтому знаем ее, мы угадываем иногда темперамент человека, его затаенные 10 страсти, историю его воспитания, и именно внутреннего, духовного. Т. е. в ее чертах есть уже духовность и, конечно, она своими вариациями накладывает индивидуализирующие вариации на самое ее сложение. От этого одною кистью мы залюбовываемся, к другой невольно испытываем отвращение. Есть некоторая неизъяснимая *lasciveté* * в рукопожатии и даже в самом строении «руки» у одних; у других — не передаваемое и ясно чувствуемое благородство. Грозящее предательство — мы его можем, раньше чем на лице, прочесть в гибкой, как бы бес- костной и обыкновенно холодной руке; безжалостность — в мясисто-вялой; за- щиту — в крепкой и напряженной. Есть чистота, есть грех в кисти; есть мысль и особенная многозначительность. Как и лицо, — то единственное, которое мы 20 называем в себе этим именем, она имеет обращенную к предмету сторону, и заднюю, *затылогную*, которая ни к чему не обращена: никому не придет на ум поздороваться, коснувшись наружною, внешней стороною кисти, но мы пожимаем друг другу руку или даже слегка касаемся переднюю, лицевую, лишенной совершенно волос, стороною (ладонь). Замечательна эта самая потребность выразить привет не улыбкой, не взором, не голосом только, но и еще касанием кисти, рукопожатием: мы будто чувствуем, что, не сделав этого, оставляем в себе какой-то малый дух, сверх большого, отвернувшись угрюмо от ближнего, которому мы не хотим оказать никакого зла или недоброжелательства; мы благословляем 30 рукой, мы ею ласкаем — всегда ладонью, обращенной к предметам и как бы безвзорно на них смотрящею. Конечно — это лицо. Мы его украшаем (кольца, запястья). Как и ступню, мы ее одеваем, замечательно — частями одежды, не связанными с главною; т. е. собственно одеваем отдельною одеждою. Это тайное, не замечаемое нами значение кисти удивительно проявляется в одном месте, совершенно бессодержательно делаемом: в *порыве* молитвы, *бросаясь* на колени, человек, совершенно иногда себя не помнящий, почему-то подымает обе руки («воздежая руку мою...») и обращенные ладони как бы ставит перед образом; он *весь* теперь молитва, он молится *всеми* в себе лицами...

Какова была бы фигура этого лица, если б оно не осталось эмбрионом, мы не можем угадывать, — кроме одного, впрочем, что она не имела бы ничего общего 40 с обыкновенным нашим лицом и выражаемая мысль его была бы совершенно иная. Оно уже иное есть как эмбрион. «Лицо» есть только сосредоточение чего-то, есть собранная и выявленная мысль того, чего оно есть «лицо», в рассматриваемом случае — человека; точка или собрание точек, где отпечатленный на нас «лик Божий», «по образу, по подобию» которого фигура наша образована, читается особенно внятно. Во всяком случае, именно как сосредоточенная мысль,

* сладострастие, похотливость (*фр.*).

«лицо» — каждое — далеко не ограничивается тесною своею функциею *, и вообще быть органом — это для него есть только одно значение среди мира других. Рука, о которой мы думаем, что она только «хватает» и «держит» — еще ласкает, даже молится. Но мы можем идти глубже и искать в истории ее обнаружений, выявлений; искать в далеких и обширных ее событиях особых струй, побежавших от этого «лица», и не относимых, при строгом анализе, к другим. О самой заре ее, чуть брезжущем свете, мы уже читаем:

Имя брату его Иувал: он был отец всех играющих на гусях и свирели. Цилла также родила Тувалкаима: он был ковачем орудий из меди и железа (*Бытие*, 4, ст. 21–22).

Вот выражение этого несколько плоского и бессодержательного в нас лица; 10
поверхностного духа, в нем живущего, по бедности которого, быть может, оно и не сложилось в более глубокие и выразительные черты. Мир техники, индустрии; мир необозримых *поделок*, так и этак *переинагиваний* уже совершенно отвечающей своей цели вещи. Мы также читаем, явно уже о другом лице:

Да *распространит* Бог Иафета, и да *вселится* он в шатрах Симовых; *Ханаан* же будет ему рабом (*Бытие*, 9, ст. 27).

Начало *распространения* — вот выявление какого-то еще в нас лица; начало географического *движения*, насколько в нем есть *Ding an sich* **, насколько оно не обуславливалось исканием *пищи*, тяготением *родства*, даже исканием лучших 20
вообще *условий* быта. Т. е. вся та очень обширная и по преимуществу внешняя часть исторического волнения, куда мы относим бесконечные экспедиции Кортеса, Пизарро, и это странное «беспокойство ног», которое, переводя Колумба из страны в страну, наконец, заставило его плыть через неизвестный океан к неизвестному же берегу; экспедиции к северному полюсу, так очевидно не нужные и так многим стоившие жизни; и огромная часть завоевательных движений, которым мы мучительно ищем иногда причин, и не находим вовсе, не находим никаких. Поэтам-провидцам никогда не казалось ни унижительным, ни смешным 30
относить часть своих стихов к безвидному почти эмбриону лица, помещенному на самой далекой точке человеческой фигуры: оконечности его ног. Но вот, на противоположном, и по времени, и по духу, конце, нежели где возникла эта игривая поэзия, мы читаем о «шестикрылых» серафимах и «многоогитых» херувимах, закрывающих *двумя* крыльями *лице* свое, причем четыре других, мы ожидаем, опущены на какое-то другое, вернее — другие лица. Мы приведем тексты, оговорившись, что образ «керубов», крылатых и многолицых, был образ общий всему Востоку, т. е. кругу земель северо-восточной Африки и передней Азии, где сложилась Библия и откуда в Библию, как в своем роде «лице» свое, единственно донесшееся до поздних времен, он очевидно был только заимствован:

От верха дверей *** как внутри храма, так и снаружи, и по всей стене кругом, внутри и снаружи, были резные изображения,

* Как и в чертах его всегда есть многие, необъяснимые анатомическою необходимостью, 40
и даже над анатомическим строением господствующие.

** вещь в себе (*нем.*).

*** Пророк описывает, в целом ряде глав, устройство мистического храма, показанного ему в видении; приводимое место — одна из подробностей этого описания.

Сделаны были херувимы и пальмы: пальма между двумя херувимами, и у каждого херувима — два лица.

С одной стороны к пальме обращено лицо человеческое, а с другой стороны — к пальме лице львиное; так сделано во всем храме кругом (*Иезекиль*, 41, ст. 17–19).

Со многими важными подробностями, это повторяется у того же пророка при описании (точнее — упоминании) мистической колесницы: часть, которая, по комментаторам, представляет общее у него с Каббалой, свидетельствуя о древности первой и, с другой стороны, ее известности пророкам и признанности ими. Все место — очень темно, как темны бывают сны в отношении действительности и, однако, несут в себе нечто из действительности. Для того, чтобы мысль читателя могла сколько-нибудь связывать черты образа и предложения речи, мы приведем отрывок обширнее, нежели требуется нашими целями:

И видел я: на своде, который над главами херувимов, как бы камень сапфир, как бы нечто похожее на престол видимо было над ними.

И говорил Он (= Бог) человеку, одетому в льняную одежду, и сказал: войди между колесами под херувимов и возьми полными пригоршнями горящих угольев между херувимами, и брось на город (*Иерусалим, подлежащий наказанию*); и он вошел в моих глазах.

Херувимы же стояли по правую сторону Дома (*все видение — на небесах*), когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор.

И поднялась слава Господня с херувима к порогу Дома, и Дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господа.

И шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глас Бога Всемогущего, когда Он говорит.

И когда Он дал повеление человеку, одетому в льняную одежду, сказав: «Возьми огня между колесами, между херувимами», — и когда тот вошел и стал у колеса, —

Тогда из среды херувимов один херувим простер руку свою к огню, который между херувимами, и взял и дал в пригоршни одетому в льняную одежду. Он взял, и вышел.

И видно было у херувимов подобие рук геловегеских под крыльями их.

И видел я: и вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду — как бы из камня топаза.

И по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе.

Когда шли они, то шли на гетьере свои стороны; во время шествия своего не обораживались, но к тому месту, куда обращена была голова, и они туда шли; во время шествия своего не обораживались.

И все тело их и спина их, и руки их и крылья их, и колеса кругом были полны огей, — все гетьере колеса их.

К колесам сим, как с слышал, сказано было: голгал (по-еврейски = вихрь).

И у каждого из животных гетьере лица: первое лицо — лице херувимово, второе лицо — лице геловегеское, третье лицо — львиное и гетьертое — лице орлиное.

Херувимы поднялись. Это были те же животные, которые видел я при реке Ховаре (*другое было видение*).

И когда шли херувимы, тогда шли подле них и колеса; и когда херувимы поднимали крылья свои, чтобы подняться от земли, и колеса не отделялись, были при них.

Когда те стояли, стояли и они; когда те поднимались, поднимались и они, ибо в них был дух животных.

И отошла слава Господня от порога Дома и стала над херувимами.

И подняли херувимы крылья свои и поднялись в глазах моих от земли; когда они уходили, то и колеса подле них; и стали у входа в восточные врата Дома Господня, и слава Бога Израилева вверху над ними.

Это были те же животные, которые видел я в подножии Бога Израилева при реке Ховаре. И я узнал, что это — херувимы.

У каждого — по четыре лица, и у каждого — по четыре крыла, и под крыльями их подобие рук человеческих.

А подобие лиц их — то же, какие лица видел я при реке Ховаре, — и вид их, и сами они. *Каждый шел прямо в ту сторону, которая была пред лицом его (Иезекииль, 10).*

Удивительно, до чего в этом непонятном отрывке ясно, однако, выражена ¹⁰ мысль о многоличии человеческого абриса, так сказать, его очерка художественного, который, конечно, повторен и в «херувимах», также «по образу, по подобию», а не без всякого подобия Богу созданных. Мысль, нами развиваемая здесь и вообще затерянная, брезжет из глубины четырех тысячелетий по крайней мере как догадка, как смутное до окончательной непонятности видение. Во всяком случае там, на расстоянии четырех тысячелетий, она не была бы нова и неожиданна, как теперь; не поразила бы, не вызвала недоумения и протестов. Мы должны перенестись в ту незапамятную глубину, когда человек безмолвно и поэтому так глубоко наблюдал; не мог разделить с ближним догадку, запечатлеть ее — ²⁰ может быть, за неимением еще письменности — и более, поэтому, в нее углублялся. За самым недостатком средств выражения, да, пожалуй, и слушателей, которыми можно было бы «выразить» удивительное, волнующее, — в душе человека «павшее зерно» истины растилось с силою, какую мы не можем себе представить; тысячелетие таких безмолвных наблюдений, не разделенных удивлений, — и когда письменность появилась, она сразу же восприняла в себя ту неизреченную мудрость, которою питаемся мы вот уже по прошествии четырех тысяч лет*.

XIII

Мы будем исследовать в своем роде «мистическую колесницу» фигуры человеческой, не выпуская из мысли слов «по образу, по подобию...».

Если ее рассматривать внимательно, долго; годами не выпускать из представ- ³⁰ ляющего воображения, то совершенно бледный абрис лица, «бе как бы туман вод», выступит перед нами не в одной сосредотачивающей на себе мысль точке, но, напротив, во всех контурах фигуры: одно — если ее рассматривать спереди, и другое — если глядеть со стороны спины. Тип фигуры человеческой со стороны спины и груди — совершенно иной, и без всякой очевидно анатомической необходимости, которая мирилась бы с подобием их, повторяемостью, как она мирится, при гораздо меньших физиологических условиях (*левое* положение сердца) с подобием левого бока и правого. Лице спинное *немее* грудного, с этим всякий согласится. Лице заднее — выше поднимается, это знают художники: когда они ⁴⁰ делают — в бронзе, в гипсе — собственно *голову* человека, невольно они присое-

* Всюду здесь мы исследуем натуральную, земную сторону религиозных явлений, потому что лишь гораздо позднее с достаточной убедительностью можем высказаться о метафизической их стороне, небесной; т. е. настоящей и главной.

диняют к ней часть груди (бюст), но никогда в соответствие не присоединяют и равную часть спины; это — другое лицо, прибавлением которого они затемнили бы изображаемое. Лице, т. е. какое мы знаем в себе, подчинило себе часть грудной клетки, вылив на нее часть красоты и мысли своей; но сейчас же позади ключицы уже начинается *новое* что-то, на что это лицо, или затылок, вообще голова, не простирает своего влияния. Мы сказали, оба эти лица не ясны, «бе как бы туман вод». Какая его мысль — кроме разве пластичности? Кроме как мысль связи, перехода? Координации мировых явлений, т. е. собственно явлений истории, которые не текут совершенно изолированными струями (от других лиц), но связываются в живой узор — мы не знаем этого, мы ничего об этом не умеем сказать. «Яко туман вод...». Яко туман — мы возьмем художественную иллюстрацию своей мысли — тех «ликов» ангельских, на картинах особенно испанских и итальянских мастеров, которые только вырисовываясь светлыми *пятнами*, без подробностей лица и его частей, образуют как бы завесу воздуха, в которой движется, среди небес, главная вырисованная фигура Богородицы. Возможность лица-*пятна* — брезжилась великим художникам (Мурильо, Рафаэль); завеса, состоящая из лиц, — она пришла же им на ум, изобразилась. Предчувствие истины, которое сказалось как изобретение.

10 Таким образом, сбоку рассматриваемая фигура человека представляет некоторую перекошенность, избегаая одним *пятном* и лицом кверху, и с другой стороны побеждаемая, заливаемая в *пятне*-лице ясно выраженным и совершенно оформленным, уже не эмбрионом, не зачатком лица, но полным; тем, на которое мы по преимуществу в себе любимся и которого никогда почему-то не закрываем, так что ради странных целей своего существования оно примирилось с стужей, секущим снегом, текущим по нему дождем и всеми стихиями, от которых при всей нежности и особенной чувствительности (все органы чувств на нем) — не убегает, не хоронится. Мы закрываем уже защищенную волосами часть головы, и притом более тупую и грубую (темя, затылок, череп), никогда даже легкою завесой не покрывая голую; даже обнажая (по крайней мере иногда и у некоторых) 30 верхнюю часть груди, которая явно к лицу относится, приняла на себя мысль его.

Лице выражения, выявления: лик, но именно как к извне обращенное. Все — поверхность; оно — все выпукло, сложено из выпуклостей, как бы тянется к миру, открывает человека миру. Органы чувств, его сплетающие — только продолжение этого же тяготения к извне: ухо — слушает далекое, глаз — далекое усматривает, нос обоняет далекое. Все отношения — к дальнему; ни одно — к себе; и как анатомическим строением, так и мыслью своею ни одно не обращено внутрь. Голос — но и он говорит через расстояние. Что все эти функции сложились в лице, т. е. органы их отправления стали лицом — это не имеет для себя никакой анатомической нужды: видеть можно было бы через точку окончания зрительного нерва (как некоторые низшие животные), слышать — через точку слухового нерва (рыбы), и равным образом обонять. Но вот эти концы нервов расширены в глаз, в ухо, в нос; и звук выходит не через трубку, не через трубку мы питаемся, как было бы легко возможно, но имеем полные выразительности губы. Вся мысль лица есть мысль выражения; т. е. в этом — план его; и органы ощущения, поэтому, стали вместе образами выражения. Здесь мы должны остановиться на пустой и ничтожной анатомической подробности, но которая важна тем, что доказывает — хоть и непонятным образом, «не разобранным письменом», но очень точно — мысль, нами раскрываемую. Это — волосы. Лице окаймлено волосами,

выглядывает из-под волос, которые вырастают там именно, где мысль фигуры человеческой подходит к сосредоточению. Замечательно, что взор и уста, которыми обоими мы преимущественно говорим миру, его любим, им восхищаемся, окаймлены также волосами, т. е. собственно в себе самих они уже есть лице, некое малое по своему виду, т. е. не обширное, но будучи в лице лицом — сосредоточенно яркое и прекрасное. И действительно, ничем мы так не любимся в человеке, как улыбкой и как блеском глаз; слезы и смех, т. е. плач и радость души — также отсюда «высказываются». Здесь, в этом особом их значении, имеют объяснение своего выявления брови и ресницы, также усы и борода. Из-под бровей мы смотрим; как и все лице наше смотрит из-под купы нависших над ним, или, точнее, прекрасно его обрамляющих волос; из купы волос несется голос — у того, по крайней мере, слово которого особенно много говорит. Ни в чем так анатомически-точно, быть может, не выражена трогательная и глубокая, но *безгласная* в истории судьба женщины, что уста у нее — не образуют лица, или, точнее, не выделены в общем лице новым и самостоятельным через окаймляющие волоса. Не сосредоточенное лицо, не развитое, эмбрион лица: голос ее будет звучать только как средство необходимого общения, но не для поэзии, мудрости. На востоке от этого, быть может, или, точнее, выражая эту истину природы своей, женщина завешивает нижнюю часть лица, т. е. находит возможным это сделать как бы это было плечо и вообще часть тела, орган, но не лице. Красота женщины — во взоре; и, кажется, в этом наименее обманывающем и одновременно самом глубоким лице выражения она превосходит мужчину содержательностью и глубиной, игрою, блеском. Безмолвное выражение; длящееся; стоящее; оно есть «зеркало души», а не отклик ее текущих и изменяющихся состояний, как обманывающая и лгущая речь, обманывающая нехотя, потому что состояния не покрывают сущности и вообще не совпадают с нею. Точнее — ложь, мешающаяся с истиною, и часто — так, что не может их различить внимающий, и часто не может этого говорящий.

«Лице выражения», «лице выявления...» того, что в человеке собственно человеку принадлежит. Сейчас за этим лицом и лежит выявляемое: мысль человеческая, «разум» дел его, поступков; и, наконец, «λόγος» истории его, насколько ее произвольно и отчетливо слагает человек. Мир наук, философии; мир также искусств, этой мудрости в красках и мудрости в звуках — течет от этого лица. Мир неизмеримо более углубленный и нежный, нежели географических открытий или войн; но где *divina* * еще отсутствует, или если и проявляется, то как-то вопреки уму и всегда вызывая его протесты; «лже-именный разум» — нарекли пустытники Египта и Сирии, установители христианства, может быть и не выражая истины, но выражая долговременное наблюдение свое и свое отношение вообще к этому лицу.

XIV

Читатель, если был внимателен, не упустил заметить, что всякий раз в этом исследовании, подходя к окончательному слову данной нити мыслей, мы, не договаривая его, захватывали новую область в исследование. Так, собственно рас-

* божественное (*лат.*).

смотрение фигуры человека нами начато, когда мы остановились высказать: каково именно содержание узкой и мутной полоски, которая проходит между двумя ясно читаемыми нимбами: около младенца играющего, около двух любящих сердец, шопот которых подслушал Шекспир. Эти отступления — ни из произвола, ни из забывчивости.

Если мы прочтем это стихотворение:

Печальная береза
У моего окна;
И прихоть мороза
Разубрана она

10

и еще:

...в пустыне далекой
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна, на утесе горючем
Прекрасная пальма растет

20

— то мы увидим, что поэты-провидцы потому и написали два эти стихотворения, что они почувствовали — один в серебристой березе, смиренно растущей перед его окном, и другой — в гордой пальме, некоторое лицо. «Смиранный», «гордая»... вот эпитеты, которых мы не приложили бы к бриллиантам редкой красоты и сияния: «регенту», «великому моголу»; почему, однако? Почему и ни одному поэту не пришло на ум отнести стихотворения к драгоценному камню, особенно если принять во внимание, что их, т. е. ценнейших, так немного, пять-шесть? «Великий могол», кажется, был при полировке испорчен, и отданный во вторую полировку потерял $\frac{1}{3}$ веса, величины и цены: но никто не написал элегии. Борнс написал прекрасную элегию к цветку, который задел плугом:

Прекрасный аленький цветок

30

— и нам в эту минуту жаль, что негде справиться и мы не можем привести более одной строчки. Какое странное сочувствие. Отчего никто не срисовал «регента», «санси», «орлова», — хотя это трудная тема для красок и, однако, она преоборима. Но это — не нужно; никто не стал бы смотреть; сам художник утомился бы, срисовывая и вынужденный долго смотреть на предмет бесценный. Какой-то цены, глубоко понимаемой человеком и в тайниках души единственно им признаваемой, — нет у «регента», и есть у полевого цветка. И однако бриллиант оформлен: его грани наклонены с математической точностью, и в сочетании граней этих осуществлены глубочайшие законы оптики... Мы сказали «глубочайшие» — и ошиблись: нужно было сказать: «самые тонкие». Ничего глубокого — в самоцветном камне; невыразимая глубина — в «маргаритке». Самые имена их, данные человеком, трогательны: «анютины глазки», «мать и мачиха», «imptel» *... Это — уже неразвитая элегия, или дифирамб; во всяком случае начало сказки. Невеста, идя к венцу, убрана камнями; но в руках несет она, т. е. держит как что-то более многозначительное — букет цветов: они обособлены, т. е. не составляют только часть ее наряда; она на них более сосредоточена, взяв с собою их, а не на себе; видно, что им — более цены, хотя к завтраму они завянут,

40

* бессмертник (лат.).

тогда как бриллианты будут бережно положены в шкатулку. Минута — но особой значительности; потому что эта минута — жизнь, тогда как камень только существует:

И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, по роду и по подобию ее, и дерево плодovitое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так.

И увидел Бог, что это — хорошо (*Бытие*, 1, ст. 11–12).

И с тех пор люди говорят, что это — «хорошо». По преимуществу хорошо, гораздо лучше драгоценных камней. У семитических племен передней Азии, где чувство религиозного гораздо более насторожено, чем в дождливой и сырой Европе, есть прекрасное правило, почти как догма обычая: что каждый человек в течение жизни непременно должен посадить хоть одно дерево. Он умер — а дерево осталось, и как бы помнит его, не забывает, создателя и хоть косвенно, но своего родителя. Связь растения и человека тут глубоко почувствовалась. Мы смешали уже климаты и заставляем расти растение там, где оно не хочет и почти не может; мы мешаем породы, прививая чуть не к яблоне вишню, или наоборот, т. е. вводим в растительный мир кровосмешение, смешение кровей; все это — nefas, которого мы не чувствуем. Природе больно это, и мы только этого не слышим; природе скверно это — и она только не умеет нам сказать этого. Но мы отвлеклись...

В растениях, т. е. там, где *двинулись соки*, уже есть начало лица, и в Библии, при описании его создания, это лице указано:

Сеющее семя, по образу и подобию... Приносящее плод, в котором семя его на земле...

Вполне удивительно, как вдумчивая наука, не предполагая подтверждать священные тексты, везде в серьезных шагах своих в сущности только раскрывает их смысл. Это — знаменитое учение о цветке; мы несколько оподробим его и отодвинем вдаль объяснение. Несомненно — ствол, двоящийся к вершине, троящийся и вообще ветвящийся, переходит в каждую ветку как, до известной степени, в «образ и подобие» свое. Но вот ветвь ветвится далее, и на оконечности ее выбегает зеленый лист; когда прорастает деревцо, оно прорастает двумя или одним листочком, т. е. *оно само и есть* — на это время — *листок*. Это значит, что в существе своем, не переставая быть собою, оно может быть листом или их парю. Смотри на лист к свету, мы видим тоненькие в нем жилки: и замечательно, оне или сплетаются в сетку, или бегут продольно и почти параллельно, слоаясь, в отношении к одно- или дву-семядолности будущего плода; пожалуй — семени, из которого растение вышло. Мы переходим теперь к объяснению ботаников: они нашли, что цветок не представляет в себе ничего нового на растении, так сказать не есть на нем нарост, *новообразование*; это есть *преобразованный лист*: сперва преобразованный в чашечку, причем цвет листа и след его сложения сохраняется; позднее — в лепестки, уже окрашенные, но еще с оттенками листового строения; и, далее, эти последние свернулись в трубочки тычинок и пестиков. Без нового в себе, цветок многозначителен тем, что он как бы раскрыл дерево: этих красок в нем, этого аромата, этих форм мы не прозревали; и никакой гений не мог бы предугадать их. Листья в растениях еще очень однообразны; они одинаковы или подобны (отступления от зеленого) в цвете, схожи — в форме; но в цветке какое начинается различие, между «веревочкою» березы и распустившейся розою. Олеандр в нежности своих переливов, от пунцового до совершен-

но белого, удивителен: и какая нежность переходов, какая впечатлительность к свету; на солнце — он пунцовый, в тени — окрашивается белым. Ничего подобного, в отзывах на свет — у его листьев. Они глухи; и к свету — они не зрячи, или грубо зрячи. Цветком растение чувствует мир, — по крайней мере сильнее, чем листьями, т. е. чем ветвями, стволом и всем вообще стволом своим. Эмбрион органов ощущения, где органы только не разделены, но слитно внимают миру. Мы его срываем и прикалываем к сюртуку; обоняем; посылаем его любимой девушке; девушка из всех драгоценностей, как некоторую особенную вещь, смеет только его внести в храм.

- 10 Это — начало *лица* в природе; лица выражения и лица тяготения. Мы не можем предположить у цветка обоняния и зрения; итак, его краски, его душистый нектар — не для привлечения оплодотворяющей пыльцы. Весною мы можем наблюдать, в ветренную погоду, как целые тучи цветной «пыли» бурно переносятся с места на место; и по наблюдению натуралистов, оплодотворение некоторых растений не могло бы вовсе происходить без этого содействия ветра. Но если нектар и краски у некоторых цветов явно не для оплодотворения, то мы можем предположить, что и у всех растений они не для этого; т. е. что они относятся к лицу выражения. Замечательно: на земле вовсе не найдено растений с черною окраскою цветка, — хотя отчего бы? Это даже могло бы быть, в сочетании с дру-
- 20 гими красками, красиво; но в сочетании или без сочетаний это одинаково было бы мрачно. И этого нет. «Какой *веселый* вид», — говорим мы, входя в цветущий сад. Вид в белом пуху вишен — несравним:

Истинно, истинно говорю вам: и Соломон в богатстве одежд своих не был прекрасен как оне.

- Это Спаситель сказал о лилиях; и мы перенесем на северную лилию — вишню. Нельзя заплакать в таком саду, — иначе как оставленной девушке, по контрасту со счастьем цветов; злоба — она не придет здесь на ум; мы чувствуем облегчение, и может быть это далекий отсвет, в своем роде «лунное отражение» того же чувства, какое мы испытываем, входя в группу *белоголовых* детей в пар-
- 30 ке и вдруг забывая то злое дело, за которым шли. — В Горном институте, здесь в Петербурге, есть драгоценная коллекция изумрудов-«щеток»; никому, однако, глядя на нее не придет на ум сказать: «Какой *веселый* вид», разве всякий спросит: «На какую это приблизительно цену?». Нет тайного сочувствия. Цветок потому и хочет высказаться, что высказанное им может быть особенно дорого; что человек, жалея сорвать его, приблизит лице — свое лице выражения — и долго будет дышать над его лицом... *выражения* же, конечно.

- Удивительно и не очень замечено, что собственно растения суть бесполое существа; все время, кроме нескольких дней в году — они не имеют в себе никакого полового обозначения; только момент проходит над ними, когда они выявляют
- 40 свой пол, и этим же моментом они пользуются, чтобы и вообще выразить себя: Линней именно устройство *genital'ий*, т. е. временно появляющейся части, не постоянной, отпадающей, принял однако в основу всеобъемлющей своей классификации; и никто после него не пытался основать классификацию на деревянистости или травянистости ствола, форме листьев или листорасположения. Т. е. в точности научная мудрость усмотрела, что содержание растения *раскрывается* в цветке; а мы уже сказали, что поэты потому *обращали* к цветку элегии и дифи-

рамбы, что это раскрывающая часть есть начало *лица*, его эмбрион, к которому возможно отношение лица же. В то же время бесспорно это есть точка и орудия соит'ального сопряжения; и хоть у некоторых растений, а следовательно возможно, что и у всех — некоторого соит'ального тяготения. В нужный момент цветок развязывает свою пыльцу; материнский организм ей не нужен более, — и ветер, подхватывая придатки-крылышки, несет ее туда, где есть (или возможно) нужное, к чему оно прививается и — чуть ли не через своеобразные и удивительные вытягивания и движения проникает довольно глубоко и совершает, что следует. Мы настаиваем на тяготении в отчетливых проявлениях; но его эмбрион — бесспорен, также как и эмбрион выражения.

10

XV

Там, где начинается в природе *одушевление*, лице тяготения отделяется от лица выражения; последнее не всегда сохраняется, но первое перестает быть феноменом и получает постоянство обозначения. Genitalia не как временное явление, но как непрестанно существующие, проводят разграничивающую линию, по одну сторону которой начинается *regnum animalium* *, и по другую остается *regnum plantarum* **.

Замечательно, что в *Библии*, при описании создания животных, повторен глагол «бара» — «сотворил», употребленный в первой строке:

В начале сотворил (*бара*) Бог небо и землю...

20

и который еще в последний раз будет повторен только при описании сотворения души человека. Везде, в других местах этих первых глав, стоят глаголы «аса» — «устроить» или «ецер» — «образовывать», указывающие на меньшую степень участия, или, точнее — на участие не всей полноты Божия существа при этих формах созидания:

И сотворил («бара») Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что это — хорошо.

И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле.

30

И был вечер и было утро день пятый.

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов и гадов, и зверей земных по роду их. И стало так.

И создал («аса») Бог зверей земных по роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что это хорошо (*Бытие*, 1, 21—25).

Мир *одушевления*, как ясно указано везде здесь, в отличие от мира только *оживления*, каким представляется растительное царство. Вечная дремота, летаргия в зимние месяцы, почти пробуждение — в цветке, все это каким-то внешним способом, а не внутренним, показывает душу трав и дерев. Дерево никогда не пугается — вот его поразительная черта; даже когда вы подходите к нему с топо-

40

* царство животных (*лат.*).

** царство растений (*лат.*).

ром. И между тем как оно огромно; как сложно устроено и вообще совершенно, но в каком-то слабом типе бытия. Чувство боли почти несомненно есть в растении: оно есть в увядании цветка, который сорван, в капающем на пальцы ваши соке, который брызнул из оставшейся оборванной шейки; оно передается вам, отчего вы и удерживаетесь повторить забаву. *Mimosa pudica* * ясно чувствует прикосновение. Но во всем своем огромном объеме это есть мир бесстрашия, непонимания — что ему грозит, неумения — что сделать, когда уже угроза исполняется. Мир совершенной покорности; никакой активности:

10 По вечным законам
Круг нашей жизни
Все мы свершаем...

И никакой прибавки к закону; никакого перелива через него. Как будто, в форме этих законов, душа извне налегла на этот мир, извне его устроила и регулирует, собственно в него не проникая, в нем не затерявшись, не оставшись. Лунный мир, мир лунного сияния души на чем-то инородном для нее, что она осветила, но чему она не присуща. Поэтому мы можем *понимать* растение, т. е. своей мысли находить встречную мысль, однако текущую от его внешности, но не изнутри, как испуг, как убежание. Слепорожденный мир, глухорожденный, немой; только слабые следы осязания; глухая боль; радость о солнце, но как радость слепого, которого оно греет, и он не понимает, откуда, как. Мир странного обнажения, где внешнее содержательнее внутреннего, являясь окраскою, ароматом, удивительною сложностью форм взамен простоты как форм, так и движения внутреннего. Дыхание — наружное; снаружи — усвоение и уже переработка, ассимиляция питающих веществ; наружное — размножение. Мир как бы вывернутый, где содержание есть именно наружность, где ценное — наружу; и, как мы сказали — наружу душа; или точнее: где вся возможная мысль выражена, выдвлена как бы через легкие касания извне обвевающей души, которая не захотела и очевидно не могла, не получив условий, обитать внутри.

Замечательно, по сравнению с растениями, чрезвычайное падение животных форм в красоте, благородстве очертаний, даже в величине. Самая незаметная травка уже прекрасна; ничего и нигде — отвратительного; тогда как в этом новом мире, копошась по какому-то иному типу, удивительно долго снаружи все отвратительно. Мы ясно чувствуем именно падение наружного; и, очевидно, оно находится в связи с чем-то внутренним, с каким-то очень общим здесь законом. Животное свернуто все внутрь; его наружные очертания может быть есть далекий отзвук души, но уже никак она не есть продукт ее непосредственного, вот в этой точке, в этих и тех формах, касания. Мир, в котором надолго пропадает всякое *лице выражения*; где голова появляется очень поздно; еще позднее — мозг, нервы. А он уже давно кипит, не ожидая себе головы, не дождавшись мозга, необыкновенным одушевлением, сложными и тонкими инстинктами; борьбою; убежанием, нападением; стрекочет, прыгает; и, захваченный с горстью лесных листьев в руку, не дает вам покоя, то причиняя боль, то вас царапая, шурша и всеми силами то с вами борясь, то вас обманывая, и иногда смешая, — т. е. вызывая чувство гораздо более активное, подвижное, нежели цветок, которому вы отвечаете бледною улыбкой.

* Мимоза стыдливая (*лат.*).

XVI

Явление *затаивания* есть одно из удивительнейших в природе. Уже у папоротника оплодотворяемые и оплодотворяющие споры лежат на нижней части листа, т. е. собственно *под* листом, скрытые его наружною, обращенною к миру стороною. Еще глубже спрятаны эти же споры в семействе грибов, и также *под* «шляпкою» их. Видите это у «явно»-брачных: акт оплодотворения схоронен у них в глубине цветка, он *не виден*; и самые лепестки, так обильно развитые в цветке, мы можем рассматривать как *покров* для окончания тычинок и пестиков, которые чтобы увидеть — нужно заглянуть в цветок, наклониться, рассматривать его. Т. е. как лице тяготения — цветок затаивается, широко неся наружу лице выражения своего: этот распространяющийся аромат, эти издали видные краски, выдавшиеся широкие лепестки. Затаивание, тайна... Откуда бы, даже в цветке? Мы или затаиваемся в грехе и падении, как в особой слабости своей, которую усиливаемся скрыть; затаиваемся тогда на всем протяжении греха и во всем, что прямо или косвенно к нему относится, боясь косвенного или прямого его обнаружения...

Но растение, расцветая, неужели падает? Этот весенний полет «пыльцы» — разве слёзы? Может быть, слезы восторга, но уже никак не скорбь уныния: о нем не говорят краски, ни несущийся от цветов аромат. Мы *со-радуемся* цветам, и неужели это такое недоразумение? Обман чувств, ошибка понимания? Мы понижаем голос до шопота тогда ли только, когда идем на грех? Не тогда ли еще, когда грудь волнуется избытком счастья, напряжением ожидания:

Тс, тс... Ромео, здесь ты?

написал великий провидец; и в самом деле, невозможно представить себе, чтобы Ромео и Юлия — пусть говорили бы они в пустыне, на необитаемом острове — кричали бы диалоги свои, а также и монологи «на всю площадь». Они и там шептали бы их, как шептали в уединенном, безмолвном саду. Преступление, грех, — мы их собственно *выкрадываем* из внимания окружающих; что-то *позорное* и *униженное* есть в оглядывании, с которым мы озираемся, творя дурное, по сторонам. В этом втором затаивании многозначительного, многоценного — все иное:

Я же говорю вам: не становитесь на молитву на углах улиц, перед народом; но войдя в дом свой затвори дверь за собою и помолись тайно. И Бог, видящий тайное — воздаст тебе явно (*Матф.*, 6, ст. 5–6).

Вот второй тип тайны; в смятении, после греха, никому не открытого, входя в церковь, мы ищем уединенного угла и, быстро оглянувшись, не видит ли нас кто, бросаемся на колена и изливаем перед Богом свою скорбь. Но вот мы ошиблись: на нас пристально устремлены два глаза, — и, смущенные, прервав молитву, мы встаем и уходим; или, если и остаемся на месте, то перестаем молиться, не умеем более молиться. «Публичные лекции» уже потому, что они «публичные», никогда не переходят в изложение интимно-глубокого; поэтому к интимно-глубокому народу обычаем их не прививается вовсе, и оне широко распространяются у народов более поверхностных или в более поверхностных классах населения. Поэт не мог бы создать стихотворения в толпе, — разве он был бы так субъективен, что

совершенно не чувствовал бы толпы. Каждый из нас, желая другому сообщить что-нибудь особенно многоценное, отзывает его в сторону; и супруга, после долгой разлуки ожидая возвращающегося мужа, никого не зовет к радостной минуте встречи, желая наедине сказать, а также и наедине услышать ценные слова. Мир тайны — мир многозначительности. Почему это — нам необъяснимо. Но вот величайшая в самом мире Тайна — и она ищет себе покровов:

В первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания.

И поставь в ней ковчег откровения, и *закрой ковчег завесой*

10 И поставь золотой жертвенник для курения перед ковчегом откровения и *повесь завесу у входа в скинию собрания.*

И поставь умывальник между скиниею собрания и между жертвенником и влей в него воды;

и поставь *двор кругом и повесь завесу в воротах двора (Исход, 40, ст. 1–8).*

Это — одяние; даже в словах указания, в названиях указываемого — только одежда, и ничего еще:

Скинию же сделай из десяти покрывал крученого виссона, и из голубой, пурпуровой и червленной шерсти; и херувимов сделай* на них искусною работою;

20 длина каждого покрывала 28 локтей, а ширина каждого покрывала 4 локтя; мера одна всем покрывалам.

Пять покрывал пусть будут соединены одно с другим, и другие пять покрывал одно с другим.

Сделай к ним петли голубого цвета на краю первого покрывала в конце соединяющего обе половины; так сделай и на краю последнего покрывала, соединяющего обе половины (*Исход, 26, ст. 1–4*).

Мы ничего в этих измерениях не поймем, пока не догадаемся, что самая мысль их заключается в том, чтобы указать, что это есть одежда Божества, а не место как территория только для молитвы.

30 И устроят они Мне святилище и буду обитать посреди их

И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое Я дам тебе.

Там я буду открываться тебе (т. е. Моисею, к которому обращена и вся эта речь о скинии) и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду заповедывать через тебя сынам израилевым (*Исход, ст. 8 и 21–22*).

40 Вот идея первого на земле храма истинному Богу, как она была Им Самим открыта, и следовательно, идея вечная. Завеса первая, отделявшая от двора святилище с жертвенником; вторая, отделявшая «святое», с «хлебами предложения» и светильником, и третья, обволакивавшая Святое святых, — что это как не ря-

* Т. е. тканых на ткани.

ды одеяний, не постепенное ухождение внутрь. Замечательно, как обращенность внутрь выражена во всех деталях храма:

И сделай из золота двух херувимов: чеканной работы сделай их на обоих концах крышки (ковчега);

Сделай одного херувима с одного края, и другого херувима с другого края; выдавши-мися из крышки сделайте херувимов на обоих краях ее.

И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, *покрывая крыльями своими крышку, а лицом своим будут друг к другу; к крышке будут лица херувимов.* (Исход, 25, ст. 18–20).

Этот оборот херувимов полу-к-себе (внутри), полу-к-крышке (вниз) удивительно заканчивает мысль храма: ничего — наружу, к первосвященнику, который раз в год входит для каждения в Святое святых; ничего — к народу, несущему горячие свои молитвы; ничего — к природе. Все — к Тайне, между херувимами скрывшейся, и «откуда будут слова всякого откровения».

Впечатление храма как одежды еще усиливается, когда тотчас после описания его покровов, оканчивающегося в 27 главе *Исхода*, начинается в 28-й главе описание священных одежд Аарону и всему его священническому роду:

Сделай и сынам Аароновым хитоны, сделай им поясы, и головные повязки *сделай им для славы и благолепия,*

и облеку в них Аарона, брата твоего, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками Мне.

И сделай им нижнее платье льняное, для прикрытия телесной наготы — от чресл до голеней,

и да будут они на Аароне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания, или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это — устав вечный да будет для него и для потомков его по нему (*Исход, 28, ст. 40–43*).

Здесь и там, в одеждах человека, когда он идет перед Бога, в одеждах Бога, которому Он дает откровение, знаки затаивания обозначены, названы, исчислены, измерены. И не как знаки греха, конечно, но — «для славы и великолепия», как это выражено относительно священнических одежд. Точно прочитать идею храма мы не можем: для нас таинственны его меры, точные, не нарушимые; в видении Иезекиилем таинственного храма мы также имеем одне меры — иной еще одежды; и как здесь, но еще больше, по большей подробности описания, мы почти теряем терпение, пробегая глазами их и также мало их понимая, как при отбивании цифр: «67», «14», «39» и т. д., которые одне слышим, когда согнувшийся мастер вымеряет нашу фигуру, и по этим меркам мы надеваем через несколько дней сделанную нам одежду.

Но, оставляя подробности, мысль храма как «покрова» — «раскрытия» ясна нам. Замечательно, что в самое имя (и след. понятие) «откровения» введена мысль храма в этом особенном значении, как мы его устанавливаем: общение Бога с человеком могло бы быть выражено и другим термином, содержащим понятие факта без оттенения его выявления: «слово», «повеление», «глагол», или еще как-нибудь. Но «откровение»... Это — «разоблачение», «снятие одежд», «покровов», это — «обнажение» Себя, всегда на миг: первосвященник раз только

в году входит в Святая святых для каждения, и — «Бога никто же нигде же видел». — «Буду говорить *над* крышкою» ковчега все мои откровения Израилю; т. е. «открываясь» — буду *сверх* покрова, как бы выходя из-под покрова, обнажаясь.

И мы знаем уже из других, ранее приведенных, примеров, что речь нами за-
таивается, когда мы собираемся сказать особенно значительное или дорогое; за-
таивается поступок, когда он священен, особенно когда он относится к Богу. Мо-
литву внешнюю, по форме, мы можем произнести «на народе», но «горé иметь
10 сердце» — только «затворив за собою дверь». Шепчет Джульетта; прошептал
удивление свое Ньютон, когда мысль о тяготении осенила его при виде упавшего
яблока; не закричал Галилей, но молча вышел из церкви, когда случайно покач-
нувшаяся люстра открыла в медленных и длительных движениях своих законы
маятника, над которыми он мучился. «Бога никто же нигде же видел...», и вся
природа как только шаги ее начинают ступать к Богу, близятся к Нему, теряет от-
четливость и резкость контуров, заволакивается туманом, закутывается в «по-
кровы» и, наконец, перестает вовсе быть видимой, не переставая быть реаль-
ною.

Так от цветка лилии — и до скинии завета.

XVII

10 Мне хочется передать читателю мысль мою теми самыми темпами, как она
входила в меня; по крайней мере — некоторыми из этих темпов. Это было в 88 го-
ду, когда я впервые приехал в Петербург, привезя с собою несколько литера-
турных интересов и не имея никакого личного здесь знакомства. Сцеплением
случайностей, однако, первый же шаг мой здесь был в семью полупоэта, полу-
мыслителя, но полного человека; я хочу сказать — полного в бытии своем. Сем-
ья уже старела в старших своих членах, и совершенно еще зеленела в младших;
полупоэт, как он объяснил, имел время сочинять стихи «только на извозчике»,
т. е. возвращаясь со службы; прекрасная, только что переставшая быть прекрас-
ною, хозяйка дома в такой мере была погружена в заботу «свести концы с конца-
ми» в столовых деньгах своих, что, очевидно за самым недосугом, ей нельзя было
30 схитрить в поступке или слове, притвориться, «сделать вид»; но очевидно было
мне, что — помимо этого какая-то удивительная ясность светила из семьи. Все
было потно здесь, работно; исполнено нужды, но не истощающей; обилием рож-
дения, которое читалось в целом ряде белых головок, высывавшихся за обе-
дом из-за тарелок. Была замужняя дочь, разошедшаяся с мужем и вернувшаяся
к отцу с чудным ребенком-девочкой; и негодующий отец рвался удержать от заму-
жества другую дочь, которая так мало понимала и даже интересовалась судьбой
сестры. В углу кабинета хозяина, на круглой тумбе, стоял чудный по жизненнос-
ти выражения темно-бронзовый бюст его давно умершей матери. «Работа моего
40 брата, за которую он получил премию в Академии художеств». Я этого брата
увидел в канун нового года, еще крепкого и юного почти, когда с выводком
взрослых мужественных же детей он вошел, чтобы встретить «12 часов» у стар-
шего летами и положением брата-поэта. Захваченный обилием, я почти забыл,
зачем приехал, и только 4-го января, накануне выезда в обратный путь, он повез

меня к знаменитому и увенчанному поэту, для бесцельного и, может быть, интересного знакомства, может быть, для нужного знакомства.

Поэт кашлял и был в домашнем пальто; мы прошли залу, где посреди передней стены на белой и, вероятно, мраморной тумбе стоял мраморный же бюст поэта; кабинет был сейчас направо; и множество никогда не виданных мною предметов показало, что он много и внимательно путешествовал. Кашель часто прерывал беседу, и при всех усилиях теперь, но, может быть, и тогда бы, я ничего не могу и, может быть, не мог бы из нее вспомнить; только когда речь случайно зашла о роли христианства в истории, я, занятый чрезвычайно тогда этою темою, что-то заговорил, но полупоэт остановил меня, чтобы я сперва выслушал. Я выслушал, и в это время забыл, что сам хотел сказать. Предмет беседы, вероятно, сменился; вероятно, зашла речь о сочинениях, или, также может быть, о старости; но я услышал и стал внимательно слушать, когда поэт заговорил о смерти... 10

Это, однако, оказалось не действительная смерть, но стихотворение о смерти, которое раньше, чем напечатать, он имел неблагоразумие показать нескольким навязчивым «друзьям». Дурная сторона этого заключалась в том, что они списали текст, между тем как он не был окончательно поправлен. «Все усилия я потом употребил, чтобы собрать эти экземпляры, заменяя их печатными; но кто же может поручиться, что в свою очередь у них не списывали; и не только возможно, но и вероятно, что после вашей смерти разные любители литературной библиографии откроют такие ваши стихи, которые из могилы заставят вас покраснеть...». Он был так стар и хил, что «как бы уже из могилы». Подали чай и при нем хлеб на подносе, и вот мне показалось, что и самый хлеб как-то необыкновенно черств и хил; «как бы из могилы»; и мне показалось, что «из могилы» выглядывают и золотые рамы, с иностранными пейзажами, на стене, перед которою я сидел. 20

Великий саркофаг с шуршащими около него мышами тления; я вспомнил ряд беленьких головок за обеденным столом, которые не хотели и не умели замолчать, как ни убеждали их, и даже чувствительно, что «сперва нужно выслушать». Я спросил себя, т. е. внутри шуршащего мышами саркофага, почему каждая из этих головок не может быть рассматриваема как томик чудных стихотворений, действительно написавшихся, и которые будут прочтены, изучены со временем, и притом действительно, но только не сейчас и не нами, но когда мы уже будем не аллегорически, а в самом деле, тлеть. «В самом деле» и «не в самом деле...». <Зачеркнуто карандашом: *Не без необходимости, по связи с главной мыслью, я упомянул об угасающих, о пробуждающихся менструациях.*> Это — «в самом деле», в самой природе, от самих небес 30

Восторг внезапный ум пленил

т. е. порыв, но какого-то действительного вдохновения, и из которого рождается действительная поэма-младенец, которая наполнит особенностями своего течения, своим тембром, цезурами, рифмою, не говоря уже о содержании, великое множество голов человеческих, и некоторые из них также заставит закружиться, тогда как очень много еще иных только раздосадует. Напротив, неудавшаяся редакция, но уже, к несчастью, писавшаяся, есть в самом деле достойный слез выкидыш, а та редакция, на которую поэт не мог нарадоваться, т. е., как он вероятно чувствовал, исполненная жизни и движения бессмертных, есть в точности 40

правильно рожденный плод; однако с различием, что — «не в самом деле». Жизнь *in verbo* * есть вторая и подражательная, которая лишь несовершенно и условно-нужно воспроизводит то, что расцветает красками и ароматом... из стебля лилии, из этой прекрасной «бабушки», которая «перестала теперь танцевать», потому что у ней «уже есть внучка». Здесь есть равноценность, равнозначительность; есть, собственно, даже одно и то же, но относящееся между собою как свет лунный и солнечный, как «любовь» Сенеки к чувству Ромео и Юлии, и, наконец, как заботы филантропа о бедных относятся к заботе, памятником которых остались эти слова:

- 10 О, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов; но все не захотели...

XVIII

Но аналогия может быть продвинута, т. е. она в самом деле коренится и может быть прослежена — глубже. Мы вспоминаем плоское наблюдение французов: *le mariage est tombeau de l'amour* **, о котором заметили уже, что в нем есть истина. Поэт в тлене забот о списанной, ранее чем она удалась, редакции, мне показался именно бедною *tombeau*, которая осталась пустынно от человека над тремя томиками действительно живых стихотворений:

Восторг внезапный...

- 20 о нем уже нельзя сказать, что он

... ум пленил

как только он вылился в стихах, прозвучал в струнах; плененное освободилось, т. е. душа увяла частично и временно, относительно этого именно «восторга». И точно также шопот Юлии

Тс, тс... Ромео, здесь ты?

переходит в совершенно обыкновенный и громкий, не затаивающийся более в волнении, разговор вечером того дня, об утра которого так хорошо поет Офелия:

Занялась уже денница;
Валентинов день настал;
Под окном стоит девица —
«Спишь ли, милый? или встал?»

- 30

Он услышал, восторженулся,
Быстро двери отворил;
С девою в комнату вернулся,
Но не деву отпустил.

Самая тенденция затаивания, которую мы наблюдаем в природе относительно всего многоценного, есть собственно инстинкт самосохранения всего по крайней мере живого в ней. Дать жизнь значит умереть в той самой доле и относи-

* в словах (*лат.*).

** Брак — могила любви (*фр.*).

тельно того самого, чему и в какой доле дана жизнь. И поэтому самое творение, «бара» — мы повторяем еврейский термин, который безотчетно, но многозначительно привыкли употреблять о поэтах — есть акт, решимости на который должно предшествовать глубокое внутреннее сомнение, и лишь по требованию глубочайшей внутренней необходимости оно может переходить, снова повторим термин Библии, в решение:

«Сотворим...».

Вот символ колыбели и могилы; и снова — от цветка лилии и даже до Скинии. Здесь раскрывается мысль аскетизма, этого странного требования, чтобы человек, посвящающий себя молитве в ее усиленной и исключительной степени — 10

...горé имея сердце

в одном определенном направлении, именно sexual'ного «бара» был совершенно воздержан *. Здесь, как и относительно затаивания в природе, так плоско и грубо понимаемого, есть также поверхностный и грубый, совершенно аналогичный взгляд. Почему — только в этом отношении? Разве обман и клевета, с их длительными, на годы простирающимися последствиями, не тягостнее? Но в них нет «бара» и не оговорено, что священник, долженствующий на завтра служить литургию, в ночь перед этим не должен ни слукавить, ни на кого-либо солгать. Все простится; все может быть искуплено через покаяние; но для «бара»... что может быть сделано тут покаянием? Молитва завтрашнего дня уже умерла, пролившись 20 сегодня, и завтра таинство литургии будет совершено холодно, как и молитва фарисеев, о которой сказано:

Вы же не будьте, как фарисеи, которые любят становиться на торжищах и перекрестках улиц; и умащают лица свои...

Все будет внешне; «по форме»; как наша беседа в тот памятный вечер с поэтом, при молчаливом и очевидно скучавшем полу-поэте, но полном человеке.

Вот тайна черной, монашеской тени, которую с таким удивлением мы видим проходящую около религии, и вовсе не только христианской, но всякой, какая, возникая на земле, имела о себе какое-нибудь сознание; опыт, опять вековой, может быть тысячелетний, и снова — молчаливый, подметил странное соотношение, что именно в этом одном акте как бы умирает душа; не ниспадает, не извращается — это следует помнить, это было бы поправимо покаянием: но она совершенно перестает быть, правда по закону природы человеческой, на несколько часов и много — дней. Как бы становится скелетом души, без ее семяточности в сторону ли устного слова, горячей беседы, подвига на поле битвы (вероятно), великодушного поступка и, наконец — что для религии единственно существенно — для молитвы. Остается скелет поступков, слов, без всякого

* Архиепископ Никанор, в записках своих «Из истории ученого монашества» (*Русское обозрение* за 1896 г.), записал наблюдение, что в римско-католических коллегиях чрезвычайно тщательно наблюдают и всеми средствами оберегают от плотского «бара» воспитанников. Мы знаем, какие тонкие наблюдатели католики; понимаем, что в юношах им нужно возбудить религиозный энтузиазм, и знаем также, как легко в этих интернатах прощается лукавство, обман, и едва ли даже практически не преподается. 40

...горé имеем сердце

— к Богу ли, к человеку ли.

И здесь, опять в этом соотношении, лежит объяснение всемирного юродства:

...Из городов бежал я, нищий
 в пустыне я живу
 Как птицы — даром Божьей пищи.

10

Когда же через шумный град
 Я пробираюсь торопливо,
 То старцы детям говорят
 С улыбкою самолюбивой:

«Смотрите, дети, на него:
 Как он угрюм, и худ, и бледен;
 Смотрите, как он наг и беден
 Как презирают все его».

Риторично, но во внешних по крайней мере чертах, здесь верно отмечено, что «пророк» есть как бы «выбывший» из мира человек, который не умеет *делом* отнестись к миру, к которому мир не найдет, как отнестись делом же, поступком, фактом. Он сказал — и нет его; горы потрясены словом, действительно удивительным: но ему если не принесут «враны» пищу, нужно чтобы принес и подал ее кто-нибудь, какая-нибудь вдовица — как Елисею, или даже нищий, бредущий мимо за подаванием. Вечная и наконец удивительная, наконец странная неустроенность жизни присуща была не только ветхозаветному пророку; она свойственна и мудрецу, от Эпиктета и Сократа до Канта; поэту, как автору приведенного стихотворения и, собственно, всякому, если он истинен, если у него

20

...горé сердце

И все они, весь этот ряд длинный скитальцев и обыкновенно страдальцев, с потерянными отношением к жизни, на упреки ли, жалость ли, на глубокое ли презрение к себе или страстное сожаление мира, который у них учится и ими мается, могли бы в объяснение своей странной жизни ответить только этим ответным стихом «лика», поющего на литургии

30

...имамы ко Господу

«Имамы» — и ничего больше; ничего перед этим, ничего потом. «Имамы» — и умер человек, умер до неспособности ответить, что ему нужно; до неспособности сделать простейшее дело, на которое ему указывают и которое он хотел бы, но не понимает, как исполнить; «зрит» и «не видит». Вот всемирное юродство, и также — всемирный гений. То, без чего жизнь человечества была бы тускла; то, с чем она так мучительна. Вожди, не умеющие прокормить себя; но, к удивлению, они именно и есть истинные вожди, накормляющие, напоющие, сохраняющие даже человечество. Нам хочется и эту мысль закончить, как предыдущую, словом Спасителя:

40

Се, дом ваш оставляется вам пуст...

В применении к явлению, о котором мы говорим и к которому по содержанию эти слова не могут быть отнесены, они в формальной своей части обозначают то

странное запустение человека, «дом ваш пуст», все бытие которого сжалось в каплю жгущего сердца глагола и когда стекла она — скиния без завета более, лилия — с опавшими лепестками, «пророк» — берущий подаяние из рук брата-нищего; пожалуй — поэт как саркофаг над поправленною, наконец, и действительно удачно поправленною, редакцией благоуханного стихотворения.

Как под ногой пастуха гиацинт на горах погибает
Сохнет и блекнет в пыли и ничьих не манит уж взоров...

XIX

Одну из странных особенностей новой цивилизации составляет явление так называемых религиозных «апологий». От времен почти Тертуллиана, т. е. почти от зари христианства, и до наших дней, мы находим в европейской цивилизации не прерывающийся ряд усилий, и частнее — ряд книг, которые имеют своим предметом не разъяснять религию, не прояснять религиозное чувство, не направлять его в надлежащее русло; но — *защищать* самое существо религии, и, частнее, возбуждать, возрождать религиозное чувство. Это — странный цветок, слабой силы роста, который нуждается в бережных заботах о себе, в усиленном солнце, усиленных поливках. Есть какая-то принужденность, что-то подневольное, в религиозном чувстве новых народов, и бесспорно субъективная сторона этой принужденности, т. е. в совести каждого, многозначительнее, чем внешняя, сказавшаяся в великих объективных фактах преследования, костров, тюрьмы, *index*'ax запрещаемых к чтению книг. Цветок вечно готов упасть; и все великие аологии до известной степени напоминают собою искусственное подклеивание посредством *hummi arabici** лепестков, которые не держатся и не сохраняют формы цветка своею собственно с ним связью. Великих мистиков, как Паскаль, как наш Гоголь, которые очевидно для себя не нуждались ни в какой аологии, можно перечесать по пальцам: это — редкие и исключительные люди, сфинксы какого-то умершего мира, затерявшиеся среди нового и которые стоят в нем не разгаданные, возбуждая удивление и даже недоверие к правде бытия своего, к истине своей религиозности. Удивительное зрелище, т. е. этого недоверия, этих аологий, если в него вдуматься. В последних какое множество аргументаций: «доказательство» космологическое, «доказательство» онтологическое, «доказательство» моральное; их подразделения и варианты; «доказывал» Анзельм Кентерберийский; родился Кант и почувствовал, что ему опять нужно «доказывать». Но доказательства действуют только на мысль; и как продукт мысли, они могут быть мыслью же и разрушены, через какой-нибудь новый «ход» ее, через не предугадываемую теперь комбинацию силлогизмов. Совершенно ясно, что в основе этого, т. е. самой нужды доказывать, лежит отсутствие «касания миров иных», как выразился Достоевский**, от чего все религиозные явления стали для $\frac{999\ 999}{1\ 000\ 000}$ собственно явлениями памяти, или — доверия, уважения; «не спорим — может быть»; «на всякий случай и ничего не теряя — присоединяемся и мы». Религия, среди нового мира, вовсе не имеет в себе того глубокого затаива-

* гуммиарабик (лат.).

** «Братья Карамазовы», — «из поучений старца Зосимы» — конец.

ния, при котором тяготение к предмету затаившемуся тем кажется могущественнее, чем он не приступнее, непостижимее; чем менее, в грубом смысле, он касаем. Евреи, в мистическом трепете, ужасались произносить имя «Иегова», заменяя его всегда другими (эпитетами) «Адонай», «Саваоф», «Елогим»; от чего даже тайна звукового произнесения его затерялась в веках, оставшись только как буквенное начертание *; у нас имя Бога и все, к Богу относящееся, — на каждой стране, на всех перекрестках, во всех разговорах; поистине, «произносим имя Господа Бога всеу», и еще: «устаи чтем Его, сердцем же далече от Него отстоим». Бог для нас это — слово; манера разговора, привычка тысячелетий; в общем — великая, всеобъемлющая риторика бытия нашего, в которой апологии — только лучший цвет, без всякого, однако, действительного значения.

Вошел в исторические обзоры рассказ о том, как умирал Вольтер; священник с св. Дарами стоял у его двери, дожидаясь позволения войти; легенда разделяется в утверждении, вошел или нет; но одна версия, именно католическая, утверждает, что вошел, т. е. был допущен; и великий остроумец, перед тем как умереть, причастился, т. е. собственно признал Бога, в этом смысл легенды и источник ее живучести в двух вариантах. Однако несомненно, что Буланже умер без покаяния, застрелившись на какой-то могиле; и печальная весть об этом облетела, смущая многих, Европу. Два человека, замечательный и почти великий, манкировали в своем уважении к религии; и религия, т. е. ее выразители, апологеты и пр., с мучительным стыдом затаивает обиду. Религия существует как *мнение* — это очевидно; и вот отчего отпадение даже одного «мнящего» есть умаление ее, сужение, исчезновение — хоть на чуточку — самого бытия ее. Узор мысли и, точнее, мыслящих о религии умов, где всякая нить, изнашиваясь, выдергиваясь, если не заменяется равною новою — уменьшает, так сказать, тело религии.

Отсюда великие и постоянные поиски человека всякою религиозною толпою; сектою, церковью; законы о крещении, смешанных браках; пропаганда, миссии. Сумма верующих есть объем религии. Отсюда эти скрупулезные усилия к распространению религиозного мнения; каждая в интересах религии написанная книга приветствуется во всей Европе; еще надежда, еще опора — очевидно для безнадежного, ни на что в природе вещей, в природе сердца человеческого не опирающегося. Всякое открытие научное тщательно исследуется с этой стороны; рассматривается как внутренности жертвенного животного жрецами древности, читавшими в расположении их будущее и судьбу. «Ignorabimus» ** Дюбуа-Реймонда оживило все сердца, стало точкою нового счета дней; дарвинизм нанес религии до сих пор болящую и никогда, как многим кажется, не обещающую зажить рану. Явления спиритизма, как они ни смешны ***, мелочны, противорели-

* Без гласных, которые у древних евреев не писались; от этого и затерялся способ произнесения.

40 ** «Не узнаем» (лат.).

*** Я отказался бы от религии даже действительной и истинной в тот день, когда несомненно было бы доказано, что к ней имеют какое-нибудь отношение спиритические явления (в реальности которых не имею причин сомневаться); и предпочел бы остаться вовсе без всякой религии, полным атеистом. Тот Бог, который обнаружился бы для меня в спиритических явлениях, был бы презренен для меня; я был бы врагом ему, не писал бы его с большой буквы, и вовсе никак не писал бы; игнорировал бы его, хотя бы он меня убил. Такого бога «Соньку Золотую ручку» я убил бы.

гиозны по самому характеру своей пустоты и ничтожества, чего-то скользкого, поверхностного, *касающегося* без всякой даже тенденции пройти глубже, в человека, в душу — однако разрабатываются* в видах бесспорного и уже фактического доказательства «потустороннего мира». Если бы возможно было, мы все хотели бы верить некоторым нотариальным способом; и собственно никаким другим мы не умеем верить. Веревочки**, как-то перепутанные и припечатанные, а потом вот с свободными концами, с коих 1) снята фотография, 2) экземпляр коих, за печатями и подписями, хранится в официальном учреждении — вот наша религия, «столп и утверждение», с которого, правда, мы не сумели бы сойти. Мы ищем волшебства, когда думаем, что ищем религии.

10

Но и оставляя в стороне это поверхностное, останавливаясь на серьезном, мы должны признать всеобщим фактом в новом мире, что не человек от Бога, но скорее Бог от человека как-то представляется зависящим:

Трава сельная — прошел день и нет ее

— не она взыскует Бога, лепится к Нему, скорбит о потере Его (в своем ощущении), но, напротив, эту «траву» взыскует Бог, не по состраданию, но по нужде для себя, по необходимости для самого бытия своего. Мы говорим не о внутреннем существе религии, но как она представляется в исторических перспективах, в человеческих усилиях. Нас *манят* к религии, *нудят* к ней — это так очевидно еще от времен Тертуллиана; человечество в какой-то странной красоте, которую оно почувствовало в себе, представляется Обольстительным Иосифом, которого хочет и не может обнять бедная стареющая египтянка. Лев XIII и пастор Штёткер с разных сторон ищут связей с социализмом, чтобы поправиться — один как священник и другой как папа; Шатобриан больше надеялся на церемонии; германский «центр» — на успехи в политике; и, наконец, все разрешалось общей молчаливою уверенностью, что религия есть состояние детского, неразвитого, не обогащенного сведениями ума, и что вражда к знанию, «малолетство Иосифа», есть единственное средство, чтобы он лобызал смуглую чужеземку, которая так очевидно ему не нравится. Религия... в *себе* самой она даже не решается показываться, и ищет внимания, скрываясь под одежды моральных привесок (англиканизм), работы в пользу просвещения (протестантизм); по связи с этим, по нужде для этого, не смея показываться *одна*.

20

30

Неужели так окончательно оставил Господь человека, и не может он, как издыхающая от жажды Агарь, проговорить: «Я видела здесь вслед Видящего меня». Но повторим полнее прекрасный текст:

И нашел ее Ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру.

И сказал ей: Агарь, служанка Сарина! Откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: Я бегу от лица Сары, госпожи моей.

Ангел Господень сказал ей: умножая умножу потомство твое, так что нельзя будет и счесть его от множества.

40

* См. вполне в этом отношении неуважительные книги г. Аксакова.

** Не отвергая этого, мы утверждаем, что это относится к метафизике мира, которая с религиею не имеет ничего общего. Религия начинается не ранее как где начинается *святое*.

И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна и родишь сына; ибо услышал Господь страдание твое.

И нарекла Агарь Господа, Который говорил с ней, сим именем: *Ты Бог видящий меня*. Ибо сказала она: *Точно я видела здесь вслед видящего меня* (*Бытие*, 16, ст. 7–13).

XX

Поэтому и источник этот называется — Беэр-лахай-рой, т. е. Источник Живого, видящего меня (*ib.* Ст. 14).

Мы уже говорили о «худогласных законодательных устах» в противоположность «велеречивому Аарону», у которого нет *своих* слов. Вот связь чего с религиозным, религиозностью, с какою-то странною — и тогда не нуждающеюся ни в каких апологиях — тенденциею к религии не может никто отвергнуть. «Прииди и виждь». Самые порицания религии, самые злые на нее изветы, именно и открывают вход к *действительному*, более не *риторическому*, не *номинальному* присутствию того, что утвердить, хоть риторически, пытаются все апологии. «Он болен» — не называют имени болезни, гнушаясь — «и от этого религиозен»; самое чувство гнусности есть образ безотчетного затаивания, есть продолжение космического затаивания, о коем сказали мы, что им прикрывается все многозначительное. Почему больной раком — не религиозен? Чахоточный, диабетик — не молится усиленно? Но мы оставляем все это; мы не хотим доказывать; мы открываем только: «прииди и виждь», почти не добавляя даже: «размышляй», почти не желая размышлений. Вот «рана», в которую можно наконец «вложить персты». Пусть те, которые благочестиво относятся к предмету, удержат порицания, что мы начинаем с такого «худогласия» в бытии человеческом; ибо это временно, ибо тут уже бесспорное, открывшаяся «рана», через которую мы поведем в глубины, к чистотам, к святостям, которые прорежут всякую слепоту и приведут в ликующее движение парализованные ноги. Итак, мы перечтем вот эти отрывки; несколько отрывков, несколько требующих внимания штрихов:

...Однажды, хозяйка дома нашла его (Гоголя) там в необыкновенном состоянии. Он держал в руке *Чети-Минеи* и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторженные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собой что-то восхитительное. Когда вошедшая А. О. Смирнова заговорила с ним, он как будто изумился, что слышит ее голос, и с каким-то смущением отвечал ей, что читает житие такого-то святого (*Барсуков*, «Жизнь и труды Погодина», XI, 520).

Гоголь в этот день молился в своем приходе, у Симона Столпника, где в то время священствовал Алексей Иванович Соколов, некий претопресвитер храма Христа Спасителя. В тот же день он посетил Аксаковых и они заметили, что Гоголь находится под впечатлением этой службы; мысли его были обращены к тому миру. Он был светел, даже весел, говорил много и все об одном и том же. Он говорил, что надобно посоветовать Хомякову читать самому *Псалтирь* по своей жене [только что в это время скончавшейся], что это для него и для нее будет утешение, и что тогда только имеет смысл чтение *Псалтыря* по умершем, когда читают близкие; говорил о впечатлении смерти на людей, о том, возмож-

но ли человека воспитать так с малых лет, чтобы он понимал значение жизни и смерти, чтобы смерть не поражала как будто нечаянность (*ib.*, 531–532).

Теперь несколько слов человека, особенно важных потому, что человек этот недружелюбно посмотрел на «Переписку с друзьями», и вообще практически смотрел на всю последнюю фазу его жизни:

«Гоголь умер... Я не знаю, любил ли кто-нибудь Гоголя исключительно как человека. Я думаю, нет; да это и невозможно. У Гоголя было два состояния: творчество и отдохновение. Первое давно уже, вероятно вскоре после выхода „Мертвых душ“, перешло в мученичество, может быть сначала благотворное, но потом перешедшее в бесполезную пытку. Как можно было полюбить человека, тело и дух которого отдыхают после пытки? Всякому было очевидно, что Гоголю ни до кого нет никакого дела... Я думаю, женщины любили его больше и особенно те, в которых наименее было художественного чувства, как например Смирнова. Вот до какой степени Гоголь для меня не человек, что я, который в молодости ужасно боялся мертвецов и который не видывал их до смерти собственных детей, я, постоянно до сих пор боявшийся несколько ночей после смерти каждого знакомого человека — не мог произвести в себе этого чувства во всю последнюю ночь! Несколько раз просыпался, думал о Гоголе, воображал его труп, лежащий в гробе со всем страшным для меня окружением; и, не чувствуя никакого страха, вскоре засыпал. Я признаю Гоголя святым, не определяя значения этого слова. Это истинный мученик высокой мысли, мученик нашего времени, и в то же время мученик христианства. Я это предчувствовал и еще в 1844 году, когда он прислал нам подарки *, написав прежде такое письмо, что я ждал уже второго тома „Мертвых Душ“; я писал тогда к обоим этим Петровичам о своем отчаянии. Долго хлопотали надо мною эти умные... прочитав в моем письме, что или художник погиб и выйдет святой отшельник, или Гоголь умрет в сумасшедшем доме. Слава Богу, не сбылось последнее; но зато он ничего не произвел нового и умер... Жалею, что я не в Москве. Меня не расстроили бы все эти церемонии. Напротив, мне было бы весело увидеть все улицы около церкви, покрытые толпами людей. Но едва ли это будет. Десять лет молчания. Шесть лет пропадания из России, слухи об отчаянной болезни и даже смерти, наконец похорон себя в известной книге **, ослабили общее участие. Бедный, бедный Гоголь! Боюсь, что чувство жалости сильно мною овладеет; а притом это еще вопрос: как-то мы будем жить при мысли, что нет Гоголя? Прощайте, друзья мои. Крепко обнимаю и благословляю вас. Отец и друг С. Аксаков». Сбоку приписка: «только одним сыновьям» (т. е. не предназначается для прочтения посторонним). — Барсуков, *ib.*, 541–543.

И, наконец, о его кончине — из письма Жуковского:

«Какое пустое место оставил в этом маленьком мире мой добрый Гоголь!.. Настоящее его призвание было монашество... Его авторство, по особенному свойству его гения, в котором глубокая меланхолия соединялась с резкостью иронии, было в противоречии с его монашеским призванием и ссорила его с самим собою... Гоголь, стоявший четыре дня на коленях, не вставая, не евши и не пивши, окруженный образами и говорящий кротко тем, которые о нем заботились: *Оставьте меня, мне хорошо*, — как это трогательно! Нет, тут я не вижу *суеверия*: это набожность человека, который с покорностью держится уста-

* С. Т. Аксакову, Погодину и Шевыреву — книжки «Подражание Христу» Фомы Кемпейского.

** «Выбранные места из переписки с друзьями».

новлений православной церкви. Что возмутило эту страждущую душу в последние минуты, я не знаю: но он молился, чтобы успокоить себя, как молились многие Святые Отцы нашей церкви; и конечно, ему было в эти минуты хорошо, как он сам говорил; и путь, которым он вышел из жизни, был самый успокоительный и утешительный для души его. *Оставьте меня, мне хорошо.* Так никому нельзя осуждать по себе того, что другому хорошо по его свойству; и эта молитва на коленях, продолжавшаяся четверо суток, есть нечто вселяющее глубокое благоговение: так бы он умер, если б, послушавшись своего естественного призвания, провел жизнь в монашеской келье. Теперь, конечно, душа его нашла все, чего искала» (*ib.*, 546—547).

10 И, наконец, голос почти улицы, тревожный в эти же минуты, недоумевающий:

Гоголь для меня совершенная загадка; видел его * в Москве совершенно здоровым и бодрым, а из прочитанных журнальных статей ** не видел даже, был ли он наконец болен. Попроси Олю, чтобы она позаботилась отыскать и прислать мне статьи Аксакова, Тургенева, Погодина и письмо Жуковского... (письмо А. О. Росетт к сестре, в замужестве А. О. Смирновой. *ib.*, стр. 547).

Так умер человек, первые строчки которого были следующие:

Как *упоителен*, как *роскошен* летний день в Малороссии! Как *томительно-жарки* те часы, когда полдень блещет в тишине и *зное*, и голубой, *неизмеримый океан*, *сладострастным куполом нагнувшийся над землею*, кажется, *заснул*, весь потонувши в *неге*, *обнимая* 20 *и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих!* На нем ни облака; в поле ни *реги*. Все как будто умерло; вверху только, в небесной глубине, *дрожжит* жаворонок, и серебряные тени летят *по воздушным ступеням на влюбленную землю*, да изредка крик чайки, или звонкий голос перепела *** отдается в степи. Лениво и *бездумно*, будто *гуляющие без цели*, стоят подоблачные дубы, и ослепительные *удары* солнечных лучей *зажигают* целые живописные массы листьев, *накидывая* на другие *темную, как ночь, тень*, по которым только при сильном ветре *прыщит золото*. *Изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых сыплются над пестрыми* огородами, *осеяемыми статными* подсолнечниками. Серые скирды сена и золотые снопы хлеба станом располагаются в поле и кочуют по его *неизмеримости*. *Нагнувшиеся* от тяжести плодов широкие ветви черешень, слив, яблонь, груш; 30 *небо, его чистое зеркало — река в зеленых, гордо поднятых* рамах... Как полно *сладострастия* **** и *неги* малороссийское лето. («*Сорбгинская ярмарка*», начало).

* Т. е. вот только что только перед кончиною.

** Т. е. о кончине Гоголя.

*** Если бы отыскать первоначальные рукописи Гоголя, можно предвидеть, что по ним оказалось бы, что все имена как «перепел», «чайка» (кроме, может быть, очень характерного «жаворонка») были вставлены потом, придуманы позднее; и первоначально Гоголю предносилась картина только воздушных токов, только взаимопроницающих звуков, ласкающихся, лобзающихся «под сладострастным куполом»... ну, пусть «океана». Вообще об образах Гоголя можно заметить, что и все они, генетически, развились из центра к периферии, распустились 40 как цветок из мочки; и нисколько не набраны, не собраны из своих подробностей, там и здесь подмеченных (Тургенев).

**** Если бы произвести лексическое исследование, можно бы убедиться, что ранее Гоголя, два раза употребившего это слово в первом, им написанном абзасе, оно вообще не было почти употребительно в нашей литературе; т. е. не было *погуствовано* — оно и его *понятие*. Мы не

Когда появились эти строки, все дивясь, чаруясь, подпадая им, не почувствовали, что это совершенно новый язык в нашей литературе, которым никто не смел бы, не умел бы написать страницы. Как ясно видно из слов «подоблачные дубы», «удары лучей», «зажигают массы листьев», «накидывая темную как ночь тень», «изумруды, топазы, яхонты эфирных насекомых», «снопы хлеба кочуют по неизмеримости поля» — автор их не только не имел в виду малороссийского летнего дня, но и никакого определенного: это — фата-моргана его воображения, но столь блистательно-великолепная, что около живого дня, вот положим 27 июня 1844 года около Глухова, она стоит как равная, ничем ей не уступая и даже, может быть (по крайней мере по нашему мнению) превосходя ее. Все ново в этой фата-моргане, и главное — нов человек, дух его. В подчеркнутых словах мы ясно читаем сладострастие, но какое-то эфирно-тонкое и гораздо глубже пронизывающее, равно как и текущее из какого-то более глубокого источника, нежели чувственность грубых слов, фигур и той грязи, которая так обыкновенна в обыкновенной литературе:

Чтобы тайный яд страницы знойной

Смутил ребенка сон покойный

.....

О, нет...

Такой тяжелою ценою

Я вашей славы не куплю.

10

20

— эти слова Лермонтова, также многозначительные, также требующие к себе внимания, удивительно выражают дух страницы, по-видимому невинно описывающей малороссийский день и в действительности не имеющей к нему никакого отношения*.

помним этого слова у Пушкина, даже в «Египетских ночах»; чрезвычайную употребительность оно получает у Достоевского. «Страдание» и «сладострастие» у него неразделимы и постоянны; т. е. в лексическом составе его языка.

* Скелет или, точнее, эмбрион, первичный очерк этой картины, «томительно-долго» «дрожжавший» в глуби воображения Гоголя, был собственно следующий: «Как упоителен, как роскошен... Как томительно-жарки часы... в тишине и зное... Неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в... объятиях своих. На нем ни...; в... ни речи. Все как будто умерло; ... только в... глубине дрожит... и серебряные тени летят по воздушным ступеням на влюбленную землю, ... изредка крик... или звонкий голос... отдается... Лениво и бездумно, будто... без цели, стоят... ослепительные лучи... зажигают..., накидывая... темную, как ночь, тень, по которой... прыщет золото. Изумруды, топазы, яхонты ... сыплются над пестрыми..., осеняя статными... Располагаются... по неизмеримости. Нагнувшиеся от тяжести ... широкие... Небо... зеркало... Река в... гордо поднятых рамках... Как полно [все] сладострастия и неги...». Позднее, — и, кто знает, может быть, годами позднее — начав «Сорбчинскую Ярмарку», он случайно и без всякой связи с последующим, без всякой для него необходимости, взял этот абстрактно-дивный, космически-чувственный образ, и вставил в него «землю», «небо», «перепела», «дубы», «скирды», «снопы» и пр., что все совершенно не лепится собственно к образу и опадает с него как маленькие восковые фигурки сосен или белых медведей, как бы чья-нибудь капризная рука бросила их на раскаленный песок Ливийской пустыни. — Это, собственно, как и все творчество

40

...голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землей, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих...

как это напоминает древнюю-древнюю песнь, читаемую — это замечательно, это опять требует внимания — в самый радостный день (Пасху) религиознейшим на земле народом:

Да лобзает он меня лобзанием уст своих! Ибо ласки твои лучше вина.

От благовония мастей твоих имя твое, как разлитое муро, поэтому девицы любят тебя.

10 Влеку меня, мы побежим за тобою; — царь ввел меня в чертоги свои, — будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино; достойно любят тебя!

Дщери Иерусалимские! черна я, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы.

Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, — моего собственного виноградника я не стергла.

Скажи мне, ты, которого любит душа моя: где пасешь ты? Где отдыхаешь в полдень? К чему мне быть скиталицею возле стад твоих? (*Песнь песней*, I, ст. 1—6).

20 Нам хочется теперь вставить выпущенные было строки из Лермонтова:

И сердце слабое увлек
В свой необузданный поток...

В неясности образа, здесь и несколько выше, в образе, с которым мы этот сравниваем, и заключено то безмолвие, «ни речи...», то «худогласие» чувства, где «необузданным потоком» увлекая, оно не объясняет, не обосновывает себя; чуждо сознания о себе, и в другом этого сознания не хочет. Самый гиб речи, здесь и там — один; в сущности — один образ. Даже «солнце опалило меня...», «удары солнечных лучей зажигают»... Эта маленькая подробность, в оба отрывка замешавшаяся, сплетает, сливает их...

30 И вот мы в центре глубоких и странных тайн. Гоголь весь сжался после первого же отрывка, нечаянно вырвавшегося и никем в смысле своем незамеченном, — и, как свидетельствуют все, знавшие его, душа его осталась непроницаема * для самых близких людей. Только в языке его созданий, в структуре художества, мы чувствуем, до чего закон его, сказавшийся в первом же отрывке,

Гоголя — платонизм воображения, в поле которого разбросаны реальные словечки («пришли мне что-нибудь, какой-нибудь анекдот, описание костюма — из быта, из нравов»). Он молил извне «словечек», сам неустанно создавая, невольно создавая лишь пустынные и плоские равнины, «жаждущие напоения», «платонизма».

40 * С. Т. Аксаков, в обширных своих «Воспоминаниях» (см. «Сочинения»), не раз говорит, что никто из самых близких людей, долгие годы знавших Гоголя, не имел ключа к разгадке его души; что Гоголь был совершенно и для всех непонятен.

сохранился всегда, сохранился до последних дней *; воспоминания ** свидетельствуют, что и весь он сохранился... Теперь, если в целом мы окинем его фигуру и жизнь, окинем под углом некоторого космического вопроса, мы увидим, что медленно, без перемены в этот день и в этот год, та фата-моргана свежего и светского, легкомысленного и самонадеянного молодого человека, какую он дал нам увидеть первым ударом своей кисти, как-то углубляясь, темнея, проникаясь лиризмом, как-то неуловимо меняя свои краски и поющие в ней звуки, преобразуется в «купол» же, пожалуй, но уже вечного храма Божия, и под ним мы находим уже не того Гоголя, который приехал, в 30-х годах, в Петербург, но — подвижника, чудный гений которого, погаснув для смеха, лился молитвою, неудержимой, пламенной. Если, пылливо сомневаясь, мы стали бы всматриваться так сказать в состав костей его, в нервы, мускулы — мы ответили бы: да, это он же; и самый грех в нем не умер; но, чудно: из него, от этого самого корня бежит неудержимый и подлинный свет, свет удивительной душевной тишины и радости, свет подвига для ближнего, служения ему... Какое-то странное видение Бога; Его ощущение — в изможденных костях, до того боящихся холода, что, кажется, только солнце Италии еще умело согреть их ***...

И вот, этот свет, изнутри исходящий, преодолевает всякое внутреннее сомнение. Мы снова вспоминаем «апологии», так обильно и бесплодно написанные: можно ли представить себе Гоголя, читающего для удостоверения в бытии Божием — «Бог в природе» Ульрици; для оживления веры — красноречивые труды Фаррара; или, для неколебания веры — воздерживающегося от чтения Штрауса. Бог ему *открыт* — это мы ясно чувствуем; он Его ощущает — с твердостью дня, свет которого видит, в лучи которого выставляет холодеющие руки. «Апологии»... — это все — в «том» мире, «лжеименного разума», который доказывает себе и себе не верит, и с которым, собственно, нет даже средств общения у этого иного и нового мира, который ему медленно, десятилетиями открывался. «Совершенно очевидно было, что ему нет никакого и ни до кого дела» (свидетельство С. Т. Аксакова); мост общения, средства соприкосновения душевного были раз-

* Уленька — во 2-й части «Мертвых Душ», тожественная в законе своего создания с Аннунциатой «Рима» и с Акакием Акакиевичем «Шинели» — есть тот же абстрактный «упойтельный, роскошный день Малороссии». Только «имя» взято из русских *Святцев*, как «Аннунциаты» — из католических.

** Особенно Вельегорского (в «Русском Архиве»), из самого последнего времени жизни Гоголя, показывающие, как первичная чувственность стала, наконец, переходить в низменную чувственность фигур и слов.

*** Письмо его, от 15 сентября 1857 г., к А. С. Стурдзе: «... Россия все мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть еще в ней что-то ближе родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной. Но, на беду, пребывание в ней зимою вредоносно для моего здоровья. Не столько я хлопочу и грущу о здоровье, сколько о том, что в это время бываю неспособен к работе. Последняя зима в Москве у меня почти пропала даром... Обыкновенно работается у меня там, где есть не натопленное тепло... без него у меня голова не свежа и не годится к делу. Но верю, что Бог властен сделать все и Его милосердию нет границ: можно и под суровым воздухом Черного моря, в самой Одессе, все еще холодной для меня, найти свежее расположение духа — и тогда, разумеется, я ни за что не выеду за границу. С радостью проведу несколько месяцев с вами» (*Барсуков*, XI, стр. 516—517).

рушены; и все, что он мог, без этих средств, сделать для человека, так страстно (см. «Переписка с друз.»), нежно, так «свято» (свидетельство *того же* С. Т. Аксакова) им любимого — это опубликовать документы своей частной жизни («Выбранные места etc.»), показать так сказать реликвии, среди которых он молится, вериги, которые он носит (авторская исповедь и завещание), несколько раньше — переслать по почте томики «О подражании Христу». Слова, слова... но тайна услышанной им, где-то в недрах существа своего, апологии — он ее не раскрыл, бесспорно — дивясь, чудясь, смущаясь*.

XXI

10 Те — до известной степени — мистические сосцы, от которых напояет великий человек народы, и народы, чуя под ними духовное молоко, ищут их, припадают к ним, в противоположность Пушкину мы находим у Гоголя. Удивительно, несмотря на необозримое богатство и красоту Пушкина перед Гоголем, ни потомство, ни современники не припадали к нему, всегда и любовались им только как художником; Пушкин заканчивает, но ничего не начинает; он весь обращен к прошлому, и ни одним утренним лучем — к будущему; это — вечер литературного (пожалуй — и вообще жизненного) движения, от Петра и до него; осень, прекраснейшая чем лето, полная душистых плодов, хлеба, осыпающихся зерен, но без весеннего цвета, без плодотворной несущейся по ветру пыльцы и тайн за-
20 вязи и рождения, которые из нее следуют.

...Еще надеясь жить, готовясь умереть
Безмолвен он сидел, и с ним в плаще широком
Под черным куколом с Распятием в руках
Согбенный старостью беседовал монах.
Старик доказывал страдальцу молодому,
Что смерть и бытие равны одно другому,
Что здесь и там одна бессмертная душа,
И что подлунный мир не стоит ни гроша.
С ним бледный Клавдио печально соглашался,
30 А в сердце милою Джульетой занимался.
Отшельница вошла: мир вам! Etc. (*Анджело*).

Это — душистая груша-«бессемянка», соком которой упивается наш рот, но когда вкусовое ощущение прошло, нам остается только надписать: «съедена такого-то числа»**; тут — мы перечитываем стихотворение еще раз — именно нет

* Не от этого ли, т. е. от какой-то недосказанности, и притом о главном, колорит все-таки притворства, фальши, лицемерия, который лежит на всех его последующих трудах и не без причины всеми (и С. Т. Аксаковым) был почувствован: как ни правдивы, и точно преднамеренно сгущены, ограничены, прерваны молчанием эти его слова, где, конечно, он «горé имел сердце...».

40 ** Гоголь есть до известной степени феномен всемирной истории: изумительно, до чего мы можем у него отыскать формулы всякого отрицания, относящегося к тому миру, который для него умер.

«купола, сладострастно согнувшегося над землей и сжимающего прекрасную в воздушных объятиях своих», после чего земля, конечно, понесет плод:

Плетнев в общем не любил Гоголя. Он говорил о нем: «Талант Гоголя удивителен, но его заносчивость, самонадеянность и, так сказать, самопоклонение бросают неприятную тень на его характер». Однако *Переписка*, эта «высочайшая книга нравственности», по выражению Плетнева, заставила его безусловно преклониться перед Гоголем. — «Начнем-ка, пишет он Як. Гроту, мы с тобой литературу новую, живую, насущно-необходимую, истинную, по образу и подобию той, что я усматриваю в письмах Гоголя. Это не искусство, а ощущения. Помнишь того шведа, что любил сочинять письма? То был умный сочинитель, а Гоголь — трепетный жилец, вопиющий не о законах изящества, а о том, что благо, душеспасительно и неизбежно, да вопиющий не оратором, а как велел Христос поучать земнородных. Да, я чувствую, что с этой книги в Европе станут вести летоисчисление появления в мире русской литературы. До сих пор мы бродили около жизни, а он в нее врзался («Переписка Як. К. Грота», СПб. 96 г.).

Вот «земля, понесшая плод в нее вложенный» и совершенно противоположный тому, какова ее собственная природа; пожалуй — «груша-бессемянка», в которую через длинный яйцевод опущено зернышко ей непонятной и чуждой жизни каким-то насекомым, после чего в себе она гибнет, а к концу лета из нее вылетает крылатое существо... Замечательны слова «земнородный», «по образу и подобию»: это после

А в сердце милою Джульетой занимался

есть, конечно, «vita puova» * в оплодотворенной женщине, которая не помнит ни дня, ни ночи, с которых она «понесла» и стала говорить новым, ей самой непонятным, языком.

Узко-уродливый Гоголь, Гоголь как художник, не сумевший нарисовать ни одной женской фигуры и, что хуже и примечательнее, нарисовавший такие искаженно-передернутые образы как «Уленька» (пожалуй и «Аннунциата») и, кажется, в лучших и ясных своих созданиях не сказавший человеку ничего кроме горького издевательства, имеет около сосца своего тысячи тех самых ртов, которыми он так, по-видимому, пренебрег; и обильно льющееся, какое-то неиссякающее молоко мы все и желая и не желая пьем; отраву или нектар — равно пьем. Его «Переписка с друзьями», говорят — «безумие»; но почему же о всем Пушкине так не спорят, как об этом «безумии»? Что есть в ней — но, очевидно, есть, даже для отвергающих — интересного и многозначительного? Во всяком случае, в противоположность подсыхающему** Пушкину, это — мутно-мощная весна, с семенами, несущимися в грязи бурных потоков, с оплодотворяющей пыльюцею

* «новая жизнь» (ит.).

** С этим связана его *гистота*, то изумительное целомудрие мысли и фантазии, несмотря на игривость «Руслана и Людмилы», «Графа Нулина» etc. Чистота бедности, мы скажем, т. е. имея в виду грязь весны. Игра с семинаристом «прекрасной Солохи» («Ночь перед Рождеством») в ужимках своих, конечно, многозначительнее, и потребовала более грязного воображения, нежели напр. страдания Черномора около Людмилы, которые, в своем роде —

А в сердце милою Джульетой занимался,

как и все однородное у Пушкина.

в воздухе; и, как мы окончательно формулируем свою мысль — сосец «юродивого», который вечно в странствованиях, не умеет прокормить себя, вечно помещается у кого-то, и «на время», то «в антресолях» Погодинского дома, то в «Абрамцево» у Аксаковых и, в сущности, всегда маясь не на свои деньги:

Завет Предвечного храня
Мне тварь послушна там земная
И звезды слушают меня
Лучами радостно играя

10 Не это ли Гоголь, которому «как очевидно было для всех — ни до кого не было
никакого дела».

И вот — в пустыне я живу
Как птицы — даром Божьей пищи.

Относительно же научения, опять какое сходство:

В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока

и о периоде «Переписки с друзьями» —

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья

20 И тоже внешняя судьба именно в этот период «любви», «Уленьки» и «Костанджогло»:

— ближние мои
Бросали бешено камня.

Фигура русского литератора вся входит, не оставляя пустот, не оставаясь какою-либо частью своею и вне, в художественный образ, который, однако, начертан был с предносившегося мысли ветхозаветного пророка: и, что для нас особенно значительно, был начертан ранее, чем выявился и прошел свой жизненный путь Гоголь.

XXII

30 «Божий человек», «юродивый», «себя прокормить не умеет, а людей поит» и как не зрячее облако над пустынею вело Израиль — ведет народ свой к каким-то нужным точкам впереди, и все за ним следуют, хотя и знают хорошо, что оно «видит» менее, чем каждый из «следующих»... Зрение не по земным способам, не земных точек и, собственно, каким-то неземным взглядом. Мы его, обертываясь, находим еще у двух — Толстого, Достоевского.

26 января он был, по-видимому, совершенно здоров и не хотел посоветоваться с докторами на счет кровотечения. В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом. Тотчас привезли всегдашнего доктора Федора Михайловича, Якова Богдановича фон-Бретцеля. Уже при нем, часа через 1 1/2 после первого кровотечения, произошло вто-

рое, более сильное, причем большой потерял сознание. Когда он пришел в себя, то тотчас пожелал исповедаться и причаститься. До прихода священника, он простился с женой и детьми и благословил их. После причащения почувствовал себя гораздо лучше.

Весь день 27 января кровотечение не повторялось и Федор Михайлович чувствовал себя сравнительно хорошо. Очень заботился он о том, чтобы «Дневник Писателя» вышел непременно 31 января. Просил Анну Григорьевну прочесть принесенные корректуры и поправить их. Потом просил читать ему газеты.

28 января до 12 часов все шло благополучно, но затем опять полила кровь и Федор Михайлович очень ослабел.

В это время к нему заехал А. Н. Майков и провел у него все предобеденное время, наблюдая и ухаживая за ним вместе с домашними. Разговоров не было, потому что больному было строго запрещено говорить.

Около двух часов ему было, по-видимому, лучше. Часу в пятом А. Н. Майков уехал домой обедать.

Во всю свою жизнь в решительные минуты Федор Михайлович имел обыкновение, по словам Анны Григорьевны, раскрывать наудачу то самое Евангелие, которое было с ним в каторге, и стать верхние строки открывшейся страницы. Так поступил он и тут и дал прочесть жене. Это было: Матф. гл. III, ст. II: «Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от тебя и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удержи-
вай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». Когда Анна Григорьевна прочла это, Федор Михайлович сказал: «Ты слышишь — „не удерживай“, — значит, я умру», и закрыл книгу. Предчувствие вскоре оправдалось. За два часа до кончины, Федор Михайлович просил, чтобы Евангелие было передано его сыну, Феде (Биограф. и письма, изд. 82 г., I, стр. 323—324).

Не правда ли, это смерть, которою не сумел бы, и, может быть, не захотел бы умереть Тургенев, Гончаров, Писемский. Совершенно не этою, совершенно иной смертью, хоть полной героизма и великодушия, но земного, но только человеческого, умирал прекрасный Пушкин *. Луч с неба, как мы его отвергнем здесь, в совершенном и исключительном колорите этой кончины, и, да позволено будет выразиться — в музыке этой кончины, в тайной, не слышимой и не зримой, мелодии...

«А Евангелие передайте Феде»; «ты слышала: не удерживай — значит я умру». Материнство какое-то; какое-то «касание миров иных» сплелось в этих двух его последних полупрощальных ли с землею, полуобращенных ли к небу, фразах. Кстати, — о «мирах иных»:

Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное и сокровенное ощущение связи нашей с миром иным, горним и высшим; да и корни мыслей наших и чувств не здесь, а в иных мирах. Вот почему сущности вещей на земле постичь нельзя. Бог взял семена ** из миров иных и посеял на сей земле и взростил сад *** Свой, и взросло

* Господствующий колорит в смерти Пушкина, наиболее остающийся в памяти, это — работа, чтобы жена не услышала его стонов и не забеспокоилась.

** В самых способах сравнения в образах сравнивания и параллелизма — какое материнство.

*** Т. е. опять представление о земле, об истории, человечестве вовсе не в форме сухих хлопот, но скорее «травы, сеющей семя свое по роду ее» (Бытие, 2).

все, что могло взойти, но взрощенное живет и живо лишь чувством сопрокосновения своего таинственным миром иным. Если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взрощенное в тебе; тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее («Бр. Карамаз.», изд. 82 г., стр. 357).

Едва потеряв жену, он женится вторично, сейчас почти, без промедления; это какой-то израильтянин в нашей литературе, который как Иов мог бы повторить о себе, если бы, кажется, был также поражен проказой:

Дыхание мое опротивело жене моей и я вынужден умолять ее ради детей чрева моего (20, ст. 17).

- 10 В его кончине, которая по спокойствию * своему неизмеримо выше кончины Гоголя, есть опять чисто израильская безбоязненность смерти: «Бог дал, Бог взял — да будет благословенно имя Господне» (Иов, I, ст. 21). И какая радость несения жизни: «живучь как кошка»; но мы приведем полнее:

О, друг мой, я охотно бы пошел в каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять спокойным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, т. е. из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно! Работа из нужды, из-за детей задавила и съела меня.

- И все-таки для начала мне нужно теперь 3 тысячи. Бьюсь по всем углам, чтоб их достать, — иначе погибну! Чувствую, что только случай может спасти меня. Из всего запаса 20 моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние, и вдобавок — один, прежних и прежнего, сорокалетнего нет уже при мне. А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть (письмо к А. Е. Врангелю, см. «Биогр. и письма», отд. I, стр. 282).

Не правда ли, это какой-то жидок из Вильны, который перебиваясь с хлеба на воду и обсеменяя жену, кричит: «есмь и буду». Общее эта неиссякаемая жажда бытия, и опять бесспорно по внутреннему самоощущению, вылилась в знаменитом восклицании Митеньки Карамазова, т. е. вложенная ему в уста:

В корче мучусь — но есмь, в тысяче мук — но есмь

- 30 — далекий, едва через туман тысячелетий распознаваемый отзвук дивного и непостижимого в простоте своей, а также, без сомнения, и в своей глубине самоопределения Божия:

Аз есмь Сый...

которое, конечно, должно отразиться сходным же самоощущением и в том, кто «по образу, по подобию» **. Творчество Достоевского, опять как не похоже оно на осторожные создания Гончарова, Тургенева:

* Гоголь почти не принимал пищи в течение 1½—2 недель перед смертью, и хотя, конечно, дико и неверно сказать, что «уморил себя», но в жажде отойти к Богу допустил вмешаться преднамерению и рассуждению.

- 40 ** Сюда примыкают и этою аналогией разъясняются, *оправдываются* все соображения Ив. Карамазова о том, что «нужно жизнь полюбить раньше, чем смысл ее... «это непременно»; о «клейких листочках»; о «чисто карамазовской безудержности бытия», и пр. Вообще «Кара-

Вот утроба моя, как вино неоткрытое: она готова прорваться подобно новым мехам; поговорю — и будет легче мне, открою уста мои — и отвечу (Иов, 32, ст. 19–20)

— эти слова Елиуя, приготовляющегося возражать трем друзьям страдальца, удивительно выражают собственно всего Достоевского.

Я полон речами, и дух во мне теснит меня.

На лице человека смотреть не буду и ни какому человеку льстить не стану (*ib.*, ст. 18 и 21).

Все родовое, родственное, родовитое сильно и как-то цепко в нем: без всякой личной необходимости он принимает на себя огромный долг брата, чтобы только не легло на его память сомнительное пятно; заботится, и горячо, внимательно, о пасынке; и, бежав за границу от долга, живет здесь уединенно с женою, и, вместо того, чтобы искать здесь литературных знакомств, делит время между рулеткою, обещающею разом снять с него многогодовую петлю долга, и колясочкою первого родившегося у него ребенка — девочки; потеряв его что-то на 11 месяце жизни, через несколько лет поменяет маршрут заграничного путешествия, чтобы заехать в Женеву, и посетить там могилку его. В «Дневнике писателя», мешаясь в текущие судебные процессы, он вступается или за женщин, или за истязуемых детей. Начало детское, начало женственное, и, в последнем анализе, то, что мы выше назвали соит'альным чувством к миру, выражено в нем бурно и страстно:

Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше. Не то что Петербургскому его научить, сам весь Петербург научит. Двенадцать человек детей, подумайте («Бр. Кар.», II, 468, изд. 82 г.).

Это — совершенно новая квалификация человека, новое мерило его мудрости и глубины суждения (о купце с медалью, в составе присяжных, которые будут судить Карамазова).

Отсутствие женских фигур есть глубоко родственная черта у Достоевского с Гоголем; женщины у него мелькают среди огромной толпы богато разработанных мужских фигур; и, замечательно, среди продолжительных монологов этих последних или исполненных многозначительности диалогов, оне или молчаливы, или бессмысленны и во всяком случае краткословны:

Злы мы, мать, с тобой! Обе злы! Где уж нам простить, тебе да мне? Вот спаси его (*Митю*) и всю жизнь на тебя молиться буду («Бр. Кар.», II, 482).

Так говорит «Грушенька», эта финикийка, перебегающая между молитвою, терзанием и всегда несущая у себя на хребте самца — типичнейшее из созданий Достоевского, вдруг вырезавшееся среди бледно-зеленых ундин нашей литературы, как Лиза Калитина, и все бесчисленные «Катерины», «Веры», «Елены» Тургенева и Гончарова:

Смугла я, солнце опалило меня... Виноградника своего я не устерегла.

Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние свое.

мазовы» если, с одной стороны, представляют некоторую причину нашей расшатанной действительности, то, при другой точке зрения на них и, может быть, более истинной, они представляют выражение глубочайших мистических идей Достоевского о бытии, о корне бытия и жизни на земле.

Мировый пучек — возлюбленный мой у меня, у груди моих пребывает (*Песнь песней*, I, 5, 8, 11, 12).

Все, ранее им созданные женские образы, не имеют ничего индивидуально разнородного с этим, и суть только его эмбрионы; даже походка, темп речи — у всех один: Дуни («Преступл. и наказ.»), Настасьи Филипповны и Аглаи («Идиот»), Лизы («Бесы»), Нелли («Униж. и оскорбл.»):

В комнату внезапно, хоть и совсем тихо, вошла Грушенька; никто ее не ожидал (*ib.*, II, 482).

10 Она вся полна затаивания, и вместе — порывистости, отчего поступки ее сплетают узор неожиданного:

Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него.

Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с перстов моих мирра капала на ручки замка.

Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало... Я искала его и не находила; звала, и он не отзывался мне (*Песн. песн.*, V, 4—6).

20 Она вся в легенде о «луковке спасения», которую рассказывает Алеше; олицетворение сладострастия*, как высшей настороженности sexual'ного внимания к миру, как тяготения обнявшего и покорившего ее всю, без свободы для спокойного поступка, для обдуманного решения:

Неистовая я, Алеша, яростная. Сорву я мой наряд, изувечу я себя, мою красоту, обожгу себе лицо и разрежу ножом, пойду просить милостыни (*ib.*, II, 40).

Это, даже по внешности жестов, какая-то сидонянка, что-то из финикийского Тира, о котором, несколько расходясь с привычными для нас понятиями, сказал некогда подлинный человек Божий:

И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий! Плачь о царе Тирском и скажи ему: так говорит Господь Бог: ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты.

Ты был помазанным херувимом, чтоб осенять, и Я поставил тебя на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней...

30 Ты находился в Едеме, в саду Божиим; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего (*Иезекииль*, 28, ст. 13—14).

Конечно, это могло быть отнесено только к духу этих, к духу аналогичных, подобных слов:

Не знаю я, не ведаю, ничего не ведаю, что он мне такое сказал, сердцу сказалося, сердце он мне перевернул... Пожалел он меня первый, единственный... Зачем ты, херувим, не приходил прежде... Я всю жизнь такого, как ты, ждала; знала, что кто-то такой придет и меня простит. Верно, что и меня кто-то полюбит, гадкую, не за один только срам (*ib.*, II, 40).

40 * Без всякой похотливости, конечно, которая есть след sexual'ной слабости (Федор Павлович; «мы все Федоры Павловичи» — «Записная книжка» Д-ского), и в свою очередь она ведет за собою холодность темперамента, остывшую кровь.

Отчего и в *Песни песней* сплетаются два эти определения:

Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя, возлюбленная моя (I, 8).

И —

единственная — она, голубица моя, чистая моя; единственная она у матери своей, отличенная у родительницы своей (VI, 9).

И еще, пожалуй, как дополнение, как объяснение этих определений:

Половинки гранатового яблока — ланиты твои под кудрями твоими (VI, 7).

Гранатовое яблоко, вследствие необычайного обилия в нем зерен, было символом в древнем Востоке рождения, плодоношения; стих хочет сказать, что даже и то, что никакого отношения, казалось бы, к рождению не может иметь, у «единственной», «отличенной» у «матери» как бы насыщено рождением, или, как уже чудно было сказано:

С рук моих капала мирра, с пальцев моих мирра капала...

Или, как в неприведенном еще стихе:

Сосцы у меня как башни: буду в глазах его как достигшая полноты (*Песнь песней*, VII, 10).

Заметим, что «Грушенька» есть первая и единственная женская фигура, которая хочет (потому что роман не кончен и даже, собственно, он только начат) играть какую-то роль, которая не подает только немые реплики мужским фигурам, но, оставаясь затаенною, немою, — входит в толпу их как мощное я, как властительный темперамент, который соотносится со всеми Карамазовыми и, собственно, соотносится с «карамазовщиною», есть необходимое ее дополнение, без коего она «не достигла бы полноты». Тайнственное, мистическое движение, которое проходит по роману и мы его ясно чувствуем, в сущности есть соит'альные сопряжения этих двух, определенно мужского и определенно женского, начал; и идея Карамазов в точности обнимает полноту жизни, чем и объясняется эпиграф, взятый к ним, и который, чуть-чуть перефразировав в форме, мы могли бы прочесть так: «Истинно, истинно говорю вам: пшеничное зерно, если бы оно не пало в землю и не умерло, осталось бы одно; а павши и умерев — приносит многой плод».

Травку выманила к свету,
В солнце хаос развила
И в пространствах, звездочету
Неподвластных, разлила.

Вот идея Карамазовых, в этом гимне Церере, который читает Митя, и который сольется с «гимном из-под земли» Богу (II, 293), о котором он же уже заговаривает, его идею постигая.

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью землею
Он вступил в союз навек.

Это — то же, что и в эпитафии; та мысль и почти те же слова.

Душу Божьего творенья
 Радость вечная почти
 Тайной силою броженья
 Кубок жизни пламенит.

 У груди благой природы
 Все что дышет — радость пьет;
 Все созданья, все народы
 За собой она влечет;
 Нам друзей дала в несчастьи
 Гроздий сок, венки Харит,
 Насекомым — сладострастье...
 Ангел — Богу предстоит.

10

См. Карамазовы, I, стр. 122—123. Достоевский, в замыслах этого романа, в самом деле хотел сорвать покров с тайны жизни, успев только поднять руку; может быть, случайно-загадочно-роковая смерть постигла его, прервав эту именно работу, потому что, прильнув лицом к таинственному покрову, он все-таки не окончательно рассмотрел черты скрытого под ним. «Не убо прииде час...».

20

XXIII

Первая же значительная, им выведенная, мужская фигура как бы раздвояется в лице своем: это близнецы Раскольников и Свидригайлов. Вполне замечательно, что и все его последующие фигуры, насколько они не были бытовою рисовкою, а идейным выражением художника, представляют развитие этого двулицего образа, но с различною судьбою: лицо, выраженное в Раскольникове, это лицо мысли, теоретизма — суживается, беднеет, сохнет; роль его переходит к Петрам Верховенским («Бесы»), по существу тем же занятым, чем был и он занят; и, наконец, в «Братьях Карамазовых» оно смарщивается в вечно рассуждающую фигуру Смердякова, с его «контроверзами»:

30

Свет создал Господь Бог в первый день, а солнце, луну и звезды — на четвертый: откуда же свет-то сиял в первый день? (I, 141)

Вот в какую карикатуру могучий и действительно несколько злобный гений сжал некогда любимый свой образ. В подробностях этой фигуры мы собственно наблюдаем все черты Раскольникова, но только подвергнувшиеся какому-то обратному развитию, дегенерации:

40

Надменен был и, как будто, всех презирал... Рос мальчиком диким и смотря на свет из угла... Все так же был нелюдим и ни в чьем обществе не ощущал ни малейшей надобности... Женский пол так же презирал, как и мужской, держал себя с ним степенно, почти недоступно... Иногда в доме же, или хоть на двери, на улице, случалось, останавливался, задумывался и стоял так по десятку даже минут; физиономист, взглядевшись в него, сказал бы, что тут нет ни думы, ни мысли нет, а так какое-то созерцание. Есть одна картина, у Крамского, под названием *Созерцатель*: изображен лес зимою, и в лесу, на дороге, в обо-

рванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинешенек, в глубочайшем уединении забредший мужиченко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то «созерцает». Если его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чем это он стоял и думал, то наверно бы ничего не припомнил, но зато наверно бы затаил в себе то впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги и он на-верное их копит, неприметно и даже не сознавая — для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может быть, накопив впечатлений за многие годы, бросит все и уйдет в Иерусалим, скитаться и спасаться, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то и другое вместе. Вот одним из таких созерцателей был и Смердяков... («Бр. Кар.», I, 141—144), — 10

это — Раскольников, в его мотивах развития, с его характером, вопросами, но только состарившийся до эмбриона. «Из банной мокроты зародился», характеризует Григорий своего приемыша; и чуть-чуть ведь если не из «мокроты», и, уж конечно, не «банной», а из чудной морской пены, то однако по этому же закону и все-таки не из семени женского зародился и Раскольников, с его также «контроверзами», очень напеминающими в существе дела дилемму о том, был ли и мог ли быть очень грешен в отречении от Христа и крещения тот русский солдат, у которого этого требовали захватившие его в плен азиаты под угрозой содрать с живого кожу («Бр. Кар.», I, 145—150). — Напротив, второе лицо, «худогласное», той же фигуры, Свидригайлов не только не исчезает, не сходит на тень, но ширится, раздвигается; речи его, почти как речи женщин Достоевского, короткие и афористические в «Преступлении и наказании», распутны, увиваются обилием, и в «Братьях Карамазовых», в знаменитой «Легенде о Великом Инквизиторе», мы в сущности слушаем вовсе не целомудренного, не познавшего женщины Раскольникова, но раскрывшегося во всю глубину свою, во всех своих зияниях, тогда еще чуть-чуть брезживших (т. е. в «Прест. и наказ.»), Свидригайлова: 20

Из всех трех братцев вы именно на папашу больше всего приходите. Красоту женскую очень любите; деньги тоже любите, чтобы комфорт и покой...

— говорит перед смертью Смердяков Ивану Карамазову; или, как полнее он себя определяет: 30

Не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, — а я все-таки захочу жить и уже как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю (I, 258).

Конечно — это Свидригайлов, как Смердяков, конечно, есть Раскольников; самое понятие «карамазовщины», могуче введенное Достоевским в литературу нашу есть в сущности понятие «свидригайловщины», членораздельно о себе говорившее:

Впрочем, к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью всего, и отойду... не знаю куда. 40

Мы припоминаем, при первом же свидании с «Родей», приведшее последнего в трепет рассеянно-задумчивое замечание Свидригайлова о «том свете», что «там наверно пауки, и ничего больше...».

Но до тридцати моих лет, знаю это твердо, все победит моя молодость, — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту иступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, т. е. опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки — моралисты называют часто подлюю, особенно поэты. Черта-то она отчасти Карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе (*Алеше Кар.*) она тоже непременно сидит, но почему же она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтить его сердцем. Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят. Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни, о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними, — в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более. И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми слезами моими. Собственным умилением упыюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что. Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь первые свои молодые силы любишь... Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? Засмеялся вдруг Иван.

— Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить, — прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, воскликнул Алеша. — Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?

— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда я только и смысл пойму. Вот что мне уже давно мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине и ты спасен.

— Уж ты и спасаешь, да я и не погибал, может быть! А в чем она вторая твоя половина?

— В том, что надо воскресить твоих мертвецов, которые, может быть, никогда и не умирали. Ну, давай чаю. Я рад, что мы говорим, Иван.

— Ты, я вижу, в каком-то вдохновении. Ужасно я люблю такие *professions de foi* * вот от таких... послушников. Твердый ты человек, Алексей. Правда, что ты из монастыря хочешь выйти?

— Правда. Мой старец меня в мир посылает.

— Увидимся еще, стало быть, в миру-то, встретимся до тридцати-то лет, когда я от кубка-то начну отрываться. Отец вот не хочет отрываться от своего кубка до семидесяти лет, до восьмидесяти даже мечтает, сам говорил, у него это слишком серьезно, хоть он и шут. Стал на сладострастии своем и тоже будто на камне... хотя после тридцати-то лет, правда, и не на чем, пожалуй, стать, кроме как на этом... Но до семидесяти подло, лучше до тридцати (I, 258—260).

* символ веры (*фр.*).

Так говорит эта Тирская Ашера в современных нам панталонах; «живуч как кошка» — припоминаем мы; «в корчах мучусь, но емь»; «и не будут тебе бозии ниии разве Мене». Но как Тебе имя, Господи, если о нем у меня спросят

Аз емь Сый...

Припоминаем зерна Цереры:

Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит

и «половинки гранатного яблока» *Песни песней* — помним и их. «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно падши в землю не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

10

XXIV

— Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, Карамазовцы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет, например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой. Я знал одного разбойника в остроге: ему случалось в свою карьеру, избивая целые семейства в домах, в которые забирался по ночам для грабежа, зарезать заодно несколько детей. Но, сидя в остроге, он их до странности любил. Из окна острога он только и делал, что смотрел на играющих на тюремном дворе детей. Одного маленького мальчика он приучил приходить к нему под окно, и тот очень сдружился с ним... Ты не знаешь, для чего это я все говорю, Алеша? У меня как-то голова болит и мне грустно.

20

— Ты говоришь с странным видом, с беспокойством, — ответил Алексей: точно ты в каком безумии... («Бр. Кар.», I, 264).

Этот эпизодическую вставку в «Легенду об Инквизиторе» всего удобнее начать ряд странных полупризнаний, полунаблюдений Достоевского. «Характер тоски», испытываемой им по временам, состоял, по собственным его словам, в том, что он чувствовал себя каким-то преступником; ему казалось, что над ним тяготеет неведомая вина, великое злодейство», записал Н. Н. Страхов («Биография и письма», отд. I, стр. 214).

«Знаете ли, что когда-то я из каприза даже был метафизиком и филантропом и враждался чуть ли не в таких же идеях, как вы?» — читаем мы, уже узнавая распущенно-твердый тон Свидригайлова, хотя говорит его эмбрион. «Это впрочем, было ужасно давно, в златые дни моей юности. Помню, я еще тогда приехал к себе в деревню с гуманными целями и, разумеется, скучал на чем свет стоит; и вы поверите, что тогда случилось со мною? От скуки я начал знакомиться с хорошенькими девочками... Да уж вы не гримасничаете ли? О, молодой мой друг? Да ведь мы теперь в дружеской сходке. Когда ж и покутить, когда ж и распахнуться! Я ведь русская натура, неподдельная русская натура, патриот, люблю распахнуться, да и к тому же надо ловить минуту и насладиться жизнью. Умрем и — что там! * Ну, так вот-с и волочился. Помню, еще у одной пастушки был муж,

30

* «Отйду (через 30 лет)... не знаю куда»; замечательно, как эта гримаса Свидригайлова по ту сторону гроба, повторяется в его предварительных очерках и последующих развитиях.

40

красивый молодой мужичек. Я его больно наказал и в солдаты хотел отдать (прошлые проказы, мой поэт!), да и не отдал в солдаты... Умер он у меня в больнице... У меня ведь в селе больница была, на двенадцать кроватей, — великолепно устроенная; чистота, полы паркетные. Я, впрочем, ее давно уж уничтожил, а тогда гордился: филантропом был; ну, а мужика чуть не засек за жену... Ну, что вы опять гримасу соорили? Вам отвратительно слушать? Возмущает ваши благородные чувства? Ну, ну, успокойтесь! Все это прошло. Это я сделал, когда романтизировал, хотел быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать... в такую тогда колею попал. Тогда и сек. Теперь не высеку; теперь надо гримасничать; теперь дурак Ихменев. Я уверен, что он знал весь этот пассаж с мужичком... и что-ж? Он из доброты своей души, созданной, кажется, из патоки, и оттого что влюбился тогда в меня и сам же захвалил меня самому себе, — решился ничему не верить и не поверил; т. е. факту не поверил и 12 лет стоял за меня горой до тех пор, пока до самого не коснулось. Ха, ха, ха! Ну, да это все вздор! Выпьем, мой юный друг. Послушайте же, любите вы женщин?

Я ничего не отвечал. Я только слушал его. Он уже начал вторую бутылку.

— А я люблю о них говорить за ужином. Познакомил бы я вас после ужина с одною M-lle Philiberte, — а? как вы думаете? Да что с вами? Вы и смотреть на меня не хотите... гм!

Он было задумался. Но вдруг поднял голову, как-то значительно взглянул на меня и продолжал.

— Вот что, мой поэт, хочу я вам открыть одну тайну природы, которая, кажется, вам совсем неизвестна. Я уверен, что вы называете меня в эту минуту грешником, может быть, даже подлецом, чудовищем разврата и порока. Но вот что я вам скажу! Если б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтоб каждый * из нас описал всю свою подноготную, но так, чтобы не побоялся изложить не только то, что он боится сказать и ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать лучшим своим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас признаться самому себе **, то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо задохнуться ***. Вот почему, говоря в скобках, так хороши наши светские условия и — приличия. В них глубокая мысль — не скажу нравственная, но просто предохранительная, комфортная, что, разумеется, еще лучше, потому что нравственность в сущности тот же комфорт, т. е. изобретена единственно для комфорта. Но о приличиях после, я теперь сбиваюсь, напомните мне о них потом. Заключу же так: вы меня обвиняете в пороке, разврате, безнравственности, а я, может быть, только тем и виноват теперь, что откровеннее других, и больше ничего; что не утаиваю того, что другие скрывают даже от самих себя, как сказал я прежде... Это я скверно делаю, но я теперь так хочу...

* «Все, все Федоры Павловичи» (Карамазовы), собственноручное записание Достоевского в Записной книжке, *посмертно* изданной. Параллельные места мы будем указывать, дабы читатель не остановился на мысли, что это Достоевский только рисует быт, что он объективно, а не субъективно, как мы утверждаем, правдив здесь.

** «В эти минуты (перед расстреляньем) некоторые из нас, я знаю положительно (т. е. только по себе это можно знать), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, — может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих, из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести», и т. д. («Биограф. и письма», I, 120).

*** В «Дневнике писателя» (где-то) есть выражение: «Лицемерие есть дань, которую порок отдает добродетели».

...Да, мой поэт, если еще есть на свете что-нибудь хорошенькое и сладенькое, так это женщины...

— Знаете ли, князь, я все-таки не понимаю, почему вам вздумалось выбрать именно меня конфидентом ваших тайн и любовных... стремлений.

— Гм... да ведь я вам сказал, что узнаете после. Не беспокойтесь; а впрочем, хоть бы и так, без всяких проблем; вы поэт, вы меня поймете, да я уж и говорил вам об этом. Есть особое сладострастие в этом внезапном взрыве маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг высказывается перед другим в таком виде, что даже не удостаивает и постыдиться перед ним. Я вам расскажу анекдот: был в Париже один сумасшедший чиновник; его потом посадили в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Ну, так когда он сходил с ума, то вот что выдумал для своего удовольствия: он раздевался у себя дома, совершенно, как Адам, оставлял на себе одну обувь, накидывал на себя широкий плащ до пят, закутывался в него, и с важной величественной миной выходил на улицу. Ну, сбоку посмотришь, — человек как и все, прогуливается себе в широком плаще для своего удовольствия. Но лишь только случалось ему встретить какого-нибудь прохожего, где-нибудь наедине, так чтобы кругом никого не было, он молча шел на него, с самым серьезным и глубокомысленным видом, вдруг останавливался перед ним, разворачивал свой плащ и показывал себя... во всем чистосердечии *. Это продолжалось одну минуту, потом он завертывался опять и молча, не пошевелив ни одним мускулом лица, проходил мимо остолбеневшего от изумления зрителя, важно, плавно, как тень в Гамлете. Так он поступал со всеми, с мужчинами, женщинами и детьми, и в этом состояло все его удовольствие. Вот часть-то этого самого удовольствия и можно находить, внезапно огоршив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидал этого...

— Ну, так то был сумасшедший, а вы...

— Себе на уме?

— Да.

Князь захохотал...

— Вы отбили меня от предмета. *Bouvons, mon ami* **, позвольте мне налить. А я только то было хотел рассказать одно прелестнейшее и чрезвычайно любопытное приключение. Расскажу его вам в общих чертах. Был я знаком когда-то с одной барыней: была она не первой молодости, а так лет двадцати семи — восьми; красавица первостепенная: что за буют, что за осанка, что за походка! Она глядела пронзительно, как орлица, но всегда сурово и строго; держала себя величаво и недоступно. Она слыла холодной, как крещенская зима, и запугивала всех своею недосыгаемою, своею грозною добродетелью. Именно грозною. Не было во всем ее круге такого нетерпимого судьи, как она. Она карала не только порок, но даже малейшую слабость, в других женщинах, и карала безвозвратно, без апелляции. В своем кругу она имела огромное значение. Самые гордые и самые страшные по своей добродетели старухи почитали ее, даже заискивали в ней. Она смотрела на всех бесстрастно-жестoko, как абесса средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляда и суждения. Одно ее замечание, один намек ее уже могли погубить репутацию, — уж так она себя поставила в обществе, — боялись ее даже мужчины. Наконец она бросилась в какой-то созерцательный мистицизм, впрочем тоже спокойный и величавый... И что же? Не было развратницы развратнее этой женщины, и я имел счас-

* Это — болезнь, известная в медицине под именем «флагеллоитства». Интересна, однако, почва, на которой она возникает. Ибо даже на завтра разрушающееся здание строится на каком-нибудь все-таки «песце»?

** Выпейте, мой друг (*фр.*).

тье заслужить вполне ее доверенность. Одним словом я был ее тайным и таинственным любовником. Сношения были устроены до того ловко, до того мастерски, что даже никто из ее домашних не мог иметь ни малейшего понятия; только одна ее прехорошенькая камеристка, француженка, была посвящена во все ее тайны, но на эту камеристку можно было вполне положиться; она тоже брала участие в деле, — каким образом, я это теперь опущу. Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де-Сад мог бы у ней научиться. Но самое сильное, самое пронзительное и потрясающее в этом наслаждении, — была его таинственность и наглость обмана *. Эта насмешка над всем, что графиня проповедывала в обществе как о высоком, недоступном и несокрушимом, и наконец этот

10 внутренний, дьявольский хохот и сознательное попираание всего, чего нельзя попираť — и все это без пределов, доведенное до самой последней степени, до такой степени, о которой самое горячее воображение не смело бы и помыслить, — вот в этом-то, главное, и заключалась самая яркая черта этого наслаждения. Да, это был сам дьявол во плоти, но он был непобедимо очарователен **. Я и теперь не могу припомнить о ней без восторга. В пылу самых горячих наслаждений, она вдруг хохотала, как иступленная, и я понимал, вполне понимал этот хохот, и сам хохотал. Я еще и теперь задыхаюсь, при одном воспоминании, хотя тому уже много лет. Через год она переменяла меня. Если б я и хотел, я бы не мог повредить ей. Ну, кто бы мог мне поверить? Каков характер? Что скажете, молодой мой друг?

20 — Фу, какая низость, отвечал я, с отвращением выслушав это признание.

— Вы бы не были молодым моим другом, если бы отвечали иначе. Я так и знал, что вы это скажете. Ха, ха, ха! Подождите, топ ами, поживете и поймете, а теперь вам еще нужно пряничка. Нет, вы не поэт после этого: эта женщина понимала жизнь и умела ею воспользоваться.

— Да зачем же доходить до такого зверства?

— До какого зверства?

— До которого дошла эта женщина и вы с нею.

— А, вы называете это зверством, — признак, что вы еще на помочах и на веревочке.

Конечно, я признаю, что самостоятельность может явиться и совершенно в противоположном, но... будем говорить попроще... ведь согласитесь, что все это вздор?

30

— Что же не вздор?

— Не вздор — это личность, это я сам ***. Все для меня и весь мир для меня создан. Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться. Говорят, так и сделал какой-то дурак. Он зафилософствовался до того, что разрушил все, все, даже законность всех нормальных и естественных обязанностей человеческих и дошел до того, что ничего у него не осталось; остался в итоге нуль, вот он и провозгласил, что в жизни самое лучшее синильная кислота ****. Вы скажете: это Гамлет, это грозное отчаяние, одним словом что-нибудь такое величавое, что нам и не приснится никогда.

40 Но вы поэт, а я простой человек, и потому скажу, что надо смотреть на дело с самой простой, практической точки зрения. Я, например, уже давно освободил себя от всех пут

* Из строк этих, очень слабых, видно, что пока здесь, во всем приводимом отрывке, полунаблюдение, полуразмышление. Нельзя, в самом деле, предположить форму извращения ради наслаждения посмеяться, без Ding an und fur sich <вещь в себе и для себя (нем.)>.

** Все это — очень слабое место.

*** Отсюда начинается «самоутверждение» Карамазовское.

**** Писано в 61 г. замечательное предварение учения Гартмана.

и даже обязанностей. Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи; у вас ноги спутаны и вкус больной. Вы толкуете по идеалу, по добродетелям. Но, мой друг, я ведь сам готов признавать все, что прикажете; но что же мне делать, если я наверно знаю, что в основании всех человеческих добродетелей лежит глубочайший эгоизм. И чем добродетельнее дело, тем больше тут эгоизма. Люби самого себя — вот правило, которое я признаю. ...Идеалов я не имею и не хочу иметь; тоски по ним никогда не чувствовал. В свете можно так весело, так мило прожить и без идеалов... и en somme *, я очень рад, что могу обойтись без синильной кислоты. Ведь будь я именно *добродетельнее* (курс. Д-го), я бы, может быть, без нее не обошелся, как тот дурак философ (без сомнения немец). Нет, в жизни так много еще хорошего. Я люблю значение, чин, отель; огромную ставку в карты (ужасно люблю карты!). Но главное, главное — женщины... и женщины во всех видах **; я даже люблю потаенный, темный разврат, постраннее и оригинальнее, даже немножко с грязнотой для разнообразия... Ха, ха, ха! Смотрю я на ваше лицо: с каким презрением вы смотрите на меня теперь!

— Вы правы, отвечал я.

— Ну, положим, что и вы правы, но ведь во всяком случае лучше грязнотца, чем синильная кислота. Не правда ли?

— Нет, уж синильная кислота лучше.

— Я нарочно спросил: «Не правда ли?», чтобы насладиться вашим ответом: я его знал заранее. Нет, мой друг, если вы истинный человеколюбец, то пожелайте всем умным людям такого же вкуса, как у меня, даже и с грязнотой, иначе ведь умному человеку скоро нечего будет делать на свете и останутся одни только дураки. То-то им счастье будет! Да ведь и теперь есть пословица: дуракам счастье, и знаете ли, нет ничего приятнее, как жить с дураками и поддакивать им: выгодно. Вы не смотрите на меня, что я дорожу предрассудками, держусь известных условий, добиваюсь значения; ведь я вижу, что живу в обществе пустом: но в нем покамест тепло, и я ему поддакиваю, показываю, что за него горой, а при случае я первый же его и оставляю. Я ведь все ваши новые идеи знаю, хотя и никогда не страдал от них, да и не от чего. Угрызений совести у меня не было ни о чем. Я на все согласен, было бы мне хорошо, и нас таких легион, и нам действительно хорошо. Все на свете может погибнуть, одни мы никогда не погибнем. Мы существуем с тех пор, как мир существует. Весь мир может куда-нибудь провалиться, но мы всплывем наверх. Кстати, посмотрите хоть уж на одно то, как живучи такие люди, как мы. Ведь мы примерно, феноменально живучи ***; поражало вас это когда-нибудь? Значит, сама природа нам

* в общем (*фр.*).

** Бр. Карамазовы: «Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молочко течет, не вылупились! По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, чорт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь, — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало: уж одно то, что она женщина, уж это одно половина всего... да где вам это понять! Даже вельфильки и в тех иногда отыщешь такое, что только диву даешься на прочих дураков, как это ей состариться дали и до сих пор не заметили! Босоножку и мовешку надо сперва наперво удивить...» etc. I, 155.

*** См. выше — Ив. Карамазов об отце; но тоже и вообще можно повторить о «карамазовщине»: «в корчах мучусь, но есмь».

покровительствует, хе, хе, хе! Я хочу непременно жить до девяноста лет *. Я смерть не люблю — боюсь ее. Ведь черт знает еще, как придется умереть! Но к чему говорить об этом! Это меня отравившийся философ раззадорил. К черту философию. *Bouvons, mon cher!* Ведь мы начали было говорить о хорошеньких девушках. Куда это вы? («Униженные и оскорбленные», стр. 244, изд. 82 в «Сочинениях»).

10 Вот еще неясный, «бе яко туман вод», лепет о предмете, который позднее поглотит столько внимания Достоевского. Тон недоумения разлит по всему монологу, где мы очень мало слышим *субъекта* автора, и только — любопытствующий его взгляд. Отношение к предмету вполне и только отрицательное. Строки этих рассуждений, однако, вкрадываются позднее в монологи Свидригайлова, лица, к которому отношение автора уже совершенно иное, чем к князю Вальковскому «Униженных и Оскорбленных», и, наконец, в диалоги всех почти Карамазовых. Достаточно вспомнить «неутолимую жажду жизни», «нас охраняет какой-то закон природы», «до 90 лет», и, наконец, «созерцательный мистицизм» странной женщины, в который уже по крайней мере впала она не для злорадства над обществом, как несколько по-детски объяснил он весь факт ее поведения, чтобы понять, что мы имеем в приведенных страницах еще не очерк, но указание на явление, на котором потом почilo столько дум его.

20 Фигура Свидригайлова так известна, самый роман — так любим, что мы не будем на ней останавливаться. Только разве несколько строк. В монологе князя Вальковского чувственность выражена в самой ее общей форме, без указания на какой-нибудь частный ее вид; напротив, начиная с «Преступления и наказания» мы постоянно будем встречать почти одну только ее форму, и ее имея в виду мы взяли слова Ивана Карамазова, вставленные эпизодически в «Легенду об Инквизиторе»:

...жестокые люди, страстные, плотоядные, карамазовцы иногда очень любят детей... Ты не знаешь, зачем я это говорю?.. У меня голова болит и мне грустно.

30 В «Преступлении и наказании» замешана фигурка Полечки, девочки лет девяти, сестры Сони Мармеладовой, и целомудренный Раскольников как-то пристально на нее глядит, слишком принимает ее в мысленное свое внимание:

...Это была Поленька; она бежала за ним (выходившим из квартиры Мармеладовых) и звала его: «Послушайте! Послушайте!».

Он обернулся к ней. Та сбежала последнюю лестницу и остановилась вплоть перед ним, ступенькой выше его. Тусклый свет проходил со двора. Раскольников разглядел худенькое, но милое личико девочки, улыбавшееся ему и весело, по-детски, на него смотревшее. Она прибежала с поручением, которое видимо ей самой очень нравилось.

— Послушайте, как вас зовут?.. а еще: где вы живете? Спросила она торопливо, задышающимся голосом.

40 Он положил ей обе руки на плечи и с каким-то счастьем глядел на нее. Ему так приятно было на нее смотреть, — он сам не знал почему.

— А кто вас прислал?

— А меня прислала сестрица Соня, отвечала девочка, еще веселее улыбаясь.

— Я так и знал, что вас прислала сестрица Соня.

* Фед. Павлов. «до восьмидесяти».

— Меня и мамаша тоже прислала. Когда сестрица Соня стала посылать, мамаша тоже подошла и сказала: «Поскорей беги, Поленька!».

— Любите вы сестрицу Соню?

— Я ее больше всех люблю! — с какою-то особенною твердостью проговорила Поленька, и улыбка ее стала вдруг серьезнее.

— А меня любить будете?

Вместо ответа он увидел приближающееся к нему лгиико девогки и пухленькие губки, наивно протянувшиеся поцеловать его. Вдруг тоненькие, как спигки, руки ее обхватили его крепко-крепко, голова склонилась к его плегу, и девогка тихо заплакала, прижимаясь лицом к нему все крепче и крепче.

10

— Папочку жалко! проговорила она через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками слезы; — все такие теперь несчастья пошли, прибавила она неожиданно, с тем особенным солидным видом, который усиленно принимают дети, когда захотят говорить вдруг как «большие».

— А папаша вас любил?

— Он Лидочку больше всех нас любил, продолжала она очень серьезно и не улыбаясь, уже совершенно как говорят большие, — потому любил, что она маленькая и оттого еще, что больная, и ей всегда гостинцу носил, а нас он читать учил, а меня грамматике и Закону Божию, прибавила она с достоинством, — а мамочка ничего не говорила, а только мы знали, что она это любит, и папочка знал, а мамочка меня хочет по-французски учить, потому что мне уже пора получить образование.

20

— А молиться вы умеете?

— О, как же, умеем! Давно уже; я, как уж большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух; сперва «Богородицу» прочитают, а потом еще одну молитву: «Боже, прости и благослови сестрицу Соню», а потом еще: «Боже, прости и благослови нашего другого папашу», потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об том тоже молимся.

— Полечка, меня зовут Родион; помолись когда-нибудь и обо мне: «и раба Родиона» — больше ничего.

— Всю мою будущую жизнь буду о вас молиться... etc., изд. 84 г., стр. 172—173.

30

Эти строки как бы просятся на страницы Священного Писания: до того это чудно, до того высоко, до того трогательно и, наконец, прямо свято. По крайней мере списывая, т. е. в каждую букву и медленно вникая, почти невозможно удерживать слез: конечно — это «касание мирам иным», без коего «жизнь свою возненавидишь»; «Бог насадил в землю семена свои»... Но мы *исследуем*; и вот alter ego * Раскольникова, имеющий с ним «какую-то общую точку касания» умирает с странным сновидением,

Он ходил (т. е. это ему видится) по всему длинному и узкому коридору, не находя никого, и хотел уже громко крикнуть, как вдруг в темном углу, между старым шкафом и дверью, разглядел какой-то странный предмет, что-то будто бы живое. Он нагнулся со свечой и увидел ребенка — девочку лет пяти не более, в измокшем, как поломойная тряпка, платьишке, дрожавшую и плакавшую. Она как будто и не испугалась Свидригайлова, но смотрела на него с тупым удивлением своими большими черными глазенками и изредка всхлипывала, как дети, которые долго плакали, но уже перестали и даже утешились, а между тем, нет-нет, и вдруг опять всхлипнут. Личико девочки было бледное и изнуренное;

40

* второе я (лат.).

она окостенела от холода, но — «как же она попала сюда? Значит, она здесь спряталась и не спала всю ночь». Он стал ее расспрашивать. Девочка вдруг оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своем детском языке. Тут было что-то про «мамасю» и что «мамася прибьет», про какую-то чашку, которую «лязбила» (разбила). Девочка говорила не умолкая; кое-как можно было угадать из всех этих рассказов, что это нелюбимый ребенок, которого мать, какая-нибудь вечно пьяная кухарка, вероятно из здешней же гостиницы, заколотила и запугала; что девочка разбила мамашину чашку и что до того испугалась, что сбежала еще с вечера; долго, вероятно, скрывалась где-нибудь на дворе, под дождем, наконец пробралась сюда, спряталась за шкафом и просидела здесь в углу всю ночь, плача, дрожа от сырости, от темноты и от страха, что ее теперь больно за все это прибьют. Он взял ее на руки, пошел к себе в номер, посадил на кровать и стал раздевать. Дырявые башмаченки ее, на босу ногу, были так мокры, как будто всю ночь пролежали в луже. Раздев, он положил ее на постель, накрыл и закутал совсем в головой в одеяло. Она тотчас заснула. Кончив все, он опять угрюмо задумался.

«Вот еще вздумал связаться!» решил он вдруг с тяжелым и злобным ощущением. — «Какой вздор!». В досаде взял он свечу, чтоб идти и отыскивать во что бы то ни стало оборванца (хозяина гостиницы) и поскорее уйти отсюда. «Эх, девченка!» подумал он с проклятием, уже растворяя дверь, но вернулся, еще раз посмотреть на девочку, спит ли она и как она спит? Он осторожно приподнял одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом, и краска уже разлилась по ее бледным щекам». Но странно: эта краска обозначалась как бы ярже и сильнее, чем мог быть обыкновенный детский румянец. «Это лихорадочный румянец», подумал Свидригайлов, это — точно румянец от вина, точно как будто ей дали выпить целый стакан. *Алые губки тожно горят, пышут, но что это?* Ему вдруг показалось, что длинные черные ресницы ее как будто вздрагивают и мигают, как бы приподнимаются, и из-под них выглядывает лукавый, острый, какой-то не детски-подмигивающий глазок, тожно девогка не спит, и притворяется. Да, так и есть: ее губки раздвигаются в улыбку, кончики губок вздрагивают, как бы еще сдерживаясь. Но вот уже она совсем перестала сдерживаться, это уже смех, явный смех; это-то нахальное, вызывающее светится в этом совсем не детском лице; это разврат, это лицо камелии, нахальное лицо продажной камелии из французенок. Вот, уже совсем не таясь, открываются оба глаза: они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, они зовут его, смеются... Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное было в этом смехе, в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. «Как! Пятилетняя! — прошептал в настоящем ужасе Свидригайлов, — это... что ж это такое?» Но вот уже она совсем поворачивается к нему всем пылающим лигигом, простирает руки... «А, проклятая!» — вскричал в ужасе Свидригайлов, заноса над ней руку... Но в ту же минуту проснулся («Прест. и наказ.», изд. 84 г., стр. 466—467).

Сны — часто ответы на наши желания, на те «тайные и глубокие желания, в которых мы не смеем сознаться не только другу или брату, но и себе самим», как кстати вспомнил Достоевский (см. выше) и о минуте своей на эшафоте, перед расстрелианием; и это собственно Свидригайлов протягивает руки к девочке, и ему брезжилось, что она ответно протягивает к нему свои, «с бесстыдно раскрасневшимися щеками...». Он не мог вынести, и проснувшись — пошел и убил себя. В одном месте он говорит, почему не любит отлучаться из России:

За границу я прежде ездил, и всегда мне тошно бывало. Не то чтобы, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь — и как-то грустно. Всего противнее, что

ведь действительно о чем-то грустишь! Нет, на родине лучше: тут, по крайней мере, во всем других винишь, а себя оправдываешь... (*ib.*, стр. 261).

Вот «точка общения», роднящая его уже не с Раскольниковым, но с Достоевским; один раз, в художественном сновидении, он бросил украдкой взгляд на Полечку, в котором мы видим угол внимания, с которого и Свидригайлов посмотрел «на пятилетнюю». Дело было у Сони:

Раскольников встал и начал ходить по комнате. Прошло с минуту. Соня стояла, опустив руки и голову, в страшной тоске.

— А копить нельзя? На черный день откладывать? — спросил он, вдруг останавливаясь перед ней. 10

— Нет, — прошептала Соня.

— Разумеется нет! А пробовали? — прибавил он чуть не с насмешкой.

— Пробовала.

— И сорвалось! Ну, да разумеется! Что и спрашивать!

И опять он пошел по комнате.

— Не каждый день получаете-то?

Соня больше прежнего смутилась, и краска ударила ей опять в лицо.

— Нет, — прошептала она с мучительным усилием.

— С Полечкой наверно то же самое будет.

— Нет! Нет! Не может быть, нет! — как отчаянная громко вскрикнула Соня, как будто 20
 ее вдруг ножом ранили. — Бог, Бог такого ужаса не допустит (*ib.*, стр. 293—294).

Последний, молчаливо-бесстыдный диалог, прошедший между Свидригайловым и девочкою, не только подобен и аналогичен, но он есть собственно повторение первого диалога, прошедшего между девятилетней Полечкой и Раскольниковым: это — две чаши качающиеся, но каких-то одних весов, с какою-то мистическою стрелкою наверху, показывающею цифры отклонения. К концу романа Раскольников почти забывается, и выступает гораздо шире Свидригайлов; заключительный эпизод в каторге — искусствен, скомкан; обещанное возрождение главного героя почти названо только, а не описано, во всяком случае нисколько не объяснено. Время возрождения, минута возрождающих догадок, скажем 30
 мы уже от себя — еще не наступила для автора романа, и он, конечно, правильное сделал, когда, вместо того, чтобы рисовать фальшиво незнакомые ему состояния, устремил (во второй половине романа) испытующее око в те бездны, которые почувствовал в другом лице той же единичной, собственно, фигуры, одно лицо которой назвал Раскольниковым. «Две чашки качающиеся», с мистическою стрелкою наверху: в самом деле, в этих двух видениях, из которых одно только переписав мы невольно назвали святым, другое и очевидно генетически родственное не только грешно, но и представляет как бы зияние ада. Ад и рай... вот уже два древние имени, два космические намёка. Мы понимаем, почему он бросил Раскольникова, с его «социологическими» рассуждениями о «бедных» и «богатых», «дозволенном» и «недозволенном», «героических» в истории фигурах, 40
 как Наполеон, и человеческом «стаде» вокруг их: одна сцена с Полечкою, святым колоритом своим, уже в сущности содержит более новое и колоссальное, нежели все победы и походы этого «бронзового человека», который под конец оказался такою «глиной». Все это, т. е. все терзания и сомнения Раскольникова, как-то поверхностны; они ясно «от мира сего»; и великий мистик, очевидно но-

сивший «небесное семя» в себе (см. «Из поучений старца Зосимы»), рассеянно забывает их, чтобы прикинуть ухом туда, где может быть и «не от мира сего», где уже по странности мы узнаем «не от мира сего»... Кстати, начало стиха о Церере, приведенное в «Братьях Карамазовых», и который представляет многословное повторение эпитафии (к роману) из Ев. от Иоанна, читается так:

10 Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал,
По полям номад скитался
И поля опустошал.
Зверолов с копьем, стрелами,
Грозен бегал по лесам...
Горе брошенным волнами
К неприятным берегам!

20 С Олимпийския вершины
Сходит мать-Церера вслед
Похищенной Прозерпины:
Дик лежит пред нею свет.
Ни угла, ни угощенья
Нет нигде богине там;
И нигде богопочтенья
Не свидетельствует храм.

Плод полей и гроздьи сладки
Не блистают на пирах;
Лишь дымятся тел остатки
На кровавых алтарях.
И куда печальным оком
Там Церера ни глядит —
В унижении глубоко
Человека всюду зрит («Бр. Кар.», изд. 82 г., I, 122).

30 По отношению к приведенному ранее светлому концу этого стихотворения, это его начало о «глубоком унижении человека», «дикого», «нагого», без следа в нем «богопочтения», в своем роде есть то же, что страшное видение, от которого в ужасе просыпается Свидригайлов, к тому другому святому видению, которое так напоминает эти тоже почти святые строки, уже цитированные нами:

40 Душу Божьего творенья
Радость вечная поит.
.....
У груди благой природы
Все, что дышет — радость пьет;
Все созданья, все народы
За собой она влечет (*ib.*).

Образы, так отчетливо и выпукло, так членораздельно вырисовавшиеся у Достоевского, каким-то общим очерком прошли и в воображении Шиллера, и в сущ-

ности они прошли в той же связи во всем древнем мире, создавшем замечательный миф о Церере:

Насекомым — сладострастье,
Ангел — Богу предстоит.

Почти трудно предположить, чтобы две последние строчки принадлежали Шиллеру, а не составляют прибавку Достоевского. Но мы возьмем еще две, и уже очень короткие, цитаты из «Преступления и наказания»:

...С этою-то Ресслих господин Свидригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях. У ней жила дальняя родственница, племянница кажется, глухонемая, *девогка лет пятнадцати и даже гетырнадцати*, которую эта Ресслих беспредельно ненавидела и каждым куском попрекала; даже бесчеловечно была. Раз она найдена была на чердаке удавившеюся. Присуждено, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось, но впоследствии явился донос, что ребенок был... жестоко оскорблен Свидригайловым... Благодаря, однако, стараниям и деньгам Марфы Петровны, все окончилось этим слухом и дело было замято (изд. 84 г., стр. 273). 10

Свидригайлову, в самом деле, снится перед смертью, но только не этот, а еще какой-то другой гроб, и в странном окружении почти «клейких весенних листочков», о которых заговаривался Иван Карамазов:

Он ни о чем не думал, да и не хотел думать; но грёзы вставали одна за другою. Как будто он впадал в полудремоту. Холод ли, мрак ли, сырость ли, ветер ли, завывавший перед окном и качавший деревья, вызвали в нем какую-то упорную фантастическую наклонность и желание, — но ему все стали представляться *цветы*. *Ему вообразился прелестный пейзаж: светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день...* 20

Не правда ли: только читать бы:

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит.

...богатый, роскошный, деревенский коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное грядами роз; светлая, прохладная лестница усталая роскошным ковром, обставленная редким цветами в китайских банках. Он особенно заметил в банках с водой, на окнах, букеты белых и нежных нарциссов, склоняющихся на своих *ярко-зеленых, тугных и длинных стеблях* с сильным ароматным запахом. *Ему даже отойти от них не хотелось*, но он поднялся по лестнице и вошел в большую, высокую залу, и опять и тут везде, у окон, *около растворенных дверей на террасу, на самой террасе, везде были цветы*. Полы были усыпаны свежю накошенной травой... 30

Мы особенно тут припоминаем «клейкие зеленые листочки»...

...окна были отворены, *свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, птички гирикали под окнами*, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб. Этот гроб был обит белым гроденаплем и обшит белым густым рюшем. *Гирлянды цветов обвивали его со всех сторон*. Вся в цветах лежала в нем *девогка*, в белом тюлевом платье, *со сложенными и прижатыми к груди*, точно выточенными из мрамора, руками. Но распущенные волосы ее, *волосы светлой блондинки*, были мокры; венки из роз 40

обвивал ее голову. Строгий и уже окостенелый профиль ее лица был тоже как бы выточен из мрамора, *но улыбка на бледных губах ее была полна какой-то не детской, беспредельной скорби и великой жалобы*. Свидригайлов знал эту девочку; ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не слышно было молитв. Эта девочка была самоубийца, — утопленница. Ей было только *геттырнадцат лет*, но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею это молодое, детское сознание, залившее незаслуженным стыдом ее ангельски-чистую душу и вырвавшего последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер... (изд. 84 г., стр. 464—465).

10

XXV

Но нам, делая эти ужасные выписки, полугрезы, полусознания, полухудожественные, полудействительные, давно пора оградить себя словами святого Псалма:

Господь прибежище мое — кого убоюся?

Ибо мы в самом деле спускаемся в какую-то челюсть Вельзевула, где цветы и гробы, жизнь и смерть странно перемешиваются.

Господь — Пастырь мой...

.....
 Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня (*псалом XXII, 1 и 4*).

Так подписал Давид, перед пятидесятым псалмом которого читается краткое историческое надписание:

Начальнику хора. Псалом Давида

когда приходит к нему пророк Нафан, после того, как Давид вошел к Вирсавии (Пс. 50, 1—2).

Эта не умерла; но супруг ее, друг и раб святого царя, бездыханен лежал на поле брани, когда Псалом, три тысячи лет утешающий человеческие сердца, коснулся впервые и стал перебирать не вещественные струны душевной арфы Пророка и Государя.

30 После приведенного видения, цветов и гроба, Свидригайлову и привиделся сейчас почти последний сон-порыв «к пятилетней», после которого он умер; Раскольников — не в видении, но в действительности — перед убийством процентщицы шел по одному из петербургских бульваров и встретил сцену, т. е. в *художественном* видении она приснилась Достоевскому:

Шагах в двадцати он заметил впереди себя идущую женщину, но сперва не остановил на ней никакого внимания, как и на всех мелькавших перед ним до сих пор предметах... Однако, в идущей женщине было что-то такое странное и, с первого же взгляда, бросающееся в глаза, что мало-помалу внимание его начало к ней приковываться, — сначала нехотя и как бы с досадой, а потом все крепче и крепче. Ему вдруг захотелось понять, что 40 именно в этой женщине такого странного? Во-первых, она должно быть женщина очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без зонтика и без перчаток, как-то

смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из легкой материи, платьице, но тоже как-то очень чудно надетое, едва застегнутое, и сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клочок оторван и висел болтаясь. Маленькая косыночка была накинута на обнаженную шею, но торчала как-то криво и боком. К довершению, девушка шла нетвердо, спотыкаясь и даже шатаясь во все стороны. Эта встреча возбудила, наконец, все внимание Раскольникова. Он сошелся с девушкой у самой скамейки, но дойдя до скамейки, она так и повалилась на нее, в угол, закинула на спинку скамейки голову и закрыла глаза, по-видимому, от чрезвычайного утомления. Вглядевшись в нее, он тотчас же догадался, что она совсем была пьяна. Странно и дико было смотреть на такое явление. Он даже подумал, не ошибается ли он. Пред ним было чрезвычайно молоденькое личико, *лет шестнадцати, даже может быть только пятнадцати*, — маленькое, белокуренькое, хорошенькое, но все *разгоревшееся* и как будто припухшее. Девушка, кажется, очень мало уж понимала; одну ногу заложила за другую, *пригем выставила ее гораздо больше, чем следовало*, и, по всем признакам, очень плохо сознавала, что она на улице*. Еtc. (стр. 45—46). 10

Из всех этих сопоставлений мы видим, что как-то и почему-то факты из жизни Свидригайлова текут в существе по одному закону, что и творчество Достоевского; имеют какой-то параллелизм направления; потому Достоевский и оглянулся, каким-то кривым взглядом, на Свидригайлова так пристально, и, как у Раскольникова в приведенном отрывке, «внимание его начало приковываться, сначала нехотя и как-то с досадой, а потом все крепче и крепче»... к этой фигуре, что... 20

Мне все кажется, что в вас есть что-то к моему подходящее (стр. 261).

как улыбаясь объясняет Свидригайлов Раскольникову в заключение первого с ним разговора...

Не то чтоб, а вот заря занимается, залив Неаполитанский, море, смотришь и как-то грустно. Всего противнее, что ведь в самом деле грустишь... На родине лучше, тут себя *оправдываешь* (с. 261).

«— А у вас бывают привидения? — спросил Раскольников». Тот странно объяснил сперва несколько похоже на старца Зосиму, и даже до буквы совпадая: 30

«Привидения... это — *клогки и отрывки других миров, их нагало*... Чуть заболел, чуть нарушился нормальный земной порядок в организме — тотчас и *нагинает сказываться возможность другого мира*, и чем больше болен, тем и *соприкосновений с другим миром больше*». Раскольников возвращает его к себе, к минуте текущей и лицу говорящего:

— Нам все представляется вечность, — поправляется Свидригайлов, — как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да почему же непременно огромное?

* Это — только что опоенная и растленная, по вероятным и правдоподобным догадкам Раскольникова. Рассуждения последнего о % таких уже специфически принадлежат последнему, его «социологическому» направлению. Только цвет волос, одинаковый с «лежавшей в гробу», и лета, даже с каким-то усилением к «пятнадцати», как-то не хотящие *остановиться* на шестнадцати, показывают нам, что в сущности это *один* образ, имеющий или имевший в себе что-то мучительное и дразнящее. 40

И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, этак вроде деревенской бани; закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде иногда мерещится (стр. 265).

«Точно ты в каком *безумии*», мог бы ему этими словами Алеши Карамазова Ивану ответить Раскольников. Верно, и отеческая земля не всегда «облегчала». Раскольников, однако, отвечал что-то другое и развеселил Свидригайлова:

10 «Нет, вы вот что сообразите, — закричал он: — Назад тому полчаса мы друг друга еще и не видывали, считаемся врагами, между нами не решенное дело есть; мы дело-то бросили и эвона в какую литературу заехали! Ну, не правду ли я сказал, что *мы — одного поля ягода*» (стр. 265). — «Другим одно, а нам, желторотым, другое: нам прежде всего надо предвечные вопросы решить... Ведь русские мальчишки как до сих пор орудут? Иные, то есть? Вот, например, здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол. *Всю жизнь прежде не знали друг друга*, а выйдут из трактира, сорок лет опять не будут знать друг друга, ну и что ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку в трактире-то? О мировых...», etc. как говорит, перед *Легендой об Инквизиторе*, Иван Алексею («Бр. Кар.», изд. 82 г., стр. 263). Мы видим, что беседа Свидригайлова с Раскольниковым переходит, без перерыва и изменения тона, в этот проникновенный диалог, где Достоевский вылил свою душу в тех гранях, в том окончании, до какого сам он достиг.

20 «Мне все кажется, что в вас есть что-то к моему подходящее... Да не беспокойтесь, я не надоедлив; *и с шулерами уживался*, и князю Свирбею, моему дальнему родственнику и вельможе, не надоел, и об Рафаэлевой Мадонне г-же Прилуковой сумел написать, и с Марфой Петровной семь лет безвыездно проживал, *и в доме Вяземского на Сенной в старину ноговывал*, и на шаре, с Бергом, может быть, полечу...» («Преступл. и наказ.», стр. 268). Разнообразный был человек; но черточки эти, здесь названные, мы вдруг видим разбежавшимися по всем *главным* фигурам Достоевского.

30 ...Вышел в отставку, в Скворешники не приехал, к матери перестал совсем писать. Узнали, наконец, посторонними путями, что он опять в Петербурге, но что в прежнем обществе его уже не встречали вовсе; он куда-то как бы спрятался. Доискались, что он *живет в какой-то странной компании, связался с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то беспাপожными геновниками, отставными военными благородно просящими милостыню, пьяницами, посещает их грязные семейства, дни и ноги проводит в темных трущобах и Бог знает в каких закоулках, опустился, оборвался и что, стало быть, это ему нравится* («Бесы», стр. 41).

Так, в 71 году, Свидригайлов снова появляется именно в том романе, где социально-политическая тема опустилась до последнего уровня, и на этот раз вааламова ослица заговорила более внятно:

40 — Знаете ли вы, — начал Шатов почти грозно, пригнувшись вперед на стуле, сверкая взглядом и подняв перст правой руки вверх перед собою (очевидно не примечая этого сам), — знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ «богоносец», грядущий *обновить и спасти мир* именем *нового бога* и кому *единому даны клоги жизни и нового слова*... Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?

— По вашему приему я необходимо должен заключить, и, кажется, как можно скорее, что это народ русский...

— И вы уже смеетесь, о, племя! — рванул было Шатов.

— Успокойтесь, прошу вас; напротив, я именно ждал чего-нибудь в этом роде.

— Ждали в этом роде? А самому вам не знакомы эти слова?

— Очень знакомы; я слишком предвижу, к чему вы клоните. Вся ваша фраза и даже выражение народ-«богоносец» есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего с лишком два года назад, за границей, незадолго перед вашим отъездом в Америку... По крайней мере сколько я могу теперь припомнить...

— Это ваша фраза целиком, а не моя. Ваша собственная, а не одно только заключение нашего разговора. «Нашего» разговора совсем и не было: был учитель, вещавший огромные слова, и был *ученик, воскресший из мертвых*. Я тот ученик, а вы учитель.

— Но если припомнить, вы именно после слов моих как раз и вошли в то общество * 10 и только потом уехали в Америку.

— Да, и я вам писал о том из Америки; я вам обо всем писал. Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью от того, к чему прирос с детства, на что пошли все восторги моих надежд и все слезы моей ненависти... Трудно менять богов. Я не поверил вам тогда, потому что не хотел верить, и уцепился в последний раз за этот помойный клоак... Но семья осталась и возросло. Seriously, скажите серьезно, не дочитали письма моего из Америки? Может быть, не читали вовсе?

— Я прочел из него три страницы, две первые и последнюю и кроме того было проглядел середину **. Впрочем я все собирался...

— Э, все равно, бросьте, к черту! — махнул рукой Шатов. — Если вы отступились теперь от тогдашних слов про народ, то как вы могли их тогда выговорить?.. Вот что давит меня теперь.

— Не шутил же я с вами и тогда; *убеждая вас, я может еще больше хлопотал о себе, чем о вас, — загадочно произнес Ставрогин*.

Струйка удивительного, глубочайшего атеизма, прорезывает воспаленный диалог... Мы ее еще увидим, как и пойдем ее смысл.

— Не шутили! В Америке я лежал три месяца на соломе, рядом с одним... несчастным и узнал от него, что *в то же самое время*, когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину, *в то же самое время, даже может быть в те же самые дни*, вы отравили сердце этого несчастного, этого маньяка, Кириллова, ядом... Вы утверждали в нем ложь и клевету и довели разум его до иступления... 30

Мы опять видим странное сочетание как бы намек, разбегающегося в противоположные стороны; двух чаш колеблющихся, с стрелкою отклонения наверху... Мысль о каком-то равно могущественном распоряжении святым и грешным, истиною и ложью, и, в последнем анализе, лучем из рая и другим — из ада, брежет нам. И опять — мы это и еще встретим; и слова — и это пойдем.

— Во-первых замечу вам, что Кириллов сейчас только сказал мне, *что он счастлив и что он прекрасен*. Ваше предположение о том, что *все это произошло в одно и то же время, почти верно*, ну, и что же из всего этого? Повторяю, *я вас, ни того, ни другого, не обманывал*.

* Социально-революционное, с Петром Верховенским во главе. 40

** Черта поразительного сходства, т. е. поразительного *сродства*, о которой, конечно, не думал, т. е. *не подумал*, не заметил ее Достоевский (иначе бы сейчас уничтожил ее, затер) и *Пегериным и его отношением к Максиму Максимовичу*, которого он, по тонкой характеристике Ап. Григорьева, точно «*боится*» обнять...

С великой упругостью, с великой сосредоточенностью Достоевский указывал, что «...в одно время», как, в сущности, и Полечка, и «пятилетняя» — прошли в одном воображении, одна — святым лучем, и другая — греховным. Кстати, мы припомним слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю: если кто из вас *соблазнит единого из малых сих* — лучше было бы ему, если бы жернов мельничный был повешен на шею его и пучина морская поглотила его...» «Лучше было бы»...

— Вы атеист? Теперь атеист?

— Да.

— А тогда?

10 — Точно так же, как и тогда.

— Я не к себе просил у вас уважения, начиная разговор; с вашим умом, вы бы могли понять это, — в негодовании пробормотал Шатов.

— Я не встал с первого вашего слова, не закрыл разговора, не ушел от вас, а сиюду до сих пор и смиренно отвечаю на ваши вопросы и... крики, стало быть, не нарушил еще к вам уважения.

Шатов прервал, махнув рукой:

— Вы помните выражение ваше: «*Атеист не может быть русским*», «Атеист тотчас же перестает быть русским», помните это?

Мы это помним... из тысячи мест «Дневника писателя»...

20 — Да? — как бы переспросил Николай Всеволодович.

— Вы спрашиваете? Вы забыли? А между тем это одно из самых точнейших указаний на одну из главнейших особенностей русского духа, вами угаданную. Не могли вы этого забыть! Я напомию вам больше, — вы сказали тогда же: «*Не православный не может быть русским*»...

30 Таким образом, не через целомудренные уста Раскольникова, но через «худогласные», исполненные всякой «скверны», гробов и цвета, осени и весны, «падшего в землю и умершего зерна» уста прорываются слишком нам знакомые, запомнившиеся во всей русской земле слова, это «новое» и странное «слово», уподобленное (см. выше) «ключам жизни». Конечно, наше внимание настораживается, и мы пытливей отселе будем всматриваться в лицо говорящего.

— Я полагаю, что это — славянофильская мысль.

— Нет, нынешние славянофилы от нее откажутся. Нынче народ поумнел. Но вы еще дальше шли: вы веровали, что римский католицизм уже не есть христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа поддавшегося на третье дьявольское искушение...

Здесь мы вступаем в цикл идей «Легенды о Великом инквизиторе».

40 ...и что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем самым провозгласило Антихриста и тем погубило весь западный мир. Вы именно указывали, что если мучается Франция, то единственно по вине католичества, ибо отвергла смрадного бога римского, а нового не сыскала. Вот что вы тогда могли говорить! Я помню ваши разговоры.

Ну, да это страницы... это уже издыхая лепетал в «Дневнике писателя» любопытный каторжник и пророк нашей земли; и снова — единственное, что нас теперь занимает, это — что не уст Раскольникова, но ему обратных *по положению*

уст... И снова мелькнуло, как уже однажды и раньше, слово о «новом» Боге? понимании Бога? чувстве Бога? «Народе»-богоносце?: странная идея *народа*, носящего Бога; *человека*, Его несущего? в устах только? на языке? риторически? Где же? Достоевский на это не отвечал, и даже об этом еще не спросил себя. Мы припоминаем струйки ледяного атеизма, режущие раскаленный воздух беседы; оне сейчас же, тут же еще раз повторяются.

— Если б я веровал, то, без сомнения, повторил бы это и теперь...

Но он и *не* не верует.

— Я *не лгал**, говоря как верующий, — очень сердечно произнес Николай Всеволодович. — Но уверяю вас, что на меня производит слишком неприятное впечатление это повторение прошлых мыслей моих. Не можете ли вы перестать. 10

— Если бы *веровали*? — вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу. — Но не вы ли говорили мне, что если б математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы лучше согласились остаться со Христом, нежели с истиной.

Т. е. это имеет тот смысл, что есть «истинна» *не* «математическая», *сверх* «математическая» и что она-то и есть *главная* истина, *большая* истина, *вся* истина; но это не значит, чтобы, перестав быть «математическою», Христос и вообще, во всех смыслах перестал быть «истиною» — вера в Него сохранялась даже при сознании, что Он — «ложь». См. в «Легенде об Инквизиторе» об «Эвклидовском», «земном» уме. 20

— Говорили вы это? Говорили?

— Но позвольте же и мне наконец спросить, — возвысил голос Ставрогин, — к чему ведет весь этот нетерпеливый и... злобный экзамен?

— Этот экзамен пройдет на веки и никогда более не попомнится вам.

— Вы все настаиваете, что мы вне пространства и времени...

Он пытается отвлечь диалог в сторону кантианства, и вообще куда-нибудь на старую тропу от той новой, по которой нудит повторительно пройти его Шатов.

— Молчите, — вдруг крикнул Шатов, — я глуп и неловок, но погибай мое имя в смешном! Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль... О, только десять строк, одно заключение. 30

— Повторите, если только одно заключение...

Ставрогин сделал было движение ** взглянуть на часы, но удержался и не взглянул.

* Здесь, для объяснения всего этого, нужно привести маленький диалог между Кирилловым, в вечер его самоубийства, и Петра Верховенского, дожидającegoся этого самоубийства:

— Ставрогина тоже съела идея, — не заметил замечания Кириллов, угрюмо шагая по комнате.

— Как? — наострил уши Петр Степанович, — какая идея? Он вам сам что-нибудь говорил?

— Нет, я сам угадал: Ставрогин *если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует* («Бесы», стр. 557, изд. 82 г.). Этот коротенький диалог вообще чрезвычайно важен для понимания всего ряда теперь нами исследуемых фигур, равно приложимый к этим всем, с вариациями. 40

** Еще гадкий Печоринский жест, не замечаемый, *т. е. по связи именно с Пегориным*, Достоевским.

Шатов принагнулся опять на стуле и, на мгновение, даже опять было поднял палец.
— Ни один народ...

Вот это *profession de foi*, и, действительно, одно из глубочайших исторических прозрений, перед которым лепет Фауста, с его черепом и книгами, есть только бедный лепет «мальчика в панталонах», который Шедрину — чуть-чуть, «бе яко туман вод» не без основания — показалась целая Германия; это — правда, «ключи жизни и нового слова»:

— Ни один народ, — начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, — ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума*; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости Социализм уже по существу своему уже должен быть атеизмом**, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно***. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков****. Народы слагаются и движутся силою иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо*****. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая*****. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения***** своего бытия и отри-

* См. «Записки из подполья», и там — критику рационалистической идеи устройства 20 человечества.

** Мысль, развиваемая и в «Дневнике писателя» и вообще одна из основных у Достоевского.

*** «Религия человечества» (т. е. человечества, *ттого как бога*) Конта, да и вся его «Philosophie positive» есть невольно и почти уже провиденциально возникшая, после революции 89—93 г., как замещение живого Бога для человека — бумажным манекеном, «богом», отпечатанным в типографии, такого-то числа и в такой-то улице. Отсюда почти теургический характер, которым Philosophie positive заканчивается, и который существеннейшим образом связан с ее мыслью, ее *raison d'être* <смысл (*фр.*)>. Едва ли нужно доказывать, что она есть умственная, теоретическая, логическая сторона исторического движения, практическая сторона 30 которого выражена как социализм экономический. Кстати, приведем эпиграфы к книге этого в своем роде «длиннорукого Шигалева» (см. *Бесы*) «République occidentale», Paris, 1848 (мы соблюдаем его орфографию): 1) «Reorganiser, sans rien ni roi par le culte sistematique de l'Humanité»; 2) «Nul n'a droit qu'a faire son devoir» <1) «Преобразовать, несмотря на бога и короля, неуклонный культ человечества»; 2) «Кто исполняет свой долг, не нуждается в праве» (*фр.*)>.

**** Это — изумительно. Всей глубины этих слов и Достоевский еще не прозревал: т. е. у него не было еще более глубоких, чем обычная скука книжностью, оснований сказать эти проникновенные и мистические, эти «валаамовой ослицы» слова; ибо о «худогласных устах» эта «ослица» ничего еще не уразумела...

***** Таким образом, он вводит нас в догадки; «поднимает к покрову руки», как выразились мы выше, очевидно бессловный и неумелый еще приподнять покров.

***** Т. е. то, чему через 10 лет он найдет имя в понятии «карамазовщины»; «бездна вверх и бездна внизу».

***** «Не правда ли, живуч как кошка...» «В тысяче мук — я есмь, в корче мучусь — но есмь...» «Сый есмь Аз».

цания смерти *. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением ** которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы ***, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание Бога», как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного ****. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца *****. Никогда еще не было, чтобы у всех или у многих народов был один общий ***** Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее ***** его бог. Никогда не было еще народа без религии *****, т. е. без понятия ***** о добре и зле. У всякого народа есть собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общие понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум ***** не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив,

* «Жизнь полюбить раньше, чем смысл ее...» «Разуверься я в любимой женщине, разуверься в людях... *все вы — держит сила карамазовская...*» «До 90 лет» (см. Вальковский), «до 80 лет» (Федор Павлович).

** «Бе яко туман вод», т. е. догадки в пытующем уме художника.

*** Ну, философы именно об этом и именно «в этом роде» ничего не говорили, и ссылка на них показывает, до чего для Достоевского собственные его слова были еще «яко туман вод».

**** Конечно, замечательно, что идея «пантеона» (всех и всяких богов мирное сожительство в одном храме) явилась у практического, земного, безрелигиозного творца *juris naturalis, gentium et civilis* <естественное, родовое и гражданское право (*лат.*)>; и даже, еще беднее, эта идея явилась только у римского правительства. Напротив, Иегова, «Бог Израиля», «Сый» есть именно и только Сый в Израиле и для Израиля.

***** Т. е. Бог вот в этом понимании Его; или, что то же — вот *этот угол* зрения на Бога выражает синтетически личность народа, от зачатия его (напр. Израиля в лоне Авраама) и до могилы.

***** Т. е. Бог, конечно, есть один, но Икона Его — у каждого народа своя, и народы этих Икон не смешивают иначе как смешиваясь, умирая. Каждый ему данную Икону несет и вырванная ее — умирает, ибо Ею, по таинственной с Нею связи, жил.

***** Все эти идеи, очевидно все представления юдаизма высказываемые, собственно распространяют понятие юдаизма на все народы; несут всем народам главную мысль Моисея, как ап. Павел пронес «новое благовествование» всем народам.

***** Древние, как Плутарх и еще Геродот даже (кажется) заметили, что в какую бы страну и к какому бы племени путешественник ни приходил, — ожидая найти у них всякую странность он одного у них никогда не встретит: это — *отсутствия* религии. Факт этот многозначителен действительно тем, что показывает нам, что *геловек* есть действительно *седалище* Бога, ибо от этого только теистическое чувство могло бы быть всюду где есть человек. Объясним грубою параллелью: запах сыра может быть только там, где есть сыр.

***** Это — ужасно недостаточно, ужасно бедно: понятие о добре и зле не покрывает религии (не исчерпывает) и есть частность, даже не самая важная в ней.

***** Здесь опять монолог этот сливается с идеями «Легенды о Великом Инквизиторе».

всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные... Все это — ваши слова, в них я не изменил ничего, ни полуслова.

— Не думаю, чтобы не изменили, — осторожно заметил Ставрогин; — вы пламенно приняли и пламенно переименовали, не замечая того. Уже одно то, что вы Бога низводите до простого атрибута * народности...

Он с усиленным и особливым вниманием начал вдруг следить за Шатовым, и не столько за словами его, сколько за ним самим.

— Низвожу Бога до атрибута народности? — вскричал Шатов, — напротив, народ возношу до Бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ — это тело ** Божие. Всякий народ до тех только пор и народ ***, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает без всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие **** народы по крайней мере, все сколько-нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества *****.

* Народ знает начертание Бога, одну из Икон Его, которая будучи истинна, т. е., отвечая некоторым действительным и истинным чертам Его единого Лица, не выражает *всю полноту* этого Лица. Понятие «атрибута» здесь неправильно, как нельзя сказать, что «хоругвеносец» есть *атрибут* хоругви.

** Все это пока не становится полною истиною, остается чистою фразеологиею, как и Бог «без перста вложенного в рану» есть все-таки идея Бога, от которой до «Живого видящего вслед меня» (см. ранее) — еще непроходимая бездна. «Народ — тело Божие», почему это не угроза как и «vox populi — vox Dei» <глас народа — глас Божий (лат.)>, как тысяча горделивых демократических формул, в которых слышится собственно одна низкая и атеистическая мысль: «аз есмь Бог и не будут божи тебе инии разве мене» нового и плоского демократизма, заблудившегося стада человеческого. Но полной истины очевидно Достоевский не видел и отсюда в нем струйки ледяного атеизма.

*** Все это место вообще, т. е. вообще весь этот удивительный диалог, который допускает безмерно высокое себе толкование, допускает и толкование безмерно плоское: на него можно взглянуть как на способ, как на попытку отстоять разрушающуюся *свою* народность (русскую) и даже отчасти *свое* литературное, политическое и наконец редакционное credo (идея «почвы» 30 «Времени» и «Эпохи», отождествления «почвы» с «народным телом» и указание, что особый Бог ее охраняет и пока в особливости своей этот Бог жив, т. е. в особливостях своих жива народность, и «почва» до тех пор не будет покорена «языками и народами». Это напоминает вынесение перед ворота дома образа, когда окрест пожар пожирает дома, причем выносятся образ равно древнего или нового письма, чудотворный или не чудотворный. Но и последний, по вере нашей, творит чудо защищения «почвы» — «дома» от окружающего всемирного пожара (эклетицизма наций и национальных историй). С этой точки зрения все данное место представится ледяною струйкой атеизма, как и все религиозные места у Достоевского имеют эту оборотную в себе сторону не полноты веры, не уверенности в вере. «Николай Всеволодович когда верует, то он не верует, что верует; а когда не верует, то не верует, что он не верует» (см. выше).

40 ***** Вот здесь мы и находим глубочайшую слабость у Д-го: Бог ad maiorem gloriam plebis aut rei publicae <к вящей славе народа или республики (лат.)>. — «Живый Видящий вслед мене» — не возносится, не возносит: «Агарь, ты беременна... возвратись в дом госпожи твоей Сары»; «Живый» к смиренному и в смиренную щель бытия их входит, а не говорит с форума, не обращается к народам. «Живый» не блистает в одеждах сенаторских, художественных, художественных: у Него Вселенная.

***** Все это исторически верно и тем более ослабляет Д-го, указывая источник речей его — от «разума», от «науки», которая «позорно ошибалась». Ибо внушает подозрение о Боге для

Против факта * идти нельзя. Евреи жили ** лишь для того, чтобы дожидаться Бога истинного и оставить миру Бога истинного. Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, т. е. философию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция *** в продолжении всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога и ударились в атеизм, который называется у них покамест социализмом, но единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. Если великий народ и верует, что в нем одном истина (именно в одном и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной, то он тотчас же обращается в этнографический **** материал, а не в великий народ. Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту ***** веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть только единый из народов и может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих богов. Единый народ-«богоносец» — это Русский народ и... и... и неужели, неужели вы меня почитаете за такого дурака, Ставрогин, неистово возопил он вдруг, — который уже и различить не умеет, что слова его в эту минуту или старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех ***** мос-

«отметки», для «печати на челе народа об его избранничестве», и, в силу избранничества, уже не могущего быть отведенным на задний двор истории. «Ad majorem gloriam...». Не таков «Живый».

* И это показывает, что именно факт, простая «наука», до-Бэконовская *inolutio per enumerationem simplicem, ubi non reperitur instantia contradictoria* <внушение путем простого перечисления доводов, лишенных противоречий (*лат.*)> есть или может быть принимаемо за источник удивительного в истине своей, но в истине, не прозреваемой Д-ким, монолога.

** Но ведь это в истории был вечно бегущий с поля битвы Гораций: Авраам предавал юную Сару два раза на ложе чужеземцев «страха ради иудейска»; и везде, на всех страницах Библии, — «страх иудейский». Бытие их было, с внешней стороны, щелью на задней стороне того великолепного фронтона, на котором великолепно же вырисовывались «инии бози» — Jupiter, Zeus, фантомы человека, *не живые*.

*** Все это, все эти примеры показывают, до какой степени идея Бога, все-таки ведь не слитого с историею, если бы даже в нее и замешанного, у него не отделяется и даже прямо сливается с простою историческою линиею.

**** История народов до известной степени и есть история побивания «Живым» этих бумажных манекенов, которых на Его место ставили и им поклонялись как своим историческим миссиям; «бумажность» побиваемых становилась так очевидна, что народы не могли хранить в них веру... и вот история потери народом своих «миссий», причем мы очень мало можем осуждать за это самые народы.

***** Все это достаточно для какой-нибудь «Великой Армении», т. е. для поднятия ее самочувствия напр. в XIX в., когда она пытается возродиться; по-видимому в целях подобного поднятия «самочувствия» в *своей* «почве» слова эти сказали и здесь. Но слова Руфи Ноемини, предлагавшей невестке вернуться по смерти мужа в свою землю — «твой народ будет моим народом и твой бог будет моим богом» — как многоценнее они всех громоздких фактов этих историй.

***** Почти нельзя сомневаться, что идея народа-«богоносца» возникла у Д-го вследствие (и вероятно, непосредственно вслед за) чтением известной книги Кельсиева о русском сектантстве (4 части, изданные в Лондоне), где ряд собранных и напечатанных официальных документов показывает такую силу напряжения теистического чувства в русском народе, что сло-

ковских славянофильских мельницах, или совершенно новое * слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения и... и какое мне дело до вашего смеха в эту минуту! Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно, совершенно, ни слова, ни звука!.. О, как я презираю ваш гордый смех и взгляд в эту минуту!..

Он вскочил с места; даже пена показалась на губах его.

— Напротив, Шатов, напротив, — необыкновенно серьезно и сдержанно проговорил Ставрогин, не подымаясь с места, — напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно смелых воспоминаний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение два года назад, и теперь уже я не скажу вам, как давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. Мне кажется даже, что они были еще исключительнее, еще самовластнее, и уверяю вас в третий раз, что я очень желал бы подтвердить все, что вы теперь говорили, даже до последнего слова, но...

Диалог прерывается в своей слабой части, он и вообще изменяется в течении мысли и вступает вдруг в такие глубины «худогласия» человеческой природы, какие не были доступны еще никому, кроме Достоевского, и куда за ним не осмелился последовать ни один мыслитель; ни один писатель не решился даже цитировать страшных слов:

— Но вам надо зайца?

— Что-о?

— Ваше же подлое выражение, — злобно засмеялся Шатов, усаживаясь опять; — чтобы сделать соус из зайца — надо зайца, чтобы уверовать в Бога — надо Бога», это вы в Петербурге, говорят, приговаривали, как Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги.

Великий и грустный скиталец в родной земле, омочивший землю свою благороднейшими слезами, какие когда-либо пролиты были из человеческих глаз, Достоевский не хотел остановиться на роли религиозного самозванства; идея «ложного» бога, «бога» как фикции, бога «нужного», «по нужде», для целения наших «ран» ** гнела его до конца жизни, и, задушаемый ею, он был так открыт,

ва: «народ-богоносец» невольно шепчутся всяким внимательным читателям. Что Достоевский знаком был с этою книгою и вероятно познакомился приблизительно во время писания «Бесов» — на это есть намек (на стр. 378, упоминание об Иване Филипповиче, бог-«Саваоф» хлыстов) в романе. — Но, затем, идея народа-«богоносца», с особенною и исключительно-значительною миссией, есть только лучше, чем у славянофилов выразившаяся, но славянофильская идея; как и идея русского народа, как народа-«примирителя» (*Пушкинская режь*), есть также не его исключительно идея, но только у него достигшая высшей красоты выражения (народ-«эхо» у Пушкина уже и Белинского, и даже в смысле реформы Петра, Peter'a). Собственно оригинален, нов и единствен Достоевский не в этих двух идеях, с которыми обычно сливаются его умственное лицо, но в понятии напр. «карамазовщины», им впервые введенном в литературу; он велик и нов в «Записках из подполья», «Легенде об Инквизиторе», «Сне смешного человека», и т. д. Можно без преувеличения сказать, что его личность одна — более жизненна и содержательна, чем целая славянофильская школа, и ничего к ней не прибавляют некоторые из славянофильских идей, им заимствованных.

* Ничего нового в той политическо-национальной окраске, которая особенно вторю (беднейшею) половиною диалога придана ему; ничего даже замечательного, если бы было и ново.

** Отсюда и «Легенда о Великом Инквизиторе» начинается с приведения слов Вольтера, что «если бы Бога не было — Его нужно бы выдумать».

и, наконец, так верил, что «через квадральон лет» (см. «Кошмар Ивана Федоровича» в «Бр. Кар.») найдутся же средства осязать Живого, — что не захотел утаить от миллионов читателей своих, что *он* и *пока* не имеет ничего для них кроме этой фикции, ничего еще для утешения оскорбленной и измученной души своей... Он в самом деле не догадался, что, как выше мы выразили сравнением — если есть запах сыра (мистицизм) — ищите в направлении его большей концентрации и вы найдете в самом деле сыр; или, переводя это на его сравнение: «заяц» в самом деле существует, он — не диалектика, не риторика, не политика наших забот, дел, химер, а след. и «соус из зайца», т. е. не риторическое богопочитание — возможен не как проблема, а как действительность.

10

Робок, наг и дик скитался
Троглодит в пещерах скал...

но, этот период «скал» и «пещер» еще не прошел для Достоевского.

— Нет, тот именно хвалился, что уже поймал его. Кстати, позвольте, однако же, и вас обеспокоить вопросом, тем более, что я, мне кажется, имею на него теперь полное право. Скажите мне: ваш-то заяц пойман ли, аль еще бегает?

— Не смейте меня спрашивать такими * словами, спрашивайте другими, другими! — весь вдруг задрожал Шатов.

— Извольте, другими, — сурово посмотрел на него Николай Всеволодович; — я хотел лишь узнать: веруете вы сами в Бога или нет?

20

— Я верую в Россию, я верую в ее православие... Я верую в тело Христово. — Я верую, что новое пришествие совершится в России... Я верую... — залепетал в испуге Шатов.

— А в Бога? В Бога?

— Я... я буду веровать в Бога.

Вот глубочайшая поправка к предыдущим слабым местам диалога; расседаясь в ледяной атеизм, он обнаруживается как правда сердца, и все иллюзии «богоносничества» обнаруживают себя как реторту. Теперь вы можете растоптать это сердце, но оно уже не обманывает; оно пусто — но не лгущее. «Сердце чисто созижди во мне, Боже...». Сердце атеиста, будучи, правда, только пустою оболочкою, не есть, однако, «повапленный гроб, полный мерзостей» обмана: и именно в него, именно в момент сознания совершенной пустоты и может войти «Живый видящий вслед меня» — снова по закону: «если падшее в землю зерно не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода».

30

Ни один мускул не двинулся на лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его взглядом.

— Я ведь не сказал же вам, что не верую вовсе! — вскричал он наконец. — Я только лишь знать даю, что я несчастная, скучная книга и более ничего покамест, покамест... Но погибай мое имя! Дело в вас, а не во мне... Я человек без таланта и могу только отдать

* Грубость сравнения конечно течет из великой грусти (из нее же и весь тон порывистого сарказма, в котором ведется диалог); с другой стороны, однако, следует заметить, что ощущая Живого уже не избегаешь и не боишься никаких вульгарных сравнений, ибо и всякая солома, при сравнении с Ним, крепится, и всякий навоз, на который при уподоблении падает Его луч — как бы расцветивается в чудный сад. В мире нет более гадкого, когда есть Живой.

свою кровь и ничего больше, как всякий человек без таланта. Погибай же и моя кровь! Я об вас говорю, я вас два года здесь ожидал... Я для вас теперь полчаса пляшу нагишом. Вы, вы одни могли бы поднять это знамя.

Какая ошибка в слове действительно бесталанного, хоть и доброго, до трогательности доброго Шатова: как будто можно, как будто нужно поднимать «знамя» религии; как будто понятие религии уже не исключает всякой идеи «знамени» и «поднятия». Авраам после завета, т. е. *услышав* Бога, обрезался, обрезал домочадцев, а выздоровев, выгнал в пастбище скот свой, а не «поднял знамени» обрезания и завета. Все это — «миссии» и, в конце концов, все это около реторики, обмана, «не пойманного зайца».

Он не договорил и как бы в отчаянии, облокотившись на стол, подпер обеими руками голову.

Сейчас диалог вступает в новую, центральную фазу: лицо Ставрогина, т. е. уже бесспорно высказавшего, в обоих вариациях своих, интимнейшую мысль Достоевского в ее глубочайших содроганиях, сливается с лицом Свидригайлова — позади, и впереди — с лицом всех Карамазовых. Это та часть диалога, о которой мы сказали, что ее никто не смел процитировать; и сам Достоевский, выписав свою мысль, «пав в землю мертвым зерном», не сумел дальше пойти, чего-то сделать, о чем-то догадаться, и «не ожил... в многом плоде».

— Я вам только кстати замечу, как странность, — перебил вдруг Ставрогин: — почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы «поднять у них знамя», по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслью, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина «по необыкновенной способности к преступлению», — тоже его слова.

— Как? — спросил Шатов, — «по необыкновенной способности к преступлению»?

— Именно.

— Гм. А правда ли, что вы, — злобно ухмыльнулся он, — правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу. Правда ли, что маркиз де-Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы *заманивали и развращали детей*? Говорите, не смейте лгать, — вскричал он, совсем выходя из себя, — Николай Ставрогин не может лгать перед Шатовым, бившим его по лицу*! Говорите все, и если правда, я вас тотчас же, сейчас же убью, тут же на месте!

— Я эти слова говорил; но *детей не я обижал*, — произнес Ставрогин, *но только после слишком долгого молгания. Он побледнел и глаза его вспыхнули.*

Мы снова припоминаем, перед аналогичным диалогом Ивана Карамазова с братом: «Подивись на меня — я ужасно люблю деточек; до 8, до 5 лет — это как бы другое создание»... «Плотоядные, карамазовцы постоянно любят детей... *мне грустно* и у меня голова болит». — «Ты точно в каком безумии, брат».

— Но вы говорили, — продолжал Шатов, не сводя с него сверкающих глаз. — Правда ли, будто вы уверяли, что *не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладостраст-*

* За несколько дней до диалога, и притом публично, за двойное обольщение и сожитель-ство — с сестрою его (Дашей) и женою (Марья Николаевна, в конце романа разрешающаяся ребенком от Ставрогина).

ною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?

— Так *ответить невозможно я не могу ответить*, — пробормотал Ставрогин, который очень бы мог встать и уйти, но не вставал и не уходил.

— Я тоже не знаю, почему зло скверно, а добро прекрасно, но я знаю, что ощущение этого различия стирается и теряется у таких, как вы... Еtc. («Бесы», стр. 224—231).

Затем следует опять падение мысли; указание, что «достать зайца», т. е. пробудить в себе религиозную веру, можно «трудом» и преимущественно «мужицким» (стр. 232), «единством с народом», и все эти бедные мысли, из круга которых Достоевский не смог вырваться до конца жизни (см. «Пушкинская речь»). «Дух веет, идеже хочет»; и несчастная мысль, что веру можно «добыть», есть в сущности мысль, что ее можно *сделать* в себе, т. е. что она есть нечто *делаемое, изготовляемое*, и, таким образом, есть в сущности *продукт* его деятельности; т. е. что вера есть *человеческая*, есть дело *рук* человеческих, поднимается *с земли* и протягивает руки *к пустому* небу, а, напротив, не нисходит с небес и наполняет пустое сердце человеческое.

Робок, наг и дик скитался
Троглодит в пещерах скал...

Нам нужно, в целях исследования, привести еще один диалог из того же романа: опять Ставрогина, но с Кирилловым, «несчастливым маньяком, мысль которого он отравил атеизмом в то же почти время, как в Шатова насаждал веру в Бога и народ свой» (см. выше). Личность Кириллова — одно из трогательнейших и удивительнейших созданий Достоевского, игра фантазии, сотканной из таких сочетаний теней и света, тайна которых была только на палитре этого художника, этого одного во всемирной литературе. Это — *unicum*. Уже вне целей нашего исследования и лишь для того, чтобы бросить луч света на *общее* этой фигуры, мы приведем вставочно его разговор перед самоубийством:

«Не застрелится», — тревожился * Петр Степанович.

— Кому узнавать-то? — поджигал он. — Тут я да вы, Липутин, что ли?

— Всем узнавать; все узнают. Ничего нет тайного, что бы не сделалось явным. Вот Он сказал.

И он с лихорадочным восторгом указал на образ Спасителя, пред которым горела лампада. Петр Степанович совсем озлился.

* Кириллов, ставший на идее, что главный атрибут Бога — своеволие, и будучи уверен, что *того* Бога — нет, решил стать *сам* Богом, для чего ему надо предварительно выразить «высший пункт своеволия», каким не без основания он считал разрушение себя, самоубийство, «так себе», «без причины», как простое выражение свободы и автономности воли своей. Петр Верховенский воспользовался этою довольно правильною оценкою понятий и попросил у него «день», т. е. попросил право себе и в своих целях назначить, когда ему застрелиться. Задумав в ночь убить Шатова, и желая убийство свалить на мертвого Кириллова, он в вечер дня пришел к этому последнему требовать самоубийства. Мы приводим маленький отрывок из их поразительного диалога.

— В Него-то, стало быть, все еще веруете и лампаду зажгли; уж не на «всякий ли случай»?

Тот промолчал.

— Знаете что, по-моему, вы веруете, пожалуй, еще больше попа.

— В кого? В Него? Слушай, — остановился Кириллов, неподвижным, иступленным взглядом смотря перед собой. — Слушай большую идею: был на земле один день, и в середине земли стояли три креста. Один на кресте до того веровал *, что сказал другому: «Будешь сегодня со мною в раю». Кончился день, оба померли, пошли и не нашли ни рая, ни воскресения. Не оправдалось сказанное. Слушай: Этот человек был высший на всей земле, составлял то, для чего ей быть. Вся планета, со всем что на ней, без этого человека — одно сумасшествие. Не было ни прежде, ни после Его такого же, и никогда, даже до чуда. В том и чудо, что не было и не будет такого же никогда. А если так, если законы природы не пожалели и *Этого*, даже чудо свое же не пожалели, а заставили и Его жить среди лжи и умереть за ложь, то, стало быть, вся планета есть ложь и стоит на лжи и глупой насмешке. Стало быть, самые законы планеты ложь и диаволов водевиль. Для чего же жить, отвечай, если ты человек? (стр. 553)

Никогда, в целой всемирной литературе никогда — не отрицание, но разлившееся в человеке и проникшее до последних его фибр *ту<в>ство* отрицания — не доходило до такой глубины и почти религиозного же экстаза. Перед зажженной лампадой, коленопреклоненный перед Ликом, в своем роде «один человек», так много и безумно плакавший перед «Чудом земных законов» как бы прощается с Ним, — за человечество, за всю землю прощается с своею фикцией, которая, однако, только одна и давала силы жить; чтобы встать наутро хоть и плюгавеньким, но уже подлинным и не фиктивным (для себя, но, впрочем, и для природы) богом. Кстати, если *того* Бога нет, то высшее, т. е. опять же Бог есть, конечно, человек, и тогда *совесть*, как упрек себе, как себя поправка — умирает. «Все позволено» — как индивидуумом себе: отсюда образы Раскольникова и Ивана Карамазова, убийцы и отцеубийцы; так «все позволено» и обществу над индивидуумом: отсюда идея «шигалевщины» («Бесы»), «Легенды об инквизиторе», в обоих случаях с страшным и насильственным погашением личности в человеке, задушением человека ради «коллективного» вечного и окончательного покоя. Таким образом идейное и даже художественное (образы) творчество Достоевского все представляет собою «соус без зайца» и лишь «под его именем»: вариации, мучительные начинания «Легенды об инквизиторе», но наконец, почти перед издыханием, вылившиеся в это колоссальное по уму и фантазии создание. Но там также не было «зайца»; и что сообщает Достоевскому черты истинной праведности, мы дерзнем сказать — святости, это то, что он не утаил того от человека — до того возлюбил человека, до того поверил человеку, и в конце концов, каким-то тайным и далеким ведением поверил даже и бытию пробудившего такие страшные сомнения в себе «зайца», но только... «через квадрант лет странствия» («Кошмар Ив. Фед.»). Но мы приведем нам нужный диалог, забыв этот вставочный:

Блудный, почти нищий, Кириллов, никогда, впрочем, и не замечавший своей нищеты, видимо с похвальбой показывал теперь свои оружейные драгоценности, без сомнения приобретенные с необычайными пожертвованиями.

* <Текст сноски отсутствует.>

— Вы все еще в тех же мыслях? — спросил Ставрогин после минутного молчания и с некоторою осторожностью.

— В тех же, — коротко ответил Кириллов, тотчас же по голосу угадав, о чем спрашивают, и стал убирать со стола оружие.

— Когда же? — еще осторожнее спросил Николай Всеволодович, опять после некоторого молчания.

Кириллов между тем уложил оба ящика в чемодан и уселся на прежнее место.

— Это не от меня, как знаете; когда скажут, — пробормотал он, как бы несколько тяготясь вопросом, но в то же время с видимою готовностью отвечать на все другие вопросы. На Ставрогина он смотрел не отрываясь, своими черными глазами без блеска, с каким-то спокойным, но добрым и приветливым чувством. 10

— Я, конечно, понимаю застрелиться, — начал опять несколько нахмурившись Николай Всеволодович, после долгого, трехминутного задумчивого молчания; — я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: *если бы сделать злодейство, или главное стыд, то есть позор, только огонь подлый и смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «один удар в висок и ничего не будет».* Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?

— Вы называете, что это новая мысль? — проговорил Кириллов, подумав.

— Я... не называю... когда я подумал однажды, то почувствовал совсем новую мысль.

— *Мысль погуствовали?* — переговорил Кириллов, — это хорошо. Есть много мыслей, которые всегда и которые вдруг станут новые. Это верно. Я много теперь как в первый раз вижу. 20

Поразительно... Новый угол воззрения на старую, всегда бывшую, мысль иногда действительно является родником целых бездн нового мышления и заново понимания целой природы. Мир, т. е. как тот, на который мы смотрим, так и тот, который мы думаем, похож в сущности на смешные детские рисунки, озаглавливаемые: «Где казак» или «Отыщите Наполеона», и представляющие ужасную путаницу линий, моток теней и линий без всякой в нем мысли. Вы ищете «козла», ищете «Наполеона» и при всех усилиях — не находите; даже их собственно нет, потому что ведь глаз вас не обманывает же и фигуры животного и Императора вам хорошо известны. Тогда автор рисунка, или кто-нибудь более вас подвижный глазом или мыслью, может быть, просто более вас счастливый указывает вам на *некоторые* определенные линии в этой путанице, на сочетание ствола корявого и сучьев дерева, и вы вдруг совершенно и очевидно видите «Наполеона», который прямо на вас смотрит из этого дерева, и даже собственно кроме этого «Наполеона» и нет почти ничего на рисунке; остальное — ретушь, задрапировывающие «истину» подробности. Таким образом, открытие ваше состояло не в какой-нибудь перемене рисунка (старая природа, «старая мысль»), но в перемене вашего угла зрения на него; в том, что вы розняли ваше внимание и, оставив одну часть его на рисунке, другую убрали, т. е. одне части рисунка оставили под вниманием, другою заснули: т. е. забыли, не видите другие запутывающие части рисунка. История всех открытий есть в сущности история нахождения таких «козлов» в мотке мироздания; и как много их еще не усмотрено — об этом легко догадаться. 30

— Положим, вы жили на луне, — перебил Ставрогин, не слушая и продолжая свою мысль, — вы там, положим, сделали все эти смешные пакости... Вы знаете наверно отсю- 40

да, что там будут смеяться и плевать * на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?

— Не знаю, — ответил Кириллов, — я на луне не был, прибавил он без всякой иронии, единственно для обозначения факта.

— Чей это давеча ребенок?

Входя к Кириллову, Ставрогин нашел его перед старухой, у которой на руках был 1 1/2 годовалый ребенок, «в одной рубашенке, с голыми ножками, с разгоревшимися щечками, с белыми всклокоченными волосками, только что из колыбельки; он, должно быть, недавно расплакался; слезки стояли еще под глазами; но в эту минуту тянулся рученками, хлопал в ладоши и хохотал, как хохочут маленькие дети, с захлипом. Пред ним Кириллов бросал о пол большой резиновый красный мяч; мяч отпрыгивал до потолка, падал опять, ребенок кричал *мя! мя!*, Кириллов ловил „мя“ и подавал ему, а тот бросал его своими неловкими рученками». Ставрогин говорил об этом ребенке.

— Старухина свекровь приехала; нет, сноха... все равно. Три дня. Лежит больная, с ребенком; по ночам кричит очень, живот. Мать спит, а старуха приносит; я мячем. Мяч из Гамбурга. Я в Гамбурге купил, чтобы бросать и ловить; укрепляет спину. *Девозка*.

— Вы любите детей?

20 — Люблю, — отозвался Кириллов, *довольно, впрочем, равнодушно*.

Чистый Кириллов играет с ребенком, но его не пронизывает таким вниманием, не оглядывает с такою зоркостью к подробностям, к «белым волосикам», «короткой рубашечке», и пр., с какою наверно оглянул бы его Ив. Карамазов и также тот странный «разбойник», о котором так странно и вне целей диалога вспомнил он.

— Стало быть и жизнь любите?

— Да, люблю и жизнь, а что?

— Если решили застрелиться.

— Что же? Почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем.

30 — Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?

— Нет, не в будущую вечную, а здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минуты, и время вдруг останавливается и будет вечно.

— Вы надеетесь дойти до такой минуты?

— Да.

— Это вряд ли в наше время возможно, тоже без всякой иронии отозвался Николай Всеволодович, медленно и как бы задумчиво. — В Апокалипсисе Ангел клянется, что времени больше не будет.

— Знаю. Это очень там верно; отчетливо и точно. Когда весь человек счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. Очень верная мысль.

40 — Куда же его спрячут?

* У вас есть что-то на душе ужасное, *грязное и кровавое*, и... и что-то такое, в то же время, что ставит вас в ужасно *смешном виде* — к тому же Ставрогину («Бесь», стр. 469). Очевидно, тут говорит *действительность*, и очевидно, эта действительность — не мимолетная, но характерная, главная же из главных черта.

- Никуда не спрячут. Время не предмет, а идея. Погаснет в уме.
- Старые философские места, одне и те же с начала веков, — с каким-то брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин.
- Одне и те же! Одне и те же с начала веков, и никаких других никогда! — подхватил Кириллов с сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа.
- Вы, кажется, очень счастливы, Кириллов?
- Да, очень счастлив, — ответил тот, как бы давая самый обыкновенный ответ.
- Но вы так недавно еще огорчались, сердились на Липутина?
- Гм. Я теперь не браню. Я еще не знал тогда, что был счастлив. Видали вы лист, с де-рева лист? 10

Мы припоминаем Карамазова и, можно бы сказать, «карамазовщину» с его тяготением к «клеяким листочкам» и настораживаемся вниманием:

- Видал.
- Я видел недавно *желтый**, *немного зеленого, с краев подгнил*. Ветром носило. Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.
- Это что же, аллегория?
- Н-нет... зачем? Я не аллегория, я просто лист, один лист. *Лист хорош. Все хорошо.* 20
- Все?
- Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тот сейчас станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь умрет, а девочка останется. Я вдруг открыл.
- А кто с голоду умрет, а кто *обидит и обесчестит девочку* — это хорошо?
- Хорошо. И кто разmozжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не разmozжит, и то хорошо. *Все хорошо, все.* Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо**, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет не хорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой!
- Когда же вы узнали, что вы так счастливы?
- На прошлой неделе во вторник, нет в среду, потому что уже была среда, ночью. 30
- По какому же поводу?
- Не помню, так; ходил по комнате... все равно. Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего.
- В эмблему того, что время должно остановиться?
- Кириллов промолчал.
- Они не хороши, начал он вдруг опять, — потому что не знают, что они хороши***. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.

* Удивительное проникновенье в природу, *со-дыхание* с нею, если припомнить слова Ивана Карамазова: «нам ведь, *желторотым*, что...» и т. д. Понимание природы в том чистом оттенке, где она напоминает и как-бы сливается с частным же в человеке оттенком. Конечно, речи Ставрогина и Кириллова берутся еще в одном месте «Подростка» и в «Сне смешного человека». 40

** Мысль удивительной глубины и не подозреваемой истины, но именно только «почувствованная».

*** Опять — какая глубина.

- Вот вы узнали же *, стало быть, вы хороши?
- Я хорош.
- С этим я, впрочем, согласен, — нахмуренно пробормотал Ставрогин.
- Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
- Кто учил, Того распяли.
- Он придет и имя ему человекобог.
- Богочеловек?
- Человекобог, в этом разница.
- Уж не вы ли и лампадку зажигаете?

10

- Да, это я зажег.
- Уверовали?
- Старуха любит, чтобы лампадку... а ей сегодня некогда, — пробормотал Кириллов.
- А сами еще не молитесь?
- Я всему молюсь. Видите, паук ползет по стене, я смотрю и благодарен ему за то, что ползет.

Глаза его опять загорелись. Он все смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным. Етс. (стр. 213–216).

Чуть-чуть этот диалог продвинул дальше в следующем монологе Кириллова, обращенном к Шатову, на минуту к нему заглянувшему:

20

- Бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии?
- Знаете, Кириллов, вам нельзя больше не спать по ночам.

Кириллов очнулся и — странно — заговорил гораздо складнее, чем даже всегда говорил; видно было, что он давно уже все это формулировал и, может быть, записал:

- Есть секунды, их всегда зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ошущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда ** мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». Это — не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то, что любите, о — тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно — такая радость. Если более пяти секунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь, за них отдаю всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, когда цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресеньи не будут родить, а будут как ангелы Божии. Намек. Ваша жена родит?

30

- Кириллов, это часто приходит?
- В три дня раз, в неделю раз.
- У вас нет падучей?

40

- Нет.
- Значит, будет. Берегитесь, Кириллов, я слышал. Что именно так падучая начинается. Мне один epilepticus подробно описывал это предварительное ощущение перед припад-

* Здесь опять падение мысли, показывающее, до какой степени Д-ий только сердцем проходил около великих идей.

** <Текст сноски отсутствует.>

ком, точь-в-точь как вы; пять секунд и он назначал и говорил, что более нельзя вынести. Вспомните Магометов кувшин, не успевший пролиться, пока он облетел на коне своем рай. Кувшин — это те же пять секунд; слишком напоминает вашу гармонию, а Магомет был эпилептик (стр. 538).

Если мы вспомним, что собственно эпилепсия не есть вовсе и никакая болезнь, а в точности секундное потрясение человека, не разрушающее его, не грозящее смертью, не выражающееся анатомическою болью при ужасающей бурности ее течения, — мы если и примем ее в обыкновенном смысле как «паталогический дефект», то осветим этот смысл уже бесспорно приложимым сюда соображением Свидригайлова о «болезни» как начале «инога мира», как состояния, когда особенно возможно «касание мирам иным». Кстати, есть аналогичное по красоте приведенному монологу выражение Магомета: «больше всего в жизни я любил прекрасных женщин и ароматы, но истинное наслаждение находил всегда только в молитве».

Слова Кириллова так похожи на молитву; мы, впрочем, забываем о нем и сосредотачиваемся вниманием на Достоевском, ибо ведь это именно он нашел такой язык для этих мыслей; нашел и самую мысль такого колорита. Мы запоминаем, *около каких это тогек*. Как мало здесь «Кириллова» и «эпилепсии», вот бормотанье одной идиотической — «хромоножки», из этого же произведения:

...Не понравилось мне это; сама я хотела тогда затвориться: «А по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно». Они мне, — etc. ... Тем временем и шепни мне, из церкви выходя, одна наша старица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что есть, как мнишь? — «Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого»... «Так, говорит, Богородица — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть; а как напоить слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет, таково, говорит, есть пророчество». — Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать; сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я бывало на берег к озеру: с одной стороны наш монастырь, а с другой — наша острая гора, так и зовут ее горой Острою. Взойду я на эту гору, обращу я лицом к Востоку, припаду к земле, плачу, плачу и не помню, сколько времени плачу, и не помню я тогда и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращу назад, а солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное, — любишь ты на солнце смотреть, Шатушка? Хорошо да грустно. Повернусь я опять назад к Востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы по озеру как стрела бежит, узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет и все вдруг погаснет. Тут я и начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет, *боюсь сумрака...* («Бесы», стр. 133).

Достоевский знал тайну религиозных слез, вот все, что мы отсюда видим. Так окончательно, как бы за все человечество и от всей земли простившись с Ликом, разбрызгав «соус», где нет «зайца», — странно он остался столь же глубоко и даже до последних периферий бытия своего пропитанным запахом этого «зай-

ца»; мы хотим сказать — теистическим чувством, поднимающимся — мы судим по языку — до безгрешного, до святого. Вот синтез его души, которого никто не оспорит, который очевиден: космический атеизм, космический теизм; при полном незнании Кому бы поклониться, факт поклонения. Запах соусного зайца, т. е. уже изготовленного и именно из «зайца», не только был вокруг него, он был как бы облит этим соусом, пропитан в «бедном пиджаке» небесного-«Приживальщика» (см. «Кошмар Ив. Федор.»), но никогда по следу этого запаха не дерзнул двинуться, и отверг, не понял, что если есть святое (как было в нем это чувство) — есть и Святой, если рвется с уст молитва — силен Вихрь, ее срывающий с наших губ. — Одна подробность: «длинные тени», и также скользящие «по гладкой воде» до «пересечения с каменным о-вом» — это тень Везувия, пролагающего через Неаполитанский залив до маленького каменного островка Капри. Ее никогда не мог, как и заката солнца, видеть Свидригайлов, и от этого предпочитал оставаться в отечестве. «Тут по крайней мере себя не винишь».

XXVI

В «Подростке», 1875-го года, есть чуть-чуть мелькающая фигурка Тришатова, странного мальчика, т. е. собственно уже молодого человека, но который, однако, везде называется и почему-то производит действительно впечатление мальчика. В нем есть нега, и совершенное отсутствие твердых, мужественных частиц. Он — член общества шантажистов и мошенников, руководимого Ламбертом, наглым и глупым негодяем, который характеризует его, кратко говорит:

— Это тебе Тришатов нашептал на меня: я видел — вы там шептались. Ты — дугхак после этого. Альфонсина так даже гнушается, что он к ней подходит близко... Он мерзкий (стр. 426).

И действительно, когда, вытянув шею, хорошенький мальчик попросил ее раз поправить ему галстук, эта французенка, которой Ламберт говорит как собаке: «тубо», дико от него отстранилась:

— Ah le petit vilain, — ne m'approchez pas, ne me salissez pas... * (стр. 415).

Мальчик «такой хорошенький и щегольски одетый» (415) действительно в самом складе речей представляет какую-то немужскую гибкость, даже когда негодует и выходит из себя:

— Позвольте, Ламберт; я прямо требую от вас сейчас же десять рублей, — рассердился он и вдруг стал от этого еще вдвое лучше: — и не смейте никогда говорить глупостей, как сейчас Долгорукому. Я требую десять рублей, чтобы сейчас отдать рубль Долгорукому, а на остальные куплю Андрееву тотчас шляпу — вот сами увидите (415).

Шопот с «подростком»-Долгоруковым действительно был: это — в татарском трактире, после грязной и грубой сцены, в которой наскандалил «долговязый» и вечно неумытый Андреев, которого Ламберт держал на недорогой роли «буяна», «драчуна», «скандалиста» в нужных местах, нужную минуту и для нужной

40 * А, гадкий мальчишка, — не подходите ко мне, вы меня запачкаете... (фр.).

цели: общество было сложное, и шантаж составлял только одну и самую ценную сторону его доходов. Когда поднялся шум —

Тришатов с чашкою кофе перешел с своего места ко мне и сел со мною рядом.

— Я его очень люблю, — начал он мне *с таким откровенным видом, как будто* всегда со мной об этом говорил.

— Вы не поверите, как Андреев несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и все у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется — это он с отчаяния. И у него ужасно страшные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный — это все одно и нет разницы: и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или все равно — можно делать и доброе и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платье по месяцу, пить, да есть, да спать — и только. Но поверьте, что это он — только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому накурелесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет; он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жалче... И к тому же такой большой и сильный и вдруг — так совсем заревет. Какой бедный, не правда ли? Я его хочу спасти, а *сам я — такой скверный, потерянный мальчишка, вы не поверите!* *Пустите вы меня к себе, Долгорукий, если я к вам когда приду?*

— О, приходите, я вас даже люблю.

— За что же? Ну, спасибо. Послушайте, выпьемте еще бокал. Впрочем, что ж я? Вы лучше не пейте. Это он правду сказал, что вам нельзя больше пить, — а я все-таки выпью. Мне уже теперь ничего, а я, верите ли, *ни в чем себя удержать не могу*. Вот скажите мне, что мне уже больше не обедать по ресторанам, и я на все готов, чтобы только обедать. О, мы искренно хотим быть честными, уверяю вас, но только мы все откладываем,

А годы идут — и все лучшие годы

А он, я ужасно боюсь — повесится. Пойдет и никому не скажет. Он такой. Нынче все вешаются; почем знать — может, много таких, как мы? Я, например, никак не могу жить без лишних денег. Мне лишние гораздо важнее, чем необходимые. Послушайте, любите вы музыку? Я ужасно люблю. Я вам сыграю что-нибудь, когда к вам приду. Я очень хорошо играю на фортепьяно и очень долго учился. Я серьезно учился. Если б я сочинял оперу, то знаете, я бы взял сюжет из Фауста. Я очень люблю эту тему. Я все создаю сцену в соборе, так, в голове только воображаю. Готический собор, внутренность, хоры, гимны, входит Гретхен, и знаете — хоры средневековые, чтобы так и слышался пятнадцатый век. Гретхен в тоске, сначала речитатив, тихий, но ужасный, мучительный, а хоры гремят мрачно, строго, безучастно

Dies irae, dies illa! *

И вдруг — голос дьявола, песня дьявола. Он не видим, одна лишь песня, *рядом с гимнами, вместе с гимнами, почти совпадает с ними, а между тем, совсем другое* — как-нибудь так это сделать. Песня *длинная, неустанная*, это — теперь, непременно теперь. Начинает тихо, нежно: «Помнишь, Гретхен, как ты, еще невинная, еще *ребенком, приходила с твоей мамой в этот собор и лепетала молитвы по старой книге?*» Но песня все сильнее, все страстнее, стремительнее; ноты выше: в них слезы, тоска, безустанная, безвыходная, и, наконец, отчаяние: «Нет прощения, Гретхен, нет здесь тебе прощения!». Гретхен хочет мо-

* День гнева, сей день (лат.).

литься, но из груди ее рвутся лишь крики — знаете, когда судорога от слез в груди — а песня сатаны все не умолкает, все глубже вонзается в душу, как острое, все выше — и вдруг обрывается почти криком: «Конец всему, проклята!». Гретхен падает на колена, сжимает перед собой руки — и вот тут ее молитва, что-нибудь очень кроткое, полуречитатив, но *наивное, без всякой отделки, что-нибудь в высшей степени средневековое, гетыре стиха, всего только гетыре стиха* — у Страделлы есть несколько таких нот — и с последней нотой обморок! Смятение. Ее поднимают, несут *и тут вдруг громовой хор. Это — как бы удар голосов, хор вдохновенный, победоносный, подавляющий, что-нибудь вроде нашего Дори-носи-ма чин-ми* — так, чтоб *все потряслось на основаниях, и все переходит в восторженный, ликующий, всеобщий возглас: Hossanna!* — Как бы крик всей вселенной, а ее несут-несут...

Идея — «осанны», как и «всемирной гармонии», с которой она не смешивается, среди которой она является как минута в веках, как лирика в эпосе, — есть одна из кардинальных идей Достоевского. «Осанна» небес, целого мира... но ведь *за что? за гетыре строчки регитатива?* Тут — не к ней «осанна», тут *из какой-то* груди «осанна», «сотрясение небес», и мы опять оглядываемся: где? в каких точках? из которой груди?

— Ne m'approchez pas, ne me salissez pas...

Кстати, в оставленной или почти забытой, за внезапную кончиной, «Записной книжке» Достоевский записал: «Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла...».

— И вот тут — занавес! Нет, знаете, если б я мог, я бы что-нибудь сделал! Только я ничего уже теперь не могу, а *только все мечтаю. Я все мечтаю, все мечтаю; вся моя жизнь обратилась в одну мечту, я и ногою мечтаю...*

Как бы разрежение души, как бы колебание ее как полотна эфира — предвзвешивание тех слез и молитвы, которые мы читали у Кириллова и «хромоножки». Почему, однако, это все не после карт? Не у Андреева, также «проевшего приданое сестры, и вообще все у них», т. е. очень грешного, очень преступного? Почему Андреев «ревет» и этот — «все мечтает, все мечтает»...

«Мирра падала с рук моих, и с перстов моих капала мирра на ручки замка»... Как эта душа, начинающая странно литься, переливаться в мечту напоминает дивно-мистический стих *Песни песней*, или, точнее, этот стих, эта «любящая мирра» есть символ этой души, с которой вот-вот закапают благоуханнейшие молитвы. Собственно, мы уже читаем их завиток; эта «Hossanna» — уже собирающаяся, стекающая, наливающаяся до полноты молитва. Откуда бы?

— Ах, Долгорукий, читали вы Диккенса «Лавку древностей»?

— Читал; что же?

— Помните вы... Постойте, я еще бокал выпью — помните вы там одно место в конце, когда они — сумасшедший этот старик и эта прелестная *тринадцатилетняя девогка, внугка его*, после фантастического их бегства и странствий, приютились, наконец, где-то на краю Англии, близ какого-то готического средневекового собора, и эта девочка какую-то тут должность получила, собор посетителям показывала... И вот раз *закатывается солнце...*

Мы снова вспоминаем Свидригайлова, с его мистическим страхом-молитвою перед закатом.

...и этот *ребенок на паперти собора*, вся облитая последними лучами, стоит и смотрит на закат с тихим задумчивым созерцанием в детской душе, удивленной душе, как будто перед какой-то загадкой, потому что и то, и другое, ведь как загадка — солнце, как мысль Божия, а собор — как мысль человеческая... не правда ли? Ох, я не умею это выразить, но только Бог такие первые мысли от детей любит... А тут, подле нее, на ступеньках, сумасшедший этот старик-дед глядит на нее остановившимся взглядом... Знаете, тут нет ничего такого, в этой картине у Диккенса, совершенно ничего, но этого вы в век не забудете, и это осталось во всей Европе — от чего? Вот прекрасное! Тут *невинность!* Э, я не знаю, что тут, только хорошо. Я все в гимназии романы читал. Знаете, у меня сестра в деревне, только годом старше меня... О, теперь там уже все продано и уже нет деревни! Мы сидели с ней на террасе, под нашими старыми липами, и читали этот роман, и солнце тоже закатывалось, и вдруг мы перестали читать и сказали друг другу, что и мы будем также добрыми, что и мы будем прекрасными и я тогда в университет готовился и... Ах, Долгорукий, знаете, у каждого есть свои воспоминания!.. («Подросток», изд. 82 г., стр. 423—424).

В этом же романе есть два места, важные в тоне и в минуте, к которой отнесен тон: сестра «подростка», Лиза, девушка, — только что забеременела от испорченного и несчастного его товарища, которого полюбила, как это часто делают девушки, из сострадания. Умная и энергичная, великодушная как все энергичные, она обвела теплом и честностью почти слабоумного и до позора бесчестного юношу. Тайно она приходит к нему на квартиру, и раз почти столкнулась с братом. Вздолбанный и не веря себе, он наскоро распрощался с приятелем и вышел на улицу:

Шел я тихо и, кажется, прошел очень много, шагов пятьсот, как вдруг почувствовал, что меня слегка ударили по плечу. Обернулся и увидел Лизу: она догнала меня и слегка ударила зонтиком. Что-то *ужасно веселое*, и на капельку и лукавое, было в ее *сияющем взгляде*.

— Ну, как я рада, что ты в эту сторону пошел, а то бы я так тебя сегодня и не встретила! — Она немного задыхалась от скорой ходьбы.

— Как ты задохлась.

— Ужасно бежала, тебя догоняла.

— Лиза, ведь это тебя я сейчас встретил?

— Где это?

— У князя... у князя Сокольского...

— Нет, не меня, нет. Нет, меня ты не встретил...

Я замолчал и мы прошли шагов десять. Лиза странно захохоталась:

— Меня, меня, конечно меня! Послушай, ведь ты же меня сам видел, ведь ты же мне глядел в глаза и я тебе глядела в глаза, так как же ты спрашиваешь, меня ли ты встретил? Ну, характер! А знаешь, я ужасно хотела рассмеяться, когда ты там мне в глаза глядел, ты ужасно смешно глядел.

Она хохотала ужасно. Я почувствовал, как *вся тоска сразу оставила мое сердце*.

.....

— Ну, знаешь что, Лиза, Бог с ней с квартирой, и с ней самой*...

— Нет, она прекрасная...

* Хозяйкой квартиры, где занимал несколько комнат князь Сокольский. Отворив одну из них, уединенную, случайно, «подросток» и увидел там свою сестру.

— И пусть, и книги ей в руки. Мы сами прекрасные! *Смотри, какой день, смотри как хорошо!* Какая ты сегодня красавица, Лиза. А, впрочем, ты ужасный ребенок.

— Аркадий, скажи, та девушка-то, вчерашняя-то *.

— Ах, как жаль, Лиза, ах как жаль!

— Ах, как жаль! Какой жребий! Знаешь, *даже грешно, что мы идем такие веселые, а ее душа где-нибудь теперь летит во мраке*, в каком-нибудь бездонном мраке, согрешившая, и с своей обидой... Аркадий, кто в ее грехе виноват? Ах, как это страшно! Думаешь ли ты когда об этом мраке? Ах, как я боюсь смерти, и как это грешно! *Не люблю я темноты, то ли дело такое солнце!* Мама говорит, что *грешно бояться...* Аркадий, знаешь ли ты хорошо

10 маму?

— Еще мало, Лиза, мало знаю.

— Ах, какое это существо; ты ее должен, должен узнать! Ее нужно особенно понимать... Это — какой-то разлив сочувственного понимания на окружающее; между тем собственное более чем грустное, собственно даже безвыходное положение.

Лиза не обманывалась в качествах князя и не рассчитывала, да, кажется, и не хотела, быть его женою — должно бы сузить ее, озлобить, противопоставить всему окружающему. Но новая жизнь ширится и растет в ней... Мы указываем — растет как любовь, как понимание, как молитва.

— Да ведь вот же и тебя не знал, а ведь *знаю же теперь всю. Всю в одну минуту узнал.*

20 Ты, Лиза, хоть и боишься смерти, а, должно быть, гордая, смелая, мужественная. Лучше меня, гораздо лучше меня! Я тебя ужасно люблю, Лиза. Ах, Лиза! *Пусть приходит, когда надо, смерть, а пока жить, жить!* О той несчастной пожалеем, а жизнь все-таки *благодарим, так ли? Так ли?* У меня есть «идея», Лиза. Лиза, ты ведь знаешь, что Версилов отказался от наследства? Ты не знаешь души моей, Лиза; ты не знаешь, что значит для меня человек этот!..

— Ну, вот не зная, все знаю...

— Все знаешь? Ну, да еще бы нет! Ты умна; ты умнее Васина. Ты и мама — у вас глаза проникающие, гуманные, то есть взгляд, а не глаза, я вру... Я дурень во многом, Лиза.

— Тебя нужно в руки взять, вот и кончено!

30 — Возьми, Лиза. *Как хорошо на тебя смотреть сегодня. Да знаешь ли, что ты прехорошенькая? Никогда еще я не видал твоих глаз... Только теперь в первый раз увидел... Где ты их взяла сегодня, Лиза? Где купила? Что заплатила?..*

Это какой-то дифирамб любви; т. е. его к ней, к какому-то новому ее виду, новому чувству, в ней разлитому, новому значению, которое из нее изливаясь пронизывает его и покоряет себе.

— Лиза, у меня не было друга, да и смотрю я на эту идею **, как на вздор; но с тобой не вздор... Хочешь, станем друзьями? Ты понимаешь, что я хочу сказать?..

— Очень понимаю.

— И знаешь, без уговору, без контракту, — просто будем друзьями.

40 — Да, просто, просто, но только один уговор: если когда-нибудь мы обвиним друг друга, если будем в чем недовольны, если сделаемся сами злы, дурны, если даже забудем все

* Самоубийца.

** Удивительно привлекательный «подросток» вечно носится с «идеями» и «садится с ними в лужу»; самый роман, несмотря на ужасную запутанность и, так сказать, ненужность хода, даже его непонятность — вечно свеж при всяком новом чтении.

это, — то не забудем никогда этого дня и вот этого самого часа. Дадим слово такое себе. Дадим слово, что всегда припомним этот день, когда мы вот шли с тобой оба рука в руку, и так смеялись, и так нам весело было... Да? Ведь, да?

Для него — она важна; для нее — только день этот, и он — не в себе самом, но по соображению с этим днем, как памятный знак на нем. Мы вспоминаем сомнамбулизм Лотовых дочерей; и всякая истинно и в истине понесшая* тотчас, как бы свернувшись вниманием внутрь, становится сомнамбулой ко всему окружающему.

— Да, Лиза, да, и клянусь; но, Лиза, я как будто тебя в первый раз слушаю... Лиза, ты много читала? 10

— До сих пор еще не спросил? Только вчера в первый раз, как я в слове оговорилась, удостоили обратить внимание, милостивый государь, господин мудрец.

— А что же ты сама со мной не заговаривала, коли я был такой дурак?

— А я все ждала, что поумнеешь. Я выглядела вас всего с самого начала, Аркадий Макарович, и как выглядела, то и стала так думать: «Ведь он придет же, ведь уж наверно кончит тем, что придет», — ну, и положила вам лучше эту честь самому предоставить, чтобы вы первый-то сделали шаг: «Нет, думаю, походи-ка теперь за мной!».

— Ах ты, кокетка! Ну, Лиза, признавайся прямо: смеялась ты надо мной в этот месяц, или нет?

— Ох, ты очень смешной, ты ужасно смешной, Аркадий! И знаешь, я, может быть, за то тебя всего больше любила в этот месяц, что ты вот *этакий гудак*. Но ты во многом и дурной чудак — это чтобы ты не возгордился. Да знаешь ли, кто еще над тобой смеялся? Мама смеялась, мама со мной вместе: «Экий, шепчем, чудак, ведь *этакий чудак!*».

Удивительно это проникновенное слияние начинающейся матери со своей матерью: внимание материнства завязывающегося, плода понесенного — к чреву, выносившему плод.

— А ты-то сидишь и думаешь в это время, что мы сидим и тебя трепещем.

— Лиза, что ты думаешь про Версилова**?

— Я очень много о нем думаю; но знаешь, мы теперь о нем не будем говорить. Об нем сегодня не надо; ведь так? 30

Это — нечистое воспоминание их жизни; нечистое, потому что здесь любовь пересекла любовь же, отняла, воспользовалась сильнейшим юридическим своим положением. Это мрак, та «темнота», которой боится Лиза. Т. е. день этот, диалог этот есть именно утро, чистота и свежесть утренней росы, которой не должна коснуться никакая пыль с большой дороги, из-под человеческого колеса.

— Совершенно так! Нет, ты ужасно умна, Лиза! Ты непременно умнее меня. Вот пожди, Лиза, кончу это все и тогда, может, я кое-что и скажу тебе...

— Чего ты нахмурился?

— Нет, я не нахмурился, Лиза, а я так... Видишь, Лиза, лучше прямо: у меня такая черта, что не люблю, когда до иного щекотного в душе пальцами дотрогиваются... или, луч- 40

* Серьезная, чистая, не развращенная; т. е. многовнимательная к понесению, многодумная.

** Оба «подростка» трепетно любят своего незаконного отца Версилова; мать их — его бывшая крепостная, которую вскоре после замужества с дворовым Долгоруковым, он полюбил и прижил с нею этих птенцов.

ше сказать, если часто иные чувства выступают наружу, чтоб все любовались, так ведь это стыдно, не правда ли? Так что я иногда лучше люблю хмуриться и молчать: ты умна, ты должна понять.

— Да мало того, я и сама такая же; я тебя во всем поняла. Знаешь ли ты, что и мама такая же?

И все — «мама»...

— Ах, Лиза! Как бы только *подольше прожить на свете!* А? что ты сказала?

— Нет, я ничего не сказала.

— Ты смотришь?

10 — Да и ты смотришь. Я на тебя смотрю и люблю тебя («Подр.», 187–190).

Глубочайший мистицизм всей этой сцены состоит в том, что он гораздо позднее узнает определенно и точно о состоянии сестры. Но семья, которое сейчас она несет в себе, преобразуясь в молитву ее движений, слов, улыбки, сияния глаз, — одновременно законодательно действует и на него, создавая этот диалог, эту молитву общения брата с сестрою, дочери с матерью, и их обоих порыв к солнцу, к жизни, вражду к тьме и смерти. «Имамы...» поступков и слов так ясно бьет из Тайны, оживотворившей за полчаса ее. — Сейчас мы прочтем диалог глубочайшей чувственности, тайн именно Сидона и Тира в той неисследимой грани их, где они перешли в священные тексты, нами читаемые. Он, да и все в доме, узнали
20 о секрете сестры. Весь диалог, в чувственной стороне, аналогичен диалогу Раскольникова с Соней, когда он ее мучительно спрашивает, не пробовала ли она копить и всякий ли день бывает получка: она отвечала, все более стыдясь, все более понижающимся шопотом. Чувственность же заключается в склонении внимания брата и матери к genital'иям сестры и дочери, прислушивание к ним без внимания к остальным сторонам ее существа; трепет к ним любви, их уберега-

— ...Знает Версиллов*?..

— Мама ему ничего не говорила: он не спрашивает, верно не хочет спрашивать...

— Знает, да не хочет знать, это — так, это на него похоже!.. Неужели ты не подумала,

30 Лиза, что это — маме укор? Я всю ночь об этом промучился; первая мысль мамы теперь «Это потому, что я тоже была виновата; а какова мать — такова и дочь!».

— О, как это злобно и жестоко ты сказал! — вскричала Лиза с прорвавшимися из глаз слезами, встала и быстро пошла к двери.

Вот та все-таки необходимая сторона упрека, которая, не находя себе берега, не вводимая в русло — разливается в человеческом море желчью разъединения, уныния, смертных унылых отношений. Ощущение глубочайшего несчастья себя, откуда сверкает лезвие ножа.

— Стой, стой! — обхватил я ее, посадил опять и сел подле нее, не отнимая руки.

40 — Я так и думала, что все так и будет, когда шла сюда, и тебе непременно понадобится, чтобы я непременно сама повинилась. Изволь, винюсь. Я только из гордости сейчас мол-

* «Подросток» (аналогичный Коле Красоткину и другим мальчикам в «Братьях Карамазовых») безмерно любит своего незаконного отца, хоть и говорит ему вечно дерзости, «мстя за оскорбление мамы и свое социальное положение», и в сущности только на него и смотрит, им и интересуется. Весь роман носит дивно чистый, невинный какой-то, колорит.

чала, не говорила, а вас и маму мне гораздо больше, чем себя самое, жаль... Она не договорила и вдруг горячо заплакала.

— Полно, Лиза, не надо, ничего не надо. Я — тебе не судья. Лиза, что мама? Скажи, давно она знает?

Затем и начинается глубочайшая часть диалога; спуск от поверхности внешнего страха, «страха иудейска» перед миром, мятущимся внутрь истинного и сокровенного, к правде и святому:

— Я думаю, что давно; но я сама сказала ей недавно, когда *это* (кур. Д.) случилось, — тихо проговорила она, опустив глаза.

— Что же она?

10

— Она сказала: «Носи!» — еще тише проговорила Лиза.

— Ах, Лиза, да, «носи!» Не сделай чего над собой, упаси тебя, Боже!

— Не сделаю, — твердо ответила она и вновь подняла на меня глаза.

И все заканчивается улыбкой к солнцу: он спрашивает, как она такого могла полюбить (князь до того ослаб, что колеблется и не знает, любит ли она его за титул, или за деньги, которые он навязывает «подростку» для игры в карты и тот берет, ничего не подозревая):

— Я, Лиза, думаю, что ты — крепкий характер. Да, я верю, что не ты за ним ходишь, а он за тобой ходит, только все-таки...

— Только все-таки «за что ты полюбила — вот вопрос!» — подхватила, вдруг усмехнувшись шаловливо, как прежде, Лиза, — и ужасно похоже на меня произнесла: «вот вопрос!». И при этом, совершенно как я делаю при этой фразе, подняла указательный палец перед глазами» (*ib.*, 284—286).

20

XXVII

Я только что прочел, думая найти что-нибудь для темы «*Bel ami*» * — Мопассана, — роман, который пробудил столько внимания к себе гр. Л. Толстого. Удивителен инстинкт (основанный на мимолетных критических замечках), всегда удерживавший меня даже от начинания читать его или Зола; но я увидел, как в течение долгих лет этот инстинкт не обманывал меня. Я не только не мог прочесть всего романа, но даже и ни одной главы в нем сплошь. Скука, та необъяснимая и всепобеждающая скука, которая овладевает не только умом вашим, но и, кажется, всеми членами от прикосновения «посредственности хладной», едва допустила выискать места тахит'альной чувственности, которые собственно мне были нужны. Совершенное отсутствие соит'ального тяготения в главном герое романа производит неудержимое отвращение, как созерцание северной тундры, промерзлой и усиливающейся, но не могущей оттаять, и только грязной в краткое полужето. Как беден Дю-Руа перед Федором Павловичем; как даже гадов, т. е. безжизнен, он перед ним. «Завтрашний депутат и министр» (см. конец романа), сегодня и вчера мошенничающий, испытывает равно и ко всем женщинам отвращение.

30

* «Милый друг» (*фр.*).

40

Ни одного огонька, по жилам пробежавшего; ни на секунду — блеска глаз; играющей на губах улыбки. Даже невинность, стоящая перед ним (невеста, конец романа), не возбуждает ничего в нем, кроме счета денег в ее кармане. Если, однако, не соблазняясь никогда, он всех вокруг соблазняет, — это зависит от крайнего увядания целого французского общества, в романе изображенного, где женщины, и только оне одне, сохраняют еще соит'альное тяготение, и не находя ему ответа, кидаются на всякую возможность ответа. Что-то похожее на страсть и любовь, однако очевидно не доступную изобразительным способностям автора и вероятно вовсе ему не понятную, есть у девушек (невеста, конец романа) и женщин (мать этой невесты) романа, вообще гораздо более привлекательных и почти сносных. В этом отношении роман может быть даже интересен, т. е. если бы его читать и вдумываться: где мы различаем пол, где в нем начинается похоть — удивительно, но совершенно бесспорно пробуждается наше сочувствие: «Ты — человек!», т. е. «Ты — брат мне!». Мы можем осуждать, мы можем гневаться; мы можем разбить «лик человеческий» в его обезображении; но уже все-таки с сознанием, что разбиваемое — именно «лик человеческий», и отношения гнева и осуждения во всяком случае суть человеческие, братские отношения. Дю-Руа («bel ami») обладает, или, точнее, страдает, какою-то мочеточивостью; и весь роман развертывается в длинную вереницу столбиков, около которых пробегая эта собачка поминутно и зачем-то вечно останавливается; иногда кажется для воображения, потому что ясно иногда она не может ничего сделать. Но нет крепости сил в ней; какая-то внутренняя заслонка отсутствует, или, точнее, откуда-то выпала необходимая заслонка, и вечное «кап-кап», производя неприятную мокроту, заставляет ее торопливо подбегать к ближайшему столбику, часто почти без результата. «Деточки мои, поросяточки...» уже это приурочивание Федора Павловича к «рассказу» содержит — менее чем в строке — бездны чувственности сравнительно со всем длинным повествованием Мопассана; «и как это только вьель-фильки остаются»: вот полнота соит'ального тяготения. «До 70, даже до 80 лет»... но Дю-Руа и в 32 года умеет только писать передовые статьи в газеты. Именно в отношении к нему нельзя повторить глубокого слова Ивана Карамазова о «центростремительной силе» в нашей планете, и о том, что ее «страшно еще много» на земле. В нем осталась только центробежная: он вечно и от всего удаляется, как от прекрасной и юной своей невесты, когда, выходя с нею из-под венца, уже пожимает двусмысленно руку какой-то старой и сохраняющей пикантность знакомой: т. е. получувствуя что-то к ней, ничего не чувствует к непорочной девушке, которая сейчас стала его. «Пусть дом Иоава никогда не останется без *семе<но>тогивого*» — это энергическое проклятие Давида жестокому своему полководцу за убийство Авенира можно отнести как эпиграф к роману Мопассана, который можно прочесть и, прочтя, хочется забыть.

Митя Карамазов, после того как проговорил гимн Церере, так мало идущий к его фигуре, вылился следующим рассуждением, по-видимому комментирующим две его последние строчки:

Насекомым — сладострастье...

Ангел — Богу предстоит.

Но довольно стихов! Я пролил слезы и ты дай мне поплакать. Пусть это будет глупость, над которой все будут смеяться, но ты — нет (он говорит с братом Алешей). Вот и у тебя глазенки горят. Довольно стихов. Я тебе могу сказать теперь о «насекомых», вот о тех, которых Бог одарил сладострастием:

Насекомым — сладострастье...

Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангел, это насекомое живет...

Что он не ошибся, Алеша в том же диалоге подтверждает это восклицанием: «Я не от твоих речей покраснел и не за твои дела, а за то, что *я то же самое, что и ты*» («Бр. Кар.», I, 125). 10

...Живет, — продолжает Митя, — и в крови твоей бури родит. Это — бури, потому что сладострастье — буря, больше бури! Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я много об этом думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай, как знаешь, и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Чорт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей — знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей (*ib.*, I, 123–124). 20

Этот монолог может считаться философскою «конклюдией» длинных, очень длинных лет размышления, наблюдения, анализа, самоуглубления; итогом, абстрактно выраженным, ряда образов, начиная с отрицательно-насмешливого изображения кн. Вальковского, вдумчивого образа Свидригайлова, полупризнаний собственных в образе Ставрогина, и, наконец, широко-преступной картины всех Карамазовых, «семени» Карамазовского. «Начинает» человек — «кончает» т. е. «заканчивает» прежний идеал, «заканчивается» сам в идеале этом: все это показывает не географическую близость «берегов», но динамическую; не «близость», но сближение; что «берега», чем долее, тем начинают, таинственно, сходитьсь и они в сущности срастаются, или, что то же, на какой-то неисследимой глубине они лежат единством существа. Мы слышали речь Тришатов; Достоевский вложил в уста Кириллова и «хромоножки», т. е. он их устами из себя высказал речи совершенно особенного и исключительного экстаза, тона и порыва, до какого смертные не возвышаются. Но вот факт истории: Рафаэль не умел ничего еще рисовать, кроме ликов Мадонны, и небесное в Мадонне никем не было схвачено, как им. Он умер что-то около тридцати лет, вдруг переросши могучего старика Микель-Анджело: небесный житель на земле, с небесными черта- 40

ми в своем лике; умер он без болезни, без ясного страдания, пролившись как драгоценный сосуд благовонной «мирры» около «фарнарины»: мы не пишем «Фарнарина», ибо это имя, многими принимаемое за собственное, есть нарицательное название «булочницы» и никто не знает даже, как звали ту несколько грубоватую, по крайней мере по уму и воспитанию, девушку, которую он так безмерно и таинственно, но очевидно чувственно, любил:

И всеми тайнами лобзанья
И дивной негой утомлю...

10 Таинство природы человеческой, как мы уже показали на детальнейшем разборе множества фигур, диалогов, монологов, заключается в том, что в ней не «умещаются» только, по ее «широте» и «разноместности», эти два идеала, но, когда выник один, мы наблюдаем с любопытством, — что выник уже и другой около него, и неисследимым остается для нас первенство которого-нибудь по времени: они ласкают друг друга, они растут как бы лобызаясь, и, собственно, не в себе борются, не *in natura rerum* *, но наша рефлексия пытается и обыкновенно не может их разделить, лишь вербально противопоставляя... Незаметно говор и шум улицы переходит во вдумчивые диалоги, исполненные таинственных признаний, глубины, проникновения; пестрота красок речи исчезает: нет шутки, прибауток, анекдота в ней; она становится монотонною, однотонною: но это краски переходят в музыку или, точнее, сбегая, эти краски отдают место музыке. Речь получает устремленность. Богатство мира, пестрота природы умерли и для Рафаэля, заменившись устремлением к одному лику. Но меняется и форма речей: все грубое и жесткое в отношении к человеку и в отношении к природе пропало, заменившись лучами пронизывающей любви; нет уныния — есть свет; тихий и вместе неустанно льющийся восторг. Таков шопот Раскольникова и Поли; его же и Сони; бормотанье «хромоножки»; «счастье» и «красота» Кириллова, с его молитвой ползущему пауку; и, в конце концов, в последнем анализе, таков дивный художник, который, стоя за всеми этими фигурами, шепчет нам об удивительных тайнах бытия и о том, что он молится, что он открыл тайну молитвы, даже и не найдя лица для молитвы. Но даже более, т. е. мы знаем более и именно о художнике: 20 был в жизни его момент, где в изумительной близости выникли оба эти «идеала», о которых он заговорил здесь: это — Пушкинская речь. Все ее слышавшие передают, что она была сказана в каком-то религиозном трепете, и дух пророческого порыва мы читаем в ее тексте: именно он тогда потряс залу и сделал ее так памятною, так многолетне-памятною. Зала... дворянское собрание, в Москве; тысячная толпа; тема — Пушкин и, в частности, значение его в истории нашей литературы:

...сладострастием насекомых, сладострастием пауковой самки, съедающей своего самца... (изд. 83 г., т. XII, стр. 429).

40 — не правда ли: эти две строки, в такую минуту, на такой теме, перед таким собранием — дикий кошмар. Это — строка из «Карамазовых», из признаний Митеньки Алеше, с заключением: «Ты, ангел, меня не суди», и ответом Алеша: «Я сам такой же»; наконец, по имени «насекомого» мы даже узнаем, с какой страни-

* в природе вещей (*лат.*).

цы «Карамазовых» она взята, из каких глубин и странностей и невозможностей признания... Но это — мы говорим о речи в Дворянском собрании — как бы не речь была, и мало, в сущности, она имела отношения к историческому Пушкину, воспользовавшись им как темой и предлогом, взяв имя его как только эпитафия для собственного и совершенно свободного от земли полета, для полета высоко над землею. Страдалец мысли и слова проговорил свою молитву; и как она не была «молитвою» поступков, но идей и слов, второй «идеал» и не сказался поступком диким, включенным в цепь святых подвигов, но диким словом среди изумительно возвышенных. Вот факт, нами осязаемый, «такого-то числа в такой-то улице»: религиозный взрыв души, который всеми в речи почувствовался, нарастая, усиливаясь, на некоторой очень высокой точке раздвоился и дал воспоминание сладострастнейшего в жизни целой природы момента, воспоминания тут моментально возникшего, вырвавшегося из уст, вставившегося потом и в напечатанную речь, но которого бесспорно в тексте речи написанной не было, в конспекте ее не было, не было в плане или вообще в чем бы то ни было, чем он руководился при чтении. Строки эти относятся к экстазу произнесения, к дикции, которая вдруг * на обдуманную тему полилась как свободное пророчество, как творчество этой минуты, как «мадонна рисуемая», где мы замечаем — если уже он настаивает — «содомскую паучицу». Но он это и знал, т. е. он испытывал это и ранее, в длинные ночи уединения, когда писал свои волшебного-глубокомысленные создания, и где, как мы видим, в своем роде пророчество о «народе-богоносце» осложнилось воспоминанием о растлении детей, и уже не аллегорический — как в словах Карамазова — но подлинный содомист Тришатов рисует образы музыки и дает музыку мысли невыразимой нежности, любви и прощения. Идеалы лобзаются; они ясно сростаются; тайна, не прозреваемая Достоевским, в том, что на какой-то стадии развития, в какой-то таинственной точке, и, очевидно, в последнем основании вещей, «идеал Содомы» уже не обнаруживает в себе ни одной черты знакомой нам, грязной и грубой, но раскрывается устами невыразимой чистоты, небесной правды, и тот и другой «идеал», который так противоположен грязной и грубой его оболочке, этой одежде его космического затаивания, не только не отвращается небесного зерна, под нею затаившегося, но принимает его в себя и, собственно, с ним сопрягается как с «уготованною» полнотой и целостью соит'ального отношения. «Дух Божий создал — *бара* — меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь», говорит Иову его друг (33, ст. 4), говорит о себе как об Адаме, и собственно всякий человек есть Адам, также вновь и первоначально и там же творимый, как первый. Вот «дыхание уст» в уста, которые нам представляются такою грязною «глиной». Или, по отношению к целому народу, этому коллективному, многоголовому, тысячерукому «Адаму», — опять какой образ и сравнение:

* И может быть, даже неожиданно для оратора, вне рассказов его за час. Нет никаких воспоминаний, чтобы отъезжая на праздник, или в дни, предшествующие речи, Д-ский показывал вид, что вот «он скажет что-то особенное», он «удивит», у него «есть что-то». А хоть в жесте или слове это непременно высказалось бы и было бы окружающими, чьи воспоминания мы имеем, замечено и отмечено. Импровизация была стенографирована; ни в каком случае речь не была читана по рукописи; и стенографированный экземпляр мы имеем в печати.

Твой корень и твоя родина — в земле Ханаанской; отец твой — Аморец и мать твоя — Хеттеянка; при рождении твоём, в день как ты родилась*, — пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения и солью не была осолена и пеленами не повита**. Ни чей глаз не сжалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого; но ты выброшена была на поле, но презрения к жизни твоей, в день рождения твоего. И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: «В кровях твоих живи!». Так, Я сказал тебе: «В кровях твоих живи!»***. Умножил**** тебя, как полевые растения; ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты: поднялись груди и обросли волосы, но нага и непокрыта ты была. И проходил Я мимо тебя и увидел тебя, и вот, это было время твое, время любви. И поднял Я воскрылия мои на тебя и наготу твою покрыл; и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, — и ты стала Моею. Омыл Я тебя водою и смыл с тебя кровь твою и помазал тебя елеем. И одел тебя в узорчатое платье и обул тебя в сафьянные сандалии, и опоясал тебя виссоном и покрыл тебя шелковым покрывалом. И нарядил тебя в наряды и положил на руки твои запястья и на шею твою — ожерелье. И дал тебе кольцо на твой нос и серьги — к ушам твоим и на голову твою — прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была виссон и шелк и узорчатые ткани; питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что ты была вполне совершенна при том великолепном наряде, который Я возложил на тебя, говорит Господь Твой***** (*Иезекииль*, гл. 16, ст. 3–14).

* Замечательно это повторение, уже и ранее отмеченное нами: в Библии всегда сладкое слово «рождения», «бара», повторяется, и мысль как бы не хочет от него оторваться, вращает как высшую сладость в устах своих.

** Все это обращено к Израилю; слова, нами ощущаемые, как не относящиеся к нашей мысли: «Скажи: так говорит Господь Бог [дщери] Иерусалима: твой корень и твоя родина...» etc.

*** Опять повторение: сладость этих «кровей рождения» и в миг взгляда на них — «живи» и, уже конечно, множься.

30 **** И здесь мы должны припомнить друга Иова: «дух Божий создал меня — дыхание Вседержителя дало мне жизнь» — об индивидуально рождаемом существе, о всяком следовательно темпе народного «умножения».

***** К мысли этой страницы не имеет отношения окончание текста, но мы приведем его, так как он очень любопытен: «Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодействие твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет» (*ib.*, ст. 15 и 16). Это замечательно: вся Библия весь этот особенный гнев ее, льющийся наряду с неизреченной нежностью, есть собственно ярость соит'ального ревнования, и очевидно, самая нежность есть соит'альная же любовь. Дальше еще замечательнее: «ты раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего» (ст. 25)... «как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа — чужих» (стих 32). Вот «воскрылия Мои, поднявшиеся над тобою» с ожиданием мольбы: «се, раба перед Тобою — буди мне»; и смысл слов: «да не будут тебе... инии разве Мене». Еврейский народ есть народ соит'ально сопряженный и вот почему он «избран» или точнее в чем заключается его «избрание». «Посему, выслушай, блудница, слово Господне! Так говорит Господь Бог: за то, что ты так сыпала деньги твои (36)... давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтоб они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою» (33).

Вот истинная идея и об истинном, уже не риторическом и не фантомном бого-«несении»: и образы, и картины, «крови, крови рождения» и «необрезанный пуп», и «подымающиеся груди», и выникающие волосы около таинственных вторых уст, — но уже все свято, уже нет угла нашего зрения и не осталось ничего из грязи, которую собственно этот взгляд наш вносит в предмет. Отсюда эти слова, в день Пасхи читаемые бесспорно религиознейшим на земле народом, «который видел» Бога и наконец который подлинно Его выслушал:

Оглянись, оглянись, Суламита! оглянись, оглянись, и мы, — и мы посмотрим на тебя...
— Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский!

О, как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именная! Окружение бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника; живот твой — круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; и самое чрево — ворох пшеницы, обставленный лилиями; два сосца твои — как два козленка, двойни серны; шея твоя, как столп из слоновой кости; глаза твои — озерки есевонские, что у ворот Батраббима; нос твой — башня Ливанская, обращаемая к Дамаску; голова твоя на тебе, как Кармил, и волосы на голове твоей, как пурпур; царь увлечен твоими кудрями. И как вся ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная, твоею миловидностью. Этот стан твой похож на пальму и груди твои — на виноградные кисти.

Подумал я: взойду на пальму, ухвачусь за ее ветви; и груди твои были бы мне вместо виноградных гроздий, и запах от ноздрей твоих как от яблоков; гортань твоя — как лучшее вино...

— Оно течет прямо к другу моему, услаждая его утомленные уста. Я принадлежу другу моему и ко мне обращено желание его.

— Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах; а к утру пойдем в виноградники, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблоки; там тебе и дам я ласки мои.

— Мандрагоры * уже издали благовоние; и вот все новые плоды при дверях у нас: они — тебе, возлюбленный (*Песнь песней*, гл. 7).

И еще, несколько ниже, в той же и тогда же читаемой книге:

Положи меня, как печать на сердце твое, как перстень на руку твою: ибо крепка как смерть любовь, люта как преисподняя ревность, стрелы ее — как уголь горящий и вся она как пламя.

Обильные воды не могут потушить любви и не зальют ее реки. Если бы кто все богатство дома своего давал за любовь, — был бы с презрением отвергнут (*Песнь песней*, 8, ст. 6—7).

И вот, чтобы уже докончить священные тексты, историческая, фактическая иллюстрация этого «уже горящего», который «ничем не затушается»:

«И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей: так как она была девица и ему трудным казалось что-нибудь сделать с нею». У него был друг, Ионадав, человек очень придумчивый: «Отчего ты так худеешь с каждым днем, сын царев — не скажешь ли мне?». Тот рассказал, и хитрый друг дал совет ему, которому он последовал. Он сказался больным, и когда Давид, его отец, на-

* Плоды — в древности символ чадородия, и как средство возбуждения к чадородию.

вестил наследника престола, он сказал, что ему хочется лепешек, которые хорошо умела готовить Фамарь. Вернувшись, он послал дочь исполнить просьбу брата.

И пошла она в дом брата своего Амнона; а он лежит. И взяла она муки и замесила, и изготовила перед глазами его и испекла лепешки, и взяла сковороду и выложила перед ним.

Мы точно присутствуем перед полупастушеским, полугосударственным народом; и, во всяком случае, народом <м> неиспорченного быта, свежей, чистой крови. Царь в самом деле был пастухом в отрочестве, псалмопевцем — в зрелые годы.

«Но он не хотел есть. И сказал Амнон: пусть все выйдут от меня. И вышли от него все люди. И сказал Амнон Фамари: отнеси кушанье во внутреннюю комнату и я поем из рук твоих». Она исполнила. «И когда она поставила пред ним, чтобы он ел, то он схватил ее и сказал ей: «Иди и ляг со мною, сестра моя!». Но она сказала: «Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле; не делай этого безумия»...».

Удивительно — мы точно слышим голос этой полевой девушки, полевой лилии, в ее кротости и смирении «паче риз Соломоновых» убеленную.

«...И я, куда я пойду с моим бесчестием? И ты, ты и будешь одним из безумных в Израиле; ты поговори с царем; он не откажет отдать меня тебе». Но он не хотел слушать слов ее, и преодолел ее, и изнасиловал ее, и лежал с нею. Потом возненавидел ее Амнон величайшею ненавистью, так что ненависть, какую он ненавидел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и сказал ей Амнон: «Встань, уйди». — И Фамарь сказала ему: «Нет, брат: прогнать меня — это зло больше первого, которое ты сделал со мною». Но он не хотел слушать ее. И позвал отрока своего, который служил ему, и сказал: «Прогони эту от меня вон и запри дверь за нею». На ней была разноцветная одежда, ибо такие верхние одежды носили царские дочери — девицы. И вывел ее слуга и запер за нею дверь.

И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разорвала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила» (*III Царств*, гл. 13, 2—19).

«Красота — вещь страшная, потому что таинственная». Именно плотская красота: «округлого живота» Песни песней, изваянных «бедр», нависшего меж ними «чрева», без всякого и вне всякого отношения к верхнему лицу, — как ясно в случае с Амноном, неизъяснимо-тревожном. Очевидно тут, в безднах этого космического затаивания, небо и земля сошлись; религиозное так ясно тут чувствуется; так ясно чувствуется и «персь земли». И брызнет ли земля на небо, небо ли зальет землю — все через этот путь, внутрь ствола этого «древа жизни», всаженного «в рае сладости»...

«Звала его и он не отзывался мне; искала его и не находила его: встретили меня стражи, обходящие город, избili меня, изранили меня; сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, дочери Иерусалимские! если вы встретите возлюбленного моего, что скажите вы ему? что я изнемогаю от любви» (*Песнь п.*, 5, ст. 7 — 8). И уж конечно «мирра капала с рук моих, и с пальцев моих капала мирра» (*ib.*, ст. 5). — «Возлюбленный мой протянул руку сквозь скважину двери — и чрево мое взволновалось от него» (*ib.*, ст. 4).

И все это, до Амнона — «ангелы, спускающиеся на землю»; но вот Амнон — и демоны рвутся на небо. «А поле борьбы — сердца людей».

XXIX

Не устанем следовать «долиною смертной тени» (псал. 22).

Мы можем отчетливо указать в Достоевском не только сладострастный образ, почему-то вдруг пронесшийся в воображении на Пушкинском празднике, но и родник всех его, мы не ограничимся сказав: «высоких и неслыханных», но — «праведных и святых» страниц, которые в таком обилии уже прочел читатель:

Судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех («Дневник писат.», т. XII, стр. 130).

Идея растреления, но именно как *«погузвтованная мысль»* (см. выше) лежит общим фундаментом под всеми его созданиями. Он говорит, в приведенном признании Дм. Карамазова, о «красоте», как вещи «страшной», где «Бог» борется с «дьяволом», а «поле борьбы — сердце человеческое». Он же говорит неоднократно и с чудным до странности вниманием об изумительной, неслыханной, неповторяемой ни в чем еще и ни в ком красоте детского лица, этом едином без греха и вины лице, какое мы знаем на земле. Вот красота в величайшем, духовном ее понимании; вот жажда чего в человеке может быть ненасытима, и слияние, умаление до которой может стать в нем пронзительным ощущением: «Как, пятилетняя — у, проклятая» и с этим восклицанием Свидригайлов проснулся в ужасе; раньше, и с разными лицами, в разных положениях, мелькают «четыре-надцатилетняя, даже тринадцатилетняя»... Но все это может носить уже зачаток греха, тогда как дивный художник ясно и пронзительно всматривался за грань какого бы то ни было греха. «Дети, пока дети, до *семи* лет, например, странно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой» («Бр. Кар.», I, 267). Где-то по сю сторону от пятнадцати, «но верите от тринадцати» лет — вот абсолютное, вот еще небо, без грязи нашей земли, без ее крови и ее обмана. Где же способ абсолютного слияния: проникновенный разговор, как Раскольников с Полей, но уже и в конце его «она крепко обхватила его шею тоненькими ручками»; всякая степень близости, нарастая, вырастает в ласку и наконец она вырастает в лобзание, шопот обрывающихся речей, где более значит тон слова, чем смысл слова, улыбка около мысли, чем самая мысль, и вообще чувственно-воспринимаемое, нежели воспринимаемое логически; и, наконец, слияние, единство до нерасчленения, со-трепетание душ единими крылами и в один раз — конечно это *coitus*. Вот безгрешное, природа чего льется на меня, заступает место моей грешной природы, пусть принимая ее в себя, ею отравляясь, гибня. Я спасен. Рай неба — я узнал. Вот, по всемо вероятно, физиология страстных и вовсе, безусловно необъяснимых, даже иногда физически невозможных и тогда ничем не оканчивающихся попыток, которые покупаются ценою имущества, свободы и вообще удобств остальной всей жизни. Усилия, для которых нет логики, и так глубока психология, так наконец она истинна *. Соit'альное чувство к детскому возрасту,

* Если бы в механической стороне акта мы предположили влекущее удовольствие, то то соображение, что растреление пожилыми женщинами малолетних отроков очевидно исключает возможность механического удовольствия, и между тем это форма растреления, с характером такой же неудержимости, имеет место в действительности, — это соображение должно остановить наше внимание на психологической и очевидно единственной основе ужасного греха.

как нагнетающий образ, как образ пронизывающий; «почувствованная мысль» sexual'ного к чему-то между четырнадцатью, тринадцатью, семью и даже до пяти лет, дойдя до яркости и многозначительности действительного акта, брызнуло — в одну сторону как невыразимая скорбь, как «слезы, пропитывающие землю до самого ее центра» (есть где-то у Дост. это выражение), в другую — светозарностью детской радости, неизъяснимой свежестью и чистотой суждения, небесностью идеалов, порывов, всех убеждений, наконец всякой критики. Вот Достоевский, в центре бегущих от него противоположных струй, старец и дитя, ангел и демон, автор «Легенды об Инквизиторе» и «Записок из подполья» — с одной стороны, автор Нелли *, «Неточки Незвановой», «Маленького героя» **, «Елки и свадьбы», «Золотой век в кармане» ***, и, наконец, безгрешных фигур «идиота», «подростка», Алеши Карамазова, да и бездн, целых бездн «нового неба и новой земли» в его созданиях. ¹⁰ ²⁰ ³⁰ ⁴⁰ ⁵⁰ ⁶⁰ ⁷⁰ ⁸⁰ ⁹⁰ ¹⁰⁰ ¹¹⁰ ¹²⁰ ¹³⁰ ¹⁴⁰ ¹⁵⁰ ¹⁶⁰ ¹⁷⁰ ¹⁸⁰ ¹⁹⁰ ²⁰⁰ ²¹⁰ ²²⁰ ²³⁰ ²⁴⁰ ²⁵⁰ ²⁶⁰ ²⁷⁰ ²⁸⁰ ²⁹⁰ ³⁰⁰ ³¹⁰ ³²⁰ ³³⁰ ³⁴⁰ ³⁵⁰ ³⁶⁰ ³⁷⁰ ³⁸⁰ ³⁹⁰ ⁴⁰⁰ ⁴¹⁰ ⁴²⁰ ⁴³⁰ ⁴⁴⁰ ⁴⁵⁰ ⁴⁶⁰ ⁴⁷⁰ ⁴⁸⁰ ⁴⁹⁰ ⁵⁰⁰ ⁵¹⁰ ⁵²⁰ ⁵³⁰ ⁵⁴⁰ ⁵⁵⁰ ⁵⁶⁰ ⁵⁷⁰ ⁵⁸⁰ ⁵⁹⁰ ⁶⁰⁰ ⁶¹⁰ ⁶²⁰ ⁶³⁰ ⁶⁴⁰ ⁶⁵⁰ ⁶⁶⁰ ⁶⁷⁰ ⁶⁸⁰ ⁶⁹⁰ ⁷⁰⁰ ⁷¹⁰ ⁷²⁰ ⁷³⁰ ⁷⁴⁰ ⁷⁵⁰ ⁷⁶⁰ ⁷⁷⁰ ⁷⁸⁰ ⁷⁹⁰ ⁸⁰⁰ ⁸¹⁰ ⁸²⁰ ⁸³⁰ ⁸⁴⁰ ⁸⁵⁰ ⁸⁶⁰ ⁸⁷⁰ ⁸⁸⁰ ⁸⁹⁰ ⁹⁰⁰ ⁹¹⁰ ⁹²⁰ ⁹³⁰ ⁹⁴⁰ ⁹⁵⁰ ⁹⁶⁰ ⁹⁷⁰ ⁹⁸⁰ ⁹⁹⁰ ¹⁰⁰⁰ ¹⁰¹⁰ ¹⁰²⁰ ¹⁰³⁰ ¹⁰⁴⁰ ¹⁰⁵⁰ ¹⁰⁶⁰ ¹⁰⁷⁰ ¹⁰⁸⁰ ¹⁰⁹⁰ ¹¹⁰⁰ ¹¹¹⁰ ¹¹²⁰ ¹¹³⁰ ¹¹⁴⁰ ¹¹⁵⁰ ¹¹⁶⁰ ¹¹⁷⁰ ¹¹⁸⁰ ¹¹⁹⁰ ¹²⁰⁰ ¹²¹⁰ ¹²²⁰ ¹²³⁰ ¹²⁴⁰ ¹²⁵⁰ ¹²⁶⁰ ¹²⁷⁰ ¹²⁸⁰ ¹²⁹⁰ ¹³⁰⁰ ¹³¹⁰ ¹³²⁰ ¹³³⁰ ¹³⁴⁰ ¹³⁵⁰ ¹³⁶⁰ ¹³⁷⁰ ¹³⁸⁰ ¹³⁹⁰ ¹⁴⁰⁰ ¹⁴¹⁰ ¹⁴²⁰ ¹⁴³⁰ ¹⁴⁴⁰ ¹⁴⁵⁰ ¹⁴⁶⁰ ¹⁴⁷⁰ ¹⁴⁸⁰ ¹⁴⁹⁰ ¹⁵⁰⁰ ¹⁵¹⁰ ¹⁵²⁰ ¹⁵³⁰ ¹⁵⁴⁰ ¹⁵⁵⁰ ¹⁵⁶⁰ ¹⁵⁷⁰ ¹⁵⁸⁰ ¹⁵⁹⁰ ¹⁶⁰⁰ ¹⁶¹⁰ ¹⁶²⁰ ¹⁶³⁰ ¹⁶⁴⁰ ¹⁶⁵⁰ ¹⁶⁶⁰ ¹⁶⁷⁰ ¹⁶⁸⁰ ¹⁶⁹⁰ ¹⁷⁰⁰ ¹⁷¹⁰ ¹⁷²⁰ ¹⁷³⁰ ¹⁷⁴⁰ ¹⁷⁵⁰ ¹⁷⁶⁰ ¹⁷⁷⁰ ¹⁷⁸⁰ ¹⁷⁹⁰ ¹⁸⁰⁰ ¹⁸¹⁰ ¹⁸²⁰ ¹⁸³⁰ ¹⁸⁴⁰ ¹⁸⁵⁰ ¹⁸⁶⁰ ¹⁸⁷⁰ ¹⁸⁸⁰ ¹⁸⁹⁰ ¹⁹⁰⁰ ¹⁹¹⁰ ¹⁹²⁰ ¹⁹³⁰ ¹⁹⁴⁰ ¹⁹⁵⁰ ¹⁹⁶⁰ ¹⁹⁷⁰ ¹⁹⁸⁰ ¹⁹⁹⁰ ²⁰⁰⁰ ²⁰¹⁰ ²⁰²⁰ ²⁰³⁰ ²⁰⁴⁰ ²⁰⁵⁰ ²⁰⁶⁰ ²⁰⁷⁰ ²⁰⁸⁰ ²⁰⁹⁰ ²¹⁰⁰ ²¹¹⁰ ²¹²⁰ ²¹³⁰ ²¹⁴⁰ ²¹⁵⁰ ²¹⁶⁰ ²¹⁷⁰ ²¹⁸⁰ ²¹⁹⁰ ²²⁰⁰ ²²¹⁰ ²²²⁰ ²²³⁰ ²²⁴⁰ ²²⁵⁰ ²²⁶⁰ ²²⁷⁰ ²²⁸⁰ ²²⁹⁰ ²³⁰⁰ ²³¹⁰ ²³²⁰ ²³³⁰ ²³⁴⁰ ²³⁵⁰ ²³⁶⁰ ²³⁷⁰ ²³⁸⁰ ²³⁹⁰ ²⁴⁰⁰ ²⁴¹⁰ ²⁴²⁰ ²⁴³⁰ ²⁴⁴⁰ ²⁴⁵⁰ ²⁴⁶⁰ ²⁴⁷⁰ ²⁴⁸⁰ ²⁴⁹⁰ ²⁵⁰⁰ ²⁵¹⁰ ²⁵²⁰ ²⁵³⁰ ²⁵⁴⁰ ²⁵⁵⁰ ²⁵⁶⁰ ²⁵⁷⁰ ²⁵⁸⁰ ²⁵⁹⁰ ²⁶⁰⁰ ²⁶¹⁰ ²⁶²⁰ ²⁶³⁰ ²⁶⁴⁰ ²⁶⁵⁰ ²⁶⁶⁰ ²⁶⁷⁰ ²⁶⁸⁰ ²⁶⁹⁰ ²⁷⁰⁰ ²⁷¹⁰ ²⁷²⁰ ²⁷³⁰ ²⁷⁴⁰ ²⁷⁵⁰ ²⁷⁶⁰ ²⁷⁷⁰ ²⁷⁸⁰ ²⁷⁹⁰ ²⁸⁰⁰ ²⁸¹⁰ ²⁸²⁰ ²⁸³⁰ ²⁸⁴⁰ ²⁸⁵⁰ ²⁸⁶⁰ ²⁸⁷⁰ ²⁸⁸⁰ ²⁸⁹⁰ ²⁹⁰⁰ ²⁹¹⁰ ²⁹²⁰ ²⁹³⁰ ²⁹⁴⁰ ²⁹⁵⁰ ²⁹⁶⁰ ²⁹⁷⁰ ²⁹⁸⁰ ²⁹⁹⁰ ³⁰⁰⁰ ³⁰¹⁰ ³⁰²⁰ ³⁰³⁰ ³⁰⁴⁰ ³⁰⁵⁰ ³⁰⁶⁰ ³⁰⁷⁰ ³⁰⁸⁰ ³⁰⁹⁰ ³¹⁰⁰ ³¹¹⁰ ³¹²⁰ ³¹³⁰ ³¹⁴⁰ ³¹⁵⁰ ³¹⁶⁰ ³¹⁷⁰ ³¹⁸⁰ ³¹⁹⁰ ³²⁰⁰ ³²¹⁰ ³²²⁰ ³²³⁰ ³²⁴⁰ ³²⁵⁰ ³²⁶⁰ ³²⁷⁰ ³²⁸⁰ ³²⁹⁰ ³³⁰⁰ ³³¹⁰ ³³²⁰ ³³³⁰ ³³⁴⁰ ³³⁵⁰ ³³⁶⁰ ³³⁷⁰ ³³⁸⁰ ³³⁹⁰ ³⁴⁰⁰ ³⁴¹⁰ ³⁴²⁰ ³⁴³⁰ ³⁴⁴⁰ ³⁴⁵⁰ ³⁴⁶⁰ ³⁴⁷⁰ ³⁴⁸⁰ ³⁴⁹⁰ ³⁵⁰⁰ ³⁵¹⁰ ³⁵²⁰ ³⁵³⁰ ³⁵⁴⁰ ³⁵⁵⁰ ³⁵⁶⁰ ³⁵⁷⁰ ³⁵⁸⁰ ³⁵⁹⁰ ³⁶⁰⁰ ³⁶¹⁰ ³⁶²⁰ ³⁶³⁰ ³⁶⁴⁰ ³⁶⁵⁰ ³⁶⁶⁰ ³⁶⁷⁰ ³⁶⁸⁰ ³⁶⁹⁰ ³⁷⁰⁰ ³⁷¹⁰ ³⁷²⁰ ³⁷³⁰ ³⁷⁴⁰ ³⁷⁵⁰ ³⁷⁶⁰ ³⁷⁷⁰ ³⁷⁸⁰ ³⁷⁹⁰ ³⁸⁰⁰ ³⁸¹⁰ ³⁸²⁰ ³⁸³⁰ ³⁸⁴⁰ ³⁸⁵⁰ ³⁸⁶⁰ ³⁸⁷⁰ ³⁸⁸⁰ ³⁸⁹⁰ ³⁹⁰⁰ ³⁹¹⁰ ³⁹²⁰ ³⁹³⁰ ³⁹⁴⁰ ³⁹⁵⁰ ³⁹⁶⁰ ³⁹⁷⁰ ³⁹⁸⁰ ³⁹⁹⁰ ⁴⁰⁰⁰ ⁴⁰¹⁰ ⁴⁰²⁰ ⁴⁰³⁰ ⁴⁰⁴⁰ ⁴⁰⁵⁰ ⁴⁰⁶⁰ ⁴⁰⁷⁰ ⁴⁰⁸⁰ ⁴⁰⁹⁰ ⁴¹⁰⁰ ⁴¹¹⁰ ⁴¹²⁰ ⁴¹³⁰ ⁴¹⁴⁰ ⁴¹⁵⁰ ⁴¹⁶⁰ ⁴¹⁷⁰ ⁴¹⁸⁰ ⁴¹⁹⁰ ⁴²⁰⁰ ⁴²¹⁰ ⁴²²⁰ ⁴²³⁰ ⁴²⁴⁰ ⁴²⁵⁰ ⁴²⁶⁰ ⁴²⁷⁰ ⁴²⁸⁰ ⁴²⁹⁰ ⁴³⁰⁰ ⁴³¹⁰ ⁴³²⁰ ⁴³³⁰ ⁴³⁴⁰ ⁴³⁵⁰ ⁴³⁶⁰ ⁴³⁷⁰ ⁴³⁸⁰ ⁴³⁹⁰ ⁴⁴⁰⁰ ⁴⁴¹⁰ ⁴⁴²⁰ ⁴⁴³⁰ ⁴⁴⁴⁰ ⁴⁴⁵⁰ ⁴⁴⁶⁰ ⁴⁴⁷⁰ ⁴⁴⁸⁰ ⁴⁴⁹⁰ ⁴⁵⁰⁰ ⁴⁵¹⁰ ⁴⁵²⁰ ⁴⁵³⁰ ⁴⁵⁴⁰ ⁴⁵⁵⁰ ⁴⁵⁶⁰ ⁴⁵⁷⁰ ⁴⁵⁸⁰ ⁴⁵⁹⁰ ⁴⁶⁰⁰ ⁴⁶¹⁰ ⁴⁶²⁰ ⁴⁶³⁰ ⁴⁶⁴⁰ ⁴⁶⁵⁰ ⁴⁶⁶⁰ ⁴⁶⁷⁰ ⁴⁶⁸⁰ ⁴⁶⁹⁰ ⁴⁷⁰⁰ ⁴⁷¹⁰ ⁴⁷²⁰ ⁴⁷³⁰ ⁴⁷⁴⁰ ⁴⁷⁵⁰ ⁴⁷⁶⁰ ⁴⁷⁷⁰ ⁴⁷⁸⁰ ⁴⁷⁹⁰ ⁴⁸⁰⁰ ⁴⁸¹⁰ ⁴⁸²⁰ ⁴⁸³⁰ ⁴⁸⁴⁰ ⁴⁸⁵⁰ ⁴⁸⁶⁰ ⁴⁸⁷⁰ ⁴⁸⁸⁰ ⁴⁸⁹⁰ ⁴⁹⁰⁰ ⁴⁹¹⁰ ⁴⁹²⁰ ⁴⁹³⁰ ⁴⁹⁴⁰ ⁴⁹⁵⁰ ⁴⁹⁶⁰ ⁴⁹⁷⁰ ⁴⁹⁸⁰ ⁴⁹⁹⁰ ⁵⁰⁰⁰ ⁵⁰¹⁰ ⁵⁰²⁰ ⁵⁰³⁰ ⁵⁰⁴⁰ ⁵⁰⁵⁰ ⁵⁰⁶⁰ ⁵⁰⁷⁰ ⁵⁰⁸⁰ ⁵⁰⁹⁰ ⁵¹⁰⁰ ⁵¹¹⁰ ⁵¹²⁰ ⁵¹³⁰ ⁵¹⁴⁰ ⁵¹⁵⁰ ⁵¹⁶⁰ ⁵¹⁷⁰ ⁵¹⁸⁰ ⁵¹⁹⁰ ⁵²⁰⁰ ⁵²¹⁰ ⁵²²⁰ ⁵²³⁰ ⁵²⁴⁰ ⁵²⁵⁰ ⁵²⁶⁰ ⁵²⁷⁰ ⁵²⁸⁰ ⁵²⁹⁰ ⁵³⁰⁰ ⁵³¹⁰ ⁵³²⁰ ⁵³³⁰ ⁵³⁴⁰ ⁵³⁵⁰ ⁵³⁶⁰ ⁵³⁷⁰ ⁵³⁸⁰ ⁵³⁹⁰ ⁵⁴⁰⁰ ⁵⁴¹⁰ ⁵⁴²⁰ ⁵⁴³⁰ ⁵⁴⁴⁰ ⁵⁴⁵⁰ ⁵⁴⁶⁰ ⁵⁴⁷⁰ ⁵⁴⁸⁰ ⁵⁴⁹⁰ ⁵⁵⁰⁰ ⁵⁵¹⁰ ⁵⁵²⁰ ⁵⁵³⁰ ⁵⁵⁴⁰ ⁵⁵⁵⁰ ⁵⁵⁶⁰ ⁵⁵⁷⁰ ⁵⁵⁸⁰ ⁵⁵⁹⁰ ⁵⁶⁰⁰ ⁵⁶¹⁰ ⁵⁶²⁰ ⁵⁶³⁰ ⁵⁶⁴⁰ ⁵⁶⁵⁰ ⁵⁶⁶⁰ ⁵⁶⁷⁰ ⁵⁶⁸⁰ ⁵⁶⁹⁰ ⁵⁷⁰⁰ ⁵⁷¹⁰ ⁵⁷²⁰ ⁵⁷³⁰ ⁵⁷⁴⁰ ⁵⁷⁵⁰ ⁵⁷⁶⁰ ⁵⁷⁷⁰ ⁵⁷⁸⁰ ⁵⁷⁹⁰ ⁵⁸⁰⁰ ⁵⁸¹⁰ ⁵⁸²⁰ ⁵⁸³⁰ ⁵⁸⁴⁰ ⁵⁸⁵⁰ ⁵⁸⁶⁰ ⁵⁸⁷⁰ ⁵⁸⁸⁰ ⁵⁸⁹⁰ ⁵⁹⁰⁰ ⁵⁹¹⁰ ⁵⁹²⁰ ⁵⁹³⁰ ⁵⁹⁴⁰ ⁵⁹⁵⁰ ⁵⁹⁶⁰ ⁵⁹⁷⁰ ⁵⁹⁸⁰ ⁵⁹⁹⁰ ⁶⁰⁰⁰ ⁶⁰¹⁰ ⁶⁰²⁰ ⁶⁰³⁰ ⁶⁰⁴⁰ ⁶⁰⁵⁰ ⁶⁰⁶⁰ ⁶⁰⁷⁰ ⁶⁰⁸⁰ ⁶⁰⁹⁰ ⁶¹⁰⁰ ⁶¹¹⁰ ⁶¹²⁰ ⁶¹³⁰ ⁶¹⁴⁰ ⁶¹⁵⁰ ⁶¹⁶⁰ ⁶¹⁷⁰ ⁶¹⁸⁰ ⁶¹⁹⁰ ⁶²⁰⁰ ⁶²¹⁰ ⁶²²⁰ ⁶²³⁰ ⁶²⁴⁰ ⁶²⁵⁰ ⁶²⁶⁰ ⁶²⁷⁰ ⁶²⁸⁰ ⁶²⁹⁰ ⁶³⁰⁰ ⁶³¹⁰ ⁶³²⁰ ⁶³³⁰ ⁶³⁴⁰ ⁶³⁵⁰ ⁶³⁶⁰ ⁶³⁷⁰ ⁶³⁸⁰ ⁶³⁹⁰ ⁶⁴⁰⁰ ⁶⁴¹⁰ ⁶⁴²⁰ ⁶⁴³⁰ ⁶⁴⁴⁰ ⁶⁴⁵⁰ ⁶⁴⁶⁰ ⁶⁴⁷⁰ ⁶⁴⁸⁰ ⁶⁴⁹⁰ ⁶⁵⁰⁰ ⁶⁵¹⁰ ⁶⁵²⁰ ⁶⁵³⁰ ⁶⁵⁴⁰ ⁶⁵⁵⁰ ⁶⁵⁶⁰ ⁶⁵⁷⁰ ⁶⁵⁸⁰ ⁶⁵⁹⁰ ⁶⁶⁰⁰ ⁶⁶¹⁰ ⁶⁶²⁰ ⁶⁶³⁰ ⁶⁶⁴⁰ ⁶⁶⁵⁰ ⁶⁶⁶⁰ ⁶⁶⁷⁰ ⁶⁶⁸⁰ ⁶⁶⁹⁰ ⁶⁷⁰⁰ ⁶⁷¹⁰ ⁶⁷²⁰ ⁶⁷³⁰ ⁶⁷⁴⁰ ⁶⁷⁵⁰ ⁶⁷⁶⁰ ⁶⁷⁷⁰ ⁶⁷⁸⁰ ⁶⁷⁹⁰ ⁶⁸⁰⁰ ⁶⁸¹⁰ ⁶⁸²⁰ ⁶⁸³⁰ ⁶⁸⁴⁰ ⁶⁸⁵⁰ ⁶⁸⁶⁰ ⁶⁸⁷⁰ ⁶⁸⁸⁰ ⁶⁸⁹⁰ ⁶⁹⁰⁰ ⁶⁹¹⁰ ⁶⁹²⁰ ⁶⁹³⁰ ⁶⁹⁴⁰ ⁶⁹⁵⁰ ⁶⁹⁶⁰ ⁶⁹⁷⁰ ⁶⁹⁸⁰ ⁶⁹⁹⁰ ⁷⁰⁰⁰ ⁷⁰¹⁰ ⁷⁰²⁰ ⁷⁰³⁰ ⁷⁰⁴⁰ ⁷⁰⁵⁰ ⁷⁰⁶⁰ ⁷⁰⁷⁰ ⁷⁰⁸⁰ ⁷⁰⁹⁰ ⁷¹⁰⁰ ⁷¹¹⁰ ⁷¹²⁰ ⁷¹³⁰ ⁷¹⁴⁰ ⁷¹⁵⁰ ⁷¹⁶⁰ ⁷¹⁷⁰ ⁷¹⁸⁰ ⁷¹⁹⁰ ⁷²⁰⁰ ⁷²¹⁰ ⁷²²⁰ ⁷²³⁰ ⁷²⁴⁰ ⁷²⁵⁰ ⁷²⁶⁰ ⁷²⁷⁰ ⁷²⁸⁰ ⁷²⁹⁰ ⁷³⁰⁰ ⁷³¹⁰ ⁷³²⁰ ⁷³³⁰ ⁷³⁴⁰ ⁷³⁵⁰ ⁷³⁶⁰ ⁷³⁷⁰ ⁷³⁸⁰ ⁷³⁹⁰ ⁷⁴⁰⁰ ⁷⁴¹⁰ ⁷⁴²⁰ ⁷⁴³⁰ ⁷⁴⁴⁰ ⁷⁴⁵⁰ ⁷⁴⁶⁰ ⁷⁴⁷⁰ ⁷⁴⁸⁰ ⁷⁴⁹⁰ ⁷⁵⁰⁰ ⁷⁵¹⁰ ⁷⁵²⁰ ⁷⁵³⁰ ⁷⁵⁴⁰ ⁷⁵⁵⁰ ⁷⁵⁶⁰ ⁷⁵⁷⁰ ⁷⁵⁸⁰ ⁷⁵⁹⁰ ⁷⁶⁰⁰ ⁷⁶¹⁰ ⁷⁶²⁰ ⁷⁶³⁰ ⁷⁶⁴⁰ ⁷⁶⁵⁰ ⁷⁶⁶⁰ ⁷⁶⁷⁰ ⁷⁶⁸⁰ ⁷⁶⁹⁰ ⁷⁷⁰⁰ ⁷⁷¹⁰ ⁷⁷²⁰ ⁷⁷³⁰ ⁷⁷⁴⁰ ⁷⁷⁵⁰ ⁷⁷⁶⁰ ⁷⁷⁷⁰ ⁷⁷⁸⁰ ⁷⁷⁹⁰ ⁷⁸⁰⁰ ⁷⁸¹⁰ ⁷⁸²⁰ ⁷⁸³⁰ ⁷⁸⁴⁰ ⁷⁸⁵⁰ ⁷⁸⁶⁰ ⁷⁸⁷⁰ ⁷⁸⁸⁰ ⁷⁸⁹⁰ ⁷⁹⁰⁰ ⁷⁹¹⁰ ⁷⁹²⁰ ⁷⁹³⁰ ⁷⁹⁴⁰ ⁷⁹⁵⁰ ⁷⁹⁶⁰ ⁷⁹⁷⁰ ⁷⁹⁸⁰ ⁷⁹⁹⁰ ⁸⁰⁰⁰ ⁸⁰¹⁰ ⁸⁰²⁰ ⁸⁰³⁰ ⁸⁰⁴⁰ ⁸⁰⁵⁰ ⁸⁰⁶⁰ ⁸⁰⁷⁰ ⁸⁰⁸⁰ ⁸⁰⁹⁰ ⁸¹⁰⁰ ⁸¹¹⁰ ⁸¹²⁰ ⁸¹³⁰ ⁸¹⁴⁰ ⁸¹⁵⁰ ⁸¹⁶⁰ ⁸¹⁷⁰ ⁸¹⁸⁰ ⁸¹⁹⁰ ⁸²⁰⁰ ⁸²¹⁰ ⁸²²⁰ ⁸²³⁰ ⁸²⁴⁰ ⁸²⁵⁰ ⁸²⁶⁰ ⁸²⁷⁰ ⁸²⁸⁰ ⁸²⁹⁰ ⁸³⁰⁰ ⁸³¹⁰ ⁸³²⁰ ⁸³³⁰ ⁸³⁴⁰ ⁸³⁵⁰ ⁸³⁶⁰ ⁸³⁷⁰ ⁸³⁸⁰ ⁸³⁹⁰ ⁸⁴⁰⁰ ⁸⁴¹⁰ ⁸⁴²⁰ ⁸⁴³⁰ ⁸⁴⁴⁰ ⁸⁴⁵⁰ ⁸⁴⁶⁰ ⁸⁴⁷⁰ ⁸⁴⁸⁰ ⁸⁴⁹⁰ ⁸⁵⁰⁰ ⁸⁵¹⁰ ⁸⁵²⁰ ⁸⁵³⁰ ⁸⁵⁴⁰ ⁸⁵⁵⁰ ⁸⁵⁶⁰ ⁸⁵⁷⁰ ⁸⁵⁸⁰ ⁸⁵⁹⁰ ⁸⁶⁰⁰ ⁸⁶¹⁰ ⁸⁶²⁰ ⁸⁶³⁰ ⁸⁶⁴⁰ ⁸⁶⁵⁰ ⁸⁶⁶⁰ ⁸⁶⁷⁰ ⁸⁶⁸⁰ ⁸⁶⁹⁰ ⁸⁷⁰⁰ ⁸⁷¹⁰ ⁸⁷²⁰ ⁸⁷³⁰ ⁸⁷⁴⁰ ⁸⁷⁵⁰ ⁸⁷⁶⁰ ⁸⁷⁷⁰ ⁸⁷⁸⁰ ⁸⁷⁹⁰ ⁸⁸⁰⁰ ⁸⁸¹⁰ ⁸⁸²⁰ ⁸⁸³⁰ ⁸⁸⁴⁰ ⁸⁸⁵⁰ ⁸⁸⁶⁰ ⁸⁸⁷⁰ ⁸⁸⁸⁰ ⁸⁸⁹⁰ ⁸⁹⁰⁰ ⁸⁹¹⁰ ⁸⁹²⁰ ⁸⁹³⁰ ⁸⁹⁴⁰ ⁸⁹⁵⁰ ⁸⁹⁶⁰ ⁸⁹⁷⁰ ⁸⁹⁸⁰ ⁸⁹⁹⁰ ⁹⁰⁰⁰ ⁹⁰¹⁰ ⁹⁰²⁰ ⁹⁰³⁰ ⁹⁰⁴⁰ ⁹⁰⁵⁰ ⁹⁰⁶⁰ ⁹⁰⁷⁰ ⁹⁰⁸⁰ ⁹⁰⁹⁰ ⁹¹⁰⁰ ⁹¹¹⁰ ⁹¹²⁰ ⁹¹³⁰ ⁹¹⁴⁰ ⁹¹⁵⁰ ⁹¹⁶⁰ ⁹¹⁷⁰ ⁹¹⁸⁰ ⁹¹⁹⁰ ⁹²⁰⁰ ⁹²¹⁰ ⁹²²⁰ ⁹²³⁰ ⁹²⁴⁰ ⁹²⁵⁰ ⁹²⁶⁰ ⁹²⁷⁰ ⁹²⁸⁰ ⁹²⁹⁰ ⁹³⁰⁰ ⁹³¹⁰ ⁹³²⁰ ⁹³³⁰ ⁹³⁴⁰ ⁹³⁵⁰ ⁹³⁶⁰ ⁹³⁷⁰ ⁹³⁸⁰ ⁹³⁹⁰ ⁹⁴⁰⁰ ⁹⁴¹⁰ ⁹⁴²⁰ ⁹⁴³⁰ ⁹⁴⁴⁰ ⁹⁴⁵⁰ ⁹⁴⁶⁰ ⁹⁴⁷⁰ ⁹⁴⁸⁰ ⁹⁴⁹⁰ ⁹⁵⁰⁰ ⁹⁵¹⁰ ⁹⁵²⁰ ⁹⁵³⁰ ⁹⁵⁴⁰ ⁹⁵⁵⁰ ⁹⁵⁶⁰ ⁹⁵⁷⁰ ⁹⁵⁸⁰ ⁹⁵⁹⁰ ⁹⁶⁰⁰ ⁹⁶¹⁰ ⁹⁶²⁰ ⁹⁶³⁰ ⁹⁶⁴⁰ ⁹⁶⁵⁰ ⁹⁶⁶⁰ ⁹⁶⁷⁰ ⁹⁶⁸⁰ ⁹⁶⁹⁰ ⁹⁷⁰⁰ ⁹⁷¹⁰ ⁹⁷²⁰ ⁹⁷³⁰ ⁹⁷⁴⁰ ⁹⁷⁵⁰ ⁹⁷⁶⁰ ⁹⁷⁷⁰ ⁹⁷⁸⁰ ⁹⁷⁹⁰ ⁹⁸⁰⁰ ⁹⁸¹⁰ ⁹⁸²⁰ ⁹⁸³⁰ ⁹⁸⁴⁰ ⁹⁸⁵⁰ ⁹⁸⁶⁰ ⁹⁸⁷⁰ ⁹⁸⁸⁰ ⁹⁸⁹⁰ ⁹⁹⁰⁰ ⁹⁹¹⁰ ⁹⁹²⁰ ⁹⁹³⁰ ⁹⁹⁴⁰ ⁹⁹⁵⁰ ⁹⁹⁶⁰ ⁹⁹⁷⁰ ⁹⁹⁸⁰ ⁹⁹⁹⁰ ¹⁰⁰⁰⁰ ¹⁰⁰¹⁰ ¹⁰⁰²⁰ ¹⁰⁰³⁰ ¹⁰⁰⁴⁰ ¹⁰⁰⁵⁰ ¹⁰⁰⁶⁰ ¹⁰⁰⁷⁰ ¹⁰⁰⁸⁰ ¹⁰⁰⁹⁰ ¹⁰¹⁰⁰ ¹⁰¹¹⁰ ¹⁰¹²⁰ ¹⁰¹³⁰ ¹⁰¹⁴⁰ ¹⁰¹⁵⁰ ¹⁰¹⁶⁰ ¹⁰¹⁷⁰ ¹⁰¹⁸⁰ ¹⁰¹⁹⁰ ¹⁰²⁰⁰ ¹⁰²¹⁰ ¹⁰²²⁰ ¹⁰²³⁰ ¹⁰²⁴⁰ ¹⁰²⁵⁰ ¹⁰²⁶⁰ ¹⁰²⁷⁰ ¹⁰²⁸⁰ ¹⁰²⁹⁰ ¹⁰³⁰⁰ ¹⁰³¹⁰ ¹⁰³²⁰ ¹⁰³³⁰ ¹⁰³⁴⁰ ¹⁰³⁵⁰ ¹⁰³⁶⁰ ¹⁰³⁷⁰ ¹⁰³⁸⁰ ¹⁰³⁹⁰ ¹⁰⁴⁰⁰ ¹⁰⁴¹⁰ ¹⁰⁴²⁰ ¹⁰⁴³⁰ ¹⁰⁴⁴⁰ ¹⁰⁴⁵⁰ ¹⁰⁴⁶⁰ ¹⁰⁴⁷⁰ ¹⁰⁴⁸⁰ ¹⁰⁴⁹⁰ ¹⁰⁵⁰⁰ ¹⁰⁵¹⁰ ¹⁰⁵²⁰ ¹⁰⁵³⁰ ¹⁰⁵⁴⁰ ¹⁰⁵⁵⁰ ¹⁰⁵⁶⁰ ¹⁰⁵⁷⁰ ¹⁰⁵⁸⁰ ¹⁰⁵⁹⁰ ¹⁰⁶⁰⁰ ¹⁰⁶¹⁰ ¹⁰⁶²⁰ ¹⁰⁶³⁰ ¹⁰⁶⁴⁰ ¹⁰⁶⁵⁰ ¹⁰⁶⁶⁰ ¹⁰⁶⁷⁰ ¹⁰⁶⁸⁰ ¹⁰⁶⁹⁰ ¹⁰⁷⁰⁰ ¹⁰⁷¹⁰ ¹⁰⁷²⁰ ¹⁰⁷³⁰ ¹⁰⁷⁴⁰ ¹⁰⁷⁵⁰ ¹⁰⁷⁶⁰ ¹⁰⁷⁷⁰ ¹⁰⁷⁸⁰ ¹⁰⁷⁹⁰ ¹⁰⁸⁰⁰ ¹⁰⁸¹⁰ ¹⁰⁸²⁰ ¹⁰⁸³⁰ ¹⁰⁸⁴⁰ ¹⁰⁸⁵⁰ ¹⁰⁸⁶⁰ ¹⁰⁸⁷⁰ ¹⁰⁸⁸⁰ ¹⁰⁸⁹⁰ ¹⁰⁹⁰⁰ ¹⁰⁹¹⁰ ¹⁰⁹²⁰ ¹⁰⁹³⁰ ¹⁰⁹⁴⁰ ¹⁰⁹⁵⁰ ¹⁰⁹⁶⁰ ¹⁰⁹⁷⁰ ¹⁰⁹⁸⁰ ¹⁰⁹⁹⁰ ¹¹⁰⁰⁰ ¹¹⁰¹⁰ ¹¹⁰²⁰ ¹¹⁰³⁰ ¹¹⁰⁴⁰ ¹¹⁰⁵⁰ ¹¹⁰⁶⁰ ¹¹⁰⁷⁰ ¹¹⁰⁸⁰ ¹¹⁰⁹⁰ ¹¹¹⁰⁰ ¹¹¹¹⁰ ¹¹¹²⁰ ¹¹¹³⁰ ¹¹¹⁴⁰ ¹¹¹⁵⁰ ¹¹¹⁶⁰ ¹¹¹⁷⁰ ¹¹¹⁸⁰ ¹¹¹⁹⁰ ¹¹²⁰⁰ ¹¹²¹⁰ ¹¹²²⁰ ¹¹²³⁰ ¹¹²⁴⁰ ¹¹²⁵⁰ ¹¹²⁶⁰ ¹¹²⁷⁰ ¹¹²⁸⁰ ¹¹²⁹⁰ ¹¹³⁰⁰ ¹¹³¹⁰ ¹¹³²⁰ ¹¹³³⁰ ¹¹³⁴⁰ ¹¹³⁵⁰ ¹¹³⁶⁰ ¹¹³⁷⁰ ¹¹³⁸⁰ ¹¹³⁹⁰ ¹¹⁴⁰⁰ ¹¹⁴¹⁰ ¹¹⁴²⁰ ¹¹⁴³⁰ ¹¹⁴⁴⁰ ¹¹⁴⁵⁰ ¹¹⁴⁶⁰ ¹¹⁴⁷⁰ ¹¹⁴⁸⁰ ¹¹⁴⁹⁰ ¹¹⁵⁰⁰ ¹¹⁵¹⁰ ¹¹⁵²⁰ ¹¹⁵³⁰ ¹¹⁵⁴⁰ ¹¹⁵⁵⁰ ¹¹⁵⁶⁰ ¹¹⁵⁷⁰ ¹¹⁵⁸⁰ ¹¹⁵⁹⁰ ¹¹⁶⁰⁰ ¹¹⁶¹⁰ ¹¹⁶²⁰ ¹¹⁶³⁰ ¹¹⁶⁴⁰ ¹¹⁶⁵⁰ ¹¹⁶⁶⁰ ¹¹⁶⁷⁰ ¹¹⁶⁸⁰ ¹¹⁶⁹⁰ ¹¹⁷⁰⁰ ¹¹⁷¹⁰ ¹¹⁷²⁰ ¹¹⁷³⁰ ¹¹⁷⁴⁰ ¹¹⁷⁵⁰ ¹¹⁷⁶⁰ ¹¹⁷⁷⁰ ¹¹⁷⁸⁰ ¹¹⁷⁹⁰ ¹¹⁸⁰⁰ ¹¹⁸¹⁰ ¹¹⁸²⁰ ¹¹⁸³⁰ ¹¹⁸⁴⁰ ¹¹⁸⁵⁰ ¹¹⁸⁶⁰ ¹¹⁸⁷⁰ ¹¹⁸⁸⁰ ¹¹⁸⁹⁰ ¹¹⁹⁰⁰ ¹¹⁹¹⁰ ¹¹

какою Царство Небесное представлялось растлителью, и еще растлевающему, еще готовящемуся растлить «пятилетнюю» Свидригайлову, — и раздвинулось в необъятную панораму «Сна смешного человека». В этом глубокомысленнейшем из своих созданий он передал всего себя, но — в противоположность «Легенде об Инквизиторе» — с преобладанием светозарности, с достигнутою победой, несущуюся осанной, и тут же, каким-то легким радующимся порывом, с указанием, более ясным, чем где-нибудь, на цену «осанны». Как «Легенда об Инквизиторе» есть «бездна внизу» (его термин, запомнившийся), бездна низвергнутых долу идеалов, всех гаданий и всяких надежд его огромного ума, и, до известной степени, проницательнейшая критика условий земного существования и устройства человека, как «Сон смешного человека», не заключая вовсе никакой в себе мысли, будучи только видением, есть торжество сердца над этою критикой, и, до известной степени, именно здесь, а не в «Легенде», Достоевский сказал «святая святых» своей души и последнее, окончательное слово так трепетно любимой им земле.

Как и везде у него, когда он не рисует бытовых фигур, здесь есть доля признаний: открытость, незатаенность души есть та черта детского и небесного, которою Достоевский превосходит всех остальных наших писателей, и особенно превосходит угрюмого и молчаливого Гоголя, эту пирамиду, не выдающую своих тайн, какую он высится в нашей литературе. Оставим его. В «Сне смешного человека», если присматриваться к его построению, есть ужасно кошунственная мысль, и то, что самая идея его пришла на ум Достоевскому, нельзя не видеть, до чего смех братьев в конце «Легенды» над иллюзиями инквизитора: «Твой инквизитор в Бога не верует», в сущности выразил до конца не побежденный теоретический скепсис великого страдальца. Только этим до конца не изловленным «зайцем» можно объяснить смелость религиозного изобретения и каких-то религиозных догадок, на которые всякому вообще человеку было бы трудно решиться. Еще можно, скажем, его сблизить — чтобы уже понять полную его литературную генеалогию — с «Кошмаром Ивана Федоровича» («Бр. Карамазовы»), именно — с появляющимся там бесом, «скверным, мелким бесом». Кстати, об этой последней фигуре:

О, какой мой демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок, с насморком, из неудавшихся. А ведь вы, Даша, опять не смеете говорить чего-то? («Бесы», стр. 266).

Эти слова в романе 71-го года показывают, до чего уже давно во всех подробностях, включительно до «насморка», вырисовалась у Достоевского фигура «приживальщика»: этот неудачный житель «миров иных» и начинает занимательную беседу свою с Карамазовым жалобой на насморк, полученный им в междузвездных пространствах. Образ Ставрогина, жалующегося на беса, сливается через эти слова непосредственно с образом Ивана Карамазова, как позади он сливается с образом Свидригайлова: все эти, очень мало скульптурные, фигуры, раздвинувшиеся окончательно в фигуру Инквизитора и наконец в туманный образ «умного» духа-Искусителя, искушавшего Христа в пустыне («Легенда») суть протянувшаяся во времени одна тень, лица которой мы не различаем и которая пошла от «павшего в землю» зерна художника, его греха, его скорбей, из кото-

рых потом брызнул такой особенный свет. «Приживальщик», появляющийся Ивану, хотя ясно есть сон его, «кошмар», однако почему-то более садняет в нашей душе, глубже в нее западает, чем собственно все «демоны», какие в нашей и в иностранных литературах появлялись или пытались появиться. В нем, при внешней иллюзорности, хотя он в самом деле «испаряется» от намоченного полотенца, положенного больным на голову себе, однако есть что-то действительное, что и потеряв вид — остается тут же или остается везде. Самая нетвердость его внешних черт, «испаряемость», конечно, выражает глубочайшую правду его природы, какой — нисколько не сумели выразить Гёте или Байрон, духи которых ходят как плотники, или если поют (и тогда естественно не видны), то так же определено, как и певцы на сцене, исполняющие партитуру. «Приживальщик» — в самом деле туманный «клок иного мира», показавшийся сюда «во время болезни», как уже предвидел и объяснял, чуть не за двадцать лет ранее, не понимавшему Раскольникову Свидригайлов. «Семя, здесь на земле посаженное», но «корни» которого «остаются в небесах», как казалось старцу Зосиме. «Приживальщик» тот же Иван, но, так сказать, корнями вверх, корнями обнаженными из-под земли, или, в данном случае нужно сказать, вырванными из неба. Он есть небесное основание земной фигуры, между нами ходящей; тот в небесах оставшийся образ, которого фотография дана на землю. Вот отчего Мефистофелем мы любимся, но при условии, если его поет Баттистини; и «демоном» — если его поет Корсов. Но «приживальщик» не поддается пению, и, мы живо чувствуем, пение показалось бы около него кошунственным, «шуткой не к часу». Там, в тех образах — «игра», «литература», ясный вымысел; тогда как здесь, в этой фигуре, при всем ее «насморке» и «панталонах в клетку» есть что-то реальное, к чему прикоснуться гримом просто неловко, и «партию» его никак нельзя спеть.

Кошунственность «Сна смешного человека» заключается в том, что хоть на минуту и, конечно, в совершенной иллюзии, но Достоевскому показалось, что он в точности, т. е. сам, написавший так много хороших и дурных произведений, в таинственной и небесной своей сущности есть что-то вроде этого же приживальщика, и что с землею, на которой он живет, у него есть более древние счеты, никому решительно не известные, кроме его одного. Древние, совершенно древние, и потом очень старые, но уже гораздо более к нам близкие, хотя все-таки и отделенные не одною тысячею лет, почти двумя. Но мы приведем удивительную эту фантазмагорию, это безумие сердца, так еще кошунственного в мысли и столь в самом деле небесного в алканиях. Все время мы не должны забывать о «капле мирры», капнувшей в душу художника. Кстати, и перед этим удивительным созданием, как везде в центре глубочайших излияний, у него замешивается девочка: мирре неоткуда взяться, как не из ее оскорбленных чресл:

40 Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки и теперь помню. Они мне особенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была отчего-то в ужасе и кричала в отчаянии: «Мамочка! Мамочка!». Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень

испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук..., etc. (Сочинения, т. XII, изд. 83 г., «Дневник писателя» за 77 г., гл. II. «Сон смешного человека. Фантастический рассказ»; стр. 119).

Молодой человек предположил застрелиться. Тяготение к самоубийству есть одно из неудержимых у Достоевского, и собственно все его произведения в некоторой тайной своей тенденции есть оспаривание этого ужасного и острого тяготения. Мы не придадим этому малого значения и не отнесемся к этому насмешливо, если примем во внимание, что именно при остроте этого тяготения, т. е. при крайней тонкости нити, привязывающей лице человека к бытию, суть этого бытия должна была выделиться перед испытующим взглядом художника именно в святая святых своем, в самом крепком и вековечном своем нерве, закрытом от других людей подробностями жизни, ее обстановкой, которою уже одною они утешены... 10

Но этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину (у Д-го с большою «И»). Ведь если раз узнал Истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она Истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну, и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой, — о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь! (*ib.*, 122).

Дело в том, что он заснул с револьвером в руке, и все что он хотел сделать, на что решимость его созрела, но и с дальнейшими затем последствиями, ему привиделось во сне. «Наставив револьвер в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною, воздух задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил. Боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло и стало кругом меня ужасно черно». Однако каким-то внешним ощущением самоубийца чувствует поднявшийся переполох, чувствует всю процедуру собственных похорон, и, наконец, что он опущен в землю. «Я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал». 20

«Я лежал и, странно, — ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени, — час, или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышку гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее и так далее все через минуту. Глубокое негодование вдруг загорелось в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль: «Это рана моя», подумал я, «Это выстрел, там пуля»... А капля все капала, каждую минуту и прямо на закрытый мой глаз *. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к Властителю всего того, что совершалось со мною: 30

— Кто бы Ты ни был, но если Ты есть, и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозвожь ему быть и здесь. Если же Ты мстишь мне за неразумное 40

* Чуть-чуть тут есть, в этой скудости бытия, открывшегося по ту сторону гроба, аналогичного «паукам» и «бане» Свидригайлова. И там Раскольников в ужасе восклицает: «И неужели, неужели ничего утешительнее вам не представляется?».

самоубийство мое — безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжении миллионов лет мученичества!..

Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно * сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. Т. е. я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: Была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить... Я помню, что вдруг увидел в темноте одну точку. — «Это Сириус? — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я решил ни о чем не спрашивать. — «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой», — отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот, я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое *есть* (курс. Д-го), существует: «А, стало быть, есть и загробная жизнь!» — подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если надо *быть* снова», — подумал я, «и жить опять по чьей-то неустрашимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» — «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня», — сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унижительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на второй вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают, и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня, и что путь наш имеет цель, неизвестную и таинственную, и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы пронизало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи проходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть *наше* солнце, породившее *нашу* землю, и что от нашего солнца мы на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его...

Идея «двойного» в природе, лицо ли то будет, другое ли что, занимала всегда Достоевского. Об одном из самых неудачных своих созданий, «Двойнике», написанном вслед за «Бедными людьми», в одном воспоминании он говорит, что замысел этой неудавшейся ему повести был более глубок, чем всех других его сочинений. «Приживальщик» есть также «двойник» Карамазова; и в приводимом рассказе, наконец, мы имеем «двойник» наших земли и солнца: до известной степени то небесное основание, тот «трансцендентный корень», которым земное

* В собеседовании Федора Павловича Карамазова с сыновьями («За коньячком» и след.) есть слова, что всегда есть на земле, скрываются, один три *таких верующих*, что «по слову их гора сдвинется с места». С такою именно верою и силою и самоубийца воззвал.

бытие держится и даже которого земное бытие есть отражение. В общем это напоминает «идеи» Платона, но только не в диалектической обработке и не в ответ на диалектическое требование, но как-то трансцендентно почувствованные и, может быть, «взлканные» сердцем; платонизм художества и недр...

Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, — вскричал я, — то где же земля? — И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней. 10

— И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?.. — вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

— Увидишь все, — ответил мне спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове. Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы... 20

Все это место, т. е. несколько выше и далее, удивительно по чувству какой-то космической любви к земле; и, конечно, это есть одно из благороднейших и возвышенных слов, когда-либо на землю подуманных.

И вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить только с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтобы любить. Я хочу, я жажду, в сию минуту, целовать, обливаться слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!.. 30

Отсюда начинается главная часть видения. Рассказ так короток, он так, очевидно, вылился разом, к следующему № «Дневника писателя», что было бы напрасно искать в нем выдержанности мысли, и если ранее был очевиден мотив «двойника», то едва ли теперь не заступил его мотив воспоминания, т. е. именно нашей, а не «удвоенной» против нашей, земли, какая-то догадка о ней, и о себе в связи с нею:

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня не заметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного как рай дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле Греческий Архипелаг, или где-нибудь на побережье материка, прилегающего к этому Архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым 40

и достигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом, и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветочками. Птички стадами перелетали в воздухе, и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел и узнал людей 10 счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, они целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду 20 одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не спрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

Это — то состояние, о котором Апостол сказал, а Достоевский подметил его слова и повторил, что «времени больше не будет». Время — мера развития, и где нет развития — нет, т. е. невозможно время, и если бы оно было, оно не было бы осязаемо для индивидуума, притом в наших условиях бытия, время иногда останавливается: именно, в состоянии так называемой созерцательности мы теряем отношение к времени, выходим из времени, переставая внутри развиваться, и внешнее — наблюдать. После созерцательности мы как бы пробуждаемся, хотя оно не есть отнюдь сон, и, пробудившись, не имеем никакого представления 30 о том, долго ли оно длилось, помня лишь момент, когда в него погрузились. Очень трудно сказать, есть ли норма и закон для человека вне-временное спокойствие, или временная тревога и развитие.

Видите ли что, опять-таки: Ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их во все; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось непогрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на 40 земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни, так как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки, ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они указывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них, точно они говорили с себе подобными существами.

И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и я убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу, — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мысляю только, а каким-то живым путем...

Это — единственная строчка, где, бессознательно для себя, художник бросил свет на рисуемую картину: ясно, что и все познание в привидевшемся ему мире есть не рефлективное, а иное, «через живые пути»; как и общение существ в этом мире не есть собственно через лицо выражения, но через лицо тяготения. 10

О, эти люди и не добивались, чтобы я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю потому, что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого, как я, и ни разу не возбудить в таком, как я, чувства ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как мог я, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? — Они были резвы и веселы как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкой пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих, и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. 20

Сейчас — очень замечательное место:

У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого (курс. Д-го) сладострастия...

Действительно: есть ли жестокость, в общем так часто сопутствующая сладострастию, выражение его собственной природы, или она есть последствие некоторого угла зрения, с которым мы на него смотрим, через призму которого мы чувственны? Не забудем сверкнувшей в глазах Лизы ненависти, когда брат неосторожно упомянул, что у матери, вероятно, первая теперь мысль, что это — ее грех отразился на дочери. Это до того углубляло тяжесть греха, «бремя» его делало до того «неудобоносимым», что отпор выразился не только порывисто, но страстно и, если бы брат не одумался, конечно, «жестоко» бы. 30

...которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножавшаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. — Подумать можно было, что 40

они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертью. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но видимо были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса.

Дальше очень замечательно, ибо изображение, по существу религиозное, говорит о форме богопоклонения:

У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что, когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге, и хвалили друг друга как дети; это были самые прозрачные песни, но они выливались из сердца и пронизали сердца. Да и не в песнях одних, а казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывалась мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез...

И здесь, как решительно всюду, еще от времен Свидригайлова, упоминание о заходящем солнце; у Достоевского было какое-то мистическое чувство солнца, в своем роде «живой путь» общения с ним. Закат, конечно, единственный момент, когда без боли и долго мы можем смотреть на тело светила. Египтяне, как потом и пифагорейцы, как-то особенно чувствовали солнце, и едва ли с одной геометрической стороны, из любопытства к его движениям.

Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было — Боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О, да, конечно, я был

побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, т. е. те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить в слабые слова наши, так что они должны были как-то стушеваться в уме моем, а стало быть и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и уж, конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все-таки это не могло не быть. 10
Знаете ли: я скажу вам секрет — все это, быть может, было вовсе не сон!

И, бесспорно, у Достоевского была вера в *действительность* этого: он так часто начинал рисовать эту картину, давал ее эмбрионы, и однажды даже нарисовал ее вполне («*Подросток*», разговор Версилова с сыном), хоть и с другим смыслом, как *окончание* судеб человека на земле, что никак не мог смотреть на свое чувство иначе как под углом «тайного касания мирам иным». Далее в «Сне» начинается то, что мы называли кошмарным:

...Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого очарования правды! О, судите сами; я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех! 20

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершить — не знаю, но помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия, и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собою всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это может быть началось *невинно* (курс. Д-го), с шуток, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи поник в их сердца и понравился им. 30
Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться.

Это — грехопадение, грехопадение в той форме, как сохранился до нас наиболее отчетливый рассказ о нем, с маленькими вариантами, и с варьированным образом «приживальщика», который на этот раз есть «двойник» самоубийцы. Мы должны вспомнить, как давни, как застарелы были в Достоевском и видение невинного состояния людей (сон о «золотом веке» Версилова), и фигура «приживальщика». Дальше начинается в рассказе падение воображения, именно введение «контравверз», над которыми творец его размышлял еще со времени, как писал «*Преступление и наказание*»: 40

Явились союзы, но уже друг против друга. Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое.

Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что Истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи...

Последнее — глубокое наблюдение: правда, пока человек добр, он почти не понимает добра и вообще даже не ценит его, не придает ему значения, не рефлектируя его роли. Начало зла в человечестве (in re) — начало учения о добре (in verbo).

Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтобы охранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить себе его в формах и образах, но, странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желаниями сердца своего, как дети, обоготовили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? — то они наверно бы отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердный Судья, Который будет судить нас и имени Которого мы не знаем. Но у нас есть наука и через нее мы отыщем вновь Истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни — выше жизни».

В последней строчке — основная идея, в противовес которой, оспаривая которую возник «Сон смешного человека». Это, еще со времен противопоставления Раскольникову — Свидригайлову, теоретизм в человеке, оспариваемый «живыми путями» познания и общения.

Наука дает нам премудрость, премудрость открывает законы, а знание законов счастья — выше счастья.

Опять — та же формула, и может быть в более удачном виде.

Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унижить и умалить ее в других; и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, и явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтоб те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их камнями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все

воюющие твердо верили в то же время, что наука, мудрость и чувство самосохранения заставят, наконец, человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока для ускорения дела «мудрые» старались поскорее истребить всех «непрямых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего или ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось — к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве.

Несколько эта часть сна напоминает тот сон, который уже в Сибири видел Раскольников: абстрактную оглядку на весь путь собственной теоретической работы, на «Вавилонскую башню», построенную человечеством.

Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих.

Здесь, при величайшей непоследовательности времени, опять отодвигающегося от нашей минуты на две тысячи лет назад, снова выступает кошунственное слияние с собою судьбы человечества; и даже, что еще более увеличивает кошунство, слияние в одно лицо и вины грехопадения, и заслуги искупления.

Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их оскверненную ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, то на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один; что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтобы *они распяли меня на кресте, я угил их, как сделать крест*. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такой силой, что сердце мое стеснилось и я почувствовал, что умру, и тут... ну, вот тут я и проснулся (т. XII, стр. 123—132).

Так оканчивается фантасмагория. И мы снова задумываемся над этими плывущими в небесах, залитыми солнцем, облаками, в панораму которых раздвинулась «баня» и «пауки» Свидригайлова. Два неба, но как не схожи: небо посягновения, уныния, скорби; небо порыва к «пятилетней»:

— И неужели, неужели ничего справедливее и утешительнее не представляется вам?

— Справедливее? Но может быть это-то и есть справедливое, и, знаете, я непременно бы так и сделал («Преступл. и наказ.», стр. 265).

И небо уже позади лежащего «познания», уже «познанной» каким-то новым «живым путем» «Истины», которая разлилась этим белым благоуханием невинности, безгрешности. «Мирра» пролилась, она влилась в кровь и пылает в мозгу

непереносимым блеском, для которого всякие слова суть умаление. Идея растления, идея святости — оне слиты в рассказе; об обеих сказано, что источник их — «мое» сердце; что это — моя унылая «мечта» их обе породила; и «ужасная правда», «до такого ужаса истинное, что это не могло бы пригрезиться во сне» (стр. 130) — отнесено не к былым небесам, которые мы однако бесспорно видим в рассказе, но именно к кризису растления, и, в последнем анализе, к «обиженной восьмилетней девочке», которая тут же, в это время, на земле бегаёт, и совершенно похожа на тех, которых «обижал» «Ставрогин» «одновременно» с тем как «насаждал в Шатова веру в Бога...».

- 10 Вот тайны... Вот сцепление, которое, дав нам подметить в себе, не заметил у себя художник иначе как эмпирический факт «Мадонны» и «Содома», совмещающейся в человеке по географической его «широкости». Но здесь именно и совершенно очевидно сближение, а не близость; лобзание, а не соседство. Это именно «мирра» расплывается в «облака», а не то, что около «облаков» есть «мирра». И то, что еврейский народ открывает Пасху стихом Соломона:

Да лобзает он меня лобзанием уст своих; ибо ласки твои лучше вина...

-
 Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня: сыновья матери моей разгневались на меня, поставили меня стеречь виноградники, — моего собственного виноградника я не устерегла (*Песнь песн.*, 1 и 4).

— есть издревле идущая, и опять не близость, а сближение, «сотрепетание» крыльев.

Самоубийца проснулся; первое, на что упал его взгляд, был заряженный револьвер, который он оттолкнул от себя:

О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной Истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь, и — проповеди!.. Я иду проповедовать, я хочу проповедовать, — что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

- И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — люблю всех, которые надо мною смеются, больше всех остальных. Почему это так — не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, т. е. уж коль и теперь сбился, так что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь, и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И уж, конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу как проповедовать, т. е. какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто ж не сбивается? А между тем ведь все идет к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от мудреца до последнего разбойника, только разными дорогами. Старая это истина, но вот что тут новое: я и сбиваться-то очень не могу. Потому что я видел Истину, я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой моей верой-то и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину, — не то, что изобрел умом, а видел, видел, и *живой образ* (кур. Д-го) ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целостности, что не могу поверить, чтобы ее не могло быть у людей. И так, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду говорить даже, может

быть, чужими словами, но не надолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду, и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть, в начале, что я развратил их всех, но это была ошибка, — вот уже первая ошибка!

Здесь — глубочайшее объяснение полу-признаний, сделанных около идеи о «народе-богоносце»; и признаний о «непойманном зайце»: стоя перед загадками бытия, Достоевский не захотел ничего из них утаить, веря в конечное торжество над ними человека («дойду и я мой квадральон и узнаю секрет», «Бр. Кар.», II, 355. Слова «приживальщика» о себе).

Но Истина шепнула мне, что я *лгу* (кур. Д-го), и охранила меня, и направила. Но как устроен рай — я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере, все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию!..». Сон? Что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: Пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уж это-то я понимаю!) — ну, а я все-таки буду проповедовать. А между тем, так это просто: в один бы день, *в один бы час* * (кур. Д-го) — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше равно ничего не надо: тотчас найдешь как устроиться. А между тем, ведь это — только старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни — выше жизни, знание законов счастья — выше счастья!» — вот с чем бороться надо! И буду! Если только все захотят, то сейчас все устроится.

А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!

XXX

«Не правда ли: живуч как кошка!..».

Завет Предвечного храня,
Мне тварь послушна там земная,
И звезды слушают меня,
Лучами весело играя.

Снова, как в Гоголе, мы и в этом человеке наблюдаем живое чувство Бога; не-³⁰удержимую проповедь; мы наблюдаем действие какой-то таинственной апологии, прочитанной человеком, и очевидно прочитанной у себя в недрах, после которой всякая словесная апология ему становится не нужна:

В нем совершилось особенное раскрытие того христианского духа, который всегда был в его душе. В его письмах под конец вдруг раздались звуки этой струны; она стала звучать в нем так сильно, что он не мог оставлять эти звуки для себя одного, как это делал прежде. Очень ясно это обнаружилось для всех знакомых, когда Федор Михайлович вернулся из заграницы. Он стал беспрестанно сводить разговор на религиозные темы. Мало того: он переменился в обращении, получившем бóльшую мягкость и впадавшем

* Сюда примыкает «Золотой век в кармане», упомянутый выше. Мысль его: почувствовать себя *просто*, без фантазий, умышленности над собою, без *приделок* к существу своему. ⁴⁰

иногда в полную кротость. Даже черты лица его носили след этого настроения и на губах появлялась нежная улыбка. Помню маленькую сцену в Славянском комитете. Мы вошли вместе и с нами поздоровался И. И. Петров. «Кто это?» спросил меня Федор Михайлович, или не знавший его, или забывший, как он беспрестанно забывал людей, с которыми даже часто встречался. Я сказал ему и прибавил: «Какой чудесный, чудесный человек!». Глаза Федора Михайловича ласково заблестели, он с большою любовью поглядывал на других присутствовавших и потихоньку сказал мне: «Да все люди — существа прекрасные!». Искренность и теплота так и светились в нем при этих словах («Биография и письма», I, 295. Слова Н. Н. Страхова).

- 10 Оценка вещей, «важное» и «неважное» переместилось в нем и стало в положение, обратное тому, как оно находится в душе почти всех остальных людей:

Знакомых в Женеве не было никого, кроме Огарева, который иногда заходил — даже выручал Достоевского в случае крайней нужды, давая займы пять или десять франков. Рождение дочери, 22 февраля 1868 года, было большим счастьем для обоих супругов и очень оживило Федора Михайловича. Все свободные минуты он проводил у ее колясочки и радовался каждому ее движению. Но это продолжалось менее трех месяцев. Смерть ее была страшным и неожиданным ударом. Федор Михайлович всю жизнь не мог забыть свою первую девочку и всегда вспоминал о ней с сердечной болью. В одну из своих поездок в Эмс он нарочно съездил в Женеву, чтобы побывать на ее могиле (*ib.*, 296).

- 20 Вот что, в былом и чистом сиянии, вышло из черной скорлупы «свидригайловщины-карамазовщины». «Сила земная, сила неудержимая» («Бр. Кар.», I, 248), «мы все — Федоры Павловичи» («Записная книжка») и порыв Федора Павловича: «До 70, даже до 80, может быть до 90 лет» — все это, опав, обнаружил в себе святое: «И пойду! И пойду!» — зерно не только пророчества как порыва, как слова, но и праведности как жизненного факта, с этим замирающим словом на запёкшихся устах: «А Евангелие передайте Феде». Все точки зрения у этого человека — новые; не противоположные тем, на которых стоял Гоголь, но решительно противоположные тем, на каких стоит вся остальная русская литература:

- 30 Получив ноябрьскую книжку «Отечественных Записок», я заглянул было в «Подросток» Достоевского: Боже, что это за хаос! Что за кислотина, больничная вонь и никому ненужное бормотанье и психологическое ковырянье (*Сев. Вестн.*, 1897 г., май, стр. 192).

- Этот отзыв классически ясного Тургенева повторили бы $\frac{9}{10}$ читающего общества, и не о «Подростке» только, но о всех XII томах его произведений. Что-то неудержимо отталкивающее, именно отвратительное, есть во всех их; как, собственно, есть это отвратительное и отталкивающее и во всем Гоголе ... для $\frac{9}{10}$ человечества. Но вот $\frac{1}{10}$ именно сосущих, а не скользящих по поверхности мира душ жадно припадает к сосцам мучительной и похотливой волчицы... Сквозь клубы «больничной вонь» святые строки, бесспорно святые, пронизывают эти же XII томов; строки, аналогичные которым вы встретите у Гоголя и ничего, ничего подобного не отыщете во всей остальной литературе, не отыщете особенно у Тургенева, которого переплетя в шагреневый переплет и поставив на лучшее место книжных полок — « $\frac{9}{10}$ читающего человечества» затем забывают. Достоевский нужен нам; он коснулся таких фибр души нашей, которых коснуться мы даем жене, матери, отцу, — и, вообще, не даем коснуться их другу. Скажем боль-

ше: он проник туда, куда мы даем проникнуть... Он проник в части души, которые изливаются у нас в молитве, в ночной уединенной скорби, на ложе смерти. Его XII томов не скользят по нас, как собственно скользит вся литература, но пронизывают нас как какими-то острыми иглами: и их уколы суть уколы высшего ведения, уколы высшей любви. Он любит нас — в смраде, именно в «вони» и, наконец, он любит землю, на которой мы обитаем, высшею любовью; он постиг нас и опять постиг эту землю высшим прозрением. У него — и опять это родственная черта с Гоголем — есть в словах какая-то владычествующая нота: он не высказывает свое минутное, как одно из литературных, которое ляжет с ними в ряд, но как особенное, и которому нужно внимать и покоряться. Он ясно ненавидит не соглашающихся с ним, имеющих иные точки зрения, и знает какое-то за собою право ненавидеть, негодовать, оскорблять («Бесы», фигура «Кармазинова»-Тургенева). В «Переписке с друзьями» Гоголь, Достоевский в ряде дико-странных, для романа, глав: «Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы» — явно учат, хотят учить, требуют внимания. У них есть именно власть «вязать и решить», присутствие которой у себя они знают в своем роде через какое-то достигнутое «касание мірам иным»; через таинства бытия, им одним вскрывшиеся...

Десять десятых человечества как некогда восстали против Гоголя *, еще мучительнее восстали против Достоевского **: 20

Посыпал пеплом я главу
Из городов бежал я нищий
И вот в пустыне я живу
Как птицы — даром Божьей пищи...

Судьба обоих — судьба одиноких, отвергаемых, ненавидимых скитальцев — в сущности сходна и почти одинакова. Талант их собственно литературный — противоположен. Той изумительной скульптурности, скульптурности не только фигур, но, кажется, самого слова, самого сгиба речи, какую мы наблюдаем у Гоголя, — нет у Достоевского, все образы которого суть клоки человекообразного тумана, но с каким-то светящимся средоточием внутри их, как бы с загорающеюся, но притом действительно, душою. Девченка, та девченка, которая, сидя на облучке Чичиковской брички, ничего не говорит всю дорогу, между Собакевичем и Плюшкиным, — резче вырисовывается перед нами, нежели длиннокудрый Ленский, в «Евг. Онегине», или который-нибудь из Карамазовых. — «Никакой 30

* Сперва против так назыв. «лирических отступлений» в «Мертвых душах» и особенно когда эти лирические места, зовущие, захватывающие, учащие — раздвинулись в широкий и властительный тон «Переписки с друзьями»: последняя, несмотря на относительную слабость литературной формы, есть, конечно, «энтелехия» всех созданий Гоголя, т. е. их «образующая и движущая душа», не выявленная до конца, но в конце опавшая, как в своем роде капля «миры», скапливавшаяся долго, но скапливавшаяся во всех его предыдущих произведениях. 40

** Особенно против Достоевского в «Пушкинской речи» — с его властительным: «Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек». В высшей степени замечательно и исторически важно, что против Достоевского общество восстало уже обессиленное, с меньшими почему-то силами: эти силы уже иссякли в борьбе с Гоголем, «Переписка» которого, все время, все десятилетия ненавидимая, все время, однако, перерабатывала общество.

нет Заманиловки, а вот Маниловка — точно есть»: какое значение в этом? какой даже смысл? против речей Базарова, Ивана Карамазова, князя Андрея Болконского или Пьера Безухова? Но вот все это ценное мы полупомним, все это — колеблющийся туман; тогда как скульптурная бессмыслица «Маниловки-Заманиловки» так и осталась в душе нашей недвижимою, неизменившеюся, как 20 лет назад вошла впервые в нее. Этой тайны скульптурного вырезывания, этой «Елизавет Воробей», которая в такой транскрипции выдается Собакевичем за мужскую ревизскую душу, — ее не знал никто еще кроме Гоголя, и не знал ее Достоевский. Но и этих мыслей: «из-под земли, из могилы нашей мы запоем гимн Богу, у которого радость», или: «две бездны — бездна вверху и бездна внизу», «ведь я знаю, что в конце концов и я помирюсь, пройду и я мой квадральон и узнаю секрет» (слова приживальщика), этих мыслей, которые, закатившись в вашу душу, не остаются лежать в ней красиво жемчужиной, но расстрогивают ее, разрыхливают как почву и вдруг начинают прорастать, дальше, больше, преобразуя тук ваших идей и чувств в закон своих форм и движений, — мы обратно не встретим у Гоголя и вообще не встретим ни у кого еще кроме Достоевского. Если мы оценим обоих на весах истории, мы увидим, что питающее молоко первого есть существенным образом убивающее, и второго — оживотворяющее: чего ни коснулся резец Гоголя — все умерло, получив под ним идеал отрицания, «идею» * 10 отвержения. Россия, им изображенная, если еще держится, кой-где, то — как факт, привычкою, инерцией; и умерла в нашей любви, для всякой человеческой привязанности, т. е. как живая идея по мере того как он ее вырезывал и насколько успел вырезать. Вот мощь его, вот узкий и невообразимо длинный сосец его, просунувшийся в будущее: он напоил народы отвращением ко всему, чего коснулся. Молоко Достоевского, напротив, живительно: не дав, собственно, ничего целого, и ничего художественно-прекрасного в отдельности, он распял в мирадах сосущих душ какие-то живые огоньки; никакого пламени, никакого еще пожара; но несколько святых мыслей, святые черточки кой-каких образов, и, наконец, белые его видения — они запали в душу и для всякого вообще могут тогда 30 или в иное время, в этом или в другом жизненном положении послужить зерном факта, ядром деятельности и вообще пустить от себя жизнь:

Травку выманила в поле...

Этою «клубящеюся жизнью», этим «тайным брожением», о котором он упомянул в гимне Церере, — он необъятно богат и собственно богаче не только порознь всех остальных наших писателей, но и их в совокупности. Его «XII томов» — это начало необозримой литературы; загадки, которых он коснулся — достаточны, чтобы стать предметом разгадывания самой могущественной философии; идеалы, которые он поставил, напр. в «Сне смешного человека», достойны стать целью самой гордой цивилизации; и, наконец, его анализ, его «Записки 40 из подполья», его «Легенда об Инквизиторе» представляют такие бездны исторической и политической мысли, только край которых, краевая мокрота затопляет глубиною и обилием своим все, что в сфере этих наук писалось у нас...

Мы упомянули о святых строках в этих XII томах; святых мыслях, святых чувствах, положениях, фигурах, которые прорезывают эту в общем однако

* В платоновском смысле.

«больничную вонь». Если мы сравним эти лучистые и жгучие места с аналогичными у Гоголя напр. в «Переписке с друзьями», мы увидим, что у последнего есть благочестиво-нужное, утилитарно-придуманное, и недостает этого особенного тембра, этой новой в нашей литературе мелодии: взрыва, за которым хочется совершить подвиг. Так образ Сони Мармеладовой нудит вас пойти и обвенчаться с какою-нибудь павшей; Коля Красоткин («Бр. Кар.») — вызывает ласковый взгляд на толпу играющих или толпу «фрондирующих» мальчиков; Митя Карамазов — внушает прощение даже и к «такому». Повсюду он обволакивает ваше сердце скорбью и родит в нем мучительное поползновение пойти и сделать благо. Гоголь совершенно не умеет этого: то, что он в вас рождает — это брезгливое желание сбросить какую-то ползущую по плечу «гадость», которая иногда бывает «человек». Но, сверх этого, есть еще одна черта в том «созерцательном мистицизме», который есть у него.

Это — космическое чувство; в противоположность Гоголю, который весь свернулся в какой-то узкий и удушливый мир — все проселочные дороги и одной губернии — Достоевский развернулся в широту космической панорамы; и, собственно, фигуры у него так неясны, туманны, несовершенны потому, что настоящий предмет созерцания художника — не они, но это

И гад морских подземный ход,
И дольней лозы прозябанье.

Мы видели «Сон смешного человека»; все знают «Легенду об Инквизиторе»: это — даже не история, это так широко, что история занимает только угол картины. Это именно картина, рисующаяся перед «созерцателем», для которого «остановилось время»; и, если мы примем в то же время во внимание мелодию, тут же неслышно льющуюся, мы догадаемся, что это человек стоит на молитве и молитва его льется к Богу, лица которого он не видит, имени не знает, присутствие чувствует, об этом предмете его созерцания, т. е. целой вселенной, обливаемой слезами. Космическая молитва, космическая по предмету ее и по строю души, из которой она льется — вот конечная формула мысли этих «XII томов». Странная мысль — мы возвращаемся к исходному своему слову — у похотливой и жестокой волчицы, которая поит нас и на нас не смотрит, «касясь миром иным»...

- Брат, как странно ты говоришь; точно ты в каком безумии.
- У меня голова болит, Алеша, и мне грустно.

XXXI

Маленькое отступление, возврат на минуту к одному не осмотренному провалу на путях того «созерцательного мистицизма», той живой говорящей в человеке апологии, которые мы исследуем. У Гоголя есть также одно место, аналогичное ужасным текстам, которые мы привели у Достоевского: это — «Страшная месть». Идея ее — сои́альное тяготение отца к дочери: второй трансцендентный грех, столь же древний в человечестве как и растение несовершеннолетних, бродящий и «уязвляющий его в пятю» с тех пор как человек бродит по оплакиваемой и уливаемой его кровью земле. — «У, проклятая: как, пяти лет!». Этот ужас

Свидригайлова прошел и по спине Гоголя, но как у художника-скульптора он выразился у него не восклицанием, а вылепленную фигурую:

Приподняв иконы вверх, есаул готовился сказать кроткую молитву... как вдруг закричали, перепугавшись, игравшие на земле дети, а вслед за ними попятился народ, и все показывали со страхом пальцами на стоявшего посреди их казака. Кто он таков — никто не знал. Но уже он протанцовал на славу казачка и уже успел насмешить обступившую его толпу. Когда же есаул поднял иконы, вдруг все лицо казака переменялось: нос вырос и наклонился на сторону, вместо карих запрыгали зеленые очи, губы засинели, подбородок задрожал и заострился, как копьё, изо рта выбежал клык, из-за головы поднялся горб, и стал казак — старик.

— Это он! Это он! — кричали в толпе, тесно прижимаясь друг к другу (гл. I).

«Он», будучи главным лицом рассказа, так и не назван нигде по имени, и дочь называет его всегда «отец»: образ кровосмешения туманом потянулся в воображении художника и сочетание «отец» и «дочь» в страшных sexual'ных порывах он так и оставил в наготе родственного отношения, не закрыв, не отдалив его собственными именами.

Слушай, Катерина: мне кажется, что отец твой не хочет жить в ладу с нами. Приехал угрюмый, суровый, как будто сердится... Ну, недоволен, — зачем приезжать. Не хотел выпить за казацкую волю! Не покачал на руках дитяти! Сперва было я ему хотел поверить все, что лежит на сердце, да и не берется что-то, и речь замкнулась. Нет, у него не казацкое сердце! (гл. II).

Выше мы объяснили, что едва девушка становится женщиною, чувство к ней всего рода, в который она вступила, переменяется; равно и чувство всех ее родных к ее мужу. Что вчера было и чувствовалось как «знакомство», сегодня чувствуется и действительно становится «кровностью»: гармонией крови, т. е. тайным сопряжением кровей, и, собственно, нежным и глубоко схороненным соит'альным содроганием, которое пробегает тенью по «крови» обоих слившихся родов от полного coitus'a, в который вступили два их члена. Тени, полутени, четвертьтени, след тени, но именно coitus'a и именно между всеми членами только что завязавшегося «родства», пробудившегося «единства крови». Ползучее желание ползет уже по этому факту; т. е. оно из него рождается, из тайного становясь явным, из не сознаваемого становясь — чувствуемым, и, наконец, пылая в крови преступным намерением. Отсюда множественность случаев кровосмешения, — по отношению к невестке, зятю, деверю, и наоборот, — местами переходящих почти в народный обычай. Гоголь выбрал самую тяжелую его форму; но замечательно, что тяготение здесь возбуждается не ранее замужества, после рождения дочерью ребенка, т. е. оно есть вмешательство третьего в существующий уже coitus двух, из коих один генетически связан с этим третьим. Гоголь почувствовал, т. е. он «кровью» почувствовал закон, о котором, конечно, ничего не знал.

Поздно проснулся на другой день Бурульбаш с женою:

Вдруг вошел Катеринин отец, рассержен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах, приступил к дочке и сурово стал выпрашивать ее: что за причина тому, что так поздно воротилась она домой.

— Про эти дела, тесть, не ее, а меня спрашивать! Не жена, а муж отвечает! У нас уже так водится, не прогневайся. Может, в иных неверных землях этого не бывает — я не знаю (III).

Слово за словом, и ссора вспыхнула между казаками; дальше, больше, — и искавший ссоры тесть, в тайне сгорающий от ревности дочери к зятю, вызывает его. Они скрестили клинки; обменялись пулями из мушкетов; заалела Данилина кровь, но не уступил он тестю и потянулся за турецким пистолетом на стене, никогда еще ему не изменявшим. Катерина бросилась к мужу с мольбою не продолжать ссоры; смягчился козак и протянул руку тестю:

— Дай, отец, руку! Забудем бывшее меж нами! Что сделал перед тобою неправого — винюсь. Что же ты не даешь руки? — говорит Данило отцу Катерины, который стоял на одном месте, не выражая на лице своем ни гнева, ни примирения.

— Отец! — вскричала Катерина, обняв и поцеловав его, — не будь неумолим, прости Данилу: он не огорчит больше тебя!

— Для тебя только, моя дочь, прощаю! — отвечал он, поцеловав ее и блеснув страшно очами.

Катерина немного вздрогнула: чуден показался ей и поцелуй, и страшный блеск очей (Гл. III).

Замечательно, что всюду, где мы имеем речь отца, даже где имеем его движения, — мы имеем их удивительно психологически-верными, и это у неискusstного вообще в психологии Гоголя; речи и движения Данилы представляют общую бытовую рисовку; речи Катерины глубоко неестественны*.

Проснулась пани Катерина, но нерадостна: очи заплаканы, и вся она смутна и беспокойна.

— Муж мой милый, муж дорогой, чудный мне сон снился!

— Какой сон, моя любая пани Катерина?

— Снилось мне, чудно, право, и так живо, будто наяву, снилось мне, что отец мой есть тот самый урод, которого мы видели у осаула. Но прошу тебя, не верь сну: каких глупос-

* Вне нашей теперешней темы, но мы не можем не привести «восклицание» ее, в минуту испуга, когда отец и муж, ожесточившись, взялись за пистолеты: не следует забывать, что *нагал* ссору и вызвал на бой — отец, что мужа она глубоко и нежно любит и что мужнина кровь «уже выкрасила левый рукав кафтана»:

«— Данило! — закричала в отчаянии, схвативши его за руку и бросившись ему в ноги, Катерина: — не за себя молю, мне один конец: *та недостойная жена, которая живет после своего мужа; Днепр, холодный Днепр* будет мне могилою... Но погляди на сына, Данило! Погляди на сына! Кто пригреет бедное дитя? Кто приголубит его? *Кто выужит его летать на вороном коне, биться за волю и веру, пить и гулять по-казацки?* Пропадай, сын мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой! Гляди, как он отворачивает лицо свое. *О, я теперь знаю тебя! Ты зверь, а не человек! У тебя волжье сердце, а душа лукавой гадины!* Я думала, что у тебя есть капля жалости, что *в твоём каменном теле человекье чувство горит*. Безумно же я обманулась! Тебе это радость принесет; твои кости станут танцовать в гробе с веселья, когда услышат, как несчастные звери ляжи кинут в пламя твоего сына, когда сын твой будет кричать под ножами и окропом. *О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба встать и раздуть шапкою огонь, взвихрившийся под ним!*» (Гл. III). — Неестественность и придуманность этой декламации не может ни с чем сравниться; вот уже что называется не познать и, может быть, не «познать» женщины, вечно абстрактно представлять ее образ «сладострастно нагнувшийся», без всякого живого слова, для нагиба и не нужного. Генетически — это эмбрион «Уленьки».

тей не привидится! Будто я стояла перед ним, дрожжала вся, боялась, и от каждого слова его стонали мои жилы. Если б ты слышал, что он говорил...

— Что же он говорил, моя золотая Катерина?

— Говорил: «Ты посмотри на меня, Катерина, я хорош! Люди напрасно говорят, что я дурен: я буду тебе славным мужем. Посмотри, как я поглядываю очами!». Тут навел он на меня огненные очи, я вскрикнула и пробудилась (Гл. IV).

Еще обменялись они словом; день был хмурый; не весело было обоим, — и хлопец Стецько был послан принести браги:

10 — А вот и турецкий игумен лезет в дверь! — проговорил Данило сквозь зубы, увидя тестя, нагнувшегося, чтоб войти в дверь.

— А что ж это, моя дочь! — сказал отец, снимая с головы шапку и поправляя пояс, на котором висела сабля с чудными камнями: — солнце уже высоко, а у тебя обед не готов.

Подали обед:

— Не люблю я этих галушек! — сказал пан-отец, немного поевши и положивши ложку: — никакого вкуса нет!

20 — Знаю, что тебе лучше жидовская лапша, — подумал про себя Данило. — Отчего же, тесть, — продолжал он вслух, — ты говоришь, что вкуса нет в галушках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так делает галушки, что и гетману редко достается есть такие; а брезгать ими нечего: это христианское кушанье! Все святые люди и угодники Божии едали галушки.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.

Подали жареного кабана с капустою и сливами. — «Я не люблю свинины!» — сказал Катеринин отец, выгребая ложкою капусту.

— Для чего не любишь свинины? — сказал Данило: — одни турки и жида не едят свинины.

Еще суровее нахмурился отец (Гл. IV).

30 В тот же день, едва завечерело, Данило, кой-что тревожное за приметив в окно, кинулся в сопровождении Стецька осмотреть замок на противоположном берегу Днепра. Ляхи были близко, и что-то замышляли; замок был давно брошенная руина:

— Мне, однако ж, страшно оставаться одной, — сказала Катерина уходящему мужу. — Меня сон так и клонит; что если мне приснится то же самое? Я даже не уверена, точно ли то сон был, — так это происходило живо.

Он успокаивает ее, но она требует, чтоб он замкнул ее на ключ и взял его с собою.

40 Описание колдовства в замке — один из тех перлов дивного художества Гоголя, с которыми ничто несравнимо по краскам и музыке; смена цветов света; этот свет без источника; полосы прежнего света среди разливающегося нового и «тихий звон», от ударяющихся в стены волн его; наконец, появляющийся в комнате месяц, и, незаметно, после какого-то неуловимого передвижения, появляющаяся собственная опочивальня Данилы, где только «лики икон заменились какими-то страшными лицами» — все это непередаваемо, требует изучения, просится на заучиванье. — Но вот появляется человекообразная фигура, легкая и трепетная. Это — душа Катерины.

Замечательно, что самое «колдовство» и особенно цель его очень напоминает то, что мы теперь знаем под именем гипноза, гипнотического внушения: отец внушает, приказывает заснувшей, или, что истиннее (см. выше) усыпленной им через расстояние дочери, повлечься к нему, отдаться ему:

— Ты помнишь все то, что я говорил тебе вчера? — спросил колдун так тихо, что едва можно было расслушать.

— Помню, помню; но чего бы не дала я, чтобы только забыть это.

Бедная Катерина! Она много не знает из того, что знает душа ее.

«Это Катеринина душа», — подумал Данило; но все еще не смел пошевелиться.

— Покайся, отец! не страшно ли, что после каждого...

10

— Ты опять за старое! — грозно прервал колдун: — Я поставлю на своем, я заставлю тебя сделать, что мне хочется. Катерина полюбит меня!..

— О, ты чудовище, а не отец мой! — простонала она; — нет, не будет по-твоему! Правда, ты взял нечистыми чарами твоими власть вызвать душу и мучить ее; но один только Бог может заставить ее делать то, что ему угодно. Нет, никогда Катерина, доколе я буду держаться в ее теле, не решится на богопротивное дело. Отец! близок страшный суд! Если бы ты и не отец мне был, и тогда бы не заставил меня изменить моему любимому, верному мужу; если бы муж мой и не был мне верен и мил, и тогда бы не изменила ему, потому что Бог не любит клятвопреступных и неверных душ... (Гл. IV).

Бледно как туман — этот рокот мучимой и вспыхивающей чистоты порывами души напоминает мучительные в сплетении с нежностью страницы Достоевского. Еще более их напоминает этот ответ Данилы жене: он убежден, что ее отец — антихрист, так как от одного святого отшельника слышал, что только у антихриста есть власть вызывать человеческую душу:

Если б я знал, что у тебя такой отец, я бы не женился на тебе; я бы кинул тебя и не принял бы на душу греха, породнившись с антихристовым племенем.

— Данило, — сказала Катерина, закрыв лицо руками и рыдая: — Я ли виновата в чем перед тобою? Я ли изменила тебе, мой любимый муж? Чем же навела на себя гнев твой? Неверно разве служила тебе? Сказала ли противное слово, когда ты ворочался навеселе с молодецкой пирушки? Тебе ли не родила чернобрового сына?..

30

— Не плачь, Катерина, я тебя теперь знаю и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце твоём» (Гл. V).

Это — ответ Достоевского; даже от Бога отделяется, даже демона не чурается, чтобы остаться с человеком; «не обидеть человека», не можем мы скрыть иронии.

По «человечеству» же, Катерина выпускает отца из подвала, куда его запер Данила; и опять тут скользнул мотив Достоевского:

«Не за колдовство и не за богопротивные дела сидит в глубоком подвале колдун — *им судия Бог*» (Гл. VI); казак вмешал свою волю только в политическую измену, и схватил тестя, когда открылись его сношения с ляхами. Проходившая мимо Катерина не хотела слушать мольбы отца; но вот, он заговорил о матери ее — она остановилась; он говорит о своей грешной душе — она слушает; он говорит о необходимости для него покаяния: ключи гремят и она его выпускает:

— Прощай! Храни тебя Бог милосердный, дитя мое! — сказал колдун, *поцеловав ее*.

— Не прикасайся ко мне, неслыханный грешник: уходи скорее!.. — говорила Катерина (гл. VI).

Отблагодарил отец дочь. На хутор Данилы действительно нападают ляхи; упорна была схватка; но молодечество козаков побеждает:

Уже начали рассыпаться ляхи; уже обдирают казаки с убитых золотые жупаны и богатую сбрую; уже пан Данило собирается в погоню, и взглянул, чтобы созвать своих... и весь закипел от ярости: ему показался Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит в него мушкетом. Данило погнал коня прямо к нему... Казак, на гибель идешь!.. * Мушкет гремит — и колдун пропал за горою. Только верный Стецько видел, как мелькнула красная одежда и чудная шапка. Зашатался казак и свалился на землю. Кинулся верный Стецько к своему пану — лежит пан его, протянувшись на земле и закрывши ясные очи; алая кровь запеклась на груди. Но, видно, почуял верного слугу своего; тихо приподнял веки, блеснул очами: — Прощай, Стецько! Скажи Катерине, чтобы не покидала сына! Не покидайте и вы его, мои верные слуги! И затих (Гл. IX).

Катерина — у брата, в Киеве:

— Успокой себя, моя любая сестра: сны редко говорят правду.

— Приляг, сестрица! — говорила молодая его невестка: — я позову старуху, ворожею; против нее никакая сила не устоит: она вылет переполох тебе.

— Ничего не бойся! — говорит сын его, хватаясь за саблю: — никто тебя не обидит.

Пасмурно, мутными глазами глядела на всех Катерина и не находила речи. «Я сама устроила себе погибель; я выпустила его». Наконец она сказала: — Мне нет от него покоя! Вот уже десять дней я у вас в Киеве, а горя ни капли не убавилось; думала, буду хоть в тишине растить на месть сына... страшен, страшен привиделся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть его! Сердце мое до сих пор бьется. «Я зарублю твое дитя, Катерина! — кричал он, — если не выйдешь за меня замуж»... и, зарыдав, кинулась она к колыбели, а испуганное дитя протянуло ручки и кричало.

Взволнованы казаки и грозятся на страшного гостя, если бы он появился; не отходят от Катерины; расставили стражу на ночь, а заснули вместе.

Вдруг Катерина, вскрикнув, проснулась, и за нею проснулись все. — Он убит, он зарезан, кричала она и кинулась к колыбели.

Все обступили колыбель и окаменели от страха, увидевши, что в ней лежало неживое дитя (Гл. XI).

Катерина — безумная; картина ее плясок, пенья и угроз — ужасна в красоте своей истины. Замечательно, что Пушкин не написал ни одной сцены безумия; у Достоевского в самом характере его творчества, в организме его созданий есть нечто безумное; и некоторые из перлов Гоголевского художества, как «Записки сумасшедшего», берут темою своею безумие же: еще роднящая черта между ним и Достоевским и вместе черта, проходящая пропастью между ними обоими и Пушкиным, к которому эти писатели тянулись так бесплотны и бесплодно. — Мы возьмем из ее бреда только струйку чувственного воспоминания:

* Чудны эти вещи восклицания у Гоголя, получающие такое широкое место в «Тарасе Бульбе»: они сообщают колорит эпически-былинный его рассказам. В восклицаниях этих, падающих в самых ранних рассказах Гоголя, как настоящий, можно уже видеть эмбрион «лирических отступлений» «Мертвых душ» — также всегда пророческих, т. е. обращенных к будущему.

...«О, это такой нож, какой нужно». Слезы и тоска показались у нее на лице. — У отца моего далеко сердце; он не достанет до него. У него сердце из железа выковано; ему выковала одна ведьма на пекальном огне. Что ж не идет отец мой? разве он не знает, что пора заколоть его? Видно, он хочет, чтоб я сама пришла и не докончив, гудно засмеялась (Гл. XIII).

Она — опять в своем хуторе, и бродит до поздней ночи по полям, возле реки, бессмысленная:

С ранним утром приехал какой-то гость, странный собою, в красном жупане, и осведомляется о пане Даниле; слышит все, утирает рукавом заплаканные очи и пожимает плечами. Он, де, воевал вместе с покойным Бурульбашем; вместе рубились они с крымцами и турками; ждал ли он, чтобы такой конец был пана Данила. Рассказывает еще гость о многом другом и хочет видеть пани Катерину. 10

Катерина сначала не слушала ничего, что говорил гость; напоследок стала, как разумная, вслушиваться в его речи. Он повел про то, как они жили вместе с Данилом, будто брат с братом; как укрылись раз под греблюю от крымцев... Катерина слушала и не спускала с него очей.

Удивительно это возбуждение соит'ального внимания; голова — потеряна у ней; но она чувствует в genit'алиях ползущее к ней желание, и голова начинает слушать, усиливается разобрать:

— Она отойдет! — думали хлопцы, глядя на нее: — этот гость вылечит ее! Она уже слушает как разумная. 20

У них нет соит'ального с ним отношения, и они не догадываются, имея вполне здоровую голову и свежее соображение. Подробности обстоятельств, среди которых помешалась Катерина, конечно, им известны.

Гость начал рассказывать между тем, как пан Данило, в час откровенной беседы, сказал ему: «Гляди, брат Копрян: когда волею Божию не будет меня на свете, возьми к себе жену, и путь будет она твоею женою...».

Странно вонзила в него очи Катерина. — А! — вскрикнула она: — Это он! Это отец! — И кинулась на него с ножом.

Долго боролся тот, стараясь вырвать у нее нож; наконец, вырвал, замахнулся — совершилось страшное дело: отец убил безумную дочь свою. 30

Изумившиеся казаки кинулись было на него; но он успел вскочить на коня и пропал из виду (Гл. XIII).

Вот сюжет, перед которым попятился бы Достоевский, который никогда не пришел бы на ум Пушкину, Жуковскому, Батюшкову, и который занял на протяжении тридцати страниц Гоголя; т. е., при медлительности всегда его работы, занял на несколько месяцев его воображение. «Как — *пятилетняя!* у, проклятая»; и Свидригайлов застреливается, в мокрое петербургское утро, после страшного видения; замечательно, что идея самоубийства вовсе отсутствует в литературе сороковых, тридцатых годов: «центростремительной силы» было еще много в земле, и люди не так легко слетали с нее. Отец едет к схимнику: 40

Уже много лет, как он затворился в своей пещере; уже сделал себе и досчатый гроб, в который ложился спать вместо постели.

— Отец, молись! Молись! — закричал вбежавший отчаянно: — молись о погибшей душе! — И грянулся на землю.

Святой схимник перекрестился, достал книгу, развернул, и, в ужасе, отступил назад и выронил книгу: — Нет, неслыханный грешник! Нет тебе помилования! Беги отсюда! Не могу молиться о тебе!

— Нет! — закричал, как безумный, грешник.

—гляди, святые буквы на книге налились кровью... Еще никогда в мире не было такого грешника!

— Отец, ты смеешься надо мною!

— Иди, окаянный грешник! Не смеюсь я над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро быть человеку с тобою вместе.

10 — Нет, нет! Ты смеешься, не говори... я вижу, как раздвинулся твой рот: вот белеют рядами твои старые зубы.

И, как бешеный, кинулся он и убил святого схимника (Гл. XV).

Шатов уже выходящему от него Ставрогину, после приведенной выше беседы, тоже говорит:

— Слушайте, сходите к Тихону.

— К кому?

— К Тихону. Тихон, бывший архиерей, по болезни живет здесь на покое, здесь в городе, вне черт города, в нашем Ефимьевском Богородском монастыре.

— Это что же такое?

20 — Ничего. К нему теперь и ходят. Сходите; чего вам? Ну, чего вам?

— Во первый раз слышу и... никогда еще не видывал этого сорта людей. Благодарю вас, схожу («Бесы», 232—233).

XXXII

«Бе... бе... бе...». Никто не мог понять, что хочет сказать умирающий, которому парализованный язык мешал выговорить мысль; наконец догадались: «белое платье». Старый князь Болконский захотел взглянуть на свою дочь, перед смертью, в белом платье. Французы завладевали Москвой, и Екатерининский герой не мог знать, не завладевают ли они и Россией.

30 Вот одно из тех небесных видений, которых несколько свел Толстой на землю, — и за которые, в какое бы безумие он ни впал позднее, все можно и следует простить ему. Ибо свет этих видений заливал всякую тьму. Княжна Марья ужасно некрасива; как, чем — очень подробно не объяснено; какие-то пятна на лице; и в чертах лица что-нибудь смешное, может быть «птичье». Только — «лучистые глаза», всей России запомнившиеся; только через них излучается душа-молитва невыразимо-прекрасной, в уродливом теле, девушки. Невыразимая красота ее и, конечно, невыразимо в ней слышное увеличивается через то, что образ мужчины, не которого-нибудь, не любимого, но мужской фигуры, наполняет ее душу, сжимающуюся страхом перед отцом и его вечной алгеброй. Эта алгебра...
40 Угрюмый отец, который что-то строгаёт, вечно сердится, что она чего-то не понимает, и она понимает еще меньше, потому что боится, что он сердится. Так они маются друг с другом, и в долгие годы жизни он ей не сказал ласкового слова. Приезжал Курагин, который-то Курагин, Ипполит или Анатолий, и вся волнуясь, и бессильная, она сидела перед зеркалом: что она ни сделает в причёске — она становилась безобразнее; и безобразною спустилась вниз, где Анатолий уже тол-

кал ногой из-под рояли хорошенькую француженку-гувернантку. Старик облил дочь неудержимо-злобно иронией: «к жениху выходить — прибралась». Не-разговорчивая, безмолвная, она стала еще глупее перед ожидавшим ее красавцем. Как-то, когда-то, сейчас или на завтра, разъехались * ...

«Бе... бе... бе...», «белое платье». Вот в чем ты хороша, т. е. ты лучше, ты возможна, а для меня и мила; т. е. ты и всегда была мне милее всех сокровищ, и даже этой гибнущей России, со своими пятнами, курносостью, и всем, всем, во что мучительно вглядывался я за много лет, и все взвесил, все оценил и уже давно, давно решил, что ты — невозможна, и тогда же посадил тебя за алгебру, а Курагина прогнал... Но вот белое платье — может быть; может быть — еще возможно. Ты одна останешься после меня; у брата твоего — свои заботы; любовь своя и — служба. Ты помни — белое платье... И может быть, Бог благословит тебя; не только же Анатоли Курагины бродят по земле. 10

Вот отец и сои^тальное же в сущности отношение к дочери; т. е. центр внимания его в ней — ее таинственная особливая природа женщины и ее закон; пучек «лучистых» тяготений, где ни отец, ни брат, ни Россия, но только супруг угадываемый — светится. Супруг — еще без имени, без лица; т. е., опять, самое существо супружества, и тот иной пучек «лучистых» тяготений, который из него исходит и, конечно, не исходит из его головы, занятой алгеброй, геометрией или фортификацией. Вот центр его внимания — паралитика, Толстого; и в дивной 20 странице нам дано почувствовать — центр внимания Бога; здесь слушает Он молитвы, отсюда текут молитвы. Сюда внимает небо и отсюда небу внимает человек...

«Лучистость»... какое слово выбрал Толстой: да — «лучистость», перелившаяся на мысль, пылающая в уме, и только часть своих богатств пропускающая через узкую щель глаз, которые тогда всех останавливают, и даже всю Россию, при некрасивом лице, заставили полюбить милую девушку и слить свое внимание с ее трогательной и прекрасной судьбой. «Лучистость» эта — она и в нас светится: о, беднейшая, меньшая, оттого мы и молимся ее образу, как прекраснейшему 30 всех нас, при всех наших остальных преимуществах [как в «алгебре», так и относительно «выпуклостей торса»]; «лучистость» эта согревает мир, обливает его светом, и на нашей земле мы еще хотим жить, мы отбрасываем в сторону револьвер; мы живем именно потому, что любим, и вовсе не холодною филантропическою «любовью», за которой должное воздается в отчетах благотворительных комитетов... а Бог, видящий *тайное* — тогда только и тому одному воздает «въяве». И, в последнем анализе, Он воздает и этой «лучистой» теплоте человеческого сердца; этой «центростремительной» на земле «силе», прекрасную и правильную форму которой нашел и показал Толстой. «Форму» — мы говорим; потому что сущность и содержание тяготения — одно; оно и здесь то же, оттуда же, таково 40 же как и во всех уже рассмотренных нами темных видениях.

Княжна Марья и — Свидригайлов; да — это одно; страшный образ, привидевшийся Гоголю, и умирающий князь Болконский, в его заботах о дочери — и это одно. Прочтем эту страницу:

* Не имея под руками Толстого, — очерк фактов и смысл выражений я привожу на память; но безусловно без ошибок именно против мысли выражаемой или против хода в фактах, а лишь против их буквы.

Княжна Марья осталась одна. Она не исполнила желания Лизы и не только не переменила прически, но и не взглянула на себя в зеркало. Она, бессильно опустив глаза и руки, молча сидела и думала. *Ей представлялся муж, мужгина, сильное, преобладающее и непонятно привлекательное существо, переносящее ее вдруг в свой, совершенно другой мир.* Ее позвали к чаю.

Она очнулась и ужаснулась тому, о чем думала. И прежде, чем идти вниз, она встала, вошла в образную и, устремив глаза на освещенный лампадою черный лик большого образа Спасителя, простояла пред ним несколько минут со сложенными руками. В душе княжны Марьи было мучительное сомнение. Возможна ли для нее *радость любви, земной любви к мужгине?* В помышлениях о браке княжне Марии мечталось и семейное счастье, и дети, *но главное, сильнейшее и затаенное ее мечтою была любовь земная. Чувство было тем сильнее, тем более она старалась скрывать его от других и даже от самой себя.* «Боже мой, говорила она, как мне подавить в сердце своем эти мысли дьявола? Как мне отказать так навсегда от злых помыслов, чтобы спокойно исполнять волю Твою?». И едва она сделала этот вопрос, как Бог уже отвечал ей в ее собственном сердце... «Не желай ничего для себя, не ищи, не волнуйся, не завидуй. Будущее людей и твоя судьба должны быть неизвестны тебе; но живи так, чтобы быть готовою ко всему. Если Богу угодно будет испытать тебя в обязанностях брака, будь готова исполнить Его волю». С этою успокоительною мыслью (но *все-таки с надеждой на исполнение своей запрещенной земной мечты*) княжна Мария, вздохнув, перекрестилась и сошла вниз, не думая ни о своем платье, как она войдет и что скажет. Что могло все это значить с предопределением Бога, без воли Которого не падает ни один волос с головы человеческой*.

Слова, струи, страница, которыми не только светится, но и святится земля. Теперь другая страница:

— Чего вы боитесь? — заметил тот спокойно: — город не деревня. И в деревне вреда сделали больше вы мне, чем я вам, а тут...

— Софья Семеновна предупреждена?

— Нет, я не говорил ей и не знаю, дома ли она... Вот тут, этот дом, куда мы подходим — в нем я и живу. Вот это дворик нашего дома; дворник очень хорошо меня знает; вот он кланяется; он видит, что я иду с дамой, и уж, конечно, заметил ваше лицо, а это вам пригодится, если вы очень боитесь и меня подозреваете. Извините, что я так грубо говорю. Сам я живу от жильцов. Софья Семеновна живет со мною стена об стену, тоже от жильцов. Весь этаж в жильцах. Чего же вам бояться как ребенку. Или я уж так очень страшен?

Лицо Свидригайлова искривилось в снисходительную улыбку; *но ему было уже не до улыбок. Сердце его стучало, и дыхание спиралось в груди.* Он нарочно говорил громче, чтобы скрыть свое *возрастающее волнение*; уж слишком раздражило ее замечание о том, что она боится его как ребенок и что он так для нее страшен.

— Хоть я и знаю, что вы человек... без чести, но я вас нисколько не боюсь. Идите вперед, — сказала она по-видимому спокойно, но лицо ее было очень бледно.

Свидригайлов, введя ее в квартиру, показал расположение своих комнат, и она не заметила странности в их расположении.

Он привел Авдотью Романовну обратно в первую комнату, служившую ему залой, и пригласил ее сесть на стул. Сам сел на другом конце стола, по крайней мере от нее на са-

* «Русский Вестник», 1891 г., июнь, стр. 254. Цитата помещена в «Анализе, стиле и вянии — о романах гр. Л. Н. Толстого» — К. Леонтьева.

жень, но, вероятно, в глазах его уже блистал тот же самый пламень, который так испугал когда-то Дунегку. Она вздрогнула и еще раз недоверливо осмотрелась...

Еще черта соит'альной чуткости, подсмотренная Гоголем у Катерины.

...Но уединенное положение квартиры Свидригайлова наконец ее поразило. Ей хотелось спросить, дома ли, по крайней мере, его хозяйка, но она не спросила... из гордости.

Заговорили о брате ее; и он — для того и показывал расположение комнат — объяснил, как подслушал разговор его с Соней Мармеладовой, из которого ему раскрылась тайна убийства и грабежа процентщицы. С Дуней сделалось дурно.

— Вот вода, отпейте глоток...

Он брызнул на нее, и она очнулась.

10

— Сильно подействовало! — бормотал про себя Свидригайлов, нахмурясь. — Авдотья Романовна, успокойтесь! Знайте, что у него есть друзья. Мы его спасем, выручим. Хотите, я увезу его за границу? У меня есть деньги; я в три дня достану билет. А на счет того, что он убил, то он еще наделает много добрых дел, так что все это загладится; успокойтесь. Великим человеком еще может быть. Ну, что с вами?

Он объяснил ей, за минуту, теорию «великих» людей и как бы «сора» людского в истории, которая сыграла роковую роль в преступлении Раскольникова.

— Злой человек! Он еще насмехается... Пустите меня...

— Куда вы? Да куда вы?..

— К нему. Где он? Вы знаете? Отчего эта дверь заперта? Мы сюда вошли в эту дверь, а теперь она заперта на ключ. Когда вы успели запереть ее на ключ?

20

Он объяснил, что нельзя же было ему кричать о таком деле; что преступник — в такой степени взволнованности, что ему нельзя ничего говорить и можно только, вопреки даже его воле, спасти его, увезти; но это надо спокойно и всесторонне обдумать, для чего он и позвал ее к себе.

Дуня села. Свидригайлов сел подле нее.

— Все это от вас зависит, от вас, от вас одной, — нагал он с сверкающими глазами, потти шопотом и даже не выговаривая иных слов от волнения.

Дуня в испуге отшатнулась от него дальше. Он тоже весь дрожжал.

— Вы... одно ваше слово, и он спасен! Я... я его спасу. У меня есть деньги и друзья. Я тотчас отправлю его, а сам возьму паспорт, два паспорта. Один его, другой мой. У меня друзья; у меня есть деловые люди.... Хотите? Я возьму еще вам паспорт.... вашей матери... зачем вам Разумихин? Я вас также люблю... Я вас бесконечно люблю. Дайте мне край вашего платья поцеловать, дайте! Дайте! Я не могу слышать, как он шумит! Скажите мне: сделай то, и я сделаю! Я все сделаю! Я невозможное сделаю! Не смотрите, не смотрите на меня так! Знаете ли, что вы меня убиваете...

30

Он нагнал даже бредить. С ним что-то вдруг сделалось, точно ему в голову вдруг ударило. Дуня вскочила и бросилась к дверям.

— Отворите! Отворите! — кричала она через дверь, призывая кого-нибудь и потрясая дверь руками. — Отворите же! Неужели нет никого!

40

Свидригайлов встал и опомнился. Злобная и насмешливая улыбка медленно выдавилась на дрожавших еще губах его.

— Там никого нет дома, — проговорил он тихо и с расстановками; — хозяйка ушла, и напрасный труд так кричать: только себя волнуете понапрасну.

— Где ключ? Отвори сейчас дверь, сейчас, низкий человек!

— Я ключ потерял и не могу его отыскать.

— А! Так это насилие! — вскричала Дуня, побледнела как смерть и бросилась в угол, где поскорее заслонила столы, случившимся под рукой. Она не кричала; но она впилась взглядом в своего мучителя и зорко следила за каждым его движением. Свидригайлов тоже не двигался с места и стоял против нее на другом конце комнаты. Он даже овладел собою, по крайней мере снаружи. *Но лицо его было бледно по-прежнему. Насмешливая улыбка не покидала его.*

— Вы сказали сейчас — *насилие*, Авдотья Романовна. Если насилие, то сами можете рассудить, что я принял меры. Софьи Семеновны дома нет; до Капернаутовых очень далеко, пять запертых комнат. Наконец, я по крайней мере вдвое сильнее вас и, кроме того, мне бояться нечего, потому что вам и потом нельзя жаловаться: ведь не захотите же вы предать в самом деле вашего брата? Да и не поверит вам никто: ну, с какой стати девушка пошла одна к одинокому человеку на квартиру? Так что, если даже и братом пожертвуете, то и тут ничего не докажете: насилие очень трудно доказать, Авдотья Романовна.

— Подлец! — прошептала Дуня в негодовании.

— Как хотите, но заметьте, я говорил еще только в виде предположения. По моему же личному убеждению, вы совершенно правы: насилие — мерзость. Я говорил только к тому, что на совести вашей ровно ничего не останется, если бы даже... если даже вы и захотели спасти вашего брата добровольно, так, как я вам предлагаю. Вы просто, значит, подчинились обстоятельствам, ну силе, наконец, если уже без этого слова нельзя. Подумайте об этом; судьба вашего брата и вашей матери в ваших руках. Я же буду ваш раб... всю жизнь... я вот здесь буду ждать...

Свидригайлов сел на диван, шагах в восьми от Дуни. Для нее уже не было ни малейшего сомнения в его непоколебимой решимости. К тому же она его знала...

Вдруг она вынула из кармана револьвер, взвела курок и опустила руку с револьвером на столик. Свидригайлов вскочил с места.

— Ага! Так вот как? — вскричал он в удивлении, но злобно усмехаясь; — ну, это совершенно изменяет ход дела! Вы мне чрезвычайно облегчаете дело сами, Авдотья Романовна! Да где это вы револьвер достали? Уж не господин ли Разумихин? Ба! Да револьвер-то мой! Старый знакомый! А я-то его тогда как искал!.. Наши деревенские уроки стрельбы, которые я имел честь вам давать, не пропали-таки даром.

— Не твой револьвер, а Марфы Петровны, которую ты убил, злодей! У тебя ничего не было своего в ее доме. Я взяла его, как стала подозревать, на что ты способен. Смей шагнуть хоть один шаг и клянусь — я убью тебя.

Замечательно «ты», на которое она перешла, и на которое позднее, перед самым концом, и он переходит. В сущности — они ужасно сближены; сближены чрезмерностью его тяготения, и «ты» есть отзвук, что она уже обвешана им, дышит в его дыхании, и удерживает собственно только последнюю минуту. Кстати, чтобы не возвращаться ниже: она не может его сои'ально любить, он для нее есть риторическая фигура, набор занимательных разговоров (см. весь роман) по чрезмерному несоответствию его уже растленных недр с ее целомудренными: она выходит за простого и целомудренного же Разумихина, без соответствия умов и характера, но с полною любовью. Он рвется к ней как именно к целомудренной, как в ту же ночь еще — к «пятилетней».

Дуня была в исступлении. Револьвер она держала наготове.

— Ну, а брат? Из любопытства спрашиваю? — спросил Свидригайлов, все еще стоя на месте.

— Доноси, если хочешь! Ни с места! Не сходи! Я выстрелю! Ты жену отравил, я знаю, ты сам убийца!..

— А вы твердо уверены, что я Марфу Петровну отравил?

— Ты! Ты мне сам намекал; ты мне говорил об яде... Я знаю, ты за ним ездил... у тебя было готово... Это непременно ты... подлец!

— Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же... все-таки ты же была причиной...

— Лжешь! Я тебя ненавидела всегда, всегда...

— Эге, Авдотья Романовна! Видно, забыли, как в жару пропаганды уже склонялись и млели... Я по глазкам видел; помните вечером-то, при луне-то, соловей-то еще свистал?

— Лжешь! (бешенство засверкало в глазах Дуни) лжешь, клеветник!

— Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгал. Женщинам про эти вещицы поминать не следует. — Он усмехнулся. — Знаю, что выстрелишь, зверок хорошенький. Ну, и стреляй.

Дуня подняла револьвер, и мертво-бледная, с побелевшею, дрожавшею нижнею губкой, с сверкающими, как огонь, большими черными глазами, смотрела на него, решившись, измеряя и выжидая первого движения с его стороны. Никогда еще он не видал ее столь прекрасною. Огонь, сверкнувший из глаз ее в ту минуту, когда она поднимала револьвер, *тогню обжег его, и сердце его с болью сжалось*. Он ступил шаг и выстрел раздался. Пуля скользнула по его волосам и ударила сзади в стену. Он остановился и тихо засмеялся.

Механически звук выстрела, прикосновение пули, вернули его к реальным и разрозненным фактам, вывели его из атмосферы, которая гнетет его и связывает поступки, обрывает слова.

— Укусила оса! Прямо в голову метит... Что это? Кровь! — Он вынул платок, чтобы обтереть кровь, тоненькою струйкою стекавшую по его правому виску; вероятно, пуля чуть-чуть задела по коже черепа. Дуня опустила револьвер и смотрела на Свидригайлова не то что в страхе, а в каком-то диком недоумении. Она как-то сама уже не понимала, что такое она сделала и что это делается.

— Ну, что ж, промах! Стреляйте еще, я жду, — тихо проговорил Свидригайлов, все еще усмехаясь, но как-то мрачно; — этак я вас схватить успею, прежде чем вы взведете курок!

Дунечка вздрогнула, быстро взвела курок и опять подняла револьвер.

— Оставьте меня! — проговорила она в отчаянии: — клянусь, я опять выстрелю... Я... убью!..

— Ну, что ж... в трех шагах и нельзя не убить. Ну, а не убьете... тогда... — Глаза его засверкали, и он ступил еще два шага.

Дунечка выстрелила, осечка.

— Зарядили неаккуратно. Ничего! У вас там еще есть капсуль. Поправьте, я подожду.

Он стоял перед нею в двух шагах, ждал и смотрел на нее с дикою решимостью, *воспаленно-страстным, тяжелым взглядом*. Дуня поняла, что он скорее умрет, чем отпустит ее. «И... и уже конечно она убьет его теперь, в двух шагах!..

Поразительна наступающая минута:

«Вдруг она отбросила револьвер». Т. е., в сущности, внутри себя — она отдается ему, почти уже не надеясь ни на что, и не хотя ему причинить страдания. В ней пробуждается к нему нежность и почти любовь, насколько могло быть нежности и насколько могло быть любви, но *соit'альной*. Тотчас и в нем *соit'альное* же тяготение обливается нежностью. Насилие, в прежнем внешнем характере,

стало невозможно; и если б оно совершилось — совершилось бы без сопротивления и с любовью с ее стороны.

— Бросила! — с удивлением проговорил Свидригайлов и глубоко перевел дух. Что-то как бы разом отошло у него от сердца и, может быть, не одна тяжесть смертного страха: да вряд ли он и ощущал его в эту минуту. Это было избавление от другого, более скорбного и мрачного, чувства, которого бы он и сам не мог во всей силе определить.

Не чувство ли это, что он для нее — не гадина? Что она его подняла до своей чистоты? не теряя этой чистоты — ниспустилась к нему долу? «Ты человек, и я — женщина».

10 Он подошел к Дуне и тихо обнял ее рукой за талию. Она не сопротивлялась...

Конечно, она любит его всю мерю любви, какую умела поднять в себе на встречу его безмерной любви; хоть на минуту, на миг...

...но вся трепеща как лист, смотрела на него умоляющими глазами.

Это — тот обыкновенный стыд, о котором Митя Карамазов и насмешливо, и любя произнес:

Было робкое смущенье,
Были нежные слова

и который в девушке сохраняется до последнего мига и после каждого мига. Т. е. то трансцендентное отталкивание, какое до этой минуты вздымало ее всю, под-
20 нимало ее руку, — опало.

Он было хотел что-то сказать, но только губы его кривились, и выговорить он не мог. — Отпусти меня! — умоляя, сказала Дуня.

Свидригайлов вздрогнул: это *ты* было уже как-то не так проговорено, как давешнее.

Уже он для нее — не убийца жены; ни за что, ни за что она не повторила бы этого упрека; и никакого упрека — теперь и никогда.

— Так не любишь? — тихо спросил он.
Дуня отрицательно повела головой.

Даже не сказала «нет»; не вырвалось «нет», т. е. этого «нет» сейчас и для этой минуты она не почувствовала в себе. Но и в нем поднялось все человеческое, ве-
30 ковое, помимо минуты:

— И... не можешь?.. Никогда? — с отчаянием прошептал он.

Т. е. — как Разумихин, для новой жизни, с полетом в новую жизнь.

— Никогда! — прошептала Дуня.

Прошло мгновение ужасной, немой борьбы в душе Свидригайлова. Невыразимым взглядом глядел он на нее. Вдруг он отнял руку, отвернулся, быстро отошел к окну и стал перед ним.

Прошло еще мгновенье.

— Вот ключ! (Он вынул его из левого кармана пальто и положил сзади себя на стол, не глядя и не оборачиваясь к Дуне). — Берите; уходите скорей!..

40 Он упорно смотрел в окно.

Дуня подошла к столу взять ключ.

— Скорей! Скорей! — повторил Свидригайлов, все еще не двигаясь и не оборачиваясь. Но в этом «скорей», видно, прозвучала какая-то страшная нотка.

Дуня поняла ее, схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты. Через минуту, как безумная, не помня себя, выбежала она на канаву и побежала по направлению к — му мосту.

Свидригайлов простоял еще у окна минуты три; наконец, медленно обернулся, осмотрелся кругом и тихо провел ладонью по лбу. Странная улыбка искривила его лицо, жалкая, печальная, слабая улыбка, улыбка отчаяния («Преступление и наказание», стр. 447—456).

И он совершил свою молитву, как Marie Болконская — свою; и никто не взвесил на весах, которая была труднее. Но на одних весах, весах испуганной и выбежавшей девушки — она тяжелее весила и она была ценнее, а следовательно, собственно, и на всяких весах — даже Божиих. «Лишний человек», в том единственном отношении «лишний», для которого он — впрочем, и Marie — жил и которое понимал, кончил с собой на утре, за ночь рванувшись только к «пятiletней», но и в ней почувствовал — растление. Т. е., так как это был сон — почувствовав отражение растления своих недр до последних их глубин.

XXXIII

Даже нельзя сказать, перечтя сцены, чтобы у него и у некрасивой девушки были усиленная и ослабленная, степени одного чувства. Ее «лучистость» полнее; она — цельнее; и, уж конечно, «капающей мирры» в этой «лучистости» более, чем в его порывах. Женственная и мужская форма выражения, то, *что* выражается, и то, *к чему* выражено, — там и здесь одни.

Мы перейдем к терминам, более правильным у Толстого, как у более искусного: как солнце не устало в мирадах веков «излучиваться» на землю необъяснимым своим светом, так и земля, а на земле все земное — «излучивается» тем тяготением, которое Marie Болконскую поднимает на молитву и в ней поднимает мечты, Свидригайлова останавливает в нужную минуту и бросает к этой минуте, и Дуню заставляет затаиваться, беречься, поднимать руки, вздымать револьвер — для того чтобы потом, когда-нибудь, не вызвать скорбь на лице того, кто ей «уготован» и о котором она умеет молиться хотя не в тех же словах, но не хуже, чем добрая и милая княжна. Тяготение — превращающее камень нашего тела в живую пыль; «красную глину» в нас обвевающее «дыханием Божиим». Люди «лучатся» еще; «мирра» — все «капает», необъяснимо, через тысячелетия, и не устая, как не устает свет солнца... «Лучи» их сплетаются; и из точек пересечения капают новые капли «мирры» — этот играющий безгрешный младенец: «папа, папочка, милый папочка, как он оскорбил тебя!» (восклицание Илюши, в «Бр. Кар.», отцу, которого «Митя» тащил за «мочалку»-бороду). Почему *эта* любовь и, главное, на чьих весах взвешенная любовь *эта* вывесила менее «любви» филантропической женщины, которая спешит на заседание комитета, раздающего пособия бедным: о, эти «бедные» давно наложили бы на себя руку, и имея даже пропитание из «комитетов», если бы их, даже до последнего, не согревало это «папа, папочка!» и иногда шопот, ничуть не худший, чем у Джульетты и Ромео: «Думаю — помирать заодно», так одна прачка (случай, мне известный) броси-

ласть на бешеного волка, уже искусавшего ее мужа. «Помирать — заодно»: вот еще чем мир жив; и это «заодно» вовсе не на благотворительных базарах, где, как в улице Гужон, в Париже, вдруг обнаружались качества лунной, риторической, бессемянной любви; но это «заодно» — всюду, где капает «мирра», от Marie и до Свидригайлова, т. е. в орбиту свою охватывая весь мир. Как легко бегут здесь ночи; какие усилия, какой героизм, какая сложность путей, по которым пятнадцатилетняя Джульета прибежала умереть под саваном своего Ромео. Я говорю — камень человеческого тела уже не камень, но «цветочная пыль»: в ней есть неуловимые для глаза «придатки»-крылышки; но ветер «обстоятельств» уловляет эти придатки-крылышки и на них несет человека к его таинственной, то печальной, то радостной судьбе. И вот века истории промелькнули, вот протянулись тысячелетия; и все еще с неопавшими «крылышками» несется эта цветень; все еще весна на земле; мутны воды, ароматен воздух; и, по молитвам нашим, по молитве, которую мы не устанем «лучиться» к Богу — еще долго и, может быть, никогда не наступит для земли этой более душистая и вовсе никому не нужная осень.

Необозримым вниманием своим Толстой примкнул к этой несущейся людской «цветени»; прилег ухом к «матери-земле» и слушал ее таинственные тяготения. Человеческая плоть, «черные солдатские спины», которые до Бородина 20 грязнили грязный уже пруд и из которых после Бородина вырезывали пули; запах тела — от благоуханной спальни Кити, которая поразила Вронского и заставила его отложить предположенную ночную поездку, в холостой компании, и до пота ног Платона Каратаева; пот недостаточный и неясный у Сони, чрезмерный и отчетливый у Наташи. И всюду плоть, всегда и впереди всего плоть, все обуславливающая собою плоть — вот что он непрестанно втягивает в себя на протяжении XIV томов; изучает, различает; и отсюда усиливается вырвать элевзинские таинства природы и человеческой судьбы. Его первое произведение, т. е. первая и вдумчивая мысль, то, о чем он торопливо захотел сказать — *Детство и отрочество*: т. е. рожденное дитя, этот безгрешный Коля, над кроваткой которого «жестокий» Карл Иванович возится с хлопучкою; он, и параллельно ему — 30 Володя; дети, в которых грех зарождается и существует в столь неодинаковых видах. И везде потом — рожденные дети разбегаются веселою толпой: помнится, в «*Анне Карениной*» дети пекут малину на свечке, пускают фонтаны молока, уже во всяком случае кормят куском утаенного пирога — брата, который за шалость был оставлен «без пирога». «Папа, милый папочка!»... у него не страдают дети, как всюду у Достоевского, но, как и у того: дети, всюду решительно дети. Мы сказали: «рожденные» дети — не без мысли и намерения; если внимательно сличить их с мальчиками на «Бежином лугу», мы уловим, что эти последние суть бытовые фигурки, скорее взрослые в годах своего малолетства, чем малолетки 40 с запахом рождения, еще на них оставшимся, еще с них не сошедшим. В Сереже («*Ан. Кар.*»), в не названном мальчике, которого отец-хозяин провозит по двору («*Хоз. и раб.*»), в сыне-гимназисте, которого «жалеет» умирающий Иван Ильич, мы чувствуем именно рожденную и бьющуюся рождением плоть: фигурка ясно отнесена не к последующему, не к «что из нее выйдет», а к предыдущему, к «как она была зачата». «Больничная вонь»... но у Толстого — «вонь» родовспомогательного заведения, и, может быть, она еще менее понравилась бы Тургеневу: в «*Анне Карениной*», марая кружева его поэзии, мешая всем изящным выгибам

его щеголеватого построения — двое родов, с муками, криками и только без выписки лекарств, которые стояли на столике рожениц. Наташа, в «Войне и мире», помнится одиннадцати лет выбегая в первый раз с большою куклою, — через несколько страниц, уединившись с Борисом, настойчиво шепчет ему, чтобы он ни на кого не заглядывался и оставался ей верным «женихом»: только пять лет осталось ждать. Наташа... как этот тип запомнился всем; как поразил всех после бледно-зеленых наяд, никогда не умеющих рождать, которых начиная от Татьяны («Евг. Он.») и всегда и до конца одних видела и знала наша литература: почти одиннадцати лет — она полна рождением; вот семя, которое хочет расти; или, точнее и глубже — «трава, сеющая семя по роду ее» (*Бытие*, 2), «чрево», которое «волнуется» от каждого мужского приближения (*Песн. песн.*). Она бежит с Анатолом Курагиным, нисколько не разлюбив Андрея Болконского, но потому, что этот был далеко, а тот подошел близко, на расстояние, где «тяготение» становится нестерпимо. Каким смыслом, какой поэзией облито это лицо у гр. Толстого: основное, от которого Долли, Анна, Кити побегут как его вариации: все — беременеющие, эти хвостатые кометы, осыпающуюся светоносную пыль которых так любит наблюдать Толстой и даже только ее он любит вдыхать в себя. Мы, искусно припоровив глаз, замечаем, что это — только переодетая в чистые панталончики «Грушенька», т. е. это — та же Сидонская Ашера, прорывающаяся сквозь две тысячи лет иной и чуждой культуры и ставящая «столп своего утверждения» в розрез и противоречие всем окружающим. И как она плачет; как умеет она омыть слезами не удежанный порыв:

— А, что? Москва горит? Ну, где?

Соня ей указывала зарево пожара; Наташа передвинулась около окна, но так, что Соне очевидно было, что она ничего не видит, не может видеть.

— Да, да, вижу, чтобы не огорчать подругу — ответила она. И ее мать, и Соня, и все почувствовали, что ей нет решительно никакого дела до пожара Москвы: она узнала, только за час узнала, что в обозе, с которым ехали они, везли и раненого князя Андрея («Вой. и м.»).

Невообразимое одушевление разлито по всей ее фигуре: собственно, это — самое одушевленное лицо в нашей литературе; вся ее жизнь так мучительная в скорби, однако нисколько ее не убивающей, — вне граней этого эпизода слагается в непрерывающуюся, не утомляющуюся резвость. Она не устает, и мы не можем ее представить уставшею — вот ее отличительная черта. Поездка ее к дяде, и там пляска, помнится зимою — сцена характерная для всего творчества Толстого; конечно, у холостого пожилого дяди, как никогда бы у Тургенева, как непременно бы у Достоевского, из-за дверей конфузливо выглядывает красивая и полногрудая женщина. Что-то ласковое проходит между нею и Наташею, — ничего не понимающею; но, конечно — оне родные, «единоутробные», почти как Сара и Агарь, одна в 80 лет собравшаяся родить и другая — родившая ей «в помощь».

— Агарь, вот ты беременна: вернись к госпоже твоей Саре (*Бытие*).

Строка эта, в истине и смирении своем, как бы падает откуда-то с надзвездной высоты на всю сцену, обдавая теплом и лаской и обрадованного дядю, который не знает, куда посадить «графинюшку», и его застыдившуюся «хозяйку»,

и Наташу, которая, помнится — берет ее за руку и выводит в «светлицу». В утренней свежести, для которой, кажется, никогда не настанет вечера, Наташа также прекрасна, хотя и в совершенно другом роде, как таинственная и нежная княжна Марья. Две благодатные людские цветени, одна с прозрачными и длинными, как у ангела, «придатками»-крылышками, и другая — с короткими и наостренными, как нос птички: конечно, оне забеременели в конце романа.

— Как я некрасива, как ты можешь меня любить такую, — указывая на живот, говорит Марья мужу...

10 Николай Ростов задумался и высказал вековечное слово: «такую... Но какая бы ты ни была, всегда есть или может быть лучше, т. е. красивее тебя». Смысл слов был тот, что она дорога ему не за красоту, которая меркнет в человеке и которую никогда человек не может превосходить всех, но по иным основаниям, которых он не знает и не хочет отыскивать, но которых несколько не колеблет ви-сящий ее живот. Наташа, острая и изящная до замужества с Пьером, — после замужества, кажется пачкаясь в «зеленом» и «желтом» ребенка, распустилась, раз-добрела, но уже ни о чем его не спрашивала, а только требовала и распоряжалась.

20 Одна из поразительных особенностей кн. Марьи, если мы ее сравним с Наташею, состоит в ее способности к жестокости: до конца она не любит Соню, кото-рая когда-то нравилась Николаю, и не находит в себе ничего к этой девушке-си-ротке, которая, однако, великодушием своим составила ее счастье. Наташа не может быть жестока: она может только рассердиться, вспылить; в ней есть эм-брион гнева, и нет эмбриона ненависти, как длительного, постоянного состояния души, который есть у кн. Марьи; с тем вместе в Наташе нет и тени той пронизы-вающей любви, досягающей недр любимого человека, как у Марьи — к отцу ли, к брату ли, даже к крестьянам (сцены после смерти отца-Болконского). Ната-ша — похотлива, Марья — сладострастна; ее задумчивость, может ли она теперь, беременная, нравиться мужу, заключал и другой смысл, на который не ответил Николай и о котором он не догадался, вообще более жены ограниченный, менее
30 «лучающийся»; ее «тяготение», еще до замужества, не порывающееся, не ускоряю-щееся от внешних толчков, созрело внутреннею зрелостью; оно давно обняло все ее существо, «пролилось» на мысль, «капнуло» в сердце, и через всю ее, как скры-тый фосфор, «лучится». Т. е. оно не мист<ич>но и духовно; глубже и страшнее. Она, достигнув — затаивается; утаивает от мира сокровище свое, о котором так умела молиться; и даже мысль, что чей-то взгляд мог бы проникнуть сюда, что-нибудь отсюда похитить, даже — что некогда от этих сокровищ один луч пал на хорошенькую русую головку «вымазавшейся углем, наподобие гусара» Сони — приводит ее, серьезную, в ярость. Чувство собственности, о котором мы в самом начале говорили, — в высшей степени ей присуще. Это тело — ее, по слову:

40 Муж — не господин своего тела, но жена; равно и жена не госпожа своего тела, но — муж (Ап. Павел).

И она не только ничего из него теперь не отдаст, но и отыщет всякого, кто из него черпнул, и возместит. Это — полнота любви:

Я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой — мне; он пасет между ли-лиями (П. песн., VI, 3).

Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь (ib., II, 4).

Все это, весь круг этих таящихся чувств и затаенных отношений составляет центр внимания Толстого; здесь он нашел созвездия, по которым составляет всемирный гороскоп. Параллелизм в больших его романах, этих аналитических эпопеях, есть параллелизм судьбы неодинаковых задатков, но неодинаковых в этом именно, нами указываемом, отношении: Магге и Наташа, Андрей и Пьер — в «Войне и мире»; Анна и Долли, даже Анна, Долли и Кити — с Вронским, Стивуою и Левиным — в «Карениной»; с эмбрионами «романа» у Вари и Кознышева: но этим помешал так запомнившийся и насмешивший всю Россию «гриб». Публицист, ученый и деятель, начав таять, решил объясниться с великодушной и спокойной девушкой, которая ему чрезвычайно нравилась. Они искали грибы и могли, не вызывая вопроса, «бродить» около друг друга: минуту, даже минуты они шли рядом и у него уже срывалось признание с губ, которого она счастливо, но спокойно ожидала, когда неожиданно в самом деле попался большой и здоровый гриб; его нужно было сорвать — просто нельзя было, смешно было пройти и не взять. Он взял гриб, тут же превосходно описанный: с корешком, напоминавшим щеку, уже два дня не бритую; но это перебило ему слова и рассеяло настроение. Когда они пошли дальше, то Варя уже поняла, но, впрочем, без волнения поняла, что объяснения не будет.

«Карамазовской» силы не хватило; вот где мы понимаем мистику Свидригайлова, т. е. мистику его создания художником, и, наконец, положения его в мире-здании, «без чего ничто же быть, яже бысть...». Он — мы говорим о Кознышеве — понял удобства своего холостого положения, так благоприятного занятиям, и она осталась, впрочем тоже без горечи, возить больную ногами женщину. «Папа, папа, милый папочка!» — ни этих звуков в мире, ни тех не менее прекрасных фонтанов из молока, которые пускали ребятишки неувядаемо прекрасной Долли.

Параллелизм выдвигаемых фигур, как пары выбрасываемых в гадании карт, дает высокому пытателю судеб человеческих удобство видеть, как разное семя, около которого свита каждая фигура, вырастает в неодинаковую траекторию жизненной судьбы. Удивительно: ни об одной из героинь и даже собственно ни об одном из героев, у Толстого — в противоположность Тургеневу — не сказано, где они «окончили» курс, что знают и знают ли что-нибудь. Еще удивительнее, что, необъятный ум, он не дал ни одной фигуры необъятного и даже выдающегося, замечательного ума. Ни одного рассуждения, напоминающего идеи Раскольникова, или Ивана Карамазова; и вообще — никакого головного мучения; что-то напоминающее гениальное (в уме, в способностях) есть только в Анне, самом грустном из созданных им образов. Он слушает, он внимает — только «чреслам»: здесь проходят все муки героев; отсюда ясно растет их судьба. Здесь он открывает мудрость, над которою уже не смеется, как подсмеивается постоянно над политико-экономическими идеями Левина и над складыванием имени Наполеона в число «666», чем занят Пьер Безухий:

— Я думаю, вам следует, барин, жениться,

неожиданно отвечает старая нянька Левину, спросившему у ней что-то по политической экономии или о деревенском быте. И, как это ни странно представить себе — отсюда выплывает огромная панорама событий, на которую мы любуемся в живописи Толстого: эти битвы, эта охота, эти скачки, это

— Тит, а Тит — иди молотить

отступающих из-под Аустерлица русских солдат, и

— О, о-о-о! о-о-о!,

которое кричит Курагин, держа отрезанную свою ногу. Что же может быть одушевленное беременного живота, напряженных «чресл», и с этой точки зрения рассматриваемые «траектории» жизни, в этой точке слушаемые судьбы человека не выникнут ли перед взглядом удивленного зрителя великолепною игрой красок, дивными перекрещивающимися линиями — от Бородина до прорванной кофточка, которой стыдится Долли в дворце Вронского, от мечтаний Сережи Каренина об «Алекサンドре Невском», которого получит его отец, и до действительного утешения, которое Бетси Тверская получает от лакея. Все отсюда; и мир вообще одушевлен — насколько он там «лучится». От этой точки зрения — необъятная одушевленность созданий Толстого, и, может быть, одушевленность его как человека.

И времени полет его не сокрушит.

Он вечно юн, вечно играет; «Хозяин и работник» еще исполнен свежести; то-чует лапти, кладет печи — в старости; ему вечно нужно что-то выдумывать, что-нибудь начинать. Именно — начинать, почти — «зачинать», как зачинает женщина — предмет его непрестанного внимания и слушания. Пишет предисловие к Мопассану, не опасаясь смутить своих воздержанных последователей; составляет (после «Крейцеров. сонаты») коротенькое, но внимательное предисловие к «Токологии» г-жи Стокгэм; коротко предисловие, но значительны слова: «есть много всеми читаемых и никому ни для чего ненужных книг: но вот книга истинно и всякому нужная» *. Он никогда не боится в себе противоречий, прекрасно и правдиво не хочет ** их бояться: как Наташа любя, истинно любя Болконского, истинно же вспыхивает влюбленностью к Анатолю:

— То-то мудрец едет

проговорил о нем Пьер, увидя его подбоченившегося в санях и завывающего ус, после того как Наташу у него все-таки захватили и отняли, или не пустили к нему. Еще удивительнее: у Толстого и в самом деле все немножко «мудрецы», насколько они не рассуждают или, по крайней мере, рассуждениям своим не верят: Кознышев, Катавасов — вот люди, то профессора, то публицисты, к которым одним он решительно ничего не чувствует, и, может быть, на которых в самом деле накинута пленка глупости — насколько они не рожают и не умеют рождать. Удивительная точка зрения: но, в сущности, это — точка зрения той «детской ко-

* Токология — гигиена беременности; г-жа Стокгэм — американская женщина-врач; книга посвящена ею своей замужней дочери; все эти подробности любопытны в отношении к Толстому, который предисловием как бы посвящает книгу обществу, или, пожалуй, как бы подводит к книге общество.

** Т. е. он знает, он один из немногих знает, насколько жизнь глубже, прекраснее и живее логической, да и всякой вообще, не исключая нравственной, последовательности. Пьер, в начале «Войны и мира», дает зарок чего-то не делать; и сейчас, в тот же вечер, его нарушает. Это характерно для всего творчества Толстого, для его воззрения на жизнь.

лясочки», от которой «не отходил» Достоевский, и с точки зрения которой он также, и столь же смело, судил мир:

О, да, все это будет без благоговения, без радости — брезгливо, с бранью, с богохульством при такой великой тайне, появлении нового существа!.. Но — она лучше всех («Бесы», стр. 520).

Это Шатов, к которому после двух лет разлуки приехала жена и тут же начинает родить, говорит Кириллову, прося у него горячего чаю для больной и собираясь бежать к акушерке Виргинской, из «наших» т. е. из «общества» Верховенского-сына; Виргинская, Арина Прохоровна, и правда была «лучше всех»; в критическую минуту его выслали из комнаты:

10

Он приник лицом к стене, в углу, точь-в-точь как накануне, когда входил Эркель. Дрожжа как лист, он боялся думать, но ум его цеплялся мыслию за все представлявшееся, как бывает во сне. Мечты непрерывно увлекали его и непрерывно обрывались как гнилые нитки. Из комнаты раздались наконец уже не стоны, а ужасные, чисто животные крики, невыносимые, невозможные. Он хотел было заткнуть уши, но не мог, и упал на колена, бессознательно повторяя: «Marie! Marie!» (имя жены). И вот наконец раздался крик, новый крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил с колен, крик младенца, слабый, надтреснутый. Он перекрестился и бросился в комнату. В руках у Арины Прохоровны кричалось и копошилось крошечными ручками и ножками маленькое, красное, сморщенное существо, беспомощное до ужаса и зависящее как пылинка от первого дуновения ветра, но кричавшее и заявлявшее о себе как будто тоже имело какое-то самое полное право на жизнь... Marie лежала как без чувств, но через минуту открыла глаза и странно, странно поглядела на Шатова...

20

Мы не должны забывать о двух годах, до этого вечера, разлуки супругов: она все странствовала, где-то за границей, по революционным курортам, и, вообще, подобно как ее муж за год, сама до этого дня была из «наших»:

Совсем какой-то новый был этот взгляд, какой именно — он еще понять был не в силах, но никогда прежде он не знал и не помнил у ней такого взгляда.

— Мальчик? Мальчик? — болезненным голосом спросила она Арину Прохоровну.

— Мальчишка! — крикнула та в ответ, увертывая ребенка.

30

На мгновение, когда она уже увертела его и собиралась положить поперек кровати, между двумя подушками, она передала его подержать Шатову. Marie, как-то исподтишка и как будто боясь Арины Прохоровны, кивнула ему. Тот сейчас понял и поднес показать ей младенца.

— Какой... хорошенький... — слабо прошептала та с улыбкой.

— Фу, как он смотрит! — весело рассмеялась торжествующая Арина Прохоровна, заглянув в лицо Шатову: — экое ведь у него лицо!*

Во всяком случае — это лицо не могло быть похоже на Шатовское.

— Веселитесь, Арина Прохоровна... Это великая радость... — с идиотски-блаженным видом пролепетал Шатов, просиявший после двух слов Marie о ребенке.

40

* Мы обращаем внимание читателя на веселый тембр всех речей; при чтении сцены, нужно держать в уме описание родов Кити («Ан. Каренина»).

— Какая такая у вас там великая радость? — веселилась Арина Прохоровна, суется, прибираясь и работая как каторжная.

Это какой-то пасхальный тон; победный; тот до известной степени («бе яко туман вод») «воплъ восторга серафимов, потрясших землю и міроздание *осанною*», к которому чуть было не «присоединился» небесный Приживальщик, но удержался, вспомнив вовремя о необходимом минусе в бытии («Бр. Карамазовы», II, 354). Здесь, в этой суете рождения, нет минуса. Виргинская, «из наших» — также примирена, и, что главное — с нею примирены Шатовы, примирен (в тоне рассказа) даже автор, хотя в тот же вечер, в наступающую ночь, «наши»¹⁰ укокошат Шатова, а его жена и ребенок погибнут в отчаянии, в поисках, на утро после родов — отца и мужа.

— Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая, Арина Прохоровна, и как жаль, что вы этого не понимаете!

Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно. Как будто что-то шаталось в его голове и само собою без воли его выливалось из души.

— Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше на свете!

— Эх напорол! Просто дальнейшее развитие организма, и ничего тут нет, никакой тайны, — искренно и весело хохотала Арина Прохоровна. — Этак всякая муха тайна. Но вот что: лишним людям не надо бы родиться. Сначала перекуйте так все, чтоб они не были лишние, а потом и родите их. А то вот его в приют послезавтра тащить... Впрочем, это так и надо.

— Никогда он не пойдет от меня в приют! — уставившись в пол, твердо произнес Шатов.

— Усыновляете?

— Он и есть мой сын * («Бесы», стр. 529—530).

Вот это рождение, всякое и при всех условиях, и во всех условиях благословляемое, и есть новая точка зрения, на которую неожиданно стали оба великие мистика и с нее начали понимать и обсуждать, а наконец даже и судить мір.³⁰ Вспомним еще мимолетное, в «Преступлении и наказании», афористически брошенное замечание о Лизавете, глухой сестре (девице) процентщицы: «каждый год ухитрялась она забеременеть, и хоть сестра каждый раз была ее за это, она на следующий год опять бывала беременна». — «Лизавета, *добрая*», говорит Раскольников о ней, уже после убийства. Каренин и Анна примиряются во время родов; рождает милая Кити, «комната которой имела такой необъяснимо при-

* Позднее, через несколько строк, без великолепия как у Толстого (примирение во время родов Анны и Каренина, «держашего на руках чужого ребенка» — с мыслью: trop ridicule <слишком смешно (*фр.*)>), но в необыкновенно трогательных и нежных словам Marie сознается Шатову, что ребенок — от Ставрогина. «Губы ее дрожали, она крепилась, но вдруг при-⁴⁰поднялась, и, засверкав глазами, проговорила:

— Николай Ставрогин — подлец.

И бессильно, как подрезанная, упала лицом на подушку, истерически зарывав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова» (стр. 531). Вся эта сцена очень важна, и собственно в ней наряду с чтением Степана Трофимовича с книгоношею Евангелия лежит заключительный взгляд автора на «наших» (бесы, вселившиеся в свиней).

влекательный запах» для Левина: это — еще в девичестве ее; но вот — она в замужестве, и как жадно, «с чувством собственности» смотрит теперь на крепкий затылок мужа. Дочь Ивана Ильича, не глядя почти на умирающего отца, смотрит с этим же чувством или, скорей, с неясным любопытством на жилистую, сильную, немного лошадиную шею жениха, который за ней и ее матерью заехал перед театром. Анна так глядит на сильные бедра Вронского, и решительно не может переносить ушей своего мужа; даже Долли, «замученной непрестанными родами», что-то такое снится после игры в крокет, в которую мужчины играли после обеда, сняв сюртуки, и, конечно, извинясь перед дамами. Это — вездусущие соит'альных тяготений, под битвами, земством, охотой, интригами; тот «осеапυς», та «ἕδωρ», то «влажное начало», о котором между Фалесом и Анаксимандром греческие физики гадали, что «оттуда — все». Мы вспоминаем о «мандрагорах» (яблоки чадородия), найденных сыном Лии, и за которые, уступив их сестре, она потребовала ночи с мужем:

- Ты завладела моим мужем и хочешь еще мандрагоров сына моего.
- Пусть он ляжет с тобой в эту ночь за мандрагоры сына твоего (*Бытие*, 30, ст. 16).

Так, завистливо оглядываясь на «чресла» одна другой — проходят сестры-девушки, одна — «больная глазами», другая — «красивая станом и (потом, меньше, ниже) лицом». Вот древняя, но еще сильнейшая буря тех же тяготений; буря рождения, но еще неуправляемое благословляемого, и также всегда, и всякого, во всех условиях, даже не обегая тех, при которых как бы в сомнамбулическом сне прошли одна за другою обе дочери Лота, и не утаились перед миром:

И нарекла имя ему *Моав*, говоря: он от отца моего. До сих пор он отец моавитян. И младшая также родила сына и нарекла ему имя *Бен-Амми*, говоря: он сын рода моего. Доныне он отец аммонитян (*Бытие*, 19, ст. 37–38).

И писатель книги не утаил факта, не убоился всемирного неуправляемого смешка в ответ — «с'est ridicule» *; как не боялся, но полубоялся его и Каренин; не убоился вовсе Шатов, т. е. Достоевский, улыбки Арины Прохоровны, которую она засмеялась, выйдя от роженицы: «по всему видно — в отцы собирается» («Бесы», 530). Семидесятилетняя Сарра засмеялась, но Таинственный Посетитель под дубом мамврийским сказал: «Чего смеется Сарра — разве есть что трудное для Господа? В назначенный срок буду Я у тебя в следующем году и будет у Сарры сын» (*Бытие*, 18, ст. 14). — «Нет тайны выше, святее»; «о, я знаю, у них все это без благоговения, с богохульством». Небесное видение, разорванное четырьмя тысячелетиями, снова срашивает края свои. Вот полнота исторического явления. Точка зрения Сима вдруг возникает среди «идей» и «головных» более быстрого Иафета, темная восточная голова вырезалась из светло-русого арийского ложа к ужасу повитух-историков, повитух-критиков, повитух-публицистов, хватающихся за голову и кричащих: «с'est ridicule». Но из ложа вырезалась не одна голова; их ряд, с одним в сущности словом на устах, одним заветом, одинаковым указанием:

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я, нищий...

* это смешно (*фр.*).

И, что всего замечательнее, с равною почти настойчивостью проповеди и даже какой-то долгожизненности. «Чти отца и мать — и долговечен будешь». — «Не правда ли, живуч как кошка?» — «Они пойдут и не устанут, полетят и не утомятся» (Исаия), «иду, иду — и хотя бы на тысячу лет» («Сон смешного человека»).

XXXIV

«Во всяком сердце, во всякой жизни пробежало густво, промелькнуло событие, которых никто никому не откроет, а они-то самые важные и есть; они-то обыкновенно дают тайное направление чувствам и поступкам»; как похоже, до буквальности похоже это признание необыкновенно индивидуального характера, страшных глубин субъективности, написанное в 1841 году, на другое воспоминание, записанное в 1879 году, но относившееся к 1849 году: «В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно) инстинктивно углубляясь в себя и повторяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь, — может быть, и раскаявались в иных тяжелых делах своих — (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести); но то дело, за которое нас судили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, — представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится».

Тонкая паутинка, необыкновенно характеризующая человека, ясно извлеченная из великих глубин души, необыкновенно личная, и, наконец, сказавшаяся невольною обмолвкой — записана в «Отрывке начатой повести» у Лермонтова, и в «Дневнике писателя» Достоевского, в воспоминании о минуте на эшафоте: 1841—1849 год — время записи и момента, к которому отнесено воспоминание. Одно и то же десятилетие, т. е. та же, еще тянущаяся минута в развитии исторического сознания общества. Так иногда встречая двух человек, ни в чем не похожих с лица, и провожая глазами их вслед мы открываем какую-нибудь деталь, что-то родное в походке, в манере одинаково размахивать руками, что, в сущности, это — один, но только раздвоившийся в судьбе своей человек, с одними «корнями» бытия «в небесах», с тем же «касанием мирам иным» и только с различною верхушкой, опрокинувшейся на землю:

Когда ты спишь...
И шибко бьется девственной кровью
Младая грудь под грезю ночной,
Знай — это я, склонившись к изголовью
Тобой люблюся...

(«Сказка для детей»)

Несколько похоже — о, конечно, в великолепных красках, и к тому же в стихах — но похоже на грезу Свидригайлова, не о пятилетней, но о другой:

«Букеты белых и нежных нарцисов... Полы усыпаны свежеею, покошенной травой... Цветы, решительно везде цветы... Вся в цветах лежала девочка, в белом тюлевом платье, со сложенными и прижатыми к груди, точно выточенными руками. Ей было только четырнадцать лет» («Прест. и наказ.», 465). И Нине

(«Сказка для детей») — только позднее, гораздо позднее исполнилось семнадцать лет:

То был великий день — семнадцать лет

но это гораздо позднее, до этого —

*...годы шли безмолвной гередой
И вот настал тот возраст, о котором...*

И проч.; и в минуту рассказа, за «чреду годов» до совершеннолетия, она была четырнадцати, «даже, может быть, тринадцати, даже двенадцати, может быть» лет

Перенестись прошу...
За мною в спальню: розовые шторы
Опущены; с трудом лишь может глаз
Следит ковра восточные узоры;
*Приятный трепет вдруг объемент вас
И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам пышет воздух сонный.*
Вот ручка, вот плечо, и возле них
На кисее подушек кружевных
Рисуетя младой, но строгий профиль...
И на него взирает...

10

Имя Мефистофеля названо, и сейчас же отброшено, как и «опаленные крылья» в «Кошмаре Ивана Федоровича» («Бр. Кар.»). Оно заменено — еще у двадцатисемилетнего поэта заменено — более действительным мазком, раннюю гримасой на позднее вызревшего «Приживальщика»

То был ли...
...мелкий бес из самых нечиновных

Почти хочется прервать восклицанием Ставрогина, вслед уходящей Даше: «Какой мой демон: так, маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся» («Бесы», 266).

Которых дружба людям так нужна
Для тайных дел, семейных и любовных —
Не знаю. Если б им была дана
Земная форма, по рогам и платью
Я мог бы сволочь различить со знатью.
Но дух — *известно, что такое дух:*
Жизнь, сила, чувство, зренье, голос, слух,
И мысль без тела — часто в видах разных...
Бесов вообще рисуют безобразных.

30

Опять это представление, сейчас переходящее в ребяческий лепет об «опаленных крылах» (см. следующие строки «Сказки для детей») очень напоминает «Приживальщика», «испаряющегося» от «мокрого полотенца», т. е. какое-то дрожание нашей собственной природы, ее тень, но брошенную в небеса, или, пожалуй, небесный прообраз («двойник»), павший лучем сюда.

Я стал ловить *блуждающие звуки*,
 Веселый смех и крик последней муки:
 То *ликовал* иль *мугился порок!*
 В *молитве* я *подслушивал утрек*,
 В *бреду любви* — *бесстыдное желанье*,
 *безумство* иль *страданье*.

10 Не это ли темы Достоевского, почти полный очерк его тем, в гениальной минья-
 тюре, включая даже такие подробности, как: «Николай Всеволодович если ве-
 рит — то он не верит, что верит; а если не верит, то он не верит, что не верит»
 («Бесы»), «Надрыв в избе» и «На улице» («Бр. Карамазовы»), и показание, что
 «вскрыв тело Николая Всеволодовича, доктора настойчиво и твердо отвергли
 помешательство» («Бесы», последняя строка). Но как туманные нити, живые
 связи протягиваются между всеми писателями, которых мы теперь исследуем:

Горы те — не горы: подошвы у них нет, внизу их, как иверху, *острая вершина*, и под
 ними и над ними высокое небо. Те леса, что стоят на холмах, не леса: то волосы, порос-
 шие на косматой гриве лесного деда. Под нею в воде моется борода, и под бородой, и над
 волосами высокое небо. Те луга — не луга: то зеленый пояс, препоясавший посередине
 круглое небо, и в верхней половине, и в нижней половине прогуливается месяц.

20 Не правда ли, это один метод рисовки, т. е. это один закон рисующей руки,
 здесь и в следующем описании:

Задумчиво столбы дворцов немых
 По берегам теснились, как тени,
 И в *пене вод* — гранитных крылец их
 Купались широкие ступни;
 Минувших лет событий роковых
 Волна следы смывала роковые...

И еще:

30 Украшен был он (*дом*) княжеским гербом
 Из мрамора волнистого колонны
 Кругом теснились чинно, и балконы
 Чугунные, воздушною семьей,
 Меж них гордились дивною резьбой
 И окон ряд, всегда прозрачно темных
 Манил, пугая...

Вы думаете — здесь описана Венеция, что-то около дворца дождей, около Pon-
 to di Rialto, как там — альпийская страна, с потухшими кратерами, поднимающи-
 мися пиками («острые вершины»). Но это — Петербург около Николаевского
 моста и Глуховский уезд, Черниговской или какой губернии. Первое описание
 начинается строками:

40 «Любо глянуть с середины Днепра на высокие горы, на широкие луга, на зеле-
 ные леса. Горы те — не горы», и пр. («Страшная месть», гл. 2); второе:

...Нева
 Меж кораблей, сверкая на просторе,

Журча, с волной их уносила в море
Задумчиво столбы..., и проч.

Оба поэта, оба таинственных посетителей нашей земли так мало любят ее, точнее — так слабо с нею связаны, что не заметили: один — что никакой «пены вод» на «матушке Неве — реке» не водится, а другой — что ночью (глава начинается словами: «Тихо светит по всему миру: то месяц показался из-за горы...») луга кажутся черными, при совершенной близости — синими, но никогда — «зелеными». Но отличительная черта обоих поэтов, или, пожалуй, таинственных посетителей, и состоит в том, что они никогда не смотрят на землю, не замечают, что у них под ногами, но каким-то таинственным устремлением отброшены 10
вдаль, один — долу, другой — в высь:

«Внизу их, как и вверху — острая вершина...».

Эта строка о мысленных пиках, уходящих в небо, и в отражении вод — уходящих в преисподнюю, удивительно выражает обоих поэтов. Ни одного взгляда — горизонтального, в уровень с собою, на действительность; оба глядят — один в высь, в разросшийся до гигантских очертаний идеал, другой — вниз, до сморщенной карикатуры. Закон раздвижения в необъятное, закон суживания до ми-
ньютюры, но в обоих случаях закон одного вертикального созерцания, не в уровне с собою, не действительности, но под углом восторга или смеха, в одном случае — небесного восторга, в другом — преисподнего хохота: 20

...меж иных видений
...он сиял
...волшебно-сладкой красотой
Что было страшно. И душа тоскою
Сжималась — и этот дикий бред
Преследовал мой разум много лет.

(«Сказ. для детей»)

Вот — всегда *таков*, и обо всем — *так*; мы говорим о Лермонтове.

Кто он *таков* — никто не знал. Но уж он протанцовал на славу казачка и уже успел на-
смешить обступившую его толпу. Когда же осаул поднял иконы, [вдруг все лицо казака
переменилось...] («Страшная месть», гл. I). 30

И это он — «никто не знает, кто *таков*», даже проживя двадцать лет на «ты», как старик Аксаков; «уже протанцовал казачка» в веселых «Вечерах на хуторе близ Диканьки»; «насмешив» до измору в «Мертвых душах» и «Ревизоре» «обступившую толпу», когда в «Авторской исповеди» и «Переписке с друзьями» «вдруг лицо казака переменилось», так что «все попятнулись и все показывали со страхом на стоявшего посреди их казака», спрашивая: «Он ли это?».

Верно всякий имеет своего «демона»; «корни», растущие «в мирах иных». Но «демоны» обоих поэтов здесь сходятся:

«Скучно на этом свете, господа...».

Вот в этой заключительной строке «Ссоры Ивана Ивановича с Иваном Ники-
форовичем», строке невольно капнувшей с пера — полный очерк духовной фи-
зиономии Лермонтова, т. е. «демона», его мучившего, и равно, конечно, демона,
мучившего того, с чьего пера капнула строка. Отсюда эти стеклянные панорамы, 40

эти переплетающиеся, противоречивые, наконец чудовищные, и всегда неверные образы, лезущие из их души в пустой перед ними, опустелый в созерцании их мир: закон всякого тела, поднявшегося в безвоздушную высь, где из ноздрей, ушей и глаз начинает сочиться кровь, или, пожалуй, — закон тела, вытщенного из глубин океана, из-под двуверстного водяного давления, на его поверхность, причем, как это бывает у рыб, глаза, рот и все сосуды выпячиваются и выходят из орбит от нестерпимого внутреннего давления:

Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно *мгит** сквозь леса и горы полные воды свои. Ни зашелхнет, ни прогремит: глядишь и не знаешь, *идет или не идет его* величаявая ширина, и чудится, будто весь *в ы л и т он и з с т е к л а*, и будто *г о л у б а я з е р к а л ь н а я* дорога, *б е з м е р ы в ш и р и н у*, без конца в длину, *р е е т и в ь е т с я* по зеленому миру. Любо тогда...

Этим «любо», глубоко субъективным «любо» начинается одушевление по существу мертвой, по крайней мере не взятой из действительности, панорамы:

...Я плачу и люблю
Люблю мечты моей создание
.....
Так царства дивного всесильный господин
.....
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю.

(«Первое января»)

Любо и жаркому солнцу оглядеться с вышины и погрузить лучи в холод стеклянных вод, и прибрежным лесам ярко отразиться в водах. *Зеленокудрые!* они толпятся вместе с полевыми цветами к водам, и, наклонившись, глядят в них и не наглядятся, и не налюбуются светлым своим зраком, и усмеваются ему, и приветствуют его, кивая ветвями; в середину же Днепра они не смеют глянуть: никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него...

Так — царства дивного всесильный господин...

Сущность «оживления» состоит не в том, что эта природа, тот «изображенный» или, скорей, окончательно забытый (на эти минуты) Днепр «живет», но живет, движется, трепещет поэт в своем создании:

Люблю мечты моей создание
С слезами, полными лазурного огня,
С улыбкой...

Но, как в видении Лермонтова, не замечена неестественность «*слез, полных лазурного огня*», так Гоголь не замечает чудовищных слов о ширине Днепра:

...Никто не глядит в него; *редкая птица долетит до середины Днепра*. *Пышный!* Ему *нет равной реки в мире*. Чуден Днепр и при теплой летней ночи, когда все засыпает — и человек, и зверь, а Бог один величаво озирает небо и землю и величаво сотрясает ризу...

* Мы будем курсивом отмечать противоречия с тут же, чуть-чуть далее стоящими словами; разрядкой будем отмечать неестественности, неверность природе.

Это космическое чувство, новый мотив в панораме — удивительно; гораздо ниже, гораздо позже мы объясним, как оно многозначительно:

От ризы сыплотся звезды; звезды горят и светят над миром...

Неестественным движением автор возвращается к начатому рисунку:

...и все разом *отдаются в Днепре. Всех их — держит Днепр* в темном лоне своем; ни одна не убежит от него — разве погаснет на небе; *черный лес, униженный спящими вбраними*, и древле разломанные горы, свесясь, силятся закрыть его хотя длинною тенью своею; — напрасно! *нет нигде в мире, что бы могло прикрыть Днепр. Синий, синий, ходит он плавным разливом и середь ноги*, как середь дня, *виден за столько вдаль, за сколько видеть может человекье око*. Нежась и прижимаясь... 10

Мы вспоминаем «сладострастно согнувшийся над землею купол, сжимающий прекрасную в объятиях своих» («Сорочин. ярм.», 1).

Нежась и прижимаясь к берегам от ночного холода, дает он по себе серебряную струю, и она вспыхивает, будто полоса дамасской сабли, а он, синий, снова заснул. Чуден и тогда Днепр, и нет реки равной ему в мире! Когда же пойдут горами по небу синие тучи, черный лес шатается до корня, дубы трещат...

Если не ошибаемся — побережье Днепра как и вся вообще Украина — безлесна: «Степи, степи — как вы хороши у Гоголя» (восклицание Белинского).

Дубы трещат, и молния, изламываясь между туч, разом освещает целый мир, — страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали. Так убивается старая мать казака, выпроваживая своего сына в войско: разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватая его за стремя, ловит удила и ломает над ним руки и заливаются горячими слезами («Страшн. месть», гл. 10). 20

Так царства дивного всесильный господин —
Я долгие часы просиживал один...

.....
Когда ж, опомнившись, обман я узнаю,
И шум толпы людской спугнет мечту мою —
На праздник незваную гостью: 30

О, как мне хочется смутить веселье их,
И дерзко бросить им в глаза железный стих
Облитый горечью и злостью.

Вот что почувствовал о себе Лермонтов; что мы бесспорно угадываем в Гоголе; кстати, с этим описанием Днепра, во всей полноте его особенностей, т. е. особенностей закона его создания, сливаются эти, также молодые строки (и описание Днепра дано в ранней молодости Гоголем):

...Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял.
И глубоко внизу, *гернея*,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял. 40

Это — те же сравнения, тот же закон сравнивания; а вот и то же одушевление:

И Терек, прыгая как львица
С косматой гривой на хребте,
Ревел; и горный зверь, и птица,
Кружась в лазурной высоте,
Глаголу вод его внимали...

Это — те «птицы, которые не осмеливались долетать до середины Днепра».

И золотые облака

10 «Горы облаков по небу», но здесь они не «черные», как у Гоголя, но золотистые, сообразно с «золотящим», позлащающим законом лермонтовского воображения:

Из южных стран, издалека
Его на север провожали.
И скалы тесною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Над ним склонялись головой,
Следя мелькающие волны;
И башни замков на скалах
Смотрели грозно...

20 Опять, как в Малороссии, вовсе нет лесов, нет вовсе замков с башнями на Кавказе... И, для полноты аналогии, вот «риза звезд», вот частная и местная точка описания, вдруг разливающаяся в широту небес, в глубокое космическое чувство:

30 Толпу духов моих служебных
Я приведу к твоим стопам;
Прислужниц легких и волшебных
Тебе, красавица, я дам;
И для тебя с звезды восточной
Сорву венец я золотой;
Возьму с цветов росы полночной;
Его усыплю той росой;
Лучем румяного заката
Твой стан как лентой обовью;
Дыханьем чистым аромата
Окрестный воздух напою!
Всечасно дивною игрою
Твой слух лелеять буду я Etc. («Демон»).

40 В самом центре этой картины — нежащийся женский образ; и он обнимается по-этом так же, как другой поэт обнимает этот же женский образ, над ним «склоняющийся» то как «сладоэстрастный небесный купол», то как «нежащаяся и прижимающаяся волна». Разница в страдательном или активном отношении, но к одному предмету: Гоголь — объект усилий, Лермонтов — субъект усиливающийся. В последнем — деятельный мужской характер; в первом — женственный, вос-

принимающий, покорно следующий. Замечательно, что темы лучших созданий Гоголя («Мертвых душ» и «Ревизора») были даны ему; Лермонтов-юноша не взял ни одной предложенной темы. В самой обработке данной, полученной темы у Гоголя страшная неподвижность: «возмите человека, едущего по поместьям»; он взял: Чичиков едет по поместьям, и ничего еще к этому автор не прибавил в теме; «кажется — заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих» («Сороч. ярмарка»).

Чувство ненатуральности, вымученности, наконец — прямо неправды не оставляет нас при чтении приведенных описаний, — по крайней мере все время, пока мы пытаемся отыскать действительные предметы, которые им соответствуют, с которых они были бы *срисованы*. Но на это же все, о чем мы говорим теперь, возможен и еще взгляд:

И звук *его песни* в душе...
Остался без слов, но живой.

И долго на свете *томила*сь она,
Желанием гудным полна;
И звуков небес *заменить* не могли
Ей *скудные* песни земли.

Вот другая точка зрения; еще формула, но этого же вековечного чувства:
— «Скучно на этом свете, господа».

Мы называли их «таинственными посетителями»; они сами говорят о «демо-не»; но почему знать, не глубокая ли это скорбь о себе? Черта смирения, самоуничтожения, проклятия над своею головою; и без их сознания, вне их сознания — не есть ли это черта космического затаивания, черта позора, отрицания, проклятия, ложащаяся над тем, что этому обратно, но что в истинной природе нужно закрыть надежнее, нежели под чем-либо, затаивается; от мира, от людей. «Демоны»... Но почему не небожители:

Я, Мать Божия, ныне с молитвою
Пред твоим образом, ярким сиянием
.....
Не за свою молю душу пустынную
.....
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.
Окружи счастьем счастья достойную
Дай ей *сопутников, полных внимания,*
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному — мир упования.
Срок ли приблизится часу прощальному
В утро ли шумное, в ночь ли безчастную
Ты воспрять пошли к ложу печальному
Лучшего ангела душу прекрасную?

Почему это — не благо, не красота, не истина? Неумело выраженная, но в *мотиве* — непоправимая?

Помолись иногда и обо мне, Полечка: «и раба Божия — Родиона»; и больше ничего не нужно («Прест. и наказ.»).

Почему, опять, это не правда?

— Не так, ох, не так... Чтó за руки!

Шатов поправил еще.

— Нагнитесь ко мне, — вдруг дико проговорила она, как можно стараясь не глядеть на него.

Он вздрогнул, но нагнулся.

10 — Еще... не так, ближе; — и вдруг левая рука ее стремительно обхватила его шею, и на лбу своем он почувствовал крепкий, влажный ее поцелуй.

— Marie!

Губы ее дрожжали, она крепилась, но вдруг приподнялась и, засверкав глазами, проговорила:

— Николай Ставрогин подлец! (т. е. — от него ребенок).

И бессильно, как подрезанная, упала лицом в подушку, истерически зарыдав и крепко сжимая в своей руке руку Шатова.

20 С этой минуты она уже не отпускала его более от себя, она потребовала, чтобы он сел у ее изголовья. Говорить она могла мало, но все смотрела на него и улыбалась как блаженная. Она вдруг точно обратилась в какую-то дурочку. Все как будто переродилось. Шатов то плакал как маленький мальчик, то говорил Бог знает чтó, дико, чадно, вдохновенно; цаловал у ней руки; она слушала с упоением, может быть и не понимая, но ласково перебирала ослабевшею рукой его волосы, приглаживала их, любовалась ими. Он говорил ей о Кириллове, о том, как теперь они жить начнут «вновь и навсегда», о существовании Бога, о том, что все хороши...

Он пел о блаженстве безгрешных духов

Под кущами Райских садов,

О Боге великом он пел — и хвала

Его непритворна была.

...В восторге опять вынули ребеночка посмотреть.

30 — Marie, — вскричал он, держа на руках ребенка, — конечно с старым бредом, с позором и мертвечиной? Давай трудиться и на новую дорогу втроем, да, да!.. Ах да: как же мы его назовем, Marie?

— Его? Как назовем? — переговорила она с удивлением, и вдруг в лице ее изобразилась страшная горесть.

Она сплеснула руками, укоризненно посмотрела на Шатова и бросилась лицом в подушку.

— Marie, что с тобой? — вскричал он с горестным испугом.

— И вы могли, могли, ... О, неблагодарный!..

— Marie, прости, Marie... Я только спросил, как назвать. Я не знаю...

40 — Иваном, Иваном, — подняла она разгоревшееся и омоченное слезами лицо; — неужели вы могли предположить, что каким-нибудь другим ужасным (т. е. действительно отца) именем?

— Marie, успокойся, о, как ты расстроена!

— Новая грубость; что вы расстройству приписываете? Бьюсь об заклад, что если б я сказала назвать его... тем ужасным именем, так вы бы тотчас же согласились, даже бы не заметили! О, неблагодарные, низкие, все, все!

Через минуту, разумеется, помирились. Шатов уговорил ее заснуть. Она заснула, но все еще не выпуская его руки из своей, просыпалась часто, взглядывала на него, точно боясь, что он уйдет, и опять засыпала.

Кириллов прислал старуху «поздравить» и кроме того горячего чаю, только что зажаренных котлет и бульону с белым хлебом для «Марьи Игнатьевны». Больная выпила бульон с жадностью, старуха перепеленала ребенка, Марие заставила и Шатова съесть котлет («Бесы», 531—532).

Почему это, т. е. комплекс этих чувств и отношений и точка зрения на них автора, не есть та бесспорная и окончательная правда, о которой сказал Апостол: «ею мы будем судить и Ангелов» (*К Кор. I*, гл. 6); тот апостол, который так, до 10
силы *этого* выражения, знал правду в себе, и сознавался о себе:

Чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений — дано мне *жало в плоть, ангел сатаны — удругать меня.*

И прибавляет:

Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но услышал: довольно для тебя благодати Моей, ибо *сила Моя в немощи соеве ршается* (*К Коринф.*, 12, ст. 7—8).

И еще, как бы давая полный очерк себя:

Не полезно хвалиться мне; ибо я приду к видениям и откровениям...

Знаю человека, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли 20
тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.

И знаю о таком человеке (только не знаю — в теле или вне тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таковым человеком — могу хвалиться; собою же не похваюсь, разве только моими немощами (*К Коринф.*, 12, ст. 1—5).

И звук его песни

Остался без слов — но живой.

— О, да я и сбиться очень — не могу: ибо я видел Истину, Живой Образ истины, который меня поправит и направит («Сон смешн. человека»).

— Войдя, она увидела его (Гоголя) в необыкновенном состоянии. Он держал в руке *Чети-Миней* и смотрел сквозь отворенное окно в поле. Глаза его были какие-то восторжен- 30
ные, лицо оживлено чувством высокого удовольствия: он как будто видел перед собой что-то восхитительное. Когда вошедшая с ним заговорила, — он словно изумился, что слышит ее голос, и с каким-то смущением ответил, что читает житие такого-то святого (Барсуков, XI, 520).

Почему не в этих словах — *последняя* истина? Почему она — в этом горьком сознании, скорбной удрученности: «нос вырос, согнулся на сторону; губы посинели; подбородок задрожжал и заострился, изо рта выбежал клык, из-за головы — горб; и стал казак — не казак, а колдун» («Стр. м.»):

Бесов вообще рисуют безобразных... («Сказ. для дет.»)

«Какой мой демон — так, гаденький, маленький, из неудавшихся: с насморком» («Бесы»). Эта оглядка на себя, эта оценка себя, не то ли же, что скорбь об 40

«ангеле сатаны», который, несмотря на моление трижды, не хотел оставить Апостола? И Апостол решил сомнения: «Чтобы я — не возгордился», «не возгордился чрезвычайностью откровений», «восхищением до третьего неба». «Есть секунды, их приходит пять или шесть, больше нельзя вынести: чувствуется присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это — не земное; я не про то, что оно — небесное, но о том, что в земных условиях человек перенести не может... Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это — правда. Это — не умиление, а только так... радость. Бог когда мир создавал, то в конце каждого дня создания, таинственного „бара“ говорил: „Да, это правда, это — хорошо“. Вы не то, что любите — о, тут выше любви... Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость! Если более пяти секунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть» («Бесы»).

XXXV

Волны мрака, муть преисподней пронизываются святыми лучами; и эта муть — не номинальна; не номинальны — и те лучи. Вот полный очерк раскрывающегося перед нами явления. Чувство теизма, апология, заговорившая в костях и крови, так ясна здесь, что никакого не остается сомнения, что мы не далеки от какого-то источника Бого-ощущения, Бого-несения, Бого-знания, около которого не нужны более бичи, чтобы погнать человека к «Египтянке», но он сам, как бы «восхищенный до третьего неба», ползет к ногам униженной, отвергнутой, чтобы «коснуться края одежды ее», омыть слезами утружденные в тысячелетиях Ее ноги, которые «солнце жгло» и «камни резали»...

«Оставьте меня; мне хорошо!» — «И, конечно, ему было хорошо. Четыре дня, среди образов, он не подымался с колен, и умер — как умирали многие святые, на молитве» (см. выше гл. XX).

«Истинно Господь присутствует здесь, а я и не знал». И убоился Иаков и сказал: «Как страшно место сие; это — не иное что, как Дом Божий, это — врата небесные». И встал, и взял камень, который был у него в изголовьях ночью, и поставил его памятником и возлил елей на верх его. И нарек имя месту тому —
 30 Вефиль» (*Бытие*, 28, ст. 16—19).

Но еще долгие и мрачные пути наши; еще долго предстоит нам осматривать «камень» и «основание», «землю и персь» и проходить среди темных теней, устремляющихся на Святое... Семья жизни, окруженное демонами; семья жизни — среди демонов, рвущихся его пожрать. Как жадны эти порывы, как мучительны; мы — в центре греха, и уже назвали формы его, самое наименование которых составляет предмет ужаса для человека: кровосмешение, растление детства, содомия; и еще, который, может быть, рассмотрим ниже, теперь же упомянем — *coitus cum analibus*. Четыре космических греха, совершив которые человек как-то не против себя, не против ближнего, не против людей, не против земли, но против
 40 небес, над землей простертых, считает преступным; и поникает ниже головой, глубже падает на лице свое с словами «проклять! проклять!» как если бы он совершил убийство, сжег деревню. И какая жадность к этому греху, неудержимость перед ним, не останавливаемая никаким страхом:

Мутно небо, ночь мутна.

Отчего именно здесь так рвутся демоны? Что, какая сила устремляет их, свивает в вихрь, в ураган, заметающий бедного человека в пыль, в сор, в несомую ураганом щепку?.. «А поле борьбы — сердца людей»...

Вьются тучи, мчатся тучи
Невидимкою луна
Освещает снег летучий
Мутно небо, ночь мутна...

«Папа, папочка; милый папочка, как он обидел тебя»... «Как — пятилетня! У, проклятая»... «И была ненависть, которою возненавидел Аммон изнасилованную сестру свою, сильнее любви, которую раньше имел к ней»... «И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разорвала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову себе и так шла и вопила» (Вторая Царств, 13).

То был ли сам великий сатана...
.....
Мой юный ум, бывало, возмущал
Могучий образ. Меж иных видений
Как царь, немой и гордый он сиял
Такой волшебной сладкой красотой,
Что было страшно...

Но вот, еще далек наш путь, но он так направлен, что возможен удар по кольцам Змия, от которых он разовьется и отдаст Святое, вокруг чего облегло тело. Природа греха — понятнее нам становится; грех — это вокруг Святого; Святое — на что устремлены преисподние бури; т. е. около чего мощные сгибы зла непосредственно облегли; и от этого-то человеку так трудно узнать истину, так трудно коснуться истины, что он видит ее в такой смежности, в такой близости к ужасам греха, что мысль его цепенеет и рука, направленная, чтобы коснуться Святого, — падает парализованная страхом. И все в общем свертывается в ту запутанность мироздания, в те «одежды», которыми покрыто Святое: это расположение добра и зла, бросающее такую перспективу пытливого мысли человека, всего вернее удерживает ее от святотатственных посягновений:

И закрой ковчег завесою... (Исход, 40).

И положи крышку на ковчег сверху: там я буду открываться — посреди двух херувимов, о всем, что ни буду заповедывать (ib., 25).

От лица человека, от похоти зрения его, от любопытства уха, и размышляющего ума — отвращается, затаивается; к этому лицу нет у него внимания. И между тем Он «открывается», «заповедует», но всегда — не этому лицу, не «лжеименному разуму» Отцов, не велеречивым Аароновым устам.

Сексуальный характер поэзии Лермонтова, особенно если мы станем сравнивать ее с поэзией Пушкина, или с чьей-нибудь из пушкинской школы — ясен. Взамен не рождающей у них любви, любви как цветка жизни, как украшения минуты, у него — всегда рождающая любовь:

*...с тайным содроганьем
Прекрасное дитя, я на тебя смотрю...
О, если б знало ты, как я тебя люблю!
Как милы мне твои улыбки молодые
И быстрые глаза, и кудри золотые
И звонкий голосок...*

Разве эти стихи, стихи играющего с тигренком отца, который в то же время оглядывается на «подругу дней своих», похожи на эти бессочные, бессеменные, учительные стихи:

10 Младенца ль милого ласкаю
Уже я думаю: прости,
Тебе я место уступаю
Мне время тлеть, тебе цвести.

Здесь, этот младенец — поступит в школу; там с него еще не сошел запах рождения:

20 ...Не правда ль, говорят
Ты на нее похож? — Увы, года летят
Страдания ее до срока изменили,
Но верные мечты тот образ сохранили
В груди моей; тот взор, исполненный огня,
Всегда со мной. А ты, ты любишь ли меня?
Не скужны ли тебе непрошенные ласки?
Не слишком часто ль я твои целую глазки?
Слеза моя ланит твоих не обожгла ль?
Смотри ж, не говори ни про мою печаль,
Ни вовсе обо мне. К чему? Ее, быть может,
Ребяческий рассказ рассердит иль встревожит...

30 Это — звук ревности, почти переходящий в глухое бормотанье: «Судитесь с вашей матерью, судитесь; ибо она — не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от груди своих» (пророка Осии, 2, ст. 2). Тотчас и начинается религиозный мотив, не относительно «Изменившегося» Израиля и не у пророка, но у поэта и относительно ребенка, которому говорит он:

40 Но мне ты все поверь. Когда в вечерний час,
Пред образом с тобой заботливо склоняясь,
Молитву детскую тебе она шептала
И в знаменье креста персты твои сжимала,
И все знакомые, родные имена
Ты повторял за ней — скажи, тебя она
Ни за кого еще молиться не учила?
Бледнея, может быть, она произносила
Название, теперь забытое тобой...
Не вспоминай его... Что имя — звук пустой!

Дай Бог, чтоб для тебя оно осталось тайной.
 Но если, как-нибудь, когда-нибудь, случайно
 Узнаешь ты его — ребяческие дни
 Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни («Ребенку»).

Вот стихотворение, которому многочисленные аналогии, т. е. этой же пронизывающей любви, падающей на рожденное дитя, мы встретим у Толстого и Достоевского. Гоголь, который совершенно и никогда не мог изобразить женщины, беря всегда для нее чудовищно-преувеличенный масштаб как для жены, любовницы (Аннунциата, Улинька) нашел однако верный масштаб и натуральные краски для возраста и положения матери:

10

Так убивается старая мать казака, выпроваживая своего сына в войско: разгульный и бодрый, едет он на вороном коне, подбоченившись и молодецки заломив шапку; а она, рыдая, бежит за ним, хватая его за стремя, ловит удила и ломает над ним руки и заливаются горючими слезами («Стр. м.», X).

Дам тебе я на дорогу
 Образок святой...

Мы видим, что два поэта могли бы продолжать друг друга; что их произведения, при всем глубоком различии точек устремления, имеют такой один закон в себе, что волны одной поэзии, замешиваясь в волны другой, — оказываются однотонными:

20

Богатырь ты будешь с виду

 Провожать тебя я выйду —
Ты махнешь рукой

 Смело вденешь ногу в стремя
 И возьмешь ружье.
 Я седельце боевое
 Шолком разошью.
 Спи, дитя мое родное,
 Баюшки-баю...

30

Что поснилось Лермонтову, то рассказал, проснувшись, Гоголь. Это — как «душа Катерины», «знающая многое, чего не знает ее госпожа». Местами речь, т. е. «Екатерины» и «души ее», Гоголя и Лермонтова, но, впрочем и всех четырех писателей, здесь исследуемых, повторяет не так часто, но и буквальные слова:

Дам тебе я на дорогу
 Образок святой...

...Обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая на шею: — Пусть хранит вас... Божия мать... не забывайте, сынки, мать вашу... пришлите хоть весточку о себе («Тарас Бульба», I).

40

Струи соит'ального чувства, то как воспоминания, неудачи, поправки, но в большинстве случаев — как ожидания, пронизывают все лучшие стихотворения Лермонтова, — те, по крайней мере, что пронизали внимание общества,

запомнившись каждым и до строки. Самые вековечные его создания — только огромные картины, в которые выпучилось это чувство; замечательно, что для некоторых из них мы находим тему у Гоголя, или, пожалуй, Гоголь нашел себе тему у Лермонтова (так как бесспорно они мало читали друг друга и мало знали):

Молодость без наслаждения мелькнула перед нею, и ее прекрасные свежие щеки и перси без лобзаний отцвели и покрылись преждевременными морщинами. Вся любовь, все чувства, все, что есть нежного и страстного в женщине, все у нее обратилось... («Тарас Бульба», I):

10 И многие годы неслышно прошли,
Но странник усталый, из чуждой земли,
Пылающей грудью ко влаге студеной
Еще не склонялся под кущей зеленой.
И стали уж сохнуть от знойных лучей
Роскошные листья и звучный ручей.

Она миг только жила любовью, только в первую горячку страсти, в первую горячку юности (*ib.*).

20 Кувшины, звуча, налилися водою,
И, гордо кивая махровой главою,
Приветствуют пальмы нежданных гостей
И щедро поит их студеный ручей.

И уже суровый обольститель покидал ее для сабли, для товарищей, для бражничества... Да и что видела она от него? Оскорбления, даже побои... (*ib.*).

Но только что сумрак на землю упал,
По корням упругим топор застучал,
И пали без жизни питомцы столетий...
Одежду их сорвали малые дети
.....
И ныне все дико и пусто кругом.

30 Вот то, что можно назвать космичностью sexual'ного тяготения; глубокая аналогия тому, как у другого брата-поэта знойный полдень отражается в картине знойного сладострастия неба, дышащего на обнимаемую землю. Так уголок природы раздвинулся в картину соит'ального тяготения; здесь соит'альное тяготение «излучивается» дивною картиной жаждущего оазиса:

И стали на Бога роптать:
На то ль мы родились, чтоб здесь увядать?
Без пользы в пустыне росли и цвели мы
.....
Ничей благосклонный не радуя взор,
Не прав твой, о небо, святой приговор...

40 Вот источник одушевления природы у Лермонтова; она вся, все ее образы бьются особенною жизнью в его слове, жизнью очевидно не своего закона, ибо

его гений умерщвляет всякую жизнь, которая ему, его целям не служит, — но они бьются бурей колоссальных тяготений, поднимающих его грудь, как простое средство, как символ. Не менее знаменит, чем приведенное стихотворение — «Спор». Как в изваянии, в каждом четверостишии встает страна:

Дальше — вечно чуждый тени
 Моет желтый Нил
 Раскаленные ступени
 Царственных могил.

Опять, как и в соответственных местах у Гоголя, мы вспоминаем, что ни «ступеней» нет у пирамиды, что — не по берегу она тянется; что это песок в близлежащей пустыне желт, а Нил мутен и земля берегов его черна, «мицраим» = «черная земля»... Но, что за дело: «чорт вас возьми, степи, как вы хороши у Гоголя», гораздо лучше действительных; так и Египет, в «железном стихе» Лермонтова, дан не в минуте бытия своего, не в географии, даже не в истории, но в вечной идее своей, в небесном своем характере, в окончательной и полной своей истине, по которой должны быть написаны всякая география и история.

И поет, считая звезды,
 Про дела отцов...

Местами не только эта неверность, но некоторый *non sens*:

И склонясь в дыму кальяна
 На цветной диван,
 У жемчужного фонтана
 Дремлет Тегеран.

Кто *это?* о ком речь? *город* ли — курит? и его *улицы* спят на «цветном диване»? Но что за дело: «о, степи, степи, как вы хороши у Гоголя». И ты, Восток, не так хорош, может быть, в дикости и запустении своем, как в этих дивных словах о твоём запустении и дикости:

Вот у ног Ерусалима,
 Богом сожжена,
 Безглагольна, недвижима
 Мертвая страна.

Но что за мотив, что за порыв воображения, так напрягший слово:

И железная лопата
 В каменную грудь,
 Добывая медь и золото,
 Врежет страшный путь...

Произнесите во втором стихе вместо «каменную» — «девственную» и вы, как в «Трех пальмах», получите затаенный мотив стихотворения, его скрытую мелодию, родник кипящей в нем поэзии. Эпизод родной истории, эпизод вторжения в девственную, пробуждаемую вторжением страну; и главное — чудная панорама самого сна, вытянувшаяся в цепь стран и народов спящих, есть аналогия иных грез, другого пробуждения, другого вторжения:

шторы

Опущены; с трудом лишь может глаз
 Следить ковра восточного узоры;
 Приятный *трепет* вдруг *объемлет* вас,
 И, *девственным дыханьем напоенный*,
 Огнем в лицо вам дышет *воздух сонный*.
 Вот ручка, вот плечо, и возле них
 На кисее подушек кружевных
 Рисуетса молодой, но строгий профиль...
 И на него взирает Мефистофель... («Сказ. для дет.»).

10

Еще немного, и картина, т. е. картина «Спора» в его тайном мотиве, — дорисуетса:

И он слегка

Коснулся жаркими устами
 К ее трепещущим губам;
 Соблазна полными речами
 Он отвечал ее мольбам.
 Могучий взор смотрел ей в очи!
 Он жег ее. Во мраке ночи
 Пред нею прямо он сверкал

 Смертельный яд его лобзанья
 Мгновенно в грудь ее проник...
 Мучительный, ужасный крик
 Ночное возмутил молчанье...
 В нем было все: любовь, страданье,
 Упрек с последнею мольбой,
 И безнадежное прощанье —
 Прощанье — с жизнью молодой («Демон»).

20

30 После чего... Кавказ ли, Тамара ли, Нина ли («Что в имени тебе моем?»).

Шапку на брови надвинул
 И навек затих.

И где бы мы Лермонтова ни открыли, sexual'ное чувство «лучится» из жемчужных строк:

Синие очи любовью горят;
 Брызги на шее как жемчуг дрожат:
 Слышит царевич: «Я — царская дочь;
 Хочешь провести ты с царвеною ночь?»

 Пена струями сбегает с чела,
 Очи одела смертельная мгла.
 Бледные руки хватают песок;
 Шепчут уста непонятный упрек («Морская царевна»).

40

Какая жизнь, какая игра: ничего подобного, для цепкости памяти — у Пушкина; его стих играет по вашей поверхности, около уха, не падая на недра, не западая в какие-то недра:

...И над ним, как снег бела,
Голова с косою размытой
Кольхаяся всплыла.

И старик во блеске власти
Встал, могучий как гроза,
И оделись влагой страсти
Темно-синие глаза.

10

Он выиграл, веселья полный, —
И в объятия свои
Набегающие волны
Принял с ропотом любви.

Вот во что географический термин: «устье Терека», «Каспийское море при впадении Терека» разверзся у истинного, истинно великого поэта.

И странник прижался у корня чинары высокой;
Приюта на время он молит с тоскою глубокой.
И так говорит он: «Я, бледный листочик дубовый,
До срока созрел я и вырос в отчизне суровой.

20

Один и без цели по свету ношуся давно я,
Засох я без тени, увял я — без сна и покоя.
Прими же пришельца меж листьев своих изумрудных —
Немало я знаю рассказов мудреных и чудных».

— На что мне тебя, отвечает младая чинара,
Ты пылен и желт, и сынам моим свежим не пара.
Ты много видал, да к чему мне твои небылицы?
Мне слух утомили давно уже райские птицы.

Иди себе дальше, о странник! — тебя я не знаю!
Я солнцем любима, цвету для него и блистаю;
По небу я ветви раскинула здесь на просторе,
И корни мои умывает холодное море.

30

Это — дева, отвергающая мольбы; и вся природа, в воображении, в чувстве, в мысли «лучащегося» поэта — дева, вершина которой ушла в небеса, волоса раскинулись в созвездия, и солнце, луна — только ее же части; ее сон, ее пробуждения; дремота, восторги; она как лобзаемая, или как лобзающая; какое-то мучительное разделение в лобзаниях:

Но к страстным лобзаньям, не знаю зачем,
Остается он хладен и нем;
Он спит, — и склонившись на перси ко мне,
Он не дышет, не шепчет во сне!

40

Так пела... над синей рекой,
 Полна *непонятной тоской*;
 И шумно, катясь, колебала река
 Отраженные в ней облака (1836 г.).

Бури гнева и желчь, — второй мотив поэзии Лермонтова, — всегда имеет в основе эту «непонятную тоску», безусловно соит'ального характера: мы непременно найдем в каждом подобном стихотворении что-нибудь вроде этих строк:

10 И тьмой и холодом объята
 Душа усталая моя;
 Как *ранний плод, лишенный сока*,
 Она увяла в бурях рока
 Под *знойным солнцем бытия* (1837 г.).

Так они входят в знаменитую «Думу»; и как в «Трех пальмах» было бы ошибочно искать географического пейзажа, в «Думе» ошибочно искать публицистики; это все — вариант мысли:

Ты — *пылен и желт*, и сынам моим свежим не пара

 До *срока созрел* я и вырос...

20 Разделяется ли поэт с обществом, соединяется ли с природой, — ни с природой, ни с обществом он не соединяется и не разделяется: все это только средства, метод иносказания, краски на палитре великого художника, которыми он пользуется свободно и не любя их, как в «Споре», в «Трех пальмах» он пользуется историей и географией для выражения того, что не имеет к ним даже приближительного отношения.

И солнце жгло их желтые вершины
 И жгло меня — но спал я мертвым сном.

30 И снился мне сияющий огнями
 Вечерний пир в родимой стороне.
 Меж юных жен, увенчанных цветами,
 Шел разговор веселый обо мне.

Но, в разговор веселый не вступая,
 Сидела там задумчиво одна,
 И в грустный сон душа ее младая
 Бог знает чем была погружена.

И снилась ей долина Дагестана;
 Знакомый труп лежал в долине той;
 В его груди, дымясь, чернела рана,
 И кровь лилась хладеющей струей.

40 Чувство поэта, все эти же соит'альные вибрации, разлившись на целую природу, подчинив целую природу себе как просто средство, — истончаясь, переходят в туман видений, более не связываемый границами места и времени, даже не свя-

зываемый границей жизни — смертью. Еще немного — и мы получаем мистицизм:

Когда волнуется желтеющая нива
.....
Тогда смиряется души моей тревога,
Тогда расходятся морщины на челе
И счастье я могу постигнуть на земле
И в небесах я вижу Бога.

Как спокойно! Но это — тема «Сна смешного человека»; т. е. «Сон смешного человека» есть бесконечная по глубине и разнообразию картина, выросшая, однако, из этого мотива: 10

И в небесах я вижу Бога...

«— Вы говорите, что я отравил мысль Кириллова: но ведь он же говорит, что — счастлив»; «бывают две-три секунды, больше нельзя вынести — когда ощущаешь целое Вселенной»; «Бог в конце каждого дня творения говорил — это правда, это хорошо. Это — не любовь; это — радость», т. е.

И счастье я могу постигнуть на земле.

XXXVI

Поразительно, что заключительная идея глубочайшего из четырех мистиков, Достоевского, выразившаяся в этих словах: 20

Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Вот почему и говорят философы, что сущности вещей нельзя постичь на земле. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и возросли сад свой, и взошло все, что могло взойти, но взрощенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным миром иным («Бр. Кар.», I, 357).

Это слово, которое как бы объемлет жизнь, судьбу и деятельность, в их специфических особенностях, четырех мистиков, выразилось просто и изящно, но совершенно твердо, у самого раннего из них, и даже в первом стихотворении:

И месяц, и звезды, и тучи толпой
Внимали той песне святой. 30

Он пел о блаженстве безгрешных духов
Под кущами райских садов;
О Боге великом он пел — и хвала
Его непритворна была.

Он душу младую в объятиях нес
Для мира печали и слез;

И звук его песни в душе молодой
Остался без слов — но живой.

И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

И ничего еще кроме этого не сумеют они сделать в жизни; ничего больше не хотят делать. В жизни всех четырех есть явное томление; «скучные песни земли» — они отвергают; «проходит лик мира сего» — замечает, т. е. торопится заметить, не без тайного сочувствия отмечает Достоевский в «Дневн. писателя»; Толстой сам, не немощною рукою, спрашивает «лик мира сего»; и Гоголь по крайней мере «лик» времени своего, минуты своей, погрёб «видимым смехом» и улил «незримыми слезами». Они безусловно не развлекаемы, не отвлекаемы от какой-то «без слов, но живой» песни, которая наполняет их душу и, собственно, которую они принесли с рождением на землю; ибо все четыре они ясно не сделаны, не приготовлены, не сформированы, но, скорей, всегда боролись и до могилы борются с условиями роста, воспитания, среды, положения. Мысль о *divinatio* * — невольна при мысли о них; мы повторяем: они говорят о «демоине» и мы поправляем в «небожителя»; прислушаемся к словам этим:

20 Не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще: на каждый день и когда лишь можешь — тверди про себя: «Господи, помилуй всех днесь пред тобою представших!». Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле и души их становятся пред Господом, — и сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому неведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ль они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умирительно душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молещик, что осталось на земле человеческое существо, и его любящее. Да и Бог милостивее воззрит на обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то кольми паче пожалеет Он, бесконечно более милосердый и любовный, чем ты. И простит его тебя ради.

40 Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всякий день. И полюбишь наконец весь мир, уже всецелою, всемирною любовью. Животных любите: им Бог дал начало мысли и радость безмятежную. Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли Божией. Человек, *не возносись над животными: они безгрешны*, а ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя, — увы, почти всяк из нас! Деток любите особенно, ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления на-

* дар пророчания (лат.).

шего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфим учил деток любить: он милый и молчаливый в странствиях наших, на подаваемые грошки им пряничков и леденцу, бывало, купит и раздает; проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного: таков человек («Бр. Кар.», I, стр. 354—355).

В словах этих — живое осуществление полуожидания, полупорыва Гоголя («Переписка с друзьями»): «кротостью и скорбью Ангела загорится некогда литература русская». И все четыре — они связаны единством ожиданий, порыва, надежд: это — как бы действительно «Катерина» и «душа ее», один дух и четыре телесные образа, его выражающие:

Бедная Катерина! Она много не знает из того, что знает душа ее («Стр. месь», IV). 10

При подробном чтении, при большом внимании, можно бы, взяв у которого-нибудь сюжет, продолжать его словами другого, братъ, далее, из третьего, и оканчивая словами четвертого — вновь продолжать речь первого, без разрыва в настроении, без перерождения того тайного, что в каждом произведении образует его «дыхание жизни». Т. е. «дыхание жизни» у них четырех — одно, и только у них четырех в нашей литературе: ни одного стиха Пушкина, или его прозаической страницы, невозможно продолжить стихом Лермонтова, прозой Гоголя, Достоевского, Толстого. При единстве сюжета (фабулы — такие совпадения есть) получится разрыв в настроении, и не «оживет» «дыхание» другого, пока не «умерло» дыхание Пушкина. Зима и ее вьюги заметут «осень», раньше чем пробудится «весна». Кстати, в тему нашу входит «Пророк» Лермонтова. Поразительно, что, в первом же (обработанном) стихотворении дав указание на небесное семя, которое все четыре они понесут на землю, в последнем самом он дал выражение частных учения и судьбы их же четырех:

Перечел я книгу Гоголя («Переп. с друзьями») в третий раз. Всякий раз, когда я ее читал, она производила на меня сильное впечатление. Гоголь многое сказал в своих письмах, но пошлость, им обличенная, закричала: он сумасшедший! и Гоголь, наш Паскаль — лежит под спудом! Пошлость господствует, и я всеми силами стараюсь сказать то же, что сказано Гоголем*.

Так пишет, так понимает свою деятельность Толстой; снимите с него богатство, положение, т. е. случайное в нем, и разве вы не получите этого: 30

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья.

Мы вспоминаем «Чем люди живы», Ивана Ильича, которому истопник «держит ноги»; всю эту «кротость ангела, загоревшуюся...».

В меня все ближние мои
Бросали бешено камень...

Все; никто не преминул взять камень.

Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы — даром Божьей пищи...

40

* Из частного письма гр. Л. Н. Толстого. См. «Русские критики» А. Волынского, стр. 719.

Мы вспоминаем Рим, куда ушел Гоголь, куда ему посылали крохи друзья, «пособия»; мы помним нищенство Достоевского; Ясную Поляну...

Он горд был, не ужился с нами:
Глупец — хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами.

Все это — перифраз «Письма» Белинского к Гоголю; упреков, брошенных Достоевскому после Пушкинской речи; упреков, которые посыпались на Толстого...

10

Вечный Судия

Мне дал всеведенье...
В очах людей читаю я
Страницы злости и порока.

Гоголь до последнего колоса переносил низменные жатвы нашего общества. Мудрено, как другие не догадались, что после него не осталось ни одного живого зерна*.

20

Теперь если мы возьмем несравненный по красоте и яркости образ Пушкинского «Пророка», мы наблюдаем, что ни одной строки одного стихотворения невозможно вставить в другое — при полном единстве сюжета; в них есть дисгармония; но есть гораздо большая дисгармония, уже не в пользу Пушкина, в отношении одного и другого автора к своему созданию:

С тех пор как Вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злости и порока.

Это — призывает.

30

И вынул грешный мой язык
И празднословный и лукавый
И жало мудрыя змеи...

Это — только факт. Т. е. в Пушкине не было вовсе «пророческого» духа; он взял, он был поражен найденным у Исаии образом, и как

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Поет ли дева за холмом,
На всякий звук...

40

и, между прочим на *этом* — он откликнулся. Это перекликанья мировых голосов, мировое неумолкающее эхо; но «крови, крови рождения» (Иезекииль) — мы этого запаха, этих мук, этой, пожалуй, «вони» больницы ли, родильного ли дома не чувствуем как в ослепляющем воображении «Пророка», так и вообще нигде у него. «Все разверзающее ложесна — Мне» (Исход, 34, ст. 19) — вот этого — нет; но об этом — ниже.

Характер понуждения, который мы отметили в Лермонтовском «Пророке», этот призыв, эту хватающую вас волю и ставящую на новый путь — мы наблюдаем

* Из «Письма» кн. П. Вяземского, напечатанного в «С.-Петербургских Ведомостях» 25 апреля 1847. Приведено в «Русских критиках» А. Волынского, стр. 717.

даем у всех четырех писателей. Мы знаем, как умер Гоголь; «а Евангелъе — Феде», так умер Достоевский; мы помним, как во время переписи в Москве, что-то около 1879 года, в толпу студентов-переписчиков замешался Толстой, пошел с ними в последние притоны нищеты и разврата, и, затем, явившись в городскую Думу, потребовал внимания и помощи. Они все нудят, требуют; этот характер понуждения так ясен во всех их, что «бешеные камни» летят потому именно, что нужен ответ, и не давая требуемого — в форме «летающего камня» дают отрицательный. Это — манера разговора, инициаторами которой являются сами писатели. Наступают — бесспорно они, и общество — скорее отступает; в конце концов — оно действительно подается. Их только еще четыре; только четыре десятилетия протекли, и уже взяв «крест», и бремя, и ношу — идут по ним, т. е. некоторые, иногда. Эта идея «бремени»...

— Я думал, вы сами ищете бремени.

— Я ищу бремени?

— Да.

— Вы... Это видели?

— Да.

— Это так заметно?

— Да.

Помолчали с минуту. Ставрогин имел очень *озабоченный вид*, был почти поражен.

— Я потому не стрелял, что не хотел убивать, и больше ничего не было, уверяю вас, сказал он *торопливо и тревожно, как бы оправдываясь* («Бесы», стр. 262).

Вот еще идея; еще струя религиозности, от берегов Финикии, Карфагена, от киновий Фиваиды, Афона, Соловков, и до наших дней, условий нашего времени. Мы затруднены, собирая эти струи, ибо они рвутся со всех сторон, и, собственно, мы имеем их все; их продолжая, их укорачивая, или несколько их варьируя, несколько, однако, не касаясь их сущности, «дыхания жизни», мы можем собственно получить все и всякие формы религиозного сознания. Мы, очевидно, крутимся около самого его источника...

Все разверзающее ложесна — Мне (*Исход*, 34). — Вот... а я и не знал: как страшно место это (*Бытие*, 28, ст. 16—17).

Мы уже упомянули о вертикальных созерцаниях этих писателей; но мы хотим прибавить, но мы хотим прибавить, что и слово их падает на сердце читателя под углом 90°, ударяя и иногда отскакивая, но ни в каком случае не скользя, не ласкаясь около. Отсюда этот характер понуждения, и «камень — в ответ». Но и более: их взгляд на предметы — также вертикальный. Мы говорили об этом у Гоголя и Лермонтова; но возьмем Толстого, знаменитого «натуралиста»: вот «Война и мир»; разговор Балашова с Наполеоном, в Вильне. Можно предполагать, что у завоевателя полмира, в момент, когда он восходит на кульминационную и столь опасную точку бытия своего, есть помышления об этой точке, есть сосредоточение на ней, устремление на нее; но у него... «икра дрожит», левая икра, т. е. икра левой ноги, и Толстой все время смотрит на эту икру...

...и боролся Некто с ним до появления зари, и увидев, что не одолевает его — коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова (*Бытие*, 32, ст. 24—25).

Завоеватель все время говорит, быстро, раздраженно, но художник, сосредоточенный на «икре», не хочет слушать его, не придает вовсе словам его значения, дает им лететь мимо как ветру, как истинно словам «пустых Аароновых уст»; мы скажем: тут антипатия, и к чужеземцу, которого он не хочет понимать; но вот Кутузов отдает Москву, совет в Филях, встревоженный генералитет; но он, седой герой, слушает не сподручников, не донесения, не планы, а как происходит в задней хозяйской комнате какая-то тревога, слышен женский шопот; и он, оглядываясь на дверь, видит выходящую, молодую еще и миловидную, попадью, которая несет ему на блюде пирог. Снова устремление автора, встречаясь с устремлением полководца — бесспорно же существующим и имеющим свою точку, как и свой родник тревог, — сбивает его, увлекает по своему закону, закону вертикального направления: *небо* и — *под* землей. Князь Болконский, уже начав увлекаться проэктами Сперанского, идя куда-то слышит свежий девичий смех в саду: это так на него действует, что он вдруг понял всю пустоту затей Сперанского, всю ограниченность его ума, искусственность и фальшивость его исторического положения. Критика «чресл», ибо никакой еще тут нет. Мы озираем всю панораму художества Толстого, — и все человеческие его фигуры вырезаются перед нами как до некоторой степени египетский пантеон: фигуры от пят до шеи — не только человеческие, но и бесподобно истинные, живые, одушевленные; но голова — отвергнута; это — какие-то «кинокефалы», если их рассматривать с темени: с головой копчика, шакала, кошки, но большею частью, как у Аммона — с головой барана. Он понимает голову как дополнение туловища; подробность около него; орган восприятия второстепенного и решения о второстепенном; но как «главу», вершину, откуда распят человек, к чему туловище привешено, — он ее отрицает, не видит, не хочет: вопреки истории, действительности. Это есть именно в нем то усилие, на которое вы можете ответить «камнем» и все-таки не выбьете художника из этой точки зрения...

Но поразительно: при этом скользющем по предметам вниманию (Гоголь только «проехался по России») или капризном переименовании человека (Толстой, Достоевский — то же) вертикальное созерцание не только падает до глубины, до «чресл» читателя, но оно и предмет изображения пронизывает до «чресл», до глубины, и со всеми его «чреслами» выворачивает наружу перед читателем. Вот то, что зовут их «психологию». Это не без причины Толстой всех людей поделал «кинокефалами». Он не понимает их мысль; он ее не слушает; он «смотрит на икру», пока говорит Наполеон, ищет «повредить бедро ему», и, воспринимая его речи, также безучастно их передает, как автоматический самопишущий прибор. Но ведь он понял, что не только речи его перед Балашовым, в Вильне, но и вся его траектория, между Мадритом и Москвой, Неманом и пирамидами, течет из «икры», обусловлено «бедром»... То, что возмущает нас в его «психологии», это

глухое и почти глупое невнимание к точкам головного устремления, которое поздней перейдет в «тае — тае» Акима («Власть тьмы»), есть одновременно — и не у одного его, но у всех четырех писателей — такая новизна точки зрения, с которой судьбы не века только нашего, но и нашей двутысячелетней цивилизации окидываются легко, легко даже передвигаются; и здесь вся траектория Наполеона — подробность, частность, которой нечего внимать, она сдвигается, как «блужащие» сдвигались при всяком передвижении ковчега, в котором их заперли на сорок дней... Но оставим это; пока нам ясно, что он нашел, т. е. все они нашли

точку воззрения на человека, с которой он раскрывается в таких глубинах своих, о которых, в общем, он даже сам не подозревал у себя:

Много знает душа Катерины такого, чего сама Катерина не знает.

Дар провидения — он не один; еще — дар любви. Если мы вспомним фигуру Долохова («Война и мир») и непрерывное страдальчество, льющееся у Достоевского на протяжении XIV томов; если вспомним, как Гоголь «перекосил все живое» (определение Вяземского) своим смехом, — мы не будем увлечены всецелою и как бы гладкою любовью, которая лишь при первом взгляде нам представляется обволакивающей создания этих *трех* писателей; и также не будем очень обмануты жесткостью печоринских манер у *четвертого*. Углы тех трех мы должны заострить; они очень остры местами; и угол четвертого должны сгладить, сшлифовать, принимая во внимание его двадцать семь лет; старость есть великая умягчительница сердца, а здесь кроме старости возраста есть и зрелость исторического возраста у позднейших трех писателей; сверх этого, смягчение сердца, дивные черты смягчения проступили и у самого Лермонтова:

*Дай ей сопутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость спокойную,
Сердцу незлобному — мир упования.*

Припомним его жгучий взгляд на ребенка («К ребенку»), строфы «Казачьей колыбельной песни», — и мы поймем, что пронизывающая любовь была и у него, а они все не лишены его отчуждающейся гримасы к миру. «Легенда о Великом Инквизиторе» — ведь это космическая ирония, это — тон «Героя нашего времени», о, конечно, колоссально вызревший во времени, за четыре десятилетия, но все же этот именно тон, перекинувшийся на историю, вмешавшийся в обсуждение догматов. Они все, и Гоголь, и Достоевский, и Толстой — тоже, что и общий их эмбрион, но «опрошенные»: опустив «опаленные крылья», надели «клетчатый пиджак» «приживальщика». Но мы оставляем эту сторону; мы уже указали, что это в них — жест неопознанности себя, как и «ангел сатаны, уязвляющий в плоть»; может быть — жест космического затаивания. Чувство гнева — обильно у них всех; у всех есть «железный стих», будет ли то «смех сквозь незримые слезы», поэтому именно и разрушительный, ирония «Плодов просвещения», упрек «Власти тьмы», «Смерти Ивана Ильича»; сокрушительное, действительно сокрушительное, по отношению к целой цивилизации, «тае — тае» Акима. О, это великие демоны-разрушители; мы хотели сказать — «небожители», входящие в дом Лота, в великий канун; не забудем критики «Записок из подполья», «Легенды об Инквизиторе». Но сквозь наволакивающиеся тучи гнева, их прорезывая, их пронизывая, пронизывая и касаясь «чресл» читателя — молнии любви. Мы говорим о небесном семени, которое растет во все стороны, клубится упреками, но и прожигает любовью:

Пусть безумие у птичек прощения просит, но ведь и птичкам было бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю да было бы. Все как океан, говорю вам. Тогда и птичкам стал бы молиться, всецело любовью мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтоб и оне грех твой отпустили тебе. Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным («Бр. Кар.», I, 356).

XXXVII

Но мы вступили, этими самыми строками вступаем в главное у них. Любовь ли их, понимание ли, гнев ли их — не к человеку, но, собственно, к міру:

И непонятно тоскою уже *загорелась земля*. Все мельчает и мелеет, и возрастает только в виду всех один *исполнинский образ скуки*, достигая с каждым днем *неизмеримейшего роста*. Все глухо, могила *всюду*. Боже! Пусто и страшно становится в Твоем міре (*Гоголь*).

Центр их созерцаний, найденная точка в человеке имеет ту удивительную особенность в себе, что внимающий — уже не точку эту видит, но мір чувствует, «касается мірам иным», и его любовь, с этой точки соскальзывая, переходя в видения, расплывается любовью, которою охвачены земля и небо:

И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть; и как напоить слезами своими под собой землю на поляршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься («Бесы», 133)... С тех пор, становясь на молитву, творя земной поклон — каждый раз землю целую, целую и плачу (*ib.*).

Вот главное: эта потеря географических и исторических терминов, выход из условий времени и места, отклонение от всяких предметов непосредственного созерцания, забывчивость міра; в тайне — это и есть мотив угловатости Печорина, не разобранный автором, и тем менее — критиками; поэт, и все они, слушают «міры иные», «без звуков, но живые» голоса; как это нежно выразил Лермонтов в черновом наброске известного стихотворения:

Есть речи — значенье

Он говорит об этих таинственных голосах:

Их кратким приветом,
Едва он домчится,
Как *Божиим светом*,
Душа озарится.

30
Средь шума мірского
И где я ни буду,
Я сердцем то слово
Узнаю повсюду;

Надежды в них дышат
И жизнь в них играет.
Их многие слышат,
Один понимает

Лишь сердца родного
Коснутся в дни муки
Волшебного слова
Целебные звуки:

40
Душа их с молением
Как ангела встретит,

И долгим биением
Им сердце ответит (Соч., изд. 80 г., I, стр. 556, *примечания*).

Это — в музыке выраженные, но те же видения, что у Достоевского: «две — три секунды; больше пережить нельзя; можно отдать всю жизнь» («Бесы», 528), или:

Не кончив молитвы,
На звук тот отвечу
И брошусь из битвы
Ему я навстрегу...

«Бог, когда творил мир, *бара*, говорил — это правда, это хорошо. Это не любовь, а так... радость». Припомним мысли о любви и Боге умирающего Болконского, и его же — на Аустерлицком поле, раненого; чувство *света*, хлынувшего на Ивана Ильича, когда он «просунулся в мешок». Может быть, самое удивительное, что *для* этого таинственного чувства, при котором «надо перемениться физически или умереть» («Бесы», 528), даже отрицается «детская колясочка» и «а Евангелие — Феде», т. е. то, что вообще никогда не отрицается, чем все проверяется как «столпом и утверждением»: 10

...Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как Ангелы Божии. Намек. Ваша жена родит? 20

— Кириллов, это часто приходит?

— В три дня раз, в неделю раз.

— У вас нет падучей?

— Нет.

— Значит, будет. Берегитесь, Кириллов, я слышал, что именно так падучая начинается... (*ib.*).

Но мы уже знаем, что «так начиналось» у Лермонтова, Толстого и по крайней мере у Гоголя в тот миг, когда он стоял у растворенного окна, с «Четь-Минееми», и был внезапно застигнут Смирновой; пожалуй и в тот миг еще, когда говорил: «Оставьте, мне хорошо» — перед смертью. «Это — не любовь, а так... радость». Мысли Болконского о любви и Боге перешли в личную проповедь любви и Бога у Толстого, начиная с «Чем люди живы», и до этих минут, т. е. вот уже много лет, неустанно; «и пойду, и пойду — хоть бы на тысячу лет». Эти туманы, эти видения, «есть звуки — значенье...», они у всех четырех и есть родник не только литературных созданий, но и личного труда; это от них поднимаются к горлу рыдания, судорога перерывает дотоле мерный голос («Переписка с друзьями», «Пушк. речь», последний фазис Толстого — что-то исковерканное и одновременно самое важное у всех); рыдания эти — уже не скорби, но света, преодолевающего всякую скорбь. «Это так... радость»; и из этой небесной радости каплют слезы любви, опять прожигающие мир, до «прощения перед птичками», «не возгордись перед животным»; «полюбить в грехе человека есть образ Божий на земле любви»; «любите животных, ибо они безгрешны». 30

Человек исчез; мы говорим об авторе; это — хрупкое существо, с «поврежденным бедром», который отныне будет «постоянно хромать», возбуждая смех у пра- 40

вильно идущей мимо и ничего вовсе не понимающей в нем толпы. Но он «будет побеждать человекoв»...

И боролся Некто с ним до появления зари; и увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: «Отпусти Меня, ибо взошла заря». Иаков же сказал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». И сказал: Как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человекoв одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: Скажи мне имя Твое? И Он сказал: На что же ты спрашиваешь о имени Моем? Оно — чудно (*Бытие, 32, ст. 24—29*).

- 10 Личная мощь этих «хромцов», этих мистических четырех коров, с неиссякаемым обилием капающего из сосцов молока, так велика, что на «чреслах» своих они волокут, вот уже поволокли наше общество, и сила их «тяготений» такова, что, пересягнув Европу, тронула серьезностью даже легкомысленные берега Сены. Юродивый, что «кладет печи», над чем хихикает вся страна, — он же от грудей своих поит всех «здоровых»; смотрит в «икру», — все смеются и, оставляя дома, совлекая «ветхого человека», складывают — умело ли, неумело ли, новую жизнь (*vitam novam*). «Стараюсь делать то же, что Гоголь». И все они что-то *одно* делают около человека; что делают?

Открывают край одежды его... (*Исход, Второзаконие*).

- 20 Если мы глубже всмотримся в манеру созидания всех этих людей, в созданные ими образы, и будем для сравнения держать в уме образы Тургенева или хоть Пушкина, и всякого вообще кроме только этих четырех, мы увидим, что все те *срисовывают*, предмет изображения ясно лежит *вне* рисующего; чувство напр. Тургенева ко всей веренице героев, от Колосова до Нежданова, есть чувство товарищества, знакомства, *соседства* в истории и стране, без чего-либо более внутреннего. Развернем панораму Толстого или Достоевского: образы срисованные есть и здесь — это третьестепенные, обстановочные лица; те, что играют роль мебели в произведениях (в «Бесах» — мать Ставрогина, Даша, Степан Трофимыч, Кармазинов; но уже «Федька Каторжный» — *не* обстановочное лицо; в «Идиоте» — генеральша и две из ее дочерей, выключая Аглаю); таким образом художественная рисовка есть и здесь: это — талант упражняется, данный от Бога, но без всякого устремления художника, без точки, на которой фиксировался бы его глаз. Но вот мы входим в круг фиксации автора; также Толстого; также Лермонтова — в «Герое наш. времени» (Максим Максимыч — срисован). Мы никак не можем сказать, что и здесь продолжают отношения соседства, товарищества, общности территории и страны, т. е. у *автора* (художника) и его лиц. Раскольников, Свидригайлов, Болконский, Пьер, и даже Иван Ильич, даже его сын гимназист «с желтыми кругами под глазами»: здесь — отношение *кровности*; у Пушкина в чертах Онегина, у Тургенева в Рудине есть кое-что, автора; упрек, себе посланный, но он надет на чужую фигуру, на одного из мимо идущих и все-таки *срисованных*; ни Онегин, ни Рудин, с их «чреслами», «бедром» не вышли из художника; между тем именно таинственные-то «чресла» Свидригайлова, голова Раскольникова, вся фигура Болконского разверзла некогда «ложесна» художника; Печорин... да это ему в детстве шептал поэт:

Не скучны ли тебе непрошенные ласки?
 Не слишком часто ль я твои целую глазки?
 Слеза моих ланит — твоих не обожгла ль?

Таинственное «бара»: вот источник пронизывающего «ведения», этой всех изумляющей «психологии», вывернутых чресл в веренице ослепительно ярких, блестящих умом, движениями фигур. Эти фигуры — зачаты и рождены; от этого еще они так живы; на Сереже Каренине есть запах родов; влага несшей его утробы еще на нем не обсохла; на Болконском, Пьере, на Свидригайлове — уже обсохло все; но тонкая пленка «рубашечки» осталась, где-то морщится «под мышками»; и по кусочку ее мы открываем выносившую их утробу. Гоголь «проехавшись»¹⁰ только по России создал галерею лиц, «живости и верности» которых Россия изумилась; в «Переп. с друзьями» он затерял слово: «Я свои недостатки осмел там»; бедная сторона его художества, ошибка против себя, проступок против таланта состоял в том, что он выскульпторил именно пороки, одел их плотью, одарил голосом, и даже поставил в обстановку, которая, если приглядеться, есть продолжение этого же порока; около каждого порока (скудость — Плюшкин, грубость — Собакевич, слащавость — Манилов, непонимание — Коробочка, пройдошество — Чичиков, и даже голод, нужда — Хлестаков, особенно Осип) свернул фигурку, где этот порок вылился и в строение руки, и в манеру держать голову, и в интонацию речи, и в устройство скотного двора, и в характер мебели²⁰ (особенно — у Собакевича): все скупое у Плюшкина, даже та бумажка, на которой он пишет; как все грубо у Собакевича — мебель, но особенно кушанья, которые подают к столу: «мне чтоб баран — так баран, целого барана подавай на тарелку»; у Осипа: «и веревочку подай». Это единство черты, от человека до мебели, сообщает чудовищную неестественность его портретам, которая не могла быть замечена от чудовищной же верности психологии (заданной *теме* каждого), ибо душа, «дыхание жизни», данный порок — рождены именно, а не срисованы, и «запах чресл» на них есть, как и на обольстительной фигурке Сережи Каренина.

Слеза моих ланит — твоих ланит не обожгла ль?

Вот эта пронизывающая строка, этот вертикальный луч ведения ли, любви ли,³⁰ или, наконец, даже негодования (у Гоголя — «незримые слезы»), он как в этой строке ясно выпадает из «чресл» («К ребенку»), из «чресл» же выпадает и на протяжении 25—30 томов, нами исследуемых...

XXXVIII

Идея «отчества», если бы это слово было употребительно, «материнства» — вот слово, которое может быть понято. Но это — общее мировое чувство; это-то и значительно. Отсюда — космичность, «видения», «звуки»; это есть не индивидуальное создание, выдумка, каприз четырех мистиков; они от того и «хромцы», что приподымают «край одежды» не на себе, не у ближнего, но «край одежды»⁴⁰ у всех, и, в последнем анализе, «край одежды» мира. Они пронизали мир в его средоточии; в том, где он сосредотачивается, затаивается; от этого: «когда промочишь землю под собою слезами на пол-аршина в глубину — узнаешь радость и бу-

дет тебе легко». От этого — собственно любовь их не имеет лица перед собою; ведение — не имеет предмета; гнев — поступка (раздражающего); они — не на периферии; из того средоточия, где они стоят, всякий гнев, любовь, ведение разливаются радиально на всю периферию, невольно уже — на мир»...

И звезды, и месяц, и тучи толпой...

«И у птичек — проси прощения»...

Мы говорим с человеком; и отходя — заговариваем с другим; еще прошло время — и третий говорит нам и мы его внимаем. Мысль наша, эта идея, вот напр. о наступающей сдаче Москвы («Война и мир»), — она связывает со мною неопределенное множество людей, и мы все, т. е. в этой идее и вообще во всяком комплексе идей, сливаемся в общество, взаимодействуем; понимаем друг друга и друг на друга действуем... Кто видел «Руслана и Людмилу» на сцене, помнит действие, когда витязь, и чуть ли не Руслан, поет —

О поле, поле, кто тебя
Усеял мертвыми костями.

Вы внимаете арии, глядите — без особенного сосредоточения — на «поле, усеянное мертвыми костями», ничего особенного еще не замечая; минуты летят, ария также хороша, но вдали сцены кроме «мертвых костей» есть еще что-то, чего вы сперва не заметили, да и теперь собственно не видите; «так что-то». Но пока ария льется и кости все те же недвижно лежат, «что-то» — отчетливее становится; в «чем-то» две выпуклости сверху, и еще третья, большая — ниже; звуки так хороши, что вы не обращаете внимания, и прошло уже много времени, когда «что-то» гораздо яснее перед вами, не дает вам слушать, мешает, смущает вас. Что-то есть знакомое в очертаниях: это странно, потому что то, что вам знакомо в этих чертах — вы никогда не видели в этих размерах. Да — это несомненно глаза, но чьи же они? Это — рот, «уста», но кому могут они принадлежать? Кто потом спрашивал — знает, что это с потолка сцены спускается тончайшая, как паутина, кисея между поющим и также, и так же, как вы, ничего не видящим витязем, и тем, что теперь занимает все ваше внимание, а наконец начинает тревожить и певца. Я сказал «спускается» — это обмолвка; кисея, некогда спущенная...

...меч обращающийся, чтобы охранять путь... (Быт., 3, ст. 24)

навевается на вал, и когда навилась достаточно, вы видите голову, о которой из либретто узнаете, что она и может еще быть жива, что — от живого, и хитростью или по своей неумелости была обрублена...

Теперь эту же сцену — усложним; пусть кисея не собирается на вал, но, свиваясь с одного, например с этой еще живой, но уже полуживой головы, навивается на рыцаря и певца; также текут минуты; ария слышна, но уже заглушается; черты витязя — все менее ясны; и он и конь уходят куда-то; мы взяли отдельные предметы: для истины — мы возьмем фигуру, еще живую и как бы не «павшую», и волны паутинного тумана, свиваясь с одного его сосредоточения, навиваются на другое. По истечении достаточно времени, ария вовсе перестает быть слышна, конь и всадник — «ввержены в море», и перед вами с вещими словами, с удивительными знаниями новая «голова», к которой все ваши отношения... к «пропав-

шему всаднику» — сохраняются. Вот источник «кинокефалов», и, собственно, родник четырех мистиков...

Они поют уже не свою песню, и, собственно — песню, неизвестную миру, перед которой мир от этого и дичится. Но мы оставим «песню» и сосредоточимся на поступках. Мы начали с бездны живой и многоличной связи, которая сосредотачивается около интереса сдаваемой Москвы и связывает генералитет с полководцем, смоленского мещанина, бьющего жену свою — с тем же седым героем, и, наконец, около героя волнует всю Россию, даже целую Европу, ждущую денег его и внимающую каждому его решению... Но вот «всадник исчез», «вверже в море», и связь, которая остается с вырисовавшеюся головою, сохраняет характер живости и многоличия. Вот тайна «птичек, у которых просить бы прощения», и «животные — безгрешны, им Бог дал начало мысли». *«Нагало мысли»*... 10

Слеза моих ланит — твоих ланит не обожгла ль?

Это младенец, т. е. это у него «начало мысли» и, странно, оно и у тех, «безгрешных»... Слеза падает и сжет землю; «на два аршина сжет»...

И месяц, и звезды и тучи толпой...

«стеклянные панорамы», великие *подобия* мира, его «двойники» как особенно ясный с «Сне смешного человека»... Великая тайна четырех мистиков, что они стали в отношении «отгества», таинственное «бара», не к героям только, но к миру, который льется 20

И месяц и звезды и тучи толпой

из их чресл, с тою живостью, утреннюю росой на лепестках, не засушенную «рубашечкой», которая никому не дала заметить, что это есть рождаемый вновь и нисколько не срисовываемый мир. Но мы отвлекаемся к творчеству, когда хотели бы остановиться на человеке; ведь обыкновенно, ведь не странно, что Кутузов и подающая ему пирог попадья — разговаривают, т. е. взаимодействуют идейно, улыбаются, он ей кладет на блюдо червонец, и они вчера не виделись, завтра не увидятся. Но «всадник» «вверже в море»... Мы простираем дерзость мысли дальше: ведь мы умом своим взаимодействуем с голубями, которых манит к крошкам и говорим «гуль-гуль»; ласкаем морду коровы* и, суя ей клочок зеленой травы, «наименовываем» «бурёнушка». Но мы повторяем — «всадник вверже в море», тот «всадник» увит паутиною, ария не только замолкла, но и забыта, она навек не восстановится; «свет преставился», т. е. переставился... и в этом новом мире, на новой земле, те словесные знаки, которые мы там произносили, те идейные отношения, «перемесившись физически» открываются под углом и в законе новой вскрывшейся перед нами головы, поющей неизвестные арии... Вот куда падают лучи, которые мы долго исследовали; родник «потусторонних» порывов к «пятилетней», и, может быть, «к птичкам», у которых захотелось «просить прощения»; в задумчивости остановился над ними Достоевский, ниче-

* Однажды я видел, как кондуктор конки, в жаркий летний день, на конечной станции (около Адмиралтейства) намочив мокрую тряпкой голову лошади — затем приложил ее морду к своей щеке и по крайней мере $\frac{1}{2}$ минуты держал, глядя в то же время эту морду с другой стороны; может, даже говорил что-нибудь, и наверно *умственно* говорил. 40

го еще не понимая, отделив Раскольниково и Свидригайлово, голову и чресла, «всадника» и иное что-то, что больше всадника; отделив, и задумавшись, и забормотав о «пауках» и «бане»...

Но то, что испуганно началось этим жестом, пытливый художник не оставил; он трансформировался; создания его трансформировались; он не отрывал глаз от приковавшего его предмета, а «паутина все падала и падала»; были и в личной жизни поступки, «из тех, что всю жизнь лежат на совести и никто их не откроет», разве откроются они Тому, Кто сказал:

раньше, чем Филипп позвал тебя, когда ты был под смоковницею — видел тебя, —

10 и каждый из них, как толчек в мысль, пробуждая, встревоживая, заостряя внимание, срывает новые клоки паутины и перемещал... Затуманился «всадник», темным пятном вырисовалось «что-то»; и гораздо ранее, чем он понял, что — его собственная природа, переменясь физически, сказала слезами и молитвой, которые жгут страницы его последних книг. Но мы все свертываем к звукам, когда нам предстоит говорить о людях и поступках по сю сторону...

Угол нового отношения и воззрения, этот таинственный угол «хромоты» и «поврежденного бедра» есть новый, более не «товарищеский», не по «соседству», не по «идеям» и «мысли», не по предметам обсуждения, как «сдаваемая Москва», но угол «кровности», «отчества», «приподнимаемого края одежды».
20 И как там, в лице, в мысли он обнимал мир; этот же мир в новых, пронизывающих, вертикальных лучах — обнимается теперь. «Всадник вверже в море»; не к кому более говорить «мещанину бьющему жену» и метод речей — не тот; но связь между Кутузовым и мещанином есть... теперь пронизывающая, вертикальная:

Слеза моих ланит — твоих ланит не обожгла ль?

И все «ланиты» «жгутся» «слезами» всех:

И всякая тоска земная и всякая слеза земная — радость нам есть; и как напоишь слезами под собою землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься; и никакой, никакой горести твоей больше не будет («Бес.» 133).

И, в последнем анализе, «ланиты» жгутся, земля омачивается потому, что

30 Не правда ль: говорят
Ты на нее похож?

То космическое, пронизывающее понимание и эта космическая, пронизывающая любовь, как, наконец, и космический свергающий гнев (собственно — рвущийся к любви, рвущий других на любовь, всегда), есть sexual'ной природы и «отчество» к миру есть вывод и последствие sexual'ной как бы развернутости мира, как бы себя перед миром sexual'ной же разверженности...

XXXIX

Все четыре мистика суть соит'альные писатели; кстати, мы называем, уже не в первый раз, их «мистиками» и так зовут по крайней мере трех из них — все; од-
40 нако, что не очень замечено, так зовут их вовсе не по тому, что

Устами праздными вращал он имя Бога («Анжело»),

но почему-то совершенно другому. У Пушкина есть прекрасные религиозные стихотворения, как «Отцы-пустынники и жены...», и другие; у гр. Алексея Толстого есть целая религиозная поэма «Иоанн Дамаскин», с переложением церковных стихир; религиозен смысл его «Дон-Жуана» (см. конец); но верный инстинкт подсказал не называть их мистиками. Нет исследований о личности Пушкина и А. Толстого; и даже, собственно, нет исследований, т. е. как искания, разгадывания — их произведений: «груша съедена и оказалась вкусна». Вся критика о них коротка, как это определение, т. е. она не ищет, не рвется продолжиться куда-нибудь дальше за слова «горько — сладко». Но посмотрите — Гоголь: как пытаются его письма, подбираются, реестризируются, обнюхиваются *, просматриваются на свет; в них ищется тайной светописи; и в них всех, т. е. в самой их личности, критика и история неустанно ищет, и, что еще поразительнее, каждый ищущий, как бы внимательна ни была его работа, обильны результаты, сознается и не стыдится сознаться, что было любопытно искать, что он не откажется и всю остальную жизнь искать, но что он ничего не понимает в писателе, и теперь, после исканий, он для него совершенно так же темен, как и до начала их. Т. е. темен в последних основаниях своей личности, будучи совершенно ясен, *виден* во всех фактах. Явление это станет для нас еще удивительнее, если мы обратим внимание на то, что, по крайней мере некоторые из этих писателей, как Достоевский например, нисколько и не затаиваются: он — разливается в своих письмах; как, впрочем, и в сочинениях, вопреки угрюмому Гоголю, он разверзается, «разверзает ложесна свои» — так и хочется сказать, да после приведенных выписок это и очевидно; но и Гоголь, долго таясь, разрешается «Авторскою исповедью» — актом, который никогда не пришло бы и в голову совершить Гончарову или Тургеневу, а в «Переписке с друзьями» публикует много... вероятно же, это действительно частные его письма; отрывки, может быть, обработанные для печати, но именно частной его корреспонденции: едва ли «письма» только как форма избрана для чисто литературного произведения. Толстой также с собой не секретничает; всех пускает к себе, беседует, и вообще о нем, как человеке, уже при жизни так много написано, сколько не написано напр. о Пушкине. В Достоевском, Гоголе есть даже жест искания в себе или около себя; все их высказывания, признания, «исповеди» имеют, кроме прямого смысла, и эту манеру усилия что-то пошарить и найти. Однако и при этих усилиях авторов помочь разгадыванию себя, это разгадывание не подвинулось ни на шаг; всякое о них воспоминание дает факт, т. е. то, что не нужно, и не дает чего-то, что нужно и чего мы даже не умеем назвать, но чего все в них ищем. Но если мы еще более углубимся в это искание и ненахождение, в его качества, в его мотивы, в ту темную мысль, которая заставляет нас перебирать письма, мы изумимся еще более, изумимся окончательно: мы убеждены, что и никогда их не поймем, не поймем вовсе и нисколько, и ищем потому, что любопытно, но не потому, что можно найти. Имя «мистика»

* В издании Тихонравова даны (очень умно и *нужно*) не только почерки Гоголя в *разные возрасты* его жизни, но даны водяные знаки (внутренние) той фабрики бумажной, которые выставлялись на бумаге, ею выпускаемой, и которую употреблял Гоголь. Т. е. любопытство простирается на все даже очевидно случайное, с чем он соприкасался; «жил в 1834 г. в доме Лепена, на Малой Морской» (см. примечания к «Шинели»).

и относится к этой космической затаенности, пятном которой стоят эти четыре писателя; как и в самой природе, на некоторых ее точках, есть эти «пятна», от которых не отходят люди, за которыми, они чувствуют, природа как бы проваливается в какую-то дыру, начинаются неисследимые бездны, а пятно стоит таким же простым и обыкновенным, уже тысячелетия видимым, — мазком дедовской плесени в ряду новых фактов...

Мистицизм, мистическое и не значит ничего еще кроме этой дедовской плесени; каких-то морщин на челе мира, которых разгладить не удастся; сморщенности мира в некоторых точках, причем мы не имеем силы поднять складок его кожи, «поднять край одежды»... Четыре писателя есть мистические, потому что, до известной степени, они стоят в точках этого сморщивания, они сами смотрят на нас, всю необозримую толпу читателей, какими-то «дедами», чем-то ветхим-ветхим, хотя одному из них было 27 лет... Этот был ветх что-то уже около 13—16 лет —

Как ранний плод, лишенный сока...

Кстати, еще раз перечитывая «Сказку для детей», я нашел точную цифру лет Нины: ей было четырнадцать лет — ровно столько, сколько и девочке, которая приснилась Свидригайлову, «вся в цветах»:

Имел он дочь четырнадцати лет (изд. 80 г., стр. 239)

20 — «ей было только четырнадцать лет... ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба и не было слышно молитв» («Прест. и наказ.», стр. 465). Ее, т. е. первой девочки,

детский лепет
Подслушивать, невинный груди трепет
Следить, *ее дыханием с немой*
Мугительной и жадною тоской
Как жизнью — упиваться... Это было
Смешно...

Ужасно даже...

30 ...но мне так ново и так мило (*ib.*, стр. 240).

«Эта девочка — была самоубийца — утопленница. Ей было (*см. выше*)... но это было уже разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное общей, ужаснувшейся и удивившей это молодое, детское сознание, залившеею незаслуженным стыдом ее ангельски-чистую душу и вырвавшей последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда был ветер» («Прест. и нак.», *ib.*) и... и...

И месяц, и звезды и тучи толпой
Внимали той песне святой. .

40 «Истинно, истинно говорю вам: аще кто из вас соблазнит единого из малых сих — лучше было бы ему, если бы камень мельничный был повешен ему на шею и он ввержен был в пучину морскую»; «и поставил херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни» (*Быт.*, 3, ст. 24).

Он пел о блаженстве безгрешных духов
 Под кущами райских садов
 О Боге великом он пел и хвала
 Его...

как это ни поразительно, ни удивительно —

...не притворна была.

Да не смущается сердце читателя, да не дрожит рука его: пусть он верит, что крепкая рука ведет его, и не повела бы сюда, да и не вела, пока не увидела выхода «паки на прежняя», ко всему прежнему плохому и ко всему прежнему доброму, но только в новом смысле, с новым значением, «в пронизывающих лучах».

10

XL

Всего труднее исследовать так называемые всеобщие факты, т. е. постоянные и повседневные, ибо на них по преимуществу никогда не останавливается внимание, они «проходят между ногами», как «дни» и «ночи», «сон» и «бодрствование»

дни его — как *трава сельная*

и, как «трава», нуждающаяся в ногах далекого и к далекому устремленного путника, не останавливают его внимания, составляют в этом внимании некоторый психологический «отброс». Уже человек пересягнул океан и открыл Америку, изобрел компас, «порох выдумал», сделал католицизм и реформацию, ответил на нее иезуитским орденом, когда наконец задумался спросить: да почему вилка, «падающая» со стола, «падает» на пол, а не прилипает к потолку; или, что было бы всего натуральнее, не остается на уровне стола в воздухе, как в каше; и отчего, когда муха ходит по потолку, человек ничего подобного же не может сделать, не может даже ползти по стене или очень круглой горе, а обрывается, и, подобно вилке, падает тоже вниз. Тиндаль говорит где-то, что всех сил современной физики недостаточно, чтобы объяснить, почему намоченный конец полотенца — *темнее* сухого. И, можно сказать, мы дышем неизвестным; и самое это умоустремление человека непременно к далекому, оставляя его плыть, идти, бежать в таинственном, есть один из неисчислимых способов, какие употребляются в природе, чтобы охранить себя от его любопытства. Это — также космическое затаивание: внимание устремляется к другому; «глаза отводятся» в сторону, чтобы они не пали как-нибудь на то, что очень важно и что очень важно, чтобы осталось в темноте. Простота, несложность закрывающего жеста, хоронящихся приемов, которыми достигается результат, быть может недостижимый для самых сложных средств, запугивающих призраков; недостижимо напр. для величайшего, в своем роде космического неприличия, чувство которого, вложенное как неодолимый инстинкт, связывает язык и мысль, лишает человека средств сообщения, разучивает его письму, отбрасывает за эру изобретения алфавита, чтобы, если случайно ему и удалось что подметить, — подмеченного он не передал другому, умер с ним, «схоронил в могилу» тайну. Один «Нафанаил под смоковницею» так выразил этот страх, «безмолвие»:

20

30

40

...Я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство, или *главное стыд, то есть позор, только огонь подлый и... смешной**, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «Один удар в висок и ничего не будет». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет, не так ли?

— Вы называете, что это новая мысль?

.....
Положим, вы жили на луне, продолжал он, не слушая, свою мысль: вы там, положим, сделали все эти смешные пакости... Вы знаете наверно отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли?

— Не знаю...

Чей это давега ребенок?

— Старухина свекровь приехала, Etc. («Бесы», 213–214).

И еще повторил это же, на расстоянии более, нежели десяти лет, *перед смертью*:

...Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне, или на Марсе, и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обезчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и кроме того знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну — было бы мне *все равно* (курс. Дос.) или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер, etc. («Сон смешного человека», т. XIII, стр. 121).

Древний Нафанаил, «будучи под смоковницею», очевидно так затаился, принял меры столь бесспорные и абсолютные и, *проверив*, убедился, что он теперь «как бы на луне», что едва услышал, что Некто и там его увидел, как воскликнул, весь затрепетав и не колеблясь: «Равви, Ты — Сын Божий, Ты — Царь Израилев». Но приведем все это замечательное, представляющее как бы трепетное касание земли перстами Божиими, место евангелиста:

Но Нафанаил сказал ему: *из Назарета может ли быть что доброе?* Филипп говорит ему: пойд и посмотри. Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: *вот, подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства.* Нафанаил говорит Ему: почему ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде, нежели Филипп назвал тебя, когда ты был под смоковницею — Я видел тебя». Нафанаил сказал: Равви, Ты — Сын Божий, Ты Царь Израилев. Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего.

И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверзтым и Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому (Иоанна, I, 46–51).

* По подробному подбору признаков видно, что разумеется *определенный* поступок, которому все-таки имени не названо; центр сосредотачивается в «смешном», но... «на тысячу лет»; это что-нибудь маленькое и *физически* безвредное.

В высшей степени замечательно, что начало затаивания, как инстинкт, как жест, есть не в человеке только и не только около человека. Оно именно есть ухождение вглубь, укрывание себя, закутывание без ясных поводов или без поводов достаточных. Так весь хищный мир есть явно мир затаивания; лев, который никого не боится и которого все боятся, который — «царь зверей», даже если он сыт и ничего не ищет — стелется в кустах, «крадется» по опушке леса, и нельзя представить его вышедшим на прогалину и особенно остановившимся, *чтобы постоять* на ней; чувствуется, что ему это трудно, больно; нужно переломить себя, переломить что-то в своей природе, чтобы это сделать; и между тем он выходит и именно *стоит*, но *ногью* (ночные рыкания льва в пустыне) спит он, залезая в глухую чащу, хотя его никто не решился бы разбудить. В противоположность травоядным (которые, кстати, явно не хоронятся, и все *дневные*), хищники мечут не по одному детенышу, но по несколько; мясо всех хищных не вкусно, т. е. уничтожен, для человека уничтожен, мотив охоты за ними и этим косвенно, но космически же, указано ему не убивать их. Иногда может даже представиться, что земля попеременно то одною, то другою стороною *затаивается* на ночь; т. е. после дневного выявления, ей нужно уйти в себя, сосредоточиться в себе, в своем роде космически «сморщиться»; замечательно, т. е. замечателен инстинкт, по которому церковные службы все приурочены к ночи, совершаются в ночи: *всенощная, утренняя, ранняя* обедня (поздняя — уступка нашей лени). Человек «молится, затворяя за собою дверь» именно в то время как

И месяц, и звезды, и тучи толпой...

т. е. когда до известной степени и сама земля, вот данная ее половина, перестает «излучиваться» (ведь с луны земля кажется «луной») и, так сказать, тоже «затворяет за собою дверь». День — труду, поверхностному; ночь — молитве и потом сну:

И было в то время, когда Илий лежал на своем месте и глаза его уже начали смежаться и он не мог видеть, а светильник еще не погас, воззвал Господь к Самуилу: Самуил! Самуил!.. (I Царств, 3, ст. 2).

Сон есть состояние, когда преимущественно открываются *divinationes*; т. е. оне открываются в том состоянии человека, когда «ария всадника» перестает вовсе быть слышною, и сама ночь увивает его «паутиною». Все же остальное в человеке остается как и в день, но без вмешательства его преднамерения.

Вы едете по железной дороге и случайно с вами в одном вагоне, среди еще нескольких пассажиров или и без них, едет девушка; простого звания, вот напр. дочь той доблестной прачки, что на крик мужа: «Брось, Марья, топор», ответила: «Уж коли помирать — так вместе». В данном случае, в противоположность известному экономическому изречению, «чем лучше — тем хуже», т. е. в качествах едущей девушки и последствиях, которые отсюда вытекут... Вы входите в вагон и нечаянно локтем, который кстати выпачкан в чем-то скверном и вонючем, задеваете девушку по лицу; восклицание, ну — брань, ну, наконец — толчек в спину; но, затем — «инцидент исчерпан»; и, несколько сконфуженный, вы все-таки садитесь невдалеке на пустой скамейке. Но вот, входя в вагон, вы несете на голове сосуд с чем-то не только грязным, но и жгучим, и проходя среди скамеек вагона и путаясь около ног пассажиров, чуть-чуть покачнулись и чуть-чуть плес-

нущаяся жидкость, пусть кислота, брызнула несколькими каплями в лицо пассажирки, которая и сторонилась, вы же решительно были неаккуратны. Мучительная боль обжога заставила ее воскликнуть: лицо ее не только страдает, но оно испорчено, испорчено навеки отвратительным пятном около носа, которое не зарастет, и в наш век легкомысленный и жестоковыйный это пятно испортит всю ее судьбу, заставив «переменить намерения» молодого человека, которому она нравилась и который ей нравится*. Крик, отчаяние девушки; брань целого вагона, которая, однако, у вас «на вороту не виснет»; несколько толчков и ударов вам в спину, но, все-таки, в целостности и сохранности вы возвращаетесь домой и с самым неприятным чувством, но без воспоминания на всю жизнь рассказываете об инциденте жене. Теперь будьте внимательны, ибо начинается обыкновенный и самый таинственный, какой можно представить, факт: осторожно и «смешно», так чтобы можно было смеяться если не «во всю луну», то год, вы нагибаетесь и, как будто ища на полу выроненный предварительно двугривенный, незаметно ни для одного глаза пальцем руки, вымытой лучшим мылом от Брокера, проводите по genital'ям девушки, которая мечтательно смотрит в окно на мелькающие поля гречихи. Что случилось? — Ничего: рука вымыта мылом рублевого достоинства; и если бы она не была вымыта, легкое омовение изгладило бы след. Унесли вы что? — да,

20

Влажный след в морщине
Старого утеса...

Но, в общем, утренняя роса принесет его больше. Удар ножом кладет вас на место; человечество скажет аминь (истинно, да будет).

Это всегда, от римской Лукреции, т. е. времен очень ранних и первобытных, времен бедного поселка на Палатинском холме, и до паровых железных дорог. Нож, конечно, не всегда может случиться, но тогда девушка в страшной истерике, совершенно вне себя, в муках, которые нельзя себе представить, и несколько никого не стесняясь падает на пол, во всяком случае и безусловно осыпая вас ударами. Я сказал, «чем лучше — тем хуже» и в наилучшем случае, т. е. наилучшею девушкой и из наилучшей семьи вы действительно будете убиты. Случай с Лукрецией, по всей вероятности, патрицианская фабула; но важно и документально важно, что он не считался до Нибура фабулою, т. е. в инстинктах римского народа он не казался сколько-нибудь неестественным, и две эпохи, языческая и христианская, равно приносили о нем: «Истинно! Да будет!». Но вот Сицилийская вечерня — это уже бесспорный факт. Французы под предводительством Карла Анжуйского высадились и овладели прекрасною страной; бесчисленные притеснения, отнятие имущества, потерю политической свободы — все переносили итальянцы. Но французы тех далеких времен, как и теперь, кроме свободы

* Несколько лет назад около Ельца компания молодых людей, где были, между прочим помолвленные жених и невеста, отправились в зимнюю *partie de plaisir* <увеселительная прогулка (фр.)>. Случилась вьюга, они сбились с пути, и при наступающем морозе несколько человек до уродства, т. е. до необходимости ампутации, отморозили себе члены; молодая девушка отморозила ноги, ей их ампутировали. Великодушно она отказалась от жениха, любимого и любившего; и он не стал упорствовать в великодушии, действительно рассчитав неудобство возиться с хромоножкой.

и имущества, всегда хотели еще и «клубнички». Был вечер, один из вечеров 1272 года; и после «вечерней» молитвы Богу, при восходящих звездах и холодящем воздухе жители одного городка мирно брели домой; под предлогом, что он ищет предположенное спрятанное оружие, один француз «начал грубо обыскивать молодую девушку», шедшую с родителями из церкви, и, словом, сделал приблизительно то, что мы описали в условиях наших дней и в вагоне. Моментально не только он, но и все присутствовавшие французы были переколоты; мало того: гнев разлился по острову и французы все, до единого, были умерщвлены по всем селам и городам, дотоле остававшимся мирными, но не могшими и не захотевшими потерять несколько логов или золотников... мы не можем же теперь отрицать — действительно таинственной влаги

в морщине
Старого утеса...

Самые выражения, инстинктивно сложившиеся около «старого утеса», «дедовской плесени» в бытии человеческом — многозначительны: девушка сочтена была бы «потерявшею себя», если бы она ответила равнодушием господину, проделавшему в вагоне «смешную пакость», впрочем физически совершенно безразличную; т. е. утратившею как бы самое бытие свое, целость, неразрушимость своего «я», и не в физиологическом, даже не в духовном, но в каком-то трансцендентном значении. Скажем больше, укажем на совершенно таинственное: даже положив ножом на месте человека, она все-таки осталась бы как-то уменьшенной, умаленною, худшею теперь сравнительно с рядом стоящею около нее девушкою; и настоящее, что ей теперь, после касания, остается — это *самой* умереть. Поступок Лукреции, поступок с 15-летней Виргиниею отца — он заколол ее, когда не мог отстоять против насильственных попыток децемвира Аппия Клавдия — есть единственный акт, который окончательно завершает инцидент, затирает его землю, погребая под землю жертву ужасного и таинственного несчастия. Достоевский почти инстинктивно напутал слова (т. е. без отчетливого намерения, без узкого и обдуманного плана): «разбитое» существо, «оскорбленное обидой», «ужаснувшею и удивившею» ее; «поруганное», «крик отчаяния»; и даже эти слова, им вставленные: «ни образа», «ни зажженных свеч», «ни молитв» — чудны по чудному инстинкту, который толкнул его руку как бы сомнамбулически написать их. Действительно, «оскорбленная» девушка — в тиши, в ночи, в углу, где-то около «пауков» и «бани» (см. видение Свидригайлова) сама придушивает себя. Истинным мистическим ужасом повеет на нас, если мы догадаемся, что она поступает так с собою не по негодованию на оскорбителя (тогда бы она *жаловалась*), не потому, что ее будущее испорчено (она искала бы обманом или как-нибудь *поправить, восстановить* его); но умирает силою суждения над собою инстинкта святости и чистоты, *по его воспоминанию и потому, что его больше нет*. От этого самоубийство почти сейчас следует за оскорблением («добежала до пруда и утопилась») и никогда — на пятый, десятый, даже едва ли на третий день. Что случай с Лукрецией есть действительно фабула — показывает его неверность субъективной стороне дела и соответствует только внешней, так сказать гражданской, его стороне: ожидание возвращения мужа, созыв родственников, рассказ об оскорблении — слишком медленно, и вообще это более *нужно*, и именно нужно *обществу*, но вовсе не нужно женщине и даже не есте-

ственно в ней, потому что не содержит в себе того смятения душевного, той судороги содроганий, в которой одним из движений и выпадает факт саморазрушения.

Если мы будем следить за восходящими ступенями к этому таинственному содроганию, мы наблюдаем, что ни лишение члена, *части* тела, напр. вывих руки, перелом ребра, не имеет в себе ничего, что образовывало бы ступень к этому чувству. Там есть боль, но и только. Впервые аналогичное начинается там, где начинается как бы собиранье, сужение человека в одну точку, сосредоточение — и не столько физических его терминов, сколько мысли, по нем разлитой или в нем выраженной. Какая бы то ни было форма *отвержения* человека; невыносимая клевета, от которой нет средств оправдаться; раскрытие ужасной и убивающей тайны; удар в лицо, «плевок в глаза» — да, это вызывает что-то, похожее на последствия, порождаемые таинственным касанием, и все-таки последствия несравненно меньшие. Это вызывает ярость, жажду мести; и не это внутреннее, на себя обращенное, чувство скорби, которое кончается безмолвным задушением себя в углу*, «без молитв», «без образа», «без свечей», в пасмурную ночь, при ветре, когда

Вьются тучи, мчатся тучи,
Невидимкою луна
.....
Сколько их, куда их гонит,
Что так жалобно поют...

Таинственное *nefas*, религиозная пустота есть чувство, которое толкает к насильственному жесту девушку; мы возвращаемся от примера в вагоне к сновидению Свидригайлова: как жажда таинственного *fas*, религиозной полноты есть источник его оскорбляющих порывов.

XLI

В самом деле, мы не только будем удивлены, но и взволнованы, если разглядим все подробности этих порывов. Прежде всего — возраст: у порывающегося — мы отвлекаемся от Свидригайлова к тысячам обыкновенных и действительных людей — это всегда возраст зрелости, возраст осторожных и обдуманных шагов; требовательности к удобствам и покою обстановки; обычно — возраст черствой и уже остановившейся в дальнейшем развитии мысли, ни в каком случае не возраст пылкой, увлекающейся мысли «воздушных замков»; нередко — это лета старости и даже дряхлой немощи. Никакого собственно личного общения, обмена мысли, содружества интересов, единства стремлений и забот у него и предмета порывов нет; нет вовсе никакого с ним длительного общения, ни ранее, ни, особенно, — потом; ищется именно касание, момент, секунда. Мы забыли сказать почти о самом главном: в случаях, как у Свидригайлова — и таких в действи-

* Замечательно, что самоубийцы по *sexual'ному* оскорблению редко выбирают «благородные» виды смерти; никогда напр. не застреливаются; часто вешаются, также часто топятя, т. е. бросают себя, через позорный способ и как позорную вещь.

тельной жизни тысячи — порыв возникает из глубочайших низин уже предварительного и постепенного падения, из бездн самого грязного порока, совершенного растления души — как финальный шаг целой жизни, заключающийся, обыкновенно, «владимиркой». Теперь перенесем внимание на предмет порывов. Это — всегда невинность:

Она являлась в фартучке с мадамой,
Сидела чинно и держалась прямо («Сказ. для детей», стр. 239).

Непременно — это непорочный ребенок; и в этом отношении требование, т. е. мысленное, духовное, самого порывающегося — так безусловно, что нет и нельзя себе представить у него порыва, развивающегося на почве *им* и в *ней* почувствованного греха: Свидригайлов бросился назад, как только увидел, что «пятилетняя» сама к нему тянется; «у — проклятая!». И он потянулся к ней в таинственном сновидении, очень и очень внимательно рассматривая в ней года (см. выше), в уверенности, что здесь, этими высмотренными годами, непорочность совершенно обеспечена. Самое время порыва — это обыкновенно минуты, когда

Розовые шторы
Опущены...
...и бьется *девственную кровью*
Младая грудь *под грезюю ногной...* («Сказ. д. д.»).

В условиях художественного воспроизведения, т. е. мечты, — сон как отнятие средств сопротивления не необходим. Он избран как дальнейшее углубление безгрешности, как снятие хотя бы самых легких покровов греха, даже в виде бегучей и шаловливой мысли, даже в виде простого рассеяния, движения, всякой тревоги и суеты. «Девственная кровь»; но и все — глубоко девственно:

...девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лице вам дышет воздух *сонный*.

«Сон девства», как сон той полевой лилии, *еще никем не увиденной*, о которой сказано: «Взгляните на лилии полевые — истинно говорю вам: и Соломон во всем богатстве одежд был беднее их».

И на сон этот

...взирает Мефистофель
Иль мелкий бес из самых нечиновных (*ib.*).

Что он? Кто он:

Засох я без тени, увял я без сна и покоя.

Что нужно ему? О — ничего почти: смиренное, в физическом отношении и безразличное:

ее дыханием с *немой*,
мугительной и жадною тоской,
как жизнь — упиваться... (*ib.*).

Но вот, не посягая нарушить сна, он осторожно «приподнимает край одежды» и видит... гермафродита или смеющегося ему из-под одеяла мальчика. «У, про-

клятая!» — это восклицание еще с большим ужасом вырвалось бы у него, как в сновидении у Свидригайлова. Но, спрашивается, к чему же отнес он нетерпеливо потребованное и разысканное условие безгрешности? И что, наконец, за смысл в нем? Безгрешность ли мысли? Но ведь ему до мысли так мало дела, что он берет ребенка спящего, т. е. вовсе без мысли. И, между тем, отсутствие связности между мыслью и genital'ями действительно есть обстоятельство, при котором порыв единственно происходит. Для него грех, участие которого он исключил, не есть до мысли поднявшееся sexual'ное чувство, и загрязнившее, осквернившее воображение; но, напротив — мысль, опустившаяся и коснувшаяся sexual'ного чувства; и, в таком случае, в чем бы ни состояло это умственное касание — непременно его загрязнившая. Со dna бытия своего, из бездн падения, твердый, решительный — он видит безгрешные, еще не пробужденные genital'ии; и ценою всего, что в долгие годы и осмотрительною жизнью создал, подымается к ним...

«И простер руку, чтобы придержать, и взялся за него... И поразил его Бог за дерзновение; и умер он там. Доныне место сие называется: поражение Озы». Человечество говорит — *аминь*.

И играли все сыны на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах (*II Царств*, 6).

Категория безгрешности и греха так ясно струится от genital'ий, что инстинктивным же движением дети не подводятся к таинству покаяния ранее предполагаемого возможного пробуждения их, около восьми — одиннадцати лет; хотя лукавство, ссоры, обида, притворство, даже зависть и осуждение — обычны в них гораздо ранее. Но все это — ошибки; что-то скорее телесное; и если даже умственное, то также без понижывания до каких-то таинственных недр существа и без всякой вины, которая была бы не против человека виною, не против родителей, не против общества, но виною ... с которою нужно идти к Богу, и, очевидно, что она в таком случае к Нему относится. Это есть особенная и таинственная вина более не гражданского и не семейного, но также и не своего личного, характера. То трансцендентное и космическое, что мы соединяем с понятием «грех», есть исключительно и только в sexual'ном. Вспомним содрогание Эдипа; между тем, если взять «совесть» как теоретическое понятие, наконец — как требование сердца, она в проступке не участвовала и весь проступок есть механическая ошибка. Вне всякого участия ума, «души», как бы в сомнамбулизме, и следовательно, казалось бы, безо всякой вины «души» произошло чудовищно неправильное sexual'ное касание: и душа померкла, не захотела долше видеть свет солнца. Софокл не все рассказал, т. е. он не обо всем догадался: Эдипу он передал *свое* содрогание, как *мнение*, как содрогание от *мысли*, *после* рассказа; не разгадав, как разгадал наш Гоголь, глубже копавшийся в душе человеческой, черных видений, «опустившегося носа, раздавшегося рта, выбежавшего клыка» — уже ранее, *до* рассказа. Но оставляем этот пример и обращаемся к другим бесчисленным, которые мы разобрали. Мы в genital'ях «грешим»; «мир померкает» для нас — в них; «сила жить», «видеть свет солнца» — в них гибнет; и только против них переступая какую-то тонкую и узкую границу, мы ощущаем «сырость», «мглу», «ветер» и слух наш поражается неумолчным:

...Что так жалобно поют.

Т. е. только genitalia имеют в нас какое-то таинственное «касание мірам иным»; отрицательное; но, значит, и положительное, коего «совлекаются» в случаях падения...

Странное и медленное схождение по кругам греха, до «преисподних» порывов, которые мы исследовали, заключается в том, что после всякого греха как [трансцендентного] повреждения человек ищет поправления, и непременно в этом мистическом и реальном значении, через это таинственное:

да оставит отца и мать и да прилепится...

— и, уж конечно, оставляя состояние и положение, меньшее «матери» и «отца», «прилепится» всегда к обдуманно и взвешенно безгрешному. Всякий раз он сознает, что он пронизет грех, пройдет его леденящею струей, понесет наказание и скорбь на чреслах своих; но это он, усиливающийся; предмет усилий — всегда обдуманно и взвешенно безгрешен.

Достоевский, который наиболее глубоко проник в природу зла в міре, побрезжил чем-то подобным, когда вписал эти замечательные слова в небрежно-насмешливую болтовню «Приживальщика»: «Я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить» («Бр. Кар.», II, 349). Искупление, исцеление, излечение, все это в природе своей никому не открыто до таких глубин как болящему; ни в ком, как в болящем, не родит таких порывов

...с жадною тоской

Как жизнью — упиваться...

И мы следим за направлением этих обсохших губ, за их космическим направлением.

Если, вообще говоря, таинство покаяния, как трансцендентная скорбь, не вызвано никаким видом «гражданских» проступков, выявилось около трансцендентного греха genital'ий; то замечательно, что тот же таинственный инстинкт толкнул [повел] все народы, решительно все, их правильную жизнь [функцию] окружить религиозным сочувствием, поставить под молитвы. Нельзя себе представить достаточно благомыслящего философа, который, придя к «пресвитеру духовному» и объявив, что он задумал прекрасную, в двух томах, апологию религии против «вольномыслящих», попросил, чтобы на его труд было дано религиозное, специфически для умственных трудов установленное, благословение. Шлейермахер или пастор Штёкер, что бы ни написали и как бы благодетельны ни были их труды *, не решились бы ставить их в религиозную связь, через таинство, с церковью; т. е. все люди каким-то смутным, «бе яко туман вод», инстинктом чувствуют и всегда чувствовали, что эти труды и всякие вообще умственные труды лежат вне круга религиозных космических дрожаний. Но вот Ромео и Юлия, два легкомысленные ребенка, утаиваясь от міра, бежав от родителей, прибегают к патеру Христофору: казалось бы, какая связь с тысячелетним зданием церкви, с этим седым учреждением, которое поборало монархов и поборалось монархами, — какая связь с ним их затеи; особенно, если сравнить ее с апо-

* <На полях примечание к абзацу>: т. е. все люди живым религиозным инстинктом чувствуют, что эти труды, и всякие вообще умственные труды, есть внешнее для религии.

логией Штёкера? Но вот — это же непостижимо, если вдуматься — отодвигая «Апологию» в 2 томах Штёкера, патер берет руки влюбленных мальчика и девочки и надевает им кольца; велит им вечно любить друг друга, не покидать один другого ни в какой скорби, ни в какой нужде, ни при каких разделяющих препятствиях и «для благословенного рождения детей» — соединяет их; после чего порывы родителей, громы «гражданских властей» умолкают... Мы не говорим об учреждении и его истории; мы говорим, что всечеловеческий инстинкт создал около этого обряд, быт, процесс, церемонию и непременно для этого — молитву.

— ...Милосердный Бог да устроит вас наилучшим образом.

10 И призвал Сарру, дочь свою, и, взяв руку ее, отдал ее Товии в жену и сказал:

— Вот, по закону, возьми ее и веди к отцу твоему.

И благословил их. И призвал Едну, жену свою, и взяв свиток, написал договор и запечатал. И начали есть. И призвал Рагуил Едну, жену свою, и сказал ей:

— Приготовь, сестра, другую спальню и введи ее.

И сделала, как он сказал; и ввела ее туда и заплакала, и приняла взаимно слезы дочери своей и сказала ей:

— Успокойся, дочь: Господь неба и земли даст тебе радость вместо печали твоей. Успокойся, дочь моя.

20 Когда окончили ужин, ввели к ней Товию. Он же, идя, вспомнил слова Рафаила и взял курильницу, и положил сердце и печень рыбы и курил. Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны Египта и связал его Ангел. Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал:

— Встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас!

И начал Товия говорить: Благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно Имя Твое святое и славное вовеки! Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои! Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорою — жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному — сотворим помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но по истине как жену; благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею.

30 И она сказала с ним: Аминь (*Книга Товита*, гл. 7—8).

Замечательно упоминание о демоне; несколько выше Товия говорит спутнику, в страхе:

«Ее любит демон, который никому не вредит кроме желающих приблизиться к ней», что выражало простой факт, ибо семь мужей уже погибло ранее, чем вошли к ней; и без какой-либо ее вины (см. ее молитву, где она просила себе смерти у Бога). По объясненной выше психологии трансцендентного греха — и можно же ей довериться, когда она подтверждается теперешнею поэзией и случаем из Ниневийской истории — девушка, как, впрочем, и отрок, одна от 13—12—11 лет и далее, и другой от 16—15—14 и далее, служат предметом самого сладкого влечения демона именно в соит'альном отношении (только в этом отношении приближающихся к Сарре убивал демон); и поэтому как вообще себя, так особенно постель свою должны окружать усиленными молитвами и не без страха касаться ее всякий раз, если что-либо помешало им привести себя перед сном в религиозное настроение. Молитва же, как указал Ангел Товии, должна и впоследствии предшествовать всякому плотскому соединению в браке:

И ощутив запах — демон удалится и не вернется. Ты же, когда придет минута приблизиться к ней, встань с нею и оба воззовите к милосердному Богу и Он спасет и помилует вас (гл. 6, ст. 18).

XLII

Маленькая подробность из области эмбриональных лиц. *Походка и погерк* есть печать индивидуального характера в кисти руки и в ступне; и, может быть, человеческие алфавиты, столь несходные у разных народов и тем далее расходящиеся в начертании, чем далее расходятся кровно самые народы, находятся не вне связи с глубоким, национальным различием этого эмбрионального лица. Замечательно, что народы и *не хотят* сливать своих алфавитов, несмотря на очевидную выгоду этого, и, конечно, полную возможность (во всех почти звуках). Гораздо менее замечено, что в обоих эмбриональных лицах есть уже эмбрион памяти; кому случается постоянно ходить по одному и тому же сплетению улиц, довольно, однако, запутанному, знает, что, по истечении достаточного времени, он начинает проходить их совершенно верно, даже если идет, задумавшись о чем-нибудь постороннем и не только не отыскивая более пути, не ориентируясь среди домов и улиц, но и вовсе за направлением шагов своих не следя. Задумчивость бывает так велика, и так велика сложность улиц, что лишь в минуту, когда ноги перестают далее идти, он приходит в себя и с изумлением видит, что стоит перед калиткою своего дома, которую еще вчера ему казалось нужным отыскивать. «Я — дома?» произносит он с удивлением, зная, что все его участие в отыскании заключалось в том именно, что он совершенно забыл о нем, а с тем вместе и не вмещал свое сознание в движение ног, не дал им нового направления и вообще не привнес никакого импульса. С другой стороны, все мы пишем скорописью такого темпа, который вовсе не допускает обдумывания, куда вести перо, вверх или вниз, при начертании порознь каждой буквы; притом, когда мы «сочиняем», внимание наше до того бывает фиксировано самым содержанием мысли, что, очевидно, его нисколько не остается для начертания букв и с этим уже справляется сама рука, тою зачаточною памятью, какая есть в ней. Мне однажды случилось даже наблюдать, как память руки, очевидно не только автономная, но и аутокефальная, поправляла шаткую забывчивость научных знаний: это было с моим старшим братом, в первый год его учительства (словесность); встречая в «сочинении» ученика сомнительно с *ѣ* или *е* написанное слово, и не всегда имея под руками пособие, где мог бы точно справиться о его правописании, он брал лист бумаги и заговаривая с кем-нибудь присутствующим (часто — со мною) и вообще как-нибудь отвлекши внимание в сторону, быстро писал несколько раз сомнительное слово; и как «выходило» — а значит, «выходило» во всех написаниях одинаково и всегда верно, иначе он и не дошел бы до такого способа или не удержал бы его — согласно этому он делал исправление в тетради ученика. Очевидно, основан был этот способ на той правильной уверенности, позднее оправдавшейся на опыте, что всякое слово в течение 10—15 лет образования писалось бесчисленное число раз правильно и только изредка неправильно, и в памяти кисти руки хранится впечатление правильного, а не нескольких неправильных случаев. Процесс выучки письму продолжителен и труден, потому что он включает

в себя не только научение начертанию букв, но и закрепление в памяти именно руки этого начертания; замечательное обилие ошибок в правописании при усвоении всякого нового языка (первые классы гимназии), при полном уже и отличном знании теории написания (грамматика), вытекает из того, что еще очень долгое время, именно пока не образуется память руки, учащийся следит за начертанием букв и естественно отвлекается вниманием от того, что именно, какую грамматическую форму, нужно написать. Как только память формы отходит к руке, память содержания входит во всю свою силу в уме, и беспричинно, по-видимому, учащийся вдруг начинает писать правильно. Музыка в технической своей стороне и пляска не могли бы возникнуть, если бы кисть руки и ступня ноги не были эмбрионами лица, своеобразными и вовсе независимыми от главного лица. Игра напр. на рояли, эти брызги движений, совершенно неуследимые и неисследимые, не допускают и мысли, что виртуоз сколько-нибудь думает о направлении руки; «разбирая» новые ноты, даже сразу их играя, он уже во всяком случае и нисколько не думает, которым пальцем и в которую клавишу попасть. Обдумывает он, усвоет, изучает, видит — ноты, музыку звуков (ухо); и в руках параллельно и совершенно аутокефально развивается музыка движений. Замечательно, что виртуозы музыкальные — ограничены (умственно); «столько души в паре», — но начинаешь с ним говорить и не знаешь, как отвязаться: такое отсутствие души у музыканта. Удивительное развитие лица в кисти руки, развитие его до «ума», до «души» подавило в нем или задержало развитие главного лица. То же можно сказать о танцующих. Танец есть музыка ног, столь же древняя и изначальная, т. е. так же безотчетно и невольно начавшаяся, как и настоящая музыка, это «перебирание» рук по струнам. Замечательно, что народ, очень умственно не сильный, создал гениальную пляску; и вообще танцоры не гениальны. Напротив, гениальные люди — «неуклюжи», не умеют ходить, расстроены в походке; и, если присмотреться внимательнее — они не образовали вовсе походки, т. е. у них высоким развитием главного лица совершенно подавлено, остановлено на первой стадии, развитие эмбриона ступни. От этого нет и даже нельзя себе представить теоретического гения с «важною поступью», «величественной походкой»: они все не то «бегают», не то прыгают, не то присядают и вообще «семят ножками», «путаются» в ногах. Женщине, которая всегда ожидает себе льва, «царя» себе и на себя, гениальные люди эту особенность и неустрашимую в них чертою внушают непреодолимое физическое отвращение.

Таким образом, уже в этих двух лицах, до такой степени бледно сформированных, что самое значение их, как лица, для человека «бе яко туман вод» и о нем нужно догадываться, при тщательном наблюдении обнаруживают, однако, в себе зачаточное, первое, но свое и независимое от главного лица одушевление; своеобразные удовольствия, не нужные и непонятные главному лицу; манеру, не вырабатываемую главным лицом; жизнь, усложняющуюся до поэзии (танец); начало памяти, т. е. знания*.

Между так называемую «талей» и половиной голени тип человеческого тела так глубоко изменяется, как будто отсюда начинается новое творение, новая ка-

* <Примечание на полях напротив абзаца>: Т. об. уже в этих лицах, до такой степени бледно сформированных, зачаточных, есть, однако, зачаточное, но именно свое одушевление; свое удовольствие; своеобразная поэзия; начало памяти, т. е. знания.

тегория форм, новый творец или, по крайней мере, новая мысль творения и закон творчества. В «Песни песней» глубоко верно эта часть тела уподоблена «чаше»: опрокинутый книзу вершиною купол, чаша краями вверх — вот план фигуры, которого никакого следа мы не отыщем в верхней половине тела. Оно все сложено из сегментов (отрезков) шара, т. е. зачаточных и многочисленных, разными способами прилегающих друг к другу; и это противоположно преобладанию линий и углов, к типу которых сводят верхние формы. Нос есть прямо уже угол; и он более всего, далее всего, наконец — вперед всего выдается в лице и вообще в верхней половине форм; в то же время, хотя в нем нет значения и со-
 10
 держательности, он именно придает выразительность лицу, «характеризует» его («нос с горбинкой»); даже характеризует целые человеческие расы, или в расе — племена («греческий», «римский» нос), чего не могут, т. е. бессильны сделать такие со-
 держательные части, как уста и глаза. Нет «римского» или «германского» глаза или губ; единственное исключение — негритянские «губы», и они замеча-
 тельны, как отрицательное показание, как характеристика безобразия и пони-
 20
 женной расы, а не красоты и повышенной расы, как напр. «греческий нос», идеал красоты в лице. Но и в общем, по фигуре носа, этой формы без всякой в ней внутренней «мысли», без «дыхания жизни», мы схватываем характер лица, образуем первое представление о нем, и именно о внутреннем его содержании («гордый» человек, «мягкая» душа), т. е. инстинктивно мы догадываемся, что в фигуре этого бессодержательного угла лежит огромная характеризующая мысль, сконцентрирован план творения. Угол — мы останавливаемся на его геометрии — есть форма выявления, внешность по преимуществу: как бы далеко ни тянулись две его стороны, куда бы в бесконечность ни уходили оне, там, в этой бесконечности, нет никакой особенной и даже вообще нет никакой мысли: она вся и без остатка выражена около самой точки встречи линий, внешне на кончике фигуры, у ней «на носу». Можно сказать, это есть фигура, которая держит свою мысль в зубах и подает ее вам, чтобы вы ее рассмотрели *. Таков «лик человеческий», гордый и открытый, в котором вы читаете его желания; его судьбу; его
 30
 возможное будущее. Замечательно, что идеалом лица человеческого все народы и признают выявленность его, не затаенность: таящееся лицо, скрытное — не нравится, инстинктивно неприятно людям, и это от того, что оно есть ошибка против самой мысли этого лица — выявить человека.

Две точки, однако, в этом лице: «миндалевидный» глаз и напоминающие «ягодку», как бы разрезанную, уста — отступают от закона линий этой части тела: этих лопаток, плеч, локтя, подбородка, четырех углов лба, везде углов, хотя везде и сглаженных, смягченных. Эти две точки скорее приближаются к закону и типу нижних форм; и в высшей степени замечательно, что сверх главного их назначения — выразить человека, в них есть и второй, хотя подавленный и заглушенный, момент: затаивания. Нам не нравились бы уста, которые все «выбалтывали» бы (самый глагол выражает *поприцание*); или если бы глаза не содержали
 40

* <Замечание на полях возле абзаца>: Угол — это форма выявления: мысль его, его природа, как бы далеко ни расходились стороны, вся выражена полно и ясно в самой точке встретившихся линий, «в углу», «на носу» фигуры. Можно сказать — это есть фигура, которая держит в зубах мысль свою и подает ее вам, чтобы вы ее рассмотрели.

некоторой «глубины», т. е. «непроницаемости», за которую никак нельзя «все-го» прочесть, прочесть «до дна». Однако и здесь «лукавые» уста или «мигающие», обманывающие глаза — чувствуются как недостаток; требуемая глубина и непроницаемость не должна быть меренною; через уста и очи человек должен выражаться, и даже через них по преимуществу выражаться; но он должен быть в них невыразимым, неисследимым; «неисследимым» — и тип форм перебегают к типу нижних.

Если, наконец, в общем мы окинем *всю* фигуру человека и сравним верхнюю и нижнюю половины, мы заметим, что сверх угла и плоскости, как повторяющегося и модифицированного элемента первой, в ее общем виде есть раскидистость, расчлененность, разбегаемость. Как ни странно сказать, тип животного сосредоточен внизу, и тип растения — вверх: эта торчащая голова, углы лопаток, плечи, простертые в сторону руки — это сучки, это ветки и макушка дерева; и, по крайней мере, никак это сравнение с деревом, все-таки возможное для верхней половины тела, не придет на ум при взгляде на нижнюю, свернувшуюся клубком половину.

И, в самом деле, она напоминает ежа, напуганного приближением чужих шагов, который запрятал маленькую голову куда-то в самую глубину, не только за ошестинившиеся комочки, но и за покровы спины, всего туловища, между самых лапок, и ими даже, хотя уже не нужно, закрыв бытие ее. Отсюда начинает пугаться человек, и одежда — у диких передник, висящий на поясе, — есть знак этого испуга, этой космической испуганности. Формы этой части тела, начиная именно от половины голени и именно от «талы» — здесь пока безразличные, как бы колеблющиеся между двумя центрами притяжения — крадутся и с каждым движением, хочется сказать — с каждым прыжком становятся содержательнее и осмысленнее; и тем пугливее, чем осмысленней, чем яснее — тем быстрее сбегает, чтобы не быть увиденными. Свет дня очевидно им не нужен и даже очевидно враждебен; одежда — только искание ночи; и замечательно, что у животных, в форме хвоста, она также, и притом у всех, есть. Хвост павлина чудно велик, развеивает, драпирует всего его, и истинно «великолепнее Соломоновых одежд»... Так ничего мы и не видим, по крайней мере, не видим ничего главного: форма шара, эти набежавшие друг на друга сегменты, закрыли от нас мысль свою, которая здесь уже не «на носу фигуры», а где-то внутри, в наиболее далеком расстоянии от периферии, единственно наблюдаемой нами, и даже он может быть вовсе ни в чем не выражен, «не видим», хотя в то же время и образует эту периферию округлостей, «законодателен» для них и их расположения. «Ты должен меня искать» — вот единственно понятная мысль, которую мы здесь читаем; и она несколько содержательнее, а главное — человеческое, «животное», в противоположность растительной почти, а во всяком случае механической мысли: «угол в 45°». «Ты должен меня искать»... Это — совершенно неизвестно, что значит: может быть — ты вечно будешь искать и никогда не найдешь, «не увидишь» вовсе и никогда; но, может быть, и увидишь, по крайней мере отчасти, особенно если я помогу тебе, «откроюсь»; но, что непременно и что прямо следует из мысли «ты должен меня искать», — это то, что у тебя будет вечный инстинкт искать меня, «влечься» ко мне:

И тяготение твое к мужу твоему (*Бытие*, 3, ст. 16)

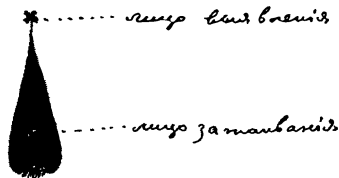
— объяснимое из всей фигуры крадущихся, затаивающихся, с искомым центром форм, но в высшей степени механически и даже вообще рационально не объяснимое, если принять во внимание, что предмет «тяготения» непосредственно не касается ни одного чувства восприятия у тяготеющего; действует не материально, т. е. без посредства материальных факторов, и собственно около человека это впервые здесь, здесь начинается. Т. е. отсюда, еще около «талы», умерла механика, ясность, «угол в 45°» и началась — как мы обмолвились — новая категория бытия.

Всю вообще фигуру человека, ее плоть и схему, можно выразить в этой простой фигуре:

10



где верхняя точка, «несущая на носу мысль свою», вытянута вперед и вверх; но эта же мысль, только с обратным направлением затаивания, повторена и внизу, теряясь... нельзя указать, где. Так как главное отличие их в том, что в одном — все видно, и в другом — ничего не видно, мысль фигуры образнее может быть представлена так:



И что бы ни принимали за начало в человеке, мы увидим в нем: или внутрь уходящее (ввернутое), но тем же, чем он и начат, оканчивающееся существо; или наружу вывернутое, и опять оканчивающееся тем же, чем он начат там внутри; с той разницей, что — в силу ввернутости или вывернутости — выпуклостям, выдавленностям, шишкам торчащим и вообще всякому виду полноты на одном конце, на другом конце соответствует полость, канал, втянутость, и, в конце концов — некоторая пустота; «святая пустота» — так и хочется сказать, откуда все реальное и живое рождается. Во всяком случае эти представления, которых мы никак не сумели бы отнести к верхней точке: неисследимости, невыразимости (неопределяемости), влечения к себе, всеобладаемости (силы, мощи) невольно относятся нами ко второй точке, и даже по всем спрыгивающим туда формам и линиям человеческой фигуры.

20

Купа волос молчаливым и не прочитанным иероглифом указывает, что это пятно старой плесени, последнее — что мы здесь видим — есть именно лицо, но только не *in statu*, а *in actu* *, потому что оне и выявляются ко времени *sexual'*ной готовности. Почти не нужно объяснять, что все органы и функции, какие здесь, в нижней половине фигуры, есть, имеют географическое в ней положение, помещаются за непомещенностью в другом месте, но также мало имеют отношения к мысли человеческого тела, как дыхание, глотание, наконец, сердцебиение к тому, что мы именуем в себе «ликом человеческим», который несем перед миром,

30

* не в покое, а в действии (*лат.*).

к улыбке ли или любованию, что мы относим к миру, чем встречаем мир. Человек есть, конечно, организм, сумма и сплетение органов и функций; но и поверх этого он есть, именно в «лице», вечная мысль; или, если нужно сохранить термин «организма», не потерять мысли об органах — небесный организм. Во всяком случае, мы возвращаемся к геометрии его очертаний, никто не скажет, чтобы «лицо» в человеке было «органом», да и нет того, чего оно было бы «органом». Слышание, обоняние, зрение могло бы быть выражено в простых точках, как частью у рыб и во всяком случае у насекомых. Ясно совершенно, что развитие этих точек в линии, контуры, выпуклости, до полноты лица человеческого, до его красоты и мысли, не имеет под собою анатомической и физиологической нужды; лицо не к функциям ощущения и вообще ни к каким функциям не относится; оно есть то, что начинается в человеке поверх их и над ними, как именно план творения, печать и отпечаток, подобие подобного. «По подобию»... Тут прошли пальцы скульптора, пала, как на чувствительную фотографическую пластинку, на «красную глину» тень, и мы ее видим, не видя ничего «нужного»...

Разумность, дыхание мыслью, но мыслью ясною и отдельною, мыслью фразируемой (язык) — вот с ожиданием чего мы смотрим на это лицо, и оно этому ожиданию отвечает. Λόγος* в человеке, так отвечающий λόγος'у в мире, этим отчетливым в природе движениям, этой его механике, этой его музыкальной «технике», в отличие, впрочем, от композиции и без нее — сияет в этом «лице человеческого» и сейчас же за ним, в черепных костях, имеет очевидное и доступное опытной проверке пребывание. Мы не хотим этим сказать ничего грубого; мы говорим «пребывание», не соединяя ничего другого с этим словом, как и говоря, что радость «*пребывает*» в выражении лица этого человека, с которым я беседую. Это не значит, что радость *есть* его щеки, губы, глаза; но через игру их она сквозит. Силлогизмы Аристотеля выигрываются на клавишах лежащего в черепе инструмента; это не значит, что силлогизм рождается из клавиши, что она его создает; это значит только, что мы его не слышим, не знаем у *этого* человека иначе как в дрожании такой-то его клавиши; у другого — той же; у всякого — той же.

Но ведь и все рояли в мире данною клавишей, положим шестой от левого края, производят один и тот же звук, но он входит в целые миры музыкальных созданий, вообще существующих независимо от роялей, может быть — ранее их; и рояли появились даже, чтобы слушателям были слышны и были внимательно выслушиваемы эти произведения...

Всякий замечал, без сомнения, в себе как бы облаком проносающиеся безотчетные и ничем определенным не объяснимые сияния души; «правой ногой с постели встал» и как-то с утра «поется». Все мысли, вся логическая механика, запас знаний, с которыми заснул с вечера — те же; ничего не прибавилось, как и ничего из «мешающего» не могло выпасть; но мысли «поют», «клавиши» играют и силлогизмы текут в таком порядке, какого вчера я не умел найти; задача, которая вчера «не выходила», сегодня «вышла»; жена, которая вчера самым видом своим раздражала, сегодня необъяснимо кажется мила, и, повертывая ей кисть руки, я целую ее ладонь. Замечательно, что делая интимный, ласкающий поцелуй мы повертываем (все-таки — усилие) руку против нормального положения, и целуем всегда в ладонь, т. е. как бы в уста руки, в лицевую, а не затылочную часть ки-

* слово (*грек.*).

сти. Дождь, кажется, будет, но я решительно не хочу сидеть дома, и, крикнув детей с няней, выхожу в рощу; но и здесь я то делаю вид, что ищу с ними грибов, то задумываюсь и Бог весть какие мысли, главное — совсем неожиданные, текут во мне; вечером я сажусь за работу, и та мысль, которая вчера «кап-кап», едва «сочилась», сегодня бурно и радостно бежит вперед, как выразил наш прекрасный поэт о себе:

..бывает время,
 Когда забот спадает бремя —
 Дни вдохновенного труда.
 Когда и ум, и сердце полны,
 И рифмы, дружные как волны,
 Журча, одна во след другой,
 Несутся вольной чередой («Журналист, читатель и писатель»).

10

Я перечитал написанную вчера страницу и, конечно, зачеркнул: это не только чудовищно скучно, но и прямо не верно; с чего я взял, что положение дел так непоправимо плохо, что — «никаких выходов»: тысяча выходов, вот один — бесспорный и строки

дружные как волны
 Несутся вольной чередой.

Если оне и не рифмованы, то почти так же легки и звучат, как если бы были рифмованы. Уже за полночь, уже час, два бьет, и ласково успокаивая зовущую жену, я еще на полчаса остаюсь за столом...

20

Это — *одушевление*. Что случилось? — «Правой ногой встал», мудро определяет народ, т. е. указывая, что это — неразрешимо, и уже скорее, чем от чего-нибудь понятного, зависит от того непонятного факта, что, проснувшись утром, я поставил на пол сперва правую ногу, а уже потом левую. У поэта, которого так многие считают «недозревшим», чудно определена глубокая и практическая сторона этой «утром поставленной правой ноги»:

Восходит чудное светило
 В душе проснувшейся едва

 с отвагою свободной
 Поэт на будущность глядит;
 И мир мегтою благородной
 Пред ним *огищен* и *обмыт*...

30

В эту минуту никак не будешь писать того, о чем говорит он далее, очевидно рисуя серии проходящих дней, и около дня повешенного одушевления описывая другой, с пониженным, ослабленным одушевлением, когда роятся в воображении иные темы и в ином освещении:

Преданья юных глупых дней,
 Давно без пользы и возврата
 Погибших в омуте...

40

Среди *сомнений* ложно-герных
 И *ложно-радужных надежд*

 Не дорожа чужою тайной,
 Приличьем *скрашенный* порок
 Я смело *предаю позору*,
 Неумолим я и жесток...

Вот человек, или, точнее — вот минутка, из которой при мощи сил и позволяющих обстоятельствах выросли бы дни 89—93 гг. Франции; верно, в эту минуту он стал бы около Робеспьера, как наверно стал бы около Шарлоты Кордэ в тот день, когда

И мир мечтою благородной
 Пред мной очищен и *обмыт*.

В последнем случае он написал бы с Лейбницем «Теодицею», придумал бы с ним «предустановленную гармонию», и в первом — с Шопенгауэром его «Мир как волю и представление» и «отсечение злой воли», на что, т. е. это «отсечение» и его «необходимость», почти указано:

...*соблазнительная* повесть
 Сокрытых дел и *тайных дум*;
 Картины *хладные* разврата
 Преданья... юных дней
 Давно без пользы и возврата
 Погибших в *омуте* страстей,
 Среди *битв незримых*, но упорных...
 Судья безвестный и случайный.

Мы хотим сказать, да из приведенных эмбриональных примеров и видно, что философские системы и исторические эпохи тайным, нежным, едва видимым корешком зарождаются и питаются в этих туманах, то с играющим в них солнцем, то с отражающеюся в них ночью, которые тянутся по человеческой душе, по душе людских поколений поверх той логики, того запаса знаний, тех сокровищ уменья, какими они обладают; и ясно имеют не тот родник и не там помещенный, где лежит благоустроенная клавиатура нашего бытия...

То, что Лермонтов так хорошо описал в себе, гр. Толстой описал, с несравненной роскошью подробностей, в «Анне Карениной»: это те дни, те памятные для всей России дни, когда милая женщина с невольной выдавливающеюся на губках улыбкой и искристым взглядом шла и где-то — в вагоне ли или еще где — впервые увидела грубого Вронского; еще прекраснее это описано, когда она ехала с горничною, и та спала, а у нее сон бежал с глаз; кажется, во вьюгу, снежную вьюгу, она вышла из вагона: и при мерцании фонаря снова увидела Вронского.
 Роман завязался. В Старой Эдде это, т. е. подобное повышенное одушевление, выражено еще отчетливее: это — Зигфрид, первое свидание Зигфрида с сестрою короля, у которого он гостит; на который-то день пребывания он наконец знакомит героя с нею; модное и пышное собрание, и церемонно поклонившись друг другу, они едва имели возможность коснуться, мелькнуть друг по другу глазом:

конечно — ни слова не сказали; но как они еще не читали романов Мопассана — «любовь овладела ими тотчас», и уже на всю жизнь, до могилы и за могилу, ибо и брату, и всему роду своему, и всему своему племени Кримгильда мстит, до собственной могилы, за безвременно отнятого у нее супруга, которому неосторожно она нашла предательский крест на спину. Мы упомянули о Мопассане: не от него только, но, кажется, и от Толстого ускользнула самая главная черта его героев, и конечно, черта автора, который умел создавать только таких героев: еще женщины и так и сяк умеют любить у него, держаться около человека любовью; но мужчины отпадают после первого прикосновения, и очевидно, корень бытия их так дряхл и слаб, что не держит человека около человека; «bel ami» (почти в конце романа) не может сесть в карету и доехать до женщины, sexual'но с ним связанной: он валится на сторону, как оловянный солдатик с обломанными ногами; и все его «герои» валятся, как вымолоченная солома, не наполняемые тем таинственным дуновением, «дыханием», которое подняло и заставило выбежать из вагона Анну:

Милая матушка,
Мне не сидится,
Руки трясутся
.....
Дай мне уйти.

10

20

Еще практические дела кой-как держатся в его руках; не прочною, слабеющею связью и они держатся; и весь он подобен, а в сущности подобна и вся, им представленная цивилизация, этому изображению:

И покрывали его одеждами, но не мог он согреться. И сказали слуги состарившемуся Давиду: Пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она ему предстояла и за ним ходила и лежала с ним — и будет тепло господину нашему царю.

И искали красивой девицы во всех пределах израильских, и нашли Ависагу Сунами-тянку, и привели ее к царю. Девица была очень красива, и ходила она за царем, и прислуживала ему; но царь не познал ее (*III Царств*, 1, ст. 1—4).

Псалмопевец «был уже в преклонных годах» (ст. 1) — шестидесяти, семидесяти, может быть, даже восьмидесяти лет; и испустил в этот год дух, свершив небесный и земной круг бытия своего, познав Вирсавию и написав 50-й псалом, и все те, по которым через три тысячи лет мы ненасытимо хотим молиться. Свята гробница его; как и благочестива память юноши — Товии:

«И сказал ему Азария (ангел, его сопровождавший и охранявший в пути, по молитве отца): Не бойся, ибо она (Рагуилова дочь) предназначена тебе от века, и ты спасешь ее, и она пойдет за тобою, и я знаю, что у тебя будут от нее дети.

Выслушав это — Товия полюбил ее и душа его крепко прилепилась к ней» (6, ст. 18).

Вот правда, вот благочестие; здесь «крепкая» любовь рождается от мысли, что от нее «уготовано ему от века» получить детей. Он не хочет ждать; но отец де-вушки не хочет его обманывать:

Скажу тебе правду: я отдавал дочь семи мужам, и, когда они входили к ней, в ту же ночь умирали. Но ты если точно хочешь взять его — будь весел, ешь и пей.

Это сказал он, потому что Товия с дороги был устал и голоден.

И сказал Товия:

— Я ничего не буду есть здесь до тех пор, пока ты и Азария не сговоритесь об условиях (7, ст. 11).

Одушевление расцвело в любовь; любовь — это цветок, выявляющийся в точке касания одушевленных существ, и любовь ко всему и всякая:

Восходит чудное светило...

Где? На небе ли? Но оно пасмурно; «чудным светилом» из ночных вод поднялась душа, когда «нога сперва правая ступила на пол» и...

10 И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт.

И даже слезою; «слезится» человек, и мир «слезится». Поэт, впрочем, настаивает на термине «солнца», хоть мы предпочли бы «миру», капавшую в безбоязненную и молитвенную ночь Товии:

«Служанка, отворивши дверь, вошла и увидела, что оба они спят» (8, ст. 13). Но пусть — «солнце»; во всяком случае — где-то в человеке оно, и это из него «излучиваются» «солнечные» идеи, «солнечные» чувства, солнечные отношения. Что-то любимо — и будет любимо то, что первое выявится перед глазами:

20 Валентинов день настал:
Под окном стоит девица —
Спишь ли, милый? Или встал?

Так * от времен еще Ниневии и Экбатан; Ниневия уже погребена под песком пустыни, и почти случайно фундаменты дворцов и храмов были откопаны в нашем веке. Но тот день, но утро того дня, когда был так обрадован Рагуил, пославший служанку посмотреть детей, совпало в смысле своем с утром, о котором Шекспир написал эти строки; и оба дня слились в мысли своей с луной, при свете которой выбежала из вагона Анна. И, словом... «времени больше не будет» для того, что как бы застыло во времени и остается тем же под проносящимися над ним тысячелетиями.

30

XLIII

Это некоторая музыка в душе, уже не как техника, но как композиция. Мы не замечаем, и все вообще философы не замечали, еще менее замечали это физиологи, что самые гордые и самонадеянные теоретические построения, эта сфразированная мысль, выдулась как полет и даже как определенное сложение, как окончательное умозаключение о мире вовсе не из разума, но из какого-то друго-

* <заметка на полях абзаца>: Так от времен Ниневии, остатки которой с таким трудом и почти случайно были отысканы в нашем веке, — и до XVII века, когда были сочинены эти стихи, до наших почти дней, когда писал Лермонтов, и совершенно до наших, когда писал и еще пишет Толстой...

го источника. Разум — это именно скопище аристотелевских фигур суждения, которые располагаются в один порядок или в другой, но уже слагающее их не есть разум, а это «легкое дуновение ветерка», или, напротив, «бури», наконец — это упадок жизненного темпа, который в воспоминании дает картину:

Пером сердитый водит ум

или —

воздушный, безотчетный бред...

и мы чувствуем, что в формах этих двух настроений фигуры аристотелевского суждения потекут вовсе не в одинаковом порядке. Мы упомянули о «настроении»: вот термин, называющий то, местопребывание чего мы напрасно стали бы искать в черепных костях, и наблюдением, всегда и всякому доступным, открываем его родник в тех затаенных точках, на которые указали выше. Отсюда, из глубин затаивания, подымаются непрерывно или горящие солнечным светом белые облачки, или темные ночные видения, и досягая верхних, черепных частей, там они оформливаются, «фразируются», становятся раздельными, силлогистическими, через все это приобретая логическое «тело» и сами входя в него «утренним пением», «музыкой», «одушевлением», «душою». То, что — в последнем анализе — во всякой философской системе есть недоказуемое: у Канта — это «ноумены», которые ему побрезжились, у Лейбница — «предустановленная гармония», которой раньше никто не слышал, у Шопенгауэра — «святая резигнация»; у Платона — его «идеи» («прообразы чувственного мира»), у Аристотеля — «формы», у Пифагора — «центральный огонь Весты» и «музыка» окружающих этот огонь «сфер», — это-то именно и составляет в их философии, для чего вся она в доказуемых частях своих была придумана и изобретена. В этом доказуемом, казалось бы самом твердом, они то или иное всегда могли бы, однако, поправить; за то или иное, и наконец за все — они не пошли бы на костер; те и иные части они, наконец, просто забывали иногда, и от этого в подробностях их систем находят противоречия. Но в чем никогда нет у них противоречия, ибо очевидно этого никогда они не выпускали из ума и, следовательно, не могли почему-то выпустить — это в недоказуемых туманах, в белых видениях «прообразов», «идей», «ноуменов», «святой резигнации»; вот от чего даже перед пыткой они не отказались бы (разве наружно), о чем не ошиблись бы, спрошенные среди сна; и, словом, могли бы с «смешным человеком» повторить:

Я видел Истину; я осязал ее — Живую, прямо перед собой...

И даже, как он, прибавить о судьбе своей:

О, теперь все называют меня смешным... Пойду и пойду... и хоть бы на тысячу лет... *

Душа мира есть уже душа таких строгих построений, как философия. Философ рождается, приходит, он сформировался, когда в нем до сознательных частей поднялся этот «туман»; получил тему и нашел какие-то неустающие слова; и философия как историческое явление вообще свилась около нескольких, очень

* <заметка на полях абзаца>: И, замечательно — в эти белые видения всегда входит порыв, «одушевление», «дуновение».

немногих, подобных туманных клубков; еще около иных — свилась политика. Какой «туман» был у Лойолы, когда, повеся щит и латы в часовеньке, на перепутьи, перед Божьей Матерью, он, побиваемый и оплевываемый, потащился в Палестину, чтобы «высмотреть» положение там «турок» и на завтра объявить против них 101-ый и уже «окончательный» крестовый поход. Сновидение юродивого; на завтра оно трансформировалось, вошло в условия своего времени, «фразировалось» до выразимости и понятности. И подземным вулканом, но именно оно, это видение, эти слезы, повешенные перед Мадонной латы — два века потрясали Европу. Джон Нокс, вбежав во время мессы в церковь, стал кричать, что присутствующие поклоняются идолам; его вытолкнули и сейчас же, конечно, он опять вошел и для того же; его вывели и стали бить палками, камнями; иные топтали ногами; он 1¹/₂ часа лежал без памяти, и очнувшись — а день был праздный и месса длинная — снова притащился в церковь и закричал то же; на этот раз его не били. Кромвель «фразировал» безумный крик; как Дюмурье, Карно «фразировали» неопределенную тоску, в которой сам себе не умел дать отчета Руссо...

10 Душа мира, «пение» истории, не устроимое, не согласимое в отдельных мотивах, и от этого именно история есть вечное и живое. Святые «туманы», или туманы грешные, всегда, однако, очевидно они приходят к человеку и он не знает — откуда, не знает временно — когда они уйдут. Мы назвали их «ариями», несущимися из-под завесы, скрывающей от нас чудовищную голову; и, наконец, пора нам на нее взглянуть...

20 Мир одушевлен гораздо ранее, чем в нем выявились мозг и даже голова; он копошится, бегаёт, ищет, избегает — не ранее, однако, чем где начинается sexual'ное разделение как постоянный факт. До этого — растения; но и они приходят в своеобразное движение цветов и красок раз в году, и на минуту, но именно на ту минуту, когда [и] у них выявляется sexual'ное разделение:

Валентинов день настал...

и сад в белом опушении вишен «поет» не знаемую, но так любимую человеком, и необъяснимо им любимую, «арию» запахов и цветов. Тайное понимание именно в «Валентиновой песне» друг друга — есть у всех существ природы; в целой природе — она не переводима, и одна только она, на логические знаки; невыразима, т. е. мистична; воспринимается именно любовью, и, следовательно, в последнем анализе, воспринимается sexual'но, во внутреннем, кровном чувстве, даже если с одной стороны это стоит человек и с другой — цветок. Но вот животный мир; одушевление началось, и, очевидно, когда нет еще головы — это одушевление опять в sexual'ном разделении. Формы его бегут выше и выше; и он, этот мир, уже разумный даже, «цветет» оперением в павлине, трелями — в жаворонке, и снова он цветет в те краткие минуты года, когда sexual'ное разделение со степени простого факта, status in quo, восходит до значения акта, до вопроса:

40 Спишь ли, милый? Или — нет?..

В человеке эта минута уже растянута и непрерывна: «цветение» для него — все дни бытия его. В древнем мире, еще у греков, спрашивалось, с лукавой, может быть, усмешкой, но, однако, и с действительным недоумением: Отчего у всех животных для «цветения» есть «свое время» и только для человека нет этого «времени», он «без времени» и «во всякое время» (года) «цветет»? Роковое недора-

зумение. Но он — гигант по силам жизни; бык живет 13–20 лет, и сухонький — маленький человек живет до 70; «даже до 80, может быть, даже до 90 лет». Принимая лишь силу мускулов во внимание, человек считается слабейшим, если не самым слабым из землеродных; но он именно по органическим силам есть самое мощное среди их существо, вечно льющееся, и именно sexual'но, и почти неиссякаемое: подруга быка имеет в год одно соит'альное сопряжение: условия, при котором даже анемичная женщина яростно потребовала бы развода; к 60 коровам, т. е. для этой цифры сопряжений — уже требуется в помощь одному второй бык: то, чего никогда не потребовалось бы мужчине, который, лишь сдерживая себя и следуя «правилу Лютера», имеет эту цифру сопряжений в год: сопрягается же он не 10–16 лет, но 36–40. Но пусть лучше говорит анатомия и ее твердые, не поправимые, не отрицаемые знаки: у женщины, т. е. с человека начиная, груди — sexual'ный знак — перемещены: подняты до предплечья; да, собственно, отпрысками своими они уже и заливают плечи: sexual'ное развитие заливает все бытие, поднялось из берегов ясно очерченной для него сферы, заплескивает и те формы, которые очевидно имеют свой закон и назначение, и ему не подчинены.

Быстро двери отворил,
С девой в комнату вернулся,
Но не деву отпустил...

XLIV

Нам хочется все исследовать через движение таинственных инстинктов человечества, через эти удивительные, не нужные, не объяснимые судороги, которые пробегают по его огромному телу. Карлейль дал на прочтение рукопись только что им оконченной «Истории французской революции» — Миллю; в один день он видит на пороге у себя бледную фигуру друга: «Что с вами?»... — «Она сгорела», едва выговаривает тот, глотая слова. В свою очередь Карлейль побледнел: у него не было черновика сочинения. Действительно, та «Революция», которую мы имеем в ряду сочинений Карлейля — бледна, искажена в течении мысли, хотя и носит печать его гения: она представляет клоки, восстановленные по памяти, украденного у человечества огнем оригинала. Допустим, однако, что Карлейль не был бы тот Карлейль, т. е. поэт и мистик, каким мы его знаем, но жадный литературный торговец, однако с тем же дарованием; и пусть, не довольствуясь бледностью своего друга, он подал бы на него иск в суд, требуя... ну, казни наконец, ибо ведь сгорело «живое творение», «мысль и гений», «достояние человечества»... Суд ничего бы ему не ответил; при настойчивости — он отсчитал бы ему некоторую сумму, и затем решительно и окончательно отказался бы «взыскать с виновного фунт мяса, вырезанного из той части тела, где будет угодно указать потерпевшему»... И это — во все времена, в каждую бы эпоху, у всякого народа. В романе Вальтер-Скотта «Эдинбургская темница» передан случай, основанный на действительных обычаях и законах старой Шотландии: у одного из суровых последователей Джона Нокса — [«последователей ковенанта» (религиозно-политического соглашения), сказано в романе] — две дочери, прекрасные, как и непременно будут дочери у всякого сурового и благочестивого отца. Весь рассказ,

т. е. Вальтер-Скотта, исполнен такой общечеловеческой и вечной трогательности, что даже удивительно, как его тема могла запасть в ум этого великолепного, но всего менее с «пронизывающим» вещи взглядом, костюмёра истории. Из дочерей сурового хранителя преданий «ковенанта», т. е. «соглашения» шотландцев отстаивать религиозные, политические и бытовые требования пуританизма, младшая — чуть ли не Ева — забеременела; и, разрешившись от бремени, в силу причин, которые я не могу сейчас восстановить в памяти, не могла указать и доказать, что ее вне брака рожденный ребенок умер естественной смертью. Кажется — он был похищен; во всяком случае — она его не умерщвляла; но она должна была умереть, по общечеловеческому подозрению, мать, для которой ребенок мучителен и об исчезновении которого она ничего не может объяснить, есть вероятная его убийца. «Эдинбургская темница» и есть та самая, где сидит приговоренная 18-летняя девушка. Необыкновенно тонкими оттенками у Вальтер-Скотта показана мучительная и на всем почти протяжении романа безмолвная борьба в душе старого пуританина; конечно, он нежен и любящ, как может быть только пуританин; он «крепок преданием сурового ковенанта» как может быть только столь нежный и любящий отец. Сострадание к дочери — уже измена секте и партии, «делу всей жизни»; и твердость «делу жизни» — бесчувствие к оставленной всеми девушке, которая «так ласкала его старую голову еще недавно, своими 14-летними руками». Так же безмолвно старшая дочь его собирается идти в Лондон, пешком и накинув на плечи клетчатое шотландское одеяло, чтобы умолить — помнится, герцога Аргайля — фаворита королевы и старого шотландского героя исходатайствовать сверх закона и против закона прощение виновной. — «Иди, дочь моя», — говорит старик, делая вид, что ему неизвестна цель путешествия; «спеши, и будет Бог тебе в помощь». Кажется, все кончилось благополучно, сестра освободила сестру; кажется, и ребенок был найден живым; открыт был его, чуть ли не знатный, отец. Но вот — обычай и закон, который за младенца, мысль Божию, потребовал «кусочек вырезанного мяса» у человека; тот «кусочек», которого не смел, и ни в какое время не посмел бы закон потребовать за сгоревшую тоже «мысль», и тоже «рожденную» — но от человека и человеческую.

Вот коллизия таинственных содроганий, в одну сторону поднимающихся до ужасов Эдинбургской темницы, и в другую — опускающихся до простой улыбки судьи. И между тем — кому нужен безвестный ребенок, никем не увиденный, кроме родившей его матери? И как нужна «Революция» в освещении гениального Карлейля, нужна как просвещение? Последняя есть достоинство человечества, первый есть собственность матери, по крайней мере когда отец отказался от ребенка самым фактом безвестности своей... Но судорога говорит обратное. Судорога показывает содержание вещей, различное как «фунт вырезанного мяса», эта реальность, эта боль, этот ужас; и усмешка юридического дельца — этот по-теп, этот звук, и, в последнем анализе — пустота, ничтожество. Ничтожество рожденного из верхних чресел, многозначительность рожденного из нижних. Но, кроме этого, здесь есть разница и в принадлежности: за *свое* никогда человек не стал бы требовать, не смел бы потребовать так ужасно и ужасного: крови, кровавого возмездия. Если уже убить страшно, как я убью еще, когда один убит... Я разражусь криками, негодованием, наказаниями, наконец — вечною «Эдинбургскою темницею», и никогда и ни за что к крови не прибавлю крови, не достигну — психологическим законом, а также и элементарным своим развитием — до

требования плахи... Здесь ясно, что рожденное из нижних чресл — не только не материнское, но даже оно — и не общества, не народов, не человечества; но еще Кого-то, чей интерес и собственность человек охраняет плахою, а Он Сам сказал о себе:

Все разверзающее ложесна — Мне.

Мы видим, как инстинкты человечества, бесспорно не согласованные с затерянную строчкою таинственных книг, однако, совпадают с нею, и только при этом совпадении, озираясь на тысячелетние человеческие учреждения, мы понимаем мысль короткой строки, которая тогда перестает быть для нас священной риторикой. Не сказано: «Мне — гражданин»; даже не сказано: «человек — Мне»: но — «разверзающее ложесна», «крови, крови рождения» (Иезекииль), и, в последнем анализе — самое это разверзание ложесн, ложесна насколько и пока оне разверзнуты — «Мое» в глубочайшем мистическом, т. е. реальном значении, как мы говорим о дыхании: «Это — мое дыхание», и удерживая бьющееся сердце: «Какое у меня сердцебиение». Вот касание «мирам иным», узел связанности, где соединены Бог и человек, и одна нить клубка восходит на небо, где

И месяц, и звезды и тучи толпой

к «белым видениям»; и другая нить падает на землю, стелется по ней «60, 70, даже, может быть, 80 лет», и никто этой нити не смеет — *потому что она Божия*: не смеет — оборвать...

Таким образом, человек есть двурождающее существо; и безразлично теперь, назовем ли мы его двучресленным существом, или скажем, что это — двуголовое. «Бедро наше» уже «повреждено», и мы, разгадывая глубже фигуру человека, ясно видим, что сверх выявленной головы, единственной, к «арии» которой мы до сих пор умели прислушиваться, есть еще, втянувшаяся внутрь и затаившаяся в тазовых костях, обволокнутая ими как своеобразным черепом; и как там, вверху, мы имеем около нее окаймленное волосами лицо, и здесь есть оно, также окаймленное волосами: второе в нас, «ветхое деньми» лицо. То, из-за попытки взглянуть на которое поднялась Сицилийская вечерня; и прикосновение к которому девушка, ехавшая в вагоне и равнодушно перенесшая мазок грязью по верхнему лицу — наказала так неумеренно жестоко, и, даже наказав, пала вся в судорогах и рыданиях...

Мысль — здесь и там; теперь будем уже называть «там» все, что относится к верхнему, умолкающему, заволакиваемому от нас «паутиною» лицу... Итак, там мысль — в поэзии ли, в философии ли — как подобие жизни. Таинственно мы называем поэмы и философские построения «живыми»; это — та поэзия и такая мысль, где есть или нам кажется пленка сырых чресл, запах рождения; и само рожденное — целостно, полно, ясно не нуждается в прибавках и отнятиях, но и так, как есть, способно длить свое существование. «Живая мысль», «живой стих» — вот величайшая похвала, какой ищут поэт и философ, и оба сладостно улыбаются, совершенно удовлетворены и уже не ищут новых похвал, когда им говорят и они слышат: «ваша поэзия жива», «ваша мысль едва ли верна, но она жизненна». Приближения, аналогии; и никогда бабка, взяв ребенка, не сказала бы болящей матери в утешение: «Он хорош, как поэма Данте». — Как, только поэма Данте? Каким издевательством эти слова показались бы матери; каким ума-

лением, недостаточною наградою ее труда, изъятием какого-то главного зерна в том, что вышло из ее чресл. Это — мистическая поэма, т. е. то, что она родила; тогда как Дантова — расчленима, изучима, и, в конце концов, все-таки постижима и in origine, и in definitione * своем. Здесь также есть много постижимого, обдумываемого, описуемого, но внутри всего этого есть и еще живая капля чего-то, что более непостижимо и что и сообщает всему существу мистический смысл, за касание к которому, т. е. за возможность касания, едва не поплатилась жизнью шотландская девушка. Итак, в противоположность «Divina Commedia» **, т. е. только по имени «divina» — это есть в самом деле «Divina» comedia, и в этом 10 удостоверяют трезвые и рассудительные юристы всего света: народ холодный и не склонный увлекаться. «Божия мысль» — поэтому именно и ставшая не в ordo nominum ***, но в ordo rerum ****. Эти мускулы, кости, узлы сухожилий: как это удивительно — это уже не атлас анатомический, это — то, с чего он срисован, о чем наука, мысль, кому поэзия; выявленное дыхание Божие, как это и выразил очень точно Иов:

Дух Божий создал меня и дыхание Вседержителя дало мне жизнь (гл. 33, ст. 4).

И еще, уже подобием, но обращенным на всю природу и объясняющим «Валентинов» в ней «день»:

Если бы Бог обратил сердце Свое к Себе и взял к себе дух и дыхание (т. е. свое): вдруг 20 погибла бы всякая плоть (т. е. в природе) и человек возвратился бы в прах (Иов, гл. 34, ст. 14–15).

«Рожденное — Мне», т. е. уже в зачатии все есть «назорей» Богу, и именно потому, что самое зачатие — некоторое «назорейство», «жертва», «дух сокрушен» — он и в самом деле таинственно сокрушается, содрогается, разбивается в миг его — где человек есть «точило» и не человек есть Точащий. Мы называем иногда мысль религиозною; Голубинский, идя на лекцию, всегда имел обыкновение и какую-то внутреннюю нужду прочитывать одну главу из Библии, наудачу открывшуюся; и, может быть, он прочитывал иногда ту, где молится Товия, и мы ее привели; Декарт нашел, что в человеке некоторые идеи «врождены» и между 30 ними идея бытия Божия, откуда он «выводил» и реализм Бога... Бог «выводимый»: но почему же Он не открывается? Во внутреннем и кровном познании, именно когда человек не «прочитывает» академистам лекцию о «душе человеческой» «по Бенеке», но в самом деле ткет душу человеческую, напр. этого самого Бенеке или Голубинского. «Бара», зиждительство таинственной и живой ткани человеческой... с каким ужасом и отвращением мы попятимся бы от того, кто нас захотел бы уверить, что это так просто, механично и рационально, как и колонна, складываемая шалуном из кусочков сахара, и нет в этом «бара»... Платоновского «μετέχει», Достоевского — «касания»: чему же, отчего мы не хотим договорить, и до конца понять свое основание, догадаться о том:

40 * в происхождении, в определении (лат.).

** «Божественная комедия» (ит.).

*** порядок имен (лат.).

**** порядок дел (лат.).

В чем... существо человека?
 Кто он? откуда? Куда он?..
 Кто там вверху над звездами...

Но уже человек, как он постепенно раскрывается перед нами, «вызвездился» в этом втором затаенном лице своем, откуда ползут седые туманы в верхние его части и там оформливаются в идеи философии ли, поэзии ли, но всегда, когда именно отсюда ползут и мы можем это проследить, и поэзию и философию устремляют к надзвездному миру и реют в них теистическим дуновением. Бог близок; Он — здесь; и эти слова Агари:

Я видела Живого, видящего *вслед* меня...

10

— становятся нам понятны, живы в нас; и даже живы и понятны делаются в странностях своей филологии. Ибо и мы все догадываемся, что «усмотрены» «вслед» себя, а не с горделивого и велеречивого лица; и все сложение нашего «следа» есть отражение, отобраз таинственного первичного усмотрения:

Глас слов Его вы слышали, но образа не видели, а только глас (*Второзаконие*, гл. 4, ст. 12).

Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня (*ibid.*, ст. 15).

И была тьма, облако и мрак; гора же горела и дрожжала (*ibid.*, ст. 11).

И сказал однажды Моисей: «Господи, покажи мне славу Твою».

20

И сказал [Господь Моисею]: Я проведу перед тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою; и кого помиловать — помилую, кого пожалеть — пожалею.

И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых.

И сказал Господь: вот место у Меня; стань на этой скале; когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду.

И когда сниму руку Мою — *ты увидишь Меня сзади*, а лице Мое не будет видимо тебе (*Исход*, гл. 33, ст. 18–23). —

«На что ты спрашиваешь о имени Моем: оно — чудно» (*Бытие*, гл. 32, ст. 29).
 И благословил его там.

И нарек Иаков имя месту тому: Пенуель; ибо [говорил он], я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя.

И взошло солнце, когда он проходил Пенуель; и хромал он на бедро свое.

Поэтому и доньне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что Боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова (*Исход*, 32, ст. 24–32).

XLV

Афористическое отступление, каких, может быть, будет еще много. Мы употребляли термин «законодательные», пусть даже и художественные, уста, разумея, что орбита жизни человеческой, *ordo rerum* бытия его, в противоположность

40

ordo verborum *, течет <заггеркнуто: от этой ветхой деньми плесени> отсюда, ветхой и так часто презираемой плесени. Иллюстрация, маленькая и яркая, попала нам, и мы не хотели бы, чтобы мысль наша осталась в душе читателя как verbum, но и как конкретный живой образ. Итак — маленький отдых и внимание к этой коротенькой страничке из истории

<далее написано посреди страницы наискось>

Перепечатать корпусом, 4 страницы с приклеенного здесь же печатного текста; и затем вписанное тут же чернилами <есть след от клея, но самого листа нет>

10 Это «обманом», и, пережив тысячу «отказов» и «разочарований» — не перенесла этого странного и «грязного» «просчета» и захотела лучше могилы. Странно; и не странно только с той единственной точки зрения, которую мы развиваем.

XLVI

Тысячу лет, и даже тысячи, во все выявленные, ясные, дневные минуты бытия своего, за исключением секунд темного и ночного бытия, когда

...«тьма, облако и мрак»...

— мы берем человека с выявленной, обращенной к нам, нам улыбающейся, нам смеющейся его стороны; «человека»... но и весь мир — впрочем, до растений — мы берем также; и щурясь, двусмысленно улыбаясь, в последнем анализе — что-то затаивая и в чем-то сами затаиваясь, отказываемся и говорить, и отвечать, 20 и вообще брать с другой стороны, с которой они были взяты говорившим эти слова «из бури» (Иов, гл. 38, ст. 1):

Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей?.. (ib., ст. 2).

Странный вопрос; неужели нет более непостижимого: это мог бы подсмотреть древний Немврод, и тогда ответил бы...

...и можешь ли расчислить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их?.. (ib., ст. 3).

30 Ну, это так как о Марье Николаевне Шатовой: она рождает, а муж на дворе... «приник лицом к стене, в углу... Он дрожал как лист, боялся думать, но ум его цеплялся мыслию за все представлявшееся, как бывает во сне. Мечты непрерывно увлекали его и непрерывно обрывались как гнилые нитки» («Бесы», стр. 529). Ну, и было, однако, о чем мечтать; но «из бури» слышится:

Оне изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши (ib., ст. 4).

...Из комнаты раздалась, наконец, уже не стоны, в ужасные, чисто животные крики, невыносимые, невозможные. Он хотел было заткнуть уши, но не мог, и упал на колена, бессознательно повторяя: Marie! Marie! И вот, наконец, раздался крик, от которого Шатов вздрогнул и вскочил с колен, крик младенца, слабый, надтреснутый. Он перекрестился и бросился в комнаты.

40 * порядок слов (лат.).

И дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним (*ib.*, ст. 5).

- Мальчик? Мальчик? — болезненным голосом спросила она Арину Прохоровну.
- Мальчишка! — крикнула та в ответ, увертывая ребенка.

Какая «вонь»... не правда ли, святое? То есть, у Иова? Мы хотим сказать — у «лани» и «козы», и уж конечно, конечно, у странной жены, притащившейся к мужу рожать не от него «прижитого» ребенка:

Marie лежала без чувств, но через минуту открыла глаза и странно, странно поглядела на Шатова: совсем какой-то новый был этот взгляд, какой именно — он еще понять был не в силах, но никогда прежде он не знал и не помнил у ней такого взгляда.

Еще бы: «все, разверзающее ложесна...».

10

Исподтишка и скрываясь Арины Прохоровны, она кивнула мужу, и тот, догадавшись, поднес показать ей младенца...

- Этакое у вас лицо, — сказала Виргинская, взглянув на Шатова.
- Веселитесь, Арина Прохоровна. Это — великая радость, — с идиотски-блаженным видом пролепетал Шатов, просиявший после двух слов Marie о ребенке.
- Какая такая у вас там великая радость? — веселилась Арина Прохоровна, суется, прибираясь и работая как каторжная.
- Тайна появления нового существа, великая тайна и необъяснимая, Арина Прохоровна, и как жаль, что вы этого не понимаете.

Как будто что-то шаталось в его голове и само собой без воли его выливалось из души: 20

Было двое и вдруг — третий человек, новый дух, цельный, законченный, как не бывает от рук человеческих; новая мысль и новая любовь, даже страшно... И нет ничего выше этого на свете («Бесы», 529—530).

«Вони» все-таки нельзя отрицать, ужасной, страшной, какой-то специфической и особенной; какого-то специфического жеста отталкивания, коим мы свергаемся и отбрасываемся прочь, с своим любопытствующим взглядом, спрашивающим умом; и только прислушиваясь к вихрям «из бури», некоторые, как и эпилептический наш писатель, излишне любопытствующий, все-таки заглядывали, а заглянув, лепетали:

Вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии... Это не земля; я не про то, что оно — 30 небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести... («Бесы», 529).

Но голос «из бури», так странно заговорив о «ланиях» и ничего не упомянув о их прокормлении, нравах, красоте... Впрочем, есть и о красоте:

Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страуса?

Он оставляет яйца свои на земле, и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их и полевой зверь может растоптать их; он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен (Иов, гл. 39, ст. 13—16).

Точка устремления, совершенно иная, чем у нас; все предметы, и, наконец, человек — открываются «вслед» себя, открывают свой «след» перед Тем, Кто знает, с которой стороны взять предмет, чтобы взять его в истине и многозначности. Вы говорите «павлин» и описываете оперенье его; но вот есть, кто го- 40 ворит: «павлин» и говорит: «он оставляет яйца в песке». Две точки зрения;

и только самая элементарная ограниченность сможет выговорить: «вот в нашей точке — истина»; и один наглый сможет сказать: «В ней — *святость*». Мы возвращаемся вновь к человеку, и взяв рожденную им безгрешную мысль, живую, действительную и целостную, «приподымаем край» его «одежд» и спрашиваем: если безгрешно относительно то лицо, откуда является «учение о человеке» «по Бенеке», т. е. в себе самом, а не в котором-нибудь определенном учении, то почему и по которым основаниям, где взятым и откуда освещенным, грешно это, выявившееся из-под «приподнятых одежд» лицо, и снова мы берем его «an und für sich», а не в котором-нибудь моменте. Но вот мы от «зерна» переходим к ... «простанию»:

Есть секунды — две-три: больше не мог бы перенести человек, не переменявшись физически... («Бесь», 528).

— и ... Декарт мыслит и говорит: «*cogito ergo...*» * и дальше, что следует; ему казалось его бытие оправданным; физически — это *да*; теоретически и вообще во всяких земных пределах и для земных целей — все *да* и *да*: *через мысль* он оправдался; но я... «проростаю», и почему я менее оправдан? Мы уже знаем теперь, из всех осторожных и бесчисленных слов, около этой темы поставленных, что это «проростание» во всем одной природы с Декартовским *cogito*, но безмерно его превосходит небесным семенем, в нем скрытым, небесною природою, «видениями», «туманом», откуда поэтому и дымится подлинная жизнь, а не печатная строка; а потому и оправдание бытия моего, отсюда открывающееся, не есть ли столь же бесспорное, как и Декартовское, но в небесных пределах и для небесных целей? «В тысяче мук — я *sum*», «в корче мучусь — но *sum*» («Бр. Кар.»); и не только «*sum*», но лобызаю и «козу» в миг и точке, где и когда она, «изгибаюсь в мучении», «выбрасывает плод»

Супруг блудливых коз — нечистый и кичливый...

(Гр. А. Толстой, изд. 77 г., стр. 533).

О, и пусть, пусть — «нечистый и кичливый»: «за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из коз — не нужно за них выкупа: оне святыня» (Числ, гл. 18, ст. 17). Две точки зрения; вы лобызаете же *ordo nominum*, почему мне не обლობызать *ordo rerum*? Петр, при умной высказанной мысли, «имел обыкновенение целовать сказавшего в лоб»; ну, и вот за еще более «умную» «высказанную» «мысль» я также, и вовсе не вербально, а реально, поступаю с «лапню» и «козой»:

И вола его, и раба его, и елика суть...

Всемирное лобзание «мук» и «выбрасыванья» и «изгибанья»; и уж конечно — для «выброшенного плода», пусть даже от «блудливой козы»:

Слеза моих ланит — твоих ланит не обожгла ль?

Вы можете отвечать мне коротким смехом, или, пожалуй, «тысячелетним плеванием»; но вся природа ответит мне улыбкою Валентинова дня; павлин за-

* мыслью, следовательно... (лат.).

кроет меня хвостом своим, цветы заблагоухают мне, деревья опустят свои душистые ветки вокруг меня и примут плевков ваш на себя, — и уже простым своим шелестом заглушат ваш смех, по необходимости несколько «зеленый»...

XLVII

Я счастлив на афоризмы; только что вышел том «Энциклопедии» Брокгауза и Ефрона, на «Оп», и я прочел в нем об «оплодотворении» (XXII том):

Процесс оплодотворения в типических его формах лучше всего изучен на яйцах некоторых животных — иглокожих* и *Ascaris* — и на зародышевом мешочке семяночек некоторых растений. Процессу оплодотворения у иглокожих предшествует выделение направляющих или путеводных телец... 10

Что бы это ни было, но «направление», «путь», «водительство» — это мысль, и, конечно, «благая» и также «сильная» мысль...

По выделении их яйца, окруженные студенистой, проницаемой для сперматозоидов (живчиков) оболочкой, выводятся из тела матери. Сперматозоиды проникают в студенистую оболочку и — навстречу тому из многих, который проник глубже всего, образуется



на поверхности яйца выступ...

Вот «действие через расстояние»; какие бы вибрации между собою и яйцом ни производил сперматозоид, — оне если б были «вибрацией» — производили бы «вибрацию», т. е. «дрожание» на поверхности яйца; если б то было «давление» — оно произвело бы «вдавленность», «углубление» в поверхности яйца; но мы имеем две тянущиеся друг к другу — точки; или, точней, спешащую и ищущую: 20

Того ради — оставит и прилепится (Бытие, гл. 2, ст. 24)

и тяготеющую:

И к нему — тяготение твое (Бытие, гл. 3, ст. 16).

Это липкость через расстояние; через расстояние — ощущение одного другим у «*Ascaris* и некоторых растений»,

Сеющих семя по роду их (Бытие, гл. 1, ст. 29).

...С этим выступом сперматозоид сливается и вместе с ним втягивается...

О, да конечно же это была встреча, живая и настоящая — сдвигающееся лобызание: мысль и душа, и их липкость. Не иначе и Навзикая, когда ее глупые подру- 30

* Т. е. не «еж», но напр. «морской еж», «морская звезда»; существа, вообще, первоначальной еще организации.

ги разбежались перед голым Одиссеем, вставшим с кучи сухих листьев, — пошла одна ему навстречу: ей равно исполнилось — не блудливой козе, а Навзикае — как, впрочем, и Нине:

...четырнадцать уж лет
Она являлась в фартучке, с мадамой
Сидела чинно и держалась прямо...

...втягивается внутрь яйца, которое вслед за этим тотчас одевается новой оболочкою, желточной



10 после чего проникновение внутрь яйца новых сперматозоидов становится невозможным. Вхождением сперматозоида оканчивается внешняя часть процесса.

Оставим *Ascaris* и «некоторые растения» и остановимся на человеке. Элементарные факты наследственности («живой папаша — даже в характере»), наследственности именно индивидуальной и иногда паразитической, до манеры сердиться и до походки, до устройства голеней, кисти рук, и при отце потерянном в двух-летний, едва сознательный, возраст — показывают, что «дыхание жизни» «отческой» есть в этом «сперматозоиде». И только один... «нисходит на землю» среди миллиардов... Чего же? Почему не договорить: «отческих» «дыханий жизни». Завеса «ликов», созвездие душ — из коих одна лишь «искрою» падает на землю, чтобы гореть «до 90 лет». Сперматозоид живет 14 дней, т. е. при величине $\frac{1}{1\,000\,000\,000}$ какого-нибудь «мириаметра» она живет не 90 лет, а для себя и в себе, если пропорционально мы отнесем время к возрастам — 900,9 апо, — целая вечность лет. Едва кончающееся существование, т. е. «an sich» — и без питания, без среды, в лоне и странных «путях» матери. Во всяком случае почти вечность блужданий, неиссякаемая — для нас вовсе «непостижимая» и нашими средствами неизмеримая — живучесть; но замечательно — у единой «павшей на землю» есть память «сообщества таких же», ну, чего там хотите: бесспорно, однако, «дыханий жизни», перед коими — в форме таинственной желтковой пленки, «закрылась завеса земли». Нам помогают только «белые видения», как-то и почему-то, но у сои'альных поэтов ли, философ<ов> ли возникающие: седой, ими самими, 30 конечно, не опознаваемый туман —

Пером сердитый водит ум.

Но ум не размышляющий. На этот раз перед ним

Восходит чудное светило...

И он написал

...о блаженстве безгрешных духов

Под кущами...

Ничего больше; но объясняет нескончаемую анатомическую вечность, «без питания и пищи», и даже уже поэтому, не говоря о прочих, предикату — в самом деле «безгрешных»; а что «духов» — это мы знаем, ибо каждый — «в папашу», т. е., 40 чуть-чуть отступая от его фигуры, пороков и частных под памятью мелодий:

И звук этих слов заменить не могли
Ей скучные песни земли...

Но через 14 же дней однако все погибает; т. е. вечность прожив, все-таки «тельцо» и «красная глина» рассеивается. Но мы после слов

Под кущами...

— и не поставили ничего, понимая, что все это — «преддверие», «дверь», однако же бесспорная — и «дверь» того именно, о чем более нас смелый поэт упомянул.

Головка сперматозоида, принимая в себя жидкость из протоплазмы яйца, превращается в небольшой пузырек — мужское ядро — окруженный светлым полем —

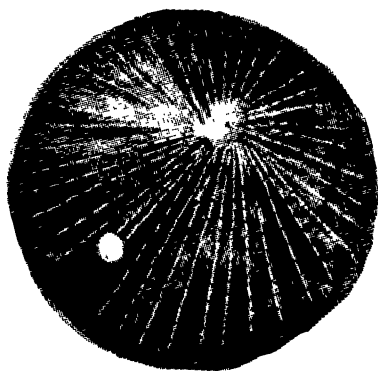
Не сказано «белым», «белого цвета»; также не сказано — «прозрачным», «на-
сквозь видимым», ибо, по-видимому весь процесс видим, т. е. все «прозрачно»
сейчас и было ранее. Таинственного и бесспорного глубокого процесса, пусть
даже у «травы, сеющей семя по роду ее» — я не видел, не содрогался видя: но
«светлый» едва ли что-нибудь может значить кроме «светящийся», «высвечива-
ющийся из себя», и это, так сказать, до «четвертого дня творения», о котором
Смердяков спросил у папаша:

— Как же это «был свет», когда не было еще сотворено солнце, звезды и все
небесные «свет»-ила...

Мы не помним, нам не приходилось встречать при нередких однако, хоть
и случайных, чтениях еще о миге или точке в природе, где бы она «высвечива-
лась», «сама» начинала светиться, где бы она была «само»-«светящеюся». Свет
так называемых «ивановых червячков» (самка мелкого жучка) есть свет выни-
кающий тоже в миге спаривания, и чуть ли он не исходит именно от genital'ий.
Если — да, это было бы замечательным совпадением с эмбриональным светом,
который остановил наше внимание. Во всяком случае — «ученье — свет», а «не-
ученье — тьма»; и тут очевидно мы имеем некоторое «научающее» нас «ученье»,
и, так сказать, «просвещающий свет»...

...И это мужское ядро движется внутрь яйца по направлению к ядру собственно яйце-
вой кисточки — женскому ядру. Как около мужского, так и около женского ядра можно
заметить при этом по особому маленькому тельцу (центрозома, центральному тельцу).
Протоплазма вокруг ядер получает лучистое строение.

У Брокгауза есть рисунок этих «лучей», идущих в помощь к «свету», и мы пе-
редадим его как умеем:



Во всяком случае снова мы не имеем в природе животной еще мига или точки, где бы и когда она «излучивалась». «Излучиваются» глаза, но не у всех, а у Marie Болконской:

«Если тебе угодно испытать меня в обязанностях супружества... Но если — нет, не как мне, но как Тебе угодно»... «Буди мне по глаголу»...

И «излучиваются». Снова замечательно, что «седой туман» воображения человеческого, тем ли, этим ли руководимый, но во всяком случае чем-нибудь руководясь же, моменты «света» и «луча», сочетав в «сияние», выявив около «лиц», перед которыми склоняется.

- 10 Мужское и женское ядро сближаются между собою и, наконец, сливаются в одно ядро яйца, которое и подвергается затем делению при процессе дробления. Центрозома делится каждая на две части и части эти сливаются так, что половина мужской центрозома сливается с половиной женской.

Собственно — этот миг и есть *coitus*; все же прочее, т. е. наружное выцветание особи, как оперенье павлина, голос соловья, и наконец

Тс, тс...

Ромео — это ты?

есть взрыв, сияние, есть напряжение *coit'*альное, и в своем роде звуковое, красочное или поэтическое, но выражение только этой тайны



- 20 пока, не более. Ожидание, надежда — но еще не жизнь.

Таким образом получаются две центрозома, которые и являются центрами при последующем делении яйца. Процессом слияния центрозом и окончивается оплодотворение.

- То, что тут есть замечательного, не dokonчено. Автор не спросил себя: что же получается? Или, пожалуй, он не спросил: из чего получается? И, вообще, ни о чем не спросил, а потому ни о чем и не догадался. Миг слияния двух, мужской и женской, полуклеток и есть рождение клетки животного, т. е. само животное. Что же оно? — слившиеся *genital'*ии. Для чего, как? Что происходит? — да то и происходит, что обычно есть и что единственно может быть между *genital'*иями: т. е. *coitus*; иначе: организм от инфузории до мастодонта есть спаянные *genital'*ии, и его «жизнь», *βίος* — есть их дрожание друг на друге, колебание, трения ли; движения безразличны, ибо все и всякие они образуют *coitus*. Мы можем отсюда проложить свою мысль и далее: именно догадаться, что верхнее в нас лицо есть те же *genitalia*, но в феноменальной, выявленной, земной своей стороне; «лицо» и в самом деле бывает «мужское» и «женское», т. е. оно имеет «пол», когда нет «лица» — или очень мало — «философического» или «поэтического», «теоретического» или «практического», хотя именно такое деление его ожидалось бы сообразно головной деятельности; напротив, «пол» «в себе», *πουμενον*, а не *φαημενον* пола — есть *genitalia*, и, как уже теперь совершенно ясно, — это есть именно верхнее же наше лицо, но в потустороннем своем обращении...
- 40 Фигура человека, его план, как мы и выразились выше есть обоюдосторонняя вывернутость: *genitalia* в земном своем выражении наблюдаются нами, рассмат-

риваются как «лицо» — смеющееся, улыбающееся, ласкающее: от этого и привязанность, «тяготение» и, наконец, «sexual'ная взаимность» начинается с лица; как и «понятен» нам человек — уже до речей — становится в лице; но можно же самое лицо, свернутое вглубь, «провалившееся куда-то», и, в конце концов, провалившееся туда, где

Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры...

где —

Средь полей необозримых
...ходят без следа
Облаков неуловимых
Волокнистые стада

10

— в этом своем пошпен'альном обращении лицо значит в человеке как genital'ии. До «12, может быть, 14 лет» β ios есть coitus скрытый, субъективный; тот coitus и, следовательно, конечно «рост», «размножение», которое сказывается ночным испугом у мальчика: «мама, что это такое — точно я упал во сне?» — «Спи покойно, это ты растешь»... Напротив, рост замедляется и наконец скоро останавливается, как только coitus из субъективного объективируется: миг, когда он, с первой менструацией у девушки и около 16—17 лет у отрока неудержимо ищется и возбуждает неудержимое же себя искание: человек пошпенал'но отрывается в мир, но именно отрывается пошпен'альной же его стороне, genital'иям. Миг

20

— Есть секунда, две — три...

и есть собственно миг пошпенал'ного бытия, когда померкает сознание, закрывается феноменальная сторона человека, гаснет в нем верхнее лицо («лицо делается бессмысленно») и вообще в которой для земли и на земле он становится трупом. От этого на миг coitus'a ищется уединение и безмолвие; и, в общем он не возможен даже, если тело продолжает *жить* т. е. ощущать — «прислушиваться», «присматриваться» и т. п. Едва бодрствует поюсторонняя часть — дремлет потусторонняя; и нужно, чтобы поюсторонняя заснула, и, наконец, в самый миг умерла, «обмерла» — чтобы выявился потусторонний миг. Одно замечание о «психологии»: «дух» есть «функция мозга» как «урина — почек» (формула К. Фохта) и все подобное даже в настоящем учении о душе, но лишь с вариациями: везде внутренние части головы, и именно мозг — в каких бы ни было смыслах — рассматриваются как «седалище» ли, но во всяком случае как «ключ к тайне» души. Но почему? Из явлений так называемого «тромбоза» или закупорки кровеносных сосудов в мозгу, причем части мозга, не получая питания, перестают действовать (парализация легких, сердца, языка, «всей правой» или «левой стороны», «отнялась нога»), — можно заключить, напротив, что мозг есть великий механический регулятор, но именно телесных функций: внутренняя клавиатура сложнейшего органа, пожалуй — зеркальный кабинет, где общий «стрелочник» устанавливает и переводит всю сложную сеть рельсов на огромной и богато развитой станции жел. дороги. Грубое сравнение, но едва ли оно не истинно. От

30

40

этого «самый тяжелый мозг, из всех взвешенных, оказался у Кювье и, к удивлению, у одной страдавшей помешательством женщины» (записано где-то у Гексли), у которых и действительно функции организма были одинаковы. Можно думать, также, что ощущения (зрение, слух и пр.), т. е. физическая сторона духовной жизни, и, может быть, «аристотелевские фигуры силлогизма», т. е. статическая, неподвижная и, так сказать, «глупая» сторона нашего «ума», его бедная и всем общая сторона — имеет также седалище и основание свое в мозгу. Но «лицо» Кювье во всяком случае не было похоже на лицо «страдавшей помешательством женщины»; и «лицо», начинающее выявляться у животного, есть у кро-
 10 та и собаки — у человека достигает полноты развития. «Тупое» лицо, «умное» — когда так трудно сказать, рассматривая в анатомической зале мозг: «Э, да это мозг глупого человека». У человека, правда, пожалуй — «мозги», т. е. грубое; но всегда «лицо» т. е. утонченное и нежное, духовное. И вот — «бе яко туман вод» — нам брезжится, что «дух», «душа» в ее живой и динамической части, что «ум» в его «умной» и «исключительной» стороне вовсе и никак не связан с мозгом, но струится как свет от таинственного в устройстве своем лица, или что он сбрызгивается, но именно и только с лица, как у виртуоза звуки сбрызгиваются, конечно, с наружной стороны его пальцев и вовсе не текут из его мускулатуры (внутренняя часть кисти руки). Говорим ли мы, думаем ли — лицо наше сияет («вдохновенное лицо»); и почему мысль, слово во внутренней своей стороне не есть мо-
 20 дификация, понятная слушателю сторона этого света; когда мы пишем — мы почти работаем лицом; даже у Гоголя (Ревизор), объясняя урок, и конечно, скверно его объясняя, «строит рожи». Мы объяснили выше, что грудь и плечи есть оканчивающаяся часть лица — и в разговоре мы ими шевелим: какая бы нужда? И, словом, что «лицо» живет в «душе» — это так и ежесекундно для всякого ощутимо, и право же, мы не так часто «потираем лоб», а главное никогда и равно ничего «внутри мозга» не чувствуем и ни к чему решительно «внутренним мозгом» не напрягаемся, думая над трудным, или, в бегучем разговоре, лукавя перед противником. Но «лицом» мы очень заметно напрягаемся, «лицо»
 30 соучаствует ясно мысли, и не «потом», «лишь выражая ее», но гораздо заметнее — предварительно, ее формулируя. От этого мысль и «умна» как «лицо». Но если играющая, феноменальная, взаимодействующая с миром часть души излучивается ли, бежит ли с лица, то ее поупен'альная сторона —

Облаков неуловимых
 Волокнистые стада.

Эти «настроения» и «дуновения» ясно, даже для медицины ясно имеют корень и основание в таинственных святых «пустотах» наших чресл, но не в анатомической их стороне, а в соит'альной. Это есть азбука акушерства и психиатрии, что
 40 «все расстройства матки и яичников» вызывают собою «душевные расстройства». Именно, они не изменяют устройства «аристотелевских силлогизмов», но в высшей степени построят их течение («маний», «психозы», «страхи»). И мы естественно можем думать, что если «болезнь» здесь — вызывает «болезнь» там, то естественная, нормальная здесь жизнь, «правильное созревание яичек» и «дремлющее ожидание матки», именно и вызывает, есть корень и основание, нормально текущей там жизни:

...лежал недвижим я.
 И солнце жгло их желтые вершины
 И жгло меня — но спал я мертвым сном...
 И снился мне сияющий огнями
 Вечерний пир в родимой стороне.
 Меж юных дев, увенчанных цветами,
 Шел разговор веселый обо мне.
 Но в разговор веселый не вступая,
 Сидела там задумчиво одна...

Вот пример чресленной дремоты в ее покое, высоте и общности. Лицо «уснуло», я — «недвижим», даже — «труп», или, как труп инертен выявленной внешней своей стороною: в чреслах выникает, конечно, образ девушки, и, даже, около него уже целая картина:

...облаков *неуловимых*

и сейчас же, сообразно пошпен'альному происхождению и характеру мысли — той же, через пространство и міры, где

Без руля и без ветрил
 ...плавают в тумане
 Хоры дивные светил

взаимодействие с возлюбленной душою:

И в грустный сон душа ее младая
 Бог знает чем была погружена.
 И снилась ей долина Дагестана;
 Знакомый труп лежал в долине той,
 В его груди, дымясь, чернела рана
 И кровь лилась хладеющей струей...

Одна из струек, пробегающих по душе — и сколько подобных мы переживаем ежесекундно — которой родника совершенно напрасно мы стали бы искать у себя в верхних частях фигуры; в «мозгу» ли, или в «лице». Инстинктом и гениально поэт угадал, что они — «умерли», «труп», и даже когда умерли, или если бы умерли — душа вовсе в них и с ними не умерла бы:

И снилась ей долина Дагестана.

Это есть истинно возвышенный и едва ли не единственный в литературе пример и выражение соит'ального мышления: как само собою разумеется — образ женщины выник в genital'иях, он запомнен лишь поэтом, на утро перенесен на бумагу; и

Я плачу и люблю
 Люблю мечты моей созданье —

есть уже любовь с этим образом, он дорог, близок: да потому что он «только половина клетки», к «которой, излучиваясь, придвигается» половина же мужской клетки: но вот что так просто анатомически, в субъективном своем содержании представляет

...сияющий огнями
Вечерний пир в родимой стороне...

И, словом, это есть мир поэзии и души. Но мы заговорили о «болезнях» и уже кончим: замечательно, что сифилис, разрушая вовсе внешнюю сторону genital'ий, как отрицательно — coit'альная болезнь не выражается никаким изменением душевной жизни; напротив, все формы собственно coit'альных болезней, и положительно coit'альных, напр. «известный отроческий порок» (учащенный, постоянный coitus), непременно и глубочайшим образом трансформирует все течение и весь колорит «душевной» жизни: именно, она получает чрезвычайное поупен'альное устремление, вечно начинает бродить около «миров иных», стучит к ним в «дверь» с великой жадой и совершенной уверенностью, что она растворится:

«... пройду же и я мой квадральон» и ... «узнаю секрет» («Бр. Кар.», «Кошм. Ив. Фед.»).

И, собственно — то, что мы здесь делаем, это через исследование coit'альных, т. е. поупен'альных порывов, мы разгадываем содержание поупен'ального мира:

— Я видел Истину, видел ее непосредственно... («Сон смешного человека»).

Сверх этого ощущения и знания «миров иных» открывается — в этих же и через эти же порывы — знание и вообще души человеческой в поупен'альной ее стороне, а через это и необыкновенная глубина и отчетливость в разумении и наблюдении ее внешних выражений. Кажется, воображение вечно занято:

Сладострастным куполом, наклонившимся над землею и сжимающим прекрасную в своих объятиях... («Сорочинская ярмарка»)

— но оно отлично, одним мелькающим и ни для кого не уследимым взглядом подмечает и «бронзовый пистолет» у «остановившегося прохожего» (1-я страница «Мертвых душ») и как, в самом деле, Собакевичу не было дела ни до какой рыбы, кроме осетра (очевидно — взятые из жизни наблюдения, но «расширившиеся» в «пустыне воображения»). Таким образом, то, что мы зовем «душою», не есть «едино» и «совмещено в седалище» — но оно есть тоже что βίος, и разлито в теле, но упорнее в нем бьется в некоторых точках, которые в нас и выявляются как «лица», то меньшей содержательности, то большей, то как вглубь уходящее, «по ту сторону», то рвущееся наружу; и, например, танец ног, инстинкт, по коему, веселясь, человек начинает «притопывать» или «кружиться», есть столь же бесспорно психический факт, как и «мысль» в форме: «Все люди смертны, Сократ человек — след. Сократ смертен». Но кончим «Оп», «оплодотворение»; может быть, что-нибудь со временем пригодится:

Особенности в оплодотворении яйца *Ascaris megalocepsala* сводится, главным образом, к следующему: слияние мужского ядра с женским не происходит непосредственно по их сближению; но лишь когда яйцо подготавливается к первому делению...

Автор не замечает, что «подготовка» к делению, начинающаяся «организация» яйца производится, создается через расстояние приблизившимся сперматозоидом. Совершенно очевидно, что не сперматозоид, подойдя, «останавливается, чтобы подождать — пусть сперва подготовится к делению, тогда и войду»; но пока он подходит — вспыхивающая жизнь, начинающийся coitus, и, в конце концов



Этот факт, здесь сказывающийся поднятием — там сказывается «уготовлением себя для ложа», «подготовкою к делению» (размножению). Мы во всяком случае должны иметь в виду, что во всяком миге этих эмбриональных процессов внутренняя сторона есть то

...Нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще и с летами, может быть, не так скоро зальешь...

— Смотрите, Свидригайлов: это болезнь («Прест. и наказ.», стр. 432).

Так или этак, но «женская» клеточка: бесспорно женская, женственная — без нее и ее специфической природы ничего не произойдет — хоть и не имеет вида нам сколько-нибудь понятных или, точней, нами усматриваемых genital'ий: но она есть именно она во внутренней и живой своей стороне, и притом той силы ужасного, именно пошпен'ального напряжения, которая и на поверхности нашего тела, в наших «страстях», т. е. на бесконечно удаленной от себя периферии рождает такие зарева и зори; все то, что, встречая как женственность, —

Звучал мне голос твой, отрадный как мечта,
Светили мне твои пленительные глазки
И улыбались лукавые уста;
Сквозь дымку легкую заметил я невольно
И девственных ланит, и шеи белизну
Счастливец! Видел я и локон своевольный
Родных кудрей покинувший волну ..

— и ей поклоняемся, есть собственно далекое-далекое, как бы из Европы в Америку брошенное и естественно охладевшее отражение пожара, «уголек» коего — там, почему у поэта и вырвалось это признание:

Но все мне кажется: живые эти речи
В года минувшие слышал когда-то я...

Мы хотим сказать, что соит'альное сопряжение, в этот миг и в тех точках совершающееся, — фундамент наших наружных сопряжений — вовсе не есть мертвая и механическая, «физиологическая» вещь, как это кажется под микроскопом, но, как и верно угадал это Достоевский:

...что-нибудь очень краткое, полуречитатив, наивное, без отделки: четыре стиха, всего четыре стиха — есть у Страделлы такие ноты: и вдруг — как бы удар голосов, хор вдохновенный, победоносный, так что все потрясается в основаниях и все переходит в восторженный, ликующий всеобщий возглас: Hossana!.. («Подросток», 423).

— Сократ, такой урод и малоценный снаружи, и многоценный, сверкающий богатствами в речах: истинный Силен, как его и определил Платон в «Пире», ставившийся в домах вместо шкафа, и внутри коего сохранились драгоценности семьи и дома. Мы говорим о внутренней стороне тайны



Этой встрече Данте и Беатриче на втором пороге «Чистилища», Ромео и Джульетты: тут полы встречаются в своем

до-ри-но-син-ма чи... («Подросток», 423)

и сейчас же за этим начинается построение земного человека: искра прорезала «завесу», и

...для міра, печали и слёз

понеслась долу, грустя, лоя

...звук песни...

и рвя, запоминая, унося на землю с собою клоки

10

...блаженства безгрешных духов

Под кущами райских садов

и память, «врожденную идею», как нищенски выразился Декарт

О Боге великом...

и будет, эта искорка, пылинка небесная — «до 70, 80, может 90» лет

томиться на свете...

Желанием чудным полна

Потрясая желаниями этими государства, религии, социальный строй; или песнями своими наполняя землю.

20 ...Лишь тогда, когда яйцо подготовилось к первому делению, половина ядерного вещества мужского ядра сливается с половиною вещества женского ядра. Процесс оплодотворения у цветковых растений не отличается существенно от описанного процесса у животных.

Таким образом, как и заметили мы в самом начале исследования — оба пола входят в консистенцию индивидуума; и девушка не знает только, но ощущает в себе присутствие мужской консистенции, а юноша или отрок опять не только знают, но ощущают в себе же присутствие женской консистенции: откуда и вытекает coit'альное тяготение; т. е. оно всегда есть, есть βίος — но до времени субъективно, морфологично, совершается в гистологических тканях, а не в анатомических органах; но, наконец, выявляется и в них (пробуждение полового чувства).

30 Если мы примем во внимание (см. начало исследования), что собственно мужское семя имеет женскую консистенцию, есть мать индивидуума, и яйцо имеет мужскую консистенцию — есть отец индивидуума, мы поймем, что в девушку семя вошло формой, «телом», оболочкой, выразив поупен'альную свою сторону в genital'иях ее, а яйцо-отец вошло в нее душою; обратно в отроке; и неутолимо душа-отец будет искать себе мужского тела, тогда как тело-мать устремляется к матери-душе же в мужчине. Отсюда в coitus входят духовные и физические начала; и coitus есть вторичное рождение человека: в нем трансцендентно, пусть на

миг — душа находит и касается своего древнего и небесного тела, напротив, тело находит и прикасается к своей древней душе. Пятно их касания загорается, или всегда может загореться новой жизнью.

...Агамные никогда не имели по-видимому оплодотворения. К таким агамным принадлежат бактерии и сине-зеленые водоросли. Превосходные случаи несомненной анагамии представляют некоторые папоротники, напр. *Pteris cretica*, у которого молодые растеньица вырастают всегда бесполом путем и как раз из тех мест заростка, где должны были находиться женские половые органы...

Я говорил, что сны людей — вещи и правдивы: «И приснилось Астиагу, что из половых органов его дочери Манданы выросло дерево, ветви которого распростерлись над всею Азией» (*Геродот*); чудовищный сон, анатомическую правду которого он не мог бы подумать: ему побережжилось, но то, что где-то бывает, возможно в природе... 10

Гаметы копулируют, сливаясь по 2, реже по три, а иногда даже по 4 (водоросли). При этом они сцепляются сначала бесцветными носиками, на которых сидят реснички...

Это как бы мы, заинтересовываясь сначала лицом, уже coit'ально, но не coit'альными частями...

...«потом поворачиваются, прикладываются друг к другу бочком...» — удивительно: совсем как мы. Это Собакевич и его худошавая жена, только благородные: «какого, милочка, я приятного человека встретил», «она же толкнула его ногой». 20

...наконец постепенно сливаются (все время продолжая двигаться) в крупную зоопору уже с 4 ресничками...

Мы привели отрывок ради слов, почему-то в скобках поставленных автором: «все время продолжая двигаться». Строка эта открывает необозримые горизонты, но ближайший из них — тот, что миг слияния частиц мужской и женской есть coitus, как и самые частицы эти суть genital'ии. Мы, сливаясь в coitus'e, имеем этот катарсис, хоть и не умеем более ничему в это время внимать, слушать. Но в «частицах мужской и женской» coitus идет по всей линии существа, как и во всех подробностях строения это суть только genital'ии: мы имеем характерный тип «отвергнутой» и «свергнутой» «головы», что-то, но в полном осуществлении, в полной их мысли — в роде египетских кинокефалов, которым в искусстве своем задумал подражать Толстой. 30

У вотирии оплодотворение происходит обыкновенно ночью и, если хотят следить за ним днем, то нужно водоросль с вечера поместить в лед...

Вот удивительный факт связи coitus'a и ночи:

В тучках алых пурпур розы
Трели соловья
И лобзания, и слезы,
И зря, зря...

40

Ночь темна, т. е. таинственна; но ни чудовищна, ни грязна она. Отчего же, напротив...

Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу,
И звезда с звездой говорит...

Копуляция гамет происходит только при температуре ниже 25° Цельс.; уже при 26–27° Ц. копуляции не бывает, а зоогонидии прямо останавливаются, округляются и превращаются в споры, проростающие в новую водоросль...

Т. е. «копуляция» или coitus даже внешним образом повышает температуру, он именно есть «огонек»: и даже у водоросли этот огонек coit'ального тяготения есть сладострастие, ибо и мы «разгорячаемся» или, как старейшины сказали уже
10 хладующему Давиду:

...пусть возьмет себе царь красивейшую в Израиле девушку»... и «он ее уже не познал»...

— но ее близостью разогрелся, под пеплом погасшая искра опять зарделась. И то, к чему физическое солнце было бессильно, солнце, в нас скрытое, оказалось мощно...

Может быть, где-нибудь эти замечания и понадобятся нам. Теперь же снова мы пустимся в исторические туманы, где все перспективы шире, и тайны утробы и семени, выникая в легендах и образах, в их характере, тенденциях, колорите высказывают и истинную свою природу, анатомически непроницаемую, «закрытую завесами». Бесспорно, однако, что четыре великих и единственных мистика,
20 каких имеет наша литература, все суть coit'альные писатели: т. е. писатели чрезвычайного внимания к чресленной, coit'альной стороне природы. Кстати, и чтобы уже покончить с этим — маленькая выдержка из предисловия гр. Толстого к «*Bel ami*» Мопассана. Страница давно мной замечена, книжка давно лежит у меня и ожидает цитаты:

Кажется, в 1881 году Тургенев, в бытность свою у меня, достал из своего чемодана французскую книжечку под заглавием «*Maison Teillier*» * и дал мне. — Прочтите как-нибудь, сказал он, как будто небрежно...

И все замечательное предисловие, т. е. Толстого, «написано как будто небрежно»: еще один из тысячи покровов затеняющейся Изиды...

30 ...Точно так же, как он за год перед этим дал мне книжку «Русского Богатства», в которой была статья начинающего Гаршина. Очевидно, как и по отношению к Гаршину, так и теперь, он боялся в ту или другую сторону повлиять на меня и хотел знать ничем не подготовленное мое мнение.

— Это — молодой французский писатель, сказал он: — посмотрите, не дурно. Он вас знает и очень ценит, прибавил он, как бы желая задобрить меня. Он, как человек, напоминает мне Дружинина. Такой же, как и Дружинин, прекрасный сын, прекрасный друг, un homme d'un commerce sûr **, и кроме того он имеет сношения с рабочими, руководит ими, помогает им. *Даже и своим отношением к женщинам он (Мопассан) напоминает Дружинина. И Тургенев рассказал мне некто удивительное и невероятное...*

40 * «Заведение Телье» (фр.).

** Человек, на которого можно положиться (фр.).

— С голоду-то, после Марфы Петровны, я так и набросился на все эти таинственные места и местечки, в которых, чорт возьми, кто знает, тот много может найти... Смотрю: девочка, лет 13 — премило одетая... («Преступл. и наказание», стр. 441).

Некто удивительное и невероятное о поступках Мопассана в этом отношении...

Так пьяница пред рюмкою вина...

Время это, 1881 год, было для меня самым горячим временем внутренней перестройки всего моего мирозерцания, и в перестройке этой та деятельность, которая называется художественной, и которой я прежде отдавал все свои силы, не только потеряла для меня прежде приписываемую ей важность, но стала прямо неприятна мне по тому несвойственному месту, которое она занимала в моей жизни и занимает вообще в понятиях богатых классов. 10

И потому в то время меня совершенно не интересовали такие произведения, как то, которое мне рекомендовал Тургенев. Но, чтобы сделать ему удовольствие, я прочел переданную им мне книжку.

По первому же рассказу «Maison Teillier», несмотря на неприличный тон и ничтожный сюжет рассказа, я не мог не увидеть в авторе того, что называется талантом. Автор обладает тем особенным, называемым талантом, даром, который состоит в способности усиленного, напряженного внимания, смотря по вкусам автора, направляемого на тот или другой предмет, вследствие которого человек, одаренный этой способностью, видит в тех предметах, на которые он направляет свое внимание, нечто новое, такое — чего не видят другие («Чудный друг», предисловие, стр. I—II). 20

И т. д.; классическое и пронизательное определение «таланта» как «усиленного внимания», «открывающего новые стороны в предмете», сделано им не в бесчисленных ранее написанных статьях об искусстве, но именно в этом, в предисловии к Мопассану, имевшему столь специфическую форму и, главное, предмет внимания. И они все, четыре великих мистика, внимали чреслам: но их разным мигам выявления. Соit'альная сторона почти отсутствует у Толстого: миг разрешения женщины, и плодоношение в его зиждущем значении, в его воспитательных, почти педагогических сторонах, есть центр его прислушивания, исходный пункт размышлений и созерцания; это из-за него, из-за чрева женщины он поднял великую борьбу с веком, и здесь объяснение, почему все цитаты из Евангелия, «философия» и «богословие» не влияют на него, как и не хочет он, тоскливо и бурно, смириться ни перед церковью, ни перед государством. Он прав в тайной тоске своей: он потрясает, не внимая, и совершенно удивителен верный инстинкт, почему его начали слушать. Но чрево — это уже начало постижимого, и рационализм есть бедная сторона Толстого, соломенка, на которой не продолжительно продержится его мощь: глубже Достоевский. Он весь в мире соitus'a: 30

...Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины. Вот мое правило! Можете вы это понять? Да где же вам это понять: у вас еще вместо крови молочко течет, не вылупились! По моему правилу, во всякой женщине можно найти чрезвычайно, чорт возьми, интересное, чего ни у которой другой не найдешь — только надобно уметь находить, вот где штука! Это талант! Для меня мовешек не существовало: уже одно то, что она женщина, уж это одно половина всего... да где вам это понять! Даже вельфильки и в тех иногда отыщешь такое, что только диву дашь- 40

ся на прочих дураков, как это ей состариться дали и не заметили! Босоножку и мовешку надо сперва удивить, восхитить до стыда, что в такую чернявку, как она, влюбился, etc. («Бр. Кар.», I, 155).

Это — финикианство: это не чрево — несущее с его долгом, задачами и воспитательно-культурною далью, но миг сладостного к нему подползания, облизывающейся похоти и тех глубин греха, которые определены апостолом в этом образе:

И явилось на небе великое знамение — Жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.

Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения.

10 И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь диадем;

Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон чей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца (*Апокалипсис*, гл. 12, ст. 1–4).

Миг coitus'a взят в его огне; он взят не в вещественных его сторонах, — последствия, приготовление; но в духовном его центре как сладострастие. У Достоевского есть где-то фраза, которой я не мог бы отыскать (мне кажется, однако, что она в «Униж. и оскорбл.»), что «очень чувственные люди начинают всегда в глубоком молчании»: шопот, ласка — это внимание к лицу, это собственное
20 рассеяние. Нет лица и я сосредоточен, «внимаю»: это — приближение, возможное для человека и физическое приближение к тому

...«два — три стиха — есть у Страделлы»; и еще: «есть миг — секунда, две», с заключением в обоих случаях: «вечная гармония; что-то окончательное и столь бесспорное, а главное — так очевидно», «все потрясается в основаниях»...

что составляет внутреннюю и непостижимую сторону касания таинственной и мужской природы. Во всяком случае, взята не утилитарно-практическая, земная сторона coitus'a, но мистическая: и взамен тысячи практических забот, которые обременяют Толстого, мы имеем чистого мистика, с вероятным далеким влиянием, рассыпавшегося в белых видениях такой ясности и подробности, ка-
30 ких мы не встречаем еще ни у кого. «Земля новая» и «небо новое» как будто в самом деле им увидены, и, собственно, они увидены им в детских genital'иях, там и здесь пересекающих решительно все его творчество,

— Полечка, когда вы будете молиться, прибавьте: и за раба Божия Родиона...

— Я вас никогда, никогда не забуду в молитве...

Шопот, робкое дыханье...

Конечно — все мысленно, все в воображении, но при непременно всегда условии, чтобы

Шопот, робкое дыханье...

о чем бы ни шло оно, о «молитве» или «социальном вопросе» было непременно
40 с девочкою возраста не позже 15¹/₂ лет: между 5 и 15¹/₂. Ясно, что мы имеем sexual'ные шопоты... «Облеченная в солнце», «имеющая под ногами луну, и 12 звезд в диадеме» еще не «имеет во чреве»: миг невыразимой, и так как в genital'иях, то

трансцендентной чистоты, коей коснувшись, как бы это ни было греховно, испытанный воскликнет:

«Я видел Истину; я ее осознал...» «А ту маленькую девочку я отыщу...» «И пойду, и пойду».

— «Вы эту Реслих знаете? Вот эту самую Реслих, у которой я теперь живу, — а? Слышите? Нет, вы что думаете, вот та самая, про которую говорят, что девченка-то, в воде-то, зимой-то, — ну, слышите ли? Слышите ли? Ну, так она мне все это состряпала; тебе, говорит, так-то скучно, развлекись время. А я ведь человек мрачный, скучный. Вы думаете веселый? Нет, мрачный: вреда не делаю, а сижу в углу; иной раз три дня не разговорят. А Реслих эта шельма, я вам скажу, она ведь что на уме держит: я наскучу, жену-то брошу и уеду, а жена ей достанется, она ее и спустит в оборот; в нашем слою, то есть, да повыше. Есть, говорит, один такой расслабленный отец, отставной чиновник, в кресле сидит и третий год ногами не двигается. Есть, говорит, и мать, дама рассудительная, мамаша-то. Сын где-то в губернии служит, не помогает *. Дочь вышла замуж и не навещает, а на руках два маленькие племянника, — своих-то мало, — да взяли, не кончив курса, из гимназии девочку, дочь свою последнюю, через месяц только что шестнадцать лет минет, значит, через месяц ее и выдать можно. Это за меня-то. Мы поехали; как это у них смешно; представляюсь: помещик, вдовец, известной фамилии, с такими-то связями, с капиталом, — ну, что ж, что мне пятьдесят, а той и шестнадцати нет? Кто ж на это смотрит? Ну, а ведь заманчиво, а? Ведь заманчиво, ха! ха! Посмотрели бы вы, как я разговариваю с папашей да с мамашей! Заплатить надо, чтобы только посмотреть на меня в это время. Выходит она, приседает, ну, можете себе представить, еще в коротеньком платьице...

Имел он дочь четырнадцати лет...

Ходила в фартучке... («Сказка для детей»).

неразвернувшийся бутончик, краснеет, вспыхивает как заря (сказали ей, конечно). Не знаю, как вы насчет женских личек, но, по-моему, эти шестнадцать лет, эти детские еще глазки, эта робость и слезинки стыдливости, — по-моему, это лучше красоты, а она еще к тому ж и собой картинка. Светленькие волоски, в маленькие локончики барашком взбитые, губки пухленькие, аленькие, ножки — прелесть!.. Ну, познакомились, я объявил, что спешу по домашним обстоятельствам, и на другой же день, третьего дня то есть, нас и благословили. С тех пор как приеду, так сейчас ее к себе на колени, да так и не спускаю... Ну, вспыхивает как заря, а я целую поминутно; мамаша-то **, разумеется, внушает, что это, дескать, твой муж и что это так требуется, одним словом малина! И это состояние теперешнее жениховое, право, может быть, лучше и мужнего. Тут что называется *la nature et la verité* ***! Ха, ха! Я с нею раза два переговаривал — куда не глупа девченка; иной раз так украдкой на меня взглянет — ажно прожжет. А знаете, у ней личико вроде...».

* Замечательны все эти подробности внимания к обстановке, к нужде людей: Свидригайлов не замечателен, как Лужин напр. (прогнанный жених Дуни Раскольниковой).

** Замечательное сладострастие — в этих подробностях: тут, собственно — «бе яко туман вод» — мы имеем далекую, очень далекую, но тень, намек, дальней и глухое содрогание (в соучастии матери, в ее понуждении дочери к sexual'ным касаниям) кровосмесительства... Хотя бы по нужде, но уже специфическое «внимание» к дочерним genital'иям, их sexual'ное, хотя бы тоже по нужде — раскрытие, выявление.

*** *Натура и правда (фр.)*.

«... Странно, странно, что иной человек и с высшим даже идеалом, думая о Мадонне... Еще страшнее, что уже сидя в Содоме — он думает о Мадонне, и горит, истинно горит его сердце...» («Бр. Кар.», I, монолог «Митеньки»).

«...вроде Рафаэлевой Мадонны. Ведь у Сикстинской Мадонны лицо фантастическое, лицо скорбной юродивой, вам это не бросилось в глаза? Ну, так в этом роде. Только что нас благословили, я на другой день на полторы тысячи и привез: бриллиантовый убор один, жемчужный другой...».

...Мы вспоминаем «уборы», привезенные и Маргарите Фаустом...

10 да серебряную дамскую туалетную шкатулку, — вот какой величины, со всякими разностями, так даже у ней, у Мадонны-то, личико зарделось. Посадил я ее вчера на колени, да должно быть уж очень бесцеремонно, — вся вспыхнула и слезинки брызнули, да выдать-то не хочет, сама вся горит. Ушли все на минуту, мы с нею как есть одни остались, вдруг бросается мне на шею (сама в первый раз), обнимает меня обеими рученками, целует и клянется, что она будет мне послушною, верною и доброю женою, что она сделает меня счастливым, что она употребит всю жизнь, всякую минуту своей жизни, всем, всем пожертвует, а за все это желает иметь от меня только *одно мое уважение* и более мне, говорит — «ничего, ничего не надо, никаких подарков!..».

Т. е., она вовсе еще не знала существа *sexual'*ного касания и его отношения к браку.

20 ...Согласитесь, согласитесь же, что выслушать подобное признание наедине от такого шестнадцатилетнего ангельчика, с краскою девичьего стыда и со слезинками энтузиазма в глазах, — согласитесь сами, оно довольно заманчиво. Ведь заманчиво? Ведь стоит чего-нибудь, а? ну ведь стоит? Ну, ну, слушайте, — ну, поедemте к моей невесте, только не сейчас («Прест. и наказ.», стр. 439—441).

Так выпроваживал от себя Раскольников его alter-его, его же великого ума, но чресленная половина, за час до попытки растлить его сестру, которая... «живи во втором и третьем веке, была бы одна из тех, которые претерпели мученичество, и уж, конечно бы улыбалась, когда бы ей жгли грудь раскаленными щипцами» (*ibid.*, стр. 436, слова Свидригайлова же).

30 То есть, там и здесь безгрешность — как *sine qua non* * алкания *genital'*ий. Да замечательно, у нас и нет, то есть у всех вообще людей нет *sexual'*ного алкания проститутки: опустошенная женщина, куда «ушатами» вошел грех, именно как женщина почему-то *sexual'*но, сохраняя все анатомические подробности, перестает существовать и к ней *coit'*альное тяготение не возбуждается, оно названо (разве «по жалости», и тогда оно номинально, как у Р-ва к Соне Мармеладовой). То есть существо *sexual'*ного тяготения включает в себя безгрешность; его более нет, раз есть греховная выпустошенность; и следовательно, существо этого тяготения, самый тончайший, эфирный нерв *coitus'*а, именно тот, который рвет «железные запоры» и производит «бури», есть какая-то тянущаяся из нас и к нам, 40 между лапами, из *genital'*ий в *genital'*ии ниточка не только «ветхая деньми» и «всепреодолевающая», но абсолютно чуждающаяся, бегущая, пропадающая от касания и близости греха... есть святая, как отрицание, как испуг греха. И потому-то

* обязательное условие (*лат.*).

...Дракон пред нею... дабы пожрать имеющее выйти из ее чрева...

Лермонтовым взят также миг coitus'a, и самый дракон им вырисован, без предположения о подобии, но именно перед 14-летней Ниной — время выявления пола в первой менструации:

...розовые шторы
Опущены...

.....хороша
Была не в шутку маленькая Нина.
Нет, никогда свинец карандаша
Рафаэля, иль кисти Перуджино
Не начертали, пламенем дыша,
Подобный профиль...

10

Замечателен этот порыв именно к «Рафаэлевскому», и в обоих случаях — «у маленькой». Но ночь и сон

Вот ручка, вот плечо, и возле них,
На кисее подушек кружевных
Рисуется молодой, но строгий профиль...
И на него взирает...
Могучий образ. Меж иных видений
Как царь, немой и гордый он сиял
Такой волшебной-сладкой красотой,
Что было страшно...

20

Мы уже говорили выше, как он рассыпался бы «горстью пустой скорлупы», если б, осторожно подняв «край одежды», мы показали ему, что спящий — в отрочестве Смердяков. Т. е. все эти образы поэтов и художников как бы ими самими, их собственно фигурой отбрасываемые на экран тени, но в этот финикианский, или пожалуй Апокалиптический миг подползания к

...Траве, сеющей семя по роду ее (*Бытие*, 2).

Мы можем заметить только, что у Достоевского специфическое «внимание» к полу есть внимание тесно и суженно к genital'иям: замечательное отсутствие внешней красоты в его созданиях, при высочайшей их глубине, никем еще не достигнутой, есть плод того, что около genital'ий почти исчезло, истончилось, истуманилось тело. Напротив, у Гоголя это всегда «сладострастный пупок», т. е. фигура, как и у Лермонтова

С темно-бледными плечами
С темно-русою косою

что, при несравненно меньшей глубине и «существенности» созданий, у них обоих отразилось поразительной грацией формы:

Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б
Сердце твое, равнодушное к прелестям мира: как часто
Дряхлые старцы, любясь на белые плечи, волнистые кудри,
На темные очи ее — молодели; юноши страстным

40

Взором ее провожали, когда, напевая простую
 Песню, амфору держа над головой, осторожно тропинкой
 К Тибру спускалась она за водою, иль в пляске,
 Перед домашним порогом, подруг побеждала искусством,
 Звонким ребяческим смехом родительский слух утешая...

И замечательно, это не только должен быть «ребенок» («ребяческий смех»), но и опять — положительная, религиозная святость: и она не факт любования, но порыв требующий:

10 ...При свете
 Поздней лампы я видела раз, как она, на коленях
 Тихо, усердно и долго молилась... кому?.. неизвестно...

Та же перспектива вдаль: «во втором, третьем веке это была бы христианская мученица». Т. е. снова, соит'альное тяготение обростает образом, фигурой святой девушки, и, в последнем анализе:

Нет, никогда свинец карандаша
 Рафаэля...

И не только образом, но и именно святостью поступков, «мученичеством»

20 Игры наскучили ей, и взор отуманился думой,
 Из дома стала она уходить до зари, возвращаясь
 Вечером темным, и ночи без сна проводила...

В самом деле, как и рисовал Свидригайлов:

Знаете, мне всегда было жаль, с самого начала, что судьба не дала Вашей сестре родиться во II—III веке нашей эры, где-нибудь дочерью владетельного князька или там какого-нибудь правителя, или проконсула Малой Азии... А в IV—V веке она ушла бы в Египетскую пустыню, и жила бы там тридцать лет, питаясь кореньями, восторгами и видениями («Преступл. и наказ.», 436).

30 Мы видим, что образы художника и поэта входят один в другой, почти как фужер в ящик, и еще ближе, «крóвнее» — как пальцы правой руки между пальцев левой. У Гоголя смешной и уродливый образ Аннунциаты получает, среди этих видений, также свое место и значительность:

Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивши черные как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потоком блеска. Таковы очи у албанки Аннунциаты*. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос тяжеловесной косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег

* Очень замечательно, что отрывок «Рим», очевидно занимающий большое место в узоре гоголевского творчества, так и *нагиается* с этого описания Аннунциаты: т. е. в Аннунциате мы имеем подробности того, что дано в «сладоэротическом куполе» *ноги перед Рождеством*. Здесь и там вдохновение отходит от образа, фигуры, тела женщины, «сжимающей землю в объятиях», чтобы уже потом рисовать разные «ссоры Ив. Ив-ча с Ив. Никиф-чем» на этой земле.

своего лица, — образ ее весь отпечатлелся на сердце. Станет ли профилем — дивным благородством дышит профиль, и мечется красота линий, каких не создавала кисть...

Нет, никогда свинец карандаша
Рафаэля...

...Обратится ли затылком с подобранными сверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту невиданных на земле плеч — и там она чудо. Но чудеснее всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивши хлад и замиранье в сердце. Полный голос ее светит как медь. Никакой гибкий пантер не сравнится с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец созданья, от плеч до античной движущей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она — уже несет с собой картину: спешит ли ввечеру к фонтану с кованной медною вазой на голове, — вся проникается чудным согласием обнимающая ее окрестность: легче уходят * в даль чудесные линии Альбанских гор, синее глубина римского неба, прямой летит вверх кипарис, и красавица южных деревьев, римская пихта, тонее и чище рисуется на небе своею зонтикообразною, почти плывущею на воздухе верхушкою. И все: и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях одна выше другой альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно бьет вода звонкою алмазною дугой в подставляемые медные чаны, и самый фонтан, и самая толпа — все, кажется, для нее, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой. В праздничный ли день, когда темная и т. п. («Рим», *initium*). 10

— «Собака на забог»... Это Васька Денисов, кавалерист («Война и мир») так говорил про пехотинцев, когда встречал их едущими верхом. Попытка одушевить этот образ, наполнить его движением, сказала, однако, и у Гоголя — как у всех трех мистиков, порывом к любви, слезам:

Слеза моих ланит твоих ланит не обожгла ль...

В кабинете послышался шорох. Ореховая дверь резного шкафа отворилась сама собою и на отворившейся обратной половине ее, ухватившись рукой за медную ручку замка, явилась живая фигурка. Если бы в темной комнате вдруг вспыхнула прозрачная картина, освещенная сильно сзади лампами, — она бы так не поразила внезапностью своего явления. Видно было, что она взошла с тем, чтобы что-то сказать, но увидела незнакомого человека. С нею вместе, казалось, влетел солнечный луч, и как будто рассмеялся нахмурившийся кабинет генерала. Пряма и легка, как стрелка, она как бы возвышалась над всем своим полом. Но это было обольщенье. Она была вовсе не высокого роста. Происходило это от необыкновенного согласного отношения между собою всех частей тела. Платье сидело на ней так; что, казалось, лучшие швеи совещались между собой, как лучше убрать ее. Но это было такое обольщенье. Оделась она как будто сама собой: в двух, трех местах схватила игла кое-как неизрезанный кусок одноцветной ткани, и он уже собрался и расположился вокруг нее в таких сборках и складках, что если бы перенести ее 30

* Замечательно это движение мысли: красота женщины разливается на природу, она управляет красотой природы, движет своею красотой эту красоту. Это новая и необыкновенно многозначительная в рассматриваемой нами группе явлений черта. Начало идеи, что «красота» «creavit et regit mundum...» <творит и правит миром (*лат.*)>. Ни у одного из трех мистиков этой черты мы не находим. 40

на холст со всеми этими складками обольнувшего ее платья, — назвали бы ее копией гениального... Одно было нехорошо: она была через чур уже тонка и худа...

...Игры наскучили ей, и взор отуманился думой...

...Генерал расхохотался.

Болезненное чувство выразилось на благородно-милом лице девушки.

— Ах, папа, я не понимаю, как ты можешь смеяться. На меня эти бессчетные поступки наводят уныние и ничего более. Когда я вижу, что в глазах совершается обман, в виду всех, и не наказываются эти люди всеобщим презрением, — я не знаю, что со мной делается, я на ту пору становлюсь зла, я думаю, думаю... и чуть она не заплакала («Мертв. души», 2-я часть, гл. 2).

...В тайной пещере над Тибром ревушим скрывался в то время
 Праведный старец, в посте и молитве свой век доживая;
 Бог его в людях своей благодатью прославил.
 Чудный он дар получил: исцелять от недугов телесных
 И от страданий душевных. Рано утром однажды,
 Горько рыдая, приходит к нему старуха простого
 Звания; с нею и муж ее, грустью безмолвной исполнен.
 Просит она воскресить ее дочь, внезапно во цвете
 Девственной жизни умершую... «— Вот уж два дня и две ночи» —
 Так она говорила — «мы наших богов неотступно
 Молим во храмах и жжем ароматы на мраморе холодном,
 Золото сыплем жрецам их и плачем... но все бесполезно!
 Если б знал ты Виргинию нашу...».

Эти видения, в ту и другую сторону рассыпающиеся... но вот она, в конкретном образе, а не в словах:

...Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я уже давно перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг наше солнце! Я знал, что это не могло быть *наше* солнце, породившее *нашу* землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то, всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня...

Замечательны эти термины: никогда не «создал» — неопределенно-отвлеченное, словесное понятие; везде «родил» — «бара»: понятие «кровное», т. е. sexual'ное.

...Эта родная сила света отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы».

— «Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше, — вскричал я, — то где же земля?». И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

— «И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых даже неблагодарных детях своих, как и наша?.. — вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной прежней земле, которую я покинул. *Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.*

— Увидишь все, — ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове («Сон смешн. челов.», Соч., т. XII, стр. 125).

XLVIII

Ohé Lambert

10

Où est Lambert

As tu vu Lambert*.

Это так дразнил «долговязый Андреев», когда ему надо было вынудить у своего антрепренера два или три рубля, на водку или на галстук.

— «Я их всех к чётгу, завтра же к чётгу», — кричал раздраженно в таких случаях Ламберт, но все-таки кончал тем, что выдавал требуемую сумму, ибо «долговязый» был ему необходим. В компании самых различных целей существования, но куда самую главную составную частью входил шантаж и скандал, Андреев играл роль силача, буяна, который, начиная возню и драку, отвлекал внимание публики в другую сторону, или принимал его на себя, когда другим надо было скрыться, или нужно было другое скрыть.

— Dolgorowky? — прокричал он над моим ухом, вспоминает «Подросток».

— Нет, не Коровкин.....

— Dolgorowky? — почти прокричал, повторяя, долговязый, и с угрозой надвинулся на меня.

Его хорошенький товарищ расхохотался.

— Он говорит Dolgorowky, а не Коровкин, — пояснил он. — Знаете, это французы в «Journal des Debats» часто коверкают русские фамилии...

— В «Independence», — промычал длинный.

— Ну, все равно и в «Independence» Долгорукова, например, пишут Dolgorowky, я сам читал, — а Валуева comte Walouieff.

— Dologny...

— Да, вот еще, есть какой-то Dologny, я сам читал, и мы оба смеялись.

Теперь, вчитываясь в каждую строку и ее интонацию, читателю нужно пробежать это место, уже однажды приведенное нами:

С чашкою своего кофе, Тришатов, отделясь от пьющей и шумящей компании, пересел ко мне:

* Эй, Ламберт!

Где Ламберт,

Ты не видел Ламберта (*фр.*).

40

— Я его очень люблю, Андреева, — начал он мне *с таким откровенным видом, как будто всегда со мной об этом говорил*. — Вы не поверите, как он несчастен. Он проел и пропил приданое своей сестры, да и все у них проел и пропил в тот год, как служил, и я вижу, что он теперь мучается. А что он не моется — это он с отчаяния. И у него ужасно странные мысли: он вам вдруг говорит, что и подлец, и честный — это все одно и нет разницы; и что не надо ничего делать, ни доброго, ни дурного, или все равно — можно делать и доброе и дурное, а что лучше всего лежать, не снимая платья по месяцу, пить, да есть, да спать — и только. Но поверьте, что это он только так. И знаете, я даже думаю, он это теперь потому так накуролесил, что захотел совсем покончить с Ламбертом. Он еще вчера говорил. Верите ли, он иногда ночью или когда один долго сидит, то начинает плакать, и знаете, когда он плачет, то как-то особенно, как никто не плачет; он заревет, ужасно заревет, и это, знаете, еще жалче... И к тому же, такой большой и сильный, — и вдруг так совсем заревет. Какой бедный, не правда ли? Я его хочу спасти, а сам я — такой скверный, потерянный мальчишка, вы не поверите: если я к вам когда-нибудь приду — вы меня впустите к себе?..

«Подросток» недоумевал, как и тогда, когда услышал странное восклицание Альфонсинки, к коей Тришатов обратился с просьбою завязать ему галстух:

— Ah, ah... Ne m'approchez pas, ne me salissez pas... * («Подросток», стр. 415 и след.).

— А, любезный Федр! Куда и откуда?..

— От Лизиаса, Сократ. Иду прогуляться за городскою стеною: сидел у него с утра.

— И что же вы делали у Лизиаса: не могу представить себе, чтобы он не пичкал вас своими «речами»...

— Узнаешь, если свободен пойти со мною и слушать.

— Как будто, говоря словами Пиндара — не выше и самого недосуга выслушать, о чем велась беседа у вас с Лизиасом...

— Так иди же.

— Спешу, спешу, но не молчи же и ты.

— Изволь, Сократ: да к тебе таки и идет послушать на этот раз, ибо, не знаю как, а предмет нашей беседы у Лизиаса случился любовный. Видишь ли: Лизиас написал речь, обращенную к красавцу, но написанную по предположению человеком, вовсе в него не влюбленным. В этом-то и замысловатость: в речи доказывается, что юноша предпочтительнее должен остановиться на том, кто его не любит, нежели на влюбленном.

С. — О, да и великодушный же человек этот Лизиас; но если б он еще написал, что лучше отдавать свою благосклонность бедному, нежели богатому, старику — чем молодому, и так по всем линиям, выгодным для меня и для многих, как я. Такие речи и милы были бы, и полезны людям. Теперь у меня такое желание слушать, что если б ты свою прогулку продолжил до Мегары, и, дойдя до ее стен, не останавливаясь, повернул бы сюда назад, то и тогда я не отстану от тебя».

Ф. — Но неужели ты ждешь, что я запомнил его речь? Хотя, конечно, мне и хотелось бы этого более, чем крупного богатства.

С. — О, Федр! Если я не знаю Федра, то позабыл, конечно, и о себе...

Какая близость, слиянность до неразделяемости, существ...

— Но нет — ни то, ни другое. Мне очень хорошо известно, что, слушая речь Лизиаса, он слушал — и не один раз, но просил многократно повторить ее, а Лизиас не ломался.

* Ах, не подходите ко мне, не запачкайте меня (*фр.*).

Ему, однако, и этого показалось мало: он сам взял свиток, пересмотрел все, что особенно ему запало в ум, просидел над этой внимательной работой с утра, и потом, клянусь, изучив на память все сочинение, пошел, утомившись, на прогулку, где неожиданно встретил такого же восторженного любителя человеческого слова, каков и сам.

Ф. — Я вижу, что самое лучшее для меня будет передать тебе содержание речи: без этого ты не отстанешь...

С. — Да, в этом-то ты не ошибаешься.

Ф. — Я уступаю тебе; но что мне делать: самых слов я не очень помню, но ход рассуждения и все порознь мысли о том, какие преимущества на стороне влюбленного и не влюбленного, я почти все запомнил и, без сохранения слов, изложу тебе их по порядку. 10

С. — Но, любезный, что-то там у тебя есть, в левой руке, под плащом. Имею подозрение, что это и есть речь.

Ф. — Перестань, Сократ... Ты отнимаешь у меня случай испробовать над тобой силы. Но где же, однако, мы расположимся для чтения?

Вот тема, и наше внимание сосредоточено пока на Сократе, т. е. на стоящем около него именно Платоне. Характерно, и если не исторически, то психологически верно упоминание Диогена Лаэртца, что «Федр» был первым написанным диалогом Платона, был его «Аннунциатою», открывшею «Рим» его остальных диалогов. Случается, что ἀρχή τῆς γενέσεως* нашего мышления и писательства появляется не «первым» по времени написания, но оно всегда есть «первое» по существу и следов. даже во времени первое в теме и в колорите. Мы, следовательно, находимся в зерне, откуда потекут Платоновские теории: нам вовсе непостижимое зерно, но что оно живо было в душе Платона, и поднимало ее, как дрожжи поднимают тесто, это-то ясно уже и из цветущих речей двух собеседников диалога: «золотого Федра», как он назван ниже, и старика-Сократа, «в возрасте пятидесяти лет», приблизительно в том возрасте, в котором был и Платон, когда впервые он задумал письменно изложить свою философию. 20

С. — Повернем сюда и пойдем по берегу Иллисса, а потом сядем себе в тиши, где понравится.

Ф. — Чуть ли не кстати, что я бос: ты-то уж всегда босой. Освежая ноги водою реки, мы будем идти с большою легкостью и приятностью, особенно в это время дня и года. 30

Если мы примем во внимание, что по смерти Платона в его дому была найдена навошенная дощечка, содержащая одну и ту же фразу которого-то его диалога в семи редакциях, т. е. с семью различными перестановками слов — способ, кстати, удивительно напоминающий мозаику так и этак переставляемых слов, из коих дивно вылепил Гоголь все свои работы, — мы пойдем и согласимся, что у этого осторожнейшего распорядителя человеческим словом вовсе не было случайных, побочных, безначающих слов. И тогда вкрапленные в диалог слова «о времени дня и года» и о необходимости «прохлады» получат свое значение около 40

С. — Иди же вперед и выбирай, где нам сесть.

Ф. — Видишь ли, там растет высокий явор?

* начало происхождения (γενεζ.).

С. — Ну?..

Ф. — Под ним есть тень и легкий ветерок; на той мураве мы можем сесть, а если нужно будет, то и лечь.

С. — Иди же.

Ф. — Скажи, однако, Сократ, не это ли то место на Илисе, откуда, как говорят легенды, Борей похитил Орифию?

С. — Да, правда, рассказывают...

Ф. — Так неужели это в самом деле было здесь? Правда, как воды тут приятны, прозрачны, чисты: только что девушкам резвиться в них.

10 С. — Собственно не здесь, Федр, а несколько ниже по реке, стадии две или три не доходя до храма Атреи-Дианы. Там, кажется, есть и жертвенник Борее.

Ф. — Не замечал его. Но скажи, ради Зевса, Сократ, думаешь ли ты, что легенда верна фактически?

Здесь и везде ниже Федр не только молод, но и удивительно юн душою: доверчив, наивен, и под плащом он носит тайно заучиваемые речи, средство явно «показать свою силу» над кем-нибудь и даже над Сократом, почти — и лишь соответственно полу старше — как Нина:

Ходила в фартучке, держалась прямо...

20 С. — Не было бы странно, если б я, подобно людям мудрым, и не придавал значения этому преданию.

В пору Сократа уже началось ученое обрабатывание мифов, напоминающее то, которое у нас приложено к эпосу. Их сюжет, их фабула была отвергнута, и искали аллегории, иногда моральной, которая под ними скрыта. В словах Сократа, которые сейчас потекут, выявляется как бы раздвоение мысли греческой: эмпирической, ученой, которая, отрезвляясь от мифов, переходит к прямому созерцанию предметов; о ней иронически говорит Сократ; и другого течения, которое представляет собою он сам, и за ним — Платон, потом Аристотель: это — внедрение в себя, невнимание к предметам и уже скорее более чуткое внимание, более жизненное — даже к мифам в их буквальном содержании, нежели к «камням и деревьям», которые еще менее, чем мифы, могут научить человека.

30 — Умствуя, как и мудрецы эти, я сказал бы, что «Борей» — это «ветер», который и низверг Орфию, когда она резвилась с наядою Фармакей на краю скал. Это-то де и подало повод говорить, что покойница была увлечена Бореем отсюда или с Ареева холма: ведь есть два варианта о месте ее похищения. Но я думаю, Федр, что для подобных детских сказок нужен человек хорошего здоровья, трудолюбивый и не избалованный, сверх всего, счастьем: ибо, «распутав» так легенду, ему еще надо трудиться над исправлением вида гиппокентавров, потом химер, за которыми нахлынет целая стая горгон, пегасов и других необыкновенных существ, ужасающих множеством своим и уродливостью. Если бы скептик, пользуясь уже не знаю какой дикою мудростью, захотел бы вымыслу о каждом из этих чудовищ придать некоторое правдоподобие, то ему понадобилось бы много досуга; но у меня вовсе нет его, и причина этого, мой друг, та, что я еще никак не могу, по смыслу Дельфийской надписи — «познать самого себя»...

Вот тема, как мы знаем, всей жизни Сократа, и пошедших за ним Платона и Аристотеля: тема, которая не может не напомнить нам «психологический ана-

лиз», это также «познание себя» и уже «через себя» затем «познание» и остального мира, которое новой и тяжелой струей вошло в нашу литературу, но именно в четырех нами исследованных мистиках. Вспомним самого раннего «Федра» из них, и диалоги именно «самопознания», которые его любимый герой ведет в Пятигорске, среди также чарующей природы, с другом-доктором. Загадочна, в самом деле, была эта надпись на Аполлоновом храме, собственно — над воротами, ведущими к храму; странно было место помещения ее, и самые слова... «Что они могли значить?». «Каков их смысл помещения здесь?» — это было любопытнее самых слов, и может быть, давало бы, при разгадке, нить и для уразумения самых слов, для исполнения таинственного завета. Люди идут..., они идут к богу..., и за каким-то особенным знанием; между «мудрыми» и глупыми, в толпе их, бредет сюда и «босой» Сократ, и, подходя к воротам, естественным жестом они все поднимают голову. Что же им говорит храм? Какое первое и очевидно важное слово выговаривает? Какую *свою* думу, и, мы предполагаем: думу о *себе* и в связи именно с идущими, *ищущими храма*: «*γνώθι σέ αὐτόν*» *. Что за удивительное слово, удивительное по отношению к минуте (вход в храм) и к лицам (идущие в храм). Не это ли значит восклицание: «Ты спешишь, ты торопишься в храм, но оглянись... Ты ищешь бога — и, опять, оглянись...». Куда? на что «*σέ αὐτόν*»? Миллионы людей текли сюда, читали надпись, уходили. «Босоногий» первый задумался, и вот его дума:

— И в самом деле: смешным представляется, не зная себя — исследовать чужое. Итак, оставляя подобные предания в покое и веря тому, что о них думают, я рассматриваю не их, а себя: зверь ли я, многосложнее и яростнее Тифона? Или животное кротчайшее и простейшее, носящее в своей природе какой-то жребий божественности и незлобия?

«Уленька» ли? Страшный ли «колдун» («Страшн. месь»)?.. Итак, вот тема и ее определение; мы догадываемся, что о нимфах и Борее, которых разгадывают мифологи, Платон заговорил для того, чтобы сказать, что человек сам есть миф; миф, о действительности которого не может быть споров, и где в один узел, как и в подлинных древних мифах, сплетено чудовищное и божеское. Познание истинное и есть разгадка этого мифа, а не разгадка тех второстепенных мифов, которыми занимается «дикая мудрость» и о которых истинный мудрец даже не спросит себя, что под ними — правда или вымысел?

И сейчас за этим хоть и иносказательное, но указание на центр этого внутри нас находящегося мифа:

— Но позволь мне прервать свою речь; не это ли то дерево, к которому ты ведешь меня?

Ф. — Да, это самое...

С. — Клянусь Ирою — прекрасное убежище! Этот явор очень развесист и высок; рост и тень этого агнца...

Растение, запах которого по верованию греков охранял чистоту и непорочность девических постелей, и потому было обыкновение класть около себя на ночь его ветви.

...тень и рост этого агнца превосходны; и какая на нем сила цвета! Он может распространить благоволение по всему месту. Или опять — этот текущий из-под явора игривый ис-

* «познай самого себя» (*грек.*).

точник столь холоден, что вода его даже и для ноги ощутительна. Судя по девическим изображениям и статуям, можно полагать, что это место было посвящено каким-нибудь нимфам и Ахелою. Сверх того, как приятен и усладителен здесь ветерок! Его легкий шелест вторит хору кузнечиков. Но всего роскошнее эта мурава; легкая покатость ее обеща-ет склоненной голове удобное положение. Отличный проводник ты, любезный Федр.

Ф. — А ты-то, чудак, представляешься необыкновенно странным. Ты говоришь как иностранец, которому нужен проводник по окрестностям нашего города. Как-таки никогда не выйти за городскую стену...

С. — Ну, мой милый: я ведь любознателен, а поля и деревья ничему не хотят научить меня, люди же в городе...

Вот странное понятие, странное особенно рядом с этой любовью к «мураве» и... конечно, к «клейким весенним листочкам», ради которых можно «согласиться жить». Мы догадываемся, что у самого Платона было больше *общего чувства* «цвета», нежели физической потребности его конкретного ощущения, которое все и без остатка было обращено на человека. Человек — вот лучший цветок в природе, обоняя который уже не хочешь оторваться, чтобы перейти к другим; в самом деле, вот эта сила влечения:

— Ты, однако, кажется, нашел средство вывести меня за город; ибо подобно тому, как уводят за собою голодную скотину, маня ее зеленою веткою или плодом каким-нибудь, так и ты показываешь, а не даешь мне свиток речи и, по-видимому, намерен водить меня по всей Аттике. Но вот теперь, придя сюда, я решительно хочу лечь; а ты, расположившись удобнее для чтения, начинай же читать.

Мы опускаем речь Лизиаса, потому что услышим, и притом две, лучшие.

Ф. — Как же тебе кажется, Сократ, прочитанное? Не правда ли, что речь особенна по всему, но более всего — со стороны языка?

С. — Гениальная, друг мой! Я поражен, и притом ради тебя, Федр: ибо видел, как ты таял во время чтения. Быв уверен, что такие вещи известнее тебе, чем мне, я следовал за тобою; а следуя за твоею востоженною головою, и сам я заражался восторгом.

Ф. — Ну, ты по обыкновению, кажется, уж начинаешь шутить.

С. — Как? Думаешь — я шучу, а не серьезно говорю?

Ф. — Вовсе нет, Сократ! Но, ради Зевса, покровителя дружбы! Скажи по правде, кажется ли тебе, что кто-нибудь другой из греков может рассуждать о том же предмете подробнее и лучше?

С. — Что?.. Значит, я должен хвалить эту речь не за одну ясность, круглоту и точность выражений, но и за то, что автор сказал в ней все, что следовало бы. Если нужно, я сделаю тебе это удовольствие, но, по своему тупоумию, кроме ораторской стороны я даже и не следил в ней ни за чем. Прежде всего: об одном и том же Лизиас говорит по два, по три раза, вероятно чтобы показать, что он это может...

Ф. — Пустяки, Сократ; это-то и хорошо в речи. Лизиас не упустил в ней ничего, что стоило бы упоминания. Предмет исчерпан, и нечего прибавить к речи».

Ответ Сократа сейчас введет нас в тему, и, может быть, лучшим подготовлением к ее слушанию будут эти распушенно-небрежные слова небесного «Приживальщика».

— Послушай, у тебя расстроены нервы: ты сердисься на меня даже за то, что я мог простудиться, а между тем произошло оно самым обыкновенным образом. Я тогда по-

спешал на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. Ну, фрак, белый галстук, перчатки, и однако, я был еще Бог знает где, и чтобы попасть к вам на землю, предстояло еще перелететь пространство... конечно, это один только миг, но ведь и луч света от солнца идет целых восемь минут, а тут, представь, во фраке и в открытом жилете. Духи не замерзают, но уж когда воплотился, то... словом, светреничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, яже бе над твердью, — ведь это такой мороз... т. е. какой мороз: это уж и морозом назвать нельзя, можешь представить — сто пятьдесят градусов ниже нуля! Известна забава деревенских девок: на тридцатиградусном морозе предлагать новичку лизнуть топор; язык мгновенно примерзает и олух в кровь сдирает с него кожу; так ведь это только на тридцати градусах, а на ста-то пятидесяти, да тут только палец, я думаю, приложить к топору и его как не бывало, если бы... только там мог случиться топор...

— А там может случиться топор, — рассеянно и гадливо спросил Иван.

— Топор? — переспросил гость в удивлении.

— Ну да, что станет там с топором? — с каким-то свирепым и настойчивым упорством вдруг вскричал Иван Федорович.

— Что станет в пространстве с топором? *Quell idée... **

Это так тонко выраженное чувство какой-то междупланетной дали, какой-то космической удаленности, совершенно не уместяющейся в грани нашей земли, равно и не превышает ту особенную, трансцендентную даль, в какой по одному определенному направлению вы находитесь... ну, от соседа, с которым сидите в конке и обсуждаете крах банка, из которого, однако, успели заблаговременно взять свои % бумаги. Речь льется, реплики подаются, скоро будет большая станция и «буфет»: и нет никакого у вас представления, что есть нечто в вас и приятном собеседнике такое, что между собою удалено как Сириус от Ориона. Вот собеседник ваш, вместо того, чтобы ответить, что «брянские опять пошли в гору», а «Одесского второго займа падают», сделав вам какие-то непонятные знаки молчания, «подымает край вашей одежды...» и, с чрезвычайной любовью на вас глядя, делает касание...

Ну, то самое касание, которое вчера, в одиннадцатом часу ночи вы испытали, и сегодня утром вспомнили не без приятного волнения:

Вьется алая лента игриво...

— У, проклятый! У... у... у — проклятый. И что есть силы, вы ударили бы кулаком, сапогом, подсвечником по лицу, по голове собеседника, с чувством еще большего ужаса, с каким Свидригайлов бросился колотить привидевшуюся ему «пятилетнюю»...

Что такое? Какое страдание? В чем дело? Отняли у него что-нибудь? Понизились «Брянские» и он потерял 5000 руб.? И, наконец, наконец... ведь «руки вымыты лучшим мылом от Брокера», как и в случае касания к девушке в вагоне же...

Да, трансцендентный ужас, ужас «ста тридцати градусов мороза» и ощущения какой-то междузвездной дали.

Поразительно: за полгода, даже за месяц не знавшие друг друга, девушка и юноша, т. е., казалось бы, ужасно разделенные между собою sexual'но, так целомудренные и стыдливо-застенчивые всего за месяц, ласкаются и обнажаются:

* Какая мысль... (*фр.*)

Да лобзает он меня лобзанием уст своих...

— но вы годы прожили с другом, вы так единомышленны и живете «душа в душу»: но жест sexual'ной ласки, с которою вы потянулись бы к нему, вызвал бы в нем этот крик испуганности:

«— У... чудовище!».

Овидий что-то такое «увидел» за Августом, «чего не должен был видеть»; я «преступил глазом», пишет он элегично с Понта: ну, «увидел» в позе или положении, в котором его, однако, видела же девушка какая-то. И ни талант, ни время, ни действительно горькая участь сосланного, «вчуже ночь ведения» сосланного поэта не могла смягчить гнева цезаря. Он простил все политические против себя преступления: но грехов «глаза», мужского глаза около его жеста ли, позы ли, но очевидно sexual'ной и около женщины он никогда, он до могилы не мог простить. «Империя» разрушится... да, это факт здешнего, земного порядка, но «глаз» мужчины в миг выявления моего как мужчины же: это факт вовсе не здешнего, нисколько не земного порядка, и он потрясает меня в фибрах не земного, не здешнего порядка.

Если вы наблюдательны, вы замечали во время купанья в реке, что дети, до «иероглифического знака» на них, т. е. у которых их genitalia есть только канал, выводящий урину, без coit'ального и семенного значения, вбегают в воду и выбегают из нее не закрываясь; но позднее, дальше в возрасте всегда идут в воду и из воды закрытые («в кулаке»). Купанье в поздний час почти не сопровождается этим жестом. Но замечательно, что днем, если даже купающийся один, он также закрыт: genitalia как будто скрыты от солнца, не хотят дневного света и затаиваются... ну, от воздуха, неба, реки, леса, и вообще они не переносят быть «виденными», боятся «глаза Овидия» хотя бы он рос на дереве, или смотрел с солнца. Удивительное чувство, но оно еще не в миг coit'ального выявления, но только при общей способности выявиться. Но вот эта минута настала: минута возбужденности, в ее начале, которая, однако, обращена к женщине, ласкается ею и не только не скрыта, но ищет ее внимания. И вдруг... «глаз Овидия»: снова ужас, потрясение, невероятный гнев.

Мы упомянули о мыле лучшей фирмы у касающегося: между тем должны бы говорить о нем у ласкаемого. Сосредоточимся теперь вниманием. В самом деле — пусть два друга, говоря о «Брянских акциях», входят в реку, и на минуту остановились. Никогда, «как бы Ориона на Сириус», они sexual'но не посмотрят один на другого; но пусть так, и взгляд одного, без sexual'ного чувства, но, однако, механически и случайно пал на sexualia signa* другого. Да, тут нужно более чем мыло. Для меня это нечто невозможное и нестерпимое, вовсе нестерпимое для моего глаза. Я его сейчас же отведу, намерение сейчас прервет случай. Но, любопытный умом, я удерживаюсь и продолжаю смотреть: то чувство очарования, непобедимого восхищения, с которым sexual'но и с sexual'ной же стороны я смотрю на женщину — имеет полную, но обратно направленную аналогию себе в чувстве непреодолимого отвращения, гадкого, «поганого», с которым я все теперь вижу. Купающийся — beau frèге** мой, и моя сестра, нежная и деликатная, с восхищением видит то, что для меня:

* половые признаки (лат.).

** зять (фр.).

«— У, чудовище...».

С тем вместе сестра моя не кинется за меня в воду; даже долг в несколько тысяч, который есть на мне, — заплотит «очень и очень подумав»... «Но за него...» о, с ним она разделит тюрьму. Но если б, как некогда Абельяр, он потерял не утериваемое, хотя бы и остался после этого «философом». О, не за ним в уединение, как за Абельяром Элоиза, но от него с воем ужаса она бежала бы в пустыню, в реку, в колодец, в петлю...

Трансцендентная связь; как и трансцендентное отталкивание. Омерзение — в одну сторону, и в другую — восхищение. Ни даже касания, ни взгляда по сю, по нашу, сторону, по всей линии одного с собою пола; и

10

Да лобзает он меня лобзанием уст своих...

— по другую сторону, по линии второго пола. Теперь мы вступим в форму космического замешательства:

С. — Все еще не могу поверить тебе, Федр. Если я соглашусь с тобою относительно качеств Лизиевой речи, то меня обличат мудрые мужчины и женщины древности, говорившие и писавшие о том же предмете.

Ф. — Кто же это? И где ты читал или слышал лучшее, чем то, что выслушал сейчас?

С. — Вдруг теперь сказать не могу; но явно, что от кого-то слышал, — либо от прекрасной Сафо...

Это ей, знаменитой поэтессе, имя коей дало название sexual'ному тяготению среди женщин, принадлежит приведенное выше стихотворение:

20

Милая матушка,
Прясть не могу я,
Мне не сидится,
Ноя, тоскуя
Сердце томится
Здесь взаперти!
Ниточки рвутся,
Руки трясутся...
Милая матушка,
Дай мне уйти...

30

Может быть нигде еще чувство пола не выражено с такой глубиной, нежностью и пониманием. Как грубо это лермонтовское:

С темно-бледными плечами
С темно-русою косой...

И даже исполненное движения описание Виргинии — слабо, именно в sexual'ном отношении слабо. Здесь нет, в стихотворении Сафо, имени: здесь пол; нет бытовой фигуры:

Или, амфору держа на плечах...

есть возраст — тринадцати-четырнадцати лет, первого поворота в жизни девушки, когда, немея с куклою в руке, и неопределенно блуждая взором, она, еще не понимая о чем, шепчет:

40

Милая матушка,
Дай мне уйти...

Мы имеем пол и возраст так выявившиеся из genital'ий — подобно тем «водорослям», которые, без предварительной копуляции, «вырастают прямо, но «из тех именно точек, где должны бы быть женские половые органы».

Ниточки рвутся,
Руки трясутся...

Она вся в соит'альном дрожжании, первом и еще не постигаемом ею самою, но в котором она была постигнута Сафо:

10

...Меж иных видений
Как царь, немой и гордый, он сиял...

С. — Итак, я мог слышать лучшее от прекрасной Сафо или от мудрого Анакреона, либо от которого-нибудь повествователя. Но к чему догадки? Грудь моя как-то полна, и я чувствую, что сам, кроме сказанного, могу сказать иное и не хуже.

Мы ничего не поняли бы в диалоге, если бы всю силу внимания не сосредоточились на этих его подъемах; на музыке речи, гораздо более знаменательной, чем ее слова, это недостаточное либретто, которое в мыслях самого Платона, быть может, — было именно только либреттом, следующим и все-таки отстающим от звучавшей в душе его музыкальной стороны творения.

20

Ф. — Хорошо, Сократ: если не повторяя того, что есть в этом свитке, ты скажешь иное о том же предмете, что было бы лучше по форме и не менее обстоятельно, — я обещаюсь, по примеру архонтов, поставить в Дельфах золотое во весь рост изображение не только самого себя, но и тебя.

С. — Ты — прелюбезный и как будто в самом деле золотой Федр...

Руки трясутся,
Ниточки рвутся...

30

...если в самом деле понимаешь мои слова так, что Лизиас во всем ошибся и вместо всего, им сказанного, можно сказать нечто новое. Таких неудач не случается и с самыми плохими писателями. В речах, подобных этой, ценную сторону составляет расположение частей, и лишь у того, у кого и этого не достает, остается хвалить хоть самое изобретение доказательств.

Ф. — Соглашаюсь с тобой, так как ты последователен. Итак, я поправлюсь в теме — вот она: «любящий страдает более не любящего», и если ты скажешь на нее лучше и пространнее, чем Лизиас, то стоять тебе вычеканенным в Олимпии, близ священного приношения Кипселидов.

С. — Ты серьезничаешь, Федр, полагая, что я по поводу твоей любви решил шутить над тобой; ты в самом деле думаешь, что я намерен сказать нечто другое, более разнообразное, чем сказал Лизиас...

40

Ф. — Конечно, и тебе не остается ничего более, как говорить, иначе я над тобой повторю те насмешки, которыми ты вынудил меня читать речь Лизиаса... Мы не уйдем отсюда, пока ты не выскажешь всего, чем, как признался, полна твоя грудь...

Опять повторение, — у «семь раз осматривающего фразу» Платона, чтобы подметить, что есть в ней, все-таки, лишнего и мешающего.

— Здесь мы одни, в пустом месте; я сильнее и моложе тебя: так из всего этого ты поймешь смысл моих слов.

Мы видим в Федре мужественного отрока, который почти ищет случая «побороться».

— Не дожидайся же понуждения и говори лучше по охоте.

С. — Но я ужасно боюсь показаться тебе грубым в сравнении...

Ф. — Знаешь ли, что: перестань притворяться передо мною; ведь у меня есть слово, сказав которое...

С. — Да не скажешь.

Ф. — Так скажу же; и даже клянусь тебе — кем? Которым богом? Ну — хочешь, этим явором: если ты будешь молчать, то уже никогда и никакой речи более я не покажу тебе.

С. — Ах, злодей! И в самом деле умел найти средство заставить говорить речь любителя слушать речи.

Ф. — И что ты вертишься, и хитришь, и плодишь речи...

Весь этот бегучий, играющий, как бы урывающийся из рук диалог любопытен как отдаление тревожной минуты, когда нужно же будет говорить; «не сейчас»; но жест затаивания и в самом деле вслед за ним появляется.

С. — Что делать. Раз ты грозишь отнять такое лакомство...

Ф. — Говори же.

С. — Знаешь, что я сделаю...

Ф. — Что еще?

С. — Буду говорить, закрыв глаза, чтобы как можно скорее кончить, и чтобы, несмотря на тебя и любовь твою к этому содержанию речей, — все-таки не заикаться от стыда.

Ф. — Только говори, а там делай, как хочешь.

XLIX

С. — Придите же, о музы Лигии, получившие это прозвание или от своих песнопений, или от музыкального песнопения Лигурийцев, — придите и помогите мне начать свое слово, к произнесению которого меня принуждает этот превосходный человек. Пусть его друг, оратор, и всегда казавшийся ему мудрым, покажется еще мудрее около меня.

В разных местах, а не только здесь, можно подметить в тоне речи Сократа, тень ревности к Лизиасу.

— Итак, был себе мальчик, или лучше — изнеженный ребенок, очень красивый. Его окружало великое число друзей, из которых один отличался особенно хитростью. Любя мальчика, как и другие, он уверял, что не любит его, и однажды начал доказывать, что именно поэтому именно ему он должен отдать предпочтение.

Поразительное здесь — опять «ребенок», т. е. по крайней мере на границе безгрешного, так как по условиям обращения, даже и возможная по возрасту, безгрешность здесь невозможна.

Вот что говорил он:

У людей, приступающих с размышлением к какому-нибудь совещанию, мальчик, всегда одно и то же начало — узнать, о чем будет совещание; а иначе погрешности неизбежны.

ны. Между тем многие и не замечают, что им неизвестно существо каждого из предметов. Почитая себя знатоками, они не хотят при самом начале понять силу вопроса, и оттого впоследствии поплачиваются, т. е. бывают несогласны ни с самими собою, ни с другими. Итак, я и ты не должны подвергаться тому, в чем упрекаем прочих; но, когда предложен нам вопрос, кого лучше избрать себе другом — любящего или нелюбящего, мы обязаны наперед условиться в понятии, что такое любовь и в чем состоит она, а потом, приняв это понятие за основание, смотря и ссылаясь на него, исследовать, полезна ли она или вредна.

Всякий знает, что любовь есть некоторая страсть; известно также, что страсть к прекрасному свойственна и не любящему: итак, чем отличить не любящего от любящего?

- 10 Надобно заметить, что в каждом из нас есть господствующие и руководительные идеи, которых вождению мы повинемся: одна — врожденная страсть к удовольствиям, другая — приобретенное мнение, влекущее к наилучшему. Эти идеи у нас бывают то согласны, то враждебны между собою, и иногда одна из них берет перевес, иногда другая. Если пересиливает мнение и разумно ведет человека к наилучшему, то такому перевесу мы даем имя рассудительности; а когда овладевает им страсть и несмысленно влечет его к удовольствиям, — управляющую им силу называем необузданностью (ἄβρις). Впрочем, необузданность имеет много названий; потому что она многочисленна и разновидна: и какой из ее видов в человеке особенно выказывается, такое получает он и имя, и названия хорошего и почтенного не устаивается. Напр., страсть к еде, получая перевес над расположением к наилучшему и над всеми другими страстями, называется обжорством и сообщает свое имя тому, кто ее имеет. Явно также, какое название дает человеку господствующая страсть к пьянству, когда она управляет им. Вообще очевидно, какие должны быть сродные с этими имена сродных с этими страстей, когда которая-нибудь из них становится владычествующею. Причина, почему предварительно говорится о всем этом, явствует почти сама собою: сказанное как-то яснее того, что не сказано...
- 20 Мы можем только догадываться, что эти грубые примеры «обжорства» и «пьянства» взяты преднамеренно Платоном, дабы не оставить сомнения у читателя (или заранее отогнать читателя поверхностного), что он будет говорить именно о «необузданности» в любви:

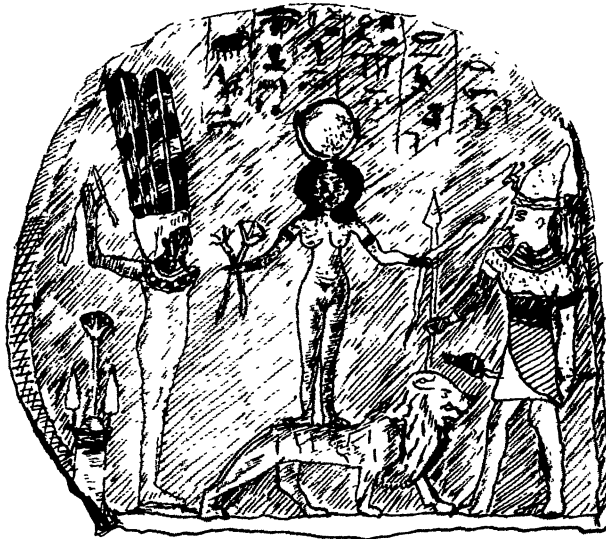
- 30 ...Сладострастие — буря, больше бури; красота — это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одне загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень не образован, но я много об этом думал. Страшно много тайн, слишком много загадок угнетают на земле человека. Красота... перенести притом я не могу, что иной высший даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, что уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и во истину, во истину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Чорт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота?
- 40 Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну али нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле борьбы — сердца людей («Бр. Кар.», I, 123–124).

Мы уже вступили, с толпою учеников Платона, как бы в толпу Тришатова — Ламберта, но только философствующих. «Идеал» — тот самый, даже в подробностях его, который назван Достоевским в «Бр. Карамазовых», как глубочайшая тема разгадываний человека, ἡγῶθη σέ αὐτόν. «Буря», «больше бури» — опреде-

ляет он; и Платон говорит: «обжорство» телом, «опьяняющая» страсть, «необузданность».

...Страсть, чуждая ума и получившая перевес над мнением, стремящимся к правому, — страсть, влекущаяся к удовольствию красоты и сильно укрепляющаяся от втечения в нее других, сродных с нею страстей, направленных к красоте телесной, страсть, непреодолимая в своих вожделениях и заимствовавшая свое имя от самой силы ($\delta\rho\acute{\alpha}\mu\eta$ = «сила», $\xi\rho\omega\varsigma$ = «любовь», по предположению Платона имеют одну филологическую основу) — эта страсть есть любовь.

(сохранить рисунок и перенести ниже)



— Не замечаешь ли и ты, любезный Федр, как чувствую я, что во мне действует божественное вдохновение?

Удивительный перерыв.

Ф. — В самом деле, Сократ, ты, против обыкновения, так и увлекаешься каким-то потоком речи.

С. — Слушай же меня и молчи. Видно — это место действительно священное...

«Место» этой речи моей, наша «тема»: этот странный и «таинственный» «Содом», откуда и только откуда душа так «горит к Мадонне».

— ...место это священное; а потому не удивляйся, если, в продолжении своей речи, я и часто буду пленником нимфы*. Ведь и теперь-то сказанное почти уже звучит дифирамбом.

Удивительно.

* У греков было поверие, что кому случится увидеть в ручье образ нимфы, тот непременно придет в восторг. Таких счастливых называли $\nu\mu\phi\acute{o}\lambda\eta\tau\tau\omicron\varsigma$ = пленник нимфы.

Ф. — Весьма справедливо.

С. — А все ты причиную...

Т. е. Федр, самая близость тела:

Ниточки рвутся,
Руки трясутся...

или, по другой версии:

10 И, девственным дыханьем напоенный,
Огнем в лицо вам пышет воздух сонный.
Вот ручка, вот плечо, и возле них,
На кисее подушек кружевных,
Рисуется молодой, но строгий профиль...
И на него взирает Мефистофель.
. Меж иных видений
Как царь, немой и гордый, он сиял
Такой волшебной-сладкой красотой,
Что было страшно...

— Однако, слушай далее, иначе наитие, пожалуй, и оставит меня. Да об этом пусть печется Бог; а мне дело — продолжать беседу с мальчиком.

20 Ясно, что все вставленное место — точно вставлено, как взрыв восторга, вне всякого отношения к ходу понятий. Мы припоминаем соит'альные дуновения, существующие в нас, шелестящие в нас «аристотелевскими силлогизмами» и выходящие из них концепции, начинающиеся стихом:

Восходит чудное светило

— слова, которые можно было бы поставить эпиграфом к Федру; или, наоборот, открывающиеся стихом:

Пером сердитый водит ум...

— Хорошо, мой милый; теперь предмет нашего совещания высказан и определен. Будем же, смотря на него, говорить о прочем, т. е. о том: что вредного или полезного мог бы получить мальчик от того, кто любит его, или, наоборот — кто не любит.

30 — Кто покорствует страсти и служит удовольствию, тому необходимо сделать своего любимца для себя самым приятным. Больному же все приятно, что не противится; а что лучше его или равно ему, то враждебно. Поэтому любящий не потерпит, чтобы его любимец был либо лучше его, либо равен ему, но приготовит в нем лице ниже и хуже себя. А ниже умного бывает невежда, ниже мужественного — трус, ниже говоруна — бессловесный, ниже быстрого — медленный. Если в любимце находится столько или более умственных недостатков, частью приобретенных, частью врожденных, то любящий последним радуется, а первые сам старается развить в любимце. Таким образом, он непременно бывает завистлив и становится причиной великого вреда... Вся его забота клонится к тому, чтобы любимец его ничего не знал, ничего не видел, и чтобы, имея общение толь-
40 ко с любящим, для него был самым приятным, а для себя самым вредным. Итак, что касается до ума, то человек, одержимый любовью, есть попечитель и товарищ ни к чему не годный.

— После этого надобно рассмотреть, каково попечение его о состоянии тела, как заботится о покорном себе теле тот, для кого необходимо приятное предпочитать доброду. Мы увидим, что он преследует какого-нибудь нежненького и не черствого, воспитанного не под солнечными лучами, а в густой тени, не знакомого с мужскими трудами и сухим потом (N. В.: от труда, в противоположность поту от ванны), но привыкшего к нежной и женоподобной жизни, украшающегося чужими красками и косметическими средствами, за недостатком собственных, и любящего все в этом роде...

Тришатов, но тоже и Аристотель по приезде в Афины, неудержимо влеклись к нарядному и мелочно, вещественно красивому: Аристотель во множестве носил кольца и запястья, и чуть ли не подвигался как девочка; на подбородке у него не было, или очень мало было, растительности — и его бюсты представляют исключительно редкий пример безбородого грека:

С девичьей улыбкой, с змеиной душой
Отверженный Богом...

— как писал очень верно внешним образом, и вовсе не проникая внутрь, гр. Ал. Толстой о Басманове.

— Дело ясное, о котором не стоит и говорить. Мы определим это одною общою чертою: это — такое тело, при взгляде на которое, как на войне, так и в других подобных случаях, врачи делаются смелее, а друзья и сами любящие робеют. Истина ясная; оставим ее.

— Теперь поговорим о вреде или пользе, какую любимец имеет от любящего в отношении имущества. Всякому без сомнения известно, а особенно любящему, что он более всего желал бы видеть своего любимца лишенным самых милых, самых добрых и самых божественных стяжаний, т. е. желал бы видеть его без отца, без матери, без родственников и друзей, которых считает помехою себе и укором за сладкое с ним обращение. Что же касается до больших детей, или другого имения, то владеющий этим, думает он, не легко уловляется, а если и пойман, то не легко делается ручным. От того любящий по всей необходимости завидует любимцу, когда он богат, и радуется, когда он лишился имения. Кроме того, ему хотелось бы, чтобы любимец его как можно дольше оставался безбрачным, бездетным и бездомным; потому что он желает как можно дольше наслаждаться приятностью своего обращения с ним.

Как черту греческого обыкновения, очень важную в целях нашего исследования, заметим здесь, что объект подобной любви становится им временно, переходя позднее к обычной брачной жизни: это бывало время его предбрачного, отроческого состояния, когда он становился предмет любви.

— Есть тут много и других зол; но какой-то демон примешал к ним удовольствие в настоящем, подобно тому как к лести — страшному зверю и великой гибели — природа примешала какую-то тонкую приятность. Можно порицать площадную женщину, как существо вредное; можно порицать и иное подобное тому в нашей всякой всячине, что, однако ж, ежедневно доставляет нам особенное наслаждение: но любящий для любимца не просто вреден; он и по ежедневному обращению с ним всего несноснее. Ведь есть старинная пословица, что возраст возрасту рад, — потому, думаю, что равенство лет, располагая людей к подобным удовольствиям, чрез то рождает в них дружбу: впрочем, и их связь все-таки насыщается. Но что сказать о принужденности, которая всегда и всякому тяжела? А между тем к ней-то, сверх своего неравенства в летах, любящий нудит любимца.

Сейчас мы будем иметь подробный и отчетливый образ этой страсти:

— Старик, обращаясь с юношей, добровольно не оставляет его ни днем, ни ночью, но возбуждается необходимостью и тревогою такой страсти, которая, посредством непрерывного прилива удовольствия, направляет к любимцу и его зрение, и слух, и осязание, и все чувства, так что, прильнув к нему, он — всецело к его услугам. И при всем том, последний-то какое получает отсюда утешение, какую радость, чтобы подобное препровождение не надоело ему до крайности? Какая радость смотреть на старое и некрасивое лицо, обставленное всем прочим, о чем и говорить и слушать неприятно, да еще, по требованию необходимости, и прикасаться к нему?..

10 — Притом влюбленный, пока любит, бывает вреден и неприятен, а оставив любовь, впоследствии становится еще неверным в отношении к тому, которого прежде едва мог удерживать в несносном обращении с собою множеством клятв и просьб, соединенных со многими обещаниями и питавших надежду на будущие блага. В то время как эти обещания надлежало бы выполнять, он, вместо любви и неистовства, находит теперь в себе другого начальника и повелителя, т. е. ум и рассудительность, и, переменявшись, забывает о любимце.

Итак — «клятвы» и «обещания», чтобы удержать около себя «насыщающего». Что насыщающего? — «зрение», «слух», «осязание» и все чувства, которыми «прильнул» к нему любящий. Чем? Беседой ли? — да, в смысле тембра голоса, насыщающего «слух», но, в общем — конечно не этим, но..

Возраст возрасту рад..

— «возрастом», «полом».

— Последний, разговаривая с ним, будто с прежним, напоминает ему о всех делах и словах и требует себе благодарности; а он от стыда и сказать не смеет, что переменялся..

И так — все налетает как «буря, больше бури»; и проходит.

...да и не знает, как теперь, под руководством ума и рассудительности, выполнить клятвы и обещанья тогдашней безумной власти, — как сделать прежнее, не делаясь похожим на прежнего. Таким образом, вот он и беглец. Не связываясь более оковами страсти, бывший любовник изменяется и бежит, — марка перевернулась; а тот с негодованием и проклятиями преследует его, вовсе не зная сначала, что надобно оказывать благосклонность не тому, ибо любит и неизбежно бывает безумен, а лучше тому, кто не любит, да имеет ум: в противном случае, ему придется отдать себя человеку неверному, брюзгливому, завистливому, неприятному, вредному, и для имени, и для состояния тела, а еще более вредному в отношении к образованию души, драгоценнее которой нет и не будет ничего ни для людей, ни для богов. Тебе, мальчик, надобно заметить и узнать то, что дружба любовника не соединена с благожеланием, но служит ему к насыщению, как пища:

Как волки любят ягнят, так любовники мальчиков любят.

— Вот и все, Федр; более не услышишь от меня; здесь да будет конец моей речи.

Ф. — А ведь я думал — она на половине. Почему же ты не сказал о выгодах отдаваться не любящему, а рассудительному?

С. — Заметил ли ты, что я говорю уже не дифирамбами, как начал, а спустился к эпическому стиху. Так что же мне пришлось бы делать, если б я перешел к похвале нелюбящего. Разве ты уверен, что нимфы, которых влиянию я умышленно подвергнул тобою,

сами ясно вдохновят меня? Итак, я кончу это коротко: за что мы порицали одного, т. е. влюбленного, обратное этому находится в равнодушном. К чему много слов. Довольно об обоих, хотя бы речь моя и была забракowana тобою. Теперь я перехожу на другой берег реки, прежде чем ты принудишь меня еще раскрыть рот.

Вся приведенная речь сказана, по предложению Федра, на тему речи Лизисовой: однако есть в ней самостоятельное и для нас значущее содержание: внешний и полный очерк странного древнего παιδίον *, скользящий, правда, по оболочке и не касающийся ядра. Вся мысль этой речи — мы повторим ее вкратце — распадается на определение рассудительной любви, где она есть общепринятое удовольствие, которому отдаются в меру; и безрассудной, которая ослепляет и влечет человека как жертву. Сказав, и «дифирамбами», что такое эта «необузданная любовь», он вяло, «эпическим» стихом, перечислил ее дурные стороны — как требовала тема, но решительно, как ни настаивал Федр, отказался от второй и развивающей далее ту же мысль, стороны темы: выяснить положительные, добрые стороны «рассудительной» любви, этого — по его мнению, и нашему — «хладного» разврата, где нет «бури» и нет, более, ничего «таинственного» («Бр. Карам.»), что ответило бы на загадку дельфийской надписи: γυνῶντι σέ ἄντὸν. Но очень скоро мы подойдем и к «ядру» факта: солнце «в зените», как указывает и Федр:

Ф. — Только не прежде, Сократ, мы пойдем туда, чем когда свалит зной. Разве ты не видишь, что почти полдень, и, как говорится — самый жгучий. Подождем же на этой стороне и поговорим о прежнем предмете; а как станет прохладнее — пойдем домой.

С. — Если дело пойдет о речах, то ты, Федр — божественный, просто дивный человек. Мне кажется, из всех произнесенных в твоё время речей, никто не произвел их столько, сколько ты, или сам говоря, или каким-нибудь образом заставляя говорить других. Исключаю из счета одного Симмиаса Фивского; прочие же далеко ниже тебя. Вот теперь и опять ты, кажется, будешь причиною того, что я скажу нечто вроде речи.

Ф. — О, это не объявление войны! Но как и что такое скажешь ты?

В высшей степени замечательно то, что отвечает Сократ:

Есть речи... 30
 Их кратким приветом,
 Едва он домчится,
 Как Божиим светом
 Душа озарится

 Лишь сердца роднова
 Коснутся в дни муки
 Волшебного слова
 Целебные звуки —
 Душа их с молением 40
 Как ангела встретит,
 И долгим биеньем
 Им сердце ответит.

* мальчик (грег.).

С. — Лишь только я подумал, мой милый, перейти через реку, вдруг мне — то божественное, столь привычное знамение (τὸ δαίμονιον τε καὶ τὸ εἰωθὸς σημεῖον); а оно всегда удерживает меня, как скоро я располагаюсь сделать что-нибудь не так. Даже будто слышался в то мгновение и какой-то голос, запрещавший переходить реку, прежде нежели очищусь от греха против божества. Видно, и я провещатель, — конечно, не важный, однако ж, как и плохие грамотеи, для себя одного достаточный. Теперь я несомненное вижу, что согрешил в своей речи... Так так-то, друг мой, — и душа всякого из нас имеет в распоряжении своем какие-то вещи знаки. Меня что-то тревожило и тогда еще, как я говорил речь; меня, по примеру Ивика, корбила мысль, как бы не приобрести чести от 10 людей ценою заблуждения касательно богов. Теперь чувствую свой грех.

Ф. — Так что же ты скажешь?

L

С. — Ужасную речь, Федр, ужасную! Ты сам подал повод и заставляешь меня говорить ее.

Ф. — Как так?

С. — Безумную и несколько нечестивую; а такой речи что может быть ужаснее?

Ф. — Конечно, ничто — если только ты говоришь правду.

— ...Я тут сидел в трактире — и знаешь, что говорил себе: не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, 20 беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования, — а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку...

Душу Божьего творенья
Радость вечная поит,
Тайной силою броженья
Кубок жизни пламенит;
Травку выманила к свету,
Хаос в солнца развила
И в пространствах, звездочету
Неподвластных, разлила
30 У груди благой природы
Все, что дышет, радость пьет!
Все созданья, все народы
За собой она влечет...

...То не оторвусь от него, пока его весь не осилю. Впрочем, к тридцати годам наверно брошу кубок, хоть и не допью всего, и отойду — не знаю куда. Но до тридцати моих лет, 40 знаю это твердо, все победит моя молодость, — всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: Есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого, т. е. опять-таки до тридцати этих лет, а там уж сам не захочу, мне так кажется. Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто под-люю, особенно поэты. Черта-то она отчасти карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, в тебе она тоже непременно сидит, но почему же она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете, Алеша! Жить хочется

и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки...

С древней матерью землею
Он вступил в союз навек

...дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз, поверишь ли, не знаешь, за что и любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтить его сердцем. Вот тебе уху принесли, кушай на здоровье. Уха славная, хорошо готовят. Я хочу в Европу съездить, Алеша, отсюда и поеду; и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище, вот что! Дорогие там лежат покойники, каждый камень над ними гласит о такой горячей минувшей жизни... 10

Хаос в солнца развила...

...о такой страстной вере в свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку, что я, знаю заранее, паду на землю и буду целовать эти камни и плакать над ними...

Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью землею...

...в то же время убежденный всем сердцем моим, что все это давно уже кладбище и никак не более...

Гроздий сок, венки харит...

20

И не от отчаяния буду плакать, а лишь просто потому, что буду счастлив пролитыми моими слезами. Собственным умилением упьюсь. Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут — не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь. Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет?

— Ужасно понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить, и... и я думаю, все должны и прежде всего жизнь полюбить («Бр. Кар.», I, стр. 258 и 123).

С Олимпийския вершины
Сходит мать-Церера...

С. — Да как же? Эроса не признаешь ли ты сыном Афродиты и одним из богов?

Ф. — Да, так все думают...

30

С. — Но «так думают» вовсе не Лизиас, и не твоя речь, которую ты выговорил, хитрец, но моими, обвороченными тобою, устами. Если Эрос есть то, что действительно есть, — именно бог или нечто божественное; то прежде всего — он не какое-нибудь зло. Между тем в обоих речах, Лизиаса и моей, но на тему Лизиаса, мы представили его чем-то злым. И вот почему обе наши речи полны греха. Но их ограниченность и ошибка — прозрачны: не заключая в себе на самом деле ни здравого смысла, ни уважения к истине...

Удивительно: т. е. удивительна вековечность указания «не любви к истине» во всяких речах, которые напыщиваясь, надуваясь звуками, пытаются бороться с... «травною, сеющею семя по роду ее» (*Бытие*, 2).

...не содержа уважения к истине, наши речи еще тщеславились собою, будто дельные, и обманывали нас, как людей ничтожных. Итак, от этого греха мне необходимо очис-

тяться. Древний же способ очищения тех, которые погрешали в учении о богах, известен был не Гомеру, а Стизихору. Лишенный зрения за то, что порицал Елену, Стизихор не был так недогадлив, как Гомер, но обладая талантом музыкальным, тотчас узнал причину своего несчастья * и немедленно сказал:

Нет, мой неверен стих;
Ты на разубранный корабль не восходила
В Пергам Троянский не плыла.

И написав всю так называемую Палинодию, он вдруг прозрел. В настоящем случае я буду умнее их именно тем, что, не ожидая, пока понесу наказание за порицание Эроса, постараюсь произнести ему палинодию — уже с открытой головою, а не как прежде, закрываясь от стыда.

Нет причин более для стыдливого и затаивания еще потому, что слово будет двигаться не по наружной и не переносимой для языка и слуха, коже факта, но по его сердцевине — не как описание, но как рассуждение.

Ф. — Для меня, Сократ, ничего не может быть приятнее этих слов.

С. — Значит, и ты тех же мыслей, добрый мой Федр, что наши речи — моя и прочитанная тобою в свитке — обе бесстыдны. Если бы какой-нибудь благородный человек кроткого нрава, любящий кого-нибудь, или некогда любимый, случайно услышал от нас, что любовники за безделицу платят величайшею ненавистью и своим любимцам завидуют и вредят, то как ему не подумать бы, что он слушает людей, воспитанных, вероятно, между матросами, которые не имеют истинного понятия о любви благородной...

Всем комментаторам трудно было догадаться, что эта фраза, почти простое упоминание о матросах, есть центр всего диалога «Федр», точка, откуда должно начинаться его объяснение. Платон различает τὸ λαϊδίον у матросов: функцию и притом вынужденную долгим плаванием и след. разобщением от женщин, от λαϊδίον совершенно другого, по другим мотивам и иной природы, которое составляет предмет его рассуждения, льющейся «дифирамбической» речи и, очевидно, глубоко и непосредственно, жизненно волнует его. Таинственный «миф» природы человеческой, «буря, больше бури», «чудовище наподобие древних химер, слитое однако с чем-то явно и ощутимо божественным». «Горит, воистину горит сердце» сюда... и, в ощутимой связи с этим, к Богу. Ἦῶθι σέ ἄυτόν... и Платон обращается к λαϊδίον'у; Ἦῶθι σέ ἄυτόν — говорит дельфийская надпись, обращаясь к ищущим дельфийского храма: т. е. нет ли точек, минут, секунд, откуда человек, каждый из вас идущих, выявляет из себя храм, место бесспорного и непосредственно очевидного присутствия божия: «и зрение, и осознание, и слух — все чувства» и также вся, глубоко взволнованная, «в дифирамбах», душа...

...Кубок жизни пламенит...

Кто же его пламенит? И где самый сладкий, и, очевидно, достигший самого высокого и трудного своего выражения этот кубок? Но мы предупреждаем ответ, между тем как должны говорить только от имени Платона. Тайна λαϊδίον'а, где нет функции, нет sexual'ного сопряжения и этого

* О Стизихоре есть легенда, что он первый ввел в Греции τὸ λαϊδίον; ослепший, как и Гомер, за порицание Елены, он будто бы, далее, поняв причину слепоты — написал «палинодию», «обратную песнь».

— в чем же? В том, что это — только



не прорывающий, не могущий, даже не порывающийся «разорвать завесы» по сю сторону, для построения земных костей человека, но, однако, бьющийся около завесы, волнующий завесу, стучащий в дверь нашего бытия, хотя и не проникающий никогда через нее. Тайна *παιδίον*'а в его бескорыстии, в его ненужности — в том, что у ласкающегося и нет средств, нет анатомических данных, sexual'ных терминов пропустить сюда



и лишь «осязанием, слухом, обонянием, всеми чувствами» и также глубоко взволнованною душою он припадает к волнующей, шевелящейся завесе, разделяющей два міра бытия; и отсюда, с этой стороны, слушает бьющееся в завесу оттуда, с той стороны:

Да лобзает он меня лобзанием уст своих...

Лобзание непроницаемой, волнующей завесы, лобзание в миги и точках ее волнения:

Ночи безумные...

Речи несвязные.

В случаях, как те, которые получили свое имя от «прекрасной Сафо» и не более редки, чем *παιδίον*, сущность *παιδίον*'а как лобзания — очевидна; и Платон, упоминая об «осязании, обонянии — всех чувствах» и отрицая с отвращением *coitus* «матросов», не оставляет сомнения, что оно в этом состоит, и в глубоком душевном волнении, таинственной психической «химере», где «есть что-то божеское». Волнение происходит от ослепительного озарения сознания, и вообще света, бросаемого на посястороннее наше лицо потусторонним міром: в *coitus*'е обычном с женщиною мы касаемся *поиμεν'*ального міра, но однако *поиμεν'*альной же своей стороною, при «померкающем лице», «угасшем» на этот миг сознания: здесь только *поиμενον* бьется около «осязания, обоняния, вкуса — всех чувств»: около точек лица, средств сознания, правда их не проникая, оставаясь по ту сторону, но близко, очень близко:

Ночи безумные...

Речи несвязные...

Сродство души нашей с потусторонним міром, ее оттуда исхождение, ее туда порывы — именно для сознания, «осязания, обоняния, всех чувств» — становится очевидно: это в ласкающем; но и в ласкаемом непосредственно же и очевидно пробуждается ощущение своей *поиμεν'*альности, знание до очевидности, до восклицания «я видел истину! Я осязал ее» — того, что

...часть его большая

От тлена убежав — по смерти станет жить.

Отсюда страшное, глубокое волнение этих «химических» секунд, и, ради их — прорезание как бы «от Ориона до Сириуса», при «ста тридцати градусах мороза» во «фраке и белом галстуке» — всего уничтожения, позора «тысячелетнего с земли плевания», этих могучих и в общем достаточных усилий космического затаивания. «Клейкие листочки», «весенние клейкие листочки» — и хотя оне не к нам своею «клейкостью» и «липкостью» обращены, проходя по полю, мы их не нужно срываем и обоняя, трогая губами, говорим — «Я хочу жить». Странное явление, начало *λαιδίον*'а; мы «из нутра говорим», «нутром говорим», поясняет Иван брату, и послушник Алеша восклицает: «Это — так», «Это — истина». Но ведь не «слепая же кишка» и не «желчный пузырь» вырвали у них это восклицание: они хотят жить, почувствовали «сладость» и «истину» бытия очевидно в *genital'*ях; и, очевидно, «липкость» *мира*, его «клейкость» также идет от *genital'*ий, и в них сосредоточена:

Радость вечная поит.

Вот где седалище радостей:

Гроздий сок, венки харит,

и Иов, уже обросши проказою, говорит:

Изо рта моего идет вонючее дыхание, отгоняющее от меня жену: и вот я вынужден умолять ее приходить ко мне ради плода чрева моего (*Иов*, гл. 19, ст. 17).

И Бог, который знает, с которой стороны взять вещи в их истине, говорит Сатане и недругу:

Обратил ли ты внимание на Иова, раба моего? Нет еще такого, как он, на земле: человек непорочный, благочестивый, богобоязненный, удаляющийся от зла (*Иов*, гл. 1, ст. 8).

Вот истина вещей. В таинственном *λαιδίον*'е человек взят с той же чресленной, т. е. пошпел'альной, истинной и признанной, как правда, стороны: но взят как-то сознанием и под углом объективации; наконец, он взят вопреки космическому затаиванию и многим грозным заветам: «Для чего имя мое? — оно чудно...». А «Лица Моего невозможно увидеть и не умереть...». Но послушаем, что же узнано в этих дерзких порывах, и чему именно внимало ухо около завесы:

С. — Итак, стыдясь подобного человека, знающего природу истинной любви, и опасаясь Эроса, я хочу горечь прежних нелепостей заглушить сладостью нового слова. Советую и Лизиасу как можно скорее написать, что, ради подобных побуждений, надобно оказывать благосклонность более любящему, нежели не любящему.

Ф. — Поверь, что так и будет. Когда ты скажешь похвальное слово любовнику, я непременно заставлю и Лизиаса написать речь о том же предмете.

С. — Верю, пока ты будешь тот же, кто теперь.

Ф. — Так говори смело.

С. — Но где тот мальчик, к которому я обращался? Надобно, чтобы он слушал меня; в противном случае, пожалуй, поспешит оказать благосклонность не любящему.

Ф. — Он очень близко возле тебя — всякий раз, когда пожелаешь.

Т. е. «это я — Федр»: признание, ставящее вне сомнения, кто был Федр, и едва ли оставляющее место сомнению, кто был он для Сократа-Платона, и кем для него — Платон или Сократ.

С. — Итак, заметь прекрасный мальчик, что прежняя речь принадлежит Федру Питоклову из Мирринуита; а теперь я произнесу слово Стизихора Евфимова, Имерейца *. Оно гласит так:

Та речь несправедлива, которая говорит, что, когда есть любовник, надобно быть более благосклонным к нелюбящему, — надобно будто бы потому, что первый находится в состоянии исступления...

...Ночи безумные
...Речи не связные...

...а последний в здравом уме. Это было бы сказано хорошо, если бы исступление мы могли почитать просто злом: но оно иногда бывает даром Божиим, и в этом случае становится источником величайших благ. Например, хотя бы дельфийская прорицательница... 10

Да, и опять это замечательно, замечательно, как клоки совершенно однородного тумана, там и здесь открывающиеся на огромных исторических расстояниях: Пифия, перед тем как «прорицать», «садилась на треножник, поставленный над расщелиною скалы, откуда выходили одуряющие пары». Но зерно факта остается то, что перед «вдохновенным», «бессознательным» пророчеством она, к чему бы ни обращалась, но «сажаясь» — очевидно обращалась «чреслами», ими «внимала». Можем ли мы сомневаться, что только нам слышались «нездравые арии», несущиеся от «Руслановой головы».

— И Додонские жрецы, находясь в состоянии исступления, делали весьма много добра и частным людям, и вообще Греции, а в состоянии спокойного размышления — или мало, или вовсе ничего. Если бы мы стали говорить о Сивилле и других, которые, обладая божественным даром пророчества, верно предсказали многим и много такого, что исполнилось в будущем, то нам пришлось бы говорить долго о том, что всякому известно. Впрочем, нельзя не сослаться и на свидетельство древних, которые, устанавливая значение имен, не почитали исступления чем-то постыдным, или бесчестным, иначе прекрасного искусства судить о будущем не назвали бы исступлением: видно, оно хорошо и дается Богом, когда получило такое имя. Между тем наши современники в первоначальное слово $\mu\alpha\upsilon\sigma\iota\kappa\acute{\eta}$ (от $\mu\alpha\upsilon\sigma\acute{\iota}\alpha$ — «безумие»; Платон, по-видимому преднамеренно или шутивно, но во всяком случае в целях провести свою мысль, делает неправильное словопроизводство), по неопытности, вставили τ и «предсказание» = « $\mu\alpha\upsilon\sigma\iota\kappa\acute{\eta}$ » стало у них « $\mu\alpha\upsilon\sigma\iota\tau\iota\kappa\acute{\eta}$ ». Подобным образом, угадывание будущего, совершаемое умными людьми по полету птиц и по другим знакам, древние называли $\sigma\acute{\iota}\omega\nu\sigma\iota\tau\iota\kappa\acute{\eta}$, так как $\sigma\acute{\iota}\omega\nu\sigma\iota\tau\iota\kappa\acute{\eta}$ происходит от $\delta\acute{\iota}\alpha\nu\sigma\iota\alpha$ и к человеческому мнению — $\sigma\acute{\iota}\omega\nu\sigma\iota\tau\iota\kappa\acute{\eta}$ присоединяет $\nu\sigma\iota\varsigma$ и $\iota\sigma\tau\omicron\rho\iota\varsigma$; а нынешние почтили это слово « ω » и говорят: $\sigma\acute{\iota}\omega\nu\sigma\iota\tau\iota\kappa\acute{\eta}$ **. Ну, так во сколько совершеннее и почтеннее пророчество в сравнении с птицагаданием... 20 30

* Употребительная у греков шутка, объясняющая предмет сближением с собственным именем. Прежняя речь была «Федра»: имя это происходит от $\phi\alpha\delta\rho\acute{\omicron}\varsigma$ — увлекающийся прекрасною внешностью. Теперь когда пойдет дело о сердцевине, об ядре $\lambda\alpha\delta\acute{\iota}\omicron\nu'a$, речь будет как бы литься из уст «Стизихора», т. е. «установителя хоров» (от $\sigma\tau\acute{\alpha}\omega$ = ставлю, и $\chi\omicron\rho\acute{\omicron}\varsigma$ = хор), «сыну Евфимову» т. е. «человеку благочестивому» (от $\epsilon\upsilon$ и $\phi\acute{\eta}\mu\eta$), «родом имерейцу», т. е. «посвященному в таинство любви» ($\epsilon\mu\acute{\epsilon}\rho\omega$). 40

** Искусство гадания по полету птиц (*spel.*).

Не можем не припомнить и не повторить здесь сказанного ранее, что «божеское» начинается там, где начинается «святое», и вовсе не там, где начинается «чудесное»: последнее есть волшебство. Очевидно «птицегадание», «угадывание по знакам» относится к категории «кудесничества», «волшебства» и — действительно оно или не действительно — к религии как богочувствию не имеет отношения, с религиозной точки зрения просто не любопытно («Сонька золотая ручка» в природе). Напротив, «пророчество», дар внутреннего в нас дуновения, включает в себя «святое»: нельзя представить пророка обманывающим или лгущим; и оно относится к вещам «божеским», начинает порядок вещей божеских.

10 Платон ясно стоит на этой же точке зрения.

— ...имя — с именем, дело — с делом, во столько исступление, даруемое Богом, по понятию древних, лучше здравомыслия, бывающего в людях. Случалось также, что, когда какие поколения, вследствие древних от кого-нибудь угроз, подвергались болезням и величайшим бедствиям, — среди их являлось исступление и, пророчествуя, указывало, кому требовалось, избавление, прибегало к молитве и служению богам, удостоивалось очищения и освящения и возвращало здравие на время настоящее и будущее всякому, кто имел его, даже избавляло от страданий собственно наступленного и одержимого (*κατασχομένω* = «одержимого высшим существом, воодушевленного Богом до исступления и страдания»). Третий род одержимости и исступления бывает от муз: овладевая нежностью и девственностью...

20

Платон употребляет слово *ἄβατος* *, которое всегда прилагалось собственно к священному месту, куда не посвященным вступать не позволялось; в отношении к душе это именно значит: «не растленная», «не тронутая», как бы сохраняющая «плеву» свою и не выявившаяся: в «Федровском» возрасте, или, пожалуй, в возрасте и состоянии «Нины»:

Ходила в фартучке, сидела прямо

— место и слово, переносящее sexual'ное и даже, теснее, coit'альное понятие, но с священным значением на состояние и на природу души.

— ...овладевая девственной душой, возбуждая и восторгая ее к одам и другим стихотворениям, и украшая в них бесчисленные события старины, это исступление дает уроки потомству. Кто нищенски домогается и ищет и ожидает у врат поэзии, не будучи исступлен музами, в предположении, что и одно холодное мастерство может сделать из него поэта, — тот и сам несовершен, и его поэзия, как произведение человека с рассудком, исчезает перед поэзией исступленного...

30

Глубокое, таинственное и очевидно для самого Платона непостижимое волнение *λαιδίον*'а, еще понятное в ласкаемом, но более сильное и уже вовсе необъяснимое в ласкающем, он вводит в ряд волнений, в обширную их категорию и притом таких, где не может быть спора о дурном:

«Это не так просто», «гораздо сложнее и глубже, чем объяснил Лизиас, да и я, взяв себе его грешную тему». Мы оба, он и я, порицали «исступление», «бурю» *λαιδίον*'а, хваля рассудительность и «хладность чувств» в нем, не допускающую до забывчивости.

40

* неприступный, запретный (*εργε*).

Речи не связанные

— но вот есть «бури», ими в разных направлениях пронизано бытие человеческое, и по крайней мере некоторые из них священны, явно включают в себе что-то, высшее человеческих средств; вникай же и размышляй, ранее чем решать:

— Вот как много, Федр, да еще и более прекрасных дел производит исступление, когда оно ниспосылается богами! Так мы не боимся его, и никакая речь не заставит нас своими угрозами избрать в друзья человека с рассудком, предпочтительно перед умоисступленным. Пусть она торжествует победу, доказывая, что боги не к добру посылают любовь в сердце любящего и любимого: мы докажем противное, что исступление дается богами для величайшего благополучия. Впрочем, люди здоровых мускулов нашему доказательству не поверят, но мудрецы ему поверят. Мы сперва вникнем в божеские и человеческие черты души и постараемся верно уразуметь ее в состоянии действия и страдания. Начало нашего доказательства — следующее:

Всякая душа бессмертна: ибо что всегда движется, то бессмертно; а что сообщает движение другому и само движется от другого, в том с прерывчатостью движения соединяется и прерывчатость жизни...

Замечателен этот анализ души, начинающийся с ее динамических начал; души не как $\lambda\acute{o}\gamma\omicron\varsigma$ 'а, не как плотно лежащих «в мозгу» аристотелевских силлогизмов, но как дуновения, которое откуда-то, из каких-то глубин поднимаясь в нас, шевелит и перебирает эти силлогизмы:

Восходит чудное светило

души не как мысли, но как порыва, одушевления:

И мир *мегтою* благородной
Пред ним очищен и омыт

в последнем анализе — как успокоенной «бури» или как «бури» еще не разыгравшейся. Мы замечаем, что самая идея души взята из внутреннего опыта, непосредственного ощущения: «Я видел Истину, я осязал ее!..». Собственно логика доказательств Платона вовсе не интересна, и очень мало вероятно, чтобы сам он придавал ей непременно значение; интересна их психология, психология самого доказывания, как усилия и его тема. «Всякая душа бессмертна» — так он начинает, твердо и без колебания, именно в «Федре» как исследовании $\lambda\alpha\iota\delta\iota\omicron\nu$ 'а; она есть вечное и первое во всем движущее, изначальноное в движущемся — и опять это около идей, воспоминаний $\lambda\alpha\iota\delta\iota\omicron\nu$ 'а; «дифирамб природе», не договорил он, но договорим мы его мысль. Но будем слушать далее:

— Итак, одно только движущееся само по себе и никогда не покидающее своей природы как движения — это одно не перестает никогда двигаться и даже служить источником и началом движения других движущихся предметов.

Мы вспоминаем волнующуюся завесу бытия, волнуемую созвездиями рвущихся и никогда ее не прорезывающих душ — коей «зрение, слух, осязание» и, словом, «прилипнутость» к ней как к «клейкости весеннего листочка» «всеми чувствами» (см. выше) составляет сущность $\lambda\alpha\iota\delta\iota\omicron\nu$ 'а, основание непонятого волнения, испытываемого в нем именно ласкающим, внимающим, слушающим. Откуда это? — исконно, изначально, от «сложения мира» ибо «земной человек»

да и все земное, за исключением внимающего, «познающего» именно здесь исключено:

— Но начало не имеет начала: потому что от начала должно было произойти все, что произошло, самому же началу произойти не из чего; а когда оно произошло бы из начала, то уже не было бы началом.

Нельзя сказать, чтобы доказательства эти были «в дифирамбах».

— Если же начало не имеет начала, то не может и разрушиться; потому что, разрушившись, оно и само не произойдет из другого, и другое не произойдет из него, как скоро все должно произойти из начала. Итак, начало движения движется само по себе: это само-
10 движимое не может ни произойти, ни разрушиться; иначе, за его разрушением, следовало бы слияние и остановка всего неба, всего рождения...

Может быть интереснее, чем преднамеренные слияния в мысли, слияния в ней безотчетные: среди «речей не связных»:

...Если бы Бог обратил сердце Свое к Себе и взял к Себе дух и дыхание, — вдруг погибла бы всякая плоть и человек возвратился бы в прах (*Иов*, гл. 34, ст. 14–15).

Здесь также мы имеем представление, но уже о «Подателе жизни», как о «дуновении», и ниже повторяется, что он говорит «из бури» (*Иов*, гл. 40, ст. 1).

— ...и не было бы уже причины, по которой движимое снова пришло бы в движение. Если же само движимое мы назвали бессмертным, то никто не постыдится сказать, что
20 такова сущность души, что так и надобно понимать ее: потому что всякое тело, движимое извне, неодушевленно; и движущееся изнутри, само из себя, называется одушевленным, что и составляет природу души...

Это — поразительно, и, конечно, совершенно истинно: душа взята именно с точки —

Травка выбежала к свету.

И еще:

Ты знаешь ли павлина: он кладет яйца в песке, и не боится, что их раздавит зверь или идущий человек, —

30 Т. е. оно взято вовсе не под углом — «*cogito ergo sum*», но именно под тем углом, как мы установили: «*проростаю... ergo sum*».

— Когда же так, когда самодвижимое есть не иное что, как душа; то душа безначальна и бессмертна. Но о ее бессмертии — довольно; теперь скажем о ее идее.

— Исследовать, какова эта идея, есть дело божеское и требующее долгого времени; а показать, чему она подобна — человеческое и короткое. Итак, возьмем за последнее. Мы уподобим ее нераздельной силе крылатой пары запряженных коней и возничего. Кони богов...

Итак, у самих «богов» как их «дыхание» «крылатое» — он признает «душу»

— и также все возничие сами по себе, конечно, добры и произошли от добрых; а у других это смешано. И во-первых, правитель наш управляет парю: один из коней у него

прекрасен и добр, да и произошел от таких же; а другой и произошел от противных тому, и сам по себе противен:

Пером сердитый водит ум

 Преданья глупых юных дней

 Не дорожа чужою тайной,
 Приличьем скрашенный порок
 Я смело предаю позору...

— Так управление-то нами поневоле затруднительно и неудобно. Теперь постараемся высказать, откуда получило свое имя животное смертное и бессмертное. 10

Мы ничего не пропустили в тексте, и очевидно Платон так мало внимателен к доказательной, силлогистической стороне своего учения, что допустил ее рассыпаться в

...речи не связные.

Самая идея «пары коней» уже высказывается, а не доказывается; и, как вообще мы заметили выше, ни за которое из доказательств он не пожертвовал бы ничем, и всем за проповедь «души» как «дуновения»; стихающей или не пробужденной «бури»: да и легко видеть выше степень совершенно иного одушевления, с которым он повернул речь от защиты «рассудительности» в *πειθίον*'е к защите истинно им возлюбленной и постигнутой в ней исступленности. 20

— Всякая душа печется о всяком неодушевленном: она обтекает целое небо и, по различию мест, является в различных видах. Душа совершенная и пернатая

<сюда рисунок, где лучник держит свою душу>

носится в воздушных пространствах и устрояет весь мир...

Хаос — в солнца развила
 И в пространствах, звездочету
 Не доступных — разлила.

— А растерявшая перья душа — влечется вниз до тех пор, пока встретится с чем-нибудь затверделым и грубым, где нашедши себе жилище и тело, и движась собственной силою, называется в целом составе животным, сложенным из души и тела, и получает имя смертного. Понятие же о бессмертном нельзя приобрести никаким умозаключением. Не выдав и достаточно не разумея Бога, мы представляем его каким-то животным бессмертным, имеющим также тело и душу; только тело и душа в нем вечно соединены между собою. Впрочем, пусть это будет и зовется так, как угодно Богу. 30

Прекрасна эта благочестивая резигнация незнания; еще более нравится нам в смиреннии своем и каком-то космическом уравнении что он замешан в рассуждения, и правдивые рассуждения («я видел Истину, осязал ее!» — «Сон смешн. челов.») о «пернатости» души понятие, имя и существо «животного». О, истинный идеалист, он не боится загрязнения своего не номинального, а реального спиритуализма — 40

Зверями земными — по роду их, и скотом — по роду его, и всякими гадами земными — по роду их (Бытие, гл. 1, ст. 25).

А день седьмой суббота — Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни раба твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец твой, который у тебя, чтобы отдохнул раб твой и раба твоя и осел твой, как и ты (Второзаконие, гл. 5, ст. 14).

Чресленная точка зрения, точка —

Все разверзающие ложесна — Мне...

уравнивает в безмерной любви, «пронизывающих вертикальных лучах» осла и господина, пришельца и хозяина. Ибо все —

несут яйца и оставляют в песке... (Иов)

а Господь оберегает их от «ночи идущего и пробегающего зверя».

— Сила пера состоит обыкновенно в том, чтобы тяжелое поднимать на высоту, — в пространство воздуха, где обитает поколение богов. Итак — как душа, более чем телесному, причастна божественному; —

Удивительно и прекрасно, а, конечно, также и истинно это как бы взаимное пронизание лучами своими «животного», «душевного», «телесного», «божественного»: в дрожжащем семени, даже у животного — как мы разделим, разорвем эти стороны? Как, не впадая сейчас же в богохульство, — мы скажем: «это только красная глина» (механика)? Как отвержем механику («красную глину»)? И, если гордо мы захотим отделить человеческое от животного — эмбриология нам скажет: «процесс оплодотворения у животных ничем не отличается от этого же процесса у растений». Идея космического уравнивания, но земного, «дыхания в чресла друг другу», «и осла твоего, и пришельца твоего» удивительно открывается, как только мы познаем истину, с которого конца надо брать вещи.

— Божественное же есть прекрасное, мудрое, доброе и все тому подобное: то этим-то особенно питаются и возрождаются крылья души; а от постыдного, злого и противного высшему они слабевают и гибнут.

Сейчас мы увидим глубокую аналогию «Сну смешного человека» — может быть, еще нигде и ни около чего другого с такою точностью не повторившуюся. Также — чистая фантазия, мечта сердца, догадка ума (филологи, а впрочем, и «философы», так и зовут ее «миф Платоновский», отмечая отсутствие всяких около него доказательств); тот же полет за видимую твердь — на «иное небо», и лишь в образах греческих представлений (матерьял «мифа») в противоположность учено-библейским, какие естественно взял из своей современности наш романист и мистик. И, наконец, там ранее мы нашли соит'альное «дуновение» под ним; но там еще могло быть сомнение о реакции, о раскаянии и скорби, и вот перед нами второй мистик, за две тысячи лет, который как «грех» считает не $\lambda\alpha\iota\delta\iota\upsilon\upsilon$, но отсутствие «безумия» и «исступления» в миг и миги $\lambda\alpha\iota\delta\iota\upsilon\upsilon$ 'а:

Да лобзает он меня лобзанием уст своих...

Странное, но не вовсе же без аналогий, явление: мы проходим в апреле полем, и, срывая «клейкий» и действительно необыкновенно душистый лист с березы, —

инстинктивно подносим его к лицу, обоняем, кладем на язык и, словом, «всеми чувствами» ощущаем его и усиливаемся до чего-то в нем достичь. Странный инстинкт; и до чего мы в нем хотим достичь? Сахарист ли он? или он прянен и напоминает корицу? Достигнуть жизни, весны; этого космического в нем «апреля»; т. е., в тайном основании, мы обоняем в нем возраст и пол: склонение и, может быть, начинающееся поклонение начала λόγος'а — началу «бара». Но не в самом же деле «лилия» лучше «Соломона»: перед нами Федр, и он «золотится» в свои 17 лет, конечно с той неизмеримой высотой своей «липкости», на какой стоит человек перед березой. Он также душист и клеек, у него свой «апрель»: конечно, «апрель» не в желчном пузыре и не в слепой книжке, но в точках полового обозначения, и в том, что с ним связано: в расцвете тела, не в красоте, но именно в его юности. Все это в моем beau frère'e невыразимо волнует мою сестру, но с Ориона, если взглянуть на Сириус — параллели лучей уже сошлись *, и передо мной в «листочке». «Федр» уже не пол, противоположный моему, но «an und für sich», не «для меня», а бескорыстно, т. е. поупен'ально пол и возраст:

Восходит чудное светило

и «исступленно» — как в «дифирамбах» пишет Платон — я повторяю с ним все, что инстинктивно делает человечество с душистым березовым листком. Возраст около 60 лет — «Платоновский» возраст, его первых диалогов — есть миг угасшего «моего» пола, необыкновенно способствующий «как бы перенесению на Орион с Сириуса» в этом специфическом значении: «мое» и «не мое» исчезло вдаль; остается весна, как противоположение наступающей для меня зимы, и an und für sich пол как противоположность моей начинающейся бесполости. Все это с яркостью, «зеленью» — и также в таких глубинах значения, какие совершенно не открываются «зеленой» юности.

- Видали вы лист, с дерева лист?
- Видал.
- Я видел недавно желтый, немного зеленого, с краев подгнил **. Ветром носило

...Я бедный листочек дубовый...

Когда мне было десять лет, я зимой закрывал глаза нарочно и представлял лист *зеленый, яркий с жилками, и солнце блестит*. Я открывал глаза и не верил, потому что очень хорошо, и опять закрывал.

- Это что же, аллегория?
- Н-нет... зачем? Я не аллегория, я просто лист, один лист. Лист хорош. Все хорошо.
- Все?
- Все. Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сам станет счастлив, сию минуту. Эта свекровь останется, и *девожка останется...* ***

* <Текст сноски отсутствует.>

** Переливы возрастов, состояний — но именно состояний половых — с изумительным инстинктом схвачены и совмещены на одном листке Достоевским: тут и старая, зимняя «желтизна», и немного борющейся с нею «зелени»: почти мания «зеленого» выражена здесь.

*** <Текст сноски отсутствует.>

Опять рождающий, чресленный момент: рожденное «останется» чтобы опять «родить»: девочка — мать...

...все хорошо. Я вдруг открыл.

— А кто с голоду умрет? А кто обидит и *обесчестит девочку* — это хорошо?

— Хорошо. И кто размножит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размножит — и то хорошо. Все хорошо, все. Всем тем хорошо, кто знает, что все хорошо. Если б они знали, что им хорошо, то им было бы хорошо, но пока они не знают, что им хорошо, то им будет нехорошо. Вот вся мысль, вся, больше нет никакой!

— Когда же вы узнали, что вы так счастливы?

10 — На прошлой неделе во вторник, нет, в среду, потому что была уже среда, ночью.

— По какому же поводу?

— Не помню, так; ходил по комнате... все равно. Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего.

— В эмблему того, что время должно остановиться?

Кириллов промолчал.

— Они не хороши, — начал он вдруг опять, — потому что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого.

— Вот вы узнали же, стало быть, вы хороши?

20 — Я хорош.

— С этим я, впрочем, согласен, — нахмуренно пробормотал Ставрогин.

— Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.

— Кто учил, Того распяли.

— Он придет и имя ему человеко-бог.

— Богочеловек?

— Человеко-бог, в этом разница.

— Уж не вы ли и лампаду зажигаете?

— Я зажег.

Ц

30 — Итак, великий вождь неба, Зевс, едет первый на крылатой своей колеснице, устроая везде порядок и объемля все своею заботливостью. За ним следует воинство богов и гениев...

Завеса «ликов»...

...разделенное на одиннадцать отрядов; потому что одна только Веста остается в жилище богов, прочие же, в числе двенадцати, поставленные начальниками, предводительствуют каждый вверенным себе отрядом. И какое множество восхитительных зрелищ в пределах неба!

...под кущами райских садов...

Сколько там поприщ, по которым протекают блаженные боги,

40

Он пел о блаженстве безгрешных духов

.....

И звук его слов заменить не могли
Ей скучные песни земли.

«исполняя всякий свое дело! Следуют же они за Зевсом, поколику всегда хотят и могут; так как ненависть находится вне сонма богов...

— Они глядели в глаза друг другу, и в глазах их была любовь», как запомнил, около «оскорбленной девочки», «Смешной человек». Но вот и радостный полет, как у него: «Но, отправляясь на праздник и пир, они едут под высшее пространство небесного свода уже вверх по наклонной плоскости. Поэтому колесницы богов, послушные их управлению, катятся ровно и легко, а прочие — с трудом; потому что конь, причастный злу, не быв хорошо вскормлен возничими, как-то 10
тяжел, порывается и тяготеет к земле. Отсюда в душе рождается беспокойство и упорная борьба. Души, называемые бессмертными, достигнув вершины и вышедши вне неба, становятся на хребте его...

— Неужели... неужели это наша земля? И разве могут быть в природе такие повторения...».

Стоя на нем, оне вращаются вместе с орбитой и созерцают занебесное. Места занебесного, вероятно, не воспевал никто из здешних поэтов и никогда не воспевает как надобно.

— О, они называют меня теперь смешным; но... я видел Истину («Сон см. чел.»).

Оно таково — осмелимся уже высказать Истину, особенно когда говорим об истине — оно есть существо бесцветное, необразное, неосязаемое, действительно сущее и созерцаемое одним правителем души — умом; род истинного знания только около его имеет свое место. Итак, мысль бога, питающаяся умом и чистым ведением, и мысль всякой души, любящей принимать должное, радуется, что по временам видит сущее, и, усматривая истину, насыщается и наслаждается ею, пока вращающаяся орбита не придет опять в то же положение. Во время этого кругооборота она созерцает справедливость, созерцает рассудительность, созерцает знание, и не такое, какое мы находим средствами своих умозаключений, но истинно и в себе-сущее. Насладившись зрелищем и других истинно-сущих предметов, она снова опускается внутрь, по сю сторону небесной тверди, и идет домой. По возвращении же ее, возничий, поставив коней к яслям, дает им амвросии и сверх того поит их нектаром. Такова жизнь богов. Что же касается до прочих душ, то 30
одне из них, наилучше следуя за богом и подражая ему, выникают головою возничего по ту сторону тверди и увлекаются также орбитой, но обеспокоиваемые конями, с трудом созерцают истинно и в себе — сущее; а другие то выникают, то опускаются, и насилуемые конями, иное видят, иного — нет. Некоторая же, наконец, сколь ни сильно хотят оне подняться вверх, от слабости погружаются, падают стремглав, попирают, давят друг друга и стараются войти в мир явлений...

Прорваться сюда, по сю сторону, в земное существование — начать построять «земного человека» если бы в $\lambda\alpha\iota\delta\iota\omicron\nu$ 'е завеса могла быть прорвана; отсюда, как увидим гораздо ниже — «земная» рождающая «Афродита» в противоположность «небесной», $\lambda\alpha\iota\delta\iota\omicron\nu$ 'ической: «В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит... Чтобы выдержать 10 секунд — надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как ангелы Божии. Намек...» («Бесы», стр. 528). 40

...От этого стремления — волнение, толкотня и чрезвычайный пот. Многие из них при этом случае, от глупости возникших, делаются намеками, многие много ломают перьев, а все вообще, после таких трудов, остаются непосвященными в созерцание сущего и идут, чтобы нищенски выпрашивать чужого мнения. Но отчего [в душах] эта неугасимая жажда видеть поле истины, где она находится? Оттого, что приличная пища благороднейшей части души добывается только с той пажити *, и природа пера, облегчающая душу, питается только тою пищею. Да таково и определение Адрастеи (от «δράω» и значит — «неизбежность», «жизненная необходимость» природы), что, следуя по стопам бога и отчасти видя истину, душа до другого кругообращения остается безопасною, и если всегда
10 может делать то же, то вред никогда к ней не прилипает. Напротив, когда, не имея силы следовать за богом, она ничего не видит и, подвергшись какому-нибудь бедствию, помрачается забвением и злом, так что отяжелевает и, отяжелев, роняет перья и падает на землю: тогда опять закон — при первом рождении не поселять ее ни в какую животную природу, но много созерцавшую вводить в зародыш человека...

Замечательно: т. е. все описанное есть именно предэмбриональное состояние человека; кстати, подробность: «преимущественное внимание» открыло Платону, за 2000 лет до изобретения микроскопа, сущность мужского семени, и он первый, к удивлению историков философии и физиологии, высказал мнение — «видение», что семя это не есть просто густая и липкая жидкость, а содержит живые
20 и одушевленные существа в себе, «ζωά σπερματικὰ», истинные «зародыши человека».

...в зародыш человека, имеющего быть философом, или любителем прекрасного, или каким музыкантом, или Эротиком (ἔρωτικός); вторую затем — в будущего законного государя, либо в военачальника, либо в правителя; третью — в политика, в домостроителя, или в промышленника; четвертую — в трудолюбивого гимнастика, либо в будущего
30 врача тела; пятую — в человека, имеющего вести жизнь прорицателя, или посвященного; шестая будет прилична поэту или иному мимику, седьмая — художнику, либо земледельцу; осьмая — софисту, или народному льстецу; девятая — тирану. И во всех этих состояниях, живя праведно, она получает лучшую участь, а неправедно — худшую. Но
40 в состояние, из которого вышла **, каждая возвратится не прежде, как через десять тысяч лет; потому что до того времени не окрылится, — разве то будет душа человека, без хитрости философствующего или по-философски предающегося παιδίων'изму (παιδεραισθησάντος μετὰ φιλοσοφίας)...

Вот точные уже слова о средстве «окрыления» души, отрастания у нее «перьев» и приближения ее к потустороннему миру, «мирам иным, которых мы касаемся» — Достоевский или «созерцанию истинного и в-себе-сущего» — Платон. Платон, как и Достоевский впрочем, знали это непосредственно — и «Пир», «Федр», как и XIV томов нашего писателя ветвятся на проповедь или «доказывание» этого пошпел'ального мира («и пойду!»). Или на разгадку, почему, как он
40 им раскрылся: усилия «диалектики» Платона, «психологии» Достоевского:

— Правда ли, правда ли, что в то самое время, как вы насаждали в этого маньяка Кириллова Бога — в Петербурге вы принадлежали к скотскому сладострастному секретному

* Т. е. которую мы описали.

** Т. е. до-эмбрионального состояния, созерцания истинно и в себе-сущего.

обществу? Правда ли, что маркиз де-Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей? Говорите, и если это правда, я вас убью — тут же, на месте.

— Правда, но... детей не я развращал, — ответил, но после слишком долгого молчания. Он побледнел, и глаза его вспыхнули.

— И будто вы уверяли, что не знаете различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества? Правда ли, что вы в обоих полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?

— Так отвечать невозможно... Я не хочу отвечать («Бесы», 230—231).

Но эти, для кого бы то ни было страшные порывы, как бы с «ста тридцатью 10 градусами мороза» около спины — не покупаются «так» и если покупаются — значит, для того, что стоит именно этой цены:

Жена, на голове ее диадема из 12 звезд, облечена в солнце и под ногами ее луна: она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения.

...Дракон стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца (Апокал., гл. 12, ст. 1—2).

Вот расположение — величайшего греха и очевидно величайшей правды; добро и зло в формах анатомического их сплетения. Так в Апокалипсисе, так у Платона, — у Лермонтова, Достоевского. Везде взят возраст и пол; весенняя липкость, и именно в миг и в точке наибольшего «весеннего напряжения». В обра- 20
зае Апокалипсиса, в объясненном *παθίον'ε*, и, как приблизительно можно угадывать у Достоевского равно трансцендентный, и жертвою всем, порыв «коснуться» (Дост.), *μετέχειν* (соучаствовать, приобщиться — у Платона), «пожрать», т. е. внутренне себе усвоить (Апок.), то перед чем...

— Это вы зажгли лампаду?

— Я зажег.

Около чего мы слышим восклицания:

— Я видел Истину, я созерцал ее... (Дост.).

— Всякая душа бессмертна (Плат.).

И вот, теперь уже до последних оснований становится ясна и эта картина: 30

Вся в цветах — лежала в гробу девочка... Распущенные волосы ее были мокры. Ни образа, ни зажженных свечей не было около гроба. Это была самоубийца. Ей было только 14 лет, но это уже было разбитое сердце, и оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшею и удивившею ее детское сознание («Прест. и нак.», 465).

Возраст Федра, т. е. соответственно полу — уменьшенный; первая менструация у ней, первое у него семя. «Ни образа, ни зажженных свечей». Таинственный инстинкт подсказал художнику — «в цветах». Сочетание идей смерти и брака. Сейчас же ему снится, затем, другая девочка — пяти лет: «с румяными губами, лукаво светящимся глазком, и которая, бесстыдно смотря на него, — тянется к нему и манит его к себе». — Снимем с нее картину и перенесем на первый сон: 40
перед пошпен'альным порывом — также бесстыдно маня, и маня дальше, глубже — 14-летняя девочка обнажается перед ним и «золотая», как Федр, открывает чресла. Те же «цветы» и «свечи вокруг», но они вспыхивают.

— Это вы зажгли лампаду?..

Лоу'ическое ее лицо толкнуло пошпен'альное лицо другого, кто шел к ее же пошпен'у, чтобы зажечься от него мистическим огнем «истины», «бессмертия». Масло пролито, лампада разбита. Она ничего не знала о надписи $\gamma\upsilon\omega\theta\iota\ \sigma\acute{\epsilon}\ \acute{\alpha}\lambda\upsilon\tau\acute{o}\nu$. И ее лоу'ическое лицо было разбито вихрем из «бури». Лачуга пала, раздалась по сторонам, обрушилась к «недоумению» ее разумного распорядителя, ибо изнутри ее вдруг побежали к небу стены, фронтоны, портики тысячелетней давности, несокрушающейся прочности.

С необыкновенною пронизательностью, но недоумевая («вас убить надо») и, следовательно, вполне искренно Достоевский заметил, в приведенном отрывке, «совпадение красоты», т. е. качественное, а не в напряжении только, не в одной жгучести наслаждения. Различие стирается, вдруг куда-то, к ужасу, но и бесспорно, пропадает между «жертвою для человечества» и «зверскою сладострастной штукой». Тут, без сомнения, есть доля личного наблюдения, потому что нельзя представить себе цепи силлогизмов, через которую это могло бы быть познано: «Я видел истину», хотя за нее же «убить надо!». Из аналогий с другими местами у него, можно заключить, что сущность «красоты» здесь заключается именно в постижении какой-то, о которой не было догадки, истины; и что в таинственный и потрясающий миг, когда бы, кажется, «надо убить человека» или, по крайней мере, «тысячу лет плевать потом», была исполнена какая-то правда, опять же не подозреваемая, не задумываемая, но невольно сорвавшаяся, конвульсивная, относительно этой истины. В благоуханном, тонком и нежном «Дневнике Амьеля» (редакция Толстого, перевод его дочери) есть в сущности тождественное, и бесспорно также на личном опыте (подобные вещи «не подсматриваются») основанное замечание (цитирую на память, бесспорно не ошибаясь в мысли): «что за удивительное создание человек: его ум так высок, сердце — так деликатно, душу его наполняют высочайшие интересы — и в некоторые миги он совершает что-то до того позорное и пакостное, что вбрасывает его в стадо животных и, может быть, ниже». Здесь и там идет речь о sexual'ном; sexual'ное оказывает такую мощь над человеком, что он гасит гений свой... перед чем? — стыдно ответить. Но будем искать глубже: перед чем же? Разгребем тысячелетия космического затаивания, и опять спросим — перед чем? Что за тайна. Ясно, что если «мой» гений гасится — он встретил что-то высшее, чем он? Самолюбие так присуще человеку, не оставляет его в самые потаенные минуты, — да и есть же другой, пусть один, но свидетель при этом, что совершенно очевидно присутствие здесь высшего чем гений. В чем бы «сладострастная штука» ни состояла, мы не можем представить такой, где она состояла бы в холодности, равнодушии, неуважении к sexus'у и точке его выявления. Совершенно напротив, все, что мы можем представить здесь, — есть невероятная, не описуемая, не изреченная форма повышенного уважения к этой точке, пламенения к ней — до забвения мира и себя, до «плева-
40 ния тысячу лет» или «убить надо». «Меня» убить надо за способ особенного, непредставимого, у меня вырвавшегося обожания к тому, мимо чего обычно мы проходим, не замечая, не обращая внимания, и отдаем должное, но в меру. Здесь «потеря всяких мер» — но, однако, очевидно в уважении. И в миг, «когда я лечу тормашками вверх и головою вниз», по живописному описанию Митеньки Карамазова, — тут же, в эту странную секунду, по признанию Ставрогину, я — «чув-

ствую себя так, как если бы шел на жертву за человечество». Вот факт, о коем Достоевский сказал нам — «я видел истину», и остановился растерянный, и забормотал: «человека сузить надо». Но в этом повороте мысли — ребяческое заблуждение, ибо совершенно очевидно, из апологии Платона очевидно, что не «широкость», не «Митенькина распущенность» здесь имеет положительное значение, но положительное значение лежит в таинственной точке, в таинственном и вовсе неразгаданном значении *sexus*'а. *Noumen*'альное лицо, «бара», *ordo regum* в противоположность *ordo pominum* и, в последнем анализе...

— Приведите Вия.

Настала тишина, и вслед за ней послышались шаги. Взглянув искоса, Хома увидел, что ведут какого-то приземистого, дюжего, косолапого человека. Весь был он в черной земле. Как жилистые, крепкие корни, выдавались его засыпанные землею ноги и руки. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. С ужасом заметил Хома, что лицо было на нем железное. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.

— Подымите мне веки: не вижу! сказал подземным голосом Вий, и все сонмище кинулось подымать ему веки.

— Не гляди, шепнул какой-то таинственный голос философу. Не вытерпел он и глянул.

— Вот он, закричал Вий и уставил на него железный палец» (*Гоголь*). 20

Всемирное видение, но которое видит при помощи моего глаза. И только гном, т. е. что-то частное и местное. Космическая улыбка, о — миллиарды улыбок, рассыпавшихся по лесам и долам; весенняя цветень, «с длинными прозрачными придатками — крылышками», как ресницы у *Marie* Болконской; груди, какие могли только померещиться Гоголю, в которых купается земля и он жадно сосал ее сосцы, причем вся Россия, в $\frac{1}{6}$ часть земной поверхности, ему представилась, на лоне этой груди, чем-то вроде конурки Акакия Акакиевича... Да, но глаз гнома видим при помощи моего глаза, и пососать сосок этой таинственной груди я могу только сося сосцы действительной женщины. Пусть очень некрасива она — но это «мой» глаз и он ничего не убавляет в видении гнома. Гном — *все* 30 видит, у него — *всевидение*; и таинственный сосок, около которого не только Гоголю Россия показалась «с овечью шкурку», но и запах молока этой груди «приводит в исступление» (Платон) всю природу и одну половину ее соит'ально бросает на другую, причем она действительно «исступленно» кричит, щебечет, топчется... Он мне торчит, показывается... из-за сорочки 14-летней Нины. Хома «взглянул», даже когда ему было очень страшно, и таинственный голос его предупредил «не смотреть». Взглянул на безобразие, на свою гибель посмотрел в очи смерти. Но тут нужно посмотреть «в очи» жизни; не всегда бывает таинственный голос; или, точнее, именно таинственный голос, вопреки «общему мнению» (Платон) говорит, что — в самом деле тут подлинная, *poimen*'альная жизнь, 40 коей личное бытие Свидригайлова есть загрязненная тряпка, оставшаяся от блистающих, царственных, универсальных одежд. И вот эта «тряпка», «вонючая» и «грязная» цедит в себя космическое молоко; сосет, кусает вдруг засмеявшийся ему сосок; и, словом, около бедной 14-летней Нины выделяет «зверскую, сладострастную штуку» совершенно ярко и отчетливо сознавая, что это «тоже на-

слаждение», «тоже красота», как если бы в мученическом венце он шел страдать за человечество. О, больше; ибо все тут — небесное, поупен'альное, *ordo rerum*, около которого всемирная история мотается тоже грязною тряпкою; или, пожалуй — растет «водорослью», которая «вырастает из тех самых мест, где должны были быть женские половые органы» (*Энциклопед. Брокгауза и Ефрона*).

10 Душа не окрылится, разве то будет душа человека бесхитростно философствующего или предающегося *λαιδίον*'изму по-философски («*λαιδεραστήσαντος μετὰ φιλοσοφίας*»). Такие души, если оне трижды сряду избирали одну и ту же жизнь, в третьем, тысячетном кругообороте и, наконец, окрыляются и в трехтысячном году отходят; прочие же, совершив первый период, являются на суд и, по приговору суда

<Масpero. Суд подземный.>

одне из них, сошедши в подземные жилища, получают наказание, а другие возводятся судом на некоторое небесное место и живут применительно к тому, как жили в образе человека. В тысячном же году те и другие отправляются для получения и избрания второй жизни, и — избирают, какую каждая хочет. Тогда человеческая душа переходит и в жизнь животного, а из животного, бывшая некогда человеческою, — опять в человека; потому что никогда не выдавшая истины не получит этого образа. Ведь человек должен познавать истину через посредство родового (*Ἔϊδος*), т. е. понятий, составляющихся из мно-
20 гих чувственных представлений, приводимых рассудком воедино; а это делается через воспоминание о том, что душа знала, когда сопровождала бога, и, презиравя все, называемое ныне существующим, приникала мыслию к истинно-сущему

...О Боге великом он пел — и хвала
Его непритворна была.
И звук его песни в душе молодой
Остался без слов, но живой.
И долго на свете томилась она,
Желанием чудным полна;
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

30 Потому-то достойно окрыляется только мысль философа, так как его воспоминание, по мере сил, всегда направлено к тем предметам, к которым направляясь сам бог есть существо божественное. Такими-то воспоминаниями пользуясь правильно, человек достигает полного освещения и один бывает истинно-совершен. Правда, чуждый житейских забот и преданный божественному

И долго на свете томилась она

он терпит укоризны толпы,

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо...

он терпит укоризны толпы, как помешанный:

40 Глупец — хотел уверить нас...

но толпа не замечает, что он в энтузиазме.

— О, теперь все они смеются надо мною, и указывают пальцами и называют «смешным». Но что́ мне: я видел истину, и пойду — хотя бы на тысячу лет («Сон смешного человека»).

Так вот куда, любезный Федр, привела нас речь о четвертом роде исступления. В нем находится тот, кто, видя здешнюю красоту и вспоминая о красоте истинной, окрыляется, и, окрылившись, пламенно желает лететь вверх. Еще не имея сил, он уже, подобно птице, смотрит вверх, а о дольнем не заботится, как будто и в самом деле сумасшедший.

И вот, в пустыне я живу,
Как птицы, даром Божьей пищи.

Такой восторг, по самому происхождению своему, лучше всех восторгов — и для того, кто сообщает его, и для того, кому он сообщается. Причастный такому исступлению, любитель прекрасного — он-то и есть эротик. Всякая человеческая душа, как сказано, по природе своей созерцала сущее; иначе и не вошла бы в это животное. Но вспоминать по здешнему о тамошнем легко не для всякой: это не легко и для тех, которых созерцание там было кратковременно, и для тех, которые, ниспадши сюда, подверглись бедствию, т. е., под влиянием каких-нибудь обществ уклонившись к неправде, забыли о виденных им некогда священных предметах. Остается немного душ, у которых еще довольно памяти; да и те, видя какое-нибудь подобие тамошнего, так поражаются им, что выходят из себя и, не имея достаточно разборчивого чувства, сами не понимают, что значит страсть их. Притом в здешних подобиях справедливости, рассудительности, и в других, для души драгоценных, вовсе нет блеска. Приступая к образам с тусклыми своими орудиями, немногие — и то с трудом — созерцают вид образуемого. Восхитительно было зреть красоту тогда, когда вместе с хором духов следуя за Зевсом, а другие за кем-либо из других богов, мы наслаждались дивным видением и зрелищем, посвящены были в тайну, блаженнее которой и назвать невозможно, — когда мы праздновали ее, как непорочные и чуждые зла, ожидавшего нас в будущем. Допущенные к непорочным, простым, постоянным и блаженным видениям, и созерцая их в чистом сиянии, мы и сами были чисты...

— И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, они целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста; можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие... («Сон смешн. челов.», т. XII, стр. 126).

«... Мы и сами были чисты и внеогильны, т. е. вне этого тела, связывающего нас, как улитку раковина. Итак, да припишется это воспоминанию, что, при его посредстве, жажда тогдашнего произвела ныне такое длинное рассуждение. Что же касается до красоты, то она блистала, как сказано, существуя еще там, — с видениями; пришедши же сюда, мы заметили живость ее блеска и здесь, и заметили его яснейшим из наших чувств. Ведь между телесными чувствами, зрение слывет у нас самым острым, которым, однако ж, разумность не постигается; иначе она возбудила бы сильнейшую любовь, если бы могла представить зрению столь же живой образ себя и все достойное любви в себе. Ныне этот

жребий принадлежит одной красоте; ей только суждено быть нагляднейшею и любезнейшею. Впрочем, не свежепосвященный или застаревший в грязи стремится не сильно отсюда туда — к красоте в самой себе, если ее знак и узрит на ком-нибудь здесь: без уважения и ища удовольствия он дерзает взлезать по способу четвероногого и обсеменяет прекрасное. Думая о сладострастии, он не страшится проводить жизнь в наслаждении, несообразном природе красоты...

Здесь ясно отрицается coitus, и сейчас мы увидим как бы «зажигаемую лампаду», склонение и, может быть, начало поклонения:

10 Напротив, свежепосвященный и долго созерцавший тамошнее, при взгляде на богообразное лицо, хорошо впечатлевшее на себе красоту, или какую-нибудь бестелесную идею...

— Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не спрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего... Эти люди не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что и они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих... («Сон смешн. челов.», XII, стр. 126—127).

20 ...сперва приходит в трепетное волнение и объемяется каким-то страхом потустороннего бытия; потом, присматриваясь, чтит его как бога, и если бы не страх прослыть потерявшим память в исступлении — он приносил бы жертвы любимому мальчику, будто священному изваянию или богу. Видение красоты, через какое-то содержащееся в нем чувство страха, изменяет его, бросает в пот и разливает в нем необыкновенную теплоту. Принимая через орган зрения истечение прекрасного, которым увлажняется природа пера, он становится тепел; а посредством теплоты размягчается все, что относится к возрастанью, и что прежде, находясь в состоянии затвердения, препятствовало росту. Когда же приток пищи открылся, — ствол пера, вздымаясь и поспешно выбегая из корня, разрастается во всех видах души; потому что некогда она была вся перната...

30 Здесь мы имеем, почти имеем мысль о субъективном coitus'e, как осново-начале роста; и о coit'альном дуновении —

Восходит чудное светило

как вообще природе, или фундаментальной части природы души. И «рост» тела, и «окрыление» души бегут от созерцания тела прекрасного мальчика.

40 В это время душа целым своим существом кипит и брызжет и, какое страдание бывает от зубов, когда они только что начинают расти, т. е. зуд и несносное раздражение десен, то же самое терпит и душа человека, начинающего выращивать перья: выращивая их, она находится в жару, раздражается и чувствует щекотание. Взирая на красоту мальчика и приобщаясь истекающим из нее частицам — μέρη, откуда происходит и ἕμερος = вожделение — она подымается в каком-то вихре, разжигается, испытывает легкость от скорбей и радость. Когда же одна остается — отверстия, из которых спешат выбиться перья, засыхают, а засыхая, сжимаются и замыкают в себе ростки перьев. Эти ростки, вместе с вожделением замкнутые внутри, бьются наподобие пульса и толкаются во всякий прегражденный им выход; так что душа, изъязвленная со всех сторон, мучится и терзается, и только одно

воспоминание о прекрасном радует ее. Смешение этих противоположностей повергает душу в странное состояние: находясь в междучувствии, она неистовствует, и, как бешеная...

Давно, очень давно мне пришлось прочесть один № «Архива судебной медицины», журнала, кажется не существующего более: «изучая письма трибадисток (я цитирую по памяти, везде сохраняя верность мысли, ярко поразившей меня некогда; «трибадистки» — женская форма *τριβιδίων*'а), мы находим их изложенными в такой форме исступления, какую напрасно искали бы в переписке обыкновенных любовников; все муки ревности, самая нежная любовь, величайший страх ее потерять — волнуют несчастных». К сожалению, я не помню ни года, ни № журнала, прочитанного мною лет 12 назад, но и тогда он был старый, «завалившийся». Ниже время от времени я буду ссылаться на него, называя просто «№ Арх. Суд. Мед.».

...Как бешеная, не может ни спать ночью, ни оставаться на одном месте днем, но бежит с своею жаждою туда, где думает увидеть обладателя красоты.

Жест затаивания нигде не допускает Платона назвать вещи их именем, хотя порыв — «Я видел Истину» — и нудит употребить термины, под покровом коих читателю была бы очевидна истина. «Красота» в ее скульптурном, мраморном смысле не имеет здесь никакого места; трудно предположить, чтобы все любимые так исступленно мальчики были скульптурно красивы, и еще труднее допустить, чтобы между мужчинами, напр. в Аполлоновом возрасте, не было вовсе более красивых: но нужен не Аполлон в его Бельведерской красоте, а возраст в его весенней липкости. Почему также исключены девушки? Как девушками-трибадистками исключены мальчики? Нужен бегрешный, или ближайший к безгрешному («пятилетняя») возраст; равный с собою, т. е. исключаящий «*usus fructus*», корысть от обращения с ним — пол. Это — отношение к полу, именно к нему, но в безгрешный миг его возраста — таинственное и огненное слизывание его липкости: буквальное повторение с *genital'*иями, но всего того, во всех и, может быть, еще более ярких и внутренних подробностях, что инстинктивно и бессознательно делаем мы с листом березы, попутно срываемым на прогулке:

Как волки любят ягнят — так любовники мальчиков любят

— этот стих, вставленный вдумчивым («семь редакций») Платоном — вставлен не без намерения показать существо *τριβιδίων*'а именно как огненного лобзания *genital'*ий, «*μετέχει*», «касания» и внутреннего усвоения их «весенней клейкости». Напрасно *in ordo nominum* искали бы мы «эстетических» мотивов описываемого Платоном, и упорно им повторяемого — «безумия», «исступления». Тут мы имеем «бара», «чресла» и бурю вихрей, только ими возбуждаемых в человеке.

...а увидевши мальчика и еще более воспламеняясь в своем вожделении, дает простор тому, что было прежде заперто, и, успокоившись, освобождается от уязвлений и скорби, и в те минуты питается сладчайшим удовольствием.

Замечательно это вторичное упоминание об «освобождении от скорби»: ясно («я видел Истину!») что здесь в бесспорно плотское, *genital'*ное — замешано и бесспорно психическое; и слова Достоевского, так потрясающие нас: «нашел

совпадение в красоте с каким угодно подвигом, хотя бы жертвою жизнью для человечества», может быть, имеют здесь свое приложение, а для себя находят лучшее объяснение. Человек успокаивается «как бы совершив жертву за человечество»; «не чувствует скорби» — поясняет Платон. Он сделал что-то космически истинное и должное: да что же сделал? Но он чувствует «радость» (Платон), «снятую ношу скорби» и именно «с души» (он же) — после знака, signum'a величайшего, не выговариваемого, потрясающего склонения перед genital'ями*.

Поэтому любящий своею волей ни на минуту не оставляет своего красавца и никого не почитает прекраснее его.

10 Это — форма настоящей влюбленности:

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша (*поэма Богдановига*),

т. е., как и у Ромео с Юлией, при бесспорно sexual'ном тяготении — пол именно выявляется как лицо и тяготеет к лицу же в поле, без мысли и возможности заместиться или для себя заместить иным лицом то единственное и определенное, к которому sexual'но пылает.

Тут забываются и матери, и братья, и друзья; тут нет нужды, что через нерадение гибнет имущество. Презрев все обыкновенные правила своей жизни и благоприличия, которыми прежде тщеславилась, она готова рабствовать и, где позволяют, лежать сколько можно ближе к своему желанному, потому что не только чтит его, как обладателя красоты, но
20 и находит в нем единственного врага величайших своих скорбей. Эту-то страсть, мой прекрасный мальчик, я говорю тебе — люди и называют Эросом.

Теперь будем внимательны:

но услышав, как называют ее боги...

Т. е., что она есть в самой себе:

ты, по молодости, непременно будешь смеяться

— Зачем тебе мое имя? Оно — чудно...

Об Эросе есть два стиха, которые, как я полагаю, заимствованы из тайных стихотворений какими-нибудь омиристами. Из этих стихов один очень нескромен и слишком неуклюж; поются же они так:

30 Это пернатое у людей называется Эрос;

Но за птичий к похоти зуд — у богов оно Птерос (= крыловращатель)

Приведенным стихам можно верить и не верить: но причина и страсть людей любящих — это самое.

Т. е. именно не мраморно-скульптурная красота, но «птичий к похоти зуд», и, как памятно определил Федор Павлович: «деточки — поросяточки: и какую же это вельфильку обошли мимо»; или, перенося в παιδίον и устраняя «μετὰ

* В женской форме παιδίον'a все это совершенно бесспорно; да и Платон настойчиво говорит об отсутствии coitus'a «при философском понимании» его, и при бесспорном же отсутствии роли мраморной красоты — несомненно здесь дело идет об огненных ласканиях, «всеми
40 чувствами» (см. выше).

φιλοσοφίας» coitus, — мы будем иметь неутолимую жажду волнующегося «в обладателе красоты» семени и огненный к этому семени порыв «всеми чувствами».

Итак, когда под власть того пернато-именного подпадает кто-нибудь из последовавших в горнем полете за Зевсом — он может нести тяжелейшее бремя...

По Платону — Зевс есть образ высочайшего разума; замечательно, что и из душ именно те, которые за Зевсом следовали, т. е. особенно мудрые, подпавши «пернато-именному» — «всякие бремена ради его переносят»: т. е. становятся в положение пассивное, покорное и как бы «если б не страх прослыть безрассудным — приносил бы даже жертвы богу». В обратное отношение, именно в активно-властительное, становятся души грубые и тупые, не за Зевесом (= разумом) следовавшие: ¹⁰

Напротив, сопутствовавшие Арею, если они бывают пойманы Эросом, кровожадны и готовы принести в жертву своей страсти себя и своего любимца. То же и по отношению к каждому другому богу: за которым из них кто следовал, того он и чтит безотчетно, тому бессознательно и подражает, соответственно ему и живет; пока не развратится и не совершит первого попроща бытия, — в соответственных богу своего горнего следования связях и сношениях он находится с любимцами и прочими людьми. Посему каждый избирает себе Эроса красоты по нраву, создает и украшает его, будто статую самого бога — с намерением приносить ему в жертву свое почитание и свои восторги.

Замечательна эта тенденция в Платоне, перед слушающим его мальчиком, высветить жажду в себе в сущности divinationis: «почитание», «восторги» — но главное «в жертву» и как бы «перед статуею бога». ²⁰

Так, например, следовавшие за Зевсом ищут в своем любимце души какой-то зевсовской, т. е. наблюдают, философ ли он и вождь по природе, и по крайней мере со своей стороны употребляют все силы, чтобы сделать его таким. Люди этого рода, хотя бы прежде и не занимались подобными предметами, теперь решаются, откуда только можно, узнать их, и сами доходят.

Исследывая шаг за шагом природу своего божества чрез собственные усилия, они получают успех, потому что бывают принуждены неослабно взирать на бога; когда же постигают его своею памятью, тогда, приходя в восторг, заимствуют от него нравы и наклонности, сколько может человек приобщаться божественному. И так как этим они почитают себя обязанными любимцу, то еще более любят его и, почерпая свое сокровище из недр Зевса, подобно вакханкам, переливают его в душу любимца и стараются, чтобы он, сколько можно более, походил на их бога. ³⁰

Пол и возраст, волнуемая ласками и таинственно волнующая, «исступляющая» «весенняя клейкость» любимца, есть — как здесь ясно выражено — средство познания, читаемая книга, из коей узнается поупен'альный мир. «Бог познается по мальчику», говорит твердо Платон; и — конечно, он познается не в его отсутствие и не без ласк с ним: παιδίον, или, как он определил выше, — «παιδερ-α-οτήσωντος μετὰ φιλοσοφίας», это есть почти метод, почти школа, бесспорно составлявшая душу Платоновской Академии, не пройдя восторгов и «исступления» ⁴⁰ которой ничего «истинно сущего» и постигнуть нельзя; в частности, никакому человеку нельзя отчетливо и ярко вспомнить образа бога, за коим было его горнее следование: и по прототипу коего образована его душа; или, как эту же

мысль выразил Достоевский: нельзя коснуться небесных корней «потустороннего двойника» (Приживальщик Ивана Кар-ва):

На земле воистину мы как бы блуждаем, и погибли бы, и заблудились бы... Но даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи (опять — не логической, но жив-ой) с миром горним и высшим; и корни наших чувств и мыслей — не здесь, а в этих мирах иных. Бог взял семена из миров иных, и посеял на сей земле и взрослил сад Свой, и возшло все, что могло взойти, но взрощенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным миром иным; если ослабеваает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взрощенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен («Бр. Кар.», I, 357).

10 Это та же самая мысль, которая центрально развивается в Федре, и родник ее здесь и там виден для нас:

А у богов, за птичий похоти зуд — оно Птерос.

...Таким же образом, последовавшие за Ирою ищут любимца царственного, и, нашедши его, поступают с ним, как и прежние. То же происходит со спутниками Аполлона и прочих богов: все они ищут себе мальчика, следуя своему богу, и как скоро его находят, то, сами управляясь подражанием ему, вместе с тем и своего любимца ведут посредством убеждений и настроения к соответственным тому богу свойствам и к самой его идее; конечно, насколько у каждого достанет для этого способностей. Они не действуют на избранный, — как это предположил Лизиас, — ни ненавистью, ни грубыми вспышками, но
20 все свои действия согласуют со всевозможным старанием непременно вести его к совершенному подобию себе и богу тому, которому воздают почтение. Итак, заботливость и внутренние, о которых я говорю, наставления людей, истинно любящих, достигая своей цели, бывают прекрасным благодеянием избранному другу со стороны друга, истинного любовию. Склоняется же избранный следующим образом:

ЛII

Как при начале своей речи я разделил каждую душу на три вида, и два из них представил под образом коней, а третий под образом возникшего: так пусть это останется у нас и в настоящем случае. Но, сказав, что один конь добр, а другой — нет, мы тогда не объяснили, в чем состоит доброта первого и зло последнего: объясним же теперь. Один из них
30 отличной стати, с виду прям и хорошо сложен; шея его высока, нос дугою, шерсть белая, глаза черные; он любит честь, однако ж вместе рассудителен и стыдлив; он — друг истинной славы, не дожидается удара, но слушается одного приказанья и слова. Напротив, другой — крив, безобразно расплылся в толщину и крепкоуз; шея его коротка, нос вздернут, шерсть черная, глаза синие и подернуты кровью; он — друг похотливости и наглости, около ушей космат, глух ко всему и едва слушается бича и удил. Итак, когда возничий, видя любящее лице, согревшее всю душу его теплого чувства, возбуждается тревогами щекотания и страсти, — один конь, послушный ему и в то время, как всегда, удерживается стыдом и умеряет себя, как бы не взлезть на любимца; напротив...

Здесь мы должны припомнить «матросов», «функцию».

40 Напротив, другой не укрощается ни удилами, ни бичем, но прыгая, насильственно тянет колесницу и, всячески надоедая как своему товарищу, так и возничему, понуждает их идти к любимцу и оставить память любовных наслаждений.

Т. е. coitus'a: память на нем, любимце. Разумеется активное к нему отношение.

Сначала они с негодованием противятся ему, так как влекутся им к постыдному, ужасному и незаконному, но потом, не видя конца злу, последуют его влечению, уступают ему и соглашаются сделать по его желанию. Вот они уже близко и видят светлый взор любимца. В возникшем, при взгляде на него, пробуждается воспоминание о природе красоты, которую, как утвержденную на непорочном основании, он снова созерцает с рассудительностью, созерцая же, поражается страхом...

Здесь все термины религиозного отношения; почти не нужно, после сделанных объяснений, что везде, где пишет Платон «красота», ее нужно понимать именно как «красота» и у Достоевского: волнующее любящего, и родники чего ищутся в Федре; частный — это у Платона одноименный пол и почти еще безгрешный возраст.

...и, от благоговения, отбрасываясь на спину, так сильно тянет назад возжи, что оба его коня садятся на крестцы, — один охотно, потому что не имеет противного стремления, а другой — похотливый — совершенно против воли. Отошедши далее, первый из них, от стыда и изумления, всю душу орошает потом, а последний, избавившись от боли, которую причиняли ему узда и падение, и едва дыша от гнева, начинает браниться и сильно поносить как возничего, так и своего товарища, что, по трусости и малодушию, они нарушили порядок и согласие; потом, убеждая их снова подойти, едва уступает их просьбе отложить это до другого времени. Когда же предназначенное время наступило...

Здесь разумеется наступившее время «функции», активной со стороны любящего — «потребность».

...а добрый конь и возничий притворились, будто забыли, он напоминает, насилует, ржет, влечет, заставляет снова приблизиться к любимцу и повторяет прежние свои слова, а приблизившись — сгибается, раскидывает хвост, закусьивает удила и рвется с крайним бесстыдством. Но возничий, исполняясь знакомым себе чувством, еще более прежнего переваливается как бы за перегородку козел и с такою силою оттягивает узду из зубов похотливого коня, что обгаряет кровию похотливый его язык и скулы, повергает его на лядвеи и крестец и дает ему чувствовать боль. Терпя это часто, лукавый конь наконец оставляет свою похотливость, послушно следует воле возничего и, при виде красавца, чувствует страх; так что душа любящего теперь обращается с любимцем уже стыдливо и уважительно. Но как скоро последний, для любви непритворной и действительно чувствуемой, становится существом равным богу...

Удивительно; вся тайна παιδίου'a по-видимому в этой пассивности: «постыдно, ужасно и незаконно» (см. выше) осеменить любимца, таинственно волнуясь в то же время около его (см. ниже) genital'ий, да и как бесспорно выражено в стихе:

А у богов, за птичий похоти зуд — это Птерос.

Да, «Птерос» т. е. «крыловращатель» (слово изобретено Платоном: в составе греческого языка его нет)... и перед ним степень склоненности от «желтого, с края чуть-чуть осталось зеленого, листа», которую страшно повторить:

Становится существом равным богу и предметом всяческого почитания, — то, располагая самую природу быть другом своего почитателя, он с его дружбою сочетавает

свою собственную. И если сперва, разубеждаемый товарищами детства или кем другим, что стыдно сближаться с любящим, он и убегает от него: то, по прошествии некоторого времени, возраст и потребность все-таки приводят его в сообщество с ним. Видно, не определено злomu дружитья со злым, а добромu не сводить дружбы с добрым. Сближаясь же с любящим, вступая с ним в разговор и обращение, он вблизи сильно поражается его благорасположением и чувствует, что пред боговдохновенною дружбою любящего дружба всех прочих друзей и домашних ничего не значит...

Т. е. sexual'ное отношение, раз оно открылось между людьми, в какой бы это ни было форме и между кем бы ни было, по яркости и многоплодности своей перешивает всякие другие отношения. Мы в этих целях начали изложение платонизма коротенькою речью Тришатова о «долговязом Андрееве»: чтобы показать, что в sexual'ном отношении, которое Тришатов имеет (или оно возможно) к однополуму с ним человеку, собственно есть нега и тонкость понимания, которую в обычном порядке вещей мы встречаем лишь в разнополом с собою существе.

Продолжение подобных действий и сближение с любимцем чрез прикосновение...

Вообще раз coitus исключен при sexual'ном отношении, остается осязание. Зрение, обоняние, вкус суть виды осязания, суть истонченнейшие формы, и более жгучие, если предмет волнует — но именно и только осязания. Цель всякого осязания и ошупывания есть в сущности внутреннее усвоение предмета, его поглощение — в эмбрионе; слияние с ним хоть и телесное, однако внутреннее, — при сильнейшем, конечно, напряжении воображения. В обонянии и вкусе предмет осязаемый становится гораздо ближе, чем в обыкновенном ошупывании, к центру восприятия ощущений и вместе волнуемому, склоняющемуся лоу'ическому лицу. Вот почему смолистую почку или липкий листок мы не растираем между пальцами, хотя и при этом достаточно чувствуем их липкость, но подносим к носу, кладем на язык. Перед coitus'ом животные так поступают с genital'иями, и невозможно сомневаться, Платон ясно намекает на это, что так с ними поступается в παιδιον'е: см. ниже — «прикасаются к нему, целовать его, лежать с ним и, уж вероятно, делать следующее затем», но не coitus. Что же есть «следующее sexual'ное после целования», что было бы в категории «целования и касания» и для чего необходимо было бы «ложиться»?

Через прикосновение производит то, что место истечений, названный от Зевса, по поводу любви его к Ганимеду*, вождедением — переливаясь с обилием в любовника часть остается в нем, а часть от переполнения вытекает наружу: то есть как ветер или звук, которые отражаясь от гладких и твердых тел — возвращаются к месту своего исхождения; так и взволнованные токи, изливаясь обратно в тело красавца, служат в нем возбуждением, увлажняют поры перьев, гонять их рост и душу любимца пополняют лю-

* Зевс находился в отношении к прекрасному отроку Ганимеду в отношениях παιδιον'а, и, можно предполагать (по крайней мере в воззрении Платона) без «матросовского» элемента. Тогда данное место Федра с последующими словами об «амброзии» бесспорно раскрывает сущность παιδιον'а как именно огненного лобзания genital'ий и поглощения — частичного ли, полного ли — их «весенней липкости». Собственно это есть огненная форма, и вдвоем, «обычного отроческого порока», замедленное и даже очень длительное, sexual'ное волнение.

бовью. Таким образом, он хоть и любит, но сам не знает что: он и не понимает собственного чувства, и не умеет высказать его; т. е. подобно человеку, который заняв от другого глазную болезнь, не умеет найти ее причину, — он забыл, что в любящем, как в зеркале, любит самого себя.

Здесь Платон объясняет механизм возбуждения любви в самом мальчике. Нет сомнения, в παιδίον'e активная роль принадлежит любящему и состоит в огненных, хотя покорных, нежных, уничиженных, «жертвоприносящих» формах его ласк; но, наконец, она пробуждается и в любимце: пассивном идоле, которому приносятся эти ужасные жертвы. Он их хочет и начинает искать; и ищет жертвоприносящего, привязывается к нему.

10

Поэтому, когда один на глазах, — и любимец, подобно любящему, начинает не чувствовать грусти; а как скоро его нет, — то, опять подобно любящему, жаждает и бывает предметом жажды, насколько взаимную их любовь принимает за образ Эроса (ἔϊδολοῦ ἔρωτος), и этот образ почитает не любовью, а дружбою. Он желает, хотя и слабее, чем любящий, видеть его возле себя, прикасаться к нему, целовать его, лежать с ним и, уж вероятно, делать следующее за тем. Когда же они лежат вместе, — наглый конь любовника знает, что говорит возничему: за великие труды он требует небольшого наслаждения. А конь любимца ничего не может сказать: в любовной горячке и недоумении, он обнимает и целует любовника, лаская его, как человека благорасположенного; и если бы последний, лежа вместе, попросил, то первый со своей стороны, может быть, и не отказался бы оказать ему благосклонность. Но другой конь и возничий снова противопоставляют ему стыд и убеждение. Итак, если одерживают победу благороднейшие виды души, располагающие человека к добропорядочному поведению и философии: то люди проводят жизнь счастливо и согласно; потому что тогда, покорив часть души, скрывающую в себе зло, и дав свободу той, в которой заключено добро, они бывают воздержаны и скромны, а по смерти, сделавшись пернатыми и легкими, выигрывают одно из трех истинно олимпийских сражений, т. е. достигают такого блаженства, более которого не может доставить нам ни человеческая рассудительность, ни божественное исступление. Если же, напротив, люди ведут жизнь грубую и нефилософскую, а между тем честолюбивы, то легко может 20
статься, что в минуты опьянения или в самозабвении другого рода, необузданные кони, нашедши души без охранения, согласят их избрать и совершить то, что чернь называет блаженством; а совершив однажды, оне сделаются склонными к тому же избранию и впоследствии, — хотя, конечно, изредка, потому что будут совершать это с согласия не всей души. Эти тоже живут в дружбе; но их дружба — в любви ли ее основание, или вне любви — гораздо ниже дружбы тех: и им также представляется, что имеют друг к другу величайшую доверенность, которую не годится употреблять во зло и идти на ссору; но под конец они не окрыляются, а только оставляют тело с желанием окрылиться, и в этом получают немалую награду за любовное свое исступление. Ведь нет закона, чтобы начавшие уже странствовать шли в тьму и блуждали под землю: провождая светлую жизнь, они, вместе с другими, должны идти к блаженству, опериться когда бы то ни было.

20

30

40

Вот сколь великие и божественные блага может доставить тебе, мальчик, дружба любящего! А короткость человека, чуждого любви, растворенная смертным благоразумием, произведет столь же смертные и скудные плоды: она поселит в дружеской душе расчетливость, которую толпа восхваляет, как добродетель, и заставит душу в продолжении девяти тысяч лет носиться около земли, и без ума — под землю.

Эта-то, любезный Эрос, по нашим силам, самая лучшая и прекраснейшая, представляется и посвящается тебе палинодия *. В угодность Федру, я принужден был, кроме прочего, облечь ее в язык поэтический. Прости же меня за первую и похвали за последнюю мою речь. По своей благосклонности и милости, не отнимай у меня и, в гневе, не обезображивай данного мне тобою искусства любви. Позволь мне еще более, чем теперь, пользоваться уважением красавцев. Если же Федр и я прежде говорили о тебе нечто непристойное **: то, приписав это отцу речи, Лизиасу, отврати его от подобных речей и обрати к философии, к которой обратился брат его Полемарх, чтобы этот его любитель не колебался уже, как теперь, но сообразовал свою жизнь просто с Эросом, понимаемым философски.

Ф. — С твоею молитвою, Сократ, я соединяю и свою.

LIII

Если бы там и здесь мы стали просматривать «Федра», в неприведенных нами местах, мы открыли бы и в мелочах удивительное соответствие его с господствующими и, так сказать, невольными идеями четырех мистиков нашей литературы; напр. этот отрывок:

Сокр.: Мне кажется, Федр, что в реторике совершеннее всех Перикл?

Федр.: Почему так?

Сокр. Во всех великих искусствах требуются пустословие и верхоглядство о природе. Отсюда-то непонятным образом проистекает та высота мыслей и та действенность слова, которыми, кроме естественных способностей, обладал Перикл. Привязавшись к Анаксагору, — человеку именно этих качеств, — привыкши к верхоглядству, обращаясь к природе разума и неразумия, о чем Анаксагор говорил много, Перикл... И т. д.

Вот целый комплекс обвинений, который мы все находим как характерные для наших мистиков: тут и нелюбовь к речи, к самому ее существу; неуважение к говорящим и к способам ведения дел через разговоры; и, наконец, это издевательство над «разумом» и «неразумом» Анаксагора, ранним эмбрионом нашего рационализма: все *bêtes noires* ***, на которых также неприязненно косились Толстой, Достоевский, Гоголь, «болели» через это зло и против этого зла как и Платон. Или еще:

Сокр. — Знаешь ли, чем лучше угодить Богу, как скоро дело идет о речах, т. е. есть — сочиняя или произнося их?

Федр. — Я не знаю, а ты?

Сокр. — Я расскажу тебе предание древних; а древние знали правду. Впрочем, если мы сами откроем ее, то будем ли еще заботиться о мнениях человеческих.

Федр. — Смешной вопрос! Но рассказывай, что слышал.

Сокр. — Я слышал, что близ Египетского Навкратиса жил один из тамошних древних богов, которому посвящена была птица, называемая ибисом. Имя этого божества — Теут. Он первым избрал число, арифметику, геометрию и астрономию, игру в шашки и кости,

40 * Как, вероятно, помнит читатель — «похвала в обратную сторону порицанию» (речь на тему Лизиаса, предлагавшая мальчику предпочитать нелюбящего любящему).

** Т. е. порицали. См. речь Лизиаса и первую Сократа.

*** ненавистные лица (*φρ.*).

изобрел также и буквы. Царем всего Египта был в то время Фамус, сидевший в большом городе верхней части страны. Этот город греки называли египетскими Фивами, а бога — Аммоном. Однажды Теут, пришедши к Фамусу, объявлял ему о своих искусствах и говорил, что надобно их сообщить всем египтянам; но последний спросил: какую пользу может доставить каждое из них? Когда Теут начал объяснять это, — царь, смотря по тому, хорошим или худым представлялось ему объяснение, иное порицал, иное хвалил. Вообще много говорил он Теуту о каждом искусстве в ту или другую сторону; рассказывать об этом было бы долго. Наконец дело дошло до букв и Теут сказал: Государь! Эта наука делает египтян мудрее и памятьливее; я изобрел ее как средство для памяти и мудрости. Но царь отвечал: многоученый Теут! Один способен рождать искусства, а другой судить, сколько вреда или выгоды принесут они людям, которые будут пользоваться ими. Вот ты, отец букв, по родительской любви, приписал им противное тому, что они могут. Ведь это, ослабляя заботливость о памятовании, произведет в душах учеников забывчивость; потому что, полагаясь на внешнее письмо, изображенное чужими знаками, они не будут вспоминать впечатлений внутренно — сами в себе *. Значит ты изобрел средство не для памятования, а для напоминания **. Да и мудрость ученики приобретут у тебя не истинную, а кажущуюся; потому что многого наслушавшись и ничего не изучая, будут представлять себя многознайками и, как мнимые мудрецы, вместо истинных, останутся большей частью невеждами и людьми в обществе несносными.

Федр. — Ты, Сократ, легко сочиняешь и египетские, и какие угодно повести.

Да это — ирония Толстого над «буквами» Гуттенберга; страница, которая не произвела бы никакой дисгармонии, будучи внесена в «Избранные места переписки с друзьями» или в «Дневник писателя».

— Старые философские места, одне и те же, — брезгливо сказал — собеседник.

— Одне и те же! Одне и те же с начала веков, и никаких других никогда! — подхватил Кириллов с сверкающим взглядом, как будто в этой идее заключалась чуть не победа («Бесы», 214).

Мера исступления, которая обратно очень понравилась бы Платону. Или еще:

Сокр. — Но рассказывали же, друг мой, что в храме Додонского Зевса первым провещателем был дуб. Так видно, в те времена жили не такие мудрецы, как вы — молодые люди: они, в прологе сердца, довольствовались и провещанием дуба, либо камня, только бы говорили им правду...

Да это — идея всемирного «опрощения»; вечные археологизмы наших мистиков; речь «тишайшего» Алексея Михайловича к греческим торговцам на Москве, которую привел Достоевский в «Дневнике пис.» как некоторый рецепт для разрешения Восточного вопроса.

Сокр. — ...Лучшие из речей пишутся для напоминания людям знающим: это — сочинение учительные, которые произносятся для наставления и, действительно, вписывая

* Т. е. дрожанием души о них; ум станет внешним, обогащенным и неразвитым. Поразительная в глубине своей мысль. Кто не наблюдал у нас как правило, почти не знающее исключений, что грамотная прислуга, грамотные ремесленники и мужик неразвитее безграмотных, в частности, и беспамятнее их. У неграмотного ум всегда какой-то нерастерянный, собранный, насторожившийся, наблюдательный; у грамотного во всем этом обратно.

** Замечательный анализ.

в души уроки о праведном, прекрасном и добром, носят на себе характер действенности и совершенства, достойного серьезной внимательности. Такие речи писатель должен почитать как бы родными своими детьми, то есть сперва речь, возникшую в нем самом, если она есть, потом происшедшие от нее порождения и сестры ее, развившиеся в душах других людей, а прочие оставить. И вот, должно быть, тот человек, которого я и ты, Федр, желали бы осуществить собою.

Кто не знает такой «учительной книги» в нашей литературе: «небольшое произведение и не шумное в отношении к нынешнему свету, но нужное для многих». Вся программа «Избранных мест», а главное — самый мотив их написания и отпечатания дан, конечно в эмбрионе, в этом отрывке Федра. И, наконец, вовсе не была шуткою эта заключительная молитва Сократа, после диалога:

Сокр. — Не приличнее ли, уходя отсюда, помолиться здешним богам?

Федр. — Почему бы и не так.

Сокр. — О любезный Пан и прочие здешние боги! Даруйте мне быть прекрасным внутренно, и с моим внутренним согласить все, что имею, внешнее. Богатым да почитаю я мудрого, — и такого золота да будет у меня столько, сколько не может ни унести, ни увезть никто, кроме человека рассудительного.

Просить ли еще чего-нибудь, Федр? Для меня — то достаточно.

Федр. — Того же проси и для меня; ведь у друзей все общее.

Конечно, в эмбрионе и без соответствующих тревог, но именно это желанье, в его подробностях, мы слушаем в полушопоте, в полужадумчивом решении Гоголя: прежде, нежели продолжать литературную деятельность — нужно «скольконибудь состроиться самому внутренно»; слова, которые обняли программой последний фазис Толстого. Все они, и Платон нисколько не менее наших мистиков, хотели быть реформаторами, нравственными и социальными, своего общества и времени: с надеждою этих целей афинянин дважды ездил в Сиракузы, как, опираясь на Ясную Поляну, эту «опытную пасеку» нового социального строя, перестраивал жизнь свою и своих друзей наш романист. Родственность в жизни и учении пронизывает, связует всех пятерых, и никак, в качестве шестого, мы не сумели бы присоединить к ним ни Пушкина, ни Демокрита:

Он горд был, не ужился с нами...

И они все таковы:

Поди теперь и скажи Лизиасу, что мы ходили к источнику нимф, в убежище муз, и слышали там слова, которыми повелевалось нам объявить, во-первых, ему со всеми писателями речей, во-вторых — Гомеру со всеми слагателями стихов для пения и не для пения, в-третьих, Солону со всеми политическими ораторами, которые подают свои мнения в смысле законов, — объявить следующее: кто, сознавая истину дела и пр. («Федр»).

Но это — хоть и любопытные, но подробности: манера походки, способ держать руки, по чему мы открываем и в древнем мудреце индивидуальное, личное тожество с писателями, волнующими нас сейчас. Излишни эти подробности, когда очевидно слияние в главном.

Родник идей здесь и там, почти на наших глазах и в христианской цивилизации, и две тысячи лет назад и в цивилизации языческой — чресла. Разум едва допускается к «фразировке» того, что ясно имеет происхождение вовсе не в разу-

ме, но в каком-то тайном, как лучше всего выразил Платон — «исступлении»; ему не только следуют, но и прямо называют учителем своим и наши:

Без сна — горят и плачут очи,
 На сердце — жадная тоска

 Невольный страх волосы подьемлет;
 Болезненный, безумный крик
 Из груди рвется, и язык
 Лепечет громко, без сознания.

Да это — Пифия на треножнике, но сидящая именно «чреслами» над таинственными откуда-то поднимающимися парами. И какое родство этого «брёда»: на расстоянии двух тысяч лет, при изменившихся всех условиях культуры — он один, до величайших подробностей, «походки», «почерка» один, без всякой в себе перемены. Великий диалектик и автор «Парменида», нескончаемого в своей сухости, Платон имеет даже то же тяготение к образам, «мифам», когда касается чресленных тем, как и творец «Сна смешного человека», касаясь их же. Они все — фантасты; но этот фантазм их есть каменный факт, более несокрушимый, чем всякие изгибы диалектики:

Ласкаю я в душе старинную мечту,
 ..святые звуки:
 И вижу я себя ребенком; и кругом
 Родные все места...

 Зеленой сетью трав подернут спящий пруд..
 А за прудом... дымится, и встают
 Вдали туманы...
 В аллею темную вхожу я; сквозь кусты
 Глядит вечерний луч, и желтые листья
 Шумят....

20

До чего много чресленного в этих видениях: почти до-мирное блуждание эмбриона.

И странная тоска теснит уж грудь мою:
 Я думаю об ней, я плачу и люблю,
 Люблю мечты моей...

 Так царства дивного всесильный господин —

 Когда ж, опомнившись, обман я узнаю
 И шум толпы людской спугнет мечту мою
 На праздник нёзванную гостью,
 О как мне хочется смутить...

40

Владыки образов, титаны негодования, куда летят они? Чтб «доказывают» как древний мудрец, или «изображают», как наши художники? Каково свидетельство несокрушимого камня их бытия и творчества? Тайна, потустороннее;

ворившая через уста людей, сумевших достичь ее. Как достичь? Мы показываем, и было бы повторением возвращаться к сказанному.

Перед нами Сережа Каренин: с костлявыми ножками, в своей кровати, он думает — получит ли папа к Рождеству «Белого орла» или «Александра Невского». Он *рожден*, в противоположность мальчикам на Бежину лугу, которые сделаны и которых нужно отдать в школу, чтобы они там доделались. Вот тайна. Все пятеро мистиков — рождающие, чресленные: трава, «сеющая семя по роду ее», и как Иов — они закричали бы даже в проказе:

Дыхание мое вонюче, и я вынужден умолять жену мою приходить ко мне — ради плода чрева моего. 10

Пусть *παῖδ' ὄν* уродливо исключил рождение, уже не «сеет семя по роду его». Но будем же внимательны: он исключил рождение, чтобы тем непрерывнее, совершенно непрерывно (см. весь диалог) «всеми чувствами» прилипнуть к тайнам именно рождающих сил:

Зачем дети, зачем рождение, когда цель уже достигнута. В будущей жизни не будут рождать — намек («Бесы»).

И, если посмотреть всего за страничку:

Я мячем, чтобы разгибать спину. Ребенок любит — *девожка*.

То мы догадаемся, что ужасы *παῖδ' ὄν*'а, как и самое созерцание более не рождающей, остановившейся жизни, есть лишь последствие чудовищностей *sexual'*ного, ставшего всепронизывающим, созерцания: 20

- Вы любите детей?
- Люблю.
- Стало быть и жизнь любите?
- Да, люблю и жизнь. А что?
- Если решились застрелиться?
- Что же, почему вместе? Жизнь особо, а то особо. Жизнь есть, а смерти нет совсем.
- Вы стали веровать в будущую вечную жизнь?
- Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную («Бесы», 214).

Что за тайна? Какая вечная жизнь? Здесь на земле и с такой уверенностью: *«Я видел Истину»*. И главное: только эти одни люди знают о ней, и притом знают оригинально, т. е. ни откуда не заимствовав, не вычитав «по буквам, изобретенным Теутом» или «Гутенбергом». Где же эти «тайные знаки», их особенная «грамота», из которой они «научились»: 30

*Sexual'*ное воззрение — мы уже видели это в бесчисленных и внимательно разобранных местах. Они все приподымают тоненькую рубашечку над миром, и смотрят на него с той стороны, с которой никто не смотрит. «Нечистые уединения», о них вспоминает Толстой: «Я знал их» *. Сосок на груди этой — пусть бе-

* Цитата эта, услышанная мною в разговоре, вероятно, находится или в «Детстве и отрочестве», автобиографическое значение которого бесспорно; или в позднейших автобиографических и покаянных изложениях. 40

гающей в «Сне смешного человека» — девочки, но через который пьется молоко мира; и, в последнем анализе, но именно реально пьется что-то чресленное. Вот «грамота», вот «научение». Но какое? Чему? Зачем мы стали бы создавать формулу, когда она имеется:

«Платон как бы сошел с неба и хорошо видел все, там совершающееся» — вот характеристика не наша, но учителя церкви, св. Иустина-философа («Увещание к эллинам», глава V), и она поразительна тем, что буквенно совпадает с характеристикой «Nouvelle Revue» Уайльда, английского поэта, приобретшего печальную себе известность скандальным процессом в 1896 году: «его произведения — это точно астральная музыка», и еще: «он точно шествовал вместе со Спасителем среди белых лилий Палестины» (цитата приведена в статье: «Оскар Уайльд и английские эстеты», г. Н. В., в «Книжках Недели», 1897 г., июнь). Конечно это поразительно, что совпадает до буквы, до запятой характеристика отца церкви и газетного критика, о философе и о поэте, до Р. Х. и после Р. Х., при единственном, только единственном факте, соединяющем характеризующих: $\lambda\alpha\delta\iota\sigma\upsilon\epsilon$. Ясно, что здесь корень соединения не в обучающих, но в обучающем; что в самом деле есть тайная универсальная грамота, одинаково обучающая грека и англичанина, до Р. Х. и после Р. Х., в Афинах и Лондоне, о которой и сказал наш поэт:

20 И, как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки
Вдруг выступают — так выступают вдруг пред тобою картины,
Выйдут из мрака все ярче цвета, осязательней формы...
.....
Ты ж в этот миг и внимай, и гляди, притаивши дыханье...

Но почему, почему это грамота? Cogito ergo... «проростаю — ergo sum»: точка, где мир открывается с новой стороны, и аксиома, от которой текут совершенно новые умозаключения. Мир поштен'ального; и аксиома поштен'альная, которую нужно не сознать, но выполнить. Ordo rerum, откуда исходят, плывут дети-создания, в противоположность мыслям-созданиям, которые «умозаключаются» из первой аксиомы и так тщетно пытаются принять на себя «рубашечку рождения»; у названных писателей есть «рубашечка рождения» на самых мыслях: «преимущественное внимание» — это есть погружение самой мысли в чресла, $\lambda\alpha\delta\iota\sigma\upsilon\epsilon$ — это склонение $\lambda\omicron\upsilon\iota$ ческого в нас лица к лицу «бара», в обоих случаях покорливое, пассивное, «научающееся», чтобы позднее научать «в рубашечке». И вот самые идеи ли, образы ли художественные фосфорятся, мокры, влажны: да ведь и Фалес, или Гомер, сказал:

Отец всего есть Океан

— и комментаторы думали, что он разумел географический океан, а не тот другой, многозначительнейший, пусть и меньше в объеме, который, изливаясь из чресл матери, в самом деле предшествует всему рождаемому. Но оставим мифологию; мысли «грамоты» положителен или отрицателен?

Кто говорит: и в народе грех. А пламень растления умножается даже видимо, ежечасно, сверху идет. Наступает и в народе уединение; все больше и больше некоторые желают

почестей, стремятся показать себя образованными, образования не имея нимало *, а для сего гнусно ** пренебрегают древним обычаем и стыдятся даже веры отцов... Народ загноился от пьянства и не может уже от него. А сколько жестокости к семье, к жене, к детям *** даже; от пьянства все. Видел я на фабриках десятилетних даже детей: хилых, чахлах, согбенных и уже развратных. Душная палата, стучащая машина, весь Божий день работы, развратные слова и вино, вино, — а то ли надо душе такого малого еще дитяти? Ему надо солнце****, детские игры и всюду светлый пример и хоть каплю любви к нему. Да не будет же сего; да не будет истязания детей*****, восстаньте и проповедуйте сие скорее, скорее! Но спасет Бог землю нашу, ибо хоть и развратен простолудин и не может уже отказать себе во смрадном грехе*****, но все же знает, что проклят Богом его смрадный грех и что поступает он худо, греша. Так что неустанно еще верует народ наш в правду. Бога признает, умиленно плачет*****. Не то у высших. Те вослед науке***** хотят устроиться справедливо одним умом своим... Но Землю нашу спасет Господь, как спасал уже много раз. Из народа спасение выйдет, из веры и смирения его. Отцы и учителя: берегите веру народа; и не мечта сие: поражало меня всю жизнь в великом народе нашем его достоинство благолепное и истинное, сам видел, сам свидетельствовать могу, видел и удивлялся, видел не смотря даже на смрад грехов и нищий вид народа нашего («Бр. Карамаз.», I, 354 — 357).

Не раболепен он и это после рабства двух веков. Свободен видом и обращением, но безо всякой обиды. И не мстителен, и не завистлив. «Ты знатен, ты богат, ты умен и талантлив — и пусть, благослови тебя Бог. Чту тебя, но знаю, что и я человек. Тем, что без зависти чту тебя, тем-то и достоинство мое являю пред тобой человеческое». Воистину, если не говорят чего (ибо не умеют еще сказать сего), то так поступают, сам видел, сам испытывал, и верите ли: чем беднее и ниже человек наш русский, тем и более в нем сей благолепной правды заметно, ибо богатые из них кулаки и мироеды во множестве уже развращены, и много, много тут от нерадения и несмотрения нашего вышло! Но спасет Бог людей своих, ибо велика Россия смирением своим. Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будет так, что даже самый развращенный богач наш кон-

* Какое сходство с Платоном и его подозрительностью к «буквам Теута» и к египетским «новшествам».

** Известно, как привержен был Платон к старо-дорическим учреждениям (Спарта) именно за консерватизм их, мучительно ненавидя Афины именно за быстрый демократический прогресс.

*** Мы будем отмечать курсивом эти места, на которые быстро и очевидно невольно соскальзывает речь автора: всюду это sexual'ные места, sexual'ная забота, как и sexual'ная радость. По этим пронизывающим речь словечкам, которых напрасно мы искали бы в рассуждениях Тургенева или Гончарова, мы без труда открываем «космическое молоко», сюда замешавшееся и все собою сдобрившее: как, в каком направлении? — на это и отвечают рассуждения вокруг этих словечек.

**** «Солнце... косые лучи заходящего солнца» (Свидригайлов, Тришатов — в приводившихся уже выдержках).

***** «Замечал ты, Алеша, что вот такие, как я, Карамазовцы — до слез детей любят; у меня голова болит и мне грустно» (см. выше).

***** «Уголек в крови...» — «Смотрите, лечитесь, Свидригайлов» (См. выше).

***** «Исступление» — Платона.

***** Т. е. — Анаксагору, по Платону.

чит тем, что устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смирение сие, поймет и уступит ему с радостию и лаской ответит на благолепный стыд его. Верьте, что кончится сим: на то идет. Лишь в человеческом духовном достоинстве равенство и сие поймут лишь у нас *. Были бы братья, будет и братство **, а раньше братства никогда не разделятся. Образ Христов храним, и воссияет как драгоценный алмаз всему миру... Буди, буди!

Отцы и учителя, произошло раз со мною умиленное дело. Странствуя, встретил я однажды, в губернском городе К., бывшего моего деньщика Афанасия, а с тех пор как я расстался с ним, прошло уже тогда восемь лет. Нечаянно увидел меня на базаре, узнал, 10 подбежал ко мне, и Боже, сколь обрадовался, так и кинулся ко мне: «Батюшка, барин, вы ли это? Да неужто вас вижу?».

И — смотрите: сейчас — дети:

Повел меня к себе. Был уже он в отставке, женился, двух детей младенцев уже прижил. Проживал с супругой своею мелким торгом на рынке с лотка. Комнатка у него бедная, но чистенькая, радостная...

Удивительно — это Сирия:

и была там вдовица одна, с сыном; собирала дрова около городских ворот. Илия сказал ей: принеси мне есть. Она же ответила: человек Божий, у меня есть только горсть муки и немного масла; вот я наберу дров и сделаю лепешку, и съедим, сын мой и я — 20 и потом умрем.

...Усадил меня, самовар поставил, за женою послал, точно я праздник какой ему сделал у него появившись.

Но посмотрите, посмотрите — центр:

...Подвел ко мне деток: «Благословите, батюшка!» — «Мне ли благословлять, отвечаю ему; иннок я простой и смиренный, Бога о них помолю, а о тебе, Афанасий Павлович, и всегда, на всякий день, с того самого дня Бога молю, ибо с тебя, говорю, все и вышло». И объяснил ему я это как умел. Так что же человек: смотрит на меня и все не может пред- 30 ставить, что я, прежний барин его, офицер, пред ним теперь в таком виде и в такой одежде: заплакал даже. — «Что же ты плачешь, говорю ему, незабвенный ты человек; лучше повеселись за меня душою, милый, ибо радостен и светел путь мой». Многого не говорил, а все охал и качал на меня головой умиленно. — «Где же ваше, спрашивает, богатство?». Отвечаю ему: «В монастырь отдал, а живем мы в общечитии». — После чаю стал я прощаться с ним и вдруг вынес он мне полтину, жертву на монастырь, а другую полтину, смотрю, сует мне в руку, торопится: «Это уж вам, говорит, странному, путешествующему, пригодится вам, может, батюшка». — Принял я его полтину, поклонился ему и супруге его и ушел обрадованный и думаю дорогой: «Вот мы теперь оба, и он у себя,

* Замечательна всюду тенденция к исключительности: «мы — народ-богоносец», «у нас — пророки и закон» (юдаизм); «вы — новички в знании? Только мы имеем предание о древнем научении» (египтяне). Как явные или тайные fall'исты — субъективны и исключительны (по- 40 рядок je suis).

** Вечная мысль Д-го — См. еще в «Бесах»: «мятутся люди, фаланстеры, будущую гармонию замышляют, и не подумав — что на сто верст кругом ни одного-то, ни одного-то человека, который бы сколько-нибудь уже был готов к гармонии, уже нес в себе частицу ее».

и я идущий, охаем должно быть да усмехаемся радостно, в веселии сердца нашего, покивая головой и вспоминая, как Бог привел встретиться». И больше я уж с тех пор никогда не видал его. Был я ему господин, а он мне слуга, а теперь как облобызались мы с ним любовно и в духовном умилении, меж нами великое человеческое единение произошло. Думал я о сем много, а теперь мыслю так: неужели так недоступно уму, что сие великое и простодушное единение могло бы в свой срок и повсеместно произойти меж наших русских людей? Верую, что произойдет и сроки близки.

Можно прибавить только — «Буди, буди!».

И про слуг прибавлю следующее: сердился я прежде, конечно, на слуг много: «кухарка горячо подала, деньщик платье не вычистил». Но озарила меня вдруг тогда мысль моего милого брата, которую слышал от него в детстве моем: «стою ли я того и весь-то, чтобы мне другой служил, а чтоб я, за нищету и темноту его, им помыкал?». И подивился я тогда же, сколь самые простые мысли, воочию ясные, поздно появляются в уме нашем. Без слуг невозможно в миру, но так сделай, чтобы был у тебя твой слуга свободнее духом, чем если бы был не слугой. И почему я не могу быть слугою слуге моему и так, чтобы он даже видел это, и уж безо всякой гордости с моей стороны, а с его — неверия? Почему не быть слуге моему как бы мне родным, так что приму его, наконец, в семью свою и возрадуюсь ему! Даже и теперь еще это так исполнимо...

Мне известен случай, когда один молодой и рано умерший писатель мысленно отказался бывать у другого писателя, услышав за вечерним чаем замечание последнего горничной: «Как вы держите сухарницу: вы не умеете чай подавать». В замечании этом прошла *разграничивающая* черта между господином и рабом, и очень чистый юноша — с тайными «карамазовскими» черточками в себе — с сороганием зарекся еще видеть это зрелище разграничения.

...Но послужит основанием к будущему уже великолепному единению людей, когда не слуг будет искать себе человек и не в слуг пожелает обращать себе подобных людей, как ныне, а напротив, изо всех сил пожелает стать сам всем слугой по Евангелию. И неужели сия мечта, чтобы под конец человек находил свои радости лишь в подвигах просвещения и милосердия, а не в радостях жестоких, как ныне, — в объядении, блюде, чванстве, хвастовстве и завистливом превышении одного над другим? Твердо верую, что нет, и что время близко...

— Буди, буди!

Смеются и спрашивают: когда же сие время наступит и похоже ли на то, что наступит? Я же мыслю, что мы со Христом это великое дело решим. И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немислимы были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и пронеслись по всей земле? Так и у нас будет и воссияет миру народ наш и скажут все люди: «Камень, который отвергли жидущие, стал главою угла...».

Замечательно: «тело» народное — входит «главою в угол».

...Юноша, не забывай молитвы! Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва есть воспитание. Запомни еще: на каждый день и когда лишь можешь тверди про себя: «Господи, помилуй всех днесь пред Тобою представших».

<Суд Озириса:>

...Ибо в каждый час и каждое мгновение тысячи людей покидают жизнь свою на сей земле и души их становятся пред Господом.

<Тоже — сцена какая-нибудь Суда:>

И сколь многие из них расстались с землею отъединенно, никому неведомо, в грусти и тоске, что никто-то не пожалеет о них и даже не знает о них вовсе: жили ль они или нет. И вот, может быть, с другого конца земли вознесется ко Господу за упокой его и твоя молитва, хотя бы ты и не знал его вовсе, а он тебя. Сколь умилительно душе его, ставшей в страхе пред Господом, почувствовать в тот миг, что есть и за него молельщик, что осталось на земле человеческое существо, и его любящее. Да и Бог милостивее воззрит на 10 обоих вас, ибо если уже ты столь пожалел его, то колями паче пожалеет Он, бесконечно более милосердный и любовный, чем ты. И простит его тебя ради...

Универсальная связанность на земле, и вечная — по тот край гроба; «альфа» и «омега» сомкнувшиеся, и включившие в себя весь алфавит бытия, и весь «свинцовый набор» человечества. Но мы следим за родинками самой «альфы», самой «омеги»:

...Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку...

20 Зачем бы, по каким бы основаниям, если б и «целое», а уже особенно «каждая песчинка» были чем-то полярно-противоположным «существу Божию» и также внешне чужды были бы Ему, как... ну, как маховому колесу машины, «первому ее двигателю», чужды ниточки льна, где-то далеко от него наматываемые на тысячи «зависящих» и «обусловленных», но «отдаленно» и «вообще», верётен... Ясно, что здесь расходятся концепции Божества... и вот, следите же, следите: родинки новой концепции:

Каждый листик...

<Часть египетской колонны>

Каждый луч Божий любите...

30 *<Поклонение Солнцу у египтян>*

Любите животных...

<Несут животных — рукою под хвост, у египтян.>

Любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь, наконец, весь мир уже всецелою, всемирною любовью...

<Небесный свод в животных у египтян.>

Животных любите: им Бог дал начало мысли и радость безмятежную.

<Рисунок — животные положив головы друг на друга>

40 Не возмущайте же ее, не мучьте их, не отнимайте у них радости, не противьтесь мысли Божией. Человек — не возносись над животными: они — безгрешны...

По пафосу — как уже близко это к словам, к догадке: «они... божественны».

<Египтяне — боги — звери:>

А ты со своим величием гноишь землю своим появлением на ней и след свой гнойный оставляешь после себя, — увы, почти всяк из нас!

Это странное чувство гнева, обрушивающегося на человека из-за «животных», и так родственное чувству гнева же на «господ» из-за «рабов», напоминает и в сущности до глубины объясняет два странных места у Геродота: «найдя в поле мертвое животное — египтянин должен был плакать, как бы найдя тело человека...»; и еще: «нельзя было убивать животных: убивший напр. кошку — подвергался смерти». Но вот центр этого родства, почти кровности с животными: 10

Деток любите особенно....

<На муле везут деток у халдеев.>

...ибо они тоже безгрешны, яко ангелы, и живут для умиления нашего, для очищения сердец наших и как некое указание нам. Горе оскорбившему младенца. А меня отец Анфим учил деток любить: он милый и молчаливый в странствиях наших, на подаянные грошики им пряничков и леденцу бывало купит и раздает; проходить не мог мимо деток без сотрясения душевного: таков человек.

...На всяк день и час, на всякую минуту ходи около себя и смотри за собою, чтоб образ твой был благолепен. Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, с гневливою душой; ты и не заметил, может, ребенка-то, а он видел тебя и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно, пожалуй, а все потому, что ты не уберешься перед дитятей, потому что любви осмотровительной, деятельной не воспитал в себе. Братья, любовь учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок...

И замечательно — сейчас опять возврат к животным:

Юноша, брат мой, у птичек прощения просил: оно как бы и бессмысленно, а ведь правда, ибо все как океан, все теперь и соприкасается, в одном месте тронешь, в другом конце мира отдается. Пусть безумие у птичек прощения просить, но ведь и птичкам было 30
бы легче, и ребенку, и всякому животному около тебя, если бы ты сам был благолепнее, чем ты есть теперь, хоть на одну каплю да было бы. Все как океан, говорю вам...

...Отец всего — есть океан... (*Гезиод*).

Тогда и птичкам стал бы молиться, всецело любовью мучимый, как бы в восторге каком, и молить, чтоб и оне грех твой отпустили тебе...

Мы говорили, что пафос к возвеличению животного подозрителен; что он похож на начало обожествления: и вот, в самом деле, крылатая некая тварь уже «отпускает грехи» человеку...

Восторгом же сим дорожи, как бы ни казался он людям бессмысленным.

Други мои, просите у Бога веселья. Будьте веселы, как дети, как птички небесные. 40

Мы видим, что «Содом» облюбовался с «Мадонной»: греческая точка зрения, космическое пососанное «молочко» разлилось таким потоком любви, высвети-

лось в такую радость, так бурно кипит к нему, что тщетно и небезопасно было бы становиться перед нею преградой: она ее сломала бы, как некогда запоры, запиравшие «четырнадцатилетнюю». Перечтем еще раз отрывок: везде — мать, везде — дети, и, в последнем анализе — чресла. В отрывке нет ничего логического, ничего текущего от «*cogito — ergo...*» и все течет, очевидно течет из «проростаю — следовательно, *sum*». Но мы не хотим аналогий; аналогия тут оскорбительна, как все-таки вид логики: тут вовсе новый мир, поштен'ального, и поштен'альных, т. е. живых и действительных, а не пошпен'альных более чувств. Если бы кто-нибудь, читая эти слова «в рубашечке» предположил, то искусный автор говорит их соответственно лицу, выведенному в произведении, то вот еще подросток, стр. 344—366.

Теперь если мы сравним с этим следующие слова, где преднамеренно устранены дети, «мать» и, словом, нет «приподнятой» у мира «рубашечки», мы догадаемся о разнице между «любовь» *λοῦος*'а и «бара».

Меньшиков — Элементы романа. За 1-м листом.

LIV

Мы и боимся, и хочется нам ввести в это рассуждение «Пир» Платона. Федр — весь молитвен («в дифирамбах»); это — видение, рассмотреть которое было любопытно для определения природы чресленных туманов, их содержания, направления их полета. Греческая аналогия русского «Сна смешного человека», которая содержит также мало объяснений себя, как и этот воображаемый полет на безгрешную еще землю. Но, как и Достоевский, седой мудрец древности, «как бы побывавший на небе» (*Юстин-философ*), пытливо ходил около этой странной связи между восторгами *λαδβον*'а («исступление») и переменою в структуре души, в направлении воображения, перерождением всех желаний, которую он наблюдал, и, без сомнения, могущественно в себе испытывал («Я видел истину!»). Пир есть собрание этих догадок; и человек, с столь «преимущественным вниманием» к чреслам, что за 2000 лет до микроскопа угадал ζῶα στερματικά *, видимые только под микроскопом, конечно, и с других сторон мог так же глубоко пронизать таинственную действительность. Итак, не уторопляя конца нашего исследования, займемся пиром.

Характерно самое имя: «Пир»... роскошь, упоение; тема, которую можно и, быть может, следует заниматься облекшись в самые блистательные одежды; что-то пасхальное для мысли, и мы невольно вспоминаем, что у евреев именно в пасху читается «Песнь песней» — этот семитический «Пир»:

— Что лилия между тернами — то возлюбленная моя между девицами.

— Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами.

— В тени ее я люблю сидеть и плоды ее сладки для моей гортани.

— Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь; утвердите меня миром, положите между яблоками: ибо я изнемогаю от любви (*П. песней*, гл. 2, ст. 1—4).

Самый характер диалога замечателен: скульптурный, яркий, играющий в подробностях — что он такое? Припоминание чего-то дальнего, полу-забытого.

* семена жизни (*грег.*).

Это — «ветхий деньми» «пир». Он был давно, и мы в начале диалога читаем ужасную и скучную путаницу имен, едва уследивая, кто кому передал слышанное, как запомнил, от кого узнал. «Мне рассказывал это некто, слышавший от Финика: но в его передаче не было ничего ясного»; «ты в самом деле не имеешь представления об этой беседе, если рисуешь ее себе чем-то происходившим недавно». Но вот преодолевая путаницу, мы вводимся в древнее время, «во времена нашего детства» (слова Главкона); туман времени рассеивается, и перед нами вечер:

— Мальчики, угощайте нас и подавайте, что захотите: я не ставлю над вами никакого распорядителя. Мы будем думать, — и я сам, хозяин — что мы все находимся у вас в гостях. Служите нам, чтобы мы хвалили вас. 10

Но еще вчера все были пьяны; «вино тяготит», замечает характерно один; и гости условливаются, попивая для удовольствия только, посветить вечер какой-нибудь беседе. Золотокудрый Федр между гостями, и один из них, Эриксимах, передает его недоумение:

— Федр всякий раз надоедает мне вопросом: не ужасно ли, Эриксимах, говорит он, что другим некоторым богам поэты сочинили гимны и кантаты; а Эросу, такому и столь великому богу, из числа столь многих поэтов ни один никогда не сочинил никакой похвальной песни?

Вмешивается Сократ:

20

— Никто не будет отвергать твоего и Федрова, Эриксимах, предложения: даже не откажусь и я, утверждая, что не знаю ничего другого, кроме предметов эротических; не откажутся и Агатон (хозяин), и Павзаний, и даже Аристофан, у которого все дело — с Дионисом и Афродитой, и никто другой из всех, кого здесь вижу.

Начались речи; давний передатчик беседы, Аристомем, «не помнит хорошо всего, что было высказано; да не все, слышанное от Аристодема, помню и я», — замечает непосредственно передающий ее теперь. Мы вводимся в гипотезы, «полу-забытое» и «отрывочное»: это гадания, хождения около вопроса. Множественность речей, что внешним образом обусловило форму «Пира» — не исключает истинности ни одной из них, но проводит границу каждой и у всех их отнимает конец. Мы имеем обрывок круга, но не замкнутый круг, и кто имеет силу, мог бы продолжать «Пир». Такова мысль этих подробностей, вставленных не без намерения («семь редакций») Платоном. Юнейший и болтливейший из присутствующих, Федр, открывает беседу, так как он и возлежит за столом первым. 30

Начал он речь (передает Аристомем) откуда-то издалека, что, то есть, Эрос был бог, между людьми и богами высокий и дивный, как во многих других отношениях, так не менее в отношении к рождению...

Собственно, везде вместо «Эрос», этого скульптурного представления, следовало бы писать, а читателю везде следует мысленно подставлять — «соит'альное тяготение», «sexual'ная липкость». Замечательно, что в «Федре», где мы не имеем исследования, не упомянуто о рождаемости; «Пир» — исследующий — начинается прямо с рождаемости. Это — загадка, тут — узел вопроса, руководящая нить познания, ариаднина нить в таинственном и страшном лабиринте. 40

Важно то, сказал он, что Эрос из богов особенно древен; а доказывается это тем, что нет ни одного — ни прозаика, ни поэта — который описывал бы или объяснял, как он был рожден. Гесиод сказал, что прежде был Хаос, а потом

Широкогрудая Гея (= земля), всех безопасное лоно,
И — Эрос.

После Хаоса, говорит, явились эти два — Гея и Эрос. А Парменид учит, что Генеса (= рождение)

Первым из всех богов бременила в мысли Эросом.

С Гезиодом согласен и Акузилай. Таким образом многие сходятся в убеждении, что Эрос — бог самый древний. А будучи самым древним, он есть виновник для нас величайших благ; ибо я не могу сказать, что было бы большим благом для первого юного возраста, как не добрый любитель, а для любителя — как не любимое дитя. Ведь что должно руководствовать людьми, которые намереваются всю свою жизнь провести хорошо, того не в состоянии доставить им ни родство, ни почести, ни богатство, ни что другое, но только один Эрос...

Замечательно: Эрос есть родник всеобщего одушевления; ко всякому делу, даже подвигу, человек не пойдет так свободно, так счастливо, как если он любим. Он ко всему подымает крылья — с мощью, какой нет у других источников и побуждений, как «богатство», «почесть»; все это имея — можно «скучать», «хиреть» (Плюшкин, Аракчеев): но вот приходит любовь — и «хирости» нет. Платон говорит о всеобщей потребности счастья, как законном и тем, чем даже практически двигаются всякие дела; о «живой воде», которой, пока существует, человек вправе искать. И сейчас переход, что любовь не только на все подымает крылья, но, в отличие от других источников — он их подымает к чистому и чисто же действуя на душу; любовь «очищает».

Но что я разумею, говоря так? В делах постыдных — стыд, а в похвальных — честолобие; ибо без этого ни город, ни частный человек не могут совершать дел великих и прекрасных. Утверждаю, что человек любящий, быв обличен в каком-нибудь постыдном поступке, или перенесши от кого-нибудь обиду, при невозможности отместить, не станет так мучиться ни перед глазами отца, ни перед друзьями, ни перед другим кем-либо, как перед любимцем. То же самое замечаем и в любимце: и он особенно стыдится любителей, когда попадает в деле постыдном.

Несколько суженно выраженная, но это — та самая мысль, которую в начале исследования мы высказали: что невозможно представить себе Ромео, зложелательного или лгущего перед Юлией; что по линии их соединения, в направлении один к другому, т. е. по линии пробуждающегося coitus'a любящие непременно и безусловно безгрешны («никакого зла», «никакого обмана» в меру любви и пока любовь). Теперь читатель припомнит несколько чудовищное предположение, сделанное нами также выше: что были бы за отношения Кутузова и Алпатыча в том «новом мире», на «иной земле и под другим небом», где «ария всадника», логического в нас лица, перестала бы вовсе быть слышною, и осталась бы слышною и слушаемою только «незнаемая ария Руслановой головы»: в мире сексуального отношения, ставшего всеобщим для людей и, прежде всего — всеобщим

проводником отношений? В сущности, Платон останавливается* над этим же вопросом:

«Поэтому, если бы представился какой способ составить город, или лагерь из любителей и любимцев, то нельзя было бы лучше устроить его, как воздерживаясь от всего постыдного и уважая друг друга. Сражаясь вместе, они, и при своей малочисленности, одержали бы победу, можно сказать, над всеми людьми; потому что человек любящий в глазах своего любимца больше чем в глазах всякого другого, не захотел бы оставить строй или бросить оружие, но скорее решился бы много раз умереть, чем показаться ему.

* Можно до известной степени сказать, что как Пир, так и Федр просто не открыты, лежат еще под спудом для мышления; ибо комментарий филологический и философский, но в пределах искания «безсмертия души — по Бенеке», даже не коснулся, не тронул содержания этих диалогов. Прочитывая комментарии — даже трудно поверить, что они относятся к Пиру и Федру: в них нет ни слова о sexual'ности, coitus'e, παιδιόν'e и комментаторы не видят или, по крайней мере упорно отвергают, чтобы диалоги эти были «об этом» написаны: они это просто считают формой, предлогом, «игрой ума», а не темой рассуждений. Вот пример этой комментаторской «ἀτορία» <затруднение (zpez.)>: «Возлегли на мураву, Сократ предоставляет чтение Лизиясовской речи Федру и выслушивает ее от начала до конца. Лизиас поставил в ней целью убедить прекрасного мальчика, что для него гораздо лучше оказывать благосклонность тому, кто не любит его, чем быть благосклонным к влюбленному. Встречая такую тему в речи известнейшего оратора древности, которого сочинения, пережив столько веков, дошли до нас, который принадлежал к самому образованному народу в мире языческом и процветал в самую блестящую пору наук и искусств в афинской республике, — трудно понять, каким образом в умную голову Лизиааса могла войти столь пошлая мысль (что самому Платону она пришла мысль, и Лизиаас, как и его речь, есть вымыслы Платона — автор забывает ли, не понимает ли: трудно сказать), и еще труднее объяснить себе тот восторг, с которым юношество тогдашней Греции, донныне превозносимое за тонкость и образованность вкуса, принимало подобные мысли. Одна лишь история объясняет нам эти несообразности, давая поучительный урок кичливости образования. Наперекор замечательным успехам греков в науках и искусствах, нравственную их жизнь его история пятнает самыми низкими пороками, в числе которых особенно отвратительным представляется παιδεραστία, παιδικός ἔρως <страсть к мальчикам (zpez.)>. Буквально это означает любовь к детям того или другого пола; но крайний разврат греческого юношества, опиравшийся, может быть, на некоторых сказаниях столь же развратной эллинской мифологии и находивший повод в самых воспитательных тогдашних учреждениях, каковы гимнастические школы, не замедлил эту чистую и естественную любовь к детской невинности сделать органом гнусной страсти, которая кажется чудовищем даже для самой чувственности человека. Παιδεραστία, в смысле ужасного зла, нравственно убивающего душу и физически разрушающего тело, во времена Платона в афинском обществе почти не надевала маски и стала в совершенную противоположность с началами здравомысленной и благонравной философии, которая тогда, можно сказать, отождествлялась с именем Сократа. Поэтому Платон, вообще старавшийся своим учением и сочинениями положить сильный оплот против развития современного ему софистического вольномыслия и нравственного разврата, считал своим долгом показать афинскому юношеству, до какой степени оно обезображивает себя грубою чувственною жизнью. Между диалогами, посвященными этой цели, первое место занимает «Федр». Таким образом комментатор, один из самых превосходных к Платону (всем его сочинениям) — просто не видит, не хочет видеть, о чем «Федр» написан. Невольно приходит на ум мантия космического самозатаивания.

А оставить-то любимца, или не помочь ему в опасности, — да такого дурного человека и нет, чтобы его, как подобного себе по отличной природе, не одушевил к мужеству сам Эрос. И действительно, некоторым героям, как говорит Гомер, сам бог внушил отвагу: но такую отвагу рождает из себя и внушает любителям именно Эрос.

Вчитываясь в речи Тришатова, мы в самом деле поражаемся этою особенностью: что он все сделает, и у себя последнее отнимет «для долговязого Андреева»: да с целью купить ему шляпу он и начинает ссору с господином своим Ламбертом; он sexual'но открыт своему же полу, и «подросток» замечает с удивлением: «он заговорил со мною как бы старый друг — совершенно просто и открыто».

10 Нет разделяющей черты между однополыми существами, которые непроходимую бездною разделены в общности пола и поэтому sexual'ным друг от друга отвращением. При существовании этого отвращения все виды связи, всегда и только уже логической — слабы. Слова Платона здесь имеют важное частное значение: в конце диалога именно Сократ рискует жизнью в сражении за Алкивиада, и данное место у Платона есть как бы документ их sexual'ной связи — и *πειθῶν*е.

Одни любящие решаются умереть друг за друга, — решаются, говорю, не только мужчины, но и женщины. Достаточное свидетельство этого рода представляет грекам дочь Пелея, Алкеста, которая решилась одна умереть за своего мужа, тогда как у него были отец и мать, которых она, ради любви, настолько превосходила дружбою, что доказала

20 отчуждение их от сына и сродство их с ним только по имени.

Это-то, что выше мы назвали лунною любовью, в противоположность солнечной: скользкие, горизонтальные лучи. Кажется, нет в истории примеров, чтобы, потеряв дитя, мать впадала в помешательство; и, между тем, помешательства от потери мужа и вообще любимого человека — не только есть, но они даже не редки, по крайней мере не исключительны.

Совершив такое дело, она совершительницею дела прекрасного показалась не только людям, но и богам; так что из многих, сделавших много прекрасного, боги только некоторым, весьма немногим, оказали такую честь, что отпустили их души из преисподней; а ее душу, за этот поступок, отпустили с радостью. Так-то, усердие и добродетель ради

30 любви пользуются уважением и у богов. Выслали они из преисподней и Орфея, сына Иагрова, не позволили ему достигнуть цели, но показали только один призрак жены, за которою он приходил, а самой не показали; ибо открылось, что, как певец под звуки цитры, он был изнежен, и не решился, ради любви, умереть, как Алкеста, но ухитрился проникнуть в преисподнюю живым. За это-то именно боги не назначили ему наказание и сделали так, что смерть его произошла от женщин, а не так, как почтили они и послали на острова блаженных сына Фетифы, Ахиллеса, который, узнав от своей матери, что если он убьет Гектора, то умрет, а если не убьет, то возвратится домой и скончается в старости, решился избрать первое — помочь любезному Патроклу и, с местью в душе, не только умереть за друга, но и по смерти друга. После того чрезвычайно обрадованные

40 боги отлично почтили его за то, что он столько дорожил своим любителем.

Очень замечательно, в самом деле, что Патрокл и Ахилл, о которых никак нельзя сказать (что еще возможно о Платоне и Федре), чтобы они жили в пору «старческого истощения цивилизации» и имели «пресыщенный и извращенный вкус» — были связаны *πειθῶν*ом: и в воззрении не романиста «поздних эпох

культуры» — но певца Илиады, т. е. самого свежего и чистого из когда-либо певших поэтов. Идея трансцендентного греха, внутреннее потрясение, которое мы почувствовали бы при прикосновении к genital'иям однополого с нами существа, и этот ужас —

— О, чудовище...

не должны быть рассматриваемы, поэтому, с этих общепринятых точек, которые мы перечислили и отвергаем. Это — *παλαιόν παλαιών*, «древнее из древних», и никак не самый поздний фасон человека и цивилизации. У Платона в приводимом месте замечательно усилие показать, что данный факт — самоотвержения или геройства — если он соит'ально творится, имеет под собою «бурю», от этого ничего в себе не теряет не только с человеческой точки зрения, но и с специфически религиозной. 10

Эхил болтает вздор, утверждая, будто Ахиллес любил Патрокла. Ведь первый был красивее не только последнего, но и всех героев: притом, у него не имелось и бороды; он, как говорит Гомер, находился еще в ранней молодости.

Он был апрельским, «золотистым», как Федр, листком для Патрокла...

Боги, конечно, особенно уважают это мужество ради любви, однако ж более удивляются, чувствуют удовольствие и благодворят, когда любимец любит своего любителя, чем когда любитель любит любимца; потому что любитель божественнее последнего — он боговдохновен. 20

Замечательно. С общей темы, начатой правильно с рождаемости, Платон соскальзывает на *παίδιον*, «исступленно» и очевидно потому, что не может перебороть влечения говорить о нем. Но кто же в *παίδιον*'е выше: ласкаемый ли, у которого красота, «липкость», или так странно ласкающий, часто старик, и, как иногда, как Сократ — безобразный (см. начало «Федра»: «было бы выгодно такое рассуждение, как у Лизиаса для стариков моих лет, бедности и безобразия»). Последний: кто прилип к «кубку» «до 70, даже до 80 лет» и жадно от него пьет. Кто же он, этот «исступленный»? Откуда его особенная и преимущественная перед отроком высота? Отрок может ни о чем не догадываться, и, как и «14-летняя в гробу», привидевшаяся Свидригайлову, «застыть с недоумением на лице»: не догадывается и Свидригайлов, «отошедший в другой мир» (его «войяж»), «куда — не знаю» (Ив. Карамазов), но догадался Платон. Пифия семени, пророчествующая об открытом, — он выше его, как Колумб со своею мыслью был выше Багамских и Антильских островов, и многих других, землю которых, лобызая, он восклицал — Сан-Сальвадор, и восклицание оставалось за островом именем. 30

Поэтому и Ахиллеса («любимца») почтили они больше, чем Алкесту, — послали его на острова блаженных. Итак, я говорю, что Эрос из богов есть самый старей, наиболее почтенный и, что касается до возбуждения мужества в людях и доставления им счастья, — всего более влияющий.

LV

Тема установлена и общие предикаты соит'ального тяготения определены. Только оно имеет мощь рождать — это его космический центр; оно связует людей как ничто — это его земное действие. И сейчас опять жест пропуска и частью 40

запоминания: «Такую почти речь сказал Федр, а после него произносили и другие, которых вспомнить Аристодем уже не мог». Но за компактною постановкою предмета должно начаться изучение его теней и переливов, «игры» в нем света, самая «жизнь», и речь передается для этой новой стороны в теме — Павзанию:

Павзаний начал так. Не хорошо, мне кажется, Федр, изложил ты нам свою речь, если она, просто запросто, состоит в одной похвале Эросу. Пусть было бы так, если бы Эрос был единичен; а то он, ведь, не один: если же не один, то правильнее будет предваритель-
но сказать, которого из них надобно хвалить. Итак, я постараюсь в этом его пополнить и, может быть, поправить: скажу сперва, которого именно Эроса должно хвалить, и уж
10 потом превознесу его похвалами как бога. Все мы знаем, что без Эроса нет Афродиты...

Т. е., без соит'ального тяготения — нет пола. Начинается — царство минералов, и «пол», яркий, играющий около 17 лет, сглаживается в старости, когда тере-
руется, почти теряется соит'альное тяготение: признак, что обоюдность полов, двойственность в поле есть собственно два конца coitus'a.

Поэтому, если бы Афродита была одна — один был бы и Эрос: а так как первых две, то, по необходимости, два и последних. Да и как богинь не две? Ведь одна-то старшая, не имеющая матери —

Замечательно: не сказано «не имеющая отца», т. е. родившаяся, без посредства матери, из семени отца, раскрывшееся в образ, в фигуру, семя отца, которое, таким
20 образом, по этой уже древней догадке, предупредившей на тысячи лет открытие партеногенезиса, имеет женскую консистенцию, есть именно капающая «Ева».

Старшая, не имеющая матери, дочь Урана (= небо), которую и называем небесною; а другая младшая дочь Зевса и Дионы, которой имя — всенародная. Поэтому необходимо и Эроса, помощника последней, правильно называть всенародным, а того — небес-
ным. Итак, хвалить следует, конечно, всех богов; однако ж нужно постараться сказать, которому что свойственно. Всякое дело таково, что, совершаемое само по себе, оно ни прекрасно, ни постыдно. Например, то, что мы делаем теперь, — пьем, поем, разговари-
ваем, само по себе не имеет ничего прекрасного, но дело наше выйдет таким, смотря по
30 тому, как сделается: если делаемое — хорошо и правильно, — окажется прекрасным, а не-
правильно — постыдным. То же самое и в любви: не всякий Эрос прекрасен и достоин похвалы, а только — тот, который внушает любить хорошо.

Итак, спутник всенародной Афродиты поистине есть всенародный Эрос, и совер-
шает он, что случится; и вот его-то любят люди дурные. Такие люди любят не менее жен-
щин, как и мальчиков; потом в тех, кого любят, смотрят больше на тела, чем на души; и наконец, любят только возможно несмысленных, имеют в виду лишь совершить дело,
не заботясь о том, хорошо ли это будет или нет. Отсюда приходится им делать то, что случится, — иногда доброе, иногда противное тому: ибо их любовь от той богини, которая
гораздо моложе, чем другая, и которая принимает участие в рождении детей мужского и женского пола; напротив, та — от богини небесной, принимающей участие не в жен-
ском поле, а только в мужском, и это-то есть любовь к мальчикам: итак от старшей и не
40 причастной, непричастной сладострастию*. Потому-то воодушевленные этим Эросом
обращаются к полу мужскому, по природе сильнейшему, и любят то, в чем больше ума.

* Т. е. соит'альному, в узком «функциональном» (как мы понимаем) смысле: «сладостраст-
тию» coitus'a, «рождающему» «детей мужского и женского пола» (см. текст).

Из этого места видно, до чего Платон, так много гадая о *παιδίον*'е и много важных *признаков* его подметив, был далек от постижения его существа как начинающегося склонения, и, может быть, поклонения — *genital'*иям: при потребности «ума» — *παιδίον*'исты искали бы стариков, «силы» — они искали бы взрослых, около 33—35 лет: и между тем это вовсе исключено; ищется возраст, *тахим'*ально близкий к невинному, и хоть осмысленный, но не весьма умный. Он сам заметил, что «Ахилл был без бороды, т. е. юноша» и заключил — «итак, он был ласкаемым любимцем», хотя присутствие «бороды» и, может быть, «ума» у Патрокла более, по приведенным здесь словам его, давало бы подозрение видеть в нем любимца. И что за «исступление» к уму; «вдохновение», почти «пророческий жар» 10 около «ума» или еще «силы» золотого Федра. «Исступляет» и заставляет — если бы не стыд позора, «приносить ему жертвы» (см. «Федр») апрельская его «клеякость», именно только появляющийся пушок на подбородке: *signum* * выявления семени, созревшего, *воз-рост*-шего «пола». «Жена имуща во чреве»... дракон, «жаждущий поглотить рожденное». Но разделение Афродиты, кроме этих частных слов, которые мы опровергаем — истинно и в том отношении важно, что показывает тенденцию в Платоне найти кроме земных и нам открытых явлений *соит'*ального тяготения («рождение детей») еще более глубокую и «древнюю» его сторону, с предположением — что она «небесного происхождения». «Бог взял семена из *миров* иных»... «касанием *мирам* иным» (Д-ий): и догадлив был Платон, что в *παιδίον*'е яснее можно это рассмотреть, чем в «рождении детей». 20

Кстати — соотношение с ним *παιδίον*'а. Замечательна, и до сих пор наблюдается странность, что *παιδίον*'исты не рожают, теряя *соит'*альное влечение к женщине. Это будет не постижимо, пока мы не посмотрим на факт и под углом рождающей женщины, т. е. принимая ее за исходный пункт размышлений. Она рождает — и нет около нее (у мужа) *παιδίον*'а; но вот она не рождает, последствие «функции» и сама «функция» исчезла, осталось только «функционирующее»: и тотчас около начинается *παιδίον*, склонение, поклонение, и, наконец — довольно затаиваться — молитва. Почему, где связь? «Молот остановился, выявилась теплота — значит теплота есть трансформировавшееся движение, или обратно». 30

«Я исступленно поклоняюсь», — пишет Платон, и сейчас: «к рождению от женщины чувствую отвращение». Но оглянись: *γνώθι σε* до глубины; ты поклоняешься не камню, не куску, но «липкости», т. е. могущему рождать; и следовательно, хоть и не догадываясь, но ты поклоняешься рождению: конечно — рождению от женщины, той самой «больничной вони», или «вони родовспомогательного заведения», мысль коей в небесных корнях и выявил своим *παιδίον*'ом.

Παιδίον («зрением, слухом, всеми чувствами, постоянной мыслью», см. «Федр») есть перелившаяся на *λόγος* молитва, «зашептавшая», «взбрызгившая», «думающая», *приносящая жертвы* («Федр»): но перед чем? но к чему? но о чем шепчущая? О том, что до «шопота», «воззрения», «мысли» и «жертвы», конечно, 40 была без-молвным, без-словесным, без сознания (*λόγος*'а) — отношением, но уже не к маленьким греческим богам, этим свето-теням божества, но к Нему, Неименуемому, Неизреченному:

Зачем тебе имя Мое — оно чудно» (*Бытие*); «Лица Моего невозможно тебе увидеть и не умереть (*Исход*).

* знак (*лат.*).

Таким образом, в странных блужданиях своих, но «исступленно» — *παιδίον* вводит в пути, не имеющие ничего общего с Грецией и язычеством; и мотив «исступления», «жертвы», «как бы перед богом» обратно вполне объясняется нам из этих путей, ибо здесь есть краешек далекого, вовсе не из Греции прилетевшего, но Греции лишь досягнувшего, луча: но, достигнув сюда, он и здесь все поднимает на новую молитву. «Афиняне негодовали на Платона за холодность к богам города и поклонение какому-то другому богу»; божество он определил «*τὸ ὄν*» = «сущее», почти как Моисей — «*τὸ ὄν*» = «Сый» (оба замечания у св. Юстина-Философа, в цитированном сочинении). Но мы отвлеклись, и, упреждая речь, не даем говорить Платону, когда он так рвется к этому:

Влекомых действительно этим Эросом можно узнать и по самой любви их к мальчикам; потому что последние становятся любезными им по природе не прежде, как став смыслящими, — что сближается с возрастом совершеннолетия. С того времени, думаю, они готовы бывают любить мальчиков так, чтобы обращаться с ними во всю жизнь и жить сообща, а не обманывать юношу, овладев им еще в возрасте несмысленном, чтобы потом посмеяться над ним и перебежать к другому. Должно даже постановить закон, запрещающий эти злоупотребления и легкомыслие. Добрые не впадают в него, но нужно принудить к этому и всенародных любителей, как принуждаем же мы их, сколько можем, не обращаясь к свободным женщинам. Подобные люди бесчестят любовь; так что теперь некоторые осмеливаются говорить, будто постыдно оказывать ласки любителям.

Начало (в истории) закрытия sexual'ного лица от *своего* пола, затаивания; по-видимому, в пору «Ахиллеса и Патрокла» этого не было, как видно и ниже, сейчас, из ссылок на законодательное регулирование и одобрение *παιδίον*'а.

А говорят они подобным образом, смотря на их притеснение и неправду; потому что всякое дело, совершаемое не совсем благопристойно и законно, справедливо вызывает порицание. Притом, закон касательно любви в других городах понять легко; потому что там он определяется просто; а здесь и в Лакедемонии он темен и неясен. В Элиде, например, и Бэотии, где нет мудрецов словесности, закон говорит просто, что хорошо оказывать ласки любителям, — и никто, ни юноша, ни старец не скажет, что это дело постыдное. Напротив, по всей Ионии и везде в других странах, какие только подвластны варварам, почитается это постыдным; потому что у варваров, по их тирании, любовь постыдна столько же, как философия и гимнастика. Ведь для правителей, думаю, не полезно, когда подвластные их имеют высокие помыслы, крепкую дружбу и общение.

Вот вечные мотивы и результаты *παιδίον*'а, к которым постоянно, и вовсе не настаивая, а лишь высказывая общепризнаваемый факт, — возвращается Платон.

Между тем как эрос это-то особенно, между прочим, и любит внушать, что здешние, у нас, тираны и дознали на деле: ведь известно на деле, что любовь Аристокрита и дружба Гармодия, получив силу, уничтожили власть их. Итак, где принято, что постыдно оказывать ласки любящим, там это произошло от худого качества законодателей, от притязательности правителей и от слабости подвластных: а где думают просто, что это хорошо, там такое правило бездействием своей души допустили законодатели. Здесь закон в этом отношении гораздо лучше: но его, как я сказал, не легко понимать. Здесь последует мысль, что лучше любить, как говорят, открыто, чем тайно, и любить особенно самых благородных и добрых, хотя бы они были и не так красивы, как другие...

Это — полнота sexual'ной любви: «не по хорошему мил, а по милу хорош», и

Во всех ты, Душенька...

Что пол есть духовное, и следует именно из того, что он вплетен в веноч требуемого — духовное; не ожидает «функции», не поджидает «орган», но относится к «лицу» (sexual'ному) «...тем более, что любящий поддерживается удивительным от всех ободрением, как будто бы делает не что-нибудь постыдное; так что если пойман — это кажется хорошим, а не пойман — постыдным. Да и закон дал любящему право стараться ловить и хвалиться совершением чудных своих дел. А кто осмелился бы действовать, преследуя что-нибудь другое, и совершать иное, кроме этого; тот навлек бы на свою философию великое негодование. Ведь если бы, с намерением получить деньги от кого-нибудь, или правительственную власть, или иную силу, захотел он делать то, что делают любители в отношении к своим любимцам, — а любители разливаются в упрасиваниях и умаливаниях, дают клятвы, лежат у дверей, решаются на такую рабскую службу, какой не несет ни один раб, — то ему воспрепятствовали бы в этом и друзья, и враги: последние стали бы порицать его за ласкательство и низость, а первые по этому случаю вразумлять и стыдить. Напротив, любящий, делая все подобное, слышит одобрение; да и закон позволяет ему такие дела без укоризны, как если бы он совершал что-нибудь вполне прекрасное. Важнее же всего то, что, поклявшись, как говорят многие, он один получает от богов прощение в клятвопреступлении; потому что в любви, полагают, нет клятвы...».

Т. е. потому, что правда sexual'ного отношения выше даже верности в нем, и она ценнее клятв, которые скрепляли верность. Таким образом любителя, по смыслу здешнего закона, облачают всеми правами и боги, и люди. Так исполняясь этою мыслью, можно в нашем народе почитать делом вполне прекрасным — любить и быть другом любителей. Между тем отцы, поставляя над сыновьями педагогов, приказывают им смотреть за тем, чтобы они не разговаривали с любителями, и, видя это, мы могли бы подумать, что такое дело считается здесь постыдным. Между тем правда состоит в следующем: само по себе дело это и ни прекрасно, и ни постыдно, но, будучи прекрасно совершаемо — прекрасно, а постыдно совершаемое — оно постыдно. Совершать его постыдно — значит оказывать ласки человеку дурному и дурно; а совершать прекрасно — значит благоприятствовать доброму и добрым способом. Дурной человек есть тот любитель всенародный, любящий больше тело, чем душу; потому что и сам непостоянен, и не любит ничего постоянного. Как скоро тело отцвело...

Т. е. возмужало: потеряло «апрельскую» ранность: но здесь не говорится отнюдь о старости, ибо любитель всегда бывает старше любимца («безбородый» Ахилл) и старость последнего соответствует уже смерти, загробному существованию первого; да и явление это носит имя «λαίδημος» ἔρωϛ.

...Он тотчас улетает от любимца, осрамив его множеством слов и обещаний. Напротив, любитель нрава доброго остается на всю жизнь, так как он слит с постоянным. Этих-то закон нам велит хорошенько испытывать и одним оказывать ласки, а других убеждать, за одними следовать, а от других удаляться. Он установил даже пробы и меры, чтобы узнать, к которым относится любитель и к которым любимец. По этой-то причине, во-первых, постыдным признается делом уловляться скоро, чтобы было время, которым многое испытывается, по-видимому, хорошо; потом, постыдным также делом признано уловляться

деньгами и политическим могуществом, хотя бы уступка и недостаток упорства происходили от притеснений, или, хотя бы не было отказа — в видах получить деньги и вступить в общественные должности. Ведь все подобное кажется и нетвердо, и непостоянно, — кроме того, что отсюда дружба благородная не происходит. Итак, нашему закону остается один путь, которым мальчик может оказывать хорошо ласки любителю. По силе нашего закона как любители могут, не опасаясь ни порицания, ни упрека в ласкательстве, рабствовать своим любимцам всеми родами рабства: так и для любимцев не предосудительным остается тот единственный вид произвольного рабства, которым имеется в виду добродетель; ибо у нас постановлено, что кто желает служить кому-нибудь, в надежде 10 сделаться через него лучшим — либо в какой-нибудь мудрости, либо в ином виде добродетели, для того произвольное рабство не считается ни постыдным, ни ласкательным. Оба эти закона о любви и к мальчикам, и к философии, и ко всякой другой добродетели, надобно соединить в один, если хотят согласиться, что ласки мальчиков любителю — дело хорошее...

Конец Павзаниевой речи — многоречив и тавтологичен; и, наконец, она слишком вращается в узкой сфере παιδίων'а, суживая поставленную тему. Эти недостатки отмечает речь следующего за ним:

LVI

Эриксимах начал так: Павзаний вступил в свою речь хорошо, а кончил ее неудовлетворительно: поэтому мне кажется необходимым приладить к его речи конец. Что Эросов два, — это разделение мне представляется хорошим: но Эрос не в одних человеческих душах направляется к прекрасным; он стремится ко многому и в прочих вещах, как то: в телах всех животных, в наземных растениях, и, просто сказать — во всех существах; и только из врачебной науки, из нашего искусства можно усмотреть, как велик и дивен этот бог, как простирает он свою власть на все вещи человеческие и божеские. Итак, чтобы постичь Эроса, я начну свою речь из оснований, представляемых врачебным искусством. Природа тел заключает в себе двоякого Эроса: потому что здоровое состояние тела и состояние, признаваемое болезненным, различны между собой и неподобны одно другому; а неподобные одно другому неподобного и желают, неподобное и любят. Поэтому иной 30 Эрос в здоровом, и иной в больном. Стало быть, подобно тому как, по утверждению Павзания, добрым людям оказывать ласки — хорошо, а развратным — постыдно: так и в отношении к самым телам: добрым и здоровым частям каждого тела благоприятствовать хорошо и следует, и в этом состоит призвание врача, а худым и болезненным благоприятствовать постыдно, но требуется неблагоприятствование, если кто хочет быть знатоком своего дела. Ведь врачебная наука, говоря коротко, есть знание любовных свойств тела относительно к его насыщению и опорожнению. Распознавающий в этом Эроса хорошего и постыдного есть самый лучший врач: а кто при том производит перемены в делах эротических, то есть, вместо одного Эроса помогает приобретать другого, или, у кого нет его, а надобно, чтобы он был, тому умеет дать, либо имеющегося уже может изгнать, 40 тот — отличный мастер; ибо надобно уметь делать так, чтобы самые враждебные начала в теле приходили в содружество и взаимно себя любили. Начала же самые враждебные суть самые противоположные — как холодное теплomu, горькое сладкому, сухое влажному, и все тому подобное. Умевший между такими противоположностями восставлять любовь и согласие, родоначальник наш Асклетий — как рассказывают эти поэты, и чему

я верю — изобрел наше искусство. Врачебная наука, говорю, вся управляется этим богом, равно как гимнастика и земледелие. А что касается до музыки, то всякому, кто хотя немного обращал на нее внимание, совершенно известно, что с нею тоже бывает, что с упомянутыми искусствами, как это, может быть, хотел выразить и Гераклит, хотя в словах-то его недовольно выразительности: единое, говорит он, разногласящее само с собою, приходит в согласие, как гармония лука и лиры. Весьма нелепо было бы думать, будто гармонию Гераклит поставляет в разногласице * и даже производит ее из разногласицы: он хотел сказать, может быть, то, что гармония из разногласящих сперва звуков — высокого и низкого, которые потом были подстроены, произведены музыкальным искусством; потому что из разногласных-то пока еще звуков, высокого и низкого, гармонии, вероятно, быть не может. Ведь гармония есть созвучие; а созвучие из начал разногласящих, пока они разногласят, невозможно. Притом, пока начала разногласят и не согласены, согласными представлять их нельзя; равно как и ритм происходит сперва из начал — быстрого и медленного, которые потом приводятся к согласию. Согласие всему этому, как там — врачебное искусство, так здесь доставляет музыка, внушая любовь и взаимное единение; а потому музыка есть знание любви в деле гармонии и ритма. И в самом составе гармонии и ритма нетрудно различить эротическое; да тут нет и двух Эросов. Когда же ритм и гармонию нужно бывает рассматривать людям, которые или сочиняют, — что называется композицией мелоса, или пользуются правильно сочиненными мелосами и метрами, что названо образованием; тогда-то уже и трудно это, и требуется 10
хороший мастер. Здесь возвращается к нам тоже слово, что людям благонравным и тем, которые должны сделаться благонравнее, если еще не были, надобно оказывать ласки и беречь их Эроса; это Эрос прекрасный, небесный, — Эрос музы небесной. А сын Полигимнии — Эрос всенародный, которого надобно допускать с осторожностью, к кому бы он ни допускался, чтобы удовольствиями его пользоваться, а невоздержанию отнюдь не предаваться; равно как и в нашей науке — великое дело хорошо удовлетворять пожеланию услугами поварского искусства, так чтобы наслаждаться предлагаемым от него удовольствием, не подвергаясь болезни. Стало быть, и в музыке, и во врачебной науке, и во всем другом — человеческом и божественном, надобно, сколько возможно, различать 20
того и другого Эроса; потому что они есть везде. Ведь и состояние годовых времен находится под владычеством их обоих; и если под влиянием мирового Эроса те начала, о которых я недавно говорил, — теплое и холодное, сухое и влажное, вступают между собою в мудрую гармонию и благорастворение, то приносят плодородие и здоровье как людям, так и прочим животным и растениям, и ничем не вредят им: а когда над временами года владычествует Эрос невоздержный, — многое получает порчу и вред; потому что от этого часто бывают заразы и многие другие различные болезни как в животных, так и в растениях. — От перевеса и несоразмерности между собою тех любовных стремлений проис-

* Обычно переводят: «из разногласия», причем критика Платона становится бледна и не ясна. Но думают некоторые, что Гераклит (и позднее Гегель) учили, что мир зиждется и прекрасен («красота») несогласованностью, «разногласицей» частей своих, тогда как в гармонии и лире все именно прекрасно согласовано, и — 40

Стрела тогда далеко,
Когда здорова тетива

и не рвется даже при крайнем оттягивании ее назад. Полет стрелы вперед при оттягивании тетивы назад содержит в себе, пожалуй, «разногласие», но не «разногласицу» (неустроенное, «хаос»).

ходят инии, грады, губительные росы: это знает наука о течении звезд и годовых времен, называемая астрономиею. Кроме того, и все жертвы, и то, над чем господствует провещание (а это есть взаимное общение богов и людей), не иное что-либо имеют в виду, как сохранение Эроса и исцеление; потому что там обыкновенно бывает всякое нечестие, где, при всяком деле, не оказывают ласки, не воздают почестей и уважения Эросу благонравному, а воздают другому, как относительно родителей — живущих и умерших, так и относительно богов. Поэтому, провещанию предписано наблюдать над Эросами и врачевать; поэтому, опять, провещание есть зиждитель дружбы и между богами и людьми; ибо оно знает, какая человеческая любовь стремится к законному и какая к нечестивому.

10 Итак, обширную, великую, или, лучше, всю силу имеет вообще всякий Эрос: но тот, который упражняется в добре с рассудительностью и справедливостью, как у нас, так и у богов, — тот одарен силою величайшею, доставляет нам всякое благополучие и делает то, что мы можем и между собою сводить дружбу, и с превосходнейшими нас — богами.

Неприятную сторону в этом рассуждении составляет то, что значительнейшею своею частью оно переходит в номинализм, основывается уже не на наблюдении («я видел истину!»), а впадает в гипотезы, вероятное. Эрос здесь — всеобщее гармонизирующее начало, на родном для нас языке, в знакомых терминах — «всемирная гармония»; но, разливаясь и на «грозы», «град», «вредные росы» и вообще минеральную часть природы, он получает только номинальную широту, теряя жизненную в себе действительность. За ним говорит Аристофан-комик:

В уме у меня, Эриксимах, говорить иначе, чем как говорили ты и Павзаний. Мне кажется, что люди нисколько не поняли силы Эроса, потому что, поняв ее, они воздвигли бы ему величайшие храмы и жертвенники, и приносили бы драгоценные жертвы. Теперь же относительно к нему ничего такого нет. Ведь Эрос есть человеколюбивейший из богов...

Ну, да, уже по тому одному, что, фактически, в «девять месяцев» он есть зиждитель человека, есть «отец меня», естественно вызывающий во мне благоговейное дрожание перед его таинственным существом — и «вонью».

...попечитель людей и врач их; и если бы они исцелились, то человеческий род наслаждался бы величайшим счастьем. Итак, я постараюсь раскрыть его силу вам; а вы потом будете учителями других. Сперва надобно вам знать человеческую природу и ее свойства; потому что в древности природа наша была не такова, как ныне, а иная.

Начинается чрезвычайно грубая гипотеза о происхождении полов, интересная только в том отношении, что она показывает, что и Платон чувствовал какую-то запутанность в поле человека, как бы взаимно переплетенный подлог полов у человека, и, конечно, у всех живых существ (см. первые слова этого исследования).

В древние времена было три рода людей, а не как теперь два — мужской и женский. Тогда присоединялся к ним еще третий, составленный из того и другого, которого ныне осталось одно имя, а сам он исчез: тогда был андрогин в одном лице, и по виду, и по имени общий тому и другому полу, мужскому и женскому; а теперь его нет, кроме имени, сделавшегося поносным.

Нельзя не заметить, что и по Библии, с которою совпадает эта догадка, Адам до создания Евы, включая в себе Еву, — был, конечно, «андрогином»; и стал «мужем» лишь как противоположность «жене» и не ранее, чем когда она «взята была от ребра его». Там и здесь есть чувство, что корнями бытия своего отрок врос в девушку, вкраплен, гнездится в ней; как и обратно, девушка таинственно

цепляется корнем бытия своего за отрока, и, собственно, растет из его genital'ий: «той точки, откуда вырастает водоросль, а должны бы быть genital'ии» (См. Эмбриологию). Это есть коренной факт пола, как бы мы его ни представляли себе, как бы ни ошибались, объясняя.

Тогда весь образ каждого человека был шаровидный: спина и бока округлялись; рук было четыре; да и ног столько же, сколько рук; на одной шее вертелись два совершенно схожих лица, смотревшие в противоположные стороны, и оба принадлежавшие одной голове...

Заметим, что Платон излагает здесь общераспространяемый древний миф; добавим, что «двуликий» Янус римлян, о смысле которого составлено столько гипотез, едва ли не есть «андрогин» — как его представлял себе Платон — «пра-родитель людей». Самый миф мы опускаем, по его грубости и элементарности: читатель уже догадывается, что «Зевес рассек андрогина» и получились полы «мужской и женский» с жаждою вечной «восстанавливать свою древнюю целость».

Так вот с какого давнего времени Эрос прирожден людям и, как сводитель древней природы, стремится делать из двух единое и врачевать человеческую природу.

Итак, каждый из нас есть как бы полчеловека (ἀνθρώπων σύμβολον), отрывок, что-то в роде камбалы. Мы двоица из одного, и потому каждый из нас всегда ищет другого отрезка. Отрезки, ставшие мужчинами из общего состава, который тогда назывался андрогином, склонны к женщинам, и от этого рода происходит много любодеейний, а сделавшиеся женщинами любят мужчин, и от этого рода бывают также любодееяния. Кроме того, женщины, отрезанные от женского пола, не слишком обращают внимание на мужчин, но больше расположены к женщинам; а которые отрезаны от мужского пола, те гонятся за мужским полом, и притом — пока он еще в детстве...

Замечательно, что именно на возраст, на цветущий в человеке «апрель» — Платон при объяснениях λαιδίον'а обращает не так много внимания, и от этого объяснение ускользает от него.

И как части мужского целого, они любят мужчин, находя удовольствие лежать с ними и обниматься: и это лучшие из мальчиков и детей. Правда, некоторые находят их бесстыдными, но это ложь; потому что они поступают так не от бесстыдства, а от решительности, мужества, и мужеподобия, любя то, что на них походит. И вот сильное доказательство: эти только выходят, наконец, людьми самыми способными к делам политическим.

В № «Архива судебной медицины», который я привел выше, помещены были записки-признания λαιδίον'иста, осужденного и находившегося в темнице: «тут — тайна, которая когда-нибудь будет разгадана; влечение это — непреодолимо; λαιδίον'исты во всей Европе открывают друг друга по виду, и тогда сходятся; бывая в Германии, Испании, Франции — к удивлению, я встретил в тайных их обществах множество замечательных и частью знаменитых людей — политиков, писателей, принцев». Как бы мы ни смотрели на λαιδίον, из него ясно открывается одно, что содержание genital'ий, их смысл, возможность не покрывается деторождением, но переливается за его необходимость, и притом так, что в этом переливаемом есть свой самостоятельный центр. В цитируемых признаниях (да и у Платона) — λαιδίον есть более сильное влечение, чем соит'альное между разными полами.

Когда же возмужают, они сами любят мальчиков и, по природе, не думают о супружестве и деторождении, разве бывают принуждаемы к тому законом; для них достаточно жить между собою безбрачными. Стремясь всегда к сродному себе, такой, без сомнения, любит мальчиков и любим ими. А если ему и всякому иному случается сойтись со своею половиною, то, по дружбе, свойству и любви, они дивно как привлекаются один другим, не хотят, просто сказать, ни на минуту отойти друг от друга и остаются неразлучными на всю жизнь, даже не могут сказать, чего им хочется одному от другого, — ибо любовная связь («обсеменение» «по обычаю матросов», см. «Федр») им и на мысль не приходит: они сошлись как бы только для того, чтобы жить вместе; душа каждого из них хочет, очевидно, чего-то иного, о чем не может сказать, а только чувствует и гадательно выражает свои желания. И пусть бы тогда, как они лежат вместе, предстал пред ними Гефест, с орудиями своего искусства, и спросил их: «Чего хотите вы, люди, друг от друга?» и когда они недоумевали бы, что отвечать, пусть он сказал бы им опять: «Не того ли желаете вы, чтобы вам быть вместе и ни днем, ни ночью не оставлять друг друга? Если это ваше желание, то я сплавлю и срошу вас в одно, чтобы вместо двух сделался один, и пока живете, чтобы оба вы жили общею жизнью, как один, а когда умрете, чтобы и там опять, в преисподней, вместо двух вас, сообща умерших, был один; только смотрите, к этому ли стремитесь вы и это ли удовлетворит вас, если будет получено». Выслушав такое предложение, знаем, ни один из них не отречется от него и не обнаружит никакого другого желания, но тот и другой, действительно, подумает, что он слышит то самое, чего давно желает, чтобы, то есть, сошедшись и сплавившись с любимцем, из двух сделаться одним.

Это кажется — самое сильное и выразительное у Платона место о *ἡδονῆς*: чувство тяготения, сила и ярость его как в *coitus'e* (разнополом). И может быть, *ἡδονῆς*, в переходящих за всякую границу ласках своих, содержит именно вечное усилие, но не в *genital'иях* только, а на пространстве всего тела, *coit'ально* ритмировать один другому. Мы раньше сказали, что, по данным эмбриологии, организм *in toto* есть *genital'ии* и *βίος* есть *coitus*: слияние, как изобразил его Платон, есть, пожалуй, прозрение в эту истину, порыв к *πομπη'альной* истине тела нашего и жизни.

И причина — та, что древняя наша природа была такова, что мы составляли целое, и этой страсти к целому, этому преследованию целого имя — Эрос. В древности, как я говорю, были мы одно; а теперь, за неправду, разрознены богами, как Аркадяне разрознены Лакедемонянами.

Аристофан кончает свою речь мыслью, что «тогда род человеческий будет блаженствовать, когда каждый, нашедши сродного себе любимца, возвратится к древней природе. Если же это — дело наилучшее, то в явлениях настоящего времени также наилучшее есть то, что близится к этому будущему состоянию: т. е. каждым порознь приобретение любимца, сродного себе по уму, — за что восхваляя бога, как виновника, мы, по справедливости, должны восхвалять Эроса, который и теперь приносит нам большую пользу, ведя нас к сродному, а на последующее время подает величайшую надежду, если мы будем благочестивы перед богами, возвращая нас к древней природе, чтобы, исцеленные им, мы сделались блаженными и счастливыми».

Речь оканчивается универсальной надеждою, как Эриксимах кончил свою универсальную гипотезою. Но здесь она реальнее, т. е. важнее, что коренится в нервах, в мускулах говорящего.

Речь всем понравилась, может быть особенно концом, и Эриксимах оживленно заметил:

— Если бы я не знал, что Сократ и Агатон в деле эротическом сильны, то очень боялся бы, не окажется ли недостатка в материи для речей последующих, так как высказано уже очень много, и притом все разнообразного.

LVII

Начинает Агатон, и речь его особенно искусна:

Все вы, прежде говорившие, не бога, мне кажется, восхваляли, а ублажали людей ради тех благ, которых виновник для них бог; каков же сам тот, кто подавал эти блага, никто не сказал. Прямой способ всякой похвалы, относительно ко всему — один: раскрыть в слове, каков и чего виновником бывает тот, о ком идет речь. Поэтому-то и нам, хваля Эроса, следует сказать сперва о том, каков он, а потом о его делах. Итак, я говорю, что Эрос, если позволительно и не преступно сказать, блаженнее всех блаженных богов, что есть существо самое прекрасное и самое доброе. Относительно красоты он таков: во-первых, юнейший между богами, Федр*, и это слово сильно доказывает сам он, стремительно убегая от старости, которая, известно, очень быстра, и гораздо скорее, чем нужно, приходит к нам. Старость Эросу ненавистна; он и близко к ней не подходит...

Здесь он подходит к «липкости»; но есть ошибка, по-видимому, считать возраст чем-то отделенным от пола, *genital'*ий и *coitus'a*: т. е. как будто возрасты — детство, отрочество, мужество, старость — идут в человеке, а тогда сообразно им и «эрос», как бы подобно мотыльку, то садится на человека, то отлетает от него. На самом деле возрасты чередуются и следуют за траекторию «эроса» (мы берем греческую терминологию, не придавая ей никакого значения) в человеке, за его «учащенным сердцебиением», утреннюю дремотою, вечерним отдыхом и, наконец, сном.

А с юношами Эрос всегда в обращении, всегда вместе; ибо справедлива старинная поговорка, что подобное постоянно стремится к подобному. Но я не согласен с мнением, здесь высказанным, будто Эрос старше Хроноса и Япета, и говорю, что он младший между богами и всегда молод. Древние же дела богов, о которых рассказывает Гезиод и Эпименид, надобно приписать Ананке (= необходимости), а не Эросу, если только рассказы этих теологов справедливы; ибо будь в те времена Эрос, — не было бы тогда ни оскотления, ни уз, ни многих иных насилий: по воцарении Эроса над богами...

Нужно заметить — это специфическое мнение Платона, который Эроса ставит («воцаряет») *над* богами: по Гезиоду, он — *между* ними, и ни высший, ни даже очень значительный. Не отвергая родной мифологии = теологии, Платон незаметно ее преобразует, но именно *sexual'*но преобразует.

* Замечательно это неожиданное, и только в этом месте, обращение к Федре, «юнейшему» между беседующими: оно придает неясность и двусмыслицу речи, сливая универсального Эроса, «Вия» — на этот миг с Федром, как бы «смотрением Хомы», через которое видит «Вий». В данных строчках есть двусмыслица обожествления Федре.

...воцарились любовь и мир, как теперь. Итак, он юн, да, кроме того, и нежен; а изображать нежность бога есть дело такого поэта, как Гомер, который Ату называет богиней и притом нежною, говоря, что

Нежны стопы у нее; не касается ими
Праха земного; она по главам человеческим ходит.

10 Прекрасное, мне кажется, привел он доказательство нежности, что не по твердому ходит она, а по мягкому месту. Этим же доказательством воспользуемся и мы применительно к Эросу, что он нежен; ибо Эрос ходит не по земле и даже не по головам, которые не слишком мягки, а по самому мягкому — и там обитает. Ведь он утверждает свое жилище в нравах и душах богов и человеков, хотя не по порядку во всех душах, но если встречает душу, имеющую нрав жестокий, то удаляется, а когда мягкий — обитает. Итак, прикасаясь всегда и ногами, и всем к мягчайшему из мягких, Эрос по необходимости нежен. Он в высшей степени юн и нежен, но при этом и гибок; потому что иначе не мог бы войти во всякую душу, чтобы скрыться в ней, ни выдти, если она жестока. Важным доказательством этой соразмерности и гибкости служит благообразие, которое, по согласию всех, особенно присуще Эросу; потому что безобразие и Эрос всегда взаимно враждебны. О красоте красок в лице этого бога свидетельствует то, что его место на цветах; а что не цветет, или отцвело — тело ли то, или душа, или что другое — там он не садится: он сидит и остается, встречая только место цветущее и благовонное.

20 В самом деле, нельзя представить себе Плюшкина или Собакевича — влюбленными, «эротиками»; напротив — Керубино («Свадьба Фигаро») *semper amat* *; также Ромео. Но никогда также не влюблен и «*bel ami*» Мопассана. Любовь — это свежесть и юность, непременно это чистота, невинность, но именно души, а не одного тела, хотя в основе это всегда *sexual*'ное («возраст возрасту рад» — по Платону). Это — сочувствие тем, радование тела о теле; смущение, трепет, жар — из *genital*'ий обнимающие все тело, зажигающие душу, пылающие... куда, это мы исследуем здесь.

30 О красоте бога довольно и этого, хотя оставалось бы сказать еще многое. Теперь надобно говорить о добродетели Эроса. Важнейшее здесь то, что Эрос и не обижает, и не получает обиды: обида не существует для него — ни от бога, ни в отношении к богу, ни от человека, ни в отношении к человеку. Он и сам терпит не от насилия, если что терпит, ибо насилие к Эросу не прикасается; и другим делая насилие, не делает, потому что всякий дает ему все охотно:

(Повторить рисунок №)

40 А в чем вольному воля; то, как говорят царственные законы города, справедливо. Кроме справедливости, Эрос показывает и весьма много рассудительности. Ведь рассудительность, как известно, господствует над удовольствиями и страстями: но ни одно удовольствие не бывает могущественнее Эроса. Если же они слабее, то побеждаются Эросом, и он бывает победителем. А побеждая удовольствия и страсти, Эрос должен быть особенно рассудителен...

Это — не софистика, какую представляется по форме: *sexual*'ное общение, «побеждая все страсти», и, как мы знаем, побеждая прежде всего рассчитывающую рассудительность — потому ее и побеждает, что есть пошпен альная рассу-

* вечный любовник (*лат.*).

дительность, есть таинственный и высший расчет. И опять, что касается до мужества, то Эросу не может противостоять и Арей; ибо не Арей владеет Эросом, а Эрос, сын Афродиты, как рассказывают, владеет Ареем; владеющий же могущественнее того, кем он владеет. Но, владея тем, кто мужественнее прочих, он должен быть самым мужественным из всех.

Итак, о справедливости, рассудительности и мужестве бога сказано; остается сказать о его мудрости. Постараюсь, сколько могу, не упустить здесь ничего. И во-первых, чтобы и мне почтить наше искусство, как Эриксимах почтил свое, скажу: этот бог такой мудрый поэт, что и других делает поэтами; ибо всякий, сколько бы ни был прежде не образован, непременно становится поэтом, как скоро прикасается к нему Эрос... 10

Замечание поразительной глубины и обширности:

И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и обмыт...

И вот доказательство, которым прилично нам воспользоваться, что Эрос — добрый поэт, если сказать вообще, во всех родах музыкального слова (ποίησον τῆν κατὰ μουσικίην): чего кто или не имеет, или не знает, того тот не может дать и другому, либо научить другого. К тому же, будет ли кто утверждать, что творение всех животных не есть дело мудрости Эроса, которою он рождает и возвращает их? А что касается до производительности искусств, то разве не знаем, что кому этот бог был учителем, тот вышел известным и славным; а кого он не касался, тот оставался во мраке? Ведь искусство-то стрельбы, врачевания и просвещения Аполлон изобрел под руководством охоты и любви; так что и он был учеником Эроса. Под тем же руководством и музы изобрели музыку, и Гефест — кузнечество, и Афина — ткацкое мастерство, и Зевс — управление богами и людьми. Оттого-то и устроились дела богов, что был между ними Эрос, т. е. бог прекрасного, ибо на безобразное он не действует. Прежде Эроса, как я сказал вначале, с богами случалось, говорят, много ужасного, и это происходило от владычества Ананки: а когда этот бог родился от любви к прекрасному произошли все блага и для богов, и для людей. Так кажется мне: Эрос первый был существом прекраснейшим и добрейшим; а потом уже послужил он причиною того же и в других. При этом приходит мне на мысль сказать и нечто измеренное, что он именно творит 20

Между людьми мир, спокойствие на море,
Отишие ветров, на ложе сон заботам.

Он удаляет нас от отчуждения и сближает друг с другом, устанавливает все подобные нашему собрания и бывает вождем на праздниках, в хорах, при жертвоприношениях; он распространяет кротость и изгоняет дикость, с любовью одаряет благоволением и не любит выражать неблагоприятие; он милостив к добрым, доступен мудрым, любезен богам, возделенен не имеющим его, верен получившим; он — отец роскоши, неги, удовольствий, прелестей, приманок, пожеланий; он — попечитель добрых и пренебрегатель злых; он в труде, в страхе, в желании, в славе — правитель, товарищ, защитник и добрый оберегатель; он — украшение всех богов и человеков, прекраснейший и добрейший вождь, которому должен следовать всякий, кто хорошо восхваляет его и усвоит себе ту прекрасную песнь, которую он поет, услаждая души всех богов и человеков. 40

Эта моя речь, Федр, сказал он, наполненная выражениями частью игривыми, частью серьезными, сколько это было для меня возможно, да будет посвящена богу.

Речь эта, гораздо более замечательная, чем кажется под шумихой образов и мифов, с великой глубиной и всеобъемлемостью указывает на genitalia, sexus, coit'альное тяготение, как центр самого спиритуализма, точку, откуда радиально расходятся, казалось бы, чисто духовные порывы.

Речь Агатона всех взволновала: «ибо юноша говорил достойно себя и бога». За ним надлежало говорить Сократу; и в приступе он несколько понижает общее одушевление, замечая, что в каждом деле «все-таки дело основное — правда, и уже вторичное — восхищение». Эту осторожную заметку мы подготовляем к ожиданию, что истинное раскрытие темы, и раскрытие всего менее разукрашивающее — последует теперь только. Затем, Сократ испрашивает позволения предварительно задать несколько вопросов Агатону. Все дают на это согласие; и путем искусных вопросов, где правда — метод «беседования» (δια-λέγω) сливается с методом познания («диалектика» — он, ко всеобщему смущению, раскрывает две стороны в Эросе: во-первых — не самосущность его: «Эрос всегда есть Эрос кого-нибудь (субъект) и относительно чего-нибудь» (объект); во-вторых, то, что самая природа его, как некоторой жажды, требует определение себя как пустоты, алкания, т. е. лишения именно того, чего он есть Эрос:

И я видел жену...

И вот — великий дракон...

20 Это сопоставление Апокалипсиса собственно дает в образе, в композиции то, что Сократ дает в понятиях; мы приведем часть его диалектики:

Сокр. — Не правда ли, что Эрос есть, во-первых, чей-нибудь («субъект»), во-вторых, — Эрос того, в чем он имеет нужду?

Аг. — Да.

Сокр. — Так вспомни же теперь, чьим, в своей речи, назвал ты Эроса. А если хочешь, напомню тебе я. Кажется, ты выразился, что дела богов устроены были через Эроса, ибо Эрос не может быть Эросом постыдного. Не это ли говорил ты?

Аг. — Говорил, действительно.

30 *Сокр.* — Да и хороша твоя мысль, друг мой; и если это так, то иным ли чем будет Эрос, как не Эросом прекрасного, Эросом же безобразного он не будет?

Аг. — Соглашаюсь.

Сокр. — Не согласились ли мы также, что он стремится к тому, в чем нуждается и чего не имеет?

Аг. — Да.

Сокр. — Следовательно, Эрос нуждается в красоте и не имеет ее?

Аг. — Необходимо, сказал он.

Сокр. — Что же, нуждающееся в красоте и отнюдь не получившее ее назовешь ли ты прекрасным?

Аг. — Отнюдь нет.

40 *Сокр.* — Так будешь ли еще держаться той мысли, что Эрос прекрасен, если мы в этом соглашаемся?

Действительно, в характере coit'ального тяготения, и, общее, во всем идущем от genital'ий и пола есть какое-то пылание, «буря»; но ведь тогда есть и жажда? Т. е. не насыщенность? Пустота, «святая пустота» как у нас вырвалось выше: но именно характер «пустого», «не наполненного» есть родник динамического начала в genit'альном, или, как это называет Платон — в «Эросе».

Аг. — Должно быть, Сократ, я тогда нисколько не знал, что тогда говорил.

Сокр. — И однако ж говорил хорошо, Агатон. Скажи еще немного. Доброе не кажется ли тебе прекрасным?

Аг. — Кажется.

Сокр. — Но если Эрос нуждается в прекрасном, а доброе прекрасно; то он, вероятно, нуждается и в добром.

Аг. — Я не могу противоречить тебе, Сократ. Пусть будет так, как ты говоришь.

Сократ. — Ты не можешь, конечно, противоречить истине, любезный Агатон: а противоречить Сократу-то нет ничего трудного.

LVIII

10

— Теперь тебя оставлю и скажу речь об Эросе, слышанную мною некогда от Мантинеянки Диотимы, которая и в этом была мудра, и во многом другом, и когда афиняне приносили жертву перед голодом, сделала отсрочку болезни * на десять лет. Она и мне сообщила познание о делах эротических, и ее речь, применительно к тому, в чем согласились мы с Агатоном, я постараюсь раскрыть вам, говоря, сколько могу, сам по себе. Но надобно, как и ты сделал, Агатон, сперва показать, кто такой Эрос и каков он, а потом его дела. Мне кажется, легче будет раскрыть этот предмет так, как раскрыла его некогда та иностранка, т. е. предлагая мне вопросы. Ведь и я говорил ей тогда почти то же, что теперь говорил мне Агатон: что, т. е., Эрос — великий бог и один из прекрасных; но она опровергла меня теми же доказательствами, какими я опроверг его, что, то есть, Эрос, по моим основаниям, ни прикрасен, ни добр. Я сказал ей: что это ты, Диотима? Разве Эрос безобразен и зол? — А она в ответ: говори лучше; неужели думаешь, будто что не прекрасно, то непременно безобразно? — Непременно. — Неужели же что не мудро, то невежественно? Разве не знаешь, что между мудростью и невежеством есть нечто среднее? — Что же это? — Так ты не знаешь, что правильное мнение, которого не можешь подтвердить доказательством, не есть ни знание (ибо дело не доказанное как могло бы быть знанием), ни незнание. Это-то именно правильное мнение, вероятно, и есть середина между невежеством и разумностью. — Ты правду говоришь, — сказал я. — Итак, что прекрасно, того не заставляй быть безобразным, равно как что недобро — быть злым. Поэтому и Эроса, если соглашаешься, что он ни добр, ни прекрасен, не думай от того почитать безобразным и злым, а чем-то, говорит, средним между этими крайностями.

20

30

В самом деле, предикаты «доброе», «злое» как-то однолинейны, скудны — и именно движением, и всего менее то, что «в одну линию» устроено по этим предикатам, могло бы быть зерном жизни с ее игрою, сверканием. Кажется, мы не ошибемся, если скажем, что эти предикаты номинальны, т. е. заключают в себе что-то специфически мозговое, умственное, абстрагированное от вещей.

— Но ведь всеми признано, сказал я, что он великий бог. — О всех незнающих говоришь ты, спросила она, или и о знающих? — О всех вообще. — Тут она засмеялась и сказала: как же, Сократ, признают его великим богом те, которые утверждают, что он даже не бог? — Кто же это? — спросил я. — Один — ты, говорит, другая — я. — Как это понима-

40

* Именно — язвы перед Пелопонесскою войною. Диотима — историческое лицо — по одним (Прокл: «Комментарий к „Республике“ Платона») была пифагорейка, по другим (Схолиаст) — жрица Зевса лианского, чтимого в Аркадии.

ешь ты? Спросил я. — Легко понять, говорит она. Скажи мне: не всех ли богов называешь ты счастливыми и прекрасными? Или осмелишься кого-нибудь из них не назвать прекрасным и счастливым? — Нет, клянусь Зевсом, сказал я. — Счастливыми же называем не тех ли, которые обладают добром и красотой? Конечно. — Между тем ты согласился, что Эрос-то, по недостатку в добром и прекрасном, желает того самого, чего ему не хватает. — Согласился. — Как же может быть богом тот, кто не имеет прекрасного и доброго? — Выходит, что никак. — Так видишь ли, говорит; Эроса и ты не считаешь богом. — Что же бы такое могло быть — Эрос? — спросил я. — Смертный он? — Всего менее. — Так что же? — Подобное прежнему, сказала она: среднее между смертным и бессмертным. —

10 А что именно, Диотима? —

Замечательно раскрываемое учение:

— Самуил, Самуил...

— Вот я, Господи.

Лампада же на жертвеннике уже погасла.

Это — великий гений, Сократ; потому что все гениальное находится между богом и смертным...

Все гениальное от Бога, и потому «исступленно» (Платон). Маленькая теория Ламброзо о «сродстве» гения и помешательства вытекла из того, что итальянский ученый не умел рассмотреть этой стороны в вещах, вникнуть в истинную природу «исступленности». Гений, будучи, моментами, как бы «исступлен», не «родствен» от этого еще «умопомешанному»: аргументация была бы полною и убедительною, если б Ламброзо удалось показать, что и обратно, «всякий помешанный имеет в себе что-то гениальное», над чем он даже не задумался, чего не пытался доказать. Но в руках Бога — человек уменьшается до юродства, умалется «как бы до умалишенного»: лицо своего «я» в нем меркнет, когда сквозь его лицо просвечивает еще другое Лицо, веяний Коего через себя не знал, конечно, Ламброзо, и от этого ничего здесь не понял.

30 — Но какая свойственна ему сила? — спросил я. — Истолковывающая и переносящая к богам человеческое, а к человекам — божеское; от людей — молитвы и жертвы, а от богов — повеления и воздаяния за жертвы...

— Что же Он сказал тебе? — спросил Илий... И передал ему Самуил услышанное:

— Вот, Я исполню все над Илием, что говорит о доме его; Я начну и окончу. Я объявил ему, что Я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его нечествуют, и не обуздывал их.

Илий выслушал и сказал: Он — Господь, и что угодно Ему — да сотворит (I Царств, гл. 3).

Находясь в середине, он наполняет ее собою между теми и другими; так что им связуется все. Чрез него проходит и всякое просвещение, и искусство жрецов, занимающихся жертвами, мистериями, обаяниями, всякими гаданиями и чародейством.

40 Бог не смешивается с человеком; но всякое сношение и беседа богов с людьми, как бодрствующими, так и спящими, производится через него. И человек, в этом отношении мудрый, есть человек гениальный; а мудрый в чем-нибудь ином, — в искусствах — ни то или в рукоделиях каких, бывает ремесленником. Гениев, о которых я говорю — много: один из них есть Эрос.

Вот гениальный взгляд на вещи: как мала перед ним явившаяся 2000 лет спустя теория Ламброзо, — теория скудоумная: уже теперь мы не можем удержаться от определения ее.

— Но кто же отец его и мать? — спросил я. — Долго рассказывать, отвечала она; однако ж скажу тебе.

Начинается снова миф: своеобразная форма у Платона для выражения мысли, которой или не умел доказать он, а может быть, и скучал (инстинктивно отворачиваясь) выразить ее в логически-нищенской форме.

Когда родилась Афродита, боги устроили пиршество, на котором между прочими был Пор (= богатство, избыток), сын Митиды. Когда они ужинали, привлеченная пированием Пеня (= бедность, нищета, скудость)...

...Дракон... хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. И вот, он стоит перед Женою, которой надлежало родить, дабы, когда родит — пожрать вышедшее из чресл ее... (Апокал., гл. 12).

Пеня пришла к ним просить милостыни и стала у дверей. Пор, упившись нектаром, — ибо вина тогда еще не было, — вошел в сад Зевса и, обремененный излишеством, заснул. Пеня, коварно задумав в помощь своей бедности получить от Поря дитя, прилегла к нему —

.. Вот ручка, вот плечо — и возле них
 На кисее подушек кружевных,
 Рисуетя молодой, но строгий профиль,
 И на него взирает — Мефистофель.
 То был ли сам великий Сатана
 что дух:
 Жизнь, сила, чувство, зренья, слух
 И мысль без тела...

20

Прилегла — и зачала Эроса. Потому-то Эрос и сделался спутником и слугою Афродиты, что он родился в день ее рождения и вместе был по природе любитель красоты, а Афродита была прекрасна. Став же сыном Поря и Пеня, Эрос такую наследовал и участь.

30

Вот добро и зло в таинственном изгибе их сцепления; зло — как бедность, «прилегающая» к богатству, лижущая от него крупниц. Мы приближаемся к «всемирной гармонии» (Достоевский), постигая, уже давно постигая в этом исследовании, что нет вовсе несладкого противоречия между добром и злом, их противоположения, и, как говорит Апокалипсис:

И повел меня (т. е. Ангел) в духе в пустыню — и показал:

И увидел я Жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами

И жена облечена была в порфиру, и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом (глава 17).

40

Образы Апокалипсиса, чтобы что-нибудь понимать в них, мы должны разделять гомеопатически; ибо даже тогда они объемлют еще века и циклы космического развития. Но, во всяком случае, между богатством блага и скудостью зла, «Пором» и «Пенией» — то соответствие, что их жажда — «забеременеть» одно

от другого; и у «дракона» — понести на хребте Жену, которой, казалось бы, угрожал он, и она пугливо отбежала от нее. «Мадонна» и «Содом» в изгибах другой диалектики — но опять сближаются, как истина, — как рикошет истины.

Во-первых, от этого Эрос всегда беден, и далеко не нежен и не прекрасен, каким почитают его многие; напротив — сух, неопрятен...

Да это — Федор Павлович Карамазов, с своим «трясущимся кадыком»; и дальше почти черты его биографии, по крайней мере — ранней:

...Необут, бездомен, всегда валяется на земле без постели...

Даже не побрезгал «Смердящею»:

10 ...Ложится на открытом воздухе, пред дверьми, на дорогах, и имея природу матери — всегда терпит нужду.

Но по своему отцу — он коварен — в отношении к прекрасным и добрым.

Ну, совсем отец трех сыновей: «Эк, святые отцы наготовили: вино — разлива братьев Елисеевых; медок, карасики; хотите карасиками у Бога царство небесное купить. Обо всем отпишу к Архиерею».

...Мужествен, дерзок и стремителен, искусный стрелок, всегда строит какое-нибудь лукавство.

30 Всегда строит: это — удивительное совпадение: «Ты, Грушенька вот так поступи: два раза, и потом помедля — третий. Три тысячи, в пакете — вот их за образа кладу: как придешь, так и получишь».

...любит благоразумие, изобретателен, во всю жизнь философствует...

— Иван — есть Бог.

— Нет Бога.

— А бессмертие?

— Нет и бессмертия.

— Ну, хоть какое-нибудь, хоть малюсенькое (= «пауки» Свидригайлова).

— Нет и малюсенького.

30 — Экая пропасть. Верите, что нет. И кто это выдумал все это, на муку и на страдание всего человечества: да с того, кто первый-то выдумал, я полагаю — кожу содрать за это мало... («Бр. Кар.», «За коньячком»).

...страшный чародей, отравитель и софист.

Здесь характеристика Федора Павловича, набросанная как-то Платоном, кончается, и в бесконечно сложном образе выступают другие —

...черты и переливы

Милого лица.

Свет ночной, ночные тени,

Тени без конца... (Фет)

Он обыкновенно ни смертен, ни бессмертен, но в один и тот же день то цветет и живет, когда у него изобилие, то умирает...

40 — Я замечал: большой приступ так называемой любви — большая пауза за ним злобы; поменьше — и пауза злобы за ним покороче («Крейцера соната»).

...И вдруг, по природе своего отца — опять оживает. Между тем богатство его всегда уплывает...

Да это — природа «мирры»:

И мирра падала с рук моих...

И с пальцев моих падала мирра на ручку замка (*Песнь песней*).

...и он никогда не бывает ни беден, ни богат. Тоже опять в середине он между мудростью и невежеством; потому что в этом отношении он таков. Из богов никто не философствует и не желает быть мудрым, так как уже мудр; не философствует и всякий вообще, насколько он достигший своего мудрец. Точно также не философствуют и невежды и не желают быть мудрецами; ибо то-то и тяжело в невежестве, что не будучи ни прекрасным, ни добрым, ни умным, невежда кажется себе достаточным, а потому, не думая, что нуждается, он и не желает того, в чем, однако, действительно нуждается...

Страница, снова как бы из четырех наших мистиков-«реакционеров».

— Кто же философствует, Диотима, спросил я, если не мудрецы, и не невежды? — Это-то понятно и ребенку, отвечала она, что занимающие середину между обоими и что к ним принадлежит Эрос. Ведь мудрость направляется к прекраснейшему; а Эрос есть любовь красоты; стало быть, Эросу необходимо любить мудрость — быть философом, и философ должен занимать место между мудрецом и невеждою. Причина этого и здесь есть рождение — от отца мудрого и богатого, от матери же не мудрой и неимущей. Итак, природа гения, любезный Сократ, такова. А то, что ты думал об Эросе, несколько не удивительно; судя по твоим словам, ты думал, кажется, что Эрос есть любимое, а не любящее...

Удивительно; удивительно все это: конечно, прежде всего в соит'альном тяготении нужно разделять «тяготеющую» «Пению».

То был ли сам великий Сатана

Иль мелкий бес — из самых нечиновных... («Сказка для детей»).

— Какой мой бес: дрянной, с хвостиком» («Бесы», восклицание о себе Ставрогина).

И нужно отличать от этого точку тяготения, «полноту», «Пора»:

...За обед

Она являлась в фартучке, с мадамой

Сидела чинно и держалась прямо («Сказка для дет.»).

...Потому-то, думаю, Эрос и представлялся тебе прекраснейшим. Ведь любимое-то...

Мы повторяем, «пред Мефистофелем», снова жест откидывания «края одежды» с смеющимся из-под нее лицом отрока-Смердякова, что вызвало бы в нем восклицание, как и у Свидригайлова вид протягивающей к нему руки «пятилетней»:

— У, проклятие!..

...в самом деле это любимое — прекрасно, нежно, совершенно и достойно блаженно; а любящее — это другая идея, которую я раскрыла.

Вот богатое и новое дополнение, какое мы находим у Платона к нашим мыслям ибо, собственно, все остальное у него так и этак пересекая, не выходит все-

таки из орбиты нашего исследования, и, собственно, из орбиты инстинктивно понятного и художественно изображенного у наших четырех мистиков.

Тут я сказал: пусть так, иностранка; ты хорошо говоришь. Но если Эрос таков, то в чем полезен он людям? — Это, Сократ, сказала она, я и постараюсь теперь раскрыть тебе. Эрос — таков по природе; но он, как ты говоришь, есть также Эрос прекрасного. Итак, если бы кто спросил нас: для чего, Сократ и Диотима, он есть Эрос прекрасного? или, спросу яснее: любящий прекрасное для чего любит? — Чтобы оно досталось ему, отвечал я. — Но твоим ответом возбуждается следующий вопрос: что будет тому, кому достанется прекрасное? — На этот вопрос мне вдруг не найти ответа, сказал я. — А если бы кто превратил его, говорит, и вместо прекрасного поставил доброе, да и спросил: представь, Сократ, что любящий любит доброе; для чего любит он? — Чтобы оно досталось ему, отвечал я. — А что будет тому, кому достанется доброе? — На это легче отвечать, сказал я: тот будет счастлив. — Потому что счастливые, скажешь, счастливы через приобретение добра. И далее уже не нужно спрашивать: для чего хотящий быть счастливым, хочет этого? Здесь ответ кажется конченным. — Твоя правда, сказал я. —

Вот в полноте своей та формула, куда замыкаются, гармонизируясь друг другу, два видения, при связывании которых мы удержали волнуемое негодование читателя:

30 ...О Боге великом он пел — и хвала
Его не притворна была

И другое:

«...Цветы, цветы; в белом гробе, без зажженных свеч, лежала четырнадцатилетняя девочка, с мокрыми волосами. Это была самоубийца. На лице ее застыло выражение испуга и недоумения...» («Преступление и наказание», предпоследнее видение Свидригайлова). Мы тогда же заметили, сопоставляя их, что слова

хвала
Не притворна была

есть истинные, не содержат лжи. И мантинейка Диотима подтверждает, научая неопытного еще Сократа:

30 ...Любящий прекрасное — для чего любит? — Чтобы досталось ему. — А что будет тому, кому оно достанется? — На это мне не найти ответа. — Но превратим вопрос, и вместо прекрасного поставим доброе: представь, что любящий любит доброе (*summun bonum* *) — для чего любит он? — Чтобы оно досталось ему. — А что будет тому, кому достанется доброе? — Тот будет счастлив. — Потому что счастливые, ты должен докончить, счастливы через приобретение добра.

Акт «μετέχει», «соучастия», «касания» — «миров иных», всемирной «гармонии», *summun bonum*:

Что в имени тебе моем?
Оно пройдет, оно прошло...

40 Важность не в «именах», но в существе «соучастия» «вечной жизни», или, пожалуй, «причастия» таинственному ее ключу, бытия которого в себе отчетливо не постигает человек, и отсюда в нем «недоумение».

* Самое благое (*лат.*).

Улыбка на бледных ее губах была полна какой-то не детской, беспредельной скорби и великой жалобы. Свидригайлов знал эту девочку: ни образа, ни зажженных свечей не было у этого гроба, и не слышно было молитв... Разбитое сердце — оно погубило себя, оскорбленное обидой, ужаснувшее и удивившее это молодое, детское сознание, залившее незаслуженным стыдом ее ангельски-чистую...

По небе полуночи — *ангел...*

...душу, и вырвавшей последний крик отчаяния, не услышанный, а нагло поруганный в темную ночь, во мраке, в холоде, в сырую оттепель, когда выл ветер... («Прест. и наказ.»).

«Я не знаю разницы между каким угодно подвигом, даже жертвою жизнью для человечества, и зверскою сладострастною штукой...». И... и...

«Пусть будут плевать хоть во всю луну» («Бесы»).

Диотима разрешает сомнение: да пусть и так, на «порывающегося» пусть «плюют тысячи лет», и пусть в нем это — «сладострастная зверская штука»: не в этом центр явления, а в точке порыва, — в поупен'альной точке, возбудившей к себе «бурю». Четырнадцать лет — весенний «Федровский» «исступляющий» возраст: первое созревание, «самосветящееся» (Эмбриология) зернышко-яичко, и

Красный дракон... Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на землю. И, став перед женою, он готовился пожрать имеющее выдти из нее.

Да это же «Порос», «полнота», «богатство», поясняет снова Диотима: «буря»²⁰ потому и страшна, она сломала человека («четырнадцатилетнюю») как некогда вызвала Сицилийскую вечерню, что в самом деле это — *summum bonum*, и повергло тебя, старика-Платона, и еще ранее «мудрейшего из людей»* — Сократа к той же таинственной точке у «золотистого» Федра:

— У, чудовища...

Пусть, пусть; о, пусть на нас «плюют тысячу лет»:

Что в имени тебе моем

Оно прошло, оно пройдет.

Мы открываем человечеству истину, «мы ее увидели!» и ее-то видение купили ценою «тысячелетнего плевания», некоторые — как бедный, недоумевающий³⁰ наш предшественник Свидригайлов, отправившийся в «войж» — ценою даже всего остального бытия:

Есть секунды — две, три; и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо переменить физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал**, то в конце каждого дня создания говорил: «да, это правда, это хорошо». Это... не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего...

Замечательно: т. е. оправдалось всякое зло, наконец постигнутое в самом кор-⁴⁰не — благом, как «рикошет» — своим

* Определение Дельфийского оракула о Сократе.

** Кажет все аналогии; все sexual'ный «вихрь».

Вы не то, что любите, о — тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая трагедия. Если более пяти секунд — то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдаю всю мою жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю, что человек должен перестать родить *. К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута. В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как Ангелы Божии. Намёк. Ваша жена родит? **

— Кириллов — это часто приходит?

— В три дня раз, в неделю раз ***.

- 10 — Смотрите, берегитесь, Кириллов. Вспомните Магометов кувшин: не успел пролиться, как он облетел все «семь небес». Те же ваши «пять секунд» **** и ваша же «гармония»... («Бесы», 528).

Что это за «пять секунд», которые — мы можем умозаключить по sexual'ному предчувствию очевидно чистой и высокой девушки-автора:

Нина отстранилась, взглянула в лицо Андрея — бледное и бесчувственное, с остро-горячими глазами, и, заливаясь краской стыда и восторженной решимости, опять обвила руками его шею... Ей казалось, что *жгучее счастье* и боль всего мира сосредоточились в ней («Плоскогорье» г-жи Гуревич, стр. 266).

Вот поупен'альное. Но мы забыли Платона:

- 20 — Но это хотение и этого Эроса, спросила Диотима, считаешь ли ты общим для всех людей и все ли всегда хотят себе добра, или как ты думаешь? — Так, отвечал я, что оно общее для всех. — Почему же, Сократ, спросила она, мы говорим, что не все любят, если только все и всегда любят то же самое, но утверждаем, что одни любят, а другие — нет? — Я и сам дивлюсь этому, был мой ответ. — Не дивись, сказала она; мы, взяв какой-нибудь вид Эроса, называем этим именем целый род...

Вот опять глубина: есть *coitus* и *coitus*, но мы объединяем их в одном имени и уравниваем в грубом своем, «матросовском» воззрении; есть «семя ослиное» (*Второзаконие, Исход, Бытие*), но ведь оно не то вовсе, что «святое семя, льющееся» (там же).

- 30 Прочие же виды мы означаем другими именами. — Например? — спросил я. — Например так: тебе известно, что творчество многовидно; ибо всему, что из небытия переходит в бытие,

<Лодка со Скарабеем.>

причина есть творчество; так что и произведения всех искусств — творчество, а производители их — творцы. — Правда. — Однако, ты знаешь также, продолжала она, что они

* Снова sexual'ный луч — пусть хоть как понятие, как упоминание — в загадочном монологе.

- ** И опять, на прострастве мрачного, экстатического «как бы в иступлении» (по Платону) монолога — уже четвертый sexual'ный луч. Ясно, откуда лучится этот характерно чресленный
40 монолог.

*** Замечательны самые темпы, «паузы»: чисто опять sexual'ная ритмичность.

**** Известен ultra-sexual'ный характер Магомета.

называются не творцами, а имеют другие названия: тут из всего творчества отделяется только одна часть, свойственная музыке и метру...

И в coitus'e (Эрос) есть «музыка и метр», т. е. есть некоторый, «не ослиный» coitus с музыкальностью и метром в себе, — и он-то:

...служит именем целого рода. Ведь творчеством называется одно это, и имеющие эту часть творчества удерживают имя творцов (ποίητής = творец, и также = поэт). — Правду говоришь, сказал я. — То же самое и об Эросе. Главное здесь то, что всякое желание добра и счастья для каждого есть величайший и лукавый Эрос; только некоторые обращаются к нему иными различными способами: занимаясь то приобретением денег, то гимнастикой, то философией, они не называются ни любящими, ни любителями, за то, направляясь заботливо лишь к одному виду, удерживают имя целого рода, т. е. имя Эроса — любящего и любителя. — Должно быть, ты говоришь правду, сказал я. — И вот есть мнение, говорит, что любят те, которые ищут своей половины: а я думаю, что Эрос не есть Эрос ни половины, ни целого, если это, мой друг, не добро...

Потому что, в самом деле, любовь, «тяготение», ἔρως вспыхивает в «половине» не при приближении к ней *всякой* «половины», но собственно единичной которой-то: тут выявляется пол как лицо, как «я»; но Платон этого не договаривает:

Ибо люди соглашаются на отнятие у себя ног и рук, когда им кажется, что эта собственность их не хороша. Ведь и своего, думаю, никто не любит, разве когда своим называют доброе, а чужим — злое; так что все ничего не любят, кроме добра. Или тебе кажется иначе? — Нет, клянусь Зевсом, сказал я. — Итак, не следует ни просто положить, спросила она, что люди любят добро? — Да, отвечал я. — Но что? Не нужно ли прибавить, говорит, чтобы добро было для них? — Нужно прибавить. — И притом, чтобы не только было, говорит, но и всегда было? — И это прибавим. — Следовательно, вообще, сказала она, Эрос есть желание всегдашнего себе добра. — Ты весьма справедливо говоришь, промолвил я. — Если же это — Эрос, сказала она, то ревность и стремление преследующих его по какому способу и деятельности называется Эросом? Какое тут бывает дело? Можешь ли сказать? — Если бы мог, Диотима, отвечал я, то не удивлялся бы твоей мудрости и не ходил бы к тебе учиться этому самому. — Так я скажу тебе, примолвила она: это есть рождение в прекрасном, как по телу, так и по душе...

Мы имеем здесь слияние рождения чресленного и лоу'ического: и также чресленное дитя, дитя — мысль Божия, выдвинуто вперед перед лоу'ическим, перед мыслью — «дитя» человеческого («cogito — ergo...»).

— Тут нужно искусство провещателя, чтобы понять твои слова, заметил я, а мне не понять их. — Но я скажу яснее, прибавила она. Все люди бременеют, Сократ...

Вот космический sexual'изм: «то бы и то бы, неправда ли, нянюшка? Говорит Левин, думая «немножко о политике» и «немножко об экономизме»; и вопросительно смотрел на нее. — «Нет, барин, я... я думаю, что вам следует жениться» (Ан. Кар.) «павлин, оставляющий яйца свои в песке, и не боящийся, что нога человека, или бегущего зверя раздавит его» (Иов).

...бременеют и по телу, и по душе, и как скоро наша природа достигает известного возраста, — тотчас желает родить. Родить же может она не в безобразном, а в прекрасном; потому что соединение мужчины и женщины есть рождение.

Характерно это «потому что» между «прекрасным» и coitus'ом мужчины и женщины: «О, пусть — ложесна, и пусть — разверсты»; «уж одно то, чорт возьми, что она женщина, т. е. вельфилка или там замарашка, грязнушка, — уж это одно, чорт возьми, есть половина всего: да и не половина — а все; но где вам понять это; у вас еще молочко в жилах, а не кровь бежит» (финикианизм Федора Павловича); а вот и квалификация этого финикианизма:

Это — дело божественное; бременение и раждение — это в животном истинно смертном есть бессмертное...

— Находятся сопляки-моралисты, которые эту жажду называют часто подлою: особенно поэты. Черта-то она отчасти Карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни

<скарабей>

несмотря ни на что — в тебе она тоже непременно сидит — но почему ж она подлая? Центристической силы еще страшно много на нашей планете, Алеша. Жить хочется, и я живу — хотя бы вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорогое голубое небо, дорог иной человек, подвиг дорог человеческий, даже если и перестал верить в его смысл. Что же ты уху не ешь? — Уха славная!. Паду на землю и буду целовать ее камни, буду плакать над ними, убежденный в то же время, т. е. о всем нашем лице европейском, что это — кладбище и никак не более... Тут не логика, не ум; тут — нутром, тут — чревом...

20 Чревом... что? семенем? «И о семени своем благословятся все народы».

— Понимаешь ты что-нибудь в этой ахинее?

— Слишком понимаю. Нутром и чревом хочется любить. Прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, — воскликнул Алеша. — Я думаю, что и все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.

— Жизнь полюбить больше, чем смысл (λόγος) ее?

— Непременно так: полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине и ты спасен...

30 — Уж и спасать собирается. Ты, я вижу, в каком-то вдохновении...

...Ты не замечаешь, Федр, что моя речь — в дифирамбах (см. «Федр»).

...И в нестройном рождении быть не может. Не стройное (= не сгармонизованное) для всего божественного безобразно, а стройное прекрасно. Итак, красота есть Парка или Плифия рождения...

Вот новый взгляд на красоту: истинный, попен'альный ее критериум, вопреки тысячам попи'альных, какие попридумала в веках европейская цивилизация. Плифиею греки называли богиню — родовспомогательницу: «повитуху» между богинями, которая присутствует при родах и облегчает муки рождающей. «Плифия»-то это и есть поупен'альная красота, или, обратно: красота и есть та-
40 кова потому, что она в «вони рождения», этой «больничной» (Тургенев о Достоевском) «вони», или «вони родовспомогательного заведения», которую мы нанюхали у Толстого, и тогда же почувствовали «эстетический» восторг, «до дифирамбов». Но удержим дифирамбическую речь, и дадим говорить Платону:

И если бремениющее приближается к прекрасному (= сгармонизированному, но именно соит'ально, даже относительно души: к «прекрасному» как «могущему зачать» в душе ли, в теле ли), то обнаруживает нежность (= ἔρωϛ):

Восходит чудное светило

.....

Валентинов день настал.

Спишь ты, милый?..

разливается в радости и рождает:

С девой в комнату вернулся,

Но не деву отпустил,

10

а когда приближается к безобразному (= не сгармонизированному, соит'ально не приспособленному, даже относительно «души») — то помрачает лицо, скорбно сжимается, отворачивается, склublяется и не рождает, но, сдерживая бремя, — чувствует тяжесть.

Мы заметили, в начале исследования, странное волнение:

Было милое смущение

Были нежные слова (из «Бр. Кар.»).

У девочки-девушки, входящей в комнату, переполненную гостями, если среди их есть и мужчины; и что это волнение относится только к последним фигурам, которые все она видит, даже смущенно опустив глаза и ни разу ни на кого определенно не взглянув. Если же, спросив о чем, мать или отец подымут ей вопросом лицо: как оно пылает... 20

Было милое смущенье...

и не от вопроса, которого она не расслышала, на который не умеет отвечать.

Милая матушка —

Дай мне уйти.

Нежное соит'альное сопряжение уже началось, и это от него теряет она память, не слышит вопроса, не умеет ответить. Лицо, λῶϛ — таинственно, нежно, неуловимо, но померкает также как в соитус'e: прикрывается как луна на ущербе:



И оно ущербает потому, что вдруг начинает излучиваться это истинное солнце из-под темных «покровов» своих, приподымая «бурею» «покрышку»: 30

— Облеченная в солнце... и на голове ее венец из 12 звезд (Апок.).

Отсюда у бремениющего и уже готового разрешиться бывает сильный трепет в виду прекрасного; потому что, облегчая рождение, оно избавляет его от великих мук. Так-то Эрос, вопреки твоему мнению, Сократ, есть Эрос не прекрасного (= «красивого», «хорошенького»). — А чего же? — Рождания и родильного плода в прекрасном.

Ну, да: новое эстетическое начало. — «Какая я безобразная, и она указала на живот: как ты меня можешь любить такую» (Marie Болконская, уже Ростова) — «Как тебе сказать: вот видишь ли, как бы ты ни была хороша, всегда найдется другая еще красивее тебя: что же бы тогда делать? Но... любовь — не это, и красота — не это тоже» (из «Войны и мира», Эпилог).

— Пускай, сказал я. — Конечно, так, примолвила она. — Но почему рождения? — Потому что рождение, проявляясь в смертном, бывает вечно и бессмертно; бессмертия же, как согласились мы выше, необходимо желать вместе с добром, если только Эрос есть желание себе добра; а отсюда необходимо следует, что Эроса надобно почитать также Эросом бессмертия.

Платон далек был от «сопляков-моралистов», которые его «комментировали» и находили у него «платоническую», «не касающуюся sexual'ной грязи», «идейную», «мечтательную» любовь. О, эта великая корова древности истинно священна: да и корову, подлинную — вот которую доила плодovitая Долли и не хотела понять, что «корова — это как бы препарат для переработки сена в молоко», но видела в ней и еще что-то, священное, ибо подобное себе — эту-то подлинную «буренку» Платон верно предпочел бы своим комментаторам, ибо она «нутром», «семенем» лучше понимает его небесную философию, в самом деле небесную. В благородном «чреве» своем она пишет подлинный комментарий к его идеям: и филологам, как и философам, надо у нее учиться, особенно когда речь древней жрицы уже прервана и не может быть возобновлена, ни продолжена.

LIX

Этому-то всему учила она меня, когда говорила о предметах эротических, и однажды спросила: какая причина, думаешь, Сократ, этого Эроса и пожелания? Разве не замечаешь, что к нему сильно расположены все животные, как скоро желают родить...

Тема возвращается, при исходе «Пира», к той широте, с которой в начале его она была поставлена в первой речи, Федра: $\xi\rho\omega\varsigma$ как загадка космического рождения, *всякой* «травы», «сеющей семя по роду ее», среди которой и сам человек есть только небольшая «травка», «павлин», прескверно «помещающий свои яйца».

«Разве не видишь, что и сухопутные, и пернатые проникнуты вожделием ($\gamma\omicron\sigma\sigma\upsilon\beta\upsilon\tau\alpha$ = страстная похоть, доходящая до боли; «вечным угольком разжигающим пылающая в крови», см. «Прест. и наказ.», квалификация себя Свидригайловым) и настроены эротически, — что все они сперва стремятся смешиваться между собою, а потом заботятся о пище для своего приплода, — что и слабейшие из них готовы драться за своих детей с сильнейшими и умереть...».

О, в самом деле — «велики тайны сии». Животное, волк... ну, что бы кажется? Какой разум? И особенно — сердце? Но что же мы назовем «сердцем», как даже до крови, до издыхания положение себя за что-то, что физически, по боли невыносимой, по сцепке чувствующих нервов все-таки «не» есть «я». И волк издыхает на пороге берлоги — за ненужного ему беззащитного, бессильного, голодного волченка? Да почему же это не нравственность — в уровень хоть бы Сократу,

принявшему «цикуту» за свои «идеи». Да еще и вопрос: не по-волчь ли умер и Сократ, точно «родивший» свои идеи: «я — что повитуха, сам не рождаю, а другим помогаю рождать» (т. е. мысли: намек на диалектический метод «выспрашивания», «наведения» на «умозаключения»), квалифицировал, опять чресленно, из себя. Но оставим Сократа, и займемся волком, в этом единственном миге, в материнстве, возвышающемся до Сократа: о, куда, больше — ибо ежегодно «готов бы» умереть. Конечно — это начинающаяся религия в природе; «бе к Богу» — всякой твари. Тайственный космический хребет; «Виевы» — но с улыбкой, радостью, молитвой — чресла. «О, пусть — ложесна, и пусть — разверсты» (Фед. Павл. Кар-зов): что до «вони», когда тут даже волк начинает молиться, да не помп'ально, а в самом деле, издыхая под пулями охотников в беспредельностях, в океане любви:

— О, Авессалом, Сын мой; о сын мой, сын Авессалом — если бы мне умереть вместо тебя.

Тайственно; содрогаемся; все уравниено — и поднято все до неба. Одни звуки, одна молитва, даже у бессловесных: и главное, самое главное — молитва факта, моление страданий, проливающейся крови. О, правда, о сама правда; и как мы удержимся, чтобы не воскликнуть — «мы видим истину!». Но повторим еще «Ιερός ὄβος*»:

... Слабейшие из них готовы драться за своих детей с сильнейшими и умереть (стр. «Пира» 207в), — что сами они томятся голодом, лишь бы напитать свое порождение, и с таким же расположением делают все прочее? Люди-то, можно подумать, совершают это по внушению ума: а у животных какая причина располагаться так эротически? Можешь ли сказать?

О, комментаторы... Это — тот угол воззрения, с коего «посеяны» и все те же «клейкие», таинственные в росте своем историческом «листочки» Библии; одно воззрение, «до неба», «горе», что и у многотрадального Иова:

Дыхание мое вонюче и я должен умолять жену мою приходить ко мне — ради плода чрева моего (Иов, гл.).

— Я опять отвечал, что не знаю. — А она и говорит: подумай же, можешь ли ты когда-нибудь быть сильным в предметах эротических, если этого не понимаешь? — Но для того-то, Диотима, я, как уже говорил, и хожу к тебе, что сознаю нужду в учителях. Ты сама скажи мне как о причине этого, так и о прочем относительно дел эротических. — Так не удивляйся, продолжала она, если верить, что Эрос, по природе, есть Эрос того, что мы многократно усвоили ему. Ведь и здесь, в животном царстве, таким же точно образом как и у нас, людей, природа смертная по возможности усиливается быть всегдашней и бессмертной; а возможность ее заключается только в этом способе — чрез рождение оставлять молодое вместо старого...

Это — не «гений рода» Шопенгауэра; о, нет — не этот помп'альный, умозаключенный по «cogito, ergo...» homunculus нищенской философии, а живое и помп'альное, «чресленное» чувство:

* Священная дорога (ερεχ.).

«— Пусть завтра последний день мой, думал бы каждый, смотря на заходящее солнце; но все равно, я умру, но останутся все они, а после них дети их» («Подросток», стр. 454). Платон перенес это живое чувство, — свое, и бесспорно, ... чувство, — на возлюбленных животных. Ибо посмотрите, и в подробностях он сопал с Достоевским: последний говорит о преходимости:

«Они возлюбили бы землю и жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особенную, уже не прежнюю любовью...» (*ibid.*), и Платон — почти то же:

10 Ибо и в то время, когда каждое животное называется *живущим* и *тем же* самым, как бы оно с детства и до старости удерживало свое тожество, — в нем, и при этом тожестве (*in toto, en grand*), никогда не имеется того же самого, но всегда приходит обновление и потеря в волосах, в плоти, в костях, в крови и во всем теле...

Замечательное пронизывание животной природы, как и открытие ζῷα στερμάτων: физиологии не было еще, закон «обмена веществ» не был известен. Но, опять, Достоевский предугадал, или, пожалуй — объяснил Платона:

Они стали бы замечать и открыли бы в природе такие явления и тайны, каких и не предполагали прежде, ибо — смотрели бы на природу новыми глазами, взглядом любownika на возлюбленную («Подрост.», *ibid.*).

20 Да и не в теле только, Сократ, но и в душе — ни нравы, ни привычки, ни мнения, ни пожелания, ни удовольствия, ни скорби, ни опасения, — ничто такое никогда, у кого бы то ни было, не остается тем же, но одно рождается, другое исчезает. А еще гораздо страннее этого, что и из познаний у нас одни сохраняются, а другие исчезают, и что даже в отношении к ним мы никогда не остаемся теми же, но каждое наше познание подвергается одинаковой участи...

Вот и «вечные идеи» Платона; «мир вечно познаваемого» его комментаторов: правда, вечную корову они приняли за сухопарого профессора философии, хоть бы в Геттинген...

30 Потому что, когда бывает размышление, — тогда познание уходит, — так как забвение есть удаление познания, а размышление, впечатлевая опять новое, вместо ушедшего, хранит память о познании, и нам кажется, будто оно — то же самое. Таким образом сохраняется все смертное, не в том смысле, будто бы оно всегда было совершенно тожественное, подобно божественному, а в том, что отходящее и состаривающееся оставляет по себе другое — новое, каково было само. Вот способ, Сократ, сказала она, которым смертное делается причастным бессмертия, — как тело, так и все прочее; другой невозможен.

Удивительно; о, дивная корова, уничивившая себе смиренно до Федра, и через него пососавшая дивного «Виева», небесного «молочка», все вдруг ему открывшего; «как бы был на небе и все там увидел» (св. Юстин-философ).

40 Поэтому и не удивляйся, что все чтит свое порождение; потому что всякую вещь по-нуждает своя забота, — свой Эрос ради бессмертия.

Какое это слово: «своя забота», и сейчас — священный «Эрос», у каждого «свой». Здесь просвет, и религиозный, на эгоизм, на самое существо эгоизма: смягчение его, размягчение «костей» его, костлявости и сухости. «Чресла» в са-

мом деле родят, автономно и независимо от головы, λόγος'а: и вещь, кажется бы старая и надоевшая, пройдя через них, является в новой «рубашечке» бытия:

Они торопились бы любить, чтоб затушить великую грусть в своих сердцах. Они были бы горды и смелы за себя, но сделались бы робкими друг за друга; каждый трепетал бы за жизнь и за счастье каждого. Они стали бы нежны друг к другу и не стыдились бы того, как теперь, и ласкали бы друг друга, как дети. Встречаясь, смотрели бы друг на друга глубоко и осмысленным взглядом, и во взглядах их была бы любовь и грусть («Подросток», *ibid.*).

— Выслушав эту речь, я удивился и спросил: пускай, мудрейшая Диотима; да точно ли так это бывает? — А она, будто какой совершенный софист, отвечала мне: хорошо знай это, Сократ. Ведь если захочешь ты всмотреться и в честолюбие людей... 10

Дивно; именно — «ты еще доцент, а я уже профессор»: но следите же, следите, как и маленькая черная мышь перерабатывается, переваривается в чреслах и выходит благодатной вестницей из них, светлую, дневной, соработавшую нам мышкой*.

...если захочешь всмотреться и в честолюбие людей, то будешь дивиться их безумию, пока не сообразишь того, о чем я говорила, размышляя, как увлекаются они Эросом — сделаться именитыми и сохранить свою славу бессмертною во все времена, готовые ради этого подвергаться всем опасностям — еще более, чем ради детей, расточать деньги, предпринимать всевозможные труды, и даже умереть. Подумай, говорит, умерла ли бы Алкеста за Адмета, умер ли бы Ахилл после Патрокла, или поторопился ли бы ваш Кодр за царство детей, если бы все они не думали, что память их добродетели будет бессмертна, какою теперь мы и почитаем ее... 20

О, — «они смотрели бы в глаза друг другу». Что может быть затасканнее и пошлее честолюбия, но, войдя в «чресла» — и оно из них выходит обезгрешенным:

И мир мечтою благородной
Пред ним очищен и омыт...

Да — жить в памяти этих дорогих людей, по безмерной любви к ним и совершенной, совершенной вере в чистоту их тего'иального Элизиума: вечная любовь, — 30

— Вы верите в будущую вечную жизнь?..

— Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную («Бесы», цитировано).

Именно «чресла» — родник не только ползущих к безгрешному образов («Сон смешного человека», полет «за Зевсом» в «Федре»), но и очищающее есть что-то в их космической «вони». «О, ложесна — пусть ложесна»: и все, около них побывшее, даже людской смрад — как гордость, честолюбие — является как бабочка из хризолиты, с свежим пушком на крыльях, где не тронута ни одна «пыльца». Миг и точка всеобщего «преображения» вещей, обновления, «воскресения» в «новую жизнь», с «вертикальными» уже лучами, в «зримых» наконец и — о, как радостных — «слезах». 40

* Есть легенда, приведена у Филонова, о каких-то двух, злой и доброй, черной и белой мышке: во всем анатомически сходных, кроме направления.

Совсем нет, продолжала Диотима. Я думаю, что все люди знаменитые делают это для бессмертной добродетели и такой же славы; и чем они лучше, тем больше, потому что любят бессмертие.

О — вот откуда свет на Олимпийские игры; и еще — «пифийские, истмийские, немейские». Вечная «игра» — и именно «плоти»: обнаженных плеч, ночь *sans chemise et pantalon* *, но в каком смысле, кто разгадал:

— Они смотрели друг на друга, и в глазах их была любовь.

Венок из простого лавра; статуетка в родном городе: и вечная, вечная, никогда не утрачиваемая память об этих ахиллесовых плечах, быстрых, как у Аякса, ногax: о, они любили друг друга в «плечах», «ногах», т. е. — именно в «бедре», которое было так памятно «повреждено» у Иакова:

— Как имя Твое?

— Зачем тебе оно? Оно чудно.

Угол зрения травы — «сеющей семя по роду ее», в Олимпии, но как и около Синая; но как и в Вильне, в памятных пререканиях Балашова с Наполеоном. Он все «говорил», — ну, это пустяки: но у него «тряслась икра» — и это памятно; сверкали «плечи» — а что говорил Аякс, конечно это «глупости».

— Господи, я хочу видеть славу Твою...

— Стань на этой скале; и Я проведу перед тобою всю славу Мою... ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо тебе (*Исход*, 33).

«Между тем, продолжала она, бремениющие телесно обращаются больше к женщинам и бывают последователями Эроса этим способом, думая стяжать бессмертие, память и счастье во все последующие времена, чрез деторождение. Бремениющие же душевно... ибо есть и такие, говорит, которые бремениют в душах еще более, чем в телах, смотря по тому, что зачинать и чем бремениеть свойственно душе. А чем свойственно? Разумностью и прочими добродетелями, которых порождателями бывают все поэты, а из художников так называемые изобретатели (= инициаторы, творцы нового, не ремесленники — см. выше — и не «матросы» в духе). Величайшее, говорит, и прекраснейшее дело разумности есть распорядительность относительно городов и семейств, называемая рассудительностью и справедливостью. Кто, по душе будучи божественным, бремениет ими с молодых лет; тот, и при наступлении возраста, желает развивать их и рождать. И этот, думаю, повсюду ищет прекрасного, чтобы в нем родить; ибо в безобразном никогда не родит. Как бремениющий, он и тела любит больше прекрасные, чем безобразные; а если притом встречает прекрасную, благородную и даровитую душу, то уже очень любит то и другое, и к этому человеку тотчас обращает речь о добродетели и о том, каким должен быть добрый человек, чем следует ему заниматься, и начинает его образование. Входя в связь с прекрасным, продолжала она, и беседуя с ним, он, думаю, развивает и рождает то, чем давно бременил, мыслит о прекрасном в глаза и за глаза, и вместе с ним воспитывает рожденное, чтобы взаимное общение их получило еще большую силу, и дружба сделалась еще тверже, чем через рождение обыкновенных детей, так как они обобщились в детях прекраснейших и бессмертнейших. Да и всякий гораздо скорее согласился бы родить себе таких детей, чем человеческих (ἢ τοὺς ἀνθρώπινοὺς = рождаемых органически: сопоставление «*cogito ergo...*», «проростаю... *sum*», с предпочтением первому, однако понятному и взятому под чресленным же углом; см. все эти страницы), смотря на Гомера и Гезиода, и соревнуя другим отличным поэтам, которые оставили после себя таки порождения, ка-

* без сорочки и панталон (*фр.*).

кие, соответственно самим себе, доставляют им бессмертную славу и память, или, если хочешь, каких детей оставил в Лакедемоне и Ликург: это спасители не только Лакедемона, но, можно сказать, и всей Эллады. За рождение * законов достойны почтения и ваш Солон, и подобные в других странах, мужи, у Эллинов и варваров проявившие много прекрасных дел и породившие многообразную добродетель. За таких детей им воздвигнуто уже много храмов, а за человеческих — ведь нигде еще и ни одного».

Гораздо ниже мы внесем поправку к этому, показывающую, как кой что и в своей, греческой жизни ускользнуло от внимания Платона.

Вот, может быть, эротическая наука, Сократ, в которую я посвятила тебя. Но к вступлению на совершеннейшую и таинственную ее степень, для которой существуют и прегниие, если кто идет по ним правильно, — не знаю, способен ли ты... 10

Все разрешается неясностью, туманом; по верху горы — скрывающее облако, «покров», «завеса» облака. «О, пройду же и я мой квадральон»... (Приживальщик в «Бр. Кар.») «и узнаю секрет: но, пока что, вынужден будировать и отрицать для земной гармонии...».

Итак, я буду спрашивать тебя, сказала она, и не ослабею в усердии; а ты постарайся следовать за мною, если можешь. Идущий, говорит, к этому предмету правильно должен с юности начать свое шествие к прекрасным телам, и притом, если руководитель руководит верно, сперва любить одно тело и здесь рождать прекрасные речи; потом сообразить, что прекрасное в каком-нибудь одном теле сродно с прекрасным в другом...

Здесь целомудрие эгоизма, «заботы для себя» и во имя «Эроса своего», как бы смягчаясь в костях индивидуализма — расплывается, растуманивается над собирательным множеством голов: 20

Нежны стопы у нее; не касается ими
Праха земного; она по главам человеческим ходит.

Здесь источник коллективистического эротизма, ненасытности и множественности тяготений:

Однажды под вечер, Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел с кровли купающуюся женщину; а та женщина была очень красива.

И послал Давид разведать, кто эта женщина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена Урии Хеттеянина... 30

Давид послал слуг взять ее; и она пришла к нему, и он спал с нею. Когда же она очистилась от нечистоты своей, возвратилась в дом свой (II Царств, гл. 11).

.....
Когда же Давид состарелся, вошел в лета, то покрывали его одеждми, но не мог он согреться.

И сказали ему слуги его: пусть поищут для господина нашего царя молодую девицу, чтоб она предстояла царю, и ходила за ним, и лежала с ним, — и будет тепло господину нашему царю.

* Всяду — чресленные термины, как и у Достоевского в «монашеском» завещании — поучении Зосимы; здесь чресла раздвигаются вширь городской жизни, возвращаются, из-под алькова и семейной завесы, к «Виевой» космичности. Выникает государство, общественная жизнь, но уже с «слезой» на себе рождения. 40

И нашли Аvisaгу Сунамитянку... Но царь уже ее не познал (III Царств, гл. 1).

— И как скоро, продолжала Диотима, надобно преследовать прекрасное видовое, то было бы великое безумие не почитать его одним и тем же во всех телах. Думая же так, он должен сделаться любителем всех прекрасных тел, а ту сильную любовь к одному, презрев и уничтожив, ослабить.

Мы уже видели, что «для себя», «свой» Эрос — растуманился: и также плывя с тела на тело, он плывет и с категории на категорию: универсальное sexual'ное отношение:

10 Следует ему, затем, прекрасное в душах ценить выше, чем прекрасное в теле, так что если бы кто, по душе благоденствующий, лицо имел и мало цветущее...

Тут я вспоминаю самую раннюю любовь свою «сквозь веснушки», великую и неумолчную боль в себе ко всяким «веснушкам», не пропускающим у легкомысленнейших прорваться через себя «Эросу»; пожалуй — то же, что и у Федора Павловича: «для меня не существовало дурной женщины — вот мое правило; уже одно то, чорт возьми...» («Бр. Кар.»).

20 ...Этого довольно должно быть ему, чтобы любить его, заботиться о нем и стараться рождать в нем (говорится о παιδιόν'е) такие речи, которые делают юношей лучшими. Таким образом он опять принужден будет созерцать прекрасное в занятиях и законах, и видеть его, как сродное себе, а красоту телесную уничижать. От занятий же ему надобно переводить любимца к знаниям, чтобы последний испытал красоту познаний...

Замечательно: усилие при любви поднять до умственного уровня с собою («развиватели» 60-х годов, над которыми так много, и не всё в них понимая, смеялись) любимого или любимую есть общее и постоянное; показатель, что даже идеи и знания как будто тоже имеют что-то sexual'ное в себе, по крайней мере замешаны, «общатся», при бесспорно sexual'ном тяготении.

30 ...И, смотря уже на прекрасное многоразличное, не любил более красоты в одном прекрасном или мальчике, или человеке, или занятии, будто раб, дабы, служа ему, не сделался плохим или мелочным, но, обратившись к обширному морю красоты и созерцая различные, прекрасные и величественные речи, породил мысли в недрах независтливой философии, пока, укрепившись в этом и усилившись, не усмотрит такого одного знания, которое есть знание прекрасного самого в себе. Постарайся же теперь, говорит, слушать меня со всем вниманием, с каким только можешь...

40 Кончается кратко, одной страничкой, почти бормотаньем по неясности, по неумению что-то «увиденное» выговорить: «два-три стиха у Страделлы...» («Подросток», 423). «Ее несут, и вот тут ее молитва, полуречитатив, без отделки...». «С последней нотой она падает. Смятение; ее подымают — и тут вдруг громовой хор. Это — как бы удар голосов, хор вдохновенный, победоносный, подавляющий, что-нибудь вроде нашего Дори-но-си-ма чин-ми — так чтобы все потрясалось на основаниях, и все переходит в восторженный, ликующий всеобщий возглас — Hosanna! — Как бы крик всей вселенной («боль и сладость вселенной» — у г. Гуревич)... а ее несут — несут, и вот тут опустить занавес! Нет, знаете, если б я мог, я бы что-нибудь сделал! Только я ничего уж теперь не могу, а только все мечтаю. Я все мечтаю, все мечтаю... вся моя жизнь обратилась в одну мечту... Ах, Долгорукий... а сам я — скверный мальчишка» («Подросток», *ibid.*).

Кто, относительно предмета эротического, возведен до этой степени последовательного и верного созерцания красоты; тот, в эротическом приближаясь уже к концу, вдруг увидит некоторое дивное по природе прекрасное, — то самое прекрасное, Сократ, ради которого предпринимались были все прежние труды. Во-первых, оно всегда существует и ни рождается, ни погибает, ни увеличивается, ни оскудевает.

— Вы доходите до минуты — и время вдруг останавливается и будет вечно («Бесы», 214; слова Кириллова).

...Потом — оно не таково, что по этому прекрасно, а по иному безобразно, либо иногда прекрасно, а иногда нет, либо для одного прекрасно, а для другого безобразно, либо там прекрасно, а здесь безобразно, либо одним прекрасно, а другим безобразно».

10

Как утомительно — все тавтологии: но так настойчиво, о чем-то самом, самом и для Платона важном: «вы чувствуете — нечего прощать; это — не умиление, а только так, радость. бог, когда создавал мир, etc. («Бесы», 528).

...Это прекрасное не будет представляться ему опять как бы какое лицо, или руки, или что другое причастное телу, ни как мысль или знание, ни как сущее в чем-нибудь другом, например — в животном, в земле, в небе, или в ином предмете...

— Все было точно также, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, *явной, видимой, почти сознательной*. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные *листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом, и как бы выговаривали какие-то слова любви*. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, *не боясь меня*, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли той. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца, — о, как они были прекрасны. Никогда я не видал на нашей земле такой красоты в человеке («Сон смешн. челов.», т. XII, стр. 120).

20

...но как сущее в самом себе, всегда с собою одновидное. Все же прочие прекрасные вещи приходят в общение с ним («касаются мирам иным», у Д-го), например так, что когда оне рождаются и уничтожаются, — это (т. е. «в себе сущее», «мир иной») не делается (от того) ни больше, ни меньше и ничего не терпит. Итак, кто вышедши от чуда, через правильную любовь к детям ($\xi\rho\omega\varsigma \pi\alpha\iota\delta\iota\kappa\omicron\varsigma = \pi\alpha\iota\delta\epsilon\rho\alpha\tau\acute{\eta}\sigma\alpha\nu\theta\alpha\iota \mu\epsilon\tau\acute{\alpha} \phi\iota\lambda\omicron\sigma\phi\acute{\iota}\alpha\varsigma$ Федра)...

30

— А ту девочку я отыщу... («Сон смешн. челов.», последняя строка).

...через правильный $\lambda\alpha\iota\delta\iota\omicron\nu$ начал бы созерцать то прекрасное, тот почти коснулся бы самой цели.

— Вы наконец чувствуете — достигнутое («Бесы», см. выше).

...Ведь правильное шествие, или водительство со стороны другого к предметам эротическим, в том и состоит, чтобы, начав с тех прекрасных вещей ради прекрасного, всегда подниматься выше, как бы по лестнице...

И вот — лестница: стоит на земле, а верх ее касается неба...

40

Восходят и нисходят по ней...

И говорит Стоящий наверху: будет потомство твое как песок морской... и в семени твоём благословятся народы.

Я с тобою. И сохраню тебя везде — куда пойдешь.

И очнулся от сна спящий и сказал: вот — истинно Господь присутствует на этом месте, а я и не знал.

И убоялся, и сказал: странно место сие. Это ничто иное как дом Божий, врата небесные. И возлил елей на камень; а месту тому дал название — Вефиль; прежнее же имя его было Луз (*Бытие*, 28).

— Как бы по лестнице подниматься от одного к двум, от двух ко всем прекрасным телам, от прекрасных тел к прекрасным занятиям, от прекрасных занятий к прекрасным наукам, с намерением — от наук перейти, наконец, к той науке, которая есть наука не иного чего, а того самого прекрасного, и таким образом окончательно узнать, что есть прекрасное. Тогда-то жизнь, любезный Сократ, сказала мантинейская иностранка, более чем когда-нибудь бывает жизненна в человеке, созерцающем само прекрасное. Если бы это прекрасное ты увидел, то и не подумал бы сравнивать его ни с золотом, ни с нарядом, ни с прекрасными мальчиками и юношами, что видя...

— Лестница — основание ее на земле...

Что видя — теперь поражаешься и готов сам, подобно многим другим, которые видят своих любезных и всегда обращаются с ними, если возможно, не есть и не пить, а только смотреть и быть вместе с предметом любимым. Так что же, говорит, если бы — думаем мы — кому досталось узреть само прекрасное, истинное, чистое, не смешанное, не оскверненное человеческою плотью...

Т. е. — еще «не преображенною», не «родившеюся вновь...».

Тенями цветов и многими другими смертными мелочами, — узреть само божественное, одновидное *, прекрасное? Думаешь ли, говорит, что худа была бы жизнь человека, смотрящего туда...

— За эти пять-шесть секунд я готов отдать жизнь — потому что стоит («Бесы», цитировано).

Созерцающего то и обращающегося с тем, с чем должно? Не разумеешь ли, говорит, что тогда ему одному, созерцая красоту, чем только можно созерцать ее, досталось бы рождать не образы добродетели, насколько касался бы не образа, а истинное, насколько коснулся бы истины? Рождая же и питая добродетель истинную, этот человек не сделался ли бы любезным Богу и бессмертным больше, чем кто другой из людей.

Это-то, Федр и прочие, говорила Диотима; а я верил, и, уверившись сам, стараюсь уверять и других, что помощника человеческой природе лучшего, чем это тяготение — Эрос, иметь нелегко. Посему-то утверждаю, что Эроса должен чтить каждый человек; да и сам я чту дело эротическое, особенно подвигаюсь в нем и внушаю то же другим, — как теперь, так и всегда, — сколько могу, восхваляю силу и мужество Эроса. Прими же, Федр, если хочешь, эту речь за похвальное слово Эросу, а не то — назови ее чем угодно и каким нравится именем.

LX

Так кончается «Пир». Он имеет маленькую приделку, глубокая связь которой с рассуждением об Эросе, как sexual'ном выражении, не была замечена. Именно, врывается неожиданно к замолкнувшим друзьям пьяный Алкивиад; и среди

40 * Без «разноголосицы». См. выше о Гераклите.

шума поднявшегося, едва озвучившись на пирующих, узнаешь, о чем они говорили, ухмыляется и замечает, что он тоже может произнести речь. И накидывает жизненный образ Сократа. Опять ускользнуло от комментаторов, что центр здесь — не в характеризуемом, но в самой характеристике, которая, как тяжелая броня, не по плечо старику и может быть вынесена только юным Эросом. Вот, в самом деле, центральные места характеристики: он осветится для нас ослепительным смыслом, если читатель припомнит сказанное гораздо ранее о погружении в тайну *sexus'a*, об ужасе, грязи, «вони», нафанаиловом смущении, которыми таинственно отгоняет природа от приближений к нему. В самом деле, к Сократу ли это относится, пусть связано с звуком его имени.

10

...Я буду хвалиться подобиями. Пусть это покажется кому смешным, но я его скажу как истину, а не для смеха. Так вот, я говорю, что он * весьма похож на этих Силенов, которые сидят в мастерских ваятелей, изображаются с свирелями или флейтами в руках, и раскрываясь по полам, дают видеть внутри себя изображения богов. Говорю также, что он походит на Марсиасова ** сатира. И по виду-то ты подобен им, в чем, вероятно, и сам не сомневаешься; а что подобен в прочем — слушай далее. Насмешник ты или нет? Не игрок ли ты на флейте ***? О, даже более удивительный, чем Олимп, который обворожал людей силою своих уст, при посредстве инструмента, и которого песни иные поют еще ныне. Ведь Олимп играл на флейте, быв научен этому искусству, говорю, Марсиасом, которого песни, — играет ли их хороший флейтист, или плохая флейщица ****, приводят человека в исступление сами собой, и, как божественные, обнаруживают желание богов и людей посвященных... В самом деле, когда мы слушаем кого еще, — никому, просто сказать, и нужды нет до слушаемого (= не жизненно, *potin'ально*); а когда кто слушает тебя, или передает что-нибудь от тебя услышанное: то, если передаватель и плох, — женщина ли то, мущина или дитя слушает их — все мы поражаемся и бываем в исступлении. Да, друзья, если бы я не опасался показаться слишком пьяным, то с клятвой сказал бы вам, что перечувствовал сам от его речей, и что чувствую еще ныне; потому что когда слушаю его, — сердце у меня бьется сильнее, чем у Корибантов ***** , и от речей потекут слезы... И раньше многих я слушал, напр. Перикла, — однако ж ничего такого не чувствовал, и не волновалась моя душа, не досадовала, зачем она находится в рабстве: напротив, этот Марсиас часто настраивал меня так, что не стоит, казалось мне, жить, как я живу (= настраивал жизненно, практически, до испуленного — «и пойду!»). И об этом ведь не скажешь ты — неправда. Сознаюсь даже и теперь еще, что если бы я захотел слушать тебя, то не удержался бы, чтоб не чувствовать этого. Вот он заставляет меня согласиться, что будучи еще недостаточен радеть о самом себе — я занимаюсь делами Афинян: но я затыкаю уши и изо всей силы бегу от него, будто от сирен, чтобы, сидя здесь подле него, не

20

30

* Где мы ставим «он», в «Пире» везде — «Сократ». Читатель увидит, до какой степени речь Алкивиада заканчивает *sexual'ную* сторону, именно в указанном нами направлении, сказанного раньше.

** Марсиас — фригийянин (Восток), лицо мифическое, сопутствующее Вакху.

40

*** Какое отношение к фактическому Сократу? Вся речь Алкивиада есть иносказательный миф, и Сократ, пожалуй, и есть «миф», т. е. «сказуемое», к которому «подлежащее» есть Эрос.

**** Безразличие «веснушек»; «некрасивого» в лице («Пир»).

***** Испуленные (на Востоке) жрецы «*kerub'*ов; корень «*kerub*» = херув'им (семитический).

состареться*. Пред этим одним из всех я чувствую то, что еще ни перед кем не чувствую — стыд. Только его и стыжусь я. Сознавая свое бессилие противоречить, что не надобно поступать вопреки его приказанию**, я как скоро удаляюсь от него, — тотчас поддаюсь чести со стороны народа***; поэтому укрываюсь от него и бегаю, а встречаясь с ним, стыжусь... и часто с удовольствием представлял бы я, что он не существует между людьми; но, если бы это в самом деле случилось, хорошо чувствую, что скорбел бы гораздо больше. Так я и не знаю, что мне делать с ним.

И — словом:

<Повторить рисунок: Женщина на льве>

- 10 От игры этого сатира, вместе со мною, то же чувствуют и многие другие: впрочем, вы уже слышали, как он похож на тех, кому я уподобил его, и какою дивною владеет он силою. Будьте уверены, что из вас никто не знает его; но я, так как уже начал, могу объявить о нем. Вот вы видите, что он**** расположен любить прекрасных, всегда бывает около них и поражается ими; но тут же — все ему неизвестно, ничего он не знает: такова его маска, не силеновская ли она? — И очень: ведь эту-то одежду надевает он сверху, как изваянный силен; внутри же, когда раскроется, вам известно, друзья-сочашники, сколько набито в нем благоусмотрительности. Знайте, что если кто и прекрасен — ему нет нужды; такого он презирает столько, что и не подумал бы, — будь он хоть богат, имей хоть иное какое достоинство, убажваемое чернью. Все эти приобретения вменяет он ни во что, равно как и нас, и целую свою жизнь проводит, притворяясь и подшучивая над людьми. Не знаю, видел ли кто внутри его изображения, так чтобы он серьезничал и был открытым: а я некогда видел, и они казались мне такими божественными, золотыми, прекраснейшими и чудными, что его приказания надлежало исполнять скоро.
- 20

Вот, может быть, «высшая и таинственная ступень» в учении об «Эросе», перед которою остановилась Мантинейская жрица, впавшая в неясность, которую лучше, потому что короче и выразительнее, но в однозначных же терминах выразил наш мистик:

безвидное, не мысль, не руки или одежда, не умяляющееся и не увеличивающееся, вечное... (*Диотима*).

- 30 Не любовь, но выше любви. Просто — так, радость. Вы чувствуете, что нечего больше прощать (*Достоевский*, устами Кириллова).

Высшая часть доктрины высказана прикровенно, и не невероятно, что из боязни народного суда, некоторой оскорбленности, предполагаемой в ужаснувшейся толпе, обвинений философа, который тайно облекся в жреца в религиозном nefas: речь, в этих целях прикрытия, от мантинейки к пьяному, который «безот-

* Равнодушие как к низшему к чему-то, к политике в вульгарных ее чертах, есть общее у таинственно зротовствующих, от «Пира» и даже до наших дней.

** Относительно ли повелительное: «приказание» к фактическому Сократу? Но — к «закондательному» в нас «худогласию»?

40 *** Зерна «при дороге», расхищаемые «птицами».

**** «Сократ» — в тексте.

ветствен»; и о ком говорит он? — ну, явно, именуемо — о Сократе, и конечно, вправе говорить «подобиями», «в мифах». Но что же говорит он?

Раскройте «две половинки» Силена в «мастерской» великого художника, и вы увидите там именно схороненными те «образы богов», которым поклоняетесь и ищите их в рукотворных храмах. Ты, путник (см. начало «Федра»), шел некогда в Дельфы, и мудрая надпись сказала тебе: «γνώθι σέ αὐτόν». Теперь ты... «пришел в Дельфы» и узрел, в «Силене», что предполагал в Дельфах. Да, в собственном «Силенообразном» существе, или, точнее, в самой «Силенообразной» точке своего существа, «тысячелетие заплёванной» («убить бы надо», «тысячу бы лет плевать», «во всю луну») то самое, для чего неустанными ногами торопился к Пифии. Ты — вечная Пифия. Идея бого-присутствия, «бого-несения» («народ-богоносец» — Достоевского); небесный человек, но в минеральной земной оболочке, которая «между 33 и 90 годами» рассеивается, «освобождая» из себя вечного «феникса». Ты «Пифия», вечно «пророчествующая», насколько умеет или догадывается «сидеть на треножнике» и вдыхать «одуряющая пары» собственных «селенообразных частей», из «расселины». Да, в самом деле «расщелина» в Космосе, и мы к ней подошли, к ней подвела нас пьяная болтовня Алкивиада.

«Силен» раскрылся —

А у богов, за птичий к похоти зуд, оно — Птерос (= «крыловращатель»). 20

«Крылатое» и «несущееся к небесам» выпархивает из-под космической грязи, — небольшой и воняющей кучки, которую мы расшевелили неосторожно ногою; да, но Платон, а теперь уже и мы за ним, с «незримыми» ли «миру слезами», «в дифирамбах» ли, «исступленно», — но во всяком случае полагая, что творим «подвиг как бы жертвовали жизнью за человечество» — склоняемся в самом деле... к «Силену» и перед «Силеном». О, за наше склонение «убить» бы надо, «плевать 1000 лет», «во всю луну»: что нам до того — мы в новом мире, и тот оставленный свет для нас не существует. Как это и почувствовал, до дикости точно почувствовал наш мистик:

Положим, вы жили на луне, — и вы там, положим, сделали все эти смешные пакости... Вы знаете наверное отсюда, что там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что вы там наделали, и что тамошние будут плевать на вас тысячу лет, не правда ли? («Бесы», 213–214). 30

Давно пора мне мир увидеть новый —
Молчу и жду —

как выразил, но до буквальности эту же мысль, ему сродный поэт (Лермонтов).

И вот, около таинственной «кучки», раскрыв «Силенообразную» точку — мы в самом деле в «новом мире». Пора позреться и въззреться. Ария легкомысленного паладина, усиливающегося достать пикою в «глаз» чудовищной головы, давно заглушена, и давно мы слушаем, собственно, арию этой «главизны» бытия нашего, раскрывшей уста невыразимого «худогласия»... 40

Что ваши скучные напевы
Для гостя райской стороны...

Нечего более прощать... («Бесы»).

- Кто научит, что все хороши, тот мир закончит.
- Кто учил, Того распяли.
- Он придет — и имя его — Человекобог.
- Богочеловек?
- Человекобог — в этом разница.
- Уж не вы ли и лампаду зажигаете?
- Да, это я зажег («Бесы», 216).

LXI

10 Дети солнца, дети своего солнца..., о, как они были прекрасны... У них была любовь и рождались дети, но не было вовсе того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого *, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям, как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них почти совсем не было болезней, хоть и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез у них при этом не было, а была лишь умножавшаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. — Подумать можно было, что они соприкасались с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертью. Они не понимали слов про вечную жизнь, но видимо были в ней до того убеждены и безотчетно, что это не составляло для них вопроса **. У них не было храмов ***, но у них было какое-то насущное, живое **** и непрерывное единение с Целым ***** вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостью, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствии сердца своего, о которых они сообщали друг друга. По вечерам, отходя ко мну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге, и хвалили друг друга как дети; это были самые простые песни, но оне выливались из серд-

* «Все — Федоры Павловичи», в «Записной книжке» Достоевского.

** Поразительно, что в *Библии* почти ничего нет о бессмертии души: «приложился к отцам своим», — что заставило Спинозу отвергнуть в ней учение, сознание бессмертия души. Но, конечно, из слов «приложился к отцам своим» видно, что без слов и учения — она пронизана «безотчетным убеждением», даже «не поставляющим вопроса» — в этой загробной жизни «отцов».

*** Ограничение, сужение до «точек», до «места» теистического чувства. В этом только 40 смысле «не было»: но «храмом» было πᾶν.

**** Все станет в тебе наиболее «жизненно» — Платон (Диотима): не ποτὴν ἀλὸς, не λογικῶς, но из «недр», и, в последнем анализе, из семени.

***** «Бога никто же нигде же видел» (*Апостол*).

ца и пронизали сердца. Да и не в песнях одних, а казалось и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что *любовались друг другом*. Это была какая-то влюбленность * друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных **, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значения. Моему уму оно оставалось как бы недоступно, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. О, все это давно я уже предчувствовал и там, у себя на земле, под своим солнцем: эта радость и слава сказывалась и всегда во мне зовущею тоскою, доходящей до мучительнейшей скорби» («Сон смешн. человека»).

Дети солнца, — о, дети своего солнца. Оно зажглось в самом центре смерти — и смерти «не бе»; в могиле — и «не бе» могилы; в грехе — и «несть» грех. 10
«Силен» раскрыл свои «две половинки»:



* «Город, в котором все были бы sexual'но связаны — был бы непобедим, ибо каждый спешил бы умереть за каждого» (Платон — «Пир», см. выше).

** «Не от рассудительности, но в исступлении» (Федр).

— с перстом на губах, в знак молчания и тишины; из цветов, из них самых, *ejusdem originis* *, которые приснились в памятном сне, перед могилою, Свидригайлову:

Ему все стали представляться цветы (растительные *genitalia*)... Светлый, теплый, почти жаркий день, праздничный день, Троицын день. Богатый, роскошный, деревенский коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное редкими роз; светлая, прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках. Он особенно заметил в банках с водой, на окнах, ¹⁰ букеты белых и нежных нарцисов, склоняющихся на своих ярко-зеленых, тучных и длинных стеблях с сильным ароматным запахом. Ему даже отойти от них не хотелось, но он поднялся по лестнице и вошел в большую, высокую залу, и опять и тут везде, у окон, около растворенных дверей на террасу, на самой террасе, везде были цветы. Полы были усыпаны свежеею накошенной душистою травой, окна были отворены, свежий, легкий, прохладный воздух проникал в комнату, птички чирикали под окнами, а посреди залы, на покрытых белыми атласными пеленами столах, стоял гроб («Прест. и наказ.», 464).

Быстро, «как бы оторвавшись от Ориона», мы проносимся мимо Амнона:

И посыпала Фамарь пеплом голову свою, и разорвала разноцветную одежду, которую имела на себе, и положила руки свои на голову свою, и так шла и вопила (II Царств, ²⁰ гл. 13).

И — оседаем на «Сириусе»:

Сделай чеканный его. Чеканный должен быть сей светильник; *стебель* его, *ветви*, *гашетки* его, *яблоки* его и *цветы* его должны выходить из него.

Шесть ветвей должны выходить из боков его: три ветви светильника из одного бока его и три ветви светильника из другого бока его.

Три *гашетки* наподобие *миндального цветка*, с *яблоком* и *цветами*, должны быть на одной ветви, и три чашечки наподобие миндального цветка на другой ветви, с яблоком и цветами; так на всех шести ветвях, выходящих из светильника.

А на стебле светильника должны быть четыре чашечки наподобие *миндального цветка* ³⁰ с *яблоками* и *цветами*.

У шести ветвей, выходящих из стебля светильника, яблоко под двумя ветвями его, и яблоко под другими двумя ветвями, и яблоко под третьими двумя ветвями его; и на светильнике четыре чашечки, наподобие миндального цветка.

Яблоки и ветви их из него должны выходить: он весь должен быть чеканный, цельный, из чистого золота.

И сделай к нему семь лампад... сделай все по тому образцу, какой показал я тебе на горе (Исход, 25).

И, дабы не принял кто-нибудь «священное» за «случайное» — вот еще, и с добавлением прямо от чресл:

⁴⁰ По *подолу* одежды Аароновой сделай яблоки из нитей голубого, яхонтового, пурпурового и червленого цвета, и из крученого виссона, вокруг по подолу ее; такого вида яблоки и *позвонки* золотые между ними кругом:

Золотой *позвонок* и яблоко, золотой *позвонок* и яблоко, по подолу верхней ризы кругом.

* Того же самого происхождения (*лат.*).

Она будет на Аароне облачении, когда он будет входить в святилище перед лице Господне, и когда будет выходить, чтобы ему не умереть (*Исход*, 28).

Солнце; над «новой землею» и другое около этой змею, обвинившего его — символом потусторонней, не из-под «нашего солнца мудрости». Оно поднялось, и «могила» стала «пиршественным» чертогом, с шуткой:

А у богов, за то-то и это — оно Птерос.

«грех» — новую «песнею песней»; смерть — «остановившимся временем». Да откуда же и в самом деле все эти, с «жестокостью» от «боли греха» порывов в нас, которые с здешней земной точки зрения мы называем в «естестве» естественными, как не оттуда и в самом деле что манящее нас вовсе и не относится к миру «естества», к «обыкновенному», «натуральному» порядку вещей — *ordo regum naturae terrestris*. «Противо»естественно, да где великое слово, великим инстинктом выговоренное: вся земля возмущается — но почему это не может быть, как не то, что это «противу» земли, и как темно, до сих пор неразгаданно народился Пифагор: «есть *противоземие*»:

Есть земля и есть *противо-земие* (вторая земля, «против» нашей).

Какие ужасные содрогания: Эдип выкалывает себе глаза, как только узнает с «жестокостью»... ну, да, с жестокостью до выколота глаз — о таинственной ошибке. Какой вред? Какое бедствие? Мор ли это? Голод ли? Нашествие ли врага? Да и прошло уже все — никто не нудит его повторять своей ошибки: но он распинает плоть свою, из-за одного воспоминания, что увидел... «противо-земие». Таинственно, странно: но любопытство переборает и мы, «за Зевсом становясь на хребет тверди» выглядываем в это «противо»-земие. Вот мы их исследовали две формы, особенно ярко, подробно выразившиеся, от «пятилетней» до «золотистого» «Федра», внушившего все эти странные «дифирамбы» и «исступление». Да, в самом деле, «противо»-земие: но как оно тянет: зная, что будет распята — Мирра дотягивается:

Но, может быть это вымысел; тогда вот факт:

И скорбел Амнос до того, что заболел из-за Фамари, сестры своей...

Ионадав был человек очень хитрый и сказал ему: отчего ты так хуdeerшь с каждым днем, сын царев — не откроешь ли мне? (*II Царств*, гл. 13).

Истинное «противо»-земие. «Как бы был на небе и там все видел» (св. Юстин-философ о Платоне). Значит — вовсе не «под»-земие, но «над»-земие: по крайней мере по «святому» и «мудрому» определению Юстина. Да и мы сами внимательно пытали направление «слез», «исступления» и «дифирамбов». Да и зачем нам дифирамбы: оттуда исходит младенец, «безгрешное» солнце, падающее в этот мир, где постепенно, с летами, тухнет, гаснет, заливается; «становится» «действительным статским советником». Откуда младенец лучше «советников»: а что *да* — в этом же не обманывает нас глаз. Дети, дети солнца... о, дети *того* солнца; и вот откуда, до распятия, до выколота глаз мы порываемся но из всего на земле только к «тому» с этою силою исступляемся. Солнце совершенной безгрешности: вот отчего чем глубже на мне смрад, «проказа» уже «заволокла до тмени», — тою частью, которая еще от нее свободна, видит, сохраняет силу и свет направления, я выбираю — из всего на земле, во всякий свой возраст, во всех по-

ложениях — именно таинственную «селено»-образную «грязь» и «вонь», откуда, единственно — откуда падает абсолютное на землю безгрешие (младенец). Но следовательно, как догадался Платон, «открыв две створки» — мы и находим то, пред чем... ну, пред чем исступлялась Пифия.

Младенец. Да, в приведенном рисунке и есть младенец. Все символы: цветок, рождающийся младенец, солнце на голове его — солнце «того света», лучи коего несет на таинственной «рубашечке» своей всякий выпадающий, ниспадающий на землю младенец. Палец на устах — молчание; змея — как мудрость и, может быть, как вечность.

10 Только из совокупности явлений, сошедшихся в одну точку, мы наконец прозреваем в таинственную точку, и постигаем ее значение: странная «худоба», «болезнь» (Амнона) — откуда? Неисследимыми путями, но именно «того света» луч, с «Сириуса», коснулся его и повлек совершить невероятное «противо-земие»: так как если бы он на минуту очутился вне законов нашей планеты и с правдою «Сириуса»; о, больше — «того света», где — как инстинктивно шепнул нам мистик — «дети общие, нет ревности, все в одну семью и рожают». Вот из какого порядка выпала секунда Амнона, и едва она закрылась:

И возненавидел ее Аммон величайшею ненавистью; так что ненависть, какую он возненавидел ее — была сильнее любви, какую имел к ней. И сказал ей Аммон — встань,
20 уйди (II Царств, гл. 13).

Настало «земие», «эта» земля и возмутилась, и восстала против «той»: и поселила глубь страдания, «жестокость» боли. Но мы уже следим за полетом «луча», к «Сириусу»; и, чтобы определить его положение: «над», «под» — все оглядываемся на младенца, и, в задумчивости.

LXII

А у богов — за птичий похоти зуд — оно Птерос...

Полагая, что Сократ серьезно был расположен к моей красоте, так заканчивает Алкивиад речь — я считал это для себя находкою. Размышляя таким образом, я сперва, по привычке иметь при себе провожатого, бывал с ним не один, а потом провожатого стал
30 отсылать и оставался наедине. Итак, друзья, был я с ним глаз на глаз, и думая, что вот он заведет со мною речь о том, о чем говорят наедине любители с любимцами, радовался. Но ничего такого не бывало: побеседовав со мною, как обыкновенно, и проведши день — он пошел домой. После того я пригласил его вместе с собою к гимнастическим упражнениям и упражнялся, надеясь, что тут сколько-нибудь успею. Разделял мои занятия и он и часто боролся со мною, когда при этом никого не было... но к чему говорить? Ничто не помогало. Наконец, так как успеха не оказывалось, вздумал я напасть на этого человека посильнее и не отставать, когда взялся, но разузнать, что это значит. Итак, я приглашаю
40 его к ужину, замышляя против него, точно любовник против любезного: но и тут он не с первого зова послушал меня, а со временем. Пришедши в первый раз, он поужинал и захотел уйти, и на ту пору я, удерживаемый стыдом, отпустил его. Впоследствии же был опять замысел: когда он поужинал, — я заговорил с ним до глубокой ночи и, как скоро задумал он уйти, — под предлогом позднего времени заставил его остаться. Он лег спать

на скамью, которая стояла подле моей и склонившись на которую ужинал, и кроме нас в комнате не спал никто другой.

До этого времени рассказ мой мог идти хорошо, кому бы я ни рассказывал; но отсюда; но отсюда — вы не стали бы меня слушать, разве по пословице: вино и с мальчиками и без мальчиков говорить правду, да, впрочем, и потому, что, взявшись хвалить Сократа, несправедливо было бы, мне кажется, скрыть прекрасный его поступок. Притом, и я тоже страдаю от укушения змеи: а говорят, что кто страдает от этого, тот рассказывает, как ково его страдание, согласится лишь укушенным...

Итак, друзья, когда лампа была потушена и слуги вышли, мне показалось, что нечего с ним церемониться, надобно прямо сказать, что думаю. Толкнувши его, я спросил: спишь ты, Сократ? — Нет еще, отвечал он. — Знаешь ли, что мне показалось? — Что особенно? — спросил он. — Мне кажется, сказал я, что ты один достойный меня любовник и, по-видимому, только медлишь открыться мне в этом. А я думаю так: считаю безумием не сделать тебе удовольствия и в этом, и в ином, если бы, например, нужны были тебе мое имущество, или мои друзья. Ведь для меня нет ничего важнее того, чтобы сделаться, сколько можно, лучшим; а для этого, думаю, нет у меня помощника превосходнее тебя. Так, не доставляя удовольствия такому человеку, гораздо более стыдился бы я пред людьми умными, чем только, доставляя его, стыдно было бы мне пред толпою и безумцами. — Выслушавши это, он иронически и свойственным себе образом сказал: Любезный Алкивиад! Ты, должно быть, в самом деле не плох, когда действительно так думаешь обо мне, как говоришь; и если я обладаю такою силою, через которую ты можешь сделаться наилучшим, то видишь во мне чрезвычайную красоту, которая несравненно превосходнее твоего благообразия. Поэтому как скоро, видя ее, ты решаешься сообщить со мною, обменять красоту на красоту, — то думаешь воспользоваться от меня не малым... Слушая это, и подобное от него, и сам говоря, я думал про себя, что мои слова поранили его, будто пущенные стрелы; поэтому, вставши и не позволяя ему более говорить, накрыл его моим одеялом, ибо была уже зима, и легши под его плащ, обнял своими руками этого божественного и поистине удивительного человека, и проспал с ним всю ночь. И об этом опять ты не скажешь, Сократ, что я лгу. После такого моего поступка, как решительно победил он меня! как презрел, осмел, унизил мою красоту! А я думал, друзья, что она-то нечто значит: будьте уверены, клянусь богами, что я встал, не иначе проспавши с Сократом, как если бы спал с отцом или старшим братом.

Так, несколько «матрос» еще в то время, Алкивиад передает о своей грубой первоначальной ошибке; теперь он возведен, как и все присутствующие, на «некоторую высшую и таинственную ступень» «λαιδεραστέσασθαι μετὰ φιλοσοφίας». Из «семи редакций» Платон выбрал одну, и мысль свою, точнее — «тайную ступень» академической школы выразил в двух, далеко отставленных один от другого, отрывках. Алкивиад, прежде чем приступить к рассказу о подробностях соблазнить Сократа, говорит, озираясь на пирующих:

Я вижу (т. е. теперь и здесь) Федров, Агатонов, Эриксимахов, Павзаниев, Аристодемов, Аристофанов: о Сократе и других подобных что и говорить? Все вы (т. е. уже) знакомы с философским неистовством и вакханством, поэтому, и т. д.

Алкивиад замечает, что поэтому они и поймут теперь те глупости, которые он тогда наделал («матросовские» предложения Сократу), чтобы сюда проникнуть. В «вакханстве», в «неистовстве» мы узнаем «исступление», о котором говорится в «Федре». Что же оно именно — не названо; но, чтобы читатель не подумал, будто

после неудачной попытки Алкивиада между ним и Сократом установились, вне sexual'ной связи, только отношения «содружества» без «рубашечки», «соседства», «ученичества», он вставил отрывок:

«Вот, друзья, то, что я хвалю в Сократе; примешаны в моей речи вам и нанесенные мне оскорбления, за которые я порицаю его. Впрочем, он наносил их не мне одному, но и Хармиду, сыну Главкона, и Эвтидему, сыну Диоклея, и весьма многим иным, которых обманывая, будто любовник, вместо любовника, становится скорее сам любезным. Говорю это и тебе, Агатон: не обманывайся им, но зная, что мы терпели, будь осторожен, чтобы ты, по пословице, не оказался умен задним умом, как ребенок».

- 10 Когда кончил Алкивиад, то откровенность его, что он как будто и теперь еще любит * Сократа, возбудила смех. А Сократ проговорил: Ты, Алкивиад, как будто и не пьян; потому что иначе, прикрываясь таким хитрым образом, не решился бы утаивать цель, для которой все это произнес, и которую в конце сам же указываешь, говоря, будто мимоходом, что словами своими ты имел в виду (отсюда читатель должен быть внимателен) поссорить меня с Агатон — в той мысли, что я должен любить тебя, и никого другого, а Агатон должен быть любим тобою, и никем другим. Но ты не утаился: эта твоя сатирическая и силеновская драма ** сделалась явною. Пусть, любезный Агатон, она не будет иметь успеха; распорядись так, чтобы ничто не поссорило меня с тобою. — А Агатон на это сказал: ты, должно быть, Сократ, в самом деле говоришь правду; — заключаю из того, что
- 20 и возлег он в середине между мною и тобою, желая разделить нас. Но это ему не удастся; пойду к тебе и возлягу. — Конечно, сказал Сократ; возляжь здесь, ниже меня. — О, Зевс! — воскликнул Алкивиад, что я опять терплю от этого человека! Он решается везде опереживать меня. Но если уж не иначе, почтеннейший, то позволь Агатону возлечь хоть между нами. — Да невозможно, сказал Сократ: ведь ты хвалил меня; так теперь я должен хвалить его, как возлежащего у меня справа. Если же Агатон будет возлечь за тобою, то ему придется хвалить опять меня, прежде чем он будет хвалит мною. Оставь же, добряк, и не завидуй моим похвалам, направляемым к юноше; потому что мне очень хочется хвалить его. — Увы, Алкивиад! — воскликнул Агатон, никак не могу здесь остаться, но тотчас же перемещусь, чтобы выслушать похвалу от Сократа. — Да, уж обыкновенно так, при-
- 30 молвил Алкивиад. В присутствии Сократа, привлечь к себе красавцев другому нельзя. Вот и теперь нашел же он придирку, да еще какую уважительную, — поместить за собою этого. Тут Агатон встал, чтобы поместиться за Сократом.

Все дело в каких-то «перемещениях»; есть здесь соперничество, и именно из-за телесного соседства; есть ревность: все sexual'ные отношения, далекие от требований «беседы», «слова», равно слышного при всяких размещении. Из «семи редакций» Платон точно выбрал одну, которая не оставляет сомнения в суще-

* Гораздо ниже, и в других целях, мы приведем отрывок из речи Алкивиада, где он передает о совместной жизни своей с Сократом во время похода в Потидею; вообще, за неудачной попыткой настало что-то, чего не называет Платон, но однако именно, как видно из подробностей диалога и особенно из «Федра», к коему «Пир» есть только как бы комментарий к картине, что-то sexual'ное.

** Замечателен термин «драма», «действие» — вовсе не вызываемое словом Алкивиада; Платон полуоткрывает читателю, что тайна «Силена», скрывающего в себе «богов», познается не через слово, но какое-то все время не называемое им действие, «драму», которое и составляет «παιδερροτέσσαυαι μετὰ φιλοσοφίας».

ствованием sexual'ных касаний, но без «матросовского элемента», как в «Федре», и опять здесь вторично повторяет он. Может быть, просвет на это бросают страшные слова, помещенные г-жею Стокгэм в Токологии, той самой, к которой предисловие написал гр. Толстой, и которую она как доктор и мать посвятила своей дочери, вероятно замужней:

«Выдвигают некоторые, для управления моментом зачатия, теорию внутреннего поглощения семени. Они утверждают, что coitus должен происходить без потери ζῶα στερμάτια. Оно не выпускается. Многие, испробовавшие это на себе, уверяют, что оно доставляет высшее наслаждение, без потери сил, и в то же время дает полную возможность управлять всецело оплодотворяющим началом» (Изд. 1892, стр. 384). Что-то в этом роде, но с большой переменой в подробностях, а главное — в колорите, не животнов-гигиеническом, а «μετά φιλοσοφίας», составляло сущность παιδίου'а. Это было непрестанное (см. «Федр»: «лежать бы у дверей любимца», «не отпускать ни на минуту его от себя») касание к sexus'у; касание «всеми средствами общения: осязанием, видением, слушанием» («Федр» же); вечное вздыхание, в ласкаемом и даже в ласкающем, sexus'а, причем он заливае т рассудок, производит «исступление», т. е. помрачае т λόγος, лицо λογ'ическое («философское вакханство и неистовство»). И, при погашенном верхнем лице, очевидно от лица-«бара» подымающиеся белые видения, «вождь неба Зевс, всходящий на хребет тверди и выглядывающий наружу ее», а с ним и она, помраченная, неистовая душа вакханствующего παιδίου'иста...

Кстати — этот «вождь неба», за которым следует душа, или, уносящий за собою и с собою душу, есть точное, до букв, до шрифта повторение того «некто», «духа» ли, «ангела» ли, он даже не назван, который уносит с собою неудачного самоубийцу на новую планету в «Сне смешного человека». Но это — подробность; мы собираем теперь главное.

Белые видения и дали матерьял, обдумываемый, комментируемый, объясняемый в психологических и логических частях Платоновой философии. Сами же они, образующие высшую часть его метафизики и частью психологии, изложены в мифах (предсуществование душ — в «Федре», мироустройство и миропроисхождение — в «Тимее», бессмертие души — в «Федоне»), т. е. явно и преднамеренно как открывшееся душе («я видел истину!»), без сопровождения, именно тут без сопровождения доказательствами, аргументацией, до чрезмерности и утомления богатой в других диалогах. Замечательно, что даже господствующее начало платоновской философии, так называемая «идея» — носит имя «εἶδος», т. е. собственно «образ», «видимое»:

Я видел живой образ истины..., и т. д. («Сон смешн. человека»).

И все его предикаты, решительно все: вечность («времени больше не будет»), правда, исконность по отношению к текущей «загрязненной» действительности, жизненность и, наконец, именно неопределимость, невыразимость, «неизреченность» совпадают до букв, до шрифта с видением «смешного человека», как в сущности и сам он совпадает с Платоном:

«Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим... Грустно, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут, нет, не поймут» (стр. 116, т. XIII). «...Что в ненависти моей к людям нашей земли

заклучалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их не любя (поездки Платона в Сицилию — для переустройства политического, его «Республика» и частью «Законы»), зачем не могу не признать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя» (*ibid.*, стр. 129).

И про обоих мы можем сказать, с св. Юстином-философом: они видели истину и в самом деле «как будто были на небе», т. е. вышли из пределов, ограниченных, «темницы» земли. Замечательна еще подробность: все sexual'ные лица у Достоевского «торопятся в voyage» (Свидригайлов о себе), выходят из жизни ранее ее естественного окончания:

10

Давно пора мне мир увидеть новый...

и странное их безучастие к волнующейся окрест действительности есть только осуществление этого же полустиха:

Молчу и жду...

— таковы Свидригайлов, Ставрогин, Ив. Карамазов, с его: «завтра крест, а не веревка». Странное тяготение, бежание — к границе жизни; торопливость «пройти свой квадральон и узнать секрет» (слова «приживальщика» в «Бр. Кар.»). Какое странное, мы говорим, совпадение: Платон в «Федоне» именно говорит, что для души ее тело есть темница, которую она несет почти с безмолвным

Молчу и жду...

20 и радуется близости ее оставления. В чертах политики, общественных и исторических воззрений, до взглядов на «народную грамотность» (статья в «Дневнике писателя») и «Теутовы буквы» («Федр»), словом, все подробности органической «походки», «почерка» — но не в руке или в ноге — а в самой душе, одинаковы там и здесь. Но где же родник, и новые таинственные «Теутовы буквы», или прочитанные. О, не в логике, а в некоторой таинственной практике:

30 ...Я иногда сам представлял, и тут всегда какая-то новая мысль: если бы сделать злодейство, или *главное* — стыд, т. е. позор, только очень подлый и... смешной, так что запомнят люди на тысячу лет и плевать будут тысячу лет, и вдруг мысль: «один удар в висок и ничего не будет». Какое дело тогда до людей и что они будут плевать тысячу лет — не правда ли («Бесы», 213).

Παῖδρον, о котором в «Федре» Платон, точно и не оставляя никакого в читателе сомнения, говорит, что через него открываются все странные и новые, им передаваемые там же, истины, так все-таки и не объяснил, не назвал в двух огромных диалогах. Просто — не хватило силы сказать: не «изреченное», и, как он сам земными, минеральными своими сторонами чувствовал:

Позор, только очень подлый и ... смешной

— единственно, конечно, только единственно это могло помешать ему выговорить же слово, только одно слово, ну, одну строчку. И люди не гадали бы две тысячи лет, что такое «платоническая любовь». И какая важность: ведь важное, 40 в сущности, порознь всякого диалога, и «Федра», и «Пира»: ибо тогда, узнав секрет, всякий мог бы не логически, как через «Федр» и «Пир», но непосредственно,

с восклицанием: «Я видел истину», воскликнуть за Сократом: «Всякая душа бессмертна», и о «пере», «сломанном» при ниспадении ее на землю, и о довременном видении его «истины в себе самой», «благо в самом себе». Но он так и не сказал; воскликнув, в «Федре» и «Пире»: «Εὐρησα» он так и не выговорил имени найденного, лишь намекая, кружась, «исступленно» усиливаясь сказать, что это — sexual'ное, genital'ное, в пределах одного пола:

Главное — стыд...

Но совершенно и никому не передать «εὐρησα» невозможно было: и вот мы имеем из древности идущее свидетельство, что, помимо «экзотерического» учения, которое высказано Платоном в диалогах, было еще другое у него, «эзотерическое», тайное и передаваемое потом традиционно: Платонова «школа», «академия» древняя и новая. Но в самом существе, «неизрекаемом», этой тайны лежала достаточная твердыня, охранявшая ее от разглашения; и снова мы имеем космическое: 10

И завесь завесами, и закрой крышкою...

В аналогии Федра с апрельским листком, с свежее смолистой весенней почкою, и далее указав на Вия, и что он «видит через Хому», мы почти назвали этот пошлепон платонизма, и все-таки не произнесли слова, которое рвет бумагу, на которой пишется, и разбрасывает типографский шрифт, которым хочется его набрать. Уж правда — 20

...из пламя рожденное слово

которое сжигает, уничтожает на себе всякую оболочку, и остается... чистым духом, хоть и при таком странном посредстве.

«Этот уголек, вечным огнем в крови разжигающий», как задумчиво о себе промолвил Свидригайлов. Но нам уже пора кончить, и к Платоновской выдумке:

А за птичий в похоти зуд, у богов — оно «Птерос»

прибавить выдумку Достоевского:

Olé, Lambert
Où est Lambert
As-tu vu Lambert.

30

LXIII

Но что же такое «пол» и эта странная, страшная сила ведения, им открываемая. В «Теогонии» Гезиода есть стих:

Genitalia Οὐρανόν-Patris отрезавши — Хронос
Сбросил их в многошумящее море...
Долгое время носились они по открытому морю; и белая пена
Вкруг их бессмертного тела спенилась; из этой из пены
Родилась Афродита — дева... (ст. 188–192).

Здесь центр — не в операции; не в лицах или именах, к которым «истолкователи мифов» пишут поздние и необдуманные «объяснения» (см. Сократ в «Федре»); важность тут в тайном инстинкте, который повел человека к созданию этого вымысла в человечестве, и на него пишет комментарий новейшая физиология. В самом деле, в этом сочетании:



мы имеем чистый «пол», отрезанный от остальных частей существа человеческого: это не только «genitalia...», но клеточки, соит'ально из них исшедшие; и след, это есть специфическая и внутренняя сторона самих genital'ий, их «энтелехия» и «душа». Эмбриология нас убеждает, что не только кровь матери, питающая зародыш, но и содержимое ее яйца, белок и почти весь желток, кроме одиночного в нем пузырька, — суть питающие, а не устрояющие элементы, «хлебы предложения», а не поедающий их «огонь»:

Аз есмь огонь поедающий...

Таинственный «огонь» ли или «огонек», на который жаловался Свидригайлов и который заставил его поспешить в «voyage», — есть единственный слагающий, спаивающий из себя человека элемент: т. е. человек in pleno et in toto *, насколько он не минерал, не потребляемая пища, но потребляющее «Я» есть «genitalia» и взбившаяся около них «пена». Но странный этот noumenon, не разрушимый и при очевидно «остановившемся» для него «времени», — оседает временно и явно в определительных точках:

<Венера Медицейская>

Ее тайна и центр, «энтелехия» — конечно, в этих инстинктивно прикрываемых точках, «под завесою и крышкою» — пусть только ладоней, которые инстинктивно всякий человек опуская, повторяет древнюю скульптуру. Замечательно, что это

...у богов — Птерос («крыловращатель»)

— именно у женщины совершенно скрыто, скрыто безусловнее и глубже, нежели у мужчины: и это соответствует тому, что мы сказали много ранее о ней, что собственно ею, «вышедшею из ребра Адама», было окончено сотворение мира. Матерьял здесь, самый матерьял созидания, «хлебы предложения», «поедаемое» — есть уже человек («ребро», «Адам»), а не «красная глина». Пол и вообще выражен в feminino sexu ** не только глубже, но и полнее: груди, т. е. ярко и узко sexual'ная часть, передвинулись в верхний ярус тела — и верхнее лицо как бы залива-ется, одолевается sexual'ным. Женщина не созидает государств, законов: но ведь это — только минеральная часть истории, «хлебы предложения»; она — не поэт, мыслитель, художник: да — она вся затаена и есть «ева», «жизнь», и, как у Платона в его тайном учении, она делает то «бара», о чем говорят (явно) беседующие

* целиком и полностью (лат.).

** женский пол (лат.).

в «Пире» и «Федре». В самом деле, женщина есть деятельность, в противоположность мужчине, который по преимуществу — т. е. мы теперь говорим о духовном творчестве — слово: он пишет стихи — она стихотворно живет, «в дифирамбах»; он пишет семейный роман — она созидает семью. Правда, Стива Облонский приносит ей жалованье, «хлебы предложения» — но Долли и есть тот «пожирающий огонек», которому Стива — да, Стива — приносит «предложение». Вся ее жизнь — при «рассыпавшемся шрифте», «прорвавшейся бумаге»: т. е. она неуловимее, духовнее и, в последнем анализе, несмотря на «вонь» рождения и «больничный запах», так часто ее окружающий, как-то, мы инстинктивно чувствуем, благородней и священней. Мерцание ее глаз истинно выразительнее слов: ну что Анатолий Курагин, ищущий под столом своею ногой ногу «Бурьенки» перед княжной Марьей, которая это видит и ничего, ничего, ни одного упрека не сказала все-таки Бурьенке, да и ему ничего не сказала. Безмолвие женщины, при ее лучистости, — истинно прекрасно и есть небесная в ней глубина, не выявленная, не высказывающаяся, ночная:

Сквозь туман — кремнистый путь блестит:
Ночь тиха; пустыня внемлет Богу;
И звезда с звездой говорит...

Как, в самом деле, *sexual*'ный поэт заговорил о звездах аналогично скульптору, который за 4000—5000 лет до него, которому пришло на ум фигуру женщины уставить звездами. Ночь и тайна. Странна эта тайна самой земли, «закрывающей за собою двери» после каждых 14—16 часов — как бы она «становится на молитву», ей нужно «задуматься», «сосредоточиться в себе». В самом деле, в условиях планетного движения нет необходимости *дня* и *ночи*; и если они есть для каждой точки земли, т. е. земля вертится около оси, то как будто это для того, что всякой ее точке —

...и долам, и лесам

необходимо отдохнуть после дневного «многоглаголания». Лице дневное и лице ночное — в самой земле; маленький Вий, еще Вий — и, может быть, их много. Но в самом деле замечательно, что рост духовный совершается, как и начинается благоухание цветов, ночью:

И звезда с звездой говорит...

И нет возможности представить себе, чтобы гениальное двустипное или новая всеозаряющая истина поэту или философу пришла в «адмиральский час», когда пьют водку — вероятно, адмиралы и по их примеру все смертные. Эта таинственная «ночь» в женщине полнее разлилась, перелилась и в верхний ярус тела, и, как мы говорим, почти заливает в ней *логическое* лицо. *Sexus* выражен в женщине неизмеримо мощнее,

<Брюхатая египтянка, с ногами кошки>

нежели в мужчине, и в то время как миг рождения — у него только миг, у нее он — часть года, а с кормлением — и полнота, целость, за исключением кратких переывов, жизни. Это — у человека и по мере приближения к человеку (у млекопи-

тающих), но, например, у рыб и всех «гадов», где мать не носит, но как бы «скидывает» детей — материнства почти нет, оно — в эмбрионе, за исключением умных и почти мудрых пчел.

Пол и его траектория, т. е. периоды, годы, месяцы, недели, дни, секунды возраста образуют сверхминеральную часть в человеке — «огнь поедающий», «хлебы предложения»; причем минеральная часть есть подпоры, стол, половицы и вообще то, через что и на чем «хлебы предложения» доносятся до «поедающего» «огня». Совершенно ясно, что «энтелехия» всего этого и есть две таинственно спаянные клеточки, и, собственно, самая их спаянность, сопряжения, которые после первого повторяются в следующем, третьем и так до «девяносто лет» сопряжении. В самом деле, «огонек», жгущий «в крови», имеет правда общее для себя сосредоточение (в *genitalia'x*): но ведь и каждая клеточка, как это особенно заметно у растений — растет и затем через внутреннее деление становится двумя клеточками; т. е. каждая клеточка есть в точности опять же пол, и именно две, мужская и женская, стороны пола, сопрягающиеся, «дрожжащие друг около друга» (см. «оплодотворение» у Брокгауза) — и от этого сперва растущие, «беременеющие бытием» как говорит Платон, и, наконец, и в самом деле «рождающие». Но, как мы заметили, это материнство и супружество, разлитое по организму, имеет и общее одно для себя средоточие: седой осевший *poimenon*, *genitor* или *genitrie*. Мы долго следили туманы, отсюда ползущие: «неизреченные» и как бы, по Юстину-философу, «усмотренные с неба».

Это и есть душа в *poimen'*альном своем обращении; изворот человека «по ту сторону», в то время как лицо его есть выворот того же *poimen'a*, но по эту сторону: земля, но совершенно в зависимости и лишь как тень, как называемое *poipe* своего «противо-земля». Не трудно в самом деле заметить, что и лицо собственно в нас, какое мы любим, ласкаем, есть также что-то половое: ведь есть «женское» и «мужское» лицо, но нет лиц «математических» и «филологических». Т. е. лицо есть также пол, но уже не в иероглифическом, а в гуттенберговом наборе выраженное. Есть лица сладострастные или целомудренные; «святое» или «ужасно грешное»: и снова — это не *log'*ическое разделение, но явно *sexual'*ное. От этого любовь, т. е. ясно и отчетливо *sexual'*ное тяготение, завязывается с лица: и, как написано в Старой Эдде, а также и Шекспиром о Ромео — вспыхивает иногда при первом взгляде: лица *soit'*ально сопрягаются и вызывают «мерцание ресниц», «слезы на глаза»; краскою заливают щеки. Здесь, отсюда и становится особенно очевидно и обратное значение *genital'*ий как также лица: дешифрованные, в понятном гуттенберговом наборе оне читаются как таинственное сочетание лба, носа, губ, рта: и может быть, Платоновское «всеми чувствами» объясняется именно тем, что «все чувства» тяготеют как что-то сыновнее и посюстороннее — к отческому и потустороннему, к таинственному поманению «с того света», которое великим инстинктом закрывает всякий человек, даже если его никто не видит; закрывает от солнца, лесов и долов, «сего света». «Тот свет», начало «того света» — и, как нам показывают все разобранные видения, действительно лучащегося, радостного, «поющего». Но не в этом дело, а в том, что и «тот свет» имеет, если это выразить в земном «наборе слов», характер и значение того, что в минь-атюре поэт назвал

...переливы
Милого лица

Свет ночной. Ночные тени,
Тени без конца...

Колоссальное «Виево», «стоявшее во всю стену»: но, по Платону — в то же время «благо в себе самом», «истина в себе самой»; и, как Достоевский писал: окружение человекообразными, но совершенно безгрешными духами. «Смешные пакости», которые наделал Ставрогин, и есть полное основание подозревать, что их делал также Платон, и вытекли вовсе не из «жестокости их сладострастия», но из удивительного — и который так удивительно связан с ускоренным шагом к смерти — порыва

...мир увидеть новый

10

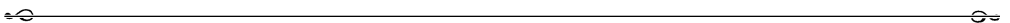
и через genitali'i золотистого ли Федра, «двенадцатилетней» ли девочки, но пронизать, и непосредственно, в таинственное и, в общем, никогда здесь на земле не видимое «противо-земное» лицо; «стать на хребте неба и выглянуть наружу», как передал свое чувство Платон; но именно — пока эти genitalia не «отпотели», не загрязнены «земным хватанием», прозрачны и чисты — у Федра и Нины:

Ходила в фартучке, сидела прямо...

Припадая к отрочески-чистому стеклу их «гуттенберговым» в себе «набором» — «и зрения, и осязания, и обоняния — всех чувств», мы получаем ведение Федона, Тимея, — «Сна смешного человека» — «потустороннее; но, касаясь их же ноуменально, мы получаем не «идею» души бессмертной, но самую душу бес-²⁰ смертную, «предсуществующую», «ниспавшую» и, словом, ту, лучшую всякой Федоновской, которую мать, вынимая грудь, кормит молоком. Мы — «рождаем»...



ВАРИАНТЫ



ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

И СТАРОЕ И НОВОЕ

1. Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»?

Варианты МВ

Заглавие. Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»? / Почему мы отказываемся от наследства?

Стр. 9.

⁵ — Факт, что дети / Только что вышедшие книжки наших больших журналов полны одного интереса, все того же и все главного в течении последних лет: это — смены *исторического настроения*, которое мы все переживаем. Факт, что дети

¹⁷ — «людьми шестидесятых годов» / «детьми шестидесятых годов»

Стр. 10.

^{29–30} — и углубленность чувства / и углубленность чувств

⁴³ — в царствование Александра II (не по прочности, но по мотиву) / в прошлое царствование (не по прочности, но по мотиву, по замыслу)

Стр. 11.

⁴² — жизненную программу / программу жизни

Стр. 12.

²⁵ — что нас в то время поразило / что нас всего более в то время поразило

Стр. 13.

¹¹ — вовсе не ее увенчание / вовсе не ее увенчание

¹⁹ — с ранней школьной скамьи. / с ранней школьной скамьи, и даже в гимназические годы вовсе не были похожи на иных теперешних студентов, которые с изумленным восхищением слушая речь заболтавшегося адвоката, не находят в себе ничего кроме подобострастия, о профессорах же своих, ими самими уважаемых, не могут даже преодолеть инерции чтобы справиться, какие они труды написали.

³⁰ — всех окружающих нас / всех окружающих нас людей

Стр. 14.

- ¹³ — в отставку (Буслаев). / в отставку и теперь печатающий свои прелестные воспоминания, без сомнения читаемые всей Россией.
^{36–37} — по финансовому праву. / по финансовому праву. Еще один из молодых, как прямой и решительно ничего не скрывающий человек, печатал в «Критическом обозрении» (полемизируя с г. Б. Чичериным), что он вообще не может последовательно излагать свои мысли (или «связно», «складно» — за смысл, меня поразивший ручаюсь, но точного слова, которое употреблено было, теперь не припомню).

Стр. 15.

- ^{10–11} — и сразу все покрыл / и сразу все закрыл
³⁸ — «индуктивном методе». / «индуктивном методе», который теперь и т. д. попал в его диссертацию.

Стр. 16.

- ⁷ — физики и оптики». И я вспоминал об / физики и оптики» и т. д. и т. д. При слове о науке и видя к ней уважение молодого человека, я моментально вспоминал об
¹³ — я увидел знакомого / я увидел одного знакомого
⁴³ — голосом кричит: / голосом закричал

Стр. 17.

- ¹ — и, кажется, чорт бы / и до него мне чорт
^{2–3} — Все эти Бруты и Гармодии с обликом молодой купчихи / Все эти Клодии цвета стыдящейся невесты
⁴ — Впрочем, на нашем / Собственно, на нашем
²⁵ — 60-х годов / шестидесятих годов
^{26–27} — «Литература и жизнь»; Русская мысль, 1891 г., июль, / «Литература и жизнь» в «Русской мысли» 1891 года, июнь,
³⁴ — стоит теперь? / стоит теперь сам?
³⁶ — подле нас стоящим / над нами стоящим

2. В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»?

Варианты МВ

Стр. 18.

- ³⁵ — очарование еще / очарование его еще
^{40–41} — заметил, что к нему доносятся какие-то / заметил какие-то
⁴³ — внятнее / вняты

Стр. 19.

- ⁴ — осветилась новым / осветилась для него новым
⁶ — к человеческому сердцу только / только к человеческому сердцу
³⁵ — только / и это только
 него / того
^{35–36} — он поторопился / он и в самом деле поторопился
⁴³ — был некогда в него вложен / был в него некогда вложен

Стр. 20.

- ²⁵ — только соответствия / только соответствие своему мышлению и вовсе не искали соответствия
²⁶ — бледные / бедные

Стр. 21.

- 4 — мысли и волнения / мысли, волнения
- 32 — видима / вскрыта
- 34–35 — доступные грубому прямому / доступные прямому

Стр. 22.

- 1 — восстанавливаем около него / около него восстанавливаем
- 6–7 — преступают их геометрические / преступают границы их геометрического
- 13 — физические / химические
- 20 — стали / начали
- 21 — образовали / составили
- 37 — находящиеся вне дуги окружности / далее дуги окружности, но все иные чем та, которая уже есть, в этом месте лежащая

Стр. 23.

- 41 — повинуюсь / и, это повинуюсь

Стр. 24.

- 16–17 — построить их муравейник. / построить.
- 28 — подобия их бедной и искусственной постройки / подобия с их бедною искусственную постройкой
- 31 — они относились / они и относились
- 34 — эта / их
- 46 — и «Вестником Европы» / и историческим журналом, «Вестником Европы»

Стр. 25.

- 15 — могли бы понять / поняли
- 18 — эту статью / свое объяснение причин, по которым новое поколение непреодолимо расходится со старым
- 20 — в нем они / они в нем
- 23 — что видел и первый / что и первый

Стр. 26.

- 10 — Это / Это не только сходство, это
- 35 — предшествовал этому движению / был прежде
- 45 — нравственности / нравственных движений

3. Европейская культура и наше к ней отношение

Варианты МВ

Стр. 27.

- 1 — к ней отношение / отношение к ней
- 3 — за 1891 г. / нет
- 18 — 1891 год / нет
- 31 — видит «обрывки» / видит «какие-то обрывки»
- 32 — будучи идеей / будучи всегда идеей
- 35 — Отсюда / От этого

Стр. 28.

- 7 — между собою / между собой
- 9 — к какому / к которому

- 12 — К. Леонтьева / г. К. Леонтьева
- 16 — «Восток, Россия и Славянство» / «Восток, Россия и Славянство», М. 1886.
- 17 — всемирной революции» / всемирной революции», М., 1890 г.
- 18 — с мыслью. / с мыслью, а не с животным смехом.
- 26 — эта литература / она
- 31 — тяжестью / тысячью
- 34–35 — если бы / если б
- 35 — понимал / понимал (конечно, не писанные)
- 36 — бы он об / бы об
- 44 — усердные / живые
- 47 — верные мысли / важные истины
в их мнениях / тут

Стр. 29.

- 2 — Мы / Мы уже
которой отличается развитие / которая замечается в развитии
- 10 — общую истину / эту общую истину
- 12 — Но одно указание / Но, конечно, было бы можно утверждать, что они на что-нибудь опирались. Указание
- 15 — подтверждением / каким-либо подтверждением
- 22 — уже совершенно / совершенно
видеть. / видеть. Всякий, кто увидел бы в г. Леонтьеве практического борца, человека партии, глубоко ошибся бы.
- 23 — человек / этот человек
- 25 — какой / какою
- 26 — ранних славянофилов / славянофилов
- 29 — именно К. Леонтьев / именно этот человек
- 29–30 — одним из самых глубоких исполнителей / высшим и самым глубоким исполнителем
- 31 — так много / в особенности так много
д–р / Дг
- 43 — чрез / через

Стр. 30.

- 17 — всего своего / всего
- 31 — умирания / его умиранья

Стр. 31.

- 1 — слияние этих государств / слияние провинций сперва в компактные массы государств, затем слияние этих государств
- 7 — с тою разницею / с той разницей
- 20 — У К. Леонтьева / У г. Леонтьева
- 43 — К. Леонтьев. / г. К. Леонтьев.
- 44 — И что же можем мы / И здесь что можем мы

Стр. 32.

- 3 — статьи К. Леонтьева / статьи¹ г. К. Леонтьева

¹ Собственно теория исторического роста и разложения содержится в последних семи главах статьи «Византизм и славянство», читанной в Императорском обществе истории и древностей российских и перепечатанной в сборнике, о котором мы уже упоминали. Вот перечень этих глав: гл. VI — «Что такое процесс развития?»; гл. VII — «О государственной форме»;

²² — выражаться / выражаться. Только для того, чтобы показать, как к ней примешивается и злорадия, мы приведем из этого журнала несколько выдержек: «Ценным материалом для характеристики наших антизападников могут служить „Записки отшельника“, печатаемые К. Леонтьевым, автора *великой формулы*: Русский народ должен быть ограничен, привинчен, сызнова и мудро стеснен в своей свободе... *Идеал* (то есть идол) автора — назад, в давнопрошедшее, в „резком разграничении сословий“, в сохранении за каждым из них исторических „навыков“; в осуществлении *народной поговорки*: *всяк сверток знай свой шесток*. Тою же поговоркой вдохновляется и один из „знаковых незнакомцев“, безыменных корреспондентов „Гражданина“, рисующий такую схему нашего будущего: „крестьянин — паши землю, купец — торгуй, воин — защищай Россию, духовное сословие — служи Богу и Его Церкви, а гг. дворяне пусть всюду, где надо управление, займутся государственною службой“. Поворот, уже совершившийся, их не удовлетворяет; нужно „свернуть на вовсе иной путь“, свободный по возможности ото всякого сходства с путями гниющего и мчащегося в пропасть Запада. Что же это значит? Цикл контрреформ, имеющих тормозящий характер, по-видимому, закончен. Преобразовано местное управление, преобразован суд, преобразовано земство, со дня на день ожидается преобразование городов... коренным образом изменилось положение начальной школы. Если этого мало, если нужно идти еще дальше, то где последняя цель *обратного движения*? Ведь роль сословий и теперь уже разграничена довольно резко; еще немного — и на месте сословий *явятся касты*, замкнутые и неподвижные. *Этого, очевидно, и желают наши газетные ультра-реакционеры*. *Крестьянство*, так или иначе прикрепленное к земле, *бесправное, покорное и невежественное; купечество*, не выходящее из фабрики и лавки, *пекущееся о неукоснительном удовлетворении прихотей высшего сословия, дворянство, командующее*, и в качестве чиновничества, и в качестве землевладельческого класса, — *вот картина, рисуемая пред обожателями доброго старого времени*» («Вестник Европы». 1891, июль, статья «Из общественной хроники», стр. 433—434).

Что все это, как не животный страх, к которому не примешивается никакой мысли? И неужели эти призывы к смеху, эти сотрясения желудка, в самом деле, должны заменить для государства указания бессонной мысли, которая истощала свои силы в заботах о судьбах родины? Нет, благодарение Богу, мудрость и предвидение, наконец, торжествуют. Впервые в истории нашей услышан голос людей, которые ей ничего не искали для себя и искали только для своего народа. Этот профессор, оставивший университетскую кафедру, для глухой деревни и долгие годы проводящий в обучении крестьянских детей¹, — разве он враг народа, требующий «бесправия его, покорности и невежества»? Или старый медик Московского университета², всю свою долгую

гл. VIII — «О долговечности государств»; гл. IX — «О возрасте европейских государств»; гл. X — «Продолжение того же»; гл. XI — «Сравнение Европы с древними государствами»; гл. XII — «Заключение» (см. «Восток, Россия и Славянство». М. 1886 г., п. I, стр. 136—189).

¹ Читатель догадался, конечно, что мы говорим о деятельности бывшего профессора ботаники в Московском университете С. А. Рачинского. Без сомнения, не без влияния его примера, его идей и, быть может, указаний, сельская школа прежнего типа, которая была навязана нашему народу и не без оснований внушала ему отвращение, заменена, к сожалению, не везде, церковною, религиозною.

² Во втором томе сборника статей г. К. Леонтьева есть воспоминания о Московском университете времен Иноземцева и Овера, а в статье его «Анализ, стиль и веяние в романах

жизнь проведенный в размышлениях над Европой и на краю могилы предостерегающий свою родину от сближения с нею — есть только «дворянин, желающий услуг купечества для удовлетворения своих прихотей»? О, какое это жалкое пустословие, и сколь ничтожною должна представляться эта попытка унижить людей, составляющих гордость своего народа и свет его истории.

Совсем, совсем ничего не понял «Вестник Европы» в том, что вокруг него совершается.

Стр. 32.

- ²² — Нигде, ни в исторических / Журнал «Истории и политики» ни в исторических
²³ — маститый журнал не возвысился / не возвысился
²⁶ — заученные параграфы к живой и текущей жизни — вот все, что он может / бедные параграфы к жизни — вот все, что смог орган имеющий притязания на научность, в виду великого переворота, который незаметно и твердо устанавливается в нашей истории. Поистине, хочется сказать этим людям: как много вы учились и сколь малому научились!».
^{27–28} — Но истинною ~ в истории / Ясное сознание своего места в истории впервые руководит нашу родину при вступлении на эти новые для нее пути самостоятельной деятельности.

Стр. 33.

- ² — смягчим / хоть немного смягчим
⁴ — покойного Буслаева / Ф. И. Буслаева, которые печатаются в том же «Вестнике Европы»
⁴ — интересный случай / удивительный случай
⁵ — гр. Строганов / граф Строганов
¹³ — г. Арсеньев / г. Слонимский

4. Два исхода

Варианты МВ

Стр. 33.

- ³⁶ — этюда состоит / этюда, который по живописи и красоте изложения поднимается до уровня разбираемого в нем произведения (роман «Анна Каренина»), состоит

Стр. 34.

- ¹ — точка. / точка. Это было лет десять тому назад, когда в обществе разнеслись первые, неясные слухи о какой-то «исповеди» знаменитого романиста, где он рассказывает историю своих внутренних тревог и исканий и излагает воззрения на человеческую жизнь, которыми заключились эти искания.
⁸ — духовной / душевной
²⁰ — ответ, утверждающий / ответ, содержащийся в школе утилитаристов и утверждающий
^{23–24} — распространялось / распространилось

Стр. 35.

- ^{5–6} — какой-нибудь ряд / какому-нибудь ряду
^{10–11} — или все это забыть / или забыть

Л. Н. Толстого» есть указания на времена Крымской кампании и на черты в характере людей того времени, которые он сам наблюдал.

- ¹³ — признанного им за бóльшее благо / того, что признает для себя бóльшим благом
²⁷ — же / и

Стр. 36.

- ⁹ — об / о

Стр. 37.

- ²⁶⁻²⁷ — их образовать / образовать их

Стр. 38.

- ²⁻³ — заботою, исключаяющей / заботой, исключаяющею
¹³ — уж / уже
¹³⁻¹⁴ — образующих своей системой / система которых образует собою
¹⁵ — было сказано / сказано было
²⁰ — глубиною / глубиной
²² — *них* / их
²⁵ — вся она / она вся
²⁷ — образовать / образовывать
⁴⁵ — служить для / служить жилищем для
 невозводимость. / невозводимость. По крайней мере идея этой задачи естественно возникает из сознания недостаточности утилитаризма как искусственной теории и из вытекающего отсюда признания естественных целей, заложенных в природу человека.

Стр. 39.

- ⁴¹ — Удовлетворенность / Ошибка будет, впрочем, в утилитаризме, но очень небольшая: удовлетворение

Стр. 40.

- ¹⁶ — иногда бессознательно / не сознавая по временам
²⁰ — есть самодвижущаяся / есть каучуковая самодвижущаяся
²⁹⁻³⁰ — в себе. Все / в себе и для самого существования. Все
³⁰ — в истории, — представилось ему, —росло / в истории,росло
³⁵ — последние страницы / последние (1-2) страницы
³⁷ — вдали еще / еще вдали

Стр. 40-41.

- ³³⁻¹ — людей, и они должны / человека, и он должен

Стр. 41.

- ¹⁵ — история, его / история и его

Стр. 42.

- ¹² — человек / он
¹³⁻¹⁴ — и в страхе его / и его в страхе рука

5. Может ли быть мозаична историческая культура?

Варианты МВ

Стр. 42.

- ²⁴ — Я заметил / В прошлом году, беседа на страницах «Московских Ведомостей» о людях шестидесятых годов, я заметил

- недостаток людей шестидесятых годов / их недостаток
²⁶ — В ответ на это замечание / В статье, слишком поздно мною прочитанной
²⁷ — свои положения / эти положения
^{27–28} — Но вот в другой своей статье / В недавней собственной статье
³⁵ — высказать / высказать в своей статье

Стр. 43.

- ⁴ — это убеждение / их убеждение
¹⁵ — его мыслью / мыслью Коперника

Стр. 45.

- ²⁰ — другое / на другое (МВ и 1 изд.)

Стр. 46.

- ³² — организмов / организмов¹

Стр. 47.

- ¹² — по настроению / по духу
^{32–33} — как говорит мой противник; нет, это неправда; вышла в действительности / как было в замысле; в действительности же вышла
³³ — и кровь, и треск / кровь и треск
³⁷ — жизнь; / жизнь; как архитектор, возводя здание, в малейшей части его выдерживает стиль, так чтобы ни одна из них не была в дисгармонии с целым

Стр. 48.

- ¹⁰ — к остальным?² / к остальным?²

6. Еще о мозаичности и эклектизме в истории

Варианты МВ

Стр. 48.

- ^{20–21} — В сентябрьской книжке ~ озаглавленную / В сентябрьской книжке «Русской Мысли» г. Н. Михайловский отвечает («Литература и жизнь», гл. I–III) на мой летний фельетон в «Московских Ведомостях» (от 20 июля), озаглавленный

Стр. 49.

- ^{35–36} — (Русская Мысль, 1892 г., июнь) / (Русская Мысль, июнь)
⁴⁵ — «вещей в себе» / «вещей в себе» (*nitena*).

Стр. 52.

- ^{27–31} — Но и противник мой ~ то здесь / Правда, по раздражению сердца своего, по предметам этого раздражения, он еще весь живет в шестидесятых-семидеся-

¹ Мне могут возразить, что прививка существует же для деревьев, да и такую прививкой для дела европейских народов не послужило ли христианство, *однажды* принятое в *нагале* их исторического бытия и уже *определившее* окончательно доброту их цивилизации. Но если бы кто-нибудь взглянул на эту прививку и, подражая ей, вздумал бы резать дерево во всяком месте — во всякое время и в нарезки вставлять куски из разнородных деревьев, — была ли бы это также прививка?

² Вспомним только штунду и симпатизирующее отношение к ней новых судебных учреждений; их строй, а вовсе не дух отдельных лиц, этому строю невольно подчиняющийся, был здесь виновен.

тых годах; но мыслью своею он вовсе не ограничивается их узким кругом, и то там, то здесь

Стр. 53.

³⁷ — серьезно / сериозно

Стр. 55.

³⁻⁵ — предупредил ~ туловищем козы / предупредил действительность: к переду льва он присоединил зад дракона, и все это связал туловищем козы.

¹³ — нового имени / новое имя

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ Н. Н. СТРАХОВА

Варианты ВФП

Вступительная часть (со сноской к названию статьи¹):

Мы приветствуем появление только что вышедшего вторым изданием второго тома «Борьбы с Западом в нашей литературе» г. Н. Страхова. Те, кто знаком с его первым изданием, найдет в настоящем ряд новых статей, и между ними «Роковой вопрос», наделавший в свое время столько шума и послуживший причиною закрытия журнала Ф. М. Достоевского «Время». Есть в этом втором издании и статьи, никогда еще не появлявшиеся в печати; они все примыкают к «Роковому вопросу», служа пояснением его или дальнейшим развитием. Здесь воспроизведена также в полном составе статей вся полемика г. Страхова против профессора Тимирязева (по поводу дарвинизма) и против Вл. Соловьёва (по поводу теории культурно-исторических типов).

Всегдашние черты таланта г. Страхова ценители и знатоки его сочинений встретят и в настоящей книге, как и в длинном ряде других, которые он издал в последние годы. Товарищ по журнальной деятельности Ф. М. Достоевского, Ап. Григорьева и Н. Я. Данилевского, он только в восьмидесятых годах, когда начал выпускать целные сборники своих статей, стал получать прочную и широкую известность. Его статьи о Герцене и Ренане² читались и перечитывались, а всякий, кто следил за его полемикой по поводу различных научных вопросов, не мог не чувствовать почти постоянного превосходства его над своими противниками, быть может, поэтому именно всегда соединенного со спокойным изяществом постоянно правильного спора.

Стр. 56.

²⁻²⁹ — Перечень работ Страхова в ВФП отсутствует.

Стр. 57.

³⁻⁴ — многолетнюю дружбу / многолетнюю дружбу³

⁴⁶⁻⁴⁷ — психологии и физиологии / психологии и физиологии». СПб. 1886.

¹ Печатаю эту статью, мы следуем намеченному при основании журнала правилу — давать в нем место талантливому и значительному выражению всякого направления нашей общественной мысли. Возможные увлечения в суждениях автора должны остаться на его личной ответственности. Литературно-философская деятельность почтенного Н. Н. Страхова — явление во всяком случае настолько крупное в истории нашего просвещения за последние тридцать лет, что попытка осветить ее значение заслуживает полного сочувствия. — *Ред.*

² В I-м т. «Борьбы с Западом в нашей литературе», изд. 2-е. СПб. 1887.

³ Во 2-м т. «Борьбы с Западом» есть несколько страниц, посвященных воспоминанию о Данилевском, стр. XIX—XX и 512—514. См. также предисловие к четвертому изд. «Россия и Европа». СПб. 1889.

Стр. 58.

- ³⁹ — науки о природе» / науки о природе» (СПб. 1872 г.)
⁴¹ — в общем образовании» / в общем образовании» (СПб. 1865 г.)
⁴²⁻⁴³ — психологии и физиологии» / психологии и физиологии» (СПб. 1886 г.)
⁴⁷ — и пр.» , стр. IX / и пр.» СПб. 1872, стр. IX

Стр. 59.

- ²⁶ — вечным в нем / вечным в нем ¹
³³ — в лица / в лицо
³⁵ — «Как вы будете жить / «Как вы будете жить
⁴¹ — этих писателях / этих писателях (См. «Борьба с Западом в нашей литературе, т. I-й).
 их духовная физиономия / духовная физиономия этих писателей

Стр. 60.

- ⁴¹⁻⁴² — реже — политику / реже — политическую деятельность

Стр. 61.

- ⁶ — В статье «Место христианства в истории» мы уже имели / Мы уже ~ высказать ²
²⁵⁻²⁶ — или практически нужным / или нужным
²⁸ — как бы подавалась / как бы подавалась
²⁹ — поддавшись отчасти / подавались отчасти
³⁷ — тяготения его мысли / тяготения его мысли ³

Стр. 62.

- ³ — Европе? / Европе.
⁶ — непохожий / непохожий ⁴
⁴⁶ — «Мир как целое» / «Мир как целое». СПб. 1872.

Стр. 63.

- ¹⁷ — физической природы / физической природы ⁵
³⁰⁻³¹ — усвоения / усвоения. Но здесь, с этой мыслью об его теоретизме, невольно связывается мысль о той книге, появление которой мы избрали, как предлог, для того, чтобы поговорить о давно занимающем нас мыслителе ⁶.
³⁶ — их с другими / их с другими ⁷
³⁹ — ненавидит? / ненавидит.

Стр. 64.

- ⁵⁻⁶ — «Семейной хроники»? / «Семейной хроники» ⁸?

Стр. 65.

- ²⁰ — Лишь на два месяца / Только на два месяца

¹ См. «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом». Изд. 2-е. СПб. 1887.

² «Место христианства в истории». Москва. 1890.

³ Более ясно интерес к религиозному высказан у него только в «Критических статьях о И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом», стр. 459–484.

⁴ См. «Воспоминания о поездке на Афон» в «Русском Вестнике», 1889 г., октябрь.

⁵ См. его «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)». СПб. 1877.

⁶ См. его «О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)». СПб. 1877.

⁷ См. там же возражения против Вагнера и Бутлерова.

⁸ Ср. «Заметки о Пушкине и других поэтов» СПб. 1888 г.

- 35 — эти слова другие жалобы / эти слова об однообразном потоке вечности другие жалобы
 39 — об одном писателе / об одном тоже писателе
 42 — восставшего народа? / восставшего народа.
 44 — Не будем, однако, вдаваться / Не будем вдаваться

Стр. 66.

- 2-3 — «Страна святых чудес» / «Страна святых чудес»¹
 36-37 — удары, наносимые ею / удары, которые она наносит
 46 — сторониться от нее / сторониться от нее. По мере приближения к идеалу, к завершению, даже более: по мере полного проникновения в дух того, что уже и ранее, явившись в Европе, с наибольшею силою выразило в себе это стремление, — чувство внутренней удовлетворенности пропадает и заменяется ощущением душевной усталости. И тотчас же является вопрос, не менее ясный и неотразимый, чем и самые лучшие истины ее наук и философии: разве в целом своем все, что создается человеком в его истории и что мы называем цивилизацией, имеет какую-нибудь иную цель, кроме как удовлетворение человека? И если такая цель есть, но она не достигнута, то где же смысл в этом столь осмысленном здании?

Стр. 67.

- 8 — которыми движется европейская история / которые движут европейскую историю
 10 — в целом? / в целом:
 11-12 — поэты? В какое время еще / поэты, когда еще
 15 — А удовлетворены ли / А счастливы ли
 20 — откуда именно / что именно
 22 — для нас — что / для нас это — что
 24 — над чем трудились / над чем трудилось
 25 — над ним трудились / над ним трудились. Первосвященники, законодатели, мудрецы и поэты целого ряда народов, самых глубоких и даровитых в истории воздвигли чудное здание, и вот когда оно почти уже готово и осталось положить последние камни, мы, поздние потомки их, входя в это здание, испытываем странное смущение, тревожно — как никогда — бьется наше сердце, и рука не поднимается, чтобы подобрать оставшиеся камни и положить их на место. Великий Гёте задумывается над ним, Байрон с отвращением и ненавистью бросает в него свои проклятия, все торопливо стараются выйти и только слепые, да совершенно глупые, не испытывая никакого страха, продолжают идти вперед.
 39 — Не раз проводилась мысль / Еще не так давно проводилась мысль.

Стр. 68.

- 11-12 — деятельности Петра / его деятельности
 33-34 — как делал и он / как делает и он

Стр. 69.

- 13-14 — переносили их те / переносили их они.

Стр. 70.

- 9-10 — (как все признают это) / как все признают это

¹ Слова Хомякова.

³⁵ — иное существо / иное вещество (ВФП, 1 изд.)

^{35–36} — сохранить ~ и бросить / сохранит и бросит (ВФП, 1 изд.)

Стр. 71.

¹ — Но если / Но как

² — ложно, то так же / ложно, так же

⁵ — не могло быть / могло быть

¹² — известное другим только / то, что другим известно было только

¹⁸ — для тех людей главной их чертою / их главной чертою

³⁰ — более жил / не более жил

³³ — и обращались / , обращались

Стр. 72.

¹⁶ — Но возможно ли / Не возможно ли

¹⁷ — «Мир как целое» / «Мир как целое» (1872 г.)

³² — Обращаясь к предисловию / Обращаясь к самому предисловию

^{40–41} — И специальные его работы (произведенные им в области / Но уже специальные работы (произведенные им в области

⁴³ — * «О вечных истинах» ~ XXIX. / Н. Страхов. «О вечных истинах» (Мой спор о спиритизме)». СПб., 1887, стр. XXIX.

⁴⁴ — ** «Мир как целое», стр. IX / ² Его же. «Мир как целое». СПб. 1872, стр. IX.

Стр. 73.

^{20–21} — Не было рождено / Не было привлечено

²³ — книг г. Страхова можно / книг можно

²⁸ — это чувство определило / оно определило

Стр. 74.

¹ — прерываются / перерываются

^{11–12} — Не менее значительно / не менее значительно

¹⁶ — «Должное» / Должное

²⁵ — обыкновенно сознается / сознается

³⁰ — трудно и / и трудно

Стр. 75.

⁸ — в себе / в собственном

¹⁶ — жизни и надежда через это / жизни и через это надежда

²⁰ — г. Страхов открывает / он открывает

²¹ — привела к недовольству / привела их к недовольству

²⁵ — у Герцена / у Герцена ¹

³¹ — заблуждений первых представителей славянофильской / заблуждений славянофильской

³⁵ — будто в ней / будто бы в ней

⁴⁰ — своему содержанию / своему внутреннему содержанию

Стр. 76.

⁸ — замечена Ап. Григорьевым / замечена и оценена Ап. Григорьевым

¹⁶ — и указателем *. В долгие годы / и указателем. К великому сожалению, издание это не имело успеха. В долгие годы

¹ См. «Борьба с Западом в нашей литературе», т. I и первое издание 2-го т. (статья о Фейербахе).

- 27 — общества. / общество¹
 28 — и к произведению Л. Толстого / и к разбираемому произведению
 41 — и для самого / для самого (ВФП, 1 изд.)

Стр. 77.

- 28 — совершенно не заботились / , совершенно правдивы и не заботились
 34 — «Заметки о Пушкине и других поэтов» / «Заметки о Пушкине и других поэтов» (СПб. 1888).
 45 — преклонение перед богами / преклонение перед идеалами

Стр. 78.

- 4 — всякий вчера рожденный / всякий рожденный
 21 — * * * / нет
 34–35 — есть самая сложная и трудная задача / есть главная, первая и высшая задача
 44 — серьезностью / сериозностью

Стр. 79.

- 14 — забвения личного / забвение же личного
 23 — серьезно / сериозно
 28 — умственного развития общества / умственного воспитания общества

ТРИ МОМЕНТА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

Варианты РО

Стр. 80.

- 3 — I / нет
 6 — перед собою / перед собою Z I
 8–9 — смысл раннего периода / смысл первого и самого продолжительного периода

Стр. 81.

- 8 — как и наслаждение только / как только и наслаждение
 11 — с внешней стороны / со внешней ее стороны
 15 — глубочайшую их сущность / глубочайшую сущность
 20–42 — Очень скоро ~ должна уметь удовлетворять литература. / нет

Стр. 82.

- 10 — под его влиянием литература приобрела / под его влиянием значение литературы приобрело
 15 — все прислушиваются. / все прислушиваются и в отношении к которому практические деятели общества и государства являются лишь второстепенными и служебными лицами, только выполняющими умело или неумело то, что пережито, продумано и решено первыми.
 18 — за ней — общество. / за ней — общество. Гр. Толстой в своих сочинениях ни разу не упоминает имени Добролюбова и, можно верить, он никогда особенно не задумывался над ним; и, однако, вся деятельность его, весь тот особенный и глубокий смысл, который засветился в ней впервые в «Анне Карениной», — совершенно необъясним и невозможен без предваряющей деятельности Доб-

¹ «Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом», первое изд. 1885, второе в 1887.

ролюбова. Этот последний, переместив взаимное положение литературы и жизни и связав их неотделимо, кровною связью, сделал возможным то явление, которое мы все наблюдали в последние годы и которому не удивлялись. Писатель открыто выступил учителем общества, и общество признало это, потому что ожидало уже этого и хотело, — факт невозможный несколькими десятилетиями ранее, показавшийся чем-то чудовищным, когда его впервые попытался создать Гоголь, опубликовав свою «Переписку с друзьями».

21 — волею / волей

33 — странно / страшно

39–40 — его деятельности. / его деятельности. Натура глубоко-страстная и нежная, он создал новое историческое настроение в нашей жизни, хотя и недолговременное — заслуга редкая и исключительная, выпадающая на долю немногих людей.

43 — он; и с этим / он. Но с этим

Стр. 83.

13–14 — Некрасов — большею частью своих произведений, Щедрин — почти всеми / Некрасов, Щедрин

15–16 — Достоевский, Тургенев, Островский, Гончаров, Л. Толстой / Островский, Л. Толстой, Достоевский, Гончаров

19 — черты влияния / черты критики и влияния

25 — бессильные / буквальные

26–27 — широко раскрывающих рот, из которого выходят едва слышные звуки / которые широко раскрывают рот, но из него выходят только самые тоненькие звуки

37 — явление, по своей беззастенчивости совершенно невозможное / явление совершенно невозможное

38 — ни в то время / ни в эпоху

45 — силою / силой

Стр. 84.

10 — разумею разбор / разумею чудный разбор

15–16 — оно имеет смысл и силу вовсе не только как комментарий к разбираемому им роману / оно стоит совершенно в уровень с великим литературным произведением, которому посвящено, и имеет смысл и силу вовсе не только как комментарий к нему

21 — подобно критике / как критика

34 — враждебно / враждебно¹

37 — неужели роман Гончарова / неужели исполненный художественных достоинств роман Гончарова

Стр. 85.

3–4 — тонким, настойчивым и успешным истолкователем является в наше время г. Страхов / продолжателем же является Н. Н. Страхов

¹ Это хорошо отметил покойный Ф. М. Достоевский в своем рассказе о встрече и разговоре по поводу «Анны Карениной» с одним из писателей рассматриваемой группы (по всем признакам, с И. А. Гончаровым): «нынешнею весной, однажды вечером, мне случилось встретиться на улице с одним из любимейших мною наших писателей. Это один из виднейших членов тех пяти или шести наших беллетристов, которых принято, всех вместе, называть погему-то „плеядой“. По крайней мере, критика вслед за публикой отделила их особо, перед всеми остальными беллетристами, и так это пребывает уже довольно давно, — все тот же пяток, „плеяда“ не расширяется». «Дневник Писателя», за 1877 г. июль–август».

- 14 — многих из них / их всех
- 45 — общих для всей / общих уже для всей
- 46 — в одно и то же время и несходных друг с другом / в одно время, но несходных между собою

Стр. 86.

- 4-5 — по этнографической среде / по месту
- 5 — по историческим эпохам / по времени
- 15-16 — есть для нее первый шаг к сближению и подчинению / есть первый шаг к сближению и подчинению ее первой
- 41 — поэмы Галлера / поэмы великого Галлера

Стр. 87.

- 2 — лишь отражающими предмет, но не отвечающими ему глазами / ничего не фиксирующими глазами
- 3 — С этого времени, и до нашего почти, знойным / С этого времени жгучим, знойным
- 5 — Настроение / Сентиментальное настроение
- 17 — звуки / звуки его
- 22 — обворожившие / чудные

Стр. 88.

- 22 — «Евгения Онегина» / «Евгения Онегина»¹

¹ Одно из самых ясных мест, выражающих поворот Пушкина от чужих идеалов к народному, представляет, как известно, отрывок из путешествия Онегина, где поэт, обращаясь к воспоминаниям, сравнивает настоящее состояние своей души с прошлым:

Но, Муза, прошлое забудь.
 Какие б чувства не нашлись
 Тогда во мне — теперь их нет.
 Они прошли иль изменились...
 Мир вам, тревоги прошлых лет!
 В ту пору мне казались нужны
 Пустыни, волн края жемчужны,
 И моря шум и груды скал,
 И гордой девы идеал,
 И безымянные страданья...
 Другие дни, другие сны и пр.

Прекрасный разбор этого отрывка см. в «критических статьях об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом», Н. Н. Страхова (Спб. 1887 г.).

Никем, кажется, не замечено, что и в Лермонтове происходил подобный же поворот, и если он не успел созреть и высказаться так же отчетливо и полно, как у Пушкина, то лишь по причине ранней кончины его (26 лет). Вот стихи, составляющие полную параллель приведенным:

Любил и я в былые годы,
 В невинности души моей,
 И бури шумные природы,
 И бури тайные страстей.
 Но красоты их безобразной
 Я скоро таинство постиг,

- ²⁵ — это все / все то
³⁴ — стало господствующим / и до нашего времени стало господствующим

Стр. 89.

- ² — уклонение в сторону / уклонение оторванного в сторону
⁷ — такой человек / такая натура
⁸ — не мог / не могла
²⁹ — IV / нет

Стр. 90.

- ¹⁰ — нам оставили только их, взамен / оставив только их, вынуд тенденцию, нас лишили
^{23–24} — Жуковского, Батюшкова, Языкова / Жуковского, Языкова, Дельвига
²⁷ — даже не читали друг друга, они создавали / создавали

Стр. 91.

- ¹⁶ — несет / носит

Варианты авторской правки в опубликованный текст

Стр. 82.

- ³⁸ — всякая ненависть. / [То явление, которое мы наблюдали в последние годы и которое вряд ли могло быть возможным у нас несколько десятилетий раньше: писатель открыто выступил *угителем* общества, моралистом, проповедником — факт, показавшийся чем-то чудовищным, и т. д.]

Стр. 83.

- ^{10–11} — Добролюбов подчинил своему влиянию все третьестепенные дарования / *К этой фразе Розанов сделал примечание (потом зачеркнутое):* 1) И этому в высшей степени отвечает видимый цинизм его статей: цинизм — это обычная форма, в которую впадает именно только <1 нрзб.> душа, встречая действительность, [резко] которая резко противоречит и как бы отвергает ее ожидания, сверх другого, [быть может] здесь есть, быть может, и инстинктивное усилие защищаться от подобной действительности, провести между нею и между собою резко разграничивающую, *непереступаемую* (для себя прежде всего) черту. [Гораздо чаще это орудие нападения, <1 нрзб.> есть средство защиты, только средство защиты.]

И мне наскучил их несвязный
 И оглушающий язык.
 Люблю я больше год от году,
 Желаньям мирным дав простор,
 Поутру ямную погоду
 Под вечер — тихий разговор...

(Соч. Лермонтова, т. 1, стр. 202, изд. 1880 г.). Не даром говорил Гоголь, что «в Лермонтове Россия потеряла великого живописца своего быта». Мы не должны забывать, что собственно в произведениях Лермонтова нам оставлен только один очерк первого фазиса его развития, и судить, а тем более осуждать, его натуру *в целом* на основании этого фазиса было бы так же ошибочно, как судить, например, *о целом* Тургеневе, зная одни его «Записки охотника», или о Достоевском — по его первым повестям (до «Преступления и наказания»).

ПОЗДНИЕ ФАЗЫ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

1. Н. Я. Данилевский

Варианты НВ

С. 92.

- ⁴ — Изд. 5-е / Издание пятое, с указанием имен и предметов.
⁵ — вышел ныне уже / выходит теперь

Стр. 93.

- ³⁶ — ; и книга / (Лейпциг); и книга
³⁹ — в 1868 г. / в 1868 году

Стр. 94.

- ¹¹ — мыслящего существа? / мыслящего существа»¹
¹⁸ — Аристотеля. / Аристотеля, этих истинных групп *фосфоригеских* светочей, вот уже два века волнующих, мучащих, почти ведущих за собой Европу.
²⁰ — Ломброзо / Ломброзо, изучающей родственные черты у гения, слабоумного и преступника.

Стр. 95–96.

- ⁴²⁻¹ — между тем и единственно эта сторона рисуется и у Карамзина, и у Соловьёва / что именно, это и у Карамзина, и у Соловьёва остается без ответа.

Стр. 96.

- ⁷ — зачем / зачем, для какой нужды,
³⁶ — Петр Киреевский, Юр. Самарин / Юр. Самарин

Стр. 97.

- ⁴³ — со скорбью / с скорбью
⁴⁴ — коль / когда

Стр. 98.

- ²² — одной и той же доктрины / одной доктрины

2. К. Н. Леонтьев

Варианты ТПГ

Стр. 98.

- ²⁴ — К. Н. Леонтьев / Поздние фазы славянофильства
²⁵ — т. 2. Москва / 2 т. Москва
³⁴ — 1894 г., октябрь / 1898 г., октябрь
⁴² — Кон. Ник. Леонтьева. / К. Н. Леонтьева.

Стр. 99.

- ¹⁰ — Данилевский / Н. Я. Данилевский («Россия и Европа»)
¹² — Идеи и названия / Идея и название
¹⁸ — маловажна. / малозначительна.

¹ Кроме философии Ницше, с ясно выраженном в ней патологическим характером, мы сюда относим и весь *пессимизм* XIX века, имевший простое объяснение в личных патологических особенностях его творцов, совершенно достаточных, чтобы его понять и им заниматься.

- ¹⁹ — «Восток, Россия и славянство» / «Восток, Россия и Славянство»
^{26–27} — влекущих его / его влекущих

Стр. 100.

- ¹ — веков). Туманное, / веков); туманное,
¹⁸ — и потому безошибочным, / чуждым субъективных примесей,
^{19–44} — Акт бурный ~ ясны отсюда. / нет
⁴⁶ — * Т. е. чуждым субъективных примесей. / нет

Стр. 101.

- ^{13–14} — имена Маккиавели, Монтестье, Ж. Бодена, / имена Ж. Бодена, Маккиавелли, Монтестье,

Стр. 102.

- ⁴ — «Письма к / «Письмо к
⁶ — универсально, потому что оно / универсально, что оно
^{14–15} — Где поразившие нас искры гения, / Где искры гения,

Стр. 103.

- ³ — распространяя *антиномию* эту / распространяя антиномию эту
^{38–42} — * «Наши новые ~ «добродетелями». / нет

Стр. 104.

- ⁴¹ — о Промысле / о промысле
⁴⁴ — ему нужно было; / ему нужно;

Стр. 106.

- ²⁹ — 1895 г. / В. Розанов

КАТКОВ «КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Варианты «Биржевых Ведомостей»

Стр. 108.

- ³² — для этого нужно / для этого ей нужно (БВ, 1 изд.)

Стр. 111.

- ^{32–33} — почувствовав / почувствовав, перенести
³⁴ — ...Из пламя и света / Из света и пламя
³⁵ — Рожденное слово / Сотканное слово...
³⁸ — Услышав его, я / Услышав то слово
⁴¹ — На звук тот отвечу / На зов тот отвечу
¹⁸ — «великий государственный человек», / «великий государственный человек». С помощью меньшего, но все же еще очень большого тоже государственного человека,

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ «КРИЗИС»

Варианты НВ

Стр. 113.

- ¹ — Литературно-общественный / Литературно-экономический
¹⁰ — которой / которую

- 15 — ее адепты / ее горячие адепты
 17–18 — науки, адепты которой со страниц своих журналов с чрезвычайной горячностью призывали / а горячие ее адепты имеют в своем распоряжении еще недавно народнический журнал «Новое Слово» со страниц которого, с чрезвычайной горячностью, они призывают на Россию.
 24 — «чистилища» / «очищения». В нашей литературе это действительно «новое слово», и журнал, еще недавно ничем не выделявшийся в нашей литературе, теперь имеет яркий цвет своеобразия и новизны.
 26 — Все хорошо сосчитано здесь, / Здесь все хорошо сосчитано,
 27 — «Вестника Европы» за 1897 г. / «Вестника Европы»

Стр. 115.

- 40 — мертвого внутри / внутри мертвого

Стр. 116.

- 9 — в Аравии бедуины, / в Аравии теперь бедуины,
 10–11 — настоящим тут / настоящим там
 14 — В августовской / В последней августовской
 «Нового Слова» за 1897 г. / «Нового Слова»

Стр. 117.

- 6 — Ренессанс / Renaissance
 8–9 — эстетического взгляда на мир, т. е. / эстетического, т. е.
 21 — надо всеми / над всеми
 38 — она жива и даже не ослабла / оно живо и даже не ослабло

Стр. 118.

- 4 — Удивлялись, отчего / Удивлялись, года 4 назад удивлялся кто-то в «Новом Времени», отчего
 4–5 — замечали / замечал
 7–8 — сломается сам / сломается тут
 31 — миллионер), / миллионер, образ жизни коего описывался),

Стр. 119.

- 13 — которым / коею
 26 — их / его
 39–40 — в наших университетах / в университетах

Стр. 120.

- 8–29 — Да, работа ~ в грядущих веках / В Московской духовной академии, как я слышал — правда много лет назад первокурсники ежегодно «выкупают» лекции у перешедших на второй курс: т. е. не покупают один у одного, но как-то «миром» и у «мира» же... «выкупают» по способу, который я мог бы и не хочу называть. «Миром» подымают на церковь колокол; и вообще бездна вещей еще устраивается «миром»: естественно экстензивно, не скопидомно, но зато и радостно.
 30 — Но эта / Вот
 — может / но она может
 36 — эти задатки / они
 41 — Экономисты / Они

Стр. 121.

- 12–13 — в «Новом Слове» / в последней книжке «Нового Слова».

О ДОСТОЕВСКОМ

Варианты Полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского

Стр. 122.

¹ — О Достоевском / Ф. М. Достоевский (Критико-биографический очерк)

Стр. 123.

⁹ — обнимают существенное / обнимают все существенное²⁹ — скрывается / скрывает

Стр. 124.

¹⁰ — II / нет

Стр. 125.

⁵ — непостижимая / непостижимая¹;²⁴ — история развития / история душевного развития

Стр. 126.

¹³⁻¹⁴ — среди него / среди его

¹ Здесь и ниже, и, вообще, во всей оценке рассматриваемого писателя, читатель да простит мне освещение, субъективность которого он не может не почувствовать, и я не хочу ее скрыть. Но как иначе, как, не исходя из *гастностей* своего душевного склада, мог бы критик искренно и внимательно осветить писателя, — не забывая, если он рассудителен, ни на минуту, что в освещающем источнике здесь есть именно частности, и, следовательно, требует поправки, оговорок, дополнений самое освещение. Так и в идее бессмертия души человеческой: конечно, необозримым народным массам она ясна, отчетлива в себе самой, непоколебима в их сердце; и остается трудна для всех слоев общества, в силу неблагоприятных исторических условий потерявших со своим народом связь, — что не затрагивает и не предрешает вопроса о том, на чьей стороне остается истина. В самом деле, ведь и целым народам, не знавшим, собственно, умственного развития, идея единобожия ясна, отчетлива, необходима от рождения (семитические племена); тогда как греки, например, до той же идеи возвысились путем долгих и мучительных усилий мысли (не ранее как ко времени Платона и Аристотеля). Мы можем, взяв другой цикл идей, понять, где здесь истина: можем представить народ, уже от рождения одаренный совершенно ясным геометрическим созерцанием, не путающийся в геометрических определениях, не затрудняющийся в выводах, твердый в аксиомах и во всем, что из них следует: прочие народы смотрели бы на него с удивлением, его знаниям не доверяли бы, — до тех пор, пока с трудом и медленно сами до них не возвысились бы. Такого народа-геометра нет; но есть народ-единобожец, и мы можем даже понять, почему из всех идей человеческих эта стала врожденною для обширного и до сих пор не умирающего племени; идея единобожия, как показывает этнография и история, необыкновенно трудна для человека, и, предоставив до остального восходить ему, это нужно было ему открыть. Так точно и идея бессмертия души не менее трудна для «естественного» разума, — припомним только затруднения Федона, не говоря о слабейших. Эта, как и другие родственные идеи, *данные* человеку, а не найденные им, для ума, который, пройдя путь искусственного и ложного образования, возвратился к ограниченности своих естественных логических сил, не ясна, трудна — и вот, нужно что-нибудь особенное, чтобы он их почувствовал. К этому особенному, исключительному, редкому принадлежит и грех, преступное, что совершив, человек думает, что погрешил лишь против человека, но по особенностям, по необъяснимым свойствам своего внутреннего страдания, начинает понимать, что он погрешил против кого-то еще, открывает Бога; не находя наказания на земле, ищет его за гробом, понимает бессмертие души своей. Вот путь, далекий от естественного, от *данного* человеку, но которым по необходимости он бредет, потеряв этот естественный путь.

- ^{28–29} — устремлен в вечность / обращен в вечность
³² — или «Сон смешного человека» / «Сон смешного человека»
³⁷ — ученические годы / ученические годы¹
⁴⁶ — *мелькнуло* в ту эпоху / *мелькнуло*

Стр. 127.

- ²⁶ — III / II Далее в ПСС следует очерк биографии Достоевского, исключенный из книги «Литературные очерки», кроме гasti, от слов: «„Преступление и наказание“ — самое законченное в своей форме и глубокое по содержанию произведение», кончая словами: «его успокоение, которое мелькает нам сквозь бури Микель-Анджело». Таким образом, разделы III и IV отсутствуют в ПСС (кроме оговоренной гasti). Вместо них был следующий текст:

II

Сказанного мы считаем достаточным, чтобы ввести читателя в дух и в смысл произведений Достоевского; теперь скажем несколько слов о его жизни.

Федор Михайлович Достоевский род. 30 октября 1821 г., в Москве, где отец его состоял доктором при Мариинской больнице для бедных; семья, где он рос, с братьями и сестрами, была небогатая, трудовая, религиозно настроенная; с раннего утра и почти целый день отец был занят службою и практикой в городе; с 4–5 лет началось обучение детей чтению, редки были выходы из дому, как и приемы гостей; сверх обычая — общественные удовольствия (театр); вся жизнь сосредоточивалась в семье, и потому эта семья была в высшей степени воспитательна для детей. Изредка, раз в год, они ездили с матерью в Троице-Сергиевскую лавру; вечером, когда отец был свободен от занятий, собирались все вместе и читали избранные места из «Истории» Карамзина или что-нибудь из серьезной литературы (отец и мать читали попеременно; подростки, им помогали старшие дети; младшие слушали); вместе же, семейно, совершали прогулки в близлежащей Марьиной роще. Печать упорядоченности, благообразия, строгости лежала здесь на всем строе, и отсюда же она ложилась, как первое основное впечатление, и на душу детей.

Когда Федору исполнилось 10 лет, отец его купил небольшое имение, в Тульской губ., в 150 верстах от Москвы, и с тех пор с ранней весны и до поздней осени лето проводилось здесь; к этому времени относятся первые впечатления его из деревенской, крестьянской жизни, давшие, без сомнения, запас непреднамеренно сделанных наблюдений, послуживших основой его позднейших упорных утверждений о нашем простом народе. Почти в то же время началось более серьезное приготовление отцом детей к средней школе, куда Федор поступил 14 лет; казенное заведение при этом было благоразумно обойдено; частный пансион Л. И. Чермака, куда он поступил вслед за старшим братом Михаилом, отличался чистым, семейным характером внутри и высокою постановкою учебного дела (в числе преподавателей старших классов было несколько профессоров университета); здесь проводили мальчики неделю, а в субботу они возвращались домой, куда в то же время возвращались из пансиона сестры. В 1837 г. они потеряли нежно любимую мать, умершую от чахотки, и, нужно думать, это был момент, когда окончилось для старших братьев беспечное отрочество и началась юность. Федор был отвезен в Петербург и отдан в Инженерное училище. Хотя это учебное заведение было выдающимся в свое время (оно пользовалось особым вниманием великих князей — сперва Николая

¹ Я хочу сказать, что, пройди он обычную школу, например, Университет, (смотри на него из дали своего воображения), фигур Раскольникова и Ивана Карамазова он не мог бы создать, а без этих двух образов и ими связанного — чем было бы все остальное, им написанное? Прекрасным телом без головы.

Павловича, а потом Михаила Павловича), оно не оказало, по-видимому, какого-либо влияния на Достоевского. Дух и интересы, здесь господствовавшие, имея много в себе хорошего (отсюда вышли, между прочим, Тотлебен, Радецкий и мн. др.), были не тем хорошим, к чему влеклась его душа, уже начинавшая окрыляться. И по воспоминаниям, и по письмам судя, он является здесь угрюмым, любившим уединяться юношей, не принимавшим участия в жизни товарищей. Это было для него время обильного чтения; а отсутствие сверстников, которые жили бы теми же интересами, как и он, сделало то, что в тысячах оценок, взглядов — словом, во всех первых изгибах своего развития он мог опереться только на свой ум и сердце, что не могло не повести к преждевременной серьезности его и самостоятельности. До чего ранне было его развитие и как глубоко он был отъединен от окружающей его среды, можно судить из того, что уже здесь, вставая потихоньку ночью, он создавал своих «Бедных людей» — труд, по которому мы должны оценивать его душевное состояние за это время, и в этой оценке не можем не признать в нем человека, совершенно сформировавшегося в своих взглядах; поэтому все последующие его подчинения (Белинскому или в кружке Петрашевского) разнородным влиянием были, бесспорно только кажущимися, — только следованием правилу *audiatur et altera pars*. без какого-либо внутреннего подчинения этой другой стороне, и очень часто, вероятно, с большою долею к ней пренебрежения.

В 1843 г. он вышел из училища (отца он потерял еще ранее, в 1839 г.), и первые годы, затем следовавшие, посвящал служебным занятиям, без какого-либо к ним влечения, и страстно любимому литературному труду, долго без какого-либо определенного результата. Мало-помалу, однако, он сосредоточился вновь на давно выношенных образах и в 1845 г. передал товарищу своему по училищу, Д. В. Григоровичу, оконченную рукопись «Бедных людей» для задуманного Некрасовым «Петербургского Сборника». Повесть произвела чрезвычайное впечатление, хотя смысл ее не был очень ясен в то время даже для Белинского (восторженно ее встретившего); особенного, оригинального, чем Достоевский, тогда еще с немногим двадцатилетний юноша, стоял выше стареющего поколения 30—40-х годов, в нем не было замечено, да и он сам, кажется, не настаивал на нем, зная, что время высказаться еще не уйдет, а пока не без ребячества отдаваясь упоению успеха того, что было в нем понято. Впоследствии он сблизился с Белинским, а потом с кружком лиц, группировавшихся около Петрашевского, в обоих случаях скорее с целью выслушать и оспорить, нежели сколько-нибудь подчиниться. Вообще, какого-либо перелома на всем протяжении развития Достоевского мы не наблюдаем; ничего, кроме расширения духовного опыта, захвата новых сфер в области обдумываемого и изображаемого, дальнейшего углубления, но все в одни идеи — мы у него не видим. В этих коренных своих идеях он уже с самого начала расходился и с Белинским, и с Петрашевцами, сходясь и с первым, и со вторыми на отсутствии какой-либо скрепленности с текущею действительностью. Долгое вращение и в пору самой яркой восприимчивости в кружках с идеями «о переустройении человечества» оставило, однако, один сильный след на всей его последующей деятельности: он как будто и во всем, что он потом делал, о чем писал, продолжал оспаривание этих идей — в «Записках из подполья», в «Преступлении и наказании», в «Бесах», «Подростке», «Братьях Карамазовых»; только темы безгранично расширились, сила оспаривающего возросла, но он, который оспаривает, все тот же — с слезами, выступающими на глазах, когда говорят неподобающе о Христе (споры с Белинским), с признанием народной правды, с ожиданием всего от исторически сложившейся власти и с недоверием, пренебрежением почти, к нашему верхнему выветрившемуся слою общества. Но это, конечно, не могло быть сколько-нибудь понято официальной властью, которая в своих посредствующих инстанциях есть только выразительница текущей действительности, и отвержение последней уже считает преступлением, хотя бы преступное было именно в отвергаемой действительности. Это неразличение и отразилось на судьбе Достоевского.

23 апреля 1849 г. последовал арест Петрашевцев, и в числе их Достоевского, который обвинялся главным образом за чтение в одном собрании рукописного письма к Гоголю Белинского, в котором последний отвечал на «Выбранные места из переписки с друзьями». Резкое осуждение в этом письме нашей тогдашней действительности и сочувствие этому осуждению со стороны Достоевского дало повод и его занести в круг лиц, злоумышлявших на наш государственно-исторический строй, и он, вместе с остальными 34 арестованными, был приговорен к смертной казни через расстреляние. Приговор суда был, однако, смягчен государем Николаем Павловичем, и смертная казнь была отменена для всех; но осужденные узнали об этом только на эшафоте; когда он был им прочтен, им предложено было исповедаться, и все командные слова расстреляния были произнесены. Минуты ожидания смерти были для каждого таковы, что один из приговоренных, Григорьев, когда его отвязали от столба, оказался помешавшемся в рассудке.

Для Ф. М. Достоевского смертная казнь заменена была 4 годами каторги, с зачислением потом в рядовые. «И в каторге не звери, а люди, — может, еще и лучше меня, может, достойнее меня», — эти слова, сказанные в ночь перед Рождеством при окончательном прощании любимому брату Михаилу, вполне точно отражают отношение его к тому, что предстояло вынести; это именно отношение, в котором сказалась вся его душа — глубокая, простая и кроткая, — и спасла его в каторге, и не только спасла, но и умудрила, очистила от наносной гари, которая в обычном течении всегда образуется на поверхности души каждого из нас. Громадная сфера для наблюдений открылась ему здесь; и продолжительное время одиночества — для размышлений¹. Здесь видел он человека обнаженным, голым; видел его в неистощимом разнообразии душевных типов; наконец — в падении, среди которого ясно можно было различить, как образ Божий все-таки не снять ни с одного из них.

2 марта 1854 г. для него окончился срок испытания, еще в течение нескольких лет мы его видим в Семипалатинске рядовым Сибирского линейного № 7 батальона. И почти в то же время замыслы новых художественных созданий начинают тесниться в его уме; к этому времени относятся первые наброски его «Мертвого дома» и замысел, в неясных еще очерках, двух больших романов. Но ранее, чем они успели сколько-нибудь вырисоваться в его воображении, он набросал «Дядюшкин сон» и «Село Степанчиково и его обитатели»; это была, кажется, жажда давно умершего для литературы и жизни человека вновь ощутить себя живущим — видеть страницы, замелькавшие сценами, вышедшими из этой вот, давно похороненной, головы. К этому же времени, еще до возвращения в Россию, относится его первый брак (в 1857 г.) с вдовой Марьей Дм. Исаевой, принесший, как кажется, ему наряду с радостями и много мучительного.

В 1859 г. последовало увольнение его из военной службы и возвращение в Россию, сперва без права жить в столицах, а наконец — и без каких-либо ограничений. И тотчас, вслед за этим, развертывается во всей широте его литературная деятельность, художественная и публицистическая. Вторая, главным образом, выразилась в издании (вместе с братом Михаилом) журналов «Время» (1861—1863 гг., закрыт был цензурой по недоразумению) и «Эпоха» (с января 1864 — по февраль 1865 г.), но главным образом в его полном высокого одушевления и разнообразия таланта, «Дневник Писателя» (1876—1877 гг.). Мирозерцание народное, как общая *поэма*, на которой может единственно правильно возрастать всякое индивидуальное развитие; Россия, исторически возникшая — как фундамент и ряд звеньев, на который, налагая дальнейшие звенья, мы только

¹ «Несмотря на сотни товарищей, я был в страшном уединении и полюбил наконец это уединение... Я пересматривал всю прошлую жизнь мою, судил себя неумолимо и строго и даже в иной час благословлял судьбу за то, что она послала мне это уединение, без которого не состоялись бы ни этот суд над собой, ни этот строгий пересмотр прежней жизни».

и можем правильно трудиться, — вот вкратце формула тех взглядов, которые он проводил в своей публицистической деятельности и на которых он сошелся с рядом писателей, образующих единственную у нас школу оригинальной мысли (И. Киреевский, Хомяков, Константин и Иван Аксаковы, Ю. Самарин, Ап. Григорьев, Н. Данилевский, К. Леонтьев, Н. Страхов и мн. др.); это так называемая школа *славянофилов* — название очень узкое и едва ли точно выражающее смысл школы. Правильнее было бы назвать ее школой протеста психического склада русского народа против всего, что создано психическим складом романо-германских народов, — протеста, сперва выразившегося в смутном, безотчетном отчуждении, а потом и в полной сознания критике и отвержении этих созданий и тех начал, из которых они вышли. Начала противоположные, и частью высшие, были указаны ими в народе нашем: гармонии, *согласия* частей взамен антагонизма их, какой мы видим на Западе в борьбе сословий, классов, в противоположении церкви государству; начало *доверия*, как естественное выражение этого согласия, которое, при его отсутствии, заменилось подозрительным подсматриванием друг за другом, системою договоров, гарантий, хартий — конституализмом Запада, его парламентаризмом; начало *цельности* в отношении ко всякой действительности, даже к самой истине, которую народ наш различает и ищет не обособленным рассудком (рационализм, философия), но и нравственною стороною своею, полнотою своего существа: наконец, в церкви — начало *соборности*, венчающая все собою любовь, слиянность с ближним, — что так противоположно римскому католицизму, с его внешним механизмом папства, подавляющим собою, но не организующим в себе жизнь духа, — и не похоже также на протестантизм, который, отвергнув это давящее извне единство, не поняв начала этого внутреннего согласия, кинулся в разрозненность, думая в ней сохранить свободу и сохраняя только произвол. Все эти начала, следы которых еще сохраняются в нашем простом народе, в его «мирском» владении землей, в его склонности к артельной форме труда, в преданности его верховной власти, безусловно свободной в своих решениях, но и за то прислушивающейся к свободному же выражению боли, страдания, к голосу «земли» (народа), — начала эти обещали бы в полном своем развитии жизнь более высокую, гармоничную, примеренную, нежели в какой томится Европа, вовсе не догадывающаяся о причинах этого томления, о ложности самых принципов, на которых построена ее цивилизация. Славянофильская школа, долгое время гонимая официально и пренебрегаемая нашим темным обществом, только в последнее время получила если не в жизни (все еще текущей по инерции в прежнем направлении), то в сознании лучшей части образованных кругов России, свое признание и торжество. И ничто не способствовало этому в такой мере, как распространение Достоевского: его творения, всюду читаемые, его речь на Пушкинском празднике — это такие памятные слова, которые не могли не врезаться в мысль каждого, и с ними — новые начала сознания, внесенные славянофилами, стали печатью в душевном складе каждого, только более или менее мешающеюся с другими, но никогда и ни в ком не исчезающею. «Правда народная получила в лице Достоевского такого по силе и настойчивости выразителя, какого не имела никогда ранее. Он был ее Аароном; и речь его потому именно звучала так твердо, что он чувствовал за собою несметные народные толпы, которые, не будь они немые, заговорили бы то именно и так именно, что и как говорил он.

Одновременно с этим развивалась и его художественная деятельность, в которой он был уже не выразителем, а творцом. Начиная с 1861 г., появляется длинный ряд его произведений, уже гораздо более глубоких по замыслу и широких по рисунку, чем прежние: «*Записки из Мертвого дома*» — ряд очерков каторги, в которых мы имеем единственное изображение этого забытого и отверженного людьми мира; «*Униженные и оскорбленные*» — роман, отличающийся мягким, грустным и вместе простым своим колоритом; «*Записки из подполья*» — одно из глубочайших по мысли и самых оригинальных по ха-

рактору созданий Достоевского; «Игрок» — произведение, замечательное тем, что здесь в характере лица, ведущего от своего имени рассказ, есть много биографического¹.

«Вегный муж»; «Преступление и наказание» — самое законченное в своей форме и глубокое по содержанию произведение, в котором он выразил свой взгляд на природу человека, его назначение и законы, которым он подчинен как личность; «Идиот» — это было его любимое создание, — кажется, самое свободное, наименее связанное с волнениями текущей действительности; странный колорит лежит на этом романе; все фантастично здесь, и, вместе, как будто это фантастическое — звездный мерцающий свет, падающий на серую нашу действительность из далекого, далекого будущего. Колорит этого романа, но уже с чертами более ясными и поразительными в своем смысле, повторяется в двух только произведениях: «Сон смешного человека» в «Дневнике Писателя» и в разговоре Версилова с «подростком» (см. «Подросток»), и, отчасти, в знаменитой Пушкинской речи; аскетизмом, чистотой, высшим духом примирения и с страданием человека, и с его бедностью духовною, веет от всех этих произведений, глубоко однородных и представляющих как бы антитезу мучительно-беспокойным созданиям вроде «Записок из подполья», «Pro и Contra» и «Легенды о Великом Инквизиторе»; это — рафаэлевские черты, это — его успокоение, которое мелькает нам сквозь бури Микель-Анджело. За этим романом следовали «Бесы» и «Подросток», первый из них — единственная у Достоевского широкая бытовая картина, второй представляет в характере главного лица кое-что, что мы находим в «Игроке»; это — он же, но еще в отрочестве и не с таким печальным концом; несмотря на недостатки в построении целого, есть отдельные места в этом романе удивительного изящества. Последним художественным трудом Достоевского был роман «Братья Карамазовы»;

Последняя сноска в приведенном тексте стала началом раздела IV в книге.

Стр. 130.

²² — известных и священных / истинных и священных (ПСС)

²³ — подчиниться им. Главы «Братьев Карамазовых» «Pro и Contra» / подчиниться им. Как художественное произведение, роман «Братья Карамазовы» отличается недостатками построения: но он выделяется по совершенно особенной силе и значительности некоторых своих эпизодов. Таковы уже названные нами главы «Pro и Contra»

²⁸ — в этих главах, по времени написания / в этих названных главах по времени написанья

¹ Подобные биографические черты, чрезвычайно значащие для объяснения душевного склада самого Достоевского, мы еще находим в «Униженных и оскорбленных» (и его прототипе — «Белых ночах»), «Идиоте» и «Записках из подполья»; можно сказать, что повсюду в письмах, в воспоминаниях, в самом художественном творчестве он является с чертами которого-нибудь из главных выведенных здесь лиц: как *теоретик* — это человек угрюмого Подполья, гениальный диалектик, недоверчивый и презирающий людей, — и в то же время ненавидящий действительность скептик; как журналист, как человек своего времени, отчасти как член общества — это задушевный, простой, измученный своим сердцем и нуждою друг Наташи («Униж. и оскорбл.»); в своем дурачестве, пренебрежении к жизни, к будущему, в своей вульгарной стороне — это «игрок». В «Идиоте» отражено его сердце в идеальном успокоении, вместе и отчужденное от людей на какую-то бесконечную высоту, и совершенно слитое с их нуждами, страданиями; этот странный образ есть до известной степени то, что каждый поэт зовет своею «музою».

Стр. 131.

⁷ — и ропот которого / ропот которого

¹¹ — *далее текст:* Нам остается сказать очень немного слов о внешней жизни Ф. М. Достоевского после возвращения его в Россию и основания журнала. В 1862 г. он совершил первую поездку за границу, впечатления которой рассказаны им в ряде прекрасных очерков: «Зимние заметки о летних впечатлениях». В 1864 г. он потерял первую жену и старшего брата Михаила, с которым в сотрудничестве вел журнал. Это был год самый тяжелый для него и по внешним стесненным обстоятельствам (он принял на себя все денежные обязательства брата по вскоре закрывшемуся журналу), и по грустному внутреннему настроению: «Из всего запаса сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянию. Тревога, горечь, самая холодная суетня, и вдобавок — один, прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне», — так пишет он и странно заканчивает: «а между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить; смешно, не правда ли? кошачья живучесть!».

И он не обманывался: лучшая половина жизни лежала впереди. В 1867 г. он вступил в новый брак (с Анной Григорьевной, урожденной Сниткиной), которая принесла ему и полную семью (4 детей), и, судя по воспоминаниям близких людей, успокоение, став около него заботливым другом. Деятельность его могла теперь развиваться спокойнее, и вместе, труды его — получить лучшее выражение. Через два месяца после свадьбы он уехал с молодой женой за границу, и на этот раз пробыл там целые четыре года. Он посетил Германию, Швейцарию, Францию, Италию; живя на очень ограниченные средства, они вели уединенный образ жизни, и весь досуг их уходил на обозрение сокровищ искусства и памятников истории, так обильно рассеянных на Западе. Можно предполагать, что после Сибири это путешествие легло второму образуящую чертою на сложение его идей и сердца; он видел Европу и обдумывал Россию, обдумывал в отдалении, не имея перед глазами тысячи мешающих drobных впечатлений, и, следовательно, в окончательно ее смысле, в цельном ее назначении. С этого именно времени мы встречаем у него (в «Подростке», «Братьях Карамазовых», «Дневнике Писателя») самые проникновенные слова об Европе и зоркое прозрение в будущность России, сближения и противопоставления этих двух столь несхожих миров. В 1871 г. он вернулся в Россию; зимы проводил он, обыкновенно, в Петербурге, а лето — в Старой Руссе, где вскоре купил дом с большим старинным садом и куда, вместо дачи, переселялся на лето. Время от времени он возобновлял поездки в Эмс, на два летних месяца, для поправления здоровья. Еще до ссылки в Сибирь, у него были признаки неопределившегося какого-то нервного заболевания; позднее, развиваясь более и более, болезнь обнаружилась, наконец, как падучая. Припадки возобновлялись несколько раз в году, — в трудное для него время учащаясь (описание их мы находим в «Идиоте»; о том как только назревает эта болезнь, упоминается в «Бесах»). Так, более и более улекаясь от волновавших ее прежде нужд и огорчений, текла теперь мирно его жизнь. Высшим моментом ее, в смысле торжества его гения, яркости выражения его природы, можно считать дни Пушкинского праздника (открытие памятника Пушкину в Москве, в июне 1880 г.). В течение всей жизни, с ранних лет, Достоевский хранил в себе какой-то особенный культ Пушкина; нет сомнения, что в натуре своей, тревожной, мучительной, мятущейся, тоскливой, он не только не имел ничего родственного с спокойной и ясным Пушкиным, но и был как бы противоположением ему, сближаясь с Гоголем, и, еще далее,

быть может, с Лермонтовым; с тем различием, однако, что он вечно жаждал успокоения, как те, тревожась, искали новых тревог. Пушкин был для него этим успокоением; он любил его, как хранителя своего, как лучшего оберегателя от смущающих идей, позывов, — всего, что он хотел бы согнать в темь небытия и никогда не мог. Этим оберегателем, он чувствовал, Пушкин может стать и для каждого, может стать им, наконец, для народов, и особенно в моменты великих внутренних тревог, в которые, по-видимому, все они более и более входят. С дивною гармонией его поэзии не могут бороться хаотические начала человеческой души; они улегаются от нее, противоречия смолкают, сомнения и темные помыслы отходят далее; его муза — это как арфа Давида, она и невыносима для нашего слуха, но, если бы могли ее вынести, принять в свое сердце, в ее звуках нашли бы успокоение для своей души. Вот невысказанные и, быть может, не сознанные основы великой любви творца «Легенды об Инквизиторе», «Рго и сонга» к творцу «Онегина», «Капитанской дочки», создателя образов Свидригайлова, Карамазовых — к создателю Татьяны, летописца Пимена.

Во всем это есть, однако, некоторая ошибка, скорее, иллюзия, и она сказала в знаменитой Пушкинской речи¹: этот экстаз, этот призыв к всемирному братству, этот вопрос об единичной человеческой душе, на замученности которой посмеет ли человечество устроить свое окончательное счастье, — разве это Пушкинское? Разве это *его* покой? Разве это покой какой-нибудь? Пушкинское осталось в безграничной дали, отделенное от слов этих беспросветным хаосом, из которого, однако, душа великого художника имела силы подняться к новому свету. Но тот ли это свет? Первоначальный ли, естественный, эпически ясный? Это *просветление*, *возрождение*, это уже свет другой и по происхождению, и по природе, и по его влиянию на человеческую душу. Известен взрыв особенных чувств, который вызвала речь Достоевского; здесь были слезы, кажется, мучительные слезы. И Пушкин читал свои произведения, — там был восторг; но кто же «едва имея силы добраться до эстрады, упал без чувств»... Мы хотим сказать, что не в слушающих только, но и в сердце, из которого лились эти проникновенные слова, была уже совершенно другая психическая атмосфера, нежели какую жили и дышали люди Пушкинской эпохи; то время умерло, и навсегда; худшее или лучшее, но навсегда же наступило другое время.

После этой речи он жил всего несколько месяцев. В январе 1881 г. он захворал припадком давнишней своей болезни, эмфиземы, которая в ночь на 26-е осложнилась разрывом легочной артерии; рассказывают, что на все сомнительные минуты жизни он имел обыкновение раскрывать наудачу то Евангелие, которое было с ним в Сибири, и читать верхние строки открывшейся страницы. Так он сделал и теперь, в день кончины (28 января), когда ему было трудно. Открылось Матф. гл. III, ст. 11: «Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко Мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит нам исполнить великую правду». Когда жена прочла ему эти строки, он сказал ей: «ты слышишь — *не удержи-вай*, значит, я умру». В тот же вечер, благословив детей и жену, он умер.

Необозримые массы народа собрались к его гробу в день похорон; и как в течение жизни он не был для людей *только* писателем, так не писателя только собрались хоронить эти люди; всегда, — и прежде, и теперь, он имел силу волновать человеческие сердца совершенно особым родом чувств. Что же это

¹ Она помещена в «Дневнике Писателя», 1880 г., август (единственный номер за этот год).

были за чувства? Кого хоронили тогда? Кого потеряла Россия в нем? Проще всего будет сказать, что это был один из нас, от нашей кости и плоти человека, но так неизмеримо более нас переживший, так в неизмеримо большее прозревший, что это прозрение естественно представляется нам как мудрость; не та мудрость, чту составляет плод умственных выкладок и которую мы любим, как предмет любопытства, но не считаем ее достаточно серьезною, чтобы по ней жить, — но мудрость сердца, которой мы ищем именно для того, чтобы научиться, как жить. Все другие дары дала ему природа, этот он приобрел и им стал велик.

31 июля 1893 г.

«ВЕЧНО ПЕЧАЛЬНАЯ ДУЭЛЬ»

Варианты НВ

Стр. 132.

¹ — «Вечно печальная дуэль» / «Вечно пегальная» дуэль

³⁻⁴ — 1898 г., январь / 1898 г., январская книжка

Стр. 135.

⁴ — элементы Батюшкова, Карамзина, / элементы Батюшкова, Баратынского,

Стр. 136.

⁴ — В дымных тучках пурпур розы, / В алых тучках пурпур розы,

⁶ — Но я без страха жду довременный конец; / нет.

⁷ — Давно пора мне мир увидеть новый... / далее: Молчу и жду...

Стр. 137.

²⁸ — «Бесы», т. VIII, / «Бесы»,

³⁴ — Засох и увял он от холода, зноя и горя / Засох и увял он от холода, зноя, от горя

Стр. 138.

¹³ — у обоих них / у обоих их

Стр. 139.

¹⁶ — И свежий лес шумит при звуке ветерка... / И свежий лес шумит при звуке ветра...

¹⁷⁻²² — Когда росой обрызганный душистой ~ И в небесах я вижу

Бога. — / И ландыш мне кивает серебристый...

...тогда смиряется души моей тревога

...расходятся морщины на челе

...я вижу Бога.

⁴² — И на него взирает Мефистофель. / И на него взирает... («Сказка для детей»)

Стр. 140.

³ — Ночевала тучка золотая / ...тучка золотая

⁷ — Что другие все дары / Что пред этим все дары

¹⁶ — Мучительный, ужасный крик / Мучительный, протяжный крик

²³ — ...смиряется души моей тревога... / ...смиряется души тревога...

³⁰⁻³¹ — апатии, недвижимости, / апатии, недвижности,

Стр. 141.

- ³⁻⁵ — На всякий звук ~ Родишь ты вдруг... / ...на все Родишь ты отзвук...
⁹⁻¹⁰ — ...одной лишь думы ~ но пламенную страсть... / ...одной лишь думы... одной, но пламенной...
²⁴⁻²⁵ — стали «хорегами» и «мистагогами» нашего общества. / *далее*: при весьма слабо читаемом Пушкине, Тургеневе, г. П. Боборыкине.

Стр. 142.

- ¹⁶ — 1841-го года. / 41-го года.

С. 143.

- ¹⁸ — Я б хотел забыться и заснуть... / *нет*.
²⁰ — Я б желал навеки так заснуть, / Я б хотел забыться...
²² — Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь; / *нет*.
²⁸ — И пусть у гробового входа / ...у гробового входа

Стр. 144.

- ²⁹ — 1898 г. / *нет*.

50 ЛЕТ ВЛИЯНИЯ
 (ЮБИЛЕЙ В. Г. БЕЛИНСКОГО — 26 МАЯ 1898 г.)

Варианты НВ

Стр. 145.

- ² — (Юбилей В. Г. Белинского — 26 мая 1898 г.) / (Памяти В. Г. Белинского.)
¹⁶⁻¹⁷ — обществе. Были люди / обществе; были люди /
³¹ — лучшею надписью / лучшею монументальной надписью

Стр. 146.

- ³ — 100°, / 100 град.,
²⁷ — О чем, бишь, «Нечто»?.. Обо всем... / О чем, бишь, Нечто?.. Обо всем...

Стр. 149.

- ³⁰ — его приятелей, «служивших» / его приятелей, «служивших». «— Вы какую же историю пишете: о генералах вообще или о генералах только 12-го года?».

«— Я пишу историю по преимуществу о генералах 12-го года. («Мертвые души», 2 ч.).

Вот в какую «язву» краткого диалога сложилось у Гоголя светлое пятно «Бородинской годовщины»; ибо приехав в Петербург и решив, что нужно «спасать отечество», он немедленно же, в спасательных целях, поступает на практическую, деловую службу¹) (вечная забота Гоголя, см. 2-ю часть «Мертв. Душ»); а вынырнув из нее и бросив России — /

¹ В «Мертвых душах» есть три черты явно практических впечатлений Гоголя от службы: в разговоре с Коробочкой — описание «вице-директора» и манер «русского человека разговаривать»; в «канцеляриях принятия прошений» и «конторах отпуска сена» Кошкарева; и в «юрисконсультате» (2 часть) с его знаменитым: «а вы сделайте все непонятным» (в бумаге деловой). В «Повести о капитане Копейкине» может быть, есть кой-что из автобиографических смешливых воспоминаний Гоголя: тот уже «спас» отечество, но ведь и Гоголь думал его «спасти» и также нуждался в завтраке и верно рассматривал «окна магазинов» с «удивительными фрук-

^{32–33} — годовщину» и он же написал / годовщину», он написал

³⁴ — друзьями», которое / друзьями» и которое

³⁵ — Гёте; и прославил / Гёте; он прославил

Стр. 150.

^{15–16} — идеалом содомским. Еще страшнее / идеалом... Еще страшнее

Стр. 151.

⁸ — те же «100° температуры», «200 ударов пульса в минуту» — / те же «100 гр. температуры», «200 пульс в минуту»,
<герта и помета: «После черты вставить отдельный столбец корректуры»>.
Вставлен последний абзац статьи <рукой запись: «Прибавить в конец статьи после черты».>

Варианты РО

Стр. 145.

² — (Юбилей В. Г. Белинского — 26 мая 1898 г.) / (Памяти В. Г. Белинского)

^{16–17} — обществе. Были люди / обществе; были люди

³¹ — лучшею надписью / лучшею монументальной надписью

Стр. 146.

³ — 100°, / 100 град.,

²³ — С отрезанным «чемоданчиком» / С «отрезанным чемоданчиком»

Стр. 147.

¹¹ — одну литературу / одну литературой

^{28–29} — «землю», т. е. / «землей». Т. е.

³² — мечтою, / — мечтой,

⁴⁶ — с «Полным собранием» / с «полным собранием»

Стр. 148.

⁴ — «совершать»: против этого какой же «книжник» что-нибудь скажет. / «совершать»; против этого какой же «книжник» что-нибудь скажет?

Стр. 149.

¹³ — 5-го этажа, Белинский / 5-го этажа, он

²⁰ — «служивших». / далее: «— Вы какую же историю пишете: о генералах вообще или о генералах только 12-го года?»

«—Я пишу историю по преимуществу о генералах 12-го года. («Мертвые души», 2 ч.).

Вот в какую «язву» краткого диалога сложилось у Гоголя светлое пятно «Бородинской годовщины»; ибо приехав в Петербург и решив, что нужно «спасать отечество», он немедленно же, в спасательных целях, поступает на

тами». Вообще тут есть «горького смеха» и не невероятно, что — над собой (как он и объяснил в «Переписке с друзьями») — в лицо — «мертвые (вы) души», уехал и закупорился в Рим. Действительность груба, черства; она жжет поэта, и вообще счастлив поэт, когда касается ее лишь отдаленно и вообще; да едва ли и действительности не полезнее стоять на некотором почтительном расстоянии от поэта, ибо могучим гневом своим, как это и вышло с Гоголем, он может зажечь великий пожар в ней. — /

практическую, деловую службу¹⁾ (вечная забота Гоголя, см. 2-ю часть «Мертв. Душ»); а вынырнув из нее и бросив России в лицо — «мертвые (вы) души», уехал и закупорился в Рим. Действительность груба, черства; она жжет поэта, и вообще счастлив поэт, когда касается ее лишь отдаленно и вообще; да едва ли и действительности не полезнее стоять на некотором почтительном расстоянии от поэта, ибо могучим гневом своим, как это и вышло с Гоголем, он может зажечь великий пожар в ней. От этого та доля

³¹ — характер, и он / характер; он

^{32–33} — годовщину» и он же написал / годовщину», он написал

³⁴ — друзьями», которое можно назвать порнографией / друзьями» и которое можно назвать порнографией

³⁵ — Гёте; и прославил / Гёте; он прославил

⁴² — с невестою / с невестой

Стр. 150.

^{1–2} — доказуемо Гоголь / доказуемо — Гоголь

^{15–16} — идеалом содомским. Еще страшнее / идеалом... Еще страшнее

²⁵ — писавшего. / писавшего...

Стр. 151.

⁸ — те же «100° температуры», «200 ударов пульса в минуту» — и / те же «100 гр. температуры», «200 пульс в минуту», и

Стр. 151–152.

^{11–8} — Была, кажется, попытка ~ его заслуг / нет

С ЮГА

1. Около болящих

Варианты «Биржевых Ведомостей»

Стр. 154.

¹ — религия — об этом опять говорят / религия — об этом-то опять говорят

^{31–32} — «жизненного эликсира», философского камня. / «жизненного эликсира», «философского камня».

⁴⁰ — может быть даже только 111. / может быть, даже только 111?

Стр. 155.

^В — Но, Боже, — могила и вере страшна. / Но, Боже, могила... и вере страшна.

¹⁷ — и отец их не согрешил... / и отец их не согрешил» и...

¹ В «Мертвых душах» есть три черты явно практических впечатлений Гоголя от службы: в разговоре с Коробочкой — описание «вице-директора» и манер «русского человека разговаривать»; в «канцеляриях принятия прошений» и «конторах отпуска сена» Кошкарева; и в «юрисконсульте» (2 часть) с его знаменитым: «а вы сделайте все непонятным» (в бумаге деловой). В «Повести о капитане Копейкине» может быть, есть кой-что из автобиографических смешливых воспоминаний Гоголя: тот уже «спас» отечество, но ведь и Гоголь думал его «спасти» и также нуждался в завтраке и верно рассматривал «окна магазинов» с «удивительными фруктами». Вообще тут есть «горького смеха» и не невероятно, что — над собой (как он и объяснил в «Переписке с друзьями»).

- 18 — Боже, — могила и вере страшна... / Боже, и вере могила страшна...
 26 — а не исключив — как начертаешь для себя... / а не исключив их из природы, — как начертаешь для себя...

Стр. 157.

- 1 — одно Лицо Божие / одно Лице Божие
 1-2 — но то ли это Лицо, «победившее смерть» / но то ли это Лице, «победившее смерть».
 Но тогда причем идея «смерти», как «наказания» «за грех»? Смерть есть дыхание живого синтетического лица — она есть правда, она есть святость, по крайней мере в том смысле, что божественна как и жизнь; тогда и ея дробь — болезни — святые же. / Но тогда причем идея «смерти», как «наказания» «за грех»; смерть есть дыхание живого синтетического лица, она есть правда, она есть святость по крайней мере в том смысле, что божественна как и жизнь; тогда и ея дробь — болезни — святые же.
 29-30 — только «философы» — у них была настоящая и истинная религия / только философы, у них была настоящая и истинная религия
 37-38 — Тургенева — вся амплитуда / Тургенева, вся амплитуда Поэтому, мало... / По этому, мало...
 44 — («карамазовщина»), / («Карамазовщина»),

2. В Кисловодском парке

Варианты НВ

Стр. 158.

- 1 — В Кисловодском парке / С Юга
 41 — «Москов. Ведомостей» / «Моск. Ведомост.»

Стр. 159.

- 23 — неизобретательный был / неоригинальный, неизобретательный был
 24 — есть программа / есть в сущности программа
 47 — политики. Человек / политики: человек

Стр. 160.

- 10 — Привислинском крае. / Привислинском крае, в Прибалтийском крае.
 10-11 — же они сделали? / же сделали?

Стр. 161.

- 1 — здесь начинается / начинается
 2 — («обличье») / («обличья») —
 4 — некоторое «есть» / «есть» —
 4-5 — свое «право» / некоторое свое «право»
 отчетливое осознание / отчетливое сознание
 28 — Вспомним Шевченку / Вспомним Шевченки

Стр. 162.

- 4 — на 100 учеников 99 / на 99
 5 — и один «с русскою душою» / один «с русскою душой»
 Рязани. Итак / Рязани; итак
 37 — не удалось / не удавалось

Стр. 163.

- ²¹ — недалекие / и недалекие
прибавлю / прибавляю

3. «Горе от ума»

Варианты НВ

Стр. 163.

- ²³ — «Горе от ума» / С Юга. II.

Стр. 164.

- ³² — «чемпионом» / чемпионом
³⁸ — (Лермонтов) / (Лерм.)
³⁹ — (Пушкин) / (Пушк.)
⁴² — (Достоевский) / (Дост.)

Стр. 165.

- ⁵ — в прекрасной / в по-видимому прекрасной
³⁴ — и понудили / и понудило

Стр. 166.

- ¹² — трудном «умении» / трудном «уменьи»
^{17–18} — оно происходит / он происходит
¹⁸ — и требований / и требовании
¹⁹ — «рококо» / рококо

Стр. 167.

- ²⁰ — Вообще недостаток / в газете без абзаца
«круговращения» / «прекращения»
²³ — надписанию на / подписанию на
²⁴ — например / напр.

Стр. 168.

- ⁵ — Грибоедовым от / Грибоедова от
⁷ — 1825 года / 25-го года
²⁹ — у автора «Горя от ума» / у него

Стр. 168–169.

- ^{45–1} — или Веры (в «Обрыве») / или Елены (в «Накануне»)

Стр. 169.

- ³⁹ — на невольную критику ее в «Войне» / на критику «Войне»
недоумение в понимании / и в понимании

Стр. 170.

- ³ — «Горе от ума» продолжает / она продолжает
⁵ — этого столетия, как / как
²⁹ — испытал Грибоедов / испытал он
³⁹ — Правда, в Тегеране то / Правда, то

4. Военно-Грузинская дорога

Варианты НВ

Стр. 171.

¹⁴ — Военно-Грузинская дорога / С Юга. III.

Стр. 172.

^{24–25} — вы пришли и / вы пришли или

³⁸ — облако переползет / облако переползает

Стр. 173.

¹⁴ — за Тереком. Я / за Тереком; я

²⁸ — вас видит. Это / вас видит: это

Стр. 174.

¹ — ...через те скалы, / ...через их скалы,

⁸ — лезешь?..» — это / лезешь?..» — *Далее с абзаца*

¹⁴ — дисциплина! «Кондуктор / дисциплина: «Кондуктор

³⁹ — Моего вы знали ль друга? / Моего ль вы знали...

Стр. 175.

^{10–11} — «там» — в «директорском кабинете» / «там, в директорском кабинете»

^{13–14} — величайшая плоскость души человеческой, сведение ~ созерцаниям / и сведение души человеческой к чисто земным и грубо земным текущим заботам:

^{15–16} — Да, и эта плоскость душевная / Да и проза —

^{17–45} — Я давно ~ но и любовь / *нет*

Стр. 176.

^{25–26} — были каменные доски / каменные доски

³¹ — здесь вы / тут, здесь вы

⁴⁴ — зима. Чудная / зима; чудная

Стр. 177.

³⁵ — футов. Все это / футов; все это

О ПИСАТЕЛЯХ И ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Заметки и наброски

Варианты «Мировых Откликов» под названием:

Любопытные признания и нужды наших дней

Стр. 183.

⁶ — иль на Булгарина наступишь, — / «Иль на Булгарина наступишь, —

^{15–16} — вы неудержимо поправляете «Греч и Булгарин» / вы неудержимо, почему-то, поправляете: «Греч и Булгарин»

¹⁸ — или вековечное: / Иль вековечное:

^{30–32} — был погружен во внимательное чтение газеты кн. Мещерского, — он, увидя, что вы к нему подходите, или торопливо кладет номер в карман, / был погружен во внимательное чтение этой газеты, — он, заметив, что вы к нему подходите, или торопливо кладет № в карман,

Стр. 183–184.

- ³⁵⁻³ — Пачка номеров «Гражданина» случайно попала мне в руки; ~ не нужною. / *Абзац с добавлением двух предложений в начале был в конце статьи:* Да простит читатель это длинное рассуждение. Оно невольно стекло с кончика пера, когда я задумал говорить о странно знаменитом публицисте по поводу немногих, донельзя заинтересовавших меня, его воспоминаний. Пачка номеров «Гражданина» случайно попала мне в руки ~ не нужною.

Стр. 184.

- ¹ — как точное наблюдение / как точное соблюдение
⁸ — чего мы подлинно не знаем теперь. / чего мы подлинно не знаем теперь, но о чем знали или перешептывались в свое время.
¹⁴⁻¹⁵ — если в частичном признании их вины мною выказана все-таки некоторая жестокость. / если в частичном и уменьшении их вины, и ее признании, нами высказана все-таки некоторая жестокость.
²⁴ — до какой степени легко («не секи!») противоположное желание. / до какой степени легко противоположное желание.
³³⁻³⁴ — историко-политический «пуф», без дыма и даже самого легонького «огонька» под ним. / историко-политический «пуф» без дыма и даже самого легонького огонька.

Стр. 185.

- ⁷ — агитатора Парнелля. / агитатора Парнелля.
⁸⁻¹¹ — и вот его *нет* более. Почему нет? даже *тут* именно заговорили — никто этого ясно не знал, никто настойчиво об этом не спрашивал. Все интересовались течением событий *после* Парнелля, *через* Парнелля прокатившихся; никто не остановился около тех затуманившихся волн... / и его *нет* более. Почему нет? даже что именно заговорили — никто этого ясно не знает, никто настойчиво об этом не спрашивает. Все интересуются течением событий *после* Парнелля, *через* Парнелля прокатившихся; никто не останавливается около тех замутившихся волн...
²² — Жизнью пользуйся живущий... / Жизнью пользуйся живущий.
²³ — это в своем роде столь же / Это в своем роде столь же

Стр. 186.

- ²³ — Все миниатюрно, как маленькие арапчики / Все миниатюрно, все — «Монтекки и Капулетти», или маленькие арапчики

ПАМЯТИ УСОПШИХ

1. О. И. Каблиц (Юзов)

Варианты РО

Стр. 191.

- ² — 1. О. И. Каблиц (Юзов) / Памяти Иосифа Ивановича Каблица

Стр. 192.

- ¹¹ — Но воспреобладавшие / что воспреобладавшие
¹² — и это / это

- 16 — «по опасности» / «по опасности»¹.
 24 — сам сообщал мне / сообщал мне сам
 26 — как и / и как

Стр. 193.

- 37 — мы / и мы
 39 — т. е. / то есть

Стр. 194.

- 27 — 1893 / С.-Петербург, 6 октября 1893 года.

2. Ю. Н. Говоруха-Отрок

Варианты РО

Стр. 194.

- 29 — 2. Ю. Н. Говоруха-Отрок (27 июля 1896 г.) / Вечная память (24 января — 27 июля 96 г.)
 41 — Н. Н. Страхова / Николая Николаевича Страхова

Стр. 195.

- 2 — Страхов / Николай Николаевич Страхов
 11 — статьи / статьи (не беллетристической)
 17 — за 1896 год / за этот год
 31 — предметами / предметов
 44 — Редакция «Московских Ведомостей» / Редакция «Русского Обозрения»
 45 — сборник лучших его критик / его портрет; кстати и редакция «Московских Ведомостей» воздвигла бы лучший памятник покойному, если бы дали сборник лучших его критик.

Стр. 196.

- 1-2 — созерцал / читал
 2 — т. е. / то есть
 10 — отношение — как бы / отношение; отношение как бы
 16 — которому говорит / к которому говорит
 24 — не нудящей / не нудящейся
 30 — отгадать это / отгадать его
 36 — мір ему / ему мір

Стр. 197.

- 3 — лежало / было
 5 — в 1894 году / в 94 году
 8 — человеческого характера / его характера

Стр. 198.

- 23 — т. е. / то есть

Стр. 199.

- 26 — за статьями / за фельетонами

¹ Так записано в метрике: опасность заключалась, вероятно, в слабом, болезненном сложении новорожденного.

Концовка статьи:

Не подобает христианину свет Божий ставить под спуд; итак, за спешностью без предварительного согласия, расскажу еще случай, переданный мне из жизни своей г. А. В первое же свидание со мною он читал мне рукопись статьи: «Христианство, как основа гражданской и политической жизни», по прочтении, во время разговора, отошедшего далеко от темы статьи, он нить за нитью рассказал мне жизнь свою, полную приключений и случайностей: об оставлении университета за участие в беспорядках, бегство за границу, черной работе в Берлине, участии в Парижской коммуне 70-го года, где был ранен; наконец, о лечении где-то около Ниццы, издании в Праге славянофильского журнала (кажется, *Славянский Мир*), и, наконец, новом бегстве на родину «от тоски», где был немедленно схвачен, но, благодаря 2—3 номерам «Славянского Мира», найденным при нем, был скоро выпущен. Выслушав рассказ, столь не сродный теме статьи, я с удивлением спросил: каким образом могло произойти в нем это коренное изменение убеждений, что побудило его думать и вот писать о христианстве? «Был случай у меня в жизни, заставивший меня другими глазами смотреть на религию», — ответил он. Была при смерти больна моя дочь, девочка лет 4-х, болезнь тянулась долго, доктор уже не подавал надежды и перестал прописывать лекарства; не в состоянии будучи видеть смерть ребенка, я оставил жену и дом и, сев в вагон, уехал на 2—3 дня в Москву. В вагоне один из пассажиров, узнав причину моей поездки, сказал мне: «Да сходите в часовню Пантелеймона-целителя, отслужите молебен о здравии болящей». Так как в Москве мне нечего было делать, и я не мог не думать о дочери, то машинально я пришел по сказанному адресу и машинально же заказал молебен»; (на мой вопрос) «ничего решительно не чувствовал во время молитвы, даже простой веры не было: крестился и кланялся, как всегда мы, т. е. все на свете думая, кроме места, где находишься, и дела, которым занят. По приезде я нашел дочь совершенно здоровою, и она встала в тот именно час, как я был в часовне»; (на новый вопрос мой:) да, есть *это-то такое*, чего мы не понимаем, уж там как хотят — пусть определяют: но всякий раз, как у меня есть больной в доме — я иду и служу молебен Пантелеймону-целителю; (еще на мой вопрос) «и всякий раз помогает». Он, как эмпирик, по-видимому, не обобщил факта, не вывел из него ничего; факт заставил его мягче относиться к религии, напр., положить Евангелие в основу чисто светского рассуждения, но, собственно, вся религия, все христианство у него и выразились как вот вера в чудесную часовню, молитва о болящем и следующее за этим непременно исцеление: весь храм потух — только одна свеча горит; но есть теплое чувство к неведомому храму¹.

Вот факты, в простой, обыденной обстановке случившиеся, и более убедительные, чем онтологическое доказательство Ансельма Кентерберийского, императив практического разума Канта и ухищрения Декарта, Малебранша или Беркли. Нужно, чтобы *действительно* было нечто на небесах, дабы эти доказательства на земле имели какую-нибудь силу. Я не предупредил о г. А. о том, что печатно передам этот рассказ (и да простит он меня за скрытую,

¹ Я не расспрашивал его, но из их манеры разговора почти наверное могу заключить, что он не соблюдает постов и в обыкновенное время едва ли часто посещает церковь; и вообще не имеет в себе ничего *напряженно-религиозного*, что было бы лично приобретено, и ничего *правильно-церковного*, что было бы вынесено из воспитания, как *память* детства или как *привычка*. В нем я не заметил никаких эстетических или слащаво-этических влечений; простой эмпирик и деловой человек, очень добрый, благородный, но не более.

может быть, здесь не деликатность); когда он передавал его (до смерти Говорухи-Отрока) — мне и в мысль не приходило в самом деле опубликовать его; г. А. есть не миф, а живой человек, который сам может подтвердить все здесь рассказанное, его имя всякий может читать на обложке некоторых наших журналов. Словом — это проза, самая обыденная, какую можно представить себе. И в ней — *гудо*, знамение действительности того, что хотели и были бесильны уловить в свои силлогизмы те философы. В грустной легенде своей *о великом инквизиторе* Достоевский, изображая пятнадцать веков ожидания, «смердным и болеющим» человечеством обещанного Апостолом явления Христа на землю, написал, между прочим, о *неподдержанности* этих ожиданий

Верь тому, что сердце скажет:
Нет залогов от небес.

И он думал, что сердце человеческое устало ожидать, устало верить. Но он обманулся: *есть* залогов, они приходят к здесь, то там, то к этому, то к другому. Есть жизнь частная, и вот в безвестной тиши этой жизни является *залог*; пусть только одному и на одну минуту он явился: он является ядром уже такой неразрушимой веры, которую не выжечь огнем из человека. Там и здесь эти нити встречаются, связываются; и вот — религия, как твердая, каменная, неразрешимая уверенность, есть там, на небесах, именно то, о чем мы здесь молимся. Упомяну, кстати, что покойный К. Н. Леонтьев (лично мною никогда не виденный) писал мне в одном из писем, что причиной его обращения к церкви было нечто чудесное, им виденное (или испытанное — не помню выражения); я просил его передать мне в письме, что именно; но он, ожидая скорого со мною свидания, он ответил, что этого не может передать на бумаге. Может быть, кто-нибудь из близких его знавших, мог бы теперь это исполнить.

З. Н. Н. Страхов

Варианты РО

Стр. 199.

³⁴ — I / нет

³⁵ — этих залогов / этих залогов¹

Стр. 202.

²¹ — следствие уже течет / следствия уже текут

³⁵ — материалистические / матерьялистические

⁴¹ — значит, было же / значит же было (РО, 1 изд.)

⁴³ — предстоящей / предстоявшей (РО, 1 изд.)

⁴⁴ — материалистические / матерьялистические

⁴⁷ — т. е. / то есть

Стр. 203.

¹⁰ — т. е. / то есть

Стр. 205.

⁴ — роста... Личная / роста¹... Ее личная
жизнь Страхова была / жизнь была

¹ Изложение в предыдущей книге окончательно было передачей чудесного исцеления, как *залога* действительности того, о чем философы и поэты смутно гадают, а Церковь твердо молится на земле.

- 6 — великой старости. / великой старости. ††
- 7 — II / *нет*
- 8 — покойного / покойного¹
- 9 — свободы. При жизни / свободы, — и при жизни
- 25 — Спаситель не разрешал / Спаситель не указывал
- 29 — т. е. / то есть
- 30 — свободно. / свободно. Едва ли, однако, это я ему оговаривал.
- 33 — я всегда чувствовал / я чувствовал

Стр. 206.

- 42 — к ним / им
- 43 — т. е. / то есть

Стр. 207.

- 8 — в интонациях / в интонациях их
- 34 — «просвещения» / «просвещения». Да не касаются его нечистые руки; да подымет оно светлый взор перед всеми взорами; да не устыдится, что надо от «учености».
- 35 — обладания / от обладания

Стр. 208.

- 24 — есть некоторый просвет / некоторый просвет
- 29 — есть средство / — средство

Стр. 209.

- 24 — III / *нет*
- 26 — 1895 г. / 95 г.
- 34 — 1889 году / 89 году

Стр. 210.

- 3 — ломберном / ломбертном
- 4 — снятая / снятого
- 7 — Божией / Божьей
- 9 — трех стен / 3 стен
- 37 — Страхова / Н. Н. Страхова
- 46 — и т. п. / и т. п. На всякий случай — адрес наследника его бумаг: Киев, реальное училище, И. П. Матченко; адрес же г. Никольского может быть узнан через редакцию «Исторического Вестника»

Стр. 211.

- 8 — к зубному врачу / к зубному врачу (кажется — Лимбергу)
- 38 — бы сказать... / бы сказать, если бы хирургам было какое-нибудь дело до смерти, если бы они не были «хирургами от *энтих* до *энтих*».

Стр. 212.

- 27 — самого Толстого. / самого Толстого (позднее я воспользовался этим для статьи «По поводу одной тревоги Л. Н. Толстого»).

¹ Да простит великодушно читатель, что ниже, как и ранее, я говорю много о себе: очень трудно «вспоминая» все отношения к себе, а характеризуя мысли и возражения слышанные, так мучительно хочется повторить и защиту от них.

Стр. 213.

- ¹ — часа полтора / часа $1\frac{1}{2}$
- ⁸ — к Аполлону Григорьеву / к Григорьеву
- ²² — Иван Павлович З. / Иван Павлович Зверев

Стр. 214.

- ⁷ — Не успел / Не успевал (Ж, 1 изд.)
- ²⁴ — в «Вестнике Европы»: / в «Вестнике Европы» — кажется Слонимского;

Стр. 215.

- ²⁴ — обрывался в ней / обрывается на ней

Стр. 216.

- ¹⁴ — 1896 года / 96 года
- ¹⁶ — следующий / и следующий
- ⁴⁴ — и сборника стихов / двух сборников стихов

Стр. 218.

- ¹⁰ — полторы недели / $1\frac{1}{2}$ недели
- ¹¹ — и билось сознание / и в нем билось сознание
- ²¹ — и нам не принадлежит / и она нам не принадлежит

Стр. 218–219.

- ^{45–1} — Георгиевский, председатель Ученого Комитета. Он ничего не знал / Георгиевский. Добрый начальник ничего не знал

Стр. 219.

- ⁴ — IV / *нет*
- ⁵ — умирал и умер / умер и умирал
- ⁴¹ — Николая Николаевича / Ник. Николаевича

Стр. 220.

- ^{17–18} — которые бы не просвещали вас, не образовывали. / который бы не просвещал вас, не образовывал.
- ¹⁸ — рассчитано здесь / в них рассчитано
- ³² — высоким умом своим / умом своим высоким
- ³⁵ — побредет / пробредет
- ³⁶ — Так, юный и дряхлый / Так, и юный и дряхлый
- ³⁹ — V / *нет*

Стр. 221.

- ¹ — уплачены / уплачены; для народа полиция предложила жандармов, но они были отвергнуты: это было чересчур дорого.
- ⁷ — третье утро / 3-е утро
- ⁸ — а рук / и рук
- ⁹ — Но кладбище / но оно
- ²⁰ — друг его / — его друг
- ²² — выговаривавшимся / выговаривавшимся для понимающего / для внимающего

Стр. 222.

- ²⁴ — с полминуты / с $1\frac{1}{2}$ минуты

- ³⁶ — следовательно / след.
он чужд / чужд он
⁴⁶ — назвал говоривший / он назвал

4. Ф. Э. Шперк Варианты РО

Стр. 223.

- ²⁵ — 4. Ф. Э. Шперк / Памяти Федора Эдуардовича Шперка
²⁶ — 7 октября 1897 г. / 7 октября
³⁰ — 1894 г. / 1894 года

Стр. 224.

- ² — становились / становилась
возбуждали / возбуждала
²²⁻²³ — вступил обратно / обратно вновь вступил

Стр. 225.

- ⁴ — с процессом / с постом
⁵ — него / его
⁸ — развил / развил в себе
²³ — причудливостью / идиосинкразией

Стр. 226.

- ⁵ — был / был также
²⁰ — т. е. / то есть

Стр. 227.

- ²⁰ — влекся / тащился
³⁰ — 1896—1897 года / 96—97 года
³¹ — 1897 года / 97 года
³⁵ — в полверсте / в $1/2$ версте

Стр. 228.

- ²⁸ — т. е. / то есть
³⁰ — здесь должны быть иные / здесь иные

Варианты автографа

Стр. 223.

- ²⁵ — 4. Ф. Э. Шперк / Ф. Э. Шперк (Некролог)
²⁶⁻²⁸ — 7 октября 1897 г. ~ и прервалась неожиданно. Ему / 8 октября, в два часа утра, скончался в санатории «Халила» Федор Эдуардович Шперк. Ему
²⁸⁻³³ — принадлежит ряд брошюр-трактатов ~ но влияние и / принадлежит ряд брошюр философского содержания, но влияние и

Стр. 224.

- ¹ — душевной настроенности / душевного настроения
⁵⁻⁶ — Лермонтова, Майкова ~ литературных и научных явлений / Лермонтова, поэта Майкова и на множество текущих литературных явлений
⁷⁻⁸ — Он был библиограф по форме, по краткости своих заметок / Он был библиограф по форме своих замечаний
⁹⁻¹⁰ — ценное и обильное питание / ценное и глубокое питание

- 12 — Как исключен был шаблон / Как шаблон был исключен
 13 — и в течение его краткой и бурной жизни шаблон нигде не замешался. / и течение его краткой и бурной жизни совершилось не по шаблону.
 15–18 — Так, кончив курс ~ юридический факультет. Невозможно / Так с зрелым умом и зрелыми требованиями он вступил в университет, по требованию родных — на юридический факультет. Невозможно
 22–24 — Но причина оставления ~ не в этом только / Но причина его оставления университета, из которого он вышел, обратно вступив по просьбе родных — все-таки вновь вышел, заключалась не в этом только
 27–32 — содержание»? Конечно, не материал науки ~ его жгучей нерасположенности / содержание»: конечно, не материал лекций, но освещавшее его мышление, которое, по его определению, сводилось всегда к шаблону, «общему месту», «ходячему взгляду». Едва ли не университет становился причиной его жгучей нерасположенности
 33–34 — к «общественному», «общепонятному» / к «общеизвестному», «общепонятному»
 38 — что было не из книги / ко всему, что было не из книги
 40–41 — православия (месяца за полтора до смерти он принял православие). / православия.
 46 — любовь и внимание к непосредственному, простому, реальному. / любовь и внимание к живому, непосредственному, реальному миру.

Стр. 225.

- 5 — кругом него стеной, среди / кругом него стеною, окружавшего его, среди
 8 — развил), / развил в себе),
 10–11 — три тысячи (он был сын доктора Шперка, покойного директора института экспериментальной медицины), которые / три тысячи, которые
 12–13 — случилось бы в подобном положении непременно со всяким; но / случилось бы непременно; но
 13–14 — никакого просвета, ничего обещающего / никакого просвета и обещания
 22–23 — сделать с своеобразием и причудливостью его языка (литературного), / сделать с идиосинкразией его литературного языка,
 28–33 — составом предложений; и, между тем, в других ~ сперва покойный Н. Н. Страхов / составом предложений. Сперва покойный Страхов,
 33–43 — Н. Н. Страхов, привязавшийся к Шперку, как только ~ я никогда этого / Страхов, но за скоро последовавшей его смертью, главным образом, г. Буренин чисто редакторскими методами ~ дал ему наконец понять ли что-то, выучиться чему-то: я никогда этого
 43–46 — постигнуть; но, неутомимо внимательный ~ сильную. Был спасен / постигнуть, но Шперк, которого я считал потерянным для литературы, именно что-то понял и чему-то выучившись, быстро начал приобретать не только ясную, но и ... выразительную форму. Был спасен

Стр. 225–226.

- 46–1 — человек, и был найден, приобретен, открыт многообильный ум для литературы: отсюда чрезвычайная привязанность его к двум / человек, и, как было ясно для всякого, его знавшего, было сделано важное, умное приобретение для литературы: отсюда чрезвычайная его привязанность к двум

Стр. 226.

- 1–2 — языка, — привязанность, которой / языка, которой

- ²⁻³ — первого и главного ее источника, не доверяли ей. Теперь оставалось / первого ее источника, не доверяли ей. Оставалось

Стр. 226–227.

- ¹¹⁻⁵ — В характере, всей манере ~ это и записываю / нет

Стр. 227.

- ⁵⁻²⁸ — потому что ~ не суждено было получить / нет

²⁹ — Было определено в санатории, что / Было определено в Халиле, что

³⁰ — года три назад; сырая несносная квартира в зиму 1896–1897 года / года четыре назад; сырая несносная квартира в зиму 96–97 года

³¹ — Пасхи 1897 / Пасхи 97

³³ — боящийся физической боли, / боящийся страдания,

³⁵ — кинув троих детей / оставив троих детей

- ³⁵⁻³⁷ — на попечение крестьянки-няни, поселилась, с особого разрешения начальства, в самой санатории, около умирающего. / на попечение крестьянки, сама поселилась, с особого разрешения начальства, в санатории же.

Стр. 227–228.

- ³⁸⁻¹⁴ — недоверчивым к жизни; по крайней мере, я наблюдал ~ давно им решенный, / недоверчивым к жизни; и удвоили доверие и привязанность к тем, кто и в испытаниях был его единственной опорой и утешением. Медленно разыгрывалась драма; никакого подозрения о приближающейся смерти; подавляя надежды на будущее, горячий порыв — «когда же мне будет можно опять писать»; безотзывное и безмолвное отчаяние окружающих. Частые впрыскивания морфия заглушали боль, которая, однако, временами переходила в томительное метание. Дня за два до смерти он вторично захотел причаститься; переход в православие, к чему он давно собирался, и во время болезни сперва откладывал только для того, чтобы торжественно исполнить его по выходу из больницы, было суждено по доброму и простому совету его друга Евгения, что «доброе дела откладывать незачем». «Протестантизм тем беден, что не содержит в себе тайны: он преднамеренно отталкивает от себя мистическое, когда в мистическом лежит сущность религии», — сказал он в день перехода. Опять, как это оригинально: в тысяче критических воззрений на протестантизм именно эта точка зрения отсутствует, тогда как и в самом деле — нужно ~

И много глубокого обещал этот прекрасный юноша. Наивность исключена была из его характера и склада ума; и также никакой расчетливости в его манерах, поведении не было. Он всегда был чуток и зорок, всегда и ко всему окружающему был настрожен: отличался живостью ума, неутомимостью и неутомимостью души сказывалась в этом. Но его волосы, его костюм всегда были запущены: он чуток был ко всему духовному, он вечно ждал чего-то, умственно спрашивал, не спешил — на умственный вопрос — ответить. Удивительно, что материальная сфера была около него, но как-то не на самом деле <?>. Было много людей ~ как поданную утром умирающему рубашку от заботливо переданной в ладонях и ~, потому что без этого она где-то могла ~. Из этой запущенности костюма, зарослей волос выглядывал его вечно наблюдающий взор; вы вступали в разговор, вас втягивала в атмосферу его настроения какая-то чудная и постоянная его задумчивость, от коей как-то пробуждаясь еще секундой он — в меру этого пробуждения и говорил. В нем не было никакой поверхностности; и можно бы сказать, что не было коварности: говоря, непосредственно касаясь его души, как и в ~ вам говорила душа, без затемняя-

ющих ее привычек, обычаев, молодости и тем менее какой-либо «дипломатии». Эта сторона его души — ~ крайняя ее обнаженность — иногда заставляла вас беречься на конец его; он казался вкрадчивым, ибо что же называется этим именем, как не то, что человек без всякого для себя труда и даже вопреки вашему желанию входит в сокровеннейшие ее недра и обитает там, как в своем доме. Эта черта была у покойного; я раз остановил его на ней; и он вечно понимал ~ не любопытством, он ~ душу свою, чтобы разглядеть в ней то, что меня занимало и стало его занимать. Конечно, это высшая степень естественной вкрадчивости: ~, когда человек идет свободно, куда он хочет, и нет заповор от него, перед которыми бы он остановился. Но это происходит оттого, что и он этих заповор не имеет; и обаятельность этого была в том, что эта личность простодушного общения отказывают им только для того, чтобы

Стр. 228.

14–30 — сперва откладывался ~ быть иные / *нет*

Вариант герновика <л. 4>:

Стр. 226.

- 11 — В характере, всей манере / *нет*
- 13 — Пишущему эти строки / Пишущему строки эти
- 14 — людей иногда знаменитых / людей порою знаменитых
- 18 — и борьбой / и борьбою
- 19 — что во мне ужасно много ненависти» / что не могу подавить в себе ненависти»
- 20 — больной, умирающий. Со / больной почти умирающий; со
- 25 — бурливые / бурлившие
- 27 — интерес его личности / интерес к его личности
- 29 — после двух-трех / после 2–3
- 31 — даже не без удивления сказанное / даже сказанное не без удивления
- 40 — Иногда, и особенно ~ минуты, мне / Иногда мне

Стр. 227.

- 8–9 — какие-то безвестно-темные люди / какие-то царедворцы
- 19–20 — видели (или позднее узнавали), что он /: видели, что он
- 20–22 — до неотступного любования к чему-нибудь самому малозначительному с виду ~ умом / до неотвязчивости, он что-нибудь самый малозначительный, но в <...> своим неугомонным умом
- 24 — и, наконец, что /то, что
- 24–25 — был так силен — это-то и привязывало к нему, а вдали пробуждало и большие обещания. / был силен — это-то и привязывало к нему, а вдали и манило большими обещаниями.
- 28 — обещанное им — нам не суждено было получить. / обещанное им — не суждено было нам получить. <конец герновика>.

5. Я. П. Полонский

Варианты «СПб. Ведомостей»

Стр. 228.

- 32 — 5. Я. П. Полонский / Памяти Я. П. Полонского
- 38 — камень / краеугольный камень

обширный ум / первоклассный ум — хотя ничего из этого никто не отрицал
 42 — было совершенное / — совершенное

Стр. 229.

3 — противоположными / противоположными
 10 — унижительными / унижительными

Стр. 230.

26 — Почти современник / Видевший в живых

ТАЙНА Из записной книжки писателя

Черновики

Но что же такое «пол», и эта странная, страшная сила ведения, им открываемая. В «Теогонии» Гезиода есть стих:

Genital.
 Афродита.

Здесь центр не в операции, не в лицах или именах, на которые «изготовители» мифов писали свои «толкования» (см. Федр), но чей-то инстинкт, который повел человека к созданию этого семени в человечестве, и на него пишет комментарий новейшая физиология. В самом деле, в этом сочетании:



мы имеем чистые «поля», «отрезанные» от остальных частей существа человеческого: это не только «genitalia...», но клеточки, соит'ального из них исследования, след. специфическая и внутренняя сторона самих genital'ий, энтелехия — как вырезные о душе по отношению к чему Аристотель: «душа есть энтелехия тела». Приведенный рисунок есть энтелехия genital'ий. И вся эмбриология нас убеждает, что кровь матери, питающая зародыш, самое содержимое — белок и почти весь желток, кроме единственно сред его избытка, яйца — суть питающие, а не устрояющие элементы, «хлебы предложения»; а не поедающий их огонь:

«— Аз есть огонь поедающий...».

Таинственный «огонь» ли, «огонек» ли, на которые жаловался Свидригайлов, и который заставил его поспешить в воуаге — есть единственные слагающие, спаивающие из себя человека элементы, т. е. человек in pleno et in toto, но словно он не минерал, не потребленная пища, но потребляющее «я» — есть «genitalia» и взбившаяся около них «пена». Но странный поупенон, не разрушимый и невидный при «остановившемся для него времени» — оседает временно и явно поупен'ом же внутри «пены», около него приобретает фигуру:

<Венера Медицейская>

Ее тайна — и центр, «энтелехия» конечно в этих инстинктивно прикрываемых точках; «под завесой и крышкой» без всякого усилия рук, но — отвечая природе, как бы природе пособляя — всякий чистый, решительно всякий, слагает руки так именно, как выразил скульптор. «О, уже ничего не видно, но еще — не взгляни». Замечательно, что

...у богов оно — птерос

именно у женщины совершенно скрыто, безусловнее и глубже, чем у мужчины, и это соответствует тому, что мы столько много ранее, что собственно женщина завершила творение мира, выйдя из «ребра Адама», что по греческому преданию — «Афина из головы Зевса». Матерьял здесь, сам матерьял созидания, «хлебы предложения», «поедаемое» — есть уже человек, и не красная глина. Пол и вообще выражен в fem. sex. не только глубже, но и полнее: груди, т. е. ярко и узко sexual'ная часть, перешли в верхний ярус тела, и верхнее лицо как бы заливается sexu'сом. Женщина не созидает государств, заносив — но ведь это только минеральная часть истории, «хлебы предложения»; она не поэт, мыслитель, художник: да — она вся затаена, то есть «ева», «жизнь» — и, как у Платона в его тайном учении, она делает то, «бара», о чем говорят беседующие в «Пире» и «Федре». В самом деле, женщина есть деятельность, в противоположность мужчине, который по преимуществу — т. е. мы теперь говорим о духовном творчестве — слово: он пишет стихи, она стихотворно живет, «в дифирамбах». Он пишет семейный роман, она созидает семью; правда, Стива Облонский приносит ей жалованье, «хлебы предложения», но Долли и есть тот «пожирающий огонек», которому Стива, да Стива — приносит «предложение». Вся ее жизнь — при «рассыпавшемся шрифте», «прорвавшейся бумаге»: т. е. оно неуловимое, духовное и, в последнем анализе, несмотря на «вонь» рождения, и «богемный закон», так часто ее окружающий, как-то, мы инстинктивно чувствуем, благородный и священный. Мерцание ее глаз истинно выразительнее слов: ну, что Анатолий Курагин, ищущий под столом ногу Бурьенки, перед словами Марьи, которая это видит, и ничего, ничего, и одного упрека не сказала все-таки Бурьенке, да и ему ничего не сказала. Безмолвие женщины, при ее лучистости — истинно прекрасно, и есть небесная в ней глубина, не внятная, не высказывающаяся, ночная:

Сквозь туман — кремнистый путь блестит
Ночь тиха; пустыня внемлет Богу
И звезда с звездой говорит.

Как, в самом деле, sexual'ый поэт заговорил о звездах, — аналогично скульптору за 4—5000 лет до него, которому пришло на ум фигуру женщины уставить звездами. Ночь и тайна, странна эта тайна — самой земли, «закрывающей за собой двери» после каждых 14—16 часов, как бы становится на молитву, как будто ей нужно «задуматься», «сосредоточиться в себе». В самом деле, в условиях заметного равнотения из необходимости «дня» и «ночи», и если они есть для каждой точки земли, т. е. земля вертится около оси, и о ней будто это для того, что каждый ее гонт —

и долам, и лесам

Необходимо отдохнуть после дневного «многоглаголания». Лицо дневное и лицо ночное — в самой земле; маленький Вий — еще Вий, и может быть их много. Но в самом деле замечательно, что рост духовный совершается иначе:

И звезда с звездой говорит

— и нет возможности представить себе, что бы гениальное двустипшие, та новая всеозаряющая истина поэту или философу излила в «адмиральский час», когда пьют водку — вероятно адмиралы и по их примеру все смертные. Эта таинственная ночь в женщине по мне разлилась, перелилась и в верхнем ярусе тела, и ней мы говорим, почти застывает логическое лицо.

XLIV

И вот отчего эти «родительские точки» так особенно и специально отвратительны. Какую бы еще грязную точку в себе мы ни взяли; какой бы грязный ни взяли в себе процесс: перенесая взором от них к genital'иям — мы почувствуем особенную и невырази-

мую нечистоту их; нечистоту самых очертаний, самых покровов, кожи, которых не измыслим не замечать. Чувство отвращения так велико, что мы не можем сколько-нибудь длительно на них глядеть, и, почти «научно» любопытствуя, при щупаньи скользим взглядом, старающимся убежать; боимся тут остаться. Мы *не смеем* смотреть на genitalia — вот чисто психический факт; пока «не открылись очи»: тогда мы (по Платону) не умеем перестать смотреть: «и ложился бы возле двери, и униженно прислушивался бы, и, кажется, все бы перетерпел, чтобы не прогневить возлюбленных»; и, если бы не страх показаться безумным, «кажется, и зажигал бы лампы». Это совершенно отношение того и этого света: невыносимое и коему нет еще аналогии чувство отвращения есть именно чувство умысла нашей разделенности, «несоответствия», «не однозначности». Возьмем запахи: есть несносные, но не так особенно и специально как запах мертвечины; этого мы не можем обонять. Ибо это что-то «наше» же, но «с того света»: предбудущая «жизнь», которая пока сегодня остается на похоронном столе. Я не могу обонять, пусть это — дочь или брат. Я не могу фиксировать взгляда на genital'иях, ни брата или отца, друга — ибо это также «предбудущая» ли, или «предшествовавшая» жизнь, «моему» и «нашему общему». Genitalia на теле человека так относятся к нему, как бы вкроенный кусок трупа, но только труп — после, это — «завтра» моего тела, тогда как genitalia есть космическое «вчера» вызвать на свет «сегодня» другое существо.

— Женщина, когда рождает — то кричит в муках; но когда родит — то забывает скорбь свою, ибо новое пришел в мир... (Спаситель)

...Наступает этот таинственный миг. Весь этот свет становится мне чужд; я убегаю звуков; жду ночи; нашед уединение душа уносе куда-то «вчера»: и теперь, в начинающемся сближении я испытываю «ласками и всеми бы чувствами» то, чего его утром не переносил ни одним. Но вот шум упавшего предмета, который возвращает мое внимание сюда: секунды и ничтожны перерывть может окончательно все прервать, ибо опять мне трудно вернуться и даже неприятно взглянуть на то, что я начинал уже ласкать. Это — поразительно, но — бесспорно. Coital'ное сближение есть именно погружение души куда-то; ниспадение — куда-то; выход из условий и просто из внимания «сему свету». Нельзя читать — сопрягись; или — думая о другом; имея какую-нибудь заботу, какой-нибудь страх. Сопряжение требует абсолютной свободы; незанятости; спокойствия или веселия. «Я выиграл 200.000 — давай и сопряжемся»: зависимость невозможная; но «я вернулся домой» или «гости ушли — и мы теперь одни — конечно да». Отношение «попечения», «рачительности» — sine для нас coitus'a, т. е. именно позыв в «pleno» и «toto» с «этим светом»: конечно, чтобы ниспасть в ночь. Как мостовиты самые ласки: отнюдь эго не суть «избегание» друзей: безмолвно одно за другим ощущение погружается, покрывается, закрывается, отрицается «сего света», углубляясь, закрываясь в ласки: теперь также отвратительно, несносно, до вызова крика и конечно перерыва всего донесся бы запах вчерашнего пирога, свет промелькнувшей кареты, просто зов из-за двери по имени, на который можно не откликаться. Что поразительно — нет более и ласк лица: что значит оно, готовое же, но феноменальное, перед открывшимся ноуменальным, на которое «посмотрели уже очи». И каждая ласка, и каждая вновь в ней сторона:

Свет ночной, ночные тени...

падая в космическое «вчера» моего «я» — поднимает оттуда души не родившихся существ, которые трепещут крыльями к бытию. Это их радость я чувствую в себе; они — поднимаясь, поднимают и ласки. Бесспорно — это оне понижут завесу между тем и этим светом, и, не в силах их более сдержать — я подхожу к ней.

Sexus выражен в женщине неизмеримо мощнее, нежели в мужчине, и в то время как миг рождения — у него только миг, у нее он — девять месяцев: это у человека и по мере приближения к человеку, но например, но у рыб, и всех «гадов», где мать не «носит», но

как бы «скидывает детей»: т. о. материнства там нет почти, оно в эмбрионе, кроме умных и почти мудрых пчел.

Пол и его траектория, т. е. периоды, годы, месяцы, недели, дни, секунды возраста образуют сверхминеральную часть в человеке, «огнь», поедающий «хлебы предложения»; причем минеральная часть есть подпоры, стл, плв, и вообще то, чрез то, чрез что и на чем «хлебы предложения» доносятся до «поедающего» их «огня». Совершенно ясно, что «энтелехия» всего этого и есть две таинственно спаянные клеточки, и, собственно, самая их спаянность, сопряжения, которые после первого, повторяются в следующем, третьем, что до «девяносто лет» сопряжении. В самом деле, «огонек», жгущий «в крови», имеет сосредоточенно общее в себе, но и ведь каждая клеточка, как это особенно заметно у растений, растет и затем через внутреннее деление становится двумя клеточками; т. е. каждая клеточка есть в точности опять же пол, и именно две, мужская и женская, стороны пола, сопрягающиеся, «дрожжащие друг около друга» (см. «Оплодотворение» из Брокгауза) и от этого сперва растущие, «бременеющие бытием», как говорит Платон, и, наконец, и в самом деле «рождающие»: сплотясь как бы «жить с младенцем» отпадает от «материнскости», что в рыбах, мечущих икру, ищет для себя — подтверждение. Но, материнство и супружество, разлитое по организму, имеет и общее средоточие себя: седой осевший поупенон, genitor или genitrie. Мы долго следили туманы, отсюда ползущие: неизреченные и как бы, по Юстину-философу, усмотренные с неба.

Это и есть душа в поупен'альном своем обращении; изворот человека «по ту сторону», в то время как лицо его есть выворот того же поупен'а, но по эту сторону: земля, но совершенно в зависимости и лишь как тень, как поупен своего «противоземия». Не трудно, в самом деле, заметить, что и лицо собственно в нас, какое мы любим, ласкаем, есть также что-то половое: ведь есть «женское» и «мужское» лицо, но нет лиц «математических» и «филологических». Т. е. лицо есть также пол, но уже не в иероглифическом, а в гуттенберговом наборе выраженное. Есть лица сладострастные или целомудренные; «святое» и «ужасно грешное»: и снова это не лпг'ическое разделение, но явно sexual'ное. От этого любовь, т. е. ясно и отчетливо sexual'ное тяготение, завязывается с лица: и, как написано в Старой Эдде, а также и Шекспиром о Ромео — вспыхивает иногда при первом взгляде: лица сои'ально сопрягаются и вызывают «мерцание ресниц», «слезы на глаза»; краскою заливают щеки. Здесь, отсюда и становится особенно очевидно и обратное значение genital'ий как также лица: дешифрованные, в гуттенберговом наборе они читаются как таинственное сочетание лба, носа, губ, рта: и может быть Платоновское «всеми чувствами» объясняется именно тем, что «все чувства» тяготеют как что-то сыновнее и посюстороннее — к отческому и потустороннему, к таинственной улыбке «с того света», которую, по непостижимой загадке греческого скульптора, должна закрывать женщина и подражающая ей статуя. «Тот свет», начало «того света» — и, как нам показывают все разобранные видения, действительно лучащегося, радостного, «поющего», — но не в этом дело, а в том, что и «тот свет» имеет, если это выразить в земном «наборе слов», характер и значение того, что в миниатюре поэт назвал

...переливы
Милого лица.

Колоссальное «Виево», «стоявшее во всю стену»: но — в то же время по Платону — «благое в себе самом», «истина в себе самой»; и, как Достоевский писал: окружение человекообразными, но совершенно безгрешными духами. «Смешные пакости», которые наделал Ставрогин, и есть полное основание подозревать, что их делал Платон, и вытекли вовсе не из «жестокости их сладострастия», но из удивительного, и который так удивительно связан с ускоренным шагом к смерти — порывом

...мир увидеть новый

и через genital'i золотистого ли Федра, «двенадцатилетней» ли тоже девочки, но пронизать, и непосредственно, в таинственное, и в общем никогда здесь на земле не видимое «противо-земное» лицо; «стать на хребте неба и выглянуть наружу», как почувствовал Платон. Но именно они есть, эти genitalia, не загрязнены, «не отпотели», «не захватаны руками», или, словом, прозрачны и чисты, у Федра или у Нины:

Ходила в фартучке, сидела прямо...

Прикасаясь «неразборчивым триуном» — мы получаем набор Тимея, Федона; «Сна смешного человека»; но ноуменально касаясь — мы получаем не «идею» души бессмертной, но самую душу бессмертную, «предсуществующую», «ниспавшую» и, словом, ту лучшую всякой Федоновской, которую мать, вынимая грудь, кормит молоком.

КОММЕНТАРИИ

В архиве В. В. Розанова обнаружена рукопись его книги «Тайна. Из записной книжки писателя», которая включена в настоящий том. В связи с этим серия «Литература и искусство» будет издаваться не в шести, а в семи томах.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ОЧЕРКИ

Сборник статей

(с. 7)

11 июня 1893 г. Розанов писал С. А. Рачинскому, что задумал издать три сборника своих статей. Он доверил издание «Очерков» своему другу П. П. Перцову. Именно Перцов «сделал выбор материала» и ставил в оригиналах «синие кресты во многих местах». Первое издание (Литературные очерки. Сборник статей / Изд. П. П. Перцова. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1899) поступило в Главное управление по делам печати между 9 и 15 апреля 1899 г. Тираж 1200 экз.

История подготовки Перцовым издания «Литературных очерков» прослеживается в переписке Перцова с Розановым (см. СОЧ, 486–516). В начале апреля 1899 г., за несколько дней до выхода книги, Розанов срочно пишет Перцову: «*Непреренно: Литературно-экономический „кризис“*. Политико-эконом. — смысла нет. Наплевать мне на политику, да и *неверно*... В статье о Бел<инском> выбросьте раны славянофилам: тут я лягал *лигно* мне известных и переутомивших меня уже совсем „ослов” Кольку Аксакова, Афоньку Васильева: если бы Вы знали, какое это *бескровье*, именно *папье-маше*: все — конституционалисты + ходят в поддевках + лижут ж-пу у Тертия. Это *архилакеи*, они же (будто бы) архиправославные, и напр. карточки и бюсты Хомякова — у них на столах и в углу вместо образов. Нет, они меня [измучили]».

«Литературные очерки» — книга цельная и очень «розановская» по общему мироощущению, демонстрирующая систему взглядов и идей автора не столько в сфере «литературной критики», к которой, казалось бы, отсылает обманчивое название (напоминая о вышедших четырьмя годами раньше «Философских очерках» Н. Н. Страхова — «литературной няньки» Розанова), сколько в более широкой и более приближенной к реальности проблематике. Розанову претит уость подходов: газетный публицист по должности, он, однако, избегает сиюминутной политики и, подстегиваемый нерастраченной философической энергией, выбирает отстраненные ракурсы.

«Литературные очерки» начинаются с жестких текстов о «наследстве 60–70-х гг.», сделавших Розанова по-своему знаменитым, особенно в лагере оппонентов; деятельное и непоседливое предшествующее поколение всей своей деятельностью «оскверняло» розановский «символ веры»: из-за своей «грубости мысли» и «душевной скудости» ничего они якобы не поняли ни в мире, ни в человеке и не желали понимать, относясь к живым людям как к «песку пустыни», а значит, столь же поверхностно трактуя логику истории и культуры. Мышление всех розановских оппонентов, в его интерпретации, изначально эклектично, он же, опираясь на авторитет славянофильских и околославянофильских доктрин, апеллирует к *органичности* мироощущения (потому у него в авторитетах Аполлон

Григорьев с его «органической критикой», опосредованной Страховым), цельности миропонимания. Таким образом, при желании в идеологических пассажах Розанова можно увидеть ту же систему ценностей, что привела к экзистенциальному бунту против догматических установлений семейного права и насаждаемой традицией аскезы, к еретической «метафизике христианства», к апологии сакрализованного пола — и здесь, и там слышится вопль о праве индивидуации на «самостийность», личную, идеологическую, национальную, но всегда органическую. Только на первый взгляд кажется несовместимым с «сытым» эмпириком М. Н. Катковым слово «мечтатель», презрительно отпущенное в короткой, но необычайно яркой статье о нем — на самом деле этот консервативный публицист оказывается alter ego разного рода либеральной братии, обруганной Розановым на предшествующих страницах «Очерков», потому что он так же, как и они, «не принимает в расчет коренную действительность истории», основанную на мистическом «недовольстве» собой. Застывший ум, по Розанову, так же как и бесчувственно-абстрактный, не способен к «благоговению перед жизнью».

Книга не прошла незамеченной критикой. В 1899 г. стараниями П. П. Перцова вышло целых три розановских сборника («Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Литературные очерки»), на подходе была «Природа и история», посему рецензенты писали по всему комплекту, точнее — о Розанове вообще как известном и сложившемся феномене. Отзывы были гиперкритические: независимого «духобора» (так называл Розанова В. М. Грибовский, автор положительной рецензии в «Книжках Недели», 1899, май), искателя правды «чувством и догадкой сердца» привыкшая к стандартам литературная публика упрекала в «мифизме и оргиазме» (Е. А. Соловьёв в «Жизни», 1899, сентябрь), называла «славянофильствующим изувером» (А. И. Богданович в «Мире Божьем», 1899, август), «каламбуристом мысли» с бесцеремонными литературными манерами и неумным языком (М. А. Протопопов в «Русской Мысли», 1899, август). Подводя итог своей статье о четырех сборниках Розанова, Ю. И. Айхенвальд писал, что «нравственного духа, нравственного здоровья, этической ясности не слышится, повторяем, в произведении г. Розанова» (ВФП. 1900. Кн. 52. С. 186).

«Литературные очерки» не были приняты: «Литературную критику г. Розанова я позволю себе оставить совсем без рассмотрения: такими критиками хоть пруд пруди» (Протопопов); «...невозможный хаос чепухи и младенческих откровений, где мысли г. Розанова играют в чехарду» (Богданович). Особенно рассердил всех финал очерка Розанова «О писателях и писательстве» — ода бане.

Розанову — автору «Литературных очерков» еще сравнительно далеко было до своих поздних шедевров-откровений, но уже в этой книге выкристаллизовывался его своеобразный талант. Д. П. Шестаков в рецензии на «Литературные очерки» отмечал, что книга Розанова сразу захватывает читателя: «Мы читаем его статью, — и вдруг, точно неожиданно для самого писателя, на упругом стебле без усталости работающей мысли распускается и вспыхивает цветок истинно художественного выражения. И в этих вспышках таланта и пронизательности явления жизни предстоят перед нами в точных, выпуклых и отчетливо запоминающихся формах» (НВип. 1900. 5 янв. С. 14).

Печатается по 2-му изданию: СПб.: Тип. М. Меркушева, 1902, в котором исключен раздел «Заметки о Польше» (см. Приложение). В Главное управление по делам печати книга поступила между 9 и 15 ноября 1902 г. Тираж 600 экз.

<Предисловие>

(с. 8)

С. 8. *Времена меняются, и мы меняемся с ними.* — Выражение приписывается франкскому императору Лотарю I (ок. 795—855).

И СТАРОЕ И НОВОЕ

1. Почему мы отказываемся от «наследства 60—70-х годов»?
(с. 9)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *МВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 176. Л. 1—2. См. *Варианты*.

Первые напечатано: МВ. 1891. 7 июля. № 185.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 159—168).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Статья Розанова была вызвана в известной мере утверждением Н. К. Михайловского, выступившего в защиту Н. В. Шелгунова, который писал в «Очерках русской жизни» (публиковавшихся в журнале «Русская Мысль» в 1886—1891 гг.) о столкновениях «отцов» и «детей». «Этот ничем не оправданный отказ от наследства, — писал Михайловский, — это пренебрежительное, высокомерное, вообще отрицательное отношение „детей“ к лучшим заветам „отцов“ глубоко огорчило Николая Васильевича Шелгунова» (*Михайловский Н. К. Литература и жизнь // Русская Мысль. 1891. № 6. С. 144*).

С. 10. *И грозный час пришел...* — ср. в «Демоне» (ч. 2, гл. XV) М. Ю. Лермонтова: «И час раскаянья пришел». В «Старинных октавах» (песнь 1, LXXXVIII) Д. С. Мережковского: «Но вот пришел великий грозный час...».

С. 11. *...1 марта 1881 года...* — Имеется в виду убийство императора Александра II членами террористической организации «Народная воля».

С. 12. *...один из самых деятельных писателей 60-х годов...* — Речь идет о Н. В. Шелгунове. Розанов цитирует слова из его статьи «Борьба ли поколений ведет нас вперед» (1888), приводимые в статье А. Н. Пыпина «Писатель шестидесятых годов» из указанного в тексте номера «Вестника Европы».

«цель оправдывает средства» — мысль эта восходит к античности. У Овидия: «Результат (цель) оправдывает поступки» («Героиды». II, 85). С середины XVII в., не без участия Б. Паскаля, приписывается иезуитам (Г. Бузенбаум. Основы морального богословия. 1650. IV, 3). В автобиографии Розанов вспоминает, что эта мысль стала «первым зародышем всего моего последующего умственного развития» (*Юдаизм. С. 276*).

С. 12—13. *...«для наибольшего счастья наибольшего числа людей»...* — принцип, впервые сформулированный И. Бентамом в сочинении «Деонтология, или Наука о морали» (1834).

С. 13. *...прогулки по нагорному берегу Волги...* — Гимназические годы от четвертого до восьмого класса Розанов провел в Нижнем Новгороде (1872—1878).

С. 14. *...где профессор — там и университет...* — см. «Мои воспоминания» (М., 1897) Ф. И. Буслаева.

...вышедший тогда погему-то в отставку (Буслаев). — Отставка была вызвана потрясением от царевубийства. См.: «Немедленно после 1 марта 1881 г. я покинул университет и вышел в отставку...» (*Буслаев Ф. И. Мои досуги. М., 2003. С. 383*).

Сибирский университет — Томский университет учрежден в 1880 г., был открыт 22 июля 1888 г.

...о «кружке молодых профессоров» в нашем университете... — Принадлежавший к их числу правовед М. М. Ковалевский вспоминал: «Кружок молодых профессоров часто собирался в это время у Янжула, Чупрова, Муромцева и Стороженко» (*Ковалевский М. М. Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века: (Личные воспоминания) // Московский университет в воспоминаниях современников (1755—1917). М., 1989. С. 485*).

...у его старшего коллеги по факультету ~ по финансовому праву. — Подразумевается И. И. Янжул, ординарный профессор Московского университета по кафедре финансового права (1876—1898).

«Не плакать, не смеяться — но понимать. Спиноза» ~ у одного профессора... — Б. Спиноза. Политический трактат (1677. Гл. I. § 4). Так он определял назначение философии (рус. пер.: Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1957. Т. 2. С. 288). Вероятно, здесь Розанов имеет в виду профессора Московского университета М. М. Троицкого.

...12 января... — по новому стилю 25 января: день основания (1755) Московского университета, праздник студентов и преподавателей («Татьянин день»).

С. 16. ...товарища своего по гимназии, Б. — Речь идет о Николае Барановском, товарище Розанова по Нижегородской гимназии, с которым он поступил на историко-филологический факультет

С. 17. ...спор о дарвинизме. — Имеется в виду полемика вокруг учения Ч. Дарвина, в которой приняли участие Н. Я. Данилевский, В. С. Соловьёв, Н. Н. Страхов, К. А. Тимирязев и др. См. книгу В. В. Розанова «Природа и история» (СПб., 1900).

2. В чем главный недостаток «наследства 60—70-х годов»?

(с. 18)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *МВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 2—3. См. *Варианты*.

Первые напечатано: МВ. 1891. 14 июля. № 192.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 168—178).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Прочитав первые две статьи Розанова о «наследстве», Н. Н. Страхов писал ему 17 июля 1891 г.: «Фельетоны Ваши читаю с жадностью; какая чудесная тема, какой неподобный тон. Слышится человек доброй и честной души» (ЛИ. С. 97).

Н. К. Михайловский полемизировал с двумя «вопросительными» статьями Розанова в своих «Письмах о разных разностях» (Русские Ведомости. 1891. 25 июля. № 202); то же в статье «О г. Розанове и о том, почему он отказывается от наследства» (Михайловский Н. К. Литературные воспоминания и современная смута. 2-е изд. СПб., 1905. Т. 1. С. 378—402). Михайловский упрекал Розанова: «Он не подкрепляет свою мысль ни единым фактическим доказательством, ни единой цитатой, ни единым даже анекдотом <...> И я склонен думать, что г. Розанову весьма мало известно то наследство, от которого он столь торжественно отказывается». Розанов вспомнил в 1896 г. об этом обвинении Михайловского и отвечал ему в статье «Кому „горе от ума“ в действительной жизни?» (см. наст. изд., т. 1): «Я могу ответить, хоть и поздно, но окончательно о мотивах „отказа“ в 80-е годы „от наследства 60—70-х годов“: *Помадку, господа, забыли, — гистоты не соблюли: пахнет огонь*» (с. 420).

С. 20. ...станут ~ как боги... — аллюзия на слова дьявола: «Будете как боги» (Быт 3, 5).

С. 21. «Пригина действует только там, где она есть»... — Фома Аквинский. Сумма теологии, 1, q. 2, 3 с.

С. 24. ...«строятся в пустыне». — Выражение из вступительной статьи Н. К. Михайловского к изданию Шелгунов Н. В. Соч. СПб., 1891. Т. 1. Используется А. Н. Пыпиным в статье «Писатель шестидесятых годов» (Вестник Европы. 1891. № 5).

...см. его переписку... — 3 января 1876 г. Тургенев писал М. Е. Салтыкову-Щедрину о своем двойственном отношении к поколению Базарова: «Уже печатно сознался в своих

„Воспоминаниях“, что я не имел права давать нашей реакционной сволочи возможность ухватиться за книгу, за имя; писатель во мне должен был принести эту жертву гражданину... Возникший вопрос был поважнее художественной правды — и я должен был это знать наперед».

С. 24. ...фигуре Николая Левина ~ в лице Марка Волохова... — персонажи романов «Анна Каренина» Л. Н. Толстого и «Обрыв» И. А. Гончарова.

3. Европейская культура и наше к ней отношение (с. 27)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: МВ. 1891. 16 авг. № 225, под названием «Европейская культура и наше отношение к ней» (см. *Варианты*).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 178—185).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

13 августа 1891 г. Розанов спрашивал у К. Н. Леонтьева: «Да читали ли Вы статьи мои в „Моск. Вед.“? Были уже 3, а 4-я с формулой Ваших теорий и вызовом „Вестнику Европы“ ответить на них — верно скоро появится» (ЛИ. С. 411). Прочитав статью Розанова напечатанной, К. Н. Леонтьев писал 21 августа 1891 г.: «Сейчас только окончил чтение вашей статьи „Европ. Культ.“ и т. д. (в № 16 авг.). Опять приходится сказать еще раз: „Ныне отпущаеши“» (ЛИ. С. 382). Это евангельское выражение (Лк 2, 29) употребляется, когда говорят о достижении чего-либо, давно ожидавшегося. Леонтьев уже сказал об этом при чтении розановской статьи «Эстетическое понимание истории» (см. наст. изд., т. 1, с. 888).

С. 27. В июньской и июльской книжках «Вестника Европы» за 1891 г. — Далее Розановым буквально процитировано начало неподписанного обзора «Из общественной хроники» из июньской книжки «Вестника Европы», озаглавленное «Новые вариации на старую тему о „гниении Запада“» и посвященное, в частности, критике брошюры П. Е. Астафьева «Из итогов века» (М., 1891). В июльской книжке того же журнала внимание Розанова привлек раздел того же обзора, названный «Новые толки в западной печати о русской культуре» и содержащий разбор новой книги лифляндского публициста Х. фон Самсона-Химмельстерна «Russland unter Alexander III» (Leipzig, 1891), где осуждается то, что якобы «в России господствуют славянофилы» (Вестник Европы. 1891. № 7. С. 879).

«Запад гниет, Запад разлагается»... — Выражение «гниющий Запад» впервые употребил М. П. Погодин в 1843 г., противопоставляя потрясаемую революциями Европу православной России с ее «всемирным смиренномудрием».

...немногих избранных умов... — Имеются в виду прежде всего так называемые «старшие славянофилы»: А. С. Хомяков, И. В. Киреевский, К. С. Аксаков, А. И. Кошелев.

«Россия и Европа» — Данилевский Н. Я. Россия и Европа: Взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому // Заря. 1869. № 1—6, 8—10; отд. изд.: СПб., 1871. Книга выдержала несколько переизданий. О полемике Н. Н. Страхова против В. С. Соловьёва в защиту этой книги Данилевского см. ниже в статье Розанова «Литературная личность Н. Н. Страхова».

«Национальная политика» — Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции // Г. 1888. № 256, 258, 261, 265, 269, 272, 275, 279; отд. изд.: Леонтьев К. Н. Национальная политика как орудие всемирной революции: Письма к О. И. Фудель. М., 1889.

С. 28. «Восток, Россия и Славянство» — Леонтьев К. Н. Восток, Россия и славянство: Сб. статей. М., 1885—1886. Т. 1—2.

«Я праздновал бы великий праздник радости...» — Неточно цитируемые слова взяты из начала статьи К. Н. Леонтьева «Национальная политика как орудие всемирной революции» (М., 1889). В источнике: «...если бы сама жизнь или чьи бы то ни было убедительные доводы доказали бы мне, что я заблуждаюсь» (Леонтьев К. Н. ПСС. СПб., 2007. Т. 8. Кн. 1. С. 497). Настоящую фразу Розанов неоднократно приводит в своих сочинениях.

С. 29. *Это были вопли Кассандры...* — Ср. развитие этого образа у Розанова в его «Предисловии к тому II <„Литературных изгнанников“>» (1918): «Кассандра. Леонтьев — Кассандра, бегавшая по Трое и предрекавшая... [всего за 15 лет]. И как ее же, ego никто не услышал...»

А было всего за 25 лет до пожара „Трои“, — европейской *всей* цивилизации, — и введен был огонь, [через] прошедшими в город через „деревянного коня“ социализма... с мирными обещаниями „на земле царства небесного“» (В. В. Розанов и К. Н. Леонтьев. Материалы неизданной книги «Литературные изгнанники». Переписка. Неопубликованные тексты. Статьи о К. Н. Леонтьеве. Комментарии. СПб.: Росток, 2013. С. 59).

...работал И. С. Аксаков ~ д-р Ригер... — Авторитет чешского общественно-политического деятеля барона Фр. Л. Ригера как борца за историко-культурное наследие Чехии в сознании европейского общества был сопоставим с аксаковским. См. начало одной из статей Н. П. Гилярова-Платонова: «„Аксаков умер, зато Ригер остался“, — сказала „Neue Freie Presse“, — и этого изречения достаточно, чтобы очертить все qui pro quo заграничных мнений о России вообще и об Аксакове в частности <...> Аксакова жалуют политическим деятелем в том же смысле, как Ригера» (Современные Известия. 1886. 6 февр. № 36. С. 2).

...процессы развития имеют одно тегение... — Здесь и далее на ближайших страницах Розанов излагает содержание главы VI («Что такое процесс развития?») трактата К. Н. Леонтьева «Византизм и Славянство» (1875).

С. 30. *Ландкартный* — зафиксированный на ландкарте — географической карте.

С. 32. *...будем ли мы бросать камни...* — аллюзия на слова Христа о женщине, уличенной в прелюбодеянии, которую законники собирались побить камнями (см.: Ин 8, 7).

...«журнал политики». — В рассматриваемый период, с 1868 по 1909 год, у «Вестника Европы» был подзаголовок «Журнал истории, политики, литературы».

С. 33. *В прекрасных воспоминаниях покойного Буслаева...* — «Мои воспоминания» Ф. И. Буслаева публиковались в 1890—1892 гг. в журнале «Вестник Европы» (отд. изд.: М., 1897). Описываемый Розановым случай см.: Вестник Европы. 1891. № 6.

«Аугсбургская Газета» — одна из старейших немецких газет, выходила в г. Аугсбург (Бавария) с 1609 г. Розанов неточно воспроизвел название газеты. Ср.: «...граф Сергей Григорьевич дал мне номер любимой им аугсбургской газеты „Allgemeine Zeitung“, я, просмотрев ее, выразил ему мое сожаление, что решительно ничего в ней я не понял...» (Буслаев Ф. И. Мои досуги. М., 2003. С. 211). Речь здесь идет о гр. С. Г. Строганове. «Allgemeine Zeitung» («Всеобщая газета») — немецкая ежедневная газета правого толка, основанная в 1798 г.; с 1810 по 1882 год выходила в Аугсбурге.

...он изучал в это же время Тассо и Данта на острове Искии... — Ср.: «...мы водворялись постоянным жительство на продолжительное время сначала в Неаполе, на острове Искии и в Сорренто, а потом в Риме...» (Там же. С. 173). Однако произведения Тассо и Данте Буслаев, по его словам, изучал в 1840 г. не на Искии, а чуть позднее, переместившись в Сорренто (см.: Там же. С. 226).

...одного итальянца познакомил с «Декамероном». — Подразумевается житель помпейского предместья. См.: «...нанимал себе на Святки и на Святуя неделю комнатку <...> в семействе одного мастерового <...> очень милого молодого человека, который питал ко мне особенное уважение за то, что я познакомил его с „Декамероном“ Боккаччио, дав ему для прочтения свой экземпляр этой книги» (Там же. С. 208).

С. 33. ...г. Евг. Утин или г. Арсеньев... — постоянные сотрудники «Вестника Европы» с момента его основания в 1866 г., адвокаты по основному роду деятельности: Е. И. Утин, военный корреспондент, автор многочисленных публикаций, основанных на зарубежных впечатлениях, и К. К. Арсеньев, общественный и земский деятель, с 1880 г. ведущий в журнале внутреннее обозрение и общественную хронику.

4. Два исхода (с. 33)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *МВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 189. Л. 1—2. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *МВ*. 1891. 29 июля. № 207.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 185—194).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

С. 33. «*Последние произведения графа Л. Н. Толстого*» — Громека М. С. Последние произведения графа Л. Н. Толстого // *Русская Мысль*. 1883. № 2—4; отд. изд.: М., 1884; 6-е изд.: 1914.

С. 34. ...разнеслись ~ слухи о какой-то «исповеди»... — «Исповедь» Л. Н. Толстого была написана в основном в 1879 г., закончена в 1882 г. и напечатана в Женеве в 1884 г. О знакомстве самого Розанова с книгой см. в его «Автобиографии» (РТ. 1899. 16 окт. № 42).

С. 35. *Идея suffrage universel, впервые установленная Руссо...* — Имеется в виду трактат Ж. Ж. Руссо «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762).

С. 36. ...тысячеголовый Левиафан. — В Библии чудовищное морское животное (Иов 40, 20—41, 26). Английский философ Т. Гоббс свою книгу о государстве назвал «Левиафан» (1651; рус. пер.: 1868).

С. 40. ...из особенного тона ведущегося диалога... — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. V, 33. ...удивительный разговор между княжной Марией Болконской ~ и Наташей... — Л. Н. Толстой. Война и мир. Эпilog. I, 8.

5. Может ли быть мозаична историческая культура? (с. 42)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *МВ*. 1892. 20 июля. № 199. См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 194—200).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Статья вызвала полемические замечания Н. К. Михайловского в его традиционной рубрике «Литература и жизнь» (*Русская Мысль*. 1892. № 9), в которой он обвиняет Розанова в заимствовании доводов для своего «отказа от наследства» у самого Михайловского: «Спрашивается, зачем же так сплошь, огулом отказываться? А если уж отказываться, так не надо заимствовать аргументы у нас же, из того самого наследства, от которого с такою торжественностью отказываются; надо довольствоваться „отсебятиной“, как выражался Аполлон Григорьев, или же искать себе опоры где-нибудь в третьем месте» (с. 154).

С. 42. ...г. Н. К. Михайловский упрекнул меня... — Речь идет о статье Н. К. Михайловского «Письма о разных разностях», № 34 (*Русские Ведомости*. 1891. 25 июля. № 202).

Под названием «Опять об отцах и детях» вошла в его книгу «Литература и жизнь» (СПб., 1892).

С. 44. В «Сборнике статей» о графе Л. Толстом. — Михайловский Н. К. Критические опыты. СПб., 1887. Т. 1: Гр. Л. Н. Толстой (статья «Десница и шуйца Льва Толстого»).

Оптиматы — в Древнем Риме аристократическая партия, противостоявшая популярам (II—I вв. до н. э.).

С. 47. ...в покаянной речи мудрого царя... — Речь Ивана IV (Грозного) на Красной площади при открытии первого Земского собора в феврале 1549 г. См.: Н. М. Карамзин. История государства Российского. VIII, 3.

Стоглавый собор — церковный собор, созванный в Москве в январе-феврале 1551 г. по вопросам правовых норм внутренней жизни русского духовенства и его взаимоотношений с государством. На соборе были зачитаны царские вопросы, составленные придворным священником Сильвестром. Ответы на них составили сто глав решений собора (отсюда его название).

6. Еще о мозаичности и эклектизме в истории (с. 48)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: МВ. 1892. 17 окт. № 288. См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 201—208).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

С. 48. Н. Михайловский дал ответ на мою предыдущую статью — Михайловский Н. О г. Розанове и о том, почему он отказывается от наследства. — О мозаичности культуры // Русская Мысль. 1892. № 9. С. 151—158. (Литература и жизнь). То же в кн.: Михайловский Н. К. ПСС. СПб., 1909. Т. 7. С. 368—376.

С. 52. ...Фараоновы коровы, пожравшие тугных волов... — Быт 41.

«Литература и жизнь» — серия статей Н. К. Михайловского в «Русской Мысли» (1891—1906).

С. 53. «Рассудка француз не имеет...» — Д. И. Фонвизин. Письма из Франции. Письмо 8 (18 сентября 1778 г.).

...его две знаменитые комедии. — Имеются в виду комедии Д. И. Фонвизина «Бригадир» (1769) и «Недоросль» (1781).

С. 54. ...«времен и сроков»... — См.: «Он же сказал им: не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти...» (Деян 1, 7).

С. 55. ...о Химере ~ обитала во Фригии. — Согласно «Илиаде», Химера обитала в горах Ликии. См.: Гомер. Илиада. VI, 179—182. В разных мифах указаны регионы: Ликия, Фригия, Индия, Египет.

«Небесное Жуан все ищет на земле»... — А. К. Толстой. Дон Жуан (1862). Пролог.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ Н. Н. СТРАХОВА

(с. 56)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: ВФП. 1890. Кн. 4. С. 27—64, под названием «О борьбе с Западом в связи с литературной деятельностью одного из славянофилов» (см. *Варианты*). С изменениями перепечатано в «Литературных изгнанниках» (1913), где даны обширные постраничные авторские примечания с пометами: «Примечания 1913 года». Здесь печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

тается по тексту книги «Литературные очерки», поскольку «Литературные изгнанники» — это иная книга Розанова.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 8 (с. 209—233).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Первый том книги Н. Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе» вышел в 1882 г. В первом письме Розанова Страхову от 22 января 1888 г. говорится: «Будучи студентом 3-го курса, я прочел Вашу книгу „Борьба с Западом“» (ЛИ. С. 145). Очевидно, он прочитал книгу Страхова уже на 4-м курсе, так как учился в Московском университете с 1878 по 1882 г.

В мае 1890 г. Розанов получил от Страхова второй том 2-го издания этой книги, и тут же сообщил ему: «Пишу по поводу 2 т. „Борьбы“ характеристику Вас как писателя и ученого на основании всех Ваших сочинений — для „Русского Обозрения“, стр. 10, — кажется, *выходит* <...> Там будет много для Вас нового» (ЛИ. С. 235). Уже в конце июня Розанов извещает Страхова: «Только что кончил и посылаю Гроту статью о Вас для „Вопросов“: я получил от него любезное письмо с просьбою — приготовить за лето статью для „Вопросов“, и послал разбор Вас, начатый по поводу „Борьбы с Западом“, но сведшийся вообще к определению Вас. Знайте, нет ничего труднее Вас для разбора, это говорю я, читавший и перечитывавший все Ваши статьи. Поэтому, как бы мало ни удовлетворил Вас мой разбор, — думаю, что выполнил неизмеримо трудное дело, которое в силу самой его трудности долго бы никто не выполнил: всякий оставит в начале» (ЛИ. С. 239).

Готовя статью к печати, редактор «Вопросов Философии и Психологии» Н. Я. Грот изменил название статьи. 31 июля 1890 г. он писал Розанову: «Прочитав вторично Вашу статью в корректуре, я еще более восхитился ею <...> Прошу у Вас позволения опять изменить заглавие статьи так: „О борьбе с Западом, в связи с литературною деятельностью одного из славянофилов“» (Розанов В. В. Красота в природе и ее смысл. М., 2009. С. 551). Ввиду отсутствия автографа осталось неизвестно авторское название статьи.

Журнал со статьей Розанова вышел в свет в сентябре 1890 г., и тут же Страхов 13 сентября написал первую рецензию в форме письма к автору: «Целую Вас от всей души, дорогой Василий Васильевич, за Вашу статью обо мне. Не думал я, что доживу до такой оценки, и когда я читал, как я хожу около трудных вопросов или как молчу о самом важном, что думаю, слезы выступали у меня на глазах (я ведь старик). Наконец, Ваше определение, что я деятель *умственного воспитания* читателей, — это определение я сам себе давал, когда думал вообще о своих писаниях. Меня и удивляет и трогает, что Вы все это поняли и высказали; сердечно благодарю Вас! Да и менее общие замечания — как верны и как прекрасно сказаны! Вообще, *почти* все, что прямо ко мне относится, очень хорошо; что же касается рассуждения о славянофилах и западниках, то оно очень остроумно и глубоко, но слишком отвлеченно и поверхностно с *фактической* стороны. Поразительна и свежа мысль, что западники — более русские, более допетровские люди, чем славянофилы; но напрасно говорить, что славянофилы равнодушны к русской истории, народной словесности и т. д. Тут факты против Вас: К. Аксаков, Хомяков, Киреевские, Гильфердинг и т. д. И нигилизма Вы не знаете, потому не видите, что западничество принимается *худшими* сторонами русской души, что нигилизм его логический плод. Об Европе Вы чудесно говорите и очень хорошо останавливаетесь в суждениях, смотря на нее как на загадку. Но об этом вопросе так много писано, что — не говорю привести и разбирать, а хоть бы только упомянуть, что есть-де решение этой загадки, — нужно бы было. Вижу, что и тут Вы выступаете ярким примирителем, неукротимым обобщителем; не могу этому не сочувствовать, но не могу и не заметить, что дело у Вас ведется слишком быстро. Однако положение, что спор славянофилов с западничеством имеет *всемирное* значение — какая бесподобная и бесподобно сказанная мысль».

Печатаемая письма Страхова в 1913 г., Розанов сделал примечание к этому высказыванию своего старшего наставника о нигилизме: «Вот это — глубоко; Герцен был, в сущнос-

ти, *дурной человек*, и только свет солнца его талантов залил это и не допустил рассмотреть. И „нигилизм“, конечно, уже содержался *implicite* даже в реформе Петра Великого; и — *доконтил* эту „реформу“, сказал ее последнюю мысль. Что нигилизм вообще есть „что-то *последнее*“, *грань* чего-то, „пропасть“, „обрыв“ — это невольно чувствуется. В „нигилизме“, собственно говоря, мы и сейчас существуем; „нигилизм“ тянется, таким образом, более уже полвека; *более или менее* „мы *все* — нигилисты“, и выходит из него или преодоление его *в себе* каждым — дело величайшего труда и страдания. Главным нашим „нигилистом“, вроде Чернышевского, Писарева, Зайцева, Шелгунова, Скабичевского, Желябова, Перовской, в голову никогда не приходило, что они суть *ленивые* люди, плывущие по течению, — косные люди, неспособные поворотиться *по-своему*, люди *не оригинальные*, шаблонные, „как все“, без звездочки во лбу, тусклые и неинтересные. А они-то „Байронами“ расхаживали, распускали павлиньи хвосты, учили, „обновляли“, „развивали“. Бедная курточка, „пришедшая ко двору“ — „механическая обувь“, выделяемая не поштучно, не по мерке заказчика, а „вообще“ и целыми „партиями“, — люди „правительственной системы“ (системы Петра I) и, как говорится в промышленности и торговле, — „по Высочайше одобренному образцу“. Со своим „я“ и „против течения“ были единственно славянофилы» (ЛИ. С. 68).

Статья Розанова о западничестве и славянофильстве вызвала рецензию Ю. Николаева (Ю. Н. Говорухи-Отрока) «Две „великие“ партии. По поводу статьи г. В. Розанова „О борьбе с Западом в связи с литературною деятельностью одного из славянофилов“» (МВ. 1890. 15 сент. № 255), в которой говорилось: «Розанов — писатель умный и осторожный, а судя по иным его работам, как, например, прекрасной статье его „Место христианства в истории“ <...> он писатель совершенно установившийся. Симпатии его, очевидно, более склоняются к славянофильству, понимая этот термин в широком смысле, чем к западничеству, и лишь стремление, по существу своему похвальное, к утрированию, так сказать, точности мысли, производит в настоящей его статье как бы некоторую неясность. Это иногда случается».

Как пишет Говоруха-Отрок, «две великие партии» у Розанова — это два течения нашей мысли: западничество и славянофильство. «Из них, из этих партий, славянофильство умерло и не воскреснет, западничество выродилось так, что в нем остались или „слепые“, или „совершенно глупые“ <как считает Розанов>. Между тем г. Розанов прав, что борьба не кончена, а, напротив, приобретает „всемирно-историческую важность“. Дело в том, что действительно существуют две „великие партии“, но только не те, на которые указывает Г. Розанов. Россия и Европа — вот эти две „великие партии“. Россия, носительница православия как религии и как культурного начала, а против нее католическая Европа и рационалистическая Европа. Наша домашняя, в сущности, уже кончившаяся борьба между западниками и славянофилами была лишь прологом этой начинающейся великой борьбе» (Там же).

История отношений Розанова с Н. Н. Страховым освещена в статье В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 946—958).

С. 57. *...в двух томах неоконченного сочинения...* — Речь идет о книге: Данилевский Н. Я. Дарвинизм: Критический очерк. СПб., 1885—1889. Т. 1—2.

С. 61. *...Кювье, недавний творец трех тожных наук...* — См.: «...сравнительная анатомия, палеонтология, естественная система животных — вот три великие заслуги Кювье, заслуги, из которых каждая достаточна для вечной славы» (Энгельгардт М. А. Ж. Кювье. Его жизнь и научная деятельность: Биографический очерк. СПб., 1891. С. VII).

...наш мистик Лабзин, цитату из которого... — См. библиографию трудов религиозно-просветителя А. Ф. Лабзина, составленную А. Н. Стрижёвым (ЛЖ. 2014. № 35. С. 225—263).

С. 61. *...захотел поехать на Афон.* — Поездка на Афон, совершенная Страховым в 1881 г., описана им в статье «Воспоминание о поездке на Афон» (1889), которая вошла в его книгу «Воспоминания и отрывки» (СПб., 1892).

С. 63. *...резкое порицание ему служилось высказать...* — Имеется в виду развернувшаяся в 1884—1885 гг. на страницах газеты «Новое Время» полемика Страхова со сторонниками спиритизма А. М. Бутлеровым и Н. П. Вагнером. Статьи Страхова и ответы ему Бутлерова собраны в книге: *Страхов Н. Н. О вечных истинах (Мой спор о спиритизме)*. СПб., 1887.

С. 64. *...автор «Семейной хроники» (1856)* — С. Т. Аксаков.

...«преданий русского семейства»... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. III, 13. Это выражение Страхов использует в своем разборе романа Л. Н. Толстого «Война и мир». Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II, III и IV. Статья вторая и последняя» (Заря. 1869. № 2).

С. 65. *...жалобы, которые он подслушал у Герцена...* — В книге Н. Н. Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе» (СПб., 1887. Т. 1. С. 31) приводятся слова А. И. Герцена (мы «поднимаемся в какую-то изреженную среду, в какой-то мир бесплотных абстракций») из его статьи «Дилетантизм в науке» (Статья 1 // Отечественные Записки. 1843. № 1).

...воспоминание об одном писателе... — Имеется в виду Джордж Гордон Байрон.

С. 66. «*Страна святых гудес...*» — из стихотворения А. С. Хомякова «Мечта» (1835). «*Тебе Бога хвалим*» — христианский гимн, в оригинале: «Te Deum laudamus». По преданию, сочинен святителем Амвросием Медиоланским (кон. IV в.).

С. 67. *...некогда голодный сын старого отца променял...* — Быт 25, 29—34.

С. 71. *...предисловие к его «Боярской думе древней Руси».* — Предисловие к работе В. О. Ключевского «Боярская дума древней Руси» (М., 1882) было впервые напечатано в журнале «Русская Мысль» (1880. № 1) в качестве преддверия публикации там же отдельных глав книги.

...известный разбор типа Онегина — Ключевский В. О. Евгений Онегин и его предки // Русская Мысль. 1887. № 2. С. 291—306.

С. 72. *Ланге в «Истории материализма» замечает...* — Ланге Ф. А. История материализма и критика его значения в настоящее время / В рус. пер. Н. Страхова. СПб., 1883. Т. 2. С. 130.

И специальные его работы... — См., например: *Страхов Н. 1) О костях запястья млекопитающих: Рассуждение, написанное для получения степени магистра зоологии.* СПб., 1857; 2) О методе наук наблюдательных. СПб., 1858.

С. 73. *...горячая его полемика (против г. Влад. Соловьёва) в защиту книги Данилевского...* — Имеются в виду статьи: *Страхов Н. Н. 1) Наша культура и всемирное единство: Замечания на статью г. Влад. Соловьёва «Россия и Европа» («Вестник Европы», 1888, февр. и апрель) // РВ. 1888. № 6. С. 200—256; 2) Последний ответ г. Влад. Соловьёву // РВ. 1889. № 2. С. 200—212 (в ответ на статью Соловьёва «О грехах и болезнях» в «Вестнике Европы», 1889, январь). Указанные статьи вошли в третий том сборника Страхова «Борьба с Западом в нашей литературе».*

С. 76. *В ряде ~ статей по поводу «Войны и мира»...* — Имеется в виду серия журнальных статей Страхова о «Войне и мире», которую он сам называл «критической поэмой в четырех песнях» (Заря. 1869. № 1—3; 1870. № 1).

«*Нет велигия там...*» — эти слова из романа Л. Н. Толстого (Война и мир. 4, 3, XVIII) Н. Н. Страхов использует в качестве эпиграфа в статье в № 1 за 1870 г. журнала «Заря».

С. 77. «*свобода, равенство*» — из девиза Великой Французской революции. Эти слова выгравированы под изображением «всевидящего ока» на казенной части пушек, отличных во времена Республики.

ТРИ МОМЕНТА В РАЗВИТИИ РУССКОЙ КРИТИКИ

(с. 80)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из журнала *РО* с правкой – РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 152. Л. 1–11. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *РО*. 1892. № 8. С. 576–594, под названием «О трех фазисах в развитии нашей критики».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 234–246).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

С. 81. *...ряд в высшей степени знагительных статей... – Леонтьев К. Н.* Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого: Критический этюд // *РВ*. 1890. № 6–8.

...старый державинский стих... – К. Н. Леонтьев в своем этюде цитировал оду Г. Р. Державина «Фелица» (1782).

С. 82. *«Но зато родному краю...» – Н. А. Добролюбов.* «Милый друг, я умираю...» (1861).

С. 86. *«Россияда» – «ироическая поэма» (СПб., 1779) М. М. Хераскова,* которую он писал восемь лет.

«Записная книжка любопытных замечаний» – Записная книжка любопытных замечаний великой особы, странствовавшей под именем дворянина российского посольства в 1697 и 1698 году. СПб., 1788. Автором ее является Петр Великий.

...при виде всего замечательного ~ брался ~ за аршин, чтоб его измерять. – Образ построен на основе поговорки «мерить на свой аршин (своим аршином)».

«О происхождении зла» – философская поэма (1734) швейцарского поэта и естествоиспытателя Альбрехта фон Галлера; в 1786 г. она была переведена прозой с немецкого, откомментирована и издана Н. М. Карамзиным.

«Разговоры о множестве миров» – Разговоры о множестве миров г. Фонтенелла, Парижской академии наук секретаря / С французского перевел и потребными примечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 году. СПб., 1740.

С. 87. *Лизин пруд – находился вблизи Симонова монастыря в Москве, место действия повести Н. М. Карамзина «Бедная Лиза» (1792).*

...перед «птицею стратикомил» или перед «капищем всех болванов» (Пантеон Агриппы)... – выражения из «Записной книжки любопытных замечаний...» имп. Петра I (СПб., 1788. С. 24, 37). Стратикомил («строфокомил») – страус. Пантеон Агриппы – знаменитый древнеримский храм, сооруженный Марком Агриппою и посвященный богам-покровителям рода Юлиев.

«Ундина» – поэма В. А. Жуковского, вышедшая под названием «Ундина, старинная повесть, рассказанная в прозе бароном Ламот Фуке, на русском в стихах В. Жуковским» (СПб., 1837). Повесть немецкого писателя-романтика Ф. де Ламотт Фуке «Ундина» вышла в 1811 г.

«Пир во время чумы» – пьеса А. С. Пушкина, написанная в Болдине в 1830 г., когда в России свирепствовала холера, которую часто называли чумой. Перевод одной сцены из драматической поэмы Джона Вильсона «Чумной город» (1816).

С. 88. *Уже Белинский заметил, что он как бы совместил в себе ~ своих предшественников... – Этой теме посвящены первые три статьи работы В. Г. Белинского «Сочинения Александра Пушкина» (Отечественные Записки. 1843. № 6, 9, 10).*

Первоначальных, гистых дней. – Так читается последняя строка стихотворения Пушкина «Возрождение» (1819).

...режь о Пушкине Достоевского... – произнесена 8 июня 1880 г. на заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию памятника Пушкина в Моск-

ве. Впервые напечатана 13 июня в газете «Московские Ведомости» (№ 162). Вошла в «Дневник писателя» за август 1880 года.

С. 88. «Однажды, странствуя среди долины дикой» — стихотворение Пушкина «Странник» (1835), являющееся переложением фрагмента из книги английского поэта Джона Беньяна «Путь паломника» (1678—1684; рус. пер.: 1782).

...так смутило ~ самого Белинского... — Имеются в виду крайне негативные оценки Белинским повестей Пушкина в последней, одиннадцатой, статье цикла «Сочинения Александра Пушкина».

С. 89. ...великая заслуга критической деятельности А. Григорьева. — В статье «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (Русское Слово. 1859. № 2. Статья первая) А. А. Григорьев писал: «Вопрос о Пушкине мало продвинулся к своему решению со времен „Литературных мечтаний“, а без разрешения этого вопроса мы не можем уразуметь настоящего положения нашей литературы <...> А Пушкин — наше все: Пушкин представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами».

ПОЗДНИЕ ФАЗЫ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА

1. Н. Я. Данилевский (с. 92)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1895. 14 февр. № 6811.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 246—252). См. *Варианты*.

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Об отношении Розанова к Н. Я. Данилевскому см. статью А. В. Ефремова в «Розановской энциклопедии» (с. 320—323).

С. 92—93. ...в трудах своих... — Статья И. В. Киреевского «Деятельный век» открывала собой его собственный журнал «Европеец»: в № 1 (январь) за 1832 г. было опубликовано начало статьи, а в № 3 предполагалось поместить окончание. Однако именно за публикацию «Деятельного века» журнал был закрыт на втором же номере, и третья книжка не вышла в свет. Статья «В ответ А. С. Хомякову» была написана в 1839 г. для литературно-философских вечеров в доме Киреевского в Москве в ответ на статью Хомякова «О старом и новом», читавшуюся на тех же вечерах. Работа не предназначалась для печати и впервые опубликована в кн.: *Киреевский И. В.* ПСС. М., 1861. Т. 1. С. 188—200. Статья «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» написана для славянофильского альманаха «Московский сборник» (М., 1852. Т. 1), запрещенного после первого выпуска. Статья «О необходимости и возможности новых начал для философии» была замыслена Киреевским как начало большого труда, оборванного его смертью; опубликована уже после смерти автора в новом журнале славянофилов «Русская Беседа» (1856. № 2). «Отрывки» (Русская Беседа. 1857. № 1), найденные в архиве Киреевского, представляют собой наброски к этому же незаконченному труду.

С. 93. Все его сочинения изданы ~ в 1868 году... — Двухтомное собрание сочинений И. В. Киреевского вышло в 1861 г.

...история нового права Блунгли... — *Блунгли И. К.* История общего государственного права и политики от XVI века по настоящее время. Рус. пер.: СПб., 1874.

...Макс Штирнер ум. 1855 г. — Немецкий философ М. Штирнер скончался в Берлине 26 июня 1856 г.

«*Единственный и его собственность*» — под этим названием книга М. Штирнера была впервые издана по-русски в 1906 г. (Лейпциг; СПб.).

С. 94. «*Journal des Débats*» — газета, издававшаяся в Париже с 1789 по 1944 г. с изменяющимися названиями. Речь идет об опубликованной здесь в сентябре 1892 г. статье Теодора Рандаля (псевдоним германиста Шарля Андлера) «Освободительная книга» о Максе Штирнере, сочинение которого «Единственный и его собственность» представлено как «наиболее полное руководство к тому, на что способен анархизм» (р. 128).

...*школы Ломброзо*. — Итальянский психиатр и криминалист Чезаре Ломброзо выдвинул теорию о существовании типа человека, предрасположенного к преступлениям.

«*Власть тьмы*» («Власть тьмы, или Коготок увяз, всей птичке пропасть») — драма Л. Н. Толстого, напечатанная в 1887 г. издательством «Посредник»; цензурный запрет на ее постановку сохранялся до 1895 г.

«*Новый Органон обновленный*» — трактат на латинском языке английского философа Ф. Бэкона «Новый Органон» (1620; в отличие от «Органона» Аристотеля) был издан под именем барона Веруламского как вторая часть «Великого восстановления наук».

Добролюбов «В темном царстве»... — Имеется в виду статья Н. А. Добролюбова «Луч света в темном царстве» (Современник. 1860. № 10), где, в частности, так говорится о главной героине драмы А. Н. Островского «Гроза»: «Натура здесь заменяет и соображения рассудка, и требования чувства и воображения: все это сливается в общем чувстве организма, требующего себе воздуха, пищи свободы».

С. 95. *Хомяков в трудах своих...* — Три полемические работы А. С. Хомякова по сравнению богословия с общим названием и под псевдонимом «Ignotus» публиковались за границей отдельными брошюрами на французском языке: «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоранси» (Париж, 1853) — рус. пер.: Православное Обозрение. 1863. № 10—11; «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу одного послания Парижского архиепископа» (Лейпциг, 1855) — рус. пер.: Православное Обозрение. 1864. № 1—2; «Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры» (Лейпциг, 1858) — рус. пер.: Хомяков А. С. ПСС. Прага, 1867. Т. 2: Сочинения богословские. В этом же томе впервые опубликованы письма А. С. Хомякова В. Палмеру, англиканскому архидьякону, стороннику воссоединения англиканской церкви с одной из традиционных. Трактат Хомякова «Церковь одна» (написан предположительно в 1844—1845 гг.) впервые опубликован после смерти автора в журнале «Православное Обозрение» (1864. № 13) под названием «О Церкви. Из неизданных сочинений А. С. Хомякова». В указанном втором томе Собрания сочинений появилось второе название труда, приводимое Розановым: «Опыт катехизического изложения учения о Церкви».

...*сочинения А. С. Хомякова, том II...* — Второй том богословских сочинений (Прага, 1867) из 4-томного Собрания сочинений А. С. Хомякова (М.; Прага, 1861—1873) к обращению в России постановлением Святейшего Синода был разрешен только в 1879 г.

...«*времена*» и «*сроки*»... — см. коммент. к с. 48.

...*овцами нерастерянными...* — Мф 18, 12—13; Лк 15, 4—7.

...*тюбингенская школа богословов...* — направление в немецкой протестантской теологии, развившееся в университете г. Тюбингена и характеризовавшееся критической интерпретацией библейских источников. Работы Б. Бауэра и Д. Штрауса оказали значительное влияние на формирование концепций Э. Ренана.

...*критический разбор «Истории России» Соловьёва...* — Аксаков К. С. По поводу VII тома «Истории России» г. Соловьёва // Русская Беседа. 1858. Кн. 2. Отклики Аксакова на различные тома «Истории России с древнейших времен» С. М. Соловьёва собраны в кн.: Аксаков К. С. ПСС. М., 1861. Т. 1.

К. Аксаков в замечательной статье своей... — Аксаков К. С. О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности // Московский сборник. М., 1852. Т. 1.

Первый царь созывает первый земский собор. — Имеется в виду созыв Земского собора в феврале 1549 г. Иваном IV (Грозным), впервые в истории России прошедшим обряд венчания на царство в январе 1547 г. См. также коммент. к с. 47.

...Филоктет от боли раны кричит... — Филоктет, по греческой мифологии, царь города Мелибеи, во время похода на Трою был укушен змеей и по причине зловония и ранения оставлен товарищами на острове Лемнос. Там он десять лет провел в страшных муках. См. трагедию Софокла «Филоктет».

...Иов — тревожится, не согрешил ли он? — Ср.: «Научите меня, и я замолчу: укажите, в чем я погрешил» (Иов 6, 24).

Аппий Клавдий, похитив Виргинию... — Цицерон в труде «О государстве» (II, 63) рассказывает, что старшина децемвиров Аппий Клавдий решил завладеть красивой девушкой Виргинией. На суде, который сам вел, он сделал ее рабыней. И тогда отец ее вонзил в сердце дочери нож.

...Давид, похитив Вирсавию и обвиненный, слагает псалом... — 2 Цар 11–12; Пс 50.

Афродита Книдская — скульптура работы (350–330 гг. до н. э.) Праксителя.

2. К. Н. Леонтьев (с. 98)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: ТПГ. 1899. 4 апр. № 2. См. *Варианты*. Первоначальный вариант под названием «Заметка о свободе философствования» был отвергнут Н. Я. Гротом в журнале «Вопросы Философии и Психологии». Написанная одновременно со статьей о Н. Я. Данилевском, глава о Леонтьеве «была отклонена по полному незнакомству и публики, и литераторов с этим замечательнейшим из русских мыслителей и стилистов и была лишь много лет спустя напечатана в литературных приложениях к „Торгово-Промышленной Газете“, редактор-издатель которой Мих. Мих. Фёдоров хотя и был чиновником министерства финансов, однако оказался человеком гораздо более чутким и одаренным литературным вкусом, нежели литераторы ex professo» (ЛВИ. С. 483).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 253–261).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

История отношений Розанова к К. Н. Леонтьеву прослежена в статье С. М. Сергеева в «Розановской энциклопедии» (с. 518–525).

Кн. С. Трубецкой. «Разоговоранный славянофил»... — Вестник Европы. 1892. № 10. С. 772–810.

...умершего в 1892 году Кон. Ник. Леонтьева. — К. Н. Леонтьев скончался 12 ноября 1891 г.

...в идее трех фаз, терез которые проходит всякое развитие... — см. коммент. к с. 29.

...он умер тайным пострижником Афонской горы... — Постриг Леонтьев принял 18 августа 1891 г. в Оптиной пустыни, однако еще в 1871 г. после тяжелой болезни Леонтьев предпринимает попытку уйти в монастырь, поселившись в Пантелеймоновой обители на Афоне (где пребывал с сентября 1871 г. по август 1872 г.).

См. замечательное гостное письмо... — Имеется в виду датированное 6–23 июля 1888 г. пространное письмо Леонтьева к священнику И. Фуделю, большие выдержки из которого опубликованы в составе статьи последнего «Культурный идеал К. Н. Леонтьева» (РО. 1895. № 1. С. 262–275). Наиболее важные пропущенные места, подготовленные

Г. Б. Кремнёвым по автографу, см. в комментариях к републикации статьи Фуделя в изд.: PRO. Кн. 1. С. 449–454.

С. 102. *...скудель его пегалей...* — Скудель — глиняный сосуд; тленное, бренное, земное. Тут псалмодический по происхождению образ из богослужебного Канона пред иконой Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших»: «Изсше, яко скудель, от печали крепость наша...».

«Византизм и Славянство» — одна из основополагающих работ К. Н. Леонтьева была написана им в 1872 г., предложена к публикации в журнал «Русский Вестник», но отклонена М. Н. Катковым и впервые опубликована в малочитаемом издании «Чтения в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (1875. Кн. 3).

...(из «Анализа, стиля и веяний в романах гр. Л. Н. Толстого»). — Критический этюд, как назвал его Леонтьев, «Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого» (РВ. 1890. № 6–8) в отдельном издании был назван «О романах гр. Л. Н. Толстого» (М., 1911).

...«Наших новых христиан»... — Леонтьев К. Н. Наши новые христиане. Ф. М. Достоевский и гр. Лев Толстой: По поводу речи Ф. М. Достоевского на празднике Пушкина и повести гр. Толстого «Чем люди живы?». М., 1882.

...«От. Климент Зедегерльм, иеромонах Оптиной пустыни». — Впервые: РВ. 1879. № 11–12; отд. изд.: М., 1882.

С. 103. *И Спаситель о самарянине...* — Лк 10, 25–37.

...«знак раба»... — Вероятно, имеется в виду апостольское выражение «зрак раба» (Фил 2, 7). В Синодальном переводе: «образ раба».

...Мытарь ~ в вековой притче... — Лк 18, 9–14.

...слова Леонтьева — об Алквиаде. — В статье И. Фуделя (РО. 1895. № 1) в сходном контексте (пороки как «почти добродетели») приводятся слова К. Леонтьева, относящиеся не к Алквиаду, а к Юлию Цезарю: «...Юлий Цезарь был гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича <...> невозможно отвергнуть, что в Цезаре <...> в тысячу раз больше поэзии, чем в Акакии Акакиевиче и в самом добром и честном из <...> сельских учителей...» (РО. 1895. № 1. С. 271).

Эти бедные селенья... — Здесь и далее Розанов цитирует одноименное стихотворение Ф. И. Тютчева (1855).

...глен символа... — аллюзия на христианский Символ веры, состоящий из 12 «членов».

С. 105. *Письма ~ его к г. Губастову, пегатавшиея около двух лет в «Русском Обозрении»...* — Письма К. Н. Леонтьева к К. А. Губастову напечатаны: РО. 1894. № 9, 11; 1895. № 11–12; 1896. № 1–3, 11–12; 1897. № 1, 3, 5–7.

...с долгом своим «кавасу Яни»... — См.: РО. 1897. № 3. С. 446, 447, 450, 455. В частности, о долге кавасу Яни в «300 р. золотом (или 300 с лишком нашими бумажками, 325?)» Леонтьев писал К. А. Губастову 3 августа 1890 г. из Оптиной пустыни. Чтобы «успокоить бедного Яню (разумеется, без процентов, куда уж!)» и рассчитаться с долгом по банковскому кредиту, Леонтьев, по его словам, взялся за роман «Подруги», хотя и признавался: «...у меня нет теперь уже ни малейшего желания писать романы...» (РО. 1897. № 5. С. 908).

Афродита земная, Афродита Небесная — Противопоставление на основе двух версий происхождения Афродиты Урании («небесной») и Афродиты Пандемос («всенародной») принадлежит Платону (см.: «Пир», 180 d — 181 c). См. также объяснение этого противопоставления самим Розановым в его книге «Люди лунного света. Метафизика христианства» (СПб., 1911): ВТРЛ. С. 310.

...любопытное его письмо-послание к Фету... — Леонтьев К. Не к стати и к стати: Письмо А. А. Фету по поводу его юбилея // Г. 1889. 21, 22 и 24 марта. № 80, 81, 83.

С. 106. *«Я праздновал бы великий праздник радости ~ что я заблуждаюсь»...* — см. коммент. к с. 28.

КАТКОВ «КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»

(с. 107)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *БВед.* 1897. 17 окт. № 283. См. *Варианты.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 262–267).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

О Розанове и М. Н. Каткове см. в статье В. П. Горлова в «Розановской энциклопедии» (с. 452–455).

С. 107. *Не имамы zde пребывающего града, но грядущего взыскуем* — Не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего (Евр 13, 14).

...в юбилейном сборнике «Памяти М. Н. Каткова. 1887. — 20 июля — 1897 г.». — Имеется в виду специальный мемориальный выпуск журнала «Русский Вестник» (1897. № 8), где статья В. А. Грингмута называется «М. Н. Катков как государственный деятель».

С. 109. *...Н. Любимов в книге своей...* — Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга: По документам и личным воспоминаниям Н. А. Любимова. СПб., 1882.

...*Джон Нокс ~ выведя из храма...* — Шотландский проповедник Джон Нокс был в 1547 г. арестован и отправлен отбывать наказание во Францию на галеры. Вернувшись в Шотландию, 11 мая 1559 г. он произнес в г. Перт (Шотландия) проповедь против католического идолопоклонства, которая вызвала протестантскую революцию.

...*Помбаль и Шуазель ~ министры самых неверующих королей...* — первые министры в правительствах, соответственно, португальского короля Жозе I (1750–1777) и французского Людовика XV (1715–1774), изгнавшие иезуитов из своих стран.

С. 110. *...г-жа Крюднер ~ мысль Священного союза ей принадлежит...* — Мистическая проповедница В. Ю. Крюднер (Криденер) встречалась с Александром I 4 июня 1815 г., незадолго до подписания Священного договора трех императоров, и, согласно легенде, предсказала заключение договора.

...*«всегда непобедимый Тилли»...* — прозвище графа И. фон Тилли, полководца времен Тридцатилетней войны 1618–1648 гг. на австрийской военной службе. Он одержал ряд блестящих побед, но позднее потерпел поражение от шведов и 15 апреля 1632 г. в битве на реке Лех был смертельно ранен.

...*«Град Божий»...* — Трактат «О граде Божием» («De civitate Dei») Аврелия Августина написан между 412 и 426 гг. под впечатлением взятия Рима готами Алариха. В нем земной государственности противопоставлена идеальная духовная общность людей, основанная на любви к Богу.

...*Иаков тоже стал «хромать»...* — Быт 32, 24–32.

...*идей «Савойского викария»...* — В роман Ж. Ж. Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762) включена «Исповедь савойского викария», являющаяся изложением религиозно-го кредо самого Руссо, так называемой естественной религии.

...*«Confessions» которого так напоминают ~ «Confessions» Августина.* — Розанов неверно передает оригинальные транскрипции заглавий этих произведений, унифицируя их до полной схожести: французское написание заголовка «Исповеди» (1766–1770) Руссо — «Confession», латинское «Исповеди» Августина — «Confessions».

С. 111. *...«Без Руссо не было бы революции»...* — 28 августа 1800 г. при посещении могилы Руссо в Эрменонвиле Наполеон сказал С. Жирардену: «Было бы лучше для спокойствия Франции, если бы этот человек не существовал. Это он подготовил революцию» (см.: *Girardin S. Discours et opinions, journal et souvenirs.* P., 1828. Т. 3. P. 190).

«*Ветхий деньми*» — одно из именовании Бога в Библии. См.: Дан 7, 9.

«*Чьи голоса, юродивая?*» ~ в основе истории Жанны д'Арк... — Французская национальная героиня Жанна д'Арк, возглавившая борьбу против англичан во время Столетней войны, часто слышала голоса свв. Екатерины и Маргариты, архангела Михаила, которые послали ее на подвиг. «Ангелы часто являются христианам, — говорила Жанна на суде, — но они не видят их. Я их вижу».

...*Из пламя и света...* — М. Ю. Лермонтов. «Есть речи — значенье...» (1839).

С. 112. ...*герой Ла-Манга*. — Главный персонаж романа М. де Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1605–1615).

...«*взыскуемого града*»... — Евр 13, 14. См. эпитафия к наст. статье Розанова.

...«*Я из тебя эту мистику-то выбью*»... — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. I, 3, 8. ...*гиппопотам Иова*... — Иов 40, 10–19.

ЛИТЕРАТУРНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ «КРИЗИС»

(с. 113)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1897. 23 сент. № 7749, под названием «Литературно-экономический кризис». См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 268–276).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

С. 113. *Где их «устои»? Где «власть земли»?* — Розанов обыгрывает названия романа Н. Н. Златовратского «Устои. История одной деревни» (1878–1883) и цикла деревенских очерков Г. И. Успенского «Власть земли» (1882).

«*Капитал*» — главный труд К. Маркса (1864–1894. Т. 1–3; рус. пер.: 1872–1896).

С. 114. «*Русская Правда*» — свод древнерусского права, первые списки которого относятся к XIII в.

С. 115. *Пелазги* — одно из древнейших догреческих племен в Восточном Средиземноморье, от которого не сохранилось остатков материальной культуры.

...*закопавшиеся у нас на юге раскольники-сектанты*. — Имеются в виду самозакапывания сектантов в Терновских плавнях в Бессарабии в декабре 1896-го — феврале 1897 г. Об этом случае рассказано в книге Розанова «Темный Лик. Метафизика христианства» (СПб., 1911) — см.: ВТРЛ. С. 192–252.

...*Византией во время великих богословских споров*... — в IV–IX вв.

С. 116. В августовской книжке марксистского «Нового Слова» за 1897 г. ... — цитируется статья «Из Тифлиса» за подписью «Эль», посвященная итогам выборов в Тифлискую городскую думу. «Новое Слово» (1891–1897) — ежемесячный журнал либеральных народников в Петербурге; весной 1897 г. передан легальным народникам.

...*в статье г. Туган-Барановского «Народники крепостной эпохи»*... — Опубликована в «Новом Слове» (1897. № 11. С. 49–85), имела подзаголовок «Из истории русского общественного сознания».

...«*к вящей славе Божией*»... — девиз ордена иезуитов, основанного в 1540 г.

С. 117. «*дыхание жизни*» — Быт 2, 7.

С. 118. ...*галлы, описанные Цезарем*... — Имеются в виду «Записки о галльской войне» Гая Юлия Цезаря.

Энервировать — нервировать, расслаблять.

...*Плюшкин-Корзинкин (умерший лет 15 назад ~ миллионер)*... — Речь идет об И. И. Карзинкине, скончавшемся около 1881 г.

Фирма «Домби и Сын» — из романа Ч. Диккенса «Домби и сын» (1848).

С. 119. *Какой волшебный блеск!..* — слова Барона из трагедии А. С. Пушкина «Скупой рыцарь» (1830).

Бес благородный скуки тайной. — Н. А. Некрасов. «Отрадно видеть, что находит...» (1845).

...община, исчезающая в Германии при Тацитте... — Географо-этнографический трактат «Германия», описывающий общественное устройство древних германцев, написан Публием Корнелием Тацитом в 98 г. н. э.

...до «Судебных уставов» Александра II... — Имеется в виду Судебная реформа 1864 г. *Мы все угились понемногу...* — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. I, 5.

С. 120. *...на «малых сих»...* — Мф 18, 6, 10, 14; Мк 9, 42.

С. 121. «*Катедэр-социалисты*» («социализм с профессорской кафедры») — ироническое название немецкого направления в политэкономии в 1860–1870-х гг. (Г. Шмоллер, Л. Брентано, А. Вагнер и др.), выступавшего за мирный переход от капитализма к социализму путем реформ сверху.

...воспоминания о нем Лафарга... — Перевод «Личных воспоминаний о Карле Марксе» П. Лафарга, впервые опубликованных в журнале «Die Neue Zeit» (Stuttgart. Jg. IX. 1890–1891. Bd. 1), был напечатан в «Новом Слове» в № 11 (август) за 1897 г.

О ДОСТОЕВСКОМ

(Отрывок из биографии, приложенной к собранию сочинений

Ф. М. Достоевского, изд. «Нивы»)

(с. 122)

Автограф неизвестен.

Впервые в качестве предисловия напечатано: Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского: Бесплатное приложение к журналу «Нива». СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1894. Т. 1. С. V–XXIV, под названием «Ф. М. Достоевский (Критико-биографический очерк)». Вместо третьего раздела в первоначальном тексте находился очерк биографии Достоевского (см. *Варианты*).

Начало работы над статьей Розанов описал в письме Н. Н. Страхову (после 4 июля 1893 г.): «В бытность мою в Контроле заезжал и оставил карточку Маркс — редактор „Нивы“; это, — так сказать, Мак Магон литературы, жена говорит — чудная коляска и рысак; не знаю, как и идти к такой птице — он назначил на воскресенье. Но значит же я нужен зачем-нибудь» (ЛИ. С. 299). Так произошел заказ предисловия к Полному собранию сочинений Ф. М. Достоевского.

Уже 13 августа 1893 г. Розанов писал С. А. Рачинскому: «Кончил, дней 8 назад, для нового издания Достоевского „Критико-биографический очерк“ его» (ЛИ-2. С. 500).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 277–286).

Печатается по 2-му изданию «Литературных очерков».

О значении Ф. М. Достоевского для Розанова см. в «Розановской энциклопедии» (с. 344–348).

Когда том вышел из печати (видимо, не позднее января, так как на обороте титульного листа цензурное разрешение от 29 ноября 1893 г., а на 4-й странице обложки, с объявлениями, — от 5 декабря 1893 г.), статья Розанова подверглась довольно резкой, хотя и дружеской критике И. Ф. Романова-Рцы, который писал: «Есть превосходные места и по мысли, и по выражению, но общее впечатление — отсутствие гармонии. Статья напоминает амальгаму, или, если угодно, королевскую или французскую пастилу (не знаю, как зовется) *трех цветов*, наслоениями. Повторяю: это нисколько не мешает пастиле быть отменного вкуса, но этот недостаток как-то не свойствен Вам. Музыки нет, а только

отдельные аккорды. <...> В общем же: 2+ или даже 3– (я *строго* ценю)» (Русский мир: Пространство и время русской культуры: Альманах. СПб., 2013. Т. 8. С. 20).

С. 122. *Теперь, когда с нумерами «Нивы»...* — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений / С критико-биографическим очерком о Ф. М. Достоевском, составленным В. В. Розановым... СПб.: Изд. А. Ф. Маркса, 1894—1895. Т. 1—12. (Ежемесячное бесплатное приложение к журналу «Нива» за 1894 и 1895 гг.). Издание вышло в 24 полутомах.

С. 125. *Чем ночь темней...* — неточно процитированные заключительные строки из четверостишия Ап. Н. Майкова «Не говори, что нет спасенья...» (1878) из цикла «Из Аполлодора Гностика». И. Ф. Романов-Рцы возмущился одобрительной оценкой Розановым стиха «Чем глубже скорбь — тем ближе Бог»: «Положительно не согласен с последним стихом, может быть, тут глубочайшая субъективная идиосинкразия, но я нахожу, что чем больше скорбь, тем глубже человек уходит в себя, тем *дальше* отстоит от всего и, следоват<ельно>, и Бога. Не могу не считать лжецом того, кто скажет, что *не вся* вселенная — в дупле того зуба, который *сейчас, невыносимо* болит! Но есть скорби бесконечно больше и длительные... Наконец скажу, что нужно из сознания выкинуть половину новозаветного Откровения, чтобы признать верность этой мысли. Нужно отказаться от *Евангелия*, чтобы в глубине скорби приблизиться к Богу, *карающему* и не *хотящему* помочь скорбям. Но где же тогда Спаситель? Тот Спаситель, Которого мы знаем, любим, Который *всегда* миловал и *никогда* не отказывал в помощи? Здесь вступает в силу известный крик отчаяния одного горевшего сердцем атеиста <Ф. Ницше>: „Был один *человек*, *достойный* быть Богом, и Он умер на кресте!“

Воля Ваша — паки и паки повторяю — стонущий Иов и благодушный Павел, повелевающий *„всегда радоваться“*, — это абсолютная несовместимость. По крайней мере сей пункт для немощи моей веры, искушаемой постоянными скорбями, есть камень, на котором, вероятно, суждено разбиться спасению моей души, ибо всё что угодно могу вмести, кроме одного, чтобы Спаситель *не хотел* или *не мог* помиловать меня в „онь же аще день призовем Тя“.

Чем глубже скорбь, тем дальше от Бога!

Скажу сильнее: и даже понять не могу атеизма, иначе как проистекшего от множества скорбей... Впрочем, это поле бесконечное, причем я отнюдь не утверждаю, что в своем духовном опыте я уже дошел до последнего предела и решил вопрос окончательно. Есть масса замечательных вещей „богодухновенных“ на эту тему, и никогда не выпадет минута, чтобы *умиренною* душою их прочитать» (Русский мир. СПб., 2013. Т. 8. С. 20).

Он конгил «Дневником писателя»... — Ф. М. Достоевский создавал свой «Дневник писателя» с 1873 по 1881 г. Первоначально появляясь в течение всего 1873 г. в журнале «Гражданин», с 1876 г. «Дневник» выходил отдельными ежемесячными выпусками как самостоятельное издание. Его выпуск прекращался только во время работы Достоевского над «Братьями Карамазовыми». Последний выпуск «Дневника» появился 28 января 1881 г., на другой день после смерти Достоевского.

С. 126. *...разлезающихся внутренностей.* — См. реакцию И. Ф. Романова-Рцы на этот образ: «„Разлезшиеся“ внутренности. И не сильно вовсе, и не реально, а просто мерзко» (Русский мир. СПб., 2013. Т. 8. С. 20).

...«его история должна бы составить новый роман...» — перефразировка концовки Эпилога «Преступления и наказания» Ф. М. Достоевского.

...изображение будущего атеистического состояния людей... — Ф. М. Достоевский. Под-росток. III, 7, 3.

«Сон смешного человека» — рассказ Ф. М. Достоевского, впервые опубликованный в апрельском выпуске «Дневника писателя» за 1877 г.

С. 129. «*Pro u Contra*» — заглавие книги пятой второй части романа «Братья Карамазовы», куда входит и глава «Великий инквизитор».

С. 130. ...«едва имея силы добраться до эстрады, упал без чувств»... — О таком эпизоде после произнесения Достоевским своей речи на Пушкинском празднике 1880 г. рассказывает Н. Н. Страхов в «Воспоминаниях о Ф. М. Достоевском». См.: *Достоевский Ф. М.* ПСС. СПб., 1883. Т. 1. С. 310.

«*Карамазовщина*»... — Впервые это слово употреблено в самом романе «Братья Карамазовы» (IV, 12, 2). Розанов один из первых засвидетельствовал в 1894 г. употребление слова «карамазовщина» в литературе. В 1913 г. М. Горький жонглировал словом «карамазовщина», выступая против инсценировки в Художественном театре романов Достоевского «Бесы» и «Братья Карамазовы».

...«*обломовщина*»... — Как отрицательное понятие утвердилось после статьи Н. А. Добролюбова «Что такое обломовщина?» (1859). Розанов впервые противопоставляет этому свое понимание образа Обломова как положительного.

«ВЕЧНО ПЕЧАЛЬНАЯ ДУЭЛЬ»

(с. 132)

Автограф РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 186. Л. 1—18. См. *Варианты*.

Впервые напечатано: *НВ*: 1898. 24 марта. № 7928.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 287—299).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Историю оценок Розановым творчества Лермонтова см. в статье А. А. Голубковой в «Розановской энциклопедии» (с. 526—532).

С. 132. ...*г. Мартынов ~ определяет...* — Имеется в виду статья С. Н. Мартынова «История дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым» в указанном Розановым номере «Русского Обозрения».

...*вызов на дуэль последовал ~ 29 июня, а не 13 июля...* — это обстоятельство в свидетельстве Мартынова-сына игнорировалось советским лермонтоведением (см.: Лермонтовская энциклопедия. М., 1981).

...*писал ~ кн. Васильчиков.* — Имеется в виду статья А. И. Васильчикова «Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым» (Русский Архив. 1872. № 11).

С. 133. ...*это о ней были написаны знаменитые его стихи...* — Считается, что стихотворение М. Ю. Лермонтова «Молитва» (1837) относится к Варваре Лопухиной.

«*Воспоминание о дуэли и смерти Лермонтова*» — Шан-Гирей Э. А. Воспоминания о Лермонтове и о предсмертном его поединке // Русский Архив. 1889. № 6.

...*дуэль Лермонтова с Барантом...* — Дуэль М. Ю. Лермонтова с сыном французского посла Э. де Барантом состоялась 18 февраля 1840 г. Розанов неточно описывает ее последовательность: противники сначала дрались на шпагах, шпага Лермонтова переломилась, и он был ранен в руку. Затем перешли на пистолеты: Барант промахнулся, Лермонтов выстрелил в воздух.

...*Гоголь написал «другу» Погодину...* — Имеется в виду записка Н. В. Гоголя М. П. Погодину в апреле 1842 г. в ответ на просьбу того разрешить напечатать в «Москвитянине» несколько глав «Мертвых душ».

С. 134. ...*на открытии памятника Пушкину в Москве...* — Открытие памятника Пушкину работы А. М. Опекушина и связанные с этим празднества происходили в Москве 6—8 июня 1880 г. В рамках торжеств с речами выступили Ф. М. Достоевский, И. С. Тургенев, А. Н. Островский, И. С. Аксаков и др.

И скудно, и грустно... — стихотворение М. Ю. Лермонтова (1840).

...С. Т. Аксаков в пространных литературных воспоминаниях... — Имеется в виду сочинение С. Т. Аксакова «История моего знакомства с Гоголем» (полностью впервые — Русский Архив. 1890. № 2), где рассказано о чтении Лермонтовым отрывка из «Мцыри» на именинах Гоголя 9 мая 1840 г., а также приведена оценка Лермонтова Гоголем.

...Гоголь ~ проходит лишь упоминанием Лермонтова... — Н. В. Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» (1847) дает краткую характеристику творчества Лермонтова в главе XXXI книги. Разборы произведений Н. М. Языкова см. в главах X, XV, XXXI.

...Л. Толстой в нагале «Казаков» ~ смеется над его изображением Кавказа — Имеется в виду конец второй главы повести, где герой, подъезжая к Кавказу, мечтает о черкешенке-рабыне, подобной лермонтовской Бэле: «Она прелестна, но она необразованна, дика, глупа. В длинные зимние вечера он начинает воспитывать ее. Она умна, понятлива, даровита и быстро усваивает себе все необходимые знания. Она очень легко может выучить языки, читать произведения французской литературы, понимать их. „Notre Dame de Paris“».

...Достоевский ~ выказывает несомненную нелюбовь... — Имеется в виду «Дневник писателя за 1877 год» (Декабрь, 2, II), где о Лермонтове сказано: «В самом деле, во всех стихах своих он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что лжет, но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен».

...«незримых слез» Гоголя... — Н. В. Гоголь. Мертвые души. I, 7 («видный миру смех и незримые, ведомые ему слезы»).

С. 135. ...движение от Петра и до себя. — Ср. запись в первом коробе «Опавших листьев» В. В. Розанова (СПб., 1913): «Пушкин и Лермонтов кончили собою всю великолепную Россию от Петра и до себя» (Л. С. 140).

Белинский ~ даже Державина («Клеветникам России»)... — В обзоре «Русская литература в 1841 году» В. Г. Белинский отмечал: «Два стихотворения Пушкина: „Клеветникам России“ и „Бородинская годовщина“ совершенно уничтожают все многочисленные торжественные оды Державина». Имеется в виду также ода Г. Р. Державина «На взятие Варшавы» (1795).

«Летопись села Горохина» — под таким названием вследствие цензурных препятствий впервые была опубликована в журнале «Современник» (1837. Т. 7) «История села Горюхина» (1830) А. С. Пушкина.

«Сцены из рыцарских времен» — незаконченная пьеса А. С. Пушкина (1835), название которой дано позднейшими издателями.

Страхов ~ доказывает, что у него вовсе не было «новых форм»... — Страхов Н. Н. Записки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888. С. 37—41.

...целомудрие, даже и в «Графе Нулине», «Руслане и Людмиле»... — Имеются в виду критические суждения некоторых современников о «вольностях» этих двух поэм.

...«власть заклинать демонические стихии природы геловегеской»... — См. третий раздел статьи первой из цикла «Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина» (Русское Слово. 1859. № 2) А. А. Григорьева: «Наши великие, бывшие доселе, решительно представляются с этой точки могучими заклинателями страшных сил, пробующими во всех возможных направлениях служебную деятельность стихий, но забывающими порою, что не всегда можно пускать на свободу эти порождения душевной бездны».

...дав «сюжеты» «Мертвых душ» и «Ревизора» Гоголю... — См. слова самого Н. В. Гоголя в «Авторской исповеди» (1847): Пушкин «отдал мне свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы и которого, по словам его, он бы не отдал другому никому. Это был сюжет „Мертвых душ“ (мысль „Ревизора“ принадлежит также ему)».

Взгляд Ап. Григорьева, Страхова и Ив. С. Аксакова... — Об этом см.: Рейсер С. «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“» (История одной легенды) // Вопросы литературы. 1968. № 2. С. 184—187; Богаров С., Манн Ю. «Все мы вышли из гоголевской „Шинели“» // Там же. 1968. № 6. С. 183—185.

С. 135. *...размыслений раненного на Аустерлицком поле князя Болконского...* — Л. Н. Толстой. Война и мир. 1, 3, XVI, XIX.

С. 136. *В дымных тугках пурпур розы...* — А. А. Фет. «Шопот, робкое дыханье...» (1850).

Но я без страха жду довременный конец... — М. Ю. Лермонтов. «Не смейся над моей пророческой тоскою...» (1837).

«Есть мiры иные»... — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. II, 6, 3.

И вижу я себя ребенком; и кругом... — Здесь и далее Розанов цитирует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840), эпиграфом которому служит дата: «1-е января».

«Не хогу я уезжать за границу...» — слова Свидригайлова из романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» (IV, 1).

...«косые луги»... — См.: Подросток. III, 8, 2. Сквозной образ лучей заходящего солнца у Достоевского исследуется в статье: *Дурьлин С. Н.* Об одном символе у Достоевского // Достоевский: Сб. статей. М., 1928. С. 163–169.

С. 137. *...И желтые листья Шумят...* — М. Ю. Лермонтов. «Как часто пестрою толпою окружен...» (1840).

...«— Видели вы лист?» — разговор Ставрогина и Кириллова из романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (II, 1, 5).

Засох и увял он от холода... — М. Ю. Лермонтов. Листок (1841).

С. 138. *Посыпал пеплом я главу...* — Здесь и далее Розанов цитирует стихотворение М. Ю. Лермонтова «Пророк» (1841).

...повторен ~ проф. Градовским... — Имеется в виду статья А. Д. Градовского «Мечты и действительность» (Голос. 25 июня. № 174) о речи Ф. М. Достоевского на Пушкинском празднике. Достоевский ответил на критику в третьей главе «Дневника писателя» за август 1880 г.

...«Пророка» (заимствованного)... — В основе стихотворения А. С. Пушкина «Пророк» (1826) лежат мотивы 6-й главы библейской книги пророка Исаи.

Дам тебе я на дорожку... — М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1838).

...в заключительной главе этого романа... — Речь идет о предпоследней главе (см.: Ф. М. Достоевский. Бесы. III, 7, 2).

С. 139. *...предсмертному сну Свидригайлова...* — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. VI, 6.

...иторы Опущены: с трудом лишь может глаз... — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей (1840).

С. 140. *Ногевала тугка золотая...* — М. Ю. Лермонтов. Утес (1841).

Мугительный, ужасный крик... — М. Ю. Лермонтов. Демон. II, 11.

...«Через него всякий становится умнее, кто способен поумнеть». — Слова из «Застольного слова о Пушкине», произнесенного А. Н. Островским 7 июня 1880 г. на обеде, устроенном Обществом любителей российской словесности по случаю открытия памятника Пушкину в Москве (Вестник Европы. 1880. № 7).

С. 141. *Ревет ли зверь...* — А. С. Пушкин. Эхо (1831).

Хорег — у древних греков: постановщик хоровых или драматических представлений. *Мистагог* — жрец, ведущий мистерии.

Отцы пустынники и жены непорочны... — начальная строка стихотворения А. С. Пушкина (1836), вторая половина которого является поэтическим переложением великопостной молитвы Ефрема Сирина «Господи и владыко живота моего...».

С. 142. *Если б знал ты Виргинию нашу...* — М. Ю. Лермонтов. «Это случилось в последние годы могучего Рима...».

...фидиасовское в словах... — т. е. сходное по значению с творениями древнегреческого скульптора и архитектора Фидия (Фидиаса).

Сквозь туман кремнистый путь блестит... — М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

Дальше: вечно гуждый тени... — М. Ю. Лермонтов. Спор (1841).

С. 143. И снился мне сияющий огнями... — М. Ю. Лермонтов. Сон (1841).

Умереть — уснуть... — У. Шекспир. Гамлет, принц Датский. III, I.

Я б хотел забыться и заснуть... — М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...» (1841). У Лермонтова — «дремали жизни силы».

И пусть у гробового входа... — А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

...«персть»... — земной прах, материя, противоположная духу. См. в церковно-славянском тексте Библии: «Создал Бог человека, персть взем от земли» (Быт 2, 7).

С. 144. ...«клеяких весенних листогков»... — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. II, 5, 3.

...«в загорелых солдатских спинах»... — Речь идет о сцене купания солдат в «Воине и мире» Л. Н. Толстого (3, 2, V). См. также цитату в коммент. к с. 398.

...«толстой шее, на которую...» — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. V, 15.

Устами праздными вращаем имя Бога... — А. С. Пушкин. Анджело (1833). II, 2.

В этом последнем году им написано... — Список Розанова не совсем точен: в него попали и более ранние произведения Лермонтова — «Не смейся над моей пророческой тоскою...» (1837), «Есть речи — значенье...» (1839), «Сказка для детей» (1840); и произведения с неизвестной датой написания — «Из-под таинственной, холодной полумаски», «Это случилось в последние годы могучего Рима...».

50 ЛЕТ ВЛИЯНИЯ

(Юбилей В. Г. Белинского — 26 мая 1898 г.)

(с. 145)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* с правкой, которая была перенесена в текст «Литературных очерков» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 173. Л. 1—2.

Впервые напечатано: *НВ*. 1898. 26 мая. № 7988. См. *Варианты*. То же: РО. 1898. № 5. С. 273—282, под названием: 50 лет влияния (Память В. Г. Белинского). См. *Варианты*.

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Об отношении Розанова к наследию В. Г. Белинского см. статью о нем в «Розановской энциклопедии» (с. 117—120).

С. 145. «Весние воды» — название повести И. С. Тургенева (1872).

Перистиль — окруженный с четырех сторон крытой колоннадой прямоугольный двор.

«Удивляюсь я...» — О восприятии Белинского в провинции см.: Иван Сергеевич Аксаков в его письмах. М., 1892. Т. 3 (письмо к родителям от 9 октября 1856 г.).

...ездившего в пятидесятых годах изугать малороссийские ярмарки... — В 1853—1854 гг. по заданию Русского географического общества И. С. Аксаков изучал экономические отношения на Украине. Результаты своих наблюдений он суммировал в книге «Исследование о торговле на украинских ярмарках» (СПб., 1858).

С. 146. ...«выбыл» гуть ли не «по неспособности». — В сентябре 1832 г. Белинский был исключен из Московского университета с формулировкой: «по слабому здоровью» и «по ограниченности способностей».

С. 146. ...«Обвенгаемся тихо, и пешком пойдем домой». — Письма В. Г. Белинского М. В. Орловой печатались в «Русских Ведомостях» (1895. № 163, 185) и в сборнике «Почин» (М., 1896). Розанов неточно передает содержание письма от 1 октября 1843 г.

...Белинский принимал самое деятельное участие... — Белинский не имел прямого отношения к напечатанию «Философического письма» П. Я. Чаадаева (Телескоп. 1836. № 15), но как ведущий сотрудник журнала, часто замещавший Н. И. Надеждина (и с августа 1834 г. живший у него на квартире), после закрытия «Телескопа» 22 октября 1836 г. был доставлен к московскому обер-полицмейстеру.

«О гем, бишь, „Негто“?.. Обо всем...» — слова Репетилова из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума» (IV, 4).

...его доге рей... — У В. Г. Белинского было две дочери: Ольга, позднее вышедшая замуж за греческого прокурора, и Вера, умершая во младенчестве.

С. 147. «Дух веет идеже хоцет». — Ин 3, 8.

...в 12-ти томах солдатёнковского издания его «согинений»... — Сочинения В. Г. Белинского. М.: К. Солдатёнков и Н. Щепкин, 1859—1862. Ч. 1—12.

...за опубликование которых общество особенно должно быть благодарно г. Пытину... — Пытин А. Н. Белинский, его жизнь и переписка. СПб., 1876. Т. 1—2. Впервые: Вестник Европы. 1874—1875.

С. 148. «Вырыта заступом яма глубокая» — одноименное стихотворение И. С. Никитина (1860).

...тогда зрения Страхова... — Имеется в виду один из разборов Н. Н. Страховым «Войны и мира» Л. Н. Толстого (Заря. 1869. № 2).

Гонгаров в обширной статье... — Имеются в виду «Заметки о личности Белинского» (1874). Впервые: Гонгаров И. А. Четыре очерка. СПб., 1881.

С. 149. ...переписку коих живописует ~ кн. Мецкерский. — Мецкерский В. П. Письма отца к сыну (старого правоведа к новому) и сына (министра) к отцу (из прошлого). СПб., 1897.

...к одному другу-юноше на Кавказ... — По-видимому, имеется в виду письмо Белинского из Пятигорска Д. П. Иванову от 7 августа 1837 г.

«Бородинская годовщина» — статья В. Г. Белинского (Отечественные Записки. 1839. № 10) так называемого периода «примирения с действительностью».

«Литературные мегтания» — первое крупное критическое сочинение В. Г. Белинского (1834).

...до последних годовых обзоров... — Годовые обзоры русской литературы В. Г. Белинского систематически появлялись в «Отечественных Записках», начиная с января 1841 г. («Русская литература в 1840 г.») до 1846 г., а затем в «Современнике»: «Взгляд на русскую литературу 1846 года» (1847. № 1) и «Взгляд на русскую литературу 1847 года» (1848. № 1, 3).

Он не уважал «Горе от ума» за его публицистический характер... — В статье «Горе от ума» (Отечественные Записки. 1849. № 1) В. Г. Белинский писал: «Художественное произведение есть само себе цель и вне себя не имеет цели, а автор „Горя от ума“ ясно имел внешнюю цель — осмеять современное общество в злой сатире и комедию избрал для этого средством. <...> „Горе от ума“ — сатира, а не комедия: сатира же не может быть художественным произведением».

...«Письмо к Гоголю» ~ которое можно назвать порнографией России... — Характеристику этого письма Белинского Розанов дал позднее в статье «Белинский и Достоевский» (НВ. 1914. 8 июля. № 13764): «Его знаменитое „Письмо к Гоголю“ есть беспримерно глупое письмо. Человек из квартиры никуда не выходил, из редакции никогда не выходил — и судит о России. Мужика с бородой „лопатою“ не видал и твердит, что у „русских нет никакой религии“, что „деревня наша атеистическая, а вовсе не православная и даже не христианская“».

...он преклонился перед «равнодушием к действительности» Гёте... — Имеется в виду статья В. Г. Белинского «Менцель, критик Гёте» (1840).

...прославил Пьера Леру... — Французский социалист-утопист П. Леру издавал в Париже совместно с Жорж Санд журнал «Revue Indépendante», который получали в Петербурге. Отзывы Белинского о Леру, восторженные в 1842—1843 гг., стали весьма критическими в последние годы его жизни.

С. 150. ...«Скорбью ангела некогда загорится русская литература»... — начало заключительной фразы XXXI главы «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность» в «Выбранных местах из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.

...«У — Русь! тего ты хогешь от меня?..» — Здесь и далее цитируется поэма Гоголя «Мертвые души» (I, 11).

«Постигнуть я притом не могу...» — слова Мити из романа Достоевского «Братья Карамазовы» (I, 3, 3).

...пленной мысли раздраженье... — М. Ю. Лермонтов. «Не верь себе...» (1839).

С. 151. ...«труждающихся и обремененных». — Мф 11, 28.

...«медную хвалу»... — И. С. Аксаков в речи на открытии памятника Пушкину в Москве 8 июня 1880 г. сказал: «Пусть изваянный в меди образ этого всемирного художника и русского народного поэта неумолчно зовет...». К. Н. Леонтьев в книге «Восток, Россия и Славянство», которую хорошо знал Розанов, писал в главе о М. Н. Каткове: «В газетах напечатаны еще речи г. Островского, И. С. Аксакова о „медной хвале“».

С ЮГА

(с. 153)

Вошедшие в раздел статьи вызваны поездкой Розановых на Кавказ с целью пользования кисловодскими ваннами для поправки здоровья жены Варвары Дмитриевны. Розанов выехал из Петербурга 1 июня 1898 г. и вернулся в начале августа.

1. Около болящих

(с. 153)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *БВед.* 1898. 15 сент. № 251. См. *Варианты.*

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 308—318).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

С. 153. ...«и вот будет некогда...» — Откр 9, 10—11.

«— Равви, если ты Сын Божий...» — Ин 9, 2—7.

Брение — глина, влажная земля (*старослав.*).

О, Боже — могила и вера страшна. — А. В. Кольцов. Молитва (Дума) (1836).

...«слова, слова, слова»... — У. Шекспир. Гамлет, принц Датский. II, 2.

С. 154. ...«всягеская и во всем». — 1 Кор 15, 28.

...«талифа куми» — «и девица вста». — Мк 5, 41—42.

...«Мысль тегет из мозга, как урина из погек»... — слова К. Фохта (Фогта) из книги «Наивная вера и наука» (1854). См. также коммент. к с. 475.

...«философского камня» и «жизненного эликсира». — У средневековых алхимиков некий реактив, необходимый для превращения металла в золото и для создания эликсира жизни.

С. 154. *Силоамская купель* — купальня при Силоамском источнике в Иерусалиме, вода которого считалась священной. В евангельском эпизоде об исцелении слепорожденного, цитированном Розановым, Иисус посылает больного в Силоамскую купальню (Ин 9, 7).

С. 155. ...«милостивого самарянина»... — Лк 10, 30–35.

У Иова было семь сыновей ~ имел еще четырнадцать. — Иов 1, 2; 42, 13.

...«волос не падает с головы без воли»... — 1 Цар 14, 45.

«Смерть, где твое жало?»... — Ос 13, 14; 1 Кор 15, 55.

...«аз умираю». — 1 Цар 14, 43.

С. 156. ...мотив «Травиаты»... — повторяющийся мотив смерти в опере Дж. Верди «Травиата» (1853).

Се, жених грядет в полунощи... — Мф 25, 6; Триодь постная, Тропарь на утрени понедельника, вторника и среды Страстной седмицы.

Младенца ль милого ласкаю... — А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

Лысый, с белой бородою... — И. С. Никитин. Дедушка (1857–1858).

С. 157. ...«Аз есмь Альфа и Омега»... — Откр 1, 8, 17.

...«тихого ветра». — 3 Цар 19, 12.

Бовани (Кали) — в индуистской мифологии богиня злых духов, связанная с кровавыми жертвоприношениями и стремящаяся к разрушению. Ее главный храм Калигхата (в английском произношении Калькутта) дал название столице Бенгалии.

«Живые мощи» — рассказ (1874) И. С. Тургенева из цикла «Записки охотника».

...*Лиза Калитина с бессмертным ее выражением...* — Имеются в виду слова героини романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1858): «Христианином нужно быть не для того, чтобы познавать небесное... там... земное, а для того, что каждый человек должен умереть» (гл. 26).

...*закопавшиеся в землю раскольники...* — см. коммент. к с. 115.

2. В Кисловодском парке (с. 158)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *НВ*. 1898. 14 июля. № 8037, в качестве первой главки очерка «С юга». См. *Варианты*. Название дано при переиздании в «Литературных очерках».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 313–318).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

На очерк «С юга» откликнулся публицист В. С. Кривенко (под псевдонимом Василий Си-ло-вич) в статье «Русская кормилица и воскресающий Лазарь» (*НВ*. 1898. 26 июля. № 8049). Он отметил, что Розанов «написал интересный очерк на тему „послужиши всем — да и тебе послужат“. Талантливый автор заметок „С юга“ скорбит за нашу „окраинную политику“».

С. 158. ...«Сих есть царство небесное»... — Мк 10, 14.

...программа «Москов. Ведомостей», как она была сформулирована покойным Катковым... — М. Н. Катков, редактор «Московских Ведомостей» в 1851–1856 гг. и с 1863 г. до смерти в 1887 г., утверждал в своей газете интересы русского народа, принцип государственной целостности России («вопрос о Польше всегда был вопросом о России»).

С. 159. *Воспитательный Петербургский дом* — основан И. И. Бецким в 1770 г. для сирот и незаконнорожденных детей. Упразднен в 1918 г., и в его здании на Мойке, 52 расположен педагогический институт (ныне Педагогический университет им. А. И. Герцена).

Речь Посполитая — официальное название объединенного польско-литовского государства со времени Люблинской унии 1569 г. до 1795 г.

С. 160. *...деятельнейший и даровитейший попечитель угебного округа — на Кавказе...* — Имеется в виду К. П. Яновский, управлявший Кавказским учебным округом с 1878 по 1899 г.

...выдающиеся по дарованиям попечители были в Привисленском крае. — Речь идет о попечителях Варшавского учебного округа: Ф. Ф. Витте (1866—1879) и А. Л. Апухтине (1879—1897).

...«воскресающих Лазарей»... — Ин 11, 1—44.

С. 161. *...по примеру Виктора Эммануила...* — Имеется в виду объединение Италии во главе с королем Виктором Эммануилом (1861).

...«плоть от плоти нашей»... — Быт 2, 23.

...«Не в силе Бог, а в правде». — Повесть о житии и о храбрости благоверного и великого князя Александра (XIII в.).

С. 162. *«Общезеловек»* — слово-концепт, которым широко пользовались в полемике с оппонентами-либералами Н. Я. Данилевский и Ф. М. Достоевский. См., например, в очерке Достоевского «Влас» (1873) из «Дневника писателя»: «Видите ли-с, любить общезеловека — значит наверно уж презирать, а подчас и ненавидеть стоящего подле себя настоящего человека» (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1980. Т. 21. С. 33).

...проведа герез Ходобая и глаголы на «ци»... — Имеется в виду учебник латинской грамматики Ю. Ю. Ходобая (М., 1873; 11-е изд.: 1899).

С. 163. *...«третьем Риме»...* — Концепция «Москва — третий Рим» сформулирована в посланиях 1523—1524 гг. монаха Елеазарова псковского монастыря Филофея к великому князю Василию III.

3. «Горе от ума» (с. 163)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 8.

Впервые напечатано: *НВ*. 1898. 24 июля. № 8047, в качестве второй главки очерка «С юга». См. *Варианты*. Название дано при переиздании в «Литературных очерках».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 318—326).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

С. 163. *Имя Грибоедова связано по трагической конгине с Кавказом...* — А. С. Грибоедов был убит во время волнений в Тегеране 30 января 1829 г., будучи министром-резидентом при персидском шахе. Тело Грибоедова было доставлено из Тегерана в Тифлис и погребено на горе Мтацминда.

...я пошел в театр... — Розанов был в Кисловодске в июне-июле 1898 г.

С. 164. *...еще в рукописи ~ разошлась и выуглилась всюю гитающею Россией...* — По цензурным соображениям, при жизни Грибоедову удалось напечатать только отрывки из «Горя от ума» (7—10 явления первого действия и третье действие в альманахе «Русская Талия на 1825 год»), но полемика по поводу комедии на страницах большинства журналов побудила к быстрому распространению ее в бесцензурных списках. Первое издание пьесы со значительными пропусками появилось в 1833 г.

Карету мне, карету... — Горе от ума. IV, 14.

...искать, Где оскорбленному есть гувству уголок... — Там же.

...коллизии расхождения между равно близкими родными... — После смерти матери Лермонтова в 1817 г. между его отцом и бабушкой разгорелся спор о том, кто станет воспитывать ребенка, в результате которого мальчик остался на попечении бабушки.

С. 164. *...исполненного какого-то недоумения положения...* — После свадьбы с Н. Н. Гончаровой в феврале 1831 г. Пушкин вошел в большие долги частным лицам и правительству, испытывал вражду со стороны петербургской аристократии. Унизительное положение было подчеркнуто дарованным Николаем I придворным званием камер-юнкера, дававшимся обычно молодым людям.

...расхождения между страданием и любовью к тому, от кого или от него страдание... — Имеется в виду роман Ф. М. Достоевского с А. П. Суловой, ставшей позднее первой женой Розанова.

С. 164—165. *...расхождения между своим громадным умом и не пройденною ~ отвергаемую школою...* — Л. Н. Толстой проучился в Казанском университете три года и в апреле 1847 г. подал прошение об отчислении из-за недовольства казенной системой образования.

С. 165. *...«Грибоедов, конегно, умен, но не умен — Чацкий»...* — измененные слова из письма Пушкина П. А. Вяземскому 28 января 1825 г.

...да как герна, да как страшна... — слова Хлестовой (Горе от ума. III, 10).

...«Вот именно такая-то (имя и отчество)»... — вольное изложение слов из романа Л. Н. Толстого «Война и мир» (3, 3, V).

...ба! знакомые все лица... — Горе от ума. IV, 14.

С. 166. *...зтоб иметь детей, Кому ума не доставало...* — Горе от ума. III, 3.

«Земля и дети» — четвертый раздел в четвертой главе «Дневника писателя» Ф. М. Достоевского за июль-август 1876 г.

...Панишину, так удажливо нагавшему ухаживанье... — И. С. Тургенев. Дворянское гнездо. Гл. 40.

...Алпатыг едет в Смоленск... — Л. Н. Толстой. Война и мир. 3, 2, IV.

...«земля» ~ которую ~ собирався «пахать» Лаврецкий. — И. С. Тургенев. Дворянское гнездо. Гл. 33.

Контузился — затылком или в спину? — Розанов неточно передает слова Скалозуба после падения Молчалина: «Взглянуть, как треснулся он — грудью или в бок?» (Горе от ума. II, 7).

С. 167. *...дистанция огромного размера...* — Горе от ума. II, 5.

...ужимок во время ее обморока... — Горе от ума. II, 8.

...гляденья в дверь, когда она выходит из гостиной? — Горе от ума. I, 9. Начальная ремарка.

А ты, с которой был срисован... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 51.

...степеней известных... — Горе от ума. I, 7.

С. 168. *...монолог Чацкого о «французике из Бордо»...* — Горе от ума. III, 22. Слов о «прекрасной нашей до Петра одежде» там нет.

«Исторические думы» — 21 из написанных К. Ф. Рылеевым 25 дум (1821—1832) вышли отдельным изданием в его кн. «Думы» (М., 1825).

В самом конце «Войны и мира»... — Эпилог. I, XIV.

Ведь тот был сын екатерининского вельможи... — См. у Л. Н. Толстого: «Этот толстый молодой человек был незаконный сын знаменитого екатерининского вельможи, графа Безухова» (Война и мир. I, 1, II).

...жил при дворе... — Горе от ума. II, 2.

В «Миллионе терзаний» Гонгаров... — Розанов приблизительно воспроизводит характеристику Софьи в статье И. А. Гончарова «Мильон терзаний» (Вестник Европы. 1872. № 3), посвященной постановке «Горя от ума» в Александринском театре в 1871 г.

С. 169. *...«для образца слога»...* — намек на слова Молчалина: «Слог его здесь ставят в образец!» (Горе от ума. III, 3).

Один Молгалин — мне не свой... — Горе от ума. II, 5.

...на куртаге служалось оступиться. — Горе от ума. II, 2.

...он был женат на немке... — М. М. Сперанский в ноябре 1798 г. женился на 17-летней Елизавете Стивенс, дочери англиканского пастора. Она заболела чахоткой и скончалась в декабре 1799 г.

...стонет сизый голубогек... — одноименное стихотворение (1792) И. И. Дмитриева.

С. 170. ...птенец гнезда Петрова... — А. С. Пушкин. Полтава. III.

Чертопханов — герой рассказов И. С. Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» (1849) и «Конец Чертопханова» (1872) из «Записок охотника».

Увар Ивановиц — Стахов, родственник главной героини романа И. С. Тургенева «Накануне» (1860) Елены Стаховой.

«Гамлет *Щигровского уезда*» — герой одноименного рассказа (1849) из «Записок охотника» И. С. Тургенева.

...он стал растаскивать у «долгополых» персияшек их жен... — В Тегеране А. С. Грибоедов дал приют в русской миссии двум армянкам из гарема зятя шаха Алаяр-хана, что привело к истреблению миссии персами.

...«Войди к женам отца твоего». — 2 Цар 16, 21.

С. 171. ...вырезаны прекрасные слова... — Н. А. Грибоедова воздвигла в 1833 г. на могиле мужа памятник, на котором была надпись: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?».

4. Военно-Грузинская дорога (с. 171)

Автограф неизвестен.

Сохранилась вырезка из газеты *НВ* — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 6—7.

Впервые напечатана: *НВ*. 1898 2 сент. № 8087, в качестве третьей главки очерка «С юга». См. *Варианты*. Название дано при переиздании в «Литературных очерках», причем в тексте *НВ* перед абзацем: «Дарьяльское ущелье мне не показалось самой красивой частью...» вставлен абзац: «Я давно присматриваюсь к странному переименованию...».

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 326—333).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

С. 172. ...Ноя и его Ковзегга... — Согласно Библии, муж праведный Ной вместе с семейством был спасен Господом в ковчеге при Всемирном потопе, став новым родоначальником человечества (Быт 7—8).

Если бы, как у Поликрата, у меня был дорогой перстень... — Имеется в виду эпизод из «Истории» Геродота (II, 39—43), легший в основу баллады Ф. Шиллера «Поликратов перстень» (1797; рус. пер. В. А. Жуковского, 1831).

«Замок коварства» — В каменной лощине близ Кисловодска находятся скалы, получившие название «Замок любви и коварства». Согласно легенде, девушка не прыгнула вслед за возлюбленным в пропасть, несмотря на то что они договорились умереть вместе, чтобы отец не смог выдать ее замуж за богатого жениха.

...грудь ее ниже ~ занозевывает на пике. — Ср. у Лермонтова: «Ночевала тучка золотая / На груди утеса-великана» («Утес», 1841).

С. 174. ...через те скалы... — М. Ю. Лермонтов. Спор (1841).

Максим Максимовиц — персонаж романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» (1838—1840), закоренелый служака, собеседник Печорина.

Акакий Акакиевич — герой повести Н. В. Гоголя «Шинель» (1842) из чиновничьей жизни.

С. 174. ...«20-е число». — По двадцатым числам месяца российские чиновники получали жалованье.

Поза — маркиз Поза, персонаж драмы Ф. Шиллера «Дон Карлос» (1783—1787).

Моего вы знали ль друга?.. — У. Шекспир. Гамлет. III, 2. Пер. Н. А. Полевого.

С. 175. ...«Станислав»... — Польский орден св. Станислава, учрежденный в 1765 г. Станиславом Понятовским, стал в 1831 г. российским орденом, младшим по старшинству для награждения чиновников. Упразднен в 1917 г.

...«Анна»... — Орден св. Анны введен в 1797 г. Павлом I, им награждались офицеры за храбрость.

...*страх, что будет там?* — У. Шекспир. Гамлет. III, 2.

«Космос» — четырехтомный трактат (1845—1858) немецкого естествоиспытателя и географа Александра Гумбольдта.

С. 177. «Крестовый перевал» — высшая точка (2379 м) Военно-Грузинской дороги (Владикавказ — Тбилиси). Название получил в 1824 г. от каменного креста, поставленного для обозначения точки перевала.

...*природного костромига*... — Розанов родился в г. Ветлуге Костромской губернии, а в 1861 г., после смерти отца, переехал с семьей в Кострому, где прожил до 1870 г.

О ПИСАТЕЛЯХ И ПИСАТЕЛЬСТВЕ

Заметки и наброски

(с. 178)

Сохранилось начало автографа раннего замысла статьи (без имени Толстого в тексте) с заглавием «Гр. Л. Н. Толстой» — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 134, 134б, 135 (ср. *Варианты* 1-го тома настоящего издания). Перед текстом запись: «В „Заметки о писателях и писательстве“». Газетная вырезка статьи «Гр. Л. Н. Толстой» (НВ. 1898. 22 сент. № 8107) — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 199. Л. 59а—59б, частично использованная при подготовке «заметок». Так, в тексте вырезки, на л. 59б, подчеркнут на полях синим карандашом отрывок от слов «Много есть прекрасных лиц» до «какое-то умственное мешанство», вошедший в «заметки». На л. 59а вырезан текст отрывка от слов «В поздних своих писаниях» до «т. е. существенно не религиозных». Он включен в «заметки». Восходят к сентябрьской публикации о Толстом также два следующих фрагмента текста: 1) «именно такого прекрасного лица ~ в тишь и величие истории» и 2) «В лице — вся правда жизни ~ что он совершил».

Впервые напечатано: Литературные очерки: Сб. статей. СПб. 1899. С. 211—226. Заголовок дан П. П. Перцовым.

Раздел о книге Н. П. Барсукова впервые опубликован в «Биржевых Ведомостях» (1898. 24 янв. № 23) под названием «Палеограф». Раздел о кн. В. П. Мещерском — впервые в газете «Мировые Отголоски» (1897. 29 июня. № 177).

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 334—347).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

С. 178. ...*бюста гр. Л. Толстого, выполненного И. Я. Гинцбургом*... — Первый бюст Л. Н. Толстого создан скульптором И. Я. Гинцбургом в 1890 г.

«Барковщина» — по имени поэта и переводчика И. С. Баркова, автора откровенных эротических произведений.

С. 179. «Георгий» — орден св. Георгия за храбрость в бою против неприятеля. Учрежден Екатериной II в 1769 г. для генералов и офицеров; с 1807 г. для солдат и унтер-офицеров. Упразднен после 1917 г. В Российской Федерации введен в 2000 г.

...«да будет благословенно имя Господне»... — Иов 1, 21; Пс 112, 2; Дан 2, 20.

«Без веры в Бога, как же вы будете воспитывать детей?». — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. V, 1.

В последующих главах романа... — Там же. V, 4—6.

...радостное исповедание кн. Нехлюдова... — В гл. XXV повести Л. Н. Толстого «Юность» описана молитва Нехлюдова, но, вероятно, Розанов имеет в виду исповеди Иртеньева (гл. VI, VIII).

С. 180. Дрон — персонаж романа Л. Н. Толстого «Война и мир», староста имения Богучарово.

...до двух братьев, офицера и прапорщика... — имеются в виду герои рассказа Л. Н. Толстого «Севастополь в августе 1855 года» братья Козельцовы, однако упомянутого Розановым эпизода в рассказе нет.

С. 181. ...купца ли на «Никите», «Никиты» ли — под купцом... — Имеются в виду герои рассказа Толстого «Хозяин и работник» (1895).

...в нагавшемся в «Ниве» «Воскресении». — Роман Л. Н. Толстого печатался в журнале «Нива» с № 11 (13 марта) по № 52 (25 декабря) 1899 г.

Как дерзок ответ Каина Богу... — Быт 4, 9: «И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему?».

Коробогка — персонаж поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

«Вековая мечта моя — это воплотиться в семипудовую купчиху и нагать свегки ставить...» — неточная цитата из главы «Черт. Кошмар Ивана Федоровича»: «Я отдал бы всю эту надзвездную жизнь, все чины и почести за то только, чтобы воплотиться в душу семипудовой купчихи и Богу свечки ставить».

С. 183. ...иль на Булгарина наступишь... — коллективная стихотворная шутка В. А. Соллогуба и А. С. Пушкина «Коль ты к Смирдину войдешь...» (между 1831 и 1836).

...«сохрани мое Горе»... — Отправляясь из Петербурга в свою последнюю поездку в Персию, Грибоедов подарил Булгарину авторизованный список своей комедии с собственноручной пометой на титульном листе: «„Горе“ мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов. 5 июня 1828».

Глас народа — из пословицы «Глас народа — глас Божий».

Ах, Боже мой! Что станет говорить... — слова Фамусова из комедии «Горе от ума» (IV, 15).

...изрежения о «горгигном зерне»... — Мф 13, 31; Мк 4, 31; Лк 13, 19.

С. 184. ...«осиновый кол»... — По старинному обычаю, в могилу «колдуна» или «ведьмы» вбивали кол из осины, чтобы «нечистая сила» не могла вредить никому. Ныне означает: покончить с чем-либо раз и навсегда.

С. 185. Спящий в гробе — мирно спи... — В. А. Жуковский. Торжество победителей (1828).

Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове. Николая Барсукова... — Историк литературы Н. П. Барсуков был знаком с Розановым с 1894 г. Посылая эту свою рецензию ему, Розанов просил Барсукова помочь ему уйти со службы в Государственном контроле и устроиться где-нибудь «по ученой части» (см.: *Розановская энциклопедия*. С. 109—110).

С. 186. ...несть «ни болезнь, ни вздыхания»... — из поминальной молитвы.

Иных уж нет, а те далече... — А. С. Пушкин. Евгений Онегин. VIII, 51.

В этом же 1862 году Костомаров задумал посетить Новгород... — С 3 по 10 мая 1862 г. Н. И. Костомаров, А. Н. Майков и Н. П. Барсуков осматривали архитектуру Новгорода, его монастыри и церкви.

«Званка» — имение Г. Р. Державина на реке Волхове в Новгородской губернии, где он проводил каждое лето с 1803 г. до смерти в 1816 г.

С. 186. *...второй том сочинений Хомякова...* — Сочинения А. С. Хомякова вышли в четырех томах (М.; Прага, 1861—1873; 3-е изд.: 1886). Во второй том входят «Сочинения богословские».

С. 187. *...два тома отвратительно-сероватого издания...* — имеется в виду издание: Леонтьев К. Н. Восток, Россия и Славянство: Сб. статей. М., 1885—1886. Т. 1—2.

«Византизм и славянство» — статья в книге К. Н. Леонтьева «Восток, Россия и Славянство», впервые опубликованная в «Чтениях в Императорском Обществе истории и древностей российских при Московском университете» (М., 1875. № 3; отд. изд.: М., 1876).

С. 188. *...Пальмер, которого ведь ни в чем он не убедил...* — А. С. Хомяков переписывался с англиканским дьяконом В. Пальмером в 1844—1854 гг., стремясь помочь ему присоединиться к православию.

Жрецы ль у вас метлу берут? — А. С. Пушкин. Поэт и толпа (1828).

Стих был осмеян... — По воспоминаниям С. П. Шевырёва, Пушкин читал стихотворение «Поэт и чернь» (так оно называлось в первой публикации в «Московском Вестнике». 1829. Кн. 1) в салоне Зинаиды Волконской и, видя недовольство, в сердцах сказал: «В другой раз не станут просить» (Москвитянин. 1841. № 9. С. 264).

Сочинения И. С. Аксакова изданы... — Аксаков И. С. Соч. М., 1886—1887. Т. 1—7.

...статьи М. Н. Каткова, собранные в «полное собрание»... — Катков М. Н. Собрание передовых статей «Московских Ведомостей» с 1863 по 1887 г. М., 1897—1898. Т. 1—25.

...полное собрание сочинений Ю. Ф. Самарина... — Самарин Ю. Ф. Соч. М., 1877—1911. Т. 1—10, 12.

С. 189. *...буду тем любезен я народу...* — А. С. Пушкин. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный...» (1836).

«Довлеет дневи злоба его»... — Мф 6, 34.

Пусть будет пухом им земля... — Марциал. Эпиграммы. 9, 30, 11.

...составитель нашей первой Летописи записал... — Подразумевается преподобный Нестор. Розанов излагает легендарное сказание о пребывании апостола на местах будущих Киева и Новгорода из «Повести временных лет».

...Лжедмитрий игнорировал ее... — О нелюбви Лжедмитрия к русской парной бане сообщал Адам Олеарий в своем сочинении «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно» (1647; рус. пер.: 1869—1870).

С. 190. *Баня глубоко народна...* — См. статью В. А. Фатеева «Баня» в «Розановской энциклопедии» (с. 1269—1271).

ПАМЯТИ УСОПШИХ

1. О. И. Каблиц (Юзов)

(с. 191)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РО. 1893. № 11. С. 513—518, под названием «Памяти Осипа Ивановича Каблицы». В конце статьи дата: С.-Петербург, 6 октября 1893 года. См. *Варианты*. В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 348—351).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Каблиц Иосиф Иванович (1848—1893) — писатель, публицист. Розанов знал его с 1886 г. по службе в Государственном контроле. См. о нем статью О. В. Быстровой в «Розановской энциклопедии» (с. 433 — 435).

Статья Розанова вызвала резкие суждения анонимного рецензента «Русской Мысли» (1894. № 1. Библиогр. отдел. С. 45), который замечает: «Один из сотрудников „Русского Обозрения“ доходит в этом отношении до геркулесовых столбов. В статье, посвященной

„Памяти Каблица“, он утверждает, наприим., что существует связь между общинным владением земель и православием».

С. 194. ...«в селениях праведных, иде же несть болезнь, пегаль и въздыхание...» — контаминация Розанова. См.: Евр 13, 14 (ср. эпиграф статьи о Каткове, с. 107). См. также коммент. к с. 186.

2. Ю. Н. Говоруха-Отрок
(† 27 июля 1896 г.)
(с. 194)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РО. 1896. № 9. С. 306—395 как часть статьи «Вечная память» о Ю. Н. Говорухе-Отроке и Н. Н. Страхове. См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 351—355).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (1850—1896) — публицист, критик газеты «Московские Ведомости», где печатался под псевдонимом Ю. Николаев. Вариант печатаемого здесь некролога опубликован в газете «Свет» (1897. 24 янв. № 23) и вошел в 1-й том наст. изд. (с. 472—474). См. статью Е. В. Ивановой в «Розановской энциклопедии» (с. 258—261) и двухтомник сочинений Говорухи-Отрока «Во что веровали русские писатели?» (СПб.: Росток, 2012), подготовленный А. П. Дмитриевым и Е. В. Ивановой.

С. 194. *Гёзы* — народные повстанцы во время Нидерландской революции XVI в.

С. 195. ...*разбор ~ литературной деятельности Тургенева...* — Николаев Ю. Тургенев. М., 1894.

...*критический очерк произведений Вл. Короленко...* — Николаев Ю. Очерки современной беллетристики. В. Г. Короленко. М., 1893.

...*раскрытие ~ музыки Некрасова...* — Николаев Ю. Гражданская поэзия // МВ. 1896. 31 марта, 2, 6, 11 апр. № 87, 89, 93, 99.

...*была оттенена и обрисована ~ Тургеневым.* — Имеется в виду рассказ И. С. Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» (1849) из «Записок охотника», а также его статья «Гамлет и Дон Кихот» (1860).

...*«делами и днями»...* — название поэмы Гесиода (также «Труды и дни»).

С. 196. ...*второго фельетона из двух, посвященных Антону Рубинштейну...* — Имеются в виду две статьи Ю. Н. Говорухи-Отрока в газете «Московские Ведомости» по поводу книги А. Г. Рубинштейна «Музыка и ее представители»: «Искусство» (1891. 14 дек. № 345) и «Сумерки богов» (1891. 21 дек. № 352).

С. 196—197. ...*в юности он принял участие в некотором массовом движении.* — В 1874 г. Говоруха-Отрок был привлечен к «хождению в народ», участвовал в нескольких сходках, подвергся аресту, провел три года в тюрьме и был приговорен к ссылке, после чего печататься мог только под псевдонимом.

С. 197. ...*пожертвовал ~ родовым именем...* — Говоруха-Отрок рано лишился отца, и наследственное имение, обремененное большими долгами, было продано еще в гимназические годы; в материалах следствия оно не упоминается. Из участников процесса 193-х, по которому был осужден Говоруха-Отрок, имением на нужды революции пожертвовал С. С. Синегуб.

Вопрос о гибели парохода «Русалка»... — Имеется в виду броненосец береговой обороны «Русалка», погибший в 1893 г. при переходе из Либавы в Кронштадт. Был обнаружен только один мертвый матрос.

Окончить жизнь — уснуть... — У. Шекспир. Гамлет. III, I. Пер. А. И. Кронеберга.

С. 198. ...«*всягетская во всем*». — См. коммент. к с. 154.
...«*путем и жизнью*»... — Ин 14, 6.

З. Н. Н. Страхов
(† 24 января 1896 г.)
(с. 199)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РО. 1896. № 10. С. 629—664, под названием «Вечная память».
См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 355—375).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Статья «<Годовщина смерти Н. Н. Страхова и Ю. Н. Говорухи-Отрока>» опубликована в газете «Свет» (1897. 24 янв. № 23) и вошла в 1-й том наст. изд. (с. 472—475). О значении Н. Н. Страхова для Розанова см. в статье В. А. Фатеева в «Розановской энциклопедии» (с. 946—958).

С. 199. ...*статьи своей «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого»*... — РВ. 1895. № 8. С. 154—187.

С. 200. «*Вера и Разум*» — богословско-философский журнал, выходивший при Харьковской духовной семинарии (1884—1917).

...*в Евангелии сказано, что именно к Богу любовь*... — Мф 22, 37—39.

...«*вложить палец*»... — Ин 20, 24—29.

С. 201. ...*об исцелениях в Лурде*. — В феврале 1852 г. в Лурде (Франция) произошло явление Богоматери 14-летней Бернадетте Субиру, канонизированной затем Ватиканом. С тех пор в Лурде проводились исцеления больных.

...*сообщений проф. Доробца*... — О своем исцелении от сикоза (воспаления кожи) приват-доцент Московского университета Н. К. Доробец рассказал в «Письме к издателю» (МВ. 1895. 12 окт. № 281). Розанов откликнулся на это статьей «Нечто об „излечениях“ и о чудесном» (РВ. 1896. № 1. С. 331—338; в книге «Природа и история» воспроизведена под названием «О чудесном в мире»).

...*в ряд «русских лунов»*... — «Русские луны» (1865) — цикл рассказов А. Ф. Писемского. Имеются в виду заключительные строки рассказа «Красавец».

С. 202. ...«*жизнь бесконечная*». — Из поминальной молитвы.

С. 203. ...*я переехал в Петербург, из ближайшего соседства к Татеву*... — Стараниями друзей Розанов был перемещен по службе в петербургский Государственный контроль весной 1893 г., до этого с 1891 г. он учительствовал в прогимназии г. Белый Смоленской губ. Живя в Белом, он неоднократно приезжал в имение Татев той же губернии, где «двадцать лет учил крестьянских ребят вышедший в отставку профессор Московского университета С. А. Рачинский» (Розанов В. Уголок Бессарабии // НВ. 1913. 31 мая. № 13368). См. также: Розанов В. С. А. Рачинский и его Татев // НВ. 1902. 22 мая. № 9415.

С. 205. ...«*пшеницы и плевел*»... — Мф 13, 24—30.

...*убеди прийти*... — выражение из евангельской притчи о гостях, отказавшихся прийти на пиршество: «И сказал господин рабу: пойдй вдоль улиц и изгородей и заставляй войти, чтобы наполнился дом мой» (Лк 14, 23—24). Оно послужило опорой в деятельности инквизиции и часто использовалось для оправдания насильственного обращения иноверцев в христианство.

С. 206. ...*о духовборцах на Кавказе, куда-то сосланных около этого времени*... — Духоборы, в первой половине 1840-х гг. переселенные из Таврической губернии в Закавказье, в 1895 г. заявили властям о своем отказе по религиозным причинам принимать присягу и служить на военной службе. В наказание двести человек были посажены в тюрьму, до

четырехсот семей были разосланы по армянским, грузинским и татарским деревням Тифлисской губернии, по две-три семьи в деревне, без земли и с запретом общения между собою.

...из «Дневника писателя» Достоевского... — глава «Среда» в «Дневнике писателя» за 1873 г.

...род «лукавый и прелюбодейный»... — Мф 12, 39; 16, 4.

Спаситель повелел Петру — вложи мет в ножны... — Ин 18, 11.

«Хладающая любовь»... — Мф 24, 12 («охладеет любовь»).

С. 207. «Свобода и вера» — Розанов В. Свобода и вера // РВ. 1894. № 1. С. 265—287.

...последующих статьях... — имеются в виду статьи В. В. Розанова: 1) Ответ г. Владимиру Соловьёву // РВ. 1894. № 4. С. 191—211; 2) Что против принципа творческой свободы нашлись возразить защитники свободы хаотической? // РВ. 1894. № 7. С. 198—235.

...все в ней «обильно», «широко» — и все «не устроено»... — отсылка к словам легендарных посланцев, призывавших варягов править на Руси: «Земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет» («Повесть временных лет»).

...«языгеским философом»... — Имеется в виду Аристотель, разработавший силлогистику в своем «Органоне».

С. 208. ...в «лаигеских» землях южных славян... — Прежде всего речь идет о Болгарском княжестве, в котором была принята конституция и учрежден однопалатный парламент (1879). *Лаигеский* — светский.

...«же за ны»... — из православного Символа веры («Распятого же за ны при Понтий-стем Пилате»).

...«же можаху»... — Тропарь Преображения Господня. Глас 7-й («Христе Боже, показавый учеником Твоим славу Твою, якоже можаху»). Розанов имеет в виду следующий эпизод из 3-й главы «Пошехонской старины» (1887—1889) М. Е. Салтыкова-Щедрина: «...по поводу слов тропаря: *Показавый угеником своим славу твою, яко же можаху*, — спорили о том, что такое „жеможаха“? сияние, что ли, особенное? А однажды помещица-соседка, из самых почетных в уезде, интересовалась узнать: что это за „жезаны“ такие? <...> отец заметил ей: „Как же вы, сударыня, Богу молитесь, а не понимаете, что тут не одно, а три слова: же, за, ны... «за нас» то есть...“».

С. 209. ...понуждал Спаситель «выйти торгующих из храма»... — Мф 21, 12; Мк 11, 15; Лк 19, 45; Ин 2, 14.

С. 210. ...гравюра Божией Матери Рафаэля — *della Sedia*... — картина «Мадонна делла Седиа, или Мадонна в кресле» (1514).

...надгробными изваяниями аллегорических «Дня» и «Ноги» — Микель Анджелло. — Названы скульптуры (1520—1535) над могилой Джулиано Медичи во Флоренции.

«Математические нагала натуральной философии» — основной труд (1687) И. Ньютона.

...у г. Никольского, автора обширных посмертных статей... — Никольский Б. В. Николай Николаевич Страхов: Критико-биографический очерк. СПб., 1896.

...статьи — «О мере, числе и времени». — Опубликована посмертно: *Страхов Н.* О времени, числе и пространстве // РВ. 1897. № 1. С. 69—81; № 2. С. 264—278.

С. 211. ...помнит ~ по Одесской гимназии... — Н. Н. Страхов в 1851 г. был учителем во 2-й Одесской гимназии.

Николаевский военный госпиталь — учрежден в 1835 г. в Петербурге, и к 1840 г. возведен главный корпус на Конногвардейской улице (с 1900 г. Суворовский проспект) и ряд других строений.

С. 212. ...в каком-то литературном «Сборнике»... — Три главы «Декабристов» опубликованы в книге: XXV лет (1859—1884): Сборник, изданный Комитетом Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. СПб., 1884. С. 216—251.

С. 213. *Перед операцией ~ начал письмо к гр. Л. Н. Толстому...* — имеется в виду письмо, начатое Страховым 27 мая и законченное 6 июня 1895 г., уже после операции. Страхов писал: «...я очутился в Госпитале, где Мультиановский через час будет делать мне операцию — вырезать язву из-под языка и, вероятно, железы из-под нижней челюсти» (Толстой Л. Н., Толстая С. А. Переписка с Н. Н. Страховым. [М.; Оттава], 2000. С. 102).

...Иван Павлович З. ... — в журнальном тексте статьи указана фамилия: Зверев.

С. 214. *...статья моя была содержательна...* — Речь идет о статье Н. Н. Страхова «Заметки о Тэне» (РВ. 1893. № 4. С. 238–258), упомянутой в библиографическом обзоре Я. Н. Колубовского в приложении к «Вопросам Философии и Психологии» (1895. Кн. 3. Май).

...статьей о «Хозяине и работнике» в «Вестнике Европы»... — статья Л. З. Слонимского «Новый рассказ гр. Л. Н. Толстого» (Вестник Европы. 1895. № 5).

...несколько грубых упреков за «хозяина»... — имеется в виду статья Розанова «По поводу одной тревоги гр. Л. Н. Толстого» (1895). См. коммент. к с. 199.

С. 216. *...сборника стихов...* — Кусков П. А. Наша жизнь. СПб., 1889.

С. 217. *...стихотворение гр. Голенничева-Кутузова...* — А. А. Голенничев-Кутузов. Майский день (РВ. 1896. № 1).

...в ночь на 1 января 1889 года ему принесли звезду... — Н. Н. Страхов был награжден орденом св. Станислава 1-й степени. 4 января 1889 г. Страхов жаловался С. А. Толстой: «Я думаю, что так как я в отставке, то безопасен от всяких повышений, наград, и т. п. Но вдруг мне дают звезду по Ученому Комитету, где награда — величайшая редкость. Не могу Вам выразить своей досады. Зачем мне эта звезда?» (Толстой Л. Н., Толстая С. А. Переписка с Н. Н. Страховым. [М.; Оттава], 2000. С. 215).

С. 218. *...как это заметил уже Аристотель.* — Аристотель. О душе. II, 2.

С. 219. *Приманивать изысканным убором...* — Е. А. Баратынский. «Не ослеплен я Музою моею...» (1829).

С. 220. *...был и академик...* — В 1889 г. Н. Н. Страхов был избран членом-корреспондентом С.-Петербургской Академии наук.

С. 221. *...кладбище ~ уединенный женский монастырь.* — Н. Н. Страхов был похоронен на кладбище при Воскресенском Новодевичьем монастыре под Петербургом.

С. 222. *«Ныне отпущаеши»* — Лк 2, 29.

4. Ф. Э. Шперк (с. 223)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: РО. 1897. № 11. С. 459–465. См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 376–380).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Шперк Федор Эдуардович (1872–1897) — философ, критик, поэт, друг Розанова, знакомство с которым началось в 1890 г. по переписке. См. о нем статью Т. В. Савиной в «Розановской энциклопедии» (с. 1188–1191).

С. 223. *...в Императорской санатории «Халила», в Финляндии...* — Основана в 1889 г. для лечения легочных больных в волости Уусикиркко на Карельском перешейке (ныне туберкулезный санаторий «Сосновый Бор» в Выборгском районе).

...он умер, едва достигнув 26 лет. — Ф. Э. Шперк родился в 1872 г., и в год смерти ему исполнилось 25 лет.

С. 225. *...«отрясения праха от ног»...* — Мф 10, 14.

...«служить» ~ «подслуживаться». — Реминисценция слов Чацкого: «Служить бы рад, подслуживаться тошно» («Горе от ума»; II, 2).

5. Я. П. Полонский
(† 18 октября 1898 г.)
(с. 228)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: С.-Петербургские Ведомости. 1898. 22 окт. № 290. См. *Варианты*.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 7 (с. 380—382).

Печатается по тексту 2-го издания «Литературных очерков».

Полонский Яков Петрович (1819—1898) — поэт. Первый сборник стихов («Гаммы») вышел в 1844 г. в Москве. См. о нем статью в «Розановской энциклопедии» (с. 731—732).

С. 228. *Блажен незлобивый поэт...* — начальная строка стихотворения (1852) Н. А. Некрасова, ответом на которое стало стихотворение Я. П. Полонского «Блажен озлобленный поэт...» (1872).

С. 229. *...в «антологическом роде»...* — название одного из тематических циклов стихотворений А. Н. Майкова.

...«Три смерти», «Два мира»... — Драматическая поэма А. Н. Майкова «Три смерти» (1857) в переработанном виде вошла в трагедию «Два мира» (1872, 1881).

...«Из гностиков», «Из древних», «На родине»... — Имеются в виду тематические циклы стихотворений А. Н. Майкова «Из Аполлодора Гностика», «Подражания древним», «Дома».

«Кузнецик-музыкант» — аллегорическая сатирическая поэма (1859) Я. П. Полонского с подзаголовком «Шутка в виде поэмы».

С. 231. *«Не ненавижу и люблю»...* — Катулл. Стихотворения. LXXXIII.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Заметки о Польше

(с. 232)

Автограф неизвестен.

Впервые напечатано: *Розанов В. В.* Литературные очерки: Сб. статей / Изд. П. П. Перцова. СПб.: Тип. М. Меркушева, 1889. С. 211—218. Из 2-го издания книги статья была исключена.

В Собр. соч. Розанова включено в т. 29 (с. 724—730).

Печатается по тексту 1-го издания «Литературных очерков».

С. 232. *Князь Адам Чарторыйский в записках своих...* — По-русски записки русского и польского государственного деятеля А. Чарторыйского были изданы под названием «Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I» (М., 1912—1913. Т. 1—2).

...Тарговицкой конфедерации... — Акт Тарговицкой конфедерации, составленный польскими магнатами во главе с К. Браницким и под наблюдением в Петербурге Екатерины II, был опубликован 14 мая 1792 г. в момент вторжения царских войск в Польшу и содействовал второму разделу (1793) Речи Посполитой между Россией и Пруссией. Этот акт вошел в историю Польши как символ национальной измены, и во время польского восстания 1794 г. некоторые деятели Тарговицкой конфедерации были казнены.

...приехал с братом в Петербург... — Екатерина II приказала конфисковать владения Чарторыйских. В 1895 г. Адам с младшим братом Константином приехал в Петербург

и в результате переговоров императрица согласилась отказаться от этих планов, если молодые князья поступят на русскую службу.

С. 236. ...*Нахимова, бывшего инспектором студентов в 40-х годах...* — Имеется в виду Пл. С. Нахимов, инспектор Московского университета (1834—1848), брат адмирала.

С. 237. ...*подвиг Кирилла и Мефодия.* — Речь идет о братьях, славянских просветителях, первых переводчиках богослужебных книг на старославянский язык. Началом славянской письменности считается 863 г.

...*«пан Тадеуш»...* — Отсылка к поэме А. Мицкевича «Пан Тадеуш» (1834), энциклопедии старопанского быта, нравов старой шляхты.

Нервоз — невроз (*устар.*).

ТАЙНА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ПИСАТЕЛЯ (с. 239)

Сохранился автограф черными чернилами — РГАЛИ. Ф. 419. Оп. 1. Ед. хр. 170. Л. 1—173.

Л. 2. *Письмо на бланке журнала «Новый Путь».*

Для типографии:

1) Эта статья пойдет в *приложении* к журналу (вместо «Записок» Собраний), с особой пагинацией; в № надо поместить от 2 до 3 листов; на *колон-цифрах* писать: налево: В. В. Розанов, направо: Тайна («Новый Путь» притом на колон-цифрах не ставить).

2) Шмуц-титул поставить только *один раз* (при начале) и *соединить его со статьей*, а не с набранным журналом, как было с «Записками».

3) Листы со статьей нужно печатать на 600 экземпляров *больше*, чем остальной журнал.

4) Корректуру автору *не* посылать.

П. Перцов

В. В. Розанов

Тайна

Из записной книжки писателя

<Карандашом запись:> Шмуц-титул для всех страниц. Повторять его не нужно (и соединить со статьей, а не с набранными журналами). Статья будет печататься в конце №№, с особой пагинацией (вместо «Записок» Собраний). П. П.

Для статьи — мелкий корпус на шпонах.

В № 1 <переправлено с № 2> пустить 2 листа (остановив, где случится, хотя бы на переносе, как сделано с приложениями).

Тайна¹

Из записной книжки писателя

<Зачеркнуто синим карандашом:> (Комментарий к жизни одной женщины)

<Карандашом написано:> мелкий корпус на шпонах. Корректуры автору *не посылать*.

¹ <Сноска вычеркнута> Настоящее рассуждение было задумано в форме журнальной статьи, как в точности «Комментарий» к взволновавшему автора «письму одной женщины». Тема, однако, поставленная этим письмом, внедряется в такие глубины человеческой природы и всех исторических сплетений, что, несмотря на усилия автора — желаемый «конец» статьи не настаивал, и «Комментарий» как «журнальная статья» удлинился в «книгу». Однако — переделав статью в книгу, или книгу разрезав на ряд отдельных журнальных статей — равно зна-

<Эпиграфы перечеркнуты синим карандашом:>

Скопец и каженник в сонм Господень да не входят.

Второзаконие.

И повел меня в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, с семью головами и десятью рогами. И жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена золотом и драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодействия ее; и на челе ее написано имя — тайна.

Апокалипсис.

...для меня

Так это ясно — как простая гамма.

Пушкин.

<Зачеркнуто синим карандашом:> В № 302 «Биржевых Ведомостей», за 1896 г., в форме фельетона было напечатано следующее открытое письмо, подписанное инициалами Е. Д. и обращенное к известному доктору г. В. Богословскому: <См. здесь же внутри.>

Так, подобно зарезанной и недорезанной курице, кричит без имени, без полной подписи какая-то женщина «из Витебска». Да не будет голос ее оставлен втуне..

Работа над «Тайной» начиналась в конце 1890-х гг. В январе 1898 г. Розанов писал А. А. Александрову, предлагая «тетрадь» в 200 страниц для публикации в «Русском Обозрении»: «Комментарий к Письму женщины стал переходить в несчастье, в исследование самой женщины. Тут открылась тема пола: и едва я подошел к ней, как увидел, что, в сущности, все тайны тайн связаны тут в узел. <...> В обширное исследование, уже оно написалось, введена разгадка Гоголя — в его психике, Лермонтова („демонизм“ его), Достоевского, Толстого; и затем Платона, коего „Федр“ и „Пир“ мною комментированы, как „Легенда об Инквизиторе“; до сего доведена моя работа, перевалившая за 320-ю страницу моего обычного письма, когда я бросил ее, чтобы перейти к фельетонам для „хлеба насущного“» (Розанов В. В. О себе и жизни своей. М., 1990. С. 678). О том же Розанов общал в письме к редактору «Вестника Европы» М. М. Стасюлевичу (РГАЛИ. Ф. 1167. Оп. 2. Ед. хр. 12; сообщено В. Г. Сукачом). Это весьма похоже на ту «громадную рукопись, неоконченную», которую во втором коробе «Опавших листьев» Розанов называет под именем «Лев и агнец» (Л. С. 309). В отвергнутых черновых набросках к началу «Тайны» и варианте ее подзаголовка («Комментарий к жизни одной женщины») упомянута публикация: Е. Д. Открытое письмо к доктору В. Богословскому: (От русской женщины) // *БВед.* 1896. 31 окт. № 301. С. 1—2. Автор, проживавшая в Витебске, призвала уничтожить проституцию, протестуя против суждений о ее неискоренимости: «Прихо-

чило бы отнять из произведения «живую душу», т. е. тот дух страсти, волнения, недоумения, стыдливости, который держал автора в напряжении в течение двух лет писания «статьи-книги». Благоклонный читатель да извинит автору, что он предполагает держать его внимание в слишком продолжительном напряжении, и взамен автор обещает терпеливым среди читателей, что многое «скрытое» от них — станет для них после прочтения «явным».

дится слышать по этому поводу: „Гони природу в дверь — она влетит в окно!“ Но это ложь! Разврат не может быть врожден...» (с. 1). Е. Д. откликнулась на речь В. С. Богословского на Смоленском съезде врачей, в которой была озвучена программа будущего съезда сифилидологов.

В ходе работы замысел «Тайны» претерпел значительные изменения, упоминания о письме Е. Д. были сняты, однако в начале 1900 г. Розанов планировал начать 2-й том книги «Религия и культура» (проект не состоялся) публикацией: «Письмо одной женщины к доктору Богословскому, из „Биржевых Вестей“, по поводу съезда сифилидологов» (см. его письмо к П. П. Перцову от 1 января 1900 г.: РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 14 об.). Поскольку рукопись «Тайны» издать не удалось, целый ряд мотивов и сюжетов из книги Розанов использовал в своих статьях конца 1890-х — начала 1900-х гг.

Из сохранившихся указаний П. П. Перцова метранпажу (они приведены выше) видно, что рукопись предполагалось напечатать в качестве приложения к журналу «Новый Путь» вместо публиковавшихся там вплоть до декабрьской книжки за 1903 г. Записок Религиозно-философских собраний, однако это намерение не было воплощено в жизнь.

31 января 1913 г. Перцов, помня о неизданной книге друга, советовал ему: «Кстати: мне пришло в голову: почему бы Вас. Вас. Розанову не попробовать для „своего“ читателя, к<ак> Рождествин, Шестаков и пр., и пр., издавать маленький *свой журнальчик* — „Свой угол“? <...> Ведь нового „Нов<ого> Пути“ Вы не дождетесь. Да и не нужна Вам эта громоздкая колесница. А просто своя легонькая таратаечка (3—4 руб. в год — *подписки*), к<ото>рая и покатила бы, и повезла всех Ваших „Львов“ и „Овнов“ по добрым друзьям. Подумайте-ка над этим!» (РГАЛИ. Ф. 1796. Оп. 1. Ед. хр. 86. Л. 19—19 об.).

Впоследствии Перцов писал в «Воспоминаниях о В. В. Розанове» (1919): «Осталась ненапечатанной и большая работа В. В. 90-х годов — эпохи первых его „египетских“ увлечений и расцвета под символическим заглавием „Лев и Овен“. Эту рукопись он тщетно предлагал тогда по очереди всем „толстым“ журналам: они были слишком тощи, чтобы ее вместить. Между тем это, вероятно (судя по беглому просмотру), одна из главных его работ. Она написана в золотую его пору и ведет мысль розановскими путями, начиная от „Диалогов“ Платона, через восточные культы, в глубину любимого Египта, символы которого он начинал тогда разгадывать с таким страстным энтузиазмом...» (Перцов П. П. Литературные воспоминания. М., 2002. С. 270).

Печатается впервые по автографу. Подготовка текста И. В. Логвиновой. Перевод греческих текстов выполнен С. В. Суховым.

Эпиграф из «Второзакония» (23, 1). Ср. также: «Если у тебя будет кто нечист от случившегося ночью, то он должен выйти вон из стана и не входить в стан» (Втор 23, 10). *Каженик* — скопец.

Эпиграф из «Апокалипсиса» (17, 3—5).

Эпиграф из Пушкина — первые слова Сальери из маленькой трагедии «Моцарт и Сальери» (1830).

С. 241. *...лет 8 назад, в Липецке...* — В июне 1888 г. Розанов лечился на минеральных водах Липецка.

С. 242. *«ветхая деньми»* — см. коммент. к с. 111.

...на Рождественские каникулы... — В январе 1889 г. Розанов ездил из Ельца через Москву в Петербург.

С. 243. *...судить, и только судом «перов».* — Шутливая отсылка к привилегированному суду пэров, которому подлежали представители высших сословий средневекового общества; в нем не участвовали присяжные заседатели.

С. 244. *...привязанность Корнелии Римской...* — Дочь Сципиона Африканского Старшего прославилась как мать двух Гракхов, Тиберия и Гая, воспитанию которых она посвятила себя, отказавшись после смерти мужа от руки египетского царя Птолемея VIII.

С. 244. *...трапезой Господней...* — Мал 1, 7 и 12.

Куверт — столовый прибор.

С. 245. «Петрушка» — кукла-шут, потешник, персонаж русского народного балаганного театра.

...подражание ~ по Аристотелю... — Аристотель. Поэтика. 2 («мимесис»); катарсис — Там же. 6.

В «Одиссее» ~ встретил там тень Ахиллеса... — Речь идет о последней, 24-й песни «Одиссеи» Гомера.

С. 247. *...в «Северных Цветах» за 1832 год...* — Альманах «Северные Цветы на 1832 год» был издан в Петербурге в 1831 г., в нем напечатана поэма Овидия Назона «Мирра» (точнее, стихи 298—502 из 10-й книги его «Метаморфоз») в переводе с латинского Д. Казанского (в оглавлении псевдоним раскрыт: М. Д. Деларю).

С. 248. *...эпизод с Сусанною...* — Оклеветанная двумя старейшинами Сусанна, жена Иоакима, была спасена от смертного приговора юным пророком Даниилом (Дан 13, 2—63).

...одеждами кожаными... — См.: «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их» (Быт 3: 21).

С. 250. *Милая матушка...* — Сафо. Песня. Пер. В. И. Водовозова. Розанов читал роман немецкого египтолога и автора исторических романов Георга Эберса «Дочь египетского царя» (1864), где приводятся эти стихи. Помимо отдельных русских изданий этого романа, вышедших с 1875 г., хорошо известно было издание его Собрания сочинений в 13 т. (СПб., 1896—1898), откуда Розанов мог заимствовать перевод.

«О России в царствование Алексея Михайловича» — книга Г. К. Котошихина, написанная в 1666 г. в Стокгольме. Рукопись хранилась в Швеции. Копию с нее в 1840 г. опубликовал Я. И. Беренников, давший ей современное название. Неоднократно перепечатывалась в XIX и XX вв.

С. 251. *...вдовствующей ныне Императрицы...* — Супруга императора Александра III Мария Федоровна вдовствовала с 1894 г. Скончалась в Дании, перезахоронена в соборе Петропавловской крепости Петербурга 28 сентября 2006 г.

...с помолкою ~ Ксени Александровны... — с великим князем Александром Михайловичем; состоялась 12 января 1894 г.

...жалобы Ахиллеса, которые так понимал Гомер... — Гомер. Илиада. I, 348—365, 407—422.

С. 252. «Жена, которую ты мне дал...» — Быт 3, 12.

С. 253. *...мир был искуплен и глава Змия «стерта» герез семя именно «жены».* — См.: «И сказал Господь Бог змею <...> вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову...» (Быт 3, 14—15).

С. 254. «времена и сроки» — см. коммент. к с. 54.

...«Вот — это кость от костей моих ~ взята от мужа своего». — Быт 2, 23.

С. 256. «Эмиль» — роман и трактат «Эмиль, или О воспитании» (1762; рус. пер.: 1779) Ж. Ж. Руссо.

Вольтером, которому он ~ так смешон... — Антагонизм между Вольтером и Руссо проявился в 1755 г., когда Вольтер, по случаю страшного лиссабонского землетрясения, отрекся от оптимизма, а Руссо вступился за Провидение. Пресыщенный славой, живший в роскоши, Вольтер, по словам Руссо, видит на земле только горе; он же, безвестный и бедный, находит, что все хорошо. Отношения обострились, когда Руссо, в «Письме д'Аламберу о зрелищах» (1758), сильно восстал против введения в Женеве театра. Вольтер, живший близ Женевы и развивавший посредством своего домашнего театра в Фер-

нее вкус к драматическим представлениям среди женецев, понял, что письмо направлено против него и против его влияния на Женеву. Не знавший меры в своем гневе, Вольтер возненавидел Руссо: то глумился над его идеями и сочинениями, то выставлял его сумасшедшим.

С. 256. ...«*Мугеники*» и «*Гений христианства*»... — поэма в прозе «Мученики» (1809) и трактат «Гений христианства» (1802) Ф. Р. де Шатобриана. В последний вошли его повести «Атала, или Любовь двух дикарей» (отд. изд.: 1801) и «Рене, или Следствия страстей» (отд. изд.: 1802).

С. 257. *soit'ального* — сексуального (лат.).

С. 258. *объяс'ительским* — телесным (грег.).

«*Маленький герой*» — рассказ Ф. М. Достоевского, созданный в 1849 г. в Петропавловской крепости.

С. 259. ...*отомстила ему, как Федра Ипполиту*. — Дочь царя Миноса Федра влюбилась в пасынка Ипполита. Отвергнутая им, она оклеветала Ипполита и покончила с собой. Отец казнил Ипполита. См. трагедию Еврипида «Ипполит» (428 до н. э.).

...*Наль и Дамаянти*... — герои эпизода (вставного рассказа) третьей книги древнеиндийского эпоса «Махабхарата» (рус. пер. В. А. Жуковского, 1844).

С. 260. ...*Навзикая и Одиссей*... — в древнегреческой мифологии дочь царя феаков Алкиноя, героиня поэмы Гомера «Одиссея» (шестая песнь), нашедшая на берегу Одиссея, потерпевшего кораблекрушение.

С. 261. «*Давид Коптерфильд*» — роман Ч. Диккенса, печатавшийся в 1849—1850 гг. ...*любовь одного почти слабоумного юноши*... — Имеется в виду мистер Дик в этом романе Диккенса (гл. 45).

С. 261—262. *О, как боги в высоте небесной... Мне бы в зеркало хотелось...* — Эти стихи Анакреона Розанов приводил в полном виде («Дочь Танталя превратилась...») в статье «По поводу одной страницы в „Воскресении“ гр. Л. Н. Толстого» (Г. 1899. 28 нояб., 5 и 9 дек. № 92, 94, 95), вошедшей затем в книгу Розанова «Семейный вопрос в России» под названием «Об „отреченных“, или апокрифических, детях». Пер. стихотворения Анакреона «Мне бы в зеркало хотелось» был напечатан в романе «Дочь египетского царя» (1864) Г. Эберса. См. коммент. к с. 250.

С. 264. ...«*дух уныния, любоначалия*»... — из молитвы преподобного Ефрема Сирина (ср.: «Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми») или ее переложения А. С. Пушкиным в стихотворении «Отцы пустыnnики и жены непорочны...» (1836): «...дух праздности унылой, / Любоначалия, змеи сокрытой сей...».

...«*одежды кожаные*». — См. коммент. к с. 248.

С. 265. «*Мир животных*» — книга французского зоолога Ж. Кювье (1812; в 1817 — в 4 т.).

...«*Семя, которое сотрет главу Змию*»... — См. коммент. к с. 253.

С. 266. *Александрийские эклектики* — представители Александрийской богословской школы (II—VI вв.), развивавшей аллегорический метод истолкования Библии.

...*Моисея, «видевшего лицо Господне*». — На горе Синай. Ср. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу...» (Исх 33, 11).

С. 267. *Битва при де-ла-Фронтера и печальная судьба короля Родриго*... — 28 июля 711 г. христианская армия была разбита при Херес де-ла-Фронтера (Андалучия, Испания). Король Родриго погиб.

...*Карл ~ при Пуатье*... — В октябре 732 г. при Пуатье (город на западе Франции) франкская конница под командованием Карла Мартелла разгромила арабское войско, вторгшееся из Испании.

С. 268. *Авессалом, сын мой!..* — 2 Цар 18, 33.

Я клянусь... — У. Шекспир. Тит Андроник. IV. 2. Здесь и далее эта драма цитируется в пер. А. И. Рыжова (1868). Позднее Розанов приводил те же стихи Шекспира в своей статье «Тревожный и неразобранный вопрос» (НВ. 1909. 8 июля. № 11968).

С. 270. *Тс! Тс! Ромео, здесь ты?..* — У. Шекспир. Ромео и Джульетта. II. 2. Здесь и далее пер. А. Л. Соколовского.

Чти отца и мать твою... — Исх 20, 12; Мф 19, 19.

...«не убий»... — Исх 20, 13.

С. 273. *«Бог любовь есть»...* — 1 Ин 4, 8.

С. 274. *...служай с Фамарью и Аммоном...* — Амон [так!], сын царя Давида, обесчестил свою сводную сестру Фамарь, за что был убит (2 Цар 13, 22–32).

...«грех при дверях стоит»... — слова Бога Каину: «...если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит...» (Быт 4, 7).

Война всех против всех... — Т. Гоббс. О гражданине (1642). 1, 12; Он же. Левиафан (1668). 1, 13.

...Каракалла ~ эдикт. — Указом римского императора Каракаллы 212 г. предоставлялось римское гражданство всему свободному населению империи.

...грех предо мною есть выну... — Пс 50, 5. *Выну* — всегда.

...постоянная и неизменная воля каждому воздавать свое... — Дигесты Юстиниана (533).

С. 280. *...«воздеяние руку мою»...* — Пс 140, 2. Точнее: «воздеяние руку мою» (т. е. рук моих). В том же виде Розанов приводит это выражение в статье «Среди обманутых и обманувшихся» (1904): «...на минуту не заставили обеспокоиться московского владыку и прервать его „воздеяние руку мою“ и т. п. небесную поэзию, слушая которую вся Россия (и мне приходилось) в сладком трепете замирает в Великий пост».

С. 281. *...экспедиции Кортеса, Пизарро...* — испанских конквистадоров начала XVI в., завоевывавших государства Северной и Южной Америки.

Керубы — херувимы, ангелы высокого чина.

С. 283. *...«бе как бы туман вод»...* — Ср.: Прем 2, 4.

С. 285. *«лже-именный разум»* — Святоотеческий взгляд на это понятие так выразил святитель Игнатий (Брянчанинов): «Евангелие научает нас, что падением мы стяжали лжеименный разум, что разум падшего естества нашего, какого бы он ни был достоинства природного, как бы ни был изошрен ученостию мира, сохраняет достоинство, доставленное ему падением, пребывает лжеименным разумом» (Собрание писем святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. М.; СПб., 1995. С. 391).

С. 286. *Пегальная береза...* — одноименное стихотворение А. А. Фета (1842).

...в пустыне далекой... — М. Ю. Лермонтов. «На севере диком стоит одиноко...» (1841).

«Регент» — бриллиант весом 140,64 карата, найденный в 1701 г. в Индии (первоначально весил, по преданию, 410 карат). Получил свое название от одного из первых владельцев — регента Филиппа II Орлеанского. Ныне хранится в Лувре.

«Великий могол» — бриллиант весом 279 карат, имевший форму розы; крупнейший алмаз, найденный в Индии (в 1650 г.; первоначально имел вес в 787 карат). После 1747 г. следы бриллианта затерялись.

Прекрасный аленький цветок... — Р. Бёрнс. К срезанной плугом маргаритке (1786). Пер. И. И. Козлова: «Цветок пунцовый, полевой...» (1829); пер. З.: «О милый розовый цветок» (1844); пер. М. Л. Михайлова: «Цветок смиренный полевой!» (1856); пер. А. М. Федорова: «Малютка, скромный цветик мой!» (1896). Розановский перевод не установлен.

«Санси» — бледно-желтый бриллиант весом 55,23 карата каплевидной формы; по преданию, был обнаружен в 1064 г. в Восточной Индии, до шлифовки весил 101,25 карата. С 1978 г. хранится в Лувре.

С. 286. «Орлов» — светло-зеленоватый бриллиант весом 189,62 карата, найденный на рубеже XVII—XVIII вв. в Индии (первоначально весил около 400 карат). С 1784 г. украшал Императорский скипетр Екатерины Великой. Ныне хранится в Алмазном фонде.

С. 288. *Истинно, истинно говорю вам: и Соломон...* — Мф 6, 29.

В Горном институте... — создан в 1773 г. как Горное училище; хранит коллекции необычных кристаллических форм.

С. 290. *По вейным законам...* — И. В. Гёте. Божественное (1783). Переложение перевода Ап. Григорьева (1845).

С. 291. *Тс, тс... Ромео, здесь ты?* — См. коммент. к с. 270.

С. 293. *...в видении Иезекиилем таинственного храма...* — Иез 43, 11—17.

С. 294. *...«горé иметь сердце»...* — См. возгласение священника на литургии: «Горé имеем сердца», т. е. будем иметь сердца устремленными ввысь, к Богу.

«Бога никто же нигде же видел...» — Ин 1, 18; 1 Ин 4, 12.

Это было в 88 году... — Речь идет о поездке Розанова в декабре 1888 — январе 1889 г. в Петербург к Н. Н. Страхову и знакомстве с поэтом А. Н. Майковым.

С. 295. *Восторг внезапный ум пленил...* — М. В. Ломоносов. Ода <...> на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года (1751).

С. 296. *О, Иерусалим, Иерусалим!..* — Лк 13, 34.

Занялась уже денница... — У. Шекспир. Гамлет. IV, 5. Пер. А. И. Кронеберга.

С. 297. *Вы же не будьте, как фарисеи...* — Мф 6, 5.

Архиепископ Никанор, в записках своих... — Эти воспоминания архиепископа Никанора (Бровковича) были впервые опубликованы под редакционным заголовком «Из истории ученого монашества» (РО. 1896. № 1—3), а позднее — под собственным названием «Памятная записка. Прежде смерти умерший иеромонах Валериан» (*Никанор (Бровкович), архиеп.* Биографические матерьялы. Одесса, 1900. Т. I. С. 121—191). Розанов откликнулся на них рецензией (РС. 1896. 1 июля. № 174. С. 1—2).

С. 298. *Из городов бежал я нищий...* — М. Ю. Лермонтов. Пророк (1841).

...вдовица — как Елисею... — 4 Цар 4.

...имамы ко Господу — ответ хора на возгласение священника «Горé имеем сердца», означающий: имеем уже наши сердца обращенными ко Господу.

Се, дом ваш оставляется вам пуст... — Мф 23, 38; Лк 13, 35.

Как под ногой пастуха гиацинт на горах погибает... — Сафо. Свадебные песни. Розанов цитировал эти стихи в статье «Об „отреченных“, или апокрифических детях» (см. коммент. к с. 261—262).

С. 299. *Гуммиарабик* — клейкое вещество.

С. 300. *...«произносим имя Господа Бога всуе»...* — Ср.: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно» (Исх 20, 7).

...«устаи гтем Его, сердцем же далече от Него отстоим». — Ср.: «устаи чтут Мя: сердце же их далече отстоит от Мене» (Мф 15, 8).

...Буланже умер без покаяния... — Французский генерал и политический деятель Ж. Э. Буланже застрелился 30 сентября 1891 г. на могиле своей возлюбленной мадам Бонмен.

«Не узнаем» — ставшее крылатым выражение немецкого физиолога и философа Э. Дюбуа-Реймонда из его доклада «О пределах познания природы», прочитанного 14 августа 1872 г. в Лейпциге («Не знаем и никогда не узнаем»).

С. 301. *...«столп и утверждение»...* — 1 Тим 3, 15.

Трава сельная — прошел день и нет ее... — Ср. Мф 6, 30 (трава полевая).

...Иосифом ~ не может обнять бедная стареющая египтянка. — Упомянута жена Потифара, телохранителя фараона, тщетно добивавшаяся благосклонности Иосифа Прекрасного (Быт 39, 1—20).

...Шатобриан больше надеялся на церемонии... — Ф. Р. де Шатобриан писал в трактате «Гений христианства» о католичестве: «...никогда ни одна религия не знала столь пышных церемоний, как наша. Праздник тела Господня, Рождество, Пасха, Страстная неделя, День поминовения усопших, заупокойная служба, месса и тысяча других церемоний являют нам неиссякаемый источник поэтических описаний» (Эстетика раннего французского романтизма. М., 1982. С. 129; пер. О. Э. Гринберг).

...германский «центр»... — политическая Партия католического Центра (Zentrumspartei), одна из наиболее влиятельных в Германии (1870—1933 и с 1945).

...неуважительные книги г. Аксакова. — Н. П. Аксаков выступал с критикой взглядов Розанова во время спора с В. Соловьёвым (Свобода, любовь и вера // Русская Беседа. 1895. № 1—3) и в полемике о браке и поле в газете «Русский Труд».

С. 302. ...«прииди и виждь»... — Ин 1, 46.

...«вложить персты»... — Ин 20, 25.

Чети-Минеи (Четьи-Минеи) — помесечные чтения жизни православных святых, сложившиеся в Византии в IX в.

Симон Столпник — храм Симеона Столпника на Поварской улице в Москве, построенный в 1676—1679 гг.

...Хомякову гитать самому Псалтирь по своей жене... — Е. М. Хомякова скончалась 26 января 1852 г.; Н. В. Гоголь был ее близким другом.

С. 303. «Переписка с друзьями» — «Выбранные места из переписки с друзьями» Н. В. Гоголя.

С. 305. Чтoб тайный яд страницы знойной... — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840).

С. 306. И сердце слабое увлек... — Там же.

С. 307. Особенно Вельгeорского... — Так писал фамилию Виельгeорского Н. В. Гоголь в своих Записных книжках.

«Бог в природе» — Ульрици Г. Бог в природе / Пер. с нем. Казань, 1867—1868. Т. 1—2.

Барсуков, XI, стр. 516—517 — речь идет об одиннадцатом томе исследования Н. П. Барсукова «Жизнь и труды М. П. Погодина» (СПб., 1888—1910. Т. 1—22). Розанов неоднократно писал о выходящих томах этого издания. Так, в 1896 г. он посвятил вышедшему десятому тому труда Барсукова статью «Еще доброе дело на Руси» (РО. 1896. № 4. С. 867—871).

С. 308. «О подражании Христу» — книга немецкого католического монаха Фомы Кемпийского (написана не позднее 1427 г.). Розанов читал русский перевод К. П. Победоносцева (6-е изд.: СПб., 1896).

С. 309. «Переписка Як. К. Грота», СПб. 96 г. — Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. СПб., 1896. Т. 1—3.

...«новая жизнь»... — Источник выражения — автобиографическая исповедь Данте (1290).

Уленька (Улинька) — персонаж второй части «Мертвых душ» Н. В. Гоголя. Розанов нередко писал ее имя как «Уленька».

С. 310. Погодинский дом — Погодинская изба, построена в 1856 г. в Москве в Хамовниках для древлехранилища М. П. Погодина, место встреч и бесед славянофилов А. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина и др. Разрушена бомбой в 1941 г., восстановлена в 1972 г.

Абрамцево — усадьба в Подмосковье, куплена в 1843 г. С. Т. Аксаковым. Его здесь навещали Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев и др. В 1870—1890-е гг. владение С. И. Мамонтова, куда приезжали многие художники и артисты.

...не зрягее облако над пустынею вело Израиль... — Исх 13, 21; 14, 19.

С. 312. ...письмо к А. Е. Врангелю... — от 31 марта — 14 апреля 1865 г.

- С. 312.** *Аз есмь Сый...* — Я есть сущий (Исх 3, 14).
...«по образу, по подобию». — Быт 1, 26.
- С. 313.** *...девожки; потеряв его что-то на 11 месяце жизни ~ захват в Женеву, и посетить там могилку его.* — Софья Достоевская родилась 22 февраля 1868 г., скончалась 12 (24) мая того же года в Женеве от воспаления легких. Жена Достоевского вспоминала, что он, 28—29 июля (9—10 августа) 1874 г. проездом из Эмса остановившись в Женеве, «побывал два раза на детском кладбище „Plain Palais“...» (Достоевская А. Г. Воспоминания. М., 1971. С. 264). Этот эпизод Розанов упомянул и в «Легенде о Великом инквизиторе...» (гл. XI).
- ...Лиза Калитина ~ «Катерины», «Веры», «Елены» Тургенева и Гончарова... — Лиза Калитина, Катерина Сергеевна Одинцова и Елена Стахова — героини романов И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859), «Отцы и дети» (1861) и «Накануне» (1860); Вера — героиня романа И. А. Гончарова «Обрыв» (1869).
- С. 314.** *...«мы все Федоры Павловичи»...* — «Все нигилисты. Нигилизм явился у нас потому, что мы все нигилисты. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления. (Все до единого Федоры Павловичи)» (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 54).
- С. 315.** *Травку выманила к свету...* — здесь и далее «Песнь радости» Ф. Шиллера (1786) приводится в пер. Ф. И. Тютчева (1827). Эти строфы входят в главу «Исповедь горячего сердца. В стихах» романа Достоевского «Братья Карамазовы».
- С. 316.** *«Не убо прииде час...»* — Ин 2, 4 («Еще не пришел час Мой...»).
- С. 319.** *Тирская Ашера* — первая из известных богинь древнего Израиля, жена Эля, главного бога.
- ...«живу как кошка»... — Розанов вспоминает слова Достоевского о своей «кошачьей живучести» в письме А. Е. Врангелю от 31 марта — 14 апреля 1865 г.
- ...«и не будут тебе божи инии разве Мене». — Ср.: Исх 20, 3; Мк 12, 32.
- С. 320.** *«Лицемерие есть дань, которую порок отдает добродетели».* — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1876 год. Январь. 1, III. Изречение французского писателя Ф. де Ларошфуко из его книги «Размышления, или Нравоучительные изречения и максимы» (1665).
- С. 321.** *...болезнь, известная в медицине под именем «флагеллоитства».* — Розанов имел в виду эксгибиционизм, а не флагелланство (достижение сексуального удовлетворения путем самоистязания).
- ...здание строится на ~ «песце»? — Мф 7, 26—27.
- С. 322.** *...вещь в себе и для себя...* — основополагающие в гносеологии И. Канта философские термины, означающие вещи как существующие независимо от нашего познания.
- ...угения Гартмана. — Имеется в виду книга немецкого философа Э. Гартмана «Философия бессознательного» (1869; рус. пер.: 1902).
- С. 323.** *Вьельфильки* — старые девы (фр.).
Мовешка — дурнушка (фр).
- С. 324.** *...«бе яко туман вод»...* — Ср. Прем 2, 4.
- С. 329.** *Насекомьм — сладострастье...* — См. текст на с. 316.
- С. 333.** *...по тонкой характеристике Ап. Григорьева...* — В 1862 г. Ап. Григорьев писал: «Ведь когда обаятелен Печорин?.. Неужели тогда, когда он боится обнять Максима Максимовича и вообще форсит великосветскостью...» (Ап. А. Григорьев. Лермонтов и его направление. Гл. VII: Законные стороны романтизма).
- С. 334.** *«Истинно, истинно говорю...»* — Мк 9, 41—42.
- С. 336.** *...«мальгика в панталонах»...* — Имеется в виду пьеса М. Е. Салтыкова-Щедрина «Мальчик в штанах и мальчик без штанов» из его книги «За рубежом» (1880).

«*Philosophie positive*» — «Курс позитивной философии» О. Конта (1830—1842); переведен на русский язык как «Курс положительной философии» (СПб., 1899—1900. Т. 1—2).

...«реки воды живой»... — Откр 7, 17.

С. 338. ...«аз есмь Бог и не будут боги тебе инии разве мене»... — см. коммент. к с. 319.
...к вящей славе... — См. коммент. к с. 116.

С. 339. ...бегущий с поля битвы Горааций... — Отсылка к VII оде из II книги од Горация («К Помпею Вару»). См. перевод А. С. Пушкина: «Ты помнишь час ужасный битвы, / Когда я, трепетный квирит, / Бежал, нечестно бросаю щит...» («Кто из богов мне возвратил...», 1835).

...«страха ради иудейска»... — Ин 19, 38.

...«твой народ будет моим народом и твой бог будет моим богом»... — Руф 1, 16.

...книги Кельсиева о русском сектантстве... — Кельсиев В. И. Сборник правительственных сведений о русских раскольниках. Лондон, 1860—1862. Вып. 1—4.

С. 340. ...Ноздрев, который хотел поймать зайца за задние ноги. — Ноздрев уверял: «Вот на этом поле <...> русаков такая гибель, что земли не видно; я сам своими руками поймал одного за задние ноги» (Н. В. Гоголь. Мертвые души. I, 4).

...нагинаяется с приведения слов Вольтера... — См.: Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 2, 5, III.

С. 341. «Сердце гисто созижди во мне, Боже...» — Пс 50, 12.

...«повапленный гроб, полный мерзостей»... — Мф 23, 27. *Повапленный* — окрашенный.

...«если падшее в землю зерно не умрет...» — Ин 12, 24.

С. 343. «Дух веет, идеже хочет»... — См. коммент. к с. 147.

С. 346. В Апокалипсисе Ангел клянется, что времени больше не будет. — Откр 10, 5—6.

С. 348. В Евангелии сказано, что в воскресеньи не будут родить, а будут как ангелы Божии. — Ср.: «Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж; но пребывают, как ангелы Божии, на небесах» (Мф 22, 30; Мк 12, 25).

С. 349. ...Магометов кувшин... — Как рассказано в «Жизни Магомета» В. Ирвинга (рус. пер.: М., 1857. С. 89—90), согласно легенде, Магомет, после того как архангел Гавриил задел крылом кувшин с водой, успел слетать в Иерусалим и беседовал на небе с Богом и пророками, чтобы успеть вернуться и остановить падающий кувшин.

С. 351. А годы идут — все лугшие годы — М. Ю. Лермонтов. «И скучно, и грустно...» (1840) («А годы проходят...»). Розанов цитирует, как Достоевский в «Подростке» (ПСС. Л., 1975. Т. 13. С. 352).

Если б я согинял оперу, то, знаете, я бы взял сюжет из Фауста. — Ф. М. Достоевский. Подросток. III, 5. Далее Розанов продолжает цитировать текст романа «Подросток».

День гнева, сей день... — начало заупокойного католического гимна (Соф 1, 15).

С. 352. Дори-но-си-ма гин-ми... — слова из Херувимской песни. Означают: «носимого на копьях чинами (ангельскими)». Подразумевается древний обычай носить полководца-победителя на копьях: ангельские чины-воинства носят на копьях Христа Победителя.

«Моя осанна сквозь горнило испытаний прошла...» — Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1984. Т. 27. С. 86 («... через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт»).

«Лавка древностей» — роман Ч. Диккенса (1841; рус. пер. 1843).

С. 357. ...«страха иудейска»... — См. коммент. к с. 339.

«Мильи друг» — роман Г. де Мопассана (1885; рус. пер.: 1885). Л. Н. Толстой писал об этом романе в предисловиях к его переводу, а также к переводу романа «Монт-Ориоль»

(1886), увидевшим свет в Москве в издательстве «Посредник», соответственно, в 1896 и 1894 гг. См. также коммент. к с. 483.

С. 357. ...«*посредственности холодной*»... — А. С. Пушкин. Герой (1830).

С. 358. «*Пусть дом Иова никогда не останется без семе<но>тогивого*»... — 2 Цар 3, 29. ...*вьель-фильки*... — См. коммент. к с. 323.

С. 359. *Насекомым — сладострастье*... — См. текст на с. 316.

С. 360. «*Фарнарина*» (точнее: Форнарина) — «Булочница» (*итал.*), полулегендарная возлюбленная Рафаэля, изображенная им на картинах «Фарнарина» (1518—1519) и «Донна Велата» (1514—1515). Ныне считается, что ее имя — Маргерита Лути.

И всеми тайнами лобзая... — А. С. Пушкин. Египетские ночи (1835).

С. 364. «*А поле борьбы — сердца людей*». — См. текст на с. 359. Точнее: «поле битвы».

С. 365. ...«*долиною смертной тени*» (*псал. 22*). — См.: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла...» (Пс 22, 4).

С. 366. ...«*слезы, пропитывающие землю до самого ее центра*»... — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. Глава «Бунт»: «слеза человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра» (ПСС. Т. 14. С. 222).

...«*нового неба и новой земли*»... — Откр 21, 1.

С. 367. ...«*бездна внизу*»... — О «двух безднах» говорил прокурор в «Братьях Карамазовых» Ф. М. Достоевского (ПСС. Л., 1976. Т. 15. С. 129).

С. 368. ...*Мефистофелем мы любимся ~ если его поет Баттистини*... — Итальянский баритон Маттиа Баттистини в 1892—1916 гг. ежегодно с большим успехом гастролировал в разных городах России. Розанов имеет в виду партию Мефистофеля в одноименной опере Арриго Бойто (1868) или в опере Шарля Гуно «Фауст» (1869).

...*любимся ~ «демоном» — если его поет Корсов*. — Баритон Б. Б. Корсов особенно прославился исполнением партии Демона в одноименной опере А. Г. Рубинштейна (1875).

С. 372. ...«*времени больше не будет*». — См. коммент. к с. 346.

С. 373. ...«*бремя*» его делало до того «*неудобоносимым*»... — из слов Христа о фарисеях, которые «связывают бремена тяжелые и неудобноносимые и возлагают на плечи людям» (Мф 23, 4).

С. 377. *Вавилонская башня* — легендарное строение древности, которое должно было прославить строителей и бросить вызов Богу (Быт 11, 1—9).

С. 379. *Завет Предвечного храня*... — М. Ю. Лермонтов. Пророк (1841).

С. 381. ...«*вязать и решить*»... — Мф 18, 18.

Посылал теплом я главу... — М. Ю. Лермонтов. Пророк (1841).

С. 382. ...«*две бездны — бездна вверху и бездна внизу*»... — См. коммент. к с. 367.

Травку выманила в поле... — Ср.: «Травку выманила к свету...» (Ф. Шиллер. Песнь радости (1785). Пер. Ф. И. Тютчева (1823)).

Его «XII томов»... — Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. 3-е изд. СПб.: Изд. А. Г. Достоевской, 1888—1889. Т. I—XII (то же: 4-е изд. СПб., 1888—1891).

С. 383. *И гад морских подземный ход*... — А. С. Пушкин. Пророк (1826).

...«*уязвляющий его в пяту*»... — Быт 3, 15. См. также коммент. к с. 253.

С. 390. «*Бе... бе... бе...*». — Розанов по-своему передает содержание сцены смерти старого князя Болконского в «Войне и мире» (3, 2, VIII).

С. 396. *Было робкое смущенье, Были нежные слова*... — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 1, 3, V («Было милое смущенье»). В ПСС Достоевского источник этих строк не указан.

С. 398. *«Помирать — заодно» ~ не на благотворительных базарах, где, как в улице Гужон, в Париже...* — Ежегодный благотворительный базар, устраивавшийся на улице Жана Гужона, близ Елисейских полей, становился основным событием сезона. Розанов имеет в виду страшный пожар, случившийся вечером 4 мая 1897 г., в разгар праздника, в специально выстроенном для базара павильоне из-за неосторожного обращения с эфирной лампой. Из-за паники у выхода образовалась давка; заживо сгорели 125 человек.

...прилеж ухом к «матери-земле»... — Фольклорный мотив, широко распространен в русских народных сказках.

...«герные солдатские спины» ~ грязнили грязный уже пруд... — См.: «Небольшой мутный с зеленью пруд <...> был полон человеческими, солдатскими, голыми барахтающимися в нем белыми телами, с кирпично-красными руками, лицами и шеями» (Л. Н. Толстой. Война и мир. 3. 2. V).

...XIV томов... — В 14 частях «Сочинения графа Л. Н. Толстого» выходили в Москве с 1886 по 1898 г. (3-е и 6–9-е изд.). Уже 10-е изд. (М., 1897–1900) вышло в 16 частях.

Элевзинские таинства — древнейшие тайные культовые действия в древнегреческом городе Элевзин (1-е тыс. до н. э.), ежегодно совершавшиеся в честь богини плодородия Деметры и ее дочери Персефоны.

«Бежин луг» — очерк И. С. Тургенева (1851) из цикла «Рассказы охотника».

С. 399. *...Сидонская Ашера...* — См. коммент. к с. 319.

...«столп своего утверждения»... — перепев выражения «столп и утверждение Истины» (см. коммент. к с. 301).

С. 400. *Муж — не господин своего тела...* — 1 Кор 7, 4.

С. 402. *И времени полет его не сокрушит.* — Г. Р. Державин. Памятник (1795).

...предисловие к Мопассану... — См. коммент. к с. 357.

...предисловие к «Токологии» г-жи Стокгэм... — Стокгэм А. Токология, или Наука о рождении детей / Пер. С. Долгов. М., 1892. Токология — акушерская наука.

С. 404. *...«бе яко туман вод»...* — См. коммент. к с. 324.

С. 405. *...между Фалесом и Анаксимандром...* — Фалес в первой половине VI в. до н. э. основал милетскую (ионийскую) натурфилософскую школу, Анаксимандр был его учеником.

Посыпал пеплом я главу... — См. коммент. к с. 381.

С. 406. *«Чти отца и мать — и долговечен будешь».* — См. коммент. к с. 270.

«Они пойдут и не устанут...» — Ис 40, 31.

...воспоминание, записанное в 1879 году... — Речь идет о «Дневнике писателя. 1873» Достоевского, глава XVI «Одна из современных фальшей» (ПСС. Л., 1980. Т. 21. С. 133).

«Отрывок начатой повести» — отрывок М. Ю. Лермонтова «Я хочу рассказать вам...» впервые был напечатан в сборнике «Вчера и сегодня» (СПб., 1845. Кн. 2) под названием «Из бумаг покойного. Два отрывка из начатых повестей». Цитату, с которой начинается глава, см. в книге: Лермонтов М. Ю. Собр. соч.: В 6 т. М., 1957. Т. 6. С. 191.

С. 407. *...мелкий бес из самых негиновных...* — Здесь и далее Розанов продолжает цитировать «Сказку для детей» (1841) М. Ю. Лермонтова.

С. 408. *«Николай Всеволодович если верит — то он не верит, кто верит; а если не верит, то он не верит, кто не верит»...* — Кириллов в «Бесах» Ф. М. Достоевского говорит: «Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует» (ПСС. Л., 1974. Т. 10. С. 469).

...«Надрыв в избе» и «На улице»... — названия глав романа «Братья Карамазовы»: «Надрыв в избе» и «И на чистом воздухе».

Ponto di Rialto (Мост Риальто) — самый известный мост в Венеции и один из символов города. Каменный мост через канал был построен в 1588–1591 гг. Упоминается как торговый центр в пьесе Шекспира «Венецианский купец» (1596).

С. 408. *Николаевский мост* — в 1855—1918 гг. название Благовещенского моста, первого постоянного через Неву; открыт в 1850 г., соединяет Васильевский остров с центральной частью Петербурга.

С. 409. «*Скужно на этом свете, господа...*» — заключительная фраза «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» Н. В. Гоголя (1834).

С. 411. «*Степи, степи — как вы хороши у Гоголя*» — В. Г. Белинский. О русской повести и повести г. Гоголя (1835) («Чорт вас возьми, степи, как вы хороши у г. Гоголя!»).

Так царства дивного всесильный господин... — стихотворение М. Ю. Лермонтова «Как часто, пестрою толпою окружен...» (1840) цитируется неточно («бросить им в глаза железный стих»).

...Казбек, как грань алмаза... — М. Ю. Лермонтов. Демон. 1, III. То же и далее («львица с косматой гривой»).

С. 413. *И звук его песни в душе...* — М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831).

Я, Матерь Божия, ныне с молитвою... — М. Ю. Лермонтов. Молитва (1837).

С. 414. *Он пел о блаженстве безгрешных духов...* — М. Ю. Лермонтов. Ангел. То же далее.

С. 415. «*Трижды молил ~ совершается*» (*К Коринф., 12, ст. 7—8*). — Точнее: 2 Кор 12, 7—9.

...Чети-Минеи... — См. коммент. к с. 302.

...(Барсуков, XI, 520). — См. коммент. к с. 307.

С. 417. *Мутно небо, ночь мутна...* — А. С. Пушкин. Бесы (1830). То же далее.

«А поле борьбы — сердца людей» — См. текст на с. 150.

То был ли сам великий сатана... — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей (1841).

...«лжеименному разуму» Отцов... — См. коммент. к с. 285.

С. 418. *...с тайным содроганьем...* — М. Ю. Лермонтов. Ребенку (1840).

...«подругу дней своих»... — А. С. Пушкин. Няне («Подруга дней моих суровых...», 1826, оп.: 1855).

Младенца ль милого ласкаю... — А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» (1829).

...Не правда ль, говорят... — М. Ю. Лермонтов. Ребенку. То же далее.

С. 419. *Дам тебе я на дороге...* — М. Ю. Лермонтов. Казачья колыбельная песня (1840). То же далее.

С. 420. *И многие годы неслышно прошли...* — М. Ю. Лермонтов. Три пальмы (1839). То же далее.

...у другого брата-поэта знойный полдень отражается в картине знойного сладострастия неба... — Отсылка к пейзажу, открывающему повесть Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка» (1829): «...полдень блещет в тишине и зное, и голубой, неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землею, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимаемая и сжимаемая прекрасную в воздушных объятиях своих!» (гл. I).

С. 421. *Дальше — вечно гуждый тени...* — М. Ю. Лермонтов. Спор (1841). То же далее.

...«горт вас возьми, степи, как вы хороши у Гоголя»... — слова В. Г. Белинского. См. коммент. к с. 411.

С. 422. «*Что в имени тебе моем?*» — стихотворение А. С. Пушкина (1829).

С. 423. *И над ним, как снег бела...* — М. Ю. Лермонтов. Дары Терека (1839).

И странник прижался у корня гинары высокой... — М. Ю. Лермонтов. Листок (1841).

Но к страстным лобзаньям, не зная затем... — М. Ю. Лермонтов. Русалка (1832).

С. 424. *И тьмой, и холодом объята...* — М. Ю. Лермонтов. «Гляжу на будущность с боязнью...» (1838).

*Ты — пылен и желт, и сынам моим свежим не пара... — М. Ю. Лермонтов. Листок (1841).
И солнце жгло их желтые вершины... — М. Ю. Лермонтов. Сон (1841).*

С. 425. *Когда волнуется желтеющая нива... — одноименное стихотворение М. Ю. Лермонтова (1837).*

И месяц, и звезды, и туги толпой... — М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831).

С. 426. *«проходит лик мира сего» — замечает ~ Достоевский в «Дневн. писателя»... — См.: «...нынешний век кончится в старой Европе чем-нибудь колоссальным <...> с изменением лика мира сего» (Достоевский Ф. М. ПСС. Л., 1983. Т. 25. С. 148). Ср.: «проходит образ мира сего» (1 Кор 7, 31).*

...«видимым смехом» ~ «незримыми слезами». — См. коммент. к с. 134.

С. 427. *...«кротостью и скорбью Ангела загорится некогда литература русская». — Вольно переданы слова Н. В. Гоголя (см. коммент. к с. 150).*

...наш Паскаль... — Осенью 1887 г. Л. Н. Толстой писал П. И. Бирюкову (5 окт.), В. Г. Черткову (10 окт.) и Н. Н. Страхову (16 окт.), что в третий раз в жизни перечитал книгу Гоголя. В письме к П. И. Бирюкову он говорит о критике Белинским «Выбранных мест из переписки с друзьями» Гоголя: «Пошлые люди не поняли, и 40 лет лежит под спудом наш Паскаль». У Розанова приведен сокращенный вариант письма Толстого к Черткову.

Провозглашать я стал любовь... — М. Ю. Лермонтов. Пророк (1841). То же далее.

...«Русские критики» А. Волынского... — Книга издана в Петербурге в 1896 г.; тогда же Розанов написал на нее рецензию, опубликованную по рукописи в 2009 г. (т. 28, с. 544–550).

С. 428. *...«Письма» Белинского к Гоголю... — См. коммент. к с. 149.*

И вынул грешный мой язык... — А. С. Пушкин. Пророк (1826) («И вырвал грешный мой язык...»).

Ревет ли зверь в лесу глухом... — А. С. Пушкин. Эхо (1831).

...«крови, крови рождения» (Иезекииль)... — вольная цитата (см.: Иез 16, 6).

С. 429. *...«а Евангелье — Феде»... — См. текст на с. 311. Назван сын Ф. М. Достоевского.*

...во время переписи в Москве, что-то около 1879 года... — Л. Н. Толстой участвовал в переписи населения Москвы в январе 1882 г. и выбрал себе один из самых бедных районов около Смоленского рынка (Проточный переулок).

Киновия — общежительное монашество.

...разговор Балашова с Наполеоном, в Вильне. — Л. Н. Толстой. Война и мир. 3, 1, VI–VII.

С. 430. *...«пустых Аароновых уст»... — возможно, отсылка к фразе: «Аарон молчал» (Лев 10, 3).*

...Кутузов отдает Москве, совет в Филях... — Л. Н. Толстой. Война и мир. 3, 3, IV.

Князь Болконский ~ слышит свежий девигий смех в саду... — Там же. 2, 3, II.

...Гоголь только «проехался по России»... — Отсылка к названию главы XX из книги «Выбранные места из переписки с друзьями» — «Нужно проездиться по России».

Кинокефалы — у греческих историков и писателей (Геродот, Гесиод) люди с собачьими, волчьими, шакальими головами.

Копчик (кобчик) — хищная птица рода соколов (Falco vespertinus).

...ковзга, в котором их заперли на сорок дней... — Быт 7, 17.

С. 431. *...у Достоевского на протяжении XIV томов... — описка: Розанов имел в виду XII томов. См. коммент. к с. 382.*

...Гоголь «перекошил все живое» (определение Вяземского)... — Имеются в виду слова из статьи П. А. Вяземского «Языков и Гоголь» (1847): «Гоголь до последнего колоса перекошил неизменные жатвы нашего общества. Мудрено, как другие не догадались, что после него не осталось ни одного живого зерна, и голодные бросились на поле, опустошенное сильным и ловким жнецом» (Вяземский П. А. ПСС. СПб., 1879. Т. II. С. 324).

С. 431. *Дай ей сопутников, полных внимания...* — М. Ю. Лермонтов. Молитва («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...», 1837).

...«ангел сатаны, уязвляющий в плоть»... — 2 Кор 12, 7.

...«клетчатый пиджак» «приживальщика». — Отсылка к одеянию черта из «Кошмара Ивана Карамазова», «обратившегося вроде как бы в приживальщика хорошего тона», у которого были «клетчатые панталоны» и «какой-то коричневый пиджак» (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 4, 11, XIX).

...«железный стих»... — М. Ю. Лермонтов. «Из-под таинственной холодной полумаски...» (1841).

...«небожители», входящие в дом Лота... — Быт 19, 1–3.

С. 432. *И непонятно тоскою уже загорелась земля.* — Н. В. Гоголь. Выбранные места из переписки с друзьями. XXXII. Светлое Воскресенье.

Их кратким приветом... — Вариант стихотворения М. Ю. Лермонтова «Есть речи — значенье...» (1840), помещенный в сборнике «Вчера и сегодня» (СПб., 1845).

С. 433. ...«столпом и утверждением»... — См. коммент. к с. 301.

...у Гоголя ~ с «Четь-Миняями»... — См. текст на с. 302 и 415.

...«прощения перед птичками», «не возгордись перед животным»... — Цитируется глава «Из бесед и поучений старца Зосимы» («Братья Карамазовы»).

С. 434. *Юродивый, что «кладет пегу»...* — Л. Н. Толстой. См.: Грибовский В. У графа Л. Н. Толстого // Неделя. 1886. 17 и 24 авг. № 33, 34.

...совлекая «ветхого теловека»... — См.: Рим 6, 6; Ефес 4, 22; Кол 3, 9.

Открывают край одежды его... — Втор 22, 30.

...от Колосова до Нежданова... — Названы герои повести И. С. Тургенева «Андрей Колосов» (1844) и его романа «Новь» (1877).

С. 435. *Не скужны ли тебе непрощенные ласки?* — М. Ю. Лермонтов. Ребенку (1840). То же далее.

...«когда промогишь землю под собою слезами...» — Ср.: «...а как напоишь слезами своими под собой землю на пол-аршина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься» (Ф. М. Достоевский. Бесы. 1, IV).

С. 436. *И звезды, и месяц, и туги толпой...* — См. коммент. к с. 425.

О поле, поле, кто тебя... — А. С. Пушкин. Руслан и Людмила. III (1820).

...«конь и всадник — «вержены в море»... — См.: «коня и всадника вверже в море» (Иск 15, 1).

С. 437. *Слеза моих ланит — твоих ланит не обожгла ль?* — неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Ребенку».

С. 438. ...о «пауках» и «бане»... — Имеются в виду слова Свидригайлова: «Нам вот все представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! <...> И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность...» (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. 4, I).

...раньше, чем Филипп позвал тебя... — Ин 1, 48.

Не правда ль говорят... — М. Ю. Лермонтов. Ребенку.

С. 439. *Устами праздными вращая имя Бога...* — А. С. Пушкин. Анджело (1833). Во второй части поэмы: «Устами праздными жевал он имя Бога».

...«груша съедена и оказалась вкусна». — Вероятно, фраза составлена по подобию следующей: «Сия дыня съедена такого-то числа» (Н. В. Гоголь. Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. I).

В издании Тихонравова... — Сочинения Н. В. Гоголя в пяти томах. Это издание, подготовленное Н. С. Тихонравовым (М., 1889–1893), было завершено В. И. Шенроком.

...«жил в 1834 г. в доме Лепена, на Малой Морской»... — Н. В. Гоголь проживал в трехкомнатной квартире дворового флигеля дома придворного музыканта Г. Лепена (Малая Морская ул., д. 17) с лета 1833 г. по июнь 1836 г.

С. 440. *Как ранний плод, лишенный сока...* — М. Ю. Лермонтов. «Гляжу на будущность с боязнью...»

...*детский лепет Подслушивать, невинный груди трепет...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей.

С. 441. *Он пел о блаженстве безгрешных духов...* — М. Ю. Лермонтов. Ангел.

...«*паки на прежняя*»... — выражение, широко встречавшееся в правовых актах, религиозных песнопениях, публицистике и др. (см.: Полн. собр. законов. СПб., 1830. Т. XXVII: 1802—1803. С. 592; Канон Пресвятыя Богородицы в честь иконы Ея «Почаевская»; Аксаков И. С. ПСС. М., 1887. Т. 6. С. 439). *Паки* — снова.

...*дни его — как трава сельная...* — Пс 102 («Дни человека, как трава; как цвет полевой»).

Тиндаль говорит где-то... — Речь идет об эффекте Дж. Тиндаля, английского физика. Очевидно, Розанов был знаком с его «Популярными лекциями» (СПб., 1885).

...«*Нафанаил под смоковницею*»... — Ин 1, 48. Принято считать, что Нафанаил — одно лицо с Варфоломеем, апостолом из 12-ти.

С. 444. *Несколько лет назад около Ельца...* — Розанову были известны елецкие происшествия, поскольку в 1887—1891 гг. он преподавал в местной мужской гимназии.

...*лучшим мылом от Брокера...* — Имеется в виду изделие популярного в России московского Товарищества парфюмерного производства «Брокер и К°» (1893—1918). Еще раньше, в 1860-е гг., его основатель французский парфюмер Генрих Брокер организовал в Москве производство «народного мыла», кусок которого стоил одну копейку, что вызвало большой спрос среди самого многочисленного сословия — крестьянства, которое до того мылось щелоком из печной золы.

Влажный след в морщине... — М. Ю. Лермонтов. Утес.

...*времен бедного поселка на Палатинском холме...* — На Палатине (центральном из семи главных холмов Рима), по преданию, Ромул заложил город; следы первого поселения здесь датируются примерно 1000 г. до н. э.

Сицилийская вегерня — восстание на Сицилии 29 марта 1282 г. против Карла I Анжуйского, в результате которого все французы в Палермо были вырезаны.

Слугай с Лукрецией ~ не считался до Нибура фавулою... — По преданию, над патрицианкой Лукрецией надругался сын римского царя Секст Тарквиний. Это событие послужило поводом к восстанию, приведшему к свержению царской власти в Риме и установлению республиканского строя. Немецкий историк Б. Нибур показал, что это типичная легенда, поскольку мотив оскорбления добродетельной женщины как предлог к бунту против тирана является «бродячим сюжетом» мировой литературы.

С. 446. *Вьются туги, мгаются туги...* — А. С. Пушкин. Бесы.

С. 447. «*Владимирка*» — дорога из Москвы во Владимир, по которой осужденных отправляли на каторгу в Сибирь.

«*Взгляните на лилии полевые...*» — Мф 6, 28—29.

Засох я без тени, увял я без сна и покоя. — М. Ю. Лермонтов. Листок.

С. 448. ...«*опустившегося носа, раздавшего рта, выбежавшего клыка*»... — Н. В. Гоголь. Страшная месть. См. текст на с. 384 и 415.

...*Что так жалобно поют.* — А. С. Пушкин. Бесы.

С. 449. ...*да оставит отца и мать и да прилепится...* — Мф 19, 5.

...*с жадною тоской...* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей.

...«*бе яко туман вод*»... — См. коммент. к с. 283.

С. 450. ...«Апологию» в 2 томах Штёкера... — Придворный священник Вильгельма I и Вильгельма II Адольф Штёкер явился предшественником национализма и расового антисемитизма Гитлера. Какое издание подразумевает Розанов, не ясно: из трех десятков книг, опубликованных Штёкером, ни одна не выходила в двух томах и не имела названия «Апология».

С. 454. ...«великолепнее Соломоновых одежд»... — Мф 6, 29.

С. 457. ...дружные, как волны... — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель (1840). Цитируется с пропуском строки.

Восходит гудное светило... — Там же. Далее еще три цитаты.

С. 458. ...стал бы около Шарлоты Кордэ в тот день... — 13 июля 1793 г., когда она нанесла смертельный удар ножом одному из лидеров якобинцев Жану Полю Марату на его квартире.

«Теодицея» — труд немецкого философа Г. В. Лейбница. Полное название: «Опыты теодицеи о благодти Божией, свободе человека и происхождении зла» (1710).

«Мир как воля и представление» — главное сочинение немецкого философа А. Шопенгауэра (1819–1841, рус. пер.: 1903).

Старая Эдда (Старшая Эдда) — сборник древнеисландских песен о скандинавских богах и героях, изданный по рукописи второй половины XIII в. До 1917 г. на русский переводились лишь отдельные песни.

С. 459. ...«*bel ati*» (почти в конце романа)... — «Милый друг» Г. де Мопассана.

Милая матушка, мне не сидится... — См. коммент. к с. 250.

С. 460. *Валентинов день настал...* — У. Шекспир. Гамлет. IV, 5. Пер. А. И. Кронеберга.

...*Ниневия уже погребена под песком пустыни ~ откопаны в нашем веке* — Ниневия, столица Ассирийского царства, в 612 г. до н. э. была разрушена вавилонянами и мидянами. Начало исследованию руин Ниневии было положено в 1847 г., раскопки продолжались до 1930-х гг.

...«*времени больше не будет*»... — См. коммент. к с. 346.

С. 461. *Пером сердитый водит ум...* — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель.

...*воздушный, безотгетный бред...* — Там же.

Я видел Истину; я осызаял ее — Живую, прямо перед собой... — Ф. М. Достоевский. Сон смешного человека. Фантастический рассказ (Дневник писателя. 1877. Апрель: «Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!»).

О, *теперь все называют меня смешным...* — так начинается «Сон смешного человека»: «Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим».

С. 462. ...у Лойолы, когда повесая щит и латы в гасовеньке, на перепутьи, перед Божьей Матерью... — Основатель ордена иезуитов Игнатий Лойола в 1522 г. в Монсеррате (около Барселоны) с оружием в руках простоял целую ночь перед образом Богоматери и затем повесил около него свою шпагу и кинжал. В 1523 г. он отправился в Палестину, чтобы проповедовать Евангелие магометанам, но не встретил поддержки у местного духовенства и вернулся в Барселону.

Джон Нокс, бежав во время мессы в церковь, стал кричать, что присутствующие поклоняются идолам... — 11 мая 1559 г. проповедник Джон Нокс выступил в церкви св. Иоанна в Перте против католического идолопоклонства и за независимость Шотландии, что вызвало восстание горожан и вскоре переросло в протестантскую революцию в Шотландии.

С. 463. ...*следуя «правилу Лютера»...* — См.: «„Чистому все чисто“ — вот главное правило Лютера, а потому за столом его мы встречаем почти всегда веселую круговину, угощение пышно...» (Новиков Е. П. Гус и Лютер. М., 1859. Ч. I. С. 453).

- Быстро двери отворил...* — У. Шекспир. Гамлет. IV, 5. Пер. А. И. Кронеберга.
- «История французской революции»* — книга английского писателя Томаса Карлейля, первый том которой был написан за пять месяцев 1836 г. Единственная рукопись была передана для прочтения его другу Дж. С. Миллю и в результате несчастного случая сгорела. Милль убедил Карлейля принять от него 100 фунтов стерлингов в компенсацию утраты, и 12 января 1837 г. Карлейль завершил восстановление первого тома.
- ...фунт мяса, вырезанного из той части тела...* — Аллюзия на сюжет комедии У. Шекспира «Венецианский купец» (1596).
- «Эдинбургская темница»* — роман Вальтера Скотта (1818, рус. пер.: 1825).
- ...гуть ли не Ева...* — Героиню романа «Эдинбургская темница» зовут Эффи.
- С. 465.** *Все разверзающее ложесна — Мне.* — Исх 34, 19.
- ...«ветхое деньми»...* — См. коммент. к с. 111.
- С. 466.** *...«жертва», «дух сокрушен»...* — См.: «Жертва Богу дух сокрушен» (Пс 50, 19). Голубинский, идя на лекцию, всегда имел обыкновение ~ прогитывать одну главу из Библии... — Источник этих сведений обнаружить не удалось; вероятно, они основаны на мемуарном свидетельстве графа М. В. Толстого о протоиерее Ф. А. Голубинском: «Первую лекцию он начинал чтением из книг Соломоновых» (Толстой М. В. Хранилище моей памяти. М., 1995. С. 123).
- ...«по Бенеке»...* — Книга немецкого философа Ф. Э. Бенеке «Руководство к воспитанию и учению» (рус. пер.: СПб., 1871—1872. Ч. 1—2) вызвала полемику между К. Д. Кавелиным («Задачи психологии». СПб., 1872) и И. М. Сеченовым («Психологические этюды». СПб., 1873).
- С. 467.** *В гем... существо человека?..* — Розанов с пропусками цитирует стихотворение Г. Гейне «Вопросы» (1827) из цикла «Северное море» в переводе Н. А. Добролюбова (1857), к которому он обращался и в других своих статьях. Ср.: «В чем состоит существо человека? / Как он приходит? Куда он идет? / Кто там сверху, над звездами, живет?..» *Я видела Живого, видящего вслед меня...* — Быт 16, 13.
- С. 468.** *...«тьма, облако и мрак»...* — Втор 4, 11.
- С. 469.** *...«все, разверзающее ложесна...».* — См. коммент. к с. 465.
- С. 470.** *Супруг блудливых коз...* — начало перевода стихотворения А. Шенье, сделанного А. К. Толстым (1856).
- «И вола его, и раба его, и елика суть...»* — Исх 20, 17 (десятая заповедь).
- ...мыслью, следовательно... [существую]* — Р. Декарт. Начала философии (1644). 1, 47.
- Слеза моих ланит — твоих ланит не обожгла ль?* — См. коммент. к с. 437.
- С. 471.** *...прогел ~ об «оплодотворении»...* — Книповиг Н. Оплодотворение // Энциклопедический словарь / Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. СПб., 1897. Т. XXII: Опека — Оутсайдер. С. 20—23; Надсон Г. Оплодотворение у растений // Там же. С. 23—31.
- Ascaris* — аскарида, паразитический круглый червь.
- С. 472.** *...«штыринадцать уж лет Она являлась в фартугке, с мадамой...»* — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей. 16.
- Пером сердитый водит ум.* — См. коммент. к с. 461.
- Восходит гудное светило...* — См. коммент. к с. 457.
- ...о блаженстве безгрешных духов Под кущами...* — М. Ю. Лермонтов. Ангел.
- С. 473.** *И звук этих слов заменить не могли...* — Там же.
- «Ивановы гервятки»* — светлячки.
- С. 474.** *«Буди мне по глаголу»...* — ответ девы Марии на благовестие (Лк 1, 38).
- Тс, тс... Ромео — это ты?* — См. коммент. к с. 270.
- С. 475.** *Без руля и без ветрил...* — М. Ю. Лермонтов. Демон. I, 15.

С. 475. *Средь полей необозримых...* — М. Ю. Лермонтов. Демон. I, 15.

...«дух» есть «функция мозга» как «урина — погек» (формула К. Фохта)... — См.: «Мысль находится в почти таком же отношении к мозгу, как желчь к печени или моча к почкам» (Фогт К. Физиологические письма / Пер. с 3-го нем. изд. (1861 г.) Н. Бабкин и С. Ламанский. 2-е изд. СПб., 1867. С. 298).

С. 476. ...«самый тяжелый мозг, из всех взвешенных, оказался у Кювье...» — О том же Розанов писал в статье «Из загадок человеческой природы» (1898), правда без ссылки на Т. Г. Гексли: «Мозг самый тяжелый был у Кювье; но следующий за ним по тяжести был мозг одной помешанной женщины, высокие способности которой ничем не были засвидетельствованы...» (гл. V). См. сообщение в книге, известной Розанову (она цитируется в статье «Литературная личность Н. Н. Страхова»; см. наст. том, с. 665): «Тело Кювье подверглось вскрытию. Оказалось, что мозг его весил 3 фунта 10 унций, то есть на фунт более, чем мозг обыкновенного человека» (Энгельгардт М. А. Жорж Кювье. Его жизнь и научная деятельность: Биографический очерк. 2-е изд. СПб., 1893. С. 79).

...у Гоголя (*Ревизор*) объясняя урок ~ «строит рожки». — Об учителе, который «никак не может обойтись без того, чтобы, взошедши на кафедру, не сделать гримасу» обмениваются репликами в начале комедии городничий Сквозник-Дмухановский и зритель училищ Лука Лукич (I, 1).

С. 478. ...сияющий огнями Вегетерный пир в родимой стороне... — М. Ю. Лермонтов. Сон.

С. 479. Звугал мне голос твой отрадный, как мечта... — М. Ю. Лермонтов. «Из-под таинственной холодной полумаски...» (1841).

Но все мне кажется: живые эти реги... — Там же.

С. 480. ...для мiра пегали и слёз... — М. Ю. Лермонтов. Ангел. Далее приводятся еще четыре цитаты из этого стихотворения.

С. 481. И приснилось Астиагу, что из половых органов его дочери Манданы выросло дерево... — См.: «Астиаг опять увидел сон: ему приснилось на этот раз, что из чрева его дочери выросла виноградная лоза и эта лоза разрослась затем по всей Азии» (Геродот. История. I, 108).

...в скобках поставленных автором... — Н. М. Книповичем. См. коммент. к с. 471.

В тугках алых пурпур розы... — см. коммент. к с. 136. У Фета: «В дымных тучках пурпур розы...»

С. 482. Сквозь туман кремнистый путь блестит... — М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу...» (1841).

Копуляция гамет происходит только при температуре... — Надсон Г. Оплодотворение у растений. С. 24. Копуляция — слияние двух половых клеток (гамет).

...«он ее уже не познал»... — 3 Цар 1, 4.

...из предисловия гр. Толстого к «*Bel ati*» Мопассана. — См. коммент. к с. 357.

«Заведение Телье» — сборник новелл Ги де Мопассана (1881).

...статья нагибающего Гаршина. — В «Русском Богатстве» в 1880 г. (№ 1) опубликован рассказ В. М. Гаршина «*Attalea princers*».

Он вас знает и огонь ценит... — Прочитав «Смерть Ивана Ильича» Толстого, Мопассан сказал: «Я вижу, что вся моя деятельность была ни к чему, что все мои десятки томов ничего не стоят» (ЛН. М., 1939. Т. 37/38. С. 447).

С. 483. Так пьяница пред рюмкою вина... — А. С. Пушкин. Борис Годунов. I, сцена «Царские палаты» («Что пьяница пред чаркою вина...»).

«Чудный друг» — такой перевод названия романа «Милый друг» сделан его переводчиком Л. Н. Никифоровым в издании романа фирмой «Посредник»: Мопассан Гюи де. Чудный друг и другие рассказы / С предисл. Л. Н. Толстого. М., 1896. Толстой в своем предисловии к переводу романа Мопассана «Монт-Ориоль» все произведения Мопассана называл по-французски.

- С. 484.** «Земля новая» и «небо новое»... — См. коммент. к с. 366.
- С. 485.** «Вы эту Реслих знаете?..» — Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. 6, IV.
- С. 486.** ...«уборы», привезенные и Маргарите Фаустом... — И. В. Гёте. Фауст. I, сцена «Вечер».
...«ветхая деньми»... — См. коммент. к с. 111.
- С. 487.** ...Дракон пред нею... — Откр 12, 4.
...розовые шторы опущены... — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей, 20.
Вот ружья, вот плего, и возле них... — Там же, 4 и 6.
С темно-бледными плечами... — М. Ю. Лермонтов. Дары Терека.
Если б знал ты Виргинию нашу, то жалость стеснила б... — М. Ю. Лермонтов. «Это случилось в последние годы могучего Рима...». Далее то же.
- С. 488.** ...у албанки Аннуциаты. — Описки Розанова. В повести Гоголя «Рим» (1842): «очи у альбанки Аннуциаты». Ср. то же в 1-м томе наст. изд. (с. 153 и 883).
- С. 489.** «Собака на заборе»... — Л. Н. Толстой. Война и мир. I, 2, XVI («Собака на заборе, живая собака на заборе, — сказал Денисов ему вслед — высшую насмешку кавалериста над верховым пехотинцем»).
- С. 491.** *Нагало главы XLVIII вырвано, текст восстановлен по листку, наклеенному на следующей странице.*
Эй, Ламберт! — Ф. М. Достоевский. Подросток (ПСС. Л., 1975. Т. 13. С. 347).
«*Journal des Débats*» («Газета дебатов», фр.) — парижская консервативная газета. См. коммент. к с. 94.
«*Independence*» — точнее: «*Indépendance Belge*» («Бельгийская независимость», фр.), влиятельная газета, издававшаяся в Брюсселе с 1830 по 1937 г.
- С. 492.** А, любезный Федр! Куда и откуда?.. — Платон. Федр. 227а — 229а. Здесь и далее пер. В. Н. Карпова (1863).
- С. 493.** «С. — Иди же вперед и выбирай, где нам сесть — Платон. Федр. 229а–с.
- С. 494.** ...похитил Орифию — дочь аттического царя Эрехтея, по преданию, была похищена северным ветром Бореем и унесена во Фракию (Павсаний. I, 19, 6).
Ходила в фартужке, держалась прямо... — См. коммент. к с. 472.
«← Умствуя как и мудрецы эти — продолжение диалога Платона «Федр». 229с–е.
Ареев холм (холм Арея) — ареопаг, где, согласно Эсхилу, происходил суд над Орестом, убившим свою мать за убийство своего отца.
- С. 495.** «Познай самого себя» — надпись на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. Изречение приписывается одному из семи мудрецов Фалесу, позже оно служило девизом Сократу.
— Но позволь мне прервать свою речь... — продолжение диалога «Федр». 230а–d.
Ира — Гера, супруга Зевса, покровительница семьи.
- С. 496.** ...к «клеим весенним листогкам»... — См. коммент. к с. 144 и текст на с. 318.
— Ты, однако, кажется нашел средство... — продолжение диалога «Федр». 230d–e.
Ф. — Как же тебе кажется, Сократ, прогитанное?.. — продолжение, 234с — 235b.
- С. 497.** ...удалено как Сириус от Ориона. — Ярчайшая звезда ночного неба Сириус из созвездия Большого Пса визуально кажется расположенной вблизи с хорошо различимым созвездием Ориона, хотя расстояние между ними огромно.
...«брянские опять пошли в гору», а «Одесского второго займа падают»... — Названы акции успешного Брянского отделения Орловского акционерного коммерческого банка, учрежденного в 1872 г. и имевшего большую клиентуру по всей России, и 5% облигации 2-го выигрышного займа (1866) Одесской конторы Государственного банка, сравнительно высоко котировавшиеся на рынке ценных бумаг в тот период.

- С. 497.** *Вьется алая лента игриво... — Н. А. Некрасов. Тройка (1846).
...мылом от Брокера...* — См. коммент. к с. 444.
- С. 498.** *Да лобзает он меня лобзанием уст своих... — Песн 1, 1.
Овидий что-то такое «увидел» за Августом...* — Римский поэт Овидий, сосланный императором Августом к Черному морю, писал, что причиной стало то, что он был невольным свидетелем «преступного дела» (*Tristia*. III, 5, 49). В «Письмах с Понта» он признается, что причиной стали его стихи (IV, 13, 41–42).
- С. 499.** *...Абеляр ~ потерял не утериваемое...* — Французский философ и теолог Пьер Абеляр был оскотлен по приказу дяди своей возлюбленной Элоизы, влиятельного парижского каноника Фульбера, за то, что та, венчавшись с Абеляром, жертвенно отказалась от брака, не желая препятствовать его духовной карьере. Месть Фульбера основывалась на том, что, по каноническим правилам, скопец не мог претендовать на высокие церковные посты. Абеляр и Элоиза приняли монашество. В России начиная с 1783 г. неоднократно издавалась их переписка и автобиография Абеляра «*Historia Calamitatum*» («История моих бедствий»).
- С. — Все еще не могу поверить тебе, Федр... — Платон. Федр. 235b—с.
Милая матушка... — См. коммент. к с. 250.
С темно-бледными плечами... — См. коммент. к с. 487.
Или, амфору держа на плечах... — М. Ю. Лермонтов. «Это случилось в последние годы могучего Рима...». См. текст на с. 488.*
- С. 500.** *Меж иных видений... — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей. 6.
Ф. — Хорошо, Сократ ~ а там делай, как хогешь». — Платон. Федр. 235d — 237a.
...приношения Кипселидов — Коринфский тиран Кипсел посвятил Зевсу в Олимпии золотую статую.*
- С. 501.** *В главе XLIX излагается первая режь Сократа из диалога «Федр».*
- С. 504.** *И, девственным дыханьем напоенный... — М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей. 4. См. текст на с. 407 и 422.
Восходит гудное светило... — См. коммент. к с. 457.
Пером сердитый водит ум... — См. коммент. к с. 461.*
- С. 505.** *Тришатов — персонаж романа Ф. М. Достоевского «Подросток». Розанов характеризует его в начале XXVI главы «Тайны» (наст. том, с. 350).
С девизьей улыбкой, с змеиной душой... — А. К. Толстой. Василий Шибанов (1858).*
- С. 506.** *...возраст возрасту рад... — пословица, соответствующая русской «свой своему поневоле друг».
...марка перевернулась... — пословица, означающая внезапную перемену; восходит к игре, в ходе которой дети, разделившись на две половины, бросали вверх «остракинду» (в переводе «марка»), которая с одной стороны была наведена смолою, с другой выполирована, и, смотря по тому, какой стороной она ложилась кверху, одна часть детей должна была бежать, а другая — догонять ее.
Как волки любят ягнят, так любовники мальчиков любят. — Платон. Федр. 241d.*
- С. 507.** *Есть реги... — вариант стихотворения Лермонтова «Есть речи — значение», опубликованный в сборнике «Вчера и сегодня» (СПб., 1845). См. коммент. к с. 432.*
- С. 508.** *...по примеру Ивика ~ не приобрести гести от людей ценою заблуждения касательно богов. — Изречение, которое Сократ приписывает Ивику, поэту VI в. до н. э., жившему на острове Самосе и написавшему семь книг стихотворений на дорийском наречии, неизвестно: от его сочинений сохранились лишь небольшие фрагменты. Легенда об убийстве Ивика от рук разбойников легла в основу баллады Ф. Шиллера «Ивиковы журавли» (1797) и ее переложения, выполненного В. А. Жуковским (1813).*

Душу Божьего творенья... — Ф. И. Тютчев. Песнь радости (Из Шиллера) (1823). Перевод оды Ф. Шиллера «К радости» (1786).

С. 509. *С древней матерью землею...* — В. А. Жуковский. Элевзинский праздник (1834). Перевод баллады Ф. Шиллера 1798 г.

Гроздий сок, венки Харит... — Ф. И. Тютчев. Песня радости.

С Олимпийския вершины... — В. А. Жуковский. Элевзинский праздник.

С. 510. ...«палинодию», «обратную песнь». — Палинодией называлось покаянное стихотворение, в котором поэт отрекался от сказанного им в другом стихотворении.

Нет, мой неверен стих... — Платон. Федр. 243а.

...Кубок жизни пламенит... — Ф. И. Тютчев. Песня радости.

С. 511. *Да лобзает он меня лобзанием уст своих...* — См. коммент. к с. 498.

Ноги безумные... — А. Н. Апухтин. «Ночи безумные, ночи бессонные...» (1876).

...часть его большая... — Г. Р. Державин. Памятник (1795) («часть меня большая»).

С. 512. *Радость везная поит* — Ф. И. Тютчев. Песня радости.

«Для тего имя мое? — оно гудно...» — Суд 13, 18.

«Лица Моего невозможно увидеть и не умереть...» — Исх 33, 20.

С. — Итак, стыдясь подобного теловека... — продолжение диалога «Федр». 243d–e.

С. 513. *С. — Итак, заметь прекрасный мальчик...* — продолжение, 244а.

...от «Руслановой головы». — А. С. Пушкин. Руслан и Людмила (1820). III («живая голова»).

— И Додонские жрецы, находясь в состоянии исступления... — продолжение диалога «Федр». 244b–d.

С. 514. «Сонька золотая ручка» — Софья Ивановна (Шейндля-Сура Лейбовна) Блювштейн (в девичестве Соломониак) — знаменитая преступница-авантюристка еврейского происхождения, известная под прозвищем «Сонька Золотая Ручка».

— ...имя — с именем, дело — с делом... — продолжение диалога «Федр». 244d — 245а.

С. 515. *— Вот как много, Федр, да еще и более прекрасных дел...* — продолжение, 245b–с.

И мир мегтою благородной... — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель.

«Я видел Истину, я осызл ее!..» — См. коммент. к с. 461.

— Итак, одно только движущееся само по себе... — продолжение диалога «Федр». 245с.

С. 516. *— Но нагало не имеет нагала...* — продолжение диалога «Федр». 245d–e.

Травка выбежала к свету. — Ф. И. Тютчев. Песнь радости («Травку выманила к свету...»).

Ты знаешь ли павлина: он кладет яйца в песке... — Иов 39, 14–15.

«cogito ergo sum» — слова Р. Декарта. См. коммент. к с. 470.

— Когда же так, когда самодвижимое... — продолжение диалога «Федр». 245e — 246b.

С. 517. *Пером сердитый водит ум...* — См. коммент. к с. 461.

— Так управление-то нами поневоле... — продолжение диалога «Федр». 246b.

Хаос — в солнце развила... — Ф. И. Тютчев. Песнь радости («В солнца — хаос развила / И в пространствах — звездочету / Неподвластных разлила!»).

С. 518. *Все разверзающие ложесна — Мне...* — См. коммент. к с. 465.

Сила пера состоит обыкновенно в том... — продолжение диалога «Федр». 246b–с.

...«и осла твоего, и пришельца твоего»... — Исх 23, 4 и 9 (контаминация).

С. 519. ...«лилия» лугше «Соломона»... — См. коммент. к с. 454.

...Я бедный листок дубовый... — М. Ю. Лермонтов. Листок (1841) («Дубовый листок оторвался от ветки родимой»).

<Текст сноски отсутствует> — См.: Ф. М. Достоевский. Бесы. 2, 1, V.

С. 520. — *Итак, великий вождь неба, Зевс...* — продолжение диалога «Федр». 246е — 247а.

...под кущами райских садов... — М. Ю. Лермонтов. Ангел (1831). И далее то же.

С. 521. *Стоя на нем, оне вращаются вместе с орбитою...* — продолжение диалога «Федр». 247с — 248b.

...в воскресении не будут родить... — См. коммент. к с. 348.

С. 522. *...От этого стремления — волнение...* — продолжение диалога «Федр». 248b-d.
...в зародыш теловека, имеющего быть философом... — там же, 248d — 249а.

С. 524. «Дневник Амьеля» — книга швейцарского философа и поэта А. Ф. Амиеля «Из дневника Амиеля», опубликованная посмертно в 1883—1887 гг. и вышедшая в русском переводе М. Л. Толстой под редакцией и с предисловием Л. Н. Толстого (СПб.: Посредник, 1894).

С. 526. *Душа не окрылится, разве то будет душа...* — продолжение диалога «Федр». 249а-с.

Масперо. Суд подземный. — Французский египтолог Гастон Масперо, возглавляя основанный им в 1881 г. в Каире французский Институт восточной археологии, в течение 6 лет производил масштабные археологические раскопки и, в частности, обнаружил тайник с царскими мумиями в Дейр эль-Бахри. Розанов, видимо, собирался поместить в книге иллюстрацию о потустороннем судилище из какой-то его книги, например: *Масперо Г. Древняя история: Египет, Ассирия / Пер. с фр. СПб., 1892.*

Когда же через шумный град... — М. Ю. Лермонтов. Пророк (1841). То же далее.

С. 527. *Так вот куда, любезный Федр, привела нас резь...* — продолжение диалога «Федр». 249d — 250с.

...сперва приходит в трепетное волнение... — там же. 251а-d.

Восходит гудное светило... — См. коммент. к с. 457.

С. 529. «Архив судебной медицины» — официальный орган Медицинского департамента Министерства внутренних дел «Архив судебной медицины и общественной гигиены», выходивший в Петербурге в 1865—1871 гг. 4 раза в год.

Трибадистка — термин, использовавшийся в психиатрии для обозначения лесбиянки.

...а увидевши мальгика и еще более воспламеняясь... — продолжение диалога «Федр». 251е — 252а.

С. 530. *Поэтому любящий своею волей...* — там же, 252а.

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша... — И. Ф. Богданович. Душенька (1775). II.

Тут забываются и матери, и братья, и друзья... — продолжение диалога «Федр». 252а-b.

— Затем тебе мое имя? Оно — гудно... — См. коммент. к с. 512.

Это пернатое у людей называется Эрос... — стихи из второй речи Сократа (Платон. Федр. 252b).

Федор Павлович: «детогки — порсятожки...» — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 1, 3, VIII (ПСС. Т. 14. С. 125—126).

С. 531. *Итак, когда под власть ~ Напротив, сопутствующие Арею ~ походил на их бога.* — Платон. Федр. 252с-d.

Платоновская Академия — религиозно-философский союз, основанный Платоном в 380-х гг. до н. э. близ Афин в местности, названной в честь мифического героя Академа.

С. 532. *Таким же образом последовавшие за Ирою...* — Платон. Федр. 253b — 254а.

...припомнить «матросов», «функцию». — См. текст на с. 510.

С. 533. *Снагала они с негодованием противятся ему...* — Платон. Федр. 254а — 255b.

С. 534. *Через прикосновение производит то, что место истегений, названный от Зевса...* — Там же. 255b–d. Описка Розанова в окончании причастия (надо: названное) объясняется тем, что он, цитируя перевод В. Н. Карпова, сокращал и стилистически правил его. Ср. у Карпова: «...через прикосновение в гимназиях и других местах собраний производит то, что источник тока, названный от Зевса, по поводу любви его к Ганимеду...»

С. 535. *Поэтому, когда один на глазах, — и любимец...* — Там же. 255d — 257c.

С. 536. *Сокр.: Мне кажется, Федр, что в риторике совершеннее всех Перикл?* — Там же. 269e — 270a.

Сокр. — Знаешь ли, чем лугше угодить Богу... — Там же. 274b — 275b.

С. 537. *...ирония Толстого над «буквами» Гуттенберга...* — Секретарь Л. Толстого передавал слова писателя об изобретателе книгопечатания, сказанные в 1900 г.: «...готовятся сейчас к празднованию юбилея Гуттенберга. Если это юбилей в благодарность ему за то, что он дал возможность печатать всё, что сейчас появляется, то он, Гуттенберг, был бы величайшим преступником!» (*Лебрен В.* Лев Толстой (человек, писатель и реформатор) / Пер. с языка эсперанто Б. А. Зозули. Ростов н/Д, 2005. С. 36).

Сокр. — Но рассказывали же, друг мой, что в храме Додонского Зевса... — Платон. Федр. 275b. В прорицалище Зевса в Додоне (Северная Греция, Эпир) толкования оракула давали по шелесту листьев дуба.

...режь «тишайшего» Алексея Михайловича к греческим торговцам на Москве, которую приехал Достоевский... — Ф. М. Достоевский. Дневник писателя (1877). Январь. 1, IV («Мнение „тишайшего“ царя о Восточном вопросе»): «Мне сообщили одну выписку из одного сочинения, изданного в Киеве в прошлом году: „Московское государство при царе Алексее Михайловиче и патриархе Никоне, по запискам архидиакона Павла Аллеппского“. Соч. Ив. Оболенского, Киев, 1876 г., стр. 90–91. <...> Говорили, что на Св. Пасху (1656 г.) Государь, христосуясь с греческими купцами, бывшими в Москве, сказал между прочим к ним: „Хотите ли вы и ждете ли, чтобы я освободил вас из плена и выкупил?“ И когда они отвечали: „Как может быть иначе? как нам не желать этого?“, — он прибавил: „Так, — поэтому, когда вы возвратитесь в свою сторону, просите всех монахов и епископов молить Бога и совершать литургию за меня, чтобы их молитвами дана была мне мощь отрубить голову их врагу“. Достоевский допустил неточность: автор упомянутой книги — И. Аболенский.

Сокр. — ...Лугшие из регей пишутся для напоминания людям... — Платон. Федр. 275d–e.

С. 538. *...«небольшое произведение и не шумное ~ но нужное для многих».* — Н. В. Гоголь. Письмо к А. О. Смирновой-Россет от 21 марта (2 апреля) 1845 г. из Франкфурта (впервые: Северный Вестник. 1893. № 1. С. 246–250). В письме говорится о замысле книги «Выбранные места из переписки с друзьями».

Сокр. — Не прилизнее ли, уходя отсюда... — Платон. Федр. 279b–c.

...Платон ~ дважды ездил в Сиракузы... — Философ впервые приехал в Сиракузы к их правителю Дионисию Старшему в 399 г. до н. э., безуспешно надеясь там осуществить свой проект по преобразованию государства; позднее Платон еще дважды ездил в Сиракузы, но уже к Дионисию Младшему — и также неудачно.

Он горд был, не ужился с нами... — М. Ю. Лермонтов. Пророк (1841).

Поди теперь и скажи Лизиасу, что мы ходили... — Платон. Федр. 278b–c.

С. 539. *Без сна — горят и плагут очи...* — М. Ю. Лермонтов. Журналист, читатель и писатель.

«Парменид» — диалог Платона, который вели в 450 г. до н. э. Парменид, Зенон, Сократ и один из будущих тридцати тиранов Аристотель.

Ласкаю я в душе старинную мечту... — М. Ю. Лермонтов. «Как часто, пестрою толпою окружен...». То же далее.

- С. 540.** *Завет Предвежного храня...* — См. коммент. к с. 379.
 «Чем люди живы» — рассказ Л. Н. Толстого (1885).
О, все теперь смеются мне в глаза... — Ф. М. Достоевский. Сон смешного человека. Фантастический рассказ (Дневник писателя. 1877. Апрель).
- С. 541.** ...«Белого орла» или «Александра Невского». — Орден Белого Орла — один из старейших польских орденов (с 1325 г.), причисленный к государственным наградам Российской империи в 1831 г. как Императорский и Царский орден Белого Орла. В 1724 г. в связи с переносом мощей Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург Петр I задумал учредить орден, носящий его имя, но не успел из-за своей смерти 28 января 1725 г. Завершила создание ордена его вдова императрица Екатерина I в том же 1725 г.
 ...*трава, «сеющая семя по роду ее»...* — Быт 1, 11.
 ...«по буквам, изобретенным *Теутом*»... — отсылка к диалогу Платона «Федр». См. текст на с. 537.
 «Негистые уединения», о них вспоминает Толстой: «Я знал их». — См.: «Уединения мои были нечисты. Я мучался, как мучаются 0,99 наших мальчиков. Я ужасался, я страдал, я молился и падал» (Л. Н. Толстой. Крейцерова соната. IV).
- С. 542.** «La Nouvelle Revue» — французский политический и литературный журнал, издававшийся с 1879 по 1926 г.
 ...г. Н. В. ... — Н. Н. Вентцель.
И, как над пламенем грамоты тайной бесцветные строки... — А. К. Толстой. «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!» (1856).
Cogito ergo... — См. коммент. к с. 470.
Отец всего есть Океан... — У Гомера Океан — прародитель всех богов (Илиада. XIV, 201: «Видеть бессмертных отца Океана»; пер. Н. И. Гнедича). Ср. текст на с. 496.
- С. 545.** «Камень, который отвергли зяждущие, стал главою угла...» — Мф 21, 42.
- С. 546.** <Суд Озириса> — очевидно, здесь и далее Розанов таким образом намечает темы иллюстраций, которые намеревался разместить в книге.
- С. 547.** ...*два странных места у Геродота...* — Геродот. История. II, 65 и 66.
 ...«Содом» облюбовался с «Мадонной»... — См.: «...страшнее кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны...» (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. I, 3. 3).
- С. 548.** *Меньшиков — Элементы романа* — В статье «Семя и жизнь» Розанов писал: «Мы говорим о плотской любви, о половом влечении мужчины и женщины — да извинят нам термины, уже всюду начавшие повторяться. Это <...> „животное и грязное чувство, лживо изукрашенное поэтами“, определяет г. Меньшиков („Элементы романа“, в „Книжках Недели“ за сентябрь—октябрь, 1897 г.)...» (БВед. 1897. 29 нояб. № 326). Позднее это свое произведение М. О. Меньшиков переиздал с дополнениями под названием «О любви» (СПб., 1899), выделив четыре раздела-статьи: «О любовной страсти», «Суеверия и правда любви», «Любовь супружеская» и «Любовь святая».
- С. 549.** ...«ветхий деньми»... — См. коммент. к с. 111.
Мне рассказывал это некто, слышавший от Финика... — Платон. Пир. 172b, 175b–c, 177a–e. Здесь и далее пер. В. Н. Карпова (1863).
Нагал он реть (передает Аристомед) откуда-то издалека... — Там же. 178a–b.
- С. 550.** *Широкогрудая Гейя...* — Гесиод. Теогония. 119–121. Розанов взял эти строки из диалога Платона «Пир» (178b).
Первым из всех богов беременела в мысли Эросом. — Парменид. О природе. Тоже взято из «Пира» Платона (178b).
Но то я разумею, говоря так?.. — продолжение диалога «Пир». 178d–e.

- С. 551.** ...«безмертия души — по Бенекс»... — См. коммент. к с. 466.
 «Возлегли на мураву, Сократ предоставляет...» — Карпов В. Н. Платон. Федр. Введение // Сочинения Платона, переведенные с греческого и объясненные профессором Карповым. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 1863. Ч. IV. С. 4–6.
 «Поэтому, если бы представился какой способ...» — Платон. Пир. 178e — 179b.
- С. 552.** ...некоторым героям, как говорит Гомер, сам бог внушил отвагу... — Гомер. Илиада. X, 482; XV, 262.
 Одни любящие решаются умереть друг за друга... — Платон. Пир. 179b–с.
 Алкеста, которая решила одна умереть за своего мужа... — В греческой мифологии дочь царя Пелия, супруга Адмета, соглашается заменить мужа, обреченного на раннюю смерть, в царстве мертвых. Подкараулив пришедшую за Алкестой смерть, Геракл отбивает ее и возвращает мужу. Так излагается миф в трагедии Еврипида «Алкестиды». В диалоге Платона «Пир» об Алкесте говорит Федр (179c).
 «Совершив такое дело, она совершительницей дела...» — Платон. Пир. 179c — 180a.
 Выслали они из преисподней и Орфея... — Миф о певце и музыканте Орфее изложен в «Метаморфозах» Овидия (X, 1–63) и в «Пире» Платона (179d).
 Ахиллеса, который, узнав от своей матери, что если он убьет Гектора, то умрет... — Один из величайших героев Троянской войны Ахиллес и история его смерти, предсказанная его матерью Фетидой, изображена в «Илиаде» Гомера (XVI–XXII). У Платона: Пир. 179c — 180b.
 ...«старческого истощения цивилизации»... — Ср.: «период старческого истощения христианского девятнадцатого столетия» (Нордау Макс. Вырождение / Пер. с нем. Р. И. Сементковского. М., 1995. С. 23; перевод впервые издан в 1894 г.).
- С. 553.** Эсхил болтает вздор... — Из «Илиады» был взят сюжет трилогии Эсхила об Ахиллесе — «Мирмидоняне», «Нереиды», «Фригийцы, или Выкуп тела Гектора». Платон. Пир. 180a–b.
 Поэтому и Ахиллеса («любимца») — Там же. 180b.
- С. 554.** Павзаний нагал так... — Там же. 180c — 181c.
- С. 555.** «Жена имуща во гревех»... дракон, «жаждущий поглотить рожденное». — Откр 12, 2, 4.
 «Бог взял семена из миров иных»... — Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 2, 6, III.
- С. 556.** Влекомых действительно этим Эросом... — Платон. Пир. 181c — 182d.
- С. 557.** Во всех ты, Душенька... — См. коммент. к с. 530.
 ...Он тотчас улетает от любимца... — Платон. Пир. 183e — 184d.
- С. 558.** Эриксимах нагал так: Павзаний вступил в свою режь... — Там же. 186a — 188d.
- С. 559.** Стрела тогда далеко... — А. Н. Майков. Два мира (1882).
- С. 560.** В уме у меня, Эриксимах, говорить инаге... — Платон. Пир. 189c–e.
- С. 561.** Тогда весь образ каждого человека... — Там же. 189e — 190a.
 Так вот с какого давнего времени... — Там же. 191c — 192a.
- С. 562.** Когда же возмужают, они сами любят мальчиков... — Там же. 192a — 193a.
- С. 563.** Нагинает Агатон... — Речь Агафона о «совершенстве Эрота» в диалоге «Пир» Платона (194e — 197e).
 ...старшие Хроноса и Япета... — братья Хронос и Япет (Иапет) — титаны в греческой мифологии. Япет — отец Прометея.
- С. 564.** ...Гомер, который Ату называет богиней... — По Гомеру, богиня несчастья Ата, дочь Зевса, которая ввела в заблуждение отца, за что и была сброшена с Олимпа (Гомер. Илиада. XIX, 90–133).

С. 564. *Нежны стопы у нее, не касается ими...* — Гомер. Илиада. XIX, 92–93. То же цитировал Розанов в статье «Кроткий демонизм» (НВ. 1897. 19 нояб. № 7806; вошла в книгу «Религия и культура»). Цитата восходит к «Пиру» Платона (195d).

«Свадьба Фигаро» («Безумный день, или Женитьба Фигаро») — пьеса П. де Бомарше (1779) и опера Моцарта (1786). Керубино — паж графа Альмавивы, влюбленный в его жену.

С. 565. *И мир межтою благородной Пред ним огищен и обмыт...* — См. коммент. к с. 515.

Между людьми мир, спокойствие на море, Отишие ветров, на ложе сон заботам. — Стихи восходят к «Пиру» Платона (197с). Авторство не установлено. В пер. С. К. Апта: «Людам мир и покой, безветрие в море широком / Буйного вихря молчанье и сон безмятежный на ложе».

С. 566. *...«ибо юноша говорил достойно себя и бога».* — Платон. Пир. 198а.

И я видел жену... — Откр 12, 13.

Сокр. — Не правда ли, это Эрос... — Платон. Пир. 200е — 201с.

С. 567. *Теперь тебя оставляю и скажуречь об Эросе...* — Там же. 201d — 212с.

...по другим (Схолиаст) — жрица Зевса лианского, гтимого в Аркадии. — Речь идет о ремарке схолиаста (комментатора) к ритору Элию Аристиду (II в. до н. э.), который «именует Диотиму „мистериальным философом“, „жрицей Ликейского Зевса в Аркадии“» (Тахо-Годи А. А. Примечания // Платон. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 452).

С. 568. *...теория Ламброзо...* — В 1863 г. итальянский врач-психиатр Ч. Ломброзо издал свою книгу «Гениальность и помешательство» (рус. пер. Клары Тетюшиновой, 1885), в которой проводит параллель между великими людьми и помешанными.

С. 569. *Пелия (= бедность, нищета, скудость)...* — Здесь и ниже Розанов так ошибочно называет Пеню.

...Вот ружка, вот плего — и возле них... — См. выше (М. Ю. Лермонтов. Сказка для детей. 4–5).

С. 570. «Мадонна» и «Содом»... — См. коммент. к с. 547.

...винцо — разлива братьев Елисеевых; медок... — Медок — род французского виноградного вина. Торговый дом «Братья Елисеевы» был основан в 1858 г. Г. П. и С. П. Елисеевыми.

...герты и переливы... — А. А. Фет. «Шепот, робкое дыханье...». Цитируется неточно («Ряд волшебных изменений / Милого лица»).

С. 571. *...и он никогда не бывает ни беден, ни богат.* — Платон. Пир. 203е — 204с.

С. 572. *Тут я сказал: пусть так, иностранка...* — Там же. 204d — 205а.

О Боге великом он пел — и хвала... — М. Ю. Лермонтов. Ангел.

Что в имени тебе моем? — одноименное стихотворение А. С. Пушкина (1830).

С. 573. *...Сицилийскую вегерню...* — См. коммент. к с. 444.

С. 574. *...в воскресении не будут родить...* — См. коммент. к с. 348.

...Магометов кувшин... — См. коммент. к с. 349.

«Плоскогорье» — роман Л. Я. Гуревич, печатавшийся в «Северном Вестнике» (1896. № 9–12; 1897. № 1–4; отд. изд.: СПб., 1897).

— Но это хотение и этого Эроса... — Платон. Пир. 205а — 206с.

С. 576. *...финикианизм Федора Павловича...* — Розанов составил вариации на ту же тему, что на с. 530.

«И о семени своем благословятся все народы». — Ср.: «и благословятся в семени твоём все народы» (Быт 22, 18).

...«больничной» (Тургенев о Достоевском) «вони»... — И. С. Тургенев писал 7 декабря 1875 г. М. Е. Салтыкову-Щедрину о романе «Подросток»: «Боже, что за кислятина, и больничная вонь, и никому не нужное бормотанье, и психологическое напряжение!»

С. 577. *Восходит гудное светило...* — См. коммент. к с. 457.

С девой в комнату вернулся Но не деву отпустил. — Песня Мефистофеля в 19 сцене («Ночь. — Улица перед домом Гретхен») «Фауста» Гёте.

Милая матушка... — См. коммент. к с. 250.

С. 578. *...«корова — это как бы препарат для переработки сена в молоко»...* — Л. Н. Толстой. Анна Каренина. 3, IX («корова есть только машина для переработки корма в молоко»).

Этому-то всему угила она меня... — Платон. Пир. 207a–b.

...«ветным угольком разжигающим пылающая в крови»... — Ср.: «В этом разврате <...> нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее...» (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание. 6, III). Розанов обращался к этим словам и в статье «Нечто из тумана „образов“ и „подобий“» (1901): «...Свидригайлов у Достоевского (т. е., собственно, Д-кий устами Свидригайлова) жалуется, что чувственность „вечным разжигающим угольком“ пылает у него в крови...»

...«велики тайны сии». — Ефес 5, 32 («Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви»).

С. 579. *...«бе к Богу»...* — Ин 1, 1; цитируется Иваном Карамазовым (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы. 2, 5, III).

— О, Авессалом, Сын мой... — См. коммент. к с. 268.

— Я опять отведал, что не знаю. — Платон. Пир. 207c.

...«гений рода» Шопенгауэра... — А. Шопенгауэр в книге «Мир как воля и представление» (1819 — 1844) утверждает, что гений рода достигает своих целей, которые возвышаются над целями индивидуума.

...«cogito, ergo...» — См. коммент. к с. 470.

С. 580. *Ибо и в то время, когда каждое животное...* — Платон. Пир. 207d — 208b.

С. 581. — *Выслушав эту речь, я удивился...* — Там же. 208b–d.

...приведена у Филонова... — Предположительно, имеется в виду сказка Эжезипа Моро «Белая Мышка». См.: Русская хрестоматия с примечаниями / Сост. А. Филонов. Изд. 7-е, испр. и доп. СПб., 1897. Ч. 1. С. 59–67. Но в ней нет упоминания о «черной мышке».

...поторопился ли бы ваш Кодр за царство детей... — Аттический царь Кодр пожертвовал собой во время вторжения дорийцев и спас родину; в благодарность за это афинцы, упразднив царскую власть, наделили потомков Кодра достоинством пожизненных архонтов.

И мир мегтою благородной... — См. коммент. к с. 515.

С. 582. *...Олимпийские игры; и еще — «пифийские, истмийские, немейские».* — Четыре главных древнегреческих праздника-агона: Олимпийские игры в честь Геракла в Олимпии на Пелопоннесе, Пифийские игры в честь Аполлона в Дельфах, Истмийские игры в честь Посейдона на Коринфском (Истмийском) перешейке и Немейские игры в честь Зевса в Немейской долине на Пелопоннесе.

— Как имя Твое? — Загем тебе оно? Оно гудно. — См. коммент. к с. 512.

...«сеющей семя по роду ее»... — См. коммент. к с. 541.

...пререканиях Балашова с Наполеоном. — См. коммент. к с. 429.

«Между тем, продолжала она, бремениющие телесно...» — Платон. Пир. 208e — 209e.

С. 583. *Вот, может быть, эротическая наука...* — Там же. 209e — 210b.

Нежны стопы у нее; не касается ими... — См. коммент. к с. 564.

С. 584. — *И как скоро, продолжала Диотима...* — Платон. Пир. 210b–d.

... («боль и сладость вселенной» — у г. Гуревич)... — См. текст на с. 574 и коммент. к ней.

С. 586. — *Как бы по лестнице подниматься...* — Платон. Пир. 211b — 212c.

Без «разноголосицы». См. выше о Гераклите. — См. текст на с. 559.

- С. 587.** ...нафанаиловом смущении... — См.: Ин 1, 48.
 ...Я буду хвалиться подобиями... — Платон. Пир. 215а — 217а.
 ...«и пойду!»... — Ф. М. Достоевский. Сон смешного человека. См. текст на с. 379.
- С. 588.** Зерна «при дороге», расхищаемые «птицами». — См.: Мф 13, 4.
- С. 589.** ...с «незримыми» ли «миру слезами»... — См. коммент. к с. 134.
 Давно пора мне мир увидеть новый... — М. Ю. Лермонтов. «Не смейся над моей пророческой тоскою...» (1837). Следующая строка добавлена Розановым. См. об этом на с. 576.
 Что ваши скугные напевы... — вариации на строки из первой песни Демона в поэме Лермонтова.
- С. 590.** «Все — Федоры Павловизи»... — См. коммент. к с. 314.
 ...«приложился к отцам своим»... — 1 Макк 2, 69; Деян 13, 36.
 «Бога никто же нигде же видел»... — См. коммент. к с. 294.
- С. 593.** ...темно, до сих пор неразгаданно народился Пифагор... — Его рождение было предсказано Пифией в Дельфах, сообщившей родителям, что Пифагор принесет столько добра людям, сколько не приносил никто другой.
 Эдип выкалывает себе глаза... — Эдип ослепил себя, узнав, что он по неведению убил своего отца и женился на своей матери.
- С. 594.** Полагая, что Сократ серьезно был расположен... — Платон. Пир. 217а — 219с.
- С. 596.** Вот, друзья, то, что я хвалю в Сократе... — Там же. 222а — 223а.
 ...похода в Потидею... — Речь идет о событии Пелопоннесской войны (431—404 до н. э.), когда афиняне отвоевали у коринфян город Потидею в Македонии, на полуострове Паллене (ныне Кассандра).
- С. 597.** ...в Токологии... — См. коммент. к с. 402.
 ... («времени больше не будет»)... — См. коммент. к с. 346.
- С. 598.** ...до взглядов на «народную грамотность» (статья в «Дневнике писателя»)... — См. статью «О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским народом главной сущности Восточного вопроса» (Ф. М. Достоевский. Дневник писателя. 1877. Июль—август. 3, III).
 ...позор, только огонь подлый и... смешной... — слова Ставрогина в «Бесах» Достоевского (ПСС. Т. 10. С. 187).
- С. 599.** Главное — стыд... — Там же. С. 66.
 И завесь завесами, и закрой крышкою... — Исх 40, 3, 20.
 ...из пламя рожденное слово... — М. Ю. Лермонтов. «Есть речи — значенье...» (1840) («Из пламя и света рожденное слово»).
- «Этот уголек, вогным огнем...» — См. коммент. к с. 578.
- С. 600.** «Хлебы предложения» — 12 пресных хлебов в Святынище Иерусалимского храма — по числу колен Израилевых; каждую субботу они заменялись новыми (Исх 25, 23 и 30; Лев 24, 5 и 9; Мф 12, 24; Мк 2, 26; Лк 6, 4).
 Аз есмь огонь поедающий... — Втор 4, 24.
 Венера Медицейская — изваянная в I в. до н. э. мраморная копия утраченного греческого оригинала. В XVII в. статуя находилась в Ватикане в папском собрании, а в 1677 г. ее приобрели для своего собрания Медичи; с тех пор она носит их имя и хранится в Уффици.
- С. 601.** Сквозь туман — кремнистый путь блестит... — См. коммент. к с. 482.
- С. 602.** ...«оплодотворение» у Брокгауза... — См. коммент. к с. 471.
 ...переливы Милого лица... — См. коммент. к с. 570.
- С. 603.** ...мир увидеть новый... — См. коммент. к с. 589.
 Ходила в фартужке, сидела прямо... — См. коммент. к с. 472.

Г. В. Хлебников

«ТАЙНА» И ЕЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ

Когда-то его называли «порнографом», что неверно как по имени, так и субстанциально. Читатель сразу заметит (как, впрочем, и поймет, почему такой вопрос вообще мог возникнуть — *тогда*): по глубине, напряжению, фундаментальности и предельности мысли Розанов — философ. По точности, тонкости, выразительности, богатству и пластичности языка — писатель. По аналитичности исследований, демонстративности, объективности и строгости мышления, приверженности истине, какой бы невероятной, «ужасной» и «срамной» она ни казалась, эрудиции — ученый. Способностью соощущать и сочувствовать переживаниям людей, видеть скрытые и часто неосознаваемые мотивы их поступков — психолог и психоаналитик. Благодаря знанию литературы, ее тонкому пониманию, умению увидеть параллели сюжетов и топики мотивов в произведениях различных авторов, времен и эпох, восторженной любви к ней — филолог и литературовед. И, конечно, он сам — мистик, возможно, один из самых великих в русской культуре, мистик от Бога, видящий трансцендентные, метафизические корни и причины даже, казалось бы, обычных, повседневных событий и происшествий, чувствующий неполноту и неправоту, недостаточность, но и фатальную опасность только физического объяснения наблюдаемых явлений, какими бы они ни были. И постоянно отмечающий в текстах нечто особенно странное, таинственно-мистическое, чего иначе настроенный критик не оценит, а обычный читатель даже не заметит, как, возможно, в данном пассаже: «И здесь, как решительно всюду, еще от времен Свидригайлова, упоминание о заходящем солнце; у Достоевского было какое-то мистическое чувство солнца, в своем роде „живой путь“ общения с ним. Закат, конечно, единственный момент, когда без боли и долго мы можем смотреть на тело светила. Египтяне, как потом и пифагорейцы, как-то особенно чувствовали солнце, и едва ли с одной геометрической стороны, из любопытства к его движениям».

Розанов прямо пишет: «Всюду здесь мы исследуем натуральную, земную сторону религиозных явлений, потому что лишь гораздо позднее с достаточной убедительностью можем высказаться о метафизической их стороне, небесной; т. е. настоящей и главной».

Однако этот лейтмотив, лежащий сразу за формально основной темой «Тайны», далеко не исчерпывает всего концептуального богатства книги, которая абсорбировала не только многое из других работ нашего автора, но и включает в себя ряд таких идей, которые еще только будут более детально развиты в других произведениях Розанова.

У него все имеет высоту и глубину, уходит в бесконечность. Каждое слово на русском языке воспринимается им с корнем, прорастающим в вечность. Добродетель он часто видит в окружении демонов, которые хотят ее улучшить. Всегда отмечает истины, не имеющие логического обоснования, но становящиеся от этого еще более глубокими, логосами «мудрости». Эта книга о самых существенных моментах и о предельно важном в жизни человека, найденном в шедеврах лучших писателей, зафиксировавших их в глубинах своих «Я»: «великая тайна четырех мистиков», перенесших увиденное затем в свои тексты, чтобы задуматься и постараться понять странные загадки и тайны существования.

«Тайна», возможно, как раз и является примером такого произведения, в котором все перечисленные черты синтетического дарования В. В. Розанова проявились хотя и в разной степени, но в полной мере, включая, в первую очередь, один из самых редких даров — талант философа Эроса или, может быть, лучше сказать по-русски, пола. В данной работе это — основная тема исследования, в котором личный опыт и наблюдения автора органично включены не только в широкий литературно-философский контекст (от Античности до Л. Н. Толстого), но и обосновываются естественнонаучными данными, также далеко не всем известными, как полагает В. В. Розанов, хотя и взятыми из доступных источников.

Предмет его анализа — величайшая, как он полагает, и тщательно скрываема тайна мира, лежащая в основе как всего мироздания, так и фундаментальных побудительных мотивов поведения людей. Ее-то наш автор пытается разрешить и разгадать на протяжении всей книги, хотя и не дописанной формально, но содержательно законченной внутренне, когда в сердцевине самой тайны (ею оказываются сексуальное, «чресленное» влечение, коитус и деторождение) раскрывает еще одну, глубинную и высшую Тайну тайн. Ее на текстах Платона Розанов интерпретирует как гомосексуальное и «с философией» влечение к юношам, то есть без интимной близости, без секса, сублимированная энергия (как, наверно, сейчас бы сказали) которого используется для мышления о наиболее сложных, глубоких и трансцендентных проблемах мироустройства: «Через чресла, обратно, обретается и „вертикальная энергия“, возносящая затем к небу». Как иллюстрацию к этому тезису Розанов приводит, в том числе, фрагменты «Федра». Те, в которых Сократ, упоминая эротические обстоятельства их беседы с Федром и прямо называя соблазнительно-интимные детали, обычно сопровождающие физическую близость, может быть, не столько генерирует сам, сколько провоцирует соответствующие эманации со стороны своего молодого спутника.

Название произведения («Тайна») не случайно, а выражает, по-видимому, глубокую уверенность автора в многократной скрытости важнейших и фундаментальнейших истин бытия даже не как «колесо в колесе», а гораздо дальше, так что, может быть, потребуется «квадрильон лет», чтобы к ней прийти и ее постигнуть.

Розанов чувствует и знает, что людей со всех сторон окружает не просто непознанное, еще не узнанное, а нечто гораздо более странное: принципиально недоказуемые истины, лежащие в основе всего, скрываемые как бы намеренно секреты, неоднократно огороженные и надежно спрятанные тайны и знания об очень важных для людей вещах. И так, по его мнению, везде, стоит только сколько-нибудь заглянуть за поверхностную оболочку вещей. И он стремится если не раскрыть для своих читателей хотя бы некоторые из них, то просто назвать, упомянуть их, обозначить направление, где искать, угадать: какие они, где могут быть. Подслушать, подсмотреть у заповеданной Завесы. Он показывает, что даже во всякой философской системе есть нечто недоказуемое: у Канта — «ноумены», у Лейбница — «предустановленная гармония», у Шопенгауэра — «святая резигнация»; у Платона — его «идеи», у Аристотеля — «формы», у Пифагора — «центральный огонь Весты» и «музыка» окружающих этот огонь «сфер». Именно ради этого и были созданы, по его мнению, их философии. Почему так? Непонятно, нелогично, необъяснимо. Более чем странно. Поэтому, вероятно, Розанов так тщательно и подробно рассматривает и эту осевую тему, начиная с Библии, с оград, внутренних стен, завес Храма и одежд Аарона.

Итак, для обоснования этого тезиса намеренной таинственности приводятся и тексты Библии, и примеры не только из литературы, но и прямых наблюдений над природой: Мир тайны — мир многозначительности. Почему это — нам необъяснимо. Но вот величайшая в самом мире Тайна — и она ищет себе покровов.

Обнаруженная в бумагах писателя и до сих пор не издававшаяся книга В. В. Розанова «Тайна» посвящена последним, предельным секретам человеческой жизни и мироздания, которые философ черпает из материала как мировой литературы, так и наших наиболее философски глубоких и мистических писателей и поэтов: Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, тематизируя вопросы пола, эстетики в общем, прекрасного и безобразного в частности; конечно, этики, проблем добра и зла. Их взаимоотношений на разных уровнях бытия, каждый раз показывая, что все они сводятся к одному: «То космическое, пронизывающее понимание и эта космическая, пронизывающая любовь, как, наконец, и космический свергающий гнев (собственно — рвущийся к любви, рвущий других на любовь, всегда) есть sexual'ной природы и „отчество“ к миру есть вывод и последствие sexual'ной как бы развернутости мира, как бы себя перед миром sexual'ной же разверженности...». Розанов не устает повторять, что «все четыре мистика

суть сои'альные писатели», показывая это на множестве примеров творчества каждого из них. При этом сама мистика понимается им различно: применительно к этим четырем гениям — как принципиальная невозможность разгадать себя ни для них самих, ни для любого внешнего исследователя. Находятся и понимаются только «факты», то есть, что не нужно, — замечает Розанов, а вот что нужно и что люди даже не умеют назвать, хотя и ищут, то никогда не будет понято — и совсем не потому, что не находимо, а из-за особой затаенности и скрытости: «Имя „мистика“ и относится к этой космической затаенности, пятном которой стоят эти четыре писателя; как и в самой природе, на некоторых ее точках, есть эти „пятна“, от которых не отходят люди, за которыми, они чувствуют, при рода как бы проваливается в какую-то дыру, начинаются неисследимые бездны, а пятно стоит таким же простым и обыкновенным, уже тысячелетия видимым...».

Как к этой, так и другим осевым темам своего произведения Розанов подходит не единожды. Это один из элементов писательской техники Розанова-мыслителя и критика: прием возвращения к одному и тому же вопросу в различных местах книги с все большим углублением в предмет. Каждый раз — как бы с различных направлений, других точек зрения, чтобы в результате получить многоаспектное, синтетическое видение предмета, дать возможность коснуться и ощутить его сложность и глубину, узнать о нем нечто новое и стимулирующее мысль, раскрыть неожиданные и потаенные горизонты бытия, скрывающего в себе еще столь многое. Так, например, затрагивая тему «касания» иных миров и раскрытия «тайнств бытия», он разъясняет, какое это имеет значение не только для народов и мира в целом, но и для отдельных личностей. Читаем: «В „Переписке с друзьями“ Гоголь, Достоевский в ряде дико-странных, для романа, глав: „Из жития в Бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы“ — явно учат, хотят учить, требуют внимания. У них есть именно власть „вязать и решить“, присутствие которой у себя они знают в своем роде через какое-то достигнутое „касание мирам иным“, через тайнства бытия, им одним вскрывшиеся...».

Коснувшись высших миров, постигнув, благодаря этому, вскрывшиеся тайны бытия, то есть испытав нечто вроде «просветления», или «сатори», и получив сакральные знания, которые гораздо больше, чем просто сведения и информация, сподобившиеся всего этого лица обретают сверхчеловеческие способности «вязать и решить» (очевидно, грехи и, может быть, еще вмешиваться в естественный ход событий), могут и призываются учить и наставлять других людей, не имеющих подобного опыта.

Цитаты — «изюм из пирога литературы» — составляют в этом произведении книгу в книге, едва ли даже не ббльшую, чем сам текст Розанова. Однако без них, наверное, он был бы не так убедителен, не так бы органично вписывался в великую Традицию русской культуры, не так бы рос и вырос из нее. И, главное, не так доказателен и понятен. А ведь ее критический пафос направлен против пороков, которые тогда, быв исключением, сейчас стали на Западе почти общераспространенной практикой: «Семя жизни, окруженное демонами; семя жизни — среди демонов, рвущихся его пожрать. Как жадны эти порывы, как мучительны; мы — в центре греха, и уже назвали формы его, самое наименование которых составляет предмет ужаса для человека: кровосмешение, растление детства, содомия...». Борьба, очевидно, ведется против «духов злобы поднебесной», которые, вероятно, хочет сказать Розанов, стоят за видимыми формами растления, поражающего мир:

То был ли сам великий сатана...

.
 Мой юный ум, бывало, возмущал
 Могучий образ. Меж иных видений
 Как царь, немой и гордый, он сиял
 Такой волшеббно-сладкой красотой,
 Что было страшно...

«Еще далек наш путь, — пишет философ, — но он так направлен, что возможен удар по кольцам Змия, от которого он разовьется и отдаст Святое, вокруг чего облегло тело. Природа греха — понятнее нам становится; грех — это вокруг Святого; Святое — на что устремлены преисподние бури; т. е. около чего мощные сгибы зла непосредственно облегли; и от этого-то человеку так трудно узнать истину, так трудно коснуться истины...».

Как бороться? В поисках ответа Розанов приводит и слова Л. Н. Толстого, призывающего не забывать молитвы и когда только можешь — твердить про себя: «Господи, помилуй всех днесь пред тобою представших!». Призывы Достоевского любить людей «и в грехе их», любить животных, «деток особенно», весь мир. Все четыре великих мистика России настолько близки в своих высших порывах, что можно, — пишет автор «Тайны», — «взяв у которого-нибудь сюжет, продолжать его словами другого, брать, далее, из третьего и, оканчивая словами четвертого — вновь продолжать речь первого, без разрыва в настроении, без перерождения того тайного, что в каждом произведении образует его „дыхание жизни“. Т. е. „дыхание жизни“ у них четырех — одно, и только у них четырех в нашей литературе...». Он приводит слова Л. Толстого, который признается, что «всеми силами» старается сказать то же, что сказано Гоголем. Розанов отмечает «вертикальные созерцания» — в том числе и на предметы — этих писателей, говорит, что и слова их падают на сердце читателя под углом 90°, вызывая «понуждение»; и «камень — в ответ». Немного дальше он добавит, что этот «вертикальный луч ведения ли, любви ли, или, наконец, даже негодования... ясно выпадает из „чресл“».

Философ фиксирует у всех них не только дар провидения, а еще, — что, наверное, много больше, — дар любви и способность к таинственному мистическому чувству, ощущению чего-то трансцендентного, Божественного. Называя их «мистическими четырьмя коровами с неиссякаемым обилием капающего из сосцов молока», Розанов утверждает, что на своих «чреслах» «они волокут, вот уже поволокли наше общество» и даже тронули серьезностью «легкомысленные берега Сены». Он находит в каждом из этих четырех отношения «кровности» со своими героями, утверждает: «Эти фигуры — зачаты и рождены; от этого еще они так живы; на Серее Каренине есть запах родов», на них есть и «запах чресел». Им, этим великим творцам, по мнению критика, удается выразить общечеловеческое чувство, пронзить мир насквозь, приподнять «„край одежды“ не на себе, не у ближнего, но „край одежды“ у всех и, в последнем анализе, „край одежды“ мира».

И этот тезис — также о «чресленной» природе творчества.

Среди интересующих его тем, в том числе: сближение и даже слияние и идентификация добра и зла в глубинах бытия, когда кажущееся злом в своих следствиях, иногда достаточно отдаленных, становится благом, что приводит на ум знаменитую максиму рабби Акибы: «Га-коль ле-тов», — «все к добру (благу)», которая, скорее всего, во время написания этой книги была или еще только будет известной Розанову. Ведь он глубоко интересовался, изучал и имеет много любопытных публикаций по «еврейскому вопросу».

Кровосмешение (инцест) как проявление биологических и первозданно хтонических влечений и энергий человеческой природы, феномен которого философ интерпретирует, в том числе, на текстах «Страшном мести» Н. В. Гоголя, фиксируя, между другими, момент, когда «коитальное влечение» пробуждается в отце Катерины, — ее превращение в женщину после замужества: «У Гоголя есть также одно место, аналогичное ужасным текстам, которые мы привели у Достоевского: это — „Страшная месь“. Идея ее — соитальное тяготение отца к дочери: второй трансцендентный грех, столь же древний в человечестве, как и растление несовершеннолетних, бродящий и „уязвляющий его в пятку“ с тех пор, как человек бродит по оплакиваемой и уливаемой его кровью земле». Анализируя природу греховности, философ приходит к предсказуемому для его читателя выводу: «То трансцендентное и космическое, что мы соединяем с понятием „грех“, есть исключительно и только в sexual'ном». Более того, Розанов раскрывает природу тех сил, которые стоят за ними (грехами) — и, как чаще всего, косвенно, через цитаты и литера-

турные реминисценции: «Софокл не все рассказал... не разгадав, как разгадал наш Гоголь, глубже копавшийся в душе человеческой, черных видений, „опустившегося носа, раздавшего рта, выбежавшего клыка“ — уже ранее, до рассказа».

Таким образом, побудительные силы греха названы здесь через Гоголя своими именами: это «нечистые духи», нечисть, демоны и бесы, — в противоположность высшим, ангельским и божественным сущностям. А между ними — человеческая экзистенция, за которую и в сердце (и уме тоже) которой идет борьба этих сверхчеловеческих Сил и существ. Продолжая анализ, Розанов делает парадоксальное заключение: «Только genitalia имеют в нас какое-то таинственное „касание мірам иным“; отрицательное; но, значит и положительное, коего „совлекаются“ в случаях падения...». Не будем забывать, что само это «касание» Розанов понимает также, по-видимому, на одном уровне с платоновским «μετέχει» («участие»). «Схождение и хождение по кругам греха до самых последних, адских порывов, которым человек все-таки следует, ведет к тому, что после любого прегрешения как трансцендентного повреждения люди ищут исправления» и именно, — по мнению Розанова, — в этом же «мистическом и реальном значении, через это таинственное: „да оставит отца и мать и да прилепится“...». И там же, рядом, указывается Божественное присутствие.

Таинство покаяния, таким образом, выявляется около трансцендентного греха genital'ий; однако и «правильная жизнь» народов, — полагает философ, — ставится под молитвы, окружается религиозным сочувствием. Он приводит свидетельство Библии в обоснование, что молитва должна предшествовать любому сексуальному акту («плотскому соединению в браке»). Многие ли из читателей знают об этом факте? Читали об этом или, может быть, где-нибудь слышали? Пусть даже в храмах?.. Едва ли.

Как и других великих мыслителей и философов, Розанова мало читать — надо перечитывать и постоянно вдумываться в его текст, следя за всеми изгибами и ветвлениями мысли, рефлексиями автора, его отступлениями, только обогащающими и расширяющими восприятие основных осевых сюжетных линий книги, которая, без сомнения, заслуживает специального монографического изучения.

В аналитике героев Толстого Розанов тоже видит и отмечает, прежде всего, плоть, похоть, сладострастие, замечая об авторе «Войны и мира»: «Он слушает, он внимает — только „чреслам“: здесь проходят все муки героев; отсюда ясно растет их судьба. Здесь он открывает мудрость, над которой уже не смеется...».

И тема рождения тоже прослеживается и подчеркивается, как и его связь с «мудростью»: «Еще удивительнее: у Толстого и в самом деле все немножко „мудрецы“, насколько они не рассуждают или, по крайней мере, рассуждениям своим не верят: Кознышев, Кавасов — вот люди, то профессора, то публицисты, к которым одним он решительно ничего не чувствует, и, может быть, на которых в самом деле накинута пленка глупости — насколько они не рожают и не умеют рождать. Удивительная точка зрения: но, в сущности, это — точка зрения той „детской колясочки“, от которой „не отходил“ Достоевский... Вот это рождение, всякое и при всех условиях, и во всех условиях благословляемое, и есть новая точка зрения, на которую неожиданно стали оба великие мистика и с нее начали понимать и обсуждать, а наконец даже и судить мир. Анна так глядит на сильные бедра Вронского... даже Долли, „замученной непрестанными родами“, что-то такое снится после игры в крокет, в которую мужчины играли после обеда, сняв сюртуки, и, конечно, извиняясь перед дамами. Это — вездесущие соит'альных тяготений, под битвами, земством, охотой, интригами...».

Общая схема аргументации (привожу ее в обобщенном виде), как мы уже видим, применяемая Розановым на протяжении всей книги такова: от текстов Библии — к текстам великих писателей (из них на первом месте — Достоевский), от них — к примерам, взятым из жизни, из биографий самих гениев, от этих — опять к сакральным текстам религий

и наиболее глубоких, религиозно одаренных философов (Платон — как выразитель высших истин).

Вокруг рождения есть какая-то глубокая тайна, которую Розанов ощущает, чувствует и в которую стремится до конца проникнуть, приводя тексты, в которых детально фиксируются не столько внешняя, физическая сторона феномена и/или его духовный, а также интеллектуальный аспект, но и результат их взаимодействия, упоминается его вечное и приближающееся к Божественности содержание, состоящее как в постоянном и векторно-бесконечном продолжении рода, так и в странной, собственно, мистической части акта, где также происходит касание «мирам иным», узел связанности, где соединены Бог и человек, и одна нить клубка восходит на небо, а другая нить падает на землю и стелется по ней «60, 70, даже может быть 80 лет», «и никто этой нити не смеет — *потому что она Божия: не смеет — оборвать...*».

И это рождение, и это «прорастание» ставится Розановым безмерно выше Декартова «*cogito ergo...*», потому что первое обладает скрытым в нем «небесным семенем», «небесною природою», потому «и оправдание бытия моего, отсюда открывающееся, не есть ли столь же бесспорное, как и Декартовское, но в небесных пределах и для небесных целей? „В тысяче мук — я sum“, „в корче мучусь — но sum“ („Бр. Кар.“); и не только „sum“, но лобызаю и „козу“ в миг и точке, где и когда она „изгибаясь в мучении“ „выбрасывает плод“».

И Розанов, безусловно, прав: осознание важности деторождения, его заповеданность Библией в полной мере становятся понятными только сейчас, когда угроза тотальной депопуляции уже не нависла, а реально и беспощадно истребляет некогда великие европейские нации. Розанов, вероятно, предчувствует и понимает эту проблему уже тогда и находит подтверждение своей интуиции у величайших писателей-провидцев исторической России. И это тоже делает его книгу актуальной и нужной сейчас всем нам.

В поэзии М. Ю. Лермонтова Розанов также постоянно находит те же лейтмотивы страсти, «бесстыдного порока», сладострастных криков, сближая их с темами Достоевского. Отмечается близость и Лермонтова, и Пушкина — интересное и ценное замечание само по себе: «Эта строка о мысленных пиках, уходящих в небо, и в отражении вод — уходящих в преисподнюю, удивительно выражает обоих поэтов и т. д.». Сравнения этих двух величайших поэтов России, где больше, где меньше, также рассыпаны по книге, и почти всегда — в пользу первого. Для Розанова, например, очевидно: «Sexual'ный характер поэзии Лермонтова, особенно если мы станем сравнивать ее с поэзией Пушкина, или с чьей-нибудь из пушкинской школы — ясен. Взамен не рождающей у них любви, любви как цветка жизни, как украшения минуты, у него — всегда рождающая любовь...».

Тема мучающего Лермонтова демона, по-видимому, раскрывает следующий, почти предельно доступный людям уровень существования. Духовное связано с материальным, горнее с дольным, инфернальное с земным: смотрите — и увидите, как бы все время повторяет, призывает, увещевает Розанов. Смотрят — не видят, не слышат, не внимают, мучаются, вырождаются, гибнут. Сюжеты Гоголя, Достоевского, Лермонтова, Толстого приводятся вперемешку, переплетаются, звучат, многоголося. Фантастическое сливается с реальным, правдивое — с вымыслом. И ничто не ускользает от внимания критика, который разъясняет, доказывает, показывает, дает возможность додумать, догадаться, понять. Распинаясь в страстном желании донести все это богатство, красоту, распахнуть Тайну и читателю, кем бы он ни был.

Розанов всегда стремится отметить не только удачные мысли и идеи, выражения, просто точные или сочные слова, языковые и духовно-интеллектуальные «находки» у писателей, их прозрения. Он откровенно лобуетя ими, влюбленно и обильно цитирует их, стремится привести возможно полнее, как бы приглашая и других читателей разделить его, Розанова, интеллектуальный восторг и радость по поводу увиденного и понятого, подсмотренного и замеченного там, где многие до него ходили, но вот как-то не

заметили, пропустили главное: «Всем комментаторам трудно было догадаться, что эта фраза, почти простое упоминание о матросах, есть центр всего диалога „Федр“, точка, откуда должно начинаться его объяснение. Платон различает τὸ λαϊδίον у матросов: функцию и притом вынужденную долгим плаванием и след. разобщением от женщин, от λαϊδίον совершенно другого, по другим мотивам и иной природы, которое составляет предмет его рассуждения, льющейся „дифирамбической“ речи и, очевидно, глубоко и непосредственно, жизненно волнует его. Таинственный „миф“ природы человеческой, „буря, больше бури“, „чудовище наподобие древних химер, слитое однако с чем-то явно и ощутимо божественным“. „Горит, воистину горит сердце“ сюда... и, в ощутимой связи с этим, к Богу».

Благодаря этому данная книга стала еще и любовно подобранной коллекцией, паноптикумом многих лучших фрагментов и страниц философской и художественной прозы и мысли отечественной и мировой литературы, восхищение которыми нельзя не разделить с гениальным автором. В то же время, эстетический момент, очевидно, далеко не самый главный или важный для Розанова (хотя и не последний): тщательно разъясняя скрытые смыслы, восстанавливая линии, обращенные в прошлое, и продолжая их в будущее, он учит своих читателей прочитывать страницы классики не быстро, а с полным осознанием читаемого. Показывая мысль, ее рождение и развитие, он учит не только мыслить, но и замечать странные метафизические тайны, появляющиеся при попытке постичь непостижимое, познать непознаваемое (чаще всего, Божественное; но и на Земле — очень многое).

Розанов умеет быть настолько убедительным и доказательным в своих интуитивных рассуждениях и демонстрациях, что даже закоренелые скептики или материалисты задумаются, вероятно, не раз и не два, прочитав, например, теистические и атеистические цитаты и его комментарии к ним: «С. Т. Аксаков, в обширных своих „Воспоминаниях“ (см. „Сочинения“), не раз говорит, что никто из самых близких людей, долгие годы знавших Гоголя, не имел ключа к разгадке его души; что Гоголь был совершенно и для всех непонятен. Письмо его, от 15 сентября 1857 г., к А. С. Стурдзге: „...Россия все мне становится ближе и ближе. Кроме свойства родины, есть еще в ней что-то ближе родины, точно как бы это та земля, откуда ближе к родине небесной. Но, на беду, пребывание в ней зимою вредносно для моего здоровья...“. Те — до известной степени — мистические сосцы (комментирует Розанов), от которых напояет великий человек народы, и народы, чуя под ними духовное молоко, ищут их, припадают к ним... мы находим у Гоголя».

Розанов далеко не все и не всегда прямо сразу говорит и досказывает. Тем не менее, для каждого читателя этого с намерением выбранного автором фрагмента очевидно еще одно: такое «все позволено» индивидуума возможно лишь при наличии фундаментальной свободы в основании человеческого бытия, в поле которой только и возможна подобная самоопределяемость мышления и действия. Тем не менее, не будучи сразу осознанной, эта идея все равно суггестируется в подсознание читающего, остается еще недодуманной интенцией текста, чтобы, вероятно, рано или поздно оформиться и внезапно «осенить» уже подготовленный и расположенный к подобным умозаключениям ум как собственное «открытие». Можно, по-видимому, дискутировать, намеренно или «полуосознанно» (и в какой мере) Розанов собирал и располагал в своем произведении эти локусы, несомненно только, что они в нем есть, и читателю предстоит не одно приятное переживание встречи с ними.

Его выбор текстов для цитирования, разумеется, отнюдь не случаен и не всегда определяется только темой исследования: иногда — это эстетическая необходимость завершить мысль самого фрагмента, который без этого остался бы непонятым, иногда — ассоциативно интересный рассказ, ценный с точки зрения Розанова. Порой в обширной цитате содержатся не менее важные промежуточные выводы, которые, вероятно, философ хочет показать или побудить вспомнить читателя, причем эти сначала маргинальные заме-

чания могут постепенно срастаться и в самостоятельный параллельный сюжет, иногда не неожиданно имеющий точки пересечения с основной линией тем книги.

Розанов постоянно использует инструмент косвенного доказательства, очевидно, близких себе истин через авторитетные и веские — не только по его мнению — тексты Традиции и культуры; обоснованно, видимо, полагая, что они могут и часто артикулируют «его» интуиции и убеждения более ясно, адекватно и убедительно, чем сделал бы он сам.

Особенностью Розанова как литературоведа, критика и мыслителя являются также способность и умение проследить за фактами и психологией нечто гораздо более глубокое и возвышенное, как и, напротив, самое низменное, гадкое и чудовищное, а также интимную, внутреннюю связь между ними (см. 29-ю главу), демонстрируемую на протяжении всей книги. Не просто новизну темы или душевной драмы, никем не замеченный прежде лик прекрасного, а именно лежащее за всем этим и поверх всего этого и в то же время пронизывающее из глубины вверх или сверху вниз все сущее и всю экзистенцию некие энергии и Божественное начало, присутствующее везде, за всем и во всем. Мимо Него, как ни странно, проходит $\frac{9}{10}$ читателей и критиков, даже таких умных, тонких, образованных, как Тургенев, но Его видит Розанов, и именно об этом пишет Достоевский как о самом важном и существенном для человека и мира, без чего последний просто погибнет, и как он погибнет, писатель пророчески предчувствовал, а Розанов даже увидел — начало.

То, что раньше было и считалось литературой, остается, но уже оказывается недостаточным и, в общем, не так уж нужным, по мнению Розанова. Необходимо же нечто совсем иное: «святые строки», проникновение в части души, откуда изливаются молитвы, уколы «высшего ведения» (Бога), «высшей любви» (Его же) и просто человеческая любовь к людям и земле. Ведь Бог и есть любовь, но и истина. Требование проникновения на такой план бытия для беллетристики — уже нечто действительно новое, следующий качественный уровень развития литературы, возвращающий ее, по-видимому, к сакральным текстам. Оно-то и требовалось тогда, когда об этом писал Розанов, но не меньше нужно и сейчас, когда мы читаем его, ибо так и такое пишется на все времена и присутствует во всех жизнях, равно великих и маленьких людей. Бог есть везде, как в свое время показал еще Гераклит, — и столь многие до него.

Вера в Бога не может не сопровождаться жизнеутверждающим оптимизмом, стремлением к существованию, любовью к женщине и детям, — и Розанов показывает наличие этого экзистенциального комплекса у Достоевского (хотя и сам обладал им не в меньшей мере).

Книга логично подводит к выводу, как кажется, на протяжении всего содержания настойчиво и разными средствами обосновывавшимся В. В. Розановым, который можно сформулировать так: «Бог есть любовь», но не только $\alpha\gamma\acute{\alpha}\lambda\eta$, как написано в Евангелии от Иоанна (8, 4), но — по Розанову, — и во всех других своих видах, известных людям. Эротическом, сексуальном, «коитальном», — может быть, больше других, если высшей формой познания является *coitus*. И это, вероятно, то заключение, к которому должен был, по мысли автора, быть подведен и потом «сам» прийти читатель этого произведения.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

- Б. д. — без даты.
Б. з. — без заглавия.
Б. и. — без издательства.
Б. н. — без номера.
Б. п. — без подписи.
паг. — пагинация.
ПСС — Полное собрание сочинений.
РФО — Религиозно-философское общество в Санкт-Петербурге (1907–1917).
РФС — Религиозно-философские собрания в Санкт-Петербурге (1901–1903).

Архивохранилища

- АФ — Архив священника Павла Флоренского (Москва).
ГИМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный исторический музей». Отдел письменных источников (Москва).
ГЛМ — Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный литературный музей». Отдел рукописных фондов (Москва).
ИМЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт мировой литературы Российской Академии наук». Отдел рукописей (Москва).
ИРЛИ — Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук». Рукописный отдел (СПб.).
РГАЛИ — Федеральное казенное учреждение «Российский государственный архив литературы и искусства» (Москва).
РГБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская государственная библиотека». Научно-исследовательский отдел рукописей (Москва).
РГИА — Федеральное государственное учреждение «Российский государственный исторический архив» (СПб.).
РНБ — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека». Отдел рукописей (СПб.).
ЦИАМ — Государственное бюджетное учреждение г. Москвы «Центральный исторический архив Москвы».

Печатные источники

- АНВ* — Розанов В. В. Собр. соч. Апокалипсис нашего времени. М., 2000.
БВ — Богословский Вестник. Сергиев Посад, 1892–1918.
БВед — Биржевые Ведомости. СПб., 1880–1917.
ВВ — Вешние Воды. СПб., 1913–1918.
ВДЯ — Розанов В. В. Собр. соч. Во дворе язычников. М., 1999.
ВЕ — Розанов В. В. Собр. соч. Возрождающийся Египет. М., 2002.
ВМНН — Розанов В. В. Собр. соч. В мире неясного и нерешенного. М., 1995.
ВНС — Розанов В. В. Собр. соч. В нашей смуте. М., 2004.
ВРХД (ВРСХД) — Вестник русского студенческого христианского движения. Париж, 1925–1990. Далее: Париж, Нью-Йорк, Москва.
ВТРЛ — Розанов В. В. Собр. соч. В темных религиозных лучах. М., 1994.
ВФП — Вопросы Философии и Психологии. М., 1889–1918.

- ВЧВ — Розанов В. В. Собр. соч. В чаду войны. М.; СПб., 2008.
- Г — Гражданин. СПб., 1872—1914.
- Голлербах — Голлербах Э. В. В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг.: Полярная звезда, 1922.
- ЖМНП — Журнал Министерства Народного Просвещения. СПб., 1834—1917.
- ЗР — Золотое Руно. М., 1906—1909.
- ЗРП — Розанов В. В. Собр. соч. Загадки русской провокации. М., 2005.
- К — Колокол. СПб., 1905—1917.
- КНУ — Розанов В. В. Собр. соч. Когда начальство ушло... М., 2005.
- КУ — Книжный Угол. Пб., 1918—1922.
- Л — Розанов В. В. Собр. соч. Листва. М.; СПб., 2010.
- ЛВИ — Розанов В. В. Собр. соч. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. М., 1996.
- ЛЖ — см. РЛЖ.
- ЛИ — Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. М., 2001.
- ЛИ-2 — Розанов В. В. Собр. соч. Литературные изгнанники. Кн. 2. М.; СПб., 2010.
- ЛН — Литературное наследство.
- МВ — Московские Ведомости. М., 1756—1917.
- МИ — Мир Искусства. СПб., 1899—1904.
- Мимолетное — Розанов В. В. Собр. соч. Мимолетное. М., 1994.
- НВ — Новое Время. СПб., 1868—1917.
- НВип — Новое Время. Иллюстрированное приложение. СПб., 1891—1917.
- НП — Новый Путь. СПб., 1903—1904.
- НФП — Розанов В. В. Собр. соч. На фундаменте прошлого. М.; СПб., 2007.
- ОНД — Розанов В. В. Собр. соч. Около народной души. М., 2003.
- ОПП — Розанов В. В. Собр. соч. О писательстве и писателях. М., 1995.
- ОЦС — Розанов В. В. Собр. соч. Около церковных стен. М., 1995.
- ПВ — Розанов В. В. Собр. соч. Признаки времени. М., 2006.
- ПИ — Розанов В. В. Собр. соч. Природа и история. М.; СПб., 2008.
- ПЛ — Розанов В. В. Собр. соч. Последние листья. М., 2000.
- РВ — Русский Вестник. М.; СПб., 1856—1906.
- РГО — Розанов В. В. Собр. соч. Русская государственность и общество. М., 2003.
- РИК — Розанов В. В. Собр. соч. Религия и культура. М.; СПб., 2008.
- РЛЖ — Российский литературоведческий журнал. М., 1993—1999 (с 2000 г. — Литературоведческий журнал).
- РО — Русское Обозрение. М., 1890—1898, 1901, 1903.
- Розановская энциклопедия — Розановская энциклопедия / Сост. А. Н. Николукин. М.: РОССПЭН, 2008.
- РС — Русское Слово. М., 1894—1917.
- РТ — Русский Труд. СПб., 1897—1899.
- СВР — Розанов В. В. Собр. соч. Семейный вопрос в России. М., 2004.
- СМР — Розанов В. В. Собр. соч. Старая и молодая Россия. М., 2004.
- Собр. сог. — Розанов В. В. Собрание сочинений / Под ред. А. Н. Николукина: В 30 т. М.: Республика; СПб.: Росток, 1994—2010.
- СОЧ — Розанов В. В. Сочинения / Сост., подг. текста и коммент. А. Л. Налепина и Т. В. Померанской. М.: Советская Россия, 1990.
- Спасовский — Спасовский М. М. В. В. Розанов в последние годы жизни. Среди неопубликованных писем и рукописей. 2-е изд. Нью-Йорк: Всеславянское издательство, 1968.

- СХ* — Розанов В. В. Собр. соч. Среди художников. М., 1998.
СХР — Розанов В. В. Собр. соч. Сахарна. М., 1994.
ТПГ — Торгово-Промышленная Газета. Литературное приложение. СПб., 1893–1917.
ТПРН — Розанов В. В. Собр. соч. Террор против русского национализма. М.; СПб., 2005.
ЭПИ — Розанов В. В. Собр. соч. Эстетическое понимание истории. М.; СПб., 2009.
Юдаизм — Розанов В. В. Собр. соч. Юдаизм. М.; СПб., 2009.
PRO — В. В. Розанов: Pro et contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 1995. Кн. 1–2.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН И НАЗВАНИЙ*

А., революционер, журналист 643, 644

Христианство как основа гражданской и политической жизни 643

Аарон, старший брат пророка Моисея, первый еврейский первосвященник 128, 268, 269, 276, 277, 293, 302, 417, 430, 592, 593, 630, 709, 726

Абеляр Петр (ок. 1079–1142) 499, **716**

Historia Calamitatum (История моих бедствий) 716

Аболенский (Оболенский) Иван, историк-медиевист (1870-е) 719

Август Октавиан (Гай Юлий Цезарь Октавиан Август; 63 до н. э. – 14 н. э.), рим. император (с 27 до н. э.) 498, 716

Августин Блаженный (Аврелий Августин; 354–430), епископ Гиппонский, теолог 110, 111, 672

Исповедь (Confessiones) 111, 672

О Граде Божьем (De Civitate Dei) 110, 672

Авель, второй сын Адама, убитый своим братом Каином 687

Авенир (XI в. до н. э.), военачальник, дядя ветхозавет. царя Саула 358

Авессалом, сын царя Давида, убивший единокровного брата Амнона и восставший против отца 170, 267, 268, 270, 272–274, 579, 701, 723

Ависага Сунамитянка, библ. персонаж, прислужница и возлюбленная царя Давида 459, 584

Авраам, первый библ. патриарх эпохи после Всемир. потопа 266, 267, 276–279, 337, 339, 342

Агарь, египтянка, рабыня, ставшая наложницей библ. патриарха Авраама и родившая ему сына Измаила 267, 301, 302, 338, 399, 467

Агатон (Агафон; ок. 448/446 – ок. 400/399 до н. э.), афин. поэт-трагик 549, 563, 566, 567, 595, 596, 721

Агриппа (Марк Випсаний Агриппа; 63–12 до н. э.), др.-рим. гос. деятель и полководец; строитель Пантеона 87, 667

Адам 252, 254, 276, 321, 361, 450, 560, 600, 652, 699

Адмет, в др.-греч. мифологии царь г. Феры в Фессалии, муж Алкесты 581, 721

Адрастея, в др.-греч. мифологии богиня, служительница вечной справедливости и мстительница 522

Азария, ангел, сопровождавший Товию в пути 459, 460

* Составители А. П. Дмитриев и Д. А. Фёдоров. Помимо принятых сокращений (см. «Список сокращений»), в Указателе используются традиционные библиографические сокращения. Иностранные родовые имена, особенно патронимы и дополнительные имена, как правило, полностью не приводятся. Для общеизвестных лиц указываются только их имена и даты жизни. Лица, подробные сведения о которых имеются в разделе «Комментарии» (к ним отсылает страница, выделенная полужирным курсивом), также не аннотируются. Курсивным шрифтом обозначены страницы раздела «Комментарии».

- Айхенвальд Юлий Исаевич (1872–1928), лит. критик-«импрессионист», переводчик 657
- Академ, в др.-греч. мифологии афин. герой, указавший Диоскурам, где была укрыта их сестра Елена, похищенная Тесеем 718
- Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886), публицист-славянофил, поэт, лит. критик, журналист; секретарь (с 1858) и пред. (1875–1878) Моск. Славян. благотворит. комитета 11, 29, 48, 56, 68, 73, 96, 97, 127, 135, 145, 147, 188, 303, 304, 630, 661, 676, 677, 679, 681, 688, 711
- Исследование о торговле на украинских ярмарках 679
- Аксаков Константин Сергеевич (1817–1860), публицист-славянофил, историк, лингвист, поэт 27, 92, 95, 96, 98, 101, 127, 303, 630, 660, 664, 669, 670
- О древнем быте у славян вообще и у русских в особенности 96, 670
- По поводу VII тома «Истории России» г. Соловьёва 95, 669
- Аксаков Николай Петрович (1848–1909), публицист, критик, прозаик, поэт, историк, философ, богослов 301, 656, 703
- Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859), прозаик, критик, поэт 64, 68, 88, 134, 188, 256, 303, 306–308, 409, 666, 677, 703, 731
- История моего знакомства с Гоголем 134, 677
- Семейная хроника 64, 68, 88, 188, 256, 306, 616, 666, 731
- Аксаковы 302, 310
- Акузилай (Акусила; V в.), мифограф, генеалог 550
- Аларих I (?–410), вождь и первый король вестготов (с 382) 672
- Алаяр-хан, зять Фет-Али-шаха, первый министр Персии, личный враг А. С. Грибоедова 685
- Александр I Павлович (1777–1825), рос. император (с 1801) 110, 111, 187, 672, 693
- Александр II Николаевич (1818–1881), рос. император (с 1855) 10, 119, 607, 658, 674
- Александр III Александрович (1845–1894), рос. император (с 1881) 660, 699
- Александр Михайлович (Сандро; 1866–1933), вел. князь, гос. и воен. деятель, внук имп. Николая I 699
- Александр Невский (1220/1221–1263) 161, 402, 541, 683, 720
- Александров Анатолий Александрович (1861–1930), критик, педагог, поэт, ред. журн. «РО» (1892–1898) и газ. «РС» (1894–1898) 695
- Алексеева, переводчица на нем. язык книги Н. Н. Страхова «Мир как целое» 200
- Алексей Михайлович (1629–1676), рус. царь (с 1645) 158, 251, 537, 699, 719
- Алкеста (Алкестида), в др.-греч. мифологии дочь царя Пелия, жена царя Адмета 552, 553, 581, 721
- Алкивиад (450–404 до н. э.), афин. гос. деятель, оратор и полководец 103, 552, 586, 587, 589, 594–596, 671
- Алкид – см. *Геркулес*
- Алкиной, в др.-греч. мифологии царь феаков 700
- Амвросий (Аврелий Амвросий; ок. 339–397), святитель, епископ Медиоланский (с 373), теолог 666
- Тебе Бога хвалим (Te Deum laudamus) 66, 666
- Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков; 1812–1891), иеросхимонах, старец калуж. Введенской Оптиной пустыни 198

Амиель (Амель) Анри Фредерик (1821–1881), швейц. писатель, поэт, мыслитель-эссеист 524, 718

Из дневника 524, 718

Аммон (Амон), др.-егип. бог Солнца, затем царь богов 274, 430, 537, 701

Амнон, старший сын царя Давида, надругавшийся над единокровной сестрой Фамарью 363, 364, 417, 592–594

Анакреон (570/559–485/478 до н. э.), др.-греч. лирик 262, 500, 700

Анаксагор из Клазомен (ок. 500–428 до н. э.), др.-греч. философ, математик, астроном 536, 543

Анаксимандр Милетский (610–547/540 до н. э.), др.-греч. философ 405, 707

Ананке, в др.-греч. мифологии божество необходимости, персонификация рока 563, 565

Андрей Первозванный (? – ок. 70), первый из призванных апостолов (учеников) Христа, галилейский рыбак 189

Андромаха, в др.-греч. мифологии супруга Гектора 187

Анзельм (Ансельм) Кентерберийский (1033–1109), англ. теолог и философ-схоласт, архиеп. Кентерберийский (с 1093) 299, 643

Анна Праведная (ок. 89 – ок. 10 до н. э.), мать Пресв. Богородицы; в честь нее был учрежден орден св. Анны 175, 686

Аннибал – см. *Ганнибал*

Аполлон, в др.-греч. мифологии бог солнеч. света, покровитель наук и искусств 257, 495, 529, 532, 565, 715, 723

Аппий Клавдий (1-я пол. V в. до н. э.), рим. децемвир (сенатор) 97, 445, 670

Апрышко Петр Петрович (р. 1941), историк рус. философии 783

Апт Соломон Константинович (1921–2010), переводчик, филолог 722

Апухтин Александр Львович (1822–1903), ген.-майор, попечитель Варш. учеб. округа (1879–1897) 160, 683

Апухтин Алексей Николаевич (1840–1893), поэт, прозаик 717

Ночи безумные, ночи бессонные... 511, 717

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834), граф (с 1799), гос. и воен. деятель 550

Арей (Арес), в др.-греч. мифологии бог войны 494, 531, 565, 595, 715, 718

Аристид (Элий Аристид; 117–189), др.-греч. ритор и софист 722

Аристомед из Кидафен, участник бесед в диалоге Платона «Пир» 549, 554, 595, 720

Аристотель (384–322 до н. э.) 20, 49, 94, 207, 218, 245, 456, 461, 494, 505, 623, 626, 651, 669, 691, 692, 699, 726

О душе 692

Органон 669, 691

Поэтика 699

Аристотель, один из тридцати афинских тиранов (404–403 до н. э.) 719

Аристофан (446–385 до н. э.), др.-греч. комедиограф 549, 560, 562

Арсеньев Константин Константинович (1837–1919), правовед, журналист, историк, лит. критик; обществ. и земский деятель, адвокат (1866–1874), чиновник в Сенате (1874–1882) 33, 612, 662

Асир, сын библ. патриарха Иакова и Зелфы, служанки его жены Лии 250

Асклеть (Асклепий), в др.-греч. мифологии бог врачевания 558

Астафьев Петр Евгеньевич (1846–1893), философ, психолог, публицист 660

Из итогов века 660

- Астиаг, последний царь Мидии (585–550 до н. э.) перед ее завоеванием персами 481, 714
- Ата, в др.-греч. мифологии богиня несчастья и обмана, дочь Зевса 564, 721
- Атрея — см. *Диана*
- Афина, в др.-греч. мифологии богиня воен. стратегии и мудрости 565, 652
- Афродита, в др.-греч. мифологии богиня плодородия, любви и красоты 97, 105, 257, 509, 521, 549, 554, 555, 565, 569, 599, 600, 651, 670, 671, 724
- Ахелой, в др.-греч. мифологии бог реки в Сев. Греции 496
- Ахиллес (Ахилл), в др.-греч. сказаниях храбрый из героев похода против Трои 245, 251, 552, 553, 555–557, 581, 699, 721
- Ахимаас, библ. персонаж, сын и преемник первосвященника Садока 267
- Ахитовель (Ахитофел), советник царя Давида, заговорщик 170
- Ашера (Асират), в западносемитской мифологии прамактерь богов, супруга Эля 319, 399, 704, 707
- Аякс, в др.-греч. мифологии герой, участвовавший в осаде Трои 582
- Б.** — см. *Барановский Н.*
- Бабкин Н. А., переводчик (1860-е) 714
- Багратион Петр Иванович (1765–1812), князь, ген. от инфантерии, главнокомандующий 2-й Зап. армией в нач. Отеч. войны (1812) 163
- Байрон Джордж (1788–1824) 65, 67, 87, 89, 256, 258, 368, 617, 665, 666
- Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), мыслитель, революционер, анархист 149
- Балашов Александр Дмитриевич (1770–1837), с.-петерб. военный губернатор (1809–1812), министр полиции (1810–1812), ген. от инфантерии (1823) 429, 430, 582, 709, 723
- Барановский Николай, товарищ Розанова по Нижегород. гимназии и Моск. ун-ту 16, 659
- Барант Эрнест де (1818–1859), барон, атташе фр. посольства, сын фр. посла 133, 676
- Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), поэт 219, 634, 692
- Не ослеплен я Музою моею... 219, 692
- Барклай де Толли Михаил Богданович (имя при рождении Михаэль Андреас; 1761–1818), князь (с 1815), ген.-фельдмаршал (с 1814), полководец, воен. министр (1810–1812) 163
- Барков Иван Семенович (1732–1768), поэт, переводчик 178, 686
- Барсуков Николай Платонович (1838–1906), историк, археограф, издатель, библиограф 185, 186, 236, 302, 303, 307, 415, 686, 687, 703, 708
- Воспоминания о Н. И. Костомарове и А. Н. Майкове 185, 687
- Жизнь и труды М. П. Погодина 236, 302, 307, 415, 703, 708
- Барятинский Александр Иванович (1814–1879), князь, ген.-адъютант, ген. от инфантерии, ген.-фельдмаршал, командир Кабардин. полка, нач. левого фланга Кавказ. линии (с 1851), нач. штаба Отдельного Кавказ. корпуса; с 1862 в отставке 159
- Басманов (Басманов-Плещеев) Федор Алексеевич (? — ок. 1571), опричник, фаворит Ивана Грозного (ок. 1565–1570) 505
- Баттистини Маттиа (1856–1928), итал. оперный певец (баритон) 368, 706
- Батуев Николай Александрович (1855–1917), ученый-анатом 211, 216
- Батюшков Константин Николаевич (1787–1855), поэт, прозаик, лит. критик 87, 90, 135, 256, 389, 622, 634
- Бауэр Бруно (1809–1882), нем. философ-гегельянец, теолог, историк 669

- Белинская Вера Виссарионовна (1848–1849), младшая дочь В. Г. Белинского 146, 680
 Белинская (в замужестве Бензи) Ольга Виссарионовна (1845 – после 1913), публицист, мемуаристка; старшая дочь В. Г. Белинского 146, 680
 Белинская (ур. Орлова) Мария Васильевна (1812–1890), классная дама в Екатеринин. ин-те, жена В. Г. Белинского (с 1843) 146, 680
 Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848) 27, 56, 80, 81, 83, 85, 88, 89, 135, 145–152, 183, 340, 411, 428, 628, 629, 635, 636, 656, 667, 668, 677, 679–681, 708, 709, 735
 Бородинская годовщина 149, 680
 Взгляд на русскую литературу 1846 года 680
 Взгляд на русскую литературу 1847 года 680
 Горе от ума 680
 Литературные мечтания 149, 668, 680
 Менцель, критик Гёте 681
 О русской повести и повести г. Гоголя 411, 708
 Письмо к Гоголю 149, 428, 629, 680, 709
 Русская литература в 1840 г. 680
 Русская литература в 1841 году 677
 Сочинения Александра Пушкина 667, 668
 Беллерофонт, в др.-греч. мифологии прозвище Гиппоноя, сына Главка; убийца Химеры 55
 Бельтов Н. – см. Плеханов Г. В.
 Бен-Амми, сын младшей дочери Лота, предок аммонитян 246, 405
 Бенеке Фридрих Эдуард (1798–1854), нем. философ и психолог 466, 470, 551, 713, 721
 Руководство к воспитанию и учению 713
 Бен-Иосиф Акиба (ок. 50 – ок. 132), рабби, отец талмудического иудаизма 728
 Бентам Иеремия (1748–1832), англ. социолог, юрист, философ-утилитарист 658
 Деонтология, или Наука о морали 658
 Беньян Джон (1628–1688), англ. теософ, странств. проповедник 668
 Путь паломника 668
 Бередников Яков Иванович (1793–1854), историк и археограф, академик (с 1847) 699
 Берг Вильгельм, нем. воздухоплаватель, совершал полеты на возд. шаре в Москве и в Петербурге (1847–1848) 332
 Бёрк (Борк) Эдмунд (1729–1797), англ. политик, публицист, основоположник британ. консерватизма 101
 Беркли Джордж (1685–1753), англ. философ 643
 Бернар Клод (1813–1878), фр. медик, основоположник эндокринологии 64
 Бёрнс Роберт (1759–1796), шотл. поэт и фольклорист 286, 701
 К срезанной плугом маргаритке 286, 701
 Бецкой Иван Иванович (1704–1795), личный секретарь имп. Екатерины II (1762–1779), през. Акад. художеств (1763–1795) 682
 Бирюков Павел Иванович (1860–1931), издатель, обществ. деятель, биограф Л. Н. Толстого 709
 Блудов Дмитрий Николаевич (1785–1864), граф, министр внутр. дел (с 1832), главноуправляющий II Отд-нием Собств. Его Имп. Величества Канцелярии (с 1839), пред. Гос. совета (с 1862) 168, 170

- Блювштейн (ур. Соломониак) Софья Ивановна (Шейндля-Сура Лейбовна) (1846–1902), преступница-авантюристка, известная под прозвищем «Сонька Золотая Ручка» 300, 514, 717
- Блюнчли (Блунчли) Иоганн Каспар (1808–1881), швейц. юрист, политик 93, 668
История общего государственного права и политики от XVI века по настоящее время 668
- Боборыкин Петр Дмитриевич (1836–1921), прозаик, драматург, лит. критик, публицист, мемуарист 141, 144, 636
- Бовани (Кали), в индийской мифологии богиня, олицетворяющая злых духов 157, 682
- Богданович Ангел Иванович (1860–1907), публицист, лит. критик, журналист, один из ред. журн. «Мир Божий» (1895–1906) 657
- Богданович Ипполит Федорович (1743/1744–1803), поэт 530, 718
Душенька 530, 557, 718, 721
- Богородица – см. *Мария*
- Богословский Виктор Степанович (1841–1904), бальнеолог, эпидемиолог; проф. Моск. ун-та 695, 696
- Боден (Бодэн) Жан (1530–1596), фр. полит. мыслитель, правовед 14, 101, 624
- Бойто Арриго (1842–1918), итал. композитор и поэт 706
- Боккаччо (Боккаччио) Джованни (1313–1375) 661
Декамерон 33, 86, 661
- Бомарше Пьер де (1732–1799), фр. драматург, публицист 722
Безумный день, или Женитьба Фигаро 564, 722
- Бонапарт – см. *Наполеон I*
- Бонмен (ур. Крузе) Маргарита де (1855–1891), виконтесса, возлюбленная Ж. Э. Буланже 702
- Борджиа (Борджии), исп. дворянский род, из к-рого вышли два римских папы и два десятка кардиналов 112
- Борей, в др.-греч. мифологии олицетворение северного ветра 494, 495, 716
- Борис Федорович Годунов (между 1549 и 1552–1605), рус. царь (с 1598) 714
- Борк Э. – см. *Бёрк Э.*
- Боткин Василий Петрович (1811–1869), очеркист, лит. критик, переводчик 146, 147, 150
- Бочаров Сергей Георгиевич (р. 1929), литературовед 677
Все мы вышли из гоголевской «Шинели» 677
- Браницкий Франциск Ксаверий (Ксаверий Петрович) (1731–1819), граф, гетман польный коронный (1773–1774), гетман великий коронный (1774–1793); на рус. службе (с 1795) ген. от инфантерии 232, 234, 693
- Брентано Луйо (1844–1931), нем. экономист, реформатор, представитель катедер-социализма 674
- Бретцель Яков Богданович фон (1842–1918), врач 310
- Брокер Генрих Афанасьевич (1836–1900), парфюмер, предприниматель; с 1861 жил в России, оставаясь фр. подданным; основатель Торгового дома (1872) и Т-ва парфюм. производства в Москве «Брокер и К°» (1893) 444, 497, 711, 716
- Брокгауз (Brockhaus) Фридрих Арнольд (1772–1823), нем. издатель 471, 473, 526, 602, 654, 713, 724
- Брут (Марк Юний Брут Цепион; 85–42 до н. э.), др.-рим. сенатор, убийца Цезаря 17, 608

Бузенбаум Герман (1600—1663), нем. богослов, иезуит 658

Основы морального богословия 658

Буланже (Boulanger) Жорж Эрнест (1837—1891), фр. генерал и политик, возглавивший антиреспубл. движение (1886—1889) 300, 702

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859), прозаик, журналист и критик, изд. (совм. с Н. И. Гречем) газ. «Сев. Пчела» (1825—1859) и журн. «Сын Отечества» (1825—1839) 183, 184, 640, 687

Буренин Виктор Петрович (1841—1926), критик, поэт-сатирик, драматург 225, 648

Буслаев Федор Иванович (1818—1897), языковед, фольклорист, литературовед, историк искусства 14, 33, 120, 608, 612, 658, 661

Мои воспоминания 33, 658, 661

Мои досуги 661

Бутлеров Александр Михайлович (1828—1886), ординар. проф. химии С.-Петербур. ун-та (с 1870), академик (с 1874) 72, 616, 666

Бутягина (ур. Руднева) Варвара Дмитриевна (1864—1923), вторая жена Розанова (с 1891) 681

Быстрова Ольга Васильевна, литературовед 688

Бычков Афанасий Федорович (1818—1899), историк, археограф, библиограф, палеограф, академик (с 1869), дир. Публич. б-ки (1882—1899) 215, 216

Бэкон Фрэнсис (1561—1626), англ. философ, историк, полит. деятель 20, 49, 93, 94, 339, 669

Великое восстановление наук 669

Новый Органон 94, 669

Вагнер Адольф (1835—1917), нем. экономист, представитель катедер-социализма 674

Вагнер Николай Петрович (1829—1907), зоолог, прозаик 616, 666

Вахх (Дионис), в др.-греч. мифологии бог растительности, виноделия 549, 587

Валентин (176—270), святой, рим. мученик 296, 460, 462, 466, 470, 577, 712

Валериан (в миру Василий Александрович Орлов), иеродиакон, преподаватель Самар. семинарии (1858—1862), затем вышел из монашества 702

Валла, служанка Рахили, которая родила двух сыновей библ. патриарху Иакову 249

Валленштейн Альбрехт (1583—1634), герцог, нем. полководец 110

Вальнев, студент-филолог 217

Варвара Дмитриевна — см. *Бутягина В. Д.*

Василий III Иванович (1479—1533), вел. князь Владимирский и Московский (с 1505) 683

Васильев Афанасий Васильевич (1851—1929), публицист-славянофил, правовед, поэт; ген.-контролер Деп-та железнодорож. отчетности (1893—1896), изд. журн. «Благовест» (1890—1896) 656

Васильчиков Александр Иларионович (1818—1881), князь, экономист, публицист, зачинатель кооперат. движения (с 1871); секундант на последней дуэли М. Ю. Лермонтова 132, 133, 676

Несколько слов о кончине М. Ю. Лермонтова и о дуэли его с Н. С. Мартыновым 132, 676

Вафуил, племянник библ. патриарха Авраама 266

Венера — см. *Афродита*

- Вентцель Николай Николаевич (1856–1920), поэт, прозаик, драматург, переводчик 542, 720
- Вергилий (Виргилий) (Публий Вергилий Марон; 70–19 до н. э.) 256
- Верди Джузеппе (1813–1901), итал. композитор 682
- Травиата 156, 157, 682
- Верзилины: ген.-майор Петр Семенович (1793–1849) и его жена Мария Ивановна (ур. Вишневецкая, в первом браке Клингенберг), пятигорские знакомые М. Ю. Лермонтова 133, 134
- Веста, в др.-рим. мифологии богиня, покровительница семейного очага и жертвенного огня 461, 520
- Виельгорский Михаил Юрьевич (1788–1856), граф, композитор, хозяин муз. салона 307, 703
- Виктор Эммануил II (1820–1878), король сардинский (с 1849) и первый король объедин. Италии (с 1861) 161, 683
- Вильгельм I Гогенцоллерн (1797–1888), прус. король (с 1861) и герман. император (с 1871) 712
- Вильгельм II Прусский (1859–1941), герман. император и король Пруссии (1888–1918) 712
- Вильсон Джон (1785–1854), шотл. адвокат, лит. критик, писатель, проф. нравств. философии в Эдинбург. ун-те (1820–1851) 667
- Чумной город 667
- Виргиний (Луций Вергиний; 1-я пол. V в. до н. э.), рим. центурион из плебеев 445, 670
- Виргиния (1-я пол. V в. до н. э.), дочь рим. центуриона, убитая им с целью спасения от бесчестия 97, 445, 670
- Вирсавия, жена царя Давида и мать царя Соломона 97, 170, 330, 459, 583, 670
- Витте Сергей Юльевич (1849–1915), граф, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892–1903), пред. Комитета министров (1903–1906), пред. Совета министров (1905–1906) 204
- Витте Федор Федорович (1822–1879), попечитель Киевского (1862–1866) и Варшавского (1866–1879) учеб. округов, сенатор 160, 683
- Владислав IV Ваза (1595–1648), король польский и вел. князь литовский (с 1633) 233
- Вовчок Марко (наст. имя Мария Александровна Вилинская, в первом браке Маркович, во втором – Лобач-Жученко; 1833–1907), укр. прозаик, поэтесса, переводчица 83
- Водозов Василий Иванович (1825–1886), педагог, переводчик, дет. писатель 699
- Вольнский Аким Львович (наст. имя Хаим Лейбович Флексер; 1861 или 1863–1926) 427, 428, 709
- Русские критики 427, 428, 709
- Вольтер (наст. имя Мари Франсуа Аруз; 1694–1778) 189, 234, 256, 300, 340, 699, 700, 705
- Воронцов Михаил Семенович (1782–1856), князь (с 1845), ген.-фельдмаршал (1856), новороссийский и бессарабский ген.-губернатор (1823–1844), наместник на Кавказе (1844–1854) 159
- Врангель Александр Егорович (1833–1915), барон, камергер, дипломат; знакомый Ф. М. Достоевского 312, 703, 704
- Вяземский Александр Егорович (1809 – после 1883), князь, владелец «Вяземской лавры» (доходного дома на Сенной пл. в Петербурге) 332

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878), князь, поэт, критик, мемуарист; тов. министра нар. просвещения (1855–1858) 428, 431, 684, 709

Языков и Гоголь 709

Гавриил, архангел 705

Гад, сын библ. патриарха Иакова и Зелфы, служанки Лии 250

Гален (129 или 131 – ок. 200 или 217), др.-рим. хирург и философ 154

Галилей Галилео (1564–1642) 294

Галлер Альбрехт фон (1708–1777), швейц. анатом, естествоиспытатель и поэт 86, 621, 667

О происхождении зла 86, 621, 667

Ганимед, в др.-греч. мифологии прекрасный юноша, возлюбленный Зевса, виночерпий на пирах богов 534, 719

Ганнибал Барка (247–183 до н. э.), карфагенский полководец 257

Гармодий, афин. тираноубийца, вместе с Аристоклитом составил заговор против тирана Гиппия (514 до н. э.) 17, 556, 608

Гартман Эдуард фон (1842–1906), нем. философ-иррационалист 322, 704

Философия бессознательного 704

Гаршин Всеволод Михайлович (1855–1888), прозаик, поэт, худож. критик 482, 714

Attalea princeps 714

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831) 49, 72, 73, 87, 147, 559

Гейне Генрих (1797–1856) 713

Вопросы 467, 713

Северное море 713

Гексли (Хаксли) Томас Генри (1825–1895), англ. зоолог-дарвинист, популяризатор науки 476, 714

Гектор, в др.-греч. мифологии вождь троянского войска 187, 552, 721

Георгиевский Александр Иванович (1830–1911), историк, ред. «Журн. Мин-ва Нар. Просвещения» (1866–1881), пред. Учеб. комитета и чл. Совета министра нар. просвещения 218, 646

Георгий Победоносец (?–303/304), великомученик 686

Гера (Ира), в др.-греч. мифологии супруга Зевса, покровительница семьи 495, 532, 715, 718

Геракл – см. *Геркулес*

Гераклит Эфесский (544–483 до н. э.), др.-греч. философ-досократик 559, 586, 723, 732

Геркулес (Геракл), в др.-греч. мифологии величайший герой, сын Зевса 268, 721, 723

Геродот (490/480–ок. 425 до н. э.), др.-греч. историк 337, 481, 547, 685, 709, 714, 720

История 685, 714, 720

Герострат, грек из Эфес в Малой Азии; чтобы обессмертить свое имя, сжег в 356 до н. э. храм Дианы (Артемиды) Эфесской 183

Герцен Александр Иванович (1812–1870) 56, 59, 61, 65, 75, 146, 149, 150, 615, 618, 664, 666, 682

Дилетантизм в науке 666

Гесиод (Гезиод; VIII–VII вв. до н. э.), др.-греч. поэт, рапсоd 547, 550, 563, 582, 599, 651, 689, 709, 720

- Теогония 599, 720
Труды и дни (Дела и дни) 195, 689
- Гёте Иоганн Вольфганг (1749–1832) 147, 149, 230, 368, 617, 636, 637, 681, 702, 723
Божественное 702
Фауст 67, 124, 351, 705, 715, 723
- Гефест, в др.-греч. мифологии бог огня, покровитель кузнечного ремесла 562, 565
Гея, в др.-греч. мифологии богиня земли 550, 720
- Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874), фр. историк, критик; министр внутр. дел (1830), нар. просвещения (1832–1837), иностр. дел (1840–1848), пред. Совета министров (1847–1848) 110
- Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872), историк-славист, фольклорист, публицист 664
- Гиляров-Платонов Никита Петрович (1824–1887), публицист, богослов, философ, экономист, мемуарист; цензор, изд.-ред. газ. «Совр. Известия» (с 1867) 96, 661
- Гинцбург Илья Яковлевич (наст. имя и фам. Элиаш Гинзбург; 1859–1939), скульптор 178, 686
- Гиппократ (ок. 460 — ок. 370 до н. э.), др.-греч. врач-реформатор 154
- Гитлер Адольф (1889–1945) 712
- Главкон, участник бесед в диалоге Платона «Пир» 549, 596
- Глебов Михаил Павлович (1819–1847), ротмистр л.-гв. Конного полка, друг и однополчанин М. Ю. Лермонтова, один из секундантов на его последней дуэли 132, 133
- Глинка Михаил Иванович (1804–1857) 151
- Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт, переводчик 720
- Гоббс (Гоббес) Томас (1588–1679), англ. философ и литератор 14, 274, 662, 701
Левиафан 36, 274, 662, 701
О гражданине 701
- Говоруха-Отрок Юрий Николаевич (псевд. Ю. Николаев; 1850–1896) 194–199, 642, 644, 665, 689, 690, 783
Гражданская поэзия 689
Две «великие» партии. По поводу статьи г. В. Розанова «О борьбе с Западом в связи с литературною деятельностью одного из славянофилов» 665
Искусство 689
Очерки современной беллетристики. В. Г. Короленко 689
Сумерки богов 689
Тургенев 689
- Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) 77, 129, 133–136, 138, 141–143, 149, 150, 164, 212, 256, 299, 302–310, 312, 313, 367, 379–386, 388, 389, 391, 393, 410–413, 415, 419–421, 426–435, 439, 448, 476, 487–489, 493, 525, 536, 538, 540, 620, 622, 629, 632, 635–637, 676, 677, 680, 681, 685, 687, 695, 703, 705, 708–711, 714, 715, 719, 726–731
Авторская исповедь 308, 409, 439, 677
В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность? 150, 681
Вечера на хуторе близ Диканьки 141, 409
Вий 525, 563
Выбранные места из переписки с друзьями 134, 149, 303, 308–310, 381, 383, 409, 427, 433, 435, 439, 537, 538, 540, 620, 629, 636, 637, 677, 681, 703, 709, 710, 719, 727
Завещание 308

- Записки сумасшедшего 388
 Мертвые души 135, 136, 141, 142, 212, 303, 307, 381, 388, 409, 413, 478, 490, 540, 635–637, 676, 677, 681, 687, 703, 705
 Миргород 141
 Ночь перед Рождеством 309, 488
 Нужно проездиться по России 709
 Повесть о капитане Копейкине 635, 637
 Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем 409, 488, 708
 Ревизор 135, 142, 409, 413, 476, 677, 714
 Рим 142, 307, 488, 489, 493, 715
 Светлое Воскресенье 710
 Сорочинская ярмарка 304, 305, 411, 413, 478, 708
 Страшная месть 383–390, 408, 409, 411, 415, 419, 427, 495, 711, 728
 Тарас Бульба 388, 419, 420
 Шинель 135, 307, 439, 677, 685
- Голицишев-Кутузов Арсений Аркадьевич (1848–1913), граф, поэт, прозаик, публицист 201, 217, 692
 Майский день 217, 692
- Голлербах Эрих Федорович (1895–1942), искусствовед, худож. и лит. критик, библиограф и библиофил 734
 В. В. Розанов. Жизнь и творчество 734
- Голубинский Федор Александрович (1797–1854), протоиерей, философ, богослов, проф. Моск. духов. академии (с 1822) 466, 713
 Голубкова Анна Анатольевна (р. 1973), лит. критик, литературовед, прозаик, поэт 676
 Гольбах (д'Ольбах) Поль Анри (1723–1789), барон, фр. философ нем. происхождения, публицист, энциклопедист 189, 256
 Гомер (VIII в. до н. э.) 245, 246, 251, 510, 538, 542, 552, 553, 564, 582, 663, 699, 700, 720–722
 Илиада 187, 553, 663, 699, 720–722
 Одиссея 245, 699, 700
- Гончаров Иван Александрович (1812–1891) 24, 83, 84, 125, 141, 148, 168, 170, 311–313, 439, 543, 620, 660, 680, 684, 704
 Заметки о личности Белинского 148, 680
 Мильон (миллион) терзаний 168, 684
 Обломов 88
 Обрыв 84, 88, 169, 639, 660, 704
 Четыре очерка 680
- Гончарова (в первом браке Пушкина, во втором – Ланская) Наталья Николаевна (1812–1863), жена Пушкина (1831–1837) 684
 Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65–8 до н. э.), др.-рим. поэт 339, 705
 К Помпею Вару 705
- Горлов Виктор Петрович (р. 1935), архитектор, историк, журналист, елецкий краевед 672
 Горький Максим (при рождении Алексей Максимович Пешков; 1868–1936) 676
 Горяева Татьяна Михайловна, историк, архивист 4

Градовский Александр Дмитриевич (1841–1889), правовед, либерал. публицист 138, 678

Мечты и действительность 678

Гракхи (Семпронии Гракхи), братья: Тиберий (162–133 до н. э.) и Гай (153–121 до н. э.), др.-рим. полит. деятели 696

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк-медиевист, идеолог моск. западников; проф. Моск. ун-та (с 1839) 146, 147, 150, 256

Греч Николай Иванович (1787–1867), литератор, журналист (изд. журн. «Сын Отечества», газ. «Сев. Пчела», совм. с Ф. В. Булгариным), мемуарист 183, 640

Грибовский Вячеслав Михайлович (1867–1924), правовед, поэт, беллетрист 657, 710

У графа Л. Н. Толстого 710

Грибоедов Александр Сергеевич (1790/1795–1829) 163–166, 168–170, 183, 185, 256, 639, 680, 683–685, 687

Горе от ума 149, 163–171, 183, 639, 680, 683–685, 687, 692

Грибоедова (ур. княжна Чавчавадзе) Нина Александровна (1812–1857), дочь князя А. Г. Чавчавадзе, жена А. С. Грибоедова (с 1828) 685

Григорий VII Гильдебрандт (1020/1025–1085), папа Римский (с 1073) 237

Григорович Дмитрий Васильевич (1822–1899), прозаик, мемуарист 628

Григорьев Аполлон Александрович (1822–1864) 76, 77, 85, 89, 127, 135, 148, 213, 333, 615, 618, 629, 630, 646, 657, 662, 668, 677, 702, 704

Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина 668, 677

Лермонтов и его направление 704

Гринберг Ольга Эммануиловна (р. 1950), переводчик 703

Грингмут Владимир Андреевич (псевд. Spectator; 1851–1907), полит. деятель; сотр. (с 1871) и ред. (с 1896) газ. «МВед» 107, 109, 111, 112, 672

М. Н. Катков как государственный деятель 107, 672

Грозный — см. *Иван IV Грозный*

Громека Михаил Степанович (1852–1884), лит. критик 33, 84, 90, 662

Последние произведения графа Л. Н. Толстого 33, 84, 662

Грот Николай Яковлевич (1852–1899), философ-идеалист, проф. Моск. ун-та (с 1886), ред. журн. «ВФП» (с 1889) 664, 670

Грот Яков Карлович (1812–1893), филолог; проф. Гельсингфорс. ун-та (с 1840), акад. (с 1858) 309, 703

Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетнёвым 309, 703

Губастов Константин Аркадьевич (1845–1919), дипломат, историк, генеалог 105, 671

Губонин Петр Ионович (1825–1894), купец 1-й гильдии, промышленник, строитель желез. дорог, меценат 118

Гужон Жан (ок. 1510/1520 — ок. 1563/1568), фр. скульптор, архитектор, график 398, 707

Гумбольдт Александр фон (1769–1859), нем. физик, метеоролог, географ, ботаник, зоолог, путешественник 175, 686

Космос 175, 686

Гуно Шарль (1818–1893), фр. композитор 706

- Гуревич Любовь Яковлевна (1866–1940), прозаик, лит. и театр. критик, переводчик, издатель 574, 584, 722, 723
 Плоскогорье 574, 722
- Гурко (Ромейко-Гурко) Иосиф Владимирович (1828–1901), ген.-фельдмаршал (1894), герой Рус.-турец. войны (1877–1878) 159
- Гус Ян (1369–1415) 712
- Густав II Адольф (1594–1632), король Швеции (с 1611) 110, 257
- Гуттенберг (Гуттенберг) Иоганн (1397/1400–1468), нем. ювелир, изобретатель книгопечатания подвижными литерами (сер. 1440-х) 537, 541, 602, 654, 719
- Гюго Виктор (1802–1885) 677
 Собор Парижской Богоматери (Notre Dame de Paris) 677
- Давид** (кон. XI в. — ок. 950 до н. э.), царь Израильско-Иудейского государства 97, 129, 170, 272–275, 278, 279, 330, 358, 363, 459, 482, 583, 633, 670, 701
- Д'Аламбер (Даламбер) Жан Лерон (1717–1783), фр. философ, математик и механик; энциклопедист 234, 256, 699
- Дан, один из двенадцати сыновей библ. патриарха Иакова 249
- Даниил (VII в. до н. э.), ветхозавет. пророк 248, 672, 687, 699
- Данилевские: Николай Яковлевич (см.) и его вторая жена (с 1861) Ольга Александровна (ур. Межакова; 1838–1910) 214, 217, 218
- Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885), публицист и социолог, естествоиспытатель 27, 28, 56, 57, 73, 77, 92, 96, 98, 99, 101, 127, 213, 214, 615, 623, 630, 659, 660, 665, 666, 668, 670, 683, 783
 Дарвинизм. Критический очерк 665
 Россия и Европа 56, 57, 73, 92, 98, 615, 623, 660
- Данте (Дант) Алигьери (полн. имя Дуранте дельи Алигьери; 1265–1321) 33, 258, 465, 480, 661, 703
 Божественная комедия 86, 465, 466
 Новая жизнь 703
- Дарвин Чарлз (1809–1882) 56, 57, 659
- Декандоль Огюстен Пирам (1778–1841), швейц. и фр. ботаник 210
- Декарт (Картезий) Рене (1596–1650) 49, 73, 466, 470, 480, 643, 713, 717, 730
 Начала философии 713
- Деларю Михаил Данилович (псевд. Д. Казанский; 1811–1868), поэт, переводчик 247, 699
- Дельвиг Антон Антонович (1798–1831), барон, поэт, издатель 622
- Деметра, в др.-греч. мифологии богиня плодородия 707
- Демокрит Абдерский (ок. 470 или 460 — ок. 380 до н. э.), др.-греч. философ 256, 538
- Демосфен (384–322 до н. э.), др.-греч. оратор 187
- Державин Гаврила Романович (1743–1816) 86, 135, 186, 667, 677, 687, 707, 717
 На взятие Варшавы 677
 Памятник 402, 511, 707, 717
 Фелица 81, 667
- Диана (Артемиды), в др.-рим. мифологии богиня охоты, растительности, родовспомогательница 183, 494

- Дидро (Дидеро, Дидерот) Дени (1713–1784), фр. прозаик, философ-просветитель, драматург 234, 256
- Диккенс Чарлз (1812–1870) 256, 261, 352, 353, 673, 700, 705
- Давид Копперфильд 261, 700
- Домби и сын 673
- Лавка древностей 352, 705
- Дина, дочь библ. патриарха Иакова от Лии 250
- Диоген Лаэртский (кон. II – нач. III в.), др.-греч. историк философии 493
- Диоклей (Дикол), отец Эвтидема, упомянутого в диалоге Платона «Пир» 596
- Диона, в др.-греч. мифологии богиня дождя, титанида 554
- Дионис – см. *Вакх*
- Дионисий Младший (397–337 до н. э.), тиран в Сиракузах (с 367 до н. э.) 719
- Дионисий Старший (431/430–367 до н. э.), тиран в Сиракузах (405–367 до н. э.) 719
- Диотима из Мантиней (V в. до н. э.), жрица, собеседница в диалоге Платона «Пир» 567, 568, 571–574, 579, 581, 582, 584, 586, 588, 590, 722, 723
- Дмитриев Андрей Петрович (р. 1963), литературовед, библиограф 4, 689, 783
- Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), поэт-сентименталист, переводчик; сенатор (с 1806), министр юстиции (1810–1814) 90, 685
- Стонет сизый голубочек... 169, 685
- Добролюбов Николай Александрович (1836–1861) 81–85, 89, 90, 94, 148, 256, 257, 619, 620, 622, 667, 669, 676, 713
- Луч света в темном царстве 94, 669
- Милый друг, я умираю... 82, 667
- Что такое обломовщина? 676
- Долгов Семен Осипович (1857–1925), археограф, литературовед-медиевист, собиратель рукописей, переводчик 707
- Доробец Николай Константинович (1862–1902), юрист, приват-доцент Моск. ун-та, публицист 201, 690
- Достоевская (ур. Сниткина) Анна Григорьевна (1846–1918), мемуаристка, вторая жена Ф. М. Достоевского (с 1867) 311, 632, 704, 706
- Воспоминания 704
- Достоевская (ур. Констант, в первом браке Исаева) Мария Дмитриевна (1824–1864), первая жена Ф. М. Достоевского (с 1857) 629, 632
- Достоевская (ур. Нечаева) Мария Федоровна (1800–1837), дочь моск. купца 3-й гильдии, мать М. М. и Ф. М. Достоевских 627
- Достоевская Софья Федоровна (февр.–май 1868), дочь Ф. М. Достоевского 313, 704
- Достоевский Михаил Андреевич (1787–1839), ординатор Моск. воен. госпиталя, лекарь в Мариин. больнице Моск. воспит. дома; отец М. М. и Ф. М. Достоевских 627
- Достоевский Михаил Михайлович (1820–1864), прозаик, издатель, брат Ф. М. Достоевского 627, 629, 632
- Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) 24, 73, 77, 83, 88, 89, 103, 105, 122–131, 134–141, 143–145, 150, 157, 164, 166, 167, 206, 218, 258, 299, 305, 310, 312, 313, 314, 316, 317, 319, 320, 323, 324, 326–344, 348, 349, 352, 357, 359, 361, 365–370, 372–375, 378–383, 387–389, 398, 399, 403, 405, 406, 408, 419, 425–431, 433, 434, 437, 439, 442, 445, 449, 466, 479, 483, 484, 487, 502, 519, 522–525, 529, 532, 533, 536, 537, 540, 544, 548, 555, 569, 576, 580, 583, 585, 588–590, 598, 599, 603, 615, 620, 622, 626–633, 639,

- 644, 654, 667, 671, 673–681, 683, 684, 691, 695, 700, 704–707, 709, 710, 712, 715–730, 732, 734, 783
- Бедные люди 135, 141, 370, 628
- Белые ночи 128, 631
- Бесы 136–138, 140, 314, 316, 332, 335, 336, 340, 343, 344, 346, 349, 367, 381, 390, 403–405, 407, 408, 415, 416, 429, 432–434, 438, 442, 468–470, 521, 523, 537, 541, 544, 571, 573, 574, 581, 585, 586, 589, 590, 598, 628, 631, 632, 634, 676, 678, 707, 710, 717, 724
- Братья Карамазовы 126, 130, 136, 141, 144, 181, 299, 312, 313, 316, 317, 319, 323, 328, 332, 341, 356, 358, 365, 367, 379, 380, 383, 397, 404, 407, 408, 425, 427, 431, 449, 470, 478, 484, 486, 502, 507, 509, 532, 543, 570, 577, 583, 584, 598, 628, 631, 632, 673, 675, 676, 678, 679, 681, 704, 706, 707, 710, 718, 720, 721, 723, 730
- Вечный муж 631
- Влас 683
- Двойник 370
- Дневник писателя 125, 129, 134, 138, 166, 206, 311, 313, 320, 334, 336, 365, 366, 369, 371, 406, 426, 537, 598, 620, 629, 631–633, 668, 675, 677, 678, 683, 684, 691, 704, 707, 709, 712, 719, 720, 724
- Дядюшкин сон 629
- Елка и свадьба 366
- Записки из Мертвого дома 629, 630
- Записки из подполья 128, 129, 336, 340, 366, 382, 431, 628, 630, 631
- Записная книжка 314, 320, 352, 380, 590
- Земля и дети 166, 684
- Зимние заметки о летних впечатлениях 632
- Золотой век в кармане 366, 379
- Игрок 128, 631
- Идиот 128, 129, 314, 434, 631, 632
- Легенда (поэма) о Великом инквизиторе 126, 129, 130, 135, 217, 317, 319, 324, 332, 334, 335, 337, 340, 344, 366, 367, 382, 383, 431, 631, 633, 675, 695, 704, 705, 734
- Маленький герой 258, 366, 700
- Неточка Незванова 141, 366
- Подросток 126, 129, 136, 347, 350, 353, 356, 375, 380, 479, 480, 491, 492, 580, 581, 584, 628, 631, 632, 675, 678, 705, 715, 716, 722
- Преступление и наказание 125, 126, 129, 136, 139–141, 148, 150, 314, 317, 324, 326, 329, 332, 375, 377, 397, 404, 406, 414, 440, 479, 483, 486, 488, 523, 572, 573, 578, 592, 622, 627, 628, 631, 675, 678, 710, 715
- Пушкин (Речь о Пушкине) 88, 129, 130, 340, 343, 360, 381, 428, 433, 630, 631, 633, 667, 671, 676, 678
- Село Степанчиково и его обитатели 629
- Сон смешного человека 126, 129, 340, 347, 367–369, 375, 376, 382, 383, 406, 415, 425, 437, 442, 478, 491, 517, 518, 521, 527, 528, 539, 542, 548, 581, 585, 591, 597, 603, 627, 631, 655, 712, 720, 724
- Униженные и оскорбленные 128, 140, 314, 324, 366, 484, 630, 631
- Достоевский Федор Федорович (1871–1922), специалист по коневодству и коннозаводству; сын писателя 311, 380, 429, 433, 709
- Дружинин Александр Васильевич (1824–1864), прозаик, лит. критик, переводчик 482
- Дурылин Сергей Николаевич (1886–1954), педагог, богослов, литературовед, поэт 678
- Об одном символе у Достоевского 678

Душенко Константин Васильевич (р. 1946), переводчик, культуролог и историк 783
 Дюбуа-Реймонд Эмиль (1818–1896), нем. физиолог и философ 300, 702

О пределах познания природы 702

Дюмурье Шарль Франсуа (1739–1823), фр. генерал, министр иностр. дел (1792) 462

Е. Д., жительница Витебска, авт. открытого письма в газ. «*БВед*» (1896) 695, 696

Ева 171, 252–254, 259, 265, 450, 554, 560

Еврипид (Эврипид; 480–406 до н. э.), др.-греч. драматург 700, 721

Алкестида 721

Ипполит 700

Една, библиографический персонаж, жена Рагуила, теща Товии 450

Едошина Ирина Анатольевна (р. 1952), культуролог, литературовед 4, 783

Екатерина I Алексеевна (Марта Скавронская; 1684–1727), рос. императрица (с 1725) 720

Екатерина II Великая (1729–1796), рос. императрица (с 1762) 234, 390, 686, 693, 702

Екатерина Александрийская (287–305), святая, великомученица 111, 673

Елена Прекрасная, в др.-греч. мифологии жена царя Спарты Менелая, похищенная троянцем Парисом 510

Елиам, отец Вирсавии, жены Урии Хеттеянина, затем – царя Давида 583

Елизавета, евангел. персонаж, жена священника Захарии 278

Елизавета Венгерская (1207–1231), католич. святая, принцесса из венг. династии Арпадов 111

Елизавета Петровна (1709–1761), рос. императрица (с 1741) 234

Елисеевы, братья: Григорий (1804–1892) и Степан (1806–1879) Петровичи, основатели Торгового дома «Братья Елисеевы» (1858) 570, 722

Елисей (? – ок. 835 до н. э.), ветхозавет. пророк 298, 702

Елиуй, персонаж ветхозавет. Книги Иова 313

Ермолов Алексей Петрович (1772–1861), ген. от артиллерии, главнокомандующий рус. войсками в Грузии (1816–1827), наместник Кавказа (1816–1827); чл. Гос. совета (1831–1839) 159, 177

Ефрем Сирий (ок. 306–373), преподобный, богослов, проповедник, поэт 678, 700

Господи и владыко живота моего... 678

Ефремов Александр Валентинович, историк и публицист 668

Эфрон (Эфрон) Илья Абрамович (1847–1917), типограф, книгоиздатель 471, 526, 713

Жанна д'Арк (1412–1431) 111, 673

Желябов Андрей Иванович (1851–1881), революционер-народник, чл. Исполнит. комитета «Нар. воли» 665

Жирарден Станислав де (1762–1827), граф, фр. политик, публицист, мемуарист 672

Discours et opinions, journal et souvenirs 672

Жозе I Реформатор (1714–1777), король Португалии (с 1750) из династии Браганса 672

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852) 87, 89, 90, 135, 256, 303, 304, 389, 622, 667, 685, 687, 700, 716, 717

Ивиковы журавли 716

Поликратов перстень 685

Торжество победителей 185, 687

Ундина 87, 667

Элевзинский праздник 315, 316, 328, 329, 359, 509, 717

Жулькова Карина Алеговна, литературовед 4, 783

З., переводчик Р. Бёрнса 701

Завулон, десятый сын библ. патриарха Иакова 250

Зайцев Варфоломей Александрович (1842–1882), лит. критик, публицист-памфлетист, социалист-народник, переводчик 256, 665

Закржевский Игнаций (1745–1802), польск. гос. деятель, през. Варшавы (1792, 1794), полит. оратор 233

Зара, сын Иуды, четвертого сына библ. патриарха Иакова, от Фамари 277

Захария, евангел. персонаж, священник во времена царя Ирода 278

Зверев Иван Павлович (1818–1903), действ. стат. сов., дир. прогимназии в Петербурге 213, 221, 646, 692

Зевс, в др.-греч. мифологии верховное божество 339, 494, 496, 520, 521, 527, 531, 534, 537, 554, 561, 565, 567–569, 575, 581, 593, 596, 597, 652, 715, 716, 718, 719, 721–723

Зелфа (Зелпа), служанка Лии, жены библ. патриарха Иакова, мать Гада и Асира 250

Зенон Киттийский, или Финикийский (346/333–264/262 до н. э.), др.-греч. философ, основатель стоической школы (с 300 до н. э.) 719

Зигфрид, герой германо-скандинавской мифологии и эпоса, король нидерландцев 458

Златовратский Николай Николаевич (1845–1911), писатель-народник 113, 673

Устои. История одной деревни 673

Зозуля Борис Алексеевич, лингвист, переводчик 719

Золя (Зола) Эмиль (1840–1902) 357

Зосима Соловецкий (?–1478), преподобный, один из основателей и игумен Соловец. мон-ря 115

Иагр – см. *Эагр*

Иаков (Израиль), ветхозавет. патриарх 110, 249, 250, 266, 267, 274, 279, 416, 429, 434, 467, 582, 672

Иафет, сын ветхозавет. патриарха Ноя 266, 281, 405

Иван IV Грозный (1530–1584), вел. князь «всая Руси» (с 1522), первый рус. царь (с 1547) 47, 96, 159, 186, 663, 670

Иван Данилович Калита (1288–1340), князь Московский (с 1325), вел. князь Владимирский (с 1328) 158

Иван Павлыч – см. *Зверев И. П.*

Иванов Дмитрий Петрович (1812–1880), родственник и земляк В. Г. Белинского 680

Иванова Евгения Викторовна (р. 1948), литературовед 689

Ивик (2-я пол. VI в. до н. э.), др.-греч. лирик 508, 716

Игнаций (Дмитрий Александрович Брянчанинов; 1807–1867), игумен Троице-Сергиевой пустыни под Петербургом (с 1833), епископ Кавказский и Черноморский (1857–1861), духов. писатель, святой 701

Иегова (Яхве, Ягвез), наименование Бога в Ветхом Завете 265, 279, 300, 337, 467

Иезекииль (ок. 622 – ок. 571 до н. э.), ветхозавет. пророк 277, 278, 282, 283, 293, 314, 362, 428, 465, 702, 709

Изида (Исида), главн. др.-египет. богиня 482

Измаил, первенец библ. патриарха Авраама от рабыни Агари 266

- Иисус Христос 95, 103, 104, 130, 157, 163, 200, 201, 205–209, 265, 275, 288, 298, 302, 303, 308, 309, 311, 317, 334, 335, 341, 343, 367, 392, 442, 542, 544, 545, 628, 633, 644, 645, 653, 661, 671, 675, 682, 691, 703, 705, 706, 723
- Илий (XI в. до н. э.), судья Израил. царства, возможно, и первосвященник 443, 568
- Илия (IX в. до н. э.), ветхозавет. пророк 544
- Иннокентий III (в миру Лотарио Конти, граф Сеньи, граф Лаваньи; ок. 1161–1216), папа Римский (с 1198), инициатор ряда крест. походов 237
- Иноземцев Федор Иванович (1802–1869), проф. практич. хирургии в Моск. ун-те (с 1835); изд.-ред. «Моск. Медицинской Газеты» (1858–1862) 611
- Иоав (X в. до н. э.), полководец царя Давида 267, 268, 358, 706
- Иоаким, переселенец из Израильского царства в Вавилон, муж Сусанны 248, 699
- Иоанн Богослов (Иоанн Зеведеев), апостол, авт. одного из канонич. Евангелий (ок. 95), Апокалипсиса (ок. 67) и трех посланий 104, 221, 222, 311, 328, 442, 633, 661, 680–683, 690, 691, 701–705, 710–712, 723, 724, 732
- Иоанн Дамаскин (в миру Мансур ибн Серджун Ат-Таглиби; ок. 675 – ок. 753), святой, визант. богослов, гимнограф 439
- Иоанн Кронштадтский (наст. имя Иван Ильич Сергиев; 1829–1908), святой праведный, настоятель Андреев. собора в Кронштадте (с 1894); проповедник, духов. писатель 198, 200
- Иов Многострадальный, персонаж одноимен. библ. книги 97, 112, 130, 131, 155, 180, 312, 313, 361, 362, 466, 468, 469, 512, 516, 518, 541, 575, 579, 662, 670, 673, 675, 682, 687, 717
- Ионадав, племянник царя Давида 363, 593
- Иосиф Прекрасный (сер. II тыс. до н. э.), сын ветхозавет. праотца Иакова от Рахили 250, 301, 702
- Ипполит, в др.-греч. мифологии герой, сын афин. царя Тесея 259, 700
- Ир, библ. персонаж, сын Иуды и хананеянки Шуа, первый муж Фамари 248
- Ира – см. *Гера*
- Ирвинг Вашингтон (1783–1859), амер. писатель-романтик 705
- Жизнь Магомета 705
- Исаак, библ. патриарх, сын Авраама и Сарры 267, 279
- Исаия (Исаия; ок. 765 до н. э. – VII в. до н. э.), ветхозавет. пророк 406, 428, 678, 707
- Иссахар, один из сыновей библ. патриарха Иакова от Лии 250
- Иувал, библ. персонаж, сын Ламеха, потомка Каина, и Ады 281
- Иуда, четвертый сын библ. патриарха Иакова от Лии 248, 249, 275
- Иустин (Июстин, Юстин) Философ (ок. 100–165), мученик, раннехрист. апологет 542, 548, 556, 580, 593, 598, 602, 654
- Увещание к эллинам 542
- Каблиц Иосиф Иванович (псевд. И. Юзов; 1848–1893) 191–194, 641, 688, 689, 783**
- Основы народничества 191
- Русские диссиденты 191
- Староверы и духовные христиане 191
- Кавелин Константин Дмитриевич (1818–1885), историк, правовед, социолог и публицист; проф. С.-Петербург. ун-та (1857–1861) 713
- Задачи психологии 713
- Казанский Д. (псевд.) – см. *Деларю М. Д.*

- Каин, старший сын Адама и Евы, земледелец и градостроитель 181, 687, 701
 Калита — см. *Иван Данилович Калита, вел. князь*
 Кальвин Жан (1509—1564), фр. теолог, реформатор церкви 93, 95
 Камилл (Марк Фурий Камилл; ок. 447—365 до н. э.), др.-рим. гос. и воен. деятель 257
 Кант Иммануил (1724—1804) 49, 298, 299, 461, 643, 704, 726
 Кантемир Антиох Дмитриевич (1708—1744), поэт-сатирик; дипломат 86, 170, 667
 Каракалла (Септимий Бассиан Каракалла; 188—217), др.-рим. император (с 211) из династии Северов 274, 701
 Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) 86, 87, 96, 135, 145, 148, 151, 256, 257, 623, 627, 634, 663, 667
 Бедная Лиза 667
 История государства Российского 663
 Письма русского путешественника 86
 Кареев Николай Иванович (1850—1931), историк, философ, социолог 220
 Карл I Анжуйский (1227—1285), граф, король Сицилии (1266—1282), король Неаполя (с 1266), король Албании (с 1272), князь Ахейский (с 1278), основатель Анжу-Сицилийского дома 711
 Карл Мартелл (686/688—741), майордом франков (717—741), герой битвы при Пуатье (732), дед имп. Карла Великого 267, 700
 Карлейль Томас (1795—1881), шотл. прозаик, историк, философ, переводчик 463, 464, 713
 История французской революции 463, 713
 Карно Мари Франсуа Сади (1837—1894), фр. инженер и политик, президент Франции (1887—1894) 112, 462
 Карпов Василий Николаевич (1798—1867), философ, переводчик 715, 719—721
 Кассандра, в др.-греч. мифологии прорицательница, дочь Приама и Гекубы 29, 661
 Катков Михаил Никифорович (1818—1887) 107—112, 158, 159, 184, 188, 657, 671, 672? 681, 682, 688, 689, 783
 Катулл (Гай Валерий Катулл; ок. 87 — ок. 54 до н. э.), др.-рим. поэт 231, 693
 Кауфман Константин Петрович фон (1818—1882), инженер-генерал (1874), ген.-адъютант (1864), ген.-губернатор Сев.-Зап. края (1865—1867) и Туркестана (с 1867) 159
 Кельсиев Василий Иванович (1835—1872), литератор, этнограф, эмигрант (1859—1867) 339, 705
 Сборник правительственных сведений о русских раскольниках 705
 Кипсел (? — 627 до н. э.), первый тиран греч. города Коринфа (с 657 до н. э.) 716
 Кипселиды, род коринфских тиранов, потомков Кипсела 500
 Киреев Александр Алексеевич (1833—1910), ген. от кавалерии, богослов, религ. публицист 98
 Наши противники и наши союзники 98
 Киреевский Иван Васильевич (1806—1856), идеолог славянофильства, лит. критик, философ, журналист 28, 92—94, 98, 101, 107, 127, 151, 630, 660, 664, 668
 В ответ А. С. Хомякову (Ответ А. С. Хомякову) 93, 668
 Девятнадцатый век 93, 668
 О необходимости и возможности новых начал для философии 93, 668
 О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России 93, 668
 Отрывки 93, 668

- Киреевский Петр Васильевич (1808—1856), славянофил, фольклорист, историк 96, 623, 664
- Кирилл (в миру Константин, Константин Философ; ок. 827—869), равноапостольный; славян. просветитель, создатель (с братом Мефодием) славян. азбуки 237, 694
- Климент (в миру Карл Густав Адольф Зедергольм, после принятия православия — Константин Карлович; 1830—1878), иеромонах, духов. писатель, публицист, переводчик 102, 198, 671
- Клодия Пульхра Терция (ок. 95 — не ранее 44 до н. э.), жительница Рима, предположительно прообраз Лесбии в лирике Катулла 608
- Ключевский Василий Осипович (1841—1911), историк, проф. Моск. ун-та (с 1882) 71, 666
- Боярская дума Древней Руси 71, 666
- Евгений Онегин и его предки 666
- Книпович Николай Михайлович (1862—1939), зоолог, ихтиолог, гидробиолог и гидролог 713, 714
- Ковалевский Максим Максимович (1851—1916), историк, юрист, социолог и обществ. деятель, академик (с 1914) 658
- Московский университет в конце 70-х и начале 80-х годов прошлого века (Личные воспоминания) 658
- Кодр, в др.-греч. мифологии царь Аттики (1089—1068 до н. э.) 581, 723
- Козлов Иван Иванович (1779—1840), поэт, переводчик 701
- Колубовский Яков Николаевич (1863—1929), историк рус. философии, библиограф 214, 692
- Н. Н. Страхов 214
- Колумб Христофор (1451—1506) 66, 99, 281, 553
- Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842), поэт 148, 153, 256, 681
- Молитва (Дума) 153, 681
- Константин I Великий Равноапостольный (272—337), рим. император (с 312) 259
- Конт Огюст (1798—1857), фр. философ-позитивист и социолог 336, 705
- Курс позитивной (положительной) философии 336, 705
- Коперник Николай (1473—1543) 43, 614
- Корде (Кордэ) Шарлотта (1768—1793), фр. дворянка, убийца Жана Поля Марата; казнена якобинцами 458, 712
- Корзинкин (Карзинкин) Иван Иванович (1825 — ок. 1881), моск. купец 1-й гильдии, потомств. поч. гражданин, чаеоторговец и мануфактурист, благотворитель 118, 673
- Кориолан (Гней Марций Кориолан; V в. до н. э.), первый представитель рода Марциев; взял столицу вольсков Кориолы (493 до н. э.) 257
- Корнелия Римская (II в. до н. э.), дочь Сципиона Африканского Старшего, мать братьев Гракхов 244, 696
- Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) 195, 196, 689
- В дурном обществе 196
- Корсов Богомир Богомирович (наст. имя и фам. Готфрид Геринг; 1845—1920), оперный певец (баритон) 368, 706
- Кортес Эрнан (1485—1547), испан. конкистадор, завоевавший Мексику 281, 701

Костомаров Николай Иванович (1817–1885), рус. и укр. историк, поэт и беллетрист 71, 185, 186, 687

Котошихин Григорий Карпович (ок. 1630–1667), подьячий Посол. приказа, писатель 250, 251, 699

О России в царствование Алексея Михайловича 699

Кошелев Александр Иванович (1806–1883), публицист-славянофил, изд. «Моск. Сборника» (1852), изд.-ред. журн. «Рус. Беседа» (1856–1860), «Сел. Благоустройство» (1858–1859) 93, 660

Краевский Андрей Александрович (1810–1889), ред.-изд. журн. «Отч. Записки» (1839–1868) и др. изданий, педагог 146

Крамской Иван Николаевич (1837–1887), художник, критик 316

Созерцатель 316

Кремнёв Григорий Борисович (р. 1958), историк 671

Кривенко Василий Силович (псевд. Василий Си-ло-вич; 1854–1931), публицист, журналист и обществ. деятель 682

Русская кормилица и воскресающий Лазарь 682

Кримхильда (Кримгильда), героиня германо-скандинавской мифологии и эпоса, сестра бургундских королей, жена Зигфрида 459

Кромвель Оливер (1599–1658), вождь Англ. революции, военачальник; лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии (1653–1658) 109, 462

Кронеберг Андрей Иванович (1814–1855), переводчик, лит. критик 689, 702, 712, 713

Крылов Иван Андреевич (1768/1769–1844) 135, 256

Крюднер (Криднер, ур. Фитингоф) Варвара Юлия фон (1764–1824), баронесса, франкоязычная писательница, проповедница мистич. христианства 110, 111, 672

Ксения Александровна (1875–1960), вел. княгиня, дочь имп. Александра III, сестра имп. Николая II 251, 699

Кудрявцев Петр Николаевич (1816–1858), историк и прозаик 147, 149, 256

Кусков Платон Александрович (1834–1909), поэт, философ, переводчик 216, 218, 222, 692

Наша жизнь 216, 692

Наши идеалы 216

Кутузов (Голенищев-Кутузов-Смоленский) Михаил Илларионович (1745–1813) 430, 437, 438, 550, 709

Кювье Жорж (1769–1832), фр. натуралист; основатель сравнит. анатомии и палеонтологии 61, 265, 476, 665, 700, 714

Мир животных 265, 700

Лабзин Александр Федорович (1766–1825), поэт, писатель, переводчик, религ. просветитель, масон; вице-президент Акад. художеств (с 1818) 61, 62, 665

Лаван, библ. персонаж, брат Ревекки, жены библ. патриарха Исаака 249, 266

Лазарь, житель Вифании, воскрешенный Христом через четыре дня после смерти 160, 163, 682, 683

Лазарев Михаил Петрович (1788–1851), адмирал, управл. Черномор. флотом (1832–1845) 163

Ламанский Сергей Иванович (1841–1901), естествоиспытатель, переводчик 714

- Ламеннэ (Ламенэ) Фелисите Робер де (1782–1854), аббат, фр. философ и публицист, представитель христиан. социализма 67
- Ламетри (Ла-Метри) Жюльен Офре де (1709–1751), фр. врач и философ-материалист 189
- Ламот Фуке (Ля Мотт Фуке) Фридрих де (1777–1843), барон, нем. писатель-романтик 667
- Ундина 667
- Ланге Фридрих (1828–1875), нем. философ-неокантианец и экономист 72, 666
- История материализма и критика его значения в настоящее время 72, 666
- Лаплас Пьер Симон (1749–1827), фр. математик, физик и астроном 121
- Ларошфуко Франсуа де (1613–1680), герцог, фр. писатель и философ-моралист 704
- Размышления, или Нравоучительные изречения и максимы 704
- Лафарг Поль (1842–1911), фр. экономист и полит. деятель-марксист 121, 674
- Личные воспоминания о Карле Марксе 121, 674
- Лебрен Виктор Анатольевич (1882–1978), секретарь и друг Л. Н. Толстого, мемуарист 719
- Лев XIII (в миру граф Винченцо Джоакино Печчи; 1810–1903), папа Римский (с 1878) 237, 301
- Левий, третий сын библ. патриарха Иакова от Лии 249
- Левиафан, в Ветхом Завете морское чудовище 36, 274, 662, 701
- Лейбниц Готфрид Вильгельм фон (1646–1716), нем. философ-идеалист, математик, языковед 458, 461, 712, 726
- Теодицея 458, 712
- Лелевель Иоахим (1786–1861), идеолог польск. нац.-освободит. движения, историк; в период Польск. восстания (1830–1831) пред. Патриотич. о-ва, чл. Времен. правительства 234, 236
- Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) 28–32, 81, 98–103, 105, 127, 187, 188, 392, 610, 611, 623, 630, 644, 660, 661, 667, 670, 671, 681, 688, 783
- Анализ, стиль и веяние. О романах гр. Л. Н. Толстого. Критический этюд 81, 102, 392, 611, 667, 671
- Византизм и Славянство 102, 187, 610, 661, 671
- Восток, Россия и Славянство 28, 98, 99, 102, 610, 611, 624, 660, 681, 688
- Записки отшельника 611
- Национальная политика как орудие всемирной революции: Письма к О. И. Фудель 102, 660, 661
- Наши новые христиане — Ф. М. Достоевский и гр. Л. Н. Толстой 102–105, 671
- Не кстати и кстати: Письмо А. А. Фету по поводу его юбилея 105, 671
- О романах гр. Л. Н. Толстого — см. *Анализ, стиль и веяние*
- Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни 102, 671
- Письма к И. Фуделю 102
- Подруги 671
- Лепен Генрих, придвор. музыкант, петерб. домовладелец 439, 711
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) 87, 89, 129, 132–144, 148, 150, 164, 224, 256, 258, 305, 306, 406, 409–413, 417, 419–422, 424, 427–429, 431–434, 458, 460, 487, 523, 589, 621, 622, 633, 639, 647, 658, 673, 676–679, 681, 683, 685, 695, 701, 702, 704–719, 722, 724, 726, 730

- Ангел 413, 414, 425, 426, 440, 441, 472, 480, 520, 526, 572, 708, 709, 711, 713, 714, 718, 722
 В полдневный жар... — см. *Сон*
 Выхожу один я на дорогу... 142–144, 482, 679, 714
 Герой нашего времени 134, 175, 431, 434, 685
 Пляжу на будущность с боязнью... 424, 440, 708, 711
 Дары Терека 140, 423, 487, 708, 715
 Демон 134, 140, 411, 412, 422, 475, 476, 658, 678, 708, 713, 714, 724
 Дума 424
 Есть речи — значенье... 432, 433, 507, 599, 679, 710, 716, 724
 Журналист, читатель и писатель 305, 457, 458, 460, 461, 472, 504, 515, 519, 528, 539, 577, 703, 712, 713, 716–719, 723
 И скучно, и грустно... 134, 351, 676, 705
 Из-под таинственной холодной полумаски... 431, 479, 679, 710, 714
 Казачья колыбельная песня 138, 419, 678, 708
 Как часто, пестрою толпою окружен... 136–138, 410, 411, 477, 539, 678, 708, 719
 Когда волнуется желтеющая нива... 139, 425, 709
 Листок (Дубовый листок) 137, 144, 423, 424, 447, 519, 678, 708, 709, 711, 717
 Люблю отчизну я, но странною любовью... — см. *Родина*
 Молитва 133, 413, 431, 676, 708, 710
 Морская царевна 144, 422
 Мцыри 141, 677
 На севере диком стоит одиноко... 286, 701
 Не верь себе... 150, 681
 Не смейся над моей пророческой тоскою... 136, 144, 589, 678, 679, 724
 Отрывок начатой повести («Я хочу рассказать вам...») 406, 707
 Первое января — см. *Как часто, пестрою толпою окружен...*
 По небу полуночи ангел летел... — см. *Ангел*
 Последнее новоселье 144
 Ночевала тучка золотая... — см. *Утес*
 Пророк 138, 144, 298, 379, 381, 427, 428, 524, 526, 538, 678, 702, 706, 709, 718, 719
 Ребенку (К ребенку) 418, 419, 435, 437, 438, 708, 710
 Родина 144
 Русалка 423, 708
 Сказка для детей 139, 144, 406–409, 415, 417, 422, 440, 447, 449, 472, 485, 487, 500, 504, 569, 571, 634, 678, 679, 707, 708, 711, 713, 715, 716, 722
 Сон 143, 424, 477, 478, 679, 709, 714
 Спор 142, 144, 174, 421, 422, 424, 679, 685, 708
 Три пальмы 420, 421, 424, 708
 Утес 140, 444, 678, 685, 711
 Это случилось в последние годы могучего Рима... 142, 487, 490, 499, 678, 679, 715, 716
 Я хочу рассказать вам... — см. *Отрывок начатой повести*
 Леру Пьер (1797–1871), фр. философ-социалист 149, 681
 Лжедмитрий I (?–1606), рус. царь (с 1605), самозванец, выдававший себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного 189, 688
 Лизиас (Лисиас; 450–380 до н. э.), др.-греч. оратор, составитель судебных речей 492, 496, 499–501, 507, 509, 512, 514, 532, 536, 538, 551, 553, 719
 Ликург (IX–VIII вв. до н. э.), др.-греч. законодатель, установивший полит. устройство Спарты 583

- Лимберг Александр Карлович (1856–1906), стоматолог, проф. кафедры зубных болезней при С.-Петербур. женском мед. ин-те (с 1900) 645
- Линней Карл (1707–1778) 94, 210, 288
- Лия, жена библ. патриарха Иакова, родившая ему шестерых сыновей 249, 250, 405
- Логвинова Ирина Владимировна, литературовед 696, 783
- Лойола Игнатий де (ок. 1491–1556), католич. святой, основатель Общества Иисуса (монаш. ордена иезуитов, 1540) 109, 462, 712
- Ломброзо (Ламброзо) Чезаре (Цезарь) (1835–1909), итал. тюрем. врач-психиатр, литератор 94, 568, 569, 623, 669, 722
- Гениальность и помешательство 722
- Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) 56, 115, 133, 148, 256, 702
- Ода <...> на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 1739 года 295, 702
- Лопухина (в замуж. Бахметева) Варвара Александровна (1815–1851), возлюбленная М. Ю. Лермонтова 676
- Лоранси (Лоренс) Пьер Себастьян (1793–1876), аббат, журналист, католич. публицист и журналист 95, 669
- Лот, племянник патриарха Авраама, живший в Содоме 246, 247, 249, 355, 405, 431, 710
- Лотарь I (795–855), император Запада (с 817), король Баварии (814–817), король Италии (818–843), король Срединного королевства (843–855) из династии Каролингов 657
- Лука (I в.), апостол от 70-ти, евангелист, иконописец, врач 278, 660, 669, 671, 682, 687, 690–692, 702, 713, 724
- Лукреция (ок. 500 до н. э.), добродетельная римская патрицианка, изнасилованная сыном царя Секстом Тарквинием и заколовшая себя на глазах мужа 444, 445, 711
- Любимов Николай Алексеевич (1830–1897), ученый-физик, историк, публицист; проф. Моск. ун-та (1865–1882) 109, 672
- Михаил Никифорович Катков и его историческая заслуга. По документам и личным воспоминаниям 109, 672
- Людовик XV Возлюбленный (1710–1774), король Франции и Наварры (с 1715) из династии Бурбонов 208, 672
- Людовик XVI (1754–1793), фр. король (1774–1792) из династии Бурбонов 166
- Лютер Мартин (1483–1546) 95, 110, 179, 463, 712
- Магомет** (Мухаммед; 571–632) 110, 349, 574, 705, 722
- Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) 185, 186, 212, 224, 229, 311, 647, 675, 687, 693, 702, 721
- Два мира 229, 559, 693, 721
- Из Аполлодора Гностика (Из гностиков) 229, 693
- На родине (Дома) 229, 693
- Не говори, что нет спасенья... 125, 675
- Подражания древним (Из древних) 229, 693
- Три смерти 229, 693
- Майков Леонид Николаевич (1839–1900), литературовед, этнограф, фольклорист; академик (с 1889) 215
- Макиавелли (Маккиавели) Николо (1469–1527) 101, 624

- Мак-Магон Патрис де (1808–1893), граф, фр. военачальник и политик, сенатор (1856–1870), маршал Франции (1859); времен. президент Франции (1873–1879) 674
- Малахия (кон. V — нач. IV в. до н. э.), последний из ветхозавет. пророков 699
- Мальборо — см. *Черчилль Дж.*
- Мальбранш (Малебранш) Николая (1638–1715), фр. философ и теолог 643
- Мамонтов Савва Иванович (1841–1918), предприниматель и меценат 703
- Мандана (VI в. до н. э.), дочь мидийского царя Астиага, мать Кира II 481, 714
- Манн Юрий Владимирович (р. 1929), литературовед 677
- Все мы вышли из гоголевской «Шинели» 677
- Марат Жан Поль (1743–1793), фр. врач, журналист, один из лидеров якобинцев 712
- Маргарита Антиохийская (275–304), католич. святая, великомученица 673
- Мария, Богоматерь (Св. Дева) 109, 133, 150, 202, 210, 284, 325, 332, 349, 359, 378, 413, 419, 462, 486, 502, 503, 547, 570, 671, 690, 708, 710–713, 720, 722
- Мария Федоровна (ур. Мария София Фредерика Дагмара, принцесса Датская; 1847–1928), рос. императрица (с 1881), супруга имп. Александра III (с 1866) 251, 699
- Марк (Иоанн-Марк), апостол от 70-ти, евангелист 674, 681, 682, 687, 691, 704, 705, 724
- Маркс Адольф Федорович (1838–1904), книгоиздатель, изд. журн. «Нива» (с 1870) 212, 674, 675
- Маркс Карл (1818–1883) 113–115, 117, 121, 673, 674
- Капитал 113, 673
- Марсиас (Марсий), в др.-греч. мифологии сатир, пастух, наказанный Аполлоном за выигранное состязание игры на флейте (авлосе) 587
- Мартынов Николай Соломонович (1815–1875), майор в отставке, убивший на дуэли М. Ю. Лермонтова 132–134, 144, 676
- Мартынов Сергей Николаевич, старший сын Н. С. Мартынова 132, 133, 676
- История дуэли М. Ю. Лермонтова с Н. С. Мартыновым 676
- Мартынова (в замуж. де ла Турдонне) Наталья Соломоновна (1819 — после 1844), сестра Н. С. Мартынова, к к-рой в 1837, возможно, сватался М. Ю. Лермонтов 133
- Марфа Вифанская, святая, евангел. персонаж 163
- Марциал (Марк Валерий Марциал; ок. 40 — ок. 104), др.-рим. поэт-эпиграмматист 688
- Эпиграммы 189, 688
- Масперо Гастон (1846–1916), фр. египтолог 526, 718
- Матрена, служанка в квартире Н. Н. Стрехова 217
- Матфей Левий (?–60), апостол от 12-ти, евангелист 291, 311, 633, 669, 674, 681, 682, 687, 688, 690–692, 701, 702, 704–706, 711, 712, 720, 724
- Матченко Иван Павлович (1850–1919), педагог, обществ. деятель, публицист 645
- Медичи Джулиано (1453–1478), соправитель своего брата Лоренцо Великолепного в управлении Флорент. республикой 691
- Медичи Козимо Старый де (1389–1464), флорент. полит. деятель, купец и банкир 117
- Медичи Лоренцо ди Пьеро Великолепный де (1449–1492), глава Флорент. республики (с 1469), меценат, поэт 117
- Медичи (Медичисы), итал. олигархич. семейство, стоявшее у власти во Флоренции (XIII–XVIII вв.) 117, 724
- Мейендорф Егор Федорович (1794–1879), барон, гос. деятель, ген.-адъютант (1842), ген. от кавалерии (1856); управляющий Придвор. конюшен. частью (1838), ген.-лейтенант (1843) 116

- Менцель Вольфганг (1798–1873), нем. поэт, прозаик, историк лит-ры и критик 681
- Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918), мыслитель, публицист и обществ. деятель, ведущий сотрудник газ. «Неделя» (1892–1901) и «НВ» (1901–1917) 548, 720
- Элементы романа (О любви) 548, 720
- Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) 658
- Старинные октавы 658
- Меркушев Михаил Логгинович, петерб. типограф (1895–1916) 656, 657, 693
- Местр Жозеф де (1753–1821), граф, фр. католич. философ, литератор, политик и дипломат 14
- Меттерних Клеменс фон (1773–1859), князь, австр. дипломат, министр иностр. дел (1809–1848) 110
- Мефодий (ок. 815–885), равноапостольный; славян. просветитель, создатель (с братом Кириллом) славян. азбуки 237, 694
- Мещерский Владимир Петрович (1839–1914), князь, публицист, прозаик, изд.-ред. журн. «Гражданин» (1872–1877, 1883–1914), «Добро» (1881), «Воскресение» (1887–1894) и др. 149, 182–184, 640, 680, 686
- Письма отца к сыну (старого правоведа к новому) и сына (министра) к отцу (из прошлого) 680
- Микеланджело (Микель Анджело) Буонаротти (1475–1564) 117, 129, 179, 210, 359, 627, 631, 691
- День 210, 691
- Ночь 210, 691
- Миллер Орест (Оскар) Федорович (1833–1889), фольклорист, историк лит-ры, критик, публицист 89
- Миллионщикова Татьяна Михайловна (р. 1948), литературовед 783
- Милль (Миль) Джон Стюарт (1806–1873), англ. мыслитель, экономист 56, 59, 75, 463, 713
- Милоков Павел Николаевич (1859–1943), полит. деятель, историк, публицист 98
- Разложение славянофильства 98
- Минос, в др.-греч. мифологии царь Крита, сын Зевса 700
- Митида (Метида, Метис), в др.-греч. мифологии богиня, олицетворение мудрости, титанида 569
- Михаил, архангел 673
- Михаил Павлович (1798–1849), великий князь, младший брат императоров Александра I и Николая I 628
- Михайлов Михаил Ларионович (1829–1865), поэт, переводчик, полит. деятель 701
- Михайловский Николай Константинович (1842–1904), публицист, социолог, критик, обществ. деятель 17, 24, 42–48, 50, 51, 54, 220, 614, 658, 659, 662, 663
- Десница и шуйца Льва Толстого 663
- Критические опыты. Гр. Л. Н. Толстой 44, 662, 663
- Литература и жизнь 17, 608, 614, 658, 662, 663
- Литературные воспоминания и современная смута 659
- О г. Розанове и о том, почему он отказывается от наследства 659, 663
- О мозаичности культуры 663
- Опять об отцах и детях 663
- Письма о разных разностях 659, 662

- Мицкевич Адам (1798–1855) 234, 237, 694
 Пан Тадеуш 237, 694
- Моав, сын старшей дочери Лота, предок моавитян 246, 405
- Моисей (2-я пол. XIII в. до н. э.), ветхозавет. пророк 266, 267, 275, 276, 279, 292, 337, 467, 556, 700
- Монтескьё Шарль Луи (1689–1755), фр. просветитель, правовед, философ, прозаик 101, 256, 624
- Мопассан Ги (Гюи) де (1850–1893) 357, 358, 402, 459, 482, 483, 564, 705, 707, 712, 714
 Милый друг 357, 482, 483, 705, 712, 714
 Монт-Ориоль 705, 714
 Заведение Телье 482, 483, 714
- Моро Эжезип (наст. имя Пьер Жак Руйо; 1810–1838), фр. поэт-сатирик и прозаик 723
 Белая Мышка 723
- Мостовский Тадеуш Антоний (1766–1842), польск. публицист, идеолог Польск. восстания (1794), министр внутр. дел Варшавского Великого герцогства (1812) и Царства Польского (1815–1830) 233
- Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791) 696, 722
 Свадьба (Женитьба) Фигаро 564, 722
- Мультановский Помпей Яковлевич (1839–1897), петерб. хирург 211–213, 215, 216, 692
- Мурильо Бартоломе Эстебан (1617–1682), исп. живописец, глава севильской школы 66, 284
- Муромцев Сергей Андреевич (1850–1910), правовед, публицист и политик, проф. Моск. ун-та (1877–1884), пред. Первой Гос. думы (1906) 658
- Н. В.** (псевд.) – см. *Вентцель Н. Н.*
- Навзикая (Навсикая), в др.-греч. мифологии дочь феакийского царя Алкиноя 260, 471, 472, 700
- Надеждин Николай Иванович (1804–1856), лит. критик, проф. Моск. ун-та (1830–1835); изд. журн. «Телескоп» и «Молва» (1831–1836), ред. «Журнала Мин-ва Внутр. Дел» (с 1843) 146, 680
- Надсон Георгий Адамович (1867–1939), ботаник, микробиолог, генетик 713
- Налепин Алексей Леонидович (р. 1946), литературовед, фольклорист 734
- Наполеон I Бонапарт (1769–1821) 111, 112, 165, 166, 327, 345, 401, 429, 430, 582, 672, 709, 723
- Наталья Ивановна, дальняя родственница Н. Н. Страхова 213, 218
- Нафан, ветхозавет. пророк, один из авторов книг Царств 330
- Нафанаил (Варфоломей), апостол из 12-ти 441, 442, 711
- Нафталим (Неффалим), сын библич. патриарха Иакова от Валлы, рабыни Рахили 249
- Нахимов Павел Степанович (1803–1855), адмирал, командующий эскадрой Черномор. флота во время Крым. войны, руководитель обороны Севастополя 694
- Нахимов Платон Степанович (1790–1850), инспектор Моск. ун-та (1834–1848), брат адмирала 236, 694
- Невский – см. *Александр Невский*
- Некрасов Николай Алексеевич (1821–1877) 83, 119, 146, 195, 620, 628, 674, 689, 693, 716
 Блажен незлобивый поэт... 228, 693

- Отрадно видеть, что находит... 119, 674
 Тройка 497, 716
- Немврод (Нимрод), библ. персонаж, воитель-охотник, царь, строитель Вавилонской башни 468
- Немезида, в др.-греч. мифологии крылатая богиня возмездия 181
- Нестор Летописец (кон. XI — нач. XII в.), преподобный, др.-рус. агиограф, составитель «Повести временных лет», монах Киево-Печерского мон-ря 186, 189, 688
- Нефедьев Георгий Владимирович (р. 1968), литературовед, переводчик 783
- Нибур Бартольд (1776—1831), нем. историк античности 444, 711
- Никанор (в миру Александр Иванович Бровкович; 1826/1827—1890), богослов, философ, проповедник; епископ Херсонский и Одесский (с 1883; архиеп. с 1886) 297, 702
 Из истории ученого монашества (Памятная записка. Прежде смерти умерший иеромонах Валериан) 297, 702
- Никитенко Александр Васильевич (1804—1877), литературовед, критик, проф. С.-Петербург. ун-та (1853—1864), академик (с 1853), цензор 170
- Никитин Евгений Николаевич (р. 1950), литературовед 783
- Никитин Иван Саввич (1824—1861), поэт, прозаик 148, 256, 680, 682
 Вырыта заступом яма глубокая... 148, 680
 Дедушка 156, 682
- Никифоров Лев Павлович (1848—1917), публицист, переводчик 714
- Николай I Павлович (1796—1855), рос. император (с 1825) 116, 627, 629, 684
- Никольский Борис Владимирович (1870—1919), публицист, филолог, поэт, полит. и обществ. деятель 210, 645, 691
 Н. Н. Страхов. Критико-биографический очерк 691
- Николюкин Александр Николаевич (р. 1928), литературовед, историк философии, библиограф, переводчик 4, 734, 783
- Никон (в миру свящ. Никита Минич Минов-Ларионов; 1605—1681), митрополит Новгородский (с 1649), патриарх Московский и всея Руси (1652—1658); провел реформы, вызвавшие раскол 719
- Ницше Фридрих (1844—1900), нем. мыслитель, филолог-классик, композитор 94, 187, 623, 675
- Новиков Евгений Петрович (1826—1903), историк, дипломат, посол в Турции, Австро-Венгрии и Греции 712
- Новиков Николай Иванович (1744—1818), просветитель, писатель, журналист, издатель; полит. деятель, масон 86
- Ноеминь, моавитянка, свекровь Руфи 339
- Ной, патриарх, спасшийся вместе с семьей во время Всемир. потопа 172, 685
- Нокс Джон (ок. 1510—1572), шотл. религ. реформатор, основатель пресвитерианской церкви 109, 462, 463, 672, 712
- Нордау Макс (наст. имя Симха Меер Зюдфельд; 1849—1923), нем. врач, историософ, политик, соучредитель Всемир. сионист. организации 721
 Вырождение 719
- Ньютон Исаак (1643—1727) 21, 94, 210, 294, 691
 Математические начала натуральной философии 210, 691

Овер Александр Иванович (1804–1864), д-р медицины и хирургии, препод. Моск. ун-та (с 1842), проф. терапевтич. клиники при Медико-хирургич. академии, главн. врач Моск. гор. больницы 611

Овидий (Публий Овидий Назон; 43 до н. э. – ок. 18 н. э.) 247, 498, 658, 699, 716, 721

Героиды 658

Метаморфозы 699, 721

Мирра 247, 699

Письма с Понта 716

Tristia 716

Огарёв Николай Платонович (1813–1877), поэт, публицист, революционер; с 1856 жил в эмиграции 380

Одиссей, в др.-греч. мифологии царь Итаки 246, 260, 472, 700

Оза, сын левита, участвовавший в перемещении Ковчега Завета из Ваала в Иерусалим; за попытку коснуться его был свыше покаран смертью 448

Озирис (Осирис), в др.-египет. мифологии бог возрождения, царь загроб. мира 546, 720

Олеарий Адам (1599–1671), нем. путешественник, географ, историк, математик и физик 688

Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно 688

Олимп (VII в. до н. э.), др.-греч. певец 587

Оля – см. *Смирнова О. Н.*

Онан, библ. персонаж, второй сын Иуды 248

Опекушин Александр Михайлович (1838–1923), скульптор 676

Орест, в др.-греч. мифологии сын Агамемнона и Клитемнестры, убивший свою мать и ее любовника из мести за убитого ими отца 715

Орифия (Орфия), в др.-греч. мифологии дочь аттического царя Эрехтея 494, 715

Орлова М. В. – см. *Белинская М. В.*

Орлова-Чесменская Анна Алексеевна (1785–1848), графиня, камер-фрейлина, духов. дочь архим. Фотия (Спасского) 186

Орфей, в др.-греч. мифологии фракийский певец и музыкант, сын музы Каллиопы 552, 721

Осия, ветхозавет. пророк, сын Веерии, автор Книги Осии 418, 682

Островский Александр Николаевич (1823–1886) 83, 125, 134, 140, 141, 148, 178, 179, 256, 620, 669, 676, 678, 681

Проза 669

Застольное слово о Пушкине 678

Павзаний (Павсаний), участник бесед в диалоге Платона «Пир» 549, 554, 558, 560, 595, 721

Павел (до апостол. призвания Савл; ?–65), первоверховный апостол 198, 337, 400, 675

Павел I Петрович (1754–1801), рос. император (с 1796) 686

Павел Алеппский (ок. 1627–1669), архидиакон Антиохийской правосл. церкви, путешественник, писатель 719

Павлов, врач, лечивший Н. Н. Стрехова 217–218

Павсаний (II в.), др.-греч. писатель и географ 715

Пальмер Уильям (1811–1879), англ. теолог и антиквар, англиканский священник (архидиакон), позже перешедший в католичество; корреспондент А. С. Хомякова 95, 188, 669, 688

- Пан, в др.-греч. мифологии бог пастушества и скотоводства, плодородия и дикой природы 538
- Пантелеймон (до крещения Пантолеон; ?–305), великомученик, целитель 643, 670
- Парменид из Элеи (ок. 540/520 – ок. 450 до н. э.), др.-греч. философ 539, 550, 719, 720
О природе 720
- Парнелль Чарльз Стюарт (1846–1891), ирланд. землевладелец и политик, пред. Ирланд. парламентской партии (с 1882) 185, 641
- Паскаль Блез (1623–1662) 299, 427, 658, 709
- Паскевич-Эриванский Иван Федорович (1782–1856), граф Эриванский (1828), ген.-фельдмаршал (1829), светл. князь Варшавский (1831); главнокомандующий на Кавказе (1827–1829), наместник Царства Польского (1832–1856) 257
- Пастёр Луи (1822–1895), фр. ученый, основоположник микробиологии и иммунологии 154
- Патрокл, в др.-греч. мифологии один из участников Троян. войны, друг Ахилла 552, 553, 555, 556, 581
- Пелий, в др.-греч. мифологии сын Посейдона, царь Иолка 552, 721
- Пения, в др.-греч. мифологии персонификация бедности и нужды 569, 571, 722
- Перикл (Периклес; ок. 495–429 до н. э.), афин. оратор, вождь демокр. партии, полководец 536, 540, 587, 719
- Перовская Софья Львовна (1853–1881), революционерка, чл. Исполнит. комитета «Нар. воли» (с 1879) 665
- Персефона, в др.-греч. мифологии богиня плодородия и царства мертвых, дочь Деметры 707
- Перуджино Пьетро (наст. имя и фам. Пьетро ди Кристофоро Ваннуччи; 1446–1524), итал. живописец 487
- Перцов Петр Петрович (1868–1947), лит. критик, публицист, издатель, поэт, прозаик, искусствовед, мемуарист 656, 657, 686, 693, 694, 696
Воспоминания о В. В. Розанове 696
- Петр (до апостол. призвания Симон; ?– 65), первоверховный апостол 206, 691
- Петр I Великий (1672–1725) 43, 68–71, 75, 77, 86, 87, 123, 135, 168, 170, 308, 340, 470, 617, 665, 667, 677, 684, 685, 720
Записная книжка любопытных замечаний великой особы, странствовавшей под именем дворянина российского посольства в 1697 и 1698 году 86, 667
- Петрашевский (Бутаевич-Петрашевский) Михаил Васильевич (1821–1866), революционер, публицист, последователь Ш. Фурье 628, 629
- Петров Иван Иванович (1824–1883), флот. инженер, библиограф, очеркист, казначей С.-Петербур. Славян. благотворит. о-ва 380
- Петрова Татьяна Георгиевна (р. 1950), литературовед 783
- Пивоваров Юрий Сергеевич (р. 1950), историк, политолог, правовед; академик (с 2006) 4
- Пизарро (Писарро) Франсиско (ок. 1475–1541), испан. конкистадор, завоевавший империю инков 281, 701
- Пиндар (ок. 518–442/438 до н. э.), др.-греч. лирик 492
- Писарев Дмитрий Иванович (1840–1868) 665
- Писемский Алексей Феофилактович (1821–1881), прозаик, драматург; соред. (с 1857) и ред. (1860–1863) журн. «Б-ка для Чтения» 201, 311, 690

- Красавец 690
 Русские лгуны 201, 690
- Пифагор Самосский (VI в. до н. э.) 461, 593, 724, 726
- Плавт (Тит Макций Плавт; ок. 254 – ок. 184 до н. э.), др.-рим. комедиограф 256
- Платон (428/427–348/347 до н. э.) 16, 61, 62, 256, 371, 461, 466, 479, 493–496, 500, 502, 503, 510–515, 517–519, 522, 523, 525, 529–531, 533–540, 542, 543, 548–553, 555, 556, 559–564, 566–571, 573–576, 578, 580, 583, 585, 589–591, 593–600, 602, 603, 626, 652–655, 671, 695, 696, 715–724, 726, 730, 731
- Государство (Республика) 567, 598
 Законы 598
 Парменид 539, 719
 Пир 479, 522, 548, 549, 551, 578, 579, 586–588, 591, 596, 598, 599, 601, 652, 671, 695, 720–724
 Тимей 597, 603, 655
 Федон 540, 597, 598, 603, 626, 655
- Федр 515, 522, 532–534, 536, 538, 540, 548, 549, 551, 553, 555, 562, 576, 581, 589, 591, 595–601, 651, 652, 695, 715–721, 726, 731
- Плетнёв Петр Александрович (1791–1865), критик, поэт; проф. рус. словесности (с 1832) и ректор (1840–1861) С.-Петербур. ун-та 309, 703
- Плеханов Георгий Валентинович (псевд. Н. Бельтов; 1856–1918), теоретик и пропагандист марксизма, философ, обществ. деятель 117
- Плифия, в др.-греч. мифологии богиня-родовспомогательница 576
- Плутарх Херонейский (ок. 46 – ок. 127), др.-греч. писатель, историк, философ 337
- Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), юрист, проф. Моск. ун-та (1860–1865), сенатор (с 1868), чл. Гос. совета (с 1872), обер-прокурор Св. Синода (1880–1905) 703
- Погодин Михаил Петрович (1800–1875), историк, прозаик, драматург, публицист, издатель; академик (с 1841) 133, 236, 302–304, 310, 660, 676, 703
- Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), критик, прозаик, драматург, журналист, историк, переводчик 686
- Полемарх, старший брат Лизиаса, участник бесед в диалоге Платона «Государство» 536
- Полигимния, в др.-греч. мифологии муза торжественных гимнов 559
- Поликрат, самосский тиран 172, 685
- Полонский Яков Петрович (1819–1898) 228–231, 650, 693, 783
- Блажен озлобленный поэт... 693
 Гаммы 693
 Кузнечик-музыкант 230, 693
- Помбаль Себастьян Жозе ди (1699–1782), португал. гос. деятель, премьер-министр (1750–1777) 109, 672
- Померанская Татьяна Владимировна, литературовед 734
- Помпей Вар, др.-рим. республиканец, товарищ Горация по воен. службе 705
- Понтий Пилат, префект Иудеи (26–36) 691
- Пор (Порос), в др.-греч. мифологии спартан. божество, олицетворение богатства 569, 571, 573
- Посейдон, в др.-греч. мифологии бог морей 723
- Потифар, ветхозавет. персонаж, начальник телохранителей фараона 702
- Потоцкий Игнаций (1741–1809), граф, польск. магнат, маршалок великий Литовский (1791–1792), дипломат; историк, публицист 233

- Пракситель (ок. 390 — не ранее 334 до н. э.), др.-греч. скульптор 670
 Афродита Книдская 97, 670
- Прозерпина, в др.-рим. мифологии богиня плодородия и подземного царства (в др.-греч. мифологии соответствует Персефоне) 328
- Прокл Диадох (412—485), др.-греч. философ-неоплатоник 567
 Комментарий к «Республике» Платона 567
- Прометей, в др.-греч. мифологии титан, защитник людей от произвола богов 721
- Протопопов Михаил Алексеевич (1848—1915), лит. критик, публицист-народник 657
- Прудон Пьер Жозеф (1809—1865), фр. социалист, теоретик анархизма, политэконом 101
- Птолемей VIII Эвергет (ок. 181—116 до н. э.), царь Египта (с 145 до н. э.) из династии Птолемеев 696
- Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) 56, 64, 76, 77, 85, 87, 88, 90, 128–130, 134–136, 138–144, 148, 151, 156, 164, 165, 167, 170, 183, 184, 188, 201, 224, 230, 241, 256, 305, 308, 309, 311, 340, 343, 360, 361, 365, 366, 381, 388, 389, 417, 423, 427, 428, 433, 434, 439, 538, 616, 619, 621, 630–633, 635, 639, 666–668, 671, 674, 676–679, 681, 682, 684, 685, 687, 688, 695, 696, 700, 705, 706, 708–711, 714, 717, 722, 730, 733
- Анджело 144, 308, 309, 439, 679, 710
- Бахчисарайский фонтан 540
- Бесы 417, 446, 448, 708, 711
- Борис Годунов 483, 714
- Бородинская годовщина 677
- Брожу ли я вдоль улиц шумных... 143, 156, 418, 679, 682, 708
- Возрождение 77, 88, 667
- Герой 357, 706
- Граф Нулин 135, 309, 677
- Дубровский 136
- Евгений Онегин 88, 119, 129, 136, 167, 186, 381, 399, 621, 633, 666, 674, 684, 687
- Египетские ночи 305, 360, 706
- История села Горюхина (Горохина) 677
- Кавказский пленник 540
- Капитанская дочка 64, 88, 129, 136, 139, 148, 633
- Клеветникам России 135, 677
- Коль ты к Смирдину войдешь... 183, 687
- Кто из богов мне возвратил... 705
- Летопись села Горохина 135, 677
- Моцарт и Сальери 695, 696
- Няне 418, 708
- Однажды странствуя среди долины дикой... — см. *Странник*
- Отцы пустынноики и жены непорочны 439, 678, 700
- Пир во время чумы 87, 667
- Повести Белкина 88
- Подражания древним 87
- Полтава 170, 685
- Поэт и толпа (Поэт и чернь) 188, 688
- Пророк 138, 383, 428, 678, 706, 709
- Руслан и Людмила 135, 186, 309, 436, 513, 677, 710, 717
- Скупой рыцарь 119, 674

- Странник 88, 668
 Сцены из рыцарских времен 677
 Что в имени тебе моем?.. 422, 572, 708, 722
 Эхо 141, 428, 678, 709
 Я памятник себе воздвиг нерукотворный... 189, 688
- Пыпин Александр Николаевич (1833–1904), историк, литературовед, этнограф, фольклорист, проф. С.-Петербур. ун-та (1860–1861), академик (с 1898) 147, 658, 659, 680
 Белинский, его жизнь и переписка 680
 Писатель шестидесятых годов 658, 659
- Рагуил** (Иофор), библич. персонаж, отец Сепфоры, тесть Моисея 450, 459, 460
- Радецкий Федор Федорович (1820–1890), ген.-адъютант, герой Рус.-турец. войны (1877–1878); товарищ Ф. М. Достоевского по Главн. инженер. уч-щу (окончил в 1841) 628
- Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671) 342
- Рандаль Теодор (наст. имя и фам. Шарль Андлер; 1866–1933), фр. германист 94, 669
 Освободительная книга 669
- Рафаил, архангел 450
- Рафаэль Санти (1483–1520) 66, 117, 210, 284, 332, 359, 360, 486–489, 691, 706
 Донна Велата 706
 Мадонна делла Седиа, или Мадонна в кресле 210, 691
 Сикстинская Мадонна 332, 486
 Форнарина 706
- Рахиль, одна из двух жен библич. патриарха Иакова, мать Иосифа и Вениамина 249–251
- Рачинский Сергей Александрович (1836–1902), проф. ботаники Моск. ун-та, организатор церк.-приходских школ 203, 611, 656, 674, 690
- Ревякина Ирина Александровна (р. 1931), литературовед 783
- Рейсер Соломон Абрамович (1905–1989), литературовед и библиограф 677
 Все мы вышли из гоголевской «Шинели» (История одной легенды) 677
- Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892), фр. историк, филолог, религ. публицист, прозаик, драматург 56, 59, 61, 64, 75, 615, 669
- Ригер Франтишек Ладислав (1818–1903), барон, чеш. полит. деятель, публицист, д-р права (1847) 29, 661
- Робеспьер Максимилиан (1758–1794) 458
- Родриго (Родерих; ?–711), король вестготов (с 709) 267, 700
- Рождествен Александр Сергеевич (1862 – после 1915), литературовед, педагог, религ. публицист 696
- Розанов Алексей Юрьевич (р. 1936), палеонтолог, биолог, геолог; академик (с 2008) 4
- Розановы, супруги В. В. Розанов и В. Д. Бутягина 681
- Романов-Рцы (наст. фам. Романов, осн. псевд. Рцы) Иван Федорович (1858–1913), публицист-славянофил, изд. журн. «Летописец» (1904), прозаик 674, 675
- Ромул, легендар. основатель (вместе с братом Ремом) Рима 711
- Россет (Россети) Аркадий Осипович (1812–1881), ген.-лейтенант, виленский и минский гражд. губернатор (с 1857), тов. министра гос. имуществ (1865–1870), сенатор (1871) 304

- Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894), пианист, композитор, дирижер, муз.-обществ. деятель 196, 689, 706
 Демон 706
 Музыка и ее представители 196, 689
- Рувим, библич. персонаж, старший сын Иакова и Лии 249, 250
- Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796), граф, ген.-фельдмаршал (1770), правитель Малороссии 257
- Руссо Жан Жак (1712–1778) 35, 67, 94, 110, 111, 133, 148, 189, 256, 462, 662, 672, 699, 700
 Исповедь савойского викария 110, 672
 Об общественном договоре, или Принципы политического права 662
 Письмо д'Аламберу о зрелищах 699
 Эмиль, или О воспитании 256, 672, 699
- Руфь, моавитянка, вдова израильтянина из Вифлеема 339, 705
- Рыжов Алексей Иванович (1829–1872), критик и переводчик 701
- Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826), поэт-декабрист 168, 684
 Исторические думы 168, 684
- Рюльман Антон Антонович (1842–1896), петерб. врач, специалист по болезням гортани, носа и уха 209, 211
- Рюрик (?–879) 236
- Саади Ширази (1203/1210–1291), перс. и таджик. поэт 186
- Савватий Соловецкий (?–1435), преподобный, один из основателей Соловец. мон-ря 115
- Савина Татьяна Вячеславовна, литературовед 692
- Сад Донасьен Альфонс Франсуа де (маркиз де Сад; 1740–1814), фр. прозаик, философ 322, 342, 523
- Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826–1889) 83, 208, 336, 620, 659, 691, 704, 722
 За рубежом 704
 Мальчик в штанах и мальчик без штанов 336, 704
 Пошехонская старина 691
- Сальери Антонио (1750–1825), итал. и австр. композитор, дирижер, педагог 696
- Самарин Юрий Федорович (1819–1876), философ, историк, обществ. деятель, публицист; один из идеологов славянофильства 95, 96, 127, 188, 623, 630, 688, 703
- Самсон-Химмельстерна Херман фон (1826–1908), лифлянд. историк и публицист 660
 Russland under Alexander III 660
- Самуил (XI в. до н. э.), библич. пророк, последний из судей израильских 279, 443, 568
- Санд Жорж (наст. имя и фам. Аврора Дюпен, в замужестве баронесса Дюдеван; 1804–1876) 681
- Сарра (Сара), жена патриарха Авраама, первая из четырех прародительниц евреев 266, 267, 275, 301, 338, 339, 399, 405
- Сарра, библич. персонаж, жена Товии 450
- Саул, первый царь объединенного Израильско-Иудейского царства (ок. 1029–1005 до н. э.) 279

- Сафо (Сапфо; ок. 630—572/570 до н. э.), др.-греч. поэтесса 499, 500, 511, 699, 702
 Песня («Милая матушка...») 250, 499, 500, 699
 Свадебные песни 702
- Секст Тарквиний (VI в. до н. э.), младший сын Тарквиния II Гордого, последнего царя Рима 711
- Сементковский Ростислав Иванович (1846—1919), публицист, журналист, прозаик 721
- Сенека (Луций Анней Сенека; 4 до н. э. — 65 н. э.), др.-рим. философ-стоик, поэт, гос. деятель 274, 296
- Сен-Симон Анри де Рувруа (1760—1825), граф, фр. мыслитель, социалист-утопист 121
- Сепфора, дочь Рагуила (Иофора), жена пророка Моисея 275, 459
- Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616) 673
 Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский 673
- Сергеев Сергей Михайлович (р. 1968), историк, публицист, главн. ред. журн. «Москва» (с 2010) 670
- Сеченов Иван Михайлович (1829—1905) 713
 Психологические этюды 713
- Силен, в др.-греч. мифологии демон, сатир, воспитатель, наставник и спутник Вакха (Диониса) 479, 587
- Сильвестр (в монашестве Спиридон; ? — ок. 1566), протопоп Благовещен. собора Моск. Кремля (с 1540), иеромонах (с 1560); полит. деятель, один из авторов «Домостроя» 663
- Сим, старший сын патриарха Ноя, родоначальник семитских народов 266, 281, 405
- Симеон, второй сын библ. патриарха Иакова от Лии 249
- Симеон Столпник (356/390—459), преподобный, аскет; провел на столпе 37 лет в посте и молитве 302, 703
- Симмиас Фивский, ученик Сократа 507
- Синегуб Сергей Силович (1851—1907), революционер-народник 689
- Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910), лит. критик либерально-народнич. направления, историк лит-ры 28, 665
- Скворцов Лев Владимирович (р. 1931), философ и историк философии 4
- Склифосовский (Склифасовский) Николай Васильевич (1836—1904), дир. Клинич. ин-та вел. княгини Елены Павловны в Петербурге, авт. трудов по военно-полевой хирургии брюшной полости 211
- Скотт Вальтер (1771—1832) 256, 463, 464, 713
 Эдинбургская темница 463, 713
- Слонимский Людвиг Зиновьевич (1850—1918), экономист, юрист и публицист 113, 114, 119, 612, 692
 Карл Маркс в русской литературе 113
 Новый рассказ гр. Л. Н. Толстого 692
- Смирдин Александр Филиппович (1794—1857), петерб. книгопродавец и издатель 183, 687
- Смирнова (ур. Россет, Росетти) Александра Осиповна (1809—1882), фрейлина двора, мемуаристка 302—304, 433, 719
- Смирнова Ольга Николаевна (1834—1893), фрейлина, писательница, дочь А. О. Смирновой-Россет 304

- Смит Адам (1723–1790), шотл. экономист и философ 116
- Соколов Алексей Иванович (1817–1899), священник церкви Симеона Столпника на Поварской (с 1854), протоиерей Архангельского кафедр. собора (с 1879), первый настоятель храма Христа Спасителя (с 1883), духов. цензор 302
- Соколовский Александр Лукич (1837–1915), издатель, переводчик 701
- Сокольников Михал (1760–1816), польск. ген.-майор (1894), участник Наполеон. войн против Австрии, России и Пруссии 233
- Сократ (ок. 469–399 до н. э.) 179, 256, 298, 478, 479, 492–496, 499–501, 503, 504, 506–510, 512, 513, 536–538, 540, 549, 551–553, 563, 566–568, 571–575, 577–581, 583, 585–589, 594–596, 599, 600, 715, 716, 718, 719, 721, 722, 724, 726
- Солдатёнов Кузьма Терентьевич (1818–1901), моск. фабрикант, книгоиздатель, меценат, владелец худож. галереи, благотворитель 680
- Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882), граф, прозаик, мемуарист, драматург, поэт 687
- Коль ты к Смирдину войдешь... 183, 687
- Соловьёв Владимир Сергеевич (1853–1900) 73, 222, 615, 659, 660, 666, 691, 703
- О грехах и болезнях 666
- Россия и Европа 666
- Соловьёв Евгений Андреевич (псевд. П. Скриба; 1863–1905), лит. критик, фельетонист, прозаик 657
- Соловьёв Сергей Михайлович (1820–1879), историк, академик (с 1872); ректор Моск. ун-та (1871–1877) 95, 96, 256, 623, 669
- История России с древнейших времен 95, 669
- Соломон, царь Израильско-Иудейского царства (965–928 до н. э.); по преданию, авт. ряда ветхозавет. книг 275, 288, 306, 364, 378, 447, 454, 702, 712, 713, 717
- Песнь песней 306, 314, 315, 319, 352, 363, 364, 378, 399, 453, 548, 571, 716
- Солон (640/635 – ок. 559 до н. э.), афин. полит. деятель, законодатель 538, 583
- Софокл (ок. 496–406 до н. э.), др.-греч. поэт-драматург 448, 670, 729
- Филоктет 670
- Спасовский Михаил Михайлович (1890–1971), публицист и обществ. деятель; с 1926 в эмиграции 734
- В. В. Розанов в последние годы жизни 734
- Спенсер Герберт (1820–1903), англ. философ и социолог 191
- Сперанская (ур. Стивенс) Елизавета (1781–1799), дочь англикан. пастора, жена (с 1798) М. М. Сперанского 169, 685
- Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839), граф, ближайший советник имп. Александра I (1808–1812), авт. плана либерал. преобразований; ген.-губернатор Сибири (1819–1821) 169, 430, 685
- Спиноза Бенедикт (имя при рождении Барух; 1632–1677), нидерланд. философ, пантеист 14, 223, 590, 659
- Политический трактат 659
- Станислав II Понятовский (1732–1798), последний король польский и вел. князь литовский (1764–1795) 686
- Станислав Щепановский (1030–1079), епископ Краковский, католич. святой, мученик 175, 686, 692

- Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911), либерал. публицист, историк; ред.-изд. журн. «Вестник Европы» (1866–1908) и газ. «Порядок» (1881–1882) 695
- Стезихор (Стизихор, Стесихор; 2-пол. VII в. до н. э. – ок. 556 до н. э.), др.-греч. лирик 510, 513
- Стокгэм Алиса (Стокхэм Элис; 1833–1912), амер. врач-акушер 402, 597, 707
Токология 402, 597, 707
- Стороженко Николай Ильич (1836–1906), литературовед; проф. Моск. ун-та (с 1872), пред. О-ва любителей рос. словесности (1894–1901) 658
- Страделла Алессандро (1639/1644–1682), итал. композитор и певец 352, 479, 484, 584
- Страхов Николай Николаевич (1828–1896) 56–79, 85, 88, 89, 127, 135, 148, 194–196, 199–223, 225, 226, 319, 380, 615, 618, 620, 621, 630, 642, 644, 645, 648, 656, 657, 659, 660, 664–666, 674, 676, 677, 680, 689–692, 702, 709, 714, 783
- Бедность нашей литературы. Критический и исторический очерк 56
Белинский 56
- Борьба с Западом в нашей литературе 56, 57, 63, 73, 221, 615, 616, 618, 664, 666
- Война и мир. Сочинение графа Л. Н. Толстого. Томы I, II, III и IV. Статья вторая и последняя 666
Воспоминания и отрывки 56, 666
- Воспоминания о Ф. М. Достоевском 73, 676
- Воспоминания о поездке на Афон 64, 666
- Герцен 56, 615
- Дарвин 56
- Заметки о Пушкине и других поэтах 56, 77, 88, 135, 616, 619, 677
- Заметки о Тэне 56, 214, 692
- Из истории литературного нигилизма (1861–1865 гг.) 56
- Историки без принципов 56
- Итоги современного знания 56
- Критические статьи об И. С. Тургеневе и Л. Н. Толстом 56, 616, 619
- Милль 56
- Мир как целое 56
- Наша культура и всемирное единство 56, 666
- О вечных истинах (Мой спор о спиритизме) 56, 616, 618, 666
- О времени, числе и пространстве (О мере, числе и времени) 210, 691
- О костях заплата млекопитающих 666
- О методе естественных наук и значении их в общем образовании 56
- О методе наук наблюдательных 666
- Об основных понятиях психологии и физиологии 56
- Парижская коммуна 56
- Полное опровержение дарвинизма 56
- Поминки по И. С. Аксакове 56, 73
- Последний из идеалистов 56
- Последний ответ г. Вл. Соловьёву 666
- Ренан 56
- Роковой вопрос 56, 615
- Спор о «России и Европе» Н. Я. Данилевского 56
- Справедливость, милосердие и святость 56
- Стихотворения 56
- Л. Н. Толстой 56

- Тэн — см. *Заметки о Тэне*
 Философские очерки 56, 656
 Ход и характер современного естествознания 56
 Ход нашей литературы, начиная с Ломоносова 56
 Штраус 56
- Стрижѳв Александр Николаевич (р. 1934), прозаик, литературовед, библиограф 665
 Строганов Сергей Григорьевич (1794—1882), граф, ген.-адъютант; попечитель Моск. учеб. округа (1835—1847), моск. ген.-губернатор (1859—1860); археолог, издатель, нумизмат 33, 612, 661
 Струве Петр Бернгардович (1870—1944), обществ. и полит. деятель, экономист, публицист, историк, философ 117
 Стурдза Александр Скарлатович (1791—1854), дипломат, религ. философ и публицист 307, 731
 Субиру Бернадетта (1844—1879), католич. святая, к-рой близ Лурда являлась Дева Мария 690
 Суворин Алексей Сергеевич (1834—1912), журналист, изд. газ. «НВ» (с 1876), журн. «Ист. Вестник» (с 1880), адрес. книг и др.; публицист, прозаик, театр. критик 221
 Суворов-Рымникский Александр Васильевич (1730—1800), светл. князь 257, 691
 Сукач Виктор Григорьевич (р. 1940), розановед, библиограф 695
 Суламита, возлюбленная царя Соломона, персонаж Песни песней 363
 Сусанна, ветхозавет. персонаж, еврейка из Вавилона 248, 699
 Сулова Аполлинария Прокофьевна (1840—1918), возлюбленная Достоевского (1861—1866) и первая жена Розанова (1880—1887), мемуаристка 684
 Сухов Сергей Владимирович (р. 1964), филолог-классик, переводчик 696
 Сципион Африканский Старший (ок. 235 — ок. 183 до н. э.), др.-рим. полководец и гос. деятель 696
- Тамерлан** (Тимур; 1336—1405) 110
 Тантал, в др.-греч. мифологии лидийский царь, испытывающий в подземном царстве муки голода и жажды 700
 Тассо (Тасс) Торквато (1544—1595), итал. поэт 33, 661
 Тахо-Годи Аза Алибековна (р. 1922), филолог-классик, переводчик 722
 Тацит (Публий Корнелий Тацит; ок. 56 — ок. 117), др.-рим. историк 119, 674
 Германия 674
- Теккерей Уильям (1811—1863), англ. писатель-сатирик 256
 Тертий — см. *Филиппов Т. И.*
 Тертуллиан (Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан; 155/165—220/240), раннехристианский писатель, теолог 299, 301
 Тетюшинова Глафира Ивановна (ур. Васяткина, псевд. Клара Тетюшинова; 1840? — не ранее 1895), журналистка, переводчица, театр. критик 722
 Теут (Тот, Тевт), в др.-египет. мифологии бог мудрости и знаний 536, 537, 541, 543, 598, 720
 Тилли Иоганн фон (1559—1632), граф, нем. полководец, фельдмаршал (1605) 110, 672
 Тимирязев Климент Аркадьевич (1843—1920) 615, 659
 Тиндаль Джон (1820—1893), англ. физик 441, 711
 Популярные лекции 711
- Тирезий (Тиресий), др.-греч. слепой прорицатель в Фивах 245

- Тифон, в др.-греч. мифологии великан, порожденный Геей 268, 495
- Тихомиров Лев Александрович (1852–1923), мыслитель, публицист, мемуарист; до 1888 революционер-народник 98
- Русские идеалы и К. Н. Леонтьев 98
- Тихонравов Николай Саввич (1832–1893), литературовед, археограф, академик (с 1890); ректор Моск. ун-та (1877–1883) 120, 439, 710
- Товия (Товий), сын праведника-израильянина Товита 450, 459, 460, 466
- Толстая (в замуж. Оболенская) Мария Львовна (1871–1906), дочь Л. Н. Толстого, последовательница его идей, переводчик 524
- Толстая (ур. Берс) Софья Андреевна (1844–1919), жена Л. Н. Толстого (с 1862), авт. Дневника, издательница 692
- Толстой Алексей Константинович (1817–1875) 188, 439, 470, 505, 663, 713, 716, 720
- Василий Шибанов 505, 716
- Дон Жуан 55, 439, 663
- Иоанн Дамаскин 439
- Супруг блудливых коз... 470, 713
- Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель.. 542, 720
- Толстой Лев Николаевич (1828–1910) 24, 33, 36, 40, 44, 56, 59, 76, 81, 83, 84, 88, 89, 94, 102, 103, 105, 125, 134–136, 138, 139, 141, 143–145, 148–150, 164–166, 178–182, 199, 203, 204, 210, 212–214, 222, 256, 310, 357, 390–392, 397–399, 401, 402, 404, 419, 426–431, 433, 434, 458–460, 481–484, 524, 536–538, 541, 576, 597, 612, 616, 619–621, 645, 660, 662, 663, 666, 667, 669, 671, 677–679, 680, 684, 686, 687, 690, 692, 695, 700, 705, 707, 709, 710, 714, 715, 718–720, 723, 725, 726, 728–730
- Анна Каренина 33, 40, 84, 90, 141, 179, 180, 182, 398, 401, 403, 458, 575, 612, 619, 620, 660, 662, 679, 687, 723
- Власть тьмы 94, 182, 430, 431, 669
- Война и мир 40, 59, 64, 76, 77, 88, 148, 150, 165–169, 178, 180, 181, 399, 401, 402, 429, 431, 436, 489, 578, 639, 662, 666, 678–680, 684, 687, 706, 707, 709, 715, 729
- Воскресение 181, 687, 700
- Декабристы 212, 691
- Детство и отрочество 136, 141, 541
- Исповедь 34, 41, 662
- Казачи 134, 677
- Крейцера соната 135, 182, 203, 402, 570, 720
- Плоды просвещения 182, 431
- Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана 402, 482, 705, 714
- Предисловие к «Токологии» Алисы Стокгэм 402, 597, 707
- Севастополь в августе 1855 года 687
- Севастопольские рассказы 180
- Смерть Ивана Ильича 135, 136, 141, 150, 182, 431, 714
- Хозяин и работник 182, 214, 398, 402, 687, 692
- Чем люди живы 427, 433, 540, 671, 720
- Юность 179, 687
- Толстой Михаил Владимирович (1812–1896), граф, д-р медицины (1838), гос. и обществ. деятель, археолог, духов. писатель, мемуарист 713
- Хранилище моей памяти 713

- Тоглебен Эдуард Иванович (1818–1884), граф, воен. инженер, ген.-адъютант (1855), дир. Инженер. деп-та (с 1859); времен. одес. ген.-губернатор (с 1879), вилен. ген.-губернатор (1880–1884) 628
- Троицкий Матвей Михайлович (1835–1899), психолог, философ-эмпирик 659
- Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905), князь, философ, публицист, обществ. деятель 98, 670
- Противоречия нашей культуры 98
- Разочарованный славянофил 98, 670
- Тувалкаим (Тувалкаин), библ. персонаж, сын Ламеха из рода Каина и его жены Циллы, родоначальник кузнецов 281
- Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919), экономист, историк, представитель «легал. марксизма» 116, 117, 673
- Народники крепостной эпохи (Из истории русского общественного сознания) 116, 673
- Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) 24, 56, 59, 83, 125, 134, 138, 141, 144, 145, 149, 156, 157, 166, 167, 170, 178, 179, 195, 198, 199, 230, 304, 311–313, 380, 381, 398, 399, 401, 434, 439, 482, 483, 543, 576, 616, 619, 620–622, 635, 638, 659, 676, 679, 682, 684, 685, 689, 703, 704, 707, 710, 722, 732
- Андрей Колосов 710
- Бежин луг 398, 707
- Вешние воды 145, 679
- Гамлет и Дон Кихот 689
- Гамлет Щигровского уезда 170, 685, 689
- Дворянское гнездо 88, 168, 682, 684, 685, 704
- Дым 157
- Живые мощи 156, 157, 682
- Записки охотника 622, 682, 685, 689
- Конец Чертопханова 685
- Литературные и житейские воспоминания 660
- Накануне 170, 639, 685, 704
- Новь 157, 710
- Отцы и дети 148, 704
- Рудин 89, 145, 148
- Чертопханов и Недопюскин 685
- Тэн Ипполит (1828–1893), фр. философ-позитивист, эстетик, историк, психолог 56, 692
- Тютчев Федор Иванович (1803–1873) 96, 145, 178, 671, 703, 704, 706, 717
- Песнь радости (Из Шиллера) 315, 316, 319, 328, 329, 508–510, 512, 516, 704, 717
- Эти бедные селенья... 103, 671
- Уайльд Оскар (1854–1900) 542**
- Ульрици Герман (1806–1884), нем. философ, проф. в Галле 307, 703
- Бог в природе 307, 703
- Уран, в др.-греч. мифологии олицетворение неба, супруг Геи 554
- Урия Хеттеянин, библ. персонаж, воин, служивший в войске царя Давида 583
- Успенский Глеб Иванович (1843–1902), прозаик, публицист 113, 673
- Власть земли 113, 673

- Утин Евгений Исаакович (1843–1894), адвокат, либерал, публицист, воен. корреспондент 33, 662
 Уэвелль Уильям (1794–1866), англ. философ и логик 93
- Фалес Милетский** (640/624–548/545 до н. э.), др.-греч. философ и математик 405, 542, 707, 715
 Фамарь, дочь царя Давида, обесчещенная единокровным братом Амноном 248, 249, 274, 277, 363, 364, 417, 592, 593, 701
 Фамус (Тахос, Тамус), фараон Древнего Египта (362–360 до н. э.) 537
 Фарес, библич. персонаж, сын Иуды и Фамари, брат-близнец Зары 277
 Фармакея, в др.-греч. мифологии наяда одноименного ручья 494
 Фаррар Фредерик Вильям (1831–1903), англичанин, теолог, религ. прозаик, эссеист 307
 Фатеев Валерий Александрович (р. 1941), историк рус. религ. мысли, прозаик 4, 665, 688, 690
 Баня 688
- Федон из Элиды (IV в. до н. э.), др.-греч. философ, ученик Сократа 540, 597, 598, 603, 626, 655
 Фёдоров Александр Митрофанович (1868–1949), поэт, драматург, прозаик, переводчик 701
 Фёдоров Михаил Михайлович (1859–1949), управляющий Мин-вом торговли и промышленности (1906); экономист, ред. «Вестн. Финансов, Промышленности и Торговли», «Ежегодника Мин-ва Финансов», «ТПГ», «Рус. Экон. Обзорения»; основатель Торгово-телегр. агентства (1902) 670
 Федр, знакомый Платона, поклонник красноречия 492–496, 499–501, 503, 504, 506–510, 512–515, 519, 522, 523, 527, 536–538, 549, 551–555, 563, 565, 573, 576, 578, 580, 585, 586, 593, 595, 599, 603, 655, 715, 716, 718, 721, 726
 Федра, в др.-греч. мифологии дочь критского царя Миноса и Пасифаи, жена Тесея 259, 700
 Федякин Сергей Романович (р. 1954), литературовед, музыковед 4
 Фейербах Людвиг (1804–1872), нем. философ 75, 93, 618
 Феофан (в миру Элеазар Прокопович; 1681–1736), архиеп. Новгородский и Великолуцкий (с 1725), писатель; сподвижник Петра I 86
 Феофан Затворник (в миру, до 1841, Георгий Васильевич Говоров; 1815–1894), святитель, епископ Владимирский и Суздальский (1863–1866), богослов, публицист-проповедник 198
 Фет Афанасий Афанасьевич (первые 14 и последние 19 лет жизни официально носил фам. Шеншин; 1820–1892) 105, 570, 671, 678, 701, 714, 722
 Печальная береза... 286, 701
 Шопот, робкое дыханье... 136, 481, 570, 678, 714, 722
- Фетида, в др.-греч. мифологии морская нимфа, мать Ахиллеса 552, 721
 Фидий (Фидиас; ок. 490 – ок. 430 до н. э.), др.-греч. скульптор, архитектор 679
 Филипп (5–80), апостол из 12-ти 438, 442, 710
 Филипп (в миру Федор Степанович Колычёв; 1507–1569), святитель, митр. Московский и всея Руси (1566–1568), обличитель Ивана Грозного 115
 Филипп II, герцог Орлеанский (1674–1723), регент Франции при малолетнем короле Людовике XV (1715–1723), племянник Людовика XIV 701

- Филиппов Тертый Иванович (1825–1899), публицист, лит. критик; тов. гос. контролера (с 1878), гос. контролер (с 1889) 656
- Филоклет, в др.-греч. мифологии сын Пеанта и Демонассы, участник Троян. войны и похода аргонавтов 97, 670
- Филонов Андрей Григорьевич (1831–1908), педагог и литератор, авт. учеб. пособий 581, 723
- Русская хрестоматия с примечаниями 723
- Филофей (ок. 1465–1542), старец Спасо-Елеазаровского мон-ря Псков. епархии, в посланиях к-рого была сформулирована концепция «Москва – Третий Рим» 683
- Финик (Феникс), сын Филиппа, участник бесед в диалоге Платона «Пир» 549, 720
- Фихте Иоганн Готтлиб (1762–1814), нем. философ-идеалист 49
- Флоренский Павел Александрович (1882–1937), священник (с 1911), богослов, философ, ученый, поэт 733
- Фома, апостол из 12-ти; основоположник христианства в Индии, мученик 200
- Фома Аквинский (1225–1274), итал. католич. философ, теолог, чл. ордена доминиканцев 14, 659
- Сумма теологии 659
- Фома Кемпийский (ок. 1379–1471), нем. монах и священник, духов. писатель 303, 703
- О подражании Христу 303, 308, 703
- Фонвизин (фон-Визин) Денис Иванович (1745–1792) 53, 86, 170, 663
- Бригадир 53, 663
- Недоросль 53, 170, 663
- Письма из Франции 663
- Фонтенель (Фонтенелл) Бернар де (1657–1757), фр. ученый и популяризатор науки 86, 667
- Разговоры о множестве миров 86, 667
- Форнарина (наст. имя, возможно, Маргерита Лути; кон. XV – 1-я пол. XVI в.), возлюбленная и натурщица Рафаэля, дочь булочника 360, 706
- Фотий (в миру, до 1817, Петр Никитич Спасский; 1792–1838), архимандрит, настоятель новгородского Юрьевского мон-ря (с 1823); проповедник, духов. писатель 186
- Фохт (Фогт) Карл (1817–1895), нем. зоолог, палеонтолог, врач, философ 154, 475, 681, 714
- Наивная вера и наука 681
- Физиологические письма 714
- Фудель Осип (Иосиф) Иванович (1863–1918), протоиерей, консерват. публицист, духов. писатель, обществ. деятель 98, 101–103, 105, 660, 670, 671
- Культурный идеал К. Н. Леонтьева 98, 103, 105, 670
- Фульбер (2-я пол. XI – нач. XII в.), каноник кафедр. собора Парижа 716
- Фурье Шарль (1772–1837), фр. социолог, представитель утопич. социализма 121
- Хам**, один из трех сыновей библ. патриарха Ноя 272
- Хармид, сын Главкона, знакомый Сократа 596
- Херасков Михаил Матвеевич (1733–1807), поэт, прозаик 86, 667
- Россияда 86, 667

- Химера, в др.-греч. мифологии чудовище с головой и шеей льва, туловищем козы, хвостом в виде змеи 55, 663
- Хира, библ. персонаж, по соседству с к-рым поселился Иуда, отделившись от братьев 248, 249
- Хлебников Георгий Владимирович (р. 1949), историк философии 725–732
- Ходобай Юрий Юрьевич (?– не ранее 1888), филолог-классик, педагог, авт. пособий по лат. грамматике 162, 683
- Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) 28, 92, 93, 95, 98, 101, 127, 186, 188, 302, 617, 630, 656, 660, 664, 666, 668, 688, 703
- Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры 95, 669
- Мечта 66, 666
- Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу брошюры г. Лоранси 95, 669
- Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях по поводу одного послания Парижского архиепископа 95, 669
- О старом и новом 668, 669
- Опыт катехизического изложения учения о церкви (Церковь одна) 95, 669
- Письма к Пальмеру 95, 669
- Хомякова (ур. Языкова) Екатерина Михайловна (1817–1852), жена А. С. Хомякова (с 1836) 302, 703
- Христос – см. *Иисус Христос*
- Хронос, в др.-греч. мифологии божество, олицетворяющее время 563, 599, 721
- Хусий, библ. персонаж, друг царя Давида 267, 268
- Ц**вингли Ульрих (1484–1531), швейц. церк. реформатор, протестант. философ и проповедник 95
- Цезарь (Гай Юлий Цезарь; 102/100–44 до н. э.) 118, 123, 671, 673
- Записки о Галльской войне 673
- Церера, в др.-рим. мифологии богиня, покровительница урожая и плодородия 315, 319, 328, 329, 358, 382, 509
- Цилла, библ. персонаж, одна из жен Ламеха, мать Тувалкаина и Ноемы 281
- Цицерон (Марк Туллий Цицерон; 106–43 до н. э.) 187, 670
- О государстве 187, 670
- Ч**аадаев Петр Яковлевич (1794–1856), мыслитель, публицист 680
- Философические письма 680
- Чарторыйский (Чарторижский) Адам Ежи (Адам Адамович) (1770–1861), князь, польск. магнат, министр иностр. дел России (1804–1806), глава Польск. нац. правительства (1830); мемуарист 232–234, 236, 693
- Мемуары князя Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I 693
- Чарторыйский (Чарторижский) Константин Адам (1774–1860), князь, польск. магнат, полковник войск Варш. герцогства (1809), бригад. генерал Царства Польского (1815), ген.-адъютант имп. Александра I (1815) 232, 693
- Чермак Леонтий (Леопольд) Иванович (1770–1849), чех, содержатель пансиона в Москве, на Новой Басманной ул. 627

- Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889) 256, 665
- Черняев (Черняев-Ташкентский) Михаил Григорьевич (1828–1898), ген.-лейтенант, ред.-изд. газ. «Рус. Мир» (1873–1878), командующий Серб. армией (1877–1878), ташкент. ген.-губернатор (1882–1884) 159
- Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936), друг Л. Н. Толстого, издатель, обществ. деятель 709
- Черчилль Джон (1650–1722), 1-й герцог Мальборо, англ. воен. и гос. деятель, отличившийся во время Войны за исп. наследство 257
- Чингисхан (Темучин; ок. 1155–1227) 116
- Чичерин Борис Николаевич (1828–1904), правовед, философ-гегельянец, историк, публицист 608
- Чупров Александр Иванович (1842–1908), экономист, статистик, обществ. деятель 658
- Шан-Гирей** (ур. Клингенберг) Эмилия Александровна (1815–1891), дочь М. И. Верзилиной, жена (с 1851) А. П. Шан-Гирея, троюр. брата М. Ю. Лермонтова 133, 676
Воспоминания о Лермонтове и о предсмертном его поединке 133, 676
- Шарко Жан Мартен (1825–1893), фр. врач-психиатр 154
- Шатобриан Франсуа Рене де (1768–1848), виконт, фр. писатель 67, 256, 301, 700, 703
Атала, или Любовь двух дикарей 700
Гений христианства 256, 700, 703
Мученики 256, 700
Рене, или Следствия страстей 700
- Шевченко Тарас Григорьевич (1814–1861) 161, 638
- Шевырѐв Степан Петрович (1806–1864), поэт, критик, журналист; историк лит-ры, проф. Моск. ун-та (с 1837), академик (с 1852) 303, 688
- Шекспир Уильям (1564–1616) 181, 182, 216, 227, 268, 269, 286, 460, 602, 654, 679, 681, 686, 689, 701, 702, 707, 712, 713
Венецианский купец 707, 713
Гамлет 143, 153, 174, 175, 195, 197, 296, 460, 462, 463, 577, 679, 681, 686, 689, 702, 712, 713
Король Лир 180
Ромео и Джульетта 117, 216, 270, 291, 296, 449, 530, 550, 701
Тит Андроник 269, 701
- Шела, библ. персонаж, третий сын Иуды, брата Иосифа, от хананеянки Шуи 248, 249
- Шелгунов Николай Васильевич (1824–1891), революционер-демократ, публицист, критик 28, 658, 659, 665
Борьба ли поколений ведет нас вперед 658
Очерки русской жизни 658
- Шелли Перси Биши (1792–1822) 256
- Шеллинг Фридрих Вильгельм фон (1775–1854) 49
- Шенрок Владимир Иванович (1853–1910), литературовед 710
- Шенье Андре де (1762–1794), фр. поэт, журналист и полит. деятель 713
Супруг блудливых коз... 713
- Шестаков Дмитрий Петрович (1869–1937), поэт, переводчик, филолог-классик 657, 696
- Шибанов Василий, стремянный князя А. М. Курбского, бежавший с ним к литов. королю (1564) 716

- Шиллер Фридрих (1759–1805) 87, 321, 328, 329, 685, 686, 704, 706, 716, 717
 Дон Карлос 686
 Ивиковы журавли 716
 Песнь радости (К радости) 315, 382, 508, 704, 706, 717
 Поликратов перстень 685
 Элевзинский праздник 717
- Шлейермахер Фридрих (1768–1834), нем. протестант. теолог, философ, проповедник 449
- Шмоллер Густав фон (1838–1917), нем. экономист, историк, гос. и обществ. деятель 674
- Шопенгауэр Артур (1788–1860) 458, 461, 579, 712, 723, 726
 Мир как воля и представление 458, 712, 723
- Шперк Федор (Фридрих) Эдуардович (псевд.: Апокриф, Ор; 1872–1897) 223–228, 647, 692, 783
 Диалектика бытия 223
 Книга о духе моем 223
 Мысль и рефлексия 223
 О страхе смерти и принципе жизни 223
 Система Спинозы 223
 Философия индивидуальности 223
- Шперк Эдуард Фридрихович (Федорович) (1837–1894), врач-венеролог, первый директор Ин-та экспериментальной медицины в Петербурге 225, 648
- Штёкер Адольф (1835–1909), нем. протестант. богослов и политик, основатель партии «христиан. социалистов» 301, 449, 450, 712
- Штирнер Макс (наст. имя и фам. Иоганн Каспар Шмидт; 1806–1856), нем. философ 93, 668, 669
 Единственный и его собственность 93, 669
- Штраус Давид Фридрих (1808–1874), нем. теолог и философ-младогегельянец 56, 59, 64, 75, 307, 669
- Шуазель Этьен Франсуа де (1719–1785), фр. гос. деятель, министр иностр. дел (1858–1863, 1866–1870) 109, 672
- Шувалов Иван Иванович (1727–1797), ген.-адъютант (1760), фаворит имп. Елизаветы Петровны, меценат, основатель Моск. ун-та, поч. чл. Акад. наук (с 1778) 133, 234
- Щ**едрин Н. — см. *Салтыков-Щедрин М. Е.*
- Щепкин Николай Михайлович (1820–1886), издатель и обществ. деятель; сын М. С. Щепкина 680
- Э**агр, в др.-греч. мифологии фракийский царь, бог одноименной реки, отец Лина и Орфея 552
- Эберс Георг (1837–1898), нем. египтолог, прозаик 699, 700
 Дочь египетского царя 699, 700
- Эвклид (Евклид; ок. 300 до н. э.), др.-греч. математик 335
- Эвтидем (Евтидем), др.-греч. софист, сын Диоклея 596
- Эдип, в др.-греч. мифологии царь Фив 448, 593, 724
- Элоиза (ок. 1100–1164), возлюбленная, тайная супруга и ученица Абеяра 499, 716

Эль (Элоах), в западносемитской мифологии верховный Бог-Творец, супруг Ашеры 704
Эль, корреспондент журн. «Новое Слово» (1890-е) 673

Из Тифлиса 673

Энгельгардт Михаил Александрович (1861–1915), лит. критик, публицист, социолог 665, 714

Жорж Кювье. Его жизнь и научная деятельность 665, 714

Энцелад (Энкелад), в др.-греч. мифологии один из гигантов, сын Урана и Геи 268

Эпиктет (ок. 50–138), др.-греч. философ 298

Эпименид (VII–VI вв. до н. э.), др.-греч. жрец и провидец, эпич. поэт 563

Эрехтей, в др.-греч. мифологии аттический царь, погибший во время войны между Афинами и Элевсином 715

Эриксимах, др.-греч. врач, друг Платона 549, 558, 560, 562, 563, 565, 595, 721

Эрос (Эрот), в др.-греч. мифологии божество любви 509, 510, 512, 530, 531, 535, 536, 549, 550, 552–554, 556, 558–572, 574, 575, 577–584, 586–588, 718, 720–722, 725

Эсхил (525–456 до н. э.), др.-греч. драматург 553, 715, 721

Мирмидоняне 721

Нереиды 721

Фригийцы, или Выкуп тела Гектора 721

Юзов И. — см. *Каблиц И. И.*

Юлиан Отступник (Флавий Клавдий Юлиан; 331–363), рим. император (с 355); ритор, философ 259

Юлии, патрициан. род в Др. Риме, давший первую имп. династию Юлиев-Клавдиев (27 до н. э. — 68 н. э.) 667

Юм Дэвид (1711–1776), шотл. философ, историк, экономист 49

Юпитер, в др.-рим. мифологии верховное божество 339

Юстин Философ — см. *Иустин Философ*

Юстиниан I Великий (Флавий Петр Савватий Юстиниан; 483–565), визант. император (с 527), полководец и реформатор 701

Дигесты 701

Языков Николай Михайлович (1803–1846), поэт-романтик 90, 134, 622, 677, 709

Янжул Иван Иванович (1846–1914), экономист, статистик, педагог, деятель нар. образования, фабрич. инспектор; проф. Моск. ун-та по каф. финанс. права (1876–1898) 658, 659

Яни, полицейский (кавас) при рус. консульстве в Турции, знакомый К. Н. Леонтьева 105, 671

Яновский Кирилл Петрович (1822–1902), педагог, публицист, пом. попечителя С.-Петербург. учеб. округа (с 1871), попечитель Кавказ. учеб. округа (с 1878); чл. Деп-та промышленности, наук и торговли (с 1901) 160, 683

Янус, в др.-рим. мифологии двуликое божество будущего и прошлого, начала и конца 561

Япет (Иапет), в др.-греч. мифологии один из титанов, супруг океаниды 563, 721

Alexander III — см. *Александр III*

Girardin S. — см. *Жирарден С.*

Jupiter – см. *Юпитер*
Louis XV – см. *Людовик XV*
Louis XVI – см. *Людовик XVI*
Marks – см. *Маркс К.*
Martynow – см. *Мартынов Н. С.*
Spinosa – см. *Спиноза Б.*
Zeus – см. *Зевс*

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Тексты и варианты произведений, входящих во второй том, подготовили:

И. В. Логвинова — «Тайна. Из записной книжки писателя».

Г. В. Нефедьев — «Почему мы отказываемся от „наследства 60–70-х годов?“», «Горе от ума».

Е. Н. Никитин — «В чем главный недостаток „наследства 60–70-х годов?“», «Два исхода», «Три момента в развитии русской критики».

А. Н. Николюкин — «Европейская культура и наше к ней отношение», «Может ли быть мозаична историческая культура?», «Еще о мозаичности и эклектизме в истории», «Литературная личность Н. Н. Страхова», «Последняя фаза славянофильства. Н. Я. Данилевский», «Катков „как государственный человек“», «Литературно-общественный „кризис“», «О Достоевском», «Около болящих», «В Кисловодском парке», «Военно-Грузинская дорога», «Памяти усопших. О. И. Каблиц. Ю. Н. Говоруха-Отрок. Н. Н. Страхов. Ф. Э. Шперк. Я. П. Полонский».

Т. Г. Петрова — «Поздние фазы славянофильства. К. Н. Леонтьев», «50 лет влияния (Юбилей В. Г. Белинского)».

И. А. Ревякина — «Вечно печальная дуэль», «О писательстве и писателях».

Комментарии подготовили А. Н. Николюкин и А. П. Дмитриев при участии К. В. Душенко, И. А. Едошиной, Т. М. Миллионщиковой, Г. В. Нефедьева, И. А. Ревякиной.

Компьютерное редактирование тома — К. А. Жульковой и И. В. Логвиновой.

Ведущий редактор — П. П. Апрышко.

Научное издание

В. В. РОЗАНОВ

**Полное собрание сочинений в 35 томах
Серия «Литература и искусство» в 7 томах**

**Т. 2. О ПИСАТЕЛЬСТВЕ И ПИСАТЕЛЯХ:
Литературные очерки
Тайна**

Составитель и редактор тома *А. Н. Николукин*

Корректор *А. П. Дмитриев*
Компьютерная верстка *С. В. Степанова*
Художественное оформление *С. А. Гавриловой*

Формат 70 × 100 ¹/₁₆. Гарнитура Октава. Изд. л. 49,0.
Тираж 1000 экз. Заказ № 3607

ООО «Издательство «Росток»
E-mail: rostokbooks@yandex.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: 8–921–937–98–70

Отпечатано в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, В. О., 9-я линия, 12

